

С.А. Васютин, П.К. Дашковский

**СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПОЗДНЕЙ ДРЕВНОСТИ
И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ**

**(отечественная историография
и современные исследования)**



Барнаул 2009

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И ТЕОЛОГИИ
ЛАБОРАТОРИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

С.А. Васютин, П.К. Дашковский

**СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПОЗДНЕЙ ДРЕВНОСТИ И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
(отечественная историография и современные исследования)**

Монография



Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2009

УДК 94(51)–057.66
ББК 63.3(54)4
В 205

Научный редактор:

д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой социальной антропологии
Дальневосточного государственного технического университета,
ведущий научный сотрудник Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН **Н.Н. Крадин**

Рецензенты:

д-р ист. наук, профессор кафедры археологии
Кемеровского государственного университета **А.И. Мартынов**;
д-р культурологии, ведущий сотрудник отдела археологии
Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа **Л.С. Марсадолов**

В 205 Васютин, С.А.

Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего Средневековья (отечественная историография и современные исследования): монография / С.А. Васютин, П.К. Дашковский. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 400 с.

ISBN 978-5-7904-0966-0

В монографии рассматриваются основные аспекты изучения в отечественной историографии социально-политической организации кочевников Центральной Азии от скифской эпохи до ранне-средневекового периода. Первый раздел раскрывает условия развития отечественного кочевниковедения в XX – начале XXI в., показывает влияние на исследования общественно-политических структур кочевников различных идейно-политических факторов, методологических подходов. На примере изучения скифо-сарматских древностей рассматривается процесс становления «социальной археологии» и ее институализация в постсоветское время. Второй раздел посвящен отечественным разработкам проблем социальной организации и потестарно-политических систем кочевников Центральной Азии скифского, хунно-сяньбийского и раннесредневекового периодов. В последнем разделе представлены результаты исследования комплекса проблем, связанных с существованием служителей культа у кочевников, а также анализ и типология раннесредневековых властных институтов кочевников Центральной Азии в свете теории многолинейности общественного развития.

Предназначена для историков, археологов, социологов, политологов и всех интересующихся историей кочевых народов Евразии.

УДК 94(51)–057.66
ББК 63.3(54)4

Монография подготовлена и издана при частичной финансовой поддержке гранта Фонда Президента РФ (проект №МК-132.2008.6, тема «Формирование и эволюция мировоззренческих систем в контексте культурно-исторических и этнополитических аспектов развития кочевников Южной Сибири в эпоху поздней древности и раннего средневековья») и федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (проект 2009-1.1-301-072-016, тема «Комплексные исторические исследования в области изучения Западной и Южной Сибири с древнейших времен до современности»)

ISBN 978-5-7904-0966-0

© Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009
© Оформление. Издательство Алтайского
государственного университета, 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ I. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИОГЕНЕЗА И ПОЛИТОГЕНЕЗА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОЧЕВНИКОВ	10
Глава 1. Формирование сталинской модели формационной теории и ее применение в кочевниковедческих исследованиях	10
1.1. От эволюционизма к марксизму (1920-е – начало 1930-х гг.).....	10
1.2. Утверждение сталинской версии марксистского учения о формациях и советское кочевниковедение середины 1930-х – начала 1940-х гг.	16
1.3. Формационная теория в исследованиях социально-политических структур номадов второй половины 1940-х – середины 1960-х гг.: интерпретации, концепции, проблемы применения.....	23
Глава 2. Изучение общественной структуры и властных институтов у кочевников в отечественной историографии конца 1960-х – начала 1990-х гг.	41
2.1. Влияние зарубежных историко-методологических подходов, ревизия сталинского марксизма и развитие исследований социально-политической организации кочевников в конце 1960-х – середине 1980-х гг.	41
2.2. Разработка основ «социальной археологии» на примере изучения скифских и савромато-сарматских древностей.....	60
2.3. Инновационные концепции периода перестройки и основные итоги изучения социально- политических систем кочевников в СССР	77
Глава 3. Основные тенденции изучения социальных и властных структур номадов в постсоветский период	87
3.1. Теоретико-методологический контекст кочевниковедческих исследований.....	87
3.2. Современные отечественные разработки проблем социогенеза и политогенеза кочевников.....	100
3.3. Развитие социальной археологии и палеосоциологические исследования общественно- политических структур древних и средневековых номадов	122
РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ У КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ	134
Глава 4. Результаты изучения социально-политического развития номадов скифско- сакской эпохи.....	134
4.1. Судьбы памятников ранних кочевников Саяно-Алтая в XVII в. – 30-х гг. XX в.: от «бугровщиков» до первых социальных интерпретаций	134
4.2. Общественно-политические структуры кочевников Саяно-Алтая, Средней Азии и Казахстана VII–IV вв. до н.э. в исследованиях второй половины 1940–1960-х гг.....	136
4.3. Реконструкция социальной организации номадов Центральной Азии скифо-сакского периода в конце 1960-х – начале 1990-х гг.	141
4.4. Изучение социально-политической организации номадов Саяно-Алтая раннескифского и скифского периодов на современном этапе (середина 1990-х – начало 2000-х гг.)	156
Глава 5. Исследования общественно-политической организации номадов хунно- сяньбийского периода по данным археологических и письменных источников	172
5.1. Начальный этап изучения хуннской проблематики в отечественной археологии и исторической науке	173

5.2. Социальная история хунну в период оформления и развития формационной концепции в СССР (1930-е – середина 1960-х гг.).....	174
5.3. Вклад советской науки второй половины 1960-х – начала 1990-х гг. в исследование социальной истории хунно-сяньбийского периода и апробацию палеосоциологических методик на материалах хуннских памятников.....	179
5.4. Изучение социальных отношений и властной иерархии хунно-сяньбийского периода на современном этапе (1990-е – начало 2000-х гг.).....	186
Глава 6. Кочевые общества раннего средневековья: основные направления исследований социальной структуры и институтов власти	214
6.1. Кочевые общества раннего средневековья в исследованиях отечественных ученых XIX – первой трети XX в.	214
6.2. Утверждение феодальной модели в исследованиях по социальной истории кочевников Центральной Азии и Саяно-Алтая (вторая треть 1930-х – середина 1960-х гг.).....	221
6.3. Трактовка общественно-политической организации кочевников раннего средневековья в отечественных исследованиях конца 1960-х – начала 1990-х гг.	234
6.4. Новейшие разработки проблем социального устройства и организации власти у раннесредневековых кочевников в российской науке (середина 1990-х гг. – 2007 г.)	247
РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЯХ И КОНЦЕПЦИЯХ	287
Глава 7. Сакрализация правителей и служители культов в кочевых обществах Центральной Азии	287
7.1. Начальный этап формирования религиозной элиты у кочевников Саяно-Алтая в скифо-сакский период.....	287
7.2. Религиозный аспект политической культуры и служители культов у кочевников в хунно-сяньбийско-жужанский период	292
7.3. Этноконфессиональная политика в Тюркских каганатах в эпоху раннего средневековья	301
Глава 8. Власть в кочевых обществах Евразии VI–XI вв. в свете теории многолинейности	313
8.1. Один путь или много?	313
8.2. Специфика властных институтов в раннесредневековых обществах кочевников: сравнительно-типологические аспекты	317
8.3. Анализ уровней сложности кочевных сообществ на основе формальных кросс-культурных методик	333
8.4. Выводы.....	338
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	345
SUMMARY	355
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	358
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	398

Введение

История евразийских кочевников проходила преимущественно на тех территориях, которые на протяжении XVI–XIX вв. были включены в состав Российской империи, а затем вошли в состав СССР или были тесно связаны с историей нашей страны. Это обстоятельство обусловило формирование и развитие кочевниковедения как научного направления именно в нашей стране, особенно в советский период. В 20–80-е гг. прошлого столетия были произведены раскопки тысяч погребально-поминальных памятников рядовых кочевников и десятков элитных комплексов, что позволило заложить основы для глубокого изучения общественных отношений. Несмотря на распад Советского Союза, последующие социально-политические и экономические потрясения, кризисные черты в развитии науки, российские ученые сохраняют за собой лидирующие позиции в области изучения истории кочевых народов Евразии.

Исследования социально-политической структуры номадов, впрочем, как и некоевых народов, в отечественной археологии определялись целым рядом факторов. Прежде всего постоянно возрастающим объемом археологических материалов, качеством раскопок, применением новых методик и повышением уровня сложности анализа источников, постепенным складыванием синтетических технологий, объединяющих несколько наиболее апробированных и адекватных исторической действительности методов, использованием междисциплинарного синтеза.

Вторую группу факторов составляли методологические установки и парадигмы, в рамках которых работали исследователи. Особенно большое влияние на изучение общественной организации кочевников I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. в СССР оказала формационная теория. Несмотря на то, что формационные модели задавали жесткие рамки для ученых, отечественные исследователи, сохраняя приверженность марксистской методологии, смогли создать целый ряд оригинальных концепций социогенеза номадов. Не случайно, что в постсоветский период активное использование достижений зарубежной науки легло на плодотворную почву отечественной мысли и научной практики.

Третья группа факторов связана с персоналиями исследователей, их успехами, сложностью ставившихся и решаемых задач, в конечном итоге их талантливостью и научной смелостью. Такие ученые, как М.И. Ростовцев, М.П. Грязнов, С.В. Киселев, А.Н. Бернштам, Б.Н. Граков, М.И. Артамонов, С.И. Руденко, А.П. Смирнов, К.Ф. Смирнов, К.А. Акишев, В.М. Массон, С.С. Черников, С.С. Сорокин, А.Д. Грач, А.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, Г.А. Федоров-Давыдов, А.И. Мелюкова, О.А. Вишневская, Б.Н. Мозолевский, А.В. Давыдова, Г.Н. Курочкин, Г.В. Длужневская, Е.П. Бунятян, В.Ф. Генинг, П.Б. Коновалов, С.В. Данилов, Д.Г. Савинов, О.А. Добролюбовский, М.К. Кадырбаев, В.Д. Кубарев, А.С. Васютин, В.Н. Добжанский, Ю.А. Заднепровский, Л.Т. Яблонский, А.С. Суразаков, Ю.С. Худяков, В.А. Могильников, С.С. Миняев, М.Г. Мошкова, Н.В. Полосьмак, В.И. Молодин, Л.С. Марсадолов, Н.Н. Крадин, Н.П. Матвеева, А.С. Суразаков, П.И. Шульга, А.А. Тишкин, П.П. Азбелев, С.С. Матренин внесли огромный вклад в разработку социальной истории кочевников на основе анализа данных археологии. Не менее важны исторические и историко-теоретические концепции, выдвинутые в разное время В.В. Бартольдом, Б.Я. Владимирцовым, С.П. Толстовым, А.Ю. Якубовским, Л.П. Потаповым, М.П. Грязновым, Л.Н. Гумилевым, Б.В. Андриановым, И.Я. Златкиным, Л.П. Лашук, Г.Е. Марковым, А.М. Хазановым, С.Е. Толыбековым, О.К. Караевым, А.И. Мартыновым, С.И. Вайнштейном, Д.С. Раевским, Н.Э. Масановым, С.А. Плетневой, А.И. Першицом, Е.И. Кычановым, С.Г. Кляшторным, Б.Д. Кочевым, Н.Н. Крадиным, В.В. Трепавловым, Т.Д. Скрынниковой и другими выдающимися исследователями.

Диалог истории и археологии, в области кочевниковедения, неразрывен. Археология и история шли рука об руку в изучении разных аспектов развития кочевых народов. Но все же к концу XX в., когда в археологии сложилось отдельное направление «социальная археология» или «социологическая археология», она стала обладать своим специфичным научным языком, методами. Это добавляет новые грани к нашему знанию о прошлом, о социумах древности и средневековья.

Представленная вашему вниманию монография – попытка подвести итоги изучению в отечественной историографии социально-политической организации номадов поздней древности и раннего средневековья Центральной Азии. Конечно, мы не могли охватить все работы, посвященные рассматриваемой проблематике, и все исследования социальной структуры, общественной системы в

целом, организации власти в кочевниках, которые проводились в отечественной историографии. Далеко не полный список литературы в конце монографии показывает, что речь идет о сотнях и даже тысячах тезисов, статей, материалов конференций, обзоров, рецензий, монографий и пр. Это подчеркивает актуальность выбранного сюжета и в то же время невозможность обобщить материалы целиком в рамках одной монографии, тем более что авторы не ставили перед собой столь малореальную задачу.

Главная цель книги – выявить общие тенденции, продемонстрировать практический опыт применения разных методологических подходов к социально-политической истории кочевников, показать, с помощью каких методов проводились и проводятся отечественными учеными палеосоциологические исследования в археологии и какие результаты они дают. Также авторы данного издания стремились к тому, чтобы критически оценить опыт предшественников, рассмотреть аргументы ученых в разных дискуссиях, самим поучаствовать в обсуждении поднятых в отечественной историографии проблем.

Надеемся, что нам все же удалось учесть большинство наиболее значимых работ по истории и археологии древних и раннесредневековых кочевников, привлечь достаточно материалов, чтобы уловить основные тенденции в исследовании социально-политической организации кочевников в отечественной историографии, выявить этапы и продемонстрировать наиболее важные результаты изучения общественных структур и институтов власти у центральноазиатских кочевников I тыс. до н.э. – начала II тыс. н.э.

В хронологическом отношении работа охватывает эпоху поздней древности и раннего средневековья. В свою очередь эпоха поздней древности для Центральной Азии включает в себя скифосакский (конец IX – рубеж III/II вв. до н.э.) и хунно-сяньбийский (конец III в. до н.э. – V в. н.э.) периоды. Хронологические рамки раннего Средневековья охватывают время от зарождения и образования Первого Тюркского каганата (первая половина – середина VI в.) и до начала II тыс. н.э.

Особо стоит оговориться и о территориальных рамках исследования. В названии монографии обозначена обширная географическая область – Центральная Азия. Учитывая разное понимание дефиниции «Центральная Азия», необходимо уточнить, какие территории включаются в это понятие в данной книге. Важно отметить, что в отечественной и зарубежной науке сложились две основные традиции трактовки указанного понятия. Зарубежные ученые включают в этот термин Монголию, Туву, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан, Китайский Туркестан.

В отечественной науке традиционно разделяли Центральную и Среднюю Азию, при этом Монголию и Туву относили к Центральной Азии, а Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению – к Средней (Шпринцин А.Г., 1976; Грач А.Д., 1984, с. 113). Правда, в последнее время среди российских ученых можно встретить и более широкое понимание термина «Центральная Азия». Авторы монографии придерживаются именно этой трактовки и включают в центрально-азиатский регион, наряду со Средней Азией, Южный и Восточный Казахстан, горно-степные территории Саяно-Алтая, еще в древности освоенные кочевниками. При этом мы исходим не только из физико-географической близости указанных территорий, но прежде всего из-за их тесной культурно-исторической связи. Необходимо также подчеркнуть важное значение Саяно-Алтая, который представляет собой обширную историко-этнографическую область на стыке Центральной и Северной Азии (Савинов Д.Г., 2007, с. 211–212). Подавляющая часть археологических материалов, привлекавшаяся отечественными учеными для палеосоциологических исследований, происходит из Горного Алтая, Тувы, Хакасии, Южного Прибайкалья.

В целом широкое толкование понятия Центральная Азия позволило нам охватить в монографии исторические и археологические исследования, посвященные древним и раннесредневековым кочевникам Монголии, Саяно-Алтая, Казахстана и Средней Азии, а также близлежащих территориях в том случае, если эти разработки играли важную роль в развитии социальной археологии как научного направления или служили полигоном значимых для отечественного кочевниковедения исторических изысканий.

Историографическое изучение социальной истории кочевников Центральной Азии было бы далеко не полным, если не рассматривать теоретические основы таких исследований, которые опирались на различные методологические разработки историков, социологов, культурных антропологов и других специалистов. Раскрытию особенностей методологических подходов, господствовавших в XX – начале XXI в., и их влиянию на изучение социально-политической организации кочевников и посвящен первый раздел нашей книги. Кроме того, исторически так сложилось в отечественном

кочевниковедении, что на протяжении многих десятилетий своеобразным научным полигоном как для социальной археологии, так и для исторического осмысления прошлого кочевников являлись скифские и савромато-сарматские древности Украины и европейской части России. Это было обусловлено целым рядом причин: 1) высокая степень изученности памятников скифских, савроматских и сарматских племен, которые активно исследовались с XIX в.; 2) наличие античных письменных памятников, относительно подробно зафиксировавших образ жизни, культуру, общественные отношения варваров; 3) ориентация ведущих научных центров и школ на изучение скифо-сарматских древностей. Наконец, не последнюю роль играл и личностный фактор, который влиял на разработку данной проблематики. В то же время развитие отечественной социальной археологии именно на европейских (скифо-сарматских) материалах позволило накопить огромный методический опыт в области палеосоциальных реконструкций. Успешная апробация различных методик дала возможность в последующем использовать их и для изучения социальной структуры кочевников Центральной Азии. В этой ситуации обращение к становлению социальной археологии через анализ концепций социогенеза скифо-сарматских племен являлось необходимым компонентом нашего исследования.

В основу монографии положены диссертационные исследования С.А. Васютина «Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии» (1998) и П.К. Дашковского «Социальная структура и система мировоззрений населения Горного Алтая скифского времени» (2002), отдельные публикации авторов данной работы (Васютин С.А., 1996, 1997, 1997а, 1997б; 1999; 2002а; Дашковский П.К., 2001; 2003а; 2005; 2005а; 2007в; 2001; 2003а; 2005; 2007; 2008а; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2003; 2005; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; 2004), а также результаты изучения современной историографии проблем социально-политического развития кочевников Центральной Азии от скифской эпохи до конца раннего средневековья.

Кроме того, в книге нашли отражения результаты научных изысканий, которые были выполнены нами при поддержке грантов РГНФ – МинОКН Монголии (проект №07-01-92002а/Г «Кочевые империи монгольских степей: от хунну до державы Чингисхана»; проект №08-01-92004а/Г, «Этносоциальные процессы и формирование синкретичных мировоззренческих систем у кочевников Алтая и Северо-Западной Монголии») и Фонда Президента РФ (проект №МК-132.2008.6, тема «Формирование и эволюция мировоззренческих систем в контексте культурно-исторических и этнополитических аспектов развития кочевников Южной Сибири в эпоху поздней древности и раннего средневековья»).

Большое значение в подготовке монографии имели исследования по истории отечественной археологии (см., например: Дёмин М.А., 1981; Генинг В.Ф., 1982; Мартынов А.И., 1983; Пряхин А.Д., 1986; Лебедев Г.С., 1992; Матющенко В.И., 1992, 1992а, 1994, 1995, 2001а, 2001б; Формозов А.А., 1992, 1995, 1998, 2004; Китова Л.Ю., 1993, 2003б, 2007; Клейн Л.С., 1993 и др.). В этих работах показаны сложности становления и дальнейшего развития марксистского направления в советских археологических изысканиях. Многими авторами отмечается, что под влиянием марксизма возросло историческое содержание археологических исследований. Не случайно, что вопросы социально-политической организации древних и средневековых кочевников, а также других традиционных социумов, нередко решались не столько историками, сколько археологами. Кроме того, к этим исследованиям следует прибавить статьи, очерки и монографии о вкладе наиболее выдающихся отечественных ученых, рассматривавших проблемы социально-политической структуры кочевников, таких как С.И. Руденко, М.П. Грязнов, С.В. Киселев, А.И. Артамонов и археологов (Бобров В.В., 1997а; Матющенко В.И., 1995а; Решетов А.М., 1998; Дашковский П.К., 2001а; Пшеницына М.Н., Боковенко Н.А., 2002; Шер Я.А., 2002; Китова Л.Ю., 2003а; Кызласов Л.Р., 2003а; Мерперт Н.Я., 2005; Шмидт О.Г., 2006; и др.).

Становление и развитие «социальной археологии», роль отечественных ученых в развитие данного направления, основной круг проблем использования палеосоциологических методик были рассмотрены В.В. Бобровым и Ю.И. Михайловым (Бобров В.В., 1997, 2003; Бобров В.В., Михайлов Ю.И., 1997). Стоит также отметить обстоятельный обзор методик изучения стратификации древних обществ по данным погребальных памятников А.А. Кильдюшевой (2008), Ю.Ю. Тырышкиной (2008). Вопросам интерпретации археологических материалов отечественными учеными 1920-х – 1950-х гг. посвятила свою диссертацию О.С. Свешникова (2006).

Зарождение исследований социальной организации кочевников в отечественной археологии было довольно детально рассмотрено в диссертации и публикациях Н.П. Писаревского (1989, 1989а, 1989б) и совместной статье А.Д. Пряхина и Н.П. Писаревского (1984). Следует указать и на ряд ста-

тей посвященных деятельности коллектива, объединившего М.И. Артамонова, М.П. Грязнова, В.В. Гольмстен и Г.П. Сосновского, под названием бригады по истории кочевого скотоводства («бригада ИКС») (Жук А.В., 1997; Свешникова О.С., 2004). Основные проблемы изучения археологических памятников кочевников Горного Алтая в VIII–IV вв. до н. э. (в том числе и вопросы реконструкции социальной структуры раннескифского и пазырыкского населения Горного Алтая) проанализировал Л.С. Марсадолов. Ученый выделил десять этапов в изучение скифских древностей Алтая, отметив не только хаарктер накопления источников, но методологические и методические основы изучения древних культур. Несомненно, расширение источников по рядовым и элитным погребальным комплексам кочевников давало основания археологам для социальных интерпретаций (Марсадолов Л.С., 1996; 2000).

История социальных реконструкций на основе изучения археологических памятников кочевников нашла отражение в целом ряде исследований (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 57–82; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 4–10; Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 10–38; Матренин С.С., 2005а; Серегин Н.Н., 2008б; и др.). Авторы коллективной монографии «Социальная организация ранних кочевников» предложили периодизацию социальных интерпретаций по данным археологии отечественными учеными и основных дискуссий по вопросам оценки общественно-политической организации кочевников IX в. до н. э. – середины I тыс. н. э. Данная периодизация включает следующие периоды:

1) 1920-е – начало 1930-х гг. Характеризуется относительной свободой выбора различных подходов на раннем этапе становления советской науки. Спектр мнений был достаточно широк: от представлений о первобытности кочевников до точки зрения о создании номадами государственности;

2) 1934 – середина 1950-х гг. Этот период связан с утверждением формационной методологией и доминированием в кочевниковедении теорий о распространении у номадов военной демократии, рабовладения и «кочевого феодализма». Завершение периода характеризуется бурной дискуссией о собственности у кочевников. Официальная точка зрения признавала решающую роль собственности на землю. Настроенные ревизионистки участники обсуждения отстаивали мнение о ведущем значении собственности на скот;

3) 1956–1990 гг. Особенностью этого периода стало некоторое ослабление идеологического пресса над общественными науками и появление разных интерпретаций кочевой истории. В эти годы оформилось несколько концепций общественного развития кочевого общества (дофеодалная, раннеклассовая, номадный способ производства и др.);

4) 1991 – начало 2000-х гг. Современный период, характеризующейся разнообразием методологических подходов, активной фазой развития «социальной археологии», значительным числом публикаций теоретического и конкретно-исторического плана (Социальная организация ранних кочевников, 2005, с. 11–12, 13–38).

Относительно данной периодизации следует сказать, что в представленной на суд читателей монографии С.А. Васютина и П.К. Дашковского ее авторы внесли ряд уточнений в периодизацию отечественных исследований общественных и властных институтов номадов. Во-первых, отдельные аспекты социально-политической структуры кочевников рассматривались и в дореволюционный период. Во-вторых, не так жестко определяются границы между периодами. На наш взгляд вернее говорить о переходных периодах в несколько лет (середина 1930-х, последняя треть 1960-х и т. д.). В-третьих, считаем более обоснованной границей между вторым и третьим периодом не 1956 год, а последнюю треть – конец 1960-х гг. Именно эти годы, на наш взгляд, является водоразделом между временем господства установок сталинского марксизма в отношении номадов и периодом осторожной, но вполне определенной ревизии предшествующего научного наследия. В конце 1960-х гг. выступил с популярной среди кочевниковедов идеей дофеодалного общества А.И. Неусыхин, в 1967 г. защитил свою докторскую диссертацию Г.Е. Марков, в которой он открыто выступил против феодализма у номадов, по существу аналогичную идею высказал Л.Н. Гумилев в своей книге «Древние тюрки», вышли первые публикации А.М. Хазанова, в 1971 году была опубликована блестящая работа С.Е. Толыбекова «Кочевое общество казахов в XVII – начале XX веков (Политико-экономический анализ)», исследователями были подвергнуты критике концепции матриархата и рабовладения у кочевников, началось обсуждение теории раннеклассового (раннегосударственного) общества и мн. др.

Осмыслению истории изучения разных сторон социально-политической организации кочевников в советский период было посвящено достаточно много работ (Марков Г.Е., 1976; Коган Л.С., 1981; Халаль Исмаил, 1983; Khasanov A.M., 1984, Попов А.В., 1986; Крадин Н.Н., 1992, с. 12–43; 2007, с. 11–58 и др.). Естественно, что оценки достижений советских ученых довольно существенно различались. Остановимся подробнее на некоторых выводах Н.Н. Крадина. В монографии «Кочевые общества (проблемы формационной характеристики)» он представил обстоятельный аналитический очерк по истории дискуссий о формах социально-экономических отношений и политических структурах у кочевников. По его мнению, в советской историографии постепенно оформилось множество школ и направлений, по-разному трактующих ключевые вопросы истории кочевничества, и к началу 1990-х гг. отечественное кочевниковедение было далеко «от выработки каких-либо концептуальных решений». Более того, тогда Н.Н. Крадин считал в принципе невозможным появления доминирующей теории общественно-политического развития кочевников (Крадин Н.Н., 1992, с. 42). В монографии 2007 года «Кочевники Евразии» исследователь предложил несколько иной взгляд. Он говорит о необходимости изучения конкретных кочевых обществ и кочевого мира в целом с позиций разных методологических подходов, ибо каждая научная стратегия «высвечивает» те или иные грани социальных систем кочевников. Тем самым он признает многообразие существующих интерпретаций уровня сложности кочевых социумов, но своими исследованиями призывает к синтезу методологических подходов и достижений разных научных дисциплин и направлений (Крадин Н.Н., 2007, с. 11–37, 61–108 и др.).

Подводя итоги можно говорить о довольно хорошей изученности, прежде всего, теоретических аспектов исследования общественно-политической организации кочевников. Но при этом в обобщающих работах прослеживается недостаточное внимание к истории изучения в отечественными учеными социальных и властных институтов у кочевников разных эпох (скифской, хунно-сяньбийской, раннесредневековой и т. д.). Востребован и анализ постсоветских исследований российских кочевниковедов. Почти 20-летний период изучения отечественными авторами социально-политической организации кочевников заслуживает осмысления и комплексного историографического анализа. Эти вопросы и призвана осветить данная монография.

Мы благодарны тем, кто учил нас, направляя в нужное русло наши изыскания, помогал в минуты сомнений: д.и.н., проф. В.В. Боброву (Кемерово), к.и.н. А.С. Васютину (Кемерово), д.и.н., проф. Ю.Ф. Кирюшину (Барнаул), д.и.н., проф. А.А. Тишкину (Барнаул), д.и.н., проф. Д.Г. Савинову (Санкт-Петербург), к.и.н., доц. Ю.Л. Говорову (Кемерово), к.и.н., доц. Л.С. Решетниковой (Кемерово), к.и.н., доц. В.Н. Добжанскому (Кемерово), д.и.н. С.В. Данилову (Улан-Удэ), д.и.н., проф. С.Г. Кляшторному (Санкт-Петербург), к.и.н., доц. Г.Г. Пикову (Новосибирск), д.и.н., проф. Я.А. Шеру (Кемерово), к.и.н., доценту Л.Ю. Китовой (Кемерово), д.и.н., проф. Л.Н. Ермоленко (Кемерово), д.и.н., проф. Т.Д. Скрынниковой (Улан-Удэ), д.и.н., проф. А.В. Харинскому (Иркутск). Особо хотим выразить признательность научному редактору д.и.н., проф. Н.Н. Крадину (Владивосток), рецензентам д.и.н., проф. А.И. Мартынову (Кемерово) и д. культ. Л.С. Марсадолову (Санкт-Петербург), которые первыми ознакомились с рукописью нашей книги и внесли ряд ценных и полезных замечаний. Наконец, наши научные изыскания и подготовка этой публикации оказались бы невозможны без постоянной поддержки наших родных и близких...

С.А. Васютин, П.К. Дашиковский

Раздел I

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИОГЕНЕЗА И ПОЛИТОГЕНЕЗА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОЧЕВНИКОВ

Глава 1

Формирование сталинской модели формационной теории и ее применение в кочевниковедческих исследованиях

Для отечественной науки характерна неразрывность археологических и исторических знаний, что особенно наглядно демонстрирует кочевниковедческое направление исследований. Именно этой отрасли исторической науки присуща тесная связь социальных исследований и конкретных палеосоциологических разработок с господствующими в тот или иной период теориями и концепциями общественной эволюции. Следует подчеркнуть, что данная особенность развития отечественного кочевниковедения не была свойственна ему изначально. Социальный ракурс приобрел особую актуальность в советский период, когда изучение общественно-экономических структур было выдвинуто на передний фронт всего социального познания.

1.1. От эволюционизма к марксизму (1920-е – начало 1930-х гг.)

Середина 1930-х гг. окончательно закрепила переход отечественной исторической науки на новые принципы историописания, базирующиеся на марксистской формационной методологии. Этот важный рубеж оказал фундаментальное влияние на кочевниковедческие исследования. Он ознаменовал «внешний» разрыв с предшествующей традицией изучения кочевников в дореволюционной России конца XIX – начала XX в. и отчасти в 1920-е гг., которая строилась преимущественно на основе эволюционистской теории.

Отечественные исследования в эволюционистском духе внесли существенный вклад в изучение кочевников. Номадные социумы представлялись как достаточно сложные общественные объединения. Родоплеменная система у кочевников (она была достаточно хорошо изучена российскими путешественниками, историками, этнографами) уже не рассматривалась только как признак архаичности и примитивности (собственно большинство исследований того времени строилось на изучении состава кланово-племенной структуры кочевников, различных форм внутренних и межклановых социальных связей, бытовых и культурных аспектов). Так, например, значительная часть ученых в 1920-х гг. рассматривала социальную структуру кочевников как иерархию подразделений рода или более крупных институтов – племени, союза племен, орды. Кочевники считались одним из примеров родовых обществ. Но при этом исследователи указывали на элементы сословного деления и другие атрибуты развитых социальных систем, которым однако отводилась второстепенная роль (Жамцарано Ц., Турунов А., 1921, с. 2; Петри Б.Э., 1924, с. 100; 1924а, с. 5, 18–19; 1926, с. 5–6; Богданов М.Н., 1926, с. 97–99, 101; Куфтин Б.А., 1926, с. 8–9; Руденко С.И., 1927, с. 7–10; Гирченко В.П., 1928, с. 44; и мн. др.).

Упор также делался на прогрессивные элементы: использование наряду с кочевым скотоводством земледелия, правда, весьма ограниченно, формирование и преобладание у кочевников малых индивидуальных семей, усложнение общественной дифференциации, развитие торговли и взаимодействия с земледельческими обществами, появление крупных политических образований, которые нередко характеризовались как государственные и т.д. (Тахтарев К.М., 1924; Серебренников Н.И., 1925; Г.Е. Грумм-Гржимайло, 1926; Руденко С.И., 1927, 1930; и др.).

В то же время считалось, что через так называемые «пережитки» позволяют реконструировать состояние того или иного кочевнического общества в прошлом, поэтому им отводилась особая роль в исторических и этнографических исследованиях. В целом господствовало представление, что эволюционные возможности кочевников были ограничены средой их обитания в степях, предгорьях, полупустынях. Считалось, что в этих условиях не было возможности интенсифицировать хозяйственную систему, обеспечить дальнейшую динамику социального развития.

Скотоводство оценивалось как очень рискованный тип производства. Советский дипломатический работник И.М. Майский указывал, что холод, голод, снежные бураны, волки являлись «посто-

янными врагами монгольского скотоводства». Кроме того, существовали «...экстраординарные напасти в виде разного рода болезней и эпизоотий», в результате которых погибало до 60% и более скота (Майский И.М., 1921, с. 118).

Исследователям приходилось констатировать, что природная среда евразийских степей не подходила для прогрессивных общественных практик. Тем самым в степи не возникали условия, если следовать эволюционистским установкам, когда некоторые инновационные типы социальных явлений начинают количественно преобладать, вытесняя другие, старые формы.

Очень наглядно отразили данную идею размышления В.В. Радлова: «Социальный строй кочевников и их правовые воззрения совершенно иные... Порядок, навязанный извне и основанный на пустом теоретизировании, может лишь помешать истинному прогрессу. Большая часть степей по своим природным условиям пригодна только для кочевой жизни, и, если вынудить перейти кочевников к оседлости, это, безусловно, явится причиной регресса и приведет к обезлюдению степей» (цит. по: Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 17).

Образ кочевников во многом рисовался в сопоставлении номадов рубежа XIX–XX вв. с современными им индустриально развивающимися европейскими державами, колониальными империями. Не будем забывать, что эволюционизм был европоцентричен. Научная литература 1910–1920-х гг. пестрит аналитическими выкладками, объясняющими «отсталость» номадов. В.В. Солдатов (1911, с. 304), в частности, отмечал отсутствие земледелия «у бурят Агинского ведомства... за исключением только одного села Агинского; есть попытки заниматься земледелием, часто неудачные...» Беспристрастные архивные материалы фиксируют: «Причиной худого урожая почитается неудобство каменистого и солонцеватого грунта земли и никакой другой сорт хлеба, кроме ярицы, засеваем ими не бывает» (цит. по: Крадин Н.Н., 2007, с. 324). Еще Н.М. Пржевальский писал о монголах, что «промышленность у них самая ничтожная и ограничивается только выделкой некоторых предметов, необходимых в домашнем быту, как-то: кож, войлоков, седел, узд, луков; изредка готовятся огнива и ножи» (цит. по: Крадин Н.Н., 2007, с. 323).

Если говорить о социально-политической организации номадов, то отечественные исследователи в первой трети XX в. редко определяли конкретную стадию или этап в общественной эволюции, на которой находилось изучаемое ими номадное объединение, ограничиваясь в основном фиксацией родового характера и отсталости (экономической, социальной, политической, культурной) от современных им европейских обществ, простоты быта и пр. В послереволюционный период усилился интерес к обобщению сведений о социогенезе. В качестве примера можно назвать работу К.М. Тахтарева «Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм», первая часть которой была посвящена «тотемическому» и родовому обществу. Он полагал, что кочевничество представляло собой наиболее сложный тип родового общества, «многолюдную орду» или «большой союз племен». Согласно мнению исследователя, в родовых обществах номадов существовали «господа и слуги», «люди белой и черной кости», «наследственные племенные князья», но только в период военных конфликтов. В «обычное» время «каждое племя, подобно каждому роду, управляется своими вечевыми народными собраниями и советами родовых старейшин независимо от других племен» (Тахтарев К.М., 1924, с. 118, 354–355).

Таким образом, эволюционизм как методология широких социальных исследований давал определенный ответ, хотя и весьма неполный, на вопрос об особенностях развития кочевых народов. Стоит признать его высокую популярность у историков, этнографов и археологов 1920-х гг. Среди них можно назвать С.И. Руденко, составившего описание быта казахов (1927, 1930), Б.Э. Петри, изучавшего родовые отношения, в том числе и на территориальной основе у северных бурят (1924, 1924а, 1926), монгольского историка Ц. Жамцарано и А. Турунова, посвятивших свой труд исследованию правовых традиций монголов (1921) и др. В эволюционистском духе была написана и работа по истории скифов С.А. Семенова-Зусера (1931).

Нельзя сказать, что идеи отечественных ученых строго соответствовали классическому эволюционизму и тем более его модификациям начала XX в., но находились в их русле. Поэтому влияние эволюционизма было скорее опосредованным. Конечно, стоит упомянуть и о том, что среди кочевниковедов не все ученые опирались на эволюционистскую теорию. В качестве примера достаточно назвать известных русских ориенталистов В.В. Бартольда и Б.Я. Владимирцова.

Эволюционизм обращался к широкому кругу вопросов. В археологии он служил важной опорой не столько для палеосоциологических исследований, сколько для изучения на основе анализа вещей и целых комплексов культурно-генетических процессов, этнической атрибуции, особенно-

стей погребальной обрядности и пр. Да и социальные аспекты в археологических работах 1920-х гг. звучали редко. Многие археологи этого времени избегали социальных интерпретаций, ограничиваясь при описании результатов полевых исследований фиксацией «богатых» («княжеских»), «рядовых» («бедных») погребений (Боровка Г.И., 1927; Руденко С.И., Глухов А.Н., 1927; Грязнов М.П., 1928; Гольмстен В.В., 1929; Граков Б.Н., 1929; Киселев С.В., 1929; Кривцова-Гракова О.А., 1929; и др.). Даже по поводу раскопок хуннских курганов, включая элитные памятники Ноин-Улы, сохранилось краткое замечание С.А. Теплоухова (1925, с. 22) о том, что «ноин-улинские погребения принадлежат, по-видимому, знатым лицам, судя по грандиозности обнаруженного погребального инвентаря...»

Исключений было не так много. В основном они связаны с исследованиями материалов скифских и сарматских памятников и анализом письменных источников о скифах. Так, М.И. Ростовцев и Ю.В. Готье попытались дать описание социально-политической организации Скифии и развивали идеи о ее близости общественно-политическим институтам Хазарии и Золотой Орды. В частности, к проблемам развития Скифии в своей знаменитой книге «Скифия и Боспор» обратился М.И. Ростовцев. К сожалению, опубликована была только первая часть этого фундаментального труда (Ростовцев М.И., 1925). Только в 1980-е гг. В.Ю. Зуевым в ЦГИА в фонде М.И. Ростовцева были обнаружены рукописи 3-х глав (II, части V и VI), анализ которых позволил В.Ю. Зуеву сделать вывод о том, что они являются продолжением книги «Скифия и Боспор» (Зуев В.Ю., 1989, с. 209). Уцелевший отрывок главы V посвящался государству, социальному и экономическому строю скифов.

Характеризуя социальный строй «скифской державы» как «аристократический», М.И. Ростовцев считал, что «государственная организация скифов предполагает существование особого военного класса населения, т.е. особой военно-организованной аристократии». Социальная структура скифского государства включала, по его представлениям, несколько компонентов: 1) главный царь, подчиненные ему цари 3-х царств, номархи и аристократия царских скифов; 2) остальная часть царских скифов, которая группировалась вокруг аристократических лидеров в дружины и являлась для основного населения Скифии таким же господствующим классом скифов-завоевателей; 3) аристократия скифов-кочевников; 4) скифы-земледельцы с господствующим классом либо из местной аристократии, либо из аристократии скифов царских; 5) не скифские племена, живущие за днепровскими порогами, во главе с местной аристократией, подавляемой влиянием скифской культуры; 6) подневольное и зависимое население в среде скифов царских, положение которого не конкретизировалось (Ростовцев М.И., 1989, с. 204–206).

Обращает на себя внимание тот факт, что в ранней публикации «Эллинизм и иранство на юге России» М.И. Ростовцев более определенно высказался в пользу феодального характера скифского общества. Не случайно в качестве «подневольных» людей, выполнявших «черную работу» в хозяйствах царей, князей и дружинников, он видел рабов и «крепостных» (Ростовцев М.И., 1918, с. 38). Даже в обложении данью, по мнению скифолога, сохранялся военно-иерархический, «феодальный» принцип: те или иные земли с оседлым населением уплачивали дань своим сюзеренам – различным скифским князьям и династам (Ростовцев М.И., 1918, с. 39). «Аристократическая» трактовка Скифии также предполагала иерархию аристократии, наличие подневольного населения у царских скифов и зависимых от аристократов разного уровня данников (Ростовцев М.И., 1989, с. 204–205).

Согласно концепции исследователя, «монархическое феодальное государство» было и у сарматов, так как имелись «цари» и «скептухи» (знать). От скифов сарматов отличала большая децентрализованность социально-политической жизни (Ростовцев М.И., 1989, с. 129; 1993, с. 94). По-видимому, подобный подход к кочевой государственности характерен для М. И. Ростовцева в целом. «Военно-феодальные» или «аристократические» общества скифов и сарматов он считал схожими с «хазарской державой» и «татарской Золотой Ордой» (Ростовцев М.И., 1918, с. 38; 1989, с. 204).

Весьма близок к мнению М.И. Ростовцева другой известный русский ученый – Ю.В. Готье. Вслед за М.И. Ростовцевым он указывал на тождественность типа общественной структуры Скифии, с одной стороны, и Хазарского каганата и Золотой Орды – с другой. «Это господство кочевой орды, хорошо организованного конного войска, над остальными более слабыми... степняками» и «и над оседлым населением прилегающей к степи лесостепи» (Готье Ю.В., 1925, с. 247). Таким образом, М.И. Ростовцев и Ю.В. Готье первыми наметили пути сравнения кочевых обществ разных эпох и по существу первыми допускали вероятность аналогии социальных систем номадов древности и средневековья.

Ю.В. Готье на практике показал информационные возможности археологии, предположив, что различия скифских погребений отражают социальную структуру скифов. Он разделил скифские курганы по богатству инвентаря на три вида: «царские», «погребения вождей и вельмож», бедные погребения «подвластного» населения (Готье Ю.В., 1925, с. 247). Конечно, это скорее набросок стратификации общества, но и он уводил от двухмерного стереотипа («богатые» и «бедные» погребения = два основных слоя скифского социума), подчеркивал сложность общественного устройства Скифии. Интересно, что в типологии отсутствовали погребения среднего слоя кочевников, составлявшего основу «кочевой орды».

Столь же нетипичной для археологических работ данного периода была попытка анализа сарматских захоронений в районе поселка Нежинского (бывшего Оренбургского уезда), предпринятая Б.Н. Граковым. Сходство материальной культуры погребений сарматского времени натолкнуло исследователя на мысль о том, что речь должна идти об одной культуре и об одной этнической общности. Исходя из этого Б.Н. Граков не согласился с мнением М.И. Ростовцева, полагавшего, что сарматы являлись господствующим классом «наездников» над местным инородческим населением. «Приходится говорить не о господстве сарматов, а сплошном сарматском населении со сложной общественной градацией кочевого военного типа, отразившейся в богатстве погребений Прохоровки и Краснохолмского поселка и в бедности нежинских могил» (Граков Б.Н., 1929, с. 154). Различия во взглядах М.И. Ростовцева и Б.Н. Гракова скорее касались деталей. Их объединяет оценка сарматского общества как сложной социально-политической организации военного типа. Неясно, в каком социальном качестве у Б.Н. Гракова выступает «бедное» население. Если у М.И. Ростовцева это были зависимые данники иноэтничного происхождения, то Б.Н. Граков данный вопрос оставил открытым.

Важные аспекты оценки общественных отношений у кочевников звучали в общетеоретических трудах по социальной эволюции. Целая группа социологов и историков видела в кочевничестве особую линию социогенеза, в ходе которой кочевники, минуя рабовладельческую стадию, переходили от родового общества к сословному государству и/или феодализму, сохраняя родовые институты. Подобная концепция нашла отражение в обстоятельной монографии А.П. Чулошникова «Очерки по истории казак-киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других тюркских племен: Древнее время и средние века» (1924, с. 15, 26–30, 69–91, 198–203). Более определенно в пользу феодализма у кочевников высказался П. Кушнер (1926, с. 127–130, 147, 155, 213, 220–225) и ряд других исследователей. Однако дискуссия этих ученых со сторонниками родового строя у кочевников строилась сугубо на научной основе, во всяком случае до конца 1920-х гг.

К концу 1920-х гг. в исторических и археологических кочевниковедческих исследованиях наметились определенные изменения. Они были связаны со стремлением части ученых, как правило, представляющих уже советское поколение, более активно внедрять в науку марксистские принципы. Так, еще в середине 1920-х гг. некоторые ученые активно призывали к внедрению принципов историзма в археологические изыскания. Вторая половина 1920-х и первые годы 1930-х прошли в бурных дискуссиях о дальнейших путях развития археологии, необходимости перехода на позиции исторического материализма, методах систематизации археологического материала и других проблемах (Генинг В.Ф., 1982; Клейн Л.С., 1993; Марсадолов Л.С., 1996, с. 24; и др.). Также для кочевниковедческих исследований особенно важное значение имели дискуссии о предмете и методе археологии, теоретических основах социологии и ее соотношении с историческим материализмом и историей, общественно-экономических формаций и азиатском способе производства. В результате этих дискуссий в исторических изысканиях приоритетным становился марксистский социологический подход, трактовки которого были весьма различны. Так, необходимость изучения общественно-экономических формаций на основе археологических материалов отстаивалась сторонниками «истории материальной культуры» (В.И. Равдоникаса, С.В. Киселева, А.Я. Брюсова) в противовес, как они определяли, последователям «археологического вещеведения». Разделение двух направлений археологии увеличивалось потоком критики, обрушившейся на «буржуазное вещеведение» и «ползучий эмпиризм», якобы имевших место в дореволюционных и ряде послереволюционных исследований (подразумевались классические для археологии методы, прежде всего типологический). Положительные моменты в этой критике «перечеркивались» излишне нигилистическим отношением ко всему предшествующему отечественному опыту (Генинг В.Ф., 1982, с. 128–136; Клейн Л.С., 1993, с. 20).

Определение целей археологии, как восстановление по памятникам материальной культуры общественно-экономических формаций, сделало социальные реконструкции, а также разделы по

экономической и социально-политической истории, неотъемлемой частью археологических работ (Генинг В.Ф., 1982, с. 102–103; Пряхин А.Д., 1983, с. 76; Клейн Л.С., 1993, с. 18–19; Формозов А.А., 1995, с. 48–49, 52; Васютин С.А., 1998, с. 6; и др.).

В русле этих изменений понятно появление стадийного подхода к изучению древних обществ, одним из разработчиков которого был академик Н.Я. Марр (Цыб С.В., 1988; Алпатов В.М., 1991; Бабушкин А.П., Колмаков В.Б., Писаревский Н.П., 1994). Первоначально «теория стадийности» была выработана исследователем в рамках языкознания. Отводя языку роль надстройки общества, считалось, что смена «видов» производства, вызывая перемены в общественном строе, отображается в коллективном мышлении и соответственно в языковой структуре. Это в свою очередь позволяло заключить, что каждой социально-экономической формации соответствует специфичный языковой строй. Тем самым Н.Я. Марр и его единомышленники, в частности И.И. Мещанинов (1932) и В.В. Гольмстен (1933), распространили положения теории стадийности на изучение истории. Они исходили из представления, что процесс развития культуры обладает единством для всех районов Старого Света на начальных этапах становления человечества. Существующие различия в формах развития культуры выводились исследователями из неодинаковых условий и несходного характера их проявления, обуславливающих известную вариабельность в общем ходе развития (Бабушкин А.П., Колмаков В.Б., Писаревский Н.П., 1994, с. 34–36).

Эволюция в культуре (материальной, духовной), преобразования языка связывались Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым со стадийными трансформациями автохтонного населения. Популярность автохтонизма в отечественной археологии являлась реакцией на распространение в европейской науке миграционизма и диффузионизма, отвергавших традиции эволюционизма (Генинг В.Ф., 1982, с. 120–122; Клейн Л.С., 1993, с. 21). Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым любая «стадия» рассматривалась как универсальный этап в жизни народов одинакового культурного уровня. Этноним «скифы», согласно яфетической концепции Н.Я. Марра, имел два значения: тотемное и классовое. Первое связывалось Н.Я. Марром (1925, с. 302–303) с яфетическими языками, второе – с новым социальным статусом кочевников в Причерноморье.

Содержавшееся в теории стадийности рациональное зерно заключалось в попытке объяснения «внезапных качественных преобразований в культуре, внутренних источников развития, роли усовершенствования техники производства для всего социокультурного развития, отражение социальных отношений в материальной культуре...» (Клейн Л.С., 1993, с. 21). Но на практике следование данной концепции привело к довольно абсурдным выводам. В отношении кочевников это выразилось во мнении, что развитие кочевничества в степи прошло «кимерскую», «скифскую», «сарматскую» и «готскую» стадии (Писаревский Н.П., 1989, с. 75; Клейн Л.С., 1993, с. 21; Формозов А.А., 1995, с. 53). В этом духе написаны работы С.Н. Быковского «Яфетические предки славян – киммерийцы» и В.И. Равдоникаса «Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадийным развитием Северного Причерноморья» (1932).

В целом страна переживала крайне сложный и нестабильный период. Победа И. Сталина над своими оппонентами создавала условия для политического вмешательства в науку. Конец 1920-х – начало 1930-х гг. ознаменовались целой серией репрессивных кампаний. В 1929 г. развернулась борьба с инициативными краеведческими организациями. Затем последовало «Академическое дело», в ходе которого к следствию были привлечены десятки крупнейших отечественных ученых. В массовых репрессиях и разоблачительных кампаниях конца 1920-х – начала 1930-х гг. в той или иной степени пострадали многие выдающиеся ученые, изучавшие кочевников: С.И. Руденко, С.А. Теплоухов, М.П. Грязнов, А.А. Миллер, Ю.В. Готье, Г.И. Боровка, В.В. Бартольд, С.А. Городцов, Б.Н. Граков, Б.Э. Петри, Н.Н. Пальмов и др. (Матюшенко В.И., 1992, с. 56; Бурчинова О., 1992, с. 24–25; Нефедова Е.С., Переводчикова Е.В., Свиридов А.В., 1992, с. 7–8; Формозов А.А., 1995, с. 46–47, Китова Л.Ю., 2008, с. 17–18; и др.).

Давления и арестов коллег не выдержал В.В. Бартольд (ум. в 1930 г.), через год скорострительно скончался Б.Я. Владимирцов. Не менее трагичной была и судьба С.И. Руденко. Исследователя в рамках «Академического дела» обвинили в участии в контрреволюционной монархической организации «Всенародный Союз борьбы за освобождение России», который якобы возглавляли академики С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле и другие ученые. Летом 1930 г. С.И. Руденко был арестован. В то время как исследователь был осужден и отправлен в ГУЛАГ, в Русском музее в 1931 г. развернулась дискуссия о «руденковщине». В ее ходе своего коллегу и учителя осудили многие сподвижники Сергея Ивановича. В ГУЛАГе ученый работал сначала на лесозаготовках, а затем в отделении гидрологии

по проектированию каналов. Несмотря на то, что летом 1934 г. С.И. Руденко был досрочно освобожден, тем не менее еще в течение нескольких лет он работал в системе НКВД по вольному найму. Реабилитирован ученый с мировым именем был только в 1957 г. (Тишкин А.А., Шмидт О.Г., 2004, с. 24–27; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Шмидт О.Г., 2004; Китова Л.Ю., 2008, с. 17–18; и др.).

В конце 1933 г. по делу так называемой «Российской национальной партии» были арестованы М.П. Грязнов, С.А. Теплоухов, Ф.А. Фиельструп, А.А. Миллер и др. М.П. Грязнов в ходе следствия так и не признал себя виновным и не подписал ни одного протокола. С.А. Теплоухов, наоборот, вину признал, но после этого покончил с собой.

В научной среде установилась напряженная атмосфера. В 1931 г. было опубликовано известное письмо И.В. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция», в котором исподволь указывалось на прекращение любых дискуссий, в том числе и в исторической науке. В том же году была свернута дискуссия об азиатском способе производства. Стали появляться «направляющие» труды, такие как «Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о феодализме как общественной формации» А.Г. Пригожина (1930). В 1931 г. перестал существовать РАНИОН, серьезной реорганизации подвергся ГАИМК, сократился объем исследований (особенно в 1931–1932 гг.), а имевшиеся результаты не издавались, произошло падение интереса к конкретным материалам. Свернуты были целые направления исследований, такие как право и правовые традиции кочевых народов, религиозные доктрины номадов и др.

Удар не в последнюю очередь был нанесен и по сторонникам эволюционизма в кочевниковедении. Во-первых, эволюционизм был свойственен представителям дореволюционной школы, их ученикам, которые считались властью «пятой колонной». Более того, эволюционизм в целом и связанные с ним методы считались порождением «буржуазной науки». Во-вторых, сказалась связь кочевниковедов-эволюционистов (например, Б.Э. Петри и Н.Н. Пальмов) с краеведческим движением. Но главное – эволюционистские представления противоречили формационным идеям, в кочевниковедении они плохо согласовывались с необходимостью теоретического обоснования классовой борьбы с байством и другими «эксплуататорскими» общественными группами в Казахстане, Средней Азии, на Алтае, в Бурятии и у кочевников в целом. Не случайно, что в 1929–1930 гг. появляются социологические труды, которые напрямую были связаны с выполнением социального заказа – определения характера общественных отношений у кочевников. Итогом этих «изысканий», следовавших непосредственно за идеологическими установками, стало «обнаружение» у номадов средневековья и нового времени развитых «классовых феодальных отношений» (Кушнер П., 1929, с. 65–67, 97, 112; Логутов Н.А., 1929, с. 34–38, 40–43; Погорельский П., Батраков В., 1930, с. 38, 72–74, 135–140, 147–152, 177; и др.).

Следует отметить, что эволюционистские идеи сохраняли свое значение в трудах С.И. Руденко, М.П. Грязнова, Л.Н. Гумилева и ряда других ученых. На наш взгляд, эволюционизм, так же как и стадияльная теория, нашел отражение в концепции М.П. Грязнова (1939) о делении кочевников на «ранних» и «поздних». Более того, наряду с влиянием других методологических школ «эволюционистские проявления» присутствовали в исследованиях Г.Е. Маркова и А.М. Хазанова. Можно даже высказать гипотезу о том, что в СССР и постсоветской России в области изучения истории кочевников и кочевниковедческой археологии эволюционистская традиция в ее разных модификациях (включая различные инновационные формы, неэволюционистические теории) в конечном итоге не только составила серьезную конкуренцию формационным изысканиям, но и с конца 1960-х гг. стала выдвигаться (особенно в теоретических разработках) на передний план. К настоящему моменту неэволюционистский подход является одним из ведущих направлений в отечественном кочевниковедении (Н.Н. Крадин, Т.Д. Скрынникова, В.В. Трепавлов и др.), играя важную роль в трансформации методологических основ исследований российских ученых.

Трагические для отечественной науки и общества события рубежа 1920-х – 1930-х гг. не привели к полной ликвидации научных исследований в области истории и археологии кочевников. Проблемы социальных отношений у номадов разрабатывались сотрудниками бригады по истории кочевого скотоводства («бригады ИКС») сектора архаической формации ГАИМК в составе М.И. Артамонова, М.П. Грязнова, В.В. Гольмстен и Г.П. Сосновского. Велись исторические, археологические и этнографические исследования.

В 1931–1932 гг. развернулась дискуссия по вопросам общественного строя скифов между С.А. Семеновым-Зусером и В.И. Равдоникасом. Вслед за Н.Я. Марром С.А. Семенов-Зусер считал этноним скифы «условным» и «собирательным», за которым скрывался целый конгломерат разных

элементов, так как «кочевое племя» по мере роста населения дробилось на группы и образовывало небольшие общины. По мнению исследователя, подобной общиной у скифов являлся ном, тождественный «кости» у монголов, которых со скифами объединяли аналогии в общественном строе. С.А. Семенов-Зусер (1931, с. 15–16), опираясь на сведения Геродота и других античных писателей, пришел к выводу о том, что «родовая структура, вызванная состоянием производительных сил, сохраняет свою сущность..., изменяя и усложняя ее лишь в деталях, на века и тысячелетия». Судя по тексту, в качестве такой «детали» выступала растущая власть вождя, однако она в любом случае ограничивалась рамками родового общества (Семенов-Зусер С.А., 1931, с. 21–22). В том же духе трактовались сведения о наличии у скифов рабства. Ученый полагал, что рабовладение «отмечено у всех народов с родовой организацией и нисколько не нарушает основ общественного строя» (Семенов-Зусер С.А., 1931, с. 18–19).

Таким образом, различные объединения номадов от скифов до монголов изображались С.А. Семеновым-Зусером в статике, вне общественного прогресса. Подобный подход вызвал критику со стороны приверженцев стадийной трансформации социумов. Противоположная точка зрения была изложена В.И. Равдоникасом. Являясь поборником автохтонного принципа социокультурного развития, исследователь указывал, что если «в скифскую эпоху классов не существовало», то они возникли «в результате развития скифского общества... в сармато-готский период» (Равдоникас В.И., 1932, с. 58). В описании археологом скифов, стоявших «на стадии родоплеменного общества», не было и намека на первобытный характер их социальной системы, ибо они уже были знакомы «с резко выраженным усилением роли вождя и их дружины, с элементами рабства, с патриархальным строем семьи, ...с начинающейся имущественной дифференциацией» (Равдоникас В.И., 1932, с. 62).

В.И. Равдоникас (1932, с. 65–66) исключал рабовладельческий характер скифского объединения, солидаризируясь в этом вопросе с С.А. Семеновым-Зусером: «Рабы существовали, но как во всяком разлагающемся родовом обществе». Наличие этих же черт у сарматов не помешало ученому определить время господства сарматов в Северном Причерноморье как «эпоху феодализации» (Равдоникас В.И., 1932, с. 71, 78, 85–86). Результатом «феодализационного процесса» В.И. Равдоникас (1932, с. 87–88) считал «хазарскую державу», которая, по его мнению, возникла в VII в. как «объединение мелких феодальных и полуфеодальных образований Северного Кавказа и волго-донских степей».

В целом обозначившиеся в начале 1930-х гг. изменения ставили историков и археологов перед необходимостью вписать социальную историю номадов в пятичленную формационную концепцию, сложившуюся в общих чертах в 1933–1935 гг. Следует подчеркнуть, что этот процесс не был только инициативой «сверху». Многие исследователи были искренними сторонниками формационной методологии, реализация которой в отношении конкретных исторических обществ только начиналась. Марксизм привлекал ученых не только тем, что являлся господствующей идеологией, но и прежде всего универсальностью, как тогда предполагалось, своей методологии, возможностью упорядочить исторический процесс. Для исследователей многие из положений марксизма не казались «чем-то принципиально новым: признание диалектики развития, исторической обусловленности событий, очевидная материалистичность философских позиций» были характерны для «эволюционистов и позитивистов в археологии» (Матющенко В.И., 1992а, с. 19).

1.2. Утверждение сталинской версии марксистского учения о формациях и советское кочевниковедение середины 1930-х – начала 1940-х гг.

Большое влияние на социальную интерпретацию кочевнических материалов в археологии и формирование концепции исторического развития номадов оказали не только общетеоретические труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина, но и партийные установки, прозвучавшие в докладах и статьях И. Сталина и А. Жданова. В 1932 г., выступая на съезде аграрников, И. Сталин в порядке «творческого развития марксизма» высказал идею о «революции рабов», которая ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую эксплуатацию, ознаменовав тем самым переход к феодально-крепостническому строю.

В 1933 г. на партийных заседаниях и в научных учреждениях прошли совещания по проблемам изучения общественно-экономических формаций. Особое значение имели выступления на сессии Института истории Коммунистической академии при ЦИК СССР в память 50-летия смерти К. Маркса (23 марта 1933 г.). В частности, большой резонанс вызвал доклад А.Г. Пригожина «Карл

Маркс и проблема социально-экономических формаций». Также вопросы генезиса и содержательной характеристики феодальной формации обсуждались на пленуме ГАИМК (1933). Именно там прозвучал знаменитый доклад С.П. Толстова, вызвавший бурную дискуссию. Вопреки четкому разграничению в формационной концепции рабовладения и феодализма, ученый полагал, что у номадов средневековья и нового времени наряду с формированием феодализма сохранялось большое влияние рабовладельческих отношений (Толстов С.П., 1934).

По всей видимости, в контексте утверждения формационной теории в 1933–1935 гг. появилась целая серия публикаций по истории и археологии кочевников, посвященных апробации марксистской трактовки рабовладельческого и феодального обществ на конкретно-исторических материалах и определению формационного характера различных кочевых обществ в соответствии с пятичленной схемой. Так, аналогичный западноевропейскому феодализму общественный строй «нашел» у раннесредневековых кыргызов С.В. Киселев (1933). Для пропаганды идеи формирования феодализма у монголов в XIII в. был использован незавершенный труд авторитетного ученого – академика Б.Я. Владимирцова (1934), изданный через три года после его смерти, с внесенными в текст исследователя поправками. За существование феодализма у всех турецко-монгольских народов средневековья и последующего времени выступил Н.Н. Козьмин (1934). Также теорию о зарождении классовых отношений и феодализма в Тюркском каганате отстаивал А.Н. Бернштам (1934, 1935, 1935а, 1936). О рабовладельческом строе у скифов-кочевников писал А.П. Смирнов (1935). К этим публикациям стоит прибавить и указанный выше доклад С.П. Толстова (1934). Они, по существу, открыли собственно «марксистский» период в кочевниковедческой истории и археологии, определив пути ее развития на несколько последующих десятилетий.

Конечно, сейчас нельзя сказать, насколько выход этих публикаций планировался и «направлялся» руководителями советской науки, особенно на фоне практического отсутствия серьезных кочевниковедческих изданий в несколько предыдущих лет. Учитывая, что они появились незадолго до публикации «Краткого курса истории ВКП(б)», где теория пяти формаций была объявлена официальной исторической доктриной, труды Б.Я. Владимирцова, А.Н. Бернштама, Н.Н. Козьмина и др. должны были наглядно продемонстрировать поворот и этой отрасли советской исторической науки в сторону марксистской методологии.

Следует также подчеркнуть, что новый виток репрессий 1930-х гг. не прошел бесследно для кочевниковедения. Сложной была ситуация в большинстве научных учреждений. В 1938 г. сгинул в застенках НКВД Н.Н. Козьмин, в ГУЛАГ в том же году попал Л.Н. Гумилев. Попав в 1944 г. из лагеря на фронт, Л.Г. Гумилев смог «оправдаться» перед советской властью, после войны закончить исторический факультет ЛГУ, поступить в аспирантуру (откуда его, правда, отчислят в связи с травлей его матери А.А. Ахматовой), а в 1948 г. защитить кандидатскую диссертацию по истории тюркских каганатов (монография на основе материалов диссертации будет опубликована только через 20 лет). Затем в 1949 г. последовал новый арест и лагерная жизнь до 1956 г.

Наконец последнюю точку в трансформации советской исторической науки поставил «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938), где в IV главе излагалась «марксистско-ленинская» схема исторического процесса. Вслед за ним появилось постановление ЦК ВКП(б), содержавшее требование поднять «теоретический уровень» исторических исследований «в соответствии» с «Кратким курсом».

Таким образом, с середины 1930-х гг. этапы исторического развития рассматривались исключительно как социально-экономические формации, но при этом требовалась огромная работа по «детализации, конкретизации и развертыванию концепции, по ее приложению к разным регионам и материалам, ...по унификации понятийной сетки» (Клейн Л.С., 1993, с. 18–19).

Стоит уточнить, что сам К. Маркс не сформулировал жестко формационную концепцию, тем более не предполагал однолинейного развития человеческих сообществ. В разные периоды своего творчества К. Маркс писал об отсутствии на Востоке частной собственности в европейском понимании, о том, что для восточных обществ характерна деспотическая власть и прочная общинная организация, выделял несколько типов докапиталистических общин (азиатская, античная, германская), размышлял об особенностях социально-экономического устройства кочевников, которых он причислял к «азиатскому» типу общины, и пр. Гораздо более линейную теорию предложил Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», но она базировалась не на особенностях той или иной формации, а на иных понятиях («дикость», «варварство», «цивилизация»). Таким образом, творческое наследие К. Маркса и Ф. Энгельса было неоднозначным, наряду с

подробной характеристикой формаций, особенно детальной проработкой характеристик «капиталистической формации», оно предполагало альтернативность исторического развития, выявление особенностей разных обществ, несмотря на тенденцию к универсализации формационной теории в 1870–1880-х гг. (Крадин Н.Н., 1992, с. 19–26; Ким О.В., 2001, с. 31–34; и др.). Однако все эти «сомнения», не вписывающиеся в догматическую концепцию, соображения и отдельные высказывания классиков были отвергнуты при разработке «марксистско-ленинской теории исторического процесса». Одномерность, которая, несомненно, присутствовала в преимущественно политэкономической концепции К. Маркса, усиливалась упрощенным и вульгарным ее пониманием советским политическим руководством, изрядно трансформировавшим всю марксистскую теорию для решения конкретных социально-политических задач (достаточно назвать тезис И. Сталина об усилении классово-вой борьбы в период строительства социализма). Именно поэтому утвердившаяся в СССР в середине 1930-х гг. пятичленную схему мы условно вслед за другими исследователями (например, Н.Н. Крадин (2001/2002, с. 20) предложили называть ее «энгельсовско-сталинской схемой пяти формаций») называем «сталинской».

Несомненно, говоря о «марксистско-ленинской» методологии, следует иметь в виду, что ее применение к истории кочевников должно было породить массу проблем. Во-первых, формационное учение делало акцент на изучении вопросов социально-экономического развития, а в этом отношении кочевники представляли собой пример обществ, воспроизводящих экономические структуры, а не развивающих их. Все попытки доказать, что кочевая экономика и «производственные отношения» древних и средневековых кочевников существенно различались, потерпят в конечном итоге крах.

Во-вторых, классовый подход предполагал монополизацию собственности в руках господствующих классов и ее отсутствие у эксплуатируемых. Более того, в рамках «рабовладельческой» и «феодальной» формаций, как это представлялось марксистам, происходило тесное взаимодействие между эксплуататорами и несвободными/зависимыми. Но в условиях кочевого скотоводства даже по технологическим причинам (ограниченность пастбищных ресурсов) монополизация собственности (скота, земли, водных источников) невозможна. Нечего говорить о том, что подавляющая часть рядовых кочевников обладала собственностью, самостоятельно кочевала со своим скотом и никоим образом не выполняла никаких хозяйственных работ в доме или на пастбище «господина». Не случайно, что даже ярким сторонникам буквальной схожести «феодальных институтов» у земледельцев и кочевников не удавалось представить простых кочевников как безземельных или лично-зависимых держателей земли. Отсюда такое пристрастие советских кочевниковедов к поиску иных, но аналогичных по своей общественной роли земледельческим, форм «феодальной» зависимости. Только благодаря этому из книги в книгу «кочевала» концепция С.П. Толстова о саунных отношениях как формы феодальной эксплуатации, весьма, кстати, уязвимая с точки зрения классических канонов марксизма.

В-третьих, за проблемой классовой характеристики кочевых обществ стояла другая проблема – проблема становления у них государства. Нет классовой структуры – нет государства и узаконенного права на насилие. Отсюда целый список дополнительных оценочных моментов: «примитивное», «переходное», «данническое», «складывающиеся», «не доросшее до зрелых форм», «зачаточное» и т.д. государство.

Своим утверждением марксизм привнес в кочевниковедение не только догму о пяти формациях, но и утвердил господство европоцентризма (присутствовал еще в эволюционизме) в оценке социальных систем неевропейских народов. Следствием этого стала упрощенность и запрограммированность положений, строившихся на сравнительном анализе. Стоило только зафиксировать два–три социальных института, внешне похожих на структуры, существовавшие в Европе, и следовали категорические заявления о «рабовладельческой» или «феодальной» формации. Специфика развития обычно отражалась в словах: «полуфеодальный», «переходный», «патриархальный». Не избежали этого и многие кочевниковеды, такие как С.В. Киселев, А.Н. Бернштам, М.И. Артамонов, С.П. Толстов, А.Ю. Якубовский и др. «Молодые кадры археологов, не имея прочной фундаментальной подготовки, восприняли марксизм без должной серьезности, отдав предпочтение очевидным схемам без наполнения их живой тканью исторического материала» (Матющенко В.И., 1992а, с. 19).

В то же время было бы несомненным преувеличением говорить о том, что все советские кочевниковеды без отступлений следовали «сталинской» трактовке теории формаций. В развернувшихся дискуссиях ученые нередко по-разному определяли формационный уровень развития конкретных кочевых обществ. К примеру, скифское общество трактовалось одними исследо-

вателями как рабовладельческое (С.П. Толстов, А.П. Смирнов), другими – как родовое (С.А. Семенов-Зусер, В.И. Равдоникас).

Остановимся подробнее на этой дискуссии, учитывая ее показательный характер. В уже упоминавшемся выступлении С.П. Толстова на сессии ГАИМК в июне 1933 г. он затронул ряд проблем социальной истории древнего кочевничества. Благодаря С.П. Толстову дискуссия об общественном строе скифов получила новый импульс, так как исследователь попытался дать развернутую характеристику рабовладения у скифов. Ему было «совершенно ясно», что социальная система скифов «чрезвычайно дифференцирована», так как на одном ее полюсе находилась немногочисленная аристократия, владевшая огромным количеством скота (сопроводительные захоронения животных), на другом – основная масса бедноты, среди которых немало безлошадных кочевников. Базой для такой дифференциации, как допускал исследователь, могло быть широкое распространение рабства в хозяйствах аристократии, где рабы пасли скот, доили кобылиц и приготавливали молочные продукты (Толстов С.П., 1934, с. 167–168). В представлениях ученого рабовладельческий облик Скифии вполне сочетался с родоплеменным делением скифов и сохранением соответствующих традиций, которые интерпретировались С.П. Толстовым как трансформировавшиеся «пережитки», подчиненные интересам господствующего класса. Политическая организация скифов рисовалась автором в виде «патриархальной монархии, власти «царей» и «номархов», противостоящих массе народа и опирающихся на силу вооруженных дружин» (Толстов С.П., 1934, с. 168).

Попытка С.П. Толстова (1935, с. 205–206) описать генезис рабовладельческих отношений привела его к необходимости разработки понятия «военная демократия», которая рассматривалась им как «форма диктатуры классов становящихся рабовладельцев над становящимися рабами». Весь ход рассуждений исследователя вел к следующему выводу, что общество эпохи военной демократии и доклассовое, и классовое одновременно. «Оно доклассовое, родовое, поскольку род и племя... все же остаются основными структурными единицами общества. ...Оно классовое, рабовладельческое, так как рабовладельцы и рабы стали ведущими звеньями общественного деления, а борьба становящихся рабовладельцев и становящихся рабов... – движущей силой исторического процесса» (Толстов С.П., 1935, с. 206).

Понимая расплывчатость такого определения, С.П. Толстов конкретизировал свою характеристику скифского и других номадных обществ. Он писал, что «варварские племена кочевников от скифов до турок выступали в двойственной роли». Как полагал ученый, они были, с одной стороны, варварской периферией античных центров, с другой – эти «примитивно рабовладельческие объединения» противостояли огромному миру еще более варварских народов, «повторяя в отношениях с ними свои собственные отношения с рабовладельческими империями». В этом, по мнению С.П. Толстова, крылась причина того, что у номадов древности военно-демократическая организация не являлась «переходной к высшей стадии рабовладения», а была «устойчивой» и «постоянно воспроизводящейся формой». В истории данная «цикличность» находила подтверждение в постоянной смене господствующих групп: периферийные народы в ходе «революции рабов» уничтожали власть господствующих рабовладельцев (сарматы против скифов) и создавали свои объединения по подобию их бывших противников (Толстов С.П., 1935, с. 214–215). По мнению С.П. Толстова (1934, с. 185–186), у кочевников некоторые объединения вступали в стадию рабовладения не только позже других, но и находились на этом уровне в течение тысячелетий, как, например, туркмены.

Концепция С.П. Толстова получила дальнейшее развитие в работе А.П. Смирнова «Рабовладельческий строй у скифов-кочевников». Задачу своего исследования ученый определил как «постановку вопроса о рабовладении у скифов, без широкого освещения исторического процесса у племен, обитавших в степях Причерноморья» (Смирнов А.П., 1935, с. 5). Его позиция строилась на аналогиях в «исторической обстановке» Северного Причерноморья и Средиземноморья («античная формация» в Греции и Риме) и утверждении, что рабовладельческую стадию проходят в своем развитии все народы (Смирнов А.П., 1935, с. 6). А.П. Смирнов (1935, с. 10) доказывал, что, так как у скифов «можно найти производство, рассчитанное на обмен», их общество уже превратилось в рабовладельческое и не было патриархальным.

Подчеркивая «ошибочность» взглядов С.А. Семенова-Зусера и В.И. Равдоникаса, ученый указывал на то, что они акцентировали внимание только на внешних признаках (племенное деление, совещание вождей родов и племенные собрания, культ предков), не учитывая, что в «новой обстановке классового общества такие пережитки исполняют новую социальную функцию вуалирования классовых отношений» (Смирнов А.П., 1935, с. 14). Возражая против ограниченных возможностей

применения рабского труда в скотоводческом хозяйстве скифов из-за «калечения» и ослепления, исследователь допускал, что скифы не ослепляли всех своих рабов, а тем самым сферы их использования были достаточно широки. Самым же «странным» А.П. Смирнов считал мнение В.И. Равдоникаса о «классовой борьбе в доклассовом обществе». Трактровка В.И. Равдоникасом сообщения Геродота о столкновении вернувшихся из Азии скифов с потомками рабов и скифянок как «восстания» и «классовой борьбы», согласно А.П. Смирнову (1935, с. 17–18), противоречила характеристике скифского общества как родового. Построив первую часть доказательств на гипотезах и критике позиций своих оппонентов, А.П. Смирнов обратился к анализу археологических материалов. Как считал ученый, данные археологии согласовывались с классовой характеристикой скифского общества. Подтверждение собственной точке зрения исследователь видел в сосуществовании «культур скорченных костяков и скифской». Он был убежден, что уже «архаические погребения» на Кубани (Келермесские и Ульские курганы) «рисуют нам скифов-кочевников, применявших... труд рабов», в захоронениях которых вещи или отсутствовали вообще, или их клали в небольшом количестве (Смирнов А.П., 1935, с. 27).

Трансформация скифского общества связывалась исследователем с торговыми отношениями между скифской знатью и пантикапейской аристократией, что привело к смене «производства, основанного на патриархальном рабстве, на производство, ориентированное на обмен». Данный процесс, как подчеркивал А.П. Смирнов, хорошо характеризовали сведения Геродота о выращивании хлеба скифами-пахарями для продажи. Экспорт хлеба и рабов через греческие колонии обогащал скифскую аристократию, все больше поддававшуюся влиянию греческой культуры (сообщения об Анахарсисе и Скиле, обилие греческих вещей в богатых скифских погребениях, греческое влияние в скифском искусстве). Эти факты позволили А.П. Смирнову (1935, с. 28–31) сделать вывод, что в степях Северного Причерноморья в V–IV вв. существовало классовое общество.

Однако аргументы С.П. Толстова и А.П. Смирнова не убедили других исследователей. В.И. Равдоникас (1936, с. 537–538) и С.А. Семенов-Зусер (1947, с. 110, 150–153) продолжали характеризовать скифское общество как родовое. К этой оценке склонялся и М.И. Артамонов. Он считал, что рабство у скифов появилось очень рано, но оно не выходило за пределы домашнего. Социально-политическая система Скифии трактовалась ученым как военная демократия (Артамонов М.И., 1939, с. 127). На доклассовом характере кочевых обществ VII–III вв. до н.э. настаивали М.П. Грязнов (1937, с. 7; 1939; 1940, с. 17–18), Г.П. Сосновский (1940, с. 42) и др. А.Н. Бернштам (1935, с. 164–165; 1940, с. 57; 1940а, с. 15–26, 36; 1941, с. 45–46; 1941а, с. 31) социально-политический строй хунну, а также усуней считал военно-демократическим, полагая, что рабовладение было характерно только для аристократии.

В целом номады до эпохи средневековья чаще всего определялись как находящиеся на стадии «военной демократии», «военно-демократического строя» (некоторыми учеными эта стадия считалась пределом общественно-политического развития кочевников). Данную точку зрения в отношении кочевых объединений скифской и хунно-сяньбийской (гунно-сарматской) эпох отстаивали М.П. Грязнов, Г.П. Сосновский, М.И. Артамонов, А.Н. Бернштам и др. По всей видимости, не были выработаны и критерии четкой дифференциации между «родовыми обществами», социумами на стадии «разложения рода», военно-демократическими объединениями. Нередко под «военной демократией» подразумевались все переходные формы, особенно если учесть, что в марксистской концепции военно-демократические структуры рассматривались как предшествовавшие и рабовладению, и феодализму.

В исследовательской практике стала использоваться менее догматизированная стадияльная схема деления кочевников на «ранних» и «поздних» (ученые даже отмечают, что «пятичленка» быстро себя дискредитировала, так как выработанные преимущественно на европейском материале характеристики формаций оказались малоприменимы к номадам (см.: Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 13)). Тем не менее влияние формационной теории на эти разработки было довольно существенным (см.: Марсадолов Л.С., 1996, с. 26). Не случайно, что впервые данная идея была высказана в коллективном труде, написанном на основе установок «Краткого курса ВКП(б)» – макете «Истории СССР с древнейших времен до образования Древнерусского государства». Собственно говоря, в этом издании 1939 г. М.П. Грязнов предложил выделить в истории Западной Сибири и Казахстана с VII в. до н.э. по I в. н.э. «эпоху ранних кочевников» (в дальнейшем территориальные рамки понятия распространились на весь степной пояс Евразии, а хронологически некоторые специалисты доводили «эпоху ранних кочевников» до середины I тыс. н.э.). Начало данной «эпохи» в

концепции М.П. Грязнова было связано с переходом к кочевому скотоводству, что послужило причиной изменения всех сторон жизни обществ аридной зоны. Они охватили не только хозяйственную сферу, материальную культуру, но и социально-политическую структуру общества. В этом отношении «эпоха ранних кочевников» – это период военной демократии (Грязнов М.П., 1939).

Что касается «поздних» кочевников, то под таким термином понимали в основном кочевников средневековья и связывали с этим периодом генезис и установление феодального строя. Хотя стоит заметить, что, в отличие от «ранних» кочевников, мы не найдем ни у М.П. Грязнова, ни у других авторов обстоятельной разработки дефиниции «поздние кочевники».

Наряду с марксистскими формационными оценками идея деления на «ранних» и «поздних» нашла отражение в целом ряде обобщающих трудов, таких как «История Бурятской АССР» (1954 г.), «История Узбекской ССР» (1955), «Всемирная история» (1956. Т. II), «Очерки истории СССР» (1956), «История Казахской ССР» (1957. Т. I), «История Киргизии» (1957), «История Туркменской ССР» (1957), «История Сибири» (1968. Т. I) и др. (Васютин С.А., 1998а, с. 68–69; Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 14).

Это, конечно, не означало, что в работах советских кочевниковедов формационная теория отошла на второй план. Вопросы становления классового общества у кочевников, особенности рабовладения и феодализма, формы собственности и эксплуатации у кочевников обсуждались достаточно интенсивно. Но важным являлось то, что концепцией «ранних» кочевников М.П. Грязнов обозначил в некотором смысле альтернативную исследовательскую стратегию. Так будет и позднее, когда советское кочевниковедение в целом будет оставаться на догматических позициях, но отдельные исследователи станут активно участвовать в обсуждении новых понятий и подходов и даже выработать самостоятельные теории общественного развития кочевников (С.Е. Толыбеков, Л.Н. Гумилев, Г.Е. Марков, А.М. Хазанов, Н.Э. Масанов и др.).

На рубеже 1930–1940-х гг. начали свою работу несколько комплексных и специальных экспедиций – «Саяно-Алтайская», «Южноуральская», «Киргизская», «Хорезмская», «Северо-Кавказская», «Куйбышевская», «Семиреченская», «Казахстанская» и др. Стали сказываться преимущества централизованной научной системы и рост объемов финансирования археологических работ. Исследованиями были охвачены многие районы страны, где изучались десятки кочевнических памятников (Гольмстен В.В., 1941; Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941; Киселев С.В., 1941; Иессен А.А., 1941; Миллер А.А., 1941; Сосновский Г.П., 1941; и др.). Пополнение источниковой базы поставило перед учеными задачу систематизировать полученные материалы, дать им историческую характеристику, конкретизировать представления об общественном развитии местного населения в контексте формационной модели.

Почти исключительно как феодальные (при наличии элементов других общественных эпох, например, рабовладения) определялись социальные системы средневековых кочевников. Основопологающими моментами таких взглядов являлись представления о классовом расслоении, «феодальной» структуре общества, «феодальной земельной собственности», «феодальных» формах эксплуатации, «крепостном» состоянии рядовых кочевников, родоплеменных традициях как «пережитках» предшествующих социальных эпох, используемых «феодалами» для эксплуатации сородичей и пр. (Потапов Л.П., 1933, с. 14, 37–43, 57, 65–69, 75–76, 78, 94, 96–99; Толстов С.П., 1934, с. 174, 186, 188–191, 214; Владимирцов Б.Я., 1934, с. 62, 64–65, 73–74, 92–96, 100 и сл.; Козьмин Н.Н., 1934, с. 14, 23, 73; 1934а, с. 270, 276; Бернштам А.Н., 1935, с. 7, 12–16, 20–21; 1935а, с. 47–48; 1941а, с. 54; Асфендиаров С.Д., 1935, с. 19, 26, 38, 45–47, 52–53, 90–92; Токарев С.А., 1936, с. 30–32, 38, 42–47, 50–54, 90; и др.). Однако ряд ученых не поддержали данные положения. В частности, Е.Л. Штейнберг (1934, с. 9, 12–13, 15, 21–22) сохраняла приверженность традициям эволюционизма, рассматривая кочевое скотоводство как определенную стадию, которой наиболее соответствовал патриархально-родовой строй. Преждевременным считал пока ставить вопрос о существовании феодализма у «бурят-монголов» XVII–XVIII вв. А.П. Окладников (1937, с. 314–315, 318, 322, 325–328, 336–340, 347–348, 350–352), так как, несмотря на выявляемую социальную дифференциацию, решающее значение имели сохранившиеся у бурят родовые институты.

Также следует отметить, что советским ученым часто приходилось констатировать «переходность» кочевых обществ, наличие так называемых «родовых пережитков» (Л.П. Потапов, С.П. Толстов, С.А. Токарев, А.Н. Бернштам и др.). Нередко в идею о пережитках вкладывался разный смысл. А.П. Окладников, к примеру, писал о них скорее в соответствии с эволюционистской традицией. Одновременно с этим сторонники существования у кочевников феодальных отношений

стремились представить «пережитки» как утрачивающие свое значение социальные явления. В этом случае проявлялось желание ученых отрицать специфику кочевых обществ и руководствоваться универсалиями формационной схемы.

Наиболее последовательно идею феодализма, как социальной основы большой хронологической эпохи, отстаивал А.Ю. Якубовский в написанной совместно с Б.Д. Грековым работе «Золотая Орда». По существу данное исследование являлось первым монографическим изданием по проблемам социального развития «Золотой Орды» в послереволюционное время. Его авторы опирались на уже «сложившуюся» традицию марксистских оценок общественного строя средневековых кочевников. Не случайно, что А.Ю. Якубовский поддержал как теорию «кочевого феодализма», так и концепцию существования у номадов практически классических феодальных отношений. В соответствии с этими подходами А.Ю. Якубовский воспринимал феодализм как явление, охватившее все народы и объединения вне зависимости от их индивидуального развития. К разряду живших «в системе ранних стадий феодального общества» он отнес «кочевое» государство половцев», объединения половцев, гузов, «черных клябуков», печенегов и других номадов (Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., 1937, с. 12, 23). Среди факторов феодализации ученый назвал процесс оседания, активное занятие номадов торговлей рабами, продуктами сельского хозяйства, транзитными сделками (Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., 1937, с. 23). Развитие у монголов Золотой Орды «феодализма» рассматривалось археологом как закономерный результат предшествующей социальной эволюции номадов. Такой подход стал традиционен для отечественных ученых в советский период. А.Ю. Якубовский полагал, что уже в начале XIII в. родовые институты монголов являлись только «старой оболочкой», в которой действовали «новые классовые (феодальные) отношения». В духе Б.Я. Владимирцова давалось и описание организации «монгольского феодального государства», во главе которого стоял род Чингисхана. По мнению исследователя, отдельные части государства распределялись между членами золотого рода, которым в свою очередь подчинялись «все кочующие на данной территории нойоны со своими нукерами, феодально зависимыми аилами и рабами» (Якубовский А.Ю., 1936, с. 294, 297; Греков, Якубовский А.Ю., 1937, с. 27–28, 34). Подобная структура, по словам автора, повторялась в каждом из оформившихся в XIII в. самостоятельных улусов, в частности в улусе дома Джучи – Золотой Орде (Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., 1937, с. 75).

Вслед за Б.Я. Владимирцовым А.Ю. Якубовский основной социально-экономической единицей золотоордынского общества считал кочевую семью, которая индивидуально вела свое хозяйство и несла различные службы и повинности по отношению к своим господам и государству (Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., 1937, с. 76). Привилегированное положение принадлежало «кыпчако-монгольской феодальной аристократии», которая занимала высшие гражданские и военные должности и получала от хана «суюргали» (ленные наследственные владения) и тарханские ярлыки, освобождавшие от уплаты налогов (Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., 1937, с. 83, 102–103, 106). Одним из самых важных было заключение исследователя о том, что Золотую Орду ни в коей мере нельзя назвать только кочевым государством. А.Ю. Якубовский был, пожалуй, первым из отечественных ученых, кто не просто обратил внимание на роль города в кочевом государстве, но и смог показать, как функционирование городской жизни становится ключевым звеном социально-экономического развития державы номадов (Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., 1937, с. 81).

Необходимо признать, что существование как у древних, так и у средневековых номадов, а также у кочевников нового времени родоплеменной системы довольно сильно мешало реализации формационной теории на кочевнических материалах. К тому же в консолидированных клановыми традициями номадных социумах гораздо труднее было выявить конкретные формы классовых противоречий. Еще одной важной теоретической проблемой было отсутствие единого подхода к хронологическим границам, отделявшим, например, «родовой строй» от рабовладения или военную демократию от феодализма. Не менее остро стоял вопрос о государственности у кочевников. Для номадных объединений постскифского времени в 1930-е гг. он часто решался положительно. Здесь, пожалуй, стоит учесть, что объектом интереса исследователей чаще всего были наиболее развитые и сложные образования номадов, такие как держава Хунну, тюркские каганаты, Монгольская империя, Золотая Орда. Материалы же по археологии и истории саков, усуней, огузов, половцев ставили авторов перед необходимостью констатировать архаичность социально-политической организации, ее децентрализованность и неустойчивость исторического развития (Васютин С.А., 1998а, с. 46).

Общей чертой археологических исследований этого периода была незначительная роль анализа конкретных материалов, преобладание общих оценок и рассуждений. В археологии сказывалось

отсутствие специальных методик, направленных на выявление социальной стратификации. Только в работе бригады ИКС наметилась тенденция к использованию археологических данных в палеосоциологическом анализе, но судить о самой процедуре данных реконструкций сложно в связи с тем, что значительная часть трудов этого коллектива была не опубликована. Большинство ученых ограничивались констатацией существования «богатых» и «рядовых» захоронений с интерпретацией первых как «княжеских», «аристократических». Как положительный пример работы с источниками можно привести исследования М.П. Грязнова, А.Ю. Якубовского, А.Н. Бернштама, С.В. Киселева и др.

В целом с середины 1930-х гг. формационная характеристика социального развития кочевничества стала не только преобладающей, но и даже в каком-то смысле обязательной для работ по археологии и истории номадов. Тем самым этот короткий временной отрезок стал важной вехой в истории отечественного кочевниковедения и заложил основы подхода «советской» школы к оценке социальных институтов у кочевников. При накоплении и осмыслении новых материалов стали апробироваться разные методики изучения социальной структуры древних обществ и интерпретации письменных данных, что особенно стало заметно в послевоенный период.

1.3. Формационная теория в исследованиях социально-политических структур номадов второй половины 1940-х – середины 1960-х гг.: интерпретации, концепции, проблемы применения

С начала послевоенного периода и до середины 1960-х гг., помимо конкретных исследований, фундаментальное значение для изучения социально-политической организации номадов имели несколько важных моментов. Во-первых, судьбу науки в СССР нельзя отделить от тех тенденций, которые были характерны для развития страны в это двадцатилетие (условно 1949–1965 гг.). Возвращение к политике репрессий после великой победы блокировало интерес к заманчивому, но опасному теоретическому знанию. Наглядный пример связан с вмешательством в конце 1940-х гг. И. Сталина в проблемы языкознания и с его критикой концепции Н.Я. Марра. Это привело к буквальному замешательству в научном сообществе. От идей Н.Я. Марра и цитат из его произведений стремились избавиться. Так, С.В. Киселеву пришлось уточнить ряд положений в своем фундаментальном труде «Древняя история Южной Сибири» (первое издание 1949 г.) и через два года переиздать его в новой редакции.

Последовавшая после смерти И. Сталина «оттепель» существенно повлияла на изменение атмосферы в научных кругах. Творческая свобода, пусть и в пределах дозволенного партией, была важнейшим импульсом для развития научных знаний, обсуждаемости и критики выводов, их верификации, дискуссий, пересмотра оценок и трактовок событий российской и мировой истории и т.д. Советская историческая наука пережила целый ряд таких дискуссий, которые как бы продолжали неоконченные дискурсы 1920-х гг. или были следствием возникавших, но не поднимавшихся открыто в годы репрессий вопросов, связанных с применением формационной теории к истории разных народов и регионов мира. Конечно, «поле» дискуссий было ограничено «марксистско-ленинской теорией исторического процесса» и марксистским подходом в целом, пусть и в более широком понимании, чем в материалах «Краткого курса истории ВКП(б)». Иного и не могло быть, поскольку вряд ли подавляющая часть историков, археологов, этнографов задумывались о необходимости существенной ревизии «сталинской» формационной теории. Речь больше шла об открытой возможности саморефлексии научного сообщества, о праве отстаивать собственную точку зрения. Правда, чаще всего практически в полном соответствии со средневековым схоластическим подходом ученые вынуждены были апеллировать к цитатам «классиков» и доказывать, что их мнение больше соответствует идеям «советской патристики».

Важно также учесть, что десятилетие между XX съездом КПСС и вынужденной отставкой Н.С. Хрущева было временем заметного прогресса в разных сферах жизни, споров «физиков и лириков» поколения шестидесятников, рождения самых разных надежд, что сформировало как во всей стране, так и особенно в научных центрах иную социальную среду, более свободную и критически настроенную. Полагаем, что, наряду с другими факторами, общественные изменения данного периода повлияли на развитие различных направлений исторических исследований, создавали условия для будущих достижений наиболее плодотворного периода советского кочевниковедения конца 1960–1980-х гг.

В конце 1940-х – середине 1960-х гг. велась дальнейшая проработка формационной схемы, которая вызвала длительную дискуссию о патриархально-феодальных отношениях. Термин «патриархально-феодальные отношения» довольно часто встречался в работах ученых 1930-х гг., но только во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. ему стали придавать вид обобщающей характеристики, что и вызвало дискуссию среди отечественных специалистов по истории кочевников. В центре дискуссии стоял вопрос о характере собственности и уровне развития феодализма у кочевников (Потапов Л.П., 1947, с. 66–69; 1948а, с. 3–29; Батраков В.С., 1947, с. 433–446; Дулов В.И., 1951, с. 76; 1956, с. 167–177; Толыбеков С.Е., 1951, с. 66–90; Шахматов В.Ф., 1951, с. 18–36; Юшков С.В., 1951, с. 59–68; Зиманов С.З., 1952, с. 94–103; и др.). Один из ключевых вопросов, остро звучавший в дискуссии, – что является непосредственным объектом собственности у кочевников, земля или скот?

Столкновение различных точек зрения произошло на научной сессии в Ташкенте в 1954 г., посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период (Потапов Л.П., 1955, с. 17–42; Ильясов С.И., 1955, с. 43–49; Шахматов В.Ф., 1955, с. 50–59; Материалы объединенной..., 1955, с. 60–134, 136, 138, 572–573, 582). Открывавший сессию доклад Л.П. Потапова «О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана» развивал идеи Б.Я. Владимирцова. В своем выступлении Л.П. Потапов еще раз обозначил канонизированную позицию. По его мнению, у кочевников средневековья и нового времени существовали развитые формы феодализма и феодальной собственности на землю, которая, облеченная внешне в родовые формы, выражалась в монопольном распоряжении аристократией кочевьями и пастбищами (Потапов Л.П., 1955, с. 37, 40–43).

Иная точка зрения была выражена в докладах С.И. Ильясова «О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Киргизии» и В.Ф. Шахматова «О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Казахстана». Оба автора подчеркивали, что источники не сообщают о существовании у кочевников частной собственности на землю. Основой патриархально-феодальных отношений у кочевников, как считали исследователи, была собственность на скот. Именно обладание большими стадами создавало условия для эксплуатации бедных кочевников через саунные и другие формы (Ильясов С.И., 1955, с. 47–49; Шахматов В.Ф., 1955, с. 53–59). Эти соображения поддержал С.Е. Толыбеков, который заявил, что скот выступает у кочевников в роли средства труда, тогда как земля – лишь предмет труда (Материалы объединенной..., 1955, с. 62–66). Затем последовали критические выступления против идей С.И. Ильясова, В.Ф. Шахматова и С.Е. Толыбекова. Причем последнему доставалось больше всего. Председатель сессии даже его фамилию называл неверно. Заключительное решение полностью отражало точку зрения Л.П. Потапова и его сторонников. В нем, в частности, отмечалось, что в основе производственных отношений у кочевников, так же как и у земледельцев, лежит собственность на землю, ибо без земли невозможно ведение скотоводческого хозяйства (Материалы объединенной..., 1955, с. 572–573, 582).

Дискуссия продолжилась на страницах журнала «Вопросы истории» (Потапов Л.П., 1954, с. 73–89; Толыбеков С.Е., 1955, с. 75–83; Златкин И.Я., 1955, с. 72–80; Першиц А.И., 1955, с. 71–75; О патриархально-феодальных отношениях..., 1956, с. 75–79), но компромисс не был достигнут, обозначив сущность расхождений – признавать или нет и в какой степени специфику общественного развития кочевников. Против ортодоксальной точки зрения, приравнивавшей объекты феодальной собственности у земледельцев и кочевников, выступил С.Е. Толыбеков. Он отметил, что у кочевников труд применяется к животным, а земля лишь в качестве сопутствующего природного условия производства. Логичным было его утверждение о том, что социальная дифференциация в кочевых обществах определялась количеством скота, а частная собственность на скот и была средством эксплуатации рядовых кочевников богатыми скотовладельцами (Толыбеков С.Е., 1955, с. 76, 80–81). Оппоненты (Л.П. Потапов, И.Я. Златкин, А.И. Першиц и др.) отмечали, что концепция С.Е. Толыбекова противоречит марксистским представлениям о главном корне классовых противоречий – обладание собственностью на средства производства одним классом и отсутствие собственности у другого (Златкин И.Я., 1955, с. 73). В столь же ортодоксальном духе было написано редакционное заключение, в котором, в частности, был подвергнут критике и теория «кочевого феодализма», поскольку, как считали ее авторы, частная собственность на землю характерна и для земледельцев, и для кочевников. Тем самым отрицались какие-либо сущностные особенности феодализма у кочевников. Специфическими признавались только формы «присвоения феодальной ренты» (О патриархально-феодальных отношениях..., 1956, с. 79).

Однако остановить дискуссию неоднократным повторением «ортодоксальной истины» не удалось. Времена изменились. Да и аргументы оппонентов были достаточно убедительными. В последние десятилетия участники дискуссии опубликовали десятки монографий и статей, развивая свои взгляды на патриархально-феодальные отношения (Вайнштейн С.И., 1957; Златкин И.Я., 1957, 1973; Толыбеков С.Е., 1959, 1971; Шахматов В.Ф., 1959; Аполлова Н.Г., 1960, 1976; Еренов А.Е., 1960; Потапов Л.П., 1969, 1971; и др.).

Современные ученые обращают внимание на схоластический характер спора, обязательное маркирование основных идей цитатами из К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина (Крадин Н.Н., 1992, с. 81–82; Крадин Н.Н., Скрынникова, 2006, с. 22). Еще в 1950–1960-е гг. были попытки примерить оппонентов, показать, что акцент на одном объекте собственности ошибочен. К.И. Петров и М.М. Эфендиев считали, что скот и землю следует рассматривать в нерасчлененном единстве (Крадин Н.Н., 1992, с. 81). Современная позиция в этом споре более однозначна: подвижный образ жизни кочевников исключает у них какие-либо юридические и практические формы собственности на землю (пастбища). Неравенство выражается в том, что богатый скотовод располагает большим количеством скота и передвигается быстрее (так как у него больше лошадей), чтобы занять более обширные и удобные пастбища (Khazanov A.M., 1984, p. 123–125; Масанов Н.Э., 1995, с. 173–177; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 22).

Материалы дискуссии о патриархально-феодальных отношениях долгое время были определяющими для большинства советских историков и этнографов, изучавших общественные отношения у кочевников. Вследствие чего, даже при существовании противоположных позиций, многие исследователи признавали социальные системы средневековых кочевых объединений «патриархально-феодальными» (Потапов Л.П., 1948, с. 111; 1953, с. 91; Бернштам А.Н., 1949, с. 227–228; Киселев С.В., 1951а, с. 108; Вайнштейн С.И., 1957, с. 211; Артамонов М.И., 1958, с. 29–30; 1962, с. 37–38; Толстов С.П., 1959, с. 143, 149; 1961, с. 143–144; 1963, с. 41–42; Кызласов Л.Р., 1960, с. 51–76; Черников С.С., 1960, с. 19–21; 1961, с. 29, 32; 1965, с. 71; Викторова Л.Л., 1961, с. 31–36; и др.).

Говоря о социальных оценках кочевых обществ разных эпох, следует подчеркнуть, что переходность и отсутствие классических формационных черт фиксировались учеными не только на примере средневековых кочевых социумов.

На необходимости уточнить понятие «ранние кочевники» настаивал С.С. Черников. К этому выводу его привели исследования памятников сакского времени в Восточном Казахстане. Под «ранними кочевниками» он понимал период существования кочевых и полукочевых народов аридной зоны (VIII в. до н.э. – первые века н.э.) с особыми чертами социального развития, такими как замедленность процессов классового образования и их незавершенность по сравнению с обществами земледельцев (Черников С.С., 1960, с. 17, 20). Подчеркивая схожесть общественного развития ранних и средневековых кочевников, исследователь тем не менее рассматривал социальную динамику у кочевников только как линейную эволюцию от родового строя через военную демократию к патриархально-феодальным отношениям (Черников С.С., 1960, с. 19–21; 1961, с. 29, 32; 1965, с. 71). В соответствии с обозначенной линией общественного прогресса ученый разделил эпоху «ранних кочевников» на два этапа.

Кочевые образования скифов, саков, савроматов, юечжей VIII–III вв. до н.э. С.С. Черников предложил определять как союзы племен. Говоря об усилении власти племенных вождей, он первым попытался объяснить, почему «царские» курганы были свойственны данному периоду. По мнению ученого, они являлись «внешним выражением процесса все более укрепляющейся политической и хозяйственной мощи племенной верхушки» (Черников С.С., 1960, с. 20; 1965, с. 73). В III–II вв. до н.э., как полагал исследователь, появились «первые очень примитивные и нечеткие государственные образования» (усуни, кангюй, хунну, скифское царство в Крыму). На этом этапе, по его представлениям, произошла концентрация собственности в руках кочевой аристократии и создавались предпосылки для перехода к патриархально-феодальным отношениям, которые начинают складываться в III–IV вв. н.э. (Черников С.С., 1960, с. 20–21; 1965, с. 74).

Стоит отметить, что С.С. Черников не показал принципиальной разницы между кочевыми объединениями VIII–III вв. до н.э. и социумами с формирующимися государственными структурами III в. до н.э. – IV в. н.э., а также не обосновал правомерность методического приема социально-хронологических обобщений, переносимых на всех кочевников степей Евразии. В описании ученого так и остался неясен характер «кочевых государств» конца I тыс. до н.э.: или они «патриархально-феодальные», или «рабовладельческие с тенденцией к патриархально-феодальным» (Черников С.С.,

1965, 73, с. 74). Смущает употребление оценок «примитивные» и «нечеткие» к развитым и устойчивым, «по кочевым меркам», политиям кушан и хунну. Это подчеркивало необходимость разработки проблем государственных образований переходного периода и генезиса государственности у кочевников.

В целом приверженность линейной схеме присутствует практически во всех исторических и историко-археологических трактовках общественного развития номадов конца 1940-х – середины 1960-х гг. Для кочевников скифской эпохи, по мнению советских исследователей, были характерны либо родовые (племенной союз), предклассовые и военно-демократические структуры (Артамонов М.И., 1947, с. 71–72; 1947а, с. 72, 75–76; 1949, с. 156–166; Каллистов Д.П., 1949, с. 110–115, 125–126, 128–129; 1952, с. 25–26, 30; Блаватский В.Д., 1950, с. 113–114; Смирнов К.Ф., 1950, с. 98; 1954, с. 199–200; 1961а, с. 9–10; 1964, с. 214–215; Руденко С.И., 1952, с. 58–60; 1953, с. 259–260; Грязнов М.П., 1955, с. 19–21; 1956, с. 16; 1959, с. 59; История Узбекской ССР, 1955, с. 38–41; История Киргизии, 1957, с. 42, 45, 49–50, 53; История Казахской ССР, 1957, с. 27, 29–30, 35–36, 40, 46; История Туркменской ССР, 1957, с. 58, 71, 130–132; Кадырбаев М.К., 1959, с. 202; Агеева Е.И., Максимова А.Г., 1959, с. 45; Акишев К.А., 1959, с. 204–209; 1962, с. 61–65; Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963, с. 25–72, 85–86), либо рабовладельческое общество, данничество и государство (Ельницкий Л.А., 1948, с. 99–100; Тереножкин А.И., 1966, с. 40, 43; Смирнов А.П., 1966, с. 141–144, 146–147). В концепции Б.Н. Гракова и его сторонников у скифов произошел переход от военно-демократической организации (VII–VI вв. до н.э.) к рабовладельческому государству (V–IV вв. до н.э.) (Граков Б.Н., 1947а, с. 28, 29, 31–33; 1950, с. 10; 1954, с. 21–23; 1962, 1964; Мелюкова А.И., 1950, с. 31–32, 34–35; 1962, с. 164; 1964, с. 82–83; Соломоник Э.И., 1952, с. 108–109; Ильинская В.А., 1953, с. 39–40; Блаватский В.Д., 1954, с. 11; 1964, с. 24–25; и др.). Попытку на основе формационной схемы отразить специфику социальной эволюции номадов лучше всего демонстрирует фраза С.П. Толстова: «варварские племена» Приаралья в античную эпоху развивались по патриархально-рабовладельческому пути, не получившем завершения из-за перехода к патриархально-феодальным отношениям (Толстов С.П., 1959, с. 143, 149; 1961, с. 143–144; 1963, с. 41–42).

Общественно-политические организации номадов последних веков до н.э. – первой половины I тыс. н.э. обычно оценивались как патриархальные, сохранявшие племенной строй, либо как военно-демократические (Анфимов Н.В., 1951, с. 204–207; Смирнов К.Ф., 1950, с. 98–100; 1953, с. 40–41; 1954, с. 201–202; 1960, с. 6; 1961а, с. 9; 1964, с. 210–211, 214; Бернаштан А.Н., 1951, с. 54–55; Маргулан А.Х., 1951, с. 33; Крупнов Е.И., 1960, с. 322–327, 340; Руденко С.И., 1960, с. 185; 1962, с. 67, 69–71; Потапов Л.П., 1953, с. 74; Вайнштейн С.И., 1954, с. 147; Гумилев Л.Н., 1960, с. 72, 74–75, 76–77, 82; Абрамова М.П., 1961, с. 92–93, 109–110; Мерперт Н.Я., Шелов Д.Б., 1961, с. 70–71). Однако ряд исследователей высказывались в пользу классовых и государственных оценок номадных объединений хунно-сяньбийского времени (Толстов С.П., 1948, с. 242–246; 1948а, с. 99, 101, 144–145; Киселев С.В., 1951, с. 323–326; для II–V вв. н.э. – Смирнов К.Ф., 1953, с. 213).

Кочевники средневековья, как было показано выше, преимущественно рассматривались сквозь призму феодальной формации, патриархально-феодальных отношений (Бернаштан А.Н., 1946; Артамонов М.И., 1958, с. 29–30; 1962, с. 37–38; Плетнева С.А., 1958, с. 194; Федоров-Давыдов Г.А., 1966; и др.). Редким исключением была военно-демократическая характеристика печенежского объединения X в. (Плетнева С.А., 1958, с. 192–193; Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 219).

Для 1950-х – середины 1960-х гг. можно выделить ряд оригинальных и важных для развития отечественного кочевниковедения теорий. В обосновании индивидуальности социального развития кочевников большими потенциальными возможностями обладала концепция хозяйственно-культурных типов, выдвинутая М.Г. Левиным и Н.Н. Чебоксаровым (1955, с. 3–4, 9). Она позволяла дифференцировать формы скотоводства в зависимости от особенностей местных условий (степь, предгорья, горы, полупустыни и пр.) и характера хозяйства (кочевое, полукочевое, полуседлое).

Не менее интересны разработки Л.Н. Гумилева. В одной из своих статей, рассматривая удельно-лествичную систему, он допускал мысль о том, что Тюркские каганаты могли выступать как «ранние государства» (Гумилев Л.Н., 1959). Однако в другой своей статье исследователь высказался достаточно определенно в пользу догосударственного характера древнетюркских и уйгурских объединений раннего средневековья. Но особенно отлична его типология форм социально-политической организации у номадов древнетюркского времени. Такими формами были «племя» и «орда». «Племя» представляло собой традиционную систему во главе с выборным племенным лидером, опиравшимся на поддержку родов и обычаи. «Орда» же выступала в качестве военизированного типа об-

щества, подчиненной жесткой власти вождя (кагана) (Гумилев Л.Н., 1961, с. 17–18, 20, 22–24). В общих своих чертах она напоминала выдвинутую позднее теорию Г.Е. Маркова об общинно-кочевом и военно-кочевом состоянии кочевников. Отдельные положения концепции Л.Н. Гумилева использовались в работах С.И. Руденко (1962) и С.А. Плетневой (1967).

В контексте формационной теории исследователи, исключавшие «первобытный» характер социальных систем ранних кочевников, вынуждены были ориентироваться на синхронные «рабовладельческие» общества земледельцев, констатируя аналогичные общественные формы у кочевников. Однако во второй половине 1950-х гг. среди кочевниковедов получила распространение точка зрения об отсутствии у кочевников «рабовладения» как сложившегося и широко распространенного института эксплуатации в предклассовых и классовых обществах. На теоретическом уровне это довольно убедительно доказал Г.И. Семенюк. Его главный аргумент заключался в экономической невыгодности содержания рабов в кочевом хозяйстве, в силу необходимости больших людских затрат для надзора за рабами и в сложном характере кочевого опыта хозяйствования, который вряд ли мог быть освоен рабом-земледельцем (Семенюк Г.И., 1958, с. 56–62, 64).

Кардинальные изменения произошли и в области социальных исследований в археологии. Во второй половине 1940 – середине 1960-х гг. оформились основные звенья организационной структуры археологии в стране, а также расширился спектр деятельности в академических, вузовских, музейных и других подразделениях, связанных с проведением полевых изысканий, подготовкой кадров, охраной памятников и т.д. (Матющенко В.И., 1994, с. 20–22). Период со второй половины 1940-х до середины 1960-х гг. стал временем ширококомасштабных полевых изысканий в Северном Причерноморье, на Северном Кавказе, в Поволжье, Южном Приуралье, Казахстане, Туве, Алтае, Хакасско-Минусинской котловине, Монголии. Огромный фактический материал, накопленный в эти годы, позволил исследователям поставить решение вопросов социальной организации кочевников на новый уровень. Если в 1920-х – середине 1940-х гг. в характеристике социальной организации кочевников ученые руководствовались в основном общесоциологическими взглядами, то в послевоенное время определяющим было внимание к археологическим источникам и к возможности их интерпретации в ходе палеосоциологического анализа. Данная тенденция стала одним из главных факторов в поступательном развитии кочевниковедческой археологии конца 1940-х – начала 2000-х гг. (Васютин С.А., 1998а, с. 48).

Обозначенный период ознаменовался новым этапом в решении вопросов социального строя скифов, дискуссией о формационной принадлежности обществ ранних кочевников Средней и Центральной Азии. Были опубликованы и проанализированы с соответствующими палеосоциологическими выводами материалы рядовых скифских погребений на Никопольском курганном поле, савромато-сарматских памятников в Нижнем Поволжье и в бассейне р. Илек, илийских и чиликтинских курганов в Казахстане, пазырыкских, туэктинских и башадарских погребений Алтая, ноин-улинские в Монголии и т.д. Огромную роль в исследовании проблем общественной структуры кочевников сыграли С.И. Руденко, М.П. Грязнов, Б.Н. Граков, М.И. Артамонов, С.В. Киселев, С.П. Толстов, А.П. Смирнов, А.И. Тереножкин. Наряду с ними к изучению вопросов социальной организации кочевников обратилось новое поколение археологов – К.Ф. Смирнов, Л.Р. Кызласов, В.А. Ильинская, А.И. Мелюкова, К.А. Акишев, С.А. Плетнева, А.Х. Маргулан, С.С. Черников, С.С. Сорокин, А.М. Мандельштам, Г.А. Федоров-Давыдов и др. Все это позволяет рассматривать время с конца 1940-х до середины 1960-х гг. как новый период в исследовании отечественными археологами общественных систем кочевников. В этом отношении кочевниковедческая археология менялась гораздо динамичнее, чем историческое направление исследований кочевников. Как уже подчеркивалось, археологи больше отталкивались от результатов изучения источников (археологических и письменных), а не стремились подогнать то или иное кочевое общество под определенную стадию формационной схемы социогенеза, как часто это делали историки. Именно это определяло оригинальный характер значительной части палеосоциологических реконструкций конца 1940-х – середины 1960-х гг. На уровне итоговых обобщений ученые, конечно, обращались к формационным оценкам или концепции «ранних» и «поздних» кочевников, но непосредственная связь этих оценок с результатами собственно археологических социальных исследований прослеживается редко.

Так, в частности, среди советских археологов и историков было широко распространено мнение о трехступенчатой организации обществ ранних кочевников (см., например: Артамонов М.И., 1947, 1947а; Мелюкова А.И., 1950, 1962, Смирнов К.Ф., 1950, 1954, 1961, 1961а, 1964; Абрамова М.П., 1961; Акишев К.А., 1959, 1962; Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963; и др.). В известном смысле

ле сведение общественной стратификации номадов только к трем группам было следствием весьма общих и довольно предположительных оценок ученых. Не случайно, что подобные трактовки делались иногда лишь на основании визуального осмотра. С другой стороны, выделение трех страт опиралось на зафиксированные археологами различия между погребениями кочевников.

Задачи по введению в научный оборот археологических материалов рассматривались как приоритетные, поэтому объем публикаций артефактов намного опережал возможности их интерпретации. Лишь небольшое число работ отличалось оригинальным взглядом и попытками археологическими средствами «раскрыть» социальный облик ранних кочевников. Прежде всего речь идет о работах М.П. Грязнова и Б.Н. Гракова. Используя новые методические приемы, талантливо синтезируя данные письменных и археологических источников, разрабатывая оригинальные реконструкции общественных систем, они подготавливали те достижения отечественной науки 1960–1980-х гг. в области социальной археологии.

Одно из центральных мест в развитии социального течения в кочевниковедческой археологии заняла дискуссия о социально-политическом устройстве европейской Скифии. Свидетельства античных авторов, исследованные многочисленные археологические памятники степи и лесостепи Северного Причерноморья делали Скифию своеобразным эталоном экономического, социально-политического и культурного развития кочевых народов скифской эпохи.

Среди разработок этого периода с использованием различных методов анализа археологических источников следует выделить концепцию становления скифского государства (перехода от военной демократии к государству) Б.Н. Гракова (1947а, 1950, 1954), поддержанную А.И. Мелюковой (1950, 1962, 1964), В.А. Ильинской (1953), Н.Г. Елагиной (1962, 1963), Д.Б. Шеловым (1965) и др. и развитую в идеях о скифском рабовладельческом государстве А.И. Тереножкина (1966) и А.П. Смирнова (1966); теорию даннических отношений в скифском обществе Л.А. Ельницкого; концепции доклассового характера скифского объединения М.И. Артамонова (1947, 1947а), В.Д. Блаватского (1951); выявление В.А. Ильинской разных групп «рабских» захоронений и др.

Учитывая, что в соответствии с темой данной монографии в 4–8 главах будут преимущественно анализироваться исследования по социально-политической организации кочевников Центральной Азии, рассмотрим более подробно наиболее важные работы по общественно-политическому развитию скифов, савроматов и сарматов. В 1947 г. Б.Н. Граковым была выдвинута гипотеза о развитии скифского общества от военной демократии к государству с соответствующей эволюцией социальной системы скифов к классовому обществу. По мнению исследователя, вплоть до V в. до н.э. у скифов сохранялась военно-демократическая организация. Об этом, как полагал Б.Н. Граков (1947а, с. 28), свидетельствовали институт кровного братства, большая роль старейшин, отстранивших «от власти царя Скила за приверженность к греческому образу жизни», деление на три царства и проведение ежегодных народных собраний в номах. Археологические доказательства теории возникновения в V в. до н.э. классового общества Б.Н. Граков видел в наличии погребений скифских царей с «сопровождающими погребениями рабов». Социальная элита скифов, в описании археолога, представлялась как широкий круг рабовладельцев, наживавшихся на продаже хлеба, работоторговле и эксплуатации рабского труда (Граков Б.Н., 1947а, с. 29, 31–33).

Возникновение скифской государственности Б.Н. Граков связывал с племенным союзом, где господствующее положение занимали «скифы царские» – цари всей Скифии. Все другие скифские и нескифские племена, как считал ученый, были обязаны им данью. В оценках Б.Н. Гракова царская власть у скифов носила деспотический характер и к тому же обожествлялась (цари были верховными жрецами). Как полагал ученый, в середине IV в. до н.э. царь Атей единолично правил всей Скифией от Истра до Танаиса, центром которой являлось Каменское городище на Днепре, просуществовавшее вплоть до нашествия сарматов, когда и перестало существовать «царство Атея» (Граков Б.Н., 1947а, с. 31–33).

Книга Б.Н. Гракова была встречена неоднозначно. Л.А. Ельницкий в целом поддержал идею скифской государственности, но указал на преувеличение Б.Н. Граковым значения рабовладения у скифов, вызванное некритичным прочтением Геродота, который принял за рабовладельческие даннические отношения. Здесь же он высказал мысль, которая позже интенсивно разрабатывалась Б.Н. Граковым, о том, что «рабовладельческие отношения Скифии напоминают более всего положение зависимого... населения на о. Крит, в Фессалии...» (Ельницкий Л.А., 1948, с. 99–100).

Противоположную точку зрения развивал М.И. Артамонов. Исследователь, исходя из сведений о выделении имущества женатым сыновьям (рассказ об амазонках) и бытовании права минората

(передача священных даров младшему брату; наследование Скилом вместе с царской властью одной из жен царя), допускал существование у скифов «патриархальной семьи», что рассматривалось как свидетельство доклассового состояния общества (Артамонов М.И., 1947, с. 71; 1947а, с. 72). В то же время ученый писал об имущественных и социальных различиях между скифскими семьями. К влиятельным лицам скифской социальной структуры он относил номархов (глав племен) и глав племенных союзов («цари» Геродота). В представлении археолога сочетание богатства с общественной властью укрепляло социально-экономическое положение отдельных семей (например, семей номархов), «собственность» которых произрастала из «поступлений в пользу вождя львиной доли военной добычи, даров от подвластных ему племен, родов или семей подарков от заинтересованных в поддержке вождя греческих торговцев...» (Артамонов М.И., 1947а, с. 73–74, 80).

Являясь противником возникновения рабовладельческих отношений в Скифии IV в. до н.э. М.И. Артамонов тем не менее предполагал, что социальная дифференциация скифского общества обуславливалась развитием рабства. Но, в отличие от Б.Н. Гракова, он считал, что рабство у скифов было патриархальным, так как основным стимулом для добычи рабов являлись не внутренние потребности, а возможность продать рабов на невольничьих рынках. Как утверждал ученый, сфера применения рабского труда ограничивалась переработкой продуктов скотоводства из-за того, что раб, пасший скот, мог бы легко сбежать и украсть скот господина (Артамонов М.И., 1947а, с. 81). Этот аргумент потом не раз будет звучать в трудах кочевниковедов и послужит в последующем серьезным поводом для отказа от теорий развития рабовладельческих отношений у кочевников. Однако на рубеже 1940–1950-х гг., когда над всеми историками и археологами довели догмы «Краткого курса ВКП(б)», исследователи видели только один возможный путь перехода от первобытности – становление рабовладельческой формации.

М.И. Артамонов высказал еще одну важную идею. Сопровождающие «царей» в богатых приднепровских курганах захоронения он предложил интерпретировать не как погребения рабов (за исключением наложниц), а как погребения слуг скифских правителей. Исследователь отметил, что данные погребенные имели при себе обычно инвентарь, а это, по его мнению, было вряд ли возможно, если бы речь шла о рабских погребениях. М.И. Артамонов считал, что царя сопровождали лица, тесно связанные с ним, находившиеся от него в определенной зависимости, его слуги и дружинники. Их набирали из «природных скифов», искавших в лидере-вожде социальную опору. Как отмечал ученый, в родовом обществе человек, не входивший в род, не признавался полноправным членом, поэтому смерть царя-покровителя становилась «гражданской, а следовательно, и физической смертью для его дружинников» (Артамонов М.И., 1947а, с. 82, 84–86). Таким образом, М.И. Артамонов первым отказался от традиционной интерпретации сопровождавших «царей» погребений как захоронений рабов. Слабым местом в его концепции оставалась мотивация смерти дружинников. Подчиняясь «царю» как военному, политическому и религиозному лидеру, дружинники не становились «одушевленными» вещами, чтобы следовать за царем в качестве его собственности в загробный мир. В целом М.И. Артамонов (1947, с. 72; 1947а, с. 75–76; 1949, с. 165–166) охарактеризовал скифское объединение как «непрочный, изменчивый в своем составе союз племен с множеством династов и вождей, с близким преобладанием одного из них над другими».

К взглядам М.И. Артамонова присоединился В.Д. Блаватский (1950, с. 113–114). Веские доводы против концепции скифской государственности Б.Н. Гракова смог привести Д.П. Каллистов. Как антиковед он опирался на классические представления о природе рабовладельческого общества – единого социума с четким классовым делением. Отправной точкой в рассуждениях Д.П. Каллистова было положение о существовании в Северном Причерноморье в скифскую эпоху только разрозненных племен и групп племен. Ученый указал, что в античной традиции «...нет ничего такого, что могло бы навести на мысль о существовании крупных племенных объединений», а сведения о «скифской державе» отсутствуют у многих античных авторов и в эпиграфических текстах причерноморских городов (Каллистов Д.П., 1949, с. 110–115, 125–126). Он отметил, что археологические материалы свидетельствуют о «выделении туземной знати, но места расположения «царских» курганов не совпадают с локализованной территорией царских скифов». Как считал исследователь, в Северном Причерноморье не было таких мест, где бы на небольшом пространстве и в значительном числе были сосредоточены погребения скифских вождей (Геррос) (Каллистов Д.П., 1949, с. 110–113).

В схожести категорий инвентаря «богатых» и «бедных» скифских захоронений, в обычае возить тело как умерших «царей», так и рядовых скифов ученый видел свидетельство того, что обряд

царских погребений еще не обособился от рядового, а это говорило в пользу догосударственного уровня. Богатство инвентаря и размеры курганов, как считал историк, сами по себе не доказательство «государственных форм», так как «вполне совместимы с военной демократией». Военная демократия скифов рисовалась Д.П. Каллистовым (1949, с. 128–129, 148) как ранний этап политогенеза: у них существовали племенные союзы, но в начальной стадии, еще даже не было «варварских объединений». В отличие от Д.Б. Блаватского, который впоследствии присоединился к мнению Б.Н. Гракова о существовании у скифов государства, позиция Д.П. Каллистова (1952, с. 25–26, 30) и в дальнейшем не претерпела значительных изменений и он долгое время, наряду с М.И. Артамоновым, оставался одним из немногих сторонников родовых отношений у скифов в VII–IV вв. до н.э. Стоит, однако, отметить, что критический разбор Д.П. Каллистовым античных источников не вполне избежал тенденциозности. Наряду со справедливыми замечаниями, направленными против переоценки централизованности социально-политической системы Скифии, Д.П. Каллистов игнорировал невыгодные для его теории факты (данные о номах, номархах, гадателях, ритуальной роли «царей»), часть из которых он объявил «наименее надежными». При этом не учитывались разновременность сведений и возможность эволюции скифского общества. Возражая против идеи «скифской державы» и анализируя в связи с этим сообщения Геродота, автора V в. до н.э., он забыл, что Б.Н. Граков относил расцвет государства только к IV в. до н.э. У Геродота нигде не сказано, что Геррос – это небольшая территория; речь идет о целой области, где кочевали царские скифы. Курганы «царей» могли возводиться на всей территории «царских скифов», границы которой, по видимому, менялись. Если поминальные картежи рядовых воинов объезжали только родственников, то «царские» проезжали по землям зависимых племен, что подчеркивает и характер самой власти «царя», и факт вхождения этих данников в состав скифского объединения.

Вопрос о скифской государственности в 1950–1970-х гг. приобретает принципиально важное значение. В 1950-е гг. Б.Н. Граков активно развивал концепцию скифской рабовладельческой государственности. Ключевым моментом во взглядах исследователя оставалась идея о царстве Атея – единой скифской державе от Азовского моря до Дуная. Он полагал, что в конце V – первой половине IV вв. до н.э. в Скифии произошли крупные изменения, подробности которых не известны, в результате чего возникло рабовладельческое государство. Поскольку патриархальные рабы, рабы-военнопленные и незначительное количество рабов-должников не могли характеризовать скифов как рабовладельческое общество, археолог выдвинул новую гипотезу о существовании в Скифии рабов, положение которых напоминало положение «греческих гелотов» и «пенестов» (Граков Б.Н., 1950, с. 10; 1954, с. 21–23). С археологической точки зрения о складывании у скифов классового общества, по словам Б.Н. Гракова (1950, с. 11), говорили большие курганы IV в. до н.э., принадлежавшие конной аристократии, «богоданный» характер царской власти в ряде изображений; появление в инвентаре знаков царского достоинства – скипетров, тиар и пр.; наличие царской стражи на манер персидской. В частности, Б.Н. Граков обратил внимание на найденные в «царских» курганах IV в. до н.э. золотые бляшки с изображением Геракла. Сочетавший в себе классические греческие элементы и атрибуты скифа (броня-пояс и лук), образ Геракла, по версии ученого, соотносился с Таргитаем, родоначальником скифов, сыном Зевса. Данный образ, а также сюжетные навершия жезлов Б.Н. Граков (1950, с. 12; 1954, с. 21) предлагал рассматривать как пропаганду прямого происхождения «новой, единовластно правившей ветви скифских царей от прежней фамилии, производившей себя от Зевса через Таргитая-Геракла». Таким образом, доказывался исследователем царский статус правителей Скифии, сакрализация которых нашла отражение в украшениях скифской эпохи. Не сомневаясь в существовании у скифов рабовладельческого государства, Б.Н. Граков полагал, что для окончательного решения данного вопроса требовалось дальнейшее изучение в степной полосе «собственно скифских племен» (Граков Б.Н., Мелюкова А.И., 1954, с. 64).

Реконструкция Б.Н. Граковым исторического процесса в кочевой Скифии в VII–IV вв. была поддержана в той или иной мере большинством скифологов 1950–1960-х гг. (Мелюкова А.И., 1950, с. 31–32, 34–35; 1962, с. 164; 1964, с. 82–83; Соломоник Э.И., 1952, с. 108–109; Ильинская В.А., 1953, с. 39–40; История Украинской ССР, 1953, с. 26–27; Блаватский В.Д., 1954, с. 11; 1964, с. 24–25; 1964а, с. 27; Граков Б.Н., Мелюкова А.И., 1954, с. 64; Мерперт Н.Я., Шелов Д.Б., 1961, с. 71; Шелов Д.Б., 1965, с. 41; и др.). Своими работами они внесли большой вклад в разработку теории, аргументируя и развивая отдельные ее положения. К тому же концепция Б.Н. Гракова перевела спор о кочевой государственности из теоретической плоскости в область практических исследований и доказательств, что являлось важным шагом в решении проблем социального развития кочевников.

А.И. Мелюкова, изучив погребальный инвентарь, пришла к выводу, что в VII–V вв. до н.э. каждый свободный скиф имел право быть воином, а скифский племенной союз являлся одновременно и военной организацией. Она основывалась на том, что каждое мужское погребение до IV в. до н.э. содержало те или иные виды военного инвентаря. По наблюдениям исследовательницы, на рубеже V–IV вв. до н.э., с образованием государства у скифов, из погребений бедного кочевого населения Нижнего Приднепровья и Побужья предметы вооружения исчезли, в то время как в больших кочевнических курганах количество оружия возросло (Мелюкова А.И., 1950, с. 30, 32–37; 1954, с. 82–83). Опираясь на археологический материал, А.И. Мелюкова смогла отметить ряд важных черт общественной системы скифов. По ее мнению, состав инвентаря мужских погребений уже в раннескифский период отражал социальное положение: мечи долгое время были характерны только для «аристократии» и «богатых дружинников». Исследовательница считала, что в этот период число дружинников было незначительным, а их погребения представлены сопровождающими захоронениями в «царских» некрополях и курганами, расположенными группами отдельно от рядовых могильников. Различное количество и качество военного инвентаря в сопровождающих погребениях (от равного «царскому», украшенного золотом оружия, до рядового) рассматривалось А.И. Мелюковой (1950, с. 31–32, 34; 1964, с. 82–83) как результат ранжирования в среде самих дружинников.

В IV в. до н.э., как полагала А.И. Мелюкова, численность и значение дружины резко возросли, что нашло отражение в росте дружинных погребений. В качестве примера она указала на курганы у с. Журовки, группу курганов у с. Капитоновки (раскопки А.А. Бобринского) и плохо исследованные погребения, окружавшие Солоху, Чертомлык, Деев курган, Чмыреву могилу, Огуз и др. Сюда же А.И. Мелюкова отнесла захоронения, условно называемые «царскими», с высотой насыпи 1,5–4 м, находившихся вблизи «действительно царских курганов» и далеко от могильников рядового населения Скифии. Отличительной чертой дружинных захоронений исследовательница считала не только размеры насыпи, богатый набор наступательного оружия, но и наличие в инвентаре защитного вооружения и конских уборов, которые редко встречались в курганах рядовых воинов-кочевников (Мелюкова А.И., 1950, с. 34–36; 1964, с. 83). Единственным серьезным недостатком концепции А.И. Мелюковой являлась трудность вычленения, по названным признакам, дружинных погребений из общего ряда курганов родоплеменной знати и аристократии. Фактически получалось, что исследовательница видела «дружинными» все захоронения, кроме «рядовых» и «царских».

В ходе раскопок на Никопольском курганном поле были получены массовые данные о ритуале погребений рядовых скифов (в 53 курганах вскрыто 86 захоронений скифской эпохи). Б.Н. Граков отметил резкие различия в инвентаре в зависимости от пола и возраста покойников. Как писал ученый, «мужчина здесь – всегда воин». Оружие присутствовало и в двух женских могилах, что археолог объяснял «браками» с савроматскими женщинами. По определению Б.Н. Гракова (1962, с. 100), речь шла о погребениях свободных и полусвободных скифов, составлявших «конное ополчение скифской армии». Он также указал, что конструкция погребальных сооружений (катакомбы различных типов) и рядовой инвентарь (мечи, копья, стрелы, псалии, нащечники и т.д.) никопольских захоронений и «грандиозных царских курганов» совпадают. Различия касались размеров курганов и катакомб, присутствия сопровождающих человеческих и конских погребений в «царских» курганах, наличие в последних импортной посуды и большого количества украшений из драгоценных металлов. По мнению Б.Н. Гракова (1962, с. 99–100; 1964, с. 126–127), все это говорило в пользу этнически монолитной Скифии, с едиными погребальными традициями, но уже с высокой степенью социального расслоения.

Представляют несомненный интерес выводы, к которым пришла В.А. Ильинская, исследуя скифские курганы под Борисполем. Среди изученных погребений она выделила захоронения в катакомбах и ямах с сопровождающими погребениями рабов, рабынь-наложниц и «рабынь-нянек». Подобные интерпретации всегда остаются под вопросом, но в ряде случаев доводы ученой были достаточно убедительны: отсутствие инвентаря, поперечная ориентация по отношению к основному(ым) погребенному(ым), положение в скорченной позе в ногах основного погребенного, во впускной яме катакомбы или за пределами срубной конструкции в подбое, а также погребение в самой низкой части погребальной камеры катакомб, в то время как основное погребение совершалось на специальной площадке (Ильинская В.А., 1966, с. 156, 158–159, 161–164, 166, 168). По мнению исследовательницы, в бориспольских курганах была ярко представлена низшая социальная группа скифского общества – «сословие рабов-слуг», находящихся в услужении у свободных скифов. Она отметила, что погребения «рабов» встречались не только в богатых курганах, но и в могилах простых скифов,

причем этому имелись аналогии в степи. Приведенные данные, как считала В.А. Ильинская, свидетельствовали о довольно значительном распространении рабства в быту простых скифов. Сопровождающие захоронения «рабов» позволили ей предположить существование довольно жестоких форм рабства и многочисленность скифских рабов (Ильинская В.А., 1966, с. 166–167).

Благодаря исследованиям В.А. Ильинской у сторонников рабовладельческих отношений в скифском обществе появился еще один серьезный аргумент. Не случайно вслед за публикацией В.А. Ильинской вышли работы двух приверженцев концепции скифского рабовладельческого государства А.И. Тереножкина и А.П. Смирнова. Основной вывод, к которому пришел А.И. Тереножкин, заключался в том, что после возникновения на рубеже VII–VI вв. до н.э. государства и рабовладельческого общества социальная система Скифии не претерпела в VI–III вв. до н.э. значительных изменений (Тереножкин А.И., 1966, с. 44–46, 49). Важным шагом в разработке данной теории стало решение исследователем вопроса о рабстве у скифов. Считая мнение о малочисленности скифских рабов ошибочным, А.И. Тереножкин, как и В.А. Ильинская, опирался на «факты» широкого распространения «рабских погребений» как в могилах знати, так и рядовых скифов. Жестокие формы рабства – ослепление, отрезание носов, татуирование, характерны, по мнению ученого, не для патриархального строя, а для развитых рабовладельческих отношений (Тереножкин А.И., 1966, с. 40). Доказательством возможности использования рабского труда в кочевом хозяйстве исследователю служили этнографические материалы. Однако в примере, который он приводил, речь шла о наемных работниках, работавших на богатых скотовладельцев Средней Азии, а не о рабах.

Археолог не исключал и наличие в Скифии даннических отношений, которые нашли отражение во фразе Геродота о том, что царские скифы всех остальных считали рабами. Преобладание свободных общинников над рабами, согласно А.И. Тереножкину, характерно и для развитых рабовладельческих обществ, и в этом смысле Скифия не была исключением. Объясняя слабость развития отдельных элементов социально-экономической системы скифов, ученый прибег к сравнениям со средневековыми номадами: «во всех этих отношениях скифы ничем принципиально не отличаются от большинства других кочевых народов... у которых, несмотря на неразвитость ремесел и торговли, исторически засвидетельствовано существование классового общества и феодальных форм государственности» (Тереножкин А.И., 1966, с. 43).

Скифское государство начало оформляться, как предполагал А.И. Тереножкин, еще на «переднеазиатской почве и было подобно по структуре Мидии и ахеменидской Персии в период их сложения». Исследователь был по существу первым, кто отнес генезис государственности скифов к VII в. до н.э., т.е. практически ко времени возникновения скифского этносоциального объединения. Механизм образования государства как в Передней Азии, так и в Северном Причерноморье, по его мнению, был одинаков: «в результате завоевания страны и покорения местного населения сплоченными и сильными в военном отношении скифами» (Тереножкин А.И., 1966, с. 45).

Основной вывод, к которому пришел А.И. Тереножкин, заключался в том, что после возникновения на рубеже VII–VI вв. до н.э. государства и рабовладельческого общества социальная система Скифии не претерпела в VI–III вв. до н.э. значительных изменений. Долговременность и прочность политического господства царских скифов над прочим населением страны, подтверждаемого Геродотом для VI–V вв. до н.э. и вероятное вплоть до III в. до н.э., «...менее всего напоминают номинальность и временность союза племен», не соответствуют они и «военной демократии, с помощью которой исследователи пытаются объяснить... мощь» скифской державы (Тереножкин А.И., 1966, с. 44–46, 49).

К точке зрения А.И. Тереножкина фактически присоединился А.П. Смирнов (1966, с. 18), который развивал идею о сложении государственности у скифов в начале VI в. до н.э., после возвращения их из азиатских походов в степи Северного Причерноморья. Признавая значительное влияние на формирование скифского объединения классовых обществ Передней Азии и рабовладельческих городов Северного Причерноморья, исследователь основную роль отводил процессам внутренней социальной эволюции. Среди факторов скифского социогенеза он выделил имущественную дифференциацию, прослеживаемую по археологическим памятникам, разложение родоплеменных отношений (сведения Геродота о ссорах и убийствах родственников), развитие индивидуального (патриархального) и коллективного (положение покоренных народов) рабства (Смирнов А.П., 1966, с. 141–144).

А.П. Смирнов отметил сложность решения вопроса о скифской государственности из-за недостатков материалов и различного понимания форм государства в «раннем рабовладельческом об-

ществе». Однако, как считал ученый, в данных Геродота просматривается существование государственного аппарата, где опорой власти являлись «отряды вооруженных рабовладельцев», а для удержания ее над «рабами и рядовыми членами» использовались «старые родовые учреждения и идеологическое воздействие – божественное происхождение царской власти» (Смирнов А.П., 1966, с. 146). Критикуя сторонников сложения государственности при царе Атее, А.П. Смирнов указал, что они располагали только косвенными данными, которые могли относиться и к V, и к VI в. до н.э., а рабовладельческие отношения, судя по письменным и археологическим источникам, существовали и раньше. Эпоха Атея выделялась только тем, что в этот период Скифия достигла расцвета (Смирнов А.П., 1966, с. 146–147).

К середине 1960-х гг. среди скифологов возобладало мнение о рабовладельческом характере скифского общества. Между тем подобный подход не означал окончательного решения вопроса. Ученые понимали, что археологические данные подтверждали сведения письменных источников о сложной этносоциальной структуре Скифии. Как указывалось выше, в силу идеологических установок исследователи могли признать существование у скифов только «рабовладельческого государства», тем более что источники фиксировали отдельные элементы рабовладельческой системы – погребения «рабов», работоторговлю, использование рабов в домашнем хозяйстве. Проблема заключалась и в том, что не удавалось даже теоретически обосновать наличие в скифском обществе развитых классов – «рабов» и «рабовладельцев», а самое главное – типологическую схожесть Скифии с античными государствами. Попыткой преодолеть сложившиеся противоречия можно считать гипотезу Э.А. Грантовского (1960, с. 4–11) о ведущей роли в скифском обществе VII–V вв. до н.э. традиционных для индо-иранского мира кастовых структур. Но его позиция в 1960-е гг. не получила поддержки. Данная ситуация ставила археологов перед необходимостью изменить концептуальные подходы к характеристике социально-политической организации причерноморских скифов.

Археологи, занимавшиеся изучением сарматской, сакской, пазырыкской культур, вынуждены были в той или иной степени учитывать результаты исследований северо-причерноморских материалов. Это было особенно важно для тех регионов, где археологические источники не дополнялись письменными сведениями и поэтому данным археологии отводилось первостепенное значение.

Среди публикаций по археологии савромато-сарматов, пожалуй, самой оригинальной и вызвавшей затем длительную дискуссию была статья Б.Н. Гракова «Γυναικοκρατορμενοι / Гинекократия (Пережитки матриархата у сарматов)». Заслуга Б.Н. Гракова состояла в том, что он попытался суммировать и интерпретировать ряд савроматских и раннесарматских комплексов в контексте характерных для античной традиции представлений о женовластии у савроматов и сарматов. В ходе реализации этой попытки были подняты вопросы о положении женщин в кочевом обществе, отражении их прижизненного статуса в погребальной практике, выполнении ими сакральных жреческих функций и т.д. Все эти проблемы решались прежде всего на основе изучения археологических памятников.

Б.Н. Граков попытался показать, «что археологически может быть прослежено наличие пережитков матрилинейного рода у савромато-сарматов и их постепенное исчезновение... к тому времени, когда с ними непосредственно столкнулся Рим» (Граков Б.Н., 1947, с. 106). При этом ученый ориентировался не только на состав инвентаря, но одним из первых использовал метод социальной планиграфии. По мнению Б.Н. Гракова, женская воинственность и большая роль женщин в культовой жизни «савроматов»¹ нашли отражение в женских погребениях с оружием и жреческими принадлежностями (бронзовые зеркала, алтарики, краски и т.д.). Он обратил внимание на одиночное расположение таких курганов в «савроматское время» в Южном Приуралье (курганы №2 и 7 в урочище Бис-Оба на р. Бердянке и курган №5 в урочище «Горбатый мост» в районе г. Чкалова). Вокруг этих курганов группой или цепочкой выстраивались курганы раннесарматского времени, что трактовалось Б.Н. Граковым (1947, с. 110) как семейные погребения вокруг могилы своего «женского предка».

Как предполагал ученый, «гинекократия» сохраняла значение и в «раннесарматский период». Наиболее показательными в этом отношении он считал материалы кургана №1 на Алебастровой горе. Под насыпью кургана в центральной могиле №9 (из семи «прохоровских») было обнаружено женское погребение с сопровождающим конским захоронением. Определяя все «прохоровские» мо-

¹ Позже отождествление кочевого населения Южного Приуралья и Поволжья с савроматами античных источников было оспорено. См., например: Очир-Горяева М.А. Савроматы Геродота // Скифия и Боспор: Мат. конф. памяти академика М.И. Ростовцева. Новочеркасск, 1993. С. 132–140.

гилы как кладбище одной семьи с основным погребением «женщины-родоначальницы», Б.Н. Граков (1947, с. 117) подчеркнул, что сожжение надмогильного сооружения свидетельствовало «о значении покойницы как жрицы». Данное захоронение в совокупности с другими «раннесарматскими» погребениями женщин (курган №3 в бассейне р. Ори; женские погребения у с. Прохоровки) позволило исследователю сказать, что «женщина-воин, ...и женщина-жрица продолжала жить» (Граков Б.Н., 1947, с. 118). Аргументируя свою точку зрения, Б.Н. Граков (1947, с. 119) отметил присутствие в составе инвентаря «воинственных глав семей» и «блюстителниц родового культа» целых туш коня (Алебастрова гора) или овцы (Прохоровка), в то время как в других погребениях находились только части туши. Для «среднесарматского» периода исследователю были известны только два женских погребения с оружием, но их он уже не интерпретирует как захоронения «женщин-родоначальниц». А среди погребений «позднесарматского» времени Б.Н. Граков отметил случай насильственного умерщвления женщин. Таким образом, опираясь только на археологические источники, ученым реконструировалась эволюция «савромато-сарматского» населения от материнского рода к патриархальным отношениям (Граков Б.Н., 1947, с. 120–121). Итогом исследования Б.Н. Гракова стала гипотеза о «пережитках матриархата» в савромато-сарматских обществах, господствовавшая в отечественной историографии вплоть до 1960-х гг., когда эта точка зрения была оспорена В.П. Шиловым (1959), И.П. Берхин-Засецкой и Л.Я. Маловицкой (1965).

Крупнейшим специалистом по проблемам археологии савроматов и сарматов в 1950–1960-е гг. становится К.Ф. Смирнов. Он первым из советских археологов попытался дать развернутую характеристику социальной организации ранних кочевников Поволжья и Южного Приуралья. На «савроматском» этапе (VI–IV вв. до н.э.), по его мнению, существовало два тесно связанных племенных «массива» – куйбышевско-уральский и поволжский. Констатируя «пережитки матриархата» у «савроматов», К.Ф. Смирнов указал и на наличие «в небольшом количестве на Волге» и «значительно большем» в степях Южного Приуралья, «богатых» мужских могил с оружием, конскими уборами и предметами жреческого культа. Рядовые погребения с бедным инвентарем представляли собой, как правило, впускные захоронения в курганы эпохи бронзы, что ученый считал отражением слабой социальной дифференциации (Смирнов К.Ф., 1950, с. 98; 1954, с. 199–200).

Изменения в социальной организации общества в раннесарматское время (IV–II вв. до н.э.) выразились, как предполагал исследователь, в возникновении отдельных племен сирматов, сираков, аорсов и роксаланов. Не имея возможности конкретизировать ход сарматского социогенеза по письменным источникам, К. Ф. Смирнов констатировал рост социальной дифференциации, «концентрацию материальных богатств в руках отдельных родов, родоплеменной знати и военных вождей». Примером археологу служил курганный могильник у с. Прохоровки – кладбище, как он полагал, «одного из богатых родов» Приуралья. О патриархальном облике сарматов, согласно замечанию ученого, говорил тот факт, что «пережитки матриархата» проявлялись в основном в виде женских погребений с оружием (Смирнов К.Ф., 1950, с. 98–100; 1954, с. 201–202). Еще менее содержательной была характеристика социальной организации населения «среднесарматского этапа» I в. до н.э. – II в. н.э. (Смирнов К. Ф., 1953, с. 40–41; 1954, с. 105–108). Широко употребляя для данного периода выражения «сарматская конфедерация», «аорская военно-демократическая конфедерация» и т.п., исследователь оставил нераскрытым их социальную и политическую сущность (Смирнов К.Ф., 1953, с. 40–41; 1954, с. 105–108).

Только во II–V вв. н.э., после расселения в Северном Причерноморье, у сарматов, как считал К.Ф. Смирнов, произошли кардинальные изменения общественной системы. Появились богатые погребения Дона и Днепра, принадлежавшие, по его мнению, сарматским вождям («царям») и дружинникам, которые являлись «представителями государственной власти, порывавшей с традициями первобытнообщинного строя» (Смирнов К.Ф., 1954, с. 213). Археолог полагал, что в это время происходит территориальное обособление курганов аланской аристократии, в составе которых встречались случаи коллективных погребений с захоронениями убитых по ритуалу женщин-рабынь. «Рабство и господство мужчины, сменившее «гинекократические» пережитки, становится очевидностью» (Смирнов К.Ф., 1950, с. 114).

Подобную схему, в целом или в деталях, поддержал ряд исследователей (Анфимов Н.В., 1951, с. 204–207; Крупнов Е.И., 1960, с. 322–327, 340; Абрамова М.П., 1961, с. 92–93, 109–110; Мерперт Н.Я., Шелов Д.Б., 1961, с. 70–71). Однако попытки проследить общественную эволюцию особенно на «ранне- и «среднесарматской» стадиях приводили лишь к общим оценкам типа «дальнейшее разложение...», «рост социальной дифференциации...». Единственным способом конкретизиро-

вать этапы социогенеза номадов, при ограниченности нарративных сведений, являлось продолжение археологических исследований в Южном Приуралье и Поволжье.

В ходе работы Сталинградской экспедиции в 1950-е гг. были изучены многие памятники ранних кочевников Нижнего Поволжья. По концентрации могильников К.Ф. Смирнов выделил несколько «племенных центров» поволжских сарматов (район нижнего течения Еруслана; окрестности с. Быково; район с. Калиновки-Рахинки, местность вокруг с. Ленинского на р. Ахтубе). Каждый могильник рассматривался исследователем как кладбище отдельного племени или его части (Смирнов К.Ф., 1959, с. 318; 1960, с. 257). Курганы с несколькими (от 2 до 15) погребениями, согласно взглядам К. Ф. Смирнова, являлись местом захоронения «или отдельной патриархальной семьи или очень близких родственников». Парные и коллективные погребения мужчины и женщины, женщины и ребенка (или нескольких детей) трактовались ученым как захоронение малой семьи (Смирнов К.Ф., 1959, с. 318–319; 1960, с. 258–259). Таким образом, выстраивалась иерархия родоплеменных структур сарматов с определением территории обитания каждой патриархальной семьи, рода, племени или родоплеменных групп.

В поволжских курганах К.Ф. Смирнов зафиксировал женские захоронения с оружием и погребения, как он характеризовал, «женщин-прародительниц» (курган №25 у с. Политотдельского, где вокруг могилы женщины с двумя детьми группировались остальные захоронения). Сходные погребения были обнаружены и на других могильниках левобережья Волги (Смирнов К.Ф., 1959, с. 318–319; Сеницын И. В., 1959, с. 198; 1960, с. 158, 160). Для ученых того времени данные факты так или иначе говорили в пользу точки зрения Б.Н. Гракова. Однако против подобного мнения выступили В.П. Шилов (1959, с. 430–432), И.П. Берхин-Засецкая и Л.Я. Маловицкая (1965, с. 143–147, 153). В.П. Шилов полагал, что наличие оружия в женских погребениях нельзя рассматривать как свидетельство «пережитков матриархата», так как подобное широко распространено и у средневековых кочевников. Оружие лишь указывало на участие женщин «в войне и охоте» (Шилов В.П., 1959, с. 431–432). Аргумент, высказанный исследователем, был достаточно убедителен, став в конечном итоге одной из отправных точек пересмотра подходов к решению проблемы «гинекократии».

В начале 1960-х гг. К.Ф. Смирнов изменил свою оценку отдельных могильников «савроматов», справедливо полагая, что каждый из них принадлежал роду или большой семье, а погребения в одном кургане – малой семье (Смирнов К.Ф., 1961а, с. 6; 1964, с. 198). Различия в размерах насыпей, устройстве внутримогильных сооружений и составе инвентаря бедных погребений быковской группы и курганов богатых могильников Пятимары-I и у с. Покровка на р. Илек дали основание К.Ф. Смирнову утверждать, что, по данным археологии, наблюдается «процесс выделения из состава одной семейно-родовой группы людей, занимавших особое общественное положение...». К таким лицам он относил родовых старейшин, жрецов, племенных вождей и их приближенных, среди которых видную роль играли дружинники. По мнению археолога, общественная организация савроматов строилась на родоплеменном принципе. О ее военном характере говорил рост начиная с IV в. до н.э. среди рядовых погребений числа могил с оружием, что являлось для автора «одним из наиболее существенных признаков формирования строя военной демократии у савроматов в VI в. до н.э.» (Смирнов К.Ф., 1960, с. 6; 1961а, с. 9; 1964, с. 210). На этом фоне он сделал замечание, что археологически невозможно проследить все показатели военной демократии, но некоторые из них, в частности, существование военных вождей, очевидны. Согласно концепции автора, в больших курганах некрополя Пятимары-I были погребены шесть знатных семей, в руках которых были сосредоточены военная власть и торговля с далекими странами (Смирнов К.Ф., 1964, с. 210–211, 214).

Одним из важнейших направлений исследований К.Ф. Смирнова была попытка археологическими средствами выявить погребения «дружинников». Полигоном послужил могильник Пятимары-I, материалы которого, как пишет ученый, «подтвердили существование вооруженных телохранителей у военного предводителя из богатого рода». В частности, в кургане №8 погребение знатной семьи (мужчина, женщина, ребенок), где у мужчины в инвентаре имелся «начальнический жезл», сопровождали два воина. Привилегированное положение последних подчеркивали находки длинных всаднических мечей, золотые ворворки от портупей, золотые серьги и пр. Под насыпью располагались также сопровождающие захоронение пяти коней (по числу покойников), причем конструкция кургана свидетельствовала об одновременности всех погребений. К числу дружинных археолог отнес «распаханные курганы», окружавшие шесть больших насыпей могильника Пятимары-I (Смирнов К.Ф., 1961а, с. 9; 1964, с. 213–214).

Относительно рядовых и зависимых слоев общества К.Ф. Смирнов писал, что подчиненное аристократии население в силу родовых традиций соорудило высокие насыпи над могилами знати. Главы семей выступали как военные предводители, дружинники и телохранители которых сопровождали их в загробный мир. Подобную картину исследователь предполагал в курганных могильниках на р. Хобда у с. Прохоровка, Пятимары-II и III, в больших курганах у пос. Нугмановского на левом берегу Илека. Отсюда вытекал один из главных выводов автора, что в Южном Приуралье на р. Илек, при господстве военной демократии, общественное развитие «савроматских» племен в V в. до н.э. достигло уровня, в «какой-то степени приблизившегося к уровню общественного развития царских скифов эпохи Геродота...» (Смирнов К.Ф., 1961а, с. 9–10; 1964, с. 214). Для Поволжья, как отметил ученый, подобных фактов нет, так как большие курганы на данной территории не раскапывались, а рядовые беднее и однообразнее приуральских. По словам археолога, родоплеменная аристократия здесь в экономическом и военном отношении была слабее и еще не противопоставляла себя основной массе сородичей и соплеменников. Исходя из этого, К.Ф. Смирнов (1964, с. 214–215) высказал предположение о сохранении родового строя у «савроматов» Поволжья.

По вопросу о «пережитках матриархата» К.Ф. Смирнов выразил несогласие с аргументацией В.П. Шилова. По мнению К.Ф. Смирнова, В.П. Шилов, разбирая только одну группу фактов, не прав, так как женских погребений с оружием у савроматов значительно больше, чем у других кочевников (не менее 20% всех погребений с оружием и конской сбруей). К сожалению, К.Ф. Смирнов не располагал данными по другим кочевым народам, поэтому его контраргумент «повис в воздухе». Однако археологические материалы действительно говорили об особом положении женщин у «савроматов», а теоретические взгляды отечественных исследователей 1950–1960-х гг. не допускали фактически иного толкования данных фактов, кроме как «пережитков матриархата». Не случайно, что К.Ф. Смирнов настаивал на сохранении у «савроматов», пусть не повсеместно, материнского счета родства в некоторых родах и матрилинейности брака, «вытекающих из норм матриархальных отношений», хотя в примерах чаще писал о погребениях жриц, чем о захоронениях женщин-прародительниц (Смирнов К.Ф., 1961а, с. 8; 1964, с. 202–205).

В период с конца 1940-х до середины 1960-х гг. отечественная наука сделала большой шаг вперед в изучении социальной организации ранних кочевников Южного Приуралья и Поволжья, но тем не менее решение многих вопросов находилось на начальной стадии. Если при публикации материалов археологических памятников VIII–IV вв. до н.э. данного региона, благодаря прежде всего работам К.Ф. Смирнова, ряд проблем социальной структуры получил освещение, то общественное развитие сарматских племен исследовалось в недостаточной мере. Решающее значение сохраняли довольно общие представления начала 1950-х гг., а также концепция «пережитков матриархата». Несмотря на то, что в работе «Савроматы» К.Ф. Смирнов (1964, с. 206–209) фактически констатировал преобладание «патриархальных» черт, сложившейся стереотип «матриархальности» «савроматов» все еще довлел над этим выдающимся ученым. Одновременно с этим в исследованиях К.Ф. Смирнова, по существу игравших определяющее значение в разработке проблем археологии ранних кочевников Южного Приуралья, шла наработка археологических критериев стратификации, на основе которых были выявлены отдельные общественные слои (племенные вожди, дружинники, «женщины-прародительницы»).

Важный вклад в конкретизацию представлений о социальной структуре ранних кочевников Казахстана и Средней Азии внесли К.А. Акишев (Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963) и С.С. Черников (1960, 1961, 1965). К.А. Акишев, например, апробировал интересную методику на материалах сакских погребений Бешшатырского могильника, расположенного на правом берегу Или. Учитывая огрabenность практически всех погребений, он положил в основу реконструкции размеры и сложность погребальных сооружений. В результате ему удалось выделить погребения трех социальных групп: вождей племен, племенной знати и воинов, прославившихся в походах, рядовых кочевников, «совершивших подвиг и удостоенных в честь этого лежать рядом с «царями» и знатью». Отдельную (т.е. четвертую) группу составили захоронения простых скотоводов (Акишев К.А., 1959, с. 204–209; 1962, с. 61–65; Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963, с. 25–72, 85–86, 88, 105).

Плодотворный опыт палеосоциологических реконструкций был осуществлен М.П. Грязновым на материалах Первого Пазырыкского кургана на Алтае. Методологическое значение данного исследования заключалось в попытке синтеза нескольких палеосоциологических методик: расчет трудозатрат по размеру насыпи, могильной ямы и сруба; метод социальной планиграфии; выявление родоплеменной структуры по составу и особенностям «посмертных даров». В результате

М.П. Грязнов предположил, что курган совершался племенем, а погребенный в нем человек мог обладать статусом «племенного вождя». Наличие в составе некрополя Пазырык цепочек больших курганов позволило ученому предположить, что «как богатство, так и высшие общественные должности в роду и племени передавались по наследству» (Грязнов М.П., 1950, с. 68–69).

В конце 1940-х – середине 1960-х гг. свой взгляд на социальное развитие населения Саяно-Алтая и Монголии в скифский период высказывали С.В. Киселев (1951, 1951а) и С.И. Руденко (1948, 1952, 1953, 1960). С.И. Руденко не согласился с интерпретацией М.П. Грязновым конских захоронений Пазырыка как «посмертных даров» и возможности таким образом зафиксировать структурный состав алтайских племен. Ученый обратил внимание на то, что седла и предметы конской сбруи имели изношенность, неоднократно чинились и, следовательно, не могли быть изготовлены специально для погребальной процессии (Руденко С.И., 1952, с. 33; 1953, с. 256; 1960, с. 238–241). Важно подчеркнуть, что полемика по вопросу о социально-политическом устройстве пазырыкского населения велась на основе анализа погребального инвентаря.

Апробация методов палеосоциологического анализа осуществлялась также и на археологических памятниках средневековых кочевников (Евтюхова Л.А., 1948; Киселев С.В., 1951; Левашова Л.П., 1952; Генинг В.Ф., Халиков А.Х., 1964; Гаврилова А.А., 1965). Так, Л.А. Евтюхова (совместно с С.В. Киселевым) с целью выявить «социальное расслоение в Кыргызском каганате» разработала типологию погребений по размеру насыпей и составу инвентаря. В итоге она определила три группы захоронений, которые связывала с рядовыми жителями: люди с «высоким общественным положением», «слуги» или «рабы», отдельно представители «знатного рода» из Копенского чаа-таса (Евтюхова Л.А., 1948, с. 8, 10–11, 14–18, 31, 36; Киселев С.В., 1951, с. 599–601; Плетнева С.А., 1963). Также исследовательница обратила внимание на половозрастную дифференциацию населения Кыргызского каганата, выделив детские захоронения.

Не менее интересен и другой опыт – попытка С.А. Плетневой выявить тенденции социального развития кочевников Северного Причерноморья XI–XIII вв. на основе анализа инвентаря и внутримогильных конструкций 332 погребений, из которых исследовательница выделила группы захоронений, идентифицированные как могилы «печенегов» (I группа), «торков» и «черных клобуков» (III гр.), «половцев» (IV гр.). Как считала С.А. Плетнева, удалось выявить определенную тенденцию социального расслоения в погребениях III и IV групп. Причем наиболее дифференцированными были захоронения IV группы. На полученные результаты С.А. Плетнева попыталась «наложить» сетку социоисторических понятий. Если печенежское объединение характеризовалось как военно-демократическое, но с появлением «внутри рода племенного печенежского общества... разлагающих его элементов феодализма», то половецкое общество – как «ставшее к началу XII в. феодальным» (Плетнева С.А., 1958, с. 153–157, 165–166, 172–173, 193, 194–196).

Такие оценки существенно модернизировали социальную организацию анализируемых С.А. Плетневой кочевых обществ. Особенно показательна феодальная трактовка половецкого социума. Несмотря на упоминавшуюся в русских, византийских и арабских хрониках родоплеменную структуру, причем достаточно децентрализованную (с множеством старших и младших ханов), исследовательница полагала, что «из источников становится очевидно, что половцы пережили период бурного разложения родоплеменного строя», а внешняя «патриархальная оболочка» не должна скрывать феодальную сущность половецкого общества (Плетнева С.А., 1958, с. 194). Подобная «очевидность» существования феодализма у половцев строилась на факте наличия в половецком обществе социально-экономической дифференциации, которая прослеживалась по археологическим и нарративным данным, а также на весьма спорных утверждениях о возникновении в половецкой среде «феодальной семьи» и государства (Плетнева С.А., 1958, с. 194–196). Слабая аргументация социальных оценок и довольно произвольная трактовка археологических и письменных сведений вполне определенно показывают приоритет идеологических установок и четкое следование формационной теории, в соответствии с канонами которой все общества Высокого Средневековья однозначно рассматривались как феодальные. Высказывая подобное суждение о слабой доказательности мнения С.А. Плетневой, отметим, что социальная стратификация была присуща всем кочевым обществам и сама по себе не является свидетельством «феодальности». Допущение С.А. Плетневой о формировании у половцев «феодальной семьи» опиралось на указание в двух отрывках из «Повести временных лет» о «челяди и колодниках» и о возвращении «пленного половчанина» – «...иде в дом свой и созва весь род свой и племя». В итоге возможность тождества «семьи» и «чади» сделала «реальностью» существование феодальной семьи, включавшей близких домочадцев, челядь, воинов-

дружинников хана или баатура (Плетнева С.А., 1958, с. 195). С такой же легкостью главы родоплеменных структур превращались в «феодалов», образуя «феодальную лестницу», а половецкое объединение Кончака – в «государство» (Плетнева С.А., 1958, с. 192, 194–195).

Более строго к аргументации своих взглядов подошел Г.А. Федоров-Давыдов. Он распределил кочевнические погребения предмонгольской эпохи в степях Северного Причерноморья по трем периодам: 1) конец IX – XI в. («государство печенегов» и краткий период торческого нашествия); 2) последняя четверть XI–XII в. (начальный период «государства половцев»); 3) конец XII – начало XIII в. (предмонгольский период половцев). Для характеристики имущественных и социальных различий археолог провел для каждой из групп анализ мужских захоронений, имевших, в зависимости от количества и состава оружия, три разряда: Ма – могилы, где в инвентаре присутствовали шлем, доспехи, сабля, стрелы и лук; Мб – захоронения, сопровождавшиеся луком, шлемом и копьем; Мв – погребения без оружия (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 9, 117–118). По мнению Г.А. Федорова-Давыдова, развитие социальной дифференциации отражали рост во втором и третьем периодах доли безынвентарных могил и увеличение процентного состава погребений с золотыми изделиями. Здесь лишь следует подчеркнуть, что отмеченные ученым особенности половецких погребений могли отражать не столько общественное, сколько имущественное расслоение. К тому же увеличение удельного веса захоронений с золотом в разряде Ма (тяжеловооруженная знать) во втором и третьем периодах нельзя напрямую связать с появлением конкретных общественных институтов, тем более прямолинейно – с феодализмом. При этом вряд ли можно сбрасывать со счетов замечание ученого об увеличении социальной полярности у половцев последней четверти XI – начала XIII в., что нашло отражение и в сокращении инвентаря в погребениях группы Мб, которые интерпретировались как «легковооруженные конники» (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 220–221).

В конкретно-исторических оценках Г.А. Федорова-Давыдова стадийный подход был выражен более четко. Он полагал, что социальная структура печенежского населения (I периода) и половецких объединений конца XI – начала XII в. (II периода) мало отличалась из-за наличия «хорошо выраженных и устойчивых родоплеменных» структур. Согласно взглядам ученого, общественную систему печенегов в X в. можно назвать «военно-демократической», а в XI в. появился уже «зародыш раннефеодального государства», «наследственная власть», «попытки объединить несколько племен под властью одного князя» (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 219). Аналогичную трансформацию, как считал археолог, претерпело и половецкое общество (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 221–228).

Говоря о «государстве» у печенегов и половцев, Г.А. Федоров-Давыдов понимал под ним «узурпацию власти» отдельными аристократическими родами, которые смотрели на нее как на родовое достояние. Характерной чертой таких образований, по мнению исследователя, являлась передача власти с одобрения племенной аристократии племяннику или дяде (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 222–223). В отличие от С.А. Плетневой, оценки государственности у кочевников Г.А. Федоровым-Давыдовым не были столь категоричными, он всегда подчеркивал архаичность, «зародышевое» состояние данного института у кочевников предмонгольского времени. Указание на «кочевой» характер феодализма и определяемых этим условием особенностей социально-политической структуры кочевников (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 198–199, 220, 222–223, 227) делало позицию автора менее уязвимой. Несомненным плюсом работы ученого являлось стремление показать взаимосвязь кочевой и городской культур, развития торговли как факторов социального прогресса, что в статье С.А. Плетневой не получило освещения. Общественное развитие печенегов, торков, черных клобуков и половцев не объединялось исследователем в единую линию социогенеза, а каждое из этих обществ претерпевало эволюцию от «военной демократии» к «феодализму» самостоятельно.

Между тем Г.А. Федоров-Давыдов (1966, с. 220–221) поддержал идеи С.А. Плетневой о развитии феодальных отношений внутри большой патриархальной семьи, вассальной зависимости оставленных в родовом коллективе пленников и в целом оценку феодального характера кочевых объединений предмонгольского периода в Северном Причерноморье. По существу единственным аргументом в пользу возникновения государства у половцев и печенегов являлись централизация власти Шаруканом и Кончаком и передача ее по прямой линии сыну, а не племяннику и братьям в соответствии с удельно-лестничной системой. Не получили всестороннего обоснования типологические различия «военной демократии» и «раннефеодального государства» печенегов и половцев. Сомнительна хронология генезиса феодализма, которая в монографии Г.А. Федорова-Давыдова приобрела

еще более узкие рамки с учетом реконструкции социальных процессов в каждом отдельном кочевом обществе (в X в. у печенегов «военная демократия», а в XI в. – «раннефеодальное общество»).

Несмотря на отмеченные недостатки в аргументации своих выводов С.А. Плетневой и Г.А. Федоровым-Давыдовым, эти исследования, направленные на решение задач по изучению социальной структуры средневековых кочевников на основе не только письменных, но и археологических данных, показывали перспективность дальнейших изысканий в этой области.

Подводя итоги, следует отметить, что утвердившаяся в середине 1930-х гг. формационная схема не привела к содержательно-хронологическому однообразию оценок общественно-политических организаций кочевников и земледельцев. Наоборот, уже первые работы по социальной истории кочевников, написанные с марксистских позиций, обозначили отсутствие единогласия среди ученых. Даже в отношении периода средневековья, кочевые общества которого чаще всего характеризовались как феодальные, понимание сути общественных отношений довольно сильно различалось. По большому счету мы имеем дело с несколькими концепциями феодализма у средневековых кочевников: «кочевого феодализма» (Владимирцов Б.Я., 1934; Потапов Л.П., 1954, 1955); «феодализма», аналогичного западноевропейскому обществу и феодальным землевладельческим обществам в целом (Киселев С.В., 1933; Козьмин Н.Н., 1934; Златкин И.Я., 1955; О патриархально-феодальных отношениях..., 1956, с. 79); сочетания феодализма с рабовладельческими отношениями (Толстов С.П., 1934, 1948); переходного от военно-демократического к феодальному обществу (Артамонов М.И., 1958, 1962); разные интерпретации патриархально-феодальных отношений (Батраков В.С., 1947; Толыбеков С.Е., 1951, 1955, 1959, 1971; Шахматов В.Ф., 1951, 1955; Юшков С.В., 1951; Зиманов С.З., 1952; Потапов Л.П., 1955; Златкин И.Я., 1955, 1957, 1973; Ильясов С.И., 1955; Шахматов В.Ф., 1955; Материалы объединенной..., 1955; Першиц А.И., 1955; Вайнштейн С.И., 1957; Аполлова Н.Г., 1960, 1976; Еренов А.Е., 1960; и др.). Вне формационной парадигмы решал вопросы социополитической организации раннесредневековых кочевников Центральной Азии Л.Н. Гумилев. Все эти подходы показывают, что исследователям-кочевниковедам даже на этапе утверждения и развития формационной теории было «тесно» в тех социально-классовых параметрах, которыми характеризовались первобытнообщинный, рабовладельческий и феодальный строй «в марксистско-ленинской теории исторического процесса». История кочевников даже формально «не желала» вписываться в эти модели. Это вряд ли осознавалось адептами феодализма у кочевников и большинством участников дискуссий (реалии существования советской науки, особенно до середины 1950-х гг., не допускали никаких альтернатив марксистской методологии), но вело к тому, что учеными не воспринимались на веру положения о «классовых противоречиях», «реально незначительной роли родоплеменных институтов», «пережитках», «феодальных формах эксплуатации» и пр., а требовало их изучить более детально, аргументировать свою позицию, искать новые доказательства. Тем самым кочевниковедческая наука не стояла на месте, хоть и развивалась в достаточно строго ограниченных рамках.

В изучении отечественными археологами общественных систем кочевников генеральной тенденцией был переход от сугубо социально-теоретических схем, в которых археологические материалы играли по большей части иллюстративную роль (см., например: Семенов-Зусер С.А., 1931, с. 15–22; Равдоникас В.И., 1932, с. 58, 62, 65–68, 71, 76, 85–88; Киселев С.В., 1933, с. 31–29; Толстов С.П., 1934, с. 167–168, 205–206, 214–215; Смирнов А.П., 1935, с. 10, 14, 17–18, 27–31; Бернштам А.Н., 1935, с. 12–16, 20–22; 1936, с. 887–884; и др.), к попыткам выявления в многообразии артефактов тех сведений, которые были бы соотносимы с теоретическими установками и данными письменных источников. Этот переход отчетливо прослеживается на рубеже 1940–1950-х гг., когда в кочевниковедческой археологии был накоплен определенный фактический материал, позволявший проводить сравнительный анализ погребений в рамках той или иной культурной провинции и выявить дифференциацию погребений по размерам надмогильных сооружений и составу сопроводительного инвентаря. Также необходимо учесть, что в поле зрения археологов попали памятники кочевой элиты, исследования которых проводились на новом методическом уровне и позволили существенно детализировать наши знания о погребениях кочевых вождей (например, раскопки Пазырыкских курганов). На наш взгляд, показательными в этом отношении были работы Б.Н. Гракова (1947, 1947а, 1950), М.И. Артамонова (1947, 1947а), М.П. Грязнова (1947, 1950), С.И. Руденко (1948, 1951, 1952, 1953) и др. Все это открывало путь для разработки специальных методов палеосоциологического анализа и их апробации. Уже в конце 1950-х – середине 1960-х гг. подобные исследования дали существенный результат и позволили характеризовать кочевые сообщества как сложные социальные организмы (см., например: Акишев К.А., 1959, с. 204–209; 1962, с. 61–65; Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963,

с. 25–72, 85–88, 105, 148, 272–275; Руденко С.И., 1960, с. 185; 1962, с. 67, 69–71; Черников С.С., 1960, с. 19–21; 1961, с. 29, 32; 1965, с. 71–74; Смирнов К.Ф., 1961а, с. 6–10; 1964, с. 199–200, 210–215; Граков Б.Н., 1962, с. 99–100; 1964, с. 126–127; Смирнов А.П., 1966, с. 141–147; Тереножкин А.И., 1966, с. 40–49; и др.). При этом формационный подход оставался довлеющим над теоретическими обобщениями ученых, которые во многом определялись позицией того или иного автора в отношении вопроса о доклассовом или классовом характере кочевых обществ. Практические же разработки проблем социального ранжирования кочевников на основе изучения могильников номадов в этот период преимущественно опирались на исследования археологических материалов.

Исследователи, развивавшие идею рабовладельческих отношений у номадов, столкнулись с непреодолимым препятствием в лице малой заинтересованности кочевников в рабском труде. Несмотря на большое количество невольников и работорговлю (скифы, хунну), источники не давали возможности говорить о значительном удельном весе рабов в составе кочевых общин. В силу этого в качестве «рабов» фигурировали в основном земледельцы и ремесленники (зависимые племена, поселения военнопленных и перебежчиков), жившие на подвластных номадам территориях. В оценке ряда раннекочевнических обществ как «рабовладельческих» отразился еще один момент. Тем самым номадов древности перестали рассматривать только как «варварскую периферию», подчеркивая, хотя и с помощью «рабовладельческого инструментария», высокий уровень их социального развития.

С другой стороны, сложность общественных структур европейских скифов, сакских племен, усуней и хунну, подтверждаемая археологическими и письменными источниками, часто не получала должного объяснения, упрощалась и сводилась к стандарту: рабы (данники), общинники, родоплеменная знать и племенной вождь (царь). Возникал «замкнутый круг», причиной которого были идеологические установки, определявшие оценки отечественных исследователей. Признавая развитую социальную стратификацию кочевых социумов и возможность возникновения у ранних кочевников государства, ученые для общей характеристики могли выбрать только модели позднеродового объединения, военной демократии или рабовладельческого общества. В довольно однообразных концепциях социального устройства кочевников нашли отражение неразработанность проблемы ранней государственности и ограниченная формационными рамками типология социальных систем. В таких случаях разногласия оппонентов сводились часто к хронологическим определениям (например, генезис государства у скифов относили к VII, VI, IV и III–II вв. до н.э.).

Стереотипным можно считать представление о стадийном характере родоплеменных институтов. Наличие родоплеменных структур у ранних кочевников вынуждало исследователей констатировать наличие родовых пережитков, замедленность социальных процессов и генезиса государственности, хотя не мешало оценивать средневековые общества номадов как феодальные и государственные. Часто получалось, что один и тот же институт, например, данничество, рассматривали как свидетельство рабовладения (Б.Н. Граков, А.И. Мелюкова, С.П. Толстов) и феодализма (А.Н. Бернштам, С.В. Киселев, Г.А. Федоров-Давыдов).

Традиционной стала интерпретация лидеров родоплеменных структур как «феодальной знати», с соответствующей феодальной лестницей. Основанием для таких оценок служила иерархическая организация родоплеменных институтов в кочевых обществах, разные формы зависимости рядовых кочевников от бегов, биеев, баатулов, султанов, зайсанов и т.д., как от военных вождей, людей, исполнявших общественные и судебные обязанности, владельцев больших стад скота. К этому же располагали айльные объединения номадов, в которые часто входили кочевники различного имущественного и социального статуса. Вследствие методологического подхода отечественных исследователей родовая взаимопомощь, все формы экономических и семейных отношений чаще всего рассматривались как «феодальная эксплуатация». Общая картина дополнялась политэкономическими теориями феодальной собственности на землю или скот.

В завершение следует отметить, что изучение отечественными учеными в 1940–1960-е гг. общественного устройства скифов, сарматов, саков, хунну, тюрков, кыргызов, половцев, монголов и других номадов сыграло большую роль в становлении идеи универсального развития кочевых обществ разных эпох и подготовило пересмотр многих теоретических положений отечественного кочевниковедения в последующие десятилетия.

Глава 2

Изучение общественной структуры и властных институтов у кочевников в отечественной историографии конца 1960-х – начала 1990-х гг.

2.1. Влияние зарубежных историко-методологических подходов, ревизия сталинского марксизма и развитие исследований социально-политической организации кочевников в конце 1960-х – середине 1980-х гг.

Конец 1960-х – середина 1980-х гг. – самый яркий период в развитии советского кочевниковедения. В это время были опубликованы работы, подводившие итоги многолетним исследованиям советских ученых, сложились новые подходы к решению проблем социально-политической организации кочевников. Эти изменения, на наш взгляд, определялись разными причинами и факторами.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что еще в конце 1950-х – 1960-е гг. существенно изменились условия развития советской исторической науки. Воздействие эпохи «оттепели» меняло внутреннюю атмосферу в научном сообществе. Были реабилитированы многие исследователи, возродился интерес к дореволюционной историографии. От историка теперь требовалось не выявление «закономерностей, лежащих в основе каждой из докапиталистических формаций», а творческое осмысление марксизма. Устремления довольно значительного консервативного крыла блокировались политически. Известно меткое замечание А.И. Микояна в отношении просталинского руководства советского востоковедения: «Восток проснулся, а институт востоковедения спит» (Ким О.В., 2001, с. 96).

Атмосфера умеренного либерализма вокруг отечественной и зарубежной истории в годы «оттепели» в немалой степени поддерживалась сотрудниками аппарата ЦК КПСС А. Бовиным, Г. Арбатовым, С. Шахназаровым, Ф. Бурлацким. Стремясь либерализовать и модернизировать политическую линию догматического руководства наукой сталинской закалки, они по мере возможности влияли на руководство Института всеобщей истории АН СССР, и это помогло в организации ряда дискуссий по актуальным темам отечественной и зарубежной истории. Выдающаяся роль в развитии исторической науки в 1960-е гг. принадлежала сектору методологии истории при Институте истории АН СССР под руководством М.Я. Гефтера. Его сотрудники (Б.Ф. Поршнев и др.) были инициаторами и участниками ряда ключевых дискуссий по проблемам средневековья и нового времени, способствовали изданию тематических сборников (Ким О.В., 2001, с. 98).

Новые исследования, обсуждения и дискуссии позволили скорректировать и уточнить многие положения формационной теории применительно к историческим особенностям разных стран. К 1960-м гг. советские ученые оперировали уже не столько теоретическими установками, сколько конкретно-историческими материалами, особенно это касалось наименее идеологизированных направлений – археологии, кочевниковедения, востоковедения.

Нельзя не учесть и тот факт, что в историческую науку пришло новое поколение (среди кочевниковедов Г.Е. Марков, А.М. Хазанов, А.И. Мартынов и др.), для которого дискуссии, скажем, 1930-х гг. были историографией. В 1980-е гг. появилась плеяда талантливых ученых, во многом определивших дальнейшее развитие исследований социально-политической организации кочевников (Н.Э. Масанов, Е.П. Бунатян, Н.Н. Крадин и др.). Они не были воспитаны в условиях репрессий и жесткого политико-идеологического давления на научную сферу. Получили возможность отстаивать свои взгляды и те, кто в предшествующих дискуссиях официально считался «проигравшим». Не случайно, что именно в 1971 г. опубликовал свою лучшую монографию участник дискуссии о патриархально-феодальных отношениях С.Е. Толыбеков.

Историческая наука стала более открытой к внешним влияниям, развивались связи с зарубежными учеными и научными центрами. Для 1960-х гг. стали нормой международные конференции, конгрессы, форумы. Тем самым постоянно возникали «площадки» для обсуждения разных проблем и вопросов, прояснения методологических основ, демонстрации новых результатов. Советской научной общественности стали доступны зарубежные исследования, появилась переводная литература. Именно в этот период переживает свой расцвет такой жанр исторического творчества, как критика различных идей и концепций «буржуазной науки». Уже тогда осознавалось, что это был ле-

гальный канал знакомства с достижениями западной историографии, а критическое отношение к ней, выявление недостатков, субъективных основ, идеалистического характера и пр. нередко представляли собой своеобразные «правила игры», «плату» за доступ к новому знанию. Это в какой-то мере верно и в отношении адептов марксистской теории и ее искренних сторонников, веривших в превосходство марксистско-ленинской истории над западными учениями. Даже наиболее резкие критические опусы вольно или невольно становились источниками информации об исследователях, методах и тенденциях, господствовавших за рубежом. Не будем также забывать, что исследователи ряда социалистических стран (Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии) вели активный диалог как с советскими, так и с западноевропейскими учеными. Политически контролировать поступление информации к ведущим специалистам в СССР в таких условиях было практически невозможно, хотя подобные попытки осуществлялись неоднократно.

Вне всякого сомнения, идеологический контроль оставался и в определенные периоды даже усиливался. Но методы его стали иными. Чаще всего практиковались проработки, увольнения, редко – запрет на публикацию статей и книг. Также в качестве наказания могли использовать изгнание или, наоборот, невыдачу разрешения на выезд за границу, как это случилось с А.М. Хазановым. На протяжении четырех лет ему пришлось вести всю работу по подготовке первого издания его монографии «Кочевники и внешний мир» в издательстве Кембриджского университета практически полностью. И только в 1985 г., через год после выхода книги и через пять лет после подачи заявки на отъезд за границу, А.М. Хазанов (2000, с. 8–10) вместе с семьей смог покинуть СССР. Одному из самых ярких отечественных медиевистов А.Я. Гуревичу (1999, с. 14–20) в период подготовки и выхода книги «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» (влияние этой и других его работ прослеживается в исследованиях по истории России, кочевников, восточных земледельческих обществ) пришлось выдержать критику «ортодоксальных» марксистов и череду «проработок». Тем не менее А.Я. Гуревич смог продолжить свою научно-исследовательскую деятельность. В 1970-е – середине 1980-х гг. он опубликовал почти десяток монографий, часть из которых вышла в издательстве «Наука». Постепенно вокруг этого исследователя сложилось целое направление отечественной медиевистики. Конечно, были и другие трагичные примеры...

Гораздо более важным нам представляется господство в научных и учебных кругах консервативно настроенных ученых. Они не только количественно превосходили сторонников инновационных подходов, но что особенно значимо – в их руках находилось управление научной сферой. Во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. эта «консервативная» линия, направленная на охрану марксистской формационной теории от всякого рода инноваций, играла ведущую роль в развитии исторической науки. Не случайно мы ниже будем говорить о ренессансе концепции кочевого феодализма, феодальной характеристики номадных объединений периода средневековья. Таким образом, в советском научном «пространстве» в 1970–1980-е гг. мы увидим несколько разнонаправленных «поток», противоборство и сосуществование «консерваторов» и «новаторов». Последние возобладали только в конце 1980-х гг., когда перестроечные процессы уже вызвали кризис господствующей идеологии.

Если говорить о кочевниковедческом направлении в истории и археологии, то их развитие проходило в русле названных тенденций. Стоит только учесть, что, как и для востоковедов, для тех, кто занимался социальной историей номадов, вопрос об инновационных подходах стоял гораздо острее. В первом параграфе отмечалось, что еще с середины 1930-х гг. кочевниковеды не смогли выработать единого подхода к методам и способам «наложения» формационной понятийной сетки на историю номадов (достаточно посмотреть на хронологический аспект этой проблемы), а также к характеристике общественных систем номадов в рамках докапиталистических формационных моделей. Эта ситуация вызывала постоянные очные и заочные (на страницах книг) дискуссии вокруг содержательного наполнения отдельных периодов истории кочевников с помощью марксистских терминов (показательна в этом отношении дискуссия о патриархально-феодальных отношениях, особенно на первых этапах). Причем накал этих дискуссий на протяжении 1950–1960-х гг. нарастал.

Как представляется, можно говорить об определенном кумулятивном эффекте, связанном с проблемой «роста». Ведь долго дискутировать на основе строгого соблюдения концептов «пятичленки» было невозможно, особенно если брать в расчет теоретические аспекты (марксизм развивался к этому моменту уже более столетия, но найти нового сопоставимого с «классиками» теоретика, после критики и крушения «сталинизма», в СССР не смогли; при этом разрыв между теорией середины XIX в. и реалиями жизни и научной практики 1960–1980-х гг. все время возрастал). Появля-

лось желание найти новые решения, позаимствовать другой опыт, тем более, что это и не особо возбуждалось (за исключением А.М. Хазанова и, возможно, Л.Н. Гумилева с его теорией этногенеза, никто из крупных кочевниковедов не подвергся серьезному давлению властей). В этих условиях творческий поиск велся как в направлении развития марксистского подхода, так и по линии учета разработок зарубежных ученых. Определить их соотношение крайне трудно, но отрицать существенное влияние зарубежной науки (прежде всего западноевропейской и американской), которая переживала значительную трансформацию начиная с середины XX в., было бы крайне неверно.

В связи с этим стоит напомнить, что в западной исторической науке в послевоенный период по существу происходило формирование новых исторических парадигм (цивилизационной, структуралистской, антропологической и др.), развивались новые методологические направления (история ментальностей, неэволюционизм, мир-системный анализ, микроистория и пр.), шел активный поиск новых методов реконструкции прошлого, вырабатывались разные стратегии междисциплинарного синтеза. Причем этот поиск велся не только в рамках всего гуманитарного блока (историки заимствовали методы социологии, этнологии, антропологии, психологии, культурологии, демографии и т.д.), но и за его пределами (синергетика, медицина, математическое моделирование, генетика и пр.).

Для западной науки в 1950–1970-х гг. уже остро стоял вопрос о синтезе различных направлений. Рождались социальная и историческая антропология, оттачивалась неэволюционистская схема социогенеза, вырос из структуралистских идей Фернана Броделя мир-системный анализ И. Валлерстайна и его последователей. С поворотом к постмодернизму появились микроистория, «история повседневности» («история снизу»), различные направления региональных исследований.

Для кочевниковедческих изысканий в СССР особенно важными, из развивавшихся в западной науке методологических направлений, были цивилизационная концепция А. Тойнби, неэволюционистские теории «вождества» и «раннего государства».

Большая роль в разработке новой концепции цивилизационной истории принадлежала английскому историку, философу и общественному деятелю А.Дж. Тойнби. Опираясь на опыт своих предшественников, в том числе знаменитый труд О. Шпенглера «Закат Европы», А. Тойнби на протяжении 20 лет подготовки 12-томного фундаментального труда «Изучение истории» (в русском переводе 1991 г. «Постижение истории») проводил комплексные исследования цивилизаций. Цивилизационная теория А. Тойнби имела несколько отличительных особенностей. Для нее не было характерным противопоставление Запада и Востока, так как сравнивал он отдельные цивилизации. Поэтому, например, в средневековый период вместо монолитного Востока у него представлены динамично эволюционирующие исламская, индуистская и дальневосточная цивилизации. В целом выделенные им полтора десятка неевропейских цивилизаций в мировой истории развивались далеко не идентично. Следуя терминологии А. Тойнби, цивилизации образовались в результате «ответов» на совершенно разные «вызовы» окружающей среды и человеческого окружения и являются «умопостижимыми» только в конкретно-историческом контексте. Поэтому цивилизации или «умопостижимые поля исторического исследования» представляют собой... «общества с более широкой протяженностью как в пространстве, так и во времени, чем национальные государства, города-государства и любые другие политические союзы». Цивилизации в процессе развития проходят определенные фазы роста и упадка, имеют ряд типологических признаков (вселенская церковь, универсальное государство и др.), но в целом А. Тойнби отрицал концепцию «единства истории» (он исходил из представлений о нелинейном движении исторического времени) и сомневался в эквивалентности и сравнимости «фактов» при изучении цивилизаций. В тоже время он пытался выявить общие тенденции и этапы в развитии цивилизаций, их взаимовлияние, показать преемственность «базовых» и «дочерних» цивилизаций и т. д. (Тойнби А.Дж., 2006а–в; 2009а, 2009б).

В свете нелинейных представлений рассматривался и кризис цивилизации. В частности, утрата динамики конкретной цивилизации, ее невосприимчивости к «вызовам» среды могли быть, с точки зрения А. Тойнби, следствием развития не столько социально-экономических процессов, но и результатом экспансии, перенапряжения системы, идейного кризиса, экологической катастрофы и даже «завершенности исторической миссии» (примерно так А. Тойнби объяснял одну из причин упадка Османской империи в XVII–XVIII вв.), т.е. в каждом случае необходим специфический диагноз, адекватный конкретному историческому, культурному, географическому пространству и времени. Касательно цивилизации кочевников А. Тойнби (1991, с. 102) писал, что она являлась «за-

стывшей», практически не развивалась, что определялось особым характером «вызова» – аридными условиями Великой евразийской степи.

Наряду с подходом А.Дж. Тойнби получил развитие и другой взгляд на цивилизацию как стадию развития (он был обозначен еще в эволюционистских разработках XIX в.). Длительное время наиболее популярными были 10 критериев цивилизации, выдвинутые Гордоном Чайлдом: 1) появление городских центров; 2) возникновение классов, занятых вне производства пищи (ремесленники, торговцы, жрецы, чиновники и пр.) и живущих в городах; 3) значительный прибавочный продукт, изымаемый элитой; 4) наличие монументальных культовых, дворцовых и общественных сооружений; 5) обособление правящих групп, наличие фиксируемой в археологических источниках резкой социальной стратификации; 6) появление письменности и зачатков математики; 7) развитие изысканного художественного стиля; 8) появление торговли на дальние расстояния; 9) образование государства; 10) взимание налогов или дани (Childe V.G., 1950, p. 3–17). Эти слишком широкие показатели были уточнены К. Ренфрю, который ограничил список признаков цивилизации вдвое: 1) социальная стратификация; 2) высокоразвитая ремесленная специализация; 3) город; 4) письменность; 5) монументальное культовое строительство (Renfrew C., 1972, p. 5–7).

В западной историографии послевоенного периода все более прочное место занимают антропологические исследования. Причем круг авторов и направлений здесь был очень широк. Востребованными оказались и работы исследователей первой половины XX в., таких как М. Мосс, Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун, Э. Эванс-Причард и др. Разные антропологические аспекты были широко представлены в изысканиях основателей французской школы «Анналов» М. Блока и Л. Февра и их преемника Ф. Броделя (зарождение исследований менталитета, синтез истории и психологии, концепция «тотальной истории» и т.д.). Особую актуальность приобрели исследования разных антропологических аспектов архаичной экономики, племенной системы, догосударственной и государственной власти (М. Фрид, К. Поланьи, М. Салинз и др.), первобытного мышления (К. Леви-Стросс). Причем развитие этих и других направлений шло в рамках разных этнологических и антропологических школ. Наиболее значительным было влияние британской социальной антропологии, американской культурантропологии и французской этнологии. В 1960–1970-х гг. в ходе междисциплинарного синтеза начинает оформляться историко-антропологическое направление (Ф. Арьес, Э. Ле Руа Ладюри, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, Ж.-П. Поли, П. Берк, К. Томас, А. Макфарлейн, Н.З. Дэвис и др.). В нашей стране основы антропологических исследований в первые десятилетия XX в. заложили еще ученые историко-психологической школы (Л.П. Карсавин, П.М. Бицилли, Г.Г. Шпет). В СССР в 1970-х – первой половине 1980-х гг. одним из первых структурно-антропологический подход апробировал А.Я. Гуревич в книге «Категории средневековой культуры» (1972/1984) и ряде других изданий.

Теории «вождества» и «раннего государства» сформировались в рамках новой эволюционистской схемы социогенеза, которая в общих чертах сложилась в 1960-е гг. и нашла отражение в работах американских антропологов Э. Сервиса и М. Салинза. Они считали первой формой объединения людей локальные группы, имевшие эгалитарную общественную структуру, аморфное руководство наиболее авторитетных лиц. С переходом к производящему хозяйству возникли общины и племена, появляются институт надобщинного лидерства, возможно, ранние формы системы возрастной дифференциации (дети, подростки, юноши, мужчины, старики). Следующую стадию выделили Э. Сервис и М. Салинз – вождество (англ. *chiefdom*). Отличительными чертами вождества они считали возникновение социальной стратификации, отстранение масс от процесса принятия решений. Позиции правителей вождеств основываются на контроле ресурсов и перераспределении прибавочного продукта. С вызреванием государства центральная власть получает монополию на узаконенное применение силы. На этой стадии появляются письменность, цивилизация, города. Таким образом, линейная схема Э. Сервиса и М. Салинза предполагала следующие уровни интеграции: локальная группа – племя – вождество – государство¹ (Крадин Н.Н., 1992, с. 146–151; 1995а, с. 11–12; 2007а, с. 26–27; Класен Х.Дж.М., 2000, с. 13).

В дальнейшей разработке теории вождества в 1970–1980-х гг., наряду с Э. Сервисом, принимали участие Р.Н. Адамс, Р. Карнейро, Х.Дж.М. Класен и П. Скальник, Т. Ерл и др. В результате концепция была существенно детализирована. Были разработаны признаки вождества, его структу-

¹ Р. Адамс в 1975 г. предложил выделять шесть уровней социальной интеграции: 1) локальные группы, 2) вождества или провинции, 3) государства или королевства, 4) национальная интеграция, 5) интернациональный уровень и 6) всемирная интеграция.

ра, типология, выявлены функции лидеров таких объединений. Среди признаков, в частности, назывались: надлокальный уровень централизации; иерархическая система принятия решений и наличие институтов контроля, при отсутствии узаконенной власти, имеющей монополию на применение силы; четкая социальная стратификация, ограниченный доступ к ключевым ресурсам, тенденция к отделению эндогамной элиты от простых масс в замкнутое сословие; важная роль в экономике реди-стрибуции – перераспределение прибавочного продукта по вертикали; общая идеологическая система и/или общие культы и ритуалы; правитель вождества – сакральная фигура и др. Разные типологии учитывают специализацию (военные, теократические, тропико-лесные), структурные особенности (компактные, дисперсные и прибрежные), уровни сложности (простые, сложные/составные) и пр. Также установлено, что лидеры вождеств для управления обществом и поддержания власти используют контроль над ресурсами, обменом и торговлей, ремесленным производством, выполняют организационно-управленческие, перераспределенческие, военно-организационные функции (Крадин Н.Н., 1992, с. 146–151; 1995а, с. 16–36; 2001в, 130–133; 2007а, с. 26–27).

Реферированное определение вождества Н.Н. Крадиным (2001в, с. 131–132) позволяет «дефинировать вождество как форму социополитической организации позднепервобытного общества, которая, с одной стороны, характеризуется как система, имеющая тенденцию к интеграции посредством политической централизации, наличием единой реди-стрибутивной экономики, идеологического единства и т.д., а с другой – как система, имеющая тенденцию к внутренней дифференциации посредством специализации труда (в том числе и управленческого), неравного доступа к ресурсам, отстранению непосредственных производителей от управления обществом, статусной дифференциации культуры». Первоначально термин использовался для обозначения только социополитической организации, но затем он стал употребляться и в более широком смысле для обозначения позднепервобытного, предклассового общества в целом (Крадин Н.Н., 1995а, с. 11).

Еще одним достижением неозолуционизма стала теория «раннего («архаичного») государства». Такую государственную структуру отличают от сословно-классовых и «индустриальных» государств (государств-наций). Работу над понятием «раннее («архаичное») государство» вели М. Фрид, Э. Сервис, Э. Саутхолл, Р. Карнейро, Р. Коэн, К. Ренфрю и др. В 1970–1980-е гг. разработкой данной проблемы занимался коллектив под руководством голландского политантрополога Х.Дж.М. Классена. Еще ранее определились основные подходы к сущности государства. По мнению одних исследователей, «государство возникает вследствие организационных нужд, с которыми вождеская организация власти не может справиться». При этом власть в раннем государстве имеет не насильственный, а консенсуальный характер (интегративная версия политогенеза). Другие считают, что «государственность – это средство стабилизации стратифицированного общества от предотвращения конфликтов в борьбе между различными группами за ключевые жизненные ресурсы жизнеобеспечения» (Крадин Н.Н., 2001а, с. 139; Карнейро Р.Л., 2006а, с. 55–67; и др.).

В ходе исследований Х.Дж.М. Классен и П. Скальник предложили типологию ранних государств по степени зрелости («зачаточное», «типичное», «переходное»). Если суммировать разные признаки, то главными критериями выделения раннего государства следует считать появление центрального и провинциального аппарата управления, письменная фиксация свода законов, постепенная трансформация дани и «кормлений» в налоги, существование специального аппарата судей, клановый характер управления государством и т.д. (Классен Х.Дж.М., 2000, с. 8–9; 2006б, с. 71–74; Саутхолл Э., 2000, с. 130; Крадин Н.Н., 2001в, с. 142–147; 2005а, с. 27–28; Карнейро Р.Л., 2006а, с. 55–67; и др.).

Влияние этих идей на советских исследователей было достаточно опосредованным. Например, концепция вождества повлияла на изучение социальной и политической эволюции отечественными учеными сравнительно поздно (Khazanov А.М., 1978, 1978а, 1981, 1984; Хазанов А.М., 1979; Васильев Л.С., 1980, 1981, 1982, 1983; Першиц А.И., 1986, 1988; Куббель Л.Е., 1977, 1979, 1988, Белков П.Л., 1991; и др.). Гораздо важнее было то, что проблемы переходных обществ обсуждались и разрабатывались советскими учеными параллельно и в контакте с зарубежными исследователями. Особенно показательна в этом отношении разработка за рубежом и в СССР понятий «раннее государство», «раннегосударственное общество». Доступность зарубежной литературы в СССР делала возможность знакомства советских авторов с новыми концепциями, теориями и идеями вполне реальной. Этой же цели способствовали конференции и симпозиумы. Грандиозным событием стал XXV конгресс востоковедов, проведенный в Москве в 1960 г. В его работе участвовало свыше 2000 востоковедов из 50 стран. Далее последовали международные научные мероприятия не только с

участием востоковедов (конгресс востоковедов в Дели в 1964), а также и других историков (например, XIII Международный конгресс исторических наук в Москве и V Международный конгресс экономической истории в Ленинграде в 1970 г.). Кочевниковеды также имели возможность обменяться мнениями на различных международных форумах. Среди них можно назвать, к примеру, Международные конгрессы антропологических и этнографических наук (Москва, 1964; Токио, 1969; Чикаго, 1972) или Международную конференцию под эгидой ЮНЕСКО по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху (Душанбе, 1968; материалы опубликованы в 1974–1975 гг.).

Конечно же, было бы совершенно неверным утверждать, что изменения в советской исторической науке определялись только новыми разработками в западной истории, антропологии и археологии. Это не более чем один из важных факторов. К тому же советские исследователи нередко обращались не к современным им идеям, а к публикациям, которые скорее открывали новые направления исторических исследований в зарубежной науке.

Гораздо более значимыми были проблемы адаптации формационных моделей к разным регионам и историческим общностям, лакуны в целом ряде ключевых вопросов (например, альтернативные западноевропейским пути становления государственности, феодализация без античного влияния), соотношение социогенеза и политогенеза (в исследованиях стали отмечать, что развитие политических структур нередко опережало процессы классовообразования, что противоречило схеме последовательного становления классов, а затем уже оформления государства), неразработанность понятий, отражающих переходные эпохи, ограниченность дискуссионного поля в основном социально-экономическими вопросами, из-за чего дискуссии нередко заходили в тупик (достаточно вспомнить дискуссию о патриархально-феодальных отношениях) и т.д. То есть в советской исторической науке 1960-х гг. остро встал вопрос о дальнейшем развитии марксистской теории (для кочевниковедов особенно важное значение имели проблемы переходных (от первобытных к классовым) обществ, так как кочевники нередко относились к переходным объединениям и сохраняли черты, как тогда считалось, «разных исторических эпох»).

В научных учреждениях, в рамках конференций, на страницах монографий и статей велись обсуждения самых актуальных вопросов исторической теории. Достаточно назвать продолжительную дискуссию об АСП, проведение научной сессии «Итоги и задачи изучения генезиса феодализма в Западной Европе» в Институте всеобщей истории АН СССР (1966 г.), выход сборника «Проблемы истории докапиталистических формаций» (1968 г.), где, кстати, были опубликованы важные теоретические разработки отечественных кочевниковедов, публикация вызвавшая большой интерес научной общественности книги Б. Поршнева «Феодализм и народные массы» (1964 г.) и А.Я. Гуревича «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» (1970 г.) и многое другое.

Конкретные результаты этих обсуждений и изысканий были все же несколько скромнее. Консервативная часть ученых оказалась не очень восприимчивой к инновациям и критически относилась к попыткам ревизии исторической концепции марксизма. В конечном итоге были приняты только те идеи, которые не слишком выходили за рамки формационной идеи и которые можно было представить как органичное продолжение идей К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Это проявлялось прежде всего во внимании к ключевым для марксизма вопросам (формы социальной дифференциации и эксплуатации, вопросы собственности и т.д.).

Именно такой была концепция дофеодального общества А.И. Неусыхина. Изучение материалов франкской истории начала VI в. позволило ему выявить специфичную структуру общества, которое уже не было позднепервобытным, но еще не встало на путь феодализации. Во франкском социуме, как показал исследователь, уже наметилась существенная дифференциация, были представлены различные группы знати, социальная периферия в лице литов, колонов, рабов. Но основную массу населения составляли свободные франки, обладавшие земельной собственностью, правом участия в сотенных собраниях, являвшиеся членами ополчения и т.д. (Неусыхин А.И., 1967, 1968). Эти характеристики были распространены и на другие общества варваров начала раннего средневековья (Неусыхин А.И., 1968а). Интересно как сам ученый оценивал результаты исследования, отвечая на вопросы во время сессии, посвященной проблемам генезиса феодализма в Западной Европе: «Моим докладом я стремился внести посильный вклад в выяснение характера переходных периодов на одном конкретном примере и полагаю, что исследование своеобразной структуры общества в такие периоды может оказаться небесполезным для развития исторической науки, ибо оно выдвигает необходимые промежуточные звенья между общественными формациями (Неусыхин А.И., 1968, с. 62). Концепция оказалась весьма плодотворной и привлекла не только медиевистов (Гуревич А.Я.,

1968, 1970), но и специалистов из других областей исторической науки, в том числе и кочевниковедов (Марков Г.Е., 1970, с. 78; 1976, с. 308).

Но наиболее значимой разработкой для оценки социальных отношений у кочевников стала концепция раннеклассового (раннегосударственного) общества. Суть ее в общих чертах сводилась к тому, что раннеклассовое общество было переходным от первобытного к классовому, в котором классовая элита еще только зарождалась и не могла передавать по наследству свои накопления и общественный статус, соответственно этому не сложились государственные институты, не оформилась монополия на применение силы, сохранялась высокая социальная мобильность и пр. Тем самым акцент в теории раннеклассового общества делался на его предклассовый характер и отсутствие государственности (правда, в решении последнего вопроса единства мнений не было). Вместе с тем теоретическая модель раннеклассового объединения так же, как и дофеодального социума, предполагала сочетание в себе элементов различных социально-экономических формаций, что, по логике, должно было определять дальнейшую эволюцию кочевнических раннеклассовых объединений (Неусыхин А.И., 1967, 1968, 1968а; Хазанов А.М., 1968, с. 93–97; 1976; Гуревич А.Я., 1970; Васильев Л.С., 1982, с. 60–99; и др.). Если земледельческие раннеклассовые общества потенциально могли эволюционировать в сторону классовых структур, то кочевники, у которых, как полагали исследователи 1970–1980-х гг., преобладали черты поздней первобытности, так и оставались на раннеклассовом уровне, воспроизводя детерминированные степными условиями традиционные формы кочевания, родоплеменные институты и тесные социальные связи аулов, кланов, племен, а это блокировало возможность становления классовых отношений (Марков Г.Е., 1967, 1970, 1976; Семенов Ю.И., 1982; Павленко Ю.В., 1989, с. 86–90; и др.).

Выработка теории началась еще в конце 1960-х гг. (см. сборники: «Проблемы истории докапиталистических обществ» (1968), «Разложение родового строя и оформление классового общества» (1968) и др.). Но пик обсуждений понятия «раннеклассовое общество», апробации теории на истории разных обществ пришелся на 1970-е – начало 1980-х гг. Особенно этому способствовали дискуссии на конференциях (например, конференция «Возникновение раннеклассового общества» в 1973 г.) и выпуск сборников статей, таких как «Первобытное общество» (1975), «Становление классов и государства» (1976), «Исследования по общей этнографии» (1979), «Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе» (1982) и др. Различным аспектам изучения кочевнических обществ в русле теории раннеклассового общества уделяли внимание А.М. Хазанов (1975а–в, 1976, 1979), А.И. Першиц (1973, 1976), Д.Г. Савинов (1979), А.Д. Грач (1979, 1980, 1984, 1984), Ю.В. Павленко (1989) и др.

Собственно говоря, концепция раннеклассового общества, применительно к социальным оценкам кочевников средневековья, отражала сформировавшиеся убеждения части советских кочевниковедов в том, что феодальное, сословно-классовое общество даже потенциально не могло возникнуть у кочевников. Непосредственно против существования у кочевников «классических феодальных отношений», «кочевого феодализма» выступили Г.Е. Марков, С.Е. Толыбеков, Е.М. Залкинд, К.П. Калиновская, Ч.Я. Язлыев, С.П. Поляков и др. Пределом общественного прогресса кочевников считались «военная демократия», «раннеклассовые» отношения, «племенное государство». Родоплеменные структуры рассматривались как единственно возможная форма организации экономической, социальной и военно-политической жизни кочевников (Марков Г.Е., 1967, с. 29–30; 1970, с. 86–89; 1976, с. 287–303, 305–310; 1979, с. 27–29; 1981, с. 88–90, 1982, с. 83; Залкинд Е.М., 1969, с. 257–261; 1970, с. 297–326, 339–340; Толыбеков С.Е., 1971; Марков Г.Е., Язлыев Ч.Я., 1977, с. 67; Поляков С.П., 1980, с. 98–107; Калиновская К.П., Марков Г.Е., 1983, с. 61; и др.).

В кочевниковедческой историографии особая роль в разработке новых подходов отводилась Г.Е. Маркову. Поскольку научные исследования этого ученого, его позиция в отношении социальной истории кочевников лучше всего демонстрируют инновационные и ревизионистские идеи в советском кочевниковедении, рассмотрим подробнее эволюцию взглядов Г.Е. Маркова на протяжении второй половины 1960-х – начала 1990-х гг.

В своей докторской диссертации «Кочевники Азии (хозяйственная и общественная структура скотоводческих народов Азии в эпоху возникновения, расцвета и заката кочевничества)» (1967), отвергнув возможность применения к кочевным обществам феодальной парадигмы, исследователь высказал гипотезу о том, что кочевникам «свойственен самостоятельный способ производства». Его признаками ученый считал родоплеменную структуру, семейную собственность на скот, дифференциацию общества по имущественному положению, социальные привилегии военных вождей. Наряду

ду с этим в социальной системе номадов в качестве укладов присутствовали элементы других общественных отношений (Марков Г.Е., 1967, с. 7, 30).

Позднее в отдельных статьях и монографии «Кочевники Азии» (1976 г.), которая представляла собой публикацию материалов диссертации, исследователь несколько скорректировал свое мнение. К этому моменту всюду шло обсуждение концепций «дофеодального» и «раннеклассового» обществ и стало ясно, что те критерии «кочевнического» способа производства, которые в 1967 г. выделил Г.Е. Марков, скорее характерны для многих переходных, предклассовых социальных систем. Именно в связи с этим, как считает Н.Н. Крадин (2007, с. 19–20), на основании практически одной и той же фактологической базы Г.Е. Марков пришел к разным выводам, отказавшись временно от идеи «особого способа производства» у номадов.

Через несколько лет после защиты диссертации он уже писал о том, что «общества, определяемые классиками марксизма как «военные демократии», во многом напоминают общества кочевников». У них фиксировались развитие имущественной и социальной дифференциации, сложение классов (Марков Г.Е., 1976, с. 308). Далее он заключает, что «судя... по наиболее существенным признакам, общественные отношения у кочевников сходны со структурой общества в «дофеодальный период» (Марков Г.Е., 1970, с. 78; 1976, с. 308). Таким образом, он приравнивал «военно-демократические» и «дофеодальные» общества, что на самом деле не вполне соответствовало трактовке «дофеодального периода» А.И. Неусыхиним. Однако этот вопрос не был столь существенным (не случайно в своих работах конца 1970-х – начала 1980-х гг. Г.Е. Марков предпочитает оперировать понятиями «раннеклассовое» и «предклассовое»). Гораздо более важное значение имел главный вывод Г.Е. Маркова о том, что у номадов «при сильной имущественной и социальной дифференцированности процесс классовобразования не был завершен» (Марков Г.Е., 1976, с. 304).

Убедительное обоснование этой точки зрения строилось не только на основании письменных источников древности, средневековья, нового времени, но и на обильном цитировании К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, партийных документов (например, резолюция X съезда РКП(б) по национальному вопросу, где указывалось, что кочевники на территории Туркестана, Азербайджана, Дагестана и других территорий не прошли капиталистическое развитие, сохранили «скотоводческое хозяйство и патриархально-родовой быт» (Марков Г.Е., 1976, с. 306–307)). Они должны были придать обоснованность выводам ученого, а самое главное – представить доказательства концепции в понятных для советских ученых и идеологов формах. Таким образом, Г.Е. Марков, как и его коллега С.Е. Толыбеков, смог критиковать применение к истории номадов жестких формационных критериев. Концепция «предклассового» общества у кочевников превалировала в серии публикаций ученого (Марков Г.Е., 1980; 1981; 1982; 1989; Калиновская К.П., Марков Г.Е., 1983, 1987) и была поддержана целым рядом исследователей (Вайнштейн С.И., Семенов Ю.И., 1977, с. 165; Семенов Ю.И., 1982, с. 54; Калиновская К.П., 1989; и др.).

Г.Е. Марков высказал еще одну сверхактуальную идею, не вписывающуюся в формационную теорию. Проведя скрупулезное сравнение на основании самых разных групп источников общественных систем древних кочевников, монголов, казахов, туркмен и арабов, он пришел к выводу, что принципиальные различия в общественно-политической организации этих кочевых социумов отсутствовали. Если земледельческие общества, по его мнению, последовательно проходили разные стадии, так как раннеклассовые государства земледельцев, в ходе своего исторического развития, «сменялись рабовладельческими, феодальными и т.д., то у кочевников динамика социально-политических изменений имела циклический характер. Для характеристики этих изменений Г.Е. Марков (1967, с. 28–30) еще в диссертации предложил выделить у номадов два «агрегатных состояния»: «общинно-кочевое» и «военно-кочевое». Он полагал, что переход общественной организации кочевников из «общинно-кочевого» состояния в «военно-кочевое» и обратно – «явления обратимые». После распада империй, как считал ученый, «у подвижных скотоводов в том или ином виде возрождалась общинно-кочевая организация» (Марков Г.Е., 1976, с. 313).

В целом именно «общинно-кочевое» «агрегатное состояние» Г.Е. Марков считал базовым и преобладающим. Только в годы войн и больших переселений общественная организация кочевников, по его мнению, приобретала новые черты, а «военные и политические интересы выступали на первый план» (семьи, скотоводческие группы и объединения выступали как подразделения военной системы; возрастало единство племени; высшие звенья племенной структуры упорядочивались и «воплощались в реальные военные соединения и политические образования; появление более или менее централизованной власти, аппарата управления, элементы которого иногда заимствовались у

окружающих оседлых народов; в отдельных случаях племенная структура временно заменялась военной на десятичном принципе; усиливалась власть вождей и т.д.). В результате, как считал ученый, и возникали кочевые империи, «олицетворявшие военную централизацию скотоводов» (Марков Г.Е., 1976, с. 312).

Однако в дальнейшей характеристике кочевых империй Г.Е. Марковым заметно некоторое противоречие. Если исходными факторами возникновения империй он считал внешние – войну и миграции, а структурно империя оформлялась с целью ответа на эти «вызовы», то ниже он пишет, что имперские объединения кочевников существовали для грабежа и завоеваний в интересах «верхушки кочевого общества» (военных и племенных предводителей). Далее Г.Е. Марков без указания причин пишет, что по мере «распадения империи и децентрализации племен», власть и влияние «военно-племенных предводителей ослабевают» и следует крах имперской организации. В целом кочевые империи исследователь представлял как «временные, эфемерные образования», не имеющие «прочного специфического экономического базиса» и во многом отличные от государств земледельцев (Марков Г.Е., 1976, с. 312).

Отдавая должное исследователю, который открыто выступил против существования феодализма у кочевников и высказал несколько ключевых для отечественного кочевниковедения идей, все же нельзя оставить без внимания некоторые его утверждения по поводу кочевых империй. Изучая историю конкретных военно-политических объединений кочевников, исследователь не мог не знать, что их имперские структуры кочевников могли быть достаточно устойчивыми и продолжительными во времени, особенно в случае захвата кочевниками территорий с оседлым населением (Восточное Ляо, Золотая Орда). К тому же и у земледельцев, наряду со стабильными имперскими структурами (Римская империя, Хань, Тан и др.), существовали империи другого типа (империи Александра Македонского, Карла Великого, Оттонов, Наполеона и др.), которым было отведено даже меньше времени, чем типичным кочевым державам.

Еще один важный момент в связи с позицией Г.Е. Маркова – насколько крепкими внутренними связями обладали кочевые империи. Согласимся с Н.Н. Крадиным, что военная доминанта была одной из определяющих, и он, в частности, приводит пример сохранения в державе Хунну «десятичной» системы, цементировавшей империю, на протяжении почти столетия (Крадин Н.Н., 2007, с. 23–24). Г.Е. Марков вообще подробно не рассматривал имперскую систему изнутри. Не случайно, что причины и механизмы распада кочевых империй у Г.Е. Маркова прописаны очень слабо. Здесь «эфемерность» имперских институтов «проявлялась» и в исследовательской практике.

Вызывает возражение и противопоставление «общинно-кочевого» и «военно-кочевого» состояний. Как указывает Н.Н. Крадин (2007, с. 23), «воинственный образ жизни – это важная черта многих кочевых обществ независимо от уровня их политической сложности». Кочевники не существовали в вакууме, а состояние войны не было временным, эпизодичным. Причем войны и завоевания могли быть очень продолжительными (например, завоевание китайских территорий монголами заняло более 50 лет) и не ограничиваться только противостоянием с земледельцами. Конфликты в степи были, пожалуй, даже чаще. Так, уйгуры вели длительную борьбу с тюрками в рамках имперской структуры Второго Тюркского каганата. Позднее самим уйгурам пришлось выдержать многолетнее противостояние с кыргызами, которое завершилось падением Уйгурского каганата. Представляется, что если и анализировать кочевые социумы в категориях «общинно-кочевое» и «военно-кочевое», то правильнее было бы говорить не об их периодической сменяемости, а о взаимной дополняемости. Племенная и имперская централизация не отменяла принципы общинного скотоводства. Низовые структуры (семья, род), скорее всего, не претерпевали никаких серьезных изменений. Поэтому имперская система как бы «нарасталась» над «общинно-кочевой», если пользоваться дефинициями Г.Е. Маркова.

Важной заслугой другого выдающегося кочевниковеда – С.Е. Толыбекова – стала разработка концепции кочевого аула как универсальной единицы, характерной для общественных систем кочевников всех эпох. Изучая на примере истории казахов функционирование экономических и социальных систем, С.Е. Толыбков выяснил, что не род, а аул (айл) был основной хозяйственной ячейкой кочевых обществ средневековья и, как предполагал исследователь, других эпох. Аул в оценках ученого представлял как социально-производственное объединение для выпаса скота, включавшее как родственников, так и различные группы наемных и полузависимых работников (Толыбеков С.Е., 1971, с. 157–158, 500–506, 509 и сл.).

Продолжая разговор о теоретических разработках советских кочевниковедов, нельзя не сказать о таком уникальном специалисте, как А.М. Хазанов, который удачно соединил в своей научной деятельности изучение теоретических аспектов истории номадов с исследованием конкретных кочевых обществ, в том числе и на основе данных археологии. В своей монографии «Социальная история скифов» (1975) он попытался не только реконструировать общественную организацию скифов, но и сопоставить ее с социальными системами других кочевых обществ (не случайно, что название книги содержало подзаголовок «Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей»). В результате исследования А.М. Хазанов (1975а, с. 200, 265, 271) пришел к выводу о том, что «общество скифов» демонстрирует большое «сходство» с кочевыми социумами древности, средневековья и нового времени, причем подразумевалась не только «их принципиальная однотипность, но и сходство многих конкретных форм социальной организации, общественных институтов и культурных элементов».

Одной из общих черт номадных социумов он считал численное преобладание слоя «рядовых свободных кочевников, эксплуатация которого, как правило, была косвенной, прикрытой традицией родоплеменной солидарности и, главное, не составляла основного источника доходов привилегированного слоя». При этом он отмечает наличие существенной дифференциации у номадов (рабы, данники, неполноправные обедневшие рядовые кочевники, аристократия, «духовная прослойка», царский род и т.д.), развитие которой однако блокировалось «застойностью» экстенсивной кочевой экономики, «вновь и вновь рождающей наиболее соответствующие ее уровню социальные слои и прослойки» (Хазанов А.М., 1975а, с. 200, 265–266). Таким образом, «стадиальное сходство» номадов объяснялось спецификой кочевой экономики, определявшей одинаковый уровень развития общественного развития и обратимость социальных процессов у кочевников разных эпох (Хазанов А.М., 1975а, с. 200, 265, 267, 272–273).

Определяя базовую «ступень» общественной эволюции, на которой находились номады, А.М. Хазанов (1975а, с. 252) указывал, что «все евразийские кочевые общества, известные науке, находились не ниже эпохи классового деления». Максимальный же уровень сложности социальных систем кочевников он обозначил как «раннеклассовый»: «...в своем самостоятельном развитии кочевники, как правило, не идут далее раннеклассовых отношений», притом, что «между кочевниками древности и средневековья не наблюдается существенных различий» (Хазанов А.М., 1975а, с. 200, 267). На этом основании ученый отвергал деление на «ранних» и «поздних» кочевников, возможность появления «феодальной собственности» у номадов и тем самым – возможность зарождения феодализма и поступательный характер развития номадизма. Аргументируя свою позицию, А.М. Хазанов на многочисленных примерах показывал, что некоторые «ранние» кочевники (например, скифы, хунну) опережали в социальном развитии поздних (половцев, печенегов и др.). Но наиболее устойчивой была система воспроизводства схожих общественно-политических структур кочевников в одних и тех же регионах (Скифия – Хазария – Золотая Орда или Скифское царство в Передней Азии – Сельджукский султанат – турки-османы) (Хазанов А.М., 1975а, с. 222, 225, 266–272).

В политическом отношении А.М. Хазанов прослеживал несколько форм организации власти у номадов. Одна из них – догосударственное военно-иерархическое объединение, в котором «основная масса» рядовых кочевников была отстранена от руководства, но «отношения эксплуатации не превалировали, а развитие внешней эксплуатации тормозилось отсутствием зависимого земледельческого и городского населения» (Хазанов А.М., 1975а, с. 217). Подобные военно-иерархические объединения номадов, как полагал исследователь, существовали ради внешней экспансии и от успешности завоеваний зависела их дальнейшая политическая трансформация. Примером подобной трансформации, по словам А.М. Хазанова, было Скифское царство в Передней Азии. Он рассматривал его как «примитивное государственное образование, основанное на подчинении земледельцев кочевникам» (Хазанов А.М., 1975а, с. 220, 222–224). Еще один тип кочевой государственности ученый связывал со Скифией конца V – начала III вв. до н.э. Государственная система строилась на даннической эксплуатации скифами других номадов и населения лесостепи, на набегах и грабежах греческих колоний и пр. Таким государством в характеристиках А.М. Хазанова было «царство Атея» (Скифия конца V – III вв. до н.э.). При нем скифы развернули наступление на западные территории Северного Причерноморья, что привело к интенсификации процессов оседания, усилению имущественного и социального неравенства, идеологическому обособлению знати, зарождению городов в степи, росту торговли с греческими городами, усилению центральной власти (Хазанов А.М., 1975а, с. 228–233, 237–238, 239–244). Тем не менее номадные сообщества таких «государств» уче-

ный считал раннеклассовыми. Наиболее развитые государства кочевников А.М. Хазанов связывал со «способностью» кочевой аристократии стать господствующим классом земледельческого населения. Однако даже в подобных случаях социальная структура остальных кочевников не подвергалась существенным изменениям (Хазанов А.М., 1975а, с. 244). Таким образом, возникновение у кочевников государственности, ее формы и особенности определялись условиями номадного производства, а также взаимоотношениями кочевников с оседло-земледельческими и городскими областями. Ограниченные возможности экстенсивного кочевого хозяйства ставили предел социальному развитию (Хазанов А.М., 1975а, с. 251). Концепция взаимодействия кочевников с земледельцами получила дальнейшее развитие в целой серии публикаций А.М. Хазанова (1975б; 1976; 1978; 1981) и монографии «Кочевники и внешний мир» (1984).

В целом «раннеклассовое общество» трактовалось А.М. Хазановым как отличный от первобытности, античности и феодализма этап социогенеза со специфической общественной системой. Теоретическая модель раннеклассового объединения предполагала сочетание в себе элементов различных социально-экономических формаций (Хазанов А.М., 1968, с. 93–97; 1976). Главное же отличие кочевых обществ от других раннеклассовых социумов, по его мнению, заключалось в своеобразном «пороге» классовости, который не могли преодолеть номады, в то время как у земледельцев развитие сословно-классовой структуры рассматривалось как норма эволюции (Хазанов А.М., 1968, 1975а; 1975б; 1976, 1979; и др.).

Раннеклассовая теория в применении к истории номадов имела немало сторонников среди историков и археологов, обращавшихся к изучению конкретных кочевых эпох, археологических культур и целых периодов в истории номадов (Массон В.М., 1976, с. 175–176; Тереножкин А.И., 1977, с. 4, 6–7; Бунятыян Е.П., 1984; 1985, с. 127–129; 1990; Археология Украинской ССР, 1986, с. 55, прим. 1, 57–60; Мартынов А.И., 1986, с. 28–33; Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 37, 113–126; и др.). При этом отмечалось, что термин «раннеклассовый» требовал уточнения и более четкого определения. «Это рабочая гипотеза, молчаливо принимаемая всеми, сама нуждается в специальном рассмотрении» (Куббель Л.Е., 1978, с. 169). По существу основные параметры данной теории были доработаны в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (см., например: Павленко Ю.В., 1987; 1989, с. 86–90; 1991).

Оригинальная концепция в 1980-е гг. была разработана Н.Э. Масановым. Он использовал «структурный» подход к анализу кочевнических социальных систем (Масанов Н.Э., 1984; 1986). В общественном развитии номадов он выявил противоборство двух тенденций – «дисперсности» (необходимость рассеивать скот в процессе кочевания, так как пастбища могут прокормить только определенное количество животных) и «относительной концентрации» (необходимость вступать в политические союзы для решения вопросов внешней политики, регулирования процесса кочевания, осуществления судопроизводства). В соответствии с данными тенденциями социальная организация кочевников рассматривалась как иерархия самостоятельно функционирующих и взаимодействующих между собой разноуровневых структур «биосоциальной» (семья, аил), «социальной» (род, племя) и «государственно-административной» (политарные союзы, империи). Специфические условия аридной зоны, по мнению Н.Э. Масанова, определяли приоритет «биосоциальных» («низовых») структур над «государственно-административными» (Масанов Н.Э., 1984, с. 95–105; 1986, с. 20–26; Марков Г.Е., Масанов Н.Э., 1985, с. 87, 95). Тем самым, в отличие от Г.Е. Маркова, Н.Э. Масанов фиксировал взаимодействие всех сфер (в данном случае – «структур») деятельности кочевников. В целом его концепция обладала целым рядом достоинств, которые привлекли многих кочевниковедов. Не случайно, что идея противоборства в кочевых обществах принципов «дисперсности» и «относительной концентрации» была поддержана Г.Е. Марковым в совместной публикации (Марков Г.Е., Масанов Н.Э., 1985). Стоит также отметить, что выводы Н.Э. Масанова (1986) были сделаны на основе сравнительно ограниченного материала (изучении проблем социально-экономического развития казахских ханств на рубеже XVIII–XIX вв.), но переносились автором на историю всего кочевничества степной Евразии.

В 1970–1980-е гг. большую популярность приобрели работы, подчеркивавшие значение экологического фактора в формировании и развитии кочевничества. Стала очевидна обусловленность существования не только экономической, но отчасти и социальной организации номадов природно-климатическими условиями. Влияние «среды» и хозяйственно-культурная типология нашли отражение в теориях социогенеза номадов (Гумилев Л.Н., 1970, с. 503–504; Акишев К.А., 1972, с. 31–46; Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н., 1972, с. 8; 1975, с. 15, 17–19, 21–24; 1975а, с. 33, 47–48; Артамо-

нов М.И., 1977, с. 4–5, 9–13; Андрианов Б.В., 1981; 1982, с. 77–80; 1985, с. 7–8, 14–26; Марков Г.Е., 1981, с. 83–86, 92–94; 1982, с. 81–87; Семенов Ю.И., 1982, с. 48–52; Кириков Е.И., 1983, с. 10, 18–19; Грач А.Д., 1984, с. 116–121; Масанов Н.Э., 1984, с. 34–46, 1986; Потапов Л.П., 1984; и др.).

Таким образом, 1970-е – первая половина 1980-х гг. характеризовались постепенным и осторожным отходом от догматических позиций, разработкой новых подходов к социально-политической истории кочевников. Однако следует признать, что ситуация для дальнейшего развития теоретического направления в кочевниковедении была далеко не идеальной. На рубеже 1970–1980-х гг. страна переживала очередной переломный этап (ввод войск в Афганистан, эскалация внешнеполитической напряженности, события в Польше и т.д.). Это обусловило доминирование в первой половине 1980-х гг. консервативных тенденций в исторической науке. Одним из важных показателей можно считать свертывание очередной фазы дискуссии об азиатском способе производства. В научных кругах это ассоциировалось с «закручиванием гаек». Правда, ради справедливости стоит отметить, что это в отдельных случаях не мешало отдельным публикациям неортодоксальных идей. Так, Л.С. Васильев (1980–1983) в начале 1980-х гг. не только ознакомил советских читателей с разными интерпретациями понятия «вождество», опубликовал статью о власти-собственности с критикой марксистской теории политогенеза, а затем монографию по генезису китайской государственности, где реализовал свои идеи на конкретно-историческом материале. А.М. Хазанову повезло в меньшей степени. Публикация его статей по проблемам вождества и раннего государства за рубежом, передача рукописи книги «Кочевники и внешний мир» в Кембридж и подача заявления на эмиграцию превратили его в научного диссидента. До 1985 г. он с регулярностью получал отказы, в которых объяснялось, что его отъезд за границу «был не в интересах...», сотрудники КГБ произвели обыск, а сам ученый регулярно получал предупреждение из КГБ прекратить «антигосударственную деятельность» (Хазанов А.М., 2000, с. 8–10).

Консервативный поворот рубежа середины 1970-х – первой половины 1980-х гг. нашел отражение в советском кочевниковедении, прежде всего в серии достаточно ортодоксальных публикаций, с восхвалением заслуг Б.Я. Владимирцова в «создании» теории кочевого феодализма, в дальнейшей разработке схоластических обоснований тезиса о существовании у кочевников частной собственности на землю и тем самым классового феодального общества, а также в критическом неприятии выводов Г.Е. Маркова и А.М. Хазанова (см., например: Васильченко И., 1974, с. 195–198; Федоров-Давыдов Г.А., 1976, с. 39–46; 1987, с. 202–203; Грайворонский В.В., 1978, с. 26–29; Златкин И.Я., 1982, с. 256–267; Таскин С.М., 1984, с. 16, 26, 30–32; и др.).

С другой стороны, нельзя не заметить, что, несмотря на обилие разных историко-теоретических разработок в конце 1960-х – середине 1980-х гг., по понятным причинам (марксизм оставался официальной господствующей идеологией), в трудах советских кочевниковедов превалировал формационный подход. Особенно четкое отражение он находил в работах по хунно-сяньбийскому и средневековому периодам, поскольку считалось, что в эти периоды у кочевников произошло оформление классового общества. И в этом отношении консервативный поворот лишь венчал «линию» преобладания в трудах значительной части советских исследователей концепции «феодализма» во всех ее вариантах («кочевого», «предфеодального», «раннефеодального», «патриархально-феодального», «феодального») (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 198–199, 219–220, 222–223, 227; 1973, с. 47–48, 51, 109–117, 134–141, 168–171; Лашук Л.П., 1967а, с. 105–108, 117–121; 1968, с. 99, 106; 1973, с. 84–85; Семенюк Г.И., 1967, с. 71; 1969, с. 268–276; 1974, с. 42, 46–60, 66 и сл.; Егоров В.Л., 1969, с. 44; Абрамзон С.М., 1970, с. 67–69; 1971, с. 155–165; Златкин И.Я., 1971, с. 97–98; 1971а, с. 172–177; 1973, с. 61–67; 1982, с. 256–267; Потапов Л.П., 1971, с. 44–46; 1975; Вайнштейн С.И., 1972, с. 86; Васильченко И., 1974, с. 195–198; Кузеев Р.Г., 1974, с. 62, 496–502; Аполлова Н.Г., 1976, с. 32–34; Скрынникова Т.Д., 1986, с. 202–207, 210–211; Андрианов Б.В., 1985, с. 97; Попов А.В., 1986, с. 190; и мн. др.). Однако даже среди сторонников «феодализма» зрело понимание необходимости выработки для кочевников других принципов типологии (Лашук Л.П., 1967, с. 28–39; 1968, с. 99–106; Кшибеков Д., 1984, с. 54, 89–107). Подчеркивались «неразвитость» феодализма, неформленность классических форм феодализма, застойные явления в развитии кочевников (Семенюк Г.И., 1970).

Стоит отметить, что следование формационной теории не исключало творческого ее использования на материалах истории кочевников. Так, в период с конца 1960-х по начало 1980-х гг. С.А. Плетнева, опираясь на исследования Б.Я. Владимирцова, Г.А. Федорова-Давыдова и других ученых, а также на археологические изыскания памятников Хазарского каганата, выдвинула собственную

концепцию эволюции кочевых обществ. В ее основе лежало представление о седентаризации (оседании) как генеральной тенденции в развитии номадов, определявшей их социальный прогресс. Ученая обратилась с этой целью к идее С.Е. Толыбекова о существовании трех стадий кочевания и развития кочевнической экономики, которые последовательно сменяли друг друга: 1) *таборная*, когда все население кочует круглый год, не имея постоянных жилищ; 2) *полукочевая*, когда все население кочует с весны до осени, а зимой возвращается на постоянные зимовища; 3) *полуоседлая*, когда одна часть населения кочует, а другая живет оседло и занимается земледелием. Каждой стадии кочевания, как считала С.А. Плетнева (1967, с. 180–183, 189–190; 1981, с. 50–60; 1982, с. 13–15, 36–40, 77–79), соответствовал особый вид социальной организации.

Первоначально концепция была апробирована на материалах салтово-маяцкой культуры. Среди поселенческих памятников этой культуры исследовательница выделила стойбища с отсутствием культурного слоя и эпизодическими находками (тип I – большие, оставленные крупными коллективами; тип II – малые, принадлежавшие айлам, в которых развивалась тенденция к оседлости), селища (поселения с загонами для скота и более развитым культурным слоем), городища с земляными и/или каменными укреплениями («своеобразные каменные замки»), города, выросшие из феодальных усадеб в военно-административные и торговые центры Хазарского каганата (Плетнева С.А., 1967, с. 13–20, 22–25, 27–28, 34–47).

Анализируя материалы разнотипных поселенческих памятников, С.А. Плетнева оригинальным способом реконструировала процесс «феодализации» в Хазарии. На таборной стадии кочевания, согласно точке зрения исследовательницы, из куреня (стойбища, тип I) стали выделяться айлы – богатые скотом семьи с их «чадами» (обедневшими сородичами) (стойбища, тип II). Айлы основывались «на новых принципах феодальной эксплуатации» (!), так как, не имевшие достаточного количества скота, бедняки переходили к земледелию, оставаясь в надпойменных зимовках на лето (Плетнева С.А., 1967, с. 19).

Полукочевая стадия связывалась С.А. Плетневой с другим типом поселений – селищами. Она отмечала, что на этой стадии размеры жилищ свидетельствовали о сохранении двух «укладов» (куренного и аильного). Именно с куренной организацией исследовательница связывала генезис и развитие феодальных форм. Куренная организация, по ее мнению, продолжала существовать и в «феодальном обществе». Как допускала С.А. Плетнева (1967, с. 20), «феодалы», объединяя вокруг себя «пастбищно-кочевые группы» зависимого населения, «называли» их «родовыми подразделениями». Осевшие на землю номады основывали поселки, напомиравшие ранние родовые кочевья. Завершающую стадию («полуоседлую»), на которой и возникло феодальное общество, как полагала ученая, отражают укрепленные городища, появившиеся в VIII в. Причем она специально отметила, что речь не может идти о пограничных крепостях, поскольку они располагались в центре Хазарского каганата. Показательно резюме С.А. Плетневой (1967, с. 24): «Это были первые своеобразные замки феодалов, предназначенные для защиты лишь части населения – айла, связанного в единое целое уже не родовыми, а феодальными связями».

К началу 1980-х гг. концепция С.А. Плетневой была доработана в деталях и приобрела законченный вид. Большой заслугой ученой являлось создание стадийно-типологической схемы, отражавшей специфику общественного развития кочевников, с применением всех видов источников, прежде всего археологических. Каждая стадия кочевания рассматривалась уже не только как этап феодализации, а как некая модель общественно-политического устройства, характеризовавшаяся по шести показателям (религия, «этнолингвистическое выражение», характер военных действий, общественный строй, культура, археологические источники).

Модель №1 – *военная демократия*. Данная модель, по мнению исследовательницы, была связана с периодом нашествий и миграций, т.е. таборной стадией кочевания. Археологические памятники этой стадии характеризовались как «маловыразительные» (преобладали становища и впускные или раскиданные по степи безкурганые одиночные погребения, которые почти не содержали находок). В социальном отношении кочевые общества первой модели состояли из родоплеменных подразделений, во главе которых стояли «еще обычные вожди-военачальники». Это свидетельствовало, как полагала С.А. Плетнева, о существовании военной демократии. Среди исторических примеров модели №1 она назвала гуннов IV в., аваров VI в., печенегов IX в., венгров IX в. (Плетнева С.А., 1967, с. 180–181; 1981, с. 51–54; 1982, с. 13–33).

Модель №2 – *кочевые империи*. В социально-экономическом отношении данная модель характеризовалась ограничением территории кочевания для каждой орды или рода, появлением постоян-

ных зимовок и летовок-селищ, а рядом с зимниками стационарных грунтовых и курганных могильников. В этот период, по словам С.А. Плетневой, «военно-демократический строй постепенно сменяется классовым». Из среды родовой аристократии появились главы крупных сообществ. Такие родовые объединения в концепции исследовательницы представляли собой уже существенно дифференцированные союзы «некровнородственных, экономически и социально неравных семей» (Плетнева С.А., 1981, с. 54–55; 1982, с. 36–39, 41).

Набеги соседей, внутренние конфликты, выдвигание экономически и политически сильных айлов и орд, согласно С.А. Плетневой, приводили к созданию стоящей над ордами «организации», которая объединяла их, регулировала внутреннюю и внешнюю политику степняков. Такие «организации» являлись раннеклассовыми «объединениями государственного типа», «империями» и возглавлялись выбираемыми аристократией ханами. Те в свою очередь предотвращали междоусобицы, утверждали господство над подвластными народами и организовывали военные походы. Исследовательница отмечает неразвитость государственных институтов «империй», подчеркивает отсутствие регулярной армии (в «империи» существовало только ополчение), административного аппарата (полиции, судей, сборщиков податей), налоговой системы.

Причины возникновения «империй» она видела в удачно складывавшейся внешнеполитической обстановке и выдающихся качествах хана. «Если он был энергичным, деятельным, умным и жестоким человеком и к тому же хитрым политиком и талантливым полководцем», то, как пишет С.А. Плетнева, «объединение орд до него ничем не примечательное и мало известное современникам, превращалось в империю, молва о непобедимости которой шла впереди ее рыскающих в поисках добычи воинов и способствовала их победам». После смерти таких «ханов-объединителей» начинались междоусобицы, центробежные стремления к обособлению и «империи» исчезали. Ко второй модели С.А. Плетнева (1975, с. 277, 282, 300; 1981, с. 55, 57–59; 1982, с. 40–72; 1986, с. 24–30 и сл.) отнесла гуннов эпохи Аттилы, Аварский каганат в Паннонии, Великую Болгарию, Тюркские каганаты, объединения половцев.

Модель №3 – *каганаты*. Их появление определялось переходом основной частью населения к оседлому образу жизни (полукочевая стадия). Кочевой образ жизни сохраняла только «верхушка общества», выезжавшая в степь «как в имение» и обставлявшая «свой выезд на кочевку традиционными праздничными церемониями» (Плетнева С.А., 1981, с. 60). Исследовательница полагала, что с распространением оседлых поселений богачи стремились отделиться от рядового населения, ограждая участки земли укреплениями под «кочевые феодальные замки. Параллельно или вслед за этим возникали кочевые государства. Богачи – родовая аристократия – становятся феодальной знатью этого государства. Несмотря на то, что, по древним кочевническим традициям, главу государства выбирали на съезде аристократии, кандидатом на этих выборах был представитель правящего рода. Таким образом, в представлениях ученой, власть в каганатах была уже наследственной, оформилась строго регламентированная система иерархически связанных друг с другом подразделений, возник бюрократический аппарат и армия. К подобным «каганатам» С.А. Плетнева (1981, с. 60; 1982, с. 78–123) причисляла державу Хунну с 209 г. до н.э., Уйгурский, Кыргызский, Кимакский и Хазарский каганаты, Монгольскую империю.

Предложенная С.А. Плетневой систематизация кочевнической истории показала возможности и перспективы соединения принципов марксизма (в основе социально-экономический подход; модели отражали процесс формирования феодализма и пр.) с неортодоксальной схемой социально-политических изменений у кочевников, которая лучше отражала специфику развития кочевников. Более того, концепция исследовательницы по существу устраняла из истории кочевников рабовладельческую формацию. Эволюция кочевых обществ предполагалась как переход от военной демократии через промежуточные формы («кочевые империи») к феодальной государственности (каганаты). При этом некоторые кочевые общества в силу разных обстоятельств не могли преодолеть таборную стадию (военную демократию), а «империи» с легкостью могли распасться.

Отмечая определенные достоинства, следует заметить, что в концепции С.А. Плетневой сохранились существенные противоречия, терминологическая путаница и не вполне адекватные оценки уровня социального развития некоторых кочевых объединений. Так, в работах исследовательницы речь шла не о «типологии состояний», когда каждое образование кочевников рассматривалось как уникальное явление, а о «типологии эволюции», характерной якобы для всех кочевников. В истории было известно немало обществ кочевников, социальный прогресс которых проследить по имеющимся источникам невозможно. К тому же они сильно различались между собой. Вряд ли уместно рас-

смаатривать в рамках одной модели печенежское и половецкое объединение, с одной стороны, и Аварский и Тюркские каганаты – с другой. В Кыргызском, а возможно, в Хазарском и Кимакском каганатах уже с момента их появления земледельческое население играло большую роль, и для этого не понадобилось I и II стадий. В противовес им печенеги и половецы так и не создали единой государственности, на огромной территории от Иртыша до Дуная возникали только локальные образования. В этой связи употребление термина «империя» по отношению к последним совершенно не корректно.

Различия в социальной системе, организации управления, военных институтах, на которых настаивает С.А. Плетнева, несколько надуманы. Практически у всех кочевников ханы, каганы, вожди «выбирались» из господствующего рода. Везде, без исключения, армия номадов представляла собой ополчение всех способных носить оружие мужчин, разница же касалась в основном степени централизации (наличие или отсутствие десятичной системы). Такие институты, как гвардия, нойонство, тюленгуты, никогда армию заменить не могли. Явно противоречит реальным фактам установка исследовательницы, что в Уйгурском, Кимакском и Кыргызских каганатах, а тем более у хуннов и монголов кочевала только знать, а все остальное население было оседлым.

Вызывает возражение и ряд теоретических положений С.А. Плетневой, основывающихся на анализе археологических данных. Сомнительно, что существовала последовательная смена разных форм кочевнических поселений. Ее трудно зафиксировать археологически, учитывая отсутствие или незначительность культурного слоя. Показательно, что С.А. Плетнева не смогла на материалах салтово-маяцкой культуры распределить хронологически «стойбища», «селища», «укрепленные поселения», признав факт их синхронности (Плетнева С.А., 1967, с. 20). Миграции и завоевания не могут рассматриваться как стадияльное состояние, определяющее военно-демократический тип социальной организации. Абсурдность этого очевидна на примере Монгольской империи. Получается, что в то время как в Монголии существовало «феодальное» государство, в экспедиционных корпусах Бату и Хулагу возрождались военно-демократические традиции. В ходе завоеваний происходила не «демократизация», а, наоборот, жесткая централизация военной и социальной системы, когда военно-политический лидер наделялся особыми полномочиями. Успешные завоевания – один из главных факторов становления имперских систем у номадов.

Особенно ярко проявилось несовершенство методики С.А. Плетневой в оценке Тюркских каганатов. Во-первых, странно, что они были отнесены ко второй модели, а не к третьей, которую исследовательница назвала «Каганаты». Во-вторых, исходя только из одного критерия типологии (развитие процесса оседания), тюрки и уйгуры оказались в концепции С.А. Плетневой на разных стадиях. Хотя совершенно очевидно, что в Уйгурском каганате появление городов, участие согдийцев в торговле на территории каганата и дают повод для фиксации отличий между Тюркскими и Уйгурским каганатами, все же с точки зрения организации политической власти, армии, социальной системы разница между этими политиями не была столь значительной.

В-третьих, Тюркские каганаты просуществовали не многим меньше, чем Уйгурский или Кимакский каганаты, и вряд ли их стоит считать эфемерными «империями», как это делает С.А. Плетнева. Тем более противоречит данным источникам мнение исследовательницы, согласно которому «империи» разваливались сразу после смерти ханов-объединителей. И в Первом Тюркском каганате, и в других образованиях тюрков VII–VIII вв. (Западно-тюркский, Восточно-тюркский, Второй Тюркский каганаты) наблюдались, конечно, определенная неустойчивость власти, кризисы, связанные с междоусобицами и даже сменами правящих родов, но ни один из них не распался сразу после смерти основателей. В-четвертых, признавая, что в тюркских государствах (особенно во Втором Тюркском каганате) культивировалось развитие железоделательного производства, сложилась и развивалась письменность, существовала податная система, строгий государственный порядок и абсолютная власть каганов, С.А. Плетнева (1981, с. 57; 1982, с. 67–69) тем не менее отнесла их ко второй модели.

Несмотря на отмеченные противоречия и дискуссионные моменты, в исследованиях С.А. Плетневой, особенно в ее монографии «Кочевники средневековья», просматривается несколько интересных идей, не вполне раскрытых автором. Так, С.А. Плетнева, привлекая археологические и письменные источники, но все же достаточно интуитивно, обосновала типологическую близость Уйгурского, Кыргызского, Кимакского и Хазарского каганатов. Возможно, это была одна из первых попыток в отечественной историографии найти критерии для типологии крупных кочевых объединений вне формационной схемы. Не исключено, что вместе с Монгольской империей эти каганаты

были ближе к государственным образованиям, чем Тюркские каганаты. К сожалению, С.А. Плетнева не продолжила исследования в этом направлении. Последующие ее публикации преимущественно были посвящены отдельным кочевым обществам (хазарам, печенегам, половцам). В схеме эволюции кочевых социумов, предложенной С.А. Плетневой, имелись и другие интересные положения (см. разделы 6.2, 6.3), хотя аргументация их с помощью «подгонки» фактов несколько дискредитировала концепцию.

В целом в 1970-е гг. наблюдалась трансформация теоретических подходов к оценке социального строя и политической организации кочевых сообществ. Прежде всего она выражалась в отходе от формационно-хронологического принципа, от представлений о соответствии общественной эволюции кочевых обществ утвердившейся схеме формационного развития (в ее рамках кочевники скифского времени рассматривались преимущественно как доклассовые военно-демократические общества, кочевники гунно-сарматского (хунно-сяньбийского) периода как вступившие в активную фазу классового образования, средневековые кочевники – общества со сформировавшейся феодальной структурой). Хотя стадийный подход оставался господствующим в советском кочевниковедении 1970-х гг., свободная публикация статей и монографий сторонниками концепции предклассового уровня развития кочевых обществ, их участие в наиболее важных теоретических сборниках рассматриваемого периода («Проблемы истории докапиталистических обществ», «Становление классов и государства», «Первобытное общество: Основные проблемы развития» и др.) свидетельствовали о том, что условия научного творчества существенно изменились, а догматики уже не могли полностью блокировать научный поиск и инновации, если они не ставили открыто под сомнение марксистскую идеологию. Однако эта формальная приверженность Л.Н. Гумилева, Г.Е. Маркова, А.М. Хазанова и ряда других кочевниковедов советской школы не могла скрыть того факта, что противоречия между формационными характеристиками и социальными реалиями жизни кочевников стали для них во многом очевидны. В ряде работ Г.Е. Маркова, А.М. Хазанова, Н.Э. Масанова речь шла по существу не только об очередной ревизии марксизма, а о формировании новых концептуальных основ для оценки социально-политической организации кочевников.

Теоретические изыскания кочевниковедов оказали значительное влияние на социальные интерпретации отечественных археологов. У исследователей археологических памятников кочевых обществ особую популярность приобрела раннеклассовая концепция, о чем уже упоминалось выше. Между тем следует особо подчеркнуть, что советские археологи в 1970-е – начале 1990-х гг. внесли существенный вклад в исследование вопросов социальной теории, уточнили некоторые характеристики кочевых обществ, разработали и апробировали на разных археологических материалах новые методики палеосоциологического анализа.

Если говорить о конкретных социальных интерпретациях и палеосоциологических исследованиях в археологии, то период конца 1960-х – начала 1990-х гг. был самым плодотворным в истории отечественной кочевниковедческой археологии и подарил наиболее богатый ассортимент исследовательских стратегий, обозначив тем самым становление новой отрасли – «социальной археологии» (Бобров В.В., 2003). Этот совокупный опыт оказывал длительное влияние как на исследовательскую практику, так и на теоретические обобщения отечественных ученых и стал по-настоящему переосмысливаться только в начале XXI в.

Каковы, по нашему мнению, основные факторы успехов советской археологии 1970-х – начала 1990-х гг. в изучении социальной структуры и властной организации кочевых обществ? Археология изначально в гораздо меньшей степени, чем, скажем, история (особенно европейская), была «полем» для реализации марксистских схоластических установок. Указанные выше черты развития советской исторической науки в 1960–1980-х гг., с которой археология была связана теснейшим образом, позволили сформировать творческую атмосферу в научных коллективах, экспериментировать, искать новые пути познания. Дискуссии и обсуждения новых теоретических подходов «подталкивали» археологов к решению сложнейших задач по социальной типологии погребений и комплексной реконструкции общественных систем кочевников. Важную роль в разработке палеосоциологических методик играл синтез не только с гуманитарными, но и с точными науками. Не случайно в рассматриваемый период развития отечественной археологии начнут активно внедряться количественные и статистические методы.

Большое значение имели публикации письменных источников и научные исследования по истории конкретных кочевых народов. Так, например, В.С. Таскиным (1968, 1973) были осуществлены переводы китайских источников о сюнну (хунну) и кочевых народах группы дунху (1984),

Б.Е. Кумековым опубликованы сведения мусульманских авторов о кимаках и Кимакском каганате, С.Г. Кляшторный издал целый ряд письменных памятников тюрков и уйгуров, в том числе и знаменитые надписи на Терхинской и Тэсинской стелах, Д.Д. Васильев подготовил корпус рунических надписей бассейна Енисея и т.д.

В 1960–1980-х гг. выходят в свет публикации, посвященные истории скифов, сарматов, саков, «пазырыкцев», хунну, тюрков, уйгуров, хазар, киданей, караханидов, огузов, монголов и других кочевых народов. Тем самым представления ученых об исторических судьбах разных nomadных обществ были детализированы. Не стоит забывать также и о возросших возможностях советских исследователей знакомиться с публикациями зарубежных ученых (некоторые из них переводились на русский язык) (см.: Скифы и нарты» Ж. Дюмизеля; сборник «Зарубежная тюркология». Вып 1; и др.), вести переписку и дискуссии с ними.

Еще одним фактором стали масштабные археологические изыскания на территории СССР, изучение эталонных (Аржан, Иссык, Толста могила, элитных курганов в бассейне Илека и др.) и массовых памятников кочевников. Раскопки скифских курганов под Орджоникидзе и кургана Аржан продвинули вперед представления ученых о социальной структуре кочевников. Не менее важны исследования рядовых погребения «скифов», «хуннов», «тюрков», «уйгуров». Результаты их дополнили данные кочевниковедческой археологии, часто ограничивавшиеся наиболее яркими памятниками (пазырыкские курганы на Алтае, кыргызские чаа-тасы, «царские» погребения сакского времени). В целом в 1960–1970-х гг. в Северном Причерноморье, Поволжье, Южном Приуралье, Казахстане, Средней Азии, Афганистане, Алтае, Туве, Хакаско-Минусинской котловине, Забайкалье и Монголии кочевнических погребений было изучено больше, чем за все предыдущие годы. Кроме того, значительный документальный фонд составили материалы раскопок предшествующих десятилетий. Таким образом, можно говорить о существенном расширении источниковой базы. В результате в распоряжении исследователей оказались не 2–3 отдельных памятника, а десятки и сотни изученных захоронений, что и создавало почву для их сравнительного анализа и обобщения материалов. Не случайно, что в 1970–1980-е гг. выйдет значительное число научных изданий, подводивших итоги исследований той или иной кочевой культуры. Располагая массовым материалом, ученые получили широкие возможности апробации разных методик палеосоциологических реконструкций.

Стоит упомянуть и о том, что изучение материальной культуры, искусства, погребальных традиций и социальной организации nomadов было поставлено в качестве главной задачи перед целым рядом научных коллективов. Масштабные исследования археологических памятников кочевников проводились под руководством М.П. Грязнова, А.И. Тереножкина, Б.Н. Мозолевого, К.Ф. Смирнова, А.Д. Грача, Б.И. Вайнберга и многих других. Шло развитие старых и новых научных центров, создавались кафедры археологии, в том числе и в тех вузах, в которых ныне работают авторы данной монографии (Кемеровский и Алтайский государственные университеты). В частности, кафедра археологии Кемеровского государственного университета под руководством А.И. Мартынова сделала главный акцент на изучении скифо-сибирского культурно-исторического единства. В Кемерово была проведена целая серия крупных всесоюзных конференций: «Скифо-сибирское культурно-историческое единство» (1979), «Скифо-сибирский мир (искусство и идеология» (1984), «Проблемы археологии степной Евразии» (1987), «Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения)» (1989). В рамках последней конференции социальной проблематике уделялось особое внимание, а различным аспектам общественной стратификации и политического ранжирования в кочевых обществах было посвящено около 30 докладов ведущих отечественных специалистов. В целом в деятельности кемеровских археологов социально-археологические исследования занимали видную роль.

Было бы неверным не упомянуть, что значительный вклад в разработку методик палеосоциологических изысканий и социальные реконструкции на основе археологических данных внесла плеяда талантливых советских исследователей рассматриваемого периода: М.П. Грязнов, А.И. Артамонов, Г.А. Федоров-Давыдов, А.Д. Грач, М.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, К.А. Акишев, С.А. Плетнева, Б.Н. Мозолевский, К.Ф. Смирнов, В.Ф. Генинг, С.Г. Кляшторный, А.И. Мелюкова, Ф.Х. Арсланова, С.И. Ванштейн, Д.Г. Савинов, Е.П. Бунятян, О.А. Вишневская, А.В. Давыдова, А.И. Мартынов, С.С. Миняев, А.О. Добролюбский, Ю.А. Заднепровский, М.К. Кадырбаев, Ю.С. Худяков, В.Д. Кубарев, М.Г. Мошкова, А.С. Суразаков, Л.Т. Яблонский и многие другие.

Фактически общей чертой всех фундаментальных археологических исследований стало стремление определить конкретную форму социальной организации и проследить по археологическим

материалам пути общественной эволюции древнего и средневекового кочевого населения, а также выявить конкретный социальный статус погребенных. Уже в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. отечественными исследователями было показано, что буквальное применение некоторых установок формационной теории к истории кочевников было невозможно. В качестве примера стоит указать на хорошо аргументированную позицию отечественных исследователей о том, что рабовладение не получило распространения у номадов (Семенюк Г.И., 1969, с. 169; 1974, с. 17–19; Артамонов М.И., 1972, с. 63; 1974, с. 143, Шелов Д.Б., 1972, с. 74–75; Хазанов А.М., 1972, с. 161–164; 1975а, с. 133–148; 1976, с. 252–256; Марков Г.Е., 1976, с. 31–48; и др.). Также в начале 1970-х гг. остро встал вопрос о так называемых «пережитках матриархата» у номадов (в первую очередь речь шла о памятниках «савроматов»). По мере расширения круга археологических источников и разработки теории позднепервобытного общества стало очевидно, что нельзя переносить теоретическую модель «матриархата», выделенную для ранних этапов социогенеза, на кочевые общества раннего железного века (Хазанова А.М., 1970, с. 139–140; Смирнова А.П., 1971, с. 188–190).

На основании находок в женских погребениях «жертвенных алтариков», намеренно сломанных зеркал, красок, ложечек отечественные исследователи в рассматриваемый период полагали, что исполнение женщинами жреческих функций было характерно почти для всех кочевых народов скифского времени (см., например: Смирнов К.Ф., 1961, с. 8; 1964, с. 202–205; Хазанов А.М., 1970, с. 139–147; Вишневская О.А., 1973, с. 67–68, 128–129; и др.). Нередки были и случаи обнаружения оружия в женских захоронениях (Смирнов К.Ф., 1964, с. 202–205; 1975, с. 173–174; и др.). Статистические исследования Е.П. Бунятян (1982, с. 184; 1985, с. 70–71) показали, что среди скифских погребений женские захоронения с оружием составляют даже больший процент (29%), чем у савроматов (20%), по Б.Н. Гракову. При этом, как известно, античные авторы указывали на участие молодых женщин в военных действиях у савроматов и не фиксируют подобного факта у скифов.

Обоснованная наиболее детально А.М. Хазановым (1975а, с. 244–245, 259, 264–265) и Г.Е. Марковым (1976, с. 304–305, 307–311) «раннеклассовая» характеристика социальных систем древних и средневековых кочевников стала исходной посылкой для целого ряда исследователей археологических памятников номадов (Генинг В.Ф., 1984, с. 149; Бунятян Е.П., 1985, с. 127–129; Мартынов А.И., 1986, с. 28–33; Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 37, 113–126; и др.). Более того, археологи вели активную доработку данной концепции применительно к изучаемым ими эпохам. Так, А.И. Мартынов выдвинул концепцию формирования у кочевых объединений скифо-сибирского мира раннегосударственных институтов (Мартынов А.И., 1986, с. 28–33; Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 113–126).

Как уже отмечалось, в 1970–1980-е гг. благодаря огромному фактическому материалу стала возможна разработка конкретных методов изучения по археологическим данным социальной стратификации кочевых обществ. В первую очередь это касалось создания социальных классификаций погребений, отражавших общественную иерархию в номадных объединениях (Грач А.Д., 1975, с. 161–166; 1980, с. 46–48; Давыдова А.В., 1978, с. 144; 1982, с. 134–141, табл. №3 и 4; 1985, с. 28–33, табл. №1 и 2; Мозолевский Б.Н., 1979, с. 79–84; 148–151, 156–164; Курочкин Г.Н., 1980, с. 109–110; Бунятян Е.П., 1982, с. 176–177, 183–184; 1985, с. 70–71, 220, табл. XI, 93–97, 105–106, 111–112, 122; Суразаков А.С., 1983, с. 72–86; Генинг В.Ф., 1984, с. 135–141, табл. №I–II, 145–149, табл. №III и др.). Совокупность целого ряда показателей кочевнических погребений (высота и диаметр насыпи, размеры могильной ямы, сложность внутримогильных конструкций, состав инвентаря) служила основой для выделения групп захоронений со сходными характеристиками по указанным показателям. При всей условности подобных классификаций они давали исследователям исходный материал для реконструкции половозрастной структуры, общественной дифференциации, позволяли оценивать степень сложности социальной системы в целом. Кроме того, реализуя подобные методики, ученые опирались на конкретные материалы, а не исходили только из теоретических установок.

Первым, по всей видимости, социальную типологию кочевнических захоронений VII–III вв. до н.э. на материалах Саяно-Алтая разработал А.Д. Грач. Этот опыт получил развитие в трудах А.В. Давыдовой, выделившей по глубине могил, сопроводительному инвентарю и составу ритуальной пищи несколько групп мужских и женских захоронений хунну в Забайкалье. Но наибольшую популярность методика выявления социальных рангов курганов получила у специалистов по скифам. Причем в конце 1970-х – 1980-е гг. был апробирован опыт классификации как элитных (Мозолевский Б.Н., 1979, с. 148–151; Курочкин Г.Н., 1980, с. 108–110), так и рядовых (Бунятян Е.П., 1982, с. 137, 176–177, 183–184; 1985, с. 25–28, 30–32, 38–44, 50, 57, 70–75, 93–97) захоронений. Общую

социальную классификацию скифских погребений осуществил В.Ф. Генинг (1984). Определенный итог этим изысканиям по социальной структуре скифского общества подвела коллективная монография В.Ф. Генинга, Е.П. Бунятян, С.Ж. Пустовалова и Н.А. Рычкова (1990).

Социальные классификации погребений тесно были связаны с применением математических и формализованно-статистических методов. Тем самым исследователи могли говорить о более или менее обоснованных с математической точки зрения палеосоциологических моделях. Особенно в этой связи стоит отметить исследования Е.П. Бунятян и В.Ф. Генинга. И хотя в целом при определении основных социальных моделей в скифском обществе делались слишком большие допущения, а конкретные характеристики социального положения погребенных исходили из марксистских установок (см. раздел 2.2), данный опыт был несомненно интересным и плодотворным. Оригинальное исследование социального расслоения кочевников Северного Причерноморья IX–XIV вв. по материалам погребений с помощью статистических методик провел А.О. Добролюбский (1978, 1982). Он использовал материалы погребений четырех хронологических групп, выделенных Г.А. Федоровым-Давыдовым (1966, с. 9): I) печенежско-торческие погребения конца IX–XI вв.; II) памятники начального половецкого периода последней четверти XI–XII вв.; III) памятники половцев предмонгольского времени конца XII – начала XIII вв.; IV) захоронения половцев золотоордынского периода второй половины XIII–XIV вв. В связи с малочисленностью погребений III группы исследователь объединил их с захоронениями II группы. Погребения всех четырех периодов были обозначены как генеральная совокупность «А», выборка I периода – «В», II и III – «С», IV – «Д» (Добролюбский А.О., 1978, с. 114–115; 1982, с. 64).

При обработке данных статистическими методами учитывались тип могил (просто яма; яма с уступом или подбоем; яма с двумя уступами, уступом и подбоем или с отдельной ямой для лошади), отсутствие или наличие перекрытий, сложность погребального комплекса (погребения без частей коня; погребения с конем или его частями; погребения в каменном или кирпичном ящике; погребения с перекрытиями частями повозки). С целью сопоставления выборок «В», «С» и «Д» между собой и с генеральной совокупностью «А» ученый ввел коэффициент корреляции. Мера сопряженности между переменными «А» и «В» равнялась 0,93, между переменными «В» и «С» – 0,98, а между переменными «А» и «С» сопряженность отсутствовала. На основании этого исследователь сделал вывод, что показатели 0,93 для I периода и 0,98 для II и III периодов говорили о росте социального расслоения «кочевнических погребений». Расчеты, по словам А.О. Добролюбского, подтверждали «не только то, что половецкое общество в своем социальном развитии продвинулось вперед по сравнению с печенежским, но и свидетельствуют о проходящем в среде кочевников X–XIV вв. процессе классообразования» (Добролюбский О.А., 1978, с. 116–117; 1982, с. 65, 67).

Картина социального развития кочевых сообществ Северного Причерноморья IX–XIV вв., выявленная на основании статистической обработки, не была такой однозначной, как ее нарисовал А.О. Добролюбский. Прежде всего подобный анализ археологических материалов не может «свидетельствовать о... процессе классообразования», поскольку различия в основных параметрах погребальных сооружений печенегов и половцев не носили фундаментальный характер. Так, соотношение разных типов погребений и вариаций их конструкций совокупностей «В» и «С» почти тождественно. Могилы с простой ямой с перекрытием и без перекрытия в I период составляли 92,2%, во II и III периоды – 92,9%, а их «антиподы» (могилы с двумя уступами, уступом и подбоем или с отдельной ямой для лошади) в I период – 3,7%, во II и III периоды – 5,1% (Добролюбский О.А., 1978, табл. на с. 116). Обращает на себя внимание и то, что ученый сравнивает только данные печенежских и половецких погребений, а вывод о развитии «процесса классообразования» относит ко всему хронологическому промежутку X–XIV вв. (Добролюбский О.А., 1978, с. 117; 1982, с. 67). Таким образом, создавалась иллюзия сильной общественной дифференциации половецкого общества и возможность возникновения в восточноевропейских степях «феодальной государственности» уже в предмонгольское время, что соответствовало концепциям Г.А. Федорова-Давыдова и С.А. Плетневой.

Среди других программ палеосоциологических исследований необходимо также упомянуть методы социальной планиграфии (К.А. Амброз, С.С. Миняев), трудовых затрат (Акишев К.А., 1978, с. 55–56; 1986, с. 20–24; Грязнов М.П., 1980, с. 47–50; Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 80–81), изучение социально престижных вещей в сопроводительном инвентаре кочевнических захоронений (Добжанский В.Н., 1990). Рассматривались также вопросы половозрастной структуры кочевого населения, социального положения отдельных гендерных и возрастных групп (Длужневская Г.В., 1976, с. 193–200; Худяков Ю.С., 1980, с. 200–201; 1989, с. 25–26; Кубарев В.Д., 1987, с. 11, 16, 21,

23–24, 27–30, 155, 167, 183, 191; 1991, с. 8, 25, 30, 34–35, 37–39; 1992, с. 21–22, 112–113). Теоретические аспекты социальных реконструкций в кочевнической археологии затрагивали В.М. Массон (1976), А.Д. Грач (1975), В.Ф. Генинг (1984, 1989). Как альтернативу раннеклассовой модели Э.А. Грантовский (1960, 1980, 1980а) и Д.С. Раевский (1985, с. 27) развивали идею сохранения у скифов и других ираноязычных кочевников индоиранских социальных традиций.

Большой вклад в развитие интерпретивных возможностей археологии внесли раскопки и публикация материалов иссыкского погребения (Акишев К.А., 1978), Толстой могилы (Мозолевский Б.Н., 1979), кургана Аржан (Грязнов М.П., 1980), богатых савроматских и сарматских погребений (Смирнов К.Ф., 1975, 1977, 1984; Кадырбаев М.К., 1984; Мошкова М.Г., 1972, 1982, 1989; и др.), тагискенских и уйгаракских захоронений (Вишневская О.А., Итина М.А., 1971; Вишневская О.А., 1973). Благодаря этим исследованиям более конкретными стали представления ученых о власти кочевых лидеров и связанных с захоронениями погребальных традиций, были уточнены социально значимые параметры погребений разных групп знати (в том числе и предполагаемых жреческих захоронений) и сопровождавших их лиц.

Важной стороной социальных исследований 1970–1980-х гг. были исследования социально-политической структуры кочевников, которые строились на основе анализа как археологических данных, так и письменных сведений. Комплексность подобных изысканий давала возможность получения более объективной и многогранной картины. Нельзя не отметить работы С.Г. Кляшторного, в которых по существу был нарисован новый социальный абрис кочевых обществ Центральной Азии в раннесредневековый период. Особенно интересна его попытка конкретизировать представления о социальной структуре тюркского общества (Кляшторный С.Г., 1983, 1985, 1986, 1986а). Наиболее удачной была характеристика положения и ментальных установок древнетюркского «мужа-воина». Она строилась на основе анализа наскальных надписей, хроник, стихотворных, эпических и других произведений. Синтезный характер исследований отражает обращение к ментальности, установкам, господствовавшим в военизированных обществах кочевников раннего средневековья.

Разные аспекты половозрастной дифференциации, социальных отношений и военной организации у кочевых обществ Центральной Азии, взаимоотношений кочевников с населением таежной зоны раскрыл в своих исследованиях Ю.С. Худяков. Серия статей и монографий о хазарах, печенегах, половцах принадлежала перу С.А. Плетневой. Цикл публикаций был посвящен социально-экономической и политической истории Караханидского каганата, разделившегося в XI в. на Западный и Восточный каганаты (Петров К.И., 1981; Караев О., 1983а; 1983б; Кочнев Б.Д., 1982; Федоров М.Н., 1983; и др.). Вышло новое пятитомное издание «Истории Казахстана». Материалы по экономике и общественной организации западных киданей были проанализированы в монографии Г.Г. Пикова (1989). В целом число обобщающих исследований по истории разных кочевых обществ, наряду с указанными работами, было очень значительным. По существу можно говорить о том, что в рассматриваемый период советская кочевниковедческая наука по числу и уровню конкретных исследований занимала ведущее место, уступая зарубежным исследованиям только в методолого-теоретических разработках. Не случайно и появление в 1980-х гг. целого ряда изданий по отдельным регионам Евразии, таких как «История народов Восточной и Центральной Азии» (1986) и «Восточный Туркестан в древности и средневековье» (1989, вып. 1), где сюжеты по общественной организации кочевников занимали одно из главных мест.

Материалы четвертой, пятой и шестой глав данной монографии дают более детализированное представление о достижениях в области палеосоциологических разработок советских ученых конца 1960-х – начала 1990-х гг. на археологических материалах кочевников Центральной Азии. В то же время, понимая важную роль палеосоциальных исследований памятников ранних кочевников Северного Причерноморья, Поволжья и Южного Приуралья в становлении отечественной «социальной археологии», мы даем в следующем разделе краткий обзор основных результатов изучения социальной структуры и властной иерархии скифов, «савроматов» и сарматов по данным археологии.

2.2. Разработка основ «социальной археологии» на примере изучения скифских и савромато-сарматских древностей

В конце 1960-х гг. новый импульс приобрела дискуссия о государственности и социальном строе скифов между сторонниками Б.Н. Гракова и их оппонентами. Понимая, что сугубо теоретическое решение обозначенных вопроса практически зашло в тупик, так как аргументы «за» и «против» были высказаны на предыдущем этапе и повторение их не давало новых результатов,

Д.П. Каллистов поставил под сомнение реальность существования большого царства Атея. Он считал Атея предводителем скифского племени или группы племен Нижнего Дуная, в степях же Северного Причерноморья в IV в. до н.э. «никаких признаков крупных объединений скифских племен государственного характера и развитой системы классовых отношений не было». Отсутствие государства служило ученому свидетельством «домашнего» характера рабства и архаичности всей общественной системы скифов (Каллистов Д.П., 1968, с. 204–205, прим. 43, 206, 211–219; 1969, с. 127–130). Данную точку зрения позже поддержала В.А. Ильинская (1980, с. 122–123).

Б.Н. Граков (1971, с. 33–41), несмотря на критику, остался верен своей концепции скифской государственности и становления у скифов рабовладельческих отношений. Приверженность его точке зрения сохраняли А.И. Мелюкова и И.В. Яценко (1977, с. 222). В развернувшейся дискуссии наибольшую остроту приобрел вопрос о рабстве у скифов. Б.Д. Шелов (1972, с. 66) считал попытку «подменить вопрос о развитии рабства у скифов вопросом о существовании у них собственной государственности методологически неприемлемой». Он не сомневался, что уровень скотоводческого хозяйства скифов «примерно соответствовал тому, которого достигли... поздние кочевнические общества... феодальной эпохи» (Шелов Б.Д., 1972, с. 67). Совокупность письменных и археологических данных, по его мнению, убеждала, что у скифов уже возникла малая семья, а это в свою очередь позволяло видеть «в рамках» патриархальной общественной структуры у скифов VI–V вв. до н.э. возникновение и развитие новых социальных элементов, которые вели «к созданию классового общества» (Шелов Б.Д., 1972, с. 69–70). Д.Б. Шелов указывал, что его гипотезе не противоречили установленные учеными факты наличия имущественной и социальной дифференциации у скифов, развития обмена с античными полисами.

Исследователь весьма критично отнесся к данным Геродота о рабовладении в степях Северного Причерноморья, видя в них проявление «рабовладельческой идеологии» самого Геродота или его информаторов. На этом основании Д.Б. Шелов (1972, с. 74–75) сделал заключение о том, что «античные авторы» ничего не сообщали ни «о характере рабовладения у скифов геродотовского времени, ни о сферах использования рабского труда в скифском обществе». Столь же скептически он оценил данные о захоронениях рабов. По его мнению, так называемые «рабские» захоронения скорее указывали на «сравнительно не развитые формы рабовладения, при которых такие ритуальные убийства были обычны». Весь ход его рассуждений вел к выводу, что рабовладение у скифов VI–V вв. до н.э. не стало «стержнем» социальной системы и носило патриархальный характер.

Д.Б. Шелов полагал, что сдвиги в социально-политической структуре скифского общества наметились только в IV в. до н.э. Среди признаков данных изменений им названы распространение богатейших царских курганов; исчезновение обычая класть оружие в могилы рядовых скифов-земледельцев; усиление роли царской дружины в контроле за обществом (появление в дружинных погребениях защитной паноплии, недоступной воину-ополченцу); идеологическое оформление «богоданного характера» царской власти, освящение этой власти при помощи теогонических легенд и введения различных внешних атрибутов царского достоинства; стремление к самоутверждению государственной власти в виде демонстративной чеканки Атеем своей монеты, не имевшей экономического значения, но подчеркивающую супрематию скифского государства; возникновение в Поднепровье Каменского городища – столицы скифского государства и центра скифского ремесла. В целом в характеристике скифского общества проявилась двойственность позиции Д.Б. Шелова. Высказавшись однозначно против рабовладения у скифов в V в. до н.э., ученый предполагал, что в IV в. до н.э. у скифов возникла именно рабовладельческая государственность. При этом, перечисляя признаки перехода скифского социума к государственному, Д.Б. Шелов (1972, с. 75, 77) ничего не писал о рабстве. Речь шла только об углублении зависимости сородичей (отсутствие оружие в рядовых погребениях) и данничестве.

В начале 1970-х гг. к оценке социальной организации скифов вернулся М.И. Артамонов. Он отметил, что его взгляды несколько изменились по сравнению с «чрезмерно обобщенными представлениями» конца 1940-х гг. (Артамонов М.И., 1972, с. 56; 1974, с. 139). Первый этап формирования общественной системы скифов археолог связывал с переднеазиатскими походами. Исследователь полагал, что «паразитическое существование за счет грабежей, разбоев и угнетения местного населения в подчиненных областях Азии не могло пройти бесследно для внутреннего строя скифов», так как социальные отношения у скифов формировались под знаком военных целей. Централизация, по мнению ученого, стала наиболее характерной чертой скифского общества, поэтому вернувшиеся из Азии скифы из-за наличия царской власти получили название «царских». В свете дан-

ных Геродота скифские цари, как считал М.И. Артамонов (1972, с. 58; 1974, с. 139), больше напоминали восточного владыку с неограниченной властью.

Возникновение «скифского царства» исследователь отнес к V в. до н.э., когда в степях Северного Причерноморья появляются «богатые катакомбные погребения с вещами греческого происхождения». В структурном отношении Скифия представлялась ученому как иерархия подчиненных «скифам царским» кочевых скифов в Крыму и земледельческих народов лесостепи. Первые контролировали торговлю, взимая с нее пошлины, и получали в качестве дани продукты земледелия и ремесла. Господствующей группой являлись все «скифы царские», не только знать, но и рядовые воины, получавшие часть добычи. М.И. Артамонов (1972, с. 60–62; 1974, с. 113) в этой связи обратил внимание на стандартизацию рядовых погребений в степи, сопровождавшихся «набором хорошего оружия» и в отдельных случаях греческим импортом. Он полагал, что специфика кочевого хозяйства определяла отсутствие у скифов развитого рабовладения. В сопровождающих захоронениях царских курганов исследователь видел не погребения рабов, а привилегированных слуг – воинов с оружием и дорогими украшениями, что объяснялось традициями скифского общества (Артамонов М.И., 1972, с. 63; 1974, с. 143).

Наиболее противоречивы высказывания М.И. Артамонова по вопросу о существовании государства. Для автора характерны такие суждения: «...созданная скифами царскими организация не была еще государством, хотя и имела основные его признаки» (Артамонов М.И., 1972, с. 65). В другом случае ученый пишет о том, что «скифское царство располагало... аппаратом, обеспечивающим господство одной части скифов над другой», и тут же отрицает классовое деление с «различным отношением» социальных групп «к средствам производства» (Артамонов М.И., 1972, с. 65). Итоговая характеристика М.И. Артамонова социально-политического устройства скифов является довольно оригинальной с точки зрения марксистской теории (сочетание патриархально-родовых основ общества с монархической властью, централизованным управлением, развитой военной структурой и т.д.). Дать более объективную оценку мешало стереотипное представление о родоплеменном делении и его атрибутах как свойствах «патриархальности». Не случайно ученый подчеркивал, что «скифское царство» не было государством в «марксистском» понимании. Он определял скифское общество как одну из форм (!) военной демократии, наиболее близко стоявшую к государству (Артамонов М.И., 1972, с. 66; 1974, с. 143).

Видное место в исследованиях скифской социальной структуры конца 1960–1970-х гг. сыграли работы А.М. Хазанова. Ему принадлежит первая объемная монография, специально посвященная социальной истории скифов. Ученый опирался на анализ всех видов источников. Принципом работы исследователя стал метод индуктивного изучения отдельных элементов социальной системы скифов. Результаты этой кропотливой работы легли в основу концепции раннеклассового общества у скифов и у кочевников в целом.

Одной из проблем, которую стремился решить ученый, был вопрос сущности родоплеменной структуры скифов. А.М. Хазанов предполагал, что родственные и псевдородственные принципы охватывали все социальные институты кочевников. Иерархия родоплеменных подразделений представлялась ему как временное объединение нескольких родов и племен на основе генеалогического родства. Кровнородственные отношения сохранялись только на уровне трех-четырех поколений. А.М. Хазанов считал, что род кочевников был совокупностью нескольких семей и состав его мог легко меняться. Согласно гипотезе исследователя «племена» обладали в Скифском царстве рядом конкретных функций: административно-политической; военной; фискально-податной, что подчеркивало единство общественной системы. Таким образом, по его мнению, нельзя было вести речь о «патриархальности» скифского общества только на основании сохранения родоплеменного деления. Административное устройство Скифии он реконструировал по данным Геродота как иерархию номов (округов, племен), архе (областей, провинций) и трех базилей (царств). Как полагал ученый, все эти институты сочетались с родоплеменной структурой скифов и подчиненных народов. Аналогичное административное устройство фиксировалось А.М. Хазановым (1975а, с. 104–106, 120, 123, 127–129) и у других кочевников.

Большую роль в исследованиях А.М. Хазанова играли методы сравнительной этнографии и поиск институциональных параллелей в истории разных народов. Практически каждый вывод автора «проверялся» на соответствие кочевническим материалам других эпох и регионов. Этнографические сопоставления играли диагностирующую роль. Так, в случае с известиями античных авторов об обряде побратимства он отмечал, что «побратимство», известное у многих народов, есть стадиль-

ная и типологическая черта. По мнению исследователя, побратимство распространялось в ту эпоху, когда старые родственные связи разрушались, а государство не могло еще обеспечить защиту интересов рядового населения. Тогда на смену кровным связям приходили псевдородственные, шел поиск новых линий защиты. На этом основании А.М. Хазанов (1971, с. 139–140; 1972а, с. 70, 73–74; 1975а, с. 109–111) полагал, что во времена Геродота государство у скифов окончательно не сложилось.

Ученый считал, что характер кочевого хозяйства не позволял предполагать широкое распространение рабства у скифов. «Если из некоторых работ» и создавалось обратное впечатление, «то лишь потому, что... исследователи рассматривали как рабов различные категории населения, которые на самом деле рабами не являлись» (Хазанов А.М., 1975а, с. 133). Аргументируя эту мысль, он справедливо писал, что не работоторговля, не ритуальные убийства рабов мало говорили о степени развитости данного социального института у скифов. Против большого значения рабства у скифов свидетельствовали и историко-этнографические параллели (Хазанов А.М., 1972, с. 161–162, 164; 1975а, с. 133–148; 1976, с. 252–256).

Более важными ученый считал даннические и кабальные отношения. Если в кабальную зависимость, как считал А.М. Хазанов (1975а, с. 158), попадали неполноправные обедневшие кочевники, то данничество, как правило, связывалось с оседлым населением. Критикуя Б.Н. Гракова, А.И. Тереножкина и А.П. Смирнова, он отметил, что ни кабальная зависимость, ни тем более данничество не тождественны рабству, хотя и содержат в себе в недифференцированном виде отдельные его элементы. Данничество к тому же имело ряд важных отличий от рабовладения: коллективный вид эксплуатации, а не индивидуальный; зависимые группы сохраняли свою территорию, экономическую и социальную структуру; положение данников, имевших семью, хозяйство, дом, было, несомненно, легче рабского (Хазанов А.М., 1972, с. 167–169; 1975а, с. 148–152, 154–160).

Интересна попытка А.М. Хазанова соотнести известные по раскопкам ряда царских курганов захоронения «слуг» и «рабов» («рабынь», «наложниц») с упоминавшимися в источниках «ферапонтами» (слуги царя, часть из которых хоронилась вместе с царем). Он выделил четыре группы сопровождавших «царей» захоронений: 1) женские погребения с богатым сопутствующим инвентарем, иногда при них находились женщины без инвентаря; 2) богатые мужские погребения с большим количеством оружия и золотых изделий; 3) расположенные рядом с конями погребения людей, не отличавшиеся богатством, но при этом покойники лежали в специально вырытых ямах и имели сопутствующий инвентарь – «скребницы» для коней, ножи, стрелы; 4) захоронения мужчин, женщин и подростков, не имевших особой могильной ямы, без инвентаря и с неустойчивой ориентацией. Первую группу исследователь определил как «наложниц» или даже «жен», вторую – как «дружинников» или «приближенных царя», четвертую – как «рабов» и «рабынь». Таким образом, способом исключения А.М. Хазанов (1972, с. 163; 1975а, с. 153–154) отождествил третью группу с погребениями «ферапонтов».

Несмотря на появление зависимых категорий, основную часть скифского общества, как полагал А.М. Хазанов, составляли рядовые свободные скифы – «восьминогие», владельцы пары волов и повозки. Из них формировалась армия, а повинности не были обременительны, так как преобладали внешние формы эксплуатации (Хазанов А.М., 1975а, с. 164–167). В его реконструкции привилегированная группа скифов не была единой: царский род, противопоставлявший себя и зависимым, и знатым слоям общества (Хазанов А.М., 1975а, с. 191–193, 195–196); номархи и старейшины, родоплеменная знать («аристократия крови»), различавшаяся по знатности и по величине структурных подразделений, которыми она управляла (с. 183–185); служилая знать (дружина), социальный статус которой зависел от близости к царю, положения в административно-управленческом аппарате (с. 185–187); аристократия зависимых племен (с. 189–190); гадатели, энареи (жрецы культа Аргимпасы), входившие в корпорации наследственного характера из аристократических родов (с. 168–171). Описание А.М. Хазановым скифской знати и аристократии зависимых племен могло быть более образным и содержательным, если бы он рассмотрел материалы богатых погребений степной зоны Северного Причерноморья. Однако ученый в очередной раз апеллировал к кочевническим аналогиям (Хазанов А.М., 1975а, с. 183–185, 189–190). Вполне закономерен в этой связи и общий итог сравнений. А.М. Хазанов (1975а, с. 200) полагал, что скифское объединение и его стратификация в «том виде, в котором она поддалась реконструкции», демонстрировали «большое сходство» с обществами древних и средневековых кочевников. В соответствии с вышеуказанными выводами исследователя находилось и мнение о раннеклассовой государственности в Скифии, под которой подра-

зумевалось «первичное политическое образование с недостаточно развитой классовой структурой». При этом автор не отрицал возможности трехчленного индоиранского деления скифского социума согласно концепции Ж. Дюмизиллю (Хазанов А.М., 1974, с. 189; 1975а, с. 131, 201). Отношения эксплуатации, как писал А.М. Хазанов (1972, с. 170; 1975а, с. 244–245, 259, 264–265), в таких государствах «представлены различными, еще окончательно не устоявшимися формами без отчетливого и, главное, необратимого преобладания какой-либо из них».

Выводы А.М. Хазанова по-разному воспринимались другими специалистами. Например, А.И. Тереножкин (1977, с. 18–19, 21–22, 24–26) полагал, что раннеклассовая характеристика Скифии не исключала потенциальной возможности развития скифского социума в «общинно-рабовладельческое общество». Другие авторы писали даже о зарождении у скифов «патриархально-феодалного» строя (Археология Украинской ССР, 1986, с. 60).

Последовательно точку зрения о преобладании индоиранских традиций в скифском обществе над общекочевническими и об индоиранской трехчленной социальной структуре (цари, жрецы, простые кочевники) у скифов отстаивал Э.А. Грантовский (1980, с. 67; 1980а, с. 128–129, 151–154; 1981, с. 59). В частности, для археологических исследований особенно важной была характеристика ученым «ферапонтов» как приближенных царя. Трактовки ферапонтов как «рабов», «слуг», «зависимых людей» он объяснял неточным переводом с греческого состава «ферапонтов» (виночерпий, повар, конюх, слуга и вестник). По версии Э.А. Грантовского, более правильно видеть в «виночерпии» чашника, и переводить «конюший» вместо конюха и «резник» («кравчий») вместо повара. Слово «слуга», согласно указанию ученого, могло применяться и для обозначения службы знати царю. «Вестник» у мидийских и персидских царей – придворный чин, который занимали представители знати. Таким образом, получалось, что у Геродота речь шла не о слугах, а о придворных должностных лицах (Грантовский Э.А., 1980а, с. 130–131). В отношении других пятидесяти ферапонтов, упоминаемых Геродотом, Э.А. Грантовский считал, что они не могли быть дружинниками. Он видел в них знатную молодежь царства, которой принадлежало право и обязанность «находиться и воспитываться в центре племени или царства и при царе в качестве его слуг, составлять отряды, служить на границе...» (Грантовский Э.А., 1980а, с. 131). Правда, это положение ничем не аргументировалось, кроме ссылки на подобные институты у греков и македонян. Сомнительно, чтобы молодая элита скифов уничтожалась в случае смерти царя. Э.А. Грантовский не связывал «ферапонтов» ни с одной из сопровождавших «царей» групп погребенных. Очевидно, что состав ферапонтов был неоднороден. Исследователь считал, что они могли быть и частью скифской знати, и входить в окружение скифской элиты. В целом если рассматривать в ретроспективе изучение в отечественной историографии проблемы сопровождающих захоронений в царских курганах, то можно отметить эволюцию в интерпретации исследователями таких погребенных, как рабских (1930–1950-е гг.), до людей из окружения царя.

Э.А. Грантовский также затронул вопрос об интерпретации тех сюжетов античных источников, где упоминаются скифские рабы. В частности, он доказал, что слова «покупных рабов нет» (Геродот, IV, 62) относятся только к ферапонтам. Поэтому исследователь отверг категорическое заявление А.М. Хазанова (а фактически большинства исследователей) об отсутствии купленных рабов у скифов. Наоборот, ученый настаивал на достаточно высоком уровне рабовладения в скифском обществе (Грантовский Э. А., 1980а, с. 132, 140). В связи с этим Э.А. Грантовский резко выступил против идеи родового строя у скифов. Согласно ему, рисуемый источниками «упадок родственных связей» работал против концепции родовых отношений. Как полагал исследователь, это несовместимо с теорией родового строя и представления о «существовании» у скифов «патриархально-семейных хозяйств». По его мнению, индоиранское общество не являлись родовым еще в общеиранскую и арийскую эпоху (Грантовский Э.А., 1981, с. 63). Э.А. Грантовский также полагал, что у скифологов нет оснований вести речь о многоступенчатой родоплеменной структуре. Однако он совершенно оставил без внимания сведения Геродота о скифских племенах (скифы-земледельцы, скифы-кочевники, царские скифы) и не предложил собственной трактовки номов. Критически расценивал Э.А. Грантовский и мнение А.М. Хазанова о чисто кочевых институтах у скифов, например, о собрании, сместившем царя Скила, и улусной системе. Он считал данные интерпретации конъюнктурой, подогнанной под социологические выводы монографии А.М. Хазанова (Грантовский Э.А., 1980а, с. 142, 146–147).

Наиболее существенным позитивным вкладом ученого стала трактовка «пилафоров» как жрецов, по аналогии с употреблением этого термина в отношении других народов. Таким образом,

Э.А. Грантовский пошел дальше Ж. Дюмизила, признавая полное соответствие скифского общества «иранской модели». Идею трехчленной структуры мира у скифов (три мира, три бога, три царя, три вида «небесных даров»), три социальные группы: цари-воины, жрецы, коневоды и земледельцы) Э.А. Грантовского поддержал Д.С. Раевский (Раевский Д.С., 1985, с. 27; Яценко И.В., Раевский Д.С., 1980, с. 116).

Обращает на себя внимание, что Э.А. Грантовский не рассматривал сведения, которые противоречат его концепции. Сконцентрировавшись на филологическом обосновании своих взглядов, ученый избегал анализа археологических материалов. Они как нельзя лучше подчеркивали кочевой облик скифов и специфику иранских кочевых народов в сравнении с земледельцами. Вставал и вопрос о жреческих погребениях, выделить которые среди памятников скифской культуры бесспорно до сих пор не удалось. Справедливо критикуя А.М. Хазанова за ряд «натяжек», исследователь не смог всесторонне обосновать собственную позицию. Стоит также заметить, что пересмотр Э.А. Грантовским социальных трактовок некоторых категорий скифского населения («ферапонтов», рабов и т.д.) несколько не «вредит» концепции А.М. Хазанова и даже наоборот делает ее более определенной. В свете теории индоиранских параллелей автор представлял скифское общество статичным, неизменным на протяжении с VII по III вв. до н.э. И самое главное, Э.А. Грантовский не высказывался по вопросу о характере скифской социальной системы в целом. Создается впечатление, что, расходясь с А.М. Хазановым в деталях, он не ставил под сомнение общую оценку скифского общества как «раннеклассового».

Поднять на новый уровень изучение социальной истории скифов путем анализа археологических данных смогли А.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, Б.Н. Мозолевский, Е.П. Бунятян и другие украинские археологи. Наиболее выдающиеся раскопки были проведены в конце 1960-х – 1970-е гг. в районе Орджоникидзе и в Поднепровье (Ильинская В.А., 1968; 1975; Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., Тереножкин А.И., 1980, с. 33–54; Тереножкин А.И. и др., 1973, с. 120–124, 132–133, 136, 140–143; 1977; Мозолевский Б.Н., 1973; 1975, с. 211–216; 1979; 1980, с. 71–152; и др.).

В.А. Ильинской удалось выявить локальные особенности социальной структуры населения «лесостепной Скифии». Наиболее отчетливо стратификация общества «рисовалась» материалами посульских погребений середины VI – IV вв. до н.э. Отмечалось четкое разделение погребений по мужским и женским вещевым комплексам (Ильинская В.А., 1968, с. 83). Патриархальные черты (расположение женских костяков в ногах мужских) фиксировались как в ранних тясминских, так и в более поздних посульских захоронениях (Ильинская В.А., 1968, с. 86, 181; 1975, с. 89). Привилегированное положение, по мнению В.А. Ильинской (1968, с. 81), занимали люди, погребенные в могилах со срубам или в склепах со стенками, облицованными деревянным брусом.

Как полагала исследовательница, особая роль «конных воинов» в посульских курганах подчеркивалась большим количеством конских уздечек, заменивших конские жертвоприношения. В связи с этим В.А. Ильинская поддержала точку зрения А.И. Мелюковой о наличии в лесостепи дружинных скифских погребений. В качестве «дружинных» кладбищ она рассматривала «могильники с большим количеством оружия и конского снаряжения, устроенных по признаку военного братства отдельно от захоронений остальных членов семьи» (Ильинская В.А., 1968, с. 179). Она не считала, что дружинники составляли узкую социальную группу личного окружения скифских царей. Посульские курганные комплексы мужчин-воинов и в редких случаях женщин высокого социального ранга определялись как «раннескифский Геррос», так как в степи «дружинные некрополи» архаичной эпохи неизвестны (Ильинская В.А., 1968, с. 179–181).

Оригинальный анализ и выводы исследовательницы должны были подтверждать статистические данные. Среди датированных VI в. до н.э. погребений она исследовала 66 захоронений «мужчин-воинов» в основных могилах, из которых, по ее мнению, 17 сопровождалась «насильственно умерщвленной женщиной» и только 3 женских погребения были основными. Для курганов V в. до н.э. эти цифры составляли соответственно 23 мужских (8 сопровождалась женщиной) и 4 женских (Ильинская В.А., 1968, с. 181). Однако было очевидно, что речь не могла идти о царских погребениях, а значит и Герросе. Не бесспорна и принадлежность данных захоронений дружинникам, хотя этот вариант наиболее вероятен. Как и во всех случаях сопровождающих погребений, никогда нельзя исключать разное время захоронения «основного» (мужского) и «сопровождавшего» (женского) погребенных. Стратиграфически В.А. Ильинская обосновывала свои оценки лишь в отношении нескольких захоронений, где подчиненное положение женщины не вызывало сомнения (курган №407 у с. Журовки).

Детализация отдельных моментов скифской социальной жизни, массовый сравнительный материал позволяли археологам уже на стадии предварительных обобщений предполагать определенный социальный статус исследуемых погребенных. В литературе 1970–1980-х гг. нередко встречаются такие оценки, как захоронения «рядовых скифов» (Мозолевский Б.Н., 1973, с. 187, 211–213; 1975, с. 216; 1980, с. 116–121, 123–127, Тереножкин А.И. и др., 1973, с. 120–124; 1977, с. 27–28; Мелюкова А.И., 1975, с. 132–134, 136; Ковпаненко Г.Т., Бунятян Е.П., 1978, с. 147–148), «мужчин-воинов» (Ильинская В.А., 1968, с. 181; Ильинская В.А. и др., 1975, с. 211–213, 216; 1980, с. 72–73), «профессиональных воинов-дружинников» (Полин С.В., 1984, с. 103–119), «аристократии» (Лесков А.М., 1986, с. 158, 165; Мозолевский Б.Н., 1973, с. 187, 211–213; 1980, с. 86–115, 127–135; Тереножкин А.И. и др., 1973, с. 132–133, 136, 140–143; Яковенко Э.В., 1977, с. 140–141; Ильинская В.А. и др., 1980, с. 33, 54). Как правило, исходным пунктом таких характеристик были размеры курганных насыпей и погребальных камер (Тереножкин А.И. и др., 1973, с. 120–124; Ильинская В.А. и др., 1980, с. 62; Мозолевский Б.Н., 1980; Галанина Л.К., 1985, с. 164), состав сопровождающего инвентаря (Мелюкова А.И., 1975, с. 132–134; Ильинская В.А. и др., 1980, с. 62; Полин С.В., 1984, с. 103–119), особенности могильных конструкций (Ильинская В.А., 1968, с. 81–83; Мурзин В.Ю., 1984, с. 54–55) или самого ритуала (Яковенко Э.В., 1977, с. 141). Все это подготавливало следующий шаг – создание типологии погребений по совокупности признаков.

Однако не всегда социальные оценки погребенным были оправданными. Например, лицо, погребенное в катакомбе №2 кургана у с. Ерквцы Киевской области, интерпретировалось Б.Н. Мозолевским (1975, с. 211–213, 216) как представитель «самого бедного сословия скифов». При этом воина сопровождали два колчана (97 и 29 наконечников стрел), золотой перстень, пояс, копье, два дротика, несколько ножей. Отличительным признаком могил «бедного сословия скифов» исследователь считал отсутствие украшений. Но, перечисляя состав инвентаря, характерного, по его мнению, для данной категории, ученый назвал золотой перстень и меч, входивший в комплекс вооружения более значимых социальных групп. При таких широких критериях не удивителен и вывод Б.Н. Мозолевского (1975, с. 216) о том, что погребения «бедных скифов» составляли не менее $\frac{1}{2}$, «а то и больше» скифских захоронений Поднепровья.

Благодаря исследованию широкого круга скифских погребений и опыту источниковедческого анализа интерпретивные возможности археологии значительно повысились. В.М. Массон (1976, с. 172–173) полагал, что памятники ранних кочевников давали «практически почти не использованные возможности» изучения социальной структуры древних обществ. По его мнению, идентичность погребального обряда в рядовых курганах и в царских гробницах европейской Скифии свидетельствовала об этническом единстве, в чем В.М. Массон видел важное предварительное условие реконструкции общественных отношений. Особое внимание он уделит царским захоронениям, под которыми понимал курганы, где среди «насильственно погребенных» представлены почти все лица, перечисленные Геродотом. Поэтому к числу «царских» курганов ученый отнес только Чертомлык, Солоху, Толстую Могилу. Одиночные человеческие жертвоприношения, согласно исследователю, могли иметь место и в могилах аристократии. В целом нерасчлененность погребений скифской знати на отдельные общественные группы он считал существенным недостатком классификаций скифских захоронений (Массон В.М., 1976, с. 173–175).

Поддерживая идею существования раннеклассового общества у древних кочевников, В.М. Массон попытался дать объяснение, почему именно для данной эпохи характерна резкая дифференциация (по размеру, количеству сопровождающих жертв, богатству инвентаря) погребальных сооружений. Он полагал, что возведение царских гробниц в объединениях номадов раннеклассового типа «было кульминационным пунктом процесса нарастания пышности погребальных обрядов по мере развития в обществе острого социального неравенства». Царская власть, таким образом, как писал ученый, «утверждала и пропагандировала свое могущество» (Массон В.М., 1976, с. 175–176).

Позднее, по представлениям В.М. Массона, возрастающее стремление обставлять захоронения царей все с большим великолепием должно было прийти в противоречие с более насущными интересами развивающегося социума. «Царские погребения с их сложным ритуалом по сути дела были вершиной этой нерентабельной траты общественного достояния в виде материальных ценностей и людей» (Массон В.М., 1976, с. 176). Теоретическая модель В.М. Массона, распространяемая ученым и на оседлые и на кочевые народы, предполагала, что в «развитых классовых обществах» социальное неравенство приобретало «все более земной характер». Поэтому, как считал археолог, исчез обычай жертвоприношений, вместо захоронений лошадей появились уздечки и конские наборы,

вместо туш животных – ее части, а богатый инвентарь заменялся имитацией драгоценных предметов (Массон В.М., 1976, с. 176).

Аргументы исследователя звучат достаточно убедительно. Становление военно-иерархических структур у кочевников требовало идеологического обоснования. С царскими курганами и погребениями родоплеменной аристократии были связаны некоторые стороны религиозной и общественной жизни кочевников. В то время как в эпоху средневековья многое определялось уже сформировавшимися генеалогическими и политическими традициями, что не исключало инновационных моментов (например, каганских погребальных комплексов в Монголии с надписями на стелах).

Задачу классификации погребений скифской знати, поставленную в середине 1970-х гг. В.М. Массоном, первым попытался решить Б.Н. Мозолевский. Исследователь разработал систему критериев, на основании которой выделил четыре группы аристократических и царских захоронений. Царскими Б.Н. Мозолевский считал только курганы IV группы, которые отличались особыми размерами насыпи (15–20 м высотой), значительным количеством захоронений слуг и коней, великолепным инвентарем в случае его сохранения (Чертомлык, Огуз, Александрополь, Солоха, Козел). III группа включала погребения ближайших родственников царя, «царей подчиненных царств». К ним ученый отнес курганы высотой 6–12 м, содержавшие глубокие катакомбы, останки тризны и несколько погребений сопровождающих лиц (Мелитополь, Гайманова Могила, Краснокутск, Бердянский) (Мозолевский Б.Н., 1979, с. 156–164). Наиболее малочисленна в типологии археолога II группа курганов, с одиночными сопровождающими захоронениями людей (Страшная Могила №1, 4/1, 4/2, 4/3; Носаки 12/1). Номархи, верховные военачальники, аристократия составляли, как полагал Б.Н. Мозолевский, I группу богатых погребений. От остальных ее отличало отсутствие сопроводительных погребений людей, хотя в некоторых из них обнаружены конские захоронения (Испановы Могилы, Завадские Могилы, Носаки №13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, Хомина Могила №1) (Мозолевский Б.Н., 1979, с. 148–151).

Б.Н. Мозолевский поставил под сомнение стереотипное представление о социальном статусе погребенных с «царем» женщин. Долгое время их определяли как наложниц. Однако наблюдения ученого за стратиграфией позволили установить, что в ряде приднепровских курганов IV–III вв. до н.э., таких как Толстая Могила, Рогачик, Мелитополь, предположительно Солоха и Чертомлык, первой по царскому обряду была похоронена женщина и только некоторое время спустя сам «царь» (Мозолевский Б.Н., 1979, с. 79–84, 156).

Почти одновременно с Б.Н. Мозолевским типологию скифских богатых захоронений разработал Г.Н. Курочкин. Так как богатые скифские курганы были почти сплошь ограблены, а объемы насыпей варьировались слишком сильно, то определяющими признаками «царских могил» ученый считал наличие человеческих жертвоприношений, останков животных, транспортных средств (Курочкин Г.Н., 1980, с. 106). В результате богатые курганы скифов были распределены по трем группам: 1) курганы, где человеческие жертвоприношения и захоронения коней присутствовали в количестве более одного (Александропольский, Гайманова Могила, Куль-Оба, Чертомлык, Солоха, Толстая Могила); 2) курганы, в которых имелись либо человеческие, либо конские жертвоприношения, но то и другое было представлено в минимальных количествах (Воронежский, Рогачик, Страшная Могила, Мордовский); 3) погребения примечательные по инвентарю, но не имевшие человеческих жертвоприношений (Мельгунов, Архангельская №1 и 5, Страшная и Хомина Могила, Журовка). Центральные захоронения в курганах первых двух групп исследователь считал «собственно царским», а лица, погребенные в курганах III группы, определялись ученым как знать «средней руки» (Курочкин Г.Н., 1980, с. 109–110).

Совершенно очевидна относительность, если не самих типологий курганов, то конкретных определений социального статуса погребенных в курганах разных групп лиц. Дело не только в плохой сохранности, ограбленности и несовершенстве методики раскопок. Авторитет отдельных носителей власти не был одинаков. Сказывались военные успехи и неудачи, разные степени сакрализации, характер отношений с данниками, греческими полисами, размеры контролируемой территории и т.д. Каждый из правителей располагал разными людскими ресурсами для возведения насыпи. Учесть совокупность этих и других факторов невозможно. Не случайно А.И. Мелюкова (1981, с. 106) писала, что из-за отсутствия «твердых критериев» классификация скифских курганов, предложенная Б.Н. Мозолевским, убеждала «лишь в существовании какого-то деления внутри верхнего слоя скифского общества в IV – начале III вв. до н.э., однако понять смысл этого деления мы пока не в состоянии».

Однако систематизация данных в ходе «классификационных опытов» позволяла решать и конкретные проблемы стратификации кочевников. Если в 1930–1970-е гг. скифологи уделяли основное внимание социально приниженным слоям (рабам, данникам, полузависимым скифам) и скифской знати (царям, родоплеменной аристократии, номархам), то к началу 1980-х гг. появилась возможность поставить вопрос о месте и роли рядового населения в структуре скифского общества, степени его внутренней дифференциации.

Исследование рядовых погребений скифов методами статистического анализа провела Е.П. Бунятян. Она использовала данные 293 курганов и 534 погребений V–III вв. до н.э., изученных на девяти могильниках. Основанием для их сравнения служила высокая степень сходства погребального ритуала (61,8% по размерам насыпи и объему погребального сооружения; около 83,15% по инвентарю), что позволило говорить о единстве скифской культуры Поднепровья и рассматривать имеющиеся различия как проявление социального деления общества скифов (Бунятян Е.П., 1982, с. 137; 1985, с. 30–32, 38–44, 50, 57). Исходной посылкой для реконструкции социальной структуры «рядового» скифского населения являлось убеждение Е.П. Бунятян (1985, с. 25–28, 72–75), что погребальный обряд отражал прижизненное положение погребенного. В ходе анализа она создала несколько типовых «моделей» скифских погребений, соответствовавших, по мнению исследовательницы, социальным группам рядовых скифов.

Модель №1. Погребения в могилах минимального размера, куда покойников клали в скорченном положении или с подогнутыми ногами. Мужчин сопровождали стрелы в количестве до 10 экземпляров, женщин – не более 10 пастовых бус. Е.П. Бунятян (1982, с. 176–177, 183; 1985, с. 93–95, 105–106, 111–112, 122) убедительно доказала, что материалы захоронений, которые В.А. Ильинская определяла как «рабские» (погребение №2 курган №7; погребение №4 курган №10, погребение №2 курган №12 могильника у с. Кут), интерпретировались не совсем корректно и могут быть включены в модель №1. Погребенных в могилах 1-й модели (от общего числа 6,4% мужских и 7,76% женских) Е.П. Бунятян (1985, с. 93–94) считала «беднейшими общинниками Скифии», которые занимали нижнюю ступень в иерархии скифского общества и были юридически неполноправны.

Модель №2 включала наиболее многочисленную группу мужских (60,55%) и женских (66%) захоронений (высота курганов до 75 см, камеры катакомб – 196–295 см в длину и 56–115 см в ширину, при глубине 176–295 см). Сопровождающий инвентарь таких погребений небогат, но разнообразен. У мужчин преобладали наборы стрел, часто в сочетании с копьями и/или дротиками. Женские захоронения сопровождалось украшениями (бусы, бронзовые серьги, бронзовые и железные браслеты), пряслицами, нередко стрелами, а также лепной посудой. Согласно точке зрения Е.П. Бунятян (1985, с. 94–95), к данной группе принадлежала основная масса рядового скифского населения.

Модель №3 составили погребения под насыпями 76–135 см высотой, с камерами длиной 296–414 см, шириной 116–215 см и 356–475 см глубиной. Мужские захоронения сопровождалось большими наборами стрел в сочетании с копьями и/или дротиками, иногда защитным вооружением и дорогой посудой. Инвентарь женских погребений также качественно менялся: вместо простых пастовых бус встречались золотые, появилась античная посуда, зеркала, ожерелья, гривны, нашивные бляшки, перстни. Характеризуя погребения данной группы, она отметила, что их можно интерпретировать как захоронения «богатой прослойки рядового скифского населения». Однако нельзя согласиться с ее определением 20,2% мужских и 15,5% женских погребений как «немногочисленных» (Бунятян Е.П., 1985, с. 96).

Модели №4 и 5 Е.П. Бунятян рассматривала совместно. Они включали захоронения с максимальными для «рядовых» погребений показателями: курганы свыше 136 см высотой, камеры длиной 296–415 см, шириной 216–275 см, при глубине 476–696 см. Сохранившиеся после ограбления остатки инвентаря, как полагала исследовательница, свидетельствовали о его значительном богатстве. Только в этих двух группах в мужских погребениях появились доспехи. Социологические трактовки этих групп несколько неопределенны. Исследовательница отнесла захоронения четвертой модели (4,55% мужских и 3,9% женских) к погребениям «верхней прослойки рядового скифского населения, приближающегося к скифской аристократии». Погребения пятой модели она отождествляла с захоронениями «нижней прослойки скифской аристократии, людей благородного происхождения» (Бунятян Е.П., 1985, с. 97).

На основе половозрастного анализа Е.П. Бунятян пришла к одному из самых важных выводов своей работы. Она резко выступила против представлений о зависимом положении скифских женщин. В пользу ее точки зрения говорили парные и коллективные погребения: женщина рядом с

мужчиной, в центральной части камеры, ориентированы в одном направлении, их сопровождал разнообразный инвентарь, соответствующий полу погребенного. «Внутренняя топография камеры и положение останков погребенных свидетельствуют о равном положении женщины и мужчины» (Бунятян Е.П., 1982, с. 184). Не работал, согласно статистическим данным, и другой аргумент сторонников «приниженного положения женщин», утверждавших, что основные погребения чаще бывали мужскими. Преимущество, как доказала исследовательница, было незначительным. Основными являлись 64% всех мужских захоронений и 50% женских (Бунятян Е.П., 1985, с. 70–71, 220, табл. XI, признак 29).

Самым ценным наблюдением стала выявленная Е.П. Бунятян статистическая закономерность. Из 103 женских захоронений в 30 (29%) имелось оружие, т.е. больше, чем в так называемых савроматских. На некоторых памятниках (могильники у сел Широкое и Шевченко) данная цифра была еще выше (37%). Е.П. Бунятян сделала еще одно существенное замечание о том, что владевших оружием скифянок нельзя причислять к особой возрастной группе, в частности к категории молодых незамужних женщин. Исходя из вышеперечисленных «фактов» мнение ученой о достаточно высоком статусе женщин у скифов выглядит вполне убедительно (Бунятян Е.П., 1982, с. 184; 1985, с. 70–71).

По-разному оценивая скифское общество, то как «раннеклассовое», то как «сословно-классовое» (Бунятян Е.П., 1985, с. 127–129), исследовательница указывала, что дифференциация общества характерна для всех докапиталистических формаций, поэтому только на этом основании нельзя определить конкретный тип общественной системы. Решающее значение Е.П. Бунятян (1984, с. 123; 1985, с. 130–131) отводила способу производства, который для кочевничества был обозначен как «консервативный».

Итог социальной типологии скифских погребений IV–III вв. до н.э. подвел В.Ф. Генинг. Взяв за основу классификации Б.Н. Мозолевского и Е.П. Бунятян, исследователь указал, что его интересовала выявляемая по археологическим источникам картина стратификации и поляризации скифского общества как основа социологической реконструкции. Археолог рассматривал в качестве наиболее объективного показателя социальной стратификации трудовые затраты на создание погребального сооружения, а также качество и количество инвентаря. Среди дополнительных признаков он назвал жертвоприношения людей и животных, поминальные тризны, погребения коней, изваяния умерших (Генинг В.Ф., 1984, с. 132–133).

В первую группу ученый включил впускные захоронения или погребения под небольшими курганами, сопровождавшиеся очень бедным инвентарем (6–8% всех скифских погребений). Люди, погребенные в данных могилах, согласно мнению автора, не имели собственного имущества и шли в услужение к богатым общинникам. Но они не являлись рабами, так как похоронены по скифскому обряду (Генинг В.Ф., 1984, с. 135–137, табл. №I, с. 146). Вторую группу захоронений, составлявшую около 60–70% всех погребений, В.Ф. Генинг определил как принадлежавшие основной массе населения скифов-кочевников. Но в отличие от Е.П. Бунятян он видел в них экономически зависимый слой номадов, работавших на представителей знати и царей. Исследователь полагал, что бедность рядовых скифов не позволяла им вести самостоятельное хозяйство (Генинг В.Ф., 1984, с. 135–137, табл. №I, с. 146). Оценивая третью группу погребений (15–20%) В.Ф. Генинг фактически повторил характеристику Е.П. Бунятян – зажиточная часть «рядовых» скифов, которая вела индивидуальное хозяйство. Из них формировалась легкая кавалерия скифов (Генинг В.Ф., 1984, с. 135–137, табл. №I, с. 147).

«Средний слой» скифского общества был представлен в типологии В.Ф. Генинга четвертой и пятой группами, включавшими всего около 50 захоронений. В четвертую группу исследователь включил погребения под насыпями от 0,6 до 3,7 м высотой, окруженными рвами и кромлехами, имевшими остатки тризн. В составе инвентаря присутствовал полный комплект вооружения (в том числе пластинчатые панцири, щиты, боевые пояса), античная посуда и драгоценные украшения. Люди этой категории, в представлении ученого, являлись собственниками стад, за которыми ухаживали пастухи. Они рассматривались как старейшины кочевых общин, составлявшие тяжеловооруженную конницу – сословие всадников (Генинг В.Ф., 1984, с. 136–137, табл. №I, с. 138–139, табл. №II, с. 140, 147).

Скифы, входившие во вторую, третью и четвертую социально-типологические группы, образовывали кочевые общины. Исследователь предполагал, что каждая община возглавлялась семьей старейшины. Усредненное соотношение в составе общины семьи старейшины (4 гр.), зажиточных (3

гр.) и обедневших скотоводов (2 гр.) соответствовало пропорции 1 : 3 : 10 (Генинг В.Ф., 1984, с. 150). Данную трактовку можно считать попыткой объяснения сочетания в рамках небольших могильников скифской культуры больших и малых курганов (могильники у с. Шахты и у с. Нагорное, Завадские Могилы).

Пятую группу в типологии В. Ф. Генинга (первая группа по Б.Н. Мозолевскому) составляли погребения под насыпями со средней высотой 2,61 м, с рвами и каменными кладками, с погребальными камерами до 8–9 м глубиной. Основное отличие от могил предыдущих групп ученый видел в конских захоронениях в дромосе или специальных ямах и более роскошном сопроводительном инвентаре (Генинг В.Ф., 1984, с. 138–141, табл. №II). Доля захоронений «царственной элиты» в скифском массиве IV–III вв. до н.э., согласно В.Ф. Генингу, была незначительна (0,5%). Шестая группа в классификации исследователя (вторая группа по Б.Н. Мозолевскому) вообще была представлена только тремя погребениями. Об аристократическом характере погребенных в них лиц, как считал археолог, свидетельствовали захоронения «слуг», по одному с каждым знатным покойником (Генинг В.Ф., 1984, с. 142–145, табл. II, с. 148). Только «царственные особы», по мнению ученого, сопровождалась погребениями нескольких «слуг» и богатейшим инвентарем. Эффектны и другие признаки: средняя высота насыпей – 12,9 м, средняя глубина могил – 7,9 м, площадь погребальной камеры – 40–50 м² и т.д. Только такие погребения В.Ф. Генинг включил в состав «царской» седьмой группы захоронений (третья и четвертая группы Б.Н. Мозолевского), принадлежавших «царям объединенной Скифии», «царям отдельных областей», «членам царской семьи» (Генинг В.Ф., 1984, с. 145–146, табл. III, с. 147–148).

В.Ф. Генинг подчеркнул, что для решения задачи: каким конкретно было скифское общество по форме и структуре, требовались дальнейшие исследования. По его мнению, степень поляризации отдельных групп у скифов настолько велика, что позволила с полным основанием реконструировать скифское объединение как общество, строившееся на социальном неравенстве. Причины неравенства связывались ученым с широким распространением эксплуатации народа – «рядовых кочевников», что привело «к быстрому обеднению последних и накоплению больших богатств в руках знати и аристократии» (Генинг В.Ф., 1984, с. 148–149).

Итогом социальной типологизации скифских погребений в 1970–1980-х гг. была попытка исследования социальной организации скифов с использованием формализованно-статистических методов, осуществленная В.Ф. Генингом, Е.П. Бунятян, С. Ж. Пустоваловым и Н.А. Рычковым. Ее недостатком являлась высокая степень допущения, при которой погребение подводилось под модель в том случае, если совпадало более половины признаков (Генинг В.Ф. и др., 1990, с. 198). При таком подходе вероятность искажения была слишком высокой. С учетом отсутствия для погребений средних социальных групп (II–IV), прямой зависимости между размерами насыпи могильного сооружения (или ее отсутствия, если погребение впускное) и набором инвентаря (Генинг В.Ф. и др., 1990, с. 206–207, табл. XXXI), а также ограбленности значительной части могил, достоверность конечных выводов значительно уменьшалась. Противоречивы и социологические оценки исследователей. Вряд ли различия имущественного и социального статуса привилегированного населения у большей части кочевников определялись, как считали В.Ф. Генинг, Е.П. Бунятян, С.Ж. Пустовалов и Н.А. Рычков (1990, с. 205), только «эксплуатацией рядовых общинников». Общеизвестно, что на общественную дифференциацию скифов оказали влияние и получение дани от подвластных народов, и доходы от контроля торговли с греческими полисами и подарки от греков, а также непосредственные захваты имущества во время набегов.

Опыт систематизации и целенаправленного изучения социальной структуры скифов, по данным археологии, несмотря на обозначенные недостатки, несомненно интересен и может быть использован в отношении памятников других историко-археологических общностей. Типовая программа подобных доинтерпретационных исследований включала ряд последовательных операций: половозрастной анализ; палеосоциологический анализ с учетом половозрастной дифференциации, учет трудозатрат на сооружение насыпи и могилы, анализ инвентаря, поз погребенных и всех вариантов отклонений (скорченное положение, в ногах, в дромосе, в отдельных камерах и т.д.); сопоставление результатов социологического анализа с распределением, количеством и качеством инвентаря (т.е. стандартными комплексами вещей для различных групп мужских и женских захоронений); классификация погребений по определенным условным социальным группам и выяснение соотношения страт в обществе; выявление пространственной структуры могильников, группировка погребений с целью изучения дифференциации внутри конкретного коллектива; фиксация «бедных» и

«богатых» могильников, их сопоставление и сравнение в системе целой археологической культуры с учетом характерного для древних обществ господства одних общин, родов, племен над другими общинами, родами и племенами (Генинг В.Ф. и др., 1990, с. 195–202, 208–209).

Говоря о работах В.Ф. Генинга 1980-х гг., необходимо подчеркнуть, что анализ социальной структуры скифского населения проводился строго в контексте марксистской методологии. Он считал целью археологического познания «исследование закономерностей социально-исторического развития отдельных обществ древности, теоретико-методологической базой которого является материалистическое понимание истории и его ядро – учение об общественных формациях» (Генинг В.Ф., 1983, с. 97; 1989, с. 19). Таким образом, работа с археологическими источниками и строившиеся на основе их изучения выводы играли подчиненную роль в сравнении с общесоциологическими представлениями автора. Это в полной мере проявилось в характеристике ученым общественной системы скифов. Сложное теоретическое моделирование и анализ типологии скифских погребений свелись в конечном итоге к заранее известному выводу о переходном характере скифского объединения от первобытности к раннеклассовому обществу. Терялась связь между «фактом науки» (социальная типология погребений, результаты статистического анализа) и конечными выводами, на которые «факты науки» никак не влияли. Получалось, что если в качестве исходного показателя («общесоциологической концепции общественной структуры») взять другую модель, то можно было прийти к иным выводам. Ошибка при выборе исходной общественной модели определяла ошибочность всех выводов, как бы качественно ни был проведен классификационный анализ археологических материалов.

Работы конца 1980-х – начала 1990-х гг. демонстрируют широкие возможности археологов уже на стадии источниковедческого исследования формулировать гипотезы социального плана. В этой связи интересна статья Ю.С. Гребенникова, посвященная анализу материалов двух курганов (№3 и 9) второй половины IV в. до н.э. в урочище Три могилы в среднем течении Ингула. Оба кургана выделялись размерами насыпи, глубиной входных ям (от 5,1 до 10 м) и объемом катакомб (не менее 20 м²). Основные погребения были ограблены, однако в кургане №9 имелось нетронутое впускное погребение №1, которое автор раскопок определил как наиболее полное и богатое во всем Днепровском правобережье (золотая гривна, бляшки, украшавшие одежду, пояс с серебряными бляшками с позолотой, серебряный браслет, серебряное навершие нагайки, серебряный кубок, три амфоры, 180 наконечников стрел, акинак, три дротика и др.). Пытаясь определить место погребенных в курганах №3 и 9 в социальной иерархии степной Скифии, ученый указал, что оба погребальных комплекса по размерам насыпи и катакомб являлись единственными среди изученных курганов IV в. до н.э. в бассейнах Южного Буга и Ингула. По его мнению, оба некрополя принадлежали к первой группе (по типологии В.Ф. Генинга) курганов скифской знати Приднепровья.

Ю.С. Гребенников предположил, что такая инвентарная категория, как украшения, говорила о возможной взаимообусловленности состава погребального инвентаря и социального положения умершего даже в обход положения имущественного. Он обратил внимание на то, что гривна была положена в могилу сломанной, т.е. в свое время она не носилась, в то время как другие известные автору скифские гривны были целыми. Сломанным оказался также браслет, а обойма положена без оселка. Более того, эти вещи не имели прямых аналогий в других памятниках, хотя их типы широко распространены в Скифии. Отметив данные факты, археолог сделал вывод, что у скифов соблюдался определенный набор вещей для данного ранга погребенных (Гребенников Ю.С., 1987, с. 148–149, 152–153, 157–158).

Публикуя материалы раскопанного в 1983 г. впускного скифского захоронения из кургана у с. Вишневки в Крыму, С.И. Андрух полагал, что, несмотря на весьма богатый инвентарь (панцирь, набедренники и наколенники, копье, «горит» с 296 стрелами, украшенный золотом акинаком, массивный железный предмет покрытый золотом, наборный пояс с бронзовыми застежками), это погребение не попадало в число «аристократических». Умерший скиф определялся как «член высшего военного сословия, представлявшего промежуточное звено между знатью и массой рядового населения» (Андрух С.И., 1988, с. 169). В другом случае С.И. Андрух и Е.Ф. Суничук отнесли погребенных в курганах №11 и 23, исследованных недалеко от могильника V–II вв. до н.э. Плавни-I в Днестро-Дунайском междуречье, «к зажиточной прослойке в рядовом скифском обществе». Данное утверждение опиралось на отсутствие в археологическом материале «комплекса власти», который демонстрировал выполнение умершими особых общественных функций (Андрух С.И., Суничук Е.Ф., 1987, с. 38–39, 44–45). Возражая против подобной позиции исследователей, укажем, что специфич-

ное социальное положение погребенных в курганах №11 и 23 подтверждалось не столько размерами насыпи (они как раз не впечатляют: курган №11 – высота 0,6 м, диаметр 24 м; курган №23 – высота 0,3 м, диаметр 16 м), наличием импортной посуды и драгоценных украшений, сколько обособленным положением самих курганов от остальных погребений могильника Плавни-I. Если бы умершие были только разбогатевшими рядовыми членами скифского общества, то, скорее всего, они были бы погребены в пределах семейного кладбища.

В.Ю. Мурзин пришел к выводу, что трансформация скифского погребального обряда в IV вв. до н.э. из разнообразных форм на предшествующем этапе (VII–V вв. до н.э.) в господствующий тип (катакомба) обуславливалась двумя группами причин – «этноисторических» и «социологических». По мнению автора, население Скифии было полиэтнично, причем этнические различия несли и социальную нагрузку, что порождало разнообразие форм погребальной обрядности в эпоху скифской архаики. Как полагал В. Ю. Мурзин, унификация погребального обряда скифов в IV в. до н.э. свидетельствовала о некотором упрощении структуры скифского общества, скорее всего об исчезновении двойного – этнического и социального – принципов деления. С этого времени и погребения скифских царей, и захоронения рядовых кочевников производятся в перекрытых курганами катакомбах, отличаясь друг от друга размерами курганной насыпи, глубиной входной ямы, объемом погребальной камеры. Именно вариации этих признаков, их соотношение с количеством и составом погребального инвентаря, а не наличие различных типов погребальных сооружений позволяют археологически выделить социальные группы в скифском обществе этого времени (Мурзин В.Ю., 1990, с. 31–33).

Обращаясь к вопросу о триединой структуре скифского общества, исследователь полагал, что деление войска на три части (два «крыла» и «центр») было широко распространено у тюрков и монголов, по такому же принципу была построена и кочевая орда у хунну, сяньби, тюрков-тугю. Объяснял В.Ю. Мурзин это тем, что и военная, и политическая, и хозяйственная структура кочевников опиралась на родоплеменную организацию, наилучшим образом обеспечивающую единство этносоциального организма. Такой подход, по мнению археолога, не отрицал и идей Э.А. Грантовского и Д.С. Раевского об индоиранском кастовом делении на общинников, воинов и жрецов. В.Ю. Мурзин считал весьма показательным, что между структурными подразделениями политических образований кочевников Евразии («крыльями» и «центром») существовало подобное разделение функций и связанные с этим особые права и привилегии входивших в эти подразделения родов. Правое крыло в рамках военной организации триадного типа выполняло функции военного ополчения, левое – постоянного войска, а «центр» – орган военно-политической власти. В триадной организации В.Ю. Мурзин видел свидетельство специфичности кочевнических социальных систем. Он полагал, что соответствующие структурные подразделения скифской орды обладали, по-видимому, определенной территорией кочевания и управлялись ближайшими родственниками «царя». В целом ученый прослеживал следующие ступени этносоциального развития скифского общества: дуальная организация у протоскифов; превращение ее в триадную после покорения в Северном Причерноморье местного киммерийского населения; возникновение единого этносоциального организма с отраженными в социальной структуре этническими различиями; завершение процессов этнической консолидации, стирание этнических границ между покоренными и победителями, отразившееся в едином погребальном обряде (Мурзин В.Ю., 1990, с. 71–72, 76–78).

Не менее интересные концепции и оценки общественного развития ранних кочевников Поволжья и Южного Приуралья, а также апробация разных палеосоциологических методик на «савроматских» и сарматских памятниках. Одним из важных вопросов в сарматоведении оставался вопрос о «пережитках матриархата». Эта гипотеза явно диссонировала с основными социально-хронологическими признаками раннего железного века и с уровнем материального и общественного развития древних кочевников Южного Приуралья и Поволжья. В статье «Материнский род у сарматов» А.М. Хазанов отметил, что сохранение матрилинейности у «савроматов» нельзя объяснять только пережитками. В эпоху классового образования, как допускал ученый, «патриархальный род» и «позднематеринский род» являлись параллельно существующими формами распада первобытнообщинных отношений. Различия, по мнению автора, второстепенны и проявлялись больше всего в семейно-брачной сфере: матрилинейность счета родства; порядок наследования имущества и социального статуса; высокое, но отнюдь не доминирующее, положение женщин в обществе. А.М. Хазанов также указал, что решающая роль, вопреки распространенным взглядам, у «савроматов» принадлежала мужчинам. Они чаще возглавляли семью, а тем более роды и общины, матрилинейность –

лишь принцип построения семьи. Женщины, как считал исследователь, сохраняли скорее моральный авторитет, чем реальную власть (Хазанов А.М., 1970, с. 139). Ученый обратил внимание на отсутствие четких границ у таких понятий, как «матриархат», «пережитки матриархата», «материнский род», и на неоднозначность их понимания различными авторами (Хазанов А.М., 1970, с. 138, 140).

Столь же категорично против идеи «пережитков матриархата» у савромато-сарматов выступил А.П. Смирнов. Он придерживался той точки зрения, что легенда об амазонках была порождена фольклором. Как писал исследователь, в легендах нашли отражение изменения в савроматском обществе, вызванные переходом к кочевому скотоводству и военной демократии. Гинекократия в данном случае выступала как вторичное явление, «связанное с особыми условиями варварского или рабовладельческого общества, когда свободное взрослое мужское население занято грабительскими походами, а руководство всем хозяйством, забота о безопасности кочевого дома и стада обеспечивались женщиной» (Смирнов А.П., 1971, с. 190).

Публикации А.М. Хазанова и А.П. Смирнова сыграли, по-видимому, решающую роль в изменении представлений отечественных ученых о социальном положении женщин в «савромато-сарматском обществе». Характерные ранее указания на «пережитки матриархата» почти исчезли из литературы. Отдельные исключения (Ковпаненко Г.Т., 1980, с. 83) скорее подчеркивали постепенное утверждение новых подходов. Выражение «пережитки матриархата» заменил термин «гинекократия», содержание которого часто не раскрывалось (Смирнов К.Ф., 1975, с. 154; 1982, с. 120). Наибольшим вниманием ученых в связи с этим пользовались захоронения так называемых жриц, сравнительная многочисленность и богатство которых, «оттеняли» особую роль женщин в социальной структуре «савроматов» и сарматов. В качестве признаков «жреческих» погребений фиксировались не только «жреческие» атрибуты (алтари, зеркала, туалетные ложечки, краски), общее богатство захоронений, размеры насыпей, но и особенности погребального обряда. Так среди «савроматских» могил III Алданского могильника именно «жрице» принадлежало редкое среди приуральских захоронений VI–V вв. до н.э. диагональное погребение (курганы №3–4 мог. №2). Необычность ситуации заключалась в находке на горизонте скопления костей человека, барана, лошади и коровы. Обломки трех человеческих черепов, берцовые кости, ребра, ключицы, расположение других костей не вызывали «сомнения в преднамеренности обряда» (Мошкова М.Г., 1972, с. 69–71).

Не менее показательными были захоронения «жриц» в могильниках сарматской знати бассейна рек Илек и Ор. К.Ф. Смирнов (1975, с. 155) отметил, что на площади Тарабатурских курганов знатных женщин-жриц хоронили, вероятно, на отдельном участке, под курганами, специально насыпанными для них (№2 и 3). В то же время в курганах Новокумакского могильника близ Орска женские погребения с жреческим инвентарем были обнаружены в семейных усыпальницах знати (Смирнов К.Ф., 1977, с. 4–5, 10). Несовместимость таких погребений с идеей сохранения «пережитков матриархата» очевидна (Смирнов К.Ф., 1975, с. 154). В одной из последних своих работ К.Ф. Смирнов высказался по поводу «савромато-сарматской» гинекократии еще определенной. По его мнению, в археологическом отражении гинекократия как раз предполагала не столько «амазонские» черты (оружие в женских могилах), сколько присутствие в погребениях предметов жреческого культа (Смирнов К.Ф., 1982, с. 120). На устойчивость «гинекократических традиций» у сарматов указывали и раннесарматские захоронения бассейнов Дона, Северного Донца и Южного Буга (Ковпаненко Г.Т., 1980, с. 167–179, 183; Смирнов К.Ф., 1982, с. 121, 130; 1984, с. 22, 34–35).

М.К. Кадырбаев и Ж.К. Курманкулов обратились к положению женщин у «сарматов» в связи с материалами могильника Бес-Оба. Вслед за А.М. Хазановым «матриархальность» не рассматривалась учеными как регресс социальных отношений. Они подчеркнули, что позицию исследователей в вопросе о «гинекократии» примиряет оценка женских погребений с каменными алтарями-жертвенниками как жреческих. М.К. Кадырбаев и Ж.К. Курманкулов высказались против мнения о непреходящем богатстве жреческих захоронений. По их подсчетам, из «40 с лишним» погребений «жриц» Южного Приуралья процент аристократических был невелик. При этом ученые обратили внимание на значительное распространение погребений «жриц» среди захоронений знати. В Бес-Обе если «жрицы» и не удаивались персонального кургана, то в коллективных могилах им всегда отводилось место, подчеркивавшее религиозные привилегии и социальную автономию представительниц этого сословия. К культовым привилегиям «жриц» М.К. Кадырбаев причислял устройство в гробницах специальных очагов-кострищ прямоугольной формы, по краям которых лежали части жертвенных туш. Еще одной «канонической» чертой, как полагал археолог, являлись расположен-

ные под прямым углом к костяку «жрицы» погребения воина. Подобная картина была обнаружена в курганах №4 и 8 могильника Бес-Оба и кургане Жалгызоба (Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К., 1978, с. 66–67, 70; Кадырбаев М.К., 1984, с. 86–87).

Археологические материалы в ряде случаев свидетельствовали и о «светской» власти женщин. Исключительная роль женщины в управлении семейным (?) коллективом кочевников была ярко представлена в кургане №8 могильника Мечетсай (IV–III вв. до н.э.). Под насыпью на древнем горизонте находилось деревянное сооружение, покрывавшее центральную могилу. В погребении были обнаружены останки 10 человек: двух мужчин, семи женщин и одного ребенка. В центре могилы с почетом и пышностью (инвентарь включал обернутые золотой фольгой деревянные гривны, костюмы, украшенные «импортными» бусами, колчаны со стрелами, зеркала) были погребены молодая и старая женщины, вокруг которых располагались другие покойники. Согласно оценке К.Ф. Смирнова (1975, с. 173–174), эти женщины могли возглавлять «родовое объединение сарматов».

Благодаря отказу от архаизации социально-политических институтов «савроматов» и сарматов, выводы исследователей о генезисе «классообразования» у этих народов с VIII–VII вв. до н.э. стали звучать более полно. Картину развитой социальной дифференциации демонстрировали погребения «савромато-сарматской» знати, «дружинные кладбища», могильники рядового населения (Десятчиков Ю.М., 1973, с. 77; Смирнов К.Ф., 1975, с. 10–78, 150–174; 1977, с. 3–5, 10–16, 23, 35–43, 49; 1984, с. 42, 52–53, 75–77, 110–113, 124–141, 148–160; Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К., 1976, с. 140–149, 156; Максименко В.Е., 1983, с. 62–65, 119; Шилов В.П., 1983, с. 178, 191; Кадырбаев М.К., 1984, с. 84–93; Ковалевская В.Б., 1984, с. 80–82). Курганные комплексы Пятимары-I, Тара-Бутак, Мечетсай, Бис-Оба, Сынтас и их концентрация в районе р. Илека дали основание ученым предполагать существование здесь военно-политического центра «савроматов». Это – «Геррос» местной «конфедерации» племен, где располагались кладбища военной аристократии, жречества и племенных вождей кочевников Южного Приуралья середины I тыс. до н.э. (Смирнов К.Ф., 1975, с. 154; Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К., 1976, с. 156; Кадырбаев М.К., 1984, с. 93). По мнению К.Ф. Смирнова, «илекская» и «орская» группы опередили в своем социальном развитии других кочевников заволжских степей (Смирнов К.Ф., 1975, с. 152).

К.Ф. Смирнов не исключал возможности «человеческих жертвоприношений» в илেকских некрополях социально зависимых, но в то же время привилегированных людей, как, например, в кургане №8 Пятимары-I, где два богатых вооруженных «телохранителя», вероятно, были насильственно убиты и погребены вместе с их конями на краю грунтовой могилы вождя (Смирнов К.Ф., 1975, с. 154). Два «воина» сопровождали «военачальника» в кургане №1 могильника Сынтас. Инвентарь каждого из них включал железный нож, акинак, колчаный набор (89 и 76 наконечников) (Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К., 1976, с. 141–147). Символами общественной и военной власти «вождей» считались массивные золотые гривны и «жезлы» (Кадырбаев М.К., 1984, с. 89–90). По-видимому, сопровождающие погребения «воинов» являлись характерной чертой аристократических захоронений на р. Илеке. В отличие от царских курганов скифов, здесь отсутствовали захоронения людей другого социального статуса («рабов», «слуг»). По числу же ферапонтов («телохранителей») сарматская знать не уступала скифским царям. Хотя не во всех случаях можно с уверенностью говорить об одновременности и тем более зависимости погребенных «воинов» от лиц, похороненных в центральной могиле.

В условиях почти полного отсутствия письменных сведений о народах, обитавших в Южном Приуралье и Северном Прикаспии в I–V вв. до н.э., небезынтересен опыт социальной реконструкции М.Г. Мошковой по материалам Лебедевского могильника в Западном Казахстане. В 88 курганах было изучено около 50 позднесарматских погребений. Исследовательница допускала, что в этом регионе во II–IV вв. до н.э. находилось крупное племенное объединение, контролировавшее караванные пути, шедшие по степям Северного Прикаспия. Ее предположения строились на основании больших размеров могильника, обилия в погребениях импортных вещей и знания о существовании здесь торгового пути (Мошкова М.Г., 1982, с. 80, 85).

На возможность исследования «тризн» для реконструкции «способов символического моделирования» социальной стратификации древних обществ обратил внимание В.Н. Мышкин. В качестве объекта анализа он использовал сведения о 190 курганах «савроматского времени» в Самаро-Уральском регионе, которые ученый разделил по размерам насыпи на три группы («большие», «средние», «малые»). С помощью формализованно-статистических методов археолог выявил корреляцию размеров курганов с их конструктивными особенностями, остатками «тризн» и жертвопри-

ношений. Массовый характер последних был зафиксирован только в «больших» курганах (высотой от 1 до 4 м и диаметром от 22 до 60 м). Как считал В.Н. Мышкин, связь социального статуса умершего с монументальностью погребальной конструкции имела две стороны. Первая, *знаковая*, когда размеры надмогильного сооружения входили в систему «символического обеспечения социальной иерархии». Вторая, *опосредованная*, когда в сознании людей размеры кургана не связывались со статусом погребенного, но объективно отражали масштабность и важность его социальных связей. Систематизировав данные, ученый пришел к выводу, что если предметы сопровождающего инвентаря (например, котлы) выступали в качестве индикатора высокого социального положения, то «тризны» и человеческие жертвоприношения, являвшиеся особенностью «больших» насыпей должны рассматриваться как «проявление субкультуры элитарных слоев общества» (Мышкин В.Н., 1992, с. 100–101).

Вопросы социогенеза сарматов затронул в своей монографии, посвященной военному делу ранних кочевников, А.М. Хазанов. Он полагал, что в VI–II вв. до н.э. сарматские племена вступили в последнюю стадию первобытнообщинного строя – эпоху классового образования, а складывавшаяся политическая организация их общества приняла форму военной иерархии (Хазанов А.М., 1971а, с. 64–65). Последний термин, видимо, заимствовался из понятийного аппарата западной антропологии и содержание его не было тождественно «военной демократии». Как полагал исследователь, социальная дифференциация и имущественное неравенство заметно проявились в сарматском обществе начиная с IV–III вв. до н.э., чему способствовал военизированный характер сарматских объединений. В погребениях знати много импортных вещей, свидетельствовавших о военной экспансии и походах кочевников. В I в. до н.э. – IV в. н.э., согласно мнению А.М. Хазанова, социальные процессы у сарматов протекали еще интенсивнее. В захваченном ими Северном Причерноморье начали складываться новые политические образования. Аристократия обособилась от остальной части населения, царская власть стала наследственной, дружина превратилась в постоянный контингент катафрактариев, появились зависимые родовые коллективы и рабы (Хазанов А.М., 1971а, с. 64–65, 82–85). Обращает на себя внимание, что А.М. Хазанов рассматривал социальное развитие сарматов как постоянно прогрессирующее. Прослеживается зависимость ученого от письменных источников, качество и количество которых, несомненно, ниже для «савроматского» и раннесарматского периода, чем для более поздней эпохи. Этим определялся и дисбаланс данных о западной и восточной Сарматии. С точки зрения археологии, мнение А.М. Хазанова вряд ли приемлемо. Курганы «савроматов» и ранних сарматов в Приуралье и Поволжье демонстрировали не менее развитую социальную структуру, чем погребения поздних сарматов в Северном Причерноморье.

Не всегда в качестве свидетельства низкого социального положения погребенного выступал впускной характер захоронений, даже если господствующим обрядом в культуре было основное погребение. В частности, на такую ситуацию обратил внимание С.И. Безуглов, исследовавший сарматское впускное захоронение конца II – первой половины III вв. н.э. в кургане №16 могильника Центральный-VI (в 10 км от пос. Центральный Ростовской области). Мужчину 25–30 лет сопровождали короткий и длинный мечи, нагайка, оселок, сохранились украшавшие ремень пряжки, фрагменты накладок на лук, 11 наконечников стрел, фалары, в ногах был обнаружен парадный сбруйный набор. Необычность захоронения подчеркивалась тем, что подавляющее большинство «бедных» и «богатых» сарматских погребений II–IV вв. н.э. являлись основными захоронениями под специально возведенными над ними курганами (Безуглов С.И., 1988, с. 104–106, 111–112).

Как отметил археолог, высокий статус погребенного в общественной иерархии сарматов подчеркивали драгоценность большинства уздечных и портупейных деталей, сделанных из серебра, а также набор фаларов, известных только в богатейших среднесарматских погребениях на Дону. В то же время от аналогичных синхронных могил богатых воинов с оружием и уздечными наборами захоронение в кургане №16 у поселка Центральный отличало только количество и материал. Поэтому С.И. Безуглову представлялось, что различия в инвентаре этой группы погребений могли отражать социальную градацию в среде конных воинов, а сходства – качественную однородность социальных функций погребенных. Появление в донских степях группы воинских погребений, монолитных в обрядовом отношении и по инвентарю, но различающихся представительностью и богатством, рассматривалось С.И. Безугловым как свидетельство складывания военной иерархии дружинного типа. «Если погребения знатных конных воинов можно считать дружинными, то богатейшие могилы этой группы следует соотносить с верхушкой уже оформившейся военной аристократии» (Безуглов С.И., 1988, с. 112–113).

Вывод о социальной дифференциации, процессах классовообразования, сложении военно-политических формирований кочевников невольно ставил исследователей перед проблемой отсутствия государственности у сарматов. Причины этого объяснялись по-разному. В.П. Шилов опирался на сравнение уровня общественного развития ранних кочевников и древневосточных обществ. Он искал ответ в различных «экологических условиях» и связанной с ними организации труда. Как писал ученый, урожайность в Междуречье в 100 раз выше, чем в степях Северного Причерноморья и поэтому занятие земледелием требовало большого количества рабочих рук. Отсюда в Междуречье возникала потребность в «аппарате насилия». В кочевом хозяйстве, по мнению В.П. Шилова (1975, с. 167–168), потребность в применении рабочих рук отсутствовала, а с ней отсутствовала и государственность. Недостаток такой аргументации заключался в том, что с ее помощью легко обосновать невозможность существования государства у всех потестарно-политических образований, расположенных на территории, не обладавшей «восточным» плодородием. Используя «глобальные» доводы, исследователь избегал конкретного ответа на вопрос.

Большинство ученых видели причину отсутствия классов и государственности у сарматов в характере самих объединений кочевников. А.С. Скрипкин указал, что смена племен-гегемонов (аорсов, сираков) другими племенами (аланами) не приводила к изменениям качественного состояния общества. Этническая основа и общественная структура сарматских объединений оставались прежними (Скрипкин А.С., 1982, с. 51). Близок к указанной точке зрения К.Ф. Смирнов. Политические союзы языгов, роксаланов и аорсов он рассматривал как «военно-демократические», так как они не были «столь спаянными, чтобы носить устойчивый политический характер, и столь крепкими, чтобы превратиться в государственную власть» (Смирнов К.Ф., 1984, с. 123). В целом уровень социально-политического развития сарматов исследователи, как правило, определяли с помощью таких дефиниций, как «племенные союзы», «племенные объединения», «конфедерации» (Смирнов К.Ф., 1974, с. 34, 40, 43; 1975, с. 151; 1979, с. 77; 1984, с. 17–19, 41, 66, 116–118; Хазанов А.М., 1971, с. 66; Ковалевская В.Б., 1984, с. 83). В «обществах неоседлых скотоводов на развитых этапах становления раннеклассового общества формировалась и архаическая царская власть, возникновение которой, как известно, также предшествует образованию государства как бюрократическо-иерархической системы классового господства (Арешана Г.Е., 1989, с. 22–23).

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. отдельные археологи указывали на ошибочность распространения К.Ф. Смирновым этнонима «савроматы» на многочисленные группы кочевых племен Поволжья и Приуралья, в то время как Геродот писал о конкретном племени савроматов вблизи Понта, Меотиды и Танаиса. В частности, М.А. Очир-Горяева (1993, с. 133–134, 137–138) полагала, что между савроматами и сарматами не было связи и поэтому на сарматов нельзя переносить те черты общественного строя, которые были присущи савроматам, например, высокое положение женщин.

В 1989 и 1992 гг. вышли очередные тома «Археологии СССР», посвященные скифо-сарматскому периоду в истории европейских (1989) и азиатских (1992) кочевников и подводившие определенные итоги в исследовании кочевых культур в СССР. Был систематизирован огромный фактический материал, опубликованы новые сведения о кочевнических памятниках Поволжья, Южного Приуралья, Средней Азии, Тувы. В характеристике социальной организации кочевников авторы придерживались как сформировавшихся в 1970-х гг., так и традиционных для советской археологии взглядов. А.И. Милюкова (1989, с. 124) по существу возродила идею Б.Н. Гракова о «скифской державе Атея», оценивая ее, однако, не как рабовладельческую, а как «раннеклассовую». К концепции «раннеклассового общества» в разделе о культуре населения Волго-Донского междуречья раннего железного века присоединилась М.Г. Мошкова (1989, с. 208–209).

М.Г. Мошкова в системе социальных ценностей кочевников решающее значение отводила не общему богатству инвентаря, а отдельным его категориям. Для западносарматского мира таковыми являлись южно-италийские серебряные и золотые кубки и вазы, найденные в богатых курганах I–II вв. н.э. в низовьях Дона (Хохлач, Садовой, Жутово, Высочино). В Южном Приуралье в погребениях «савроматского» времени (V–IV вв. до н.э.) встречались ахеменидские ритоны, гривны, печати. Ритоны, как писала исследовательница, употреблялись как парадные сосуды на пиршествах и при совершении культовых обрядов, а гривны и печати выступали в качестве символов высокого социального статуса их обладателей. Источником появления подобных категорий инвентаря, по мнению М.Г. Мошковой, могли быть не только военные трофеи, но и подарки за службу в ахеменидской армии. По-видимому, и Рим оплачивал престижной драгоценной посудой услуги союзных сарматских

объединений, центром одного из которых в начале I тыс. н.э. могло быть и низовье Дона (Мошкова М.Г., 1989, с. 207).

Рассмотренные выше примеры социально-исторических и палеосоциологических исследований раннекочевнических объединений Северного Причерноморья, Поволжья и Южного Приуралья демонстрируют, что уже к началу 1980-х гг. уровень подобных разработок существенно возрос, а это в свою очередь говорило о перспективности подобных изысканий на основе анализа археологических материалов в других регионах степной Евразии.

2.3. Инновационные концепции периода перестройки и основные итоги изучения социально-политических систем кочевников в СССР

Период перестройки по существу не только открыл «шлюзы» для критики разных аспектов марксистской исторической теории (особенно острая и порой малоаргументированная критика стала звучать с 1989 г.), но и для перехода советских ученых на иные, альтернативные позиции. Пожалуй, главной альтернативой формационной концепции тогда выступал цивилизационный подход. Идея универсализма всемирно-исторического процесса и синхронной стадильности основных фаз развития разных обществ оказалась в некоторой степени дискредитированной, хотя и сохраняла за собой немалое число сторонников среди исследователей. На смену универсализму приходили идеи самобытности, специфики исторического пути разных стран и народов, что и пытались отразить ученые в теории цивилизаций. Идея этногосударственных особенностей к тому же подогревалась сложными межнациональными отношениями на пространстве СССР, многочисленными межэтническими конфликтами и стремлением целого ряда республик выйти из состава союзного государства. Требовалось научное обоснование антисоветских и антирусских позиций политических элит в национальных республиках, а его, как правило, искали в своем самобытном прошлом. Советский строй, отнюдь не без причин, рассматривался как главный «виновник» слома национальных устоев и традиций. Не случайно, что в последующие годы через теорию цивилизаций осуществлялись научные попытки выстраивания национальной идентичности в целом ряде бывших советских республик, да и в самой России.

Наряду с цивилизационной парадигмой отечественные ученые обращались к опыту интерпретации исторических процессов на основе историко-антропологического подхода (особенно востребованными были достижения французской школы «Анналов», см., например: Гуревич А.Я., 1988; 1989а–б; 1990а–б; 1993а–б; и др.), неозволюционистской теории, разнообразных концепций политогенеза, традиционных обществ, изысканий этнологов, антропологов, социологов, культурологов и многих других. Также продолжали разрабатываться раннеклассовая теория, высказывались теории особых способов производства, иных форм формационного учения.

Впрочем, влияние перестроечных процессов на науку было неоднозначным. Во-первых, открытие многочисленных «белых пятен», правды о миллионных жертвах советского режима, критика советских методов историописания (замалчивание фактов и игнорирование иных мнений, зависимость от партийных оценок и «парадный» характер многих научных произведений) – все это поставило вопрос об объективности истории как науки, о ее способности дать обществу адекватные ответы на животрепещущие вопросы. К тому же на проблемы отечественных исследователей «накладывался» и мировой кризис исторического знания, связанный с разными факторами, среди которых особенно стоит указать конкуренцию других гуманитарных дисциплин (социология, культурология, политология, антропология, развиваясь и стремясь всесторонне рассмотреть «собственные» проблемы, вольно или невольно вторгались на «поле» истории), постмодернистское мелкотемье, отказ от теоретических разработок и т.д. В отечественном варианте кризис усугублялся еще и тем, что история долгое время являлась фундаментом марксистской идеологии и в целом была долгое время ангажирована властью. Это порождало иждивенческие настроения, ограничивало способность отечественных специалистов конкурировать с представителями других исторических школ (слишком долго отечественные ученые на официальном уровне пропагандировали «передовой» характер собственных изысканий). В начале 1990-х все изменилось. Хотя новой власти историки тоже понадобились, чтобы написать новую и «удобную» историю...

Во-вторых, несмотря на широкие возможности творческого развития, реальные изменения в научной среде были гораздо скромнее. Критикуя марксизм, многие историки оставались марксистами как по методам, так и по тематике исследований. Особенно это проявлялось на уровне терминологии. Марксистские концепты долгое время превалировали в лексике и научных публикациях. Са-

мо по себе это не плохо. В конце концов мнения и подходы могут быть разными, не исключая и марксизм, у которого много заслуг перед исторической наукой. Но речь идет не о том. Многие историки категорически не желали воспринимать какой-либо иной научный опыт. В российской науке останется немало адептов марксистского учения, а в сложные 1990-е гг. их число даже увеличилось.

Что касается других подходов, то к началу 1990-х научное сообщество еще, как правило, не успело полноценно отразить инновационные идеи, а обсуждение теорий и концепций редко трансформировалось в принципиально отличные от советского опыта (с учетом его существенно-го разнообразия и изменений, начавшихся в конце 1960–1970-х гг.) конкретные методологические разработки. Тот же цивилизационный подход долгое время был скорее аморфным сгустком идей, плодом широко распространенного желания исследовать и преподавать историю по-новому, чем конкретной стратегией реконструкции прошлого.

В-третьих, в силу разновекторных процессов развития отечественной науки в начале 1990-х гг. в ее рамках назревали новые противоречия. С одной стороны, с постепенным отказом от марксизма подвергался критике и европоцентризм (его научная несостоятельность подчеркивалась еще участниками дискуссий об АСП). Среди ученых росло понимание исторических процессов как более сложных и многообразных. Особенно это касается востоковедов, археологов, кочевниковедов, этнологов, историков России и др. Появились даже попытки рассматривать в качестве эталонного примера историю стран Востока (см., например: Алаев Л.Б., 1987, с. 65–69). С другой стороны, новые ценности российского общества (демократия, западный уровень и образ жизни), особенно после бурных событий 1991 г., как бы «обрамляют» тот факт, что и российская историческая наука предполагала свою модернизацию на основе преимущественно западного (североатлантического) опыта. Практически весь теоретический и терминологический ассортимент был взят у европейских и американских научных школ. Даже доказательства ошибочности европоцентризма нередко заимствовались у европейских же ученых. Вольно или невольно возникал «европоцентрический» эффект второго порядка. Его преодоление во многом было связано с самостоятельными инновационными разработками, переосмыслением зарубежного опыта, становлением новых школ и направлений.

Естественно, что изменения второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. затронули и советское кочевниковедение. Отечественными исследователями в последние годы существования Советского Союза были высказаны разнообразные идеи и концепции. Среди них популярность быстро завоевала теория «степной цивилизации» А.И. Мартынова (1989; 1989а). Опираясь на выдвинутые А.Дж. Тойнби, Г. Чайлдом, Дж. Стюартом, Г. Даниелем, И.М. Дьяконовым, В.М. Массоном признаки цивилизации, А.И. Мартынов предложил рассматривать в качестве особой макроструктуры с несколько иными, чем у земледельцев, характеристиками – цивилизацию «скифо-сибирского мира» (подробнее концепция кочевой цивилизации и ее критика изложены в главе 3).

В годы перестройки вернулся к идее номадного способа производства Г.Е. Марков. Это свидетельствовало о поиске ученым оптимальных формулировок и дефиниций, его попытку найти «золотую середину» между универсальными характеристиками («дофеодальная», «раннеклассовая» структура) и понятиями, подчеркивающими специфику общественной организации номадов. Однако при этом Г.Е. Марков по-прежнему рассматривал кочевников в формационной «системе координат». Совместно со своим соавтором Б.В. Андриановым он включил номадный способ производства в «варварскую» формацию, в рамках которой также присутствовали другие «предклассовые» способы производства – «африканский», «дофеодальный европейский» и «патриархально-пастушеский» (Андрианов Б.В., Марков Г.Е., 1990, с. 8–14). Таким образом, в оценках исследователем кочевых объединений все же превалировали общие характеристики доклассовых социумов, а специфические черты «номадного способа производства» не были раскрыты полностью (см.: Крадин Н.Н., 2007, с. 20).

Большое внимание уделялось формам взаимодействия кочевников и оседлых обществ. Значительную роль в рассмотрении этих вопросов сыграл научный советско-французский симпозиум «Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций», который прошел в Алма-Ате в 1987 г. В 1989 г. материалы данного форума были опубликованы в одноименном сборнике. Социально-политические аспекты взаимодействия кочевого и земледельческого населения нашли отражение в выступлениях и статьях Б.В. Андрианова (1989, с. 17–21), Г.Е. Арешана (1989, с. 22–23), В.М. Массона (1989, с. 88–89), Ю.А. Заднепровского (1989, с. 259, 261), Д.Г. Савинова (1989, с. 305–308), К.М. Байпакова (1989, с. 338–339, 342–344), Б.И. Маршака и В.И. Распоповой (1989, с. 425) и др. Данные проблемы были рассмотрены и французскими участниками симпозиума Ж.-К. Гарденом,

Ж.-П. Дигаром, К. Дебэн-Франкфор и др. В.М. Массон (1989, с. 88), в частности, отмечал, что I тыс. до н.э. «формационное положение номадов и древних цивилизаций как обществ раннеклассовых или обществ, идущих по этому пути, существенно сблизилось», взаимодействие кочевников с оседлыми культурами охватило обмен, миграции, военно-политическую сферу, причем взаимодействующие культуры «выступали «как составные элементы стимулированной трансформации». По мнению Ю.А. Заднепровского (1989, с. 261), в VIII–III вв. до н.э. «древние государственные образования – Бактрия, Согд и др. – влияли не только на культуру и искусство ранних кочевников, но и стимулировали ускорение общественного развития номадов. Еще более определенно о социальных последствиях влияния земледельцев на кочевников высказался Д.Г. Савинов и К.М. Байпаков. Они считали, что без влияния городских культур земледельцев у номадов не могли бы возникнуть многие элементы государственного устройства (Савинов Д.Г., 1989, с. 307–308; Байпаков К.М., 1989, с. 338).

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. к вопросам взаимоотношений кочевников и оседлого населения обращается Н.Н. Крадин. Им была высказана идея существования у номадов экзополитарного способа производства. Он полагал, что кочевое хозяйство не давало необходимого количества излишков, чтобы обеспечить запросы кочевой элиты в крупных кочевых образованиях (кочевых империях). Поэтому прибавочный продукт номады получали путем экзополитарной (от греч. *экзо* – вне и *полития* – общество) эксплуатации земледельцев с помощью грабежей, даней, подарков. Именно эти «внешние» источники ресурсов определяли консолидацию номадов в сложные военно-политические структуры (Крадин Н.Н., 1990а, с. 22–24). Следует указать, что, несмотря на оригинальный характер концепции ученого, трактовка экзополитарного способа производства как главного фактора социально-политической интеграции номадов как бы «ставит» только на второе место собственно основу номадизма – пасторальную кочевую экономику. Если доходы от экзополитарной эксплуатации получали преимущественно хан, его окружение, племенные вожди, то выпас скота и потребление продуктов скотоводства являлись базовой основой существования кочевых обществ в целом. К тому же преобладание внешнеэксплуататорской деятельности над внутренними формами изъятия прибавочного продукта было характерно не только для кочевников.

Несколько ранее Н.Н. Крадиным было рассмотрено понятие «кочевая империя». Под этим термином он понимал «сложную, занимающую относительно большое пространство общественную систему, состоящую из кочевого «ядра», имеющего форму военно-иерархической пирамидальной структуры при сравнительно неразвитой внутренней эксплуатации...» и «зависимой, эксплуатирующейся, как правило, посредством данничества территории, в которую могли входить как земледельческие, так и другие народы». Ученый полагал, что кочевые империи могли представлять собой вожжество или раннее государство (Крадин Н.Н., 1989, с. 21).

С социальной точки зрения «ядро» империи характеризуется Н.Н. Крадиным (1989, с. 21) как многоступенчатая, иерархическая социальная система, в которой «низшие звенья основаны на действительных экономических связях, кровном родстве, принципах трудовой кооперации», а на более высоком уровне – фиктивным генеалогическим родством, военными потестарно-политическими связями, триадной (редко – дуальной) формой социальной организации.

Опираясь на разработки С.А. Плетневой и А.М. Хазанова, Н.Н. Крадин выделяет три типа кочевых империй. Первый тип исследователь связывал с кочевыми объединениями, не включавшими территории с земледельческим населением. Получение прибавочного продукта, необходимого для существования «ядра», как пишет ученый, происходило посредством «дистанционной эксплуатации» оседлого населения. Ресурсы земледельцев выступали в качестве «дополнительного энергетического источника», без которого создание «крупных объединений в степи было бы более ограничено». Примером подобных империй Н.Н. Крадин (1989, 21–22) считал объединения хунну, сяньби, тюрков, уйгуров и др.

В рамках кочевых империй второго типа кочевая и оседлая подсистемы составляют единый политический организм, однако между их экономическими системами отсутствует тесная связь. Среди примеров исследователь называет Юаньскую империю и Золотую Орду. Третий тип кочевых империй, согласно Н.Н. Крадину, создавался после того, «как номады завоевали земледельческие общества и перемещались на их территорию». Соответственно кочевое «ядро» и земледельческо-городское население «входили в состав одного социального организма». Подобная система возникла после образования государства ильханов в Персии и Тоба Вэй в Китае (Крадин Н.Н., 1989, с. 22).

Учитывая историческую динамику, Н.Н. Крадин под «типами» кочевых империй понимал «моменты» (стоп-кадры) в вариативных линиях эволюции кочевых обществ исторического развития

кочевых обществ. Так, по его мнению, Монгольская империя при Чингисхане была сначала империей первого типа, затем, захватив Китай, трансформировалась в империю второго типа, а после изгнания монголов из Китая снова стала империей первого типа. Только империи третьего типа могли привести к усложнению социальной структуры кочевников и дальнейшему социальному развитию (Крадин Н.Н., 1989, с. 23).

В 1992 г., уже после распада СССР, вышла монография Н.Н. Крадина «Кочевые общества (проблемы формационной характеристики)», которая по существу подводила итоги изучению экономики, социальной организации и потестарно-политических структур у кочевников как в советской, так и в зарубежной историографии. Кратко изложим основные положения данной книги по проблемам социально-политической организации кочевников.

В «Кочевых обществах» Н.Н. Крадина нашли отражение все ключевые вопросы истории кочевников с точки зрения их формационной характеристики. Анализируя источники разных эпох и мнения ученых о собственности у кочевников, исследователь поддержал противников существования у кочевников собственности на землю, рабовладельческих и феодальных отношений. Основным средством производства он считал скот, указывая при этом, что нельзя схоластически отчленять одно условие жизнедеятельности скотоводческого общества (скот) от второго (земля). Но в собственности находился только скот. Второй особенностью производственных отношений у кочевников Н.Н. Крадин считал незначительную роль эксплуатации на основе частной собственности на скот. Следует учесть, что скотом обладали практически все слои кочевого общества, а его монополизация или хотя бы значительная аккумуляция были невозможны из-за экологических условий степи (ограниченность и истощаемость пастбищных ресурсов). Поэтому имущественная дифференциация у кочевников находила выражение прежде всего в разном числе животных в стаде. Даже если кочевник испытывал недостаток скота для обеспечения своей семьи, он шел в найм к владельцу большого стада, который также был заинтересован в дроблении своего стада, так как емкость пастбищ не позволяла выпасать все стадо одновременно. Возникающие отношения между лицом, который получает скот от владельца, можно рассматривать в широком спектре социального взаимодействия от кланово-семейной взаимопомощи до различных форм эксплуатации. В целом имущественная дифференциация в кочевых обществах была значительной, но слой рядовых, самостоятельно выпасающих скот кочевников, за редким исключением, составлял от 60 до 85%. Эксплуатация этого слоя кочевников ограничивалась «отчуждением у них части прибавочного продукта в форме налогов или каких-либо поборов». К тому же, как полагает ученый, имущественное неравенство чаще всего являлось не базисом социального расслоения, а каналом повышения социального статуса (Крадин Н.Н., 1992, с. 77–100, 111–119).

Также и рабовладельческая эксплуатация у кочевников, по оценкам Н.Н. Крадина, была существенно ограничена узкой сферой ее применения в кочевом хозяйстве, неоправданными затратами на контроль за рабами, которые во время выпаса легко могли сбежать. Поэтому кочевники преимущественно занимались работорговлей, а не использовали труд рабов в кочевой экономике. Кроме того, скотоводческий труд требовал специализированных знаний, которыми не обладали земледельцы. В связи с этим исследователь поддержал мнение С.Г. Кляшторного о том, что в качестве рабов чаще всего выступали женщины. Другой вариант предполагал включение «раба» в семью, различные формы его социализации (чаще всего вступление в брак) и тем самым несоответствие рабскому статусу. Сообщения источников об уводе кочевниками в степь оседлого населения не исключают таких форм эксплуатации, как сбор натуральной дани с жителей поселений ремесленников или земледельцев (Крадин Н.Н., 1992, с. 111).

Рассматривая вопрос об этапах в социальном развитии скотоводческих обществ, Н.Н. Крадин был против деления кочевников на «ранние» и «поздние» и поступательной смены у кочевников «первобытнообщинного строя ранними, а затем развитыми формами феодализма», подчеркивая общность социально-генетических процессов у кочевников в разные периоды. Он полагал, что главными чертами социальной организации кочевых обществ древности и средневековья были «сложный многоступенчатый иерархический характер», триадный (реже – дуальный) принцип организации элиты и «военно-иерархический характер общественной организации, как правило, по «десятичному» принципу (Крадин Н.Н., 1992, с. 44–48, 134–138). Стоит отметить, что в данном случае ученый ограничивался практически анализом только социальной системы кочевых империй, а сами выделенные им «черты социальной организации» тесно «переплетались» с военно-политическими характеристиками, оставив за бортом вопросы положения элиты, ее состава и т.д. Рассредоточив анализ со-

циальной структуры номадов по разным главам и параграфам, исследователь, на наш взгляд, так и не дал полноценной оценки общественной системы у кочевников и описание возможных ее вариантов в различных исторических условиях.

Важный аспект исследования был связан с формами адаптации номадов к внешнему миру. Н.Н. Крадин (1992, с. 52–59) убедительно показывает ограниченные возможности роста кочевой экономики и их более или менее постоянную потребность номадов в продуктах оседлых народов. Это, как полагает исследователь, вынуждало кочевников искать разные пути (способы адаптации) получения земледельческих ресурсов. Среди таких способов адаптации Н.Н. Крадин выделяет: 1) посредническую торговлю; 2) набеги; 3) контрибуции; 4) данническую эксплуатацию; 5) завоевание оседлых обществ. При этом он подчеркивает, что реализация данных способов адаптации была возможна преимущественно крупными потестарно-политическими образованиями номадов, такими, например, как Тюркский и Хазарский каганаты. Только они могли полноценно обеспечить бесперебойное функционирование трансконтинентальной торговли и существование устойчивых маршрутов (Крадин Н.Н., 1992, с. 60–61).

Как еще один вид «труда» характеризует Н.Н. Крадин (1992, с. 61) набеги и войны, отмечая также престижность набегов. Однако исследователь полагал, что война выступала не только как «экономическое предприятие», но и как единственный метод преодоления кризисной ситуации. Он прослеживает корреляцию между климатическими стрессами в степи и набегам на земледельческие территории. К примеру в 522 г. жужане просили Китай дать хлеб. Неизвестно, получили они хлеб или нет, но уже в следующем году начались набеги (Крадин Н.Н., 1992, с. 62). Для эффективности набегов большое значение, как подчеркивал ученый, имел тот факт, что при кочевом скотоводстве непосредственно в выпасе участвует 4–5% населения (с учетом того, что в выпасе могла быть задействована часть детей и женщин). Поэтому в войске у номадов могло служить от 80 до 100% взрослых мужчин (Крадин Н.Н., 1992, с. 63). Также Н.Н. Крадин обращает внимание на то, что в условиях, когда «земледельцы не очень-то стремились к торговле с номадами, война часто была единственным средством для кочевников преодолеть внутренние экономические проблемы». Как и в случае с торговлей, «для успешной внешней деятельности была необходима консолидация дисперсного населения и цементирование его в прочную военно-политическую структуру. Так рождались крупные степные державы – «кочевые империи» (Крадин Н.Н., 1992, с. 64, 67, 123).

Выше уже отмечалось, что Н.Н. Крадин отводил формам внешнеэкономической эксплуатации чуть ли не решающее значение в интеграции номадов. Особенно большое значение, по его мнению, имели даннические отношения, которые, судя по источникам, были «широко распространены как у кочевников древности, так и у номадов средневековья и нового времени. Наиболее распространенной формой эксплуатации кочевниками земледельцев ученый считал так называемую дистанционную эксплуатацию, когда оседлые цивилизации не входили в состав кочевых империй и номады получали земледельческие ресурсы путем грабежей, периодических набегов, войны, вымогание «подарков», навязывание неэквивалентной торговли и пр. В случае если номады устанавливали контроль над территориями с земледельцами, то «основой эксплуатации было данничество, в классическом понимании этого термина». И только при захвате кочевниками власти в крупных земледельческих центрах осуществлялось регулярное налогообложение завоеванного населения. В описании Н.Н. Крадина при взаимодействии кочевых империй с оседлым миром номады представляли собой своеобразную «надстройку» над земледельческим «базисом» и выступали одновременно и как этническая общность, и как государство, и как класс-эксплуататор. Кочевая аристократия при этом выполняла функции органов управления или их высших звеньев, а простые номады – функции аппарата принуждения и эксплуатации (армия). Следовательно, заключает ученый, характер такой деятельности и сочетание нескольких способов эксплуатации (грабеж, дань, налогообложение) можно охарактеризовать общим термином «экзополитарный» (Крадин Н.Н., 1992, с. 126–130).

Каждая из этих форм внешней эксплуатации, согласно концепции исследователя, соответствовала определенному типу кочевых империй, характеристика которых была существенно расширена в рассматриваемой монографии. Прежде всего он подчеркнул «модельный» характер своей типологии (каждый тип не более чем «идеальная модель»), так как на протяжении своего существования та или иная кочевая империя, «в зависимости от конкретных обстоятельств», по своим характеристикам могла быть «близка к параметрам различных «моделей-типов» (Крадин Н.Н., 1992, с. 129, 169).

Первый тип кочевых империй ученый рассматривал как «периферийный элемент региональной суперсистемы», где земледельческая цивилизация выступала как центр и важный источник по-

лучения номадами прибавочного продукта. С этой целью кочевники и консолидировались, с тем, чтобы выгоду от экспансии получили большинство номадов. Н.Н. Крадин обращает внимание на определенную взаимосвязь: «чем сильнее был объект экспансии, тем более консолидированно должно быть общество номадов». Не случайно, пишет он, «практически все степные империи были расположены по соседству с наиболее крупными из земледельческих цивилизаций, такими как Китай» (Крадин Н.Н., 1992, с. 170). Продолжительность существования подобных кочевых империй определялась регулярностью успешных набегов, что требовало сохранения военно-политической машины и «тормозило развитие внутренних противоречий». Кочевые империи первого типа, базировавшиеся на дистанционной эксплуатации, по мнению автора, получили наиболее широкое распространение в евразийских степях. Среди них он называет Скифию V–IV вв. до н.э., державу Сюнну, объединение сяньби, Жужанский, Аварский Тюркский и Уйгурский каганаты, Приазовскую Болгарию и др. Учитывая это, исследователь предложил обозначить их как «типичные кочевые империи» (Крадин Н.Н., 1992, с. 170–171).

В империях второго типа кочевники и земледельцы оставались в своих экологических нишах, а их интеграция ограничивалась только политической сферой (земледельцы и горожане считались частью кочевого объединения либо существовала их вассальная зависимость от кочевников). Процесс взаимодействия кочевников и земледельцев в таких образованиях, как пишет Н.Н. Крадин, был односторонним и ограничивался регулярным взиманием дани. Номады не вмешивались в непосредственный процесс управления из-за сложности бюрократического аппарата оседло-земледельческих государств, поэтому контроль кочевников не затрагивал основ экономики и социальных отношений земледельцев, а также мало влиял на самих кочевников (они оставались на «протоклассовом» уровне, так как «простые кочевники продолжали оказывать своей верхушке военную и общественную поддержку в борьбе против земледельческого мира»). Такие кочевые империи исследователь предложил назвать «данническими» (Крадин Н.Н., 1992, с. 171–172). Он предполагал три возможных варианта их эволюции: 1) отделение земледельцев, прекращение поступления в степь прибавочного продукта и распад империи; 2) возобладание среди кочевников седентеризации, включение большей части бывших скотоводов в состав земледельческо-городского населения при сохранении кочевого уклада; 3) завоевание номадами земледельцев, переселение на их земли, седентеризация и превращение кочевой элиты в правящий класс, захвативший основные государственные должности (Крадин Н.Н., 1992, с. 172–173, 175). Последний вариант эволюции, по мнению ученого, приводил к возникновению кочевых империй третьего типа, которые он из-за постепенной трансформации в традиционные сословные государства назвал «переходными кочевыми империями». Образцами кочевых империй третьего типа ученый считал Северную Вэй, уйгурские ханства в Восточном Туркестане, империи Сельджуков и Караханидов, Дунайскую и Волжскую Болгарию (Крадин Н.Н., 1992, с. 176).

Также Н.Н. Крадин поставил еще один принципиальный вопрос: являлись ли кочевые империи вождествами или государствами? В связи с этим исследователь дает краткую характеристику простых и составных вождеств и основных подходов к пониманию государства. Отметив соответствие кочевых объединений пяти из семи признаков вождеств (совпадали: наследственная дифференциация и наличие страты аристократии, централизованное управление, ограничение функций верховного вождя, отсутствие легитимизированной или насильственной власти, а также эффективных путей для предотвращения раскола, наличие иерархии «управленцев»; не совпадали: теократический характер и относительно мирное существование вождеств), он считал, что «концепция вождества вполне применима к номадизму, но указывал на более нестабильный, «текучий» и рассредоточенный характер кочевых вождеств в сравнении с земледельческими. Поскольку иерархическая система крупных кочевых объединений не ограничивалась двумя уровнями, Н.Н. Крадин предлагает рассматривать их как «суперсложные вождества» или военно-иерархические структуры. В состав подобной политики, по мнению ученого, «входило несколько сложносоставных вождеств, и по степени развитости они приближались к раннему государству» (Крадин Н.Н., 1992, с. 147–152). Однако далее этих оценок в своей работе 1992 г. Н.Н. Крадин не пошел. Детальная разработка им концепции кочевых вождеств приходится уже на постсоветский период 1990-х – начала 2000-х гг.

Подробно рассмотрел исследователь возможности оценки кочевых империй как государств. Н.Н. Крадин констатировал, что классические марксистские признаки государственности (разделение подданных по территориальному признаку; учреждение общественной власти, отделенной от населения; существование налогов) чаще всего отсутствовали у номадов (исключение составляли

кочевые общества, переселившиеся на земли земледельцев и заимствовавшие у последних фискальную систему, аппарат чиновников, административное деление). Поэтому в отношении кочевников ученый считал возможным говорить лишь о «зачаточной ранней государственности» или об «элементах государственности» (Крадин Н.Н., 1992, с. 152–160).

В целом Н.Н. Крадин полагал, что необходимости в существовании государственной организации у кочевников не было. Обозначим ряд его аргументов: 1) кочевая экономика предполагала расчлененный характер передвижений и поэтому внутренние функции регуляции не требовали создания специального управленческого аппарата; 2) у кочевников возникающие конфликты решались в рамках традиционных клановых и надклановых институтов, тем самым нужды в специальной судебной системе не было; 3) правитель в «большинстве кочевых структур ... был вынужден балансировать между аристократией и простыми кочевниками». Единственным реальным средством объединения разрозненных кочевых групп, а также усиления власти кочевого лидера были военные походы, грабежи и захваты добычи (Крадин Н.Н., 1992, с. 162–165). Собственно говоря, вся оценка Н.Н. Крадиным потестарно-политической организации в кочевых империях строилась из характера отношений между кочевниками и земледельцами. Соответственно этому типичные и даннические кочевые империи исследователь относил к догосударственным, а переходные – к государственным образованиям (Крадин Н.Н., 1992, с. 170, 176–177).

В завершении Н.Н. Крадин генерализировал ряд наиболее важных оценок кочевых сообществ. Весь ход рассуждений и выводы обозначили его как принципиального сторонника преимущественно предклассового характера социумов кочевников. Но если рассматривать кочевников в рамках более широких региональных систем, где они вели интенсивный обмен «энергией» с земледельческим миром, то социальная структура и потестарно-политическая организация кочевых объединений могли усложняться исходя из разных форм экзополитарной эксплуатации. В связи с этим в рамках формационной парадигмы Н.Н. Крадин выступал «за существование у кочевых народов, отличной от ранее выделенных, общественно-экономической формации, основанной на внешнеэксплуататорской деятельности». Данную формацию он относил к традиционной мегаформационной стадии, и «в силу своих системообразующих свойств она являлась тупиковой в общественной эволюции» (Крадин Н.Н., 1992, с. 180–184, 191).

Итак, подводя итоги по разделу, отметим ряд наиболее важных моментов.

Конец 1960-х – начало 1990-х гг. стали временем зарождения альтернативных сталинской формационной модели концепций социально-политического развития кочевников. Значительный рост числа конкретно-исторических и обобщающих исследований социальных отношений и политических институтов у кочевников, наряду с менявшимся в СССР отношением к науке (увеличение финансирования, рост числа союзных и международных конференций, знакомство с теоретическими и практическими разработками зарубежных исследователей, ослабление идеологического контроля за учеными и ряд других факторов), в какой-то мере предопределил существенный сдвиг в изучении кочевых социумов в сторону расширения спектра теоретических основ научных исследований и снижения влияния сталинской формационной доктрины.

Под влиянием трудов целого ряда исследователей (Семенюк Г.И., 1958, с. 56–62, 64; 1969, с. 169; 1974, с. 17–19; Марков Г.Е., 1976, с. 31–48; Артамонов М.И., 1972, с. 63; 1974, с. 143, Шелов Д.Б., 1972, с. 74–75; Хазанов А.М., 1972, с. 161–164; 1975, с. 133–148; 1976, с. 252–256; Грантовский Э.А., 1980, с. 130–131) общепризнанной стала точка зрения о том, что кочевникам не были присущи развитые рабовладельческие отношения. Г.Е. Марковым, С.Е. Толыбековым, Н.Э. Масановым, А.М. Хазановым, Н.Н. Крадиным открыто был поставлен вопрос о несоответствии реалий истории кочевых обществ признакам феодальных социумов.

Творческий подход к марксистской теории (разработка характеристик предклассовых, раннеклассовых, дофеодальных обществ, фиксация у кочевников особых способов производства – кочевнического, экзополитарного) и привлечение методологических стратегий, применявшихся преимущественно зарубежными исследователями (концепции вожества и раннего государства, мир-системный анализ и цивилизационный, структуралистский, социально-антропологический подходы), существенно повлияли на трансформацию кочевниковедческих исследований в СССР (реальностью стал научный плюрализм) и подготовили сравнительно быстрое освоение частью отечественных специалистов инновационных моделей изучения социальных и властных структур у кочевников.

Сторонниками традиционных марксистских взглядов не исключалась возможность эволюции кочевых объединений от раннеклассовых к рабовладельческим или феодальным. Это находило бук-

вальное отражение в интерпретациях исторических и археологических материалов. Так, в работах Г.А. Федорова-Давыдова (1966, с. 198–199, 217–228; 1973, с. 47–48, 51, 109–117, 134–141, 168–171; 1976, с. 42–45, 48) социальная дифференциация половецких захоронений, выявляемая по составу сопроводительного инвентаря (или его отсутствию), трактовалась буквально как классовая, «феодалная».

В кочевниковедческой археологии мы наблюдаем не только аналогичные изменения в теоретических подходах, но и более детальное исследование социальной структуры кочевников, а также апробацию различных палеосоциологических методик, опиравшихся на доскональное изучение артефактов, конкретных материалов, культур и целых эпох. В какой-то мере это определялось не только масштабными раскопками 1970–1980-х гг., но наработанным в 1930–1960-х гг. опытом изучения памятников номадов и реконструкции общественных отношений в кочевых обществах по данным археологии. По существу период конца 1960-х – начала 1990-х гг. можно связывать со становлением нового направления – «социальной археологии» и считать наиболее ярким в изучении археологических памятников и общественных систем кочевников в советской науке.

В то же время многие археологи, анализирувавшие погребальные материалы в контексте формационной теории, совершенно не учитывали тот момент, что при формальной дифференциации погребений по «социально» значимым признакам, материалы курганов ранних кочевников с большой вероятностью можно было интерпретировать как захоронения представителей разных классов, так как разница в размерах надмогильных сооружений, погребальных камер, количестве и составе сопроводительного инвентаря ранних кочевников была куда значительней аналогичной разницы «социальных» показателей средневековых курганов.

Утвердившаяся в работах значительной части номадологов идея существования у кочевников раннеклассового («раннегосударственного») общества (Хазанов А.М., 1968, с. 93–97; 1975, с. 127–130, 161–164, 244–245, 259, 264–265, 267; 1975а; 1976, с. 267–272; Давыдова А.В., 1975, с. 145; 1985, с. 88; Массон В.М., 1976, с. 175–176; Тереножкин А.И., 1977, с. 4, 6–7, 21–22; Ельницкий Л.А., 1977, с. 210; Акишев К.А., 1978, с. 60; 1986, с. 25–26; Савинов Д.Г., 1984, с. 8; Бунятян Е.П., 1985, с. 127–129; Археология Украинской ССР, 1986, с. 55, прим. 1, 57–60; Мартынов А.И., 1986, с. 28–33; Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 37, 113–126; и др.) была призвана разрешить теоретические противоречия, возникшие в предыдущие десятилетия, связанные с тем, что кочевые социумы плохо вписывались в формационные модели. Привлекательность теории раннеклассового общества состояла в том, что для того времени она наилучшим способом выражала представления значительной части исследователей об особенностях социогенеза у номадов и вписывалась в популярные в 1970–1980-х гг. концепции переходных (от доклассовых к классовым) обществ.

В то же время «раннеклассовая» характеристика обладала рядом важных недостатков. Во-первых, определение социальных систем номадов как раннеклассовых совершенно оставляло без внимания проблему особенностей социального развития кочевников на фоне других раннеклассовых обществ, прежде всего земледельческих. Показательно, что, несмотря на обращение к этой проблеме некоторых исследователей (Г.Е. Марков, А.М. Хазанов, А.И. Першиц), никто из них не выдвинул детально проработанную концепцию кочевого общества как особого типа раннеклассовых социумов или, например, теорию «кочевого раннеклассового общества». Кочевниковеды в основном оставались «в плену» универсальных критериев раннеклассовых структур, разработанных преимущественно на материалах истории земледельческих обществ.

Во-вторых, и это не менее важно, раннеклассовая концепция нивелировала между собой все кочевые общества. Все они вне зависимости от масштабности и численности населения, локальности или имперского характера объединений, наличия или отсутствия под контролем номадов земледельцев и прочего оценивались как раннеклассовые. Не предпринимались попытки выявить какие-либо модели, в рамках которых социальные параметры разных кочевых обществ могли различаться. Даже в предложении Г.Е. Маркова выделять такие агрегатные состояния, как «общинно-кочевое» и «военно-кочевое», не ставился вопрос о том, было ли кочевое общество в каком-то из этих «агрегатных состояниях» социально сложнее, а в каком-то – менее дифференцированным. Нечего говорить и о том, что «империи» в концепции Г.Е. Маркова никак не типологизировались.

Отчасти как попытку решения данных проблем можно рассматривать типологию кочевых обществ С.А. Плетневой. Но она, во-первых, оставалась в русле формационного подхода и выделенные исследовательницей стадии практически рассматривались как этапы генезиса феодализма у номадов. Во-вторых, как показывает анализ работ С.А. Плетневой, ей не удалось избежать существен-

ных противоречий в своей концепции. Прежде всего она не смогла адекватно дифференцировать кочевые общества по уровню их сложности (весьма нагляден в этом отношении пример причисления к одной модели половцев и Великого Тюркского каганата).

Более удачным мы признаем опыт Н.Н. Крадина, который, хотя и проводил свои исследования на основе творческой трактовки формационного подхода (интегрируя в него и ряд новых концепций), смог разработать оригинальную типологию кочевых империй, выдвинул теорию экзополитарного способа производства в рамках традиционной мегаформации, дал многоплановую характеристику взаимоотношений кочевников с земледельческими цивилизациями.

Параллельно с концепцией раннеклассового общества среди исследователей укоренилось мнение о схожести социальной организации номадов древности и средневековья (Марков Г.Е. 1967, с. 29–30; 1970, с. 86–89; 1976, с. 287–303, 305–310; 1979, с. 27–29; 1981, с. 88–90; 1982, с. 83; Толыбеков С.Е., 1971, с. 157–158, 500–506, 509 и сл.; Шелов В.П., 1972, с. 67; Пьянков И.В., 1975, с. 89–91; Хазанов А.М., 1975а, с. 200; Грач А. Д., 1980, с. 92; 1984, с. 115–117; Крадин Н.Н., 1987, 1990, 1992, с. 44–48, 134–138) и форм их эволюции (Гумилев Л.Н., 1961, с. 17–18, 20, 22–24; Марков Г.Е., 1967, с. 28–30; 1976, с. 287–313; Плетнева С.А., 1981, с. 50–60; 1982, с. 13–33, 36–72, 77–123; Масанов Н.Э., 1984, с. 95–105; 1986, с. 20–26; Марков Г.Е., Масанов Н.Э., 1985, с. 87, 95; и др.). Особенно часто подчеркивалась взаимосвязь и аналогии социальных систем хунну и средневековых кочевых государств Центральной Азии (Савинов Д.Г., 1979, с. 41–44; 1984; Худяков Ю.С., 1986; Мартынов А.И., 1986, с. 28–32).

Наряду с этим опыт реконструкции социальной стратификации скифов, саков, «саглынец», «пазырыкцев», хунну на основе классификации погребений «демонстрировал» определенные различия. Типология скифских захоронений Северного Причерноморья включала до 7–8 групп (по Б.Н. Мозолевскому и В.Ф. Генингу). В то время как А.Д. Грач, К.А. Акишев, А.С. Суразаков, А.И. Мартынов, А.В. Давыдова выделяли у кочевников Азии только 3–5 групп. Необходимо, правда, учесть разную степень изученности археологических памятников той или иной культуры. Однако это не исключало наличия некоторых отличий в социальном ранжировании кочевнических объединений скифского и гунно-сарматского времени.

В 1970-х – начале 1990-х гг. были апробированы различные палеосоциологические методики изучения общественных систем номадов. Довольно эффективным было использование методов типологии погребений по социально-диагностирующим признакам / метод ранжирования погребений (Грач А.Д., 1975, 1980; Мозолевский Б.Н., 1979; Курочкин Г.Н., 1980; Бунятян Е.П., 1982, 1985; Суразаков А.С., 1983; Генинг В.Ф., 1984; и др.), социальной планиграфии могильников (Мандельштам А.М., 1971, 1983; Вишневецкая О.А., 1983; Кубарев В.Д., 1987, 1991, 1992; Миняев С.С., 1989; и др.), трудозатрат (Грязнов М.П., 1980; Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986; Генинг В.Ф. и др., 1990). Оригинальный анализ этносоциальной структуры «аржанского объединения» провел М.П. Грязнов. В целом ряде исследований было показано, что социально маркирующими были не только высота курганных насыпей и состав сопроводительного инвентаря, но и глубина, длина, ширина могил, сложность внутримогильных сооружений, количество «тризновых комплексов», наличие «социально престижных» предметов (наборные пояса, импорт, оружие), позы погребенных, расположение костяков относительно друг друга, количество сопроводительных захоронений коней, ферапонтов, зависимых людей низкого социального статуса.

Интересные результаты дало изучение рядовых погребений ранних кочевников (Бунятян Е.П., 1982, 1985; Кубарев В.Д., 1987, 1991, 1992). В частности, наглядно на материалах скифской и пазырыкской культур было показано, что в основе стратификации номадных коллективов лежало половозрастное деление общества. Это не исключало фиксацию и других факторов социальной дифференциации (осуществление властных и сакральных функций, родство с носителями власти, вхождение в состав дружины или в круг ближайшего окружения «царей» – ферапонтов). Характерно применение статистико-комбинаторных методов. Коллективом авторов во главе с В.Ф. Генингом создана специальная программа исследования общественной структуры номадов, строящаяся на синтезе методов палеосоциологического анализа (Генинг В.Ф. и др., 1990).

Наиболее распространенным являлось мнение, что экстенсивное кочевое скотоводство обусловило отсутствие динамики в общественном развитии номадов, специфику социальной организации, ее военно-демократический (предклассовый, «демосоциальный») или раннеклассовый характер (Хазанов А.М., 1975а, с. 265–274; 1975б, с. 24; Шилов В.П., 1975, с. 167–168; Артамонов М.И., 1977, с. 13; Тереножкин А.И., 1977, с. 4, 6–7, 14–16, 67; Бунятян Е.П., 1984, с. 118–123; 1985, с. 127–130;

Савинов Д.Г., 1984, с. 8; Археология Украинской ССР, 1986, с. 57; и др.). По их мнению, параллельно с возникновением номадизма появились пастбищно-кочевая система, оформилась имущественная и социальная дифференциация, сложилась универсальная социально-политическая организация (Акишев К.А., 1973, с. 31, 43, 45; Марков Г.Е., 1973, с. 105, 112–113; 1976, с. 31–48; Артамонов М.И., 1977, с. 9–10; Грязнов М.П., 1979, с. 5).

Стоит обратить внимание на распространение в 1960–1980-х гг., если так их можно назвать, «двоичных» схем (двух основных форм социополитической организации), которые в большей или меньшей степени игнорировали «пятичленку». Среди них особенно следует выделить концепции «племен» и «орды» у номадов (Л.Н. Гумилев), «общинно-кочевого» и «военно-кочевого» агрегатных состояний (Г.Е. Марков), «дисперсности» и «относительной концентрации» (Н.Э. Масанова).

И, наконец, нельзя не отметить разные подходы к максимально сложным формам социальной организации у кочевников и возможностям возникновения у номадов государственных систем. Ортодоксальные марксисты по-прежнему полагали, что у средневековых кочевников возникали классовые отношения (Г.А. Федоров-Давыдов, С.А. Плетнева, И.Я. Златкин, С.М. Абрамзон и др.) и соответственно этому оформлялось феодальное государство. Альтернативная точка зрения Г.Е. Маркова, Н.Э. Масанова, С.Е. Толыбекова и других предполагала, что номады могли достигнуть в своем социальном развитии только предклассового уровня, что блокировало возможность возникновения устойчивых государственных структур. Промежуточное положение занимали два других подхода. В рамках первого из них, широко распространенного среди кочевниковедов, в раннеклассовых обществах кочевников процессы политической интеграции опережали складывание сословно-классовой системы. В связи с этим считалось, что уже у скотоводов скифского времени оформляются государственные организации (Б.Н. Граков, Д.Б. Шелов, А.И. Мартынов и др.). Более критично к возможности возникновения государства отнеслись А.М. Хазанов и Н.Н. Крадин. Они полагали, что предклассовые и раннеклассовые социумы номадов могли трансформироваться в более сложные общества с переходом к государству только в ходе взаимодействия с оседло-земледельческими народами или в результате завоевания последних кочевниками.

Среди археологов М.П. Грязнов и М.И. Артамонов оставались наиболее последовательными сторонниками ограниченности социального развития ранних кочевников военно-демократическим уровнем (Грязнов М.П., 1975, с. 6–10; 1979, с. 5; Артамонов М.И., 1977, с. 13). Против государственности у ранних кочевников высказались также Н.А. Боковенко и Е.П. Бунятян. Они полагали, что хозяйственно-культурный тип кочевников и полукочевников обуславливал консервативность экономической и социальной системы номадов и даже ее стагнацию (Боковенко Н.А., 1981, с. 53; Бунятян Е.П., 1984, с. 110, 118–123). Другие ученые предполагали определенную эволюцию общественного устройства ранних кочевников. С.С. Черников (1975, с. 283–286; 1978, с. 79) выделял период «военной демократии» (VII–IV вв. до н.э.) и «время примитивной государственности в степях» с III в. до н.э. Близкую позицию занимал В.М. Массон (1979, с. 3). Процесс развития «протогосударственных образований» в раннегосударственные, как допускал А.И. Мартынов, был характерен для обществ скифо-сибирского единства (Мартынов А.И., 1986, с. 28–33; Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 37, 113–126).

Общим итогом изучения социально-политической организации кочевников отечественными историками и археологами в советский период были апробация, а затем постепенный отход от сталинской версии формационной теории, разработка новых подходов, признание схожести социальных систем номадов древности и средневековья, разработка специальных методов исследования и реконструкции общественной организации по археологическим данным, создание социально-типологических классификаций погребений номадов, внесение изменений в теоретические основы и социальную терминологию кочевниковедения.

Глава 3

Основные тенденции изучения социальных и властных структур номадов в постсоветский период

3.1. Теоретико-методологический контекст кочевниковедческих исследований

Общественно-политические процессы в последние годы существования СССР привели к утрате марксистским учением статуса «единственной верной» системы общественных и научных взглядов, а формационная теория перестала быть базовой основой исторических исследований. Претерпевшая многочисленные ревизии формационно-стадиальная концепция остается и сегодня важнейшим источником инновационных разработок и интерпретаций исторических процессов, сосуществуя при этом с другими историко-методологическими подходами. Тем самым идеологический барьер, который долгое время разделял отечественную и зарубежные историко-научные школы, в конечном итоге был преодолен. По существу 1990-е гг. стали временем окончательной (с учетом изменений 1960–1980-х гг.) интеграции отечественной исторической науки в мировую науку (спектр взаимодействия включает «круглые столы», конференции и симпозиумы, стажировки, гранты, совместные исследования и публикации и т.д.).

Для российского кочевниковедения, как и для других сфер отечественной исторической науки, это означало развитие в русле тех идейных и методологических тенденций, которые господствовали в мировом научном сообществе в последней трети XX в. Между тем ситуация в мировой исторической науке, переживающей в последние десятилетия кризис собственной идентификации, была неоднозначной. С одной стороны, постмодернистская историография и исследования в духе постпроцессуальной археологии в своих наиболее радикальных формах исключали какое-либо следование социальным теориям и концепциям. С другой стороны, параллельно с этим в 1970–1990-х гг. наблюдается рост интереса ученых к различным аспектам общественно-политической эволюции, развитие новых историко-методологических направлений на основе междисциплинарного синтеза, появление целого ряда оригинальных концепций, по-разному «конструирующих» образы прошлого, факторы и пути социальной и постстарно-политической трансформации.

Следует подчеркнуть одну общую тенденцию, которая отчетливо проявилась в два последних десятилетия XX в. в развитии целого ряда методологических направлений – это переход от однолинейных схем к концепциям многолинейной (в других случаях нелинейной) эволюции. В этом отношении показательны изменения в рамках неозволюционистской теории. Ее создатели (Е. Сервис, М. Салинз, Р. Карнейро, П. Скальник, Х. Дж. Классен и др.) на начальных этапах разработки концепции чаще всего исходили из наличия генеральной линии эволюции, в которой выделяли несколько универсальных звеньев: локальная группа – племя (община) – вождество – государство (Классен Х.Дж.М., 2000, с. 13; 2006а, с. 38; Карнейро Р., 2000, с. 88; Крадин Н.Н., 1995а, с. 12; Березкин Ю.Е., 1995, с. 167–172; Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Лынша В.А., 2000, с. 30–32; Коротаев А.В., 2003, с. 57; и др.). Эта схема продолжала в 1980–1990-е гг. детализироваться и дорабатываться в работах Х.Дж.М. Классена и П. Скальника (1978), Р. Карнейро (1981), Х.Дж.М. Классена и П. Ван де Вельде (1987, 1991), Т. Ерла (1987, 1991, 1997), К. Кристиансена (1991), Б. Арнольда и Д. Гибсона (1995) и др., при этом в результате более глубокого анализа разных конкретно-исторических социумов вводились новые уровни сложности, выявлялись разнотипные иерархические и неиерархические (гетерархические) общества, разрабатывались теоретические модели аналогов и альтернатив вождествам и государствам (Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В., 2006; Бондаренко Д.М., 2006; Гринин Л.Е., 2006; и др.). В конечном счете дальнейшее развитие неозволюционизма привело к фактическому признанию учеными многовариантного характера изменений в различных обществах и нелинейных форм эволюции. Исследования показали, что неиерархические общества могут не уступать в сложности жестко стратифицированным объединениям, а некоторые крупные социумы могли эффективно управляться и без государственных институтов. Конкретные примеры наглядно демонстрируют многообразие путей общественной эволюции, подразумевающей не только возвышение, экспансию и усложнение, но и кризис, стагнацию или стабильные формы воспроизводства уже сложившихся социально-политических структур, а также отсутствие единых путей перехода к разным уровням сложности и в целом нелинейное многообразие трансформаций и мутаций обществ (Классен Х.Дж.М., 2000, с. 13–20; 2006а, с. 39, 42–44; Бондаренко Д.М., 1998,

с. 195–202; Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В., 2006, с. 15–35; Коротаев А.В., 2003, с. 71–90; и др.).

Современные представления о социальной эволюции, как это показал в своем блестящем обзоре Х.Дж.М. Классен, значительно более гибки. Очевидно, что социальная эволюция не имеет заданного направления. Многие из эволюционных каналов не ведут к росту сложности, барьеры на пути возрастания сложности просто огромны, наконец, стагнация, упадок и даже гибель являются столь же обычными явлениями для эволюционного процесса, что и поступательный рост сложности и развитие структурной дифференциации. Можно согласиться с его определением социальной эволюции как качественной реорганизации общества из одного структурного состояния в другое (Claessen H.J.M., 1989; 2000; Классен Х.Дж.М., 2000). Однако в контексте многолинейности на передний план выступает не столько новое качество, сколько множественность. В итоге многолинейность может быть определена как многообразие социальных форм и путей их эволюции. В генерированной схеме разновекторного развития обществ «многолинейность (или, на другом уровне анализа, нелинейность) есть свойство любой эволюции, в том числе и социальной» (Гринин Л.Е., Марков А.В., Коротаев А.В., 2008, с. 12). Таким образом, многолинейные теории в разных современных трактовках эволюционизма к концу XX в. заняли доминирующее место.

С неозволюционистскими разработками тесно переплетались различные теории уровня общественной сложности. Одним из первых в западной антропологии к ним обратился американский антрополог Дж. Стюарт, предложивший концепцию социальной и культурной интеграции. Далее идеи социальной сложности развивали К. Ренфрю, П. Бан, Г. Саймон, Р. Адамс и др. В их трактовках общество рассматривалось как состоящее «из различного количества подсистем и функциональных единиц (структур)». Чем больше в социальной организации того или иного общества было подсистем и структур и чем более дифференцированными и разнообразными они являлись, тем сложнее было данное общество. Например, в государственных системах «существуют специализированные группы производителей, администрация, армия, служители культа и масса других общественных коллективов», которые различаются по своим функциям и целям. Иерархия может охватывать не только социальные ранги, но и поселенческо-административную структуру: домохозяйство, деревню, город, округ, провинцию, центр. Социальная сложность могла развиваться в двух направлениях: 1) по горизонтальной оси путем увеличения числа подсистем с близкими функциями; 2) по вертикали – за счет роста количества иерархических уровней. «Такие оси сложности могут быть описаны другим путем как степени интеграции и централизации» (Корякова Л.Н., 2007, с. 79).

Интеграция прежде всего понимается как «степень взаимозависимости между функциональными единицами» (например, экономическая интеграция отражает степень связи между отдельными хозяйствами, а политическая – степень консолидации различных социальных групп и их интересов). Интеграция в экономической и политической сферах может происходить асинхронно и ее степень в политике и экономике довольно часто не совпадает. «Централизация определяется как степень связи между подсистемами и высшим управленческим контролем в обществе». На основании показателей интеграции и централизации, а также целого ряда других критериев исследователи определяют уровень сложности разных обществ (Корякова Л.Н., 2007, с. 79–80).

Важным моментом в знакомстве отечественных исследователей с идеями неозволюционизма и их широкой апробацией в российской историографии сыграли международные конференции (например, периодическая «Иерархия и власть», 2000, 2002, 2004, 2006, 2009) и выпуск научных сборников и коллективных монографий, охватывавших как теоретические вопросы социальной эволюции, так и конкретно-исторические реконструкции политарных процессов в разных обществах и регионах. Среди них «Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития» (1991), «Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции» (1993), «Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности» (1995), «Альтернативные пути к ранней государственности» (1995), «Символы и атрибуты власти: генезис, семантика, функции» (1996), «Альтернативные пути к цивилизации» (2000), «Раннее государство, его альтернативы и аналоги» (2006) и др.

Следует также отметить вклад отечественных авторов в содержательное наполнение целого ряда понятий, таких как «племя», «вождество», «раннее государство» и т.д. В этом отношении большое значение имели работы А.В. Коротаева (1995, 1995а, 1998, 2000, 2003), П.Л. Белкова (1991, 1993, 1995), Е.Ю. Березкина (1995, 1995а, 1997, 2000), Д.М. Бондаренко (1993, 1995), Н.Н. Крадина (1995, 1995а, 1998, 2001в, 2005а), Л.Н. Коряковой (1996, 2006, 2007) и др. Так, в 1995 г. в обстоятель-

ном аналитическом обзоре Н.Н. Крадин (1995) рассмотрел разные трактовки термина «вождество» и типологию вождеств, а также осветил основной круг проблем, связанных с применением данной дефиниции к конкретно-историческим материалам. Не менее развернутую характеристику в российской научной литературе получило понятие «раннее государство», показаны основные формы (по степени сложности) раннегосударственных образований (условное/зачаточное, типичное, переходное и пр.), особенности организации власти и методов управления (Крадин Н.Н., 2001в, с. 128–150, 2005а; Корякова Л.Н., 2007, с. 88–90).

В русле синтеза истории с этнологией, антропологией, психологией и другими дисциплинами в 1980–1990-х гг. происходило дальнейшее развитие так называемой новой социальной истории, включавшей широкий спектр направлений (от истории ментальностей и историко-антропологических изысканий до микроистории и истории повседневности). Особое место в выдвижении «антропологически ориентированной истории» на передний план исторических исследований принадлежит третьему и четвертому поколениям французской школы «Анналов» (Ф. Арьес, Р. Мандру, Э. Ле Руа Ладюри, Ж.-П. Поли, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, А. Бьюргер, Ж. Ревель, Ф. Артог, Р. Десимон, Ше де Мирамон и др.). Отдельно необходимо отметить историко-антропологические исследования англо-американских ученых (П. Берк, Н.З. Дэвис, Р. Дарнтон, К. Гирц, У. Бейк, Ш. Кеттеринг, Н. Хеншелл, С. Рейнольдс и др.), германской школы «повседневной истории» (Т. Неппердай, О. Кёлер, Й. Мартин, Х. Медик, А. Ничке, Ю. Кока, Р. Фирхаус, А. Людтке, Ю. Шлюмбом и др.), итальянской микроистории (К. Гинзбург, Э. Гренди, К. Пони, Дж. Леви, С. Черутти и др.).

В СССР, как уже указывалось, значительное влияние исторической антропологии стало сказываться еще в годы перестройки. С конца 1980-х издаются специализированный научный альманах по данной проблеме «Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры», сборники статей, монографии, регулярно проводятся конференции. В течение 1990-х гг. историко-антропологическое направление заняло доминирующее место в изучении зарубежной истории (Споры о главном..., 1993; Гуревич А.Я., 1993а, 1993б; К новому пониманию человека..., 1994; История ментальностей..., 1996; Человек в кругу семьи..., 1996; Бессмертный Ю.Л., 1998; Репина Л.П., 1998; Сидорова Л.А., 2000; Человек в мире чувств..., 2000; История в XXI веке..., 2001; Николаева И.Ю., 2005; и др.). Сторонники относительно нового для отечественной исторической науки направления отмечали, что «...наиболее перспективными представляются современные школы гуманитарного знания, которые исследуют знаковые системы, присущие данной цивилизации, систему поведения принадлежащих к ней людей, структуру их ментальностей, концептуальный аппарат, «психологическую вооруженность» (Одиссей..., 1989, с. 5). Популярность и значительные результаты развития историко-антропологического направления привели к появлению не только значительного количества научных работ в этой области, но и учебных изданий (Средневековая Европа глазами современников и историков, 1994, 1995; Шкуратов В.А., 1997; Гуревич А.Я., 1998; Батурин А.П., 2001; Крадин Н.Н., 2001в; Николаева И.Ю., Караначук Н.В., 2001; Кром М.М., 2004; и мн. др.). Постепенно стали появляться публикации, посвященные изучению отдельных аспектов менталитета (ментальности)¹ древних и средневековых народов Евразии, в том числе кочевых (Усманова Э.Р., 1995; Шарипов Р.Г., 2001; Дашковский П.К., 2002; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 280–284; и др.). В то же время многие вопросы методологического и методического характера по данной проблематике, особенно в отношении исследования менталитета «бесписьменных» кочевых обществ, остаются дискуссионными до настоящего времени. В этой связи влияние историко-антропологического направления на кочевниковедение остается пока незначительным.

Следует сказать, что под влиянием постмодернизма одной из важнейших тенденций последних десятилетий в развитии историко-антропологического направления стал переход от масштабных срезов ментальности и обобщенных картин «исторической социальности» (семья, корпорация (община, цех, монастырь), город, сословие и пр.) к изучению индивидуальных проявлений ментальности и отдельных исторических казусов. В целом наметилось преобладание микроисторических исследований над воссозданием и «конструированием» исторических процессов и структур. В этом отношении показательно изменение отношения к понятию «феодализм» в зарубежной и отечественной литературе. «Феодализм», выступавший ранее олицетворением и синонимом всей средневековой эпохи, теперь понимается только как научный конструкт (причем для многих исследователей он имеет уже сугубо историографическое значение (Герро А., 2006, с. 77–113)).

¹ Обзор подходов к интерпретации категорий «менталитет» и «ментальность» см.: Дашковский П.К., 2002а.

Критике подвергаются все «классические» признаки и характеристики феодализма. Так, традиционная увязка между дарениями фьефов и функционированием сеньориально-вассальной системы была опровергнута в наделавшем много шума исследовании Сьюзен Рейнольдс «Фьефы и вассалы. Реинтерпретация средневековых свидетельств». В отечественной науке впервые модельный характер термина «феодализм» был показан А.Я. Гуревичем (1970, с. 7–25). В дальнейшем он неоднократно обращался к этой проблематике, предложив трактовку феодализма как «крестьянской цивилизации» (Гуревич А.Я., 2002, 2006). Эта традиция поиска новых контуров дефиниции «феодализм» была продолжена в работах И.С. Филиппова (2000), П.Ю. Уварова (2006а–б), И.В. Дубровского (2006) и др. Универсальная дефиниция «феодализм» отстает перед выявленными особенностями общественно-политических и ментальных структур стран и народов Европы, Азии и других регионов. Поэтому, вероятно, правильнее будет говорить не о «феодализме», а о «феодализмах», т.е. о разных путях его генезиса и дальнейшей трансформации в Западной Европе, об обществах сословных, но не феодальных, об альтернативах феодализму социумах и направлениях социальной эволюции в других регионах. В современной отечественной историографии эта тенденция наглядно прослеживается в материалах таких журналов, как «Одиссей», «Казус», «Средние века», «Адам и Ева» и др. Постмодернистские традиции нашли проявление в изучении проблемы власти и социальных отношений у кочевников, но в целом постмодернистский подход не получил широкого распространения среди российских кочевниковедов.

Другим направлением, оказывающим все большее влияние на кочевниковедческие изыскания, является мир-системный анализ (в других вариантах «мировая история» или «глобальная история»). Его зарождение было связано с методологическими разработками Ф. Броделя, которые строились на синтезе структурализма, неомарксизма, системных принципов, оригинальных идей об историческом времени («долгая временная протяженность»), экономических и демографических трендах и пр. Наиболее полно историческая концепция Ф. Броделя была представлена в фундаментальном 3-томном труде «Материальная цивилизация, экономика и капитализм» (1979). Идея иных, отличных от этнических и государственных границ, исторических «полей» («мир-империй», «мир-экономик») оказалась очень популярной среди ученых последней четверти XX в. и была подхвачена И. Валлерстайном, который и предложил научной общественности новый мир-системный подход. Первоначально мир-системная концепция И. Валлерстайна развивалась как одна из стратегий изучения процесса становления мировой капиталистической системы и акцентировала внимание в основном на событиях после 1500 г. (Wallerstein I., 1974, 1980, 1989; Валлерстайн И., 2000). А.Г. Франк наряду с другими историками (см. например: Уилкинсон Д., 2001) полагает, что правильнее говорить о мир-системе, которая сложилась в древности, но переживала циклы подъема и упадка. По его мнению, экономические связи и до формирования капитализма составляли основу мир-системного взаимодействия (Франк А.Г., 1992; Frank A.G., Gills B., 1994).

В последнее время приобретает популярность и другое направление мир-системного анализа, сторонники которого говорят о многочисленных мир-системах, существовавших в истории, начиная с древности. В русле этого направления разрабатываются и типологии мир-систем (Чейз-Данн К., Холл Т.Д., 2001; Коллинз Р., 2001; и др.). Таким образом, в рамках мир-системной методологии проявилось стремление к более широкому охвату исторического пространства и выявлению разнотипных моделей мир-систем.

Зарубежные и отечественные кочевниковеды давно обращали внимание на взаимозависимость кочевых и земледельческих обществ. Мир-системный подход позволяет представить данные взаимоотношения как взаимодействие центра, мир-империи (земледельческое общество) и его периферии (кочевники). В соответствии с мир-системной концепцией периферийные (пасторальные) общества были весьма ограничены в способах адаптации к влиянию мир-империй. Исследование подобной системы взаимодействия оседлого населения и кочевников на примере отношений Китая и кочевников Центральной Азии в русле мир-системной методологии провел Т. Барфилд (Barfield T., 1992; Барфилд Т., 2002/2006, 2004). По его мнению, экстенсивный пасторальный кочевничество не мог обеспечить достаточного количества ресурсов для существования в степи сложной сословно-классовой иерархии и государственной системы. Он полагал, что кочевое скотоводство наряду с другими обстоятельствами определяло преимущественно кланово-племенной характер общественных институтов кочевников. Не случайно Т. Барфилд вслед за В.В. Бартольдом называл крупные политические образования кочевников «эфемерными государствами», так как государственные политические органы «нарастали» над племенной организацией только в определенные периоды их военно-политического

подъема. Смерть лидера легко разрушала такие образования. В этой ситуации только «эксплуатация экономики Китая» поддерживала существование более или менее устойчивых государственных структур (имперских конфедераций) в степи (Барфилд Т., 2006, с. 415, 420–431). Поэтому исследователь предпочитает говорить о «биполярном мире объединенного Китая и объединенной степи» как генеральной циклической схеме развития региона¹. В случае кризиса этой системы и упадка централизации в Китае династическая чехарда и междоусобицы, охватывавшие Поднебесную, вызывали соответствующий кризис интеграции у кочевников (либо захват кочевниками северных китайских территорий). С восстановлением единства в Китае возрастал и уровень централизации кочевых политий (Барфилд Т., 2004, с. 255; 2006, с. 433).

В динамике существования дихотомической системы Поднебесная–номады Т. Барфилд выделяет три цикла (исключая монгольский прецедент, который не вписывается в его гипотезу; как полагал исследователь, это показывает, что его модель является вероятностной, а не детерминистской). Причем по мере развития каждого из циклов менялись характер и степень социально-политической сложности кочевых образований:

1. От «биполярного фронта» Хань и Хунну (конец III в. до н.э.) до объединительных процессов в Китае в последней трети VI в. и образования Тюркского каганата. В рамках этого цикла Китаю сначала противостояла имперская конфедерация Хунну, которую в середине II в. н.э. сменила «свободно структурированная империя» сяньби. Ее ослабление совпало с внутренним восстанием в Китае в 180 г. В результате этих событий резко снизилась численность населения и экономические возможности Китая. Воспользовавшись этим, «маньчжурские потомки сяньби» захватили Северный Китай и создавали там свои недолговечные государства. Объединение под главенством муянов (династия Тоба Вэй) Северного Китая в середине IV в. дало импульс интеграции в степях Монголии, где жужане «создали централизованное государство». Однако возможности жужаней были ограничены, так как они не могли контролировать всю степь из-за размещения Тоба огромных гарнизонов на границе и их постоянных вторжений в Монголию. Только с усилением центробежных тенденций в период правления династий Западная Вэй и Суй и одновременным свержением в степи жужаней тюрками, восстановилась биполярная система, с требованиями которые регулярно осуществляли кочевники (Барфилд Т., 2006, с. 435–436, 439);

2. От биполярного взаимодействия тюрков сначала с Суй, а затем Тан до утверждения господства чжурчженей в Северном Китае. В рамках этого цикла биполярная система стала разрушаться с упадком Тан. Т. Барфилд неоднократно подчеркивал, что заинтересованные в товарах Китая кочевники, неоднократно предпринимали усилия, чтобы продлить жизнь китайской династии (примером служит подавление восстания Ань-Лушаня уйгурами). Однако дезинтеграция Китая продолжалась и соответственно этому со второй половины IX в. «центральная степь вступила в период анархии». Падение Тан в конечном итоге привело к завоеванию Северного Китая киданями (Ляо), а позже (Цзинь) – чжурчженями. Все это время степные просторы Монголии не знали единой власти (Барфилд Т., 2006, с. 436–437, 439);

3. Третий цикл был нарушен алогичной деятельностью Чингисхана. В условиях раздробленности Китая стимулы к объединению были слабыми, а конкуренция между вождями – очень острой (Барфилд пишет, что такие вожди, как Чингисхан, претендовавшие на объединение степи, были всегда, но только ему удалось реализовать поставленную цель). Сам Чингисхан, как считает ученый, в отношении Цзинь первоначально скорее продолжал политику требований и только со временем завоевательные импульсы получили преобладание. С захватом монголами Китая основы биполярной системы были полностью нарушены. Даже когда кочевников изгнали в степь, а в Поднебесной воцарилась единая династия Мин, возвращения к прежнему биполярному взаимодействию не произошло. Китайцы, помятуя о монгольской власти, отвергали умиротворительную политику откупов от кочевников, а кочевники, лишённые доступа к китайским ресурсам, не смогли объединиться. Только ближе к концу правления Мин на границе установился мир в связи с переходом Китая к традиционным методам взаимодействия с кочевниками. Последовавший затем кризис Мин и захват Китая маньчжурами вновь нарушил биполярность: Цины «эффективно препятствовали политическому объединению степи посредством кооптирования монгольских лидеров и разделения их племен на небольшие элементы под контролем маньчжуров» (хотя это не исключало усиления в противовес Цин интеграции кочевников в лице Джунгарского ханства). Согласно Т. Барфилду, цикл традиционных связей

¹ Т. Барфилд (2006, с. 435) предлагает включить в эту систему еще и «маньчжурскую маргинальную зону», где зарождалось «большинство династий завоевателей».

между Китаем и кочевой степью «закончился, когда современное оружие, транспортные системы и новые формы международных отношений нарушили порядок синоцентрического мира Восточной Азии» (Барфилд Т., 2004, с. 257–258; 2006, с. 437–439).

Отдельно Т. Барфилд охарактеризовал монгольскую модель кочевой империи. Выше уже отмечалось, что исследователь рассматривал монгольский пример как исключительный. Во-первых, пишет ученый, «Монгольская империя возникла как оппозиция к обычной модели отношений между Китаем и степью, проводивших к созданию кочевых империй в монгольских степях». Во-вторых, «Монгольская империя радикально изменила степное кочевое общество, сломав существующую племенную систему и заменив ее централизованной политической системой правления, которая до этого никогда не существовала в степи». Тем самым на место имперским племенным конфедерациям с образованием Монгольской империи пришло автократическое государство, в котором клановые предпочтения (в имперских конфедерациях клановые группы могли с легкостью менять своих лидеров, если получали более выгодное предложение) были недопустимы, а централизованную структуру олицетворяли не кланово-племенные лидеры, а назначаемые ханом и преданные ему лица. Имперские назначения на военные и гражданские посты представителей талантливого окружения Чингисхана (нукеров, кешиктенов), исследователь считал наиболее выразительным отличием Монгольской империи. В-третьих, «монголы, в конечном счете, стали напрямую управлять соседними оседлыми государствами, а не занимались вымогательством, как это делали предыдущие империи». Таким образом, по мнению Т. Барфилда (2004, с. 254, 258–260), централизованная и бюрократическая структура Монгольской империи была «не только наиболее эффективной, чем система власти всякой из предыдущих степных империй, но также и уникальной».

В контексте мир-системного (миросистемного) подхода исследователи все чаще стали рассматривать крупные кочевые образования номадов как периферию земледельческих цивилизаций-центров (ядер). Особенно показательными были отношения кочевников Центральной Азии и Китая. Выше уже отмечалась, что Т. Барфилду удалось выявить системный характер взаимодействия оседло-земледельческого Китая и номадов Монголии. К. Чейз-Данн и Т. Холл полагают, что кочевая периферия на востоке евразийской системы «регулярно эксплуатировала ядро» (Китай) в течение двух тысячелетий – «приблизительно между 500 г. до н.э. и 1500 г. н.э. – и оказывала основное влияние на развитие китайской цивилизации» (Chase-Dunn C., Hall T., 1997, 2000; Чейз-Данн К., Холл Т., 2001, с. 438; см. также: Холл Т., 2004, с. 145–152; 2006, с. 449–455). В этом русле интересна идея Т. Барфилда о так называемых «теневых империях» номадов, существование которых обеспечивалось ресурсами истинных централизованных имперских систем. П. Голден подчеркивал, что именно экономика Китая давала интегрирующий импульс, вызывавший образование в степи государств (Голден П., 2004, с. 109–112).

Для мир-системных разработок особенно привлекательной была история Монгольской империи. В частности, Дж. Абу-Луход была высказана мысль о том, что монгольская экспансия и образование империи Чингизидов привели к возникновению первой глобальной миросистемы в докапиталистическую эпоху. Установление власти монголов на обширном пространстве Евразии привело к объединению нескольких «ядер» (Средний Восток, северная степь, Индийский океан, Европа), а также более локальных подсистем от больших аграрных обществ (Китай и Индия) до портовых городов-государств и местечек, игравших стратегически важную роль в «контроле над основными путями, связывавшими соседствовавших торговых партнеров» (Шампань, Самарканд, Ирак, Ливан и т.д.), в единую сеть культурных и торговых обменов. Причем исследовательница отводила главную роль именно Китаю, который монголы объединили с Центральной Азией и сделали открытым для постоянных торговых и сухопутных контактов. Тем самым Китай стал играть «ключевую роль в замыкании цепи мировых торговых путей». Чума и изгнание монголов из Китая в середине XIV в. привели к изоляции Китая, а затем (в 1430-е гг.) к окончательному разрушению той «целостности», что была названа Дж. Абу-Луход «миросистемой XIII в.» (Abu-Lughod J., 1989; Абу-Луход Дж., 2001, с. 451–455).

Идея миросистемы, созданной монголами, была поддержана многими специалистами. В частности, Т. Холл отметил, что монгольское завоевание открыло северный путь, ведущий из Китая в Европу в обход путей, пролегающих через современный Иран и Ирак, или через Индийский океан, а стабильная торговля между Востоком и Западом, проходившая по степи, открывала новые торговые циклы (Холл Т., 2004, с. 156; 2006, с. 459). В отечественных исследованиях мир-системная характе-

ристика Монгольской империи представлена в монографии «Империя Чингис-хана» Н.Н. Крадина и Т.Д. Скрынниковой (2006, с. 472–489), а также в статьях С.А. Васютина (2007, 2008а; и др.).

По существу синтезировал достижения неомарксизма, неозволюционизма и мир-системного подхода в своих исследованиях наш соотечественник, проживающий в настоящее время в США, А.М. Хазанов. Вопросам взаимодействия оседлых и кочевых народов, влиянию этих взаимоотношений на социально-политические институты номадов он посвятил специальную монографию «Кочевники и внешний мир» (здесь мы рассматриваем третье дополненное издание 2000 г.) и статью «Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе». В них исследователь отмечал, что государство у кочевников являлось продуктом асимметричных связей между степными и оседлыми обществами, которые были выгодны для скотоводов (Khazanov А.М., 1984; Хазанов А.М., 2000, 2002/2006).

В книге «Кочевники и внешний мир» А.М. Хазанов (2000, с. 83–86 и сл.) обращает внимание на то, что кочевое скотоводство¹ является самостоятельным видом производящей экономики, которая носила преимущественно экстенсивный и натуральный характер. Нестабильность и неавтаркичность экономической системы кочевников давала им только две возможные модели развития: либо седентаризация, либо приобретение различными способами необходимых продуктов у земледельческих народов. Из этого исследователь делает заключение о неизбежной необходимости адаптации номадов к внешнему миру, поскольку приспособление к экологической среде никогда не было полным (Хазанов А.М., 2000, с. 69, 173). Указанный вывод безусловно носит концептуальный характер во всех теоретических построениях автора. В этом ракурсе рассматриваются все стороны жизни кочевников. Например, раздел по социальной организации был назван «Социальные предпосылки взаимоотношений номадов с внешним миром».

Социальная модель кочевых социумов изображается А.М. Хазановым как иерархия общественных структур – от родственных до политических. Он выделяет такие уровни, как семья, семейно-родственные (клановые) группы, различного уровня общины (к примеру, в рамках общины некоторые семьи и семейно-родственные группы в определенные сезоны совместно пользовались пастбищами), социополитические сегментарные системы (особые группы в рамках племени; так, стратифицированные сегментарные общества представляли собой сообщества, основывающиеся на особых «правилах родства и происхождения и, главное, превращающиеся в особое сословие», такие как «ашина» у древних тюрков или «белая кость» у монголов и казахов) и, наконец, политические образования – племена и племенные объединения (Хазанов А.М., 2000, с. 227–262). Как пишет исследователь, «политические функции племени наиболее четко проявляются именно в его противопоставлении внешнему миру, в первую очередь оседлому, но отчасти и кочевому тоже (Хазанов А.М., 2000, с. 260–261).

Внутренние факторы интеграции номадов в крупные сообщества ученый считал второстепенными, так как номадные социумы были слишком сегментированными и нестабильными (устойчивыми были только низовые родственные структуры). Слабой была и социальная дифференциация. А.М. Хазанов ограничивает ее двумя источниками: частная собственность на скот и руководящие позиции в общественной организации. Исследователь отмечает, что в кочевой общине «всегда существуют две синхронно действующие тенденции: к выравниванию, сглаживанию внутренних различий и к углублению имущественного неравенства, расширению сферы, в которой оперируют отношения зависимости между различными хозяйствами». Наряду с этим он указывал на внутреннюю дифференциацию хозяйств, в которые привлекались бедные номады для выпаса скота, а также использовались рабы. При этом ученый делает важную оговорку: разные формы привлечения бедных и иноплеменных работников в кочевые хозяйства (саунные отношения) «содержат отдельные элементы эксплуатации или чаще способствуют росту социального неравенства», но одновременно преследуют иную цель – «препятствуют выпадению бедняцких хозяйств из кочевого общества и тем самым препятствуют его дезинтеграции» (Хазанов А.М., 2000, с. 262–264, 271).

Таким образом, внутренние факторы «социального продвижения» у номадов были весьма ограничены, а процессы социальной дифференциации обратимыми из-за неустойчивости кочевого хо-

¹ На основе географического и эколого-хозяйственного признаков ученый предложил свою типологию кочевого скотоводства: 1) северный евразийский тип (зона оленеводов); 2) евразийский степной тип; 3) ближневосточный тип, разделенный на четыре подтипа в зависимости от района распространения (аравийский, североафриканский, сахарский, североафриканский) видового состава стада; 4) средневосточный тип; 5) восточафриканский тип; 6) высокогорный внутринеазиатский тип (Хазанов А.М., 2000, с. 116–152).

зайства, низкой плотности населения, подвижности и т.д. Поэтому социальное возвышение достигалось за счет концентрации вокруг богатого скотовладельца вооруженных людей «для захвата скота и других богатств в других обществах или даже в подразделениях собственного общества» (Хазанов А.М., 2000, с. 269, 271–272, 275). Тем самым определяются три основные специализированные функции кочевой власти: внутренние организационно-управленческие, регулирование взаимоотношений с другими кочевыми объединениями и «с оседлыми земледельческо-городскими обществами». Их реализация «не только вызывает к жизни руководящий слой», но «определяет его социальные позиции»: чем сильнее «проявляются потребности в руководстве..., тем прочнее и стабильнее положение руководящего слоя (аристократического стратума). Исследователь также подчеркивает, что «не только общественные потребности создают и укрепляют руководящий слой, но и руководящий слой создает соответствующие потребности» (Хазанова А.М., 2000, с. 274). И привилегированное положение аристократии, согласно ученому, могло стабильно поддерживаться только в случае эксплуатации внешних ресурсов и управления подчиненными оседлыми социумами. Широко распространенное среди номадов подчинение одних кочевников другими не является «достаточно стабильным и надежным источником социальной дифференциации и политической власти», так как кочевое скотоводческое хозяйство «редко предоставляет возможность получения сколько-нибудь значительного и постоянного прибавочного продукта одной кочевой группой за счет других» (Хазанов А.М., 2000, с. 277). В этой связи исследователь еще раз подчеркивает, что устойчивая социальная дифференциация у номадов может существовать лишь в том случае, если в качестве «стабилизатора» действует внешний фактор. Его проявление, как считает А.М. Хазанов (2000, с. 278), достаточно разнообразно: «от прибавочного продукта, извлекаемого из подчиненных и эксплуатируемых оседлых обществ, до социальной поддержки, которую оседлое общество в лице государства оказывает проводникам своего влияния среди подчиненных кочевников, когда оно пытается создать из них свою социальную опору».

А.М. Хазанов полагает, что кочевники в своем развитии способны были достичь до того, как они непосредственно подчиняли другие общества или сами были подчинены ими, стадии «стратифицированного общества» или «вождества». Особенности кочевых вождеств он видел в ограниченных ресурсах социальной стратификации, в узости (по сравнению с оседлыми обществами) функций централизованного управления и в целом в меньшей централизованности степных социумов, в не теократическом характере вождеских структур, в отсутствии эффективных средств предотвращения распада и т.д. Тип руководства в кочевых вождествах А.М. Хазанов определяет как «ситуационный», так как в обществах с неразвитой социальной дифференциацией централизованная власть могла возникать только в силу благоприятных обстоятельств. В этой связи он также отмечает абстрактность применения к предводителям номадов тех типов власти, которые выделил М. Вебер: одни лидеры «в отношении своего происхождения и характера власти были традиционными, но могли приобрести харизму в результате успешности своей деятельности», другие, напротив, «обладая харизмой, смогли с ее помощью добиться руководства традиционными формами социальной организации кочевников». Бюрократический тип власти возникал только «в результате завоевания оседлых областей и только с помощью уже существующей там бюрократии» (Хазанов А.М., 2000, с. 281–284). Высший уровень политической организации номадов ученый связывал с государством. Анализируя властные структуры кочевых объединений степной Евразии, А.М. Хазанов подчеркивает, что многие номадные образования древности и средневековья прошли через «горнило государственного существования» (Хазанов А.М., 2000, с. 289, 296)¹.

Ключевой для А.М. Хазанова вопрос – социальные и политические способы кочевников адаптации к внешнему миру. Поскольку во взаимодействии с внешним миром «политическое» доминирует над «социальным», главный способ адаптации номадов к воздействию оседлого населения ученый связывает с возникновением государства. В структурно-функциональном отношении исследователь отличает от собственно государства так называемые ситуационные государства. Этим термином он обозначал кочевые государства, возникшие «без завоевания и покорения оседлого населения». Такие образования, как и «ситуационные вождества», были лишь «краткосрочными эпизодами в истории» и появлялись накануне или в период завоевания. Полноценным государство становилось только после развития устойчивых форм подчинения покоренного населения. Ситуационные госу-

¹ Одновременно А.М. Хазанов выделяет и сегментарные общества у кочевников евразийского типа. Среди них он более подробно останавливается на характеристике печенежского и огузского объединений (Хазанов А.М., 2000, с. 297–298).

дарства номадов А.М. Хазанов вслед за Х.Дж. Классеном и П. Скальником обозначает как «зарождающееся раннее государство». В случае с кочевниками существовать длительное время исключительно за счет внутреннего развития кочевых обществ «ситуационные государства» не могут. Потенциально подобные объединения могут развиваться в более сложные и стабильные государственные системы, но, как уже указывалось, только тогда, когда конфликт и властные полномочия выносятся во внешний мир, за пределы степных социумов, т. е. тогда, когда завоевания приводили к интеграции кочевого и оседлого миров. Но такие государства «могут только условно считаться кочевыми», только в том смысле, что «они были основаны кочевниками» или «кочевники занимали в них доминирующие позиции» (Хазанов А.М., 2000, с. 450–451).

Среди социальных особенностей кочевых государств ученый назвал «социальную демаркацию» между кочевниками и оседлым населением и гетерогенность, выражавшуюся в существовании нескольких правящих и зависимых слоев и классов, а также промежуточных слоев (средние классы). Эти слои и классы образуют две подсистемы (два субобщества), связанные между собой преимущественно политическими узами. Классово-феодальная подсистема оседлого населения практически не подвергалась трансформации, в то время как кочевая подсистема вне зависимости от того, становилась ли кочевая аристократия эксплуатирующим классом только для оседлого населения (наиболее типичный вариант) либо в состав эксплуатируемых входили и рядовые номады, характеризовалась А.М. Хазановым как раннеклассовая. Их специфичными чертами он называет следующие признаки: 1) промежуточное положение между первобытным (доклассовым) и развитым классовым обществами; 2) отсутствие частной собственности на ресурсы или ее второстепенное значение как критерия социальной дифференциации; 3) отношения различных социальных групп к производству и распределению «не связаны непосредственно с отношениями по поводу собственности на основные ресурсы»; 4) социальные различия связаны с политическим преобладанием и зависимостью, которые определяются связью различных социальных групп с правящими и управленческими институтами; 5) наличие системы налогообложения (Хазанов А.М., 2000, с. 452–453, 455–456).

А.М. Хазанов также выделил три типа кочевых государств (исключая «ситуационные государства»), три, как он пишет, «упрощенные теоретические модели». *Государства первого типа* представлены двумя вариантами: 1) номады, оставаясь в степи, контролируют земледельцев военно-политическими средствами, и зависимость оседлого населения от кочевников в основном сводилась к вассально-данническим формам (при этом аристократия для простых номадов выступала как руководящее сословие, опиравшееся на механизмы редистрибуции); 2) кочевники и оседлое население входят в единое государство, возникают два правящих класса (новый кочевой и старый оседлый), существенно возрастает эксплуатация крестьянства, но рядовые кочевники сохраняют свое социальное положение и свою роль основной военной силы. В *государствах второго типа* кочевое и оседлое население интегрировано в политическом и географическом отношении, образуя две подсистемы в социальной плоскости, однако более интегрированные, чем в первом случае. Социальные позиции номадской аристократии и правящей кочевой династии основываются уже не только на эксплуатации оседлой части подданных, но и на разных формах зависимости части рядовых кочевников. В этом случае, как считает исследователь, кочевая подсистема дифференцируется на многочисленные группы, одни из которых оказываются приближенными к правящему классу, а другие попадают в разные формы зависимости, превращаясь иногда в отсталое социальное сообщество и даже в этническое меньшинство. Для *государств третьего типа* характерно возникновение «единой социальной, экономической и политической системы, в которой происходит интеграция кочевников и земледельцев», и формирование «социальных различий по направлениям, в основном совпадающим с экономической специализацией и вдобавок зачастую связанным с этническими различиями». Данный тип условно кочевой государственности проявляется гораздо реже, чем первых два, а потому А.М. Хазанов (2000, с. 457–459) обозначает его скорее как тенденцию, которая может сочетаться с общественно-политическими процессами, присущими первому и второму типу кочевых государств и редко выходит на первый план.

Безусловно, работа А.М. Хазанова является важным этапом в концептуальном осмыслении многообразия и сложности процессов развития кочевых народов. Ученый весьма успешно использовал возможность познакомиться с разработками зарубежных исследователей в области кочевниковедения 1960–1970-х гг., а в «Предисловии к третьему изданию» он апеллирует к работам западноевропейских и американских исследователей последних десятилетий XX в. В то же время замечен определенный «информационный голод» в отношении российских разработок в этом направлении,

которые были сделаны в 1990-е гг. Именно в этот период, несмотря на сложное во всех отношениях положение науки, отечественные ученые сделали существенный прорыв в изучении номадизма в методологическом, методическом и культурно-историческом аспектах.

В духе исследований А.М. Хазанова голландский ученый П.Б. Голден выделил две наиболее противоположных формы социально-политической организации номадов. Одна из них, по его мнению, представлена типичными для кочевников государствами – «племенными союзами» с «суперстратификацией» кочевых родов и племен (причем часть кочевников охвачена процессами седентаризации), включавшими также оседлые народы. Примером подобного государства он считал Хазарский каганат (Голден П., 1993, с. 211–215, 227–230). Другая форма – это негосударственный тип «адаптации в степи», который исследователь подробно рассмотрел на примере кыпчакских объединений XI–XII вв. Он рассматривает кыпчакскую политическую организацию как «протяженную кочевую конфедерацию», подразделяющуюся «на множество субконфедераций». Исследователь подчеркивал, что ни с точки зрения внутренней структуры (отсутствие устойчивой централизованной власти, фискальной системы и пр.), ни с точки зрения ведущих внешнеполитических факторов (влияние земледельческих обществ; соседние с кыпчаками оседлые государства были слишком слабы) не возникли достаточные условия для формирования в какой-либо из субконфедераций политического центра, способного интегрировать кыпчакские племена в государственные структуры (Голден П., 2004, с. 106, 124–127).

Интересный взгляд на кочевые образования и этапы истории кочевничества в Центральной Азии был представлен Николо Ди Косма. Он характеризует пасторальные империи кочевников как ранние государства. Исследователь выдвигает оригинальную теорию генезиса таких политий. Н. Ди Космо полагает, что уязвимая и бедная кочевая экономика обуславливала хроническую внутреннюю нестабильность кочевых обществ и вызывала социальный кризис. Насилие становилось преобладающим в жизни кочевников. Оно нарушало установленный социальный порядок, разделяло семьи, приводило к отказу от бедных родственников и разрушало племена. Степь охватывали мелкомасштабные набеги на соседей с целью кражи скота, рабов или женщин. Социальная дезинтеграция, по мнению ученого, приводила к объединению наиболее бедных и смелых членов племени в полузаконные сообщества, из среды которых выходили удачливые лидеры, становившиеся катализаторами новых форм политической организации в виде империи. Н. Ди Космо учитывает при этом и воздействие других факторов (изменение экологических условий, влияние соседних кочевых и оседлых обществ, военные поражения и т. д.).

Кризис и зарождение кочевых государств, как полагал исследователь, сопровождалось милитаризацией общества, формированием корпуса телохранителей (гвардии), дружины, военной аристократии, а военные походы становились для большей части мужского населения сферой постоянной, профессиональной деятельности. Н. Ди Косма показывает и внутренний механизм складывания империи: члены побежденных вражеских племен включались в племя «харизматического» хана; вслед за этим повышался уровень подчинения, а с ним появлялись должности, назначались командующие, постепенно вырастала административная пирамида. Милитаризация, согласно концепции исследователя, имела и другое следствие – регулярное участие в военных действиях негативно отражалось на кочевом производстве и изнутри подталкивало номадов к приобретению внешних ресурсов (Di Cosmo N., 1999, p. 3–4).

В период урегулирования социального и экономического кризиса, как пишет Н. Ди Космо обычно, появляются несколько лидеров, которые стремились создать новый порядок и таким образом восстановить мир. Наиболее способный из них к объединению номадов сначала добивается главенства в своем племени, а затем и над другими племенами. Пример Модэ, по мнению ученого, наглядно показывает, что такие лидеры были способны создать большие конфедерации так как обладали индивидуальными амбициями, явным военным талантом, личной харизмой и были способны на полное игнорирование традиционных правил старшинства. «Когда в конце концов члены аристократии выдвигали победителя на позицию высшего лидера, они также формально делегировали ему свою власть и подчинялись ему» (Di Cosmo N., 1999, p. 4–7).

Инвеститура «надплеменного» лидера, как считал исследователь, давала хану право определять себя как «находящегося под защитой Неба» или «назначенным Небом». Через подобную инвеституру власть собрания (хурултая), которое выбирало лидера, передавалась персоне хана, который таким образом становился верховным лидером, наделенным божественной харизмой и сакральной персоной. Легитимация империи тем самым завершалась. В концепции Н. Ди Космо это означало

появление мощного центра власти, субординация по отношению к которому «переориентировала социальные и политические связи с горизонтального на вертикальный уровень и с полуэгалитарного на иерархический». Происходила замена клановой знати на значительно более мощную, иерархическую и авторитарную форму власти, где принятие коллегиальных решений было ограничено маленькой группой людей. При этом ученый отмечает, что племенная аристократия не подчинялась безоговорочно, пытаясь сохранить независимые полномочия, а конфликты «между местными интересами, представленными племенной аристократией, и центральной властью являются одной из важнейших тем истории Внутренней Азии». Поэтому хан создает центральную надплеменную структуру гражданского и военного управления (Di Cosmo N., 1999, p. 7–12).

Вслед за Т. Барфилдом Н. Ди Космо полагал, что содержание созданных имперских структур за счет ресурсов кочевого общества было невозможно, поэтому основные усилия кочевых лидеров были направлены на территориальный захват, грабеж, получение даней. Хан, монополизировав полученные доходы, давал чиновникам, аристократической элите и армии за поддержку награды. Другим источником доходов ученый называет торговлю. Однако наиболее надежной формой доходов Н. Ди Космо считает регулярное налогообложение подданных, особенно оседлых. В этом отношении он считал уникальным опытом династии Ляо, во многом заимствованный более поздними некитайскими империями Цзинь и Юань (Di Cosmo N., 1999, p. 14–17).

Отличия во внутренней структуре империй и их степени сложности, а также в политике разных имперских объединений кочевников в отношении оседлых народов позволили исследователю разработать авторскую периодизацию истории Центральной Азии (Н. Ди Космо использует более широкое территориально понятие «Внутренняя Азия»). Ученый на конкретных примерах показывает, что несмотря на применение более ранних стратегий получения внешних ресурсов, номады шли по пути возрастания сложности. На этом основании он говорит о «прогрессивной адекватности кочевых империй в мировой истории» (Di Cosmo N., 1999, p. 19–21).

В соответствии с тенденцией накопления управленческого опыта Н. Ди Космо выделил ряд периодов в истории Внутренней Азии. По его мнению, период от хунну до жуаньжуаней (209 г. до н.э. – 551 г. н.э.) следует определить как время существования даннических империй. К примеру, доходы империи Хунну в описании исследователя ограничивались данью, получаемой от Китая, завоеванных народов и городов-государств бассейна Тарима. До тех пор пока сохранялись эти поступления, власть шаньюя сохранялась. Но когда Китай прекратил выплату дани, стал предпринимать военные акции и в конце концов захватил Восточный Туркестан, полная потеря внешних ресурсов для хунну вызвала процессы политического распада империи. Такие «государствоподобные» имперские формы были характерны, по мнению ученого, и для других политических образований кочевников этого периода (Di Cosmo N., 1999, p. 21–23).

Следующий период (551–907 гг.) Н. Ди Космо связывал с торгово-данническими империями (получавшими доход от торговли) тюрков, тибетцев, хазар и уйгуров. Уязвимость даннических кочевых государств, как полагал ученый, привела к интенсивному вовлечению политий «кочевого типа» Внутренней Азии в торговлю (как в межконтинентальную на большие расстояния, так и в контролируемую государством пограничную и данническую торговлю). Прежде всего речь шла о централизованных формах контроля над торговлей с Китаем, торговыми маршрутами и богатыми торговыми городами ключевого прохода бассейна Тарима. Также исследователем подчеркивалась значительная роль взаимодействия кочевников с согдийцами, удачно действовавшими на трансконтинентальных торговых маршрутах. Он также уточняет, что кочевые государства рассматриваемого периода продолжали взимать дань, но она уже не была главным источником доходов извне. Несмотря на более разнообразные источники доходов, эти кочевые политии, согласно точке зрения ученого, были «слабыми политическими образованиями», так как доходы от дани и торговли не были достаточными для содержания государства (Di Cosmo N., 1999, p. 23–24).

С 907 г. по 1259 г., как полагал ученый, доминировали дуально-административные империи (империи дуальной администрации). Определяющей чертой этого периода Н. Ди Космо считал «приобретение знаний и административных навыков для организации управления земельными областями». Кочевники (Ляо, Цзинь, Си-Ся) стали использовать новые формы управления, сочетавшие кочевую политическую культуру с формами прямого контроля над ресурсами земледельческих народов. Торговля и дань сохранили значение, но большая часть доходов поступала от прямых налогов, получаемых с земледельческих народов (Di Cosmo N., 1999, p. 24–27).

Последний период (1260–1796 гг.) Н. Ди Космо связывал с империями прямого налогообложения. Главное отличие от предшествующего периода ученый видел в том, что государства, созданные монголами в Китае, Персии, Тамерланом в Средней Азии, османами в Передней Азии и, наконец, маньчжурами в Поднебесной, больше не использовали данничество в качестве средства получения дохода от крупных соседних земледельческих государств, а напрямую извлекали с завоеванных территорий все их ресурсы (Di Cosmo N., 1999, p. 27–31).

Несмотря на то, что оппоненты отметили явную схематичность предложенной Ди Космо периодизации и указывали на то, что кочевники в разные периоды практиковали разнообразные формы эксплуатации земледельцев (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 38), определенная логика в позиции Ди Космо просматривается. Прежде всего периодизация ученого отражает постепенное накопление номадами политического опыта, усложнение форм управления как оседло-земледельческим, так и кочевым населением и методов изъятия прибавочного продукта.

Влиятельным методологическим направлением, особенно в 1990-е гг., оставался цивилизационный подход, вернее, его различные трактовки. Они в первую очередь отражают специфику историко-культурного развития обществ-цивилизаций и их периферию. «Цивилизационный подход... значительно обогащает механизм познания исторической реальности», так как «цивилизация... – это более широкое и емкое понятие, чем социально-экономическая формация», оно включает в себя такие черты и признаки, которые действуют на протяжении более длительного времени и – что очень важно – имеют большую не только временную, но и сущностную устойчивость, поскольку не связаны напрямую с социально-экономическими факторами» (Искендеров А.А., 1996, с. 17). Не случайно, что современные исследователи говорят об уникальности каждой цивилизации (см., например: Цивилизации. 1992–2006; Мелко М., 2001, с. 312–313; Уэскотт Р., 2001, с. 328–344; Ито Ш., 2001, с. 345–354; и др.). Д. Уилкинсон (2001, с. 399–422) попытался соединить мир-системный и цивилизационный подходы, представляя мировую историю как процесс поглощения «Центральной цивилизацией» всех других цивилизаций и общественных систем до тех пор, пока «центральная цивилизация» не превратилась в охватывающую весь мир систему социально-экономических, политических и культурных связей – глобальную современную цивилизацию. Следует однако подчеркнуть, что, в отличие от российских специалистов, большинство европейских и американских ученых не употребляют понятие «цивилизация» применительно к истории номадов (см., например: Уэскотт Р., 2001, с. 336–338).

Продолжилась дискуссия об археологических критериях цивилизации. Правда, речь шла о понимании цивилизации не столько как особого историко-культурного типа общества, сколько как общества определенной сложности, сословно-классового общества. Исследование Ч. Майзелса показало, что не все признаки цивилизации, разработанные Г. Чайлдом, универсальны. К. Ренфрю сократил этот список до пяти позиций: 1) социальная стратификация; 2) высокоразвитая ремесленная специализация; 3) город; 4) письменность; 5) монументальное культовое строительство. Дальнейшая разработка проблем археологических критериев показала, что такая категория, как «социальная стратификация», «ремесленная специализация», требовала уточнения, а письменность, государство, урбанизация, монументальная архитектура – не универсальные критерии цивилизации (например, античные города обладали сложной общественной структурой, но без развитой государственной политической иерархии). Так, по мнению многих исследователей (Ю. В. Павленко, Г. Джонсон, Г. Райт, Н.Н. Крадин и др.), цивилизационный уровень сложности достигался только в случае возникновения в обществе трехуровневой (и более) классовой структуры. Н.Н. Крадиным указывалось, что для цивилизованных обществ характерен определенный вид ремесленной специализации – обработка металлов. Этот исследователь также предложил узкий список археологических критериев цивилизации, полностью исключавший достижение традиционными кочевниками этого сложного состояния: 1) развитая (не менее чем трехуровневая) классовая структура; 2) постоянная оседлость, 3) земледельческое хозяйство как основа экономики; 4) обработка и использование металлов (Крадин Н.Н., 2006, с. 194–196).

В начале 2000-х гг. для кочевниковедческих исследований оказалась востребованной и концепция традиционных обществ. Данная теория оформлялась в рамках разных направлений исторической, этнологической, социологической и антропологической наук. В частности, большой вклад в разработку концепции традиционных обществ внесли М. Вебер, К. Ветфогель, У. Ростоу, С.Э. Блэк, Р. Бендикс, К. Леви-Стросс, Ж. Сюре-Каналь, А. Мэтро, Д.К. Фэрбэнк, Ф. Бродель, И. Валлерстайн, М.Г. Ходжсон, Э. Геллнер, Ш. Эйзенштадт, Дж.П. Маккэй, В. Макнил, Ч. Тилли, В. Грин,

Л.Б. Алаев, Л.С. Васильев, Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаев и многие другие. Наряду с социально-экономическими характеристиками традиционных обществ (аграрная доиндустриальная экономика, преобладание натуральных связей и ограниченная сфера товарно-денежных отношений, важная роль внеэкономического принуждения, доминирование аграрного населения, корпоративность, сословно-классовый характер наиболее сложных традиционных социумов), в описании традиционных общественных систем использовались ментально-культурные и религиозные критерии, антропологические характеристики социальных связей и властных функций (бинарность мышления, сакрализация, невычлененность индивидуального из коллективных форм сознания, дарообмен как форма социальных связей, престижная экономика и мн. др.). В настоящий момент ее применение дало положительный результат при изучении древних и средневековых обществ Востока, Африки, Латинской Америки. Дискуссионной остается трактовка в духе рассматриваемой концепции западноевропейской истории в средние века. Однако ряд общих черт традиционных социумов, особенно в социальной и ментальной сферах, позволяет рассматривать в качестве отдельных типов традиционных обществ западноевропейские и в большей степени восточноевропейские общности до начала перехода от Средневековья к Новому времени (модернизации раннего Нового времени).

По большому счету в теоретическом отношении долгое время вопрос о применении теории традиционных обществ кномадам древности и средневековья не ставился (хотя в научных исследованиях кочевниковедов довольно часто звучали понятия «традиционное хозяйство», «традиционные занятия» и т.п.). Это во многом объяснялось тем, что критерии традиционных обществ разрабатывались в отношении земледельческих обществ, и главный признак подобных социумов – аграрная экономика – исключал возможность распространения данной концепции на кочевников априори. Тем не менее конкретно-исторические исследования показали, что экономика традиционных обществ может иметь несколько направлений, быть специализированной комплексной, менять свой профиль в зависимости от экологических условий, сезонности, экономических и других факторов. В связи с этим правильнее говорить не столько об аграрной, сколько о доиндустриальной традиционной экономической системе, одним из ведущих компонентов которой является кочевое скотоводство. Во многих других аспектах (незначительная доля городского производства и торговли, преобладание натуральных отношений и экономическая автаркия, слабая связь производства с рынком, ритуализация социальных практик, личностный характер социальных связей, корпоративность, престижная экономика, следование традициям и обрядам, незначительная роль инноваций, тотальная сакрализация, бинарность мышления, растворение индивидуального в коллективном и пр.) номады нередко демонстрировали гораздо больше традиционных черт и большую устойчивость традиций, чем земледельцы. Все это позволило рассматривать кочевников и полукочевников как один из модельных типов традиционных обществ (см., например: Комплексные исследования..., 2004; Васютин С.А., 2005а, 2005б).

Несомненно, что в постсоветские десятилетия сохранило свое значение и марксистское направление. В зарубежной науке в основном оно представлено разными неомарксистскими концепциями, а также влиятельной ролью марксизма в мир-системных разработках и фундаментальных исследованиях по мировой и глобальной истории. В отечественной науке этот спектр даже шире, что прежде всего связано с приверженностью ряда авторов к каноническим основам советского марксизма (особенно в терминологии). Однако ведущая роль в постсоветских теоретических изысканиях принадлежит ученым, стремящимся синтезировать творческий подход к марксистской теории с достижениями других направлений (Л.Б. Алаев, Л.С. Васильев, Л.Е. Гринин, И.М. Дьяконов, А.В. Коротаев, С.А. Нефедов, Н.С. Розов, П.В. Турчин, А.И. Фурсов и др.). В качестве примера остановимся на книге «Пути истории» И.М. Дьяконова, который предложил собственную формационную концепцию. Сохранив линейное видение исторического развития, этот ученый выделил восемь последовательных фаз общественной эволюции: 1) первобытную; 2) первобытнообщинную; 3) раннюю древность; 4) имперскую древность; 5) средневековье; 6) стабильно-абсолютистское постсредневековье; 7) капиталистическую; 8) посткапиталистическую. Среди факторов перехода от одной фазы к другой исследователь выделял технологические изменения (особенно появление новых видов оружия) и состояние социально-психологических процессов (смену ценностных ориентиров). Кочевничество как социально-историческое явление И.М. Дьяконов (1994, с. 5, 12–14, 65–69) отнес к четвертой и пятой фазам, отмечая, что в их рамках номады «шли совершенно особым путем».

В современных исторических исследованиях значительную популярность приобрели формальные кросс-культурные сравнения. Подобные исследовательские технологии, как правило, строятся на основании цифровых исчислений наиболее важных с точки зрения авторов подобных разработок показателей. Одна из таких формальных кросс-культурных стратегий была предложена Дж. Мёрдоком в 1967 г. в его «Этнографическом атласе» (Murdock G., 1967). На ее основе Дж. Мёрдок и К. Провост собрали информацию по 186 обществам из всех регионов мира и провели их сравнение на основе десяти критериев культурной сложности: 1) письменности и записи; 2) степени оседлости; 3) земледелия; 4) урбанизации; 5) технологической специализации; 6) наземного транспорта; 7) денег; 8) плотности населения; 9) уровня политической интеграции; 10) социальной стратификации. При этом каждая переменная оценена по пятибалльной шкале от 0 до 4 (например, «письменность и записи» предполагали следующие уровни сложности: «0» – письменность, записи, мнемонические средства отсутствуют; «1» – используются мнемонические средства, например фишки; «2» – используются неписьменные записи в форме пиктограмм, кипу, рисунков и др.; «3» – имеется письменность, но без аккумуляции записей или использована письменность чужого народа; «4» – имеется письменность и хотя бы «скромные» записи). В итоге составленная база данных позволила выявить существенный разрыв по данным критериям между различными обществами и цивилизациями. Самый низкий уровень культурной сложности получили сегментарные общества бушменов (2 балла), тиви (2 балла), масаев (9 баллов) и др. Самый высокий уровень сложности имели традиционные государства и империи: Россия (38 баллов), Римская держава (39 баллов), Китай (40 баллов) (Крадин Н.Н., 2004, 2006, с. 189–192).

В СССР аналогичная работа проводилась Л.Б. Алаевым. Он внес важное уточнение, включая в анкету общества на разных этапах их развития, а не только в период их расцвета. Тем самым удалось получить картину динамики сложности обществ в различные исторические периоды (Алаев Л.Б., 1982). Эта работа получила продолжение в исследовании Л.А. Седова и в создании Л.Б. Алаевым и А.В. Коротаевым (1996) новой историко-социологической анкеты. Анкета имела целью выявление типологических черт различных обществ и цивилизаций и была вторым этапом работы, начатой в 1974 г. Авторы учли достижения и недостатки первого этапа, зарубежный опыт подобной работы и предложили свою методику создания базы данных. Ее достоинство заключалось в том, что на вопросы анкеты отвечали специалисты, изучающие то или другое общество. Главным результатом этого исследовательского проекта должен стать «Историко-социологический атлас»¹. В целом исследования Л.Б. Алаева и А.В. Коротаева, в отличие от разработок Дж. Мёрдока и К. Провоста, направлены не только на фиксацию обобщенного статичного состояния того или иного социума, но и позволяют с помощью нескольких хронологических срезов увидеть определенную динамику в эволюции обществ (стабильность на определенном уровне, рост или уменьшение сложности, стагнацию и т.д.).

Таким образом, в постсоветском историческом пространстве сосуществуют разные методологические подходы, создавая возможность поиска теоретических альтернатив и осмысления тех или иных исторических процессов, структур, микроисторических явлений с разных концептуальных позиций. Идеальный плюрализм не только определил методологическое разнообразие проводимых исследований в современной мировой и российской исторической науке, но и позволяет осуществлять синтез разных компонентов методологических концепций, идти по пути дальнейших разработок и внедрения новых мультидисциплинарных технологий. В духе этих изменений развивалось и отечественное кочевниковедение, что отчетливо прослеживается в нижепредставленных материалах.

3.2. Современные отечественные разработки проблем социогенеза и политогенеза кочевников

Для российского постсоветского кочевниковедения в области социальных исследований мы можем говорить как о сохранении подходов и концепций, выработанных в СССР, так и о применении теоретических разработок зарубежных ученых, влияние которых росло на протяжении 1990-х и начала 2000-х годов. Это привело к продолжению среди специалистов дискурса о методологических основах изучения общественной структуры и потестарно-политических институтов кочевников, при этом круг обсуждаемых подходов существенно расширился. Поэтому данный дискурс был связан не столько с критикой положений, основывающихся на ортодоксальных марксистских установках,

¹ Сайт «Институт востоковедения РАН» / http://www.ivran.ru/library/view_edition.

сколько с анализом возможностей применения неозволюционистской, цивилизационной, мир-системной и других концепций к истории номадов и результатов подобных изысканий. В рамках многочисленных дискуссий на научных форумах, а также заочных обсуждений на страницах книг и статей рассматривались различные аспекты высказанной А.И. Мартыновым идеи о цивилизационном характере скифо-сибирского мира, подвергались разбору теории политического развития номадов (например, живой интерес вызвала концепция Н.Н. Крадина о трех типах кочевых империй), высказывались разные взгляды на факторы генезиса государства и его формы у кочевников, критерии номадной государственности и т.д.

Возвращаясь к различным марксистским интерпретациям общественного развития номадов, отметим, что на современном этапе они не утратили своего значения и составляют значимую долю в исследованиях российскими учеными социально-политических структур кочевников. Тем самым как ортодоксальный марксизм, сыгравший видную роль в мировой историографии, так и современные марксистские и неомарксистские трактовки остаются на сегодняшний день востребованными и в совокупности представляют одно из значимых методологических направлений в российском кочевниковедении начала XXI в.

В последние два десятилетия в отечественном кочевниковедении получили распространение практически все наиболее важные методологические направления: цивилизационный, мир-системный и социально-антропологический подходы, кросс-культурный анализ, концепция традиционных обществ, неозволюционизм, неомарксизм, многолинейные теории (недостаточно пока привлекаются номадологами микроистория, повседневная история и другие постмодернистские разработки). Особенно популярной была в отечественном кочевниковедении в 1990-е – начале 2000-х гг. неозволюционистская схема социо- и политогенеза (подробно см.: Крадин Н.Н., 1991, с. 305–312, 317–320; 1994; 1994а с. 22–30; 1996, с. 101–102, 114, 120, 140–142; 2000, с. 207–219; 2000а, с. 328–332; 2000в, с. 87–92; 2001а, с. 371–385; 2001/2002, с. 138–181, 201–224; 2002д, с. 116–122; Трепавлов В.В., 1993, с. 278–291; 2000; Першиц А.И., 1994; Скрынникова Т.Д., 1997, с. 30, 48–49, 2000; 2002; Марей А.В., 2000; Васютин С.А., 2002, с. 94–96; 2005, с. 66–68; Кляшторный С.Г., 2005, с. 24–31; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 26–38; и др.). В ее рамках выделяются несколько уровней социально-политической интеграции номадов, которые не представляют собой последовательных этапов общественного развития кочевников. Вернее их определить или как типы кочевых социумов, или как сегменты более крупных общественно-политических образований (например, так называемые племена в кочевых империях). При этом необходимо учесть, что в кочевом мире наблюдались как интеграционные, так и дезинтеграционные процессы. Последние нередко приводили к тому, что крупные кочевые политии распадались на менее сложные и стратифицированные общественные системы. В целом такая типология может включать до 5–6 вариантов кочевых социумов от сегментарных и акефальных до суперсложных стратифицированных вожеств и традиционных государств, которые основывались кочевниками в пределах крупных земледельческих цивилизаций (Бондаренко Д.М., Коротаев А.В., Крадин Н.Н., 2002, с. 19–23, 26–27). Нет сомнения, что положительный потенциал применения неозволюционистской схемы, особенно на основе концепции многолинейной (нелинейной) эволюции, к изучению кочевников древности и средневековья еще до конца не исчерпан.

Наиболее последовательное применение неозволюционистского подхода в 1990-е и в начале 2000-х гг. прослеживается в работах Н.Н. Крадина. Используя «ступени» социополитической эволюции в неозволюционистской теории, ученый выделил три основных типа (уровня) кочевых обществ: 1) акефальные, сегментарные, клановые и племенные образования; 2) «вторичное» племя и вожество; 3) кочевые империи и «квазиимперские» политии меньших размеров. При этом считал, что в истории номадов не было исключительно прогрессистских тенденций, а трансформация кочевых социумов могла происходить как по пути усложнения социально-политической организации, так и по пути ее распада на более простые формы (Крадин Н.Н., 2001а, с. 380; 2004, с. 23; 2007, с. 26, 64).

Неозволюционистское понятие «вожество» Н.Н. Крадин взял за основу характеристики крупных кочевых объединений. При этом исследователь исходил из убеждения, что номады в своем политическом развитии в степных условиях не достигали государственного уровня, так как государственность не была для кочевников внутренне необходимой. По его мнению, все основные экономические процессы в скотоводческом обществе осуществлялись в рамках отдельных домохозяйств, поэтому необходимости в специализированном «бюрократическом» аппарате, занимающемся

управленческо-редистрибутивной деятельностью, у номадов не было. Продолжая обосновывать свою точку зрения, исследователь указывает, что социальные противоречия между номадами разрешались в основном в рамках традиционных институтов, а это в свою очередь позволяло поддерживать внутреннюю политическую стабильность: «сильное давление на кочевников могло привести к откочевке или к применению ответного насилия, поскольку каждый свободный номад был одновременно и воином» (Крадин Н.Н., 2000а, с. 328; 2001, с. 112; 2001а, с. 380–381; 2001б; 2002д, с. 115; 2007, с. 29–30).

Исследователь полагал, что необходимость «в объединении и создании централизованной иерархии у кочевников возникает только в случае войн за источники существования, для организации грабежей соседей земледельцев или экспансии на их территорию, при установлении контроля над торговыми путями». Именно в этой ситуации, согласно оценкам Н.Н. Крадина, происходило формирование сложной политической организации кочевников – «кочевых империй», в которой была специфическая политическая система, названная ученым «ксенократической» (от греч. *ксено* – наружу и *кратос* – власть). Как пишет Н.Н. Крадин (1995б; 2000а, с. 329; 2001а, с. 381–382; 2001б; 2001/2002; 2002д, с. 116; 2007, с. 27–28), образно номады представляли собой нечто вроде «надстройки» над оседло-земледельческим «базисом».

Резюмируя вопрос о государстве у кочевников, исследователь подчеркивает, что «большинство кочевых империй не может быть однозначно интерпретировано ни как вожжество, ни как государство», так как в отношениях с внешним миром кочевая империя напоминала государство (военно-иерархическая организация номадов для изъятия престижных продуктов и товаров у соседей, а также для сдерживания внешнего давления; международный суверенитет и т.д.), в то время как внутри такие империи были основаны на ненасильственных (консенсуальных и дарообменных) связях и отсутствовало налогообложение скотоводов. Именно отсутствие права на легитимизированное насилие Н.Н. Крадин считал главным аргументом против существования государства у кочевников (исключения составляли государства, основанные номадами в результате завоевания земледельцев). Кочевой лидер, по его мнению, выступал как редистрибутор, мощь которого держалась на личных способностях и умении получать извне общества престижные товары и перераспределять их между подданными. В своей концепции Н.Н. Крадин доказывает, что в большинстве кочевых империй и менее масштабных номадных объединениях власть базировалась не на строго иерархичном бюрократическом аппарате, а на «престижной экономике» – своеобразном политическом «механизме», соединявшем правителя с племенными лидерами, а через них с рядовыми кочевниками в более или менее устойчивые племенные конфедерации. Удачливый в военном деле каган (шаньюй, хан) поддерживал свой престиж с помощью раздачи своему окружению и племенным вождям военной добычи и поступающих от земледельцев в качестве дани, даров и прочих товаров. Как и в более ранних своих работах по аналогии с суперстратифицированными обществами земледельцев Н.Н. Крадин продолжил трактовать подобные кочевые империи как «суперсложные вожества». В их структуре простые и сложные вожества и племена включались в состав «имперской конфедерации», а племенные вожди и старейшины, сохраняя в известной степени автономию, были инкорпорированы в общеимперскую десятичную иерархию. Вслед за Т. Барфилдом ученый полагает, что кочевые лидеры в отношениях с племенами, входившими в имперскую конфедерацию, опирались на поддержку своих ближайших родственников и соратников, носивших титулы «десятитысячников» (они стояли во главе особых надплеменных подразделений, объединявших подчиненные или союзнические племена в подразделения численностью примерно в 5–10 тыс. воинов). Кроме этого, во многих кочевых империях были специальные функционеры более низкого ранга, занимавшиеся поддержкой центральной власти в племенах (гудухоу у хунну, тутуки у тюрков, нойоны у монголов). Тем самым возникала сложная иерархия кланов, племен и племенных объединений, а также племенных и надплеменных военных администраторов, которую Н.Н. Крадин, в отличие от сложных вожеств, охарактеризовал как «суперсложную». Кроме того, численность населения и площадь кочевых империй была на несколько порядков больше, чем у типичных простых и сложных вожеств (Крадин Н.Н., 2000а, с. 329–331; 2001а, с. 382–384; 2001б; 2001/2002, с. 138–159; 184–186, 204–209; 2002д, с. 120–122; 2007, с. 30–31, 131–132, 143–144)

Дальнейшие исследования позволили Н.Н. Крадину с учетом наблюдений зарубежных и отечественных ученых и привлечением разных подходов (неозволюционизм, мир-системная и многолинейная теории) уточнить и детализировать свою типологию кочевых империй, проследить динамику их развития и выявить причины упадка. Обобщающее определение «кочевой империи» он

сформулировал следующим образом: это «кочевое общество, организованное по военно-иерархическому принципу, занимающее относительно большое пространство и получающее необходимые нескотоводческие ресурсы, как правило, посредством внешней эксплуатации (грабежей, войн и контрибуций, вымогания «подарков», неэквивалентной торговли, данничества и т.д.)». Еще более широкая характеристика «кочевой империи» представлена в признаках, выделенных Н.Н. Крадиным (1996б; 2000а, с. 315; 2001б, с. 22–23; 2001/2002, с. 44–45; 2002д, с. 114; 2007, с. 118): 1) многоступенчатый иерархический характер социальной организации, пронизанный на всех уровнях племенными и надплеменными генеалогическими связями; 2) дуальный (на крылья) или триадный (на крылья и центр) принцип административного деления империи; 3) военно-иерархический характер общественной организации «метрополии», чаще всего по «десятичному» принципу; 4) ямская служба как особый способ организации административной инфраструктуры; 5) специфическая система наследования власти (империя – достояние всего ханского рода, институт соправительства, курултай); 6) особый характер отношений с земледельческим миром.

Специфику разных кочевых империй отечественный исследователь Н.Н. Крадин попытался отразить в их типологии. В своем законченном виде такая типология включала три базовых модели:

1) **типичные империи** – кочевники располагаются в степи и получают от земледельцев прибавочный продукт с помощью «дистанционной эксплуатации» (набегов, вымогания «подарков», неэквивалентной торговли и т.д.). К таким империям относились Хуннская и Сяньбийская державы, Тюркские и Уйгурский каганаты, Первое Скифское царство и пр.;

2) **даннические империи** – земледельцы попадают в зависимость от кочевников и выплачивают дань в разных формах (Хазарский каганат, империя Ляо, Золотая Орда и пр.); от *типичных* империй их отличали более регулярный характер эксплуатации (вместо эпизодических грабежей, вымогаемых «подарков» более или менее регулярное получение дани), урбанизация и частичная седентаризация в степи, усиление антагонизма среди кочевников и, возможно, трансформация «метрополии» степной империи из составного чифдома в раннее государство, формирование бюрократического аппарата для сбора дани и контроля за данниками;

3) **завоевательные империи** – номады завоевывают земледельческое общество и переселяются на его территорию (Кушанское царство, поздняя Скифия), а на смену грабежам и данничеству приходит регулярное налогообложение земледельцев и горожан; в завоевательных империях более тесным был симбиоз экономических, социальных и культурных связей между номадами и подчиненными земледельцами, поэтому последняя модель представляет собой не столько кочевую империю, сколько уже оседло-земледельческую, но с преобладанием в политической сфере и в военной организации кочевников-скотоводов (Крадин Н.Н., 2000а, с. 315; 2001б, с. 22–23; 2001/2002, с. 45; 2002д, с. 114; 2007, с. 119).

Говоря о факторах военно-политической интеграции кочевников, Н.Н. Крадин отмечает, что степень централизации номадов прямо пропорциональна величине соседней земледельческой цивилизации. Причем он обращает внимание на тот факт, что, с точки зрения мир-системного подхода, кочевники всегда занимали место «полупериферии», которая объединяла в единое пространство различные региональные экономики. Соответственно этому в Центральной Азии на границе с централизованным Китаем возникали наиболее масштабные и консолидированные степные империи. В других точках взаимодействия кочевников и земледельцев, как считал ученый, у земледельческих обществ не хватало ресурсов для возникновения рядом с ними аналогичных имперских систем. Поэтому в восточноевропейских степях на окраинах античных государств, Византии и Руси могли возникнуть только «квазиимперские» государствовидные либо сегментированные структуры, а в Северной Африке и Передней Азии интеграция номадов для торговли с оазисами и нападений на них ограничивалась уровнем племенных конфедераций или вожеств. Также ученый обращает внимание на синхронность процессов роста и упадка земледельческих «мир-империй» и степной «полупериферии». Особенно показательной, по словам ученого, эта зависимость проявилась при взаимодействии китайской мир-империи и номадов Центральной Азии. Вслед за Т. Барфилдом Н.Н. Крадин показывает корреляцию между ростом населения, централизацией и экономическим подъемом, с одной стороны, и появлением кочевых империй – с другой. В мир-системной проекции кочевой истории Н.Н. Крадин так же, как и Т. Барфилд, поддерживает идею «биполярной» системы взаимодействия аграрных мир-империй (мир-экономик) и кочевой периферии. В этом русле кочевая империя рассматривается как наиболее сложный способ политической адаптации номадов к влиянию земледельческо-городских мир-империй. Империи номадов ученый считает милитаристическими «двой-

никами» аграрных цивилизаций (Крадин Н.Н., 2007, с. 95–108; 2007а, с. 27–33). Среди других факторов возникновения кочевых объединений он выделяет изменения экологических и климатических условий, особенности политической ситуации в степи и у земледельческих соседей, личные качества кочевых лидеров и т.д. (Крадин Н.Н., 2000а, с. 318–319;).

Исследователь выделил четыре варианта образования кочевых империй. Первый, «монгольский», который Н.Н. Крадин считал «классическим», связывался с «появлением в среде кочевников талантливого политического и военного деятеля, которому удавалось объединить все племена и ханства» (Модэ у хунну, Таньшихуай у сяньби, Абаоцзи у киданей, Чингисхан у монголов). Дальнейшее существование империи зависело от того, сможет ли кочевой правитель для поддержания единства державы организовать постоянное поступление прибавочного продукта извне. Второй («тюркский») вариант, по мнению ученого, реализовывался в том случае, когда на периферии уже сложившейся кочевой империи возникало политическое объединение «с сильными центростремительными тенденциями». В борьбе с доминирующей в империи этнической группой периферийное объединение «свергало своего эксплуататора и занимало его место в экономической и политической инфраструктуре региона». Данный путь Н.Н. Крадин прослеживает на примере взаимоотношений тюрков и жужаней, уйгуров и тюрков, чжурчжэней (с долей условности, поскольку они не совсем кочевники) и киданей. Третий («гуннский») вариант он связывал с миграцией номадов и последующим подчинением ими земледельцев. Наиболее наглядным примером такого пути «становления кочевых (точнее, теперь «полукочевых» или даже земледельческо-скотоводческих) империй» исследователь называет образование государства Тоба Вэй. Наряду с этим он указывает, что такая модель встречалась в более мелких масштабах в результате завоеваний аваров, болгар и венгров в Европе или образования на территории Северного Китая в эпоху смуты IV–VI вв. 16 полукочевых государств. Последний («хазарский») вариант являлся результатом образования кочевых империй из сегментов уже существовавших более крупных «мировых» империй номадов – тюркской и монгольской. В частности, ученый указывал на разделение Тюркской империи на Восточно-тюркский и Западно-тюркский каганаты, а затем из состава последнего Хазарского каганата и еще целого ряда других образований номадов. Несколько по-иному происходило выделение улусов из состава империи Чингисхана. Здесь господствовал принцип выделения потомкам Чингисхана определенной территории (Крадин Н.Н., 2000а, с. 319–320; 2001/2002, с. 46–47).

Стабильность степных империй, согласно Н.Н. Крадину, напрямую зависела от умения высшей власти организовывать получение шелка, продуктов земледелия, ремесленных изделий и изысканных драгоценностей от оседлых обществ. Получение этой продукции силой или вымогательством исследователь считал первоочередной обязанностью правителя кочевого общества. Будучи посредником между земледельческими цивилизациями и степью, «правитель номадного общества имел возможность контролировать перераспределение получаемой из оседло-городских обществ добычи и тем самым усиливал свою собственную власть». Именно это, как считает ученый, позволяло поддерживать существование империи, «которая не могла существовать на основе экстенсивной скотоводческой экономики» (Крадин Н.Н., 2000а, с. 320).

Сложной задачей для кочевого правителя Н.Н. Крадин считал сохранение контроля за племенными вождями. Последние пользовались значительной автономией, так, хозяйственная самостоятельность делала племена потенциально независимыми от центра, главные источники власти (грабительские войны, перераспределение дани и других внешних субсидий, внешняя торговля) были нестабильными и находились вне степного мира, всеобщее вооружение ограничивало возможности политического давления на племена, а перед недовольными политикой хана племенными группировками открывались возможности откочевки, дезертирства под покровительство земледельческой цивилизации или восстания с целью свержения неугодного правителя. В силу этого, как считает ученый, политические связи между племенами и лицами, олицетворявшими имперскую власть, не были чисто автократическими. Выше уже указывалось, что основным инструментом, по его мысли, позволявшим интегрировать племена и «правительство», была «престижная экономика» (Н.Н. Крадин аргументирует свою позицию анализом письменных источников). Как пишет исследователь, манипуляция подарками и раздача их соратникам и вождям племен, позволяла правителю кочевой империи увеличивать свое политическое влияние и престиж. Одновременно с дарами возникал другой механизм – «племенные вожди, получая «подарки», могли, с одной стороны, удовлетворять личные аппетиты, а с другой – повышать свой внутриплеменной статус путем раздачи даров соплеменникам или посредством организации церемониальных праздников», приобретая часть ха-

ризмы верховного правителя и его престижной роли. Среди других «инструментов» интеграции племен в имперскую конфедерацию Н.Н. Крадин (2000а, с. 321–322; 2001/2002, с. 182–200) называет включение в генеалогическое родство различных скотоводческих групп, разнообразные коллективные мероприятия и церемонии (сезонные съезды вождей и праздники, облавные охоты, возведение монументальных погребальных сооружений и т.д.).

Исследователь, характеризуя власть правителей кочевых обществ, указал на выполнение ими функции священных посредников между социумом и Небом (Тэнгри), которые обеспечивали бы покровительство со стороны потусторонних сил. Он также отметил, что, согласно религиозным представлениям номадов, правитель степного общества (шаньюй, каган, хан) олицетворял собой центр социума и в силу своих божественных способностей проводил обряды, которые должны были обеспечивать обществу процветание и стабильность. В свою очередь природные катаклизмы, гибель скота воспринимались кочевниками как ослабление или утрата ханом харизмы. В этом случае его могли заменить либо просто убить. Однако, как отмечает ученый, идеология никогда не играла доминирующей роли в балансе различных факторов власти у кочевников (Крадин Н.Н., 2000а, с. 322)

В отношении земледельческих центров кочевники использовали несколько пограничных стратегий, которые могли на протяжении истории одного общества сменить одна другую: 1) стратегия набегов и грабежей (сяньби, монголы XV–XVI вв. по отношению к Китаю, Крымское ханство по отношению к России и др.); 2) подчинение земледельческого общества и взимание с него дани (Скифия и сколоты, Хазария и славяне, Золотая Орда и Русь), а также контроль над трансконтинентальной торговлей шелком; 3) завоевание оседло-городского государства, размещение на его территории гарнизонов, седентаризация и обложение крестьян налогами в пользу новой элиты (тоба, кидани и чжурчжэни в Китае, монголы в Китае и Иране); 4) политика чередования набегов и вымогания дани в отношении более крупного общества (хунну, тюрки, уйгуры и пр.). Наряду с этим в конкретно-исторических условиях номады оказывали давление для открытия пограничных рынков, чтобы принимать вассалитет в отношении оседлых соседей для регулярного получения товаров земледельцев, контролировать торговые пути и взимать пошлины с торговцев и т.д. Ключевую роль Н.Н. Крадин отводил стратегии вымогательства на расстоянии – «дистанционной эксплуатации». Исторические примеры (чередования политики набегов, угроз, мирных договоров и получения «подарков» скифскими племенами апарнов, гуннами Аттилы, тюрками, уйгурами, половцами, монголами, крымскими татарами и другими номадами) показывали, что в большинстве случаев «кочевники Евразии во все не стремились к непосредственному завоеванию земледельческих территорий», вполне удовлетворяясь «доходами от неэквивалентной торговли с земледельцами и многочисленными «подарками» от правителей земледельческих государств». Тем самым «политика номадов была направлена на то, чтобы эксплуатировать соседей земледельцев исключительно на расстоянии» (Крадин Н.Н., 2000а, с. 323–326).

Анализируя причины кризиса и распада кочевых империй, исследователь пишет, что их, как правило, было несколько – внутренние усобицы, локальные экологические, нашествие врагов и т.д. Одновременно он выделяет специфические факторы, которые «потенциально способствовали структурной неустойчивости кочевых империй». Среди них – интеграция в империю преимущественно для решения внешних задач; неустойчивость верховного правителя, вынужденного «балансировать в поисках консенсуса между различными политическими группами»; «перепроизводство элиты», связанное со значительным ростом из-за полигамии числа потомков верховного правителя, каждый из которых выступал как претендент на власть и ресурсы империи. В конечном итоге через 2–3 поколения это вело к междоусобицам, гражданской войне и распаду степных держав (Крадин Н.Н., 2000а, с. 332–334; 2001б, с. 29–30; 2001/2002, с. 235–236; 2002д, с. 122–123).

Эти теоретические положения стали результатом специального изучения Н.Н. Крадиным кочевых империй Хунну, Сяньби, Жужаней, Ляо, Чингисхана (Крадин Н.Н., 1994а; 1995в; 1995г; 1996; 1996в; 2000а–б; 2001/2002; 2002; 2002б–г; 2003; 2006а; 2007, с. 111–194; 2007б; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006). Апробация концепции проводилась также и на других материалах. Можно с уверенностью сказать, что подход Н.Н. Крадина к оценке кочевых империй как суперсложных вожеств и ксенократических государств занял в начале 2000-х гг. одно из ведущих мест в отечественном кочевниковедении.

Иной взгляд на кочевые империи был предложен Г.Г. Пиковым (1994, 2000, 2002 и др.). Собственное понимание рассматриваемого термина он сформулировал, опираясь на исторический пример киданьской империи Ляо. Во-первых, исследователь понимает под «империей» государствен-

ную полиэтническую структуру, которая объединяет население с разными укладами (кочевым и земледельческим). Этому предшествует «своеобразная революция», социально-политические и административные преобразования с использованием опыта земледельцев, в результате которых происходило становление элементов государственной власти и формирование бюрократического аппарата (Пиков Г.Г., 2002, с. 192–193).

Во-вторых, особое внимание исследователь обращает не на структурное построение властной иерархии, а на идеологическое обоснование имперского сознания. В ходе синтеза китайских, монгольских и тюркских представлений о правителе император Ляо представал как наместник Неба на Земле, обладавший правом на управление всем миром. «Киданьский император получал в результате право даже творить свой мир (миропорядок) и подчинять ему все пространство на вечные времена» (Пиков Г.Г., 2002, с. 193–194). В этом контексте кидани рассматривали все соседние народы как «потенциальных членов новой империи», а войны против не желающих входить в империю оправдывались морально и идеологически, ибо те не хотят жить «по божеским законам» (Пиков Г.Г., 2002, с. 194).

В-третьих, в общественной системе киданьской империи Г.Г. Пиков выделял «кочевое ядро» и периферию (земледельцы, охотничьи племена). Под «ядром», «центром» империи ученый понимал «регион, характеризующейся относительной этнической, государственной, политической, экономической и культурной гомогенностью и стабильностью», а под «периферией» – располагающиеся вокруг этносы и субэтносы, развитие которых связано с иными характеристиками (иная экономика либо иная экономика) и не отличающиеся однородностью (Пиков Г.Г., 2002, с. 194).

Еще один ракурс – интеграционный потенциал империи. По мнению исследователя, империя была «формой контактов разных регионов и освоения пространства». В противовес Н.Н. Крадину он полагает, что в кочевой империи речь идет не столько об экзополитарной эксплуатации, сколько о симбиозе, «сотрудничестве». В империи формируются сложные экономические и политические связи, для которых характерно разрушение «локальных социально-экономических и политических организмов и медленное складывание региональной системы». При этом, по замечанию Г.Г. Пикова (2002, с. 195), кочевники не всегда выступали как враги земледельцев, последние были заинтересованы в номадах для сбыта товаров, как средство устрашения или для разгрома и захвата других земледельцев. Таким образом, характеристика ученым «кочевой империи» акцентировала внимание на идеологических и интеграционных показателях. Этот оригинальный взгляд вносит существенную коррективу в представление о кочевых империях сугубо как организации для рэкеты против соседних земледельцев.

Структурная характеристика имперских систем кочевников легла в основу совместных монографий С.Г. Кляшторного и Д.Г. Савинова (1994, 2005). В частности, в «Предисловии» к изданию 2005 г. С.Г. Кляшторный так определил понятие «империя» в отношении кочевников: «полиэтнические образования, созданные военной силой в процессе завоевания, управляемые военно-административными методами и распадающиеся после упадка политического могущества создателей империи». Уточняя свою формулировку, исследователь отметил, что завоевательный импульс создателей империи «был направлен не столько на расширение пастбищных территорий (это аномальный случай), сколько на подчинение территорий с иным хозяйственно-культурным типом» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 9). Однако продолжая характеристику степных империй, С.Г. Кляшторный указывает на важный этап в генезисе имперских структур, определяющими целями которого была «консолидация степных племен под властью одной династии и одного племени». И лишь затем проявлялось стремление «поставить в зависимость от консолидированной военной мощи кочевников области и государства с более сложным устройством и более многообразной хозяйственной деятельностью». В конечном итоге возникали данническая зависимость или какие-либо иные формы непосредственного политического подчинения, и именно на этой стадии «государства, созданные кочевыми племенами, преобразуются в империи» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 10).

В целом в 1990-е – начале 2000-х гг. наблюдается рост интереса к проблемам исторического анализа и социально-политической характеристики кочевых империй. Особенно часто полигоном для изучения кочевых империй служила Монгольская империя Чингисхана и ее последующая эволюция (Кычанов Е.И., 1992, 1997, 2007; Трепавлов В.В., 1993; Скрынникова Т.Д., 1997, 2000, 2002, 2007; Васютин С.А., 2004б, 2005, 2007, 2008а; Базаров Б.В., Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2005; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006; Крадин Н.Н., 2007, с. 261–306; 2007б; и др.).

Становление и развитие государственных институтов Монгольской империи в XIII в. рассмотрел в своей монографии В.В. Трепавлов. По его мнению, реформы Чингисхана были частью процесса создания административных институтов, а тем самым фактическим зарождением государства (Трепавлов В.В., 1993, с. 96–98, 155). В.В. Трепавлов наряду с Е.И. Кычановым (1992; 1997; 2007) был сторонником раннего формирования государства у монголов в результате реформ Чингисхана. Иную точку зрения отстаивает Т.Д. Скрынникова. Особое место в ее исследованиях занимает изучение социально-политических структур монгольского общества второй половины XII – начала XIII в. В своей монографии «Харизма и власть в эпоху Чингис-хана» она выявила у монголов рассматриваемого периода устойчивый характер такого института, как род, – «гомогенной структуры, состоящей из кровных родственников (женщины, вышедшие замуж, никогда не становились членами рода мужа)», со строгим счетом родства, ибо «монгольский род (обок) выполнял культовую роль и функции брачного регулятора, через учет младших и старших линиджей (урук) обеспечивалась стратификация внутри рода». При этом Т.Д. Скрынникова (1997, с. 20, 26–27) видит в роде «этнокультурную общность», в то время как племя, по ее мнению, было «общностью этнополитической». Далее она показала, что монгольские улусы XII в. не являлись, как считал Е.И. Кычанов, «образованиями государственного характера с единой военно-административной властью», так как в них «не существовало никакого аппарата власти, отделенного от народа и обладавшего средствами принуждения и насилия», а сами улусы не строились по территориальному принципу. На этом основании она характеризует «монгольскую социально-потестарную организацию» как вождество, сложное или суперсложное» (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 29, 30).

Т.Д. Скрынникова, опираясь на материалы монгольской истории, показала, что генеалогический принцип преобладал как в социальной, так и в политической структуре монгольского общества эпохи Чингисхана. В социальном отношении он фиксировал принадлежность людей к различным кровнородственным группам, занимавшим разное положение родоплеменной организации. В политическом отношении генеалогический принцип нашел отражение в двух путях политогенеза: харизматическом – зарождение династийного правления было связано с режимом личной власти наиболее удачливого военного вождя, имя которого было включено в генеалогическое древо (например, Чингисхан) и традиционном – отнесение легитимации власти к архаичной патриархальности (небесное происхождение предка Чингисхана – Бодончара). Небесное происхождение предка, как предполагает исследовательница, примеряло традиционную и харизматическую формы господства (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 32–33).

Рубеж XII–XIII вв. Т.Д. Скрынникова рассматривает как «период перестройки потестарного организма монгольского этноса», что было связано с укрупнением этнопотестарных образований и выдвиганием на передний план новых лидеров – военных вождей, оттеснявших лидеров традиционных – глав линиджа, рода, конического клана. Однако и новые образования во главе с военными вождями, ханами (Амбагай-ханом, Чингисханом, Джамухой-гурханом) не обладали признаками государственности (территориальное деление, установление постоянных податей, создание специального аппарата управления, распространение письменности и пр.). В этом отношении, согласно точке зрения исследовательницы, объединение монголов под властью Чингисхана и его вторая интронизация 1206 г. ничего не изменили – государственные структуры не появились, а социальная дифференциация не достигла классового и даже раннеклассового характера (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 37–38, 40–42). Детальный анализ разных аспектов властных институтов у монголов периода создания империи (первая треть XIII в.) дал возможность Т.Д. Скрынниковой (1997, с. 49, 191–193, 347) высказать оригинальную точку зрения на потестарно-политическую организацию Монгольской империи как «предгосударственную», что отражает недостаточное развитие реальных формализованных институтов власти.

Т.Д. Скрынникова также попыталась ответить на вопрос о том, как «представления о сакральности выразились в монгольской традиции, каков механизм действия сакральности и какие функции благодаря ей выполняет правитель». Анализ источников позволил исследовательнице разрешить поставленные проблемы. Она, в частности, смогла выявить основные пути усиления сульдэ – харизмы (например, покорение других правителей умножало силу Чингисхана), показала регулирующую функцию правителя для всего мира и своего улуса и народа, которым обеспечивает благоденствие, выявила две основные сакральные субстанции, присущие хану – харизму и силу, идентичную силе Неба, семантику ханских бунчуков и т.д. (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 102–105, 106; и др.). Совокуп-

ность этих явлений в источниках связывалась только с Чингисханом. Его харизма рассматривалась как основа социальной и природной гармонии (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 168–184).

В дальнейших своих исследованиях Т.Д. Скрынникова более определенно высказалась в пользу существования у монголов эпохи империи вожества. Не рассматривая систему управления покоренными народами, исследовательница указывает, что ядро Монгольской кочевой империи она считает суперсложным вожеством, которое в дальнейшем эволюционировало в племенную конфедерацию (Скрынникова Т.Д., 2000, с. 354–355; 2002, с. 204; 2007, с. 32–33).

Длительный характер сохранения догосударственных традиций в Монгольской империи показал С.А. Васютин (2004б). Он, в частности, отметил, что в отношении кочевников даже на теоретическом уровне выявить четкую грань между суперсложным вожеством и ранним государством достаточно трудно. Поэтому исследователь считал более правильным говорить о наличии в имперских структурах кочевников элементов разных политических форм (архаичной, вожедской, государственной), что в свою очередь позволило высказать мысль о двойственной (потестарной и раннегосударственной) природе власти в кочевых империях. По мнению С.А. Васютина, только к 1250–1260-м гг. последняя (раннегосударственная) тенденция стала преобладающей, когда руководители империи начали использовать новые, более развитые методы эксплуатации покоренных народов. Исследователь полагал, что только с 30–40-х гг. XIII в. Монгольская империя начинает постепенно утрачивать те черты, которые обычно маркируют суперсложные вожества. В качестве инновационных элементов он указывает на идею подданства, развитие военно-административной машины для управления захваченными территориями и фискальных сборов, право хана на насилие, особенно в военной сфере и пр. В этой связи С.А. Васютин отметил, что сторонники оценки Монгольской и других кочевых империй только как суперсложных вожеств недооценивали военные институты и особенности функционирования военной организации в крупных политахь номадов, в которых прослеживаются отдельные компоненты, аналогичные государственному (дисциплина и наказания за ее нарушения; иерархия военных руководителей). Также и социальная структура кочевников, входивших в Монгольскую империю, хотя и не была классовая, все же носила сложный характер (род Чингисхана, аристократия, гвардия и другие военные чины, иерархическая лестница кочевых племен, зависимые кочевники и т.д.). Серия политических реформ в период правления великих ханов Угэдэя и Гуюка, меры по обеспечению покорности десятков миллионов зависимых людей и порядка в завоеванных странах, переход к высшим формам экзополитарной эксплуатации, постепенно перерастающих в стройную систему налогообложения, – все эти явления в жизни Монгольской империи С.А. Васютин рассматривал как указывающие на активную фазу генезиса государственности в 30–40-х гг. XIII в. Развитие имперских структур в последующие два десятилетия, по его мнению, привело к формированию ранней государственности, причем, если судить по формальным признакам, в ее типичной и даже «переходной» формах (Васютин С.А., 2004б, с. 270–275).

Среди широкого круга признаков раннего государства в Монгольской империи середины XIII в. исследователь выделил следующие: 1) практически неограниченные властные полномочия великого хана, не имеющие аналогов ни в восточных, ни тем более европейских странах (при этом доступ к престолу зачастую зависел от личных качеств члена «Золотого рода»); 2) постепенное создание к 1260-м гг. центральных органов имперского управления (советники секретариата, военачальники, специальные службы, вроде института генеральных инспекторов и пр.), опиравшихся на военно-административные аппараты крупных улусов; 3) кодификация права (особенно в военной сфере), сохранявшего свою обычно-правовую основу (для кочевников); 4) военная имперская администрация; 5) развитие и укрепление, наряду с военной и провинциальной, гражданской администрации (преимущественно фискальной); 6) осуществление фактического учета зависимого оседлого населения с помощью его переписей; 7) широкий спектр фискальной практики, заимствованной у завоеванных народов; 8) появление городов (Каракорум, Сарай-Бату, Сарай-Берке, Сарайчик и др.), которые стали не только военно-административными, но и экономическими центрами; 9) письменный характер большинства ханских распоряжений и правовых документов, наличие имперских почтово-конных и курьерских служб, функционирование которых обеспечивалось чиновниками с военным статусом; 10) монгольская власть на огромной территории образовала специфическое мир-системное пространство, в рамках которого шло распространение управленческого, военного, религиозного опыта, осуществлялась передислокация военных контингентов и групп мирного населения, велась активная торговля между странами Европы и Азии (Васютин С.А., 2004б, с. 275–283).

В целом, по словам С.А. Васютина, именно имперская военно-административная система – та общественно-политическая конструкция, которая обеспечивала в рамках единой политики господство этнически сегментированного кочевого сообщества над эксплуатируемым оседлым населением. Монгольская империя середины XIII в., как ни какое другое политическое образование кочевников, демонстрирует, что «механизмом», соединявшим государственную власть с кочевым населением, была «не столько престижная экономика, сколько военно-иерархическая структура». Конечно, как уточняет исследователь, это не умоляет значения редистрибутивных функций хана и всего военно-чиновничьего аппарата, но в практике Монгольской империи в рассматриваемый период им не отводилось центральное место (Васютин С.А., 2004б, с. 279).

В заключительной части С.А. Васютин отметил, что, несмотря на сохранение в управленческой практике некоторых потестарных (догосударственных) механизмов, сама имперская структура с ее подсистемами, иерархией, жесткой организацией для войны и сбора даней и налогов вне всякого сомнения была не «государствоподобной», а подлинно государственной. Таким образом, Монгольская империя в середине XIII в. представляла собой довольно продвинутую форму ранней государственности, которую ученый условно обозначил как «кочевую суперимперию» (Васютин С.А., 2004б, с. 283).

В другой своей статье «Лики власти» С.А. Васютин (2005) более подробно рассмотрел соотношение архаичных (кланово-линидных), вождеских и раннегосударственных элементов (подсистем) в имперских управленческих системах кочевников. Одной из ключевых проблем для специалистов, на которую обращает внимание исследователь, был вопрос о том, можно ли в политически самых развитых кочевых объединениях зафиксировать политические институты государственного типа, охватывавшие значительные массы собственно кочевого населения? Решение этих вопросов, по мнению С.А. Васютина, осложняется тем, что во всех кочевых империях соотношение догосударственных и раннегосударственных компонентов власти непостоянно и подвижно, а динамика эволюции кочевых империй не была однолинейной и одновекторной. На примере Хуннской державы, Аварского, Тюркских и Уйгурского каганатов мы можем видеть, как «прогрессивные» (направленные на устойчивое воспроизводство властных функций «центра» империи или их расширение) тенденции могли сменяться «регрессивными» (рост автономии отдельных сегментов империи). Порой эти противоречивые тенденции реализовывались одновременно. В Монгольской империи во второй трети XIII в. складывание институтов ранней государственности сочеталось с усилением властных центров на уровне улусов. Исследователь также указывал на периодические «откаты» в кочевых империях «к традиционным клановым институтам управления, когда имперские механизмы подчинения кочевников внутри степи и экзополитарная эксплуатация земледельцев переставали действовать или становились неэффективными», а «власть кочевого лидера утрачивала в такой ситуации имперский характер и действия вождя в первую очередь были направлены на сохранение своей власти в этнической элите», что предвещало крах степной державы. Другой деструктивный процесс, препятствовавший наращиванию раннегосударственного опыта, С.А. Васютин связывал с «перепроизводством политической элиты»: рост числа взрослых мужчин в клане лидера, претендующих на участие во власти, распределении имперских ресурсов, добычи, даров, привилегий и т.д. Показательным он считал и то, что выход из кризиса у кочевников ассоциировался с личностью кочевого лидера, его военно-политическими удачами, т.е. обуславливался только его харизмой. Никаких устойчивых политических структур, способных удержать империю от распада, не было. Каган-победитель, как показал С.А. Васютин (2005, с. 58) на примере истории Второго Тюркского каганата, вновь вынужден был запускать редистрибутивные механизмы поддержания власти.

С.А. Васютин обращает внимание на то, что существование устойчивых точек зрения в отношении кочевых империй – или вождества, или раннегосударственных (государственных) образований – ведет других исследователей к попаданию в «тиски» авторитетных мнений и вынуждает их выбирать ту или иную позицию. Даже позитивная концепция «двойственной природы» кочевых империй не может дать исчерпывающих ответов. «По-видимому, – приходит к выводу С.А. Васютин (2005, с. 59), – надо учесть, что управленческие системы кочевных империй, как явление сложное и многогранное, не могут быть описаны с помощью однозначных дефиниций». Именно поэтому он предложил другой, более перспективный подход, исходя из которого следует говорить о многокомпонентности властных структур в кочевых империях: в таких потестарно-политических образованиях «разные управленческие институты представляли собой адаптированные друг к другу элементы архаичной (клановой), вождеской и раннегосударственной власти, с разным соотношением на опре-

деленных этапах исторического развития». Также определенная внутренняя дифференциация управленческих институтов и политических мероприятий в кочевых империях рассматривалась как свидетельство существования «разных пластов в догосударственной и раннегосударственных политических культурах номадов».

Согласно точке зрения С.А. Васютина, в политической практике кочевых лидеров многие элементы архаичной политической культуры сохраняют свое значение в трансформированном виде в более сложных формах традиционной власти. Поэтому очень неоднозначными представлялась исследователю вождеская и раннегосударственная политическая культура. В связи с этим С.А. Васютин уточнил свою оценку политических структур Монгольской империи. Даже в 20–40-е гг. XIII в., по мере эволюции империи к зрелым институтам раннегосударственной власти, сохранялось немало переходных элементов и практик (личностный характер господства, медленная эволюция даннической системы в налоговую, доминирование военной сферы власти над гражданской и т. п.). Особенно наглядной была политика хана Угэдея (1221–1241 гг.). Несмотря на некоторые изменения (регламентация действий охраны «кебтеулов, хорчинов, тархаутов и всей гвардии кешиктевов», ведение «шулена» – государственной продовольственной повинности, «ундана» – повинности кобыльим молоком, а также налога в пользу неимущих, разделы кочевий, строительство колодцев в Гоби, создание имперской ямской службы и системы ее обслуживания, превращение Каракорума в столицу), источники, как считает автор, описывают его скорее как традиционного кочевого лидера (поддержание своего авторитета с помощью «престижной экономики», причем редиистрибутивные мероприятия выходили порой далеко за грань требуемого: строительство складов для содержания престижных товаров; регулярная раздача на курултаях и по другим случаям принцам крови и военно-аристократическому окружению тканей, денег, оружия и прочего имущества; поощрения людей¹ самого разного статуса во время в перекочевок, охот и других развлечений). На этом основании С.А. Васютин высказался в пользу мнения о преобладании до середины XIII в. архаичных и вождеских элементов в политической организации Монгольской империи. Только к середине XIII в., когда в империи сложилась весьма развитая по кочевым меркам раннегосударственная система, соотношение изменилось в пользу более формализованных государственных практик (охватывающие самые различные виды хозяйственной деятельности налоги, письменное делопроизводство и законодательство, заимствование официальных этикетов и обрядов из чжурчженской, китайской, персидской и иных политических культур, четкая иерархия гражданской бюрократии и т.д.). Однако при этом в империи и ее ведущих улусах в отношении самих кочевников (а порой и других групп населения) использовались архаичные редиистрибутивные механизмы влияния власти на рядовое население (Васютин С.А., 2005, с. 60–62).

Сложносоставной характер управленческих институтов кочевников, по мнению С.А. Васютина, делает перспективным применение системных принципов анализа властных структур в кочевых империях. При этом комплекс элементов (подсистем) нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. К тому же соотношение подсистем было неустойчивым и подвижным. В публикации С.А. Васютин выделил целый ряд признаков указанных подсистем. В архаичной важную роль играли клановый характер лидерства (традиционный авторитет старшего в клане, патронимии), сочетание реципрокации и редиистрибуции, ограничение престижной экономики, а также ритуальной роли правителя кланово-линидным уровнем, подчинение ему основывается на традиционном восприятии полномочий главы клана и пр. В кочевых вождествах на первый план выходили такие признаки, как появление надплеменного лидера с широкими полномочиями в военно-административной, а иногда судебной и сакральной сферах, сохранение личностного характера верховной власти и зависимость ее устойчивости от успешности политических и военных практик (харизмы) вождя, сочетание клановой и имперской сакрализации верховной власти, надлокальный уровень централизации в виде военно-иерархической десятичной системы с соответствующим распределением власти между членами клана правителя и лидерами подчиненных племен, вертикальное подчинение и жесткая дисциплина в армии как средство реализации имперских форм власти; иерархическая система зависимости этнических групп, несколько уровней редиистрибутивных связей (кочевой лидер и военно-

¹ Более всего удивляет иррациональность одариваний Угэдея. Особенно показательна произвольность решений о раздаче казны жителям Каракорума (Рашид-ад-дин, 1960, с. 53), ничем не оправданные выдачи огромных сумм (в тысячи «балашей») или богатств (одной из родственниц Угэдей подарил жемчуг на 80 тысяч динаров) (Рашид-ад-дин, 1960, с. 49, 51–52, 58, 59 и др.). Среди получавших дары не только монголы, кыпчаки и уйгуры, но и китайцы, персы, арабы и даже византийцы, что, скорее всего, отражает имперский характер «престижной экономики».

аристократическое окружение; кочевой лидер и племенные вожди; кочевой лидер и простые номады), военные сборы как средство контроля за подчиненными кочевыми народами и место выполнения общеимперских ритуалов и обрядов, преобладание экзополитарных механизмов получения прибавочного продукта и т.д. Среди признаков формирующегося государства особенно важными С.А. Васютин считал оформление нового образа правителя, синтезирующего полномочия кочевого лидера и «царя» земледельцев, тенденцию к формализации государственной практики (официальное делопроизводство), к ее более рациональному характеру, полиэтничный государственный аппарат с четким разделением функций и разветвленной иерархией; синтез редистрибутивных механизмов и государственной политики, использование фискальных практик, заимствованных из опыта земледельческих государств; сохранение автономии кочевников (основа армии и опора власти) с употреблением в отношении них специальных механизмов управления, сочетание территориальных и этнических принципов административного устройства. Однако исследователь делает оговорку, что предложенный им круг основных подсистем был сведен к трем условным совокупностям (архаичные/патронимические, подсистемы вожеств/надплеменные иерархии с надлокальной централизацией и раннегосударственные), потому является открытым и вполне может быть подвергнут корректировке (Васютин С.А., 2005, с. 65–67).

Изучение истории разных кочевых империй убедило С.А. Васютина в том, что в их политических системах вождеские подсистемы занимали центральное место. Только в завоевательных империях сфера раннегосударственных подсистем значительно расширяется (в том числе и за счет заимствования опыта оседлых народов), постепенно адаптируя и поглощая другие подсистемы. Также ученый предположил, что каждая из вышеназванных совокупных подсистем была по большей части связана с определенной группой «подданных», благодаря чему мы можем произвести условное разделение структурных элементов власти в империях в зависимости от того, на какие группы населения те или иные механизмы власти были направлены. Возвращаясь к судьбе Монгольской империи, исследователь указал, что верховный правитель (а затем и лидеры ведущих улусов) объединял в своем лице функции традиционного кланового лидера, главы надплеменной конфедерации номадов (сложного или суперсложного вожества) и главы поликультурного (с кочевым и оседлым населением) политического образования. Общей для всех типов кочевых империй была определенная энтропия поведения верховных правителей от поколения к поколению – переход от харизматического господства основателей империи и его ближайших преемников к традиционному управлению их наследников (Васютин С.А., 2005, с. 65–66).

В выводах С.А. Васютин подчеркнул, что как сама власть в кочевых империях, так и те, кто ее олицетворял (кочевые лидеры), представляли собой сложные и внутренне структурированные исторические явления. Это ставит перед исследователями сложные задачи по изучению управленческих институтов в номадных политиях с системных позиций и их реконструкции как сложного комплекса разных типов и моделей власти, соединенных в единую имперскую структуру. Выявление устойчивых во времени соотношений подсистем в кочевых политиях в перспективе позволит создать их новую классификацию и расширит понятийный аппарат кочевниковедения.

В ряде других публикаций С.А. Васютин в духе концепции многолинейности политогенеза провел сравнение Монгольской империи и Первого Тюркского каганата с привлечением формальной кросс-культурной методологии. Он обращает внимание на тот факт, что исходные позиции рассматриваемых политических образований достаточно близки. Первый Тюркский каганат в 552 г. и Монгольская империя в 1206 г. представляли собой суперсложные вожества. Схожие формы имела и последовавшая затем экспансия, в которой можно выделить два приоритетных направления – южное («китайское») и западное (захват всей аридной зоны Евразии). Однако исследователь отмечает и существенные различия в завоеваниях. В Тюркском каганате активная фаза экспансии охватила период в 30 лет, при этом практически сразу выделились два управленческих центра – в Монголии и Семиречье. Завоевательный период в истории Монгольской империи растянулся более чем на 70 лет и во время правления Чингисхана (1206–1227) и его сына Угэдэя (1229–1241) существовал единый политический центр, а вся внешняя политика координировалась великим ханом. Различаются и векторы дальнейшего развития анализируемых политических образований номадов. Если Тюркский каганат даже в пору своего наивысшего могущества оставался типичной кочевой империей с элементами даннической эксплуатации в Средней Азии, Восточном Туркестане и ряде периферийных районов (Тува, Минусинская котловина и др.), то политические структуры Монгольской империи развивались в том направлении, которое позволило уже к 60-м гг. XIII в. создать основные государ-

ственные институты, перейти к новой смешанной форме данническо-завоевательной империи (Васютин С.А., 2007, с. 101–102; 2008а, с. 10–11).

Исследователь выделил ряд особенностей политического развития Монгольской империи, которые не позволили запустить механизмы воспроизводства институтов традиционных кочевых империй и в какой-то степени обеспечили трансформацию вождеских структур в государственные. Во-первых, различалась динамика процесса «перепроизводства элиты». В отличие от Первого Тюркского каганата, где междоусобицы и кризис империи начались через три десятилетия со времени ее сложения, Монгольская империя через 30 лет своего существования вела активную завоевательную политику и находилась в фазе «роста», что позволяло постоянно пополнять ресурсы великого хана и обеспечивать за счет них лояльность родственников, кочевой аристократии и представителей военно-дружинной среды. В дальнейшем избежать масштабной внутренней войны в империи удалось благодаря рассредоточению Чингизидов и аристократии по нескольким политико-географическим зонам (Монголия, Китай, Средняя Азия, Персия, Восточная Европа) и возросшими доходами в связи с введением на территории империи регулярного налогообложения земледельцев. Конфликты между потомками Чингисхана происходили, но они, как правило, велись из-за спорных пограничных территорий между улусами, за право контроля над важными политико-административными и торговыми центрами (например: Каракорум, Хорезм). В конечном итоге подобные столкновения способствовали обособлению отдельных улусов, но они долгое время не смогли разрушить стоящую над улусами имперскую структуру (Васютин С.А., 2007, с. 102–103; 2008а, с. 11–12). Здесь, по словам ученого, свою роль сыграли заложены еще Чингисханом принципы привлечения в свое окружение талантливых военачальников и администраторов.

Во-вторых, монголы использовали более жесткие формы подчинения как оседлых, так и кочевых народов. В ходе монгольских завоеваний многие номады, особенно кыпчаки, подверглись жесточайшему уничтожению, ликвидировалась потенциально способная возглавить сопротивление элита, проводились насильственные переселения. Это обеспечило беспрекословную лояльность власти великого хана и всей империи. Подчинение номадов в Первом тюркском каганате, как указывает С.А. Васютин, тяготело к более архаично-традиционной форме. Власть концентрировалась у Ашина, что исключало возможность занятия военных постов другими лицами. В то же время контроль со стороны тюрков за зависимыми кочевниками был намного слабее, чем в Монгольской империи, и чаще всего ограничивался только военно-политическими формами. В период ослабления тюркских каганатов против власти тюрков открыто выступали сеяньто, уйгуры, кыргызы, карлуки и другие племена (Васютин С.А., 2007, с. 103–104; 2008а, с. 13).

В-третьих, существенно отличались отношения Первого Тюркского каганата и Монгольской империи с земледельцами, и прежде всего с Китаем. Если контакты тюрков и китайцев вряд ли выходили за пределы типичного взаимодействия мир-империи и ее пасторальной периферии (дистанционная эксплуатация, постепенная культурная «китаезация» номадной элиты, последующее подчинение Китаю), то монголы смогли объединить мир-империю и кочевую периферию в единую политическую структуру, в которой политико-административное господство монголов в Китае обеспечивало не только высокий уровень жизни императорской семье, монгольской аристократии и солдатам постоянных военных подразделений, но и способствовало стабилизации положения оставшихся в степи номадов за счет постоянных раздач и даров (Васютин С.А., 2007, с. 104; 2008а, с. 13).

В-четвертых, специфику Монгольской империи наглядно характеризует ее постепенное превращение в мир-систему. Объединив под своей властью регионы с разными хозяйственными специализациями, великие ханы обеспечили возможность многосторонних торговых связей и транспортировку товаров практически во все точки Евразии. Причем политико-административные структуры развивались параллельно с торговыми структурами. Созданные для обеспечения ямской службы, сотни опорных баз одновременно являлись частью торговой инфраструктуры. В Монгольской империи постепенно на месте военно-административных ставок выросли крупные торговые центры (Каракорум, Сарайчик, Сарай-Берке и т.д.). В отличие от монголов, тюрки в союзе с согдийцами пытались контролировать торговлю только одним стратегическим товаром – шелком, но без контроля над Китаем и Персией данная торговля всегда встречала препятствия. То есть тюрки не смогли объединить основных торговых контрагентов под своей политической властью. Очевидно, пишет С.А. Васютин, что «материальные ресурсы Тюркского каганата из-за ограничения изъятий прибавочного продукта земледельцев только методами экзополитарной эксплуатации, многократно уступали доходам Чингизидов. Постоянные внутренние столкновения, отсутствие городов и зависимость

от позиции Китая с момента провозглашения там династии Суй исключали создание в рамках Первого Тюркского каганата устойчивой евразийской системы международной торговли с большим товарооборотом» (Васютин С.А., 2007, с. 104–105; 2008а, с. 13–14).

В-пятых, значительное отличие параметров двух империй продемонстрировало их сравнение на основе формальной кросс-культурной технологии, разработанной Дж. Мёрдоком и К. Провостом. Они предложили оценивать каждое общество исходя из десяти критериев сложности (письменность, степень оседлости, земледелие, урбанизация, технологическая специализация, транспорт, деньги, плотность населения, уровень политической интеграции, социальная стратификация) по 5-балльной шкале. С.А. Васютин, чтобы зафиксировать ситуацию в динамике, сделал по каждой из империй три хронологических среза: по Первому Тюркскому каганату – это 552 г. (основание), 570 г. (наивысший расцвет), 603 г. (окончательный раскол на две части); по Монгольской империи – 1206 г. (провозглашение империи), 1237–1242 гг. (экспансия в Европу), 1271 г. (окончательный захват Китая). Исследователь осознает, что его расчеты несколько приблизительны и могут быть уточнены специалистами. Но при этом показательны именно тенденции. Если для Тюркского каганата уровень сложности на протяжении 50 лет оставался почти неизменным (15–17 баллов), то в монгольском случае наблюдался существенный рост сложности имперского сообщества к 1271 г. (более чем в 2 раза по сравнению с 1206 г.). Таким образом, эволюция Первого Тюркского каганата происходила в рамках традиционного пути трансформации кочевых империй. Более же мощный и продолжительный завоевательный импульс Монгольской империи позволил объединить в рамках суперполитии практически всех кочевников Евразии и большинство земледельческих центров азиатского региона и Восточной Европы. В итоге уже к середине XIII в. Монгольская империя с трудом вписывается в критерии «кочевых империй». Уникальность этого крупнейшего политического образования кочевников заключалась в объединении в лице монгольской суперполитии трех форм – кочевой империи, государства и мир-системы (Васютин С.А., 2007, с. 105–109; 2008а, с. 14–17).

Определенный итог отечественным исследованиям по истории Монгольской империи подвела совместная монография Н.Н. Крадина и Т.Д. Скрынниковой «Империя Чингис-хана» и ряд публикаций Н.Н. Крадина (2007, с. 261–306; 2007б). Характеризуя общественно-политическую организацию Монгольской империи начала XIII в., исследователи показали, что данная оценка может быть достаточно дифференцированной в зависимости от выбранной методологии. Тем не менее авторы выделяют несколько важных этапов в политической трансформации империи: 1) племенные политии и вождества середины – второй половины XII в.; 2) усложнение предгосударственных потестарно-политических структур в первой четверти XIII в. при отсутствии «больших групп специальных функционеров»; 3) зарождение аппарата управления при Угедее; 4) завершающий этап оформления бюрократической системы в годы правления Хубилая. Возникшие в империи экономические связи, торговые маршруты, разные центры взаимодействия со многими странами и территориями Евразии создали «пространство», описываемое как мир-система (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 443–471, 490–494, 497–502; Крадин Н.Н., 2007, с. 274–278, 287–306).

Ключевой вопрос о соотношении понятий «империя» и «государство» в период наиболее активной фазы завоеваний Чингисхана не имеет однозначного решения для исследователей. Попытка сопоставить реалии управления Монгольской империи при Чингисхане с характерными чертами типичных ранних государств привела Н.Н. Крадина и Т.Д. Скрынникову к выводу, что по четырем признакам (отсутствие регулярных выплат жалования должностным лицам, письменного свода законов, налогов, собираемых с кочевников, специальных чиновников) империя Чингисхана больше тяготеет к вождеству, по двум (развитие внеклановых отношений в управляющей системе и наличие специального аппарата судей) – к раннему государству. Не вдаваясь в дальнейшие споры о терминах и их значении, ученые твердо обозначили свой подход: Монгольская империя при Чингисхане не являлась сформировавшимся государственным организмом, оставаясь суперсложным вождеством (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 504–507; Крадин Н.Н., 2007, с. 281–285).

Н.Н. Крадин, рассуждая о факторах создания Монгольской империи, последовательно отверг концептуальное влияние на процесс зарождения империи Чингисхана климатических изменений и демографического роста кочевников, отметил сложность применения к монголам теории Т. Барфилда о синхронности процессов интеграции кочевников с ростом населения и экономики Китая. Более приемлемой для «монгольского случая» он считает теорию Н. Ди Космо, который связывал зарождение империи у монголов с тремя обстоятельствами: 1) структурный кризис внутри общества кочевников; 2) вызванная кризисом милитаризация и создание военно-иерархической структуры;

3) одновременное появление харизматического лидера и его сакральная легитимизация в качестве правителя. К этому списку Н.Н. Крадин (2007б, с. 19–30) добавляет «различные внешнеполитические предпосылки», однако решающее значение он отвел личным качествам Чингисхана, которые оценивает как «важный системный фактор» возникновения империи.

Наряду с изучением кочевых империй большой интерес у отечественных ученых вызвали исследования кочевых обществ на основе цивилизационного подхода. Первым, как уже указывалось в предыдущем параграфе, концепцию степной цивилизации предложил А.И. Мартынов. Еще в 1989 г. на основе концепции скифо-сибирского единства им была выдвинута идея о существовании в I тыс. до н.э. «степной скотоводческой цивилизации». В некотором смысле такая постановка проблемы противоречила господствующим представлениям о взаимодействии кочевого и оседлого миров, но, с другой стороны, ставила вопрос о специфике кочевничества на новый уровень – цивилизационный. Ученый предлагал взглянуть на мир степной Евразии не через его отдельные части – археологические культуры и связанные с ними этнополитические образования, а как на вполне определенную историческую макросистему, сложившуюся в связи с распространением и развитием в степях производящих форм хозяйства. Среди признаков «степной цивилизации» исследователь назвал и наличие «стративно-классовой системы», «ранней государственности», искусства «звериного стиля» как «социально-знаковой идеологической символики» (Мартынов А.И., 1989, с. 284, 287–292; 1989а, с. 7–11).

Идея А.И. Мартынова вызвала бурную дискуссию, не утихающую до сих пор. Концепция «скифо-сибирского единства» и «скотоводческой цивилизации» обсуждалась на специальном совещании в отделе скифо-сарматской археологии Института археологии РАН. Его итоги были опубликованы в 207 выпуске «Кратких сообщений Института археологии РАН» в 1993 г. В целом концепция «степной цивилизации» была воспринята неоднозначно. Многие специалисты высказали мнение, что совокупность своеобразных кочевнических культур степной Евразии скифского времени невозможно расценить как некое этническое или культурное единство и уж тем более как цивилизацию. Резко против идеи «скотоводческой цивилизации» выступил В.А. Башилов. Он подчеркнул, что такие главные критерии цивилизации, как города и письменность, не прослеживаются у кочевников скифо-сибирского мира. На этом основании он не считал возможным поддержать А.И. Мартынова. В завершении своего доклада В.А. Башилов (1993, с. 37) отметил, что «попытки... подменить принятые критерии реалиями кочевого мира, например, выдать за наличие монументальной архитектуры возведение больших курганов, не выдерживают критики».

Следует подчеркнуть, что восприятие цивилизационного подхода отечественными кочевниковедами осложнялось не столько следствием советской инерции и длительным доминированием стадийно-формационных теорий (наоборот, российские ученые в 1990-е гг. стремились к поиску и применению инновационных концепций и идей), сколько слабой разработанностью цивилизационной теории применительно к самим кочевникам. Даже «классик» цивилизационных исследований А. Тойнби отвелномадам незначительную роль в мировой истории. Также следует признать, что как сторонники, так и противники существования цивилизации у кочевников редко обращались к анализу теоретических положений цивилизационного подхода, а тем более к самостоятельной разработке его концептуальных основ. В работах отечественных ученых 1990-х гг. по проблемам цивилизации у кочевников, как правило, не проводился всесторонний анализ понятия «цивилизация», отсутствовали специальные методики сравнительного изучения кочевых и оседлых обществ, использовалось весьма ограниченное число доводов и аргументов.

Редким исключением стала попытка критического анализа концепции кочевой цивилизации А.П. Медведевым. В самой попытке применения «цивилизационной» терминологии он видит стремление ученых «приподнять» (модернизировать) уровень исторического развития кочевых социумов. Причем, замечает исследователь, «...это достигалось не скрупулезным анализом и осмыслением источников, а чаще всего путем простого наложения модного ярлыка «цивилизация» ... на древние скотоводческие общества, хотя зачастую весь их облик, реконструируемый археологами, во многом противился этому». В результате «сам термин ставится впереди теории», еще до ее сколько-нибудь системной разработки. Ученый обращает внимание на опасность такого подхода, так как опыт развития отечественной науки показывает, что «со временем такая оценка становится все более привычной, приобретая форму аксиомы, хотя нормальная процедура ее обоснования отсутствует или базируется на явной подмене понятий» (Медведев А.П., 2002, с. 137).

Остановившись на различных трактовках термина «цивилизация» А.П. Медведев выделяет четыре основных подхода к пониманию данной дефиниции: 1) стадияльно-исторический – цивилизация понимается как высшая ступень развития человеческого общества; 2) культурологический – цивилизация как тип культуры с неповторимым своеобразием; 3) нормативно-оценочный – цивилизация как воплощение мирского, материального, повседневного противопоставляется культуре как чему-то возвышенному, духовному; 4) «французский» – т.е. слово «цивилизация» во французском языке обозначает культуру безотносительно к уровню ее развития. Ученый полагает, что в современной российской археологической литературе встречается расширительное понимание цивилизации во французском «духе», но преобладает «тяготение к стадияльно-историческому подходу Морган–Энгельса (Медведев А.П., 2002, с. 139).

Изучение скотоводческих обществ в свете цивилизационной теории с археологической точки зрения, как полагает А.П. Медведев, требует кропотливого анализа источников. Он также намечает программу подобных исследований, которая позволит сопоставить разные общества. Ключевыми ученый считает изучение поселенческих структур или остаточных схем расселения, господствующих типов и размеров поселений, размеров жилищ, которые могут указать на тип и состав семьи, различий в размерах погребальных сооружений, что отражает социальную неоднородность того или иного общества, выявление места престижных захоронений в структуре могильников и отдельных курганов. В этом контексте А.П. Медведев обращает внимание на появление в причерноморских степях в V в. до н.э. больших городищ, прежде всего Каменского и Елизаветинского, которые были «не только торгово-ремесленными, но и административными центрами отдельных областей Скифии». Как бы мы ни оценивали все эти памятники скифского времени с позиций цивилизационного подхода, ученый считает необходимым признать, что «объективно они свидетельствуют о качественно ином состоянии общества по сравнению с эпохой бронзы, о наличии в нем сильных властных структур, способных подвигнуть эти общества к выполнению гигантских по объему работ». Их отражением, по его мнению, являются расположенные поблизости от степных городищ аристократические могильники, содержащие курганы «царского» ранга, что также «служит наглядным показателем концентрации власти в руках скифских царей и их номархов, которые по размерам погребальных сооружений и роскоши сопровождающего инвентаря не имеют аналогов даже в более поздних «кочевых империях» Средневековья». Все это позволило А.П. Медведеву (2002, с. 143–144) говорить «о существовании у кочевников не только сложных, но и суперсложных вожеств, перерастающих в раннегосударственные образования».

Сравнивая скотоводческие общества эпохи бронзы и кочевников раннего железного века, А.П. Медведев указывал на формирование в скифское время не только власти вождей, но и на появление военной аристократии и профессиональных воинов-дружинников. На это, по мнению ученого, указывают воинские дружинные могильники типа Посульских и Среднедонских курганов или «Золотого кладбища» сарматской эпохи на Кубани, в которых «не менее 50% погребенных... имели основные атрибуты воинов, включая не только наступательное вооружение, но зачастую и доспех». При этом эти воины погребались под индивидуальными насыпями, которые «составляли большие могильники, насчитывающие десятки, а иногда и сотни курганов». На этом основании исследователь считает уместным говорить о «сословном делении общества» (под «сословиями» он понимал «социальные группы, различающиеся прежде всего по положению в обществе», причем эти различия «закреплены обычаями, религией, а позже – юридически» (Медведев А.П., 2002, с. 145).

Подводя итоги, А.П. Медведев фиксирует, что кочевники раннего железного века юга Восточной Европы, в сравнении с социумами этой же территории эпохи бронзы, отличались определенной иерархией поселений внутри локальных микрорайонов, наличием очень крупных поселений, выполнявших торгово-ремесленные и административные функции, повсеместным распространением жилищ небольших размеров для одной малой патриархальной семьи, сооружением отдельных некрополей для властвующей в Скифии военно-аристократической элиты, появлением государственности с правящей династией, наличием иконографических образов хищников, «в том числе в характерных геральдических позах, служивших символами власти в развитых вожествах и ранних государствах», «...не говоря уже о сюжетах греко-скифского антропоморфного искусства, а также нумизматических материалов с легендами скифских царей» (Медведев А.П., 2002, с. 147–148). Но, несмотря на эти важные проявления сложного характера степных сообществ эпохи раннего железа, А.П. Медведев не решается «настаивать на наличии у скифов или сарматов цивилизации в стадияльно-историческом смысле». В данном случае он аргументирует свою позицию не только

иным смыслом понимания термина «цивилизации» как гражданского общества (от *civis* – гражданин), не получившего развития у кочевников, но и отсутствием у кочевников скифского времени такого важнейшего атрибута цивилизации, как письменность (Медведев А.П., 2002, с. 148–149).

В целом к началу 2000-х гг. можно говорить о ранних этапах осмысления в российском кочевниковедении истории кочевников в русле цивилизационной парадигмы. Исследователи расширяют собственную аргументацию, занимаются проблемами и методиками сравнительного анализа, обращаются к теоретическим и терминологическим аспектам. Однако по-прежнему теоретические основы цивилизационного подхода к оценке кочевнических социумов разработаны слабо. Не случайно, что до сих пор в российской науке не появился фундаментальный труд по кочевой цивилизации (либо по цивилизациям отдельных регионов степной Евразии). Преимущественно публикации по этой теме представлены статьями и обзорами. Но все же их число и содержательная сторона свидетельствуют о постепенном движении отечественных ученых к построению фундаментальных концепций кочевой цивилизации.

Из многочисленных публикаций, в которых поднимаются вопросы цивилизационной трактовки истории кочевников, выделим работы А.И. Мартынова, Н.Н. Крадина, А.М. Буровского, Г.Г. Пикова. Отвечая на критические замечания оппонентов, А.И. Мартынов повторно и более детально обосновал возможность выделения «степной цивилизации». Он открыто выступил против стадийного подхода, указывая при этом, «чтобы ни создавал скотоводческий мир, какие бы достижения в мировой истории ни имел», – он «заведомо был обречен на вечное пребывание на стадии варварства» (Мартынов А.И., 2000, с. 80). Также размышляя над критериями цивилизации, разработанными В.М. Масоном, исследователь справедливо отмечает, что нельзя подходить к оценке степных обществ на основе признаков земледельческих цивилизаций. Причем, как указывает А.И. Мартынов, необходим гибкий подход, так как некоторые признаки будут совпадать, а некоторые отличаться. В кочевничестве он видит рациональную форму адаптации к условиям степной Евразии, что трактуется как экономический фактор. Выделяются также этнический, идеологический, социальный и внешнеполитический (противостояние кочевников Древней Греции, Ахеменидской Персии, Китаю) факторы (Мартынов А.И., 2000, с. 80–82; 2003, с. 7–10).

В истории «степной цивилизации» А.И. Мартынов выделяет два периода: 1) «эпоху скифо-сибирского мира» (VII–III вв. до н.э.); 2) «гунно-тюркскую эпоху» (со II в. до н.э. и до монгольских завоеваний). Уже в VIII–VII вв. до н.э., как пишет ученый, «появляются первые признаки цивилизации: монументальная архитектура погребальных сооружений, монументальное искусство каменных изваяний, пышные и общественно значимые погребения вождей племенных союзов, социально значимое искусство» (Мартынов А.И., 2000, с. 82). Для времени расцвета «скифо-сибирского мира» он существенно расширяет список признаков «степной цивилизации»: 1) развитие региональных экстенсивных форм скотоводства и пойменного, орошаемого земледелия, дающих стабильный прибавочный продукт; 2) развитие специализированных форм ремесленной деятельности: горно-рудной, металлургической, ювелирно-художественной, строительной; 3) наличие монументальных погребальных и культовых сооружений; 4) высокоразвитое искусство звериного стиля как выражение социальной идеологии со знаково-коммуникабельными функциями; 5) наличие стратовой-классовой системы, фиксируемой в ряде случаев археологически; 6) существование устойчивых транспортных и обменных контактов вдоль степной зоны; 7) рост численности и плотности населения в степях, концентрация его в определенных территориях; 8) существование в V–II вв. до н.э. ранних государств скифов, саков, в Горном Алтае, в верховьях Енисея и в Ордосе с определенной сложившейся экономической базой, социальной структурой, идеологией и границами распространения (Мартынов А.И., 2000, с. 82; 2003, с. 11–14).

Сильными сторонами «степной цивилизации», по сравнению с земледельцами, исследователь считал: 1) более обширную зону распространения и отсутствие естественно-регламентированной зависимости, характерной для раннеземледельческих цивилизаций; 2) более легкие возможности получения прибавочного продукта; 3) почти неограниченные возможности развития экстенсивного скотоводства; 4) наличие источников металла; 5) кочевники выработали сумму культурно-исторических ценностей в развитии животноводства, транспортных средств, домостроительства, горнорудном деле, металлургии, продуктов питания, рациональных форм одежды, мировоззрения, которые стали достоянием мировой культуры; 6) государства кочевников начиная с рубежа VI–V вв. до н.э. были во многом определяющей силой в Евразии, их влияние распространялось на соседние

племена и народы, не достигшие еще уровня государственности (Мартынов А.И., 2000, с. 82–83; 2003, с. 14).

На рубеже нашей эры начинается трансформация цивилизации, «в степях меняется характер культуры, складываются основы новой эпохи». Эти изменения автор концепции связывал с деятельностью гуннов, усуней, сарматов и новым периодом в истории степной цивилизации – «эпохой номадизма». Ее особенности А.И. Мартынов (2000, с. 83; 2003, с. 15) обозначил следующим образом: усиление роли экстенсивного скотоводства как экономической основы; появление новых направлений в экономике; изменение этнического состава; возникновение лидирующих центров и концентрация в руках знати прибавочного продукта; наличие у знати престижных символически значимых предметов; появление новых элементов духовной (новые сюжеты в искусстве, иные художественные традиции) и материальной (иное наступательное и оборонительное вооружение) культуры и т.д..

Близкий подход к проблеме кочевой цивилизации был предложен Г.Г. Пиковым. Кочевую цивилизацию он трактует как «особый мир, отличающийся как от западной, так и от восточной цивилизации», а степной образ жизни считает таким же «историческим феноменом, как и городской, сельский, морской» (Пиков Г.Г., 2009, с. 5). Зарождение кочевой цивилизации исследователь относил к середине I тыс. до н.э. и выделил три периода в «классической эпохе существования кочевой цивилизации»: 1) гуннский (III в. до н.э. – V в. н.э.) – эпоха великого переселения народов, когда происходит изменение политической карты Великой Степи и сопредельных территорий (Китай, Индия, Европа), формирование новых этнокультурных сообществ; 2) тюркский (VI–XII вв.); 3) монгольский (XII–XIV вв.). Также Г.Г. Пиков обозначил ряд фундаментальных признаков территории расселения кочевников: стабильность и длительность существования данной цивилизационной зоны; уникальность исторического развития; этноцентризм, доходящий до представлений об «избранности» народа и идеализирования своей территории; этнокультурная «гибридность»; самобытность и оригинальность культурных представлений и традиций и их близость; этнокультурный экспансионизм, доходящий до навязывания своей цивилизационной парадигмы. Таким образом, кочевая цивилизация на определенной территории (реализация перечисленных выше признаков осуществлялась в пределах степи и травянистых пустынь Евразии) и в определенный исторический период (Пиков Г.Г., 2009, с. 5–6).

Наиболее обстоятельно Г.Г. Пиков рассмотрел вопрос о существенных чертах кочевых цивилизаций. Всего он выделяет более 15 таких черт. Одни из них фактически характеризуют особенности кочевой ментальности и восприятия номадов соседями, религиозные, этические и другие установки, бытовавшие в кочевой среде (умение «уживаться» с оседлыми народами; традиционализм, охватывающий всю общественную жизнь, мораль, обычаи, мировосприятие и миропонимание; коллективизм, растворяющий человека в массе скотоводов; представления об особой силе «верховой власти»; специфичный «религиозный» комплекс идей и рецептов, который объединяет и регулирует этнические и социальные группы и маркирует цивилизацию, отличая ее от соседей; специфика представлений о сакральном начале («Тэнгри» – «Небо»); особые представления об истории; письменность и т.д.), другие – особенности социально-политического устройства, социально-правовых норм (своеобразие форм государственного и социального развития, связанное со сложной социальной структурой, имеющей «вертикальный» характер; возможность складывания предельно централизованного государства; специфичная хозяйственная деятельность; идея землепользования, а не землевладения; система налогов и дани и пр.). В качестве центрального признака цивилизации ученый выделил такой критерий, как «строительство» цивилизацией самой себя, т.е. самоосознание своей роли, выбор особого пути постижения «воли Неба», долг как основа универсальной морали, цель истории как принятие «небесного порядка» и т.д. Именно эти качества культуры, культурной общности, как считает Г.Г. Пиков (2009, с. 7–8), дают «возможность отличить цивилизацию от природно-климатических и хозяйственно-культурных зон (охотников-собирателей Австралии или арктических охотников и рыболовов)...

Особый взгляд на проблему кочевой цивилизации представил А.М. Буровский. Под «цивилизаций» он понимает определенный тип (но не уровень) развития культуры. С целью выявления специфики кочевой цивилизации исследователь проводит сравнение кочевых и земледельческих обществ по следующим позициям: размер антропогеосистемы; факторы ландшафтообразования; энергетические критерии; трансформация вещества (количество металла и обработанного камня, приходящегося на единицу населения и сферы их применения); социальные критерии; культурологиче-

ские критерии (наличие элитной культуры, процент лиц, включенных в элитную культуру, степень рационализации культуры, процент грамотных и т.д.). При колоссальных различиях антропогеосистем скотоводческой и земледельческой цивилизаций А.М. Буровский одной из общих черт для них считает объединение хозяйственных коллективов. Но при этом такие объединения земледельцев, как правило, направлены на решение задач по интенсификации производства, а у кочевников – для совместного достижения политических целей (например, совместные действия за пределами обитаемой ими территории – военные походы, грабежи и пр.) либо возведения курганов, стел, изваяний (Буровский А.М., 1995, с. 152, 157–159).

Говоря о наиболее важных отличиях степной цивилизации, исследователь подчеркивает, что внешняя эксплуататорская деятельность кочевников «предполагает наличие слабо дифференцированного в социальном отношении, но сплоченного дисциплиной и осознанием своего историко-культурного единства ядра и периферии, которые могут находиться на самом различном уровне социально-политического и экономического развития и объединены только фактом политического подчинения центру». Тем самым одним из достижений цивилизации кочевников были имперские образования, вроде «Вечного эля» тюрков, разделенные на центры и периферии. При этом консолидация для получения внешних ресурсов мало влияла на состояние самого кочевого общества. Его инфраструктура остается архаичной, разделение труда не интенсифицируется даже притоком ремесленников в степь – «эти люди создают шедевры прикладного и монументального искусства, обогащают генофонд, но в социальном отношении остаются вне ядра», а «их образ жизни и культура не являются ни желательным, ни даже допустимым образцом подражания». В такой ситуации неизбежно более быстрое развитие периферии и распад кочевых империй. Но, по мнению ученого, большинство империй приходят в упадок еще раньше, так как политические объединения кочевников не имеют прочной экономической базы, а скотоводческое хозяйство развивается циклично (колебания численности стад, периодические кризисы). Цикличность присуща и социально-политическому развитию кочевников. Неустойчивость кочевых империй приводит к прерыванию историко-культурных традиций. Пока империя переживает «взлет», возводятся монументальные сооружения, строятся целые города, никак не вписывающиеся в инфраструктуру скотоводческого «ядра» империи, воздвигаются дворцы и пр., что свидетельствует об обладании колоссальными ресурсами, но как только начинается фаза «падения» – «происходит резкое сокращение энергетических возможностей и, соответственно, переход на более низкий уровень социально-политического развития». Тем самым исключается прогрессивная динамика кочевого общества, ее трансформация в более сложную экономическую и социальную общность (Буровский А.М., 1995, с. 160, 162–163).

Интерпретацию истории кочевников в цивилизационном русле поддержал Н.Н. Крадин. В своих работах середины 1990-х гг. он писал о мегацивилизационной целостности – кочевом мире, отличающемся специфичным типом хозяйственной деятельности и связанными с ним социокультурными характеристиками. Так же, как и А.И. Мартынов, Н.Н. Крадин указывал на важную роль кочевого общества в человеческой истории, влияние миграций и завоеваний кочевников на развитие многих древних и средневековых земледельческих цивилизаций, этническую историю народов мира. В заслугу кочевникам исследователь поставил то, что их мобильная система коммуникаций «заняла одно из ключевых мест в трансляции политической, технологической и культурной информации» и способствовала установлению «транзитных связей между локальными очагами человеческой культуры». Подчеркивал он вклад кочевников в сокровищницу мировой культуры, а также влияние степного мира на земледельцев в таких сферах, как вооружение, одежда, конское снаряжение, поведенческие императивы (Крадин Н.Н., 1995б, с. 165).

Предварительно Н.Н. Крадин вычленил из кочевого общества пять локальных вариантов, которые отличались составом стада, типами кочевания, материальной культурой, формой и степенью развития социальной организации, образом жизни: евразийский, североафриканский и переднеазиатский, высокогорный (тибетский и андский), южноафриканский, североазиатский.

В своих последующих работах, затрагивающих вопрос о кочевого общества, Н.Н. Крадин выразил точку зрения, согласно которой он считал более оправданным говорить о кочевого общества не в рамках всей Евразии, а применительно к отдельным ее регионам. Такую позицию он считал более корректной, предлагая в качестве примера цивилизационного развития Внутреннюю Азию (Крадин Н.Н., 2000г, с. 77–78). При этом исследователь полагал, что процесс становления кочевого общества был длительным и объективно ранние кочевники в лице пазырыкцев и тагарцев, а также Хуннская держава не набирают необходимого количества признаков, чтобы считаться, согласно

выработанным критериям, особой цивилизацией. Только применительно к Тюркскому и Уйгурскому каганатам (появление письменности и городов) Н.Н. Крадин пишет о завершении процессов цивилизационного строительства. Расцвет кочевой цивилизации он связывал с Монгольской империей и даже ставил вопрос о возможности ее характеристики как отдельной цивилизации (Крадин Н.Н., 2007, с. 88, 93). Одновременно с этим ученый подчеркивает, что вряд ли кочевники разных зон Евразии и Северной Азии «осознавали себя как нечто единое, противостоящее другим народам». Поэтому, говоря о кочевом мире в целом, он предлагал рассматривать его как «квазицивилизацию», т.е. «некое внешне похожее на цивилизацию единство, которое на самом деле представляется концептуальным конструктом, созданным в мыслях исследователя» (Крадин Н.Н., 2007, с. 92).

В работах кочевниковедов последних 10–15 лет просматривается разное понимание термина «цивилизация» и разное территориально-культурное его наполнение. Теория цивилизаций применялась ко всей степной Евразии (Буровский А.М., 1995; Мартынов А.И., 2000; 2003; Пиков Г.Г., 2009), к метарегионам, но в определенных временных рамках – раннесредневековая цивилизация Центральной Азии (Волков В.В., 1996, с. 3), к этнохронологической ретроспективе – древнетюркская цивилизация (Кляшторный С.Г., 2003, с. 490–496; 2006а, с. 564–570), к определенным кочевым обществам – цивилизация Золотой Орды (Кульпин Э.С., 2004, с. 167–186) и даже в локальном варианте – «кочевая цивилизация Восточного Туркестана» (Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002). В последнем случае изначально можно было предполагать, что Ю.С. Худяков и С.А. Комиссаров выделяют и другие локальные цивилизации на пространстве степной Евразии. Однако внимательное прочтение совместной работы указанных авторов наводит на несколько иную мысль. По их мнению, в основе зарождения цивилизации лежало рациональное природопользование в рамках одной из форм производящего хозяйства – кочевого скотоводства. Именно на базе данного культурно-хозяйственного типа, как полагали исследователи, и «сложились основы цивилизации кочевников Центральной Азии» !!! (Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002, с. 7).

В понимании цивилизации они исходили из обозначенной в работах В.М. Массона «триады» признаков: монументальная архитектура, города и письменность. Вслед за А.И. Мартыновым исследователи полагали, что «крупнейшие погребальные сооружения кочевников (типа курганов Аржан или Иссык) по трудозатратам, а часто и по внутреннему устройству приближаются к параметрам наземных монументальных сооружений» (Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002, с. 7–8). Наличие у кочевников второго признака цивилизации (письменности) авторы обосновывают не только фактом существования письменности в средневековый период, но и особой культурной традицией кочевников фиксировать и передавать важнейшую информацию как в словесной форме (эпос), так и в кодовом варианте (искусство «звериного стиля»). Урбанизация у кочевников представлялась Ю.С. Худякову и С.А. Комиссарову в виде периодически действовавших «крупных поселений городского типа» (причем в качестве примера фигурировало место собрания у хунну Лунчэн). Также ученые предполагали, что следует учитывать города в политических объединениях, образованных в ходе установления кочевниками контроля над территориями с земледельческо-городским населением (Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002, с. 8).

Представляется, что концепция существования локальной кочевой цивилизации Восточного Туркестана, предложенная Ю.С. Худяковым и С.А. Комиссаровым, недостаточно обоснована. Прежде всего следует подчеркнуть, что большая часть анализируемой работы посвящена описанию археологических материалов и практически не раскрывает обозначенную в названии книги проблему «кочевой цивилизации Восточного Туркестана». Более того, даже рассматриваемые восточно-туркестанские артефакты не используются в качестве обоснования цивилизационного статуса местных кочевых сообществ. Показательно, что, аргументируя свою позицию в отношении монументальных сооружений у кочевников, Ю.С. Худяков и С.А. Комиссаров указывают на археологические материалы не из Восточного Туркестана, а из разных точек евразийских степей (Тува, Казахстан, Монголия и пр.). Более того, в анализируемом издании широко представлены археологические материалы оседлого и городского населения Восточного Туркестана, а сами исследователи неоднократно упоминают о симбиозе кочевого и городского начала, а также о существенной роли восточно-туркестанской городской культуры, торговли, ремесла в истории кочевых объединений Центральной Азии (Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002, с. 5, 51–52, 61, 62, 68–69, 72–83, 92–100).

Авторы не выделяют каких-то особых культур, характерных только для Восточного Туркестана (для восточно-туркестанской кочевой цивилизации). Наоборот, большинство представленных в работе материалов из кочевнических памятников Восточного Туркестана исследователи интерпре-

тируют в контексте хуннских, древнетюркских, уйгурских и других культурных традиций, т.е. подчеркивается отсутствие принципиальных различий анализируемых археологических материалов Восточного Туркестана с синхронными находками на территории Монголии и Саяно-Алтая. Все это позволяет воспринять оговорку исследователей о цивилизации Центральной Азии (Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002, с. 7), а не обозначенную в названии учебного пособия Восточного Туркестана, как неслучайную. Судя по контексту данного издания, Ю.С. Худяков и С.А. Комиссаров, скорее всего, предполагают существование более масштабной цивилизации в пределах Центральной Азии.

Некоторые ученые, как, например, А.М. Хазанов (2002, с. 47), предпочитают избегать словосочетания «кочевая цивилизация» и используют другой термин – «историко-культурный регион». Этот термин, являясь более нейтральным, по сравнению с понятием «цивилизация», все же оставляет без ответа целый ряд вопросов и также требует обоснования и определенных критериев. В противном случае не совсем ясно, что понимать под «историко-культурным регионом» – степной пояс Евразии или какие-то отдельные регионы аридной зоны.

Таким образом, можно констатировать, что в современном российском кочевниковедении обозначилось несколько концепций кочевой цивилизации. В данный момент трудно предполагать, какая из них, интегрировав разные точки зрения, сможет занять ведущие позиции. Более вероятно развитие идей кочевой цивилизации в нескольких направлениях: 1) кочевой мир как единая цивилизация; 2) кочевая цивилизация, но в определенных территориальных, хронологических и этнических границах; 3) отдельные общества, созданные номадами, как цивилизации (Тюркский каганат, Монгольская империя, Золотая Орда и т.д.). В этой связи небезынтересны результаты кросс-культурного анализа наиболее известных кочевых обществ, проведенного Н.Н. Крадиным (2004; 2007, с. 61–85). На основании критериев, разработанных Дж. Мёрдоком и К. Провостом, он выявил существенные различия между кочевыми обществами в уровне сложности (например, хунну, сяньби, жуужане, тюрки и уйгуры «набрали» всего от 17 до 20 баллов, в то время как Золотая Орда – 25, а Ляо – 35 баллов). Это лишним раз подчеркивает необходимость воспринимать и анализировать кочевой мир как достаточно дифференцированную категорию, а в контексте цивилизационного подхода учесть, что возможно далеко не все кочевые общества достигали такого уровня социально-политического и культурного развития, чтобы их можно было соотнести с понятием «цивилизация».

Не менее остро ставятся вопросы о характере социальной системы номадов, выделении этапов в эволюции кочевых обществ, связанных с определенными параметрами общественных структур. Как было показано выше, отечественные исследователи, анализируя историю кочевников сквозь призму разных подходов, выделяли отдельные периоды и этапы (например, в развитии кочевой цивилизации), подчеркивали различия между кочевниками скифской и более поздних эпох, отмечали разные векторы развития номадов Центральной Азии и других регионов. В значительной мере среди современных специалистов представлен и стадийно-хронологический подход к истории кочевников. Так, подобные взгляды прослеживаются в работах Д.Г. Савинова. Он, в частности, конкретизирует понятие «ранние кочевники», предложенное в конце 1930-х гг. М.П. Грязновым. Ученый отметил, что термин «ранние кочевники» необходимо рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах – хозяйственном и социальном. Сама «эпоха ранних кочевников» представляет собой конкретный исторический период от конца эпохи бронзы до начала становления государства, характеризующийся определенной соционормативной моделью культуры. Каждая такая модель, несмотря на региональную специфику, основана на полукочевом или отгонном скотоводстве, определенном уровне развития социальных отношений, идеологии и искусства (Савинов Д.Г., 1993б). При такой интерпретации все кочевые общества скифской эпохи рассматривались лишь как союзы племен, а не как раннегосударственные образования. Сложение государства у номадов априорно признавалось только в следующий гунно-сарматский период, на который «эпоха ранних кочевников», по мнению Д.Г. Савинова, уже не распространялась. В одной из своих последних монографий, посвященной вопросам культурогенеза ранних кочевников Верхнего Енисея, Д.Г. Савинов по-прежнему настаивал на догосударственном уровне развития всех раннекочевнических образований скифской эпохи, хотя и отмечал высокий уровень иерархичности отдельных обществ (Савинов Д.Г., 2002, с. 5–7).

Иной взгляд на основе теории традиционного общества, разработка которой велась на протяжении практически всего XX в., нашел отражение в ряде публикаций С.А. Васютина. Концепция традиционных обществ, по его мнению, позволяет рассматривать кочевые образования древности и средневековья как дословные традиционные общества с ведущей ролью свободного населения. Такие общественные системы функционируют циклическим способом, сочетая тенденции усложне-

ния и дисперсности, и так и не переходят к жестким сословным формам социальной иерархии. Спецификой сложных социальных систем кочевников была также межэтническая дифференциация, воплощавшаяся в иерархию родов и племен в крупных кочевых полициях. В итоге социальные системы номадов, с одной стороны, не были первобытными, а с другой – в них отсутствовала сословная структура, так как свободный кочевник оставался основным производителем, воином, участником клановой и политической системы, культово-ритуальной жизни. «Свобода» кочевника представляла собой несколько пересекающихся между собой «социальных плоскостей» разных уровней (семейный, хозяйственный, клановый, политический и др.). Все это создавало более или менее прочную опору для сохранения прав рядовых кочевников. Но равенство среди свободных кочевников отсутствовало. Археологические, письменные, этнологические источники позволяют выделить многочисленные стратификационные показатели (пол; возраст; принадлежность к клану правителя; обладание властью или особыми способностями; исполнение престижных социальных функций (правовых, культовых); военная слава; приближенность к носителю власти, положение клана, к которому принадлежал кочевник; имущественный достаток, статус в семье и др.). При наличии этих дифференцирующих признаков кочевое сообщество органично делилось на тесно взаимодействующих исполнителей различных общественных ролей. Конечно, в кочевых социумах были и представители так называемой социальной периферии – зависимые люди. Но при этом важно подчеркнуть, что какие бы сложные социальные организмы ни создавали кочевники в процессе завоеваний, доля среди зависимого населения собственно кочевников никогда не была значительной. Социальные системы номадов были достаточно «подвижны» и могли усложняться в крупных политических образованиях кочевников в результате включения в состав кочевых полиций других кочевников и земледельцев. Такая «подвижность» не исключала и регрессивные тенденции в случае распада кочевых образований или миграций. Препятствием для формирования сословий у номадов выступали автономность хозяйственной деятельности, относительная свобода миграций, отсутствие в кочевых обществах развитой системы земельного владения как важнейшего фактора дифференциации в земледельческих традиционных обществах, неустойчивость политических образований, а значит и нестабильность элиты, социальная мобильность и незамкнутость окружения кочевых лидеров, вотировавших своих сторонников как по клановому принципу, так и на основе отбора наиболее талантливых людей, причем не всегда из среды номадов. Сословная система могла сложиться только там, где государство гарантировало и/или юридически закрепляло привилегии элиты (аристократии, служилой знати, служителей культа и др.), однако даже в наиболее централизованных объединениях кочевников, ограничивавших сферу своего контроля только степью и прилегающими к степному пространству оседло-земледельческими центрами, политическая интеграция не шла дальше образования неустойчивых структур вождества (Васютин С.А., 2005а, с. 215–221; 2005б, с. 166–168).

Подводя итоги, следует отметить, что в постсоветский период наблюдался рост интереса российских исследователей к теоретическим аспектам социально-политической истории кочевников. Об этом наглядно говорят материалы многочисленных научных конференций и форумов, специальные сборники и коллективные монографии (например, «Кочевая альтернатива социальной эволюции» (2002) и трехтомник «Монгольская империя и кочевой мир», 2004, 2005, 2009), книги и статьи Н.Н. Крадина, Е.И. Кычанова, В.В. Трепавлова, Т.Д. Скрынниковой, Г.Г. Пикова, С.Г. Кляшторного и других исследователей. Остановимся отдельно на коллективной монографии «Кочевая альтернатива социальной эволюции». В ней ведущие зарубежные и отечественные специалисты в области изучения социальной истории кочевых народов Евразии попытались отразить основные итоги исследования проблем социально-политического развития номадов. Значительное число разделов в монографии посвящено теоретическим проблемам изучения кочевничества. Авторы издания отмечают, что при изучении кочевников важно использовать не столько категориальный аппарат, применяемый для исследования оседло-земледельческих обществ, сколько попытаться выработать дефиниции, отражающие именно специфику феномена номадизма.

Исследователи достаточно справедливо указывают на то, что развитие номадов, в том числе и социально-политическое, было сопряжено с особенностями взаимодействия с оседло-земледельческими цивилизациями. В то же время рассматривать в качестве решающего фактора возникновения кочевой государственности специфические взаимоотношения кочевых и оседлых обществ (Хазанов А.М., 2002, с. 53) представляется преждевременным. Вероятно, такой перекокс «в пользу» как оседлых обществ, как генераторов государственности, произошел из-за того, что А.М. Хазанов, Т. Барфилд и некоторые другие специалисты рассматривают кочевой мир как пери-

фериию земледельческих цивилизаций, выступающих в роли центра или «ядра». Между тем важно учесть, что диада центр–периферия находит наибольшую актуализацию прежде всего в рамках одной конкретной цивилизации (Шилз Э., 1998, с. 174; Эйзенштадт, 1998, с. 176–180; Ерасов Б.С., Аванесова Г.А., 1998, с. 180–183; и др.). В этой связи социально-политическая природа в макросоциальной системе динамична. С одной стороны, периферия подчиняется центру, а с другой – она может оказывать на него влияние, заменять его или же отделяться. В результате внутренние интеграционные процессы у кочевников являются не менее важным фактором общественно-политического усложнения, чем взаимодействие с другими обществами (Васютин С.А., 2002; Пиков Г.Г., 2002, Медведев А.П., 2002; и др.).

Следующая проблема, которую нужно отметить, – это создание типологии постарно-политических систем кочевников и выработка специальных категорий, характеризующих политическую организацию кочевников. В последнем случае наиболее дискуссионным оказался термин «кочевая империя». Н.Н. Крадин, активно разрабатывающий теорию «кочевых империй», предлагает рассматривать данное понятие, по сути, как синоним категории «суперсложное вождество», используемой применительно к земледельческим обществам. Из этого следует, что даже самые сложные и иерархизированные социумы кочевников являлись конфедерациями племен и не выступали в качестве государственных образований (Крадин Н.Н., 2002, с. 114–115, 120–121). Другой исследователь, С.А. Васютин (2002, с. 93–96), отчасти развивая идеи Н.Н. Крадина, предложил свою типологию управленческих институтов у кочевников, которая включала не только кочевые империи, но и менее масштабные общества. По его мнению, в качестве одного из видов раннегосударственных образований можно рассматривать кочевые суперимперии. В то же время вызывают возражения принципы, которые были положены в основу данной типологии (см.: Крадин Н.Н., Коротаев А.В., Бондаренко Д.М., 2002, с. 26–27; Крадин Н.Н., 2004, с. 23–24). Во всяком случае необходимо четко обозначить корреляцию таких показателей, как характер власти, поли- или моноэтничность, территориальный охват, специфика взаимоотношений внутри объединения между его частями (отдельными этническими группами и т.п.), а также между кочевым объединением и земледельческим миром. Отчасти эта задача нашла отражение в восьмой главе монографии.

Данное издание явилось чрезвычайно важным опытом отражения целого ряда идей в области изучения социокультурной динамики кочевничества. Несмотря на полемичность отдельных выводов ученых, эта коллективная монография является одной из первых книг, в которой представлена обобщенная (хотя и не целостная из-за большого числа различных подходов) картина социо- и политогенеза кочевников Евразии.

Материалы раздела показывают, что современные российские кочевниковеды располагают достаточно большим спектром социальных теорий, которые позволяют интегрировать результаты изучения кочевничества в археологии, истории и антропологии. При этом приходится признать, что в отечественной литературе нередки случаи оценки кочевничества как переходных от первобытности к классовому состоянию (Павленко Ю.В., 2000; Кычанов Е.И., 1992; 1997) либо как феодальных (Кычанов Е.И., 1997; Кляшторный С.Г., 2001в, 2003; и др.), а некоторые авторы отстаивают концепцию «военной демократии» и возможность ее широкого применения в рамках изучения истории и археологии кочевников (см., например: Макаров Н.П., 2005). Тем не менее общий ракурс кочевниковедческих исследований существенно изменился. Мы определенно можем говорить о том, что российскими специалистами на основе различных методологических концепций были проведены исследования разных кочевых обществ, самостоятельный и инновационный характер которых не вызывает сомнения. Значительными достижениями отмечено изучение кочевых обществ Саяно-Алтая в скифское время, Хуннской державы, Тюркского, Тюркешского, Уйгурского, Кыргызского, Кимакского каганатов, Ляо, Монгольской империи. Не последнюю роль в изучении социальной структуры и политической иерархии в разных кочевых обществах сыграло новое направление в рамках археологической науки – социальная или социологическая археология.

3.3. Развитие социальной археологии и палеосоциологические исследования общественно-политических структур древних и средневековых кочевников

Постсоветский период характеризуется значительными достижениями такой субдисциплины, как социальная (социологическая) археология, становление которой в СССР началось еще в 1970-е гг. По существу за 20–30 лет сложился широкий спектр исследовательских подходов, таких как палеоантропологическое и палеоэкономическое моделирование, формализовано-статистические

технологии, метод определения трудовых затрат на сооружение погребения и выявления половозрастной и социальной дифференциации исходя из сложности погребальных конструкций и состава погребального инвентаря, планиграфический анализ системы погребального комплекса, этноархеологические реконструкции, оценка численности населения по экологическим параметрам и т.д. Эти методики совершенствовались и адаптировались к конкретным материалам. Наряду с этим в 1990-е гг. отечественными учеными обсуждались разные теоретические и практические вопросы палеосоциологических изысканий, были выработаны общие принципы анализа древних и средневековых общественных структур, выявлены критерии дифференциации населения разных культур и регионов, осуществлена реконструкция общественных организаций локальных и крупных сообществ. Социальная археология обогатилась междисциплинарными методиками исследования среды обитания, систем жизнеобеспечения, питания, генетических связей и других аспектов существования человека в прошлом. Сложилось целая сеть научных центров, в которых палеосоциологические изыскания принадлежат к приоритетным направлениям (Бобров В.В., 1996; 1997, с. 5; 2003, с. 3–5; Бобров В.В., Михайлов Ю.И., 1997; Васютин С.А., 1998; Дашковский П.К., 2002; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 99–108; Крадин Н.Н., Тишкин А.А., Харинский А.В., 2005, с. 6–7; Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 20–38; и др.).

Характерной чертой отечественной археологии середины 1990-х – начала 2000-х гг. стали конференции по социальной тематике «Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири» (Барнаул, 1997), «Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация» (Кемерово, 1997), «Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий» (Барнаул, 1999), «Социально-демографические процессы на территории Западной Сибири (древность и средневековье)» (Кемерово, 2003)», «Социогенез в Северной Азии (Иркутск, 2003, 2005, 2009) и др., обсуждение на страницах журнала «Российская археология» методик палеосоциологических изысканий, социально-диагностирующих критериев, понятий и пр., выпуск специальных сборников «Социальная стратификация» (Москва, 1992), «Социальная дифференциация общества» (Москва, 1993), «Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху» (Санкт-Петербург, 1994), «Жречество и шаманизм в скифскую эпоху» (Санкт-Петербург, 1996), «Погребальный обряд. Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений» (Москва, 1999) и др., значительное число отдельных публикаций по проблемам социальных реконструкций. Палеосоциологические исследования охватили разные памятники и культуры эпох бронзы, раннего железного века, средневековья (Гей А.Н., 1993, 1999; Корневский С.Н., 1993; Кулаков В.И., 1993; Гусакова М.Г., 1993; Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993; Федосова В.Н., 1995; Козловская М.В., 1996, 1999; Смирнов Ю.А., 1997; Горяев В.С., 1997; Антонова Е.В., 1999; Медникова М.Б., Лебединская Г.В., 1999; Савченко Е.И., 1999; Коробов Д.С., 2003; Грушин С.П., 2003; Жушиховская И.С., 2003; Корогод Е.Н., 2003; Кукушин И.А., 2003; Михайлов Ю.И., 2003; Папин А.В., 2003, 2005; Тишкин А.А., 2003, с. 130–131; Фрибус А.В., 2003; Фролов Я.В., Тур С.С., 2003; Фетисов А.А., 2004; Кильдюшева А.А., 2005, 2006; Новикова О.И., 2005; Зубова А.В., 2006; Степанова Н.Ф., 2006; Тур С.С., Рыкун М.П., 2007; Берсенева Н.А., 2005; 2007; и мн. др.).

В целом можно говорить о том, что во многом именно социально-археологические исследования отражают инновационный вектор развития современной российской археологии.

Среди наиболее актуальных проблем, обсуждавшихся в ходе дискуссии о возможностях социальных интерпретаций археологических данных, можно выделить ряд ключевых вопросов, таких как степень отражения в погребальной обрядности прижизненного общественного положения, социальной дифференциации в целом, а также соотношения половозрастных, социальных и иных различий, привлечение данных по поселениям и методика анализа поселенческих структур для реконструкции социогенетических и потестарно-политических процессов в разных обществах, символика власти и выполнения престижных функций в сопроводительном инвентаре и погребальной практике, трактовка понятий «царское», «элитное», «дружинное», «рядовое» захоронение и критерии выявления конкретного статуса погребенных, процедура социальных реконструкций и методика синтеза данных палеосоциологических исследований по разным памятникам и т.д.

В целом отечественные ученые, несмотря на влияние установок постпроцессуальной археологии и постмодернистские тенденции в гуманитарных науках, уверены в широких возможностях социальных реконструкций на основе археологических материалов. Так, Г.Е. Афанасьев (1993б, с. 5) указывал, что использование «археологических материалов для реконструкции социальной структу-

ры общества основывается на двух главных допущениях: во-первых, что общественное положение погребенного индивидуума полностью находит символическое выражение в поведении членов общины во время организации похоронной церемонии; во-вторых, что на погребальную процедуру влияет количественный и качественный состав лиц, признающих наличие общественных или семейно-родственных связей с умершими». Отмечается также необходимость анализа погребального обряда как сложного ментально-физического процесса и упорядоченной совокупности «стереотипно-символических (реальных, целесообразных, нормативных) действий, осуществляемых в соответствии с определенными нормами, несущими идеологическую нагрузку» (Ольховский В.С., 1999, с. 115). В то же время это не вело к полной стандартизации погребальной обрядности. Так, И.С. Каменецкий (1999, с. 137–145) целой серией примеров наглядно показал, что, несмотря на «единство религиозных воззрений, представлений о смерти и потустороннем мире», у древнего населения обнаруживается весьма значительная вариативность погребальных традиций в рамках каждой из культур, объяснить которую не всегда удается, но необходимо учитывать при социальных интерпретациях.

Процедуры изучения общественных структур по данным погребального обряда довольно существенно различались. Общими были только первые этапы – описание и систематизация признаков погребального обряда определенного массива памятников, а также соотнесение полученной номенклатуры признаков с биологическими характеристиками погребенных (пол, возраст) и выявление половозрастных групп (Афанасьев Г.Е., 1993б, с. 5). Дальнейшие действия ученого зависели от конкретных целей и используемых методик. Речь может идти об изучении социально-планиграфических особенностей могильников, выявлении положения в том или ином обществе отдельных гендерных, возрастных, социальных и узкопрофессиональных групп, социальном ранжировании курганов, установлении примерной численности населения в определенной экологической нише и форм использования ресурсов и т.д.

В случае реконструкции социальной организации на основе исследования большой совокупности памятников, например целой археологической культуры, один из важных процедурных вопросов заключается в том, анализировать ли весь массив данных по той или иной культуре (Дашковский П.К., 2002; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2003; 2004б; 2005; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Матренин С.С., 2005; Кондрашов А.В., 2004; 2004а; Серегин Н.Н., 2008а–б; и др.) или идти по пути палеосоциологического исследования отдельных могильников с последующим сопоставлением полученных данных (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004; Крадин Н.Н., 2007, с. 211–260). Практика показывает, что при корректных критериях выделения социальных групп положительный вариант дают оба варианта исследования. Однако в рамках первого варианта довольно часто осуществляется «механическая» обработка данных, которая не учитывает продолжительность существования культуры, ее внутренних этапов, особенности погребальных традиций на разных территориях и других моментов. Поэтому в целом второй вариант кажется более корректным и приемлемым. Прежде всего он дает возможность увидеть социальную ситуацию в локальных сообществах, учесть планиграфические данные, зафиксировать разницу между некрополями по количеству и составу («рядовые», «царские», сочетание «элитных» и «рядовых», «царских» и дружинных и т.д.) захоронений, а тем самым установить статус каждого из могильников (семейное/семейно-клановое кладбище, «дружинный» некрополь, «царские» курганы с прилегающими погребениями военно-аристократической знати и пр.). В конечном итоге в результате корреляции данных палеосоциологического анализа синхронных могильников и отдельных погребений между собой показать общую картину социально-политической дифференциации. В целом процедура палеосоциологических интерпретаций артефактов должна быть достаточно гибкой и исходить из особенностей археологических памятников (Крадин Н.Н., 2007, с. 203).

Многочисленные палеосоциологические исследования позволили установить, что в основе социальных различий древних и средневековых обществ лежала половозрастная дифференциация, на которой «нарастали» семейно-клановые, имущественные, социально-профессиональные, политические, культовые и иные иерархии (Афанасьев Г.Е., 1993; 1993б с. 3; Ольховский В.С., 1995, с. 89–91; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 34–35; Дашковский П.К., 2003, с. 61; Тишкин А.А., 2003а, с. 131; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 102; Васютин С.А., Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 40–41; Крадин Н.Н., 2007, с. 198, 209–210; и др.). Таким образом, в основе анализа общественной структуры, по данным археологии, лежат две проекции – вертикальная (выявление страт, иерархии, сословных барьеров) и горизонтальная (гендерные и возраст-

тные различия, положение в семейно-клановом коллективе). На уровне методических разработок и конкретных палеосоциологических исследований подход, включающий изучение древних и средневековых социумов по вертикали и по горизонтали, занимает в отечественной социально-археологической науке ведущее место (Афанасьев Г.Е., 1993б, с. 6–7; Марсадолов Л.С., 1997, 1999, 2000; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Васютин С.А., Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 56–63; Крадин Н.Н., 2007, с. 198, 212–214).

Среди других социально-археологических методов выделяется планиграфический анализ, который состоял «в установлении правил и закономерностей, которыми руководствовало древнее общество в процессе использования территории общинного кладбища» (Афанасьев Г.Е., 1993б, с. 7–8). При его использовании исследователи исходят из того, что пространственная организация захоронений на площади могильника в определенной степени отражает различия положения между индивидуумами, семейно-родственными группами, состав сообщества, оставившего тот или иной некрополь.

В постсоветский период набирают силу исследования на основе междисциплинарного синтеза, особенно с привлечением возможностей генетики, биологии, физики и негуманитарных других наук. В частности, уже достаточно широко апробируется метод определения социального статуса погребенных путем установления зависимости между характером питания и его общественным положением. Анализ костных тканей позволяет выявить следы концентрации разных элементов, которые были важными компонентами питания. Так, преобладание цинка и меди указывает на существенную долю в пищевом рационе белка животного происхождения, а стронций, магний и марганец – на преимущественное питание овощами (Афанасьев Г.Е., 1993б, с. 8).

Другой вид палеосоциологических методик, разрабатывавшихся еще в советское время Г.А. Федоровым-Давыдовым, А.О. Добролюбским, Е.П. Бунятян, В.Ф. Генингом, связан с использованием статистико-комбинаторных процедур и других современных компьютерных технологий. Основным результатом статистико-комбинаторной обработки погребальных памятников является разделение массива памятников на определенные группы (совокупности) с последующей интерпретацией статистических групп в социальном ракурсе (Гуляев В.И., Ольховский В.С., 1999, с. 11). Ключевая роль отводится изучению информации по погребениям той или иной культуры на основе факторного и кластерного анализов. Факторный анализ позволяет выявить наиболее присущие той или иной группе погребений признаки, а кластерный – дифференцировать массив на группы очень похожих объектов и выяснить либо гипотетически реконструировать социальные связи между ними (Афанасьев Г.Е., 1993б, с. 9–12).

Дискуссия по теме «Погребальная обрядность: структура, семантика и социальная интерпретация» на страницах журнала «Российская археология» в 1990-е гг. (социальные ее аспекты представлены в публикациях: Гуляев В.И., 1993, 1995; Афанасьев Г.Е., 1993а; Плетнева С.А., 1993; Ольховский В.С., 1995; Кызласов И.Л., 1995; Федосова В.Н., 1995; Кислый А.Е., 1995) показала необходимость комплексного подхода к изучению погребальной обрядности, при «котором (с использованием строгого понятийно-терминологического аппарата) погребение (археологический объект), его гипотетическая «идеальная модель» и реконструируемая на этой основе погребально-поминальная обрядность как часть определенной религиозно-мифологической системы исследовались бы не отдельно, сами по себе, а как глубоко взаимосвязанные части единого целого» (Гуляев В.И., Ольховский В.С., 1999, с. 13).

Реализация этой и других задач, связанных с развитием палеосоциологических изысканий, во многом осуществлялась на основе исследования археологических памятников номадов поздней древности и средневековья. В 1990-е – первые годы XXI в. были разработаны и апробированы комплексные палеосоциологические методики изучения социальной организации кочевников по данным археологии (Васютин С.А., 1999; Марсадолов Л.С., 1999; 2000, с. 31–40; Дашковский П.К., 2002; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 44–55; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 169–231; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2004; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004; Матренин С.С., 2003–2005; Социальная структура..., 2005; и др.). Наряду с этим ведется широкий спектр исследований отдельных элементов общественной системы номадов и в этом направлении получены существенные результаты на материалах конкретных памятников, культур, историко-культурных регионов (см., например: Курочкин Г.Н., 1993, 1994; Савинов Д.Г., 1993, 1996, 2005, 2005а; Флеров В.С., 1993; Боковенко Н.А., 1996; Массон В.М., 1994; Полосьмак Н.В., 1994а; 1994б, с. 17–18, 30–38, 43, 56, 60; 2001; Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 1997; Ануфриев Д.Е., 1997; Коче-

ев В.А., 1997а; Миронов В.С., 1997, 1997а; Худяков Ю.С., 1997, 1997а; Полосьмак Н.В., Молодин В.И., 2000, с. 81–85; Кляшторный С.Г., 2001в, с. 83, 85, 92, 131–140; 2003, с. 471–485; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 149–158; Тишкин А.А., 2005; Худяков Ю.С., 2003, 2003б; Горбунова Т.Г., 2003; и мн. др.). Следует выделить в отечественной историографии исследователей, которые ведут целенаправленную работу по изучению социальных отношений у кочевников поздней древности и средневековья на основе анализа археологических материалов. Среди них Д.Г. Савинов, С.С. Миняев, Н.П. Матвеева, Н.В. Полосьмак, Н.Н. Крадин, А.А. Тишкин, П.К. Дашковский, А.С. и С.А. Васютины, С.С. Матренин, Ю.С. Худяков и целый ряд других ученых. В целом опыт реконструкций общественных систем кочевников представлен в обобщающих обзорах по социально-археологическим исследованиям и аналитических оценках таких изысканий (Васютин С.А., 1996–1999; 2007; Тишкин А.С., 2003; Тихонов С.С., 2004, 2007; Банников А.Л., Шутелева И.А., 2007; Гуляева Н.П., 2007; 2009; Крадин Н.Н., 2007, с. 197–210; Кильдюшева А.А., 2008; Тырышкина Ю.Ю., 2008; и др.).

В отечественной археологии постсоветского периода представлены разные направления исследований общественной структуры кочевников. Внимание археологов особенно привлекли общая оценка уровня социального развития кочевых обществ отдельных регионов Евразии и степной зоны в целом (см., например: Афанасьев Г.Е., 1993; Яценко С.А., 1996; Васютин С.А., 1997а; Матвеева Н.П., 1997, 1997а, 1998, 1998а, 1999, 2000; Данилов С.В., 2005; Макаров Н.П., 2005; Марсадолов Л.С., 1999; 2005; Худяков Ю.С., 2005; и др.), изучение дружинных и элитных погребений, а также проблем функционирования элит в кочевых обществах (Боковенко Н.А., 1994, 2001; Казанский М.М., 1994; Массон В.М., 1994; Галанина Л.К., 1994; Гущина И.И., Засецкая И.П., 1994; Амоглонов А.А., 1996; Безуглов С.И., 1997; Антонова О.В., Худяков Ю.С., 1999; Тетерин Ю.В., 1999; Киришин Ю.Ф., Шульга П.И., Дёмин М.А., Тишкин А.А., 2001; Глазов И.А., 2003; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003; Дашковский П.К., 2005; Тишкин А.А., 2005; Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвэндорж Д., 2006; Гуцалов С.Ю., 2007; Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2007а–б; и др.), выявление и характеристика социального положения отдельных гендерных и возрастных групп, социальная семантика некоторых женских захоронений, палеодемография кочевников (см., например: Яценко С.А., 1994а; 2001, 2002; Худяков Ю.С., 1994; Мамадаков Ю.Т., 1997; Балабанов М.А., 2000; Полищук Т.И., Худяков Ю.С., 2000; Кильдюшева А.А., 2005а; Китова Л.Ю., 2005; Васютин С.А., 2007б; и др.), анализ захоронений зависимых групп населения и данников (Худяков Ю.С., 2003, 2007), влияние природно-климатической среды на социальную структуру (Банников А.Л., 2008) и т.д. Также объектами палеосоциологического анализа наряду с погребениями в некоторых случаях выступали и материалы поселенческих комплексов (Матвеева Н.П., 2003; Крадин Н.Н., 2007, с. 211–249).

Важной предпосылкой социально-археологических исследований в современной России является публикация массового материала. Особенно показательным в этом отношении издание сарматских, сарматских и аланских материалов (см., например: Курганы левобережного Илека, вып. 1–3; Яблонский Л.Т., Дэвис-Кимболл Дж., Демиденко Ю.В., 1994; Гуцалов С.Ю., 1998, 2004, 2007; Яценко С.А., 1998; Абрамова М.П., Красильников К.И., Пятых Г.Г., 2001, 2004; Зуев Ю.В., 2003; Яблонский Л.Т., Мещеряков Д.В., 2005; Яблонский Л.Т., Мещеряков Д.В., Пшеничнюк А.Х., 2005; Малышев В.Ю., Яблонский Л.Т., 2007; и др.). Так, интереснейшие материалы получены в результате раскопок знаменитых раннесарматских курганов у деревни Прохоровка. Затем проведены исследования С.И. Руденко, материалы которых были опубликованы М.И. Ростовцевым в 1918 г. (с. 64). Дополнительное обследование памятников было произведено экспедицией под руководством В.Ю. Зуева (2003).

В 2003 г. Институт археологии РАН (Л.Т. Яблонский) и Оренбургский государственный педагогический университет (Д.В. Мещеряков) произвели раскопки всех объектов на площади могильника, в том числе и тех, которые исследовались С.И. Руденко. В результате было обнаружено значительное число впускных и материковых захоронений, которые не были затронуты грабителями и раскопками 1916 г. (с. 65–66). Общая картина весьма примечательна для палеосоциологических разработок. В шести исследованных курганах было зафиксировано не менее восьми захоронений детей в младенческом возрасте от 1 года и до полугода. Также в сооружении «Б» было обнаружено богатое по инвентарю (серебряная и деревянная с золотыми накладками чаши, более 500 золотых сфер и полусфер, золотые серьги и подвески, подвеска из оникса, бронзовое дисковидное зеркало, янтарные, сердоликовые, гагатовые и другие бусы, сосуд из мраморного оникса и т.д.) погребение молодой женщины с колчаном, в котором находилось не менее 110 железных стрел и один бронзовый

наконечник. Знаменательны и другие моменты. Например, большинство женских погребений в преклонном возрасте или не содержали сопроводительный инвентарь, или он был крайне немногочисленным и бедным. Наоборот, в захоронениях молодых и зрелых мужчин обнаружено преимущественно оружие, как правило, мечи, кинжалы, наконечники стрел (Яблонский Л.Т., Мещеряков Д.В., 2005, с. 66–76).

Исключительный характер носили также находки в «царском» кургане №4 могильника Филипповка. Курган высотой около 8 м датировался концом V–IV вв. до н.э. Здесь оказались не потревоженными грабителями четыре впускных захоронения (из них №1 относилось к периоду раннего средневековья, а №2–4 – к раннесарматским), а также значительная часть центральной погребальной камеры. Сарматские захоронения содержали богатейшие наборы инвентаря, включавшие золотые гривны, браслеты, украшения плащей и оружия, пряжки, золотую и серебряную посуду, предметы вооружения с большим количеством наконечников стрел (более 200 в захоронении №2) и пр. Весьма интересна и планиграфия центрального захоронения, где погребенные с разной ориентировкой (скелеты 2 и 3 лежали черепами на запад, скелет 4 – на север, а скелет 5 – на юг) располагались вокруг очага (Яблонский Л.Т., Мещеряков Д.В., 2007, с. 55–62). По всему видно, что подобные памятники являются благодатным полигоном для социально-археологических изысканий и ждут своих исследователей.

Для полноты картины социального прошлого кочевых сообществ важное значение имели палеоэкологические разработки и связанные с ними методики расчета численности населения, выявление роли ландшафтно-экологического фактора в формировании социальной среды у кочевников, исследование разных аспектов демографического развития кочевников, реконструкция на их основе систем жизнеобеспечения в ареалах обитания скотоводов (Таиров А.Д., 1993, 2003, 2005; Тортика А.А., Михеев В.К., Кортиев Р.И., 1994; Тортика А.А., Михеев В.К., 2001; Кислый А.Е., 1995; Садовой А.Н., Онищенко С.С., 2003; Матвеева и др., 2005; Банников А.Л., 2007; Руденко К.А., 2007; и др.). Они позволяют конкретизировать ту хозяйственно-демографическую среду, в которой функционировали общественные системы кочевников.

Учитывая, что в данной монографии подробно рассматриваются исследования социально-политической организации кочевников Центральной Азии по отдельным периодам (скифский, хунно-сяньбийский, раннесредневековый), в данном разделе мы остановимся лишь на ряде наиболее показательных примеров социально-археологических разработок по другим регионам степной Евразии. Среди них представлены как весьма масштабные и трудоемкие комплексные исследования, так и реконструкции общественной структуры локальных сообществ по материалам единичного могильника, и даже наблюдения социального характера, основывающиеся на изучении отдельных предметов сопровождающего инвентаря.

Богатый опыт исследования погребений и поселенческих памятников саргатской культуры позволил Н.П. Матвеевой (1997, 1998, 2000, 2003, 2005) осуществить довольно детальную реконструкцию социальной структуры саргатского населения. Итоги этих изысканий были подведены в одной из лучших работ последних лет – коллективной монографии Н.П. Матвеевой, Н.С. Лариной, С.В. Берлиной, И.Ю. Чикунова «Комплексное изучение условий жизни древнего населения Западной Сибири (проблема социокультурной адаптации в раннем железном веке)» (2005). Исследование носит междисциплинарный характер и опирается не только на различные археологические разработки, но и на методики естественных наук. Авторами реконструируются ландшафтно-климатические условия, динамика их изменений, учитываются биологические и растительные ресурсы и зоны их эксплуатации.

Историко-антропологический ракурс исследования подчеркивается изучением структуры и особенностей питания различных половозрастных и социальных групп саргатского населения, милитаризации «саргатцев», спецификой физиологической адаптации к природной и социальной среде. Для выявления рациона питания применялся мультиэлементный анализ (фиксация в археологических материалах химических элементов, отражающих употребление растительной пищи или животных белков). В частности, использовались методика химического анализа нагаров из керамических коллекций саргатских поселений, агрохимический фосфатный анализ, метод моделирования питания путем изучения результатов сжигания современных продуктов. Также структура питания устанавливалась на основе минеральных элементов в костных тканях погребенных, анализом пищевых остатков в поселенческих и погребальных материалах. В результате удалось выяснить, что различия в минерализации и химическом составе костной ткани зависят как от физиологических особенно-

стей организмов, так и от рациона питания людей. Последнее, по мнению авторов, было достаточно жестко детерминировано «социальной регламентацией количества продуктов и состава блюд для разных по полу и возрасту групп, а также обусловлено традицией распределения еды в семье, общине» (Матвеева Н.П. и др., 2005, с. 140). Выявлены факты систематической нехватки пищи у саргатского населения, зафиксировано, что в рационе женщин доля растительной пищи была во много раз выше, чем у мужчин и детей. В то же время фиксируется, что в ряде наиболее бедных общин (Старо-Лыбаевский и Стижевский могильники) преобладание растительной пищи характерно для всех гендерных и возрастных групп, в то время как в других общинах (Абатское-1) «следует говорить о большей материальной обеспеченности и однородности питания дружинников и членов их семей» (Матвеева Н.П. и др., 2005, с. 135–138).

Также исследователями были произведены расчеты численности населения Рафайловского городища, количественного состава семей (9–11 человек), объемов ежедневного и ежегодного потребления мяса (3,18 кг в день и 1163 кг в год на семью; 0,28–0,35 кг в день на человека). Но с учетом существования элиты и рядового населения эти показатели в разных социальных средах различаются почти в два раза (Матвеева Н.П. и др., 2005, с. 141–142). Общий вывод ученых показывает, что «население раннего железного века западно-сибирской лесостепи не смогло выработать достаточно эффективные защитные механизмы от неблагоприятных воздействий природной и социальной среды», а «человек еще во многих случаях оставался уязвимым для любого непредвиденного изменения привычных условий жизни» (Матвеева Н.П. и др., 2005, с. 205).

Интересными следует признать наблюдения авторов рассматриваемой коллективной монографии о развитии фортификации у саргатского населения, а также о степени милитаризации по наличию военного инвентаря в погребениях. В частности, весьма доказательно представлена эволюция социально-милитаризованных структур. Если на ранних этапах существования саргатской общности оружие было преимущественно представлено в элитарных захоронениях и отсутствовало в погребениях рядовых и бедных «саргатцев», то к последним векам I тыс. до н.э. наряду с милитаризованной элитой, появляется группа вооруженных мужчин молодого возраста, составлявшая по доле погребений данного типа 26,6% и интерпретируемая как «дружина». Также выявлены и женские захоронения с оружием, которые первоначально концентрировались в элитных могильниках, а в позднесаргатский период стали распространены и в некрополях рядового населения (Матвеева Н.П. и др., 2005, с. 164–165).

Еще одна фундаментальная работа – «Социальная структура ранних кочевников Евразии» подготовлена группой исследователей-кочевниковедов в 2005 г. В коллективной монографии представлены разделы методологического, методического, историографического характера, а также приводятся результаты реконструкции социальных систем народов Евразии скифского и хунно-сяньбийского периодов. Несмотря на то, что позиции авторов на отдельные вопросы социо- и политогенеза не совпадают, тем не менее исследователям удалось сделать ряд важных выводов по данной проблематике. Во-первых, ученые отметили, что под термином «ранние кочевники» (или под его синонимом «древние кочевники») нужно подразумевать не конкретное социально-экономическое или культурное содержание, а определенный исторический период формирования и становления номадизма – с I тыс. до н.э. по середину I тыс. н.э. (Крадин Н.Н., Тишкин А.А., Харинский А.В., 2005, с. 9). Во-вторых, авторы выделили четыре периода в развитии социальной археологии как научного направления в отечественной науке: 1) 1920-е – начало 1930-х гг.; 2) 1934 – середина 1950-х гг.; 3) 1956–1990 гг.; 4) 1990-е гг. – по настоящее время. Каждый этап озаглавлен соответствующим уровнем источниковой базы, методологическими принципами и методическими приемами, а также определенными идеологическими установками (Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 20–38). В-третьих, достаточно обстоятельно проанализированы методологические основы социальных реконструкций, учитывая разработки как зарубежных, так и отечественных ученых. В результате был предложен алгоритм изучения общественной организации древних обществ на основе археологических данных, который можно свести к следующим позициям: 1) выявление особенностей погребального обряда с занесением в базы данных для последующей обработки с помощью статистических программ; 2) анализ показателей, значимых для отдельных половозрастных групп; 3) проведение разнообразных кластерных анализов признаков погребального обряда для разных половозрастных групп; 4) сопоставление результатов кластерного анализа с результатами изучения планиграфии некрополей; 5) интерпретация полученных результатов (Васютин С.А., Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 39–63).

Такой механизм исследования нашел отражение в отдельных разделах, посвященных характеристике различных аспектов социальных отношений народов, проживавших в раннем железном веке на территории Западной Сибири, Горного Алтая, Тувы, Забайкалья, Причерноморья (Тихонов С.С., 2005; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2005; Матвеева Н.П., 2005; Матренин С.С., Тишкин А.А., 2005; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2005; Савинов Д.Г., 2005; Васютин С.А., Васютин А.С., 2005). Наконец, последняя глава монографии посвящена проблеме выявления общего и особенного в реконструкции структур ранних кочевников (Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005а, с. 237–250). В конечном итоге ученые отметили некоторые принципы изучения обществ, которые представляют своего рода аксиомы палеосоциологических исследований, подтвержденные многочисленными фактическими данными, в том числе и в рассматриваемой коллективной монографии. В частности, установлено, что каждый индивид занимал свое конкретное положение как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости двухмерной системы координат социального пространства. Такое положение могло меняться в зависимости от конкретной ситуации, этапов жизни и т.п., и все это в большей или меньшей степени отражается в погребальной обрядности. Для того чтобы максимально полно извлечь информацию из погребального обряда, ученые указывают на три главных параметра анализа социальных структур: половозрастной анализ, установление критериев «богатства», статуса», «рангов» и определение символов власти. Конкретный механизм реализации указанных позиций зависит от особенностей и полноты источниковой базы, применяемых методических приемов и опыта ученого в палеосоциальных исследованиях. В конечном итоге реализация такого направления позволяет либо реконструировать, либо смоделировать основные особенности социогенеза номадов.

В целом рассмотренная коллективная монография, с одной стороны, отражала определенный итог на теоретическом и конкретно историческом уровнях развития социальной археологии на рубеже XX–XXI вв. С другой стороны, предложенная работа является определенным фундаментом для дальнейших палеосоциальных исследований, с учетом методологических и методических достижений отечественных и зарубежных ученых.

Другой пример важен как попытка исследования на основе данных археологии вопросов политического устройства номадных объединений. Так, С.А. Васютин попытался выявить признаки властной иерархии в археологических памятниках степной Евразии раннего железного века, оговариваясь, правда, что любые построения такого рода будут носить в большей или меньшей мере условный характер. Для него очевидны различия между археологическими культурами, в которых набор признаков потестарно-политической иерархии и их комбинация не одинаковы. Вероятно, пишет он, определенная дифференциация «археологических общностей» по наличию подобных «свидетельств» о системах управления в древности говорит о том, что кочевое население степной, предгорной и горной Евразии в раннем железном веке входило в состав довольно разнотипных потестарных и раннегосударственных объединений (Васютин С.А., 2003б, с. 71).

Исследователь отмечает, что комплекс признаков организации власти довольно обширен, но многие из них требуют еще специального обоснования, поэтому он останавливается на наиболее изученных и признанных научным сообществом критериях:

1) фиксация в археологических культурах раннего железного века элитных, дружинных, «жреческих», семейно-клановых, «бедных» и других погребений, отражающих стратифицированный характер обществ. Многоранговые системы социальной иерархии номадов I тыс. до н.э., реконструируемые на основе археологических материалов, подчеркивали развитый характер общественных отношений и способствовали складыванию иерархических и централистских структур управления;

2) выделение из состава элитных курганов погребально-поминальных и одновременно культовых памятников, размеры, богатство инвентаря, сложность внутренних конструкций которых подчеркивают верховный характер власти погребенных в них людей (Аржан, Пазырык, Огуз, Чертомлык, Иссык, Ульский курган и др.);

3) наличие среди инвентаря «царских» захоронений предметов, указывающих на культовую роль погребенных, так как соединение политической и религиозной власти, сакрализация верховного лидера – один из признаков вождеств, вернее, аналогичных им политий или зачаточных государств;

4) выявленные в рамках археологических культур «царские» и элитные погребальные комплексы, концентрировавшиеся в определенном районе (скифский «Геррос», элитные могильники верховьев Илека – Пятимары-I, Бес-Оба, Сынтас, Мечетсай, курганы Илийской и Уюкской долин),

что указывает на существование локальных и надлокальных потестарно-политических центров. Немаловажно и то, что в таких группах некрополей, наряду с курганами лидеров, возводились курганы с захоронениями представителей их семей и кланов, аристократических родов, ближайших слуг «царей» – «ферапонтов», дружинников, жрецов и жриц, зависимых людей, рабов;

5) сосредоточение на близлежащей территории или в рамках одного могильника (как правило, семейно-кланового некрополя) царских и элитных захоронений одной культуры, близких по конструктивным особенностям и инвентарному комплексу, позволяет предполагать преемственность власти, возможно, носившей наследственный характер (например, Аржан – Аржан-2 – Аржан-3). «Аржанские», «пазырыкские», «илийские», «ульские» династы могли возглавлять как надплеменные органы власти больших территориальных образований, так и более локальные сегменты общественной структуры;

б) реконструкция по материалам погребальных памятников (по региональным отличиям в инвентаре, надмогильных и внутримогильных конструкций, вариациям в погребальном обряде, географической обособленности) родоплеменной структуры с локальными центрами власти (погребения клановых и племенных лидеров). Так, в рамках пазырыкской культуры фиксируется наличие нескольких племенных групп;

7) отмеченное по археологическим материалам существование зависимых племен (посмертные дары вождю от разных племен, большое влияние культуры доминирующего этноса (скифы, саки, «пазырыкцы») на соседние культуры и т.д.). Это могло вести к усложнению управленческих институтов в связи с необходимостью контроля за зависимыми племенами и организацией сбора дани и в свою очередь стимулировать появление сложных вождеств с кочевой спецификой и многоуровневой этносоциальной иерархией;

8) наличие поселенческих комплексов – ставок вождей-правителей и торгово-обменных пунктов, которые постепенно за счет притока сюда аристократии, служилой знати, чиновников, прислуги, торговцев превращались в городские центры (Каменское и Елизаветовское городища у скифов, поселения сако-хотанцев в Восточном Туркестане и т.д.);

9) свидетельства участия носителей той или иной кочевой культуры в дальних массовых походах (вторжения скифов в Переднюю Азию, набеги «варваров» на пограничные районы Китая, Персидской империи и т.д.). Именно война, дальние походы были решающими факторами генезиса централизованной власти и кочевой государственности;

10) подтверждаемая артефактами информация письменных источников о захвате кочевниками территорий с оседлым населением и создании на завоеванных землях этнополитических объединений, таких как скифские царства в Передней Азии, на Кавказе, в Крыму, Кушанская держава (Васютин С.А., 2003б, с. 71–73).

Сочетание большинства вышеназванных признаков в материалах какой-либо из культур, как считает С.А. Васютин, позволяет предполагать, что данные общественные организмы существенно продвинулись в своем политическом развитии и достигли или наиболее зрелых форм потестарной власти (разные типы вождеств), или уровня раннего государства. Эталонными примерами таких объединений можно считать скифское общество VI–III вв. до н.э., объединения аорсов и аланов, «аржанский» союз, вероятно, оформившийся в сложное вождество (Васютин С.А., 2003б, с. 73–74).

Интересный опыт изучения горизонтальных структур был представлен в статье В.С. Флерова «О социальном строе в Хазарском каганате (на материалах Маяцкого могильника)». Как отметил ученый, в литературе по салтово-маяцкой культуре нет четких определений и даже постановки вопроса о том, что понимать под термином «социальные отношения» применительно к археологическим источникам. При обнаруженных различиях в составе и количестве инвентаря оставалось не ясным, какие отношения данная дифференциация отражала: классовые, сословные или просто имущественные (Флеров В.С., 1993, с. 119–120).

Сам В.С. Флеров (1993, с. 121) определил Хазарский каганат, «по крайней мере теоретически», как «раннефеодальное образование». При этом автор подчеркнул, что «надстроечные явления феодального характера» отражения в археологических данных не нашли: нет сверхбогатых «ханских» захоронений; вместо этого сотни рядовых погребений с незначительной дифференциацией; немногочисленные «богатые» погребения располагаются среди массы прочих, т.е. не выделяются на могильниках даже территориально. По мнению ученого, и письменные источники мало способствовали интерпретации большого археологического материала в плане выявления социальной структуры общества. В связи с этим В.С. Флеров (1993, с. 121) выразил убеждение в том, что «социальная

дифференциация (имущественная и сословная) вообще была вряд ли глубока в каганате». Такая оценка противоречила высказанной выше мысли о принадлежности Хазарии к «раннефеодальным образованиям».

Как писал В.С. Флеров, в палеосоциологическом анализе данных Маяцкого могильника исследователи сталкивались с серьезным препятствием – обрядом «обезвреживания» погребенных, который сопровождался извлечением из погребений большинства вещей всех категорий. Пытаясь преодолеть эту безысходность, В.С. Флеров обозначил две методические посылки. Первая априорно гласила, что в каждой катакомбе Маяцкого могильника вначале находился полный набор вещей. Вторая допускала возможность по совокупности остатков инвентаря «определить приблизительный набор вещей», содержащихся в каждой катакомбе. Минимальный инвариант предполагал безывентарность, а максимальный – полный инвентарный комплекс, включавший оружие, украшения, наборные пояса, конскую упряжь и разнообразные керамические изделия. По заключению исследователя, «маяцкое» население было вполне обеспечено всеми необходимыми предметами и ничем не уступало населению, оставившему богатые могильники типа Дмитровского и Салтовского. Анализ инвентаря позволил оценить степень имущественной дифференциации «маяцкой общины» (Флеров В.С., 1993, с. 125–127).

Предметы вооружения были найдены только в трех не выделявшихся длиной дромоса катакомбах (№46, 79, 107), поэтому у В.С. Флерова в качестве маркеров «воинской принадлежности» фигурируют поясные наборы, части которых, в отличие от оружия, сохранились после обряда «обезвреживания». Доказательством ученому служил пример катакомбы №30, где у мужчины с поясным набором, которого в дромосе сопровождал конь в полном снаряжении, не оказалось ни одного предмета вооружения. При наличии таких «признаков», как считал исследователь, оружие первоначально было (Флеров В.С., 1993, с. 127–128). В.С. Флеров обратил внимание на то обстоятельство, что пряжки находились при мужчинах от 40 до 60 лет. Лишь в двух случаях пряжка была зафиксирована у мужчины около 30 лет и лишь в одном случае у юноши 15–16 лет. На этом основании он сделал вывод, что «знак воина» являлся не социальным, а возрастным признаком (Флеров В.С., 1993, с. 128). Но тот факт, что пряжка имелась и в юношеском погребении, делал подобное предположение не бесспорным. Становясь воинами, хазарские мужчины, как и «эры» у тюрков, вполне могли сохранять социальные различия.

Среди мужских захоронений Маяцкого могильника своими размерами и глубиной выделялись два погребения воинов (в катакомбе №3 с «женой», сопровождавшееся отдельными костями коня, собаки и конским снаряжением; одиночное захоронение в катакомбе №30 со снаряженным конем в дромосе). Длина дромосов катакомб превышала 3 м, но обнаруженные в них изделия из драгоценных металлов ничем не отличались от изделий, встречаемых в других погребениях. Как полагал В.С. Флеров (1993, с. 128–129), в катакомбах №3 и 30 были погребены мужчины, которые не столько в силу социальных привилегий, сколько благодаря военным успехам обзавелись более нарядной экипировкой коней, а жена одного из них была обладательницей немногочисленных золотых украшений. В данной оценке хорошо видно стремление ученого сгладить выявляемые социальные различия. Учитывая, что речь идет о катакомбах с наибольшей длиной дромоса и что исключительность общественного положения погребенных должна была выражаться в богатом наборе предметов вооружения (который был изъят в ходе обряда «обезвреживания»), а не в женских украшениях, можно с достаточно высокой степенью вероятности сказать, что речь идет о знатных воинах.

В инвентаре женских захоронений преобладали нехарактерные для мужских погребений бусы, украшения, а также ножи. Показательно, по мнению исследователя, отсутствие выделявшихся по своим размерам и глубине катакомб. При этом катакомба с безывентарным женским захоронением №91 имела один из самых длинных дромосов (2,6 м), превосходивший длину дромоса катакомбы №87 (2,4 м), где рядом с женским скелетом была обнаружена сумочка с 536 нашитыми бусами. Автор указывал, что золотые и позолоченные серьги имелись у женщин 30–45 лет, а у более молодых и более старых они были бронзовые и простых типов. Распределение золотых, позолоченных и бронзовых украшений дало основание В.С. Флерову считать их возрастными, а не имущественными показателями. Сходная ситуация фиксировалась археологом и в отношении количества бус в погребениях женщин разных возрастов (Флеров В.С., 1993, с. 129).

Основываясь на расположении катакомб на площади могильника, В.С. Флеров выделил «семейные группы». В одну из них, наиболее богатую, входили уже описанные катакомбы №3 и 30 («погребение отца 40–45 лет и сына 17–22 лет с женой 25–30 лет»). Другая «семейная группа»

включала пять погребений (№6, 9–11, 33), причем если в женских захоронениях имелись золотые и позолоченные украшения, бусины, бисер, зеркало, то в катакомбе №10 при мужчине 45–55 лет был обнаружен только нож, а в катакомбе №33 при 60-летнем старике вещей не оказалось вообще. Сочетание в одних «семейных группах» «богатых» и совсем безынварных катакомб позволило археологу сделать некоторые выводы: 1) состав инвентаря в каждой катакомбе определялся не имущественным статусом, а зависел от возраста и положения в семье, индивидуальных черт, обстоятельств смерти; 2) определение имущественного и социального положения погребенных должно основываться на анализе групп катакомб – «семейных» или территориальных (предполагается их совпадение), а не отдельных погребений (Флеров В.С., 1993, с. 129–130).

В пользу своей точки зрения В.С. Флеров высказал еще одно весьма ценное соображение. Он считал, что похороны – дело не только членов малой семьи. В таких ритуалах участвовала вся община и широкий спектр дальних родственников. Совместными усилиями они могли выполнить погребальные сооружения любых размеров и обеспечить достаточное количество погребального инвентаря. Однако размеры могил и состав инвентаря определялись, по его мнению, не этими возможностями, а традиционными требованиями и представлениями о загробном мире и путях к нему. Главным результатом анализа можно считать констатацию того факта, что маяцкое общество не знало имущественной и социальной разобщенности (Флеров В.С., 1993, с. 130–131).

Подводя итоги, ученый подчеркнул, что прямолинейное решение вопросов социальной дифференциации на основе простого подсчета «бедных», «средних» и «богатых» могил достоверных результатов не даст. Наибольшая осторожность должна проявляться при классификации безынварных погребений и отношении их к бедным слоям, так как это могло быть требованием погребального обряда. Учитывая, что не сохранялись надмогильные сооружения, приношения, большинство органических предметов, в том числе votivное оружие и деревянная посуда, обнаруживаемая безынварность не может быть решающим показателем «бедности» погребенного (Флеров В.С., 1993, с. 131).

В ряде случаев ученые ставили в центр своих социально-археологических изысканий отдельные предметы или их совокупность, являвшихся символами определенного общественного положения погребенного (см., например: Афанасьев Г.Е., 1993а; Яценко С.А., 1994б; Медведев А.П., 1996; Шульга П.И., 1998; Албегова З.Х., 2001; Горбунова Т.Г., 2003, 2003а, 2004; Харинский А.В., 2004; Азбелев П.П., 2007; Горбунова Т.Г., Тишкин А.А., Хаврин С.В., 2007; Ульянов И.В., 2007; и др.). Так, Ю.В. Михайлин, раскрывая семантику изображений на скифской золотой пекторали из Толстой Могилы, отмечал связь данного предмета с воинской функцией, воинской удачей, «властными характеристиками обладателя». Он исходил не только из смысловой нагрузки всего изобразительного «текста» и отдельных образов, но и из функционально-ритуальной значимости пекторали, считая их неразрывными (Михайлин В.Ю., 2003, с. 13, 14, 16, 17). Историко-антропологический контекст трактовки «текста» пекторали также предполагал совмещение двух «полей», двух систем образов, связанных с погребенным «воином-царем» в Толстой Могиле. По мнению ученого, воин, «обладающий высоким социальным статусом, а тем более статусом царским (и, следовательно, наделенный помимо высоких воинских характеристик еще и высокими «хозяйственными» и «жреческо-магическими» функциями), существовал как бы «в двух ипостасях: «властной» и «собственно воинской». В контексте мирного быта, как пишет исследователь, «он представлял собой весьма значимое, если не центральное звено в цепи общинных связей, будучи центром («головой») зависимой от него и (с точки зрения стандартного магического осмысления) телесно инкорпорированной в него группы». Причем данная группа включала не только конкретных людей, связанных с «хозяином» кровнородственными, клановыми, клиентскими или любыми другими отношениями зависимости. В нее входило также любое «освоенное» группой движимое и недвижимое «имущество»: скот, пахотная земля, пастбища, предметы обихода и т.д. «Большое тело» хозяина могло «прибывать» и «убывать» не только в пределах «мирного» территориально-магистического модуса существования, связанного с основной, освоенной, «культурной» пространственной зоной, а также и с некоторыми другими значимыми характеристиками (сезонными, возрастными и т.д.). Другой модус существования, собственно воинский, как пишет В.Ю. Михайлин (2003, с. 18–19), «подразумевал включенность в совершенно иную, «чужую», «хтоническую» территорию войны, добычи и смерти. Статусный воин и здесь являлся «головой» своеобразного коллективного «тела», но только тело это имело совершенно иной характер. Это был единый несущий смерть организм (дружина, «охота», «стая», «корабль» и т.д.), состоящий из людей, животных (кони, псы) и оружия...».

Таким образом, современная отечественная социальная археология располагает широким методическим ассортиментом, опирается на современные историко-методологические подходы и междисциплинарные стратегии, располагает массовыми материалами археологических изысканий, включая уникальные исследования элитных памятников номадов. Эти факторы являются важнейшей основой авторских палеосоциологических разработок. Тем не менее следует подчеркнуть, что внедрение в исследовательскую практику методологических подходов, сформировавшихся к началу XXI в., и современных палеосоциологических методик все еще остается перспективной задачей для российской науки.

Раздел II

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

У КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Глава 4

Результаты изучения социально-политического развития номадов скифско-сакской эпохи

4.1. Судьбы памятников ранних кочевников Саяно-Алтая в XVII в. – 30-х гг. XX в.: от «бугровщиков» до первых социальных интерпретаций

Начало изучения древностей Сибири относится к петровской эпохе и последующим десятилетиям XVIII в. Значительный вклад в это дело внесли участники естественно-научных экспедиций Российской академии наук: Д.Г. Мессершмидт, Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.П. Фальк и другие ученые. Они давали описание древнего горного и металлургического производства, раскапывали курганы, фиксировали наскальные рисунки, каменные изваяния, скупали у местного населения находки из древних захоронений и т.д. (Дмитриева Е.Н., Левашова В.П., 1965, с. 225–231; Розен М.Ф., 1977, с. 23–26; Демин М.А., 1977, с. 28–30; Белокобыльский Ю.Т., 1986 и др.).

Нельзя не отметить, что знакомство с сокровищами из древних погребений Сибири началось раньше научных исследований этих памятников. Речь идет о «бугровщиках», деятельность которых, насколько позволяют судить источники, развернулась с середины XVII в. до 20-х гг. XX в. (Демин М.А., 1989, с. 10). Исследователи связывают феномен «бугровщичества» с условиями расселения в Сибири русскоязычного и другого населения в XVII в. и трудностями колонизации сибирских территорий (Уманский А.П., 1966, 1999; Бородаев В.Б., Контев А.В., 1999; Кызласов Л.Р., 1962, с. 43–44). Те колонисты, которые не могли обеспечить себе достаточное материальное благосостояние или стремились сделать это легким путем, обратилась к раскопкам древних могил с целью отыскания в них драгоценного металла и различных «поделок». Дело со временем оказалось довольно прибыльным, привлекая все новых и новых «разорителей могил». Постепенно к поиску в Сибири «могильного золота» присоединились даже чиновники царской администрации. Они организовывали группы кладоискателей-«бугровщиков» и присваивали немалую долю найденных ценностей. Обнаруженные вещи продавались купцам, путешественникам, предпринимателям (Демин М.А., 1989, с. 10). Уже на этом этапе «бугровщиками» была отмечена зависимость богатства сопроводительного инвентаря и масштабность погребального сооружения от социального статуса умершего.

В 1715 г. уральский горнозаводчик А.Н. Демидов подарил второй жене Петра I, Екатерине, по случаю рождения царевича, золотые украшения (Кызласов Л.Р., 1962, с. 46), найденные, возможно, в курганах из предгорий Алтая (Кубарев В.Д., 1991, с. 6), где располагаются грандиозные сооружения скифской эпохи (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003, с. 8).

В 1716 и 1717 гг. сибирский губернатор М.П. Гагарин по поручению царя прислал в Петербург две небольшие партии золотых предметов (Кызласов Л.Р., 1962, с. 47; Завитухина М.П., 1971, 1974, 1977), которые в совокупности с поступлением от А.Н. Демидова составили знаменитую Сибирскую коллекцию Петра I (Руденко С.И., 1962), переданную в Кунсткамеру – первый российский музей, основанный в 1727 г. Аналогичную по составу, но значительно меньшую по объему коллекцию сибирских золотых вещей собрал в свое время голландский государственный деятель и ученый Н.К. Витзен (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2001). Однако она сохранилась только в рисунках в посмертном издании его книги в России (Степная полоса..., 1992, с. 161).

В первой половине XVIII в. в государственные учреждения Петербурга приходили сообщения о многочисленных находках древностей (Кызласов Л.Р., 1962; Демин М.А., 1980; и др.). Разграбление курганов и переплавка изделий приобрели широкие масштабы. Указы Петра I в 1717 и в 1722 гг., а также распоряжение сибирского губернатора в 1727 г. о запрещении такого вида деятельности не смогли полностью прекратить этот промысел (Авдусин Д.А., 1980; Демин М.А., 1989, с. 7).

В XVIII–XIX вв. в процесс изучения Сибири, а затем и Монголии, постепенно включались не только путешественники, военные, горные инженеры, но также краеведы и ученые (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2004; Демин М.А., 1989, с. 35; Исследователи..., 2000, с. 200–204; и др.). Во вто-

рой половине XIX в. среди местной интеллигенции и в академической науке возрастает интерес к малоизученным районам Азии. В связи с этим Русское географическое общество и его сибирские филиалы, при содействии Археологической комиссии, организовали ряд экспедиций, маршруты которых проходили через разные районы Центральной Азии (Марсадолов Л.С., 1996, с. 15–16; Матющенко В.И., 2001а, с. 28–30; Длужневская Г.В., 2005, с. 45–52, 67–74).

Важный этап исследования памятников скифского времени на территории Казахстана, Алтая, Тувы, Хакасии и других районов Центральной Азии связан с последней третью XIX – началом XX вв. Среди ученых, внесших наибольший вклад в изучение погребальных и ритуальных памятников номадов I тыс. до н.э., следует отметить В.В. Радлова, А.В. Адрианова, Г. Менье, Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, Д.М. Клеменца, С.М. Чугунова и др.

Исследователей скифских древностей Центральной Азии интересовали в дореволюционный период прежде всего вопросы этнокультурного характера. Однако известный ученый В.В. Радлов на основе своих раскопок в Южной Сибири и Казахстане сделал некоторые выводы о социальной и хозяйственной жизни кочевников. Так, после раскопок Берельского и Катандинского курганов особое внимание ученого привлекла реконструкция жизнедеятельности древних обществ, о которых нет непосредственных письменных свидетельств. В процессе такой реконструкции ученый, кроме археологических данных, широко использовал этнографические, лингвистические, фольклорные источники и китайские хроники. Пытаясь восстановить погребальный обряд древнего населения Горного Алтая, он привлек китайские источники по уйгурам, в которых содержалась информация о погребально-поминальных традициях древних народов Сибири. Ученый указал и на развитость торговых отношений в древности, отметив, что в качестве экспорта племена Алтая поставляли в соседние регионы золото и медь (Радлов В.В., 1989, с. 410–480).

В.В. Радлов обратил внимание на часто встречаемые в курганах раннего железного века сопроводительные захоронения лошадей. Примечательным в этом отношении являлся Берельский курган, где В.В. Радлов обнаружил 16 конских скелетов. Учитывая эти данные, а также наскальные рисунки того времени, на которых изображены исключительно всадники, ученый сделал вывод, что древние племена Алтая были кочевниками. Ведущая роль в хозяйстве отводилась скотоводству – разведение лошадей, овец, коз, крупного рогатого скота и верблюдов, а земледелием они занимались так же, как и «...все турки-кочевники» (Радлов В.В., 1989, с. 471–474). Кроме этого, исследователь указал, что лошадь в то время была уже и признаком социального статуса умершего, поскольку наибольшее число особей захоронено в «более богатых могилах» (Радлов В.В., 1989, с. 463).

После революционных событий и Гражданской войны были возобновлены археологические исследования на Саяно-Алтае. В 1920–1930-е гг. в этом регионе работали Алтайская (руководитель С.И. Руденко), Минусинская (С.А. Теплоухов, с 1928 г. С.В. Киселев), Саяно-Алтайская (С.В. Киселев) экспедиции и отдельные отряды. В ходе раскопок был получен первый массовый материал, необходимый для палеосоциальных реконструкций.

С именем С.И. Руденко связывают новый этап в исследованиях древних памятников Алтая. В ходе работы Алтайской экспедиции этнографического отдела Русского музея под руководством С.И. Руденко с 1924 по 1929 г. проводились исследования курганов под Бийском, в урочищах Пазырык и Шибэ (Грязнов М.П., 1928; 1931; Руденко С.И., 1931; Матющенко В.И., 1995, с. 5). С этого времени началась разработка истории кочевых объединений, существовавших на территории Алтая в скифский и более поздний периоды. Почти при полном отсутствии письменных источников исследование археологических памятников для изучения проблем социальной организации номадов приобретало решающее значение.

С.И. Руденко социальный строй населения Алтая в скифское время характеризовал как «родовой». Исследователь полагал, что существование рабов и наемный труд, который практиковали некоторые зажиточные кочевники, хотя и вносили определенный диссонанс, но в целом не нарушали целостности родовой организации (Руденко С.И., 1931, с. 24–27).

Предельно корректны социальные интерпретации М.П. Грязнова. Оценивая памятники «первого этапа железной эпохи на Алтае», ученый писал: «Культура рассматриваемых курганов принадлежит кочевому народу с развитой дифференциацией классов. Наряду со сравнительно бедными погребениями простых людей имеются богатые могилы представителей высшего класса, весьма богатых и облеченных известной долей власти» (Грязнов М.П., 1930, с. 8). По его мнению, социальные институты древних кочевников сохраняли родовой характер. При этом он не отрицал возможности развития социальной дифференциации, что отражалось в скифских погребальных комплексах. В со-

ветско-французской публикации материалов Первого Пазырыкского кургана ученый определил памятники такого типа, как «исключительно богатые, с огромными могильными сооружениями, погребения вождей племен или родоплеменных союзов», которые он отличал от «сравнительно бедных погребений рядовых членов рода» и «богатых погребений родовых старейшин» (Грязнов М.П., 1937, с. 7; 1940, с. 17–18).

В середине 1930-х гг. происходит официальное утверждение марксистской концепции истории. Это побудило многих исследователей творчески подойти к разработке теорий общественного развития конкретных народов, в том числе и кочевых, и заострило интерес историков, этнографов и археологов к социальной проблематике. Наиболее показательны в этом отношении разработки М.П. Грязнова. В 1939 г. им подготовлен раздел «Ранние кочевники Западной Сибири и Казахстана» для коллективного труда «История СССР с древнейших времен до образования Древнерусского государства» (Грязнов М.П., 1939). В этой работе, опираясь на археологические данные по Алтаю и сопредельным территориям, Михаил Петрович ввел в научный терминологический аппарат понятие формационного характера «эпоха ранних кочевников», которая охватывала восемь столетий (VII в. до н.э. – I в. н.э.) и подразделялась на три этапа: 1) майэмирский (VII–V вв. до н.э.; 2) пазырыкский (V–III вв. до н.э.); 3) шибинский (II в. до н.э. – I в. н.э.).

Археологические материалы, характеризующие каждый из этапов, по мнению исследователя, позволили «проследить последовательные изменения в хозяйственной и социальной жизни племен» всей эпохи ранних кочевников (Грязнов М.П., 1939, с. 400). По сути дела, М.П. Грязнов не делал принципиальной терминологической разницы между понятиями «эпоха ранних кочевников» и «культура ранних кочевников». Из этого следует, что в Горном Алтае на всем протяжении скифской эпохи существовала в представлении ученого одна культура, которая прошла в своем развитии три вышеуказанных этапа. Данная эпоха характеризовалась как время «разложения» родового строя, появления социальной дифференциации и рабства в позднескифский период. Учитывая особенности погребального обряда кочевников данного региона скифского времени, он выделил три группы курганов, соответствующих социальному статусу погребенных: 1) бедные; 2) более богатые (средние); 3) огромные курумы (Грязнов М.П., 1939, с. 407–411). Позднее ученый отметил, что в указанную эпоху у кочевников наблюдается не только развитая социальная дифференциация, но и сложная политическая структура общества. Это выразилось, в частности, в господстве кочевников-скотоводов над оседлыми скотоводческо-земледельческими группами населения (Грязнов М.П., 1947, с. 14–15).

По мнению Л.С. Марсадолова, эти разработки М.П. Грязнова продемонстрировали окончательный методологический переход ученого на позиции исторического материализма. Теперь изменения в развитии экономики стали рассматриваться в тесной связи с изменениями социального строя, идеологических представлений, искусства и т.д. (Марсадолов Л.С., 1996, с. 26). Однако нам представляется, что такая оценка слишком однозначна. М.П. Грязнову и до 1939 г. был присущ комплексный взгляд на социокультурное развитие древних народов. Практически не изменил он и своих подходов к характеристике общественной организации ранних кочевников, которая рассматривалась как родовая, военно-демократическая.

Приведенные материалы позволяют сделать следующий вывод. Прежде всего в рассматриваемый период только началось научное знакомство с различными памятниками кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Незначительность накопленной исследователями информации по истории кочевых народов обуславливала только предварительные и самые общие социальные интерпретации. В то же время археологические исследования на Алтае во второй половине XIX – первой трети XX вв. заложили основы комплексного подхода к изучению разных аспектов развития кочевых обществ, в том числе и к реконструкции общественно-политической структуры. Первые разработки видных отечественных ученых (В.В. Радлова, М.П. Грязнова и С.И. Руденко) по социальной истории кочевников были реализованы в полной мере в последующий период.

4.2. Общественно-политические структуры кочевников Саяно-Алтая, Средней Азии и Казахстана VII–IV вв. до н.э. в исследованиях второй половины 1940–1960-х гг.

Период со второй половины 1940-х и до конца 1960-х гг. по праву можно назвать «классическим» в исследовании, публикации и обобщении пазырыкских материалов Горного Алтая. Ведущая роль в этом принадлежала таким ученым, как М.П. Грязнов и С.И. Руденко, которые затронули в своих работах вопросы общественного устройства горно-алтайского населения. По мнению

М.П. Грязнова (1947, с. 13–15), уже на майэмирском этапе (VII–V вв. до н.э.) «картина» экономической дифференциации, появление богатых патриархальных семей и племенной знати (цепочки больших курганов в Майэмирской степи) дополнялась сложной политической структурой общества.

Важное методическое значение имел анализ М.П. Грязновым материалов Первого Пазырыкского кургана. Огромные размеры могильного сооружения (объем каменной насыпи 1800 м³; яма объемом 196 м³; 500 бревен для сруба; общие трудозатраты, составлявшие по оценке М.П. Грязнова, 2500–3000 человеко-дней) убеждали, что подобное погребение могло быть совершено или родом, или даже племенем. Как считал исследователь, в кургане был захоронен «не просто богатый человек, а представитель общественной власти», «племенной вождь». Сочетание фамильных кладбищ (цепочек больших курганов) и общественной власти погребенных в этих некрополях свидетельствовало, по мнению ученого, в пользу того, что «как богатство, так и высшие общественные должности в роду и племени передавались по наследству» (Грязнов М.П., 1950, с. 68–69).

Подтверждение своим взглядам М.П. Грязнов нашел благодаря захоронению коней за пределами сруба. Он обратил внимание на то, что кони различались по количеству меток на ушах, поэтому их следовало считать собственностью разных владельцев. Об этом же, как полагал исследователь, говорил анализ особенностей седел и уздечек. Немаловажен, по наблюдениям археолога, был и тот факт, что погребенными оказались кони, а не лошади. Как писал в связи с этим исследователь, трудно представить, чтобы за один раз были убиты сразу 14 производителей из одного стада. Из констатации этих моментов вытекал главный вывод автора, что кони и сопровождавший их инвентарь являлись подношениями покойному от подчиненных ему подразделений. По мнению М.П. Грязнова (1950, с. 69–70), «это были дары племенному вождю от десяти родовладык».

Развитие данного положения натолкнуло ученого на возможность реконструировать состав «пазырыкского» объединения по числу родовладык, подносивших дары вождям. По подсчетам исследователя, получалось, что племя, вождь которого был погребен в Первом Пазырыкском кургане, состояло из 10 родов, в Берели – из 16, в Шибе – из 14, в третьем и четвертом кургане Пазырыка – из 14, во втором – из 7. Цифры 7 и 14 М.П. Грязнов считал не случайными, а, вероятно, свидетельствующими о фратриальном делении «пазырыкцев», что, согласно точке зрения археолога, являлось характерным для всех народов, находившихся на стадии военной демократии. Вышеизложенными положениями обосновывалась другая идея автора – о редистрибуции как экономической основе власти пазырыкских вождей. Он предполагал, что посмертные дары родоначальников вождю свидетельствовали о широком использовании этой практики при жизни покойного и на этом строилась вся общественная система «пазырыкцев»: регулярная передача материальных ценностей главами общественных подразделений являлась «нормой экономических отношений» между массой основных производителей и должностными лицами в роде и племени (Грязнов М.П., 1950, с. 70–71).

При определенной доле предположительности идей М.П. Грязнова, они строились на основе скрупулезного анализа фактического материала. Впервые в отечественной историографии для аргументации своего мнения исследователь применил комплексную методику палеосоциологического анализа, обосновал и показал значение методов трудозатрат и планиграфии, провел сравнительный анализ коней в элитных погребениях пазырыкской культуры, попытался на основе археологических источников создать модель социально-политических отношений в пазырыкском обществе. Достоинством комплексной методики М.П. Грязнова были универсальность и возможность ее применения по отношению к памятникам других кочевых групп. Позже подобная методика использовалась археологом при обобщении результатов исследования кургана Аржан. Структуризация погребального пространства Первого Пазырыкского кургана была отправной точкой для одной из самых ценных идей М.П. Грязнова, сыгравшей в последующем значимую роль в социальных реконструкциях – представлении о кургане как архитектурном памятнике (Грязнов М.П., 1961).

Вопросов социального развития кочевников Евразии, на примере носителей традиций пазырыкской культуры Алтая, коснулся и современник М.П. Грязнова – С.В. Киселев (1951, с. 327, 365–366). Ученый, основываясь, главным образом, на визуальном анализе курганов, предложил их отнести к трем группам, которые затем соотнес с отдельными слоями кочевого социума: 1) малые курганы рядовых кочевников; 2) средние – погребения племенной аристократии; 3) огромные «курумы» – курганы вождей. Каждую из выделенных групп исследователь попытался сопоставить с реальными памятниками из Горного Алтая, раскопанными к концу 1940-х гг. Так, к первой группе он отнес несколько небольших курганов из могильников Курота и Курай; во вторую – Второй Каракольский курган, курган №7 из могильника Туэкта, курганы №5 и 8 из могильника Яконур и др. Наконец, в

последнюю группу вошли большие курганы Алтая: Катанда, Первый Пазырыкский курган, Берель, Шибе (Киселев С.В., 1951, с. 327, 365–366).

Предложенная трехуровневая социальная дифференциация достаточно типична для того периода. По сути дела, это незначительно модернизированная стратификация М.П. Грязнова, разработанная им для кочевников Алтая в 1939 г. Использование С.В. Киселевым практически в неизменном виде разработок других ученых вполне закономерно, поскольку его работа «Древняя история Южной Сибири» носила преимущественно обзорный и обобщающий характер. К этому следует еще добавить, что к началу 1950-х гг. было исследовано незначительное число памятников пазырыкской культуры и ограниченный фактический материал практически исключал возможность более детальной характеристики социальной структуры кочевников Горного Алтая. Наряду с М.П. Грязновым и С.В. Киселевым много уделял внимания изучению социальной истории древних народов другой исследователь кочевых культур Центральной Азии – С.И. Руденко. В целом, высказывая идеи, сходные с позициями других исследователей, он выступил против ряда выводов М.П. Грязнова, подвергнув критике концепцию «посмертных даров». Более того, сложность взаимоотношений С.И. Руденко с коллегами, особенно с М.П. Грязновым, выражалась в некоторых случаях в диаметрально противоположных оценках и интерпретациях отдельных исторических явлений.

Прежде всего следует отметить, что С.И. Руденко (1952, с. 27) один из первых высказал мнение о существовании в Евразии единого скифо-сакского мира, «сложившегося к середине I тыс. до н.э. на основе пастушеского скотоводства и обусловленной им общественной организацией и идеологией». Причины перехода к новому типу хозяйствования – скотоводству, исследователь видел в изменении экологической ситуации в степях в начале I тыс. до н.э. (Руденко С.И., 1952, 1953, 1957). Тесная связь между возникновением скотоводства и процессами социального развития населения аридной зоны подчеркивалась С.И. Руденко (1961б) в докладе о формах скотоводческого хозяйства у кочевников, прочитанном на заседании отделения этнографии Географического общества СССР в 1958 г., а спустя некоторое время опубликованном в более развернутом виде в специальной статье.

Социальную структуру С.И. Руденко, как и другие ученые, реконструировал исходя из размеров надмогильных сооружений. На этом основании ученый подразделял курганы скифского времени на три основных группы, каждая из которых, как он предполагал, соответствовала определенному социальному статусу умерших людей. В результате такого подхода выделялись: 1) погребения рядовых кочевников; 2) курганы знати (племенной и/или родовой); 3) погребения вождей племен (Руденко С.И., 1952, с. 54; 1953, с. 257). Давая такую традиционную для того времени трехуровневую стратификацию кочевого социума, С.И. Руденко подчеркивал, что уровень имущественной дифференциации у «горно-алтайцев» был ниже, чем у саков или скифов Причерноморья. При этом он однако предполагал наличие в пазырыкском обществе не только знатных, но и зажиточных семей, у которых в частной собственности находилось больше скота, чем у других соплеменников (Руденко С.И., 1952, с. 56). Особое внимание С.И. Руденко уделил вопросу о рабстве у кочевников Алтая. Исследователь отмечал, что прямых свидетельств о таких формах зависимости у «пазырыкцев» нет. В то же время он не исключал существования домашнего рабства, что было весьма характерно для других народов древности (Руденко С.И., 1953, с. 257).

В своих работах С.И. Руденко затронул проблему положения женщин, погребенных в «больших» курганах Алтая. Позиция автора не отличалась четкостью, в ней прослеживалась определенная двойственность. С одной стороны, он подчеркивал высокий общественный статус женщин у кочевников, богатство инвентаря, сопровождавшего женские захоронения (изысканные одежды, «холеные руки, не знавшие тяжелой работы») (Руденко С.И., 1948, с. 56; 1952, с. 236; 1953, с. 254; 1960, с. 237). С другой – характеризовал их как «наложниц» (Руденко С.И., 1948, с. 55; 1952, с. 242–243). Только погребение во Втором Туэктинском кургане, где было найдено одиночное захоронение богатой женщины с восемью лошадьми, исследователь однозначно связывал с женщиной, стоявшей во главе племени (Руденко С.И., 1960, с. 106–108, 237).

Не меньший интерес у С.И. Руденко вызывали особенности общественной организации кочевников Алтая, определявшиеся функционированием родоплеменной системы. Во главе племени, по его мнению, стояли старейшины, а в военное время их функции переходили к вождям и военачальникам. Вождей и старейшин выбирали через народное собрание. Существовал также совет старейшин, регулирующий межплеменные отношения (Руденко С.И., 1952, с. 56). Ученый полагал, что общественное развитие кочевников Алтая очень сходно с уровнем развития ухуаньцев, известных по китай-

ским источникам, у которых еще «только недавно началось выделение более зажиточных семей из остальной родовой общины» (Руденко С.И., 1953, с. 270–271).

Важным достижением в палеосоциологических реконструкциях С.И. Руденко является планиграфический анализ могильников. Он первый указал на перспективность такого метода и продемонстрировал его возможности на примере памятников Горного Алтая. Курганная группа в представлениях исследователя – это кладбище одного рода. Некрополь в долине Пазырык он предложил рассматривать как погребения вождей племен из трех родов или семей, что, как полагал ученый, хорошо прослеживалось по планиграфии памятника. Так, в пределах Пазырыкского могильника С.И. Руденко выделил три группы: 1) курганы №1 и 2; 2) курганы №3 и 4; 3) стоящий особняком курган №5 (Руденко С.И., 1952, с. 56). Немного позднее ученый пришел к однозначному выводу, что в урочище Пазырык похоронены представители трех семей, а не родов (Руденко С.И., 1953, с. 259).

Как уже указывалось, наибольшие разногласия у С.И. Руденко возникли с М.П. Грязновым, по проблеме так называемых посмертных даров, на основании анализа которых М.П. Грязнов предложил реконструкцию структуры «горно-алтайских» племен (Грязнов М.П., 1950, с. 70–71; Руденко С.И., 1960, с. 240–241). С.И. Руденко, критикуя М.П. Грязнова и поддержавших его С.А. Токарева (1950, с. 213) и К. Иеттмара (1951, р. 200), отмечал, что материалы по скифской эпохе Горного Алтая «...не дают оснований видеть в погребенном инвентаре вещи, дарованные, а не принадлежащие умершим, и тем более приписывать феодальные отношения обществу горно-алтайских племен...» Доводы же М.П. Грязнова, сделанные на основании материалов из Первого Пазырыкского кургана, исследователь считал необоснованными. Археолог отмечал, что погребенные верховые кони принадлежали исключительно умершему, а разные метки на ушах лошадей свидетельствуют лишь о том, что они могли иметь когда-то разных хозяев (Руденко С.И., 1960, с. 239). С.И. Руденко также обратил внимание на однотипность конского снаряжения и на то, что отдельные его элементы неоднократно чинились. Это обстоятельство исключало вывод М.П. Грязнова о том, что они изготовлялись специально для погребения и приносились, как и лошади, в дар умершему вождю (Руденко С.И., 1960, с. 239).

Завершая обзор социальных разработок С.И. Руденко, можно сделать следующие выводы. Прежде всего надо отметить, что в его работах прослеживается определенное принижение уровня социально-экономического и политического развития общества скотоводов Алтая. Это связано как с приверженностью исследователя к принципам эволюционистской теории (наглядно об этом говорят работы С.И. Руденко 1920-х гг.), так и с методологическими принципами исторического материализма, на которых базировались исследования ученого конца 1940-х – начала 1950-х гг. К тому же на изыскания С.И. Руденко не могли не оказывать влияния выработанные в советском кочевниковедении в 1930-х – начала 1950-х гг. идеологические догмы. В частности, среди советских ученых господствовало мнение, что «пазырыкцы» не «дотягивали» по имеющимся в их культуре признакам до уровня рабовладельческой формации. В связи с этим возникала необходимость обоснования более низкого развития кочевников Горного Алтая. Особенно отчетливо такая тенденция наблюдается в монографиях С.И. Руденко, изданных в 1952 и 1953 гг. В этих работах в качестве определенного теоретического обоснования своих выводов по вопросам социальной истории ученый в ряде случаев ссылается на работы И.В. Сталина. Не случайным в этой связи представляется стремление археологов и историков того времени показать «пропорциональную» зависимость богатства и социального статуса: чем знатнее человек, тем выше у него уровень материального благополучия, тем сильнее он эксплуатирует сородичей и соплеменников (Дашковский П.К., 2001).

Надо отметить, что С.И. Руденко в какой-то степени пытался уйти от подобного идеологического принципа, характерного даже не столько для марксизма, сколько для сталинской идеологии. Поэтому ученый, опираясь на реальные археологические и этнографические источники, указывал на наличие в социальной структуре пазырыкцев не только трех традиционных слоев, но и «категории зажиточных семей», которые были ниже по статусу знати (Руденко С.И., 1952, с. 56).

В одной из своих последних работ «Культура населения Центрального Алтая в скифское время», опубликованной в 1960 г., в период «хрущевской оттепели», исследователь, по сути дела, призывает ученых неформально понимать выводы классиков марксизма, в частности Ф. Энгельса, «творчески» их перерабатывать. В данном случае речь идет о том, что С.И. Руденко (1960, с. 243) в определенном смысле выступил против «преувеличенной точки зрения (Ф. Энгельса. – *Авт.*) на роль военных набегов как источника благосостояния коневодческих племен». Такая, даже неболь-

шая критика отдельных положений марксистской философии и идеологии, конечно, не могла быть высказана в сталинскую эпоху.

С методологической точки зрения в творчестве С.И. Руденко, как и М.П. Грязнова, С.В. Киселева, переплетались принципы философии позитивизма, эволюционизма, исторического материализма и постулаты марксистской идеологии. Такой методологический синтез обусловлен сложными процессами общественно-политической жизни в СССР, в которые были вовлечены и археологи.

Следует отметить, что при всех недостатках социальных разработок С.И. Руденко, а также С.В. Киселева и М.П. Грязнова тем не менее эти ученые внесли большой вклад не только в изучении социальной истории кочевников, но и в разработку методики палеосоциологических реконструкций. Исследователи прекрасно продемонстрировали возможности комплексного подхода к таким реконструкциям на основе привлечения археологических, этнографических, палеозоологических и антропологических данных. Особое внимание было обращено на критерии социальной стратификации, в качестве которых рассматривались монументальность сооружения, состав инвентаря, объем затрат на сооружение кургана и т.д. Нужно подчеркнуть и успешное применение С.И. Руденко планиграфического анализа Пазырыкского могильника. Основным итогом социальных разработок С.И. Руденко, одновременно с М.П. Грязновым и С.В. Киселевым, стала выработка трехуровневой модели социальной стратификации кочевников Горного Алтая, которая заложила фундамент для дальнейших исследований в этом направлении.

Отдельные аспекты социально-политической истории алтайского населения затрагивал Л.П. Потапов. Он поддержал М.П. Грязнова и С.И. Руденко в характеристике общественного строя «пазырыкцев» как «военно-демократического». Но в отличие от М.П. Грязнова, Л.П. Потапов отмечал не только наличие социальной и имущественной дифференциации, но и сочетание в общественной системе «пазырыкцев» элементов патриархально-родовых и рабовладельческих отношений. Последний вывод был следствием переноса на ранних кочевников Алтая сведений китайских хроник, посвященных хунну и усуням (Потапов Л.П., 1948, с. 86–89, 92–93; 1953, с. 74–76).

Если говорить о других ареалах социальных исследований кочевых обществ скифского времени в пределах Саяно-Алтая, то наиболее интересными были социологические трактовки тувинских материалов. Ведущую роль в изучении памятников ранних кочевников Тувы в 1950–1960-е гг. сыграли С.И. Вайнштейн, В.П. Дьяконова и А.Д. Грач. Основываясь на раскопках раннекочевнических погребений могильников Кызылган и Озен-Ала-Белиге, С.И. Вайнштейн и В.П. Дьяконова констатировали наличие имущественной и социальной дифференциации у населения Тувы скифской эпохи, прослеживаемой по размерам погребальных сооружений и инвентарю (Вайнштейн С.И., 1956, с. 101–102; 1966, с. 167–168; Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П., 1966, с. 254). При этом исследователи считали, что «общинно-родовые» традиции сохраняли свою силу, о чем свидетельствовали «кызылганские коллективные погребения» и родовой тип кладбищ (Вайнштейн С.И., 1956, с. 101–102; Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П., 1966, с. 187).

Сопоставляя результаты исследований пазырыкского общества с материалами изучения общественно-политической организации кочевников VIII–III вв. до н.э. в соседних регионах, следует подчеркнуть, что столь же существенными, на наш взгляд, были только исследования отдельных памятников саков в Средней Азии. Здесь, несомненно, большое влияние на изучение этнокультурной и социальной истории кочевых народов скифо-сакского периода оказали академические экспедиции – Хорезмская, Семиречинская, Киргизская, Илийская и другие, которые позволили получить массовый материал. Особенно большую роль в развитии представлений о социальной организации ранних кочевников Казахстана сыграли работы К.А. Акишева. В течение нескольких лет (1957, 1959–1962 гг.) велись раскопки сакских погребений Бесшатырского могильника, расположенного на правом берегу Или. Несмотря на ограбленность практически всех погребений, материалы некрополя легли в основу реконструкции К.А. Акишевым стратификации сакского общества. Он предположил, что выделенные им по размерам и конструкции три группы курганов принадлежали трем социальным группам населения: вождям племен (курганы диаметром 50–105 м и высотой 8–17 м), племенной знати и воинам, прославившимся в походах (насыпи диаметром 30–45 м и высотой 5–6 м), рядовым кочевникам, «совершившим подвиг и удостоенных в честь этого лежать рядом с «царями» и знатью» (диаметром 6–18 м и высотой 1–2 м). Отдельно К.А. Акишев рассмотрел памятники рядового населения. Он располагал материалами только 35 раскопанных курганов (VII–IV вв. до н.э.) из шести могильников. Согласно представлениям археолога, данные могильники являлись «родовыми

кладбищами» на площади которых размещались погребения больших патриархальных семей (Акишев К.А., 1959, с. 204–209; 1962, с. 61–65; Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963, с. 25–72, 85–88, 105).

К.А. Акишев, по существу, первым создал на основе археологических источников социальную типологию кочевнических погребений, включавшую четыре ступени. Главным ее достоинством была попытка вычлнить отдельные слои в составе привилегированного населения, что не делалось в то время даже на материалах наиболее изученной причерноморской Скифии. Также интересные социально-теоретические разработки произвел С.С. Черников (1960а–б, 1965), изучавший сакские курганы сакского времени в Восточном Казахстане. Его концепция о двух этапах общественного развития ранних кочевников подробно изложена в первой главе.

В целом, если говорить о генеральной тенденции в изучении общественных и властных структур у кочевников Саяно-Алтая, Казахстана и Средней Азии скифо-сакского периода, то следует назвать преобладающей точку зрения М.П. Грязнова о взаимосвязи процесса перехода к кочевому скотоводству с формированием племенных союзов военно-демократического типа (Грязнов М.П., 1955, с. 19–21; 1956, с. 16; 1959, с. 59; История Узбекской ССР, 1955, с. 38–41; История Киргизии, 1957, с. 42, 45, 49–50, 53; История Казахской ССР, 1957, с. 27, 29–30, 35–36, 40, 46; История Туркменской ССР, 1957, с. 58, 71, 130–132; Кадырбаев М.К., 1959, с. 202; Агеева Е.И., Максимова А.Г., 1959, с. 45; Кожомбердиев И.К., 1963, с. 77; и др.).

Важными также следует признать уточнения, связанные с представлениями исследователей о развитии рабства в обществах ранних кочевников. Со второй половины 1950-х гг. ученые все чаще писали об отсутствии у кочевников развитого института «рабовладения», отмечая только наличие элементов патриархального рабства. После выхода работы Г.И. Семенюка об экономической нецелесообразности рабства у кочевников и целого ряда других исследований, а также дискуссии о патриархально-феодальных отношениях вынужден был скорректировать свою позицию С.П. Толстов. Выступая на «Втором совещании археологов и этнографов Средней Азии», он отметил, что вопрос об общественном строе среднеазиатских кочевников остается открытым. Как полагал исследователь, «варварские племена» Приаралья в античную эпоху развивались по патриархально-рабовладельческому пути, не получившем завершения из-за перехода к патриархально-феодальным отношениям (Толстов С.П., 1959, с. 143, 149; 1961, с. 143–144; 1963, с. 41–42).

В качестве итогов развития социальных исследований истории кочевников на материалах Саяно-Алтая, Казахстана и Средней Азии следует назвать оригинальные и эталонные палеосоциологические разработки М.П. Грязнова, С.И. Руденко, К.А. Акишева и др. По большому счету именно они заложили традицию комплексного изучения социальных аспектов истории кочевников, которая реализовывалась отечественными учеными на материалах памятников всей Центральной Азии. В то же время нельзя не подчеркнуть, что общее число социальных исследований было пока незначительным, ограниченным оставалось и количество задействованных в таких социальных интерпретациях памятников (Пазырык, Бесшатырские и Чиликтинские курганы). В методическом отношении социальные реконструкции строились либо на визуальной оценке погребальных конструкций и состава сопровождающего инвентаря, либо на измерении основных «социальных» параметров элитных погребальных сооружений. Число изученных рядовых захоронений было незначительным. Оставались практически вне поля зрения ученых вопросы половозрастной структуры, конкретных характеристик социального положения дружинников и рядового населения, различных пограничных и маргинальных слоев. В значительной мере данные тематические лакуны станут предметом интереса ученых на следующем этапе.

4.3. Реконструкция социальной организации кочевников Центральной Азии скифо-сакского периода в конце 1960-х – начале 1990-х гг.

С конца 1960-х гг. исследователи начинают целенаправленные исследования «рядовых» памятников пазырыкской культуры Алтая. Активные исследования памятников кочевников проводились и в других регионах Центральной Азии, Туве, Восточном Казахстане и Монголии. В процессе изучения кочевых культур активное участие принимали различные академические структуры: Институт археологии АН СССР (позднее – ИА РАН), Ленинградское отделение ИА АН СССР (с 1991 г. ИИМК РАН), Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (с 1991 г. разделенный на самостоятельные учреждения). Важную роль в изучении скифской эпохи стал играть созданный Институт археологии и этнографии СО РАН. С 1970-х гг. в процесс археологических исследований включились высшие учебные заведения страны: Ленинградский (ныне

Санкт-Петербургский), Кемеровский, Новосибирский, Алтайский и Томский государственные университеты, а также педагогические институты – Барнаульский, Горно-Алтайский и другие, которые сейчас переведены в разные категории государственных университетов.

Исследование в указанный период сотен курганов «рядовых» кочевников существенно расширило источниковую базу, необходимую для более глубокого анализа палеосоциальных аспектов развития «пазырыкского общества». Так, С.С. Сорокин после разведки и исследования на целом ряде могильников ранних кочевников: Катонский, Копай, Курту-II, Аргут-I, Кок-Су-I, Берель, коснулся отдельных вопросов социального устройства «пазырыкцев». Исследователь дал кочевому обществу скифской эпохи вполне традиционную и конъюнктурную характеристику для 50–70-х гг. XX в. – военная демократия. При этом он указывал на то, что уровень социальной дифференциации номадов отражен в монументальности погребальных памятников, в составе инвентаря, особенностях поминальных сооружений и т.д. (Сорокин С.С., 1978, с. 172–173; 1981, с. 37). Ученый полагал, что в социумах ранних кочевников не существовало государственных институтов и наследственной формы власти. Поэтому у номадов был очень высоким авторитет личных, главным образом «богатырских», качеств, которые, по мнению исследователя, зафиксированы как китайскими источниками, так и в вещественных памятниках. С.С. Сорокин (1978, с. 182) обратил внимание также на то, что к середине I тыс. до н.э. высшая военная прослойка у «пазырыкцев» отчетливо обособилась от рядового воинства, что нашло отражение в разных знаках отличия.

В 1975 г. горно-алтайская группа Северо-Азиатской экспедиции под руководством А.П. Погожевой провела раскопки в Онгудайском и Усть-Коксинском районах Республики Алтай. В результате было исследовано по одному объекту «эпохи ранних кочевников» на могильниках Таалай и Ак-Кем (Погожева А.П., 1978). Более точную дату этих памятников исследовательница не смогла определить. Оба раскопанных объекта представляют собой небольшие каменные выкладки, располагавшиеся на незначительном удалении от курганных цепочек, вытянутых, традиционно для пазырыкской культуры, с севера на юг. Примечательно было то, что в погребении №7 на могильнике Ак-Кем умершего ребенка положили в срубе в вытянутом положении на спину, головой на запад. Такая традиция не характерна для «классических» пазырыкских курганов. По мнению А.П. Погожевой (1978, с. 73), эти памятники являются «свидетельством социального расслоения (сооружение этих погребальных объектов значительно упрощено, а инвентарь небогат), т.е. погребениями неравноправных членов общества, или обозначают детские погребения».

Надо отметить, что с выводом исследовательницы нельзя полностью согласиться. Во-первых, в погребении из могильника Таалай обнаружено сопроводительное захоронение лошади, что является признаком достаточно высокого социального статуса, а не показателем зависимости. Во-вторых, это погребение сильно разграблено, что не позволяет в полной мере судить не только о сопроводительном инвентаре, но и о других элементах погребального обряда, а также о возрасте погребенного. Что касается погребения ребенка из могильника Ак-Кем, то умерший, скорее всего, принадлежал к представителям иной, чем пазырыкская (хотя, возможно, и родственной ей), этнической группы. Об этом свидетельствуют некоторые особенности погребального обряда, которые находят аналогии в саглыньских памятниках Тувы. Таким образом, в рассматриваемых курганах захоронены, вероятнее всего, действительно дети, но не представители категории зависимых людей.

Ценный вклад в интерпретацию материалов горно-алтайских погребений ранних кочевников внес А.С. Суразаков. В 1983 г. он опубликовал, по сути дела, первую специальную статью, посвященную социальному анализу номадов данного региона под названием «О социальной стратификации пазырыкцев», отдельные положения которой были в тезисной форме изложены чуть раньше (Суразаков А.С., 1980б, с. 71–73). Исследователь опирался, с одной стороны, на достижения в этой области С.И. Руденко, М.П. Грязнова, С.В. Киселева. С другой стороны, ученый попытался учесть основные теоретические наработки, сделанные к тому времени В.А. Алекшиным (1975, 1976), А.Д. Грачом (1980, с. 46–47), А.М. Хазановым (1975а, с. 101), В.М. Массоном (1976, с. 149–176). В этой связи представляется не случайным, что многие исходные принципы и критерии, взятые А.С. Суразаковым для дифференциации «пазырыкцев» (размер насыпи, состав инвентаря, сопроводительное захоронение коней и др.), достаточно сильно перекликаются с методическими приемами социальных реконструкций указанных специалистов.

Свою модель социальной реконструкции номадов Горного Алтая исследователь построил на основе взаимосвязи типов погребений с конкретными социальными слоями населения (Суразаков А.С., 1983б, с. 72). Критериями для проведения таких параллелей являлись вполне традицион-

ные признаки: размер и конструктивные особенности погребального сооружения, способ погребения и состав инвентаря. Проанализировав материалы 58 курганов из 19 могильников, археолог выделил четыре группы погребений. Первая, наиболее многочисленная (43 кургана из 13 могильников), представлена захоронениями рядовых кочевников, которых хоронили в небольших погребальных конструкциях (средний диаметр насыпи до 8 м, высота – 0,4 м, размеры могильной ямы – 2,4 x 1,7 м, глубина 2 м) с незначительным набором инвентаря. Ученый сделал наблюдение о половозрастном разграничении внутри группы. Это выразилось в том, что в женских погребениях отсутствовало оружие, а в детских – лошади. Кроме того, он указал на процесс имущественной дифференциации в среде рядовых номадов, что, согласно его точке зрения, отразилось в числе сопроводительных захоронений лошади с умершим человеком или в отсутствии таковых.

Курганы второго типа исследователь связывал с главами крупных семейно-родственных групп или родов. Погребения этой группы достаточно выразительно отличались от предыдущей по масштабности погребальных сооружений (средний диаметр насыпи кургана 19,5 м, высота 1 м, размеры могильной ямы – 3,8 x 3,9 x 5,2 м), количеством лошадей (2–3 особи) и некоторым своеобразием инвентаря. Всего было зафиксировано для этой группы три кургана из трех могильников. Третью группу, по А.С. Суразакову, составили пять погребений из четырех некрополей племенной аристократии, курганы которых имели в среднем следующие размеры: высота каменной насыпи 2,8 м, ее диаметр – 36 м, размеры могильной ямы – 5,1 x 5,7 x 5 м. Резкое отличие памятников этой группы от двух предшествующих заключается в значительном количестве сопроводительных захоронений лошадей (в среднем 11), в многообразии инвентаря, использовании саркофагов-колод и бальзамировании тел покойников. Наконец, четвертая группа погребений, как считал ученый, принадлежала вождям племен. Для них характерны те же признаки, что и для предшествующей группы памятников, но в несколько большем масштабе. Так, средние размеры насыпей курганов «вождей» – 44 м, высота – 2,9 м, размеры могильной ямы – 6 x 7,3 x 5 м. Количество сопроводительных захоронений лошадей отличалось от третьей группы только на один показатель (в среднем 12 особей). Важными чертами погребений «вождей пазырыкских племен» являются не только высокая степень трудозатрат (на сооружение Первого Пазырыкского кургана ушло около 2500–3000 человеко-дней), но и усложненная погребальная конструкция в виде двух камер, высокий процент импортных изделий среди инвентаря (Суразаков А.С., 1983б).

Кроме выделения четырех социальных слоев в обществе номадов Горного Алтая, исследователь обратил внимание на особенности планиграфии могильников, которые были представлены небольшими курганными цепочками. По мнению А.С. Суразакова, каждый могильник принадлежал «отдельным семьям или небольшим семейно-родственным группам, объединенным в кочевую общину». Ведущую роль в древнем социуме играли рядовые кочевники, которые составляли основу войска. Прерогативами родоплеменной аристократии и вождей племен были военное и административное руководство, а также культовая деятельность (Суразаков А.С., 1983б, с. 85–86).

Почти десять лет спустя А.С. Суразаков продолжил свои социальные реконструкции пазырыкского социума. Так, на основе анализа планиграфии могильников пазырыкской культуры и изображений на Большой Боярской Писанице, он сделал вывод о том, что цепочка курганов – это могильник семейно-родственной общины. Некрополи, которые состоят из двух или более цепочек, являются кладбищем нескольких общин (клана?). Кроме этого, основываясь на материалах погребального обряда, исследователь отметил, что малые семьи, составляющие общину, «строились на основе твердо устоявшейся патрилокальности брака» (Суразаков А.С., 1992а, с. 52–55).

Надо отметить, что социальная концепция А.С. Суразакова имеет ряд дискуссионных моментов. Серьезные возражения у исследователей вызвало выделение второй группы «глав семей». С.А. Васютин (1998) справедливо обратил внимание, во-первых, на малочисленность этой группы (всего три кургана, т.е. меньше, чем погребений аристократии и вождей). Во-вторых, логичнее было бы предположить наличие погребений «глав семей» в составе каждой курганной цепочки, семейный характер которых признает и сам А.С. Суразаков. В-третьих, недостаточно обоснованным представляется распределение больших курганов на два типа, поскольку в этом случае единый в планиграфическом отношении Пазырыкский могильник оказался в разных группах. Последнее замечание С.А. Васютина можно отнести, вероятно, и к Туэктинскому могильнику. Кроме того, весьма спорным представляется отнесение Второго Башадарского и Берельского курганов к третьей группе только на том основании, что внутримогильная конструкция состояла из одной, а не из двух камер. Зато эти два кургана превосходят большую часть объектов из четвертой группы по другим показате-

лям: диаметр насыпи (за исключением Берельского кургана), ее высота, глубина могильной ямы, количество сопроводительного захоронения лошадей и др. Причем в ряде случаев это превосходство довольно значительное. Так, диаметр Второго Башадарского кургана 58 м (второй по величине курган из всех раскопанных пазырыкских памятников), в то время как средний диаметр курганов четвертой группы – 44 м. Количество сопроводительного захоронения коней в Берельском и Втором Башадарском курганах составляет соответственно 16 и 14 особей, в то время как их среднее число в группе погребений «вождей племен» – 12.

Несмотря на то, что предложенная А.С. Суразаковым модель социальной структуры пазырыкского социума была в определенной степени условной, тем не менее она являлась, несомненно, важным шагом в развитии этого направления исследований. Впервые был обобщен имеющийся материал по пазырыкской культуре, что позволило показать значительный уровень дифференциации общества скотоводов скифской эпохи.

Важно также отметить, что ученый одним из первых попытался высказать некоторые соображения относительно социальной организации населения Горного Алтая раннескифского времени. Так, учитывая планиграфию курганных могильников этого периода, был сделан вывод, что они являются некрополями семейно-родственных коллективов (общин). Кроме того, исследователь указал на наличие у носителей майэмирской культуры племенных вождей, погребения которых отличались от остальных большей монументальностью (Суразаков А.С., 1990б, с. 61–68).

Сопоставительный анализ общественных систем скифов и кочевого населения Алтая VII–III вв. до н.э. по данным археологии провел Г.Н. Курочкин. Он полагал, что в образе жизни скифов Северного Причерноморья ярко проявился милитаризм, что нашло отражение в следующих фактах: чем богаче скифское захоронение, тем больше в нем оружия; наличие «дружины» в «царском» окружении, археологическим признаком которой являлся панцирь, недоступный простому ополченцу; культ меча и бога «войны Ареса»; ежегодные воинские праздники с ритуальным причащением вином; реальная политическая власть находилась у военной верхушки «басилевсов» и номархов, а скифская знать имела прежде всего военный характер; жречество хотя и было влиятельной «прослойкой», но не принимало непосредственного участия в управлении обществом и находилось в зависимости от военно-политической верхушки. На Алтае, как представлялось Г.Н. Курочкину, раннеклассовая социальная структура была теократизирована и управлялась жреческим сословием. Причины этого он видел в оттоке наиболее социально активного населения на запад и отсутствии извне серьезной военной угрозы, что обусловило изолированность общественной системы, ее стагнацию на определенной идеологической основе (Курочкин Г.Н., 1989, с. 36–37, 39). В том же духе высказался Н.Ю. Кузьмин (1989, с. 25–26), полагавший, что власть людей, погребенных в Пазырыке, являлась религиозной.

В дискуссию с Н.Ю. Кузьминым и Г.Н. Курочкиным на страницах научных изданий вступил В.А. Кочеев. Так, сначала в тезисной (Кочеев В.А., 1989), а затем в расширенной форме (Кочеев В.А., 1990), он попытался, в противоположность мнению Г.Н. Курочкина (1989) и Н.Ю. Кузьмина (1989), обосновать достаточно значительную степень милитаризации пазырыкского общества. Используя материалы из 90 курганов (28 могильников), исследователь разделил погребения с оружием на три группы: 1) погребения, где обнаружены три вида оружия (акинак и кинжал, чекан, лук и стрелы, иногда щиты); 2) погребения с двумя видами оружия (кинжал и чекан, кинжал и стрелы, чекан и стрелы); 3) погребения, в которых зафиксирован один вид оружия (только кинжал, чекан или стрелы) (Кочеев В.А., 1989). Захоронения первой группы В.А. Кочеев (1990, с. 108–109) связывал с вождями племен, погребения второй группы – с вождями родов, погребения третьей группы – с рядовыми кочевниками. В результате проведенного анализа был сделан вывод, что в пазырыкском обществе формируется особая воинская прослойка, вероятно, дружина, которая «выдвигала военных представителей из числа выдающихся воинов и являлась опорой аристократии» (Кочеев В.А., 1989, с. 71).

Выделив три ранга воинов, В.А. Кочеев попытался вписать их в социальную концепцию «пазырыкцев», разработанную А.С. Суразаковым (1983б). Однако это оказалось сделать достаточно сложно, на что обратил внимание и сам исследователь. В этой связи он отметил, что более богатые погребения воинов отличаются от рядовых захоронений мужчин (первая социальная группа, по А.С. Суразакову), но в то же время не все их можно соотнести с погребениями глав семейно-родственных групп и родов (вторая социальная группа по А.С. Суразакову) (Кочеев В.А., 1990, с. 108). Данная трудность возникла из-за того, что В.А. Кочеев попытался механически совместить в

рамках одной социальной концепции разные типы стратификационных систем. Так, принципы этатристической и профессиональной дифференциации накладывались на имущественную и социальную структуру пазырыкского общества. В то же время важно отметить, что В.А. Кочеев одним из первых попытался проследить динамику развития новой стратификационной системы (профессиональной – воины) в пазырыкском социуме. Это являлось существенным шагом в изучении общества кочевников, которое рассматривалось преимущественно через призму физико-генетической, социальной и имущественной дифференциации. В последующем В.А. Кочеев еще раз подтвердил свои ранее сделанные выводы. В 1997 г. в материалах конференции «Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири» он обозначил традиционную характеристику социально-политической организации «пазырыкцев» – военная демократия, основу которой составляли многочисленные представители среднего слоя, преимущественно воины (Кочеев В.А., 1997, с. 113). Кроме этого, исследователь отметил функционирование других социальных структур без демонстрации их на конкретном материале.

Определенный интерес представляет работа П.И. Шульги, посвященная выявлению связи планиграфии пазырыкских могильников с типологией поселений кочевников. Исследователь исходил из того, что если погребение – это имитация реального жилища, то курганная цепочка, являющаяся местом захоронения рода или большой патриархальной семьи, имитировала реальную планировку поселения. П.И. Шульга, основываясь на результатах своих исследований, указывал на то, что, скорее всего, это были поселения не рода, а большой патриархальной семьи. Археолог также отметил, что на Алтае, как и у других кочевых народов, было два основных типа планировки своих стойбищ. Первый тип – курень, характеризуется расположением вокруг жилища вождя юрт нескольких сотен семей. Второй тип – аил – это стойбище большой патриархальной семьи. Различия между двумя типами поселений можно проследить, по его мнению, и в планиграфии могильников пазырыкского времени. Так, отражением куренной планировки стойбищ является Башадарский могильник с жертвенными выкладками и курганами рядовых кочевников. Однако на Алтае в VI–II вв. до н.э. преобладала не куренная, а аильная планировка. При этом П.И. Шульга отмечал: если «в большой цепочке жилищ выделяются малые звенья близких родственников, то тогда можно предположить в большой цепочке курганной группы наличие «малых семейных цепочек». Это можно зафиксировать на материале скифского времени Алтая: в курганных цепочках из 10–20 курганов выделяются группы из 2–3 курганов, «ориентированной осью и близостью расположения отличающихся от других в цепочке» (Шульга П.И., 1989, с. 41–44). Эти разработки П.И. Шульги, как и С.И. Руденко, В.Д. Кубарева, Л.С. Марсадолова и других археологов, еще раз показали перспективность изучения планиграфии могильников с последующим выходом на палеосоциальные реконструкции.

Большое значение имела комплексная публикация материалов погребений скифского времени, исследованных В.Д. Кубаревым в Юго-Восточном Алтае. обстоятельный анализ погребального обряда, состава погребенных, сопровождающего инвентаря и планиграфии могильников позволил В.Д. Кубареву сделать несколько ценных наблюдений. Рядовой характер большинства захоронений, по мнению ученого, подтверждал точку зрения А.С. Суразакова (1988, с. 122) о том, что отличия размеров насыпей, могильных ям, состав и количества инвентаря определялись не социальным положением погребенных, а половозрастной стратификацией общества. Все детские и подростковые захоронения были совершены под «малыми» насыпями (1,8–7 м в диаметре и 0,2–0,8 м высотой). Инвентарь детских могил включал посуду, нож, а также имитацию других предметов (модели из дерева), в то время как у подростков встречались оружие, украшения, культовые предметы. Исследователем отмечался неустойчивый характер погребального обряда детей (срубы, колоды, каменные ящики) и отсутствие в большей части детских могил конских захоронений (Кубарев В.Д., 1987, с. 11, 15, 28–29; 1991, с. 22, 24, 33–34, 36–37, 40; 1992, с. 16–17, 20, 27).

Большинство погребений взрослых сопровождалось захоронениями 1–2-х коней. В ряде курганов было обнаружено по три коня – максимальное количество для рядовых погребений Уландрыка, Юстыда и Сайлюгема, что, согласно В.Д. Кубареву, являлось показателем более высокого социального ранга погребенных. Он обратил внимание и на то, что данные могилы располагались или в центре курганных кладбищ (Уландрык-I, курган №12; Уландрык-II, курган №6; Юстыд-XII, курган №23, Барбургазы-I, курганы №2, 3 и др.), или открывали собой цепочки могил близких родственников (Уландрык-IV, курган №2; Ташанта-I, курган №1; Малталу-IV, курганы №9, 11, 12). Исследователь высказал предположение о вероятной принадлежности таких захоронений представителям ро-

довой (?) знати или главами больших патриархальных семей (Кубарев В.Д., 1987, с. 16; 1991, с. 25; 1992, с. 21, 112–113).

Еще одним признаком высокого социального статуса, как полагал ученый, можно считать наличие в могиле погребального ложа (настил на раме с ножками). Так, курган №1 могильника Ташанта-I, где имелось погребальное ложе, отличался от остальных уландрыкских захоронений размерами насыпи (1 м высотой и 25 м диаметром) и присутствием сопровождающего захоронения трех коней. Другим примером служат материалы курганного некрополя Юстыд-XII. Погребальные ложа были найдены в курганах №21, содержавшего погребение женщины и ребенка, и №22 с погребением подростка. В обоих случаях были обнаружены захоронения коней, многочисленный и разнообразный инвентарь, при том, что «остальные погребения женщин и детей даже на довольно типичном могильнике Юстыд-XII, как правило, не имели сопроводительных захоронений коней» (Кубарев В.Д., 1987, с. 11, 16, 21; 1991, с. 30).

Особое внимание В.Д. Кубарев уделил анализу планиграфии могильников древних кочевников. Определенные результаты планиграфического анализа уже были сделаны в предшествующие годы С.И. Руденко и М.П. Грязновым. Однако такое исследование осуществлялось археологами первоначально только в отношении некрополей представителей «верхнего слоя» пазырыкского общества. В.Д. Кубарев практически впервые провел существенный анализ планиграфии курганов рядовых кочевников. Исследователь отметил определенную группировку женских и детских погребений в различных частях могильников. Это, по его мнению, свидетельствует если и не о существовании отдельных кладбищ для женщин и детей (отмечено значительное преобладание, до 90% в ряде могильников, детских и женских захоронений над мужскими), то, по крайней мере, указывает на обычай группировать могилы отмеченных категорий людей в какой-то одной зоне кладбища. Так, например, детские погребения на могильниках Уландрык-I, V и Ташанта-I, II располагались в начале или в конце некрополя (Кубарев В.Д., 1987, с. 24). Кроме этого, В.Д. Кубареву (1991, с. 38) удалось зафиксировать особое положение парных погребений (мужчины и женщины), которые либо открывали цепочку курганов с юга (например, могильники Юстыд-I, курганы №1 и 2; Юстыд-XII, курган №2; Джолин-I, курган №1 и др.), либо находились в центре могильника (Юстыд-I, курган №4; Юстыд-XII, курганы №8, 16, 17; Джолин-I, курган №6 и др.). Эти курганы также отличаются по ряду других показателей от основной массы погребений кочевников (большие размеры срубов, разнообразный инвентарь, большое число сопроводительных захоронений коней). Указанные признаки парных захоронений мужчин и женщин позволили исследователю сделать вывод о том, что в этих курганах были похоронены «муж и жена – пара родоначальников, основателей большой семьи, которые и на кладбищах... занимали достойное и главенствующее место» (Кубарев В.Д., 1987, с. 27). Остальные курганы, расположенные рядом с парными погребениями в пределах одного могильника, являлись усыпальницами близких родственников (Кубарев В.Д., 1991, с. 38).

При исследовании трех курганов (курган №9 могильника Уландрык-I, курган №6 могильника Уландрык-II, курган №17 могильника Юстыд-XII) В.Д. Кубарев обнаружил в заполнении могильных ям костяки мужчин. Нехарактерная для пазырыкской культуры западная ориентировка этих умерших, отсутствие сопроводительного инвентаря дают основание, по мнению археолога, утверждать о наличии в пазырыкском обществе особой категории зависимых людей, условно названных рабами (Кубарев В.Д., 1987, с. 29; 1991, с. 39). Опираясь на особенности погребального обряда, он попытался связать погребения зависимых мужчин с представителями саглыно-укокской культуры Тувы и чандманьской культуры Монголии. При этом ученый, вслед за А.Д. Грачом (1980, с. 48), указал на наличие таких же погребений зависимых людей, но уже представителей пазырыкской культуры, среди синхронных памятников прилегающих к Горному Алтаю районов Тувы (Кубарев В.Д., 1991, с. 39).

Не возражая против мнения о присутствии в составе пазырыкских семейно-клановых групп в лице инкорпорантов из Тувы и Монголии, отметим, что вряд ли эти мужчины были «домашними рабами», потому что в таком качестве выступали пленные девушки и женщины (Кляшторный С.Г., 1983, с. 31; 1985, 1986, с. 225–228; 1986а, с. 326–334). Более того, захоронение «саглынцева» в составе цепочек под курганными насыпями и с соблюдением иноэтнических обрядов скорее говорит о социально полноправных отношениях, предположительно брачные отношения.

Рассмотренные социальные разработки В.Д. Кубарева, касающиеся пазырыкского общества, позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, исследователь, как и С.И. Руденко, М.П. Грязнов, С.С. Сорокин и другие археологи, пришел к заключению, что параметры погребаль-

ных конструкций и состав сопроводительного инвентаря зависят от половозрастной структуры социума (Кубарев В.Д., 1991, с. 36–37). Такая зависимость была им продемонстрирована на значительном количестве материалов из курганов «рядовых» кочевников. При этом он не оставил без внимания социальную и имущественную дифференциацию у скотоводов Горного Алтая. Во-вторых, археолог провел анализ планиграфии могильников, что позволило установить расположение курганов определенных групп людей в отдельных частях некрополей. В целом, несмотря на отсутствие специально разработанной социальной концепции, что, вероятно, и не входило в задачи ученого, выводы и наблюдения В.Д. Кубарева о социальном устройстве пазырыкского социума представляются весьма существенными.

Значительно продвинули вперед представления ученых о социальной организации кочевников скифского времени Саяно-Алтая раскопки царского кургана у с. Аржан. Еще до исследования и полной публикации материалов Аржана у археологов сложилось мнение о существовании в бассейне р. Уюка в VII–V вв. до н.э. «уюкского племенного союза» (Кызласов Л.Р., 1969, с. 17; 1979, с. 32, 39; Маннай-Оол М.Х., 1970, с. 90). Однако только реконструкция М.П. Грязновым социально-политической структуры «аржанского» объединения позволила предполагать появление в раннескифское время на территории Южной Сибири крупного военно-политического образования.

Развивая методические приемы, отработанные на пазырыкских погребениях, М.П. Грязнов провел анализ материалов конских захоронений (не менее 160). Еще в ходе раскопок он обратил внимание на количество коней в камерах №2 и 3 (по 30 коней) и в камере №5 (15 коней). Ученый допустил, что кони, как и в пазырыкских курганах, являлись приношениями царю от подчиненных общественных подразделений, число которых могло соответствовать 30 и 15 (Грязнов М.П., Маннай-Оол М.Х., 1973, с. 202). Дальнейшие исследования убедили М.П. Грязнова в том, что из 70 камер Аржана 29 представляли собой самостоятельные погребальные комплексы – «приношения умершему царю» от подвластных и дружественных объединений. Археолог полагал, что конские захоронения в срубах первого и второго колец (№2, 3, 5, 13, 17 и 20), окружавших с восточной и западной сторон центральную могилу, были дарами от семи собственно «аржанских» племен. В данном случае позиция исследователя определялась общей типологической близостью конского снаряжения с фиксируемыми этнографическими отличиями, аналогиями с инвентарем погребений царя и «ферапонтов» (Грязнов М.П., Маннай-Оол М.Х., 1973, с. 202; 1975, с. 193–194; Грязнов М.П., 1975, с. 8–9; 1978, с. 14–15; 1980, с. 47–50; 1983, с. 4).

Псалии из северных камер (№26, 31, 34, 37), как подчеркивал М.П. Грязнов, отличались от аржанского типа и различались между собой. Методика ученого говорила о принадлежности их различным этническим образованиям (вассально-зависимые или дружественные «аржанским» племенам). По его подсчетам, таких подразделений, отправивших свои посмертные дары «аржанскому царю», было шесть. Реконструкцию конских захоронений как «приношений» подтверждал тот факт, что все «160 коней» из Аржана являлись жеребцами 12–15 лет и таким образом не могли составлять стадо «царя», без кобылиц и «молодняка» (Грязнов М.П., 1975, с. 8; 1978, с. 14–15; 1980, с. 47, 49; 1983, с. 4).

Обращает на себя внимание, что исследователь не писал о культовой роли «аржанского царя», хорошо выраженной в радиальной конструкции кургана. Все 17 погребенных в Аржане принадлежали, согласно точке зрения авторов раскопок, к элите общества, что согласовывалось с определением Э.А. Грантовским «ферапонтов». Их число превосходило все известные человеческие захоронения в царских курганах кочевников, также подчеркивая значимость погребенного в центральной могиле лица (Грязнов М.П., Маннай-Оол М.Х., 1973, с. 194–200; 1975, с. 187, 193–194; Грязнов М.П., 1975, с. 8; 1978, с. 14; 1980, с. 15–25, 29–32, 36–39, 45–46; 1983, с. 4).

Впоследствии материалы Аржана в социально-политическом смысле интерпретировались по-разному. Н.А. Боковенко, развивая идеи М.П. Грязнова, полагал, что погребенный в центральной камере человек был верховным правителем, соединявшим военную власть и жреческие функции. О масштабности его власти свидетельствовали дары, которые, по мнению ученого, были из Казахстана, Алтая, Минусинской котловины, Тувы и Монголии (Боковенко Н.А., 1988, с. 71–72). Г.Н. Курочкин видел в аржанском «царе» еще более грандиозную фигуру – основателя военно-политической коалиции центрально-азиатских племен, своего рода «скифского Чингиз-хана». А солярную планировку кургана Аржан, он интерпретировал как отражение имени (титула) Колакская – буквально «царя-солнце» (Курочкин Г.Н., 1991, с. 20–21). Большое значение для оценки этих гипотетических высказываний имеет сделанное ранее замечание С.С. Сорокина. Он сопоставил матери-

лы Аржана и иньских погребений Китая, подчеркивая, что в иньском Китае в жертву приносились десятки и сотни людей во время захоронения не только верховных владык, но и простых аристократов. На этом фоне аржанский пример не может рассматриваться как свидетельство того, что в Аржане был похоронен «царь», правивший в центрально-азиатских степях в VIII или VII в. до н.э. (Сорокин С.С., 1978, с. 173).

В исследованиях социальной структуры центрально-азиатских кочевников 1970-х гг. выдающаяся роль принадлежит А.Д. Грачу. Он исходил из того, что население Южной Сибири и сопредельных территорий представляло собой «широкую общность родственных этнических групп» (История Сибири, 1968, с. 228–229; Грач А.Д., 1971, с. 97). Поэтому ученый наметил дифференциацию кочевых обществ Центральной Азии, используя в реконструкции материалы археологических исследований различных регионов. Общей чертой стратификации номадных объединений скифского времени исследователь считал наличие трех социальных групп. В первую А.Д. Грач включил «царские погребения» пазырыкской культуры (Пазырык, Башадар, Туэкта), большие курганы алдыбельской культуры в Турано-Уюкской котловине, «царские» курганы в долинах Бешатыр и Чиликты в Казахстане. Главным признаком археолог называл грандиозность насыпей и усыпальниц (Грач А.Д., 1975, с. 161–164; 1980, с. 46–47).

Вторую группу А.Д. Грач обозначил как погребения «родовой, дружинной аристократии». В ее состав входили погребения тасмолинской культуры в Казахстане, погребения пазырыкской культуры с сопроводительными захоронениями коней на Алтае, уступавшие по размерам и пышности большим Пазырыкским, погребения алдыбельской (VII–VI вв. до н.э.) и саглынской (V–III вв. до н.э.) культур в Туве, уступавшие «царским». То, что раньше подобные памятники приписывались рядовому населению, А.Д. Грач (1971, с. 78) объяснял их ограбленностью и отличиями от «царских». Раскопки автора в Туве на могильниках Саглы-Бажи-II, IV, V, Хемчик-Бом-III, Дужерлинг-Ховузу-I, Даган-Тэли-I, в ходе которых были обнаружены богатые неограбленные захоронения, позволили исследователю обосновать существование такой категории, как «погребения аристократии» (Грач А.Д., 1975, с. 164–166; 1980, с. 47–48). Учитывая, что типология ученого была опубликована до выхода работ В.М. Массона, А.И. Тереножкина, Б.Н. Мозолевого, Г.Н. Курочкина, Е.П. Бунятян, Г.Ф. Генинга, А.С. Суразакова, посвященных или затрагивавших вопросы социальной типологии погребений кочевников, вычленение А.Д. Грачом данного социального слоя имело важное методологическое значение в отходе от упрощенных представлений о социальной структуре ранних кочевников. Третью группу составили захоронения «рядовых кочевников» и предполагаемых «рабов». Археолог вынужден был констатировать слабую изученность погребений третьей категории в центрально-азиатском регионе и поэтому не смог дать их полноценную характеристику (Грач А.Д., 1975, с. 166; 1980, с. 48).

Достаточно полное исследование могильника Саглы-Бажи-II и в особенности анализ возрастных групп погребенных в саглынских срубах убедили ученого в господстве у номадов скифского времени «неразделенной семьи», состоявшей из двух поколений. Указывая на высокий социальный статус женщин у кочевников, А.Д. Грач пошел гораздо дальше других исследователей, отрицая в большинстве случаев факт «соумирания» женщин. Специальная методика раскопок тувинских срубов продемонстрировала многоактность коллективных захоронений. Многоактными исследователь считал большинство парных и коллективных захоронений в «царских» курганах (Грач А.Д., 1975, с. 166–175; 1980, с. 48–56, 78). Антропологические данные и наблюдения автора за положением погребенных в саглынских срубах, широкие этнографические параллели обозначили возрастное подразделение тувинского населения скифской эпохи: люди от 25 лет и старше; мужчины и женщины от 16 до 25 лет; подростки от 9 до 16 лет; дети от рождения до 7–8 лет (Грач А.Д., 1975, с. 175; 1980, с. 56–57). Таким образом, А.Д. Грач одним из первых дал многокомпонентную характеристику социальной организации ранних кочевников исключительно на основе археологических источников.

А.М. Мандельштам, проводивший многолетние исследования курганов скифского времени на могильнике Аймырлыг в бассейне р. Чаа-Холь, выявил две закономерности: 1) четко выраженные цепочки, вытянутые вдоль реки и ориентированные по линии С–Ю; 2) повторяемость одной и той же схемы расположения могил внутри цепочек и последних относительно друг друга. Еще одной особенностью аймырлыгских захоронений было сочетание под единообразными насыпями разных типов внутримогильных сооружений (срубов со значительным числом покойников и каменных ящиков с одним или несколькими погребенными). В том, что планиграфия некрополей и биритуальность обряда отражали какие-то социальные реалии скифской эпохи в Туве, ученый не сомневался,

но смог указать только на возрастную дифференциацию. По наблюдениям А.М. Мандельштама, детские погребения в маленьких ящиках составляли или самостоятельные цепочки и подгруппы или концентрировались около срубов и больших ящиков (Мандельштам А.М., 1971, с. 264; 1983, с. 26–27).

Среди забайкальских и центрально-азиатских памятников I тыс. до н.э. внимание ученых привлекали «плиточные могилы». Малочисленность находок, плохая сохранность костяков, при значительности изученных объектов (около 500 погребений), способствовали складыванию мнения о малой перспективности исследования этих памятников (Коновалов П.Б. и др., 1983, с. 86). Однако раскопки в Восточном Забайкалье позднеплиточных захоронений (V–II вв. до н.э.) позволили ученым отказаться от подобной оценки. По мнению Е.В. Ковычева, у «плиточников» уже существовало имущественное и социальное неравенство, отраженное в погребальном обряде, и из среды рядовых общинников выделилась родовая верхушка, которая заняла ключевые позиции в социальной структуре общества. Наряду с небольшими курганами, в которых были погребены рядовые члены общества, в забайкальских степях встречались крупные, по размерам, захоронения представителей родоплеменной знати в сопровождении «изделий из благородных металлов, останков принесенных в жертву животных, иногда даже людей» (Ковычев Е.В., 1984, с. 10–11). При этом ученый высказал предположение о том, что «племена культуры плиточных могил достигли в своем развитии порога государственности» (Ковычев Е.В., 1984, с. 11), что противоречило характеристике общества «плиточников» как первобытнообщинного (Викторова Л.Л., 1968, с. 557–563; Коновалов П.Б. и др., 1983, с. 98–99).

О том, что разнотипный характер погребений в составе одного могильника говорит о дифференциации оставившего его населения, демонстрировали материалы грунтового Улангомского могильника V–II вв. до н.э. из северо-восточной Монголии. Погребения скифской эпохи были представлены двумя типами внутримогильных конструкций – бревенчатыми срубами (22 могилы) и каменными ящиками (24 могилы). Захоронения в срубах и в ящиках располагались вперемешку, но последние преобладали в северо-западной части могильника. Э.А. Новгородова сделала ряд наблюдений о форме семьи и социальном положении погребенных. В срубах были обнаружены коллективные погребения взрослых и детей от двух до десяти человек (среди умерших много пострадавших в военных конфликтах, о чем говорили отверстия от чеканов, кинжалов, стрел). В ящиках, как правило, погребались 2–3 человека в скорченном положении. Керамика из ящиков выглядела проще и беднее, чем из срубов, а сосуды из срубов отличались большими размерами, богатством и разнообразием отделки. Как удалось установить исследовательнице, обычно в срубах покоились два поколения родственников, свидетельством чего являлись наследственные болезни, отмеченные на костях членов одной семьи. Она полагала, что погребенные в срубах люди входили в состав «неразделенной» большой семьи, что имело аналогии в тувинском могильнике Саглы-Бажи II, где были изучены многоактные захоронения членов семьи. Погребения в каменных ящиках рассматривались Э.А. Новгородовой (1989, с. 257–258, 261–265, 293–295, 300–301) как «ранние образцы» малой семьи.

Э.А. Новгородова обратила внимание на «равноправие» мужчин и женщин, подчеркивая, что фактов соумирания женщин не прослеживается, а по обряду женские погребения мало отличались от мужских: та же поза, те же каменные «подушки» под головой, те же сосуды. Различия в инвентаре не принципиальны – у женщин реже лежит оружие, чаще украшения, бусы и амулеты. Наиболее многочисленным слоем общества, представленным в Улангомском могильнике, по ее мнению, были воины. Военный облик «улангомцев» объяснялся не только необходимостью охраны и защиты кочевий, но и тем, что война становилась у номадов, как писала Э.А. Новгородова, единственным способом существования в период падежа скота, высыхания пастбищ или гололеда. При этом воины, погребенные в Улангомском могильнике, были равны между собой, ибо имели одинаковое оружие (луки, стрелы, ножи, кинжалы, чеканы) и схожие вещи личного обихода (Новгородова Э.А., 1989, с. 295, 300, 305).

В конце 1960-х – начале 1990-х гг. продолжалось изучение социальной организации ранних кочевников в Казахстане и Средней Азии. Однако уровень и количество исследованных кочевнических памятников данной территории не позволяли еще дать общую характеристику социальной системе номадов сакского и усуньского периодов. Локальные особенности имели преобладающее значение. Даже среди больших массивов – «саки Семиречья», «приаральские саки», «усуни», региональные культурные и этнические отличия были слишком большие. Поэтому ученые чаще писали

об этнической разнородности племенных объединений, о локальных группах. Характер этих социальных структур нельзя было уточнить из-за эпизодичности раскопок на площади больших могильников, многозначности понятий «род», «клан», «племя», широкой датировки погребений, сочетания в составе некрополей захоронений кочевников и земледельцев (Максимова А.Г., 1969, с. 145; 1970, с. 121, 128; Мандельштам А.М., 1978, с. 140; Вайнберг Б.И., 1979, с. 175–176; 1981, с. 124; Оразбаев А.М., 1980, с. 62, 70).

О.А. Вишневская, анализируя материалы раннекочевнических курганов (VII–VI вв. до н.э.) на возвышенности Уйгарак в низовьях Сырдарьи, выявила особенности социальной структуры местного населения. В каждой из трех исследованных групп курганов («восточная», «центральная», «западная») преобладали могилы одного типа: в восточной – погребения на древнем горизонте, в том числе с применением огня в ритуале (62,48%); в центральной – большие могилы с угловыми ямками (51,85%); в западной – узкие прямоугольные ямы (50%). Во всех женских могилах восточной группы были обнаружены жертвенники и части зеркал, тогда как в других группах жертвенников мало, а зеркала отсутствовали вообще. Женские захоронения центральной и западной групп содержали зернотерки и сосуды. Доля мужских погребений с оружием была велика в центральной группе – 76,92% и незначительна в других: 15,39% – в восточной и 7,69% – в западной (Вишневская О.А., 1973, с. 68, 128–129).

Учитывая эти различия, О.А. Вишневская (1973, с. 129) считала, что социально-экономическое расслоение «уйгаракцев» относилось не к отдельным лицам, а к «родоплеменным подразделениям», хотя в заключении монографии она склонялась уже в пользу семейного характера групповых погребений. В центральной группе, по ее мнению, были погребены представители наиболее богатого «подразделения», включавшего большинство вооруженных всадников – «вождей» и «жрецов», что подтверждалось находками в кургане №25 атрибутов власти (булав и ритуальных ножей), а в кургане №21 – жертвенных ножей. Как полагала О.А. Вишневская (1973, с. 68, 128–129), «культовые функции» были особенно свойственны женщинам, погребенным в восточных курганах, а «западная окраина» представляла наиболее бедное «родоплеменное подразделение», в составе которого, однако, если судить по инвентарю и величине курганов, происходило имущественное расслоение.

Сходная картина была зафиксирована в раннесакских погребениях могильника Тагискен. Однако социальные различия в тагискенских захоронениях не выражались территориально (Вишневская О.А., Итина М.А., 1973, с. 197–199). Интерпретацию О.А. Вишневской уйгаракских материалов поддержала Е.Е. Кузьмина. В то же время она видела в факте существования трех групп памятников не совместное захоронение трех родов, а могилы «трех социальных классов одного рода»: «жречества», «воинов» и «рядовых общинников». Такая трактовка, согласно точке зрения Е.Е. Кузьминой (1975, с. 291–292), могла подтверждать концепцию Э.А. Грантовского о сохранении у ранних ираноязычных кочевников социальных институтов индо-иранского мира.

В 1975 г. в Ленинграде состоялась конференция «Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана», в работе которой приняли участие крупнейшие отечественные археологи-кочевниковеды. Ученые отмечали широкие возможности реконструкции социальных отношений у кочевников по археологическим данным. Ю.А. Заднепровский подчеркнул, что исследование общественного строя ранних кочевников нельзя сводить к поискам доказательств имущественного и социального расслоения и констатации трех-четырёхчленной структуры общества. Он предлагал путем «сравнительно-типологического изучения и картографирования археологических культур», выделения «локальных вариантов на основе классификаций разного масштаба» наметить «племенную структуру» и ареалы родоплеменных групп, с последующим сопоставлением их с данными письменных источников (Заднепровский Ю.А., 1975, с. 13–14).

В противовес Ю.А. Заднепровскому В.А. Алекшин главную задачу в исследовании социальной организации видел в разработке вопросов социальной дифференциации. Ученый отталкивался от установленного этнографическими наблюдениями факта, что «социальный ранг индивида может характеризоваться особым местом и способом погребения, количеством и качеством инвентаря, наличием в могилах символов власти» (Алекшин В.А., 1975, с. 74). Программа изучения стратификации кочевников включала выявление половозрастных подгрупп со «стандартным» набором погребального инвентаря. Отличительными признаками погребений знати В.А. Алекшин считал инвентарь, который был богаче стандартного, и особый тип могилы у захоронений со стандартным набором инвентаря. Исследователь придавал большое значение функциональному анализу инвентаря, а «на-

сыщенность» погребений металлическими предметами рассматривал как еще один признак дифференциации (Алексин В.А., 1975, с. 74).

В этой связи небезынтересна позиция И.В. Пьянкова. По вопросу о социальной структуре исследователь писал, что античная традиция позволяет предполагать у «среднеазиатских скифов» наличие «каст». «Полюса» социального деления представляли «безлошадные скифы», с одной стороны, и «династы», «владельцы», «могущественные люди» – с другой. Оценивая социальную организацию древних кочевников Средней Азии, он подчеркнул, что «те же черты можно найти и у многих кочевников различных стран и эпох». Основным выводом ученого вписывался в канву «модернистских» представлений 1970-х гг.: «По-видимому, в социальном аспекте среднеазиатские скифы в некотором смысле находились «впереди» более поздних кочевников Средней Азии» (Пьянков И.В., 1975, с. 89–91).

В целом на конференции «Ранние кочевники Азии и Казахстана» был подведен итог исследованиям социальной структуры не только кочевников Казахстана и Средней Азии, но и других регионов евразийских степей. Накопленный к середине 1970-х гг. опыт социальных интерпретаций археологических материалов получил развитие в кочевниковедческих исследованиях второй половины 1970-х – начала 1990-х гг.

Ряд погребений уникального комплекса на возвышенности Чаш-Тепе (Туркменская ССР) был исследован Хорезмской экспедицией. На площадке длиной в 6 км располагались несколько групп, некоторые из них включали более 200 (!) насыпей. В центре каждой группы находилась ограда-вал, рядом с которой возвышались большие (до 16 м высотой) и средние (до 2 м высотой) курганы. От центра в разных направлениях «отходили» многочисленные цепочки малых курганов, насчитывавшие от 4 до 10 объектов. Не совсем оправдан вывод Ю.А. Рапопорта и С.А. Трудновской (1979, с. 151–159, 164–166) о «чрезвычайно архаичной... социальной структуре» древнего населения Чаш-Тепе. Огромные «святилища-ограды» в центре некрополей, дифференциация курганов, ограбленность, столь частая именно для богатых погребений, не дают оснований для вышеуказанной характеристики.

Всемирно известная находка «золотого человека» в кургане Иссык позволила К.А. Акишеву вернуться к оценке социальной организации сакского объединения Семиречья. Как полагал ученый, стратификацию сакского общества наилучшим образом выражал такой критерий, как затраты человеческого труда на возведение насыпи и внутримогильных сооружений. По его подсчетам, для больших курганов Бешатырского и Иссыкского могильников (погребений царей) требовался расход от 66000–65000 до 2000–3000 человеко-дней, средних (погребений «знатных людей») – от 1700–2000 до 300–400 человеко-дней и малых (погребений дружинников и рядовых кочевников) – от 0,2–0,9 до 4,7–4,8 человеко-дней (Акишев К.А., 1978, с. 55–56; 1986, с. 20–24; Акишев К.А., Байпаков К.М., 1979, с. 74–75). Немного позднее, в начале 1990-х гг. К.А. Акишев (1993) трехчленную структуру сакского общества дополнил несколько более широкой источниковой базой, сохранив основные методические подходы к исследованию проблемы и полученные выводы.

Иссыкский «золотой человек», согласно точке зрения К.А. Акишева, свидетельствовал о том, что можно говорить о сакских царях без кавычек. Он считал, что золотые одежды преследовали политико-пропагандистские цели. Религиозно-идеологическое содержание зооморфных образов на украшениях головного убора указывало не только на посмертное, но и прижизненное обожествление царя-жреца, воплощавшего образ Митры. Курган вождя, как представлял ученый, являлся своеобразным символом единства, центром страны и мира саксов. Земные преемники царя «использовали ритуалы погребального обряда как религиозное воздействие на массы с целью идеологически обосновать незыблемость династии сакских царей» (Акишев К.А., 1978, с. 56–57; 1986, с. 24–25; Акишев К.А., Байпаков К.М., 1979, с. 75–76; Акишев К.А., Акишев А.К., 1981, с. 146).

К.А. Акишев также полагал, что важнейшим признаком государства является знаковая система. У саксов в роли такой системы, с одной стороны, выступало искусство в виде различных образов звериного стиля. С другой стороны, исследователь считал, что важным признаком развитой социально-политической организации является алфавитная письменность. На ее существование у кочевников в это время может указывать единичная находка такой надписи в кургане Иссык (Акишев К.А., 1993, с. 55–57). Последующие исследования памятников кочевников Евразии скифской эпохи пока не дают сколько-нибудь убедительных доказательств существования у кочевников традиционной письменности. Вероятнее всего, в это время основным коммуникативным элементом по-прежнему явля-

лось искусство, отражающее широкий спектр мировоззренческих представлений и социальных установок.

Проблемам исследования «царских» курганов была посвящена совместная публикация А.С. Васютина и среднеазиатского археолога С.В. Мокрынина. В своих размышлениях они опирались на собственный опыт изучения элитных курганов в Прииссыкулье. Основным критерием отнесения погребений к «царским», как указывали ученые, являлась их масштабность. Проведя сопоставление размеров различных погребальных комплексов «царского» типа, исследователи отметили, что в каждой этнокультурной зоне (Тува, Казахстан, Алтай, Ачинско-Минусинская лесостепь) подобные захоронения не были одинаковыми по своим размерам и по затратам общественно необходимого труда на их сооружение. Ученые пришли к выводу, что сравнение «царских» погребений внутри и вне каждой из зон относительно (Васютин А.С., Мокрынин С.В., 1989, с. 61–62).

Если вернуться в связи с этой статьей к вопросу о градации больших курганов на «царские» и «аристократические», необходимо отметить, что нельзя прямолинейно относить их к той или иной группе исходя из размеров насыпи. В Горном Алтае сооружение больших земляных курганов вообще было вряд ли возможно из-за специфики ландшафта и каменистой почвы. Однако природные условия не всегда являлись определяющими. В Прииссыкулье в составе могильника Туура-Суу в 1971 г. были раскопаны пять каменных курганов. Насыпь самого крупного из них объемом 3187 куб. м, где в могиле среди оставленного грабителями инвентаря выделялись предметы, аналогичные элементам головного убора из царского кургана Иссык, превосходила размеры надмогильного сооружения Первого и Второго Пазырыкских курганов, но уступала Башадарским. В этом же регионе в конце 1980-х гг. киргизскими и кемеровскими археологами исследовались и земляные «царские» курганы. Только раскопанный у с. Шалба Джеты-Огузского района курган №2 имел насыпь объемом в 51656 м³, могильную яму глубиной 2 м с 22-метровым дромосом и общей площадью 46 м², перекрытую бревнами и 257 булыжниками и каменными блоками весом 40–50 кг (Васютин А.С., Мокрынин С.В., 1989, с. 62).

Для среднеазиатской археологии особую актуальность приобрело изучение роли контактов кочевников и земледельцев. В 1987 году в рамках советско-французского симпозиума поднимались вопросы взаимодействия кочевых культур и оседлых цивилизаций в I тысячелетии до н. э. Ряд ученых подчеркнули важность связей кочевых и оседлых народов в становлении социальных систем кочевников. Так, В.М. Массон (1989, с. 82, 88) считал главной тенденцией не противостояние кочевников и земледельцев, а их мирное сосуществование и указал в качестве причин социальной эволюции мобильность кочевничества и развитие у них военной функции. Правда, надо отметить, что идея приоритета мирных контактов мало сочеталась со словами автора о том, что именно благодаря войне произошли «кардинальные изменения... в социально-политической сфере», «...шло формирование общества со сложной социальной стратификацией, ...институализация власти, ...образование военных объединений государственного и протогосударственного типа» и в целом «формационное положение кочевников и древних цивилизаций как обществ раннеклассовых или обществ, идущих по этому пути, существенно сблизились» (Массон В.М., 1989, с. 82, 88). В итоге реалии источников говорили о том, что именно война обусловила у кочевников не только социально-политический (появление государства), но и социально-экономический (формационный) прогресс.

Гораздо обоснованнее выглядела позиция А.К. Акишева. Он считал, что в отличие от тяготеющих к автономии и индивидуализму земледельцев кочевые общества были открыты и ориентировались на внешние связи. Суровые условия жизни и хозяйственно-культурный тип определили минимальную гибкость и возможности воспроизводства кочевых социумов. Заинтересованность кочевников в различных формах контактов с оседлыми цивилизациями в несколько раз превосходила подобный интерес земледельцев. Поэтому, по предположению исследователя, в скифо-сакское время оформилась взаимодополняющая система «степь»–«город». Связующую роль в такой бинарной целостности А.К. Акишев отводил так называемым «маргинальным зонам» – налаженным системам внутренних и периферийных коммуникаций с «городом», через которую кочевники осуществляли обмен и политическое взаимодействие. Для кочевников главный смысл контроля караванных путей и складывавшейся вокруг них военной и социальной инфраструктуры состоял не столько в транзите товаров между земледельческими центрами, сколько в необходимом и стабильном воспроизводстве отношений «степь»–«город» и, таким образом, всей общественной системы (Акишев А.К., 1989, с. 121–122).

В 1980-е – начале 1990-х гг. в исследованиях социальной организации кочевников основное внимание археологами отводилось выяснению вероятных признаков социальной дифференциации в археологическом материале. Исключительная и определяющая роль имущественных различий в обосновании социального ранжирования и раньше ставилась под сомнение. Подтвердить это данными раскопок раннекочевнических погребений Кокчорского района внутреннего Тянь-Шаня смог А.К. Абетеков. Он столкнулся с необычной ситуацией, исследовав «рядовые» курганы на могильнике Бучугу и «большие» (3–3,5 м высотой и около 25 м в диаметре) на близлежащих некрополях Куренкей-I и II. Куренкейские погребения отличались не только размерами насыпи, но и особыми внутримогильными конструкциями – тщательно сложенными из каменных плит саркофагами. Но при этом в составе и количестве инвентаря в большинстве бучугуских и куренкейских курганов существенных различий не прослеживалось (Абетеков А.К., 1989, с. 10–11). В этой связи интересна мысль Д.Г. Савинова (1992, с. 41), что возведение больших курганов являлось редистрибуцией, компенсацией со стороны соплеменников за выполнение умершими общественно важных функций, независимо от их содержания. На инвентарь редистрибутивное право могло и не распространяться, а его состав определялся только особенностями погребального обряда.

Важность антропологических данных в социологическом анализе продемонстрировала работа Л.Т. Яблонского, посвященная сакским погребениям Присарыкамышской дельты. Могильники западной части дельты содержали погребения в мелких подпрямоугольных ямах (Тумек-кичиджик, Тарым-кая-I) с бедным инвентарем. В восточной части Присарыкамышья (могильники на возвышенности Сакар-чага) располагались погребальные комплексы со сложными по конструкции камерами, с сожжениями (около половины захоронений), с богатым и разнообразным инвентарем. Имевшиеся здесь погребения «тумекского» (западного) типа находились на периферии сакарчагинских могильников (Яблонский Л.Т., 1989, с. 63–64).

На выявленную социальную стратификацию присарыкамышского населения сакского времени хорошо наложились палеоантропологические показатели. В западном районе дельты были погребены «долихокранны, в высшей степени матуризованными черепами с очень широким, но низким, резко профилированным лицом», тогда как в восточной – мезобракикранны с «относительной грациальностью» и преобладанием монголоидной примеси в женской серии. По мнению Л.Т. Яблонского (1989, с. 65–66), западные «присарыкамышцы» были покорены «восточными», о чем говорило совпадение векторов социальной дифференциации и биологической изменчивости.

Социальные различия сакского населения Присарыкамышской дельты прослеживались Л.Т. Яблонским и на примере более локального объекта – могильника VII–VI вв. до н.э. Сакар-чага-6. Исследователь полагал, что данный памятник был оставлен родом со специфичными традициями в погребальном ритуале. По конструктивным особенностям автор выделил четыре группы сакских захоронений: 1) под курганными насыпями в больших и глубоких прямоугольных ямах с богатым инвентарем, включавшем элементы «скифской триады» и предметы общеродового культа (жертвенные ножи, алтари); 2) под насыпями средних размеров, в ямах и на древнем горизонте, с достаточно богатым сопровождающим инвентарем, в том числе с предметами «скифской триады»; 3) под небольшими насыпями с предметами домашнего культа («зернотерки» с пестиками для растирания краски, лопатки животных со следами краски) и иногда оружием в составе инвентаря; 4) почти без насыпей в узких, мелких, прямоугольных ямах, с инвентарем, включающем, как правило, один лепной сосуд (Яблонский Л.Т., 1992, с. 79–80).

На основании обозначившейся классификации Л.Т. Яблонский интерпретировал погребения могильника Сакар-чага 6 как захоронения нескольких социальных групп сакского населения: 1) наиболее почетные члены рода – выдающиеся воины и родовые жрецы, в том числе и женщины (каменный алтарь в женском захоронении); 2) мужчины и женщины, обладавшие статусом воинов-всадников (в одном из женских погребений были обнаружены предметы вооружения и вещи культового назначения); 3) рядовые члены рода, в погребениях которых оружие встречалось эпизодично; 4) имевшее антропологические отличия зависимое население, погребения которого располагались на периферии могильника (Яблонский Л.Т., 1992, с. 80–81).

Важно отметить, что в конце рассматриваемого периода было накоплено значительное количество археологических источников, которые давали возможность проводить исследования палеосоциальных процессов на основе сравнительного анализа отдельных категорий материальной культуры кочевников. Наиболее показательным примером в этом отношении является исследование символического и социального значения наборных поясов, предпринятое В.Н. Добжанским. Он полагал,

что наборные пояса играли роль социального маркера. Особенно выделялись «золотые пояса», которые рассматривались ученым как признак царской власти. Речь шла не о практической ценности золота как такового, а о его символической связи с культом огня в индо-иранском мире. Поэтому пояс вождя демонстрировал соединение воинских и жреческих функций. По наблюдениям В.Н. Добжанского, опыт археологических исследований показывал, что наборные пояса не являлись однозначным критерием социального достоинства. Ограбленность почти всех «царских» и многих дружинных погребений не позволяет решить вопрос о наличии или отсутствии наборных поясов в этих захоронениях. Как подчеркнул исследователь, «положение осложнялось и тем, что даже во многих не потревоженных могилах, принадлежность которых мужчинам-воинам не вызывала сомнения, наборные пояса отсутствовали». Сам автор объяснял данные факты возможным использованием кожаного пояса с деревянными бляхами (Добжанский В.Н., 1990, с. 49, 50–51, 56, 68–69).

Поясные украшения, по мнению В.Н. Добжанского, являлись и знаком личных качеств человека их носившего, так как «изображение определенных животных или частей их тела, согласно правилам магии, способствует перенесению на обладателя такого пояса присущих этим животным черт». На Алтае из 90 известных ученому рядовых пазырыкских погребений наборные пояса были встречены в 14 случаях. Поясные бляхи, за редким исключением, не орнаментировались, поэтому, как писал исследователь, какую-либо смысловую нагрузку в наборных поясах рядовых кочевников выявить сложно. В данном случае он предлагал видеть «подражание представителям знати, хотя бесспорно, что простота этих поясов и отсутствие украшений в зверином стиле являлись показателем достаточно низкого социального ранга их владельца» (Добжанский В.Н., 1990, с. 70).

Таким образом, В.Н. Добжанский наметил один из путей археологической реконструкции социальной структуры кочевников. Достоинством этого метода является возможность его сочетания с иными принципами моделирования социальной организации кочевников и проверяемость другими методами.

Определенным итогом в изучении социальной организации кочевников Саяно-Алтая скифской эпохи в период с конца 1960-х по начало 1990-х гг. стали работы А.И. Мартынова и Д.Г. Савинова. Важное значение имела разработка А.И. Мартыновым концепций «скифо-сибирского культурно-исторического единства», а затем «степной скотоводческой цивилизации». Это был еще один шаг к гипотезе культурной, хозяйственной и общественной специфики кочевников и полукочевников евразийских степей. Такая постановка проблемы ставила вопрос о специфике кочевничества на новый уровень – цивилизационный. Ученый предлагал взглянуть на мир степной Евразии не через его отдельные части – археологические культуры и связанные с ними этнополитические образования, а как на вполне определенную историческую макросистему, сложившуюся в связи с распространением и развитием в степях производящих форм хозяйства. Среди признаков «цивилизационности» исследователь назвал и наличие «стратово-классовой системы», «ранней государственности», искусства «звериного стиля» как «социально-знаковой идеологической символики» (Мартынов А.И., 1989, с. 284, 287–292; 1989а, с. 7–11). Материалы дискуссии вокруг концепции «кочевой цивилизации» представлены в седьмой главе.

Для А.И. Мартынова характерно наиболее последовательное применение метода трудовых затрат. В его использовании археолог опирался на практические исследования, результаты которых нашли отражение в целом ряде публикаций. Демонстративные возможности данного метода действительно широки и трудозатраты древнего населения, выраженные в абсолютных показателях объема насыпи и внутримогильного сооружения, объективно свидетельствовали о социальных различиях погребенных (Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 80–81).

А.И. Мартынов рассматривал эволюцию общественной организации у носителей культур скифского типа как один из важных факторов скифо-сибирского единства. Теория «единства» позволила исследователю говорить об общем уровне социально-политического развития «скифских народов», в том числе и южно-сибирских. Согласно его мнению, уже на рубеже VI–V вв. до н.э. у скифов, «алтайцев», саков, «савроматов» сложились «протогосударственные образования» (!), развитие которых в V–III вв. до н.э. привело к формированию политических объединений раннегосударственного типа. Некоторыми особенностями выделялись лишь «савроматы», так как их «стратово-государственная система», по определению ученого, «вряд ли... поднялась выше уровня племенного союза» (Мартынов А.И., 1980; 1986, с. 28–33; Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 37, 113–126).

Общими чертами социального устройства «скифо-сибирских» кочевников А.И. Мартынов называл стративность общества по отношению к производству и власти (наличие таких социальных категорий, как рядовые общинники, аристократия, воины, формирующийся слой ремесленников, рабы), господство малой семьи и родоплеменной организации, на основе которой возникали институты раннегосударственной власти. В целом развитие социальных отношений, как считал исследователь, в этих «государствах» шло по пути, близкому к «вторичным» древневосточным государствам типа общества Древнего Ирана и ранней Ассирии, обладавших отличными от классического рабовладения социальными системами (Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986, с. 124; Мартынов А.И., 1989, с. 290–291; 1989а, с. 10–11).

Разработки А.И. Мартынова по проблемам «скифо-сибирского культурно-исторического единства» и «кочевой цивилизации» имели для скифологии такое же важное значение, как и концепция «ранних кочевников» М.П. Грязнова конца 1930-х гг. Эти работы А.И. Мартынова, с одной стороны, подводили определенный итог в изучении истории номадов, а с другой – давали теоретическую модель, требующую в дальнейшем подтверждения фактическим материалом. Особую актуальность и дискуссионность эта тематика стала приобретать с начала 1990-х гг., когда наблюдался кризис традиционного формационного подхода к историческому процессу и особое внимание к цивилизационному (Байбаков К.М., Цинман М.З., 1993; и др.).

Для социальных исследований в кочевниковедческой археологии имели значение и общетеоретические разработки в области социальной археологии. В частности, Д.Г. Савиновым и В.В. Бобровым была выдвинута идея символического значения кургана как сакрализованного пространства. Подразумевалась не только необходимость внести коррективы в методику исследования, но и в реконструкцию процесса сооружения погребального комплекса (Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1989, с. 160–164). Ясно вырисовывался вопрос, всегда ли погребения «ферапонтов» в богатых курганах носили сопроводительный характер или они имели самостоятельное значение? Какова последовательность таких погребений? В данном контексте необходимо учитывать относительность «тризн» и жертвоприношений животных как социальных показателей, так как их количество и объем могли определяться не столько разницей социального статуса, сколько обрядовыми различиями, временем функционирования «сакрализованного пространства».

Д.Г. Савинов также затронул проблемы социально-политического устройства пазырыкского социума. В частности, ученый обратил внимание на то, что, несмотря на параллельное возникновение пазырыкской и саглынской (уюкской) культур, близкие экологические и историко-культурные условия, между «пазырыкским» и «саглынским» обществами существовали серьезные различия. Противопоставление «больших» и «малых» курганов на Алтае свидетельствовало «о выделении социально привилегированной верхушки», в то время как население саглынской культуры не имело «ярко выраженных признаков дифференциации». Указывая на значительную степень социальной дифференциации пазырыкского общества, исследователь предлагает рассматривать «вождей» номадов Горного Алтая как прямых наследников «царя» из кургана Аржан (Савинов Д.Г., 1989а, с. 12–13).

Позицию исследователя относительно возможности интерпретации пазырыкского объединения как раннегосударственного образования нельзя интерпретировать однозначно. С одной стороны, Д.Г. Савинов (1993а, с. 128) поддержал концепцию «кочевой цивилизации» А.И. Мартынова (1989), одним из положений которой было признание существования у большинства кочевых обществ (в том числе у «пазырыкцев») ранних форм государственных образований. С другой стороны, археолог подчеркивал, что все народы степной полосы Евразии скифской эпохи, объединенные понятием «ранние кочевники», находились на догосударственном уровне. Первым же государством у кочевников Центральной Азии было государственное образование хунну (Савинов Д.Г., 1993б).

Большие возможности для моделирования общественных систем предоставляли междисциплинарные связи. Д.Г. Савинов обратился к методике социальной реконструкции в археологии с использованием этнографических источников. По его мнению, разрыв между археологическими и этнографическими данными наиболее велик, так как речь идет о двух неравноправных уровнях сравнения: выборочные наблюдения по материалам одного или нескольких памятников с «полифункциональной исторической системой». Ученый считал более перспективным не прямое сравнение, а опосредованный путь синхронизации, включавший моделирование всей системы идеологических и социальных связей на «археологическом уровне» с последующим выбором соответствующей модели на этнографическом материале. В этих теоретически обоснованных пределах и необходимо, со-

гласно исследователю, осуществлять поиски конкретных аналогий и реконструировать явление в целом. При выборе этнографической модели, как указывал Д.Г. Савинов, надо учитывать несколько таксономических уровней (этникос, этнокультурную, этнолингвистическую и этносоциальную общности), а в отношении археологического материала – археологическая общность, археологическая культура, локальный вариант культуры. Главным связующим звеном этнических и археологических структур он считал территорию как социально-организованное пространство (Савинов Д.Г., 1990, с. 7–6).

Определенный итог изучению кочевых культур Центральной Азии подвел вышедший в 1992 г. очередной том «Археологии СССР», который был посвящен скифо-сарматскому периоду в истории азиатских степей. Оценивая уровень социально-политического развития кочевых народов Саяно-Алтая, Средней Азии, Казахстана, Монголии, большинство авторов данного издания исходили из концепции М.П. Грязнова о военно-демократическом характере раннекочевнических объединений. Например, данную точку зрения поддержали М.А. Итина и Н.А. Членова. Однако в своей аргументации они исходили из принципиально различных подходов. Так, М.А. Итина (1992, с. 46–47) полагала, что о «военной демократии», о социальной дифференциации говорят богатые погребения Тагискена. Н.А. Членова (1992, с. 253–254), наоборот, указывала на отсутствие в Забайкалье выделяющихся размером и богатством инвентарного комплекса захоронений, что исключало существование здесь классового общества. О первобытнообщинной (!) организации населения Тувы писал А.М. Мандельштам. Аргументируя свою точку зрения, он обратил внимание на топографические особенности тувинских могильников. Погребения уюкской (саглынской) культуры в больших могильниках, по наблюдениям автора, «четко» распадались на группы-цепочки, что свидетельствовало о сохранении родоплеменной организации, в рамках которой происходили все процессы социальной дифференциации. Основной ячейкой общества, по мнению А.М. Мандельштама (1992, с. 194), являлась большая патриархальная семья, возглавляемая старшим по возрасту мужчиной, что нашло отражение в «центрической» системе размещения погребенных под одной насыпью. Многие исследователи подчеркивали хорошо фиксируемое археологическими источниками половозрастное деление кочевых обществ (Вайнберг Б.И., 1992, с. 117; Вишневецкая О.А., 1992, с. 139; Грязнов М.П., 1992, с. 164; Заднепровский Ю.А., 1992; 1992а, с. 96–98; 1992б, с. 75–83; Мандельштам А.М., 1992, с. 194 и др.).

Подводя итог разделу, отметим, что в конце 60-х – начале 90-х гг. XX в. произошел качественный скачок в изучении социально-политической организации кочевых народов Саяно-Алтая и прилегающих территорий. Прежде всего существенно расширилась источниковая база по кочевым культурам за счет исследования сотни памятников «рядовых» кочевников Алтая, Тувы, Казахстана и Монголии. Это позволило выявить более сложные социальные системы кочевников. Однако идеологические рамки исторического материализма по-прежнему не давали в полной мере подойти к более объективным реконструкциям. Значительно расширился в этот период спектр критериев для палеосоциальных исследований, в который входили большинство элементов погребально-поминального обряда и социально значимые категории инвентаря. Нельзя не отметить и успешное использование сравнительно-исторического метода, особенно при изучении социальной организации кочевников Алтая и Тувы. Наконец, успехи в изучении разных кочевых культур Центрально-азиатского региона и сопредельных территорий позволили ученым выйти на новый уровень теоретического обобщения проблем изучения кочевничества. Показательным примером концептуальных построений в отечественном кочевниковедении являются отмеченные выше разработки А.И. Мартынова.

4.4. Изучение социально-политической организации кочевников Саяно-Алтая раннескифского и скифского периодов на современном этапе (середина 1990-х – начало 2000-х гг.)

С середины 90-х гг. XX в. материалы погребений Горного Алтая скифской эпохи фактически стали базовым полигоном для современной российской социальной археологии. Вышел цикл обобщающих трудов по археологии Горного Алтая в скифское время (Полосьмак Н.В., 1994а; 2001; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997; Васютин С.А., 1999; Молодин В.И., 2000; Полосьмак Н.В., Молодин В.И., 2000; Марсадолов Л.С., 1999; 2000; Дашковский П.К., 2002; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; и др.).

В первой половине 1990-х гг. широкомасштабные работы по изучению разновременных памятников в Горном Алтае на плато Укок проводил Западно-Сибирский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН под общим руководством академика В.И. Молодина. Приоритетным направлением было изучение пазырыкских памятников, которые благодаря уникальным находкам существенно расширили представления ученых о кочевой культуре скифской эпохи. Кроме того, комплексный междисциплинарный подход к изучению полученных материалов (Древние культуры..., 1994; Феномен алтайских мумий..., 2000; Население Горного Алтая..., 2003; и др.) позволил сделать определенные выводы о социальном развитии номадов.

Так, В.П. Мыльников (1999; 2008, с. 62–63), изучив особенности деревообрабатывающего производства «пазырыкцев» установил, что для различных социальных групп населения характерны свои специфичные типы внутримогильных погребальных сооружений. В частности, исследователь отмечал, что для элиты сооружались двухкамерные бревенчатые срубы с двойным бревенчатым потолком и дощатым полом, в которые помещались деревянные колоды с умершими. Представители средней знати хоронились в колодах или на ложе-кровати в однокамерных срубах без пола, в то время погребения рядовых кочевников характеризовались труположением на деревянном настиле или войлочной подстилке в малых срубах. Детей же погребали в маленьких срубах или колодах (Мыльников В.П., 1999, с. 43–44). Полученные на укокских материалах выводы В.П. Мыльников позднее дополнил результатами исследования на могильнике Берель (Самашев З., Мыльников В., 2004).

Наиболее существенные выводы по социальной истории «пазырыкцев» были сделаны Н.В. Полосьмак (1994а; 2001). Высокая степень сохранности ак-алахинских захоронений дала возможность ей всесторонне рассмотреть погребальные комплексы представителей привилегированной части «пазырыкского» населения Алтая. Публикуя материалы кургана №1 могильника Ак-Алаха-I, исследовательница отметила несколько черт, выделяющих данное погребение из разряда курганов рядовых «пазырыкцев». От обычных для рядовых захоронений 1–3 каменных колец поминальное сооружение ак-алахинского кургана №1 отличала иная конструкция: комплекс из семи каменных колец и круглой выкладки (в 25 м к западу от кургана) и небольшой поминальный курган (в 25 м к югу). По мнению Н.В. Полосьмак (1994а, с. 17–18), если одно кольцо считать «свидетельством поминовения каждого из погребенных в большом кургане одной семьей, его ближайшими родственниками, то наличие семи колец... может быть доказательством того, что здесь одновременно совершили поминки семь отдельных групп, связанных узами родства и находившихся в подчинении у погребенного в большом кургане».

Среди признаков высокого социального статуса погребенных в кургане №1 мужчины и женщины исследовательница назвала сравнительно большие размеры курганной насыпи (около 18 м в диаметре) и сложное устройство погребального сооружения (двойной сруб, двойное перекрытие, деревянный пол в камере, захоронения в колоде-саркофаге). Отдельно она выделила многочисленность конских захоронений. Девять коней выступали в качестве главного критерия высокого положения погребенных (Полосьмак Н.В., 1994а, с. 23, 56, 60). Что касается сопроводительного инвентаря, то, как ни странно, исключительным был вещевой комплекс не мужчины, а женского захоронения. Необычной являлась не только находка в женском погребении №1 почти полного набора предметов вооружения (лук, колчан со стрелами, кинжал и чекан), но и, что совершенно уникально для пазырыкских женщин, наборного пояса и войлочного головного убора. О богатстве и знатности погребенной, как полагала исследовательница, свидетельствовало и большое количество раковин каури (34 экз.) (Полосьмак Н.В., 1994а, с. 28, 30–34, 37–38, 43).

Согласно точке зрения Н.В. Полосьмак, показателем социального статуса в среде «пазырыкского» населения являлись специфичные головные уборы. Они вместе с другими деталями костюма «манифестировали» этническую, племенную и социальную принадлежность. Фигурки животных могли быть «своего рода военными значками», указывая на вхождение их владельцев в состав определенной категории воинов. Войлочные и кожаные шлемы, найденные в кургане №1 могильника Ак-Алаха-I, по оценке ученой, являлись атрибутами только «воинов-всадников» – основы пазырыкского общества (Полосьмак Н.В., 1994а, с. 43; 1999).

Исследования на плоскогорье Укок позволили не только рассмотреть костюм как социально-диагностирующий признак, но и поставить вопрос об участии женщин в военном деле у номадов Алтая. Так, в кургане №1 могильника Ак-Алаха-V было обнаружено захоронение женщины на деревянном ложе. Из предметов сопроводительного инвентаря на теле погребенной обнаружены две де-

ревянные диадемы и бронзовое зеркало. Кроме этого, в южной части сруба зафиксирован второй набор предметов: железный кинжал в деревянных ножнах, деревянная поясная пряжка и второе бронзовое зеркало. В одной могиле с умершей с северной стороны сруба зафиксировано сопроводительное захоронение шести лошадей, что является дополнительным показателем высокого социального статуса погребенной (Полосьмак Н.В., 2001, с. 277, 296). Н.В. Полосьмак отметила три возможных объяснения такого погребения с двумя комплектами сопроводительного инвентаря. Во-первых, второй комплект вещей мог символизировать захоронение мужчины, и, таким образом, все погребение можно атрибутировать как полукенотаф. По второй версии, указанные предметы принадлежали покойному мужу, которые жена должна была передать ему при встрече в загробном мире. Наконец, третье предположение, которому она отдает предпочтение, сводится к тому, что эти предметы могли принадлежать самой погребенной женщине. Н.В. Полосьмак полагает, что оба рассмотренных захоронения свидетельствуют о наличии в пазырыкском обществе женщин-воительниц (Полосьмак Н.В., 2001, с. 276–277).

Следует обратить внимание на то, что Н.В. Полосьмак вполне правомерно и обоснованно отметила высокую роль женщин в социуме кочевников Горного Алтая скифской эпохи. В то же время вопрос о пазырыкских амазонках, вероятно, требует дополнительного рассмотрения и аргументации. Дело в том, что проведенное палеосоциальное исследование памятников пазырыкской культуры на широкой источниковой основе не позволило получить достоверных данных о погребениях женщин с предметами вооружения. Эти результаты позволили сделать вывод о том, что женщины были вовлечены практически во все сферы функционирования общества, за исключением, вероятно, военных. Нужно также отметить, что именно представители «слабого пола» в отдельные периоды, когда мужчины отсутствовали (военные действия, охота и другие масштабные мероприятия), несли груз ответственности за содержание скота и охрану своей территории (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 198, 204), наравне с мужчинами участвовали в ведении хозяйства. Кроме того, важно обратить внимание на то, что в захоронении женщины в кургане №1 могильника Ак-Алаха-V второй комплект предметов находился за женским скелетом возле южной стенки сруба. Этот участок в погребальной камере является традиционным местом помещения умершего мужчины или «мужских» предметов в полукенотафах (Кубарев В.Д., 1987, с. 26). Примечательно, что на это обстоятельство указывает и Н.В. Полосьмак (2001, с. 277). Однако, несмотря на это обстоятельство, исследовательница отдает предпочтение другой версии трактовки, согласно которой, как указано выше, в могиле похоронена женщина-воительница.

Не меньший интерес для социальной археологии представляет курган №1 могильника Ак-Алаха-III, где благодаря подкурганной мерзлоте почти полностью сохранилось захоронение женщины с высоким социальным рангом. Определяющим для характеристики ее социального положения Н.В. Полосьмак считала не столько состав инвентаря и татуировки на теле, указывавшие на выполнение жреческих функций, сколько отдельное расположение самого кургана. Исследовательница пишет, что одиноко стоящий курган «наглядно» разрушал «те родственные связи», которые призваны были отразить цепочки пазырыкских захоронений. Согласно ее представлениям, в контексте культурной традиции сооружения цепочек, погребенная в кургане №1 могильника Ак-Алаха-III женщина «существовала в своей посмертной жизни вне рода, вне семьи». В то же время курган «жрицы» был устроен в центральной части долины р. Ак-Алаха, и таким образом погребенная в нем женщина «как бы принадлежала сразу всем пазырыкским семьям и родам, зимовавшим на Укоке» (Полосьмак Н.В., 1994, с. 3).

Выводы Н.В. Полосьмак вновь поставили перед учеными проблему функционирования культурно-символической стратификации в пазырыкском обществе и наличия особой группы жрецов (жриц). При этом важно отметить, что если ранее среди некоторых ученых была распространена только точка зрения о том, что религиозные обряды совершали шаманы-мужчины, то теперь эта роль отводилась, во-первых, жрецам (жрицам), а во-вторых, не только мужчинам, но и женщинам. Это предположение в последнее время находит своих новых сторонников (Шульга П.И., 1997; Могильников В.А., 1997; Дашковский П.К., 2001а, 2002; 2003; и др.). Более того, гипотеза о выполнении жреческих функций в пазырыкском обществе женщинами представляется еще более убедительной, если принять во внимание, что у многих народов Евразии в скифскую эпоху наблюдается именно такая ситуация (Банников А.Л., 2000; Смирнов К.Ф., 1964, с. 103, 254; Хазанов А.М., 1970, с. 139–143; Кадырбаев М.К., 1984, с. 84; и др.). В то же время не стоит исключать возможность пря-

мого участия мужчин в религиозной практике кочевников, что также известно по материалам синхронных культур, например, захоронение в кургане Иссык в Казахстане (Акишев А.К., 1984).

Вопрос о служителях культа и шаманизме у «пазырыкцев» и других ранних кочевников являлся одним из наиболее дискуссионных на протяжении последних 15 лет. Еще в первой половине 1990-х гг. Г.Н. Курочкиным (1992; 1993а; 1994) была выдвинута идея о «скифских корнях сибирского шаманизма». Он определял могильник Пазырык как «корпоративное кладбище верховных жрецов», считая, что на Алтае помещался «сакральный центр мира» (Курочкин Г.Н., 1993б). Дискутируя с Г.Н. Курочкиным, Д.В. Черемисин и А.В. Запорожченко обратили внимание на то, что многие признаки, обычно трактуемые как доказательство «шаманизма» пазырыкцев, на самом деле таковыми не являются. Так, полученные в ходе исследований на плато Укок Н.В. Полосьмак и В.И. Молодиным новые данные (наличие татуировок на телах рядовых пазырыкцев) теряют свою «шаманскую» уникальность – «такой феномен пазырыкской культуры, как татуировка». По мнению исследователей, «шаманистическая» окраска пазырыкской культуры «есть следствие спорной атрибуции комплексов артефактов и произвольного прочтения изобразительных сюжетов». Более продуктивным представлялся исследователям «анализ мифо-ритуального комплекса ранних кочевников Евразии в контексте индо-иранской мифологической традиции» (Черемисин Д.В., Запорожченко А.В., 1996, с. 31–32).

Другой исследователь, Н.А. Боковенко, полагал, что если для Европейской Скифии наиболее вероятно индо-иранская религиозно-мифологическая система, то при анализе культур скифского типа Центральной Азии прослеживаются более сложные религиозные образования, генетически связанные зачастую с более древними культурами и иными регионами. Ученый указывал, что в скифскую эпоху (I тыс. до н.э.) система религиозных представлений, которую он предложил условно назвать «саяно-алтайской», окончательно сложилась и представляла собой «синтез шаманизма» (практически сложившегося), северного варианта буддизма и восточного варианта зороастризма. В таком контексте у Н.А. Боковенко (1996, с. 40–41) не вызывало сомнений появление у центрально-азиатских народов скифской эпохи специального общественного слоя шаманов. Несмотря на то, что концепция Н.А. Боковенко позднее была пересмотрена и скорректирована исследователями (Шульга П.И., 1999; Дашковский П.К., 2002, 2003а, 2003в; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; и др.), тем не менее она имела важное значение для понимания синкретичности религиозно-мифологической системы кочевников и утверждения наличия особой категории лиц, занимающихся хранением и использованием сакральных знаний.

Важное методологическое значение имела статья В.Ю. Зуева о «савроматских жрицах». Размышляя об историографической ситуации вокруг вопроса о жрицах у «савроматов», а в широком контексте исторических аналогий и о служительницах культа у других кочевых народов скифской эпохи, он указал, что «признанные многими учеными гипотезы существуют только благодаря силе и авторитету научной традиции» (Зуев В.Ю., 1996а, с. 54–55). Вопрос о «савроматских жрицах» исследователь предложил решать в двух аспектах: историко-филологической обоснованности гипотезы о жрицах и «археологической реальности и ее отражения в рассматриваемой гипотезе». Внимательно проанализировав греческих авторов, В.Ю. Зуев (1996, с. 5, прим. 8; 1996а, с. 57–58) отметил, что никаких упоминаний о «савроматских жрицах» в античной литературе не имеется, более того не известен и тот культ, служителями которого могли быть «савроматские женщины». Оспорил исследователь и археологические доказательства жреческого статуса женских погребений ранних кочевников Южного Приуралья. В частности, он поддержал мнение В.А. Ильинской о том, что «алтарики» с кусочками краски и целым рядом вещей (раковины, маленькие чашечки, зеркала, галька или палочки-растиральники, нож, костяные ложечки т.д.) в женских погребениях были не культовыми, а бытовыми предметами – туалетными наборами (Зуев В.Ю., 1996а, с. 58–59). Эта точка зрения была поддержана Н.П. Матвеевой (1996). Таким образом, были поставлены под сомнение наиболее веские аргументы сторонников существования у кочевников I тыс. до н.э. женской касты жрецов.

Прямо или косвенно точку зрения о существовании на Алтае в скифскую эпоху служителей культа поддержали Д.А. Мачинский (1996–1998), выдвинувший гипотезу о функционировании на Алтае сакрального центра скифского мира, П.И. Шульга (1997; 2000), Ю.В. Ширин (1997), Н.В. Полосьмак и В.И. Молодин (2000, с. 82), П.К. Дашковский (2001; 2002, с. 18) и др. Последний из указанных исследователей особо обратил внимание на то, что методологически и исторически более оправданно применительно к «пазырыкцам» говорить не о шаманах или жрецах (жрицах), а именно о служителях культа (священнослужителях) (Дашковский П.К., 2001). Кроме того,

П.К. Дашковский указал на немногочисленность погребений служителей культа, которые можно выделить на основе определенного набора признаков (набор ритуальных предметов, сопроводительные захоронения лошадей и др.). Низкий процент таких захоронений обусловлен не только объективными факторами, но и начальным этапом сложения государственности у кочевников. Именно это обстоятельство, а также отсутствие крупных специализированных храмовых комплексов и хозяйства не приводили к выводу о сложении мощной развитой социальной группы – жрецов (Дашковский П.К., 2003в). В то же время большинство вопросов, связанных с изучением категории священнослужителей у кочевников степной Евразии, остаются открытыми и требуют дальнейшего изучения.

Вопросы реконструкции социальной структуры населения Горного Алтая и сопредельных территорий приобрели особую актуальность во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. и затрагивались в целой серии публикаций (Ануфриев Д.Е., 1997; Антонова О.В., Худяков Ю.С., 1999; Кочеев В.А., 1997; Марсадолов Л.С., 1997, 1999, 2000; Миронов В.С., 1997; Соенов В.И., 1997; Тишкин А.А., 1997; Дашковский П.К., 2000; 2002; 2003а; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2003; 2004; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1997; 2003; и др.).

Во второй половине 1990-х гг. исследователи вновь подняли вопрос о милитаризации кочевников Горного Алтая в скифскую эпоху. Так, В.С. Миронов (1997а–б), проанализировав материалы из пазырыкских курганов в бассейне Средней Катуни, пришел к выводу, что на начальном этапе пазырыкской культуры доля воинских захоронений значительно больше, чем на ее завершающем этапе (III–II вв. до н.э.) (Миронов В.С., 1997а, с. 107). По мнению археолога, это может свидетельствовать об увеличении профессионализма воинской верхушки и о переходе «от родоплеменного ополчения к войску дружинного типа» (Миронов В.С., 1997б, с. 18).

Вопросы социальной истории «пазырыкцев» в этот период затрагивались и Д.Е. Ануфриевым (1997, с. 110–112). Исследователь предложил свое понимание структуры пазырыкского социума, в основу которой автором была положена «модель трехчленного деления общества». В результате рассмотрения элементов погребального обряда он выделил несколько слоев: 1) зависимые люди (рабы); 2) рядовое свободное население; 3) жречество; 4) главы родов и семей; 5) представители аристократии, вожди племен и племенных союзов, которые, вероятно, были выходцами из родственных групп. Кроме того, проведя планиграфическое и сравнительное сопоставление могильников, исследователь пришел к выводу о господстве у кочевников Алтая нуклеарной или ограниченно расширенной формы семьи во главе с мужчиной. Изучив географическое расположение памятников, Д.Е. Ануфриев (1997, с. 110) высказал предположение о существовании пяти племенных центров в пазырыкское время: 1) в бассейне Урсула и среднем течении Катуни с центральными группами Шиббе, Туекта и Башадар; 2) чуйская группа по Чуе, Чулышману и Пазырыку; 3) бухтарминская группа вокруг кургана Берель; 4) группа памятников в бассейне Аргута и Коксы; 5) на плато Укок и по притокам Чуи, возможно, с прилегающей территорией Северной Монголии. Эту точку зрения поддержал С.А. Васютин (1999, с. 35), указав при этом на большую долю вероятности существования единого пазырыкского объединения и наличия глав пазырыкских племен, в роли которых могли выступать люди, погребенные в курганах Пазырыка. Социальные разработки Д.Е. Ануфриева как бы суммировали результаты палеосоциальных реконструкций до начала 1990-х гг. К сожалению, они были представлены без наполнения конкретным фактическим материалом и без ссылок на идеи или выводы, сформулированные другими исследователями, хотя их влияние и использование хорошо прослеживаются в работе автора.

Значительный вклад в изучение социально-экономической структуры «пазырыкцев» внес Л.С. Марсадолов (1997, 2000). Ученый предложил новые принципы ранжирования пазырыкских курганов и выделил внутри трех основных групп курганов (захоронений рядовых кочевников, глав семейно-клановых групп, племенных вождей) «еще по две-три более дробные, но четко различимые обрядовые группы». Исследователь указал, что представителей одной социальной группы (в качестве примера он выбрал захоронения вождей племен) могли хоронить в разных по своим параметрам курганах. Не одинаковыми, по его мнению, будут курганы самого вождя – главы племени и его детей (Марсадолов Л.С., 1997, с. 97; 2000, с. 31). Используя совокупность социально диагностирующих признаков (конструкция и размеры внутри- и надмогильных сооружений, мумифицирование погребенных, число сопровождающих захоронений коней, количество инвентаря, наличие культовых предметов и т.д.), Л.С. Марсадолов выделил девять рангов пазырыкских курганов. Различия между рангами, как пишет ученый, вероятно, «были обусловлены религиозно-социально-экономической (вожди племен, знать, заслуженные люди рода) и семейной (глава семьи, старшие и

младшие члены семьи, дети) стратификацией общества кочевников (Марсадолов Л.С., 1997, с. 97–98; 2000, с. 31–32).

Курганы пазырыкской культуры были разделены на следующие группы:

– большие курганы (I и II ранги) – погребения вождей племен и союза племен: I ранг – всего исследовано пять курганов (Туэкта-1; Пазырык-1; Пазырык-2; Пазырык-3; Пазырык-5); II ранг – раскопано семь курганов (Башадар-2; Пазырык-4; Шибе; Катанда; Туэкта-2; Башадар-1; Берель);

– средние курганы (III–IV ранги) – погребения представителей племенной знати, а также ближайших родственников вождей племен: III ранг – курганы Каракол-2; Кутургунтас; Ак-Алаха-1, курган №1 и Ак-Алаха-3, курган №1; IV ранг – Пазырык-6; Туэкта-7; Курота-1, курган №1 и др.;

– малые курганы (V–VIII ранги) – группы памятников основной части древнего населения Алтая. В малых курганах погребались также младшие члены семьи, дети, родственники вождей и знати: V ранг – курганы родственников и детей вождей и знати: Пазырык-7; Пазырык-8; Башадар-9; Башадар-10; Ак-Алаха-1, курган №2; VI ранг – погребения мужчин-воинов, глав семьи или родовой группы. В большинстве случаев погребение вооруженного человека (с кинжалом, чеканом и колчаном со стрелами) сопровождалось захоронениями 2–3 коней с уздой и седлом: Арагол, курган №5; Туэкта, курган №6; Кок-су-1, курганы №31, 26, 17; Юстыд-ХII, курганы №3, 16, 25 и др.; VII ранг – погребения рядовых кочевников, это большинство курганов пазырыкского времени, они отличаются от остальных тем, что вместе с погребенным человеком положен всего один конь, иногда без узды и седла: Кок-су-1, курганы №11, 30; Юстыд-ХII, курган №4; VIII ранг – наиболее малые по размерам могильные сооружения и бедные по сопровождающим предметам (погребения типа Юстыд-ХII, курганы №6, 24; Ташанта-III, курган №7);

– отдельная обрядовая группа (IX ранг) – погребения «зависимых людей»: пленных, домашних рабов или слуг (?). Эту категорию людей захоранивали при погребении вождей племен вместе в одной камере («наложницы» – Пазырык-2 и Пазырык-5), а при погребении знати и свободных кочевников – в заполнении могильных ям (Башадар-10, Ак-Алаха-3, курган №1 (?) и др.), иногда их принимают за «впускные погребения». Не исключено, что им также принадлежали некоторые курганы VIII ранга (Марсадолов Л.С., 1997, с. 98–99; 2000, с. 32–33).

Совокупную сложность социальной системы «пазырыкцев» Л.С. Марсадолов отразил в таблице рангов курганов Саяно-Алтая.

Ранги курганов Саяно-Алтая (I–VIII)¹
(человек – семья – род – племя – союз племен)

Курганы	Социальная структура (реконструкция)				
	Иерархия общества		Иерархия семьи (ранги курганов)		
			глава	старшие члены	младшие члены + дети
Малые	семья	рядовые общинники	VI–VII ранги	VII ранг	VIII ранг
		знатные люди рода	IV, VI ранги	VI–VII ранги	VII ранг
Средние	род	племенная знать	III ранг	III–V ранги	V ранг
		племя	вождь племени	I–II ранги	II–IV ранги
Большие	союз племен	вождь союза племен	I ранг	II–III ранги	III–V ранги

Попытка суммировать результаты исследования социальной структуры населения Горного Алтая в скифское время по данным археологии была предпринята С.А. Васютиным (1998, 1999). По вопросу о социальном характере могильников он поддержал мнение исследователей, полагающих, что каждая цепочка курганов как раннескифского, так и пазырыкского времени была погребениями представителей семейно-клановой группы (3–4 поколения родственников, образующих несколько кочевых домохозяйств – айлов, с привлечением людей зависимого статуса), а фиксируемые внутри цепочек микроцепочки (по 2–3 кургана) – захоронениями членов малых семей (Васютин С.А., 1999, с. 31).

Оценивая социальный статус женщин в кочевых сообществах Горного Алтая, С.А. Васютин полагал, что как в раннескифское, так и в пазырыкское время общественное положение женщин не-

¹ Таблица опубликована: Марсадолов Л.С., 1997, с. 99.

многим уступало социальному положению мужчин, что определялось существованием парной семьи и активным участием женщин наравне с мужчинами в ведении скотоводческого хозяйства. В некоторые периоды, когда мужчины отсутствовали (охота, военные действия), именно женщинам приходилось нести основной груз ответственности за содержание, выпас и охрану скота (Васютин С.А., 1999, с. 31–32). В подтверждение данного мнения исследователь указал на сооружение отдельных курганов для погребения женщин, наличие в части женских погребений, как и в мужских сопроводительных захоронениях, коней (в Туэкте-2 женское захоронение сопровождалось 8 конями (Руденко С.И., 1960, с. 106–108, 237)), рядового (не уступающего мужскому) и богатого инвентаря, иногда не исключавшим и оружие (Ак-Алаха-1, курган №1 (Полосьмак Н.В., 1994а, с. 28, 30–34, 37–38, 43)), погребальных лож, преобладания в ряде могильников захоронений женщин и детей (особенно показательны в этом отношении материалы могильников Уландрык-II, где среди погребенных в 11 курганах был только один мужчина (Кубарев В.Д., 1987, с. 23), и Кок-Эдиган, где из 13 погребенных оказалось 11 женщин, одна девочка и только один мужчина (Худяков Ю.С., Мионов В.С., 1997, с. 313)), отсутствие фиксируемых в археологических памятниках свидетельств о зависимости (за исключением погребения №2 в могильнике Чесноково-I раннескифского времени, где можно предполагать зависимое положение женщин, что подчеркивается их позами и антропологическими отличиями – Шульга П.И., 1998а, с. 67).

С.А. Васютин высказался против точки зрения исследователей о захоронениях в «царских» курганах пазырыкской культуры рядом с вождями «наложниц» (Руденко С.И., 1948, с. 55; 1952, с. 242–243; Марсадолов Л.С., 1997, с. 99; Гаврилова А.А., 1996, с. 94). В частности, он подчеркнул, что описание женских погребений Пазырыка скорее позволяет видеть в них «жен» правителей, а не их рабынь («богатый инвентарь, изысканные одежды, холеные руки, не знавшие тяжелой работы» (Руденко С.И., 1948, с. 56; 1952, с. 236; 1953, с. 254; 1960, с. 237)). С учетом продолжительности функционирования сакрализованного пространства в «царских» курганах, доступности погребальной камеры в течение длительного времени после похорон и возможности их многоактного использования (Грач А.Д., 1975, с. 169–172; 1980, с. 51–54; Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1989, с. 160–164; Савинов Д.Г., 1996, с. 107–111) погребения «мужа» и «жены» (Пазырык II) вполне могли происходить в разное время, тем самым женское захоронение не обязательно должно носить сопроводительный характер (Васютин С.А., 1999, с. 32–33).

Обращаясь к проблеме о «жрицах» («жреческих» атрибутах в женских захоронениях) у пазырыкцев, С.А. Васютин полагает, что ее нельзя решать отрицательно только на основании аргументов, высказанных В.Ю. Зуевым (1996а, с. 57–66). В частности, он отметил мнение группы ученых о том, что использование красящих веществ и в бытовых целях не противоречит культовой роли женщин (Полосьмак Н.В. и др., 1997, с. 270–274). Немаловажна в этом отношении и характеристика женского погребения в кургане №1 могильника Ак-Алаха-III как принадлежавшего служительнице культа (Полосьмак Н.В., 1994, с. 3), о чем говорило отдельное положение памятника, в то время как обычно представительниц знатных семей хоронили на семейных кладбищах (захоронения женщин в курганах Пазырыка, Башадара, Туэкты). По оценкам С.А. Васютина (1999, с. 32), разногласия среди исследователей обуславливались и терминологическими проблемами, так как традиционное понимание терминов «жрица», «шаман» не могло отразить всего многообразия культово-социальных форм, в которых женщины играли бы значимую роль.

Основное внимание С.А. Васютин уделил социальной стратификации раннескифского и пазырыкского населения. В раннескифский период, по мнению исследователя, основную массу людей составляли рядовые представители отдельных территориально-локальных групп, в которых разделения имели в основном половозрастной характер. Существование сравнительно богатых, но одиночных курганов, доля которых в общем массиве незначительна (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 59), свидетельствует о том, что устойчивого воспроизводства высокого общественного статуса в раннескифское время еще не было. Только смена этнического состава населения Горного Алтая в VI–V вв. до н.э. в результате миграций и складывания пазырыкской культуры привели к значительному усложнению социальной системы и милитаризации общества (Васютин С.А., 1999, с. 32).

Суммируя многочисленные признаки социальной дифференциации, которые нашли отражение в погребальных памятниках пазырыкской культуры, С.А. Васютин отметил, что они могли «срабатывать» и по отдельности, и в сочетании друг с другом. Среди наиболее значимых признаков ученый выделил: а) размер насыпи и внутримогильных сооружений, их сложность (одинарный или двойной сруб, отсутствие перекрытия, одинарное или двойное перекрытие, деревянный пол в каме-

ре, захоронения в колоде-саркофаге, погребальные лежа) как один из вариантов сочетания размеров насыпей и типов погребальных конструкций; б) отсутствие и наличие конских захоронений, их количество; в) общее количество и качество сопровождающего инвентаря, а в его составе наличие таких групп, как привозные вещи, культовые предметы, оружие (его полнота и избирательность позволяют выделить ранги не только социальной, но и военной стратификации), а также «золотых поясов» как признаков царской и жреческой власти в индо-иранском мире, золотых и покрытых золотом вещей, головных уборов, которые вместе с другими деталями костюма «манифестировали» этническую, племенную и социальную принадлежность; г) бальзамирование и его способы как показатель социальной дифференциации; д) антропологические отличия, подчеркивавшие принципы формирования элитных слоев (Васютин С.А., 1999, с. 33).

В целом работа С.А. Васютина (1999, с. 33–35) затрагивала наиболее важные проблемы изучения социальной организации раннескифского и пазырыкского населения Горного Алтая и содержала целый ряд существенных замечаний по применению методов социальной планиграфии и районирования.

Интересные наблюдения сделал П.И. Шульга, анализируя материалы могильника Локоть-4, культурный комплекс которого близок к захоронениям пазырыкской, каменской, сакской и другим раннекочевническим культурам. В частности, он выявил строгую ранжированность погребений по длине и глубине могил: детские – около 160 см в длину, захоронение выше уровня материка; рядовые (обычно боковые) захоронения взрослых – около 260 см в длину и до 2 м глубиной; центральные или боковые в больших курганах – около 320 см; самые крупные, обычно, центральные могилы 400–420 см в длину и 3–3,5 м глубиной. Исследователь также зафиксировал многочисленные социально-диагностирующие признаки, отражающие сильную стратификацию погребенных в могильнике Локоть-4 (оружие, предметы из золота, особенности внутреннего устройства могил, расположение могил под курганной насыпью и т.д.). Находка в кургане №9, как пишет автор «золотого» человека, костюм, обувь и головной убор которого были украшены почти двумя тысячами бляшек и аппликаций из золотой фольги, позволила ему предположить, что в сакском мире существовала канонизированная форма костюма, маркирующая статус умершего. «Обнаружение этой одежды в боковом погребении кургана №9 диаметром 12 м с изначальной высотой не более 0,8 м показывает, что носителем данного статуса мог быть человек, осуществлявший свои функции как на уровне племени (курган Иссык), так и в сравнительно небольшой родственной группе (Локоть)» (Шульга П.И., 2000, с. 443). По мнению ученого, многочисленные престижные находки указывают на высокий социальной статус родоплеменной группы, члены которой похоронены в курганах могильника Локоть-4.

Немного позднее исследователь опубликовал отдельную монографию, посвященную результатам раскопок некрополя Локоть-4а (Шульга П.И., 2003). П.И. Шульга в целом изложил уже высказывавшиеся в статьях выводы, расширив их дополнительными аргументами. Достаточно подробно археолог остановился на проблеме существования служителей культа в скифскую эпоху, функции которых зачастую у номадов выполняли женщины (Шульга П.И., 2003, с. 94–95). Обстоятельно изучив находки «золотых» костюмов, в которые были облачены умершие из указанного некрополя, П.И. Шульга пришел к выводу, что такой тип одежды имел более широкое распространение в кочевой среде и охватывал не только представителей высшего слоя общества. Наличие костюмов, украшенных по так называемому второму варианту, при котором нашивками из золотой фольги покрывалась не вся одежда, а только верхняя ее часть и головной убор, подчеркивает особый сакральный статус умершего человека. Вероятно, такие лица, по мнению исследователя, были связаны с выполнением функций служителей культа. При этом священнослужитель мог выполнять свои функции как на уровне племени (Иссык), так и в сравнительно небольшой родственной группе (Локоть-4а) (Шульга П.И., 2003, с. 84–85).

Кроме того, П.И. Шульга в заключении кратко коснулся мнения о так называемой «системе кормления», которая, по мнению Н.П. Матвеевой (1998, с. 362), существовала у ряда народов Евразии в скифскую эпоху. Археолог справедливо отметил, что в настоящее время нет никаких оснований указывать на существование такой системы на Алтае, при которой в качестве «подчиненных территорий» выступали бы лесостепные и степные районы региона, а в роли «эксплуататоров» – сакская знать южных районов (Шульга П.И., 2003, с. 121).

В другой своей монографии, подготовленной совместно с А.П. Уманским и А.Б. Шамшиным, П.И. Шульга (2005) подробно изложил результаты исследования могильника каменской культуры Рогозиха-I. Опубликованные материалы, как и в предыдущем случае, представляют огромный инте-

рес для палеосоциологических реконструкций, поскольку эта тема осталась за рамками научных интересов авторов работы. Между тем исследователи отметили, что в особенностях планиграфии могильника отражены определенные родственные связи, пол, возраст, социальное положение умерших. Ученые сделали предположение о том, что, если могильник пазырыкской культуры имитировал расположение жилищ родственников в реальном мире, то, возможно, такая же закономерность характерна и для каменной культуры. В этой связи кольцевое размещение могил под насыпью кургана каменной культуры отражает «имитацию куренной планировки жилищ или ритуального расположения групп родственников при совершении обрядов, празднеств и т.п.» (Уманский А.П., Шамшин А.Б., Шульга П.И., 2005, с. 10). Наконец, авторы выделили несколько групп могил в зависимости от их размеров, что обусловлено определенными стандартами погребального обряда для представителей разных социальных групп (Уманский А.П., Шамшин А.Б., Шульга П.И., 2005, с. 11–12). Аналогичный вывод сделан был П.И. Шульгой (2003, с. 39) и на материалах могильника Локоть-4а. Однако более основательных заключений об отражении в погребальной обрядности социальных реалий прошлого и возможностях реконструкции социальных структур в указанных монографиях не приводится, хотя опыт такого рода исследований достаточно хорошо известен по материалам пазырыкской культуры Алтая (Кубарев В.Д., 1987; 1991; 1992; и др.).

Целенаправленную работу по обобщению материалов исследования общественной системы ранних кочевников Алтая провели П.К. Дашковский и А.А. Тишкин (Тишкин А.А., 1997; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1997; 2003; 2004; 2005; Дашковский П.К., 2000; 2002; 2003а; 2005а–б; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2003; 2004; и др.). Итоги изучения социальной структуры населения Горного Алтая в скифскую эпоху исследователи подвели в совместной монографии (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003). На наиболее массовых материалах они провели анализ половозрастной структуры, выделили социально-типологические модели погребений с учетом половозрастной дифференциации: пять моделей захоронений детей и подростков и по восемь моделей женских и мужских захоронений. На этой основе А.А. Тишкиным и П.К. Дашковским (2003, с. 169–231) дана подробная характеристика гендерных отношений, возрастных, социальных и профессиональных групп, а также производственных, военных, управленческих и культовых практик пазырыкского населения. Прежде всего исследователи сделали вывод о существовании у кочевников четырех основных ступеней (детство, юность, зрелость, старость), которые являются характерной чертой стратификации у многих народов Евразии (Троицкая Т.Н., Бородовский А.П., 1994, с. 78–81; Горяев В.С., 1997; Фролов Я.В., 2001, с. 96–99; Матвеева Н.П., 2000, с. 249; Михайлов Ю.И., 2001, с. 100–125; и др.). Инициации у скотоводов Горного Алтая проходили, вероятнее всего, дети, достигшие 12–17 лет (или более узко 12–15 лет), т.е. периода половой зрелости. Именно у умерших людей старше этого возраста отмечены достаточно стабильные и устоявшиеся черты погребального обряда. Результаты изучения женских погребений показали, что наибольшей социальной активностью обладали представители этого пола в возрасте 20–35 лет. Именно для этой категории людей отмечены социально значимые элементы погребального обряда. После 35 лет социальная значимость женщин постепенно уменьшается, а к концу жизни сокращается довольно существенно. В целом приведенные данные дополнили имеющиеся сведения о достаточно высоком положении женщин (Полосьмак Н.В., 2001, с. 274–287), которые были вовлечены практически во все сферы функционирования общества, за исключением, вероятно, военной. Среди мужчин наибольшая социальная мобильность характерна для представителей возмужалого и зрелого возраста. Причем, судя по характеру сопроводительного инвентаря, особенностям погребальных сооружений, прослеживается тенденция к некоторому преобладанию в общественной жизни мужчин возмужалого возраста. Имеющиеся материалы о погребениях мужчин преклонного возраста свидетельствуют о некотором уменьшении социальной значимости этой группы, хотя о полном прекращении ими деятельности, во всяком случае отдельных ее представителей, говорить вряд ли правомерно (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 195–207).

Другой вывод исследователей касался семейно-брачных отношений. В дополнение к ранее сделанным выводам другими учеными А.А. Тишкин и П.К. Дашковский указали на перспективы палеогенетических исследований. Результаты молекулярно-генетического анализа мужского и женского скелетов из кургана №11 могильника Берель (Овчинников И.В., Друзина Е.Б., Овчинникова О.И. и др., 2000, с. 222–223; Воеводова М.И., Ситникова В.В., Ромащенко А.Г., 2000, с. 224–230; Воеводова М.И., Ромащенко А.Г., Ситникова В.В. и др., 2001, с. 88–94; Самашев З.С., Фаизов К.Ш., Базарбаева Г.А., 2001, с. 22; и др.) археологи сопоставили с данными китайских письменных источников, которые зафиксировали у многих кочевых народов, в частности, у хунну, тугю и в других

обществах, существование традиции жениться, в случае смерти или гибели мужа, на своих ближайших родственниках, включая жен отцов, братьев. Вероятно, практика левирата была характерна и для кочевников Горного Алтая в скифскую эпоху (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 206).

Основными формами производственной деятельности у кочевников, по мнению исследователей, были хозяйственная и «ремесленная». Важно отметить, что у скотоводческих народов в определенной степени существовало разделение на мужской (война, выпас скота, охота) и женский (домашнее хозяйство) труд, хотя в случае необходимости (участие мужчин в войнах или грабительских набегах) скот могли пасти подростки или женщины. Несмотря на то, что в целом для кочевых обществ была характерна недифференцированность экономической специализации, тем не менее у «пазырыкцев», вероятно, наметилась тенденция к преобразованию отдельных производств в самостоятельные специализированные виды деятельности. Особое место в жизни кочевников занимало военное дело. А.А. Тишкин и П.К. Дашковский обратили внимание на достаточно высокую степень милитаризации социума «пазырыкцев». По их мнению, это обстоятельство, во-первых, демонстрируется высоким процентом (до 70%) наличия тех или иных видов оружия (преимущественно в форме их металлических или, гораздо реже, деревянных копий) среди мужских погребений. При этом у наиболее социально активной возрастной группы (возмужалых мужчин) данный показатель еще больше – 73%. Во-вторых, высоким процентом кенотафов, сооруженных в честь погибших мужчин. В-третьих, фактически все мужское население в той или иной степени могло быть вовлечено в процесс военной деятельности. Более того, наметилась тенденция к формированию определенной группы воинов-профессионалов, составляющих дружину (служилую рать) вождя. Доля погребений дружинников составляет примерно около 30% от всей совокупности мужских захоронений (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 214–219).

Кроме свободного населения, у «пазырыкцев» существовало домашнее рабство, в котором ведущая роль принадлежала женщинам (наложницы, ведение хозяйства и т.п.) и в гораздо меньшей степени мужчинам (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 219–221).

П.К. Дашковский и А.А. Тишкин коснулись и вопроса политической организации. В своей совместной монографии авторы первоначально отметили, что, учитывая особенности среды обитания, уровень развития основных видов хозяйственной деятельности, демографическую ситуацию, а также иерархический характер социальной структуры «пазырыкцев», вероятно, можно сделать вывод о том, что кочевники в своем развитии прошли период «позднего вождества» и встали на путь поиска формы раннегосударственного образования (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 223). Немного позднее в совместной статье «О государственности «пазырыкцев» исследователи конкретизировали свою позицию в этом вопросе. В частности, они попытались дать характеристику основным признакам государственности у кочевников Горного Алтая: пространственно-территориально-географический фактор, численность и плотность населения, ремесленная деятельность, наличие крупных центров консолидации населения, социальная стратификация, включая аппарат управления, налогообложение, внешнеполитические контакты, знаково-коммуникативную систему, мировоззрение. В конечном итоге А.А. Тишкин и П.К. Дашковский фактически признают существование государственности у «пазырыкцев». В то же время они подчеркивают, что в перспективе нужно проводить дальнейшие теоретические исследования, которые позволят конкретизировать критерии кочевого государства и наполнить указанные признаки новым информационным материалом (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2005, с. 50–56).

Не меньший интерес у исследователей вызвала проблема формирования и развития элиты в кочевом обществе (Дашковский П.К., 2005, 2005а–в; Тишкин А.А., 2005а–б; Dashkovski P.K., Tishkin A.A., 2006). А.А. Тишкин достаточно подробно коснулся теоретического аспекта этой проблемы, рассмотрев основные подходы к выделению данной социальной группы. Ученый также отметил перспективность изучения на основе различного вида источников, в том числе археологических, так называемой «двойной элиты». В данном случае речь идет о контроле небольшой военизированной этнической группы над большой территорией с преобладающим числом подчиненного населения (Тишкин А.А., 2005а). Такая система социально-этнического взаимодействия была характерна для многих кочевых объединений древности и средневековья, на что уже обращали внимание ученые (Савинов Д.Г., 1988; 2005а; Крадин Н.Н., 1992; и др.).

По мнению П.К. Дашковского (2005а), уже в раннескифский период (бийкенская культура), конец IX – начало VI вв. до н.э., на территории Горного Алтая существовали крупные объединения групп населения с определенной системой разграничения власти. Это предположение археолога ос-

новано на наличии в раннескифское время так называемых царских курганов, исследованных на сопредельных территориях. Наиболее показательными такими комплексами являются объекты Аржан-1, 2 (Грязнов М.П., 1980; Аржан..., 2004; Ğugunov K., Parzingen H., Nagler A., 2003). Аналогичные памятники, но не такие масштабные, имеются и в Горном Алтае, хотя они почти не раскапывались, за исключением «элитного» комплекса Ак-Алаха-II на плоскогорье Укок (Полосьмак Н.В., 1993). Таким образом, начиная с раннескифского периода у кочевников стала формироваться властная элита. О наличии других элитных групп данного хронологического отрезка судить в настоящее время сложно. В последующий, пазырыкский, период процесс формирования элиты продолжился. Подробные исследования экологических условий обитания, уровня хозяйственного развития, демографических изменений, социальной иерархии «пазырыкцев» позволили П.К. Дашковскому (2005а) сделать вывод о том, что в скифское время на Алтае формируется несколько типов элит: властная, военная и религиозная, которые определяли социокультурную динамику кочевников. В то же время в полной мере сложения элиты как монолитной структуры и ее дистанцирование от основной части социума не произошло, что обусловлено незавершенностью процесса политогенеза и общими особенностями культурно-исторического развития кочевых народов Центральной Азии. В последнем случае исследователь вслед за Н.Н. Крадиным (2000г, с. 76) отмечает, что для кочевых обществ, в принципе, не характерно резкое противостояние элиты и простых кочевников. Как справедливо заметил Л.Н. Гумилев (1993, с. 27): «Покорность в степи – понятие взаимообязывающее. Иметь в подданстве 50 тыс. кибиток можно лишь тогда, когда делаешь то, что хотят их обитатели; в противном случае лишишься и подданных, и головы». Поэтому правитель в большинстве случаев стремился балансировать между крайними социальными полюсами своего подвластного общества, тем самым по возможности предотвращая его внутренний распад (Дашковский П.К., 2005а).

П.К. Дашковский (2005б–в, 2007в) также обратил внимание на то, что в кочевых обществах уже в скифскую эпоху формируется мировоззренческий комплекс сакрализации правителя как персоны, получившего свой особый статус и положение по воле сверхъестественных сил. Начиная с хуннского и особенно с тюркского периодов происходит сложение представлений о «богоизбранности» всего правящего клана. В монгольское время такая концепция «небесного мандата» еще более углубится в содержательном аспекте и формировании символики государственности. Каждый представитель рода Модэ, Ашина, Чингисхана получал статус посланника или избранника «Вечного Неба». В кочевых социумах правитель, как и в государствах земледельцев, являлся олицетворением единства и гармонии не только народа, но и всей Вселенной, поскольку мифологическое (космологическое) и социальное в нем не разделимы. Отсюда вполне понятно, что гибель правителя (позднее правящего клана или династии) для общества означала наступление переломного этапа, разрушение мира. Приход очередного «царя» с «небесным мандатом» должен был ознаменовать наступление порядка в мироздании. В социальном аспекте шаньюй, каган, хан и т.д. являлся воплощением единства общества и государства (Дашковский П.К., 2005а).

Сложную задачу моделирования потестарно-политической системы «пазырыкцев» на основе данных археологии реализовал в своих исследованиях С.А. Васютин (2003а, 2004в). Он полагает, что высокая степень изученности материальной культуры скифской эпохи Горного Алтая позволяет исследователям решать новые задачи по реконструкции институтов власти и определению их характера в пазырыкском обществе. Однако специфика археологических источников дает возможность лишь наметить контуры властной иерархии населения Горного Алтая. С.А. Васютин выделил три наиболее важных комплекса вопросов, ответы на которые, по его мнению, позволят определить параметры и характер органов власти у «пазырыкцев» в VI–III вв. до н.э.: 1) существовал ли единый политический центр пазырыкского общества с единой династией и специальным управленческим аппаратом или верховная власть была распределена между племенными лидерами, некоторые из них, благодаря своим харизматическим качествам, могли получать временный контроль над всеми «пазырыкцами» или их значительной частью; 2) совершали ли «пазырыкцы» совместные походы против крупных земледельческих центров (Персия, китайские царства, среднеазиатские и восточно-туркестанские владения), а также соседних этнических групп (саков Тянь-Шаня, Семиречья, Восточного Казахстана, носителей каменной, староалеической культур степного Алтая, населения Тувы, северо-западной Монголии, Джунгарии)? Были ли импортные вещи в курганах «пазырыкцев» результатом грабежей и даней либо они были получены в ходе обмена? Эти вопросы приобретали особую важность в связи с мнением о решающей роли внешнеполитической деятельности (набеги, захват территорий, экзополитарная эксплуатация, данничество – Крадин Н.Н., 2000а, с. 319, 323–325;

Барфилд Т., 2002, с. 72–74; Васютин С.А., 2002, с. 88–90; Хазанов А.М., 2002, с. 44, 48–49) в политогенезе у номадов; 3) были ли у «пазырыкцев» зависимые племена-данники и какую роль они сыграли в политической истории пазырыкского объединения (стали ли данники фактором централизации власти в пазырыкском социуме; зависели ли эти данники от всего пазырыкского объединения или только от его определенных сегментов)?

Учитывая разные подходы к происхождению пазырыкской культуры и выявляемые культурно-исторические связи «пазырыкцев» с киммерейцами, семиреченскими, тянь-шаньскими, восточно-казахстанскими, хотанскими саками, «ордосцами», самодийцами (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 111–112; Чикишева Т.А., 1997, с. 316–319, 2000, с. 117–120; Полосьмак Н.В., 1998; Шульга П.И., 1998; Марсадолов Л.С., 1999, с. 106–107; 2000, с. 35–37; Молодин В.И., 2000, с. 134–136, 138; и др.), выявить регион, где проходило складывание потестарных традиций пазырыкского населения, достаточно трудно. С.А. Васютин в связи с этим полагал, что именно миграции стимулировали генезис тех культурных, сакральных, социальных и управленческих традиций, благодаря которым сформировалась пазырыкская культурная общность. В связи с этим в политарном развитии «пазырыкцев» исследователь выделил два основных этапа. Первый был связан с освоением «мигрантами» новых алтайских территорий, подчинением аборигенных групп раннескифского населения и образованием в западной части Горного Алтая в середине – конце VI в. до н.э. военно-иерархического объединения во главе с вождями, погребенными в элитных курганах Туэкта-1, Башадар-2 и др. Возможно, вслед за этим в первой половине V в. до н.э. пазырыкское население пережило упадок централизованных структур. Второй этап С.А. Васютин связывал с восстановлением в середине V в. до н.э. единой властной иерархии «пазырыкскими династами», укрепившимися в восточной части Горного Алтая. Параллельно с ними большими властными полномочиями обладали лидеры, погребенные в элитных берельских, более поздних башадарских и других курганах. Однако говорить о степени их подчинения пазырыкским вождям можно лишь гипотетически.

Как полагает С.А. Васютин, в течение V в. до н.э. сложилась более или менее постоянная структура пазырыкского общества, включавшего четыре или пять племен собственно пазырыкского населения и некоторое число зависимых иноэтничных групп, осевших на территории Алтая. Исследователь поддержал мнение Д.В. Ануфриева (1997, с. 110) и Л.С. Марсадолова (1999, с. 107; 2000, с. 37, 48–49) о том, что в ходе военных столкновений с соседями могло возникнуть и временное объединение во главе с общим лидером. Но при этом С.А. Васютин указывает, что политическая эволюция пазырыкского общества в сторону централизованного политического объединения имела свои пределы. Признавая вслед за Д.Г. Савиновым (1991, с. 94–95) и Л.С. Марсадоловым (1999, с. 104–107; 2000, с. 35–38) воздействие на динамику этнических, культурных и социально-политических процессов в Горном Алтае в скифскую эпоху событий в юго-западной и юго-восточной Азии – разгром Ассирии, изгнание из Передней Азии киммерийцев и скифов, образование Ахеменидской державы и походы Кира II в Среднюю Азию, образование в северо-восточном Китае царства Чжоу, походы Александра Македонского, С.А. Васютин в то же время считает, что удаленность крупных земледельческих центров (Китая, Ахеменидской империи) от территории Горного Алтая не могла порождать постоянных интегрирующих импульсов, как это, например, было в монгольских степях. Поэтому, по его мнению, пазырыкское общество балансировало между центростремительными и центробежными тенденциями (Васютин С.А., 2003а, с. 19–20).

С.А. Васютин оставил открытым вопрос о том, были ли пазырыкские вожди инициаторами и организаторами походов в Китай, Среднюю Азию или Персию, но полагал возможным участие «пазырыкцев» в V в. до н.э. в набегах на земли китайских царств и Ахеменидской империи совместно с другими кочевыми народами. При этом исследователь отметил, что не набеги, а только более или менее длительное подчинение «пазырыкцами» многочисленных объединений номадов на границе с китайцами и персами могло обеспечить постоянные военно-политические и экономические контакты с оседлыми народами и тем самым способствовать возникновению ранней государственности. Однако ни письменные, ни археологические материалы не подтверждают создание подобного объединения. В связи с этим знаменитый импорт в элитных курганах пазырыкской культуры мог быть не только «военной добычей», но и следствием развития торговых отношений, монополизированных пазырыкскими вождями (Васютин С.А., 2003а, с. 20–21).

Военно-политическое влияние «пазырыкцев», как считает С.А. Васютин, не распространялось за пределы монгольского Алтая, северо-восточного Синьцзяна, Восточного Казахстана, степного Алтая и самых западных районов Тувы. Причем, вероятнее всего, «пазырыкцы» ограничивались на-

бегами на ближайших соседей и сбором дани. Более или менее постоянно в зависимости от пазырыкского населения находились только иноэтничные группы в пределах Горного Алтая – «каракобинцы», «кула-жургинцы», «быстряны» и др. (Марсадолов Л.С., 1999, с. 107; 2000, с. 37, 48–49; Молодин В.И., 2000, с. 134–135). На этом основании С.А. Васютин предполагает, что в VI–V вв. до н.э. в Горном Алтае сложилась сложная этносоциальная иерархия, в которой «пазырыкцам» принадлежали ведущие общественно-политические и экономические позиции. Зависимые кланы и роды могли выступать в качестве данников, а мужчины из их состава рекрутировались для участия в военных походах. Учитывая локальное расположение памятников непазырыкского населения, его конкретные группы, скорее всего, зависели только от определенных родов и племен «пазырыкцев». Как указывает исследователь, при отсутствии централизованного аппарата управления так и не сложилась общепазырыкская система эксплуатации данников. Все это, по мнению С.А. Васютина (2003а, с. 22–23), объясняет неустойчивый характер власти вождей, погребенных в Пазырыке, управлявших около 50 лет, и возможный, согласно точке зрения Л.С. Марсадолова (2000, с. 21, 38), переход в IV в. до н.э. к племенным лидерам Центрального Алтая, погребенным в Шибэ и Катанде.

Исходя из имеющихся данных о населении Горного Алтая в скифское время, его военных и культурных связях, сакрально-ритуальных традициях, социальной структуре и властных центрах, С.А. Васютин оценивает политарный режим пазырыкского общества как в VI в., так и в V–IV вв. до н.э. как сложное вождество. Среди фиксируемых источниками признаков он назвал: 1) наличие двух уровней надлокальной централизации – племенной и общепазырыкской; 2) существование четкой социальной стратификации; 3) важную роль в экономике редистрибуции – перераспределения прибавочного продукта по вертикали; 4) общую идеологическую систему и общие культы и ритуалы, что нашло отражение в погребально-поминальной практике; 5) сакрализованный характер верховной власти, отчетливо проявившейся в монументальных курганных захоронениях. На догосударственный характер потестарно-политической системы «пазырыкцев» указывает, как пишет С.А. Васютин, и то, что в VI–III вв. до н.э. на Алтае не сложилось отдельной правящей династии, а в качестве лидеров выступали вожди разных пазырыкских племен. Эти правители никогда не утрачивали связи со своими племенными группами и хоронились не на отдельном кладбище («долины царей», по примеру элитных захоронений «царских скифов» в Северном Причерноморье, не было), а на территории своего племени. По всей видимости, у населения Горного Алтая в скифское время не сложилось и постоянной надплеменной иерархии военных и гражданских управленцев, надплеменных служителей культа. В этой ситуации, согласно позиции С.А. Васютина, вожди вынуждены были опираться на управленческие структуры своих племен и привлеченных в их окружение выходцев из других племен. Неслучайной в связи с этим исследователь считал планиграфию большинства могильников с элитными курганами (Берель, Башадар, Пазырык и др.), где рядом с захоронениями вождей располагались цепочки курганов их родственников и видных аристократов, а также бессистемные захоронения дружинников и слуг правителя. Культовая практика вождя была тесно связана с местными религиозными традициями. Все это подчеркивает, по мнению С.А. Васютина (2003а, с. 23–24), незавершенный характер межплеменной интеграции и наличие нескольких управленческих центров в пазырыкском обществе.

В целом пазырыкские материалы в середине 1990-х – начале 2000-х гг. послужили основой для применения различных палеосоциологических методик и реконструкции как отдельных сторон социальных отношений у «пазырыкцев», так и социально-политической структуры пазырыкского общества. Это по существу подтверждает высказанное в начале данного раздела мнение о том, что памятники пазырыкской культуры стали базовым полигоном для российской социальной археологии. Более того, уровень социальных разработок на основе анализа археологических данных о пазырыкском обществе существенно превосходит уровень социально-археологических исследований памятников скифского времени в соседних регионах.

На фоне масштабного изучения в российской науке социально-политической организации «пазырыкцев» аналогичные изыскания на материалах саглыных, сакских и других памятников скифской эпохи выглядят крайне скромно. В какой-то мере это объясняется крахом Советского Союза, сворачиванием экспедиций в союзных республиках, ростом национализма в таких российских регионах, как Тува и Горный Алтай, где археологические исследования затруднены и в настоящее время. В связи с этим ученые, работавшие ранее в среднеазиатских республиках СССР, вынуждены были перейти от накопления источников к их публикации и осмыслению. Несмотря на финансовые трудности 90-х гг. XX в., российские ученые смогли опубликовать результаты исследований сотен

памятников ранних кочевников в Средней Азии (Левнина Л.М., 1996; Вайнберг Б.И., 1999; Яблонский Л.Т., 1996; 1999; и др.). На основе введенных в научный оборот материалов создаются новые и дополняются ранее созданные концепции культурного и социального развития кочевников. Мы не имеем возможности в этой работе подробно остановиться на разработках исследователей Средней Азии, поскольку это выходит за рамки наших задач. Однако отметим, что, несмотря на первостепенное внимание ученых к вопросам этнокультурной истории, в то же время отдельные наблюдения и выводы касались и социального развития древних скотоводов. В частности, Л.Т. Яблонский (1996, с. 53–59; 1999, с. 37–38) археологические материалы успешно дополнял палеоантропологическими исследованиями, что позволяло получить информацию об особенностях половозрастного деления в древних обществах. Важную роль ученый отводил и топографии погребений саков, поскольку прослеживалась определенная зависимость между социальным положением умершего и местом его захоронения в могильнике. Особенно четко такая тенденция прослежена при исследовании некрополей Уйгарака и Сакарчаги-6 и в меньшей степени по памятнику Южный Тагискен (Яблонский Л.Т., 1992). Кроме того, Л.Т. Яблонский и М.А. Итина (1997, с. 79) обратили внимание на общую для саков Приаралья, в том числе и Южного Тагискена, картину присутствия в некоторых женских могилах предметов вооружения и конской упряжи, а также, опираясь на наличие как в богатых, так и в бедных женских захоронениях каменных алтарей, зернотерок с пестиками, в сопровождении реальных и бронзовых зеркал, поддержали мнение О.А. Вишневецкой (1973, с. 129) о том, что «религиозные функции» у саков выполняли женщины. Б.И. Вайнберг (1999) рассматривала проблему развития народов северной части Средней Азии и Казахстана, в том числе в скифскую эпоху, с учетом влияния экологической ситуации на миграции, материальную культуру, хозяйство, образ жизни и как следствие социальные отношения. Достаточно подробно археологами исследованы вопросы взаимодействия сакских племен с земледельческими народами, взаимодействие с которыми хорошо прослеживается по материалам погребальной обрядности.

К истории саков Казахстана и Средней Азии обращался и С.Г. Кляшторный, который совместно с Т.И. Султановым опубликовал монографию, посвященную этнополитической истории степной полосы Евразии (2004). Востоковед отметил высокую социальную дифференциацию среди кочевников, что хорошо прослеживается по погребальному обряду. Однако при этом следует учитывать, что принадлежность к знатному роду или личная воинская слава также имели важное значение. С.Г. Кляшторный, опираясь на сведения античных авторов, указывает на существование наследственной власти, хотя и не исключает большой роли народного собрания в жизни кочевников. Кроме того, используя сравнительный материал по скифам Причерноморья, ученый допускает существование у саков не только племенной аристократии и рядовых кочевников, но и «сословия жрецов» (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2004, с. 49). Если оценки общественного устройства саков достаточно традиционны, то в отношении изучения социо- и политогенеза юэчжи, которых С.Г. Кляшторный связывал с «пазырыкцами» Алтая, просматриваются определенные новации. В частности, ученый отмечает, юэчжи первыми в Центральной Азии создали архаичную кочевую империю во главе с правителем и мощной милитаризированной частью общества. По сути дела, такая империя является первым примером ранней государственности у кочевников, противопоставленной традиционному вожеству (Кляшторный С.Г., 2005, с. 25–26).

Среди крупных открытий в Центральной Азии в последнее десятилетие несомненный интерес для проблематики нашего исследования представляют результаты раскопок кургана Аржан-II в Туве, который имел диаметр около 80 м и высоту до 2 м (Gugunov K., Parzingen H., Nagler A., 2003, p. 113–162; Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А., 2004; Аржан..., 2004). Центральное погребение, смещенное от центра кургана, оказалось неограбленным, что позволило получить уникальный материал по культуре кочевников скифского времени. В социальном аспекте, учитывая масштабность самого сооружения и характер сопроводительного инвентаря, данный комплекс был отнесен к представителям высшего социального слоя населения Тувы второй половины VII в. до н.э. (Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А., 2002, с. 115–126; 2004, с. 16). Исследователи при определении статуса погребенных особое внимание обратили на многочисленные ювелирные изделия из золота, в том числе на гривну на шее у мужчины, которая являлась атрибутом верховной власти. Особенности реконструируемых костюмов и головных уборов, расшитых золотыми бляшками, также свидетельствуют о высоком статусе похороненных в центральной могиле мужчины и женщины (Аржан..., 2004, с. 16–18). Интересной особенностью является сопроводительное захоронение 14 лошадей с полным комплектом снаряжения. Для курганов рядовых кочевников в Туве в скифское время эта

особенность погребального обряда встречается крайне редко, в отличие, например, от синхронных памятников пазырыкской культуры Алтая. Кроме того, в кургане Аржан-2 обнаружены еще отдельные комплексы снаряжения лошадей, но без туш самих животных (Аржан..., 2004, с. 30). Кроме того, при исследовании данного уникального объекта в пределах кольцевой ограды и под ней были выявлены захоронения в погребальных камерах из вертикальных плит. Авторы раскопок отмечают, несомненно, высокий статус погребенных в таких камерах, хотя их положение было ниже похороненных в центральной могиле. Об этом свидетельствует сопроводительный инвентарь в указанных дополнительных погребениях, который включал в себя многие предметы, в том числе из золота, сходные с аналогичными экземплярами из основного захоронения. Несмотря на то, что трудно установить положение этих умерших по отношению к погребенному «царю», тем не менее ученые отмечают, что они могли быть в родстве с царским родом. В то же время не исключается, что женщины могли быть наложницами, а мужчины – дружинниками, которые сопровождали правителя в иной мир. Обряд сопогребения достаточно хорошо описан Геродотом у скифов Причерноморья (Аржан..., 2004, с. 27–28).

Безусловно, данный объект разительно отличается от основной массы погребений кочевников скифского времени Тувы (Грач А.Д., 1980; Семенов Вл.А., 2003; и др.) и относится к числу элитных захоронений. В то же время предстоит еще решение вопроса об его культурной атрибуции. Памятник датируется второй половиной VII в. до н.э., т.е. временем существования алды-бельской культуры в Туве. Еще до открытия этого памятника исследователи отмечали отсутствие элитных захоронений «алды-бельцев» (Грач А.Д., 1980, с. 24–25; Савинов Д.Г., 2002, с. 84). Однако, несмотря на это обстоятельство, наличие таких монументальных памятников в Туве и на сопредельных территориях Алтая, Казахстана, Минусинской котловины еще раз свидетельствует о развитой социальной дифференциации у кочевников Саяно-Алтая в скифскую эпоху, в рамках которой разительно выделялась правящая элита. Дальнейшая публикация и изучение полученных материалов позволят существенно дополнить наши знания о роли элиты в жизнедеятельности кочевого социума.

Важное значение социальным аспектам этнокультурного развития населения Тувы в скифское время отводил Д.Г. Савинов. В своей монографии, посвященной вопросам культурогенеза ранних кочевников Верхнего Енисея, он неоднократно затрагивает проблемы социально-политического устройства населения скифского периода не только Тувы и соседних регионов. Позиция исследователя демонстрирует последовательность его подхода к общественному развитию кочевников Центральной Азии скифской эпохи, которое он характеризует как догосударственное (Савинов Д.Г., 2002, с. 5–7). В то же время Д.Г. Савинов отмечал высокий уровень иерархичности отдельных обществ. Так, описывая социокультурную ситуацию в Туве в раннескифское время, археолог указывал на «чрезвычайно высокую степень социальной консолидации», что «демонстрируют материалы кургана Аржан, свидетельствующие о появлении на севере Центральной Азии мощного союза кочевых племен, границы которого простирались далеко за пределы современной Тувы» (Савинов Д.Г., 2002, с. 32).

Исследователь также предполагает, что в рамках «аржанского племенного союза» и «под эгидой» аржанской правящей династии происходило формирование новой социальной общности – алды-бельской культуры. Исходя из расселения «алды-бельцев» к югу от Уюкского хребта, рядом с Турано-Уюкской котловиной, где располагался Аржан, и близости культурного комплекса, Д.Г. Савинов (2002, с. 100–101) считает, что алды-бельское население, «в отличие от других племен, вероятно, составляли ближайшее этническое окружение аржанцев». Падение аржанского племенного союза, по мнению ученого, привело к тому, что именно «алды-бельцы» доминировали в Центральной Туве и сохраняли свою самостоятельность на протяжении как минимум VII–VI вв. до н.э. При этом он отмечает такую особенность социальной организации «алды-бельцев», как отсутствие «элитарно-правящей прослойки, типа аржанской династии» (Савинов Д.Г., 2002, с. 101).

Возрождение элитарной традиции Д.Г. Савинов связывал с проникновением в Туву во второй половине VI–V вв. до н.э. новых племенных групп (исследователь предполагает их связь с савроматским культурным ареалом) и образованием саглынской культуры. Вероятно, рост общественной сложности в какой-то мере отражал подчинение «саглынкам» местного населения и оформления, судя по особенностям западно-тувинских, центрально-тувинских и северо-тувинских групп памятников, нескольких племенных объединений (Савинов Д.Г., 2002, с. 114–120).

Новые тенденции этносоциального развития, как отмечает Д.Г. Савинов, пришлись уже на позднескифский период, охватывая III–II и отчасти I в. до н.э. Ученый выявил ряд внешних компо-

нентов культурогенеза (тагарский, северо-алтайский, хуннский), определивших сложность общественной эволюции на завершающем этапе, как он считает, эпохи «ранних кочевников». Один из важных выводов исследователя заключается в длительном и поэтапном проникновении носителей хуннской традиции в Туву и тем самым – в отрицании политического подчинения населения Тувы хуннам по крайней мере до второй половины I в. до н.э. (Савинов Д.Г., 2002, с. 140–149, 156).

Среди обобщающих работ весьма интересен опыт отдельных палеосоциологических разработок на основе изучения определенных комплексов артефактов. Так, проблеме анализа элементов костюма кочевников как показателя социального статуса было уделено внимание в обстоятельном труде С.А. Яценко (2006). В своей книге «Костюм древней Евразии (ираноязычные народы)» исследователь отметил характерные особенности одежды и сопутствующих предметов для правителей номадов Центральной Азии скифской эпохи, погребения которых были исследованы в Казахстане (Иссык, Аралтобе) и Туве (Аржан-2). При этом широкое использование золота при отделке костюма он считает характерной чертой для культуры ираноязычных народов Евразии. Кроме того, С.А. Яценко поддержал разработки Л.С. Марсадолова по социальной стратификации «пазырыкцев», добавив ряд социально значимых признаков, отраженных в элементах одежды. Так, для костюма высшей аристократии характерны парадные шубы-«кандисы», нагрудники, женские головные уборы с плоским верхом, штаны с золочеными полосками ажурного орнамента или сшитыми из меховой «шахматной» мозаики, женские полусапожки, портупейные мужские пояса с металлическими бляшками, большая цветовая гамма и некоторые другие особенности. При этом указанные признаки отсутствуют в костюме более низкой по статусу знати, погребения которой исследованы на Укоке. Социальным маркером выступают и зооморфные мотивы на гривнах и татуировках (Яценко С.А., 2006, с. 323–328, 334–335). У кочевников с еще более низким социальным статусом костюм был весьма скромным: головной убор с зооморфным навершием и зооморфными фигурами в лобной части, стеганные шапочки (капор), единичные зооморфные мотивы на наконечниках гривен и ряд других показателей (Яценко С.А., 2006, с. 343). Примечательны также предварительные выводы ученого относительно костюма элиты и рядового населения Тувы, полученные на основе анализа материалов из кургана Аржан-2. При этом для одежды мужчины и женщины из основного погребения характерно использование большого количества золотых бляшек на пелеринах, штанах, обуви, а также головные уборы с зооморфными аппликациями, гривна и пектораль при расшивке. Весь «золотой костюм» символизировал «фарн царской семьи» (Яценко С.А., 2006, с. 328). Одежда остальных умерших, погребенных в дополнительных могилах кургана Аржан-2, существенно уступала по декорированию золотом и некоторым другим признакам костюму элиты кочевников.

Необходимо отметить, что одежда, несомненно, является важным этносоциальным показателем, но тем не менее существуют серьезные проблемы с ее изучением. Прежде всего это связано с плохой сохранностью органических элементов костюма (ткань, кожа, войлок) в погребениях. Исключением являются главным образом элитные курганы, в могилах которых образовались линзы мерзлоты, сохранившие уникальный материал. В этой связи наиболее существенные выводы по отражению социального кода в костюме получены учеными как раз на основе анализа материалов из элитных комплексов. Между тем нельзя не отметить методичку, которую предлагает С.А. Яценко (2006, с. 367–370) использовать в процессе фиксации и описания остатков костюма в погребальных комплексах. Реализация такой программы действий в полевых условиях несомненно будет способствовать дальнейшей обработке полученных данных.

В начале 2000-х гг. в России возобновилось обсуждение проблем социогенеза номадов скифской эпохи в рамках научных конференций и семинаров. Показательными в этом отношении являются конференции «Социогенез в Северной Азии», проводившиеся в 2003 и 2005 гг. в Иркутске. На последнем таком форуме была опубликована серия докладов, посвященных актуальным теоретическим и историческим аспектам изучения социальной организации народов Евразии раннего железного века. Так, А.А. Кильдюшева (2005), как и многие другие ученые, отметила сложность вопросов формирования служителей культа в древних обществах и атрибуции в погребальном инвентаре культовых предметов. В общих чертах вопросы социогенеза населения Приенисейского края в раннем железном веке и в раннем средневековье попытался представить Н.П. Макаров (2005). Свое видение социогенеза кочевников Центральной Азии скифской эпохи предложил Л.С. Марсадолов, особо отметив взаимодействие номадов с земледельческими цивилизациями Малой и Передней Азии, а также Китая. Именно это обстоятельство, по мнению ученого, привело к своеобразному «скачку» во всех сторонах жизнедеятельности кочевников, в частности в социальной (резкая диффе-

ренциация общественных структур), политической (расширение территории), экономической (высокий уровень кочевого хозяйства, обновление материальной культуры, рост населения), мировоззренческой (изменение погребального обряда, сокращение наскального творчества, исчезновение традиции установки каменных изваяний, перестали функционировать старые культовые центры) (Марсадолов Л.С., 2005, с. 288).

Большое количество докладов на конференции «Социогенез в Северной Азии», которая постепенно становится регулярным научным форумом, стимулирующим развитие социокультурных реконструкций, свидетельствует об актуальности и значимости изучения социально-политической истории древних и средневековых кочевников Евразии.

В целом последний этап в развитии исторических и археологических исследований социально-политической организации кочевников Центральной Азии в скифское время оказался достаточно плодотворен и по целому ряду показателей (число оригинальных разработок и направлений исследований, апробация инновационных методик палеосоциологических реконструкций, обобщающие оценки) вполне сопоставим с аналогичными изысканиями 1970-х – начала 1990-х гг. Важными факторами этих достижений были дальнейший рост количества изученных элитных и «рядовых» памятников на Алтае, в Туве, Восточном Казахстане и Монголии, а также огромный опыт палеосоциологического анализа и интерпретации накопленных на предыдущем этапе археологических материалов. Особенно значимый вклад в изучение социально-политической истории кочевников Центральной Азии VIII–III вв. до н.э. внесли ученые из Барнаула, Новосибирска, Кемерово, Санкт-Петербурга. Определенное влияние оказала и возможность применения новых методологических концепций и подходов. Кроме того, серьезным положительным фактором стало развитие компьютерных технологий и программного обеспечения, которые позволяли оперативно систематизировать, коррелировать и анализировать огромный и разнообразный археологический материал. В то же время следует учесть, что еще в 1970-х гг. марксистские установки стали играть меньшую, чем раньше, роль в социально-археологических исследованиях, а в годы перестройки идеологические барьеры были и во все сняты. Поэтому современный этап изучения общественно-политического устройства кочевников скифского времени представлен самыми разными подходами и социально-терминологическими трактовками: от эволюционистско-марксистского концепта военной демократии и неэволюционистской теории вождества до идеи «кочевой цивилизации».

Глава 5

Исследования общественно-политической организации номадов хунно-сяньбийского периода по данным археологических и письменных источников

Изучение социально-политической организации кочевников Центральной Азии хунно-сяньбийского времени (рубеж III–II вв. до н.э. – первая половина I тысячелетия н.э.) происходило в русле общих методологических и методических разработок отечественного кочевниковедения. Однако следует подчеркнуть, что в отличие от кочевых обществ скифо-сакского периода, которые служили основным полигоном для апробации учеными разных методик и теоретических концепций, исследования общественно-политической организации кочевников хунно-сяньбийского периода существенно запаздывали хронологически и до середины XX в. носили скорее «периферийный» характер. Это было обусловлено многочисленными причинами. Долгое время внимание исследователей к памятникам центральноазиатских хунну¹, не говоря уже о других, связанных с хунну, кочевых сообществах, существенно уступало интересу ученых к ярким культурам скифо-сарматского круга. Не случайно, что выдающиеся отечественные ученые (М.И. Ростовцев, А.П. Смирнов, М.П. Грязнов, С.И. Руденко, М.И. Артамонов, Б.Н. Граков и многие другие) были сосредоточены преимущественно

¹ В научной литературе последних десятилетий приняты разные формы написания этнокультурных и социально-политических определителей периода господства хунну в Центральной Азии – гуннский, хуннский, хуннуский, сюннуский. Признавая все эти формы с точки зрения традиций отечественной историографии как равноправные, в данной работе мы отдаем предпочтение термину «хуннский» как наиболее часто употребляемому в специализированных исследованиях (см., например: Крадин Н.Н., 1996, 2000, 2001/2002, 2007; Миняев С.С., 1998; 2006; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Данилов С.В., 2004; Савинов Д.Г., 2005; Тишкин А.А., 2005; и др.).

но на изучении скифской проблематики. Сказывались существенно более позднее начало исследований памятников хуннско-сяньбийского периода, их меньшая интенсивность, более медленные темпы накопления фактического материала, сложность организации экспедиций и многое другое. Нередко после взлета интереса к хуннской эпохе на рубеже XIX–XX вв. или в 20–30-е гг. XX в. следовали продолжительные спады в научных исследованиях. Долгое время к изучению погребений конца I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. не обращались монгольские и китайские специалисты, при том, что именно территория Монголии и Внутренней Монголии в Китае была эпицентром кочевых политий, созданных хунну, сяньби, жуаньжуанями.

5.1. Начальный этап изучения хуннской проблематики в отечественной археологии и исторической науке

Несмотря на то, что для отечественного кочевниковедения хуннская тематика не была основной, тем не менее ученые периодически обращались к истории народов хунно-сяньбийского периода. Хунну были достаточно хорошо известны научному сообществу по письменным китайским источникам еще в XIX в. во многом благодаря переводам, сделанным Н.Я. Бичуриным (опубликованы в 1851 г., переиздания 1950–1953 и 1998 гг.). В конце XIX – начале XX в. раскопки хуннских памятников в Забайкалье предпринял Ю.Д. Талько-Гринцевич (1999). Исследователь фактически заложил основы отечественной хуннской археологии. Ю.Д. Талько-Гринцевич не только вел раскопки, но и составил подробное описание обнаруженных им погребений хунну, что является ценным источником для социальных реконструкций. Однако сам ученый воздержался от оценки социальной организации населения, оставившего зафиксированные им памятники, и ограничился незначительными заключениями культурно-исторического характера (Талько-Гринцевич Ю.Д., 1999, с. 117–123).

В начале XX в., как и в течение нескольких последующих десятилетий, история кочевых народов Евразии изучалась в большей степени на основе письменных источников. Это обстоятельство, безусловно, сказывалось как на характере исследуемых вопросов, так и на полученных выводах. В основном ученых интересовала этнополитическая и военная история кочевников. В этой связи примечательной является работа К. Иностранцева «Хунну и гунны (разбор теорий о происхождении народа хунну из китайских летописей, о происхождении гуннов и о взаимных отношениях этих двух народов)» (1926). Подзаголовок этой книги обстоятельно раскрывает круг проблем, интересовавших ученого.

К. Иностранцев (1926, с. 118), как и другие исследователи, концепции которых он рассматривал, обращаясь к социально-политическим аспектам истории хунну, ограничился лишь указанием на то, что значительная «... часть подчиненных племен, состояла, по всей вероятности, тоже из турков, хотя как с основания государства, так особенно во время его процветания в состав его входили различные другие племена, как-то: монгольские, тунгусские, корейские и тибетские». Этот, хотя и весьма лаконичный, вывод о полиэтничном характере объединения хунну в последующем будет развит учеными в концепцию межэтнической иерархии кочевых образований начиная с хуннского времени и особенно с эпохи средневековья (Грач А.Д., 1966б; Савинов Д.Г., 2005а; Тишкин А.А., 2005; и др.).

Важный вклад в изучение элитных памятников хунну в середине 1920-х гг. внесла Монголо-Тибетская экспедиция под руководством П.К. Козлова. В 1924–1926 гг. были произведены раскопки в горах Ноин-Ула (непосредственно руководил исследованиями С.А. Кондратьев при участии С.А. Теплоухова и Г.И. Боровки) (Козлов П.К., 1925; Теплоухов С.А., 1925). Археологи открыли три группы курганов (всего 212 насыпей), интерпретированных как хуннские погребения (Козлов П.К., 1925, с. 9; Теплоухов С.А., 1925, с. 22), из которых экспедицией раскопано восемь наиболее крупных погребений (Руденко С.И., 1962, с. 8).

В первых отчетах об исследованиях в Ноин-Уле ученые не ставили перед собой задачи нарисовать картину социальной жизни кочевников, оставивших эти курганы. Их больше интересовали систематизация материалов (Козлов П.К., 1925, с. 7–12), аналогии ноин-улинских погребений курганам, раскопанным Ю.Д. Талько-Гринцевичем в Забайкалье (Теплоухов С.А., 1925, с. 21–22). Только С.А. Теплоухов (1925, с. 22) ограничился общим замечанием, что «ноин-улинские погребения принадлежат, по-видимому, знатным лицам, судя по грандиозности обнаруженного погребального инвентаря...». Несмотря на то, что все захоронения оказались ограбленными, результаты работ превзошли все ожидания, так как дали науке бесценный материал для характеристики хуннского периода в истории Центральной Азии. Погребения в Ноин-Уле позднее неоднократно интерпретиро-

вались как захоронения шаньюев и знати и служили образцами для выявления стратификации по данным анализа погребальных памятников.

5.2. Социальная история хунну в период оформления и развития формационной концепции в СССР (1930-е – середина 1960-х гг.)

Ведущая роль в изучении социально-политической организации хуннов в 1930-е гг. принадлежит Г.П. Сосновскому и А.Н. Бернштаму. В частности, Г.П. Сосновский различал два типа общественной организации кочевников: предклассовую и классовую (феодалную). В доклассовую эпоху у кочевников Забайкалья, как полагал археолог, происходил процесс распада «первобытнообщинного строя» (VII–II вв. до н.э.) и развитие социально-экономической дифференциации («гуннское время») (Сосновский Г.П., 1940, с. 42). Проецируя собственную концепцию социального развития номадов на исследованные им погребения могильника Ильмовая падь (в районе с. Усть-Кяхта), которые он считал «гуннскими», Г.П. Сосновский (1941, 1946, с. 51–52, 64–66) отнес их ко времени упадка «гуннского племенного союза», так как материалы захоронений содержали китайский импорт и отражали китаизацию «верхушки гуннского общества».

Труды А.Н. Бернштама по социальной организации номадов показательны в связи с тем, что их автор создавал сначала социологическую модель развития хунну в контексте марксистского подхода 1930–1940-х гг., а затем пытался интерпретировать в духе этой концепции конкретные археологические материалы. В частности, А.Н. Бернштам полагал, что общественное расслоение, появление рабовладельческого уклада у хунну были последствиями централизации власти, преобразования военной организации в эпоху Модэ (Маодуня) и возникновения «военной демократии». Настоящими причинами перехода «гуннов» к системе «военно-демократического строя» А.Н. Бернштам (1935б, с. 164; 1940, с. 56–57) считал рост скотоводческого хозяйства и изгнание хунну из Ордоса китайцами.

Генезис рабства у «гуннов» А.Н. Бернштам связывал с военными походами, в которых захватывалось большое количество пленных. Однако рабовладение, согласно предположению автора, существовало только в качестве одного из укладов, так как рабы принадлежали в основном членам шаньюйского рода. В силу этих причин рабство, являясь основой для выделения родовой аристократии, не определяло природу «гуннского» общества «в целом» (Бернштам А.Н., 1935б, с. 164–165; 1940, с. 57).

Конфликт между родом шаньюя и племенной знатью А.Н. Бернштам представлял как борьбу централизаторских сил с родоплеменными лидерами, стремившимися сохранить традиционные механизмы управления. Обострение противоречий в I в. до н.э. вследствие поражений от Китая, голода, падежа скота, восстаний подвластных народов привело к обособлению, по словам ученого, двух традиций: военно-демократической (северные «гунны») и аристократической (южные «гунны»). В соответствии с духом времени А.Н. Бернштам полагал, что успехи китайцев подготовили «консолидацию всего древнего мира от Китая до Рима против варваров», но этим создали условия для «консолидации и варварской периферии». В итоге «получившая благодаря развитию военно-демократического строя способность к большим военным операциям» масса племен своим движением на запад начала эпоху «великого переселения народов», завершившегося падением рабовладельческих государств (Бернштам А.Н., 1940, с. 76).

Обобщая результаты исследований на Кенкольском могильнике, А.Н. Бернштам пытался найти подтверждение своим идеям о рабстве у хунну. Его доводы сводились к следующему: разграничение мужского и женского инвентаря свидетельствовало о внутреннем разделении труда; совместное погребение мужчин и женщин говорило о подчиненном положении последних; наличие костяков в дромосе кургана №10 трактовалось как погребение рабов; фиксируемые антропологические отличия (деформация черепа) «кенкольцев» от местного типа отражали иное этническое происхождение и, может быть, «социальное превосходство» (Бернштам А.М., 1940а, с. 15–26, 36; 1941, с. 45–46). Подобная характеристика кенкольских материалов не нашла поддержки у других ученых. М.П. Грязнов обратил внимание на недопустимость объяснения погребений в дромосе как захоронений «рабов». Знакомство с чертежами кургана №10 убедило его в том, что «катакомба была сначала разграблена и только после этого, вероятно, в разное время устроены два погребения в дромосе» (Грязнов М.П., 1945, с. 146–149). Позже была пересмотрена и датировка Кенкольского комплекса, исключавшая его отождествление с хунну (Сорокин С.С., 1956, с. 114–117).

В другом случае А.Н. Бернштам напрямую переносил информацию письменных источников на археологические объекты. Руководство исследованиями в Северной Киргизии и Южном Казахстане обусловило интерес А.Н. Бернштама к истории усуней. Характеризуя усуней, ученый предполагал, что со II в. до н.э. они обладали развитой системой «патриархального строя на стадии военно-демократического союза». По мнению исследователя, наличие «цепочек с грандиозными по размеру курганами» и «их расположение» позволяют выделить районы, «принадлежавшие отдельным племенам усуней» (Беловское-Карабалты в Чуйской долине, памятники Каракол, Топ, Качкор на Тянь-Шане и алма-атинские, иссыкские, тюргенские курганы в долине р. Или), которые А.Н. Бернштам (1941а, с. 41–43) сопоставил с тремя усуньскими ордами, упоминавшимися в китайских источниках. Отмечая саму попытку применения метода районирования к археологическим памятникам начала I тыс. н.э. в Северной Киргизии и Южном Казахстане, укажем, что подобный подход был конъюнктурным, что не скрывал и сам автор, писавший в предположительном тоне.

В хронологическом отношении А.Н. Бернштам выделял два периода в социальной истории ранних кочевников. У номадов скифской эпохи, как полагал ученый, еще сохранялся «родовой строй», однако это не исключало социальных противоречий. Так, найденные в Первом Пазырыкском кургане предметы, выполненные в зверином стиле, по мнению А.Н. Бернштама (1936, с. 873), свидетельствуют о развитии «социальных антагонизмов» и отражают борьбу «тотемных племен», борьбу «...зарождающихся классово-племенных группировок». В «военной демократии» у хунну и усуней исследователь видел продолжительную переходную эпоху («строй»), когда в обществе формировалось несколько укладов. Какой из укладов, по мнению А.Н. Бернштама (1941а, с. 31), «разовьется» до господствующего, зависело от конкретных событий и общей исторической обстановки.

Ранее на сессии ГАИМК в 1933 г. сходную точку зрения об общественно-политической системе хунну высказал С.П. Толстов. С хунну ученый связывал ранний этап рабовладельческой стадии в Центральной Азии. Поэтому историю взаимоотношений хунну с Китаем он рассматривал как «войну за захват рабов». Соответствовала этому взгляду и политическая форма объединения хунну, которую археолог охарактеризовал как «военно-рабовладельческая демократия – форма становящегося государства» (Толстов С.П., 1934, с. 179).

В свете утвердившейся в СССР после выхода в 1936 г. «Краткого курса ВКП(б)» «марксистско-ленинской» схемы исторического процесса в конце 1940-х – начале 1950-х гг. стала преобладать точка зрения о классовом характере хуннского общества (см., например: Толстов С.П., 1948, с. 242, 246; История Бурят-Монгольской АССР, 1951, с. 46–47, 51, 55; Киселев С.В., 1951, с. 323–326; и др.). С.В. Киселев (1951, с. 325–326), например, понимал под государством хунну господство племенной аристократии, «опирающейся на богатство и силу, созданные применением рабского труда и примитивной эксплуатацией соплеменников». Исключением было мнение Л.П. Потапова (1948, с. 85), который определил хуннское объединение как «мощный союз орд и племен».

Необходимо отметить еще один важный момент. Умозрительность оценок советских ученых той поры особенно наглядно подчеркивает трактовка общественных отношений у сяньбийцев и жуаньжуаней (жужаней). Проблемы истории этих кочевых народов практически не разрабатывались в 1930–1940-е гг. Более того, неизвестны были и археологические памятники сяньби и жужаней. Поэтому исследователи, характеризуя сяньбийское и жужанское общество, руководствовались формационным подходом и хронологическими рубежами существования формаций. В силу этих принципов ряд советских ученых полагали, что есть все основания отнести социумы кочевников рассматриваемого периода, в частности жужаней, к рабовладельческой формации со всеми присущими ей характеристиками (Бернштам А.Н., 1946, с. 82; Толстов С.Т., 1948, с. 256–258).

Начиная с работы А.Н. Бернштама «Очерк истории гуннов» (1951) ученые важную роль стали отводить не столько исследованию рабства и рабовладельческих отношений, сколько изучению сохранившихся признаков архаичных обществ (Бернштам А.Н., 1951, с. 37–40, 46–47, 53–55; Руденко С.И., 1952, с. 270; 1960, с. 185; 1962, с. 67, 69–71; Потапов Л.П., 1953, с. 74; Вайнштейн С.И., 1954, с. 147; Гумилев Л.Н., 1960, с. 72, 74–75, 76–77, 82). Первоначально решающее значение в изменении подходов сыграли оттепель, научные дискуссии середины 1950-х гг. и, в частности, дискуссия о патриархально-феодальных отношениях у кочевников (см. *первую главу*). Однако в дальнейшем позиции ученых все больше стали определяться тщательностью изучения источников, анализом данных с помощью специальных исследовательских методик.

В монографии «Очерк истории гуннов» А.Н. Бернштам (1951, с. 21–56), опираясь на известные к тому времени археологические памятники и сведения китайских источников, в русле ортодоксаль-

ного марксизма (в сталинской трактовке) дал характеристику хунну как племенного союза и общества патриархально-родового строя. При этом исследователь отметил процессы имущественного расслоения кочевников с неизбежными элементами классовой борьбы, наличие рабства, аристократии, системы управления, формирование дружины и т.д. Так, ученый полагал, что в «гуннском» обществе были широкие возможности использования рабов, в первую очередь военнопленных китайцев. Рабство, по его мнению, способствовало противопоставлению шаньюйского рода массе гуннских племен, так как, развивая у себя в хозяйстве рабский труд и превратив свой род в дружину, окружавшую шаньюя, «гуннская» знать укрепляла свое господство. На такой основе, как считал исследователь, возникло «классовое расслоение» (Бернштам А.Н., 1951, с. 39–40, 53–54). При оценке социальных процессов А.Н. Бернштам особое внимание обратил на характер взаимоотношений шаньюя и его окружения с китайским двором. Наличие престижных китайских изделий в элитных захоронениях свидетельствует об углубленном процессе социальной дифференциации (Бернштам А.Н., 1951, с. 40).

Однако развитию рабства и социальной дифференциации исследователь противопоставил факт существования у хунну родовой организации и связанных с ней традиций (левират, шаманизм, анемические и тотемические представления), что А.Н. Бернштам расценивал как главный аргумент в пользу родового строя и отсутствия государства. Позиция автора объяснялась тем, как он формулировал понятие родовой организации. По словам исследователя, «гунны искусственно» сохраняли ее. Но тут же он указывал, что на основе родового принципа были построены деление всех «гуннских племен» и структура войска. В чем заключалась «искусственность», ученый не пояснил (Бернштам А.Н., 1951, с. 54–55). В контексте теории о родоплеменном союзе хунну А.Н. Бернштам (1951, с. 37–38, 46–47) рассматривал, вслед за М.П. Грязновым, находки в ноин-улинских погребениях как своеобразные «приношения со стороны подчиненных племен их владыке – гуннскому шаньюю». Раскопки в Оглахте, Ильмовой пади, Дэрестуйском могильнике свидетельствовали, по словам автора, что кочевые и оседлые племена, оставившие данные захоронения, являлись периферией, «экономическим тылом» хуннского союза (Бернштам А.Н., 1951, с. 47–48, 50–52).

На рубеже 50–60-х гг. XX в. к хуннской проблематике обращается один из крупнейших отечественных кочевниковедов С.И. Руденко. Итогом его изысканий стала фундаментальная книга «Культура хуннов и Ноинулинские курганы», опубликованная в 1962 г. В своей работе ученый подробно проанализировал результаты исследования экспедицией С.А. Кондратьева элитных курганов на некрополе Ноин-Ула. Кроме того, С.И. Руденко (1961, с. 6–10; и др.) для воссоздания более полной этносоциальной картины привлекал сведения о раскопках рядовых хуннских погребений на Дырестуйском, Суджинском могильниках и на памятнике Ильмовая падь. Как и в других своих крупных работах, посвященных кочевникам скифской эпохи Алтая (Руденко С.И., 1953; 1960), исследователь дает подробную характеристику различным аспектам материальной и духовной культуры хунну. Социальной организации хунну С.И. Руденко (1962, с. 66–71) посвящает отдельный параграф, который в содержательном отношении полностью построен на анализе китайских письменных источников. В данном случае исследователь почти полностью отказался от возможности привлекать дополнительно данные археологии для палеосоциальных реконструкций, хотя им самим уже был накоплен значительный опыт использования планиграфического метода, построения иерархии курганов в зависимости от их масштабности и ряд других методических приемов, успешно отработанных на материале пазырыкской культуры.

Само устройство общества хунну интерпретировалось С.И. Руденко в рамках достаточно традиционной для того времени парадигмы – как военно-демократическое. Исследователь также указал на наличие частной собственности, различные уровни социальной стратификации и выделение «привилегированной верхушки» – элиты, обладающей материальными ресурсами, влиянием и властью в обществе. Не оставил без внимания ученый и формирование налоговой системы, развитых торгово-экономических отношений, прежде всего с Китаем, института домашнего рабства. В последнем случае речь идет о рабах как мужского, так и женского пола. При этом широко была распространена практика использовать данных лиц не как «классических рабов», а как зависимое население, разрешая ему заниматься земледелием и ремеслом, но сохраняя при этом подданство шаньюю (Руденко С.И., 1962, с. 70–71). С.И. Руденко, вероятно, понимал всю сложность социально-политической организации хунну, которая не совсем вписывалась в традиционный подход определения подобных обществ как военно-демократических или рабовладельческих. В этой связи не случайно он упоминает мнение одного из зарубежных исследователей, характеризующих державу Хун-

ну как раннеклассовую с начальным этапом формирования феодализма (Руденко С.И., 1962, с. 71). Правда, С.И. Руденко не дает никаких комментариев подобной оценки, но тем не менее становится вполне понятным определенный методологический кризис социально-исторических интерпретаций кочевых народов Евразии из-за ограниченности базовых моделей и социальных определений в формационной схеме.

Одновременно с работами о хунну С.И. Руденко выходит монография Л.Н. Гумилева «Хунну. Срединная Азия в древние времена» (1960). В данном исследовании Л.Н. Гумилев неоднократно обращался к анализу общественной системы и организации власти у хунну. Опираясь на характеристики родовых обществ К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, исследователь высказывает мысль о том, что хуннский шаньюй до реформ Модэ и образования державы Хунну был главным среди родовых старейшин и «не имел никакой реальной силы, кроме личного авторитета» (Гумилев Л.Н., 1960, с. 72). Таким образом, именно личные качества шаньюев, «при отсутствии аппарата власти», автор рассматривал как решающий фактор их возвышения.

После 209 г. до н.э., как полагал Л.Н. Гумилев (1960, с. 73), конфедерация 24 хуннских родов поднялась на более высокую ступень общественного развития: союз превратился в «державу». Эта трансформация прежде всего отразилась на положении шаньюя. Исследователь не считал его власть абсолютной, но пишет, что она была «велика». Укрепление позиций хуннских предводителей ученый связывал с утверждением их права передавать престол по наследству. По мнению Л.Н. Гумилева, выборы шаньюя «перестали быть свободными» и «постепенно превращались в простое санкционирование воли покойного» правителя. Другим фактором усиления власти шаньюя он считал выполнение военных, дипломатических и культовых функций (Гумилев Л.Н., 1960, с. 74–75).

В целом Л.Н. Гумилев характеризовал институты власти достаточно противоречиво. Он не дал развернутой оценки собственного понимания термина «держава». Судя по некоторым его высказываниям, таким как «высшие чины в государстве были наследственными», «государственные судьи», «аппарат управления у хуннов был чрезвычайно громоздок и сложен», «можно... выделить несколько классов чиновников или, вернее, вельмож», «государственное право» (Гумилев Л.Н., 1960, с. 76–77), исследователь не исключал государственный характер политической организации хунну. Однако на этих же страницах Л.Н. Гумилев указывает на ведущую роль в управлении принцев крови и родовой знати, а самое главное рассматривает «державу» как «олигархию, возникшую в условиях патриархального рода» (с. 77). По его мнению, реформы Модэ привели к «консолидации племени, которая предотвратила разложение родового строя, законсервировала его на много веков» (Гумилев Л.Н., 1960, с. 78).

Чтобы понять точнее особенности подхода исследователя, обратимся к его характеристике общественного строя хунну. Неоднократно подчеркивая ведущее значение родовых связей, Л.Н. Гумилев определяет «строй, установленный Модэ», как «геронтократию – власть старейших в роде». Причем старшинство в трактовке ученого подразумевало не физический возраст, а определенную систему счета родства, при которой «ребенок может оказаться “старше” глубоких стариков». Эта родовая знать, как считает Л.Н. Гумилев, заменила народное собрание съездами родовых князей, проходившими два раза в год. Степень консолидации родовой знати исследователь оценивал настолько высоко, что посчитал возможным «определить хуннскую державу как родовую империю», в создании которой и сыграли решающее значение таланты Модэ (Гумилев Л.Н., 1960, с. 82–83).

Можно предположить, что хуннское «родовое» общество понималось исследователем как более сложный организм, в отличие от типичных оценок советской историографии, и, судя по контексту высказываний, он не считал его первобытным и даже позднепервобытным. По всей видимости, Л.Н. Гумилев, исходя из материалов источников, просто фиксировал сочетание родовой организации и достаточно сложной и многоуровневой системы управления. Не случайно его апелляция к таким историческим примерам, как германцы эпохи Великого переселения народов, организация военной власти у ирокезов, в Спарте и т.д. Ученый считал, что в истории наблюдались «разнообразные формы совмещения родового строя с существованием сильной военной державы» (Гумилев Л.Н., 1960, с. 81). Таким образом, в оценках исследователя проявился нестандартный подход, отрицавший на деле строгую увязку между уровнем социального развития и организацией власти, которая присутствовала в марксистско-ленинской теории исторического процесса. Такие противоречия в целом были весьма характерны для отечественных кочевниковедов, когда они пытались примерять формационную теорию к истории конкретных кочевых обществ.

В этом отношении показательным является описание Л.Н. Гумилевым «фискальных» институтов у хунну. Он, в частности, пишет, что «патриархальному обществу чуждо понятие налога», так как свободный воин видел в факте его уплаты «ущемление свободы». Вместе с тем доходная база шаньюев и вельмож представлена весьма солидно. Это разнообразные дани и добычи от покоренных племен, подати населения оазисов Восточного Туркестана, меха от северных жителей. Также важным источником ресурсов для шаньюя и его окружения ученый считал замаскированные под подарки дани из Китая (Гумилев Л.Н., 1960, с. 80).

Отмечая динамические изменения в социально-политической сфере у хунну в I в. до н.э. – I в. н.э., Л.Н. Гумилев опять же высказывает достаточно неоднозначные и противоречивые оценки. В частности, отмечает изменения в общественной жизни, связанные с достаточно широким использованием хунну земледельческого труда китайских рабов и перебежчиков, он сводит их преимущественно к моральным последствиям – деморализованные перебежчики оказывали отрицательное влияние на хунну (Гумилев Л.Н., 1960, с. 147). В другом случае ученый определяет принципиально важную для его концепции причину трансформации хуннского общества в середине I тыс. до н.э. («разложение родовой системы») в весьма узкой сфере престолонаследия: «Факт передачи княжеского титула по прямой линии от отца сыну был нарушением старого порядка, согласно которому должность давалась по очереди. Нарушение очередности означало образование различных групп внутри рода и... его разложение; а так как держава Хунну была основана на родовом принципе, то разложение рода означало ее распадение» (Гумилев Л.Н., 1960, с. 158). Междоусобицами, конфликтами в элите хуннского общества, противоборством «придворной» и «военной» партий по большей части объяснялся раскол хунну на северных и южных. Данный «раскол», по мнению Л.Н. Гумилева, выявил и два основных направления эволюции хуннского общества. Среди южных хуннов, как полагал исследователь, преобладали поборники родового быта, наиболее консервативные элементы («старцы и почтительные отроки»). В то время как под властью северных шаньюев собирается активный и «предприимчивый элемент», не желавший мириться с родовыми традициями. Результатом этого Л.Н. Гумилев (1960, с. 213–216) считал окончательное разрушение у северных хунну родового строя и становление «орды» – военной демократии.

В целом, вопреки традициям советской школы, автора отличает незначительное внимание к эволюции общественной системы. Также редки попытки выявить взаимосвязь между социальными процессами и военно-политической историей хунну. Вероятно, у Л.Н. Гумилева в тот период еще не сложилась концепция социального развития хунну. Впоследствии, как известно, механизмы общественных изменений у кочевников исследователь будет связывать в основном с определенными этапами этногенеза (Гумилев Л.Н. 1990, 1993).

Исследования памятников других кочевых обществ, сосуществовавших с хунну или находившихся у них в подчинении, осуществлялись на территориях Казахстана, Средней Азии и в Туве. Наиболее значимые результаты, с точки зрения палеосоциологических интерпретаций, были получены при изучении памятников «усуней». В 1948 г. С.П. Толстов, подводя первые итоги работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, выделил в верховьях Сыр-Дарьи, бассейне р. Чу, Талас и оз. Иссык-Куль два типа погребений конца I тыс. до н.э. Первый, по его мнению, представлял ориентированные с севера на юг, цепочки курганов больших размеров высотой 10–15 м и диаметром до 100 м – родовые кладбища аристократических родов. Они располагались только в долинах, на местах зимовок, каждый курган, «могила отдельной семьи-поколения», содержал богатый инвентарь с импортными греческими и китайскими изделиями, украшениями, наборами оружия. Ко второму типу исследователь отнес большие «бессистемные» поля маленьких курганов с бедными погребениями, сопровождаемыми несколькими глиняными и деревянными сосудами и изредка бронзовыми украшениями, при полном отсутствии оружия и импортных вещей. Важным С.П. Толстов (1948, с. 262) считал, что эти могильники располагались «как в районах зимовок, так и летонок», что, как он полагал, говорило об отсутствии традиции погребения на родовом кладбище.

Оба типа захоронений рассматривались автором как принадлежавшие населению государства усуней, в составе которого он, таким образом, выявил два слоя. Первый слой составляли люди, сохранившие родовые традиции в погребальном ритуале, одинаково обладавшие вооружением, но имущественно дифференцированные на богатых и бедных. Вторую группу С.П. Толстов, исходя из концепции рабовладельческого общества, обозначил как «многочисленных рабов усуней», утративших родовые традиции и не имевших оружия. Считая свободных усуней (первый слой) конными воинами, С.П. Толстов указал на отсутствие оружия в курганах 2-го типа и на присутствие там нахо-

док, связанных с земледельческим трудом. Как полагал археолог, малая емкость рабского труда в скотоводческом хозяйстве привела к появлению в степи особой формы рабства – поселений рабов. Подобный тип рабовладения, согласно мнению археолога, имел место во всех центрально-азиатских государствах кочевников, начиная с хунну (Толстов С.П., 1948, с. 262–264).

На наш взгляд, подобная оценка могла быть вызвана только малочисленностью и выборочностью исследованных объектов. Еще А.Н. Бернштам высказывал сомнения по поводу того, что для рабов насыпались отдельные курганы. Ясно, что по составу инвентаря такие захоронения не были единообразны, а отсутствие оружия можно объяснить как спецификой погребального обряда, так и положением захороненных в малых курганах и половозрастной иерархией. Стремясь найти подтверждение в археологических материалах своей «рабовладельческой концепции», С.П. Толстов выбрал наиболее конъюнктурную интерпретацию погребений в малых курганах. Вызывает сомнение, отмечаемое ученым, четкое разделение могильников на два типа. Остался также открытым вопрос о синхронности данных памятников. Оценка усуньского объединения как государства с классовой дифференциацией не была поддержана А.Н. Бернштамом и А.Х. Маргуланом (Труды Семиреченской..., 1950, с. 58–60; Маргулан А.Х., 1951, с. 33).

Другое исследование социальной организации номадов III в. до н.э. – III в. н.э. принадлежит Г.А. Кушаеву. Располагая материалами 40 погребений III–II вв. до н.э. и 127 погребений I–III в. до н.э., он констатировал только двухступенчатую иерархию «усуньского общества», сведя ее к фиксации «больших» и «малых» курганов. Доказательством социальной эволюции усуней Г.А. Кушаев считал распространение на позднем этапе (I в. до н.э. – III в. н.э.) парных захоронений и отсутствие в ряде малых курганов предметов вооружения. Первое, по мнению ученого, говорило об утверждении обычая сопровождающих женских захоронений при погребении их мужей; второе фигурировало в качестве показателя социального расслоения рядового населения (Кушаев Г.А., 1959, с. 242–247; Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963, с. 148, 272–275). Деление Г.А. Кушаевым «усуньских» погребений «по размеру насыпей» как доказательство более высокого уровня общественного развития усуней, по сравнению с сакским периодом, было неудачно. Разница между «царскими» курганами саков и «большими» погребениями усуней, а также соотношение «царских» и «рядовых» курганов у саков и «больших» и «малых» курганов усуней были явно не в пользу последних. Впечатление это усиливалось публикацией сакских и усуньских материалов в рамках одной книги (Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963). Все эти факты не комментировались Г.А. Кушаевым, хотя если следовать логике автора, то социальная дифференциация в сакский период была значительней, чем в усуньский. Представляется, что автор в своих оценках скорее исходил не столько из анализа археологических материалов, сколько из линейной марксистской схемы социогенеза. В соответствии с ней кочевники усуньского времени и должны были обладать более сложной общественной системой. Теория в этом случае явно превалировала над источниками.

Таким образом, в 1930-е – первой половине 1960-х гг. на базе марксистской теории были получены достаточно существенные результаты изучения общественно-политической организации кочевников Центральной Азии хунно-сяньбийского времени. Разработка социальной истории хунну, усуней, сяньби, жужаней и других номадов велась как на основе данных письменных, так и археологических источников. Наиболее разработанной была тема общественного устройства хунну. Хунну посвящено подавляющее большинство работ рассматриваемого в данном параграфе периода. Между тем исследования социально-политической организации номадов хунно-сяньбийского времени не выходили по объективным причинам за рамки формационной парадигмы. Сложившаяся ситуация приводила к трудностям соотнесения методологических и идеологических позиций, с одной стороны, и критики источников – с другой. Особенно острая нестыковка источниковедческого и методологического уровней исследования просматривалась в работах С.И. Руденко, Л.Н. Гумилева, С.П. Толстова, Г.А. Кушаева.

5.3. Вклад советской науки второй половины 1960-х – начала 1990-х гг. в исследование социальной истории хунно-сяньбийского периода и апробацию палеосоциологических методик на материалах хуннских памятников

Значительную роль в изучении социально-политической истории хунно-сяньбийского периода сыграла новая публикация материалов китайских хроник о хунну, сяньби, жуаньжуанях В.С. Таскиным (1968, 1973, 1984). В «Предисловиях» к данным изданиям В.С. Таскин высказал ряд

интересных оценок. Также его перевод китайских источников позволил уточнить ряд моментов в хуннской истории, исправить ошибки в переводе Н.Я. Бичурина, интерпретировать ряд непонятных мест. В «Материалах по истории сюнну» (В.С. Таскин пользуется уточненным этнонимом – «сюнну» вместо «хунну») исследователь отметил, что «пройденный сюнну путь развития так или иначе повторили другие, более поздние кочевые народы, поэтому общественный строй сюнну является как бы основой для установления общих закономерностей общественного развития кочевых народов разных стран в различные исторические эпохи» (Таскин В.С., 1973, с. 3).

В.С. Таскин выделяет в социальной истории хунну два периода. В рамках первого, по предположению исследователя, хунну находились на стадии первобытнообщинного строя. Начиная со времени правления Маодуня (Модэ) сюнну вступают во второй период, который ученый характеризует как государственный (Таскин В.С., 1968, с. 23; 1973, с. 4, 5, 7, 14 и др.; 1984, с. 32–36; 1989, с. 5, 15). Опираясь на знаменитую работу Б.Я. Владимирцова «Общественный строй монголов» (1934), В.С. Таскин (1984, с. 32) даже утверждал, что у сюнну существовала «феодалная собственность на пастбища».

Анализ властных институтов у хунну В.С. Таскин начал с этимологии титула *шаньюй*. Он принимает версию древнего китайского хрониста Бань Гу о том, что шаньюй означает «обширный», констатируя при этом, что уже сам титул «свидетельствует об огромной власти, принадлежавшей верховным правителям сюнну». Подчеркивает это и титулатура «Небом и Землей рожденный, солнцем и луной поставленный великий шаньюй сюнну...». В.С. Таскин так же, как и Л.Н. Гумилев, уделил большое внимание системе престолонаследия. Исследователь полагал, что наследственная передача власти от отца к старшему сыну сложилась у хунну давно и «имела характер твердо установленного обычая». При шаньюе Хуханье право наследовать престол получили все сыновья в порядке старшинства. Все случаи нарушения престолонаследия В.С. Таскин (1973, с. 7–9) считал исключением.

Особо подчеркнул исследователь такую исключительную сферу деятельности шаньюя, как отношения с другими государствами и народами (заключение договоров, обмен дипломатическими посланиями, династические браки и др.). В.С. Таскин указывает, что право шаньюя представлять страну было признано всеми. По всей видимости, такое право было монопольным. Среди других важных функций шаньюя ученый выделил обязанности верховного военачальника (единое руководство требовалось для успешного ведения войны) и верховного судьи. Подводя итоги, В.С. Таскин отметил, что шаньюю принадлежал решающий голос в дипломатической, военной и гражданской областях. На этом основании он не согласился с оценкой Л.Н. Гумилевым роли шаньюя как «первого между равными прочими старейшинами» (Таскин В.С., 1973, с. 11). Оспорил В.С. Таскин и другое утверждение Л.Н. Гумилева о 24 родах хунну как основе их державы. Исследователь указал, что в источниках не говорится о существовании 24 родов, а упоминаются 24 начальника, называемых темниками.

В целом политическую организацию хунну В.С. Таскин считал «очень похожей» на политические организации других, более поздних кочевых народов, и в частности монголов. Как пишет ученый, основу политического строя как хунну, так и монголов «составляла собственность на пастбищные угодья, проявлявшаяся в форме права распоряжаться пастбищами. Шаньюй как глава страны отводил места кочевания темникам, являвшимся его сыновьями и родственниками, которые обеспечивали пастбищами своих приближенных, а те в свою очередь – рядовых кочевников» (Таскин В.С., 1973, с. 17).

По-прежнему периферийный характер имели исследования социально-политической организации таких кочевых объединений, как Сяньби и Жуаньжуань (жужане). Преимущественно историки ограничивались краткими замечаниями по этому вопросу. В целом подходы отечественных ученых к трактовке общественных систем сяньби и жужаней в 1960–1980-е гг. базировались на формационной методологии. Здесь опять же приходится констатировать, что исследования сяньбийских и жужанских памятников практически не проводились. Однако в этот период советским ученым стали доступны сведения китайских ученых в переводах Н.Я. Бичурина и В.С. Таскина. Одним из первых к истории сяньбийцев обратился Л.И. Думан (1968, с. 46–47). Он отмечал, что синьбийцы находились на стадии перехода от доклассового общества к классовому, происходило разложение родовых отношений, хотя сохранялись некоторые традиционные институты.

Несколько иную характеристику общественно-политическому строю сяньбийцев ранее дал Л.Н. Гумилев, определив его при Таншихае как «настоящая военная демократия, переход от древней

геронтократии к орде – строю средневековой Азии». В заслугу Таншихаю он ставил административные реформы (деление на центр и два крыла), ликвидацию сепаратизма. Но при этом ученый отметил, что вся сяньбийская «держава покоилась на силе и обаянии» Таншихуая. При его сыне Холяне половина орды отказалась ему подчиниться, и Л.Н. Гумилев (1960, с. 238, 240) вполне в антропологическом духе объясняет это жадностью и развратностью наследника, т.е. отсутствием у него качеств отца.

Интересна оценка Л.Н. Гумилевым Жужанского ханства. По его мнению, бежавшие в степь от тоба и сюнну в Китай кочевники, преступники, дезертиры и обнищавшие крестьяне создали военизированную орду. Ее организация «была чрезвычайно далекой от родового строя». Военно-административной единицей у жужаней был полк, который подчинялся предводителю, назначенному ханом. Законы, как пишет автор, «соответствовали нуждам войны и грабежа: храбрцов награждали большей долей добычи, а трусов побивали палками». Ученый также отметил, что за 200 лет своего существования жужанская орда не претерпела никакого прогресса – «все силы уходило на грабеж соседей» (Гумилев Л.Н., 1967, с. 11–12). Военно-политическая система жужанского ханства держалась за счет подчинения телесских племен, которые вынуждены были платить жужаням дань. Согласно Л.Н. Гумилеву (1967, с. 13), необходимость в поддержании этой системы и консолидировала кочевников: «жужане слились в орду, чтобы с помощью военной мощи жить за счет соседей».

Несколько иное мнение высказал в отношении жужаней В.С. Таскин. Он одним из первых среди отечественных исследователей попытался обосновать существование у жужаней государства. Основным доказательством государственности ученый считал военные реформы, проведенные вождем Шэлунем, и создание им десятичной системы организации войска, как у сюнну. Более того, В.С. Таскин (1984, с. 37) предположил, что Шэлунь одновременно с реформами «ввел феодальную собственность на пастбищные территории». Институты власти у сяньбийцев, судя по тому, что государственными В.С. Таскин (1984, с. 24–25, 37) считал только объединения сюнну и жужаней, трактовались исследователем как догосударственные, с выборными вождями, власть которых не была устойчивой.

Следует обратить внимание на то, что именно в начале 1980-х гг. становится популярной идея бытования раннефеодальных отношений у жужаней. Довольно хорошо это прослеживается в третьем издании «Истории Монгольской народной республики» (1983), авторы которой проводили идею о зарождении раннефеодальных отношений в IV в. н.э. у сяньбийских племен муюн и тоба, но первым государством раннефеодального типа они считали именно Жужанский каганат (История МНР, 1983, с. 105, 107–108). Общественно-политическая система предшественников жужаней – сяньбийцев – в II–III вв. н.э. характеризовалась достаточно обтекаемо. Сам раздел был озаглавлен «Раннее государство Сяньби». Однако возникновение государственности связывалось с именем Таншихуая: «... в середине II в. н.э. из среды племенной знати сяньби выдвигается Таншихуай (141–181), который выступил основателем государственного образования сяньби» (История МНР, 1983, с. 105). Видимо, в этом контексте авторы «Истории Монгольской народной республики» указывали, что во II–III вв. н.э. «наступил период перехода от доклассового к классовому обществу» (История МНР, 1983, с. 104), но какое «классовое общество» имелось в виду, не уточнялось.

В 1970–1980-е гг. по-прежнему ведущее место в изучении социально-политической организации кочевников рассматриваемого в данной главе периода отводилось хунну и хуннским памятникам. В эти десятилетия особое внимание палеосоциологическому анализу археологических памятников Хуннской империи уделяла А.В. Давыдова. Она отметила, что не стоит упрощать общественное расслоение хунну и сводить его к двум крайним полюсам – бедным и богатым. Позиция исследовательницы определялась анализом материалов ряда могильников, прежде всего Иволгинского комплекса. Учитывая, что из 216 иволгинских могил большинство были ограблены, она использовала в классификации только те показатели, которые поддавались фиксации. Общими для мужских и женских погребений являлись различия поясных наборов, количество еды и глубина могил, для мужских также количество оружия и железных предметов, а для женских – украшения и «кошельки». Как считала А.В. Давыдова (1978, с. 144; 1982, с. 134–141, табл. 3 и 4; 1985, с. 28–33, табл. 1 и 2), пояса у кочевников наиболее верно говорили о социальном статусе погребенного, что послужило основой для реконструкции общественной структуры «иволгинского населения».

В результате А.В. Давыдова получила пять категорий мужских (из-за близости четвертого и пятого типов – 4 категории) и четыре категории женских погребений. Исследовательница полагала,

что в отношении женщин необходимо было учитывать семейное положение и поэтому женские захоронения нужно рассматривать в комплексе с мужскими. Таким образом, обозначилось четыре группы «иволгинцев». Первую группу составили погребения наиболее бедных из погребенных. Их обычно сопровождали пояс с двумя пряжками и двумя кольцами, нож и иногда части лука у мужчин, одна бусина и нож у женщин. Интересно, что мужчины первой группы хоронились на дневной поверхности, а женщины – в ямах глубиной до 135 см. У мужчин второй группы имелось несколько поясных пряжек, колец и костяных пластин, сосуд, оружие включало лук и стрелы из кости, средняя глубина могил достигала 0,95 м. В женских захоронениях присутствовали пояса с одной пряжкой и кольцом, подвески из бирюзы, 1–2 сосуда, рыба.

В третьей группе к мужскому инвентарю добавились кольца и пуговицы без орнамента, кинжалы, бронзовые наконечники стрел, еще один сосуд, кости овцы, при глубине могилы 115–125 см. У женщин появились пуговицы без орнамента, бисер, бусы, подвески и кольца из камня, кошелек, расшитые бисером и бусами, нижний пояс, 4 сосуда, ребра и ноги овцы. Глубина могилы составляла 167 см.

Мужские погребения 4 группы (четвертый и пятый инвентарные типы) отличались наличием бронзовых колец, пуговиц и ажурных пряжек с изображением животных, сочетанием ножей и кинжалов, железными наконечниками стрел, 3–5 сосуда. В составе «ритуальной пищи» были обнаружены кости коровы, черепа овцы и зерна злаков. Глубина погребальных ям варьировалась от 155 до 167 см. Женщин, помимо предметов инвентаря третьей группы, сопровождали два ножа, шило, на поясе бронзовые кольца, пуговицы и пластины с зооморфными изображениями, большое количество колец, бус, бирюзовых подвесок, сосуды большого объема, позвонки овцы и черепа овец на крышках гробов (Давыдова А.В., 1982, табл. 3 и 4; 1985, табл. 1 и 2).

Четкость социальной и половозрастной дифференциации отражали отдельное положение на площади могильников подростковых захоронений и особенности погребального ритуала детей разных возрастных подгрупп: младенцев до года хоронили на поселении под полом жилищ; детей от 1 года до 5 лет погребали на дневной поверхности; более старшие захоранивались в гробах на уровне дневной поверхности, с поясами, но без еды (Давыдова А.В., 1982, с. 141; 1985, с. 34).

А.В. Давыдова подчеркнула, что в Иволгинском и других могильниках хунну неизвестно погребений, которые можно было бы связать с рабскими. Только могила №102 отличалась «сверхбедным» инвентарем (нож и бусинка на груди при отсутствии пищи). При этом, как писала исследовательница, если по инвентарю ее можно принять за могилу рабыни, то ее местоположение внутри могильника, рядом с парным ей мужским погребением, равнозначно богатым женским захоронениям (Давыдова, 1975, с. 145; 1982, с. 140; 1985, с. 33). Говоря только о патриархальных формах рабства, она тем не менее констатировала, что у хунну возникло примитивное государственное образование с сильными пережитками родового строя. Компонентами «государственности» А.В. Давыдова (1975, с. 145; 1985, с. 86–88) считала развитую систему управления обществом, военную структуру, дань, получаемую от покоренных народов, торговый обмен как источник накопления, развитую социальную стратификацию и появление частной собственности.

Если А.В. Давыдова не рассматривала тип внутримогильного сооружения как социальный критерий, то П.Б. Коновалов, наряду с другими, отдавал предпочтение именно этому показателю. В составе могильников Ноин-ула, Ильмовая падь, Мойлтын Ам он выделял «царские» и «княжеские» погребения с разной степенью богатства и пышности (двойной сруб и гроб), погребения людей среднего достатка, в обычных ямах с «двойной деревянной камерой» (сруб и гроб) и погребения «бедняков» в простых дощатых гробах и без таковых (Коновалов П.Б., 1975а, с. 17–22, 45–46; 1976; 1985, с. 45). Сходная ситуация фиксировалась В.С. Гришиным (1978, с. 95, 100) в грунтовом некрополе у г. Дархан (Монголия), где различались захоронения в гробах и погребения в гробах, заключенных в срубы с богатым инвентарем. В тех случаях, когда не наблюдалось конструктивных особенностей захоронений, как полагал П.Б. Коновалов, можно использовать дополнительные критерии. Однообразные погребения Дырестуйского могильника в однокамерных дощатых гробах ученый предлагал ранжировать по качеству отделки гробов и сопровождавшему инвентарю (Коновалов П.Б., 1975, с. 22–23; 1985, с. 45).

Материалы хуннских погребений давали широкие возможности для реконструкции социальной структуры общества. Используя метод социальной планиграфии, С.С. Миняев выявил «определенную систему в размещении погребений различных слоев на площади суннских могильников». Примером археологу послужил Дырестуйский некрополь в Монголии, где было изучено около

100 захоронений, располагавшихся группами, обособленными друг от друга расстоянием в несколько десятков метров. Результаты изучения данного некрополя были изложены С.С. Миняевым (1987–1989; 1998) в серии статей и отдельной монографии.

Композиционным центром каждого комплекса являлся курган с надмогильной каменной кладкой. Вокруг него располагались остальные захоронения, не имеющие, как правило, внешних признаков, более простые по конструкции и более бедные по инвентарю. Ученым выявлено несколько вариантов размещения «сопроводительных» захоронений по отношению к кладке центрального кургана: 1) по одному захоронению у северного, восточного и южного углов; 2) одиночные захоронения у юго-западного угла; 3) от 1 до 3 погребений у юго-восточного угла. Во всех случаях в центре комплексов были захоронены взрослые мужчины и женщины, в то время как погребения в «сопроводительных» могилах относились к трем возрастным группам (младенцы, дети и подростки, молодые люди не старше 20–25 лет). На черепе одного из подростков (10–12 лет) имелось ромбовидное отверстие – следы насильственной смерти. Учитывая молодой возраст остальных погребенных, С.С. Миняев (1989, с. 116) допускал, что и они умерли насильственно, а захоронение в каждом комплексе совершалось одновременно со слугами и наложницами.

Вывод автора о насильственной смерти всех погребенных в «сопроводительных» могилах представляется слишком категоричным, особенно если учесть, что число предполагаемых сопроводительных захоронений насчитывает несколько десятков и явно превышает количество погребенных в курганах с надмогильной каменной кладкой. Также следует учесть необходимость специального изучения антропологами и криминалистами вопроса о насильственной смерти. Описание же автора показывает, что аргументированно (по ромбовидному отверстию в черепе) насильственную смерть можно предполагать только в одном случае. Следует обратить внимание на тот факт, что трактовка С.С. Миняевым всех детских погребений как «сопроводительных» исключает наличие детских и подростковых собственно хуннских захоронений. Даже если часть молодых лиц (20–25 лет) и сопровождала в последний путь рядовых хуннов (!), то сомнительно, чтобы в качестве жертв выступали исключительно все младенцы и подростки. Не случайно, что число и расположение детских погребений на периферии «основных» захоронений не регламентировались обрядовыми нормами, а, как представляется, зависели от естественной смертности детей, всегда высокой в традиционных обществах.

Кроме Бурятии и Монголии, памятники хунно-сянбийского времени во второй половине XX в. стали активно исследоваться на территории Тувы и Горного Алтая. В Туве памятники указанного периода впервые были открыты А.В. Адриановым (1915–1916), а затем изучались во второй половине 20-х гг. XX в. С.А. Теплоуховым (Савинов Д.Г., 2005, с. 200). Однако широкомасштабные работы в этом регионе проводились в 50–70-е гг. XX в. Именно в этот период были раскопаны наиболее известные погребально-поминальные комплексы Сыын-Чюрек, Кокэль, Шурмак-Тей, Шугур и др. (Вайнштейн С.И., 1958; 1970; Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П., 1966; Грач А.Д., 1966а; Кызласов Л.Р., 1958; Дьяконова В.П., 1970; Николаев Н.Н., 2001; и др.). На основе полученных материалов было выделено несколько археологических культур: сыыччюрекая (Вайнштейн С.И., 1958), шурмакская (Кызласов Л.Р., 1958) и кокэльская (Савинов Д.Г., 1984).

В это же время ученые начинают использовать материалы исследований памятников кочевников Тувы хунно-сянбийского периода при проведении палеосоциальных реконструкций. В научной литературе наиболее часто встречалось мнение о том, что погребальный обряд тувинских памятников кочевников, как тогда говорили, гунно-сарматского времени отражал процессы социальной дифференциации (Потапов Л.П., 1970, с. 5; Дьяконова В.П., 1970, с. 194; Кызласов Л.Р., 1979, с. 120; и др.) и разложения «первобытнообщинных отношений» (Мандельштам А.М., Стамбульник Э.У., 1992, с. 205). Указанные трактовки общественного развития «кокэльцев» вполне традиционны для отечественной науки того периода. Престижный характер ряда вещей в погребениях Кокэля отметил Ю.С. Худяков (1986, с. 81).

Более развернутую интерпретацию палеосоциальных процессов в Туве на основе анализа материалов из могильника Кокэль предложил Р. Кенк (1984). Достаточно подробное освещение выводов ученого представлено в одной из работ Д.Г. Савинова (2005, с. 203–207), мы не будем их пересказывать. К тому же Р. Кенк принадлежит к плеяде зарубежных исследователей-кочевниковедов, поэтому его творчество находится за рамками нашей работы. Отметим только, что многие выводы автора повлияли на дальнейшую разработку палеосоциологической проблематики отечественными

археологами, изучающими памятники номадов Тувы (Николаев Н.Н., 2001; Савинов Д.Г., 2005; и др.).

Еще одним регионом Центральной Азии, в пределах которого выявлено большое количество памятников изучаемого периода, является Горный Алтай. Памятники хунно-сяньбийского времени в том районе стали активно изучаться со второй половины 70-х гг. XX в. Именно с этого периода, по мнению В.И. Соенова (1995; 2003, с. 5), начинается этап целенаправленного изучения памятников Горного Алтая данного периода в широком культурно-историческом контексте, хотя первые памятники этого времени были исследованы еще В.В. Радловым в 1865 г. (1989). Культурно-хронологическое обоснование памятников хуннского времени на Алтае впервые было предложено А.А. Гавриловой (1965, с. 52–57) спустя сто лет после раскопок В.В. Радлова. В последующие годы ученые предлагали различные подходы к культурно-хронологической атрибуции памятников хуннского периода на Алтае: от выделения погребальных типов памятников (Васютин А.С., Елин В.Н., 1984, с. 35–38; 1987; Елин В.Н., 1987; 1990; и др.) до археологических культур (булан-кобинская, кудыргинская) (Мамадаков Ю.Т., 1990; Суразаков А.С., 1992; и др.). Не останавливаясь подробно на различных этнокультурных и хронологических разработках, поскольку они выходят за рамки нашего исследования и рассмотрены другими специалистами (Тишкин А.А., 2006, 2007), отметим, что социальный аспект развития населения горных районов Алтая стал попадать в орбиту внимания исследователей в основном с конца 80-х гг. XX в.

Так, анализируя материалы предтюркских погребений могильника Кок-Паш из Восточного Алтая, В.Н. Елин зафиксировал совершенно уникальную для кочевнических памятников ситуацию. Используя в качестве социальных признаков состав и количество инвентаря, глубину могил, он обнаружил, что наиболее видное положение в «кок-пашском» обществе занимали женщины в возрасте 25–30 лет. Погребения этой группы совершались в могилах глубиной более 2 м и сопровождалась комплексом вооружения, состоящим из железных наконечников стрел, луков, палашей, панцирных пластин, наборных поясов. Другую группу, по мнению исследователя, составляли мужские и женские захоронения в ямах глубиной менее 2 м, в состав инвентаря которых входили костяные наконечники стрел и железные ножи. По словам автора, почти все интересные находки сосредоточивались в погребениях первых двух групп. На площади могильника, как выявил В.Н. Елин, эти погребения располагались в непосредственной близости друг от друга и были обособлены от остальных курганов. Ученый отметил, что более низкий социальный статус других погребенных подчеркивался или полным отсутствием инвентаря, или наличием одного-двух предметов из массовой категории находок (Елин В.Н., 1989, с. 120–121).

В отечественной историографии конца 1960–1980-х активно обсуждались историко-теоретические вопросы общественного развития хунну. В частности, исследователи подчеркивали, что общественная дифференциация должна была обуславливаться появлением каких-то форм зависимости внутри самого хуннского социума. Однако в ходе исследований все очевиднее становилось, что социальная сплоченность перед внешней угрозой, сохранение родоплеменных традиций как регуляторов общественной жизни, консервативность всей социальной системы сдерживали эксплуатацию соплеменников у номадов. С.Г. Кляшторный (1986а, с. 317) на этом основании считал, что хуннское общество являлось примером социальной организации, потенциально лишенной внутреннего развития, в ходе которого могли бы «выкристаллизоваться» более определенные классовые отношения.

С учетом вышесказанного одним из главных вопросов социальной истории хунну оставался вопрос о наличии у них государства. Большинство исследователей признавали существование хуннской государственности («примитивной», «переходной», «с сохранением родовых институтов», «раннеклассовой», «раннефеодальной») (История Сибири, 1968, с. 246–248; Таскин В.С., 1973, с. 4–5, 14, 17; 1984, с. 34–35; Давыдова А.В., 1975, с. 145; 1985, с. 88; Кызласов Л.Р., 1979, с. 79; 1984, с. 10–15; История МНР, 1983, с. 100–103; Савинов Д.Г., 1984, с. 8; Кляшторный С.Г., 1986а, с. 314–318; Худяков Ю.С., 1986, с. 24; и др.).

Оригинальную концепцию эволюции кочевых обществ «от кочевий к городам» на рубеже 1970–1980-х гг. предложила С.А. Плетнева (1982; см. подробную характеристику в главе 6). В ее оценках изменения в хуннском обществе наглядно подтверждают ее теорию изменений в социально-экономическом развитии номадов по пути становления феодализма. Саму хуннскую державу она оценивала как сложившееся «государство» с высокоразвитыми полужемледельческой экономикой, ремеслом и культурными традициями, регулярной армией, иерархической системой государствен-

ных наследственных чиновников, жесткими законами, поддерживающими порядок в государстве, налогами, с учетом имущества и скота в книгах, единой религиозной системой. Хуннское общество, согласно мнению С.А. Плетневой (1982, с. 85–86), обладало «развитыми классовыми отношениями», которые вуалировались «патриархальными отношениями».

Отличную точку зрения высказывал С.С. Миняев. Он охарактеризовал социально-политическую систему хунну как «союз племен» (Миняев С.С., 1979, с. 74; 1985, с. 70; 1988, с. 113, 114, 116, 125). Решающую роль в обосновании его позиции играли данные археологии. Изучая в связи с проблемой происхождения хунну материалы погребений в Южной Сибири, Туве, Забайкалье, Монголии и Ордосе, С.С. Миняев установил, что формирование хуннского общества произошло из этнически неоднородных племен. Племенные различия, по мнению археолога, сохранились и в период расцвета хунну. Отсюда проистекал и сам термин «союз племен» (Миняев С.С., 1979, с. 74–76; 1985, с. 70, 74–77).

Против трактовки хуннского объединения как «союза племен» выступил Ю.С. Худяков. По его мнению, военная организация хунну была опосредована в социальной структуре данного объединения. В частности, он полагал, что централизованная военно-административная система у кочевников была носителем не только военной, но и политической власти. Неверным считал археолог употребление термина «союз племен», так как «союзники» в подобных образованиях никогда не были равноправными, а власть правителя такого «союза» поддерживалась «силой и ничем не отличалась от абсолютной монархической». Ю.С. Худяков (1989а, с. 117) предложил назвать кочевые социумы типа хуннского «военными государствами».

Социальная структура и военная организация хуннского общества часто рассматривались совместно со средневековыми объединениями номадов, подчеркивались их генетические связи и аналогии (Викторова Л.Л., 1968; Кызласов Л.Р., 1969, 1984; Савинов Д.Г., 1984; Кляшторный С.Г., 1986; Худяков Ю.С., 1986). Таким образом, исследователи как бы «стирали» различия между древними и средневековыми кочевниками Центральной Азии, подчеркивая порой полную тождественность как отдельных общественных институтов, так и всей социально-политической организации хунну и средневековых номадов в целом. Наиболее отчетливо эта идея прослеживается в концепции А.И. Мартынова о начале средневековья с хуннского времени. Он высказал мысль о том, что необходимо удревнить датировку раннего средневековья до II в. до н.э., проецируя ее не только на этнокультурные, но и на социальные процессы. В период со II в. до н.э. и по I в. н.э., по предположению исследователя, сложились новые социальные структуры, сущность которых А.И. Мартынов, правда, полностью не раскрывает, отмечая только ряд характерных черт: отсутствие феодально-рентной собственности на землю, экономическое лидерство скотоводства, «своеобразную систему господства и подчинения». Формирование в Южной Сибири отличных от культур скифо-сибирского мира улугхемской, шибинской, кокзельской, кара-кобинской и других культур также служило археологу одним из доводов в пользу его точки зрения (Мартынов А.И., 1993, с. 29; 1994, с. 6–9; 1996, с. 34–35).

Концепция А.И. Мартынова фиксировала реальные различия между социумами скифской эпохи и последующего времени. Определяющим моментом разграничения двух периодов, по-видимому, было возникновение империи Хунну. Она открыла эпоху существования типологически близких кочевых объединений. В этой связи правильнее будет говорить не только о Южной Сибири, но и обо всей Центральной Азии. Более удачным было бы использование другого термина, отражавшего историческое единство хуннского и древнетюркского времен, а за понятием «средневековье» оставить традиционное хронологическое, а не социальное содержание.

Тем не менее идея А.И. Мартынова показательна с точки зрения изменившихся условий развития отечественной науки в постсоветский период. Все идеологические барьеры оказались окончательно сняты. Еще в последние годы перестройки наметился отход от наиболее одиозных установок марксистско-ленинской исторической теории. 1990-е гг. характеризуются постоянным дискуссом с выводами советских авторов, критикой формационного подхода, вниманием к концепциям зарубежных исследователей. Правда, археологии и истории кочевников это касалось в меньшей степени, поскольку изменения затронули эти научные направления уже в 1960–1980-е гг. (см. главу 1). При этом следует подчеркнуть, что проведение исследований российскими учеными в условиях творческой свободы и методологического плюрализма дало плодотворные результаты в изучении социально-политической организации номадов хунно-сяньбийского времени.

5.4. Изучение социальных отношений и властной иерархии хунно-сяньбийского периода на современном этапе (1990-е – начало 2000-х гг.)

В целом в период 1990-х – начала 2000-х гг. внимание к рассматриваемым в данной главе сюжетам резко возросло. В это время были проведены специальные конференции по социальной истории кочевничества, в 1996 г. состоялся международный конгресс, посвященный 100-летию изучения хунну, осуществлены раскопки ярких памятников хунно-сяньбийского времени, вышло несколько обобщающих трудов, написанных с применением новых концептуальных установок и методик исследования.

Важное значение для изучения этносоциальной истории кочевников имели теоретические разработки Д.Г. Савинова. По его мнению, с хуннского времени начала складываться специфическая социально-политическая система, присущая кочевым государствам «древнетюркского времени», особенностью которой было существование этноса-элиты. Другие племена, инкорпорированные в состав этносоциального объединения, по отношению к этносу-элите занимали вассальное положение и тем самым социальное неравенство выносилось за пределы привилегированной этнической группы. Как считал археолог, такая организация социально-этнического подчинения подвижна и ее участники могут меняться местами с появлением новой, более сильной правящей династии. Проявлением этносоциального неравенства была ранжированная культура, отличная от традиционной. Предметный комплекс ранжированной культуры – поясные наборы, предметы декоративного убранства, украшения – так или иначе связан с положением лиц, обладавших определенным социальным статусом, и отражает господствующую «моду» или традицию этноса-элиты (Савинов Д.Г., 1994, с. 5; 1995, с. 159–160, 2005а; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 83–131).

Идея структурной и функциональной схожести кочевых государств эпохи средневековья легла в основу монографии С.Г. Кляшторного и Д.Г. Савинова «Степные империи Евразии» (1994) и переработанного второго издания данной книги, вышедшей в 2005 г. под названием «Степные империи древней Евразии». Под «империями» авторы понимали «полиэтнические образования, созданные военной силой в процессе завоевания, управляемые военно-административными методами и распадающиеся после упадка политического могущества создателя империи» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 6). По существу общая концепция работы С.Г. Кляшторного и Д.Г. Савинова декларировала новую универсальную схему социогенеза кочевых государств Евразии с элементами циклических процессов, выразившихся в смене политических элит при сохранении социально-политических и экономических основ общества. При всех достоинствах такой взгляд имел как минимум один существенный недостаток, а именно: игнорирование типологических различий кочевых объединений. Не случайно, что описание социальных организаций всех «кочевых империй», в том числе и хунну, являлось компиляцией работ С.Г. Кляшторного, посвященных социально-политической структуре преимущественно каганатов и других кочевых политий древнетюркской эпохи (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 68–71, 73–75).

В 1996 г. в Улан-Удэ прошла Международная конференция, посвященная 100-летию гуннской археологии и гуннскому феномену в целом. Ее материалы свидетельствуют о значительном интересе отечественных и зарубежных исследователей к разным аспектам археологии и истории хунну. На конференции подводились итоги открытия и изучения памятников хунну, особенно на территории Монголии, Китая, Саяно-Алтая (Тур С.С., 1996; Цэвээндорж Д., 1996; Худяков Ю.С., 1996), рассматривались вопросы этногенеза хунну (Варенов А.В., 1996; Цыбиктаров А.Д., 1996; Постнова Т.А., 1996; Коновалов П.Б., 1996; и др.), этнокультурное взаимодействие хунну с соседними народами и влияние хуннских традиций на историко-культурное развитие Центральной Азии и Южной Сибири (Кирюшин Ю.Ф., Мамадаков Ю.Т., 1996; Молодин В.И., Черемисин Д.В., 1996; Николаев Н.Н., 1996; и др.). Во многих докладах затрагивались разные аспекты социально-политической структуры хунну (Боталов С.Г., 1996; Николаев Н.Н., 1996; Крадин Н.Н., 1996а–б; Васютин С.А., Юматов К.В., 1996; и др.).

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что, несмотря на длительное изучение хуннских памятников в Монголии, на конференции практически не нашли отражения результаты их палеосоциологических исследований. Вопросы стратификации и общественной структуры рассматривались преимущественно на материалах памятников хунно-сяньбийского периода Тувы, Горного Алтая, Восточного Зауралья и пр. Так, Н.Н. Николаев, анализируя планиграфию могильника Кокэль, указал на то, что «погребальная традиция хуннских памятников Забайкалья и Монголии имеет жесткую со-

циально-иерархическую обусловленность». Речь идет о выявленной отличительной черте курганных могильников хунну, которая заключалась в «достаточно четкой топографической соподчиненности захоронений», когда вокруг кургана, выделяющегося своими размерами, а порой и конструктивно, локализуются малые курганы и грунтовые могилы. Н.Н. Николаев (1996, с. 50) не исключал, что «в планиграфии курганных могильников хунну отразились обособление знати и усложнение социальной структуры общества в период хуннского великодержавия».

В связи с этим исследователь обратил внимание на то, что социально-планиграфический элемент погребальной обрядности хунну не оказал влияния на кокэльская погребальную традицию. Н.Н. Николаев объяснял это последствиями деструктивных процессов в этноплеменной среде после распада хуннского союза в конце I в. н.э. Причем ученый отметил длительный характер «угасания социально обусловленных элементов обряда», поскольку в более раннем могильнике Бай-Даг-2, часть захоронений которого перекрывается могилами кокэльской культуры, элементы планиграфического ранжирования курганов достаточно выражены (Николаев Н.Н., 1996, с. 51). Близкая ситуация фиксируется в погребальных комплексах могильников Кальджин-6 и Усть-Ак-Кол-1 на плоскогорье Укок (Южный Алтай). Могилы с признаками влияния хуннской погребальной обрядности (ямы глубиной свыше 2 м, деревянные обкладки либо более сложные деревянные конструкции на дне, помещение погребенных в листовенничную колоду; в одном случае ребенок лежал в каменном ящике) были расположены рядами и в ряде случаев сконцентрированы тесными группами без явных признаков социальных различий (Молодин В.И., Черемисин Д.В., 1996, с. 47).

Выявленное Н.Н. Николаевым отражение в погребальной практике деструктивных изменений в постхуннских сообществах однако не было столь однозначным. Вероятно, следует учитывать основные направления миграций самих хунну и увлеченных этими потоками этнических групп. К примеру, памятники Урало-Ишимских степей середины II – первой половины IV вв. н.э. показывают «наличие явно гуннских черт в наиболее знатных погребениях». «Гуннские» черты, по мнению С.Г. Боталова, проявлялись в монголоидности антропологического облика погребенных и вещевом инвентаре, включавшем однолезвийные мечи-палаша, сложносоставные луки «гуннского» типа, железные и костяные наконечники, предметы конской сбруи и пр. (Больше-Караганский, Байрамгуловский, Темясовский могильники). Он полагал, что такие погребальные памятники отражали культурно-политическую инфраструктуру гунно-сарматского конгломерата Южного Зауралья (Боталов С.Г., 1996, с. 9, 11). Данные идеи получили развитие и в последующих работах (Боталов С.Г., 2003; Боталов С.Г., Полушкин Н.А., 1996; Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю., 2000; и др.). Позднее, правда, рядом исследователей концепция С.Г. Боталова была подвергнута критике. По мнению М.Г. Мошковой, В.Ю. Малашева и С.Б. Болелова, не только элитарные, но и остальные курганы Урало-Ишимских степей относятся к позднесарматской культуре и связь этих памятников с хунну либо с другими мигрантами с востока, испытавшими хуннское влияние, не достаточно доказана (Мошкова М.Г., 2007; Мошкова М.Г., Малашев В.Ю., Болелов С.Б., 2007).

На конференции неоднократно подчеркивалось, что хунны создали первое кочевое государственное образование в Центральной Азии – хуннскую державу (см., например: Данилов С.В., 1996, с. 20; Худяков Ю.С., 1996, с. 40; Кирюшин Ю.Ф., Мамадаков Ю.Т., 1996, с. 43; Васютин С.А., Юматов К.В., 1996; и др.). Отмечалось, что хуннское господство держалось на использовании сил вассальных племен, пришедших в состав хуннских войск из Центральной Азии (Худяков Ю.С., 1996, с. 42). Только Н.Н. Крадин (1996а; 1996б, с. 121) выражал сомнение в государственном характере хуннской империи, в основном оперируя такими понятиями, как «кочевая империя» или «державка хунну».

По вопросу о генезисе хуннской державы отмечалось, что рассказ Сыма Цяня о захвате престола Модэ, последующих переговорах с дунху и сокрушительной победы хунну над ними напоминает эпическое произведение. Фольклорный характер рассказа Сыма Цяня, что доказывается построением сюжета с эффектом кумулятивности, принципом троичности (все события повторяются трижды), композиционной структурой, образе главного героя, делает его малодостоверным и определенно позволяет сказать лишь о том, что «Модэ пришел к власти путем узурпации, а после этого им были разбиты дунху, которых он заставил платить дань» (Крадин Н.Н., 1996а, с. 46).

Изучению предпосылок возникновения хуннского государства был посвящен доклад С.А. Васютина и К.В. Юматова. Они, в частности, отметили такие факторы зарождения государственности: 1) наличие социальной иерархии в основном традиционного характера (главы кланов, родов, племен и т.д.), органично вошедшей в государственные структуры, но приобретшей в них ряд

новых функций; 2) формирование наследственной власти, передаваемой от отца к сыну, что привело к возникновению протогосударственного объединения – чифдом (chifdom), вожества («государства Тоуманя»); 3) деятельностью харизматического лидера, опиравшегося как на традиционные родоплеменные структуры власти, так и на сформированную им военную организацию, основанную на жесткой дисциплине; 4) единое культурное пространство, консолидирующее группы различной этнической принадлежности; 5) достаточно стабильный характер кочевого хозяйства в указанный период, дающий возможность вести постоянные военные действия (Васютин С.А., Юматов К.В., 1996, с. 52).

Исследователи при этом указывали, что кочевой быт и скотоводческое хозяйство кочевников не способствуют сами по себе формированию устойчивых государственных структур, в связи с чем необходимо учитывать внешнее воздействие, т.е. отношения с соседними кочевыми народами и земледельческими цивилизациями (в данном случае речь шла о Китае). В связи с этим С.А. Васютин и К.В. Юматов полагали, что взаимоотношения между степными народами к III в. до н.э. выходят за рамки обычных локальных военных конфликтов и все более приобретают черты соперничества за главенство в степи. Данный процесс получил отражение в ритуале конституализации власти одного этноса над другим. Указание на подобный ритуал содержится в легенде о трех посольствах дунху к Маодуню (требование коня, женщины и земли как символов подчинения сюнну дунху). Не менее важное значение отводилось исследователями взаимодействию хунну с Китаем. В этом контексте набеги кочевников на Китай ученые рассматривали не только как откровенный грабеж, но и как скрытый товарообмен, а также действие, престижное в кочевой среде. С другой стороны, попытки китайцев найти этим набегам адекватный ответ (реформы Улин-вана, создание крепостей и системы оповещения, и строительство Великой стены и т.д.), по мнению С.А. Васютина и К.В. Юматова (1996, с. 52–53), делали необходимым все возрастающую «организованность» кочевников для успешных вторжений в пределы Средней империи.

Решающими внешними факторами исследователи считали постоянное «давление» Китая на кочевников, соперничество с ними за ключевые территории (Ордос, Восточный Туркестан), стимулирование Китаем борьбы в кочевой среде, что, как полагали С.А. Васютин и К.В. Юматов, и вызвало эффект возникновения государственной системы кочевников. Именно вся совокупность названных факторов и предпосылок, с точки зрения авторов, способствовала процессу формирования государственности у сюнну (Васютин С.А., Юматов К.В., 1996, с. 52–53).

Также в материалах конференции важное значение отводилось такому фактору политогенеза у кочевников, как возникновение городов. С.В. Данилов в связи с этим пишет, что после реформ Модэ «экономическая основа создающегося государства требовала существенной перестройки, так как старая, основанная на кочевом скотоводстве, система хозяйства не была способна выдержать все возрастающие расходы по его содержанию». Он видел в появлении городов «один из слагающих элементов формирования государственности» как «центров экономической, политико-административной, духовно-религиозной деятельности общества». Появление у хунну оседлых поселений археолог связывал с «внутренними потребностями складывающегося государства» (Данилов С.В., 1996, с. 20–21).

С.В. Данилов подчеркивает, что степень изученности хуннских городищ и поселений еще недостаточна для того, чтобы полностью выявить их функции как городов. Однако накопленный материал позволяет предположить «многолинейность» процесса создания оседлых поселений. Одним из таких направлений ученый считал «необходимость создания центров административного управления государством», что подтверждалось наличием у хунну титулов, «под которыми, вероятно, скрывались правители отдельных областей» и «более мелких административных единиц» (Данилов С.В., 1996, с. 21). К подобным административным ставкам с канцелярией и казначейством исследователь относил дворцовый комплекс на р. Ташебе, Иволгинское городище и городище Баян Ундэр в Бурятии, большие по размеру, с четко выраженной планировкой городища в Монголии. Другие направления «урбанизации» С.В. Данилов (1996, с. 21–22) связывал с созданием хунну поселений, в которых «сосредоточивалось население, занимавшееся производством различной ремесленной продукции и земледелием», а также с торговлей «при ставках», разраставшихся в центры ремесла, земледелия и обмена.

Сходные мысли высказывал В.Н. Ткачев, рассматривавший город как индикатор развития кочевников не только хуннского времени, но и последующих периодов. Он полагал, что в городе возникла «наиболее благоприятная среда для конвергенции культур, ускоренного созревания сословных

и классовых страт...» Наряду с экономическими факторами зарождения городов в степи, он называл в качестве одного из главного «волю кочевых вождей», стремившихся с целью поднятия престижа «воспроизвести роскошь дворцовых ансамблей государей соседних империй» (Ткачев В.Н., 1996, с. 148–149).

В вышедшей позднее монографии «Города в кочевых обществах Центральной Азии» С.В. Данилов (2004) уточнил ряд моментов, связанных с влиянием городов на социально-политическое развитие кочевников хунно-сяньбийского периода. Важным условием практического осуществления городского строительства была миграция в степь различных категорий земледельческого и ремесленного населения, дезертиров, опальных китайских чиновников и военачальников. С появлением оседлого и тем более городского населения в обществе центральноазиатских кочевников, по его мнению, возникали новые «социальные группы (ремесленники, земледельцы, чиновники, торговцы, аристократия), происходит усложнение общественной структуры, что требовало со стороны власти действий, направленных на регламентацию, упорядочивание процесса строительства городищ, делегирования властных полномочий, направления военных подразделений и в целом постоянных управленческих мероприятий (Данилов С.В., 2004, с. 129–130, 134–136, 138–139, 141–142, 171–173). Во-вторых, исследователь обратил внимание на то, что городища представляли возможность хуннской элите реализовывать свои военно-политические и экономические амбиции. Знать видела в поселениях независимый от воли шаньюя источник получения ремесленной и земледельческой продукции, армейского снаряжения, престижных импортных вещей. К этому же стремились и рядовые кочевники, поскольку кочевое хозяйство было крайне нестабильным (Там же, с. 137, 138, 140, 170–171). В результате в образовании военных и торгово-ремесленных поселений были заинтересованы и кочевые лидеры, и элита, и хуннские воины.

Кроме того, следует учитывать необходимость решения тактических и стратегических задач на границах государства. Именно поэтому расположенные на севере империи Хунну городища имели укрепления и являлись «опорными пунктами государственности». В таких городищах часто присутствуют постройки административного назначения (Данилов С.В., 2004, с. 52, 118). Также функционально удалось выявить сакрально-религиозное назначение некоторых городищ. Наиболее отчетливо данная функция прослеживается на городище Гуа дов (2004, с. 41).

Свою целостную концепцию социально-политической истории хунну Центральной Азии предложил известный отечественный ученый Н.Н. Крадин (Крадин Н.Н., 1996, 1996а, 2000, 2000б, 2001/2002, 2002б, 2002в, 2003а, 2007; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, 2005). Отдельные аспекты истории хунну затрагивались еще в первой монографии Н.Н. Крадина «Кочевые общества» (1992). В ней он, в частности, обратил внимание на то, что основные материальные ресурсы поступали к хуннской элите извне («регулярная дань с Китая продуктами земледелия и ремесла», дань других земледельческих стран, дань подчиненных кочевых народов), и это определяло особенности как социально-экономической, так и политической организации кочевников. По мнению исследователя, общественный строй хунну был во многом схож с социальным устройством таких кочевых политий, как Сяньби, Тоба, Муян, Жужанский, Тюркские и Уйгурский каганаты, Монгольская империя. Общими чертами их были: 1) многоступенчатый иерархический характер общественной системы; 2) триадный (в редких случаях – дуальный) принцип социальной организации на ее высших ступенях; 3) военно-иерархический характер, как правило, по «десятичному» принципу (Крадин Н.Н., 1992, с. 127, 135–138).

В социально-политическом отношении Н.Н. Крадину удалось показать, что хуннское общество более многоступенчатое, более гетерогенное, чем неиерархически организованный социум уровня военной демократии. Поэтому он выдвинул гипотезу о том, что уровень сложности и интеграции кочевых империй больше соответствует вождеству (чифдому), причем имперские структуры кочевников могут быть обозначены как суперсложное вождество. Однако при этом ученый оговорился, что этот тезис требует «серьезной аргументации» (Крадин Н.Н., 1992, 145–146, 152).

Наиболее полно взгляды кочевниковеда на социальную организацию и власть у хунну были изложены в монографии «Империя хунну» (Крадин Н.Н., 1996; 2-е изд. 2001/2002), а также в целой серии статейных публикаций (Крадин Н.Н., 2000, 2000б, 2003). Книга «Империя хунну» выдержала уже два издания и встретила положительные отклики в научном сообществе (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2005). Надо также отметить, что после монографии Л.Н. Гумилева «Хунну» это была первая книга, специально посвященная комплексному исследованию хуннского общества конца III в. до

н.э. – I в. н.э., отразившая основные изменения в подходах к общественно-политической истории номадов в постсоветский период.

Прежде всего следует подчеркнуть, что в работе Н.Н. Крадина достаточно подробно рассматриваются два основных аспекта исследования хуннского общества: теоретический и культурно-исторический. Ученый большое внимание уделил вопросу выработки дефиниций, которые позволяли бы адекватно отразить особенности социокультурного развития хуннов и номадов в целом. В частности, он подробно характеризует понятие «кочевая империя», определяя ее как «суперсложное вождество» (Крадин Н.Н., 2001/2002, с. 241).

Причины образования хуннской империи Н.Н. Крадин определенно связывал только с внешними факторами и, прежде всего, с образованием в 221 г. до н.э. единой китайской империи Цинь, а также ее экспансией в Ордос, строительством Великой китайской стены, что перекрывало кочевникам доступ к китайским ресурсам (Крадин Н.Н., 1996, с. 23–24; 2001/2002, с. 40–42). Для кочевников это был импульс, который стимулировал объединительные процессы. Как пишет исследователь, «для успешного противостояния Китаю и/или внешней экспансии... кочевникам была необходима интеграция большого количества населения, рассеянного по огромным степям, в единый военно-политический механизм». Так «рождались крупные объединения кочевников (племенные конфедерации, вождества) и даже целые степные ксенократические государства», – заключает Н.Н. Крадин (1996, с. 25). Во втором издании ученый уточняет формулировку: «ksenократические (от греч. *ксено* – «наружу и *кратос* – «власть») государственноподобные политии – кочевые империи» (Крадин Н.Н., 2001/2002, с. 43).

Он также отмечает, как важный фактор становления хуннской империи, способности степных предводителей (объединить номадов в одно общество; внедрить в массовое сознание номадов идею единства кочевников и тезис о необходимости решать внутренние проблемы за счет внешних ресурсов; организовать победоносную экспансию с целью получения добычи). Именно таким лидером был Маодунь (Крадин Н.Н., 1996, с. 26, 28–34, 37–38; 2001/2002, с. 58–62).

Базисом хуннского могущества Н.Н. Крадин считал «отлаженную военную систему, в которой все взрослые мужчины были включены в состав военно-иерархической организации. Мобильность кочевой армии способствовала реализации пограничной стратегии хунну в виде «дистанционной» (термин Т. Барфилда) эксплуатации Китая. Главный упор был сделан не на завоевание оседлых территорий, а на получение в различной форме земледельческих и ремесленных ресурсов Китая (Крадин Н.Н., 1996, с. 50–55; 2001/2002, с. 104–107).

Большое внимание в своей книге Н.Н. Крадин отвел исследованию социальной организации номадов. Он подробно разобрал общественную пирамиду империи Хунну от шаньюя до людей несвободного статуса. Шаньюй, помимо выполнения разнообразных управленческих функций, выступал как распорядитель значительной части (особенно внешних) ресурсов империи. Высокий социальный статус шаньюя, по мнению исследователя, «подчеркивают величественные погребальные сооружения, воздвигнутые в честь умерших правителей хуннской державы, а также богатый сопроводительный инвентарь, обнаруженный при раскопках» одного из «царских» курганов Ноин-Улы (Крадин Н.Н., 1996, с. 72; 2001/2002, с. 140–143).

Особый интерес ученого вызвала высшая аристократия империи, которая имела сложный состав. Во-первых, это многочисленные «домочадцы» (жены, сыновья, принцессы, младшие братья и другие родственники). Среди них самыми титулованными он считал десять «темников» из родственников шаньюя, которые составляли соответственно четыре и шесть «рогов» – наиболее богатые и могущественные аристократы, которых Сыма Цань отнес к так называемым сильным «темникам». Особенно выделялся левый сянь-ван, глава восточного крыла и официальный наследник престола, как правило, сын от главной жены шаньюя (Крадин Н.Н., 1996, с. 73–75; 2001/2002, с. 143–145). Во-вторых, это представители других аристократических семей (Хуянь, Лань, Сюйбу). Наиболее влиятельные аристократы из этих кланов занимали еще 14 высших административных должностей (младших «темников») (Крадин Н.Н., 1996, с. 77–78; 2001/2002, с. 148–149).

Отдельную ступеньку в общественной иерархии составляли племенные вожди и старейшины (кит. *ван*). Ученый определяет их статус как «полуавтономный», а круг выполняемых обязанностей был традиционен: в мирное время – «управление перекочевками, улаживание конфликтов между подданными, редистрибуция и пр.»; в военное – «вожди выполняют функции офицерского корпуса в зависимости от того места, которое они занимали в военно-административной иерархии империи. Племенные лидеры могли выступать и в роли тысячников, а сотниками и десятниками были родо-

вые (клановые) старейшины (Крадин Н.Н., 1996, с. 78–80; 2001/2002, с. 150–151). Официально племенные вожди подчинялись 24 темникам, однако на практике они располагали поддержкой родственных им племенных групп и их зависимость от имперских управителей была ограничена (Крадин Н.Н., 1996, с. 118; 2001/2002, с. 154).

Исследователь с сожалением констатировал скудность сведений о дружине. В связи с этим положение служилой знати Н.Н. Крадин рисует скорее в соответствии с общей картиной в кочевых империях (дружину в основном составляли немногочисленные преданные хану лица и вассалы; функции и состав дружинников очень неоднороден – воины, телохранители, исполнители административных и «полицейских» поручений; личный характер связей с предводителем; дифференциация дружины на «старшую» и «младшую»). Также к служилой знати исследователь отнес иммигрантов и перебежчиков из Китая, выполнявших функции советников при шаньюевом дворе (Крадин Н.Н., 1996, с. 80–84; 2001/2002, с. 152–156).

Еще одну категорию составили вожди зависимых племен, стоявшие, по оценкам Н.Н. Крадина, ниже служилой знати на иерархической лестнице. В эту же группу он включил глав владений, плативших хунну дань (1996, с. 84–85; 2001/2002, с. 156–159).

Самую многочисленную группу составляли рядовые кочевники. Исследователь следующим образом характеризует их положение: «Большинство хуннских скотоводов, скорее всего, были хозяйственно самостоятельны и лично достаточно независимы» (в тех пределах, которые устанавливало включение в генеалогическую структуру). В то же время он считает, что по аналогии с монгольским копчуром простые кочевники могли платить натуральную подать (три овцы со стада в год) и «должны были отбывать почтовую повинность, привлекаться к облавным охотам, делать дары вождям и шаньюю по случаю праздников и т.д.» (Крадин Н.Н., 1996, с. 88; 2001/2002, с. 163). При этом Н.Н. Крадин делает очень важное уточнение: «В кочевых обществах, не имевших в своем подчинении земледельческих территорий, почти все формы так называемой эксплуатации представляли собой... компенсацию правителям и вождям ... за выполнение ими разнообразных общественно-необходимых функций...» С учетом тесных связей между рядовыми номадами и племенной аристократией, как полагает ученый, «правильнее было бы говорить не о зачатках «эксплуатации», а о специфических редистрибутивных и реципрокативных дарообменных отношениях» (Крадин Н.Н., 1996, с. 88–89). Логично утверждение исследователя о том, что из таких отношений не могли выкристаллизироваться социальные антагонизмы, поскольку скотоводство предполагало труд в рамках небольших домохозяйств или минимальной общины (кооперация была связана с организацией водопоя, коллективными охотами и т.п.), в связи с чем круг организационных функций был ограничен и в основном проявлялся не в производственной сфере (Крадин Н.Н., 1996, с. 89).

Категорию зависимых скотоводов Н.Н. Крадин (1996, с. 90–91; 2001/2002, с. 166–167), из-за отсутствия сведений в источниках, описывает достаточно гипотетически, в основном предполагая развитие отношений по типу «патрон-клиент», связанных прежде всего с выпасом скота «патрона» или работой в его домохозяйстве.

Гораздо больше сведений содержится об иноэтничном населении и так называемых рабах. Ученый сразу оговаривается, что в кочевых обществах рабы могли использоваться крайне и крайне ограниченно (в скотоводстве нет большой потребности в дополнительных рабочих руках; нерентабельность контроля за рабами во время выпаса; раб легко мог скрыться в степи; сам скотоводческий труд требовал квалификации, обучения с детства, поэтому плененный земледелец выпасом заниматься не мог). В связи с этим Н.Н. Крадин (1996, с. 92; 2001/2002, с. 169–168) справедливо замечает, что в домашнем хозяйстве мог быть востребован только женский труд, а основная масса рабов могла использоваться только в ставках шаньюя и кочевой аристократии, а также заниматься ремеслом и сельским хозяйством в специальных поселках и городах.

Н.Н. Крадин подчеркивал значимую роль в социально-экономическом развитии хуннской империи земледельческого населения, разными путями попадавшего в степь. Особенно широко в источниках представлены данные о плененных китайцах и перебежчиках. Он пишет, что данные категории населения «селились в специальных населенных пунктах, создаваемых внутри кочевого общества в местах, пригодных для занятия земледелием...», которых на территории Монголии и Забайкалья зафиксировано более двух десятков (Крадин Н.Н., 1996, с. 43–44; 2001/2002, с. 96–97). Ученый, кроме письменных источников, широко использовал (особенно во втором издании своей монографии) результаты археологических раскопок поселений (прежде всего Иволгинского городища) и могильников (Ильмовая падь, Дырестуйский и др.). На основе анализа материалов раскопок Иволгин-

ского городища Н.Н. Крадину (2001/2002, с. 79–94) удалось реконструировать основные особенности хозяйственной деятельности хунну, численность жителей этого памятника и т.д. Также он показывает дифференциацию погребений хунну по инвентарю, надмогильным и внутримогильным сооружениям, что позволяет условно выделить несколько групп населения. Статистическая обработка результатов раскопок хуннских захоронений подкрепила вывод о том, что социум номадов был в значительной степени иерархизирован, но исследователь не стал связывать выявленные группы захоронений с конкретными социальными слоями, указывая, что для это требуется расширение источниковой базы (Крадин Н.Н., 1996, с. 96–97; 2001/2002, с. 171–179).

Вертикальная социальная мобильность в хуннском обществе, как полагал Н.Н. Крадин (1996, с. 98; 2001/2002, с. 180), ограничивалась генеалогической системой. Ее принципы исследователь видит в следующем: 1) статус и власть, как правило, передавались внутри генеалогической группы в соответствии с принципом старшинства; 2) ни один индивид не мог существовать вне рамок какой-либо кланово-родовой группы; 3) социальный статус конкретного индивида нередко обуславливался статусом его генеалогической группы среди других аналогичных групп. Далее он указал на то, что наличие генеалогических связей не исключало возможности повышения статуса, особенно в период военных и внутренних потрясений. Первоочередную роль ученый отводил личным качествам индивида и его удаче. В условиях войны легко можно было сделать карьеру, но при этом провинности или личные антипатии могли привести и к понижению в должности (Крадин Н.Н., 1996, с. 98–99; 2001/2002, с. 180–181).

В целом анализ социальной структуры империи Хунну, проведенный Н.Н. Крадиным, позволяет увидеть довольно сложную картину общественных связей и отношений, показать многоступенчатый состав знати, положение рядовых кочевников, уточнить ряд важных позиций, связанных с положением обедневших и зависимых кочевников, оказавшихся в степи по разным причинам земледельцев, рабов. При всей иерархичности, ученому не удалось выявить «точек» острой социальной напряженности в хуннском обществе. Наоборот, он подчеркивает преобладание личностных отношений, взаимную заинтересованность аристократии и простых номадов, «патронов» и «клиентов». Традиция, господствовавшая в такого рода отношениях, чаще всего регулировала их без подчеркивания негативного оттенка социального принижения. Картина, нарисованная исследователем, постоянно уточняется с помощью сравнительно-исторических параллелей и данных этнологических и антропологических исследований и, по нашему мнению, весьма адекватна историческим реалиям хуннской социальной истории.

Властная иерархия практически повторяла общественную структуру до уровня племенных вождей (автор их не разделяет). Центральное место в политическом очерке отводится шаньюю. Если Л.Н. Гумилев полагал, что власть шаньюя всецело зависела от его личного авторитета, то Н.Н. Крадин, в отличие от своего предшественника, указывает на то, что для хунну были важны не только личные качества правителя (хотя это, безусловно, значимое обстоятельство), но и его принадлежность к правящему аристократическому роду Люаньди, а также иррациональные каналы власти. В представлении подданных деятельность шаньюя «санкционировалась божественными силами». Исследователь даже предполагает, что «существовало представление о принадлежности... сверхъестественной «благодати» роду шаньюя (Крадин Н.Н., 1996, с. 70–71; 2001/2002, 140–141). Поэтому не случайно ученый метафорично замечает, что «...королевская кровь – надежный гарант для политической карьеры, независимо от начальной ступеньки, политических интриг и возраста кандидата» (Крадин Н.Н., 2001/2002, с. 181).

Н.Н. Крадин выделил четыре главных политических функции шаньюя: верховный правитель, представляющей империю в политических и экономических отношениях с другими странами и народами (в его компетенцию входило объявление войны и мира, заключение политических договоров, право получения «подарков» и дани и их редистрибуция, заключение династических браков и т.д.); верховный главнокомандующий империи (определял военную стратегию, назначал командующих крупными воинскими подразделениями, поручал им ведение военных кампаний, а также сам руководил наиболее крупными военными операциями; шаньюю являлся верховной судебной инстанцией, принимавшей окончательно решения по самым спорным вопросам или наиболее важным (например, государственная измена, наказание членов правящего рода и пр.) вопросам; шаньюю выполнял высшие жреческие функции, проводил религиозные обряды, обеспечивал подданным покровительство со стороны сверхъестественных сил (Крадин Н.Н., 1996, с. 69–70; 2001/2002, с. 139–141).

Но основной акцент в характеристике системы управления у хунну Н.Н. Крадин делал на внешнеполитических аспектах существования империи. Здесь он развивал прозвучавшую уже неоднократно мысль о том, что именно существование рядом с хунну сильной централизованной китайской империи Хань способствовало длительному поддержанию хуннского общества в высокой степени военно-политической интеграции. Как замечает ученый, жизнеспособность хуннской державы во многом определялась «исключительной эффективностью» ее внешней политики в отношении Китая (Крадин Н.Н., 1996, с. 49; 2001/2002, с. 104).

Имперская власть тем самым обеспечивала политическое единство степных племен и организацию «военных компаний для захвата добычи у соседних народов и государств (Крадин Н.Н., 1996, с. 101; 2001/2002, с. 184). Из этого, по мнению автора, следовал вывод о том, что внутренняя управленческая инфраструктура была мало развитой, а связи между местными племенными лидерами и наместниками из центра достаточно хрупкими. Поэтому центральную роль во взаимоотношениях шаньюя, его окружения, аристократии и племенных вождей, а тем самым – и рядовых кочевников играла «престижная экономика». Под этим термином исследователь понимал систему манипуляции подарками, с помощью которой шаньюй поддерживал свой авторитет и престиж прежде всего среди аристократии и племенных лидеров (те в свою очередь осуществляли аналогичные действия со своим окружением, увеличивая собственный престиж). Именно системе редиистрибуции Н.Н. Крадин отводил цементирующую роль во внутреннем управлении, называя престижную экономику механизмом, соединявшим «правительство» степной империи и племенных вождей. Подарки часто не достигали низовых этажей племенной иерархии, поэтому шаньюй, вынужденный учитывать интересы рядовых номадов, делал это двумя способами: набегами на Китай, что позволяло кочевникам получать часть добычи, или посредством приграничной торговли (Крадин Н.Н., 1996, с. 102; 2001/2002, с. 108–109; 184).

В контексте данной гипотезы становится понятным такое внимание ученого к изучению различных форм дистанционной эксплуатации номадами ресурсов Китая и монополизации шаньюем внешнеполитических функций. Внешние источники составляли основу политического престижа шаньюя. Поэтому цикл властных мероприятий включал две наиболее важные фазы: в случае недостатка внешних ресурсов – организация успешного военного похода в китайские провинции; в условиях мира с Китаем и регулярного поступления «даров» (шелк, лаковая посуда, рис, вино, зерно и пр.) и доходов от неэквивалентной торговли – их перераспределение (Крадин Н.Н., 1996, с. 104–106; 2001/2002, с. 187–189).

В связи с этим Н.Н. Крадин расширяет семантику редиистрибутивных механизмов, связанных с перераспределением захваченного или полученного из Китая в качестве «подарков» имущества. Они «выступают одновременно как бы в двух ипостасях: как каналы циркуляции реальных ценностей и в то же время как средство развития коммуникативной системы». Исследователь предполагает, что, помимо символического обмена между вождями различных рангов и шаньюем, коммуникативная интеграция осуществлялась у хунну «через включение в генеалогическое родство различных скотоводческих групп, через широкий круг коллективных мероприятий и церемоний, таких как сезонные съезды и праздники, облавные охоты, возведение монументальных погребальных сооружений и пр.» (Крадин Н.Н., 1996, с. 102; 2001/2002, с. 185).

Подчеркивая важность поддержания устойчивой редиистрибутивной политики, Н.Н. Крадин указывал на слабость других управленческих возможностей шаньюев. Недовольство политикой центра легко могло вызвать откочевку номадов (особенно в западном направлении по коридору евразийских степей), бегство в Китай, где всегда поддерживали оппозиционные силы и открытое выступление (Крадин Н.Н., 1996, с. 107; 2001/2002, с. 193). Наиболее частыми были именно миграции, многие из которых оказали существенное влияние не только на изменение этнокультурной ситуации в степи, но и на судьбы крупных земледельческих цивилизаций.

Эта же слабость подтачивала военно-иерархическую структуру хуннской империи. С одной стороны, она строилась на десятичных принципах, более или менее четкой иерархии административного управления (его основу составляли 24 темника), подчиненности нижестоящих вышестоящим, с другой – структурированность и управляемость, как подчеркивалось выше, имели пределы. Тем самым военно-иерархическая система была попыткой создания из аморфного конгломерата племен и племенных групп более четко организованного ксенократического государства. Но это не означало ликвидации родовых и племенных связей. Военно-иерархическая система как бы покои-

лась на основах традиционной родоплеменной системы (Крадин Н.Н., 1996, с. 119–120; 2001/2002, 192–193, 199–200, 208–209).

Подводя итоги, Н.Н. Крадин отмечает, что указанный дуализм «отразился на специфике кочевой империи». Она являлась одновременно и государством, и негосударством (1996, с. 120). Во втором издании исследователь уточнил некоторые характеристики. Именуя хуннское объединение ксенократической мультиполитией, Н.Н. Крадин (2001/2002, с. 209) полагал, что она одновременно имела признаки и государства, и предгосударственного общества. Если в отношениях с внешним миром (Китаем, зависимыми территориями и племенами) хуннская империя выглядела как консолидированное военное государственноподобное объединение (в первом издании – государство), то во внутренних отношениях государственные принципы организации власти отсутствовали. Исследователь, в частности, указывает, апеллируя устоявшейся формулировкой, на то, что правитель кочевого общества не обладает монополией на применение насилия (Крадин Н.Н., 1996, с. 120; 2001/2002, с. 209–210).

Неоднозначность властной системы хунну дает повод для ее вариативной оценки. Разброс этих оценок достаточно широк, если учесть, что во втором издании книги исследователь изменил ряд формулировок. Так, например, вместо понятия «ксенократическая государственность» Н.Н. Крадин (2001/2002, с. 235) стал использовать характеристику «ксенократическая государственноподобная мультиполития». В первом издании ученый указывал, что империя Хунну более соответствовала признакам вожества, точнее квазивожества, суперсложного вожества (Крадин Н.Н., 1996, с. 147). Во втором издании он оговаривается, что ограничение политического развития номадов барьером государственности, суперсложным вожеством характерно больше для стадиальных, линейных теорий. Между тем в отношении кочевников можно использовать разные теории (концепция цивилизаций, мир-системный подход, многолинейные теории эволюции), в свете которых оценки институтов власти номадов могут существенно отличаться (Крадин Н.Н., 2001/2002, с. 246–251). Стоит отметить, что в целом ряде других работ Н.Н. Крадин (2000; 2003а; 2007, с. 141–145) более определенно высказывался в пользу оценки империи Хунну как суперсложного вожества.

Среди других тенденций социально-политического развития, выявленных Н.Н. Крадиным, отметим одну важную с точки зрения раскрытия причин упадка империи Хунну. Ученый указывает, что четкая система иерархии, созданная Модэ, не сохранилась в дальнейшем и не могла сохраниться, так как рост кочевой элиты происходил, как пишет автор, «едва ли не в геометрической прогрессии». Через несколько поколений даже потомкам шаньюя не хватало должностей, не говоря уже о разросшихся других аристократических кланах. В рядах элиты росло напряжение и возникали очаги междоусобных войн. Введение новых должностей вносило дезорганизацию в уже отлаженные институты власти, но на время успокаивало знать. Однако опасность заключалось не только в том, что снижалась внутренняя управляемость империи. Гораздо более значимой Н.Н. Крадин считал другую угрозу – невозможность шаньюя удовлетворить потребности численно возрастающей элиты. Тем самым блокировались редистрибутивные механизмы управления. В конечном итоге это вело к ослаблению централизации и эволюции имперских структур в сторону возрастания конфедеративных тенденций (Крадин Н.Н., 1996, с. 125–139; 2001/2002, с. 216–224).

В начале 2000-х гг. Н.Н. Крадин совместно с С.В. Даниловым и П.Б. Коноваловым продолжил комплексное палеосоциологическое исследование археологических материалов хунну Забайкалья (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, 2005; Крадин Н.Н., 2007, с. 195–260). Географическая обособленность Забайкалья и наличие в этом регионе многочисленных археологических объектов хунну позволили исследователям рассматривать эту территорию как отдельное административно-политическое подразделение хуннской империи. Таким образом археологические памятники Забайкалья, по их мнению, могут рассматриваться как единый полигон для социального моделирования. Для реализации этой цели авторы сформулировали следующие задачи исследования: 1) дать общую характеристику общественного строя Хуннской державы и показать особенность социальной структуры хунну; 2) выявить основные принципы реконструкций социальных структур в археологии по данным захоронений; 3) проанализировать погребальные памятники хунну Забайкалья (Иволгинский могильник, Дырестуйский Кутлук, Черемуховая падь, Ильмовая падь); 4) реконструировать особенности социальной структуры населения Забайкалья в хуннскую эпоху (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 10).

В монографии подробно характеризуется общественная система хуннского общества (на основе вышерассмотренных публикаций Н.Н. Крадина). По всей видимости, в контексте решения других

задач исследования (семейно-клановый характер захоронений) его авторы акцентировали внимание на огромной роли генеалогической системы родства у кочевников. Но при этом не исключалась и вертикальная социальная мобильность вне генеалогических рамок, прежде всего за счет военной доблести (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 19).

Н.Н. Крадин, С.В. Данилов и П.Б. Коновалов подчеркнули необходимость при проведении социологических реконструкций по археологическим данным сочетать функционалистский подход («совокупность функционально важных, значимых для общества позиций и институтов») с изучением социального неравенства («совокупности иерархических общественных связей, отражающих положение отдельных индивидов и групп»). Соглашаясь с мнением представителей постпроцессуальной археологии об отсутствии прямой связи между погребальным ритуалом и социальным статусом захороненного, исследователи полагали, что различия в размерах захоронений, их конструкции, составе инвентаря все же выражают социальные различия между погребенными без жесткой привязки тех или иных типов погребений к конкретным социальным группам. Они считали, что монументальные сооружения («царские» курганы хунну) «создают специфическое священное пространство, которое символизирует божественный, иррациональный статус земной власти...», и «как бы представляют в опредмеченной форме реальный политический контроль и права собственности на значимые ресурсы» (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 28).

В основу своего анализа ученые положили половозрастную дифференциацию, выявленную по материалам хуннских погребений. Предложенная авторами методика изучения половозрастных различий была разработана с использованием опыта отечественных и зарубежных ученых. Особо следует отметить продуктивное применение методов статистического анализа с пошаговой реализацией задач исследования (создание базы данных, выявление факторов, значимых для возрастной дифференциации, для полового деления массива взрослых погребений, разделение всего массива на взрослые и детские погребения, отбор мужских и женских погребений, изучение отличий в погребальном обряде в пределах однородных половозрастных групп посредством кластерного анализа, выявление факторов, связывающих те или иные внутригрупповые кластеры с различными категориями сопроводительного инвентаря, интерпретация результатов).

Объектом изучения стала довольно представительная выборка из 426 погребений (60 погребений могильника Ильмовая падь; 130 погребений могильника Дырестуйский Кутлук; 20 погребений могильника Черемуховая падь; 216 погребений Иволгинского могильника). Более 200 признаков были сведены авторами в пять основных групп (категорий): 1) надмогильные сооружения; 2) погребальные сооружения; 3) останки погребенных; 4) сопроводительный инвентарь; 5) жертвенная пища. В целом видно, что статистические методы дают исследователям очевидные преимущества (систематизация, обоснованность дифференциации и т.д.), а факторный анализ позволяет выявить скрытые взаимосвязи между выборными признаками. Однако, учитывая, что в книге отсутствует исходная база данных и не показана «кухня расчетов», возникает опасность определенного искажения. В рецензируемой работе не упоминается поправка при расчетах на различную степень сохранности, а также на применение разной методики раскопок, тщательности исследований. Критика В.Ю. Зуевым (1996) известной работы итальянских и российских археологов «Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии» (Вып. I: Савроматская эпоха. М., 1994), в частности раздела, написанного М. Бернабей, Л. Бондиоли и А. Гуиди (1994, с. 159–184), показала, что в результате игнорирования многих факторов и некритического отношения к источникам могут быть поставлены под сомнение все результаты исследования.

По результатам анализа грунтовых погребений Иволгинского могильника удалось установить «схожее распределение по типам погребальных сооружений» для мужских и женских захоронений (преобладание захоронений в срубе, наличие погребений в яме и незначительное число погребений в гробовище), в то время как детские погребения в основном производились в простых ямах. При этом средняя длина и ширина мужских захоронений превосходила среднюю длину и ширину женских захоронений (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 36–37). Аналогичные различия фиксируются и на других рассматриваемых могильниках, но зачастую речь идет об иных показателях. На Дырестуйском Кутлуке и в могильнике Ильмовая падь мужские, женские, детские погребения отличались по размерам надмогильных сооружений, хотя различия между длиной и шириной могильных ям мужских и женских захоронений были не столь существенны. Исследованные женские и мужские погребения могильника Черемуховая падь мало различались как размерами надмогильных сооружений, так и параметрами могильных ям. Однако сопоставление между собой погреб-

бений разных могильников выявило явное преобладание по сложности внутримогильных конструкций кочевнических захоронений, среди которых были и «элитные» (Ильмовая падь), над погребениями жителей Иволгинского городища (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 80–81).

Для уточнения половозрастных отличий погребений каждого из могильников авторы создали матрицы коэффициентов корреляции признаков сопроводительного инвентаря для мужских, женских и детских погребений. Вывод о «специфических нюансах для каждой из половозрастных совокупностей» позволил утверждать, что они могут «в ряде случаев достаточно точно определить пол и отчасти возрастную группу захороненных», даже если не располагают антропологическими данными (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 42–43). Это послужило основой для включения в мужские, женские и детские массивы тех погребенных, в отношении которых не были установлены пол и возраст.

Более детализированной оказалась картина дифференциации населения Забайкалья хуннской эпохи по результатам кластерного анализа (решающее значение имели показатели 2, 4 и 5-й категорий – внутримогильные сооружения, сопроводительные инвентарь и жертвенная пища) с применением факторного метода. На Иволгинском могильнике удалось выявить две «резко отличающиеся социальные группы мужского населения» (первая группа – погребения с бедным инвентарем, что позволило авторам допустить «низкий общественный и экономический статус этой группы, участие данных лиц в общественном производстве в качестве эксплуатируемого слоя»; вторая отличалась более разнообразным инвентарем, в том числе наличием оружия, и может быть условно разделена на три стратифицированные подгруппы), пять групп женского (в зависимости от критериев можно выделить от 3 до 5 социальных категорий) и четыре группы детских захоронений. В целом авторы выделяют несколько уровней социальной дифференциации: от низших общественных групп до обеспеченных жителей городища, захоронения которых сопровождалось разнообразным сопроводительным инвентарем, оружием, обильной заупокойной пищей. Между этими крайними общественными стратами исследователи фиксируют достаточно широкое количество прослоек (в мужских захоронениях до трех, в женских – от двух до четырех, в детских – одна). Все это, по мнению ученых, свидетельствует о сложной общественной структуре населения городища (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 45–49).

В материалах Дырестуйского могильника выявлены три группы мужских захоронений, дифференциация которых как по составу инвентаря (в двух группах (субкластер 1А и кластер 2) фиксируется более разнообразный инвентарь и украшения), так и по сложности внутримогильных конструкций (погребения субкластера 1В отличало наличие захоронений только в гробе, тогда как в двух других группах преобладали гробы в срубах) относительна. Погребения субкластера 1В не имели надмогильных конструкций. В составе женских захоронений также выявлены три группы (отличия в присутствии предметов вооружения и остатков костей крупного рогатого скота). Детские захоронения, как считают авторы, скорее всего, различались инвентарем по половому признаку (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 59–60).

Немногочисленные погребения некрополя Черемуховая падь, подвергнутые кластерному анализу (8 захоронений) распределились в две группы мужских захоронений с разнообразным инвентарем, различавшихся размерами надмогильных сооружений и наличием во 2-й группе (кластер 2) обильных жертвоприношений крупного рогатого скота и козы, что свидетельствует об их примерно одноранговом статусе. Однако, по мнению исследователей, для кластера 1 более характерны признаки, связанные с оружием (кинжал, панцирь), а для кластера 2 – признаки, связанные с пищей (палочки для еды, ложки, обильная тризна). Эти особенности авторами объясняются отличием функциональных обязанностей погребенных, обозначенных условно как группа «военных» и группа «гражданских» лиц. Женские погребения также разделились на два резко отличающихся между собой кластера (погребения кластера 2 содержали значительно более разнообразный, многочисленный и богатый инвентарь, а также кости животных) (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 64–67).

Распределение мужских погребений могильника Ильмовая падь по кластерам натолкнуло авторов монографии на интересные выводы. В частности, из общего массива мужских захоронений резко выделились три «элитных» кургана (№10, 40, 54). Принципиальные различия между погребениями субкластеров 1А и 1В (в первом субкластере присутствуют зеркала, игральные кости, панцирь, подвески, золотые украшения; во втором – остатки меховой одежды, ажурная поясная бляха,

кольцо), наряду с тремя элитными курганами, позволили говорить о выделении 2–3 социальных рангов в мужских погребениях Ильмовой пади. В сравнении с другими могильниками хуннской культуры все группы мужских захоронений Ильмовой пади относятся к числу достаточно «богатых» погребений. В составе женских захоронений Ильмовой пади были выделены группа «богатых» (субкластер 1А, погребение №43, которое в принципе можно выделить в самостоятельный «высший» ранг), группа более «бедных» лиц (кластер 2) и группа женщин с самым низким статусом (субкластер 1В). Детские захоронения распределились на две группы. Важное значение имела попытка авторов связать часть детских погребений с ритуальными человеческими жертвоприношениями. В качестве главных аргументов названы: 1) расположение данных захоронений в непосредственной близости от так называемого княжеского кургана №54; 2) бедный сопутствующий инвентарь; 3) отсутствие в одной из могил черепа погребенного; 4) захороненный в погребении 54Б был предварительно связан; 5) корреляция этих наблюдений с данными письменных источников (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 67–71).

В подавляющем большинстве случаев принципы распределения погребений по кластерам выглядят весьма обоснованными. Это создает прочную основу для социальных реконструкций. Стоит только обратить внимание на несколько произвольную комплектацию кластеров. Особенно показательны это в отношении разбивки кластера 1 Иволгинского могильника на субкластеры. По своим признакам погребения субкластера 1АА оказались гораздо ближе к погребениям субкластера 1В, а не 1АВ. Такое неудачное ранжирование кластеров, затрудняющее восприятие выводов авторов, присутствует и в анализе материалов других могильников.

Оценивая в целом реализацию задач авторами книги, необходимо указать на ряд недостатков, связанных с процедурой исследования. Так, в Н.Н. Крадиным, С.В. Даниловым и П.Б. Коноваловым не раз отмечалось основополагающее значение реконструкции половозрастной структуры. Тем не менее в книге отсутствует попытка выявления внутренней дифференциации мужских и женских захоронений по возрасту. Акцент на статистических методах фактически сделал невозможным полноценное применение метода социальной планиграфии. На планиграфические позиции погребений было указано только при анализе материалов Черемуховой пади и описании детских (предположительно жертвенных) погребений в Ильмовой пади. Нет сомнений в высокой эффективности планиграфического метода при демонстрации взаимосвязи погребений представителей власти и их военно-аристократического окружения или при обосновании зависимого статуса захороненных.

Стоит согласиться с мнением авторов о том, что «изучение погребальных памятников хунну Забайкалья подтверждает тезис о многоуровневой социальной иерархии в империи Хунну, прослеживаемой в различных половозрастных и этнокультурных группах общества» (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 72). В то же время исследователи полагают преждевременным привязку выявленных групп захоронений к конкретным общественным слоям хуннского общества. Это не исключает формулирование гипотез об общественном статусе некоторых погребенных. Так, по мнению авторов, элитные курганы могильника Ильмовая падь и некоторых других некрополей с «царскими» погребениями «были возведены в память высших региональных вождей и их ближайших родственников» (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 74).

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. более детально, по сравнению с предыдущим периодом своего научного творчества, проработал вопросы социальной истории и политической системы хунну С.Г. Кляшторный, что нашло отражение в целой серии публикаций (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Кляшторный С.Г., 2001г, 2005) и новом переработанном издании совместной монографии С.Г. Кляшторного и Д.Г. Савинова (2005). Общественному и государственному устройству хунну были отведены отдельные разделы, которые позволяют характеризовать подход исследователя. Также стоит подчеркнуть несомненное влияние на С.Г. Кляшторного разработок Н.Н. Крадина, особенно на уровне терминологии, однако хуннскую империю он продолжал рассматривать как государство. Причем становление государственных институтов, по мнению С.Г. Кляшторного, началось еще до создания империи. Он, в частности, пишет, что в последние десятилетия III в. до н.э. союз гуннских племен, возглавляемый вождем-шаньюем, испытал небывалую ломку традиционных отношений, завершившуюся возникновением у гуннов раннего государства (Кляшторный С.Г., 2005, с. 26). В других публикациях – «примитивного варварского государства» (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 52, Кляшторный С.Г., 2001г, с. 53; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 20). По всей видимости, исследователь не дифференцирует для себя эти понятия. Он также использует как

равнозначные термины «государство» и «империя» в отношении хуннского объединения после реформ Маодуня и победы хунну в первой четверти II до н.э. над юэчжами.

С.Г. Кляшторный подчеркивает иерархический характер государственности, длительный процесс его формирования в борьбе с соседними племенными союзами и китайскими царствами. Систему управления у хунну исследователь рисует как централистскую, авторитарную и практически с абсолютной властью шаньюя из рода Люньди. Его власть была строго наследственной и освященной божественным авторитетом («сын Неба»). Особо показательно перечисление прав и функций шаньюя, исходя из которых власть кочевого правителя скорее напоминала власть восточного деспота: право распоряжаться всеми землями, принадлежавшими гуннам; право объявления войны и заключения мира; верховное военное руководство; концентрация в своих руках всех отношений с соседними государствами; монопольное руководство внешнеполитическим курсом; осуществление функций верховного судьи с правом решать жизнь и смерть каждого поданного. Также С.Г. Кляшторный особо выделил сакральные функции, исполнение шаньюем главного культа (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 62–63; Кляшторный С.Г., 2001г, с. 61–62; 2005, с. 26–27; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 29–30).

Как бюрократизированный государственный аппарат представлены в работах С.Г. Кляшторного окружение шаньюя («многочисленная группа помощников, советников и военачальников») и провинциальное управление (темники). Причем, как считает ученый, «решающее слово всегда оставалось за шаньюем, даже если он действовал вопреки единодушному мнению своего окружения» (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 63; Кляшторный С.Г., 2001г, с. 62; 2005, с. 27; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 30).

Все высшие лица в государстве, как считал С.Г. Кляшторный, такие как левый и правый (т.е. западный и восточный) «мудрые князья», были его сыновьями или ближайшими родственниками. Они управляли западными и восточными территориями империи и одновременно командовали левым и правым крыльями армии. В целом верхи гуннского общества составляли четыре аристократических рода, связанных между собой брачными отношениями. Родичами шаньюя он считал и темников (24 высших военачальника, распределенных между левым и правым крыльями войска, западной и восточной частями империи). Причем «тот или иной пост занимался в зависимости от степени родства с шаньюем». И в отношении темников права шаньюя, в трактовке С.Г. Кляшторного, были абсолютными: он назначал их, выделял «каждому темнику территорию вместе с населением», перемещение племен было возможно исключительно по приказу верховного правителя, только шаньюй мог смещать и наказывать темников (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 63–64; Кляшторный С.Г., 2001г, с. 62–63; 2005, с. 28; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 30–31). Учитывая, что темники назначали тысячников, сотников и десятников, наделяя их землей с кочующим населением, в представлениях ученого власть у хунну имела вид четкой иерархии военно-административных чиновников, подчиненных шаньюю.

Адекватно этим представлениям исследователь рисует повинности населения: военная служба взрослых мужчин, малейшее уклонение от которой каралось смертью; все мужчины с детства и до смерти были приписаны к строго определенному воинскому подразделению, и каждый сражался под командованием своего темника; начиная с шаньюя Лаошаня осуществлялось взимание податей, регулярные съезды «всех начальников» для осуществления культовых действий и обсуждения государственных дел (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 64; Кляшторный С.Г., 2001г, с. 63; 2005, с. 28–29; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 31).

Однако при этом исследователь подчеркивал не только родственный характер отношений в элите (именно они определяли «социальное положение и политическую роль каждого, кто принадлежал к высшим слоям гуннского общества), но и «патриархальный» характер племенного правления, «кровно связанного с рядовыми соплеменниками» (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 65; Кляшторный С.Г., 2001г, с. 63; 2005, с. 29; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 31). Тем самым система отношений внутри собственно хуннских племен трактовалась достаточно противоречиво.

Социальное расслоение, по мнению С.Г. Кляшторного, имело вид иерархии родов и племен. Во главе государства стояли знатные роды, родственные роду шаньюя. С ними были связаны хуннские племена. Особое положение знати, согласно точке зрения исследователя, выражалось в ее праве осуществлять контроль над пастбищными землями (право распоряжаться перекочевками и тем самым распределять кормовые угодья между родами). Чтобы не возникало противоречий с его пред-

ставлениями о властных полномочиях шаньюя и его «чиновников», С.Г. Кляшторный уточнил, что степень реализации права контроля целиком зависела от места того или иного знатного лица в военно-административной системе, что, в свою очередь, определялось его местом в родоплеменной иерархии (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 65; Кляшторный С.Г., 2001г, с. 63; 2005, с. 29; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 31).

На более низкой ступени находились покоренные племена, адаптированные в гуннскую родоплеменную систему. Ниже их были покоренные племена, не включенные в состав гуннских. Как считал ученый, «они подвергались особенно безжалостной эксплуатации». В качестве аргумента он привел пример из китайских хроник о наказании дунху за невыплату дани (казнь родовых старейшин, обращение в рабство женщин и детей, за освобождение которых требовался особый выкуп). Также исследователь указал на существование у хунну разных форм рабства: рабы-иноплеменники, которые жили вместе с гуннами в укрепленных городках, копали оросительные каналы, пахали землю, участвовали в строительных и горных работах, в различных ремесленных промыслах; гунны, попавшие в рабство за различные преступления и, возможно, составлявшие «низшую часть большой патриархальной семьи» (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 62; Кляшторный С.Г., 2001г, с. 61; 2005, с. 26; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 29).

Полагаем, что представления С.Г. Кляшторного об общественно-политической жизни хунну излишне модернизированы и не очень согласуются с данными источников, где власть шаньюя далеко не выглядит такой абсолютной, а общественная система – несомненно, более децентрализована и опирается на традиционные институты кланово-племенной власти. Гипотетическим представляется мнение ученого о налогах у хунну, праве шаньюя распоряжаться землей и устанавливать маршруты кочевания и др.

При этом нельзя не отметить, что С.Г. Кляшторный остро поставил вопрос о характере отношений хунну с подвластными племенами. Этот актуальный вопрос затронул в одной из своих работ Ю.С. Худяков (2005). Ученый отметил, что еще хунну практиковали разные формы зависимости по отношению к покоренным племенам. В одних случаях, этнические группы просто ассимилировались (лоуфани, байан), в других – управлялись наместниками. В отношении же третьих племен, например усуней, проводилась весьма лояльная политика, что выразилось в предоставлении возможности им сохранить свою систему управления и правителя (Худяков Ю.С., 2005, с. 351). Аналогичные процессы протекали и после выхода на историческую арену Центральной Азии сяньбийцев, а затем и жужаней. Последние выработали новый механизм воздействия на подчиненные народы, а именно переселение их за пределы исконной территории. Впервые такая практика, вероятно, по мнению исследователя, была апробирована на тюрках Ашина, кыргызах и носителях чаатинской культуры Тувы (Худяков Ю.С., 2005).

Отдельным направлением в изучении социально-политической истории кочевников Центральной Азии хунно-сяньбийского времени является проблема контактов с Ханьским Китаем. Данная проблема на основе анализа письменных источников и отдельных археологических находок из элитных комплексов довольно подробно рассматривалась Н.Н. Крадиным (2001/2002), С.С. Миняевым, Л.М. Сахаровской (2007а, 2007б) и некоторыми другими учеными. В последние годы к этому вопросу все чаще обращаются с опорой на археологические данные (Филиппова И.В., 2005), поскольку влияние китайской культуры хорошо прослеживается по погребальному обряду и сопроводительному инвентарю хунну. Китайский импорт рассматривался как предмет роскоши в кочевом обществе. И.В. Филиппова отмечает, в наибольшей степени подражать китайской аристократии стремилась военная верхушка номадов. В меньшей степени предметов роскоши китайского происхождения встречено в погребениях «средней прослойки хунну» и в единичных случаях – в захоронениях рядовых номадов (Филиппова И.В., 2005, с. 19–20). Исследовательница также указала на то, что именно взаимодействие с Китаем положительно сказалось на формировании хунну первой кочевой империи в Центральной Азии (Филиппова И.В., 2005, с. 24).

Следует отметить, что некоторые черты политической организации хунну прослеживаются и у других кочевых народов Центральной Азии, находившихся в определенный период в зависимости от хунну. Так, Т.Д. Джуманалиев (2004) специально посвятил одну из своих работ сравнительному анализу организации политической власти у хунну и усуней. В результате своих изысканий, основанных преимущественно на письменных источниках, исследователь пришел к следующим выводам, которые в отдельных позициях противоречивы. В последнем случае речь идет о том, что Т.Д. Джуманалиев (2004, с. 57, 65) часто использует такие понятия, как государство, конфедерация

племен, кочевая империя, что делает не совсем понятной суть рассматриваемого вопроса. В то же время кочевниковед отметил, что политическая модель хунну оказала существенное влияние на усуней, после того как они переселились в Семиречье и освободились от зависимости. В то же время государство усуней, по сравнению с хуннским политическим образованием, было децентрализованным и немилитаризованным, о чем свидетельствует отсутствие института темничества или десятичной системы. Кроме этого, по мнению исследователя, политические институты у усуней в силу особых социально-экономических условий не получили значительного развития, что не позволило сформировать мощное централизованное государство (Джуманалиев Т.Д., 2004, с. 65).

Важный импульс палеосоциологическим исследованиям на основе археологических материалов хунно-сяньбийского периода придали открытия последних лет. Среди них выделим совместное изучение российскими и монгольскими археологами кургана №20 в пади Суцзуктэ в горах Ноин-Ула и раскопки С.С. Миняева и Л.М. Сахаровской «царского» кургана и сопровождающих захоронений в пади Царам.

Курган №20 располагался в западной части могильника Суцзуктэ и представлял собой задернованную плоскую четырехугольную платформу размерами 20x19 м с дромосом длиной 17 м, отходящим от южной стенки кургана. В центре кургана находилась западина от грабительского лаза диаметром около 5 м. Расчистка до уровня дневной поверхности позволила выявить четырехугольную ограду (ориентирована по сторонам света) из камней и валунов размерами 20x19 см (высота ограды 0,5–1 м) с внутренними перегородками из крупных валунов и камней, которые шли вглубь до первого каменного перекрытия (5,5–6 м), которые делили могильную яму на отсеки. Схожие конструкции наблюдались и на других крупных курганах хунну (курган №54 в Ильмовой пади, курган №20 могильника Гол Мод, курган №7 могильника Царам, курганы некрополя Дуурлиг Нарс). Могильная яма подходила вплотную к ограде и в верхней части имела размеры 18 (З–В) x 16 (С–Ю) м. Глубина ее составила 18,35 м. Стенки ямы имели пять уступов-ступеней (последняя на глубине 12,35 м; эта была и максимальная глубина дромоса в месте примыкания к могильной яме). На уровне четырех верхних ступеней располагались каменные перекрытия (последнее на глубине 8,5–10,3 м). Между перекрытиями «могильную яму заполняли утрамбованные разноцветные глины, редкие камни, щебень и гумусированные прослойки (Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008, с. 78–80).

Внутримогильные конструкции по центру были нарушены грабительской «шахтой». На уровне четвертого перекрытия на глубине 8,5 м вдоль северной стенки ямы обнаружено скопление черепов лошадей, козлов и овец (более 20 особей), засыпанное сверху углем, камнями, грунтом. По мнению авторов раскопок, подобная особенность обряда характерна для погребений и знати, и рядовых номадов, а черепа животных «символизировали стадо, без которого невозможная жизнь скотоводов (Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008, с. 80–81).

Между четвертым каменным перекрытием и пятой ступенью были обнаружены остатки ханьской колесницы. Половина ее была разрушена грабительским ходом, но сохранившиеся детали (бронзовые фигурные концы деревянных спиц зонта с остатками кожи и шелковых лент, часть кузова из дерева, покрытого красным и черным лаком, фрагменты колес и бронзовые позолоченные детали, фрагменты деформированного металлического сосуда на небольшом поддоне и черпак, найденные под сиденьем колесницы) позволили восстановить первоначальную конструкцию. Согласно точке зрения исследователей, это была «легкая повозка с зонтом для высокопоставленного чиновника». Такие повозки известны по китайским изображениям. Также они предположили, что и в других ноин-улинских курганах знати были помещены колесницы, не обнаруженные лишь потому, что памятники раскапывались с помощью узких шурфов (Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008, с. 82–83).

После пятой ступени могильная яма имела отвесные стенки с закругленными углами. На глубине 17,7 м по всему периметру прослеживался уголь. Далее яма была заполнена водой. На глубине 17,85 м находилось перекрытие погребальной камеры из бревен и плах, уложенных по линии З–В. Перекрытие просело до пола. В его центральной части находилось грабительское отверстие размерами 0,5x0,5 м. Погребальная конструкция включала внешний и внутренний сруб из сосновых плах и гроб. Стенки срубов и внутренние подпорки были разрушены. В соответствии с реконструкцией ученых внешний четырехвенцовый сруб имел размеры 4,8x3,2 и высоту не более 1,4 м, внутренний трехвенцовый – высоту 1 м. Оба сруба длинными стенками плотно примыкали друг к другу, поэтому западный и восточный коридоры между ними отсутствовали. Потолки срубов поддерживались

стенами, специальными балками и колонами. Срубы были установлены на пол из 15 стесанных с четырех сторон и плотно подогнанных друг к другу сосновых плах, уложенных по линии З–В. Покрытый красным лаком сосновый гроб был разбит грабителями (остатки погребенного отсутствовали) практически в щепу, но, скорее всего, был аналогичен другим гробам ноин-улинских курганов. Были найдены три бронзовые ручки от гроба. Пол погребальной камеры был застелен «войлочным, крытым шерстяной и отделанным шелковой тканью ковром с аппликациями в виде спиралей в центре и животных по краям» (такие же ковры найдены в курганах №1 и 6 Ноин-улы и кургане №20 Гол Мод). Ковер был усыпан зерном и затянута слоем светло-серой глины, в которой находился сохранившейся погребальный инвентарь (предметы конской упряжи и ее украшения из серебра и меди, лаковая посуда и вышитые шелковые ткани, фрагменты нефритовых изделий, курильница, зеркало и т.д.) (Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008, с. 83–84).

Наиболее ценными являются соображения ученых о заимствовании хуннской знатью погребальных традиций в Китае. Они считают, что «курганы шаньюев и, вероятно, средние курганы, как на могильниках Гуджиртэ или Дуурлиг Нарэ (Монголия), строились по аналогии с ханьскими погребениями» (чуть ли не единственная хуннская традиция – захоронение черепов домашних животных). Ханьское влияние видится исследователям и в выборе места захоронений, и в устройстве самого погребального сооружения. В частности, они отметили, что уже в эпоху Чжоу в соответствии с правилами «простых смертных должны были хоронить на равнинах, знатных – на холмах, а императоров – на вершинах гор». Этим правилам вполне соответствовали природные условия гор Ноин-Улы (Полосьмак Н.В. и др., 2008, с. 85). Отмечают ученые и влияние китайского культа предков, согласно которому забота о покойном обеспечивала благосостояние потомков.

Внутримогильная конструкция, помимо своего социально-сакрального значения, отличалась тем, что по прошествии времени сооружения не проседали. Тем самым они играли еще и роль фундамента для невысокой наземной части. Авторы раскопок также отметили, что могилы хунну заполнялись плотно утрамбованными слоями специально подобранного грунта (глина, щебень, галька), которые чередовались со слоями каменных перекрытий. При этом забутовка проводилась по всем правилам строительной технологии. Многослойное, сложное и плотное заполнение ямы должно было предотвратить проникновение в могилу грабителей (Полосьмак Н.В., 2008, с. 85, 87).

Авторы исследования также обратили внимание на сходство четырехугольной формы курганов хунну (она отлична от типичных округлых в плане насыпей скифского периода) с погребальными сооружениями Хань – пирамидальными курганными насыпями, возведенными на квадратной или прямоугольной земляной платформе. Разрушение грабителями центра надмогильной конструкции не позволило ученым зафиксировать наличие или отсутствие каких-то сооружений на платформах курганов хунну. Однако имелись и различия. Хуннские курганы не имели высоких надписей, в то время как в Китае захоронения членов императорской семьи достигали более 12,8 м, могилы высшей знати имели насыпи высотой до 12,8 м, обычных сановников – не более 4,8 м. В то же время хуннские погребения отличались глубиной могилы и сложными внутренними конструкциями (дромос, ступенчатые стенки, перекрытия). Сооружение таких могил начиналось после смерти знатного хунну и занимало несколько месяцев в зависимости от его ранга (Полосьмак Н.В. и др., 2008, с. 85–87). Толстый слой древесного угля должен был впитывать влагу, а светло-серая глина, уложенная вдоль стен, на дне и под полом погребальной камеры, наряду с углем, по примеру китайских захоронений, должна была на века «запечатать» погребение.

Авторы заключают, что хуннские курганы могли сооружаться при помощи и участии китайских «перебежчиков», гробы, покрытые лаком и нередко расписанные, безусловно изготавливались китайцами. Причины китаизации погребального обряда исследователи видели в том, что в силу имперских традиций «высший слой хуннского общества копировали культурные традиции (и не только погребальные) империи Хань». Они подчеркивают также и совпадение ментальных установок – «и те, и другие поклонялись Небу, а шаньюи, как и ханьские императоры, считали себя «сынами Неба» (Полосьмак Н.В., 2008, с. 87).

Все это позволяет заключить, что сближение традиций номадов и населения Китая, заимствования кочевниками из бытовой и ментальной практики ханьцев, в целом отношения между ними были более тесными, чем представлялось ранее.

Еще одним полигоном новейших исследований хуннских элитных памятников стало «царское» захоронение и выявленные рядом с ним курганы могильника Царам, находящегося недалеко от российско-монгольской границы (в 1,5 км южнее поселка Наушки) и впервые зафиксированного

Ю.Д. Талько-Гринцевичем еще в конце XIX в. Из почти 30 курганов, выявленных С.С. Миняевым при составлении топографического плана могильника в 1996 г., подавляющая часть каменных кладок была разрушена распашкой, дорогами, эрозией. Только самый крупный курган №7, расположенный в северной части пади, остался непо потревоженным. Рядом с этим курганом были выявлены остатки небольших захоронений. «Сопроводительные» захоронения располагались двумя линиями (по 5 захоронений в каждой цепочке) с западной (курганы-захоронения №12–16) и восточной (№6, 8–11) сторон от кургана №7. Расстояние между курганами в каждой из цепочек составляло 3–4 м, от западной и восточной стенок кургана №7 их отделяло соответственно 25–24 и 25–21 м. Таким образом, по мнению С.С. Миняева и Л.М. Сахаровской (2002, с. 87–88, рис. 2), сопроводительные захоронения образовывали «единый погребальный комплекс» с курганом №7.

Свою точку зрения о сопроводительном характере рассматриваемых захоронений авторы аргументируют следующими соображениями. Во-первых, упоминаниями китайских хронистов Сыма Цянем и Бань ГУ о том, что «любимые слуги и наложницы» у хунну «следуют за умершими в могилу». Во-вторых, С.С. Миняев и Л.М. Сахаровская обратили внимание на «характерные» повреждения скелетов. Так, в кургане №6, где длинные конечности были не потревожены, отсутствовали кости стоп и правой кисти, кости левой руки лежали в обратном порядке. В другом погребении №15 не были обнаружены концевые фаланги ног, а неестественное положение кистей и левого предплечья позволило предположить, что руки погребенного были связаны. Исследователи также заметили неестественную деформацию некоторых костей на большинстве скелетов, которые они считают свидетельством «каких-то физических недостатков погребенных». Все эти факты рассматривались как доказательства насильственного характера смерти лиц, погребенных в сопроводительных захоронениях (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 110).

С.С. Миняев и Л.М. Сахаровская, наряду с этим, указали на отличия сопроводительных захоронений кургана №7 могильника Царам от аналогичных погребальных памятников Дырестуйского могильника. Они, в частности, отметили значительно большее число сопроводительных захоронений в Цараме (10), по сравнению с Дырестуйским некрополем (от 1 до 3-х захоронений), особенно половозрастного состава погребенных (в Цараме только представители мужского пола; в Дырестуе – женщины и подростки), а также специфическое планиграфическое расположение сопроводительных захоронений у кургана №7 могильника Царам двумя равными по количеству цепочками, в то время как на Дырестуйском могильнике сопроводительные погребения располагались в подавляющем большинстве случаев у юго-западного или юго-восточного угла центрального кургана, то в Цараме они образовывали две линии по пять погребений в каждой, расположенные почти симметрично по отношению к основному кургану с его восточной и западной стороны (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 110, 112).

В ходе дальнейшего анализа материалов сопроводительных захоронений удалось обнаружить зависимость «... между местом захоронения в группе и возрастом погребенного»: самые старшие мужчины были захоронены в северных могилах (в восточной группе в кургане №10 возраст погребенного определен как 30 лет, в западной группе в кургане №12 – 35–40 лет). Как выяснили авторы, возраст остальных погребенных «убывает» в направлении с севера на юг: «более молодые мужчины и юноши (в среднем 25–15 лет) захоронены в середине каждой линии, а в самых южных могилах (№11 и 16) погребены дети практически одинакового возраста (4–6 лет)» (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 110, 111).

Также удалось выявить определенную корреляцию между местом погребения в группе, возрастом погребенного и погребальными конструкциями (исключая самые южные детские захоронения). С учетом того, что надмогильные сооружения данных курганов были разрушены при распашке (можно лишь отметить более высокую концентрацию «камней от разрушенных кладок» в северной части каждой группы), речь шла в основном о внутримогильных сооружениях. Так, в северных могилах внутренние конструкции как в кургане №10 (гроб в каменном ящике, перекрытом несколькими рядами плит; подбой в северной стенке ямы; подсыпка из угля на дне ямы), так и в кургане №12 (гроб в срубе, вставленном в каменный ящик и перекрытом глиняными блоками) были наиболее сложными среди всех рассматриваемых захоронений. Для погребений «в середине групп типичны более простые по конструкции деревянные гробы, вставленные в каменные ящики. Наиболее простые внутримогильные сооружения «зафиксированы в предпоследних (считая с северной стороны) захоронениях каждой линии: в могиле 6 (восточная группа) и в могиле 15 (западная группа) они

представлены только гробами» (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 110–111). Различия, «определяемые местом могилы в группе», также нашли отражение в составе заупокойной пищи.

Гораздо сложнее оказалось выделить какие-то особенности захоронений по составу инвентаря. Несмотря на то, что все захоронения вокруг кургана №7 были ограблены, во всех могилах взрослых мужчин и подростков найдено оружие – лук (концевые и срединные накладки), железные и роговые стрелы разной формы, железные поясные пластины, пряжки и многое другое (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 111).

Проведенные наблюдения позволили исследователям «трактовать рассматриваемые погребения мужчин и подростков с оружием», расположенные рядом с курганом №7, как «упоминаемые в письменных источниках захоронения «слуг», своего рода «личной гвардии» вождя, убитых во время погребальной церемонии и «сопровождавших» своего хозяина в потусторонний мир». Как считают ученые, в рамках социальной категории «слуг» существовало «несколько рангов, что нашло отражение в определенном различии погребальных конструкций среди каждой группы сопроводительных захоронений» (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 111).

Специфичными были детские захоронения (погребения №11 и 16). Они имели более сложные конструкции, чем расположенные по соседству к северу захоронения подростка и молодого мужчины. Так, в кургане №11, где был погребен мальчик 4–5 лет, обнаружен деревянный гроб в каменном ящике, перекрытом несколькими рядами плит, в то время как в соседнем более северном захоронении №6 подросток 16 лет был погребен только в гробу. Аналогичная картина зафиксирована и в западной группе, где в детской могиле №16 (ребенок 5 лет) был сооружен деревянный гроб с имитацией каменного ящика из нескольких крупных плит, а в соседней могиле №15 мужчина 25–30 лет был погребен только в гробу. К тому же, будучи почти полностью ограбленными, детские погребения №11 и 16 содержали инвентарь (фрагмент чашечки с лаковым покрытием, сосуд и железную пластину пояса), который в «качественном отношении» вряд ли сильно уступал инвентарю взрослых захоронений (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 111).

Интересна в связи с этим попытка авторов объяснить факт особого статуса детских погребений. С.С. Миняевым и Л.М. Сахаровской была высказана версия о том, что дети в данных захоронениях по своему происхождению «принадлежали к той же социальной категории «слуг» и после совершеннолетия должны были наследовать один из ее рангов». Более того, уровень наследуемого их ранга был «выше, чем реальный прижизненный статус погребенных рядом с детьми подростка (восточная группа) и молодого мужчины (западная группа)», поэтому для детей (еще не прошедших возможный обряд инициации; этим можно объяснить отсутствие в детских могилах оружия) и были сооружены соответствующие этому потенциальному рангу более сложные конструкции, чем для погребенных рядом более взрослых слуг» (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 111).

Подводя итоги своим сопоставлениям сопроводительных захоронений в Цараме и Дырестуйском могильнике, исследователи пришли к выводу о том, что такие отличия были вызваны «различным статусом погребенных в центральных курганах могильника». Если в Дырестуе, по мнению С.С. Миняева и Л.М. Сахаровской (2002, с. 112), «погребальные конструкции и инвентарь центральных курганов позволяют связать их с рядовой частью общества, то центральный курган №7 в Цараме, судя по его размерам и особенностям устройства, является захоронением представителя высшей сюннуской знати, возможно, одного из вождей (шаньюев)». Высказанные предположения, по словам авторов, требовали проверки путем исследования других погребальных комплексов знати с применением метода сплошного раскопа. Также перспективным представлялось «использование палеогенетического анализа для определения степени родства погребенных как в отдельных комплексах, так и в могильнике в целом» (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 112).

Соглашаясь в целом с интересной интерпретацией С.С. Миняева и Л.М. Сахаровской погребений рядом с курганом №7, отметим один принципиально важный момент. Как и в случае с дырестуйскими «сопроводительными» захоронениями, считаем пока малообоснованной версию о насильственном характере смерти всех погребенных в «сопроводительных» захоронениях. Деформация, перемещение или отсутствие костей могли быть вызваны самыми разными факторами (деятельность грабителей и землероев, различные погребальные практики). Высокий статус лиц, погребенных в сопроводительных захоронениях, подчеркивается наличием курганов (каменных конструкций), разнообразных внутримогильных сооружений, обильным инвентарем и т.п. Это позволяет, естественно только гипотетически, видеть в погребенных вокруг кургана №7 не просто «слуг», лично преданных вождю дружинников, но представителей военно-аристократического окружения

шаньюя по типу скифских ферापонтов. В связи с чем возможно предполагать не насильственный, а добровольный или даже естественный характер их смерти в контексте культово-сакральных предствлений военизированной элиты хунну. Тем более, что нет полной уверенности в одновременности их захоронения с вождем, поскольку разбег радиоуглеродных дат варьируется в пределах I в. до н.э. – I в. н.э. Лишь косвенно в пользу одновременного (или близкого по времени) захоронения десяти слуг и вождя свидетельствуют композиция и планиграфия памятника. Логично было бы предположить, что все эти могилы пристраивались к уже сооруженному кургану №7. В пользу этого говорит и приблизительно равная удаленность сопроводительных захоронений от западной и восточной стенок кургана, одинаковое расстояние между самими захоронениями, совпадение «возрастной» логики в каждой из цепочек. Очевидно, что вопрос о «сопроводительном» статусе периферийных захоронений остается пока открытым и требует дальнейших исследований.

Следует учитывать и уникальные материалы самого «царского» захоронения кургана №7, датируемого I в. н.э. Целый ряд признаков позволил С.С. Миняеву и Л.М. Сахаровской обоснованно определить данный памятник как погребение «одного из сюннских вождей (шаньюев)» (Миняев С.С., 2006; Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2007а, с. 130; 2007б, с. 159, 166). Курган имел насыпь размером 32 х 32 м и высотой около 1 м. С юга к насыпи примыкал 20-метровый дромос трапециевидной формы. Вертикальные каменные плиты по периметру насыпи образовывали своеобразные стены. При разборе могильной ямы в ее верхней части было выявлено сооружение, которое условно можно назвать деревянной клетью. Она состояла из одной продольной и семи поперечных перегородок, сложенных из сосновых бревен и деливших верхнюю часть ямы на девять отсеков. Продольная перегородка проходила через всю яму и дромос в направлении с севера на юг, разделяя их на западную и восточные части. При расчистке деревянной «клетки» были обнаружены десять фрагментов ханьского зеркала. По предположению ученых, «в рамках погребальной церемонии над рассматриваемым зеркалом совершался особый обряд... («зеркало подвергалось механическому или температурному воздействию и раскалывалось на несколько фрагментов»), который... был нормой погребальной практики сюнну в целом». Часть фрагментов «сопровождали умершего в потусторонний мир», а другие хранились у родственников (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2000б, с. 160). Под клетью были расчищены четыре перекрытия. Каждое перекрытие, образованное крупными каменными плитами, дополнительно подстилалось сосновыми бревнами, слоем тростника, древесного угля, речной гальки или крупного щебня. Исследователями были прослежены два грабительских хода, частично разрушивших центральную клеть, перекрытия и внутримогильное сооружение (Миняев С.С., 2006; Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2007б, с. 159–160).

Между третьим и четвертым перекрытиями обнаружены детали ханьской колесницы. Среди сохранившихся деталей – тент, колеса, наосьники, различные фрагменты корпуса, сиденья, втулки для колес, лакированные части дышла с орнаментом и др. По расположению деталей С.С. Миняев и Л.М. Сахаровская выяснили, что колесница была установлена в северной половине ямы на плиты четвертого перекрытия и затем засыпана грунтом, щебнем, галькой, углем и плитами третьего перекрытия. К сожалению, большинство деревянных деталей сгнило, а изделия из бронзы и железа окислились и деформировались. Погребальная колесница китайского производства подчеркивала особый статус вождя и может рассматриваться как косвенное свидетельство в пользу непосредственных его контактов с правящим домом Хань (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2007а).

Главное внутримогильное сооружение было расположено на глубине 17 м от поверхности кургана. Оно включало наружную камеру в семь венцов квадратных брусьев, внутренний сруб в пять венцов квадратных брусьев и помещенный внутрь сруба деревянный гроб. Высота наружной камеры составила около 170–180 см, а потолок – из досок шириной 20–35 см. Внутренний сруб имел аналогичное перекрытие из досок. Гроб был в значительной степени разрушен грабителями и последующим обрушением камеры. Несмотря на то, что значительная часть вещей, по всей видимости, была разграблена, в коридорах между стенками камеры, сруба и гроба сохранились весьма выразительные и уникальные находки: золотые инкрустированные изделия (пронизи с изображениями животных, сосудики, аналогичные предметам из коллекции Петра I), лакированные шкатулки с косметическими наборами (гребень, зеркало, заколки для волос, краска), берестяные сосуды с различными изображениями, детали конской сбруи с инкрустациями золотом, серебром и минералами, деревянные детали седла, серебряные и бронзовые бляхи, деревянный лакированный скипетр, лакированные сосуды с надписями и многое другое. Стоит учесть, что после обрушения внутримогильного сооружения «многие вещи были деформированы и раздавлены; железные предметы (в основном детали кон-

ской сбри) окислились и спеклись между собой». Их разбор осуществлялся уже в лабораторных условиях (Миняев С.С., 2006; Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2007б, с. 162–163).

Интересны некоторые конструктивные детали. Железные крюки, найденные в стенках наружной камеры, по мнению исследователей, служили для подвешивания уздечных наборов. Также были обнаружены три погребальные куклы (четвертая была извлечена грабителями). Куклы смоделированы из детского человеческого черепа (судя по молочным зубам детей в возрасте 2–4 лет), к которому крепились косы; длинные конечности куклы представлены в виде деревянных палочек, покрытых красным лаком. Погребальный инвентарь, например куклы №1, включал бирюзовые бусы, набор железных поясных пластин, лакированную деревянную шкатулку и четыре берестяных тусека, расположенные за головой куклы. Из других находок можно выделить обнаруженные в западном внутреннем коридоре два бронзовых поручня от гроба, в восточном внутреннем коридоре – два серебряных фалара с изображением горного козла, деревянный посох, покрытый темно-коричневым лаком с орнаментом, бронзовую бляху с изображением горного козла в прыжке, деревянную луку седла с серебряными бляхами и др. Большое количество ценных находок и фрагментов вещей сохранилось внутри гроба (Миняев С.С., 2006; Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2007б, с. 164–165). В целом рассмотренные выше материалы позволяют согласиться с мнением авторов раскопок о принадлежности всего комплекса кургана №7 к захоронениям представителей правящего в империи Хунну рода Люаньди или лиц близкого к ним статуса.

Более детальное описание захоронения хуннского «шаньюя» в пади Царам возможно только после полной публикации материалов кургана №7. Учитывая образцовый характер раскопок, продолжавшихся восемь лет, и их тщательность, научная общественность получит наиболее подробное представление о погребениях политических лидеров империи Хунну.

Кроме хунну, в истории народов Центральной Азии в конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. важную роль сыграли сяньбийцы и жужане (жуаньжуани). Археологические памятники этих народов еще только начинают выявляться исследователями (Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа, 2000, 2000а; Кириллов И.И., Ковычев Е.В., Литвинцев А.Ю., 2001; Юй Су-Хуа, 2002; Яремчук О.А., 2004; и др.) и не дают пока полноценной возможности для социокультурных интерпретаций. В силу ограниченности источниковой базы социально-политическая организация сяньбийского (93–235 гг. н.э.) и жужанского (359–552 гг. н.э.) обществ реконструировалась и в постсоветский период, преимущественно на основе китайских письменных источников (Воробьев М.В., 1994; Крадин Н.Н., 1994а, 2000в, 2007; Кычанов Е.И., 1997; и др.).

Вопросу общественного строя сяньбийской державы посвятил специальную статью Н.Н. Крадин. Он так же, как и другие исследователи, с сожалением отметил скудность источников. Поэтому социальная система (семья, клан, кочевье/племя; формы эксплуатации; функции вождей; наследование власти и пр.) характеризовалась им гипотетически, на основе примеров других кочевых сообществ (Крадин Н.Н., 1994а, с. 22–27). В связи с этим ученый уходит от конкретной оценки социального строя сяньби, отмечая при этом, что даже в теории не выработана система четких критериев, да к тому же в случае с сяньби очевидна ограниченность источниковой базы. В этой ситуации Н.Н. Крадин выбирает иной путь и предлагает рассматривать сяньбийскую державу как «кочевую империю». Свое предложение он аргументирует эпизодической информацией китайских хроник (объединение на огромной территории этнически разных племен и групп населения; наличие полиэтничной метрополии; экзополитарная политика сяньби, набеги на кочевых соседей и Китай; вымогание «подарков»; деление на центр, левое и правое крылья и др.). В качестве особенностей сяньбийской кочевой империи ученый отметил ограниченность экономических ресурсов (незначительное число оседлых поселений, ввоз железного оружия) по сравнению с другими имперскими объединениями номадов. В этой связи он предположил, что распад империи мог быть вызван и демографическими проблемами из-за недостатка ресурсов. Другая особенность – неустойчивый характер имперской системы. В этих условиях, по мнению автора, решающее значение имел субъективный фактор – личные качества таких лидеров, как Таньшихуай и Кэбинэн, сумевших «преодолеть племенной сегментаризм и создать могущественные державы» (Крадин Н.Н., 1994а, с. 29–34). К этому выводу следовало, пожалуй, добавить, что империя была только одной моделью существования сяньбийского общества в I–III вв. н.э. Наряду с этим были времена, когда сяньби представляли собой аморфное объединение «племен», между которыми нередко были внутренние конфликты (об этом пишет и сам Н.Н. Крадин), во второй половине III в. было два эпицентра интеграции (тоба и

мую), а между периодами возвышения имперских структур при Таньшихуае и Кэбинэне господствовали разные промежуточные формы политической организации.

Интересна позиция Н.Н. Крадина в отношении распространившегося в 1980-х гг. в отечественной историографии мнения о существовании у жужаней феодальных отношений. Он, в частности, обращает внимание на то, что при определении кочевых обществ Центральной Азии первой половины I тыс. н.э. как «феодальных» необходимо учитывать «узкое» и «широкое» толкование указанного понятия. В первом случае феодализм – это особый тип общества, характерный для Европы эпохи средневековья. Его характеризуют особые внутренние отношения между сеньорами, вассалами и зависимым населением. Социумы же кочевников наоборот сориентированы на внешнеэкономической эксплуатации. Поэтому при первом подходе к понятию «феодализм» ученый исключал возможность квалификации жужанского социума как феодального (Крадин Н.Н., 2000в, с. 90).

Если же, по словам исследователя, видеть в феодализме в «широком» смысле этап между первобытностью и индустриальным обществом, то тогда «широкая» трактовка феодализма «смыкается с другими теоретическими схемами, объединяющими все доиндустриальные послепервобытные общества в одну стадию». В таком случае, пишет ученый, особое значение приобретает вопрос о том, было ли у жужаней государство («раннее государство», «раннефеодальное» государство и т.д.) или Жужанский каганат может быть охарактеризован только как прегосударственное образование (конфедерация племен, вожество и др.) (Крадин Н.Н., 2000в, с. 90; 2007, с. 170). В конечном итоге, Н.Н. Крадин отмечает, что решаться данный вопрос может различным способом в зависимости от избираемой методологии. В связи с этим он предлагает рассматривать социально-политическую историю кочевников через призму многолинейной теории социальной эволюции. При таком подходе исследователь отвергает возможность применения к жужаням феодальной модели и интерпретирует жужанское объединение как кочевую империю со всеми присущими для таких образований признаками (Крадин Н.Н., 2000в, с. 90–92; 2007, с. 173).

Между тем нельзя сказать, что возможность применения марксистской теории к истории кочевников отвергается всеми современными учеными. В духе формационного подхода Е.И. Кычановым (1997) характеризовались объединения сяньби при Таньшихуае и жужаней.

Остается также сожалеть, что авторы первого тома академической «Истории Востока» не нашли возможности подготовить отдельный раздел по истории хуннской державы. Материалы о хунну фигурируют в основном в разделе по истории Китая, где рассматриваются только вопросы военного противостояния Цинь и Хань с хуннами, соперничества за Западный край, дипломатических и торговых отношений. Хуннское объединение при этом рассматривается как «племенной союз» (История Востока, 1997/2000, с. 440, 445, 446, 450).

Вопросы социально-политической истории сяньби и жужаней были также затронуты С.Г. Кляшторным. По аналогии с хуннским объединением исследователь считает степными империями государство Сяньби (Сяньбей) и Жужанский каганат. Так, в деятельности Таньшихуае он видит пример восстановления «имперских структур гуннского времени на всей территории степи, некогда принадлежавшей гуннским шаньюям». Дальнейшее разделение «территории государства» на центр, восточное и западное крылья окончательно завершило «создание военно-административного устройства» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 46). Особенностью Жужанского каганата, после реформ Шэлуна, также проведенного военно-административные реформы и организовавшего армию по десятичному принципу, были формирование государства «из степной вольницы» (бежавших из Китая в степь разноэтничных кочевников) и острейшая борьба жужаней с сяньбийской династией Тоба Вэй, захватившей власть в Северном Китае и племенами гаоцзюй (гаогюй, теле), располагавшимися на севере и северо-западе Монголии (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 50–53, 55–58).

Важный вклад в наши представления об особенностях общественной структуры населения хунно-сяньбийского времени внесли палеосоциологические исследования материалов погребальных комплексов в Туве и на Алтае. Следует подчеркнуть, что речь в основном идет о группах кочевников, в том числе мигрантов, принявших «влияние хуннской культурной традиции» (Савинов Д.Г. 1994а, с. 144). Тем не менее многие из представленных ниже социальных реконструкций носят практически образцовый характер, демонстрируют разные инновационные подходы, выработанные «социальной археологией», и рисуют более детальный образ пусть и локальных сообществ, чем имеющиеся на сегодняшний день палеосоциальные разработки на основе монгольских материалов.

Так, Д.Г. Савинов в определенной степени дополнил и конкретизировал выводы Р. Кенка относительно социальной истории «кокэльцев» с учетом планиграфии захоронений, особенностей погребальных сооружений, инвентаря и палеодемографических данных. Ученый также наметил определенные параллели в палеосоциальных исследованиях культуры хунну Забайкалья и памятников хунно-сяньбийского времени Горного Алтая (прежде всего, могильник Кок-Паш) (Савинов Д.Г., 2005). Один из важных выводов Д.Г. Савинова (2005, с. 216) заключался в том, что формирование отдельных групп погребений на могильнике Кокэль было обусловлено не социально-имущественными факторами, а особенностями семейно-клановых отношений с выделением «класса воинов в каждой такой подгруппе и полным отсутствием так называемых бедных (или безынвентарных) захоронений». Исследователь также выделил несколько признаков социальных моделей: 1) образование некрополей по группам, соответствующих данной форме социального объединения; 2) формирование курганных групп, начиная с центральной части могильника; 3) выделение отдельного класса воинских захоронений как мужских, так и женских; 4) особое значение глубины погребений и незначительное инвентарное доминирование в центральных захоронениях (Савинов Д.Г., 2005, с. 217). Привлечение этнографических данных к интерпретации планиграфических особенностей некрополя Кокэль позволило Д.Г. Савинову (2005, с. 217–218) справедливо сделать вывод о существовании айльных общин у древних кочевников Тувы.

Отдельные категории вещей и элементы планиграфии, погребального обряда, отмеченные на могильнике Кокэль, неоднократно привлекали внимание и других исследователей конца XX в. – начала XXI в. (Тетерин Ю.В., 2001; Николаев Н.Н., 1996, 2001; и др.). Однако ученые, как правило, отмечали либо отдельные социально престижные вещи (клинковое оружие, гривны), либо ограничивались указанием общих особенностей в социальном развитии, характерном для кочевников данной эпохи. В то же время накопленный фактический материал по хунно-сяньбийскому времени Тувы, систематизированный и достаточно хорошо датированный, может в дальнейшем послужить хорошей основой для всесторонней реконструкции социальной организации номадов данного региона. Эта задача представляется еще более реальной и значимой, если учесть, что получены важные результаты по синхронным с кокэльской культурой памятникам Горного Алтая и Забайкалья (Матренин С.С., 2005; Крадин Н.Н., Данилов С.В. Коновалов П.Б., 2004; 2005; и др.). В этой связи особую перспективу имеет корреляция различных признаков погребального обряда из разных могильников Тувы хунно-сяньбийского времени с данными палеоантропологического характера с последующим выделением основных социальных моделей.

Сложным аспектом изучения социального развития номадов Центральной Азии рассматриваемого периода является вопрос о служителях культа. В предыдущем параграфе мы отмечали, что в скифскую эпоху наметилась тенденция формирования особой категории священнослужителей, хотя основная масса традиционных обрядов возлагалась на глав семей и кланов. В хунно-сяньбийско-жужанский период эта тенденция, вероятно, сохранялась. Проведенный анализ письменных источников и немногочисленных археологических данных позволил П.К. Дашковскому сделать вывод о функционировании в указанный период религиозной элиты, в которую входили кланы правителей, главы племен или старейшины, священнослужители (шаманы и т.п.) и миссионеры, прежде всего буддисты (Дашковский П.К., 2008а). Основная трудность в изучении данной проблематики заключается в выявлении погребений непосредственно служителей культа, поскольку в этот период основная масса предметов по-прежнему носила полисемантический характер, что существенно сужает круг возможных ритуальных предметов. В то же время сведения письменных китайских источников в определенной степени коррелируются с археологическими данными в отношении распространения у номадов различных культовых объектов и даже храмов (Тиваненко А.В., 1994, с. 38–40). В то же время дальнейшее изучение мировоззренческих систем и деятельность религиозной элиты в обществе номадов будет способствовать анализу как социально-политических аспектов развития кочевников, так и более глубокому пониманию исторических процессов, протекавших в Центральной Азии.

Несомненно, заслуживают особого внимания исследования погребальных памятников Горного Алтая хунно-сяньбийского времени в духе «социальной археологии». Свой вклад в социальную атрибуцию памятников хуннского времени на Алтае внес и Ю.Т. Мамадаков (1990), выделивший булан-кобинскую культуру. Рассмотрев особенности булан-кобинской культуры, исследователь отметил сохранение в среде номадов прежних «пазырыкско-кара-кобинских» черт как в погребальном обряде, так и в родо-племенной структуре (Мамадаков Ю.Т., 1997, с. 159). При этом

Ю.Т. Мамадаков подчеркнул сложную социальную структуру «булан-кобинцев», что нашло свое проявление в особенностях погребальных сооружений, составе и количестве инвентаря, соподчиненности захоронений. Такая иерархичность кочевого общества сформировалась не без влияния хунну, в состав державы которых входили племена Алтая. Кроме того, проанализировав 18 детских погребений из могильника Булан-Кобы-IV, совершенных по основным канонам погребального обряда булан-кобинской культуры, археолог свидетельствует о том, что дети являлись «прямыми продолжателями конкретной семейно-родовой группы» (Мамадаков Ю.Т., 1997, с. 160). Именно поэтому детей хоронили рядом с более ранними женскими и мужскими захоронениями. По достижении подросткового возраста (от 10–11 до 13–14 лет) менялось, в зависимости от пола, отношение к ним общества, а с 14–15 лет подросток, вероятно, рассматривался полноправным представителем коллектива. Наличие разного инвентаря (миниатюрного и «реального»), а также отдельных сопроводительных захоронений лошадей дополнительно свидетельствует о социальной стратификации кочевников, отраженной в материале погребального обряда некрополя Булан-Кобы-IV (Мамадаков Ю.Т., 1997, с. 160–161).

Другой исследователь В.Н. Елин обратил внимание на перспективность использования планиграфического метода как для установления относительной хронологии памятников хуннского времени, так и для социальных исследований. По его мнению, наличие в пределах одного некрополя Кок-Паш в северной и южной его частях разных типов погребальных сооружений свидетельствует о сложных этносоциальных процессах, требующих дальнейшего изучения (Елин В.Н., 1991). С.С. Матренин (2005а, с. 166) усмотрел в рассуждениях В.Н. Елина указание на существование «многоуровневой общественной лестницы, испытавшей на себе воздействие предшествующей, скифской, и новой, хуннской, культурной традиции, характеризующихся социальной многоступенчатостью». В целом вывод сделан верный, но он в большей степени соответствует социальной концепции самого С.С. Матренина (2005, 2005а), обобщившего значительный материал по булан-кобинской культуре Алтая, нежели разработкам В.Н. Елина по относительной хронологии памятника Кок-Паш.

Накопление источниковой базы по булан-кобинской культуре позволило исследователям более основательно выделять критерии социальной организации номадов как в структуре самого погребального обряда, так и в элементах материальной культуры, прежде всего в предметах вооружения, украшениях и костюме. Так, изучая материалы раскопок погребений хуннского времени на могильнике Усть-Эдиган, Ю.С. Худяков (1993, с. 66) указал на возможность выделения местной родовой знати, рядовых кочевников и неполноправных членов рода. В другой публикации автор представил предварительные результаты палеодемографической характеристики указанного некрополя (Худяков Ю.С., 1994). Ученый отметил, что для мужских погребений характерны предметы вооружения, пояса, снаряжения лошади, украшения и сопроводительные захоронения лошадей. В погребениях женщин зафиксированы бытовые инструменты, предметы туалета, в отдельных случаях – сопроводительные захоронения лошадей. В детских погребениях встречаются украшения и бытовые предметы. Наличие «мясной пищи» и керамической посуды характерно для захоронений представителей всех половозрастных групп.

Как и другие исследователи, Ю.С. Худяков использовал планиграфический метод при проведении палеосоциальных исследований. Так, наиболее богатые погребения сосредоточены в центральной части некрополя, а бедные и безынвентарные – по периферии памятника. Кроме того, захоронения мужчин находились преимущественно в центральной и южной частях могильника, а женщин – в северной (Худяков Ю.С., 1994, с. 135–136). Интересные выводы сделаны Ю.С. Худяковым относительно военной организации населения Горного Алтая в хуннское время. По его мнению, во второй четверти I тыс. до н.э. кочевники этого региона находились в зависимости от тюрок Ашина и совместно с тюрками подчинялись Жуаньжуаньскому каганату (Худяков Ю.С., 1994, с. 134–135). Именно этим обстоятельством, вероятно, как считает исследователь, объясняется наличие в структуре войска «булан-кобинцев», основанного по родоплеменному принципу, легковооруженной конницы. Подобная оценка военной организации номадов, как справедливо заметил С.С. Матренин (2005а, с. 169), сохраняется и в последующих работах этого ученого (Худяков Ю.С., 1997, 2005).

В то же время дальнейшее изучение данной проблематики позволило внести определенные коррективы в оценку военной организации «булан-кобинцев». Так, В.В. Горбунов, проанализировав археологические, изобразительные и письменные источники, указал на эволюцию предметов воору-

жения, военной организации номадов. При этом многие изменения в военной сфере кочевников Горного Алтая достаточно хорошо нивелируются с политическими событиями в Центральной Азии. В хуннское время (II в. до н.э. – I в. н.э.) в структуру войска входила легковооруженная конница и пехота. С сяньбийского времени (II в. н.э. – первая половина IV в. н.э.), кроме указанных подразделений, в структуре конницы появляются воины, способные наносить таранные удары. Наконец, в жузжанское время (вторая половина IV в. н.э. – первая половина V в. н.э.), после вхождения Алтая в сферу влияния нового каганата, появляется тяжелая пехота и тяжеловооруженные всадники (Горбунов В.В., 2005, с. 90–91). Исследователь также отметил, что уровень военного искусства определялся экономическим потенциалом общества и влиял на формирование социальных и политических институтов номадов (Горбунов В.В., 2003, с. 4, 90; 2005, с. 89–90).

В последние годы, кроме анализа предметов вооружения при палеосоциологических исследованиях, ученые особое внимание стали уделять изучению костюмного комплекса кочевников как пазырыкского (Полосьмак Н.В., 2001; Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л., 2005; Дашковский П.К., Усова И.А., 2009), так и хунно-сяньбийского времени (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2004; Тишкин А.А., 2005; Трифонова С.В., 2005; 2007; Усова И.А., 2007; 2008; и др.). Правда, в погребениях булан-кобинской культуры элементы костюма представлены весьма фрагментарно, главным образом в виде отдельных бляшек, которые нашивались на поверхность одежды и головных уборов. В то же время ученые пытаются не только произвести определенные реконструкции данного элемента культуры, но и определить социальный статус его носителей. В частности, А.Ю. Борисенко и Ю.С. Худяков указывали на то, что женщины, носившие головные уборы со сложной системой украшений (прямоугольные золотые и бронзовые пластины с геометрическим орнаментом, фалары и др.), обладали более высоким социальным статусом. Возможно, они являлись женами старейшин, хотя и не исключались из хозяйственной деятельности коллектива. Использование разного металла для изготовления указанных предметов, могло быть обусловлено изменением статуса родоплеменной общины номадов в этносоциальной системе «булан-кобинцев» (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2004, с. 71–72).

В этом же направлении были проведены исследования С.В. Трифановой (2005) и И.А. Усовой (2007). Костюмный комплекс, безусловно, является важнейшим этническим и социальным показателем. Однако в силу указанной фрагментарности его сохранности в погребениях хунно-сяньбийского времени встает проблема фиксации его элементов и конкретных реконструкций. В этой связи особую важность приобретает разработка методики или алгоритма изучения одежды номадов Центральной Азии, и отдельные исследования в этой области уже ведутся (Усова И.А., 2006; и др.). С костюмом, как социальным маркером, тесно связаны и украшения кочевников. С.В. Трифанова отметила, что у носителей булан-кобинской культурной традиции к числу социально престижных вещей относились бронзовые и железные диадемы и бубенчиковидные подвески (Трифанова С.В., 2005, с. 98; 2006, с. 14–17).

В начале XXI в. стали появляться первые обобщающие работы по социальной организации кочевников Горного Алтая хунно-сяньбийского периода, подготовленные как по материалам отдельных памятников, так и по результатам анализа более широкого круга источников (Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003; Матренин С.С., 2005а; Матренин С.С., Тишкин А.А., 2005; и др.). В частности, в монографии «Восточный Алтай в эпоху великого переселения народов (III–VII вв.)» В.В. Бобров, А.С. Васютин и С.А. Васютин изложили свой взгляд на развитие социальных отношений у «кок-пашцев» предтюрокского времени на основе всестороннего археологического и планиграфического анализа могильника Кок-Паш, хотя отдельные позиции авторы публиковали и ранее (Васютин А.С., Васютин С.А., 1997). Кроме того, основные выводы были представлены и в соответствующей главе коллективной монографии «Социальная структура ранних кочевников Евразии» (Васютин А.С., Васютин С.А., 2005). Несмотря на неоднозначную оценку проведенного исследования среди коллег (Матренин С.С., 2005а, с. 167–168; Тишкин А.А., 2007), опыт подобного палеосоциологического исследования заслуживает особого внимания в связи с попыткой детальной характеристики социальной структуры локальной группы номадов по данным археологии и выбивающимся из контекста социально-археологических исследований памятников Горного Алтая хунно-сяньбийского времени результатам.

В качестве «социальных» критериев В.В. Бобров, А.С. Васютин и С.А. Васютин выделили следующие элементы погребального обряда: размеры надмогильных сооружений, глубина могил, состав и характер сопроводительного инвентаря. По этим показателям удалось выявить наиболее

существенные различия между женскими и мужскими захоронениями. Женские погребения могильника Кок-Паш предтюрокского времени отличались в среднем от мужских большими размерами надмогильных сооружений (до 6 м в окружности и 0,66 м высотой; особенно выделялись по трудозатратам на сооружение насыпей курганы №27, 39 и 40 – их подквадратные ограды-выкладки больших размеров (в среднем 6х5 м) состояли из хорошо подогнанных каменных плит с забутовкой из булыжников, а к югу от оград №27 и 40 находились небольшие цепочки балбалов, подчеркивающие социальную значимость погребенных в данных курганах), более «богатым» инвентарем, глубиной могил. Так, к примеру, ряд предметов вооружения (лук / костяные накладки на лук, палаши, панцирные пластины) был представлен исключительно только в женских могилах, а на южном участке могильника глубина женских захоронений была в 1,5 раза больше, чем мужских. «Бедность» подавляющего большинства мужских погребений подчеркивалась почти полным отсутствием оружия (кроме ножей в 4 случаях из 8), поясных наборов, украшений. Причем, как отметили исследователи, ножи не являлись сугубо воинским атрибутом, так как представлены не только в мужских и женских захоронениях, но и в детских (Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 46–47; Васютин С.А., Васютин А.С., 2005, с. 227, 229). Следует однако учесть, что авторы располагали половозрастными определениями только в отношении 20 погребенных, в то время как всего было исследовано 45 погребений. Кроме того, в 1981–1987 гг. были изучены только 44 кургана из 151 кургана предтюрокского времени могильника Кок-Паш. Поэтому полученные результаты могут лишь достаточно условно отражать общую для всего некрополя ситуацию (например, на южном участке антропологически определены только три женских погребения, а на северном – два мужских).

Интересные результаты дал анализ возрастной дифференциации кок-пашских захоронений. Наиболее сложная картина была получена при изучении мужских захоронений, не позволявшая точно дифференцировать их на определенные возрастные группы. Так, среди детских захоронений одно было безынвентарным (№44) с глубиной могильной ямы 0,7 м, другое – парное погребение в кургане №8 глубиной 1,2 м содержало только нож и кости барана. В составе мужских погребений обращает на себя внимание «бедность» погребений «юноши» (№45, возраст 18–20 лет) и молодого мужчины (№50, возраст 25–30 лет). В обоих случаях в составе инвентаря присутствует только нож (!), отсутствовали характерные для большинства других погребений остатки ритуальной пищи – кости барана. Довольно пеструю группу составляли погребения мужчин в возрасте от 30 до 45 лет (№14, 34, 52, 51 – глубина могил от 1,1 до 2 м; сопроводительный инвентарь в ряде случаев включает железные и костяные наконечники стрел (№14), поясные кольца и пластины-обоймы (№52), но есть погребения, инвентарь которых крайне беден: только нож (№34) или только 1 бусина (№51 – нельзя исключить ограбления). Курган №32 выделялся глубиной могилы (1,9 м), где был погребен старик 50–60 лет. Однако в захоронении полностью отсутствовал инвентарь (Васютин С.А., Васютин А.С., 2005, с. 229, 231).

Среди женских погребений было выделено четыре группы: 1) погребение девушки-подростка 14–16 лет с предметами вооружения (колчан, стрелы) в небольшом по параметрам кургане (глубина могилы 1,2 м, диаметр насыпи 2,7 м); 2) захоронение женщины 20–25 лет с немногочисленным инвентарем (бусы, пряжка ремня), но в более глубокой, чем у подростка, могиле (1,7 м); 3) погребения женщин 25–30 лет в наиболее глубоких могилах (средняя глубина 2,15 м) и с ярко выраженными воинскими атрибутами в составе «богатого» инвентаря; 4) погребения женщин старше 30 лет, в составе сопроводительного инвентаря которых наряду с оружием преобладали украшения и бытовые предметы (Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 46–47; Васютин С.А., Васютин А.С., 2005, с. 231).

Исследователи дополнили результаты половозрастного и социального анализов изучением особенностей планиграфического расположения предтюрокских захоронений на площади могильника Кок-Паш. Так, было установлено, что погребения женщин группировались в цепочки по 2–4 объекта, в центре которых находились наиболее «богатые» курганы. Такие захоронения отражали высокий общественный статус погребенных в них женщин. По мнению ученых, вокруг этих цепочек осуществлялась застройка групп курганов на площади могильника. Например, на северном участке по такому сценарию могла формироваться самая северная и центральная группы или вся макрогруппа северного участка, сложившаяся вокруг женских погребений (№9, 12, 13, 28, 33). Авторы обратили внимание, что в кургане №36, который занимал центральное место в одной из групп южного участка, женское погребение сопровождал лук, на сохранившихся накладках которого было изображение козла и лося. Данные изображения рассматривались С.А. Васютиным и А.С. Васютиным (2005,

с. 232) не только как художественные дополнения, но и как специальные знаки социального или ритуального значения. Однако авторы не видели оснований для выделения женских захоронений, в которых могли быть погребены лица с жреческим статусом (Васютин А.С., Васютин С.А., 2005, с. 233). В противовес женским, в расположении исследованных захоронений мужчин каких-либо закономерностей выявить не удалось. Кроме того, погребения в северной части некрополя содержали более «богатый» и разнообразный инвентарь, чем на южном участке. Это, по мнению археологов, дополнительно свидетельствовало о социальной ранжированности среди «кок-пашцев», а также о существовании в долине Чулышмана двух семейно-клановых групп.

В целом же исследователи, опираясь на предложенные «социально значимые» критерии, отметили высокий социальный статус погребенных женщин, особенно в возрасте от 25 до 35 лет, их активное участие в «военной жизни», управлении семейно-клановыми коллективами, хозяйственной сфере. В кок-пашском микросообществе общественное положение женщин после 30 лет, судя по уменьшению воинского инвентаря и увеличению доли украшений и бытовых предметов, изменялось. По мнению А.С. Васютина и С.А. Васютина, это было связано с резким сокращением участия женщин старше 30 лет в военно-управленческой деятельности. Такая необычная роль женщин, их вероятное доминирование в определенных возрастных группах, как предполагали авторы, могли быть вызваны миграцией в район слияния Чулышмана и Башкауса небольшой группы кочевого населения, подвергнувшегося разгрому со стороны других кочевников (с большой долей потерь среди мужчин). В этой ситуации часть традиционных социальных функций мужчин могла перейти к женщинам. Однако авторы отрицают возможность сохранения такой общественной диспропорции на протяжении нескольких поколений. Поэтому в качестве объясняющей гипотезы было высказано предположение о том, что мужчины-«кок-пашцы» зрелого возраста могли в соответствии с союзническими или данническими отношениями привлекаться для службы в других районах Алтая или за его пределами (Васютин А.С., Васютин С.А., 2005, с. 232–233).

Используя разработки С.С. Сорокина (1975) и Б.Ф. Железчикова (1984), В.В. Бобров, А.С. Васютин и С.А. Васютин (2003, с. 50) установили, что средняя численность населения, одновременно проживавшего в районе могильника Кок-Паш в V–VI вв., составляла не более 25–26 человек. Представленная картина семейных и социальных отношений дополнена авторами некоторыми выкладками, связанными с особенностями хозяйственной деятельности. Палеоэкономические выводы представлены как в тексте монографий (Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 50–51; Васютин С.А., Васютин А.С., 2005, с. 235–236), так и в отдельном приложении (Садовой А.Н., Онищенко С.С., 2003).

Несмотря на полученные позитивные научные результаты по реконструкции социальных отношений «кок-пашцев», другие исследователи отмечают определенные дискуссионные моменты. В частности, обращает на себя внимание вывод археологов о чрезмерно высокой роли женщин в военной сфере, «плавающая» хронология памятника, неточности в публикации самих материалов и т.д. С.С. Матренин (2005а, с. 168) выразил сомнение в верности некоторых половозрастных определений. К тому же сами авторы указывали на гипотетичность некоторых своих построений, особенно относительно ведущей роли в военной сфере «женщин-воительниц» и участия мужского населения «кок-пашцев» в военных походах в качестве «данников» за пределами Алтая (Васютин А.С., Васютин С.А., 2005, с. 233–234).

В то же время полученные данные еще раз продемонстрировали сложность и многогранность социального развития кочевников в эпоху поздней древности, что нашло отражение в разнообразных элементах погребальной обрядности. В этой связи представляются интересными некоторые наблюдения археологов относительно изменений критериев социального статуса, который отражался в погребальном обряде. Так, например, по их мнению, погребения предтюрокского времени завершили традицию, в которой глубина могилы имела социально-сакральное значение (Васютин С.А., Васютин А.С., 2005, с. 225). Это обстоятельство еще раз свидетельствует о необходимости опираться не только на универсальные критерии для палеосоциологических исследований, но и учитывать конкретные исторические особенности развития кочевых обществ.

Особое внимание социальной организации кочевников Алтая хунно-сяньбийского периода уделено в работах С.С. Матренина (2004; 2005, 2005а). Изучение всего многообразия погребальных материалов «булан-кобинцев» позволило произвести половозрастной анализ и выделить социально обусловленные показатели. В результате были установлены стандарты погребального обряда и инвентаря для отдельных половозрастных групп населения применительно к усть-эдиганскому (II в. до

н.э. – I в. н.э.), бело-бомскому (II в. н.э. – первая половина IV в. н.э.) и верх-уймонскому (вторая половина IV в. н.э. – первая половина V в. н.э.) этапам булан-кобинской культуры. Полученные на этом этапе данные позволили провести реконструкцию палеодемографической ситуации и физико-генетической структуры общества (Матренин С.С., 2005, с. 16–19).

На основе половозрастных определений останков 260 человек была установлена средняя продолжительность жизни детей и взрослых в обществе «булан-кобинцев», которая составляла соответственно 5,9 лет и 36,6–37,2 года. Приведенные показатели в целом нивелируются с аналогичными сведениями относительно продолжительности жизни кочевников Горного Алтая предшествующего – пазырыкского – периода (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 196). По мнению С.С. Матренина (2005, с. 19), сходные тенденции наблюдаются и при характеристике физико-генетической структуры кочевников хунно-сяньбийского времени, которая, как и у «пазырыкцев», характеризовалась социальным приоритетом возмужалых и зрелых мужчин, достаточно высоким общественным положением женщин и ограниченными позициями детей. Устойчивость приведенных данных демонстрируют особенности процесса адаптации номадов к природно-климатическим условиям Горного Алтая и динамику их культурно-исторического развития.

Моделирование социальной структуры «булан-кобинцев» С.С. Матренин провел на основе выделения по погребальному инвентарю комплекса «власти», «богатства», «производства», «культуры» (2005, с. 19–21). Это позволило обозначить четыре детских, девять женских, двенадцать мужских и восемь с неустановленным полом социальных групп, которые дали основания для дальнейших реконструкций общественных структур номадов. В конечном итоге археолог приходит к следующим выводам. Во-первых, «булан-кобинское» общество было сильно милитаризировано и фактически не менее 70% мужчин было вовлечено в военное дело. Это обстоятельство обуславливало сложение воинской иерархии, внутри которой можно выделить высший (командование), средний (дружина) и низший (ополчение) уровни. Социальная система «булан-кобинцев» основывалась на разветвленной кланово-племенной стратификации. Это, по мнению ученого, позволяет говорить об определенной иерархии племен (кочевий), которые можно соотнести с конкретными территориальными группами памятников. В-третьих, «булан-кобинское» общество отличалось высоким уровнем социально-имущественной дифференциации, хотя формирования сословий в это время еще не произошло.

Наконец, в-четвертых, С.С. Матренин затронул и вопрос политогенеза номадов данного региона. В этой связи он обратил внимание на то, что политическое, как, впрочем, и социальное, развитие кочевников Горного Алтая протекало на фоне их пребывания сначала в составе хуннской империи (II в. до н.э. – I в. н.э.), затем в орбите влияния сяньби (II–III вв. н.э.) и в структуре Жужанского каганата (вторая половина IV – первая половина V вв. н.э.). В целом же форма политического объединения носителей булан-кобинской культуры представляла собой «племенную конфедерацию», зависимую от хунну. При этом исследователь отметил, что возможно такая территориальная группа, как «яломанцы», выступала в роли «наместников» хунну (Матренин С.С., 2005, с. 22). Такое предположение выглядит вполне логичным, если учесть, что именно материалы Яломанского археологического микрорайона (Центральный Алтай) дали основной массив предметов, выполненных в хуннских традициях (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005).

Проделанная С.С. Матрениным работа прекрасно демонстрирует успешное сочетание современного теоретического уровня развития «социальной археологии» с применением статистических методов обработки археологического материала и привлечения отрывочных сведений письменных источников по истории кочевых народов Центральной Азии. Удачным представляется применение метода моделирования в палеосоциальных изысканиях, успешно реализованного в творчестве других исследователей (Матвеева Н.П., 2000; Дашковский П.К., 2003, 2003а; и др.).

В то же время работы С.С. Матренина содержат ряд дискуссионных моментов. Один из авторов данной монографии (С.А. Васютин) имел честь писать отзыв на автореферат диссертации С.С. Матренина. Наряду с отмеченными достижениями С.С. Матренина, в отзыве указывалось, что автор недостаточно учел то, что многие памятники Горного Алтая конца I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. трудно соотносимы между собой (это признает и сам С.С. Матренин, когда пишет о том, что погребальный обряд оставался «вариабельным на протяжении всей хунно-сяньбийской эпохи», «отсутствовала господствующая традиция реализации погребального ритуала и наблюдается поливариантность развития», о неодинаковом соотношении в различных регионах Горного Алтая «пришлых и местных этнокультурных компонентов», о «незавершенности процесса этногенеза»),

поэтому говорить об общей социальной ситуации в этом регионе в хунно-сяньбийскую эпоху надо весьма осторожно. В условиях отсутствия единой погребальной традиции и наличия разнообразных локальных погребальных комплексов результаты недифференцированного анализа всего массива данных «булан-кобинских» погребений, охватывающих целых семь веков (!!!), являются весьма неоднозначными. Один из вариантов решения может быть связан с моделированием сначала социальной структуры отдельных территориальных групп (Северная, Центральная, Восточная и др.) и подгрупп (Верхне-Катунская, Средне-Катунская, Чуйская, Чулышманская, Улаганская и др.) археологических памятников с учетом различий в хронологии, а лишь затем с выявлением на основе полученных результатов общих социально значимых критериев и их эволюции на протяжении II в. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. Возражение вызывает и обозначение более или менее гомогенных совокупностей погребений как «социальных групп». Правильнее все-таки вести речь о моделях (их число, скорее, отражает степень дифференциации), привязка которых к конкретному общественному статусу крайне проблематична.

В целом следует отметить, что отдельные вопросы социо- и политогенеза «булан-кобинцев» далеки от своего окончательного разрешения, что в принципе признает и С.С. Матренин. Это прежде всего касается проблемы существования категории служителей культа в кочевом обществе и его элиты. С.С. Матренин (2005, с. 21–22), с одной стороны, указывает на невозможность выделить какое-либо доминирующее клановое подразделение в рамках рассматриваемого социокультурного образования, а с другой – отмечает, что именно «яломанцы», вероятно, выступали в роли «наместников» хунну. Действительно, на территории Горного Алтая в хунно-сяньбийский период отсутствуют монументальные погребальные комплексы, сопоставимые с элитными курганами пазырыкского периода. Это объясняется, возможно, тем, что данный регион являлся периферией империи хунну.

Кроме этого, вероятно, применительно к «булан-кобинскому обществу» можно говорить о формировании так называемой «двойной элиты» (этносоциальная иерархия). Такая элита, с одной стороны, включала представителей местных этнических групп (в данном случае, например, «яломанцы»), находящихся в политической зависимости. Вторая группа «двойной элиты» – это собственно хуннские представители, которые могли постоянно и не находиться на подчиненной территории, но при этом оказывали решающее влияние на его развитие. В этой связи находки погребений с сопроводительным инвентарем, демонстрирующим сильное влияние хуннских культурных традиций в пределах определенной локальной группы «булан-кобинцев» (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005; Тишкин А.А., 2005), свидетельствуют об их более привилегированном положении по отношению к остальным племенным образованиям, входящим в конфедерацию.

«Двойная элита, безусловно, требует отдельного внимания, и определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются (Дашковский П.К., 2005; Тишкин А.А., 2005). Уже сейчас можно говорить о формировании в скифскую эпоху разных типов элит: властной, военной и религиозной (Дашковский П.К., 2005а, с. 243). В последующие периоды эта тенденция получила свое дальнейшее развитие. Сложение полиэтничных государственных образований, начиная с хунно-сяньбийского времени, вероятно, ознаменовало собой процесс формирования «двойной элиты», нашедшей свое наибольшее воплощение в период существования тюркских каганатов и монгольской империи.

В связи с упомянутыми фактами престижности китайских импортных вещей особенно среди кочевой элиты нужно обратить внимание на следующие результаты современных исследований. В частности, в последнее время получен разнообразный материал из погребений булан-кобинской культуры Алтая, носители которой, вероятно, находились в подчинении у хунну (Тишкин А.А., 2007, с. 177–178). В результате такого подчинения, с одной стороны, прослеживается значительная группа предметов, связанных с материальной культурой собственно хунну. С другой стороны, в погребениях «булан-кобинцев» выявлено довольно представительное число китайских изделий, прежде всего бронзовых зеркал, а также их подделок. В последнем случае такие особенности изделий удалось установить в результате спектрографического анализа состава металла, из которого изготавливались предметы (Тишкин А.А., Хаврин С.В., 2004, с. 300–306; 2006, с. 78–84; и др.). В этой связи копии китайских изделий можно рассматривать как еще один маркер социального характера у кочевых племен, которые находились на периферии империи хунну и Китая.

Таким образом, проведенный анализ основных разработок по социальной истории кочевников Центральной Азии II в. до н.э. – V в. н.э. позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, изучение социо- и политогенеза кочевников данной эпохи протекало в русле методологических и методических разработок, господствовавших в отечественном кочевниковедении в определенные периоды

развития археологической и исторической наук. Во-вторых, именно погребально-поминальная обрядность являлась для исследователей надежной источниковой базой в палеосоциологических реконструкциях, что стало отчетливо проявляться в отношении исследований социальной структуры хунну с 1970-х гг.

В-третьих, применительно к изучению хунну-сяньбийского периода возникает возможность проводить более достоверную корреляцию результатов изучения археологических материалов и письменных, прежде всего китайских, источников. Именно письменные источники часто рассматриваются кочевниковедами в качестве основания для исследования социально-политической истории хунну, сяньби, жужаней и некоторых других народов. В этом случае археологические данные нередко используются только в качестве дополнения и иллюстрации к уже наметившимся выводам. Случаи осуществления палеосоциологических реконструкций по материалам памятников Монголии и Северного Китая, составлявших некогда центр кочевых политий хунно-сяньбийского времени, все еще редки. В то же время социальная организация обществ, находившихся на периферии крупных кочевых империй, исследуется преимущественно на основе археологических материалов в силу слабого или полного отсутствия информации письменного характера. В этом направлении особенно продуктивными стали последние десятилетия, когда были апробированы разные варианты палеосоциологических методик, получены конкретные результаты по целому ряду отдельных памятников и культур.

В-четвертых, кочевниковеды практически единогласно отмечают появление в этот период достаточно сложных в социально-политическом отношении номадных образований (империи хунну, сяньби, жужаней), хотя в отношении факторов, причин и предпосылок формирования таких образований высказываются различные позиции. В то же время совершенно очевидно, что формирование и развитие социально-политических структур у кочевников существенно отличаются от аналогичных процессов у земледельческих обществ. Это обстоятельство еще раз подтверждает необходимость изучения кочевых народов исходя из особых теоретических и методических подходов, которые далеко не всегда применимы к земледельческим народам.

Наконец, в-пятых, применительно к завершающему этапу эпохи поздней древности исследователи впервые указывают на формирование таких социально-политических явлений в кочевой среде, как зрелые формы центр-периферийных отношений, появление в степи городов и оседлого ремесленно-земледельческого населения, связанные с этим инновационные политические практики номадов, возникновение феномена «двойной элиты», в социокультурном плане – новых форм отражения в погребально-поминальной практике социальных аспектов.

Глава 6

Кочевые общества раннего средневековья: основные направления исследований социальной структуры и институтов власти

6.1. Кочевые общества раннего средневековья в исследованиях отечественных ученых XIX – первой трети XX в.

В России внимание к истории раннесредневековых кочевников Центральной Азии стало проявляться достаточно рано. Это было во многом связано не только с научными интересами, но и с внешнеполитическими целями России в Центральной Азии. Не случайно, что среди первых исследователей были представлены офицеры русской армии, например Н.А. Маев, Н.М. Пржевальский, Ч.Ч. Валиханов, Е.П. Ковалев, К.-Г. Маннергейм и др. Кроме того, изучение истории и культуры середины – второй половины I тыс. н.э. напрямую было связано с историей народов Российской империи. С включением в состав России территорий Юго-Западной Сибири, Саяно-Алтая, казахских жузов и завоеванием во второй половине XIX в. среднеазиатских государств, где преобладали тюркоязычные этносы, интерес к их прошлому постоянно возрастал и вылился в многочисленные этнографические и исторические исследования.

Зарождение научных исследований по истории номадов в Центральной Азии и прилегающих регионов связано с Академическими экспедициями XVIII в. В 1721–1722 гг. Д.Г. Мессершмидтом

были открыты каменные скульптуры и памятники рунической письменности в долине р. Уйбат¹. В 1730 г. участник экспедиции Ф.И. Табберт, получивший после пожалования дворянства фамилию Страленберг, издал в Стокгольме книгу «Северная и восточная часть Европы и Азии», опубликовал рисунки надписей. Годом ранее об открытиях экспедиции Д.Г. Мессершмидта сообщил Г.З. Байер (Кляшторный С.Г., 2003, с. 15).

Открытие, перевод и публикация в XIX в. китайских, тюркских, уйгурских, персидских, арабских, византийских и других источников существенно расширили представления ученых о происхождении тюркоязычных народов, путях их исторического развития и заложили основы последующих исследований кочевниковедами, археологами и этнографами кочевых народов Центральной Азии. Одним из первых к истории номадов раннего средневековья обратился Н.Я. Бичурин (архимандрит Иакинф), который, как указывалось в предыдущей главе, впервые сделал переводы китайских хроник о народах Центральной Азии. Материалы о раннесредневековых номадах были взяты из династийных хроник Вэй, Суй, Тан и др. Среди многочисленных работ Н.Я. Бичурина для нашей темы особое значение имели «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем его состоянии» (1928 г.) и «История о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» в 5 частях (1851; переиздано: Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950–1953. Т. I–III; Алматы, 1998). Наряду с Н.Я. Бичуриным переводы выполняли и другие участники православной миссии в Китае, но именно его перевод длительное время считался наиболее квалифицированным и пользовался заслуженной популярностью у кочевниковедов.

Очень важный источниковый фонд составляли тюркские, уйгурские, киргизские и другие надписи. XIX в. стал не только временем их открытия в разных районах Центральной Азии. В конце данного столетия удалось дешифровать так называемый рунический алфавит и опубликовать наиболее известные памятники. Как уже упоминалось, первыми надписи зафиксировали участники Академической экспедиции во главе с Д.Г. Мессершмидтом. Почти через столетие в 1818 г. небольшой свод тюркских рунических надписей, включая и найденные им образцы руники на Алтае, опубликовал Г.И. Спасский в своем труде «Древности Сибири». Только в 1879 г. в ходе обследования памятников в Туве Г.Н. Потаниным были обнаружены рунические надписи. И, наконец, в 1889 г. Орхонская экспедиция под руководством Н.М. Ядринцева открыла Кошо-Цайдамские памятники Кюльтегину и Бильге-кагана. Чуть позже, в 1896 г., рунические надписи были выявлены в долине р. Талас на территории современной Киргизии. В 1887–1888 гг. И.Р. Аспелин совершил экспедиции в Хакасию и Туву для изучения надписей, 32 из которых он издал под названием «Надписи Енисея» (1889). В 1982 г. вышли его «Надписи Орхона» (Кызласов Л.Р., 1962; Щербак А.М., 1970; 2001, с. 15–18; Кызласов И.Л., 1994, с. 9; 2004, с. 15; 2005, с. 427–428; Кормушин И.В., 1997, с. 3; Кляшторный С.Г., 2003, с. 16–19; и др.).

Найденные Н.М. Ядринцевым орхонские стелы с тюркскими и китайскими надписями в 1890–1891 гг. были скопированы сотрудниками финской и русской экспедиций. Их издание И.Р. Аспелиным позволило датскому профессору В. Томсену уже к концу 1883 г. дешифровать тексты. «Открытие В. Томсена позволило В.В. Радлову в течение двух месяцев прочесть текст, посвященный Кюльтегину, и представить Академии наук свой опыт его перевода (Кызласов И.Л., 2005, с. 428; Кляшторный С.Г., 2003, с. 20). В 1894–1895 гг. В.В. Радлов опубликовал все известные тюркские тексты, их прочтение и переводы в издании «Die alttürkischen Inschriften der Mongolei» / «Древнетюркские надписи Монголии» (1–3) (Кормушин И.В., 1997, с. 3).

Конечно, большое значение имели и публикации письменных источников зарубежными исследователями, среди них «Исторические документы о тюрках» С. Жюльена, свод китайских сведений о Восточном Туркестане, а также материалы о западных тюрках, уйгурские надписи Э. Шаванна, исследования В. Томсена, П. Пеллио, Ф.-В. Мюллера, В. Банга, А. Фон Лекока, Г.И. Рамстедта и др.

С развитием российской науки в XIX в. развернулись этнографические исследования в Сибири и Центральной Азии. Огромный вклад в знакомство научной общественности с различными сторонами жизни центрально-азиатских кочевников внесли П.П. Семенов-Тянь-Шанский, М.М. Хоментовский, Н.М. Пржевальский, Ч.Ч. Валиханов и многие другие. Это породило интерес к историческому прошлому народов данных регионов Центральной Азии, в том числе к средневеко-

¹ Первое письменное упоминание енисейских надписей принадлежит главе русского посольства в Китай Н.Г. Спафарию (Кляшторный С.Г., 2003, с. 13–14).

вой истории тюрко- и монголоязычных народов. Среди ученых второй половины XIX – начала XX вв., осуществивших историко-этнографические изыскания в интересующем нас регионе, особенно следует выделить В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева, П.М. Мелиоранского, М.В. Певцова, В.И. Роборовского, В.В. Бартольда, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Н.Ф. Катанова, Г.Н. Потанина, Н.Н. Пантусова, Д.М. Позднеева, Д.А. Клеменца, С.Е. Малова, В.Л. Котвича и др. Территориально эти исследования охватили Саяно-Алтай, Монголию, Восточный Туркестан, Семиречье и другие районы расселения кочевников.

В последние десятилетия XIX столетия стали выходить первые научные публикации. Перу Д.М. Позднеева, например, принадлежал «Исторический очерк уйгуров (по китайским источникам)». С 1884 г. В.В. Радлов начал интенсивно заниматься древнетюркскими письменными источниками. Он издал ценнейший памятник XI в. – «Кутадгу билиг», уже упоминавшейся свод рунических надписей Монголии, перевел и опубликовал уйгурские документы из Восточного Туркестана (Восточный Туркестан..., 1988, с. 70). В 1893 г. В.В. Радлов опубликовал дневники своих путешествий по Сибири, Монголии и Средней Азии. В них он, в частности, довольно подробно рассказал о знакомстве с языком, этнографией и историей различных тюркских народов (карагасов, абаканских, чолымских, северо-алтайских и собственно алтайских, барабинских, иртышских и тобольских «татар», оседлых тюркских племен Средней Азии, «татар» Западной Монголии), об исследованиях хозяйственной, социальной, политической и духовной жизни кочевников (Радлов В.В., 1989).

Наряду с историко-этнографическими изысканиями в последней четверти XIX – начале XX в. развернулись исследования раннесредневековых археологических памятников в Монголии, Минусинской котловине, Туве (Урянхайском крае), Горном Алтае, которые проводили В.В. Радлов, А.В. Адрианов, Д.А. Клеменц, С.М. Чугунов, Н.М. Ядринцев, М.В. Певцов, В.И. Роборовский, И.Т. Савенков, И.П. Кузнецов, П.К. Козлов и др.

Участники (среди них Д.А. Клеменц) академической Орхонской археологической экспедиции в Монголии под руководством сначала Н.М. Ядринцева, затем В.В. Радлова в результате многолетней работы смогли собрать сведения о многочисленных разновременных памятниках Монголии, но главная их заслуга заключалась в обнаружении и исследовании памятников раннесредневековой письменности кочевников. Не менее интересные изыскания проводились в Восточном Туркестане. Под эгидой Русского географического общества разведочные обследования и раскопки здесь проводили М.В. Певцов, В.И. Роборовский, П.К. Козлов, Д.А. Клеменц. В.И. Роборовский, к примеру, произвел подробное описание древних уйгурских городов в Восточном Туркестане. Д.А. Клеменц собрал наиболее обширную коллекцию уйгурских рукописей (Восточный Туркестан..., 1988, с. 20–22, 26–28). В начале XX в. Русским комитетом для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношении в Восточный Туркестан были направлены несколько российских академических экспедиций под руководством М.М. Березовского, С.Ф. Ольденбурга, С.Е. Малова (Восточный Туркестан..., 1988, с. 32). Их результатом стали не только масштабные по меркам того времени исследования городов и поселений Восточного Туркестана, но и сбор лингвистической, исторической и этнографической информации.

Раскопки охватили раннесредневековые памятники и на территории Российской империи. В.В. Радловым были раскопаны средневековые погребения в Кулунде, на Алтае, в Хакасии, а также изучены каменные скульптуры, кроме последних двух указанных регионов и в Казахстане (Радлов В.В., 1989, с. 431–434, 452, 460–473). В 1899 г. С.М. Чугунов осуществил раскопки курганов древнетюркского времени у с. Убинского и обнаружил поясные украшения и стремена. В 1915–1916 гг. А.В. Адрианов вел исследования в Урянхайском крае разновременных памятников, среди которых были изучены 23 кургана, предположительно принадлежавших енисейским кыргызам (Длужневская Г.В., 2005, с. 45–51).

В Средней Азии осуществляли разведочные работы и вели раскопки Н.И. Веселовский, И.П. Остроумов, Н.Н. Пантусов, В.В. Бартольд и др. Наиболее обстоятельными были раскопки Афрасиаба близ Самарканда, которыми руководил в 1885, 1895, 1898 гг. Н.И. Веселовский и в 1904–1905 гг. В.В. Бартольд. В 1893–1894 гг. В.В. Бартольд и участники его экспедиции С.М. Дудин и Е.П. Ковалев провели разведку древних и средневековых памятников в долинах рек Чу, Или, Талас, а также обследовали побережье Иссык-Куля (Длужневская Г.В., 2005, с. 67–74).

Несмотря на довольно обширные исторические и археологические изыскания, обобщающих работ было немного, а рассматриваемые нами в данной монографии аспекты – социальная структура, элитные и специфические (дружинники, воины, священнослужители, чиновники) общественные

слои, организация властных институтов, взаимодействие правителей и рядового населения и многое другое – практически не нашли специального отражения в дореволюционных изданиях. Исключением можно считать работы Д.М. Позднеева по анализу китайских сведений об истории уйгуров, В.В. Радлова по истории уйгуров и об уйгурских ханах, комментарии российских ученых к переводам древнетюркских надписей. По существу в исследованиях конца XIX – начала XX в. мы не найдем обстоятельных замечаний о социально-политической организации раннесредневековых номадов. Скорее следует говорить об оценках, которые можно транслировать и на раннесредневековый период. Так, сомневаясь в возможности создать киргизами «сколько-нибудь упорядоченное государственное правление», В.В. Радлов отметил, что «у этих кочевников не было главного условия для создания государства – сильного общего интереса...». Нигде, по его мнению, «ханская власть не была в состоянии обеспечить отдельным индивидуумам их владения и защитить от нападений соседей; она могла управлять лишь небольшой частью гигантской территории, частью, которая была значительно меньше той, что считалась – номинально – подвластной хану». «Всякая попытка хана расширить эту область в каком-то направлении, – пишет ученый, – сопровождалась потерей им силы власти на противоположном конце периферии. Могущество диких орд, сгруппировавшихся вокруг князя, может проявиться лишь тогда, когда эти орды нападают на вражескую область и когда противопоставление себя угнетаемым врагам вынуждает разные племена из чувства самосохранения держаться вместе, т.е. когда вся орда превращается в единое войско, как это было с ордами Чингисхана» (Радлов В.В., 1989, с. 249–250).

Также В.В. Радлов, изучая в конце XIX в. историю уйгуров, отметил, что такие понятия, как чиновник, народ, область, собственность, имели в жизни степняков совсем иное значение, чем у земледельческих народов. Согласно его точке зрения клиентские отношения у номадов были детерминированы естественными условиями. Богатые семьи не могли кочевать с большими стадами, и они разделяли скот на несколько аулов, в рамках которых и осуществлялся выпас скота зависимыми «клиентами». В социальном отношении В.В. Радлов выделял несколько уровней общественных структур, присущих номадам: семья, подплемя, племя, орда. Особенно интересно его замечание о власти хана, выраженное вполне в современном антропологическом духе: «...чем больше выгод доставляет он своим подданным, тем самостоятельнее становится и тем значительнее собирается вокруг него государство». И наоборот: «однако и самые страшные из таких государств исчезают бесследно, лишь только личность или род, создавший такое государство, перестает соединять в себе всю государственную власть» (цит. по: Крадин Н.Н., 1992, с. 17).

Таким образом, В.В. Радлов одним из первых попытался определить особенности социальных отношений и организации власти у кочевников. Следует отметить, что приведенные здесь высказывания ученого во многом соответствуют современным представлениями об особенностях общественно-политического развития номадов и тем самым не утратили своей научной актуальности.

В 1920-е – начале 1930-х гг. в изучении истории номадов раннего средневековья ведущая роль принадлежала дореволюционным исследователям. Особое место среди них принадлежит В.В. Бартольд. Знание восточных языков, активное изучение источников, в том числе и тех, которые только были введены в оборот в первой трети XX в., проведение археологических и исторических исследований в Средней Азии сделали его в 1910–1920-е гг. ведущим специалистом в области средневековой истории кочевников Азии. Его перу принадлежит целый ряд выдающихся трудов, которые в общих чертах раскрыли историю большинства крупных социально-политических образований номадов второй половины I тыс. н.э. – начала II тыс. н.э.: «История Туркестана» (1963а), «История культурной жизни Туркестана» (1963б), «Киргизы. Исторический очерк» (1963в), «Очерки по истории туркменского народа» (1963г), «Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии» (1968), «История турецко-монгольских народов» (1968а) и др.

Кочевые социумы подразделялись В.В. Бартольдом на несколько типов. Первый из них, по мнению ученого, был представлен догосударственными объединениями номадов, когда жизнь общества упорядочивалась родоплеменной системой, традиции которой определяли нормы взаимоотношений как внутри рода, так и вне его пределов; возникновение государства и централизованного управления не являлись обязательным атрибутом такой социальной организации (Бартольд В.В., 1968, с. 22–23). К подобным образованиям он отнес «движение кипчаков» (Бартольд В.В., 1968, с. 99) и огузские племена X в. (Бартольд В.В., 1963г, с. 559, 563).

Примером следующего типа В.В. Бартольд считал тюркскую империю VI–VIII вв. По предположению исследователя, тюрки культивировали в завоеванных странах удельную систему, причем

деление на уделы являлось «типичным» для кочевых государств (Бартольд В.В., 1963а, с. 129; 1963б, с. 242). К иным видам кочевнических объединений ученый относил государство кара-китаев, которое, оставаясь кочевым, благодаря влиянию китайской политической традиции, не имело уделов. Как отмечал В.В. Бартольд, в захваченных кара-китаями землях существовали в качестве вассалов гурхана прежние местные династии. Под «вассальными отношениями» у автора выступает данничество, о чем говорит их классификация: 1) рядом с местным владельцем находится постоянный представитель гурхана; 2) в некоторых областях (Хорезм) представители гурхана приезжали время от времени для сбора дани; 3) бухарский садр сам отвозил дань в орду гурхана (Бартольд В.В., 1963а, с. 133–134).

Комментируя размышления В.В. Радлова, В.В. Бартольд поддержал один из выводов своего предшественника, «который труднее всего усваивается европейцами»: «...у кочевников... юридической определенности нет и всякая власть в действительности является узурпацией» (Бартольд В.В., 1968в, с. 427). Между тем в своих последних работах В.В. Бартольд критически отзывался о «родовой теории» (Крадин Н.Н., 1992, с. 17–18), хотя при этом считал, что, например, в монгольской империи понятие «родовая собственность» из области частного права было перенесено в область права государственного. Поэтому, несмотря на единство государственной власти в лице великого хана, империя принадлежала всему роду, каждый Чингизид участвовал в ее управлении и пользовался доходами. Из частноправовых отношений, как считал В.В. Бартольд, развивалась и удельная система: старших сыновей отец выделял при жизни, младшему оставлял свой удел (Бартольд В.В., 1963а, с. 146). Понимание удельной системы В.В. Бартольдом своеобразно, так как общественно-политическая иерархия в его описании строилась не на основе вассальной и других форм зависимости, а на основе родственных связей. И, наоборот, там где, по мнению ученого, уделов не было, вассалитет получил широкое развитие (государство кара-китаев). Возможно, что именно по этой причине исследователь не писал о феодализме. Обращает на себя внимание и то, что В.В. Бартольд не выделял каких-то особых периодов в истории номадов. Общественные структуры хунну, тюрков и монголов охарактеризованы ученым как «государственные».

Говоря о генезисе кочевой государственности, В.В. Бартольд подчеркивал, что необходимым условием ее возникновения являлась не только политическая борьба между отдельными народами и племенами, но и борьба сословная между кочевой аристократией и простым народом. Исходя из этой установки вполне закономерен вывод исследователя о том, что образование империи Чингисхана было связано с победой «аристократического движения» во главе с Темучином над «демократическим движением», возглавляемым Джамухой. Согласно точке зрения ученого, подобный дуализм был присущ всем кочевым обществам (Бартольд В.В., 1963а, с. 137; 1963в, с. 532; 1968а, с. 125, 197, 225–226; 1968б, с. 258–259). В целом труды русского ориенталиста В.В. Бартольда оказали большое влияние на формирование представлений отечественных ученых о социальной организации номадов средневековья.

Не менее важное значение для оценки социально-политической системы номадов имели работы Б.Я. Владимирцова. Хотя они в основном были посвящены монголам XII–XIII вв., выработанные им характеристики распространялись и на более ранние общества кочевников. В своей работе «Чингис-хан» (1924 г.), исследователь предположил, что в общественной системе монголов XII – начала XIII в. сочетались родоплеменная иерархия («кость» – род – племя – племенной союз) и «классы», причем их наличие не являлось взаимоисключающим. Во главе родов стояли аристократические семьи, которые, как писал автор, «выдвигали» отдельных предводителей с титулами «багатур» (богатырь), «сечен» (мудрый), «тайдзи» (принц), «ноян» (князь), а племена и племенные союзы возглавлялись аристократами с титулами ханов (каанов) или императоров (каганов). В своих действиях эти предводители стремились к тому, «чтобы иметь удобные места для кочевания и достаточное количество вассалов, подданных и рабов, которые бы ходили за скотом и прислуживали бы в аристократических ставках» (Владимирцов Б.Я., 1992, с. 6–7). Хотя используемые Б.Я. Владимирцовым термины свидетельствовали о влиянии социальных теорий, за «классовой» характеристикой не стоял какой-либо социологический анализ. Ученый опирался на имевшиеся в его распоряжении источники, где он и выявил несколько социальных групп, определив их как «классы»: вожди («кааны», «каганы»), аристократия («нояны», «багатуры», «тайдзи»), простонародье («араты», «карачу»), рабы («богул»). Показателен тот факт, что, упоминая о «вассалах» и «рабах», он не писал о «феодализме» и о «рабовладении» (Владимирцов Б.Я., 1992, с. 7).

Более архаичной видел общественную организацию кочевников Г.Е. Грумм-Гржимайло. Внутренняя жизнь кочевых обществ рисовалась ученым как социальная гармония: «Государь с чинами обращается просто и управляет государством как одним человеком. Отсутствие церемониальных обрядов исключает возможность взаимных неудовольствий между низшими и высшими, общественные работы не истощают сил народа. Последний не имеет поползновений к роскоши, его питает и одевает разводимый им скот» (Грумм-Гржимайло Г.Е., 1926, с. 86). Широко употребляя термин «государство» в отношении различных кочевых образований, Г.Е. Грумм-Гржимайло (1926, с. 86, 96, 117–118, 121 и др.) не вкладывал в это понятие какого-либо социального содержания. Работы В.В. Бартольда и Г.Е. Грумм-Гржимайло по существу открывают исторические изыскания социально-политических институтов раннесредневековых кочевников в советской историографии.

Археологическое направление исследований памятников раннего средневековья также было представлено преимущественно учеными с дореволюционным стажем – В.А. Адрианов, П.К. Козлов, С.И. Руденко, В.В. Бартольд, Б.Я. Владимирцов и др. Наряду с ними в обследование и изучение раннесредневековых памятников включились М.П. Грязнов, С.В. Киселев, А.Ю. Якубовский, А.Н. Бернштам. Уже в 1920 г. были организованы первые экспедиции. В 1921–1920 гг. В.В. Бартольд провел работы в Средней Азии. С 1920 г. начались исследования Минусинской экспедиции, работавшей до 1927 г. под руководством С.А. Теплоухова (РАИМК, Томский университет, Русский музей). В 1923 г. в работе экспедиции принимал участие М.П. Грязнов, в 1927 г. – В.А. Адрианов. В 1923–1926 гг. работала знаменитая Монголо-Тибетская экспедиция П.К. Козлова, а в 1925 г. в Монголии работала Кэнтэйская экспедиция АН под руководством Б.Я. Владимирцова. Среди материалов экспедиции П.К. Козлова сохранились снимки находок из древнетюркского погребения VIII в. в Баиндаванэ-аман, сделанные участниками Кэнтэйской экспедиции (Длужневская Г.В., 2005, с. 97–98, 100).

В 1925 г. В.В. Бартольд и А.Ю. Якубовский обследовали памятники архитектуры в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Шахрисябе. В том же году С.А. Теплоухов организовал работы в Центральной Азии и Тувинской Народной республике (Длужневская Г.В., 2005, с. 100). Минусинской экспедицией (1928–1929, 1931 гг.) под руководством С.В. Киселева были произведены разведки в окрестностях Минусинска и других местах. В 1928 г. раскопки проводились у с. Большая Тесь на р. Тубе, среди разновременных погребений исследовались и кыргызские курганы. В 1931 г. раскопки производились у с. Усть-Ерба в Хакасии и у с. Малые Копены (андроновские, тагарские, таштыкские и кыргызские погребения). В 1928–1929 гг. также продолжались изыскания в Средней Азии В.В. Бартольда и А.Ю. Якубовского (Длужневская Г.В., 2005, с. 102–103).

В целом в 1920-е гг. археологические объекты раннего средневековья чаще всего выступали как материал для разработки культурно-хронологических схем. В своей знаменитой классификации памятников Минусинского края С.А. Теплоухов (1929, с. 55) выделил погребения, принадлежавшие кочевому населению – «киргизам» (исследователь верно отнес их ко второй половине I тыс. н.э.) и «представителям турок», «появившимся в VII в.» и покорившим «киргизов». Еще раз следует подчеркнуть, что разработанная С.А. Теплоуховым типолого-хронологическая схема позволяла выявить хронологическую и культурную взаимосвязь между разными объектами и тем самым проследить в археологических материалах отражение социальной структуры кочевых обществ.

Если памятники рунической письменности в монгольских степях давно привлекали отечественных ученых, то раскопки погребальных комплексов в Монголии в первой трети XX в. были редким явлением. В этот период исследователи чаще ограничивались описанием и фиксацией внешнего вида погребений. Например, в отчете о результатах работы археолого-лингвистической экспедиции ГАИМК и ЛИЖВЯ в Монголии Б.Я. Владимирцов (1927, с. 42) составил классификацию «древнетюркских памятников», включавшую в себя пять типов погребений («ханьские могильники... с черепками и надписями»; «могильники типа погребения Тоньюкука»; «могилы» типа погребения Тоньюкука, но «не имеющие надписи»; могилы, которые «не имеют кирпичного пола»; «маленькие бедные погребения»). Данный опыт типологии не получил развития, так как более или менее масштабные исследования в Монголии памятников раннего средневековья начались только в 1950-е гг. К тому же среди объектов, которые Б.Я. Владимирцов интерпретировал как «древнетюркские», многие принадлежали другим этническим группам и хронологическим периодам.

На изучение раннесредневековых кочевников оказывали влияние и исследования по истории и этнографии кочевых народов конца XIX – начала XX в. Они прежде всего отражали желание моло-

дых исследователей освоить и адаптировать к истории и этнографии кочевников различные трактовки стадильной теории. Учитывая то, что наследие К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина еще не было осмысленно, а тем более понимание идей «классиков» не было «загнано» в определенные, утвержденные властью, рамки, советские ученые 1920-х – начало 1930-х гг. искали основы марксистского подхода к истории в самых разных теоретических разработках (не исключая тех, кто уже рассматривался как противник большевизма). Нельзя не отметить и еще один момент. Ряд нижеуказанных исследований формировался на фоне продолжительной борьбы в Средней Азии с баями и «другими контрреволюционными элементами». Баи, потомки ханов, кочевая аристократия рассматривались как «феодалы-эксплуататоры», мешавшие установлению советской власти в этом регионе. С учетом этого целая группа социологов и историков видела в кочевничестве особую линию социогенеза, в ходе которой номады, минуя рабовладельческую стадию, переходили от родового общества к сословному государству и/или феодализму, сохраняя родовые институты (Чулошников А.П., 1924, с. 15, 26–30, 69–91, 198–203; Кушнер П., 1926, с. 127–130, 147, 155, 213, 220–225; Соколовский В.Г., 1926, с. 12, 24, 26, 30, прил. 12; Логутов Н.А., 1929, с. 34–38, 40–43; и др.).

При этом значительная часть ученых 1920-х гг. рассматривала социальную структуру средневековых и более поздних кочевных объединений в свете эволюционизма как иерархию подразделений рода или более крупных институтов – племена, союза племен, орды. Кочевники считались одним из примеров родовых обществ. Сословное деление и другие атрибуты развитых социальных систем, по мнению этих авторов, если и имели место, то не оказывали существенного влияния на эволюцию кочевников (Жамцарано Ц., Турунов А., 1921, с. 2; Петри Б.Э., 1924, с. 100; 1924а, с. 5, 18–19; 1926, с. 5–6; Богданов М.Н., 1926, с. 97–99, 101; Куфтин Б.А., 1926, с. 8–9; Тахтарев К.М., 1926, с. 276; Руденко С.И., 1927, с. 7–10; 1930, с. 8, 20, 60–61, 66; Гирченко В.П., 1928, с. 44; и др.).

Если говорить о новых тенденциях в конце 1920-х гг., связанных со становлением «истории материальной культуры» и «теории стадильности» (см. главу 1), свертыванием дискуссий, первыми репрессиями против кочевниковедов, переходом многих авторов на более «правильные» методологические позиции, то исследования социально-политической организации раннесредневековых кочевников они затронули слабо. Особенно если учесть, что в этот момент подобные работы были редкостью. Принципиально ситуация изменится только в середине 1930-х гг. Определенную эволюцию мы, правда, можем отметить во взглядах В.В. Бартольда. В одной из последних своих статей он уточнил собственные представления о генезисе кочевой государственности: «Без момента обострения классовой борьбы даже в условиях кочевого быта нет почвы для возникновения сильной правительственной власти» (Бартольд В.В., 1968г, с. 471). Несмотря на определенное воздействие марксизма, было бы ошибочно видеть в работах В.В. Бартольда 1929–1930 гг. «сколько-нибудь последовательное отражение его перехода на материалистические позиции – марксизм оставался чужд исследователю» (Ромодин В.В., 1963, с. 7; Кляшторный С.Г., 1968, с. 15; Писаревский Н.П., 1989, с. 32). Социальное неравенство, классовую борьбу и государство В.В. Бартольд был склонен рассматривать не как закономерное, а как спорадическое явление в кочевных обществах, обусловленное теми или иными чрезвычайными обстоятельствами. «...кочевой народ может жить дольше всех без хана, а когда является хан, то его борьба за власть со своим собственным народом сопровождается иногда большим кровопролитием, чем последующее завоевание кочевников в культурных землях» (Бартольд В.В., 1968г, с. 471).

Оценивая рассмотренный период, отметим определенную динамику в развитии взглядов отечественных исследователей по вопросам социальной организации кочевников. Она имела ряд аспектов. Первый из них связан с преобладанием эволюционистских представлений, сохранявших свое значение и в начале 1930-х гг. Среди исследователей средневековых кочевников, пожалуй, только Б.Я. Владимирцов обращался к концепции феодализма. Отдельную типологию кочевых объединений выработал В.В. Бартольд. Во-вторых, ощущался явный недостаток исследований по истории конкретных кочевых народов раннего средневековья. Многие проблемы находились только в начальной стадии разработки. Особенно слабо был изучен вопрос о кочевой государственности.

6.2. Утверждение феодальной модели в исследованиях по социальной истории кочевников Центральной Азии и Саяно-Алтая (вторая треть 1930-х – середина 1960-х гг.)

Середина 1930-х гг. ознаменовалась практическим освоением формационной теории, особенно в той ее трактовке, которая будет закреплена «Кратким курсом истории ВКП(б)». Считаем в некоторой степени алогичным с точки зрения функционирования научного знания тот факт, что целый ряд исследований по социальной истории средневековых кочевников, написанных с марксистских позиций, вышел в 1933–1934 гг., незадолго до публикации в IV главе «Краткого курса» основ «сталинского» (это определение в известной степени условно, учитывая, что в тот период политика и историческая наука слабо дифференцировались) понимания исторического процесса и периодизации мировой истории. Это свидетельствует о том, что «движение» историков к трактовке прошлого и настоящего с точки зрения формационного подхода, их стремление к овладению «единственно верным учением» было не только результатом более детального знакомства с идеями К. Маркса и Ф. Энгельса, обращения к передовым методам системного анализа, заложенного в учении о формациях, но следствием того, что освоение новой исторической концепции «направлялось» политическими органами.

По существу предполагалось, что все фундаментальные и концептуальные вопросы характеристики тех или иных обществ были уже решены в рамках «пятичленки». Хронологически каждое общество попадало в период существования определенной формации, и тем самым определялась его социальная сущность («первобытная», «рабовладельческая», «феодальная» или «капиталистическая»).

На практике же все оказалось гораздо сложнее. Многочисленные противоречия, рождавшиеся в связи с применением формационной теории, особенно к истории неевропейских народов, наглядно обозначились еще в конце 1920-х гг. в ходе дискуссий об АСП, торговом капитализме в Древней Руси и т.д. Не стала исключением и история кочевников. В других разделах монографии показано, сколь противоречивыми были оценки социального строя скифов, сарматов, саков, хунну и других кочевников. Существенный разбег между конкретно-историческим материалом и оценками в духе теории формаций, недостаточная историческая аргументированность позиций ученых, их нередкое желание решать сложные проблемы общественного устройства с помощью ссылок на «классиков» марксистско-ленинской теории были характерны и для исследований по социальной истории средневековых кочевников Центральной Азии. В то же время среди ученых-кочевниковедов 30-х гг. XX в. нашлось достаточно много тех, кто сохранил профессиональное отношение к работе с источниками, старался беспристрастно фиксировать особенности и отклонения от классических европейских моделей, и на этой основе даже творчески развивать марксистские идеи.

Первой публикацией, в которой западноевропейская модель феодализма апробирована на исторических материалах Саяно-Алтая, была статья С.В. Киселева «Разложение рода и феодализм на Енисее» (1933). Само название говорит о многом. Анализируя археологические материалы Минусинской котловины, исследователь буквально видел в них «подтверждение» феодального состояния общества. Так, по мнению С.В. Киселева, все население «Хакасского государства» (Кыргызского каганата) являлось «оседлыми земледельцами». «Хакасы» (кыргызы) выступают у ученого как «крестьяне», вынужденные платить дань собственникам за пользование землей, водой и скотом, а также повинности «хакасскому государству». Социальная структура «хакасского общества», как писал С.В. Киселев (1933, с. 27–29), включала в себя «богатых хлебопашцев», «зависимое крестьянство» и ремесленников.

Наибольший резонанс в научных кругах вызвал упоминавшийся в первой главе доклад С.П. Толстова «Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах» на сессии ГАИМК 1933 г. По мнению ученого, в пользу существования рабовладения у кочевников I тыс. н.э. говорили скудные сведения письменных источников, археологические материалы, эпос и генеалогические мифы, а также то, что «осколки этой стадии обществ кочевников дожили до нашего времени» (Толстов С.П., 1934, с. 175). Сохранение рабовладельческих отношений у средневековых кочевников С.П. Толстов объяснял «экономическими преимуществами» рабовладения перед феодализмом. Он считал, что разница заключалась в доле прибавочного и необходимого продукта: феодал «вынужден» был брать столько, чтобы воспроизводилась рабочая сила и средства производства; при рабовладении же необходимый продукт значительно меньше, а доля рабовладельца соответственно больше (Толстов С.П., 1934, с. 173–174).

В соответствии с концепцией С.П. Толстова рабовладельческие отношения господствовали у тюрков-тугу, огузов, арабов и других кочевников. Весьма своеобразно автор определил политическую организацию этих объединений. Несмотря на то, что «рабовладельческая стадия в развитии обществ с преобладанием кочевого скотоводства» была аналогична «античной формации Средиземноморья», они являлись «военно-рабовладельческими демократиями или патриархальными монархиями» (Толстов С.П., 1934, с. 177, 185). Таким образом, позиция исследователя демонстрировала, что в его взглядах еще не сформировалась жесткая зависимость между понятиями «классовое общество» и «государство».

В последующих работах С.П. Толстов развил ряд своих положений о рабовладении у кочевых народов средневековья. Его внимание привлекла общественная организация тюркского каганата, «развитые формы эксплуатации и классовых противоречий» которого сочетались с «внешней оболочкой родоплеменной организации» (Толстов С.П., 1935а, с. 5). Подтверждением острой социальной борьбы в каганате ученый считал предание об Абреу, изложенное Нершахи в «Истории Бухары». В движении пайкендского узурпатора Абрюя С.П. Толстов (1938, с. 17–22) видел демократическое восстание низов тюркского государства во главе, как он считал, с известным, по китайским источникам, Шаболио (Долабянь) против попыток тюркской аристократии поработить мелких скотоводов. С ростом социальных противоречий между аристократией и свободными воинами-кочевниками, превращаемыми в клиентов и рабов, как полагал автор, «разрушалось главное условие существования военно-рабовладельческого государства кочевников, которым являлось конное войско свободных мелких производителей», что и привело к кризису каганата (Толстов С.П., 1938, с. 38).

Можно с уверенностью сказать, что в 1930-е гг. возникновение классовых обществ у кочевников С.П. Толстов связывал только с рабовладельческими отношениями. Даже в империи Чингисхана, по его мнению, первоначально ведущую роль играло рабовладение. Разгром старой родовой аристократии, создание военно-территориальной организации, стоящей над родоплеменными институтами, образование империи, подчинение всех функций общества «задаче завоевательно-грабительских воинов – это черты, свойственные именно развитию завоевательных военно-рабовладельческих государств» (Толстов С.П., 1935, с. 213–214). Только потом, когда в составе империи оказалось большое количество земель с давно сложившимися феодальными отношениями, согласно мнению исследователя, феодальная тенденция в монгольском государстве стала преобладающей (Толстов С.П., 1935, с. 214).

Акцентируя внимание на рабстве, С.П. Толстов допускал, что «феодальные явления» сопровождали рабовладение с первых шагов, спорадически давая о себе знать «феодальными формами эксплуатации». Но, как подчеркивал ученый, они не могли составить базиса общественной структуры до тех пор, пока не созрели материальные предпосылки феодализма (Толстов С.П., 1934, с. 174). Исследователь оставил не раскрытым понятие «материальных предпосылок» и их соотношение с материальным производством кочевников, поэтому генезис феодализма не получил объяснения с точки зрения «роста производительных сил». Феодализация увязывалась С.П. Толстовым с отношениями, возникавшими в сфере «скотовладения». Имелась в виду монополизация скота аристократией на основе эксплуатации труда клиентов и рабов. Другим фактором была пресловутая «революция рабов» (восстания и побег). Он полагал, что вооруженная борьба рабов «толкала кочевую аристократию» на развитие вольноотпущенчества, превращение родовой клиентелы в крепостные отношения и усиление завоевательной деятельности, но уже с целью захвата не рабов, а территорий с «крепостным населением» (Толстов С.П., 1934, с. 186).

Ведущей формой эксплуатации С.П. Толстов (1934, с. 188–189) считал складывание «в процессе кочевания со скотом» такой формы эксплуатации, как «саун» (в тексте доклада «суан») – отдачу скота на выпас. Так впервые прозвучала одна из главных идей советского кочевниковедения: господство феодальных отношений у кочевников средневековья и нового времени в форме сауна. Исследователь также называл и другие формы, как он считал, эксплуатации (например, сдачу осевшими кочевниками скота феодалу за право обработки земли). Лишь как следствие этих отношений, параллельно с процессом закрепощения, по мнению исследователя, все большую роль играли «разнообразные формы чисто феодальной эксплуатации» – натуральные повинности, налоги, таможенные и судебные пошлины. «Феодальными» по сути, как считал исследователь, являлись и традиционные отношения («родовая взаимопомощь», калым, «подарки») (Толстов С.П., 1934, с. 189–190). В итоге

он заключил, что род у кочевников, «сохранившись как пережиток», скрывал внутри себя «глубоко развитые антагонистические отношения» (Толстов С.П., 1934, с. 191).

Таким образом, в концепции С.П. Толстова предполагалось одновременное сосуществование у средневековых номадов родовой системы, рабовладения и различных форм феодальных отношений. Эта позиция исследователя в ходе обсуждения его доклада и в дальнейшем подвергалась жесткой критике, особенно его тезис о рабовладении у номадов средневековья и нового времени. Не нашла поддержки и его саунная интерпретация «кочевого феодализма», поскольку она отличалась от «классических» представлений о формах эксплуатации при феодализме.

Среди других изданий 1933–1934 гг. особенно стоит выделить монографию Б.Я. Владимирцова «Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм» (1934), вышедшую через несколько лет после смерти ученого (он писал книгу в последние годы своей жизни – в 1930–1931 гг.; в редактировании принимала участие жена ученого; книга опубликована в незавершенном виде). Некоторые ее выводы, как предполагает С.А. Васютин, могли быть скорректированы в соответствии с политическим заказом. Впрочем, эти «дополнения» носили эпизодический характер и касались нескольких формулировок в марксистском духе (например, в формулировке задач стоит вопрос о том, к какой общественной формации отнести племена номадов). Тем не менее стоит учесть, что о феодализме у монголов писал исследователь с дореволюционным научным стажем и мировым именем. Да и сама монография представляла собой образец весьма тщательного анализа источников и интерпретации содержащихся в них сведений. Поскольку эта работа долгое время считалась эталоном исследования общественного строя у средневековых кочевников, неоднократно вызвала острейшие дискуссии в отечественной историографии и существенно повлияла на подходы других советских историков, считаем необходимым кратко изложить основные выводы Б.Я. Владимирцова.

Начало процесса «феодализации» Б.Я. Владимирцов связывал с изменениями в родовой структуре монголов в XI–XII вв. В этот период, как думал ученый, род у монголов «...находился уже в стадии разложения, пройдя длительный путь эволюции». Результатом этой эволюции была сильная социальная дифференциация и появление института зависимых родов и людей – *unagan bogol*, которые попадали в зависимость от какого-либо другого рода в ходе военных столкновений или из-за материальной нужды. Исследователь считал *unagan bogol* правильнее всего переводить «крепостные вассалы», поскольку они, как и крепостные крестьяне в Европе, не могли свободно расторгнуть связи, скреплявшие их с владельческим родом (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 62–64).

Положение *unagan bogol* характеризовалось также в соответствии с европейским прототипом: они сохраняли свое имущество, пользовались известной свободой, но часть результатов их труда шла их господам. Главной обязанностью *unagan bogol* ученый считал службу господину (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 64). В мирное время, как пишет Б.Я. Владимирцов, они кочевали совместно со своими владельцами, участвовали в облавных охотах. В целом отношения «между родом владельческим и родом *unagan bogol*» характеризовались «как отношения сюзерена, сеньора и крепостных вассалов» (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 64). Дальше он уточняет: «наследственных крепостных вассалов владельческого рода» (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 67).

Параллельно с оформлением *unagan bogol* у монголов XI–XII вв. происходил процесс выделения наиболее богатых кочевников с семьями. Эти семьи кочевников с «большим удобством вели кочевое хозяйство и на облавных охотах получали лучшую долю». Они также имели своих *unagan bogol* и нукеров – военных слуг, для совершения наездов и отражения нападений (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 73). Основой этого процесса ученый считал имущественное неравенство, а итоги социальных изменений охарактеризовал следующими словами: образование степной родовой аристократии, возникшей «на почве индивидуалистического кочевого хозяйства, выросшей из борьбы с хозяйственно слабыми группами». Также Б.Я. Владимирцов указал на существование у монголов института вождей (хаанов), которые избирались на племенных советах на время войны или больших облавных охот. «Это были эфемерные вожди с неопределенной, всегда оспариваемой властью...» (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 79–80).

Оформление феодальных отношений у монголов XIII в. Б.Я. Владимирцов показывает как трансформацию основных элементов сложной родоплеменной структуры монгольского общества XI–XII вв. в «феодальные» институты. Наиболее важными он считал следующие процессы:

1. Превращение института вождей-хаанов в институт общемонгольской ханской власти. При этом правящий золотой род Чингисхана стал выступать как совместный владелец племен, народов и

их земель, входивших в державу монголов. Все ближайшие мужские родственники хана (сыновья, братья) признавались царевичами и получали в пользование улусы-уделы. Царевичи в свою очередь раздавали уделы своим сыновьям и родственникам, многократно увеличивая тем самым число вассалов.

2. С течением времени «крепостные» роды перестали почти отличаться от других родов, подчинявшихся только какому-нибудь аристократическому хаану, багатуру, нойону и т.д., т.е. все превращались в bogol (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 96). Таким образом, почти все кочевое население, по мнению исследователя, оказалось на положении «зависимых» и, что он считал особенно важным уже не от рода, клана или племени, а от отдельного человека, имеющего вполне определенный социальный статус – нойон (господин).

3. Превращение кочевой аристократии и нукеров в нойоны и формирование вассальной системы. В нукерах Б.Я. Владимирцов видел прообраз дружины, из которой в Западной Европе, по его мнению, выросли феодальные отношения. Нукер – свободный человек часто аристократического происхождения, свободно принимавший обязательства по отношению к своему господину. Нукеры не обладали собственностью и находились на содержании и под покровительством своего господина. При Чингисхане нукеры стали получать за службу (военную, административную и пр.) в удел то или иное количество аилов и территории, на которых они могли кочевать вместе со своими людьми и охотиться (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 92, 111). Схожий характер, как считал ученый, имели отношения хана и степной аристократии. За последними закреплялось известное количество аилов, родов и поколений, которые могли под их предводительством являться на службу.

4. Уничтожение родовой структуры Чингисханом и введение «десятичного» деления. В трактовке Б.Я. Владимирцова эти меры затронули не только военные, но и хозяйственно-административные отношения, поскольку все монгольские племена, поделенные на «десятки», «сотни», «тысячи» и «тьмы», оказались в подчинении представителей золотого рода, нойонов, аристократии и нукеров. Все большие древнемонгольские племена (татар, меркитов, найманов и т.д.) оказались разбросаны по разным улусам и уделам-тысячам. В других случаях, там, где вассалами являлись кочевые аристократы или подчинившиеся Чингисхану «государя», как пишет исследователь, племенное и родовое деление сохранялось, так как нойоном становился родовой вождь, получавший в ленное владение собственное племя или род (Владимирцов Б.Я., 1934, 104–105, 109–110).

Б.Я. Владимирцов полагал, что звание сотника, тысячника, темника было наследственным. Все они получали титул нойона. Знаменательным, по его мнению, было то, что этот титул носили и кочевые аристократы. Тем самым родовые структуры слились с вассальными полностью. Каждый вассал является прежде всего вассалом царевича, а затем вассалом хана. «Феодалы», как считал Б.Я. Владимирцов, образовывали две группы. К первой относились «великие сеньоры» (ханы), царевичи. Вторую составлял многочисленный строй нойонства – ханские зятья, темники, тысячники. Сотники в зависимости от имущественного положения и значения «сотни» относились то к классу «феодалов», то к промежуточной группе между «феодалами» и более низким классам. В таком же положении находились те вольноотпущенники, которые получали свободу за какие-либо заслуги и тем самым приобретали не только положение «свободных» и освобождение от повинностей и податей, но и достигали различных степеней и таким образом входили в круг феодалов (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 117). Он также характеризует положение различных групп населения (ханская гвардия, «простые воины», «чернь», состоявшая из потомков uagan bogol, покоренных племен и родов, рабов, «слуг» и др.).

5. Экономической основой «кочевого феодализма» Б.Я. Владимирцов считал право владения пастбищными территориями, которыми обладали нойоны. Он предполагал, что раз сеньор владел людьми, значит, он должен был владеть и землей. Для кочевника, утверждает Б.Я. Владимирцов (1934, с. 111), важна «возможность использовать большие пространства для периодических перекошек в зависимости от времени года», «выбирать лучшие и удобные стоянки».

Интересно ученый трактует реализацию права владения землей. По его мнению, оно выражалось в том, что нойон руководил кочеванием зависящих от него людей (улус), направляя их по своему усмотрению, распределяя лучшие пастбищные уголья и указывая стоянки в определенных местах представленного ему нутука-юрта. Еще более противоречиво исследователь описывает права различных социальных групп на скот. Он допускал, что «все монголы, свободные, простые воины, монгольская «чернь», вассалы, все имели в своем владении скот, с которым и кочевали» (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 113). Их «зависимость» выражалась в том, что они кочевали «согласно распоряже-

нию сеньора» и несли повинности в пользу «феодалов», предоставляя скот на убой, кобылиц для ставки и т.д. Так в целом выглядела характеристика Б.Я. Владимирцовым «феодального» монгольского общества XIII в.

Следует отметить, что в своих разработках Б.Я. Владимирцов в большей степени опирался на труды западноевропейских исследователей феодализма и домарксистскую отечественную традицию. В частности, большую идейную роль сыграли исследования Н.П. Павлова-Сильванского, который предполагал практически полное сходство западноевропейского феодального и русского средневекового обществ. В контексте тогдашних научных теорий было и использование понятия «крепостной». В русской и ранней советской медиевистической литературе дефиницией «крепостной» нередко называли самые разные социальные группы населения на Руси, в странах Западной и Восточной Европы, Азии и т.д. (позднее даже советские медиевисты указывали, что западноевропейских сервов нельзя считать крепостными; не адекватным был признан термин «крепостной» и для восточных обществ). Очевидно, что в работе Б.Я. Владимирцова, простые кочевники и те, кого автор называл «чернью», имеющие собственный скот и право на свободный его выпас, несущие военную повинность, были названы «крепостными» скорее по идейным или идеологическим соображениям. Явное противоречие слова «крепостной» с материалами письменных источников по истории монголов в XII–XIII вв., положением рядовых номадов в разных кочевых социумах и, в конце концов, с самим духом степного общества лишний раз показывает присущее книге «теоретическое насилие» над историческими реалиями.

Важный аспект заключался в том, что уже в части названия книги («Монгольский кочевой феодализм») была отражена специфика («феодализм» не только «монгольский», но еще и «кочевой»). Правда считается, что этот подзаголовок был добавлен при редактировании (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 21). В этой связи следует подчеркнуть, что Б.Я. Владимирцов писал не о феодальной собственности как таковой, а о владении, причем больше военно-административном, распорядительном владении (пользование пастбищами, определение маршрутов и пр.), чем частно-правовом и хозяйственном (как в Западной Европе). Именно такой подход, во всяком случае, был обозначен в одном из докладов Б.Я. Владимирцова незадолго до его смерти: «Для кочевника важным является не владение определенным участком, а возможность использования для тех или иных времен года определенных пастбищных территорий... Ведь кочевание монголов... есть определенные переходы по определенным пастбищам, и то лицо, которое фактически этим управляет, оно является, с кочевой точки зрения, с точки зрения экономических нужд кочевого населения, распорядителем земли, ее обладателем» (цит. по: Кычанов Е.И., 1986, с. 5; см. также: Владимирцов Б.Я., 1934, с. 110–111, 113).

Этот нюанс не всегда учитывался советскими исследователями. Нередко за пафосными характеристиками типа «классический труд по теории феодализма» он просто не замечался, и Б.Я. Владимирцову приписывали разработку вопросов феодальной собственности у кочевников (Якубовский А.Ю., 1936). А чаще, описывая различные виды собственности у кочевников, ставили сноску на монографию Б.Я. Владимирцова. Даже через 50 лет после выхода рассматриваемой книги с помощью цитат о «владении» землей царевичами и нойонами по распоряжению хана доказывалось существование феодальной собственности (т.е. частной, а не назначенной ханом) на пастбища у номадов от сунну до монголов (Таскин В.С., 1984, с. 32–39). С монографией «Общественный строй монголов» Б.Я. Владимирцова и с его наследием в целом произошла метаморфоза, которую хорошо описали Н.Н. Крадин и Т.Д. Скрынникова. До тех пор пока был жив, Б.Я. Владимирцов сохранял дореволюционные научные традиции и поддерживал контакты с зарубежными коллегами, но к нему относились настороженно (показательно, что в советской историографии чаще апеллировали к его посмертной работе, а не к прижизненным трудам, которых более 40). Скоропостижная смерть ученого и выход через три года явно отредактированного и незаконченного издания позволили совершенно безопасно приписывать Б.Я. Владимирцову любые идеи, в том числе и идею «кочевого феодализма», называть «его» книгу «классической» (В.С. Таскин) и т.д. Как подчеркивают Н.Н. Крадин и Т.Д. Скрынникова (2006, с. 21), для одних он стал «иконой», и его вклад в монгольскую медиевистику был канонизирован на столетия, для других по этой же причине автор был мишенью для критики, хотя на самом деле боролись они с официальной, сталинской интерпретацией феодализма.

Так или иначе в середине 1930-х гг. работа Б.Я. Владимирцова и его научный авторитет использовались для утверждения пятичленной схемы и идеи феодального характера кочевых обществ средневековья. Та запрограммированность выводов, которая была заложена в формационной тео-

рии, особенно наглядно отразилась на исследованиях талантливого ученого Н.Н. Козьмина. В своей монографии «К вопросу о турецко-монгольском феодализме» (1934) он выразил наиболее крайние взгляды по вопросу о феодализме у кочевников.

Н.Н. Козьмин (1934, с. 73), основываясь на анализе источников различных хронологических периодов, пришел к выводу о том, что у «тюрко-монгольских народов» единственной формой социальной организации был «феодализм», к которому «можно даже не прибавлять слова «кочевой» и «азиатский». Методику работы автора с источниками и обоснованность аргументации хорошо характеризует следующий пример. По мнению Н.Н. Козьмина (1934, с. 14), за фразой ханьских хроник, посвященной хунну, «у каждого есть определенный участок земли» скрывалась западноевропейская формула «нет земли без сеньора». С соответствующей легкостью он доказывал существование феодализма у тюрков и монголов (Козьмин Н.Н., 1934, с. 23; 1934а, с. 270, 276).

Учитывая, что Н.Н. Козьмин учился у Г.Н. Потанина и В.А. Рязановского, осуществлял перевод трудов В.В. Радлова (1929) и К. Д'Оссона (1937), продолжительное время занимался историей бурят, его нельзя причислить к числу людей, случайно оказавшихся в кочевниковедении. К моменту публикации монографии ему было более 60 лет – возраст, когда менять взгляды было крайне трудно. Возможно, столь упрощенный подход к истории кочевников может объясняться первой попыткой автора освоить формационную методологию. К сожалению, дальнейшая работа Н.Н. Козьмина была прервана в 1937 г. арестом НКВД как «врага народа» и гибелью через год (Крадин Н.Н., 2007, с. 39).

Иную позицию занимал А.Н. Бернштам. Он считал, что «в борьбе» с теориями родового быта у кочевников наблюдаются «перегибы» и «модернизация» социального строя, особенно явно проявившиеся в работах Н.Н. Козьмина (Бернштам А.Н., 1934, с. 87). Анализ источников (археологических материалов, орхонских и енисейских надписей, китайских хроник) позволил А.Н. Бернштаму (1935, с. 7) выдвинуть гипотезу о существовании у «тюрков» феодализма «как первой антагонистической формации в турецком обществе». Особую роль А.Н. Бернштам отвел археологическим источникам. «Расположение могильников вместе с турецкими княжескими могилами, правильное чередование последних на определенном промежутке друг от друга дают возможность предполагать, что они отмечают места кыстау-зимовок, являвшихся... земельной собственностью феодала-бега». Более того, сам тип «надгробных памятников турецкой эпохи» был назван «бесспорно феодальным» (Бернштам А.Н., 1935, с. 12).

А.Н. Бернштам (1935, с. 13) определял «турецкий феодализм» как «явление стадияльное», так как с ним связаны не только социальные процессы внутри «турецкого общества», но и «возникновение феодализма в среде кочевых народов вообще». Опираясь на теорию Н.Я. Марра, исследователь рассматривал термин «турк» как название господствующей части союза племен – «эля» – объединения знати «племен, входящих в состав государства» (Бернштам А.Н., 1935, с. 14). Констатируя стадияльное совпадение новых форм социальной организации (феодализм) и формирования новых языков («турецких») и «их бурное распространение», ученый назвал «данный процесс феодализации – «туркизацией общества» (Бернштам А.Н., 1935а, с. 48). Сохранение родоплеменной организации у тюркских народов дало основание А.Н. Бернштаму (1935, с. 14–15) уточнить характеристику «древнетурецкого общества» как «переходного от высшей ступени варварства к феодализму». Разночтения в оценках археолога объяснялись тем, что генезис феодализма и период его расцвета в концепции ученого практически не различались содержательно.

В соответствии с духом времени А.Н. Бернштам уделял большое внимание классовой борьбе, которая сопровождала «образование турецкого государства». По его представлениям, в этой борьбе беги вместе с общинами (родами) выступали против каганата, что определялось их различной социально-экономической природой. Если родовая аристократия (военачальники) – «каганство», согласно точке зрения исследователя, «обосновывало свое господство на рабстве», то беги были тесно связаны с родоплеменной организацией и, узурпируя органы родового строя, стремились превратить своих «бедневших сородичей» в зависимых кочевников. Таким образом, как полагал ученый, «борьбу родовой аристократии с бегами надо понимать как борьбу между рабовладельческой аристократией и формирующимися феодалами» (Бернштам А.Н., 1935, с. 20).

С «классовыми» противоречиями исследователь связывал и возникновение государства. На фоне конфликта родовой аристократии и бегства, по мнению А.Н. Бернштама, развивались противоречия между «каганством» и бегством, с одной стороны, и народом – с другой, что привело к появлению государства. Данное государство характеризовалось как «типично феодальное» со сложив-

шейся «королевской властью», наместниками, становившимися «князьями с уделами» и феодальными распрями, «маскируемыми» в орхонских текстах «борьбой племен» (Бернштам А.Н., 1935, с. 16). В контексте европейских аналогий исследователь образование «турецкого государства» предложил «квалифицировать как германский тип образования классового общества» (Бернштам А.Н., 1935, с. 20–21).

Интересно, что в 1930–1940-е гг. А.Н. Бернштам давал довольно неоднозначную оценку стадии и особенностям «турецкого феодализма». В этом отразились разные проблемы советского кочевниковедения той поры – соответствие формационным характеристикам, ограниченность социальной терминологии и др. Это наглядно проявилось в следующих оценках социальных процессов, происходивших в Тюркском каганате: «крупнейшее раннефеодальное образование» (Бернштам А.Н., 1935а, с. 47), «ранний этап становления классового общества феодального порядка» (Бернштам А.Н., 1935а, с. 47; 1941а, с. 54), «процесс феодализации, происходивший на основе военной демократии, в свою очередь основывающейся на рабстве...» (Бернштам А.Н., 1935а, с. 48), «кочевое государство» (Бернштам А.Н., 1941, с. 25), «новое классовое общество с тенденцией к становлению феодальных институтов» (Бернштам А.Н., 1946, с. 7). Разночтения, по-видимому, определялись тем, что ученый пришел к выводу о сосуществовании государства и родоплеменного деления в Тюркском каганате, что не соответствовало идеальной модели феодализма. Пытаясь объяснить данный факт, А.Н. Бернштам отмечал, что союз племен – эль – являлся организационной формой феодального «турецкого государства». В эле «представляла имущественная знать, беги» и он стал «формой проявления власти господствующего класса», возглавляемого каганом (Бернштам А.Н., 1935б, с. 168–169).

Оформление союза племен – эля, по мнению автора, встречало активное сопротивление, так как племена стремились сохранить свою независимость, а племенная знать, «самостоятельно формирующаяся в класс», неохотно шла «под протекторат более крупных феодалов» (Бернштам А.Н., 1936, с. 878). В этом свете, согласно концепции ученого, покорение племен являлось одновременно и подчинением бегства каганам, в результате чего складывалась феодальная иерархия: каган был верховным сюзереном, ябгу и шады – его наместниками, «буюруки» и «тарканы» – сборщиками дани, а беги – «местными феодалами, связанными с общинами» (Бернштам А.Н., 1936, с. 884).

Точка зрения Б.Я. Владимирцова о «кочевом феодализме» нашла поддержку в работах А.Ю. Якубовского. Он полагал, что уже в начале XIII в. родовые институты монголов являлись только «старой оболочкой», в которой действовали «новые классовые (феодальные) отношения». Вслед за Б.Я. Владимирцовым, А.Ю. Якубовский описывал «монгольское феодальное государство», в котором отдельные части государства распределялись между членами золотого рода Чингисхана, а им в свою очередь подчинялись «все кочующие на данной территории нойоны со своими нукерами, феодально-зависимыми аилами и рабами» (Якубовский А.Ю., 1936, с. 294, 297; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., 1937, с. 27–28, 34). Сходные оценки давались и общественной системе Золотой Орды, истории которой был посвящен совместный труд А.Ю. Якубовского и Б.Д. Грекова.

Высказанные в целой серии работ 1933–1937 гг. формационно-классовые оценки кочевых обществ средневековья существенно сказались на отражении социальных сюжетов в археологических исследованиях. При этом, правда, необходимо отметить, что социальные интерпретации в работах по археологии средневековых номадов были по-прежнему достаточно редки. Учитывая, что в середине 1930-х – начале 1940-х гг. археологическими исследованиями были охвачены многие районы страны, где изучались десятки кочевнических памятников, в том числе и средневековые (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941; Киселев С.В., 1941; Иесен А.А., 1941; Сосновский Г.П., 1941; и др.), вели свою работу несколько комплексных и специальных экспедиций (Саяно-Алтайская, Алтайская, Южноуральская, Орская, Куйбышевская, Северо-Кавказская, Хорезмская, Зеравшанская, Киргизская, Семиреченская, Чуйская, Казахстанская и др.), объяснить эту ситуацию можно несколькими причинами.

Во-первых, пополнение источниковой базы поставило перед учеными задачу обработать и систематизировать полученные материалы, что занимало достаточно много времени. Их историческая характеристика явно «запаздывала». Во-вторых, многие археологии акцентировали внимание на вещеведческой работе, а социальная проблематика в силу своей специфики, если и не была им чужда, все же требовала исследований совершенно иного характера. Стоит также учесть, что история большинства регионов степной Евразии на археологических материалах только начинала разрабатываться. В-третьих, существенный урон теоретической и полевой археологии нанесли репрессии

1930-х гг. Научная деятельность ряда институтов и творческих коллективов была блокирована «разбирательствами», «проработками», «собраними с осуждением взглядов ученых», арестами. Как и в начале 1930-х гг., в 1938–1939 гг. резко снизилось число публикаций. Не случайно, что отчеты за 1934–1936 гг. публиковались только в 1941 г. В этих условиях археологи не торопились «конкретизировать представления об общественном развитии местного населения в контексте формационной теории».

Скорее исключением можно считать размышления об общественной структуре кыргызов в публикации С.В. Киселевым и Л.А. Евтюховой материалов Копенского чаа-гаса. Данная характеристика кыргызского общества, в отличие от статьи С.В. Киселева 1933 г., строилась на более детальном изучении археологических и письменных источников. Ученые выявили три социальные группы: богатая знать, скотоводы и земледельцы, рабы. По их мнению, народ не находился еще в зависимости от своей знати и «если кыргызские ханы и беги и называли себя владельцами, то только земли». В древнетюркских надписях Минусинской котловины, как предполагали Л.А. Евтюхова и С.В. Киселев (1940, с. 25–26), «народ выступает как самостоятельная сила наряду с ханом и аристократическим родом «эле́м». Мнение археологов о социальном расслоении в кыргызском каганате подтверждали материалы Копенского чаа-гаса, где выдающиеся по размерам курганы содержали тайники с богатыми всадническими наборами и украшениями (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1940, с. 32–35, 49).

Подводя промежуточные итоги изучения социально-политической организации раннесредневековых кочевников в публикациях 1930-х гг., можно отметить противоречивые тенденции и определенно констатировать, что к середине – второй половине 1930-х гг. мнение о феодальной организации кочевников стало преобладающим среди историков и археологов. Если Б.Я. Владимирцов, Н.Н. Козьмин, А.Н. Бернштам, А.Ю. Якубовский писали преимущественно о сложившихся формах феодальной собственности и эксплуатации или о зарождении и становлении феодализма (особенно для раннего средневековья), то С.П. Толстов предполагал сложную структуру и хронологию перехода кочевников от рабовладения к феодализму. Причем, судя по ряду его оценок, вторая половина I тыс. н.э. в основном связывалась с господством рабовладельческих отношений.

Необычным для 1930-х гг. был подход к оценке социальных систем средневековых кочевников М.И. Артамонова. С одной стороны, он фиксировал на примере Хазарии, что «варварское общество юго-восточных степей впервые нашло форму классовой организации, не осложненную привнесениями античной цивилизации» (Артамонов М.И., 1937, с. V–VI). С другой, он не уточнял характер классового государства, ограничиваясь довольно обтекаемыми оценками. Так, исследователь считал, что тюркский каганат и другие кочевые образования, «объединенные в единое политическое целое посредством завоевания, ...скреплялись очень непрочной связью, внешним выражением которой было единство правящей династии». М.И. Артамонов (1937, с. 72) подчеркивал, что ее члены не только возглавляли наиболее крупные подразделения каганата, но и рассматривали его в целом как свое фамильное или родовое достояние.

Концепция исследователя предполагала, что именно «частные династийные интересы» находили благоприятную почву для сепаратистских устремлений в отдельных частях государства и способствовали в конечном итоге распаду тюркского государства на Восточный и Западный каганаты, внутри которых постепенно оформились самостоятельные объединения, одним из которых и была Хазария. Пользуясь имеющимися скудными сведениями, ученый допускал, что социо- и политогенез хазар был связан с укрупнением родоплеменного союза и процессами консолидации вокруг хазар других родовых групп (Артамонов М.И., 1937, с. 134).

Исследования С.П. Толстова, Б.Я. Владимирцова, Н.Н. Козьмина и др. не только раскрывали теоретические и конкретно-исторические аспекты оценки общественных систем кочевников в контексте формационной концепции, но и сами олицетворяли эталонную марксистскую линию в рассматриваемой области исторического знания. Однако эта «линия» была далеко не едина. В ней отчетливо просматриваются совершенно разные концепции, слишком наглядно «выступают» отклонения от утвержденной «марксистско-ленинской теории исторического процесса», просматривается специфика кочевничества в целом, которая требовала постоянных объяснений в виде рассуждений о переходном характере средневековых кочевых социумов, «пережитках» родоплеменной эпохи или о «кочевом феодализме». Более того, были и те, кто отрицали «феодалность» некоторых кочевых обществ средневековья и нового времени. Все это говорит о том, что сама формационная теория, особенно в усеченном «сталинском» виде, даже потенциально не могла «объяснить» многие специфические

стороны общественной жизни кочевников. К тому же стоит учесть, что многие ученые предпочитали вести исследования не столько на основе пока еще мало детализированной концепции, сколько опирались на источники и конкретные материалы. С этой точки зрения марксистское кочевниковедение в СССР практически с момента своего зарождения развивалось как научная «ниша» для не вполне ортодоксальных, а порой и альтернативных, мнений и точек зрения. Отчасти это может объясняться и тем, что политический контроль за кочевниковедческими исследованиями не был столь всеохватывающим, как, скажем, за трактовками событий дореволюционной и советской истории. Ради объективности стоит отметить, что оперирование формационными моделями даст в конечном итоге неплохие плоды, постепенно качество проработки теории на конкретно-историческом материале будет улучшаться, а нерешенные проблемы породят творческие подходы, но, конечно, в пределах «марксистско-ленинской методологии».

В послевоенный период социально-политическая история кочевников развивалась в условиях дальнейшей разработки и оформления советского варианта формационной концепции. В области изучения социально-политической организации раннесредневековых кочевников Центральной Азии во второй половине 1940-х – середины 1960-е гг. был издан ряд обобщающих работ, по-разному трактующих особенности общественного развития кочевников в раннесредневековый период.

В монографии «Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII веков: Восточно-тюркский каганат и кыргызы» А.Н. Бернштам фактически подвел итоги своей многолетней работы по проблемам социальной истории Тюркских каганатов. От предыдущих публикаций книгу отличал ряд важных моментов. В первую очередь это касалось использования исследователем термина «орхоно-енисейские тюрки», прозвучавшего впервые в 1936 г. (Бернштам А.Н., 1936, с. 885). Этой искусственной конструкции, вследствие синхронизации орхонских и енисейских текстов (Бернштам А.Н., 1946, с. 30), археолог придавал социальное содержание как единой общественной организации. Рассматривая, помимо письменных, археологические источники, исследователь определял как одновременные памятники тюркского времени в долине р. Орхон и Толы, «могилы культуры чаа-тас», могильники Кудыргэ и Катанда-II на Алтае. Различия в культуре он связывал с племенным и социальным делением «древнетюркского общества», в котором господствующее кочевое племя «тюрк» сосуществовало с зависимым полукочевым населением, примером которого автор считал «кудыргинцев» (Бернштам А.Н., 1946, с. 70–74).

Основной социально-экономической ячейкой древнетюркского общества, как полагал А.Н. Бернштам, являлась патриархальная семья, входившая в род – «форму» общинной организации. Совокупность родов образовывала племена, а объединения последних – союз племен *al* (эль), в котором исследователь, как и раньше, видел форму «примитивного государственного устройства» (Бернштам А.Н., 1946, с. 100). По его мнению, «государственное образование, использующее родоплеменные связи, характерно не только для VIII в., а проходит через всю историю кочевников» (Бернштам А.Н., 1946, с. 102). По существу А.Н. Бернштам обращался к взглядам ученых 1920-х гг., согласно которым родоплеменная иерархия не была помехой развитию государственности у кочевников и рассматривалась как нормальный компонент социальных систем кочевых обществ (А.П. Чулошников, Н.А. Логутов, П. Кушнер).

В оценках ученых общественной организации Второго Тюркского каганата наметилась тенденция к подчеркиванию рабовладельческих, а не феодальных черт, которые он считал еще «детскими». А.Н. Бернштам (1946, с. 10) в середине 1940-х гг. склонен был рассматривать тюркское общество в большей мере как переходное, где «родоплеменной строй, рабство, тесно переплетались» с «весьма примитивными и своеобразными» отношениями феодального типа. В представлении исследователя рабы (пленные враги и мирные жители, дети наложниц) имели не только самостоятельное значение, но из них, путем адаптации в роде и патриархальной семье, формировались различные категории населения, прежде всего клиенты, лишенные собственного имущества и зависевшие от своих «патронов». Оценивая уровень рабовладельческих отношений у тюрок, ученый подчеркнул, что они не вышли за рамки патриархальных, сыграв в то же время большую роль в генезисе феодальных отношений (Бернштам А.Н., 1946, с. 123–125).

Близко по положению к рабам, как считал А.Н. Бернштам, находились разорившиеся члены рода. Исходя из этого археолог предполагал, что понятие *gul* обозначало не только рабов, но и группу непосредственных производителей. Кулами назывались «всякие подчиненные, включенные в чужой род и происходившие из других племен и родов» (Бернштам А.Н., 1946, с. 127). Иной характер, согласно взглядам автора, имело подчинение отдельных племен, сохранявших свою родовую орга-

низацию. Они были обязаны платить дань, постепенно перерастающую в «постоянную подать», и нести воинскую повинность. Из них, по мнению ученого, формировалось основное податное население – *budun* (Бернштам А.Н., 1946, с. 129).

Если в работах 1930-х гг. А.Н. Бернштам придавал главное значение соперничеству рабовладельческой аристократии и феодализирующегося бегства, то в монографии 1946 г. исследователь определяющую роль в тюркском социогенезе отводил борьбе бега и общины, к «закабалению которой стремился бег» (Бернштам А.Н., 1946, с. 139, 146). В остальном он повторял высказанные ранее идеи (германский путь феодализации; сущность конфликта аристократии и бегов; превращения «эля» в корпорацию господствующего класса и пр.).

В конце 1940-х гг. продолжал развивать концепцию рабовладельческих отношений у ранне-средневековых кочевников С.П. Толстов. Его взгляды подразумевали прямые аналогии социальной структуры Тюркского каганата и античных государств. Речь шла не только о развитии рабовладения, но и о буквальном тождестве отдельных звеньев общественной иерархии. Родоплеменная знать (беги), согласно ученому, напоминала «по своему социальному профилю раннеантичных базилиев», тарханы – патрициат, а ябгу и шады – магистров (Толстов С.П., 1948, с. 259–260).

Среди форм рабовладения С.П. Толстов (1948, с. 261, 263–264) называл поселения ремесленников и земледельцев в степи («спартанский тип» рабства) и институты, походившие на *unagan bogol* у монголов. Причем если у Б.Я. Владимирцова *unagan bogol* – «феодално-зависимые крепостные», то у С.П. Толстова (1948, с. 264) «это нечто среднее между илотами и неравноправными союзниками...» Развивались, по мнению ученого, и феодальные отношения в виде «клиентелы» – огушей (дружинников и преданных слуг кочевой аристократии) и татов (оседлых данников каганата в Восточном Туркестане и Средней Азии). Как считал С.П. Толстов, появление клиентелы разрушало «гражданскую общину» кочевников перед лицом рабов и вело к уничтожению государства. На смену приходил «молодой, сохранивший в большей неприкосновенности военно-демократические традиции», а значит и социальное единство «эль». Подобным образом исследователь объяснял смену кочевых государств в Центральной Азии кушан, эфталитов, жуаньжуаней, тюрков, уйгуров, кыргызов, огузов (Толстов С.П., 1947, с. 87, 89–90; 1948, с. 265, 278–280; 1948а, с. 217–218, 245, 249, 270).

Определенное влияние концепция С.П. Толстова оказала на С.В. Киселева. Характеризуя Тюркский и Кыргызский каганаты, С.В. Киселев (1951, с. 500, 573) указывал, что они входили в ряд «рабовладельческих» и «дофеодальных» государств «раннефеодальной поры». Тюркская аристократия рассматривалась ученым как формирующаяся рабовладельческая знать, в хозяйстве которой использовался труд рабов. Согласно мнению С.В. Киселева (1947, с. 88–89; 1951, с. 500–501), вся система общественных отношений в государстве «алтайских тюрков» усложнялась даннической зависимостью как рядового тюркского населения, так и многочисленных подчиненных племен. Сравнивая Тюркский и Кыргызский каганаты, исследователь считал отличительными чертами последнего относительную свободу народа от бегов и кагана и родственный характер входившей в эль аристократии (Киселев С.В., 1951, с. 573, 593–594).

Картину социального расслоения в Кыргызском каганате демонстрировала типология кыргызских погребений, разработанная Л.А. Евтюховой и поддержанная С.В. Киселевым. К первому типу «рядовых погребений» авторы отнесли каменные курганы 4–6 м в диаметре и до 0,5 м в высоту, близкие друг к другу по особенностям обряда, составу инвентаря и форме вещей. По наблюдениям исследователей, они образуют цепочки, в которых «легко узнать кладбище нескольких семей». С.В. Киселев отдельно рассматривал могилы из первой группы, которые окружали крупные курганы. Труположения, отсутствие инвентаря, как считал ученый, говорили о том, что покойники являлись «слугами» или «рабами», сопровождаемыми «хозяином» (Евтюхова Л.А., 1948, с. 8, 10–11; Киселев С.В., 1951, с. 599–600).

Второй тип в классификации составили курганы чаа-гас, в которых Л.А. Евтюхова (1948, с. 14–18, 31, 36) и С.В. Киселев (1951, с. 601) видели захоронения людей, обладавших высоким общественным положением – бегов, тарханов. Особое место занимал Копенский чаа-гас – «кладбище знатного рода». По мнению Л.А. Евтюховой (1948, с. 18, 31), размеры курганов, богатый и разнообразный инвентарь данного чаа-гаса отличались не только от погребений рядовых соплеменников, но и от могил других знатных кыргызов.

Л.А. Евтюхова обратила внимание на половозрастную дифференциацию кыргызского населения и на социальную планиграфию кыргызских могильников. Раскопки убедили исследовательницу, что обычай детских труположений имел место во всех типах кыргызских погребений (Евтюхо-

ва Л.А., 1948, с. 11). Она также отметила, что в составе могильников чаа-тас большие, средние и малые курганы всегда составляли отдельные цепочки или группы (в цепочке больших курганов никогда не встречался маленький и наоборот). Исходя из характеристики Копенского, Уйбатского и других чаа-тасов как родовых кладбищ, Л.А. Евтюхова (1948, с. 15) предположила, что подобная система расположения курганов отражала «внутреннюю общественную структуру Кыргызского государства».

Классификацию Л.А. Евтюховой и С.В. Киселева существенно дополнили материалы могильников Капчалы-I и II, проанализированные В.П. Левашовой. Хотя датировка могильников не совпала, исследовательница отметила, что они являлись «хорошей иллюстрацией классового расслоения» в кыргызском обществе. Погребения могильника Капчалы-II, включавшего 22 малых кургана, соотносились В.П. Левашовой с могилами «рядовых» скотоводов. Более крупные курганы некрополя у Капчалы-II по богатому инвентарю определялись как кладбища «представителей господствующего класса». Как полагала В.П. Левашова (1952, с. 135), это не были члены высшей аристократии, как погребенные в «княжеских» курганах Копенского чаа-таса, они принадлежали «кочевой знати».

Против реконструкции Л.А. Евтюховой и С.В. Киселевым погребального обряда минусинских чаа-тасов и соответствующих социальных определений выступила А.А. Гаврилова. Основываясь на алтайских аналогиях (Курай-IV, курган №1; Туэкта, курган №4; Яконур) и записанных И.Г. Гмелиным показаниях бугровщика Селенги, А.А. Гаврилова (1965, с. 66) предполагала, что в Копенском и других чаа-тасах основными погребениями являлись трупоположения, а сопровождавшие их богатые захоронения по обряду кремации были неправильно охарактеризованы Л.А. Евтюховой как «тайники».

Соседство богатых захоронений, как центрального, так и сопровождавших трупосожжений, в одном кургане рассматривалось А.А. Гавриловой как погребение «вождя и его дружинников». Ссылаясь на Б.Я. Владимирцова, она полагала, что различие погребального обряда «дружинников» и «вождей» могло быть обусловлено и сословным делением, и этническими различиями (Гаврилова А.А., 1965, с. 66). Исследовательнице первой удалось зафиксировать феноменальную для кочевнических погребений ситуацию. Обычно в кочевых культурах, даже там, где была очевидна социальная дифференциация (скифская, сакская, пазырыкская, хуннская), погребальные традиции, в общих чертах, оставались едиными. С другой стороны, вряд ли все окружавшие вождя дружинники могли быть иноэтничного происхождения, как это виделось А.А. Гавриловой. Принадлежность их к разным родам одной этнической общности не объясняла такого сочетания трупосожжений и трупоположений.

Менее значительными были достижения отечественных археологов в изучении социальной организации кочевых объединений конца I – начала II тыс. н.э. Археологические материалы данного периода играли в реконструкции общественной жизни кочевников малозаметную роль по сравнению с информацией письменных источников. Ученые нередко вынуждены были ограничиваться общими оценками «социальной дифференциации», «половозрастных отличий» и определениями типа «погребения воинов» (Кызласов Л.Р., 1951, с. 35, 37, 54–55; 1960, с. 51–74; Маргулан А.Х., 1951, с. 37; Евтюхова Л.А., 1957, с. 223–224; Максимова А.Г., 1960, с. 179–182; Арсланова Ф.Х., 1963, с. 72, 84; и др.).

Оригинальную оценку общественно-политических организаций Тюркских и Уйгурских каганатов дал Л.Н. Гумилев. Он полагал, что политическая система в указанных каганатах носила догосударственный характер (Гумилев Л.Н., 1961). Также в отдельной статье ученый рассмотрел удельно-лествичную систему у тюрков (Гумилев Л.Н., 1959). Эти и другие аспекты нашли более полное отражение в монографии «Древние тюрки» (1967; переиздание 1993 г.). В данной книге довольно детально анализируются социальная структура и политическая организация Тюркских каганатов, прослеживаются эволюция властных институтов, особенности управления в разных каганатах, а также кратко характеризуется политическое устройство Уйгурского каганата.

В социальном отношении исследователь выделял в тюркском обществе три группы: знать, свободных кочевников и рабов. Рабы, как считал Л.Н. Гумилев, были из числа военнопленных и главным образом женщинами. В качестве аргумента он привел свидетельства письменных источников и, в частности, сведения о захвате Чуло-ханом в 619 г. бин-чжоу, где тюрки забрали «всех женщин и девиц». Также ученый указывал, что рабство не могло развиваться в кочевом хозяйстве, ибо такой «раб» легко мог бы убежать на лошади хозяина и затраты на него вряд ли окупятся. Поэтому положение так называемых рабов, по его мнению, не было тяжелым. Далее он отметил, что тюрк-

ский термин «*cul*» не совсем адекватно переводят как «раб». Только женщины могли использоваться в кочевом хозяйстве в качестве домашней прислуги и одновременно быть наложницами своих владык. Но даже эту форму зависимости Л.Н. Гумилев отказывается определять как «рабство» и сближает положение плененных женщин с римскими колонатами. В целом же термин «*cul*» отражает зависимость, но несколько иной формы. Опираясь на надписи Кюль-тегину и Бильге-кагану и другие источники, Л.Н. Гумилев показывает, что «*cul*» обозначало подчинение одного народа другому, а не лишение личной свободы. Причем степень зависимости могла существенно различаться и не обязательно носить какую-то оскорбительную форму. Так, Шаболио-хан в 486 г. «с радостью» признал себя кулом суйского императора (Гумилев Л.Н., 1993, с. 53–55).

Характеристика зависимости от тюрок разных групп населения подчеркивает совершенно не рабский статус последних. В VI–VIII в. «тюркюты приводили их на свои земли, селили в определенных местах и взимали с них налог». Также они поступали в завоеванных землях с земледельческим населением, собирая пошрины и налоги (Закавказье, города-государства Согдианы, тохаристанские княжества, Турфан и др.). Аналогичные формы зависимости были распространены и на подчиненных кочевников, а также жителей северных лесостепных и таежных территорий. Исследователь пишет о систематическом ограблении телесских племен Халхи и Джунгарии, киданей и хи, приуральских угров, прикубанских утургуров, лесных племенах южных склонов Саяно-Алтая. В дополнение к этому «Китай или выплачивал ежегодную дань, или подвергался опустошительным набегам, а от Ирана и Византии поступали дары в виде компенсации за мир или союз» (Гумилев Л.Н., 1993, с. 55–56).

Л.Н. Гумилев отмечает, что часть получаемых тюрками богатств «перепала» рядовым воинам, ибо без их преданности осуществлять жесткую эксплуатацию покоренных народов тюркская знать вряд ли бы смогла. При этом львиная доля захваченного в набегам или поступавшего в виде налогов и даров имущества доставалась правящей верхушке и в особенности самим ханам. Более того, излишки поступавшего из Китая шелка тюрки с помощью согдийцев продавали Византии, получая дополнительную выгоду (Гумилев Л.Н., 1993, с. 44–47, 56). Военно-политические успехи тюрок считал результатом создания ими армии и системы управления «выше общекочевого уровня». Политическая иерархия Великого Тюркского каганата изображалась исследователем следующим образом: во главе каганата стоял хан; вторым после него ябгу из правящего рода, который, правда, не был наследником престола; во главе уделов (в период наибольшего территориального могущества единого каганата их было восемь) стояли принцы крови с титулом «шад»; наследник престола назывался «тегин»; чины ниже рангом занимали лица, не принадлежавшие роду Ашина, но эти «должности» были наследственными (Гумилев Л.Н., 1993, с. 53). Последнее могло быть осуществимо только в том случае, если в качестве «должностных лиц» выступали племенные и родовые лидеры.

Важным для устойчивости каганата ученый считал удельно-лествичную систему. Перед тюрками, создавшими обширную Тюркскую державу от Желтого моря до Волги «длинным копьем и острой саблей», стояла задача удержания власти над многочисленными народами. Л.Н. Гумилев полагал, что жесткая эксплуатация тюркской элитой подданных вызывала сепаратистские тенденции и периодические восстания. Покорность племен и народов, особенно на окраинах державы, сохранялась лишь тогда, когда рядом находились подразделения тюркской армии. Поэтому, как пишет ученый, «только наместник, обладавший достаточной военной силой, мог предотвратить возмущение и отложение». Но для этого и самого наместника надо было «привязать» к центральной власти так, чтобы он сохранил верность хану. Именно такую цель, по мнению Л.Н. Гумилева, преследовала реформа Мугань-хана по переходу на удельно-лествичную систему наследования. В ее рамках устанавливалась особая очередность наследования престола: старший – младшему брату и старший племянник – младшему дяде. В ожидании престола принцы крови получали в управление уделы. Число уделов, по наблюдениям ученого, все время росло (в 558 г. их было четыре, в 576 г. – восемь), но сама удельно-лествичная система, как считал Л.Н. Гумилев (1993, с. 57), предотвращала вступление на престол несовершеннолетних, а опыт по управлению уделами был важным этапом подготовки к восхождению на каганский престол.

Тем не менее сам автор отмечает, что появление военной знати вело к внутренним противоречиям, конфликтам между царевичами и князьями династии Ашина. Каждый князь был вынужден «считаться с настроением своих воинов, которые могли «побудить своего князя поступать в соответствии с их интересами». Отдельные тюркские группы, между которыми разворачивались столк-

новения, по замечанию ученого, спланивали не только общие интересы, но и родовое единство. С другой стороны, внешняя угроза (наступление на номадов Китая, восстание телесских племен) консолидировала тюрков и тюркское общество не знало ни одного восстания рядовых воинов против ханов и шадов (Гумилев Л.Н., 1993, с. 59).

Согласно точке зрения Л.Н. Гумилева, в Тюркской державе сочетался военный и племенной строй. Под военным строем исследователь понимал «орду» – военно-организационную систему. Ее функционирование было связано с *budun* – «народом», но не в смысле этноса, а близко к понятию «демос». *Budun* включал и иноэтничное окружение тюркских князей. Тем самым «*budun* – это рядовой состав орды», а «беги – командный». Со становлением Тюркского каганата орда распространилась на всю державу. Орда постоянно пополнялась «добровольцами, предпочитавшими военный уклад семейному». Орда делилась на крылья (правое и левое) и уделы. В этом смысле орда как бы нарастала над племенами (племя – *огуз*). Орда не только консолидировала, но и обогатила кочевников путем получения добычи, даней и внутреннего замирения степей. Но интересы орды и племен Л.Н. Гумилев (1993, с. 60–61) считал «прямо противоположными и непримиримыми»: старейшины племен «хотели пасти свой скот и получать от Китая подарки за нейтралитет или поставку наемников», а «ханы орды хотели привлечь всю молодежь в боевые отряды, кормить их за счет подданных, не служащих в войске, и военной угрозой вырывать у китайцев в виде дани продукты земледелия и ремесла».

Особенностью Тюркской державы исследователь считал то, что тюркам удалось соединить орду и племена в «вечный эль», где завоеванные племена были вынуждены ужиться в мире с ордой, которая являлась своеобразным «господствующим племенем» (Гумилев Л.Н., 1993, с. 63). Оценивая стадию общественного строя у кочевых племен, входивших в Тюркский каганат, Л.Н. Гумилев критически отозвался о феодальной интерпретации общественного строя тюрками А.Н. Бернштамом. Он указывает, что феодальная характеристика тюркского общества противоречит фактическим данным и всей теоретической антропологии. Основываясь на оценках Л. Моргана и Ф. Энгельса, Л.Н. Гумилев (1993, с. 63–64, 269) причислял тюрков к высшей стадии варварства, когда началась плавка руды и переход к цивилизации в результате изобретения буквенного письма, а политическую организацию державы рода Ашина связывал с военной демократией, поглотившей родовую строй и направленную своим острием против своих соседей, которые служили объектом эксплуатации.

Особое внимание Л.Н. Гумилев обратил на политическую организацию Западнотюркского каганата (после распада Великой Тюркской державы на западную и восточную часть). Здесь, как отмечает ученый, тюрки были в абсолютном меньшинстве, но смогли сохранить господство над другими кочевыми племенами и жителями среднеазиатских оазисов. Этому способствовала политика Истеми и Кара-Чурин Тюрка, которые смогли объединить доселе разобщенные племена, «истощавшие свои силы в постоянных мелких войнах», и дали возможность в течение нескольких десятилетий мирно развиваться всему региону. Малочисленность тюрков и ханской дружины, по мнению исследователя, не создавала социальной напряженности, поскольку их содержание было «необременительно», а польза «от наличия единой власти очевидна»: объединение для решения внешнеполитических задач и прежде всего – с целью контроля Великого шелкового пути (Гумилев Л.Н., 1993, с. 148–149).

Л.Н. Гумилев прослеживает трансформацию политической системы Западнотюркского каганата и отмечает, что это объясняется реальной силой и влиянием рядовых кочевников и племен. Прежде всего он имел в виду союзы племен дулу в Семиречье и западной Джунгарии и нушиби в западном Тянь-Шане, каждый из которых включал по пять племен и вместе они назывались «десятистрельными тюрками». Ученый отличает их от тюрков во главе с Ашина (тюркютов), но именно в соперничестве дулу и нушиби определялось, кто из рода Ашина возглавит каганат. Это соперничество в конечном итоге способствовало поражению каганата в борьбе с Тан (Гумилев Л.Н., 1993, с. 150, 154–160, 210–220, 236–245). По-другому исследователю виделись причины разгрома Восточнотюркского каганата. Здесь он важную роль отводил телесцам и особенно уйгурам. Уйгуры возглавили восставших против тюрков телесцев и создали племенной союз, «более похожий на республику, чем на монархию». Таким образом, Восточнотюркский каганат погиб не только в результате военных успехов Тан, но и в итоге противостояния двух систем (тюркской орды, «эля» и племенного союза уйгуров), «имеющих диаметрально противоположные направления развития» (Гумилев Л.Н., 1993, с. 180–181).

Восстановленный в конце VII в. Восточнотюркский каганат, как полагал Л.Н. Гумилев (1993, с. 283–284), воспроизводил военно-демократическую модель предшествующих каганатов. А вот уйгурскую державу ученый считал основанной совсем на иных принципах: девять родов племени токуз-огузов были ведущими, но не господствующими (после 780 г.); они приняли в свою среду басмалов и восточных карлуков как равных; такие же права были и у других телесских племен. Таким образом, вся структура Уйгурского каганата, представлявшего конфедерацию племен, не позволяла ханам собирать большие войска и бесконтрольно распоряжаться ими. Власть фактически сосредоточивалась в руках племенных вождей, которые избирали ханов. Отрицание организующего начала и неспособность к консолидации ученый считал главной причиной гибели каганата уйгуров (Гумилев Л.Н., 1993, с. 370, 421, 425–426).

Подводя итоги изучению социально-политической организации кочевников в период раннего средневековья в 1930-е – середине 1960-х гг., отметим ряд важных моментов. Во-первых, этот период был связан с окончательным утверждением формационной теории в сталинской трактовке. Советским кочевниковедам предстояло апробировать марксистскую концепцию на конкретно-историческом материале. Преимущественно в отношении раннесредневековых номадов господствовали точки зрения о развитии у них рабовладения (С.П. Толстов) либо феодальных отношений (Н.Н. Козьмин, А.Н. Бернштам, Л.П. Потапов и др.). Однако по мере исследований становилось очевидным, что кочевники раннего средневековья не очень соответствовали классическим параметрам классовых обществ. Особенно наглядно это показала дискуссия о патриархально-феодальных отношениях, где даже сторонники феодализма у номадов говорили и писали о специфичности и неразвитости феодальных отношений у скотоводческих народов. Окончательная ревизия этих взглядов в отношении номадов раннего средневековья была осуществлена Л.Н. Гумилевым, который открыто выступил против рабовладельческой и феодальной трактовки социально-политической организации тюрков, уйгуров, тюркешей, карлуков и других номадов раннего средневековья. Он также высказал ряд ценных наблюдений, не утративших актуальности до сих пор, отметив, в частности, преимущественно внешние факторы консолидации номадов, тесную связь политики кочевых лидеров с интересами как аристократии, так и рядовых кочевников, военно-демократический (тюрки) и племенной (уйгуры) характер управленческой системы. Это резко отличает исследования раннесредневековых кочевников Центральной Азии от разработок истории кочевников европейских степей. Именно в 1950–1960-е гг. не только в отношении монголов, но и применительно к хазарам, печенегам, половцам советские ученые стали писать либо о генезисе феодализма, либо о становлении уже зрелых феодальных отношений (Артамонов М.И., 1958, с. 29–30; 1962, с. 37–38, 400–401; Плетнева С.А., 1958, с. 192–196; 1967, с. 71–76, 77–80, 82–84, 87–88, 168–170; Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 198–199, 219, 220, 222–223, 227).

Во-вторых, для рассматриваемого периода были практически не характерны палеосоциологические исследования археологов на материалах памятников раннесредневековых кочевников Центральной Азии. Даже в наиболее подробно рассматривавших социальные вопросы работах С.В. Киселева, Л.А. Евтюховой, В.П. Левашовой, А.А. Гавриловой отсутствовали специальные методики изучения социальной структуры по данным археологии. В то же время нельзя не отметить, что в конце 1950-х – 1960-е гг. подобные методики активно апробировались на памятниках средневековых кочевников Северного Причерноморья, Предкавказья, Нижнего Поволжья (Плетнева С.А., 1958; 1963; Федоров-Давыдов Г.А., 1966).

6.3. Трактовка общественно-политической организации кочевников раннего средневековья в отечественных исследованиях конца 1960-х – начала 1990-х гг.

Изменения в советской науке 1960–1980-х гг. позитивно сказались на качестве социальных исследований в отечественном кочевниковедении. Менее догматизированные схемы развития номадов позволили более адекватно историческим реалиям освещать вопросы социального и политического устройства. Большое значение имела разработка концепции раннеклассового общества, концептуальная критика Г.Е. Марковым, С.Е. Толыбековым, К.П. Калиновской и др. теории кочевого феодализма, представления о схожести социальной организации номадов древности и средневековья (А.М. Хазанов), структурный анализ кочевых обществ Н.Э. Масанова и т.д. В контекст этих исследований вписывались и работы Л.Н. Гумилева 1960-х гг., рассмотренные в предшествующем разделе. С учетом сохранения среди отечественных специалистов довольно большого круга сторонников

феодализма у номадов перед исследователями социально-политической организации раннесредневековых номадов возникла вполне реальная возможность выбора между разными концептуальными подходами.

В 1970–1980-е гг. уровень изученности археологических и письменных источников позволил ученым решать задачи по реконструкции социальной жизни средневековых кочевников. Наибольшим вниманием отечественных археологов по-прежнему пользовались памятники, связанные с историей и культурой центрально-азиатских каганатов. Сохраняло свое значение мнение Л.П. Потапова о «патриархально-феодальном» облике данных образований (История Сибири, 1968, с. 279–280; Потапов Л.П., 1969, с. 155–156). Наиболее распространенной можно считать точку зрения о «раннефеодальном» характере обществ древнетюркской эпохи. Такая позиция, определявшаяся в основном марксистской методологией и информацией письменных источников, даже не требовала серьезной археологической аргументации, кроме упоминания общественной дифференциации, отраженной в погребальных памятниках (Кызласов Л.Р., 1981, с. 46–47; Могильников В.А., 1981, с. 44; 1981б, с. 31, 34). Формационной модели феодализма наиболее соответствовала оценка Л.Р. Кызласовым (1969, с. 53–54, 77; 1979, с. 183–186; 1981, с. 51; 1984, с. 43–45, 123–128, 134) Кыргызского каганата как «раннефеодального» (в VI–VIII вв.) и «феодального» (в VIII–X вв.) объединения с «государственным и частным землепользованием», переходящим от «военно-ленного» в «вотчино-феодальное» землевладение, с «закабаленным населением», которое несло «воинскую и трудовые повинности» в пользу «феодалов» и платило «натуральные налоги» «феодальному государству».

Формационно-хронологические стереотипы нередко определяли социальные интерпретации древнетюркских погребений. Так, для А.Д. Грача (1967, с. 53–54) сравнение с раннекочевническими памятниками древнетюркских захоронений «свидетельствовало» не только о социальной дифференциации, но и о «сложении классового общества и государственных форм социальной организации». При этом в качестве критериев стратификации выступали бедность и богатство инвентаря, отсутствие и наличие сопроводительных захоронений коней, различия в размерах насыпи и устройстве внутримогильных сооружений (Арсланова Ф.Х., 1969, с. 43, 57; Кызласов Л.Р., 1981, с. 46–47; Могильников В.А., 1981, с. 44; 1981б, с. 34–35; История Алтая, 1983, с. 44; Овчинникова Б.В., 1983, с. 64–65; и др.). В то же время исследователи понимали, что данные показатели в значительной мере обуславливались и половозрастной дифференциацией (Длужневская Г.В., 1976, с. 193–200; Худяков Ю.С., 1980, с. 200–201). Таким образом, в раннесредневековых памятниках кочевников социальное ранжирование было выражено менее ярко, чем в погребениях скифского времени. Проблематична была и фиксация «классового» характера общества на основании археологических источников.

Как правило, в составе погребальных комплексов выделялись «бедные»/«рядовые» и «богатые»/«аристократические» захоронения. Так, среди катандинских погребений различались курганы «небогатых рядовых кочевников» до 9 м в диаметре и не более 1 м высотой, содержавшие одиночное погребение в сопровождении коня и разнообразного инвентаря и захоронения «знатных кочевников» под насыпями до 40 м в диаметре с деревянными надмогильными перекрытиями, колодами, несколькими конями и балбалами рядом с курганом (История Алтая, 1983, с. 44). Отсутствие кардинальных противоречий между двумя группами «катандинского населения» подчеркивалось их погребением в составе одного могильника и сравнительно богатым вещевым комплексом «рядовых» могил, включавшим уздечки с бронзовыми и серебряными бляхами и пояса с драгоценными украшениями (История Алтая, 1983, с. 44).

В других случаях вычленение особых групп погребенных не давало основания видеть в них категорию лиц, занимавших отдельное место в производственной системе и отношениях собственности. Скорее речь могла идти о военных рангах. Б.В. Овчинникова (1983, с. 61–62, 65), связывая захоронения в подбоях курганных комплексов Аймырлыг-V и VIII с людьми из «высшего военного состава», «вождями», в конечном итоге констатировала, что они стояли лишь «несколько выше в иерархической лестнице, по сравнению с погребениями рядовых мужчин-воинов, исследованных на этом же могильнике».

Взаимосвязь общественной структуры и половозрастного деления продемонстрировал анализ Г.В. Длужневской «тюркских» захоронений с конем. Из 200 известных ей погребений она учитывала только непотревоженные (61 на Алтае и 66 в Туве) памятники. Несмотря на то, что в статье ставилась задача выявления половозрастной дифференциации, типология исследовательницы скорее де-

монстрировала общую социальную картину, так как в качестве возрастных групп фигурировали только мужчины и подростки, женщины и девочки: 1) погребения мужчин-воинов и юношей, как правило, с 1–3 конями, сопровождавшиеся колчаном со стрелами, луком, палахом и другим оружием; 2) погребения мужчин без животного или с одним конем со стрелами у головы и погребения юношей только со стрелами; 3) погребения мужчин без оружия и захоронения мальчиков; 4) погребения женщин в сопровождении 1–2 коней или без них; 5) погребения девочек, в основном, без сопровождающих захоронения животных (Длужневская Г.В., 1976, с. 199).

Г.В. Длужневская отметила, что отсутствие оружия не всегда говорило о низком статусе погребенных. В кургане №26 могильника Монгун-Тайга мужчину без оружия сопровождали железный клепанный котел, кинжал, большое количество шелка, китайское зеркало и гребень, золотые украшения сбруи (Длужневская Г.В., 1976, с. 197, 199). Исследовательница обратила внимание на высокое положение женщин. Женские погребения Алтая и Монголии в сопровождении двух коней не уступали в богатстве погребениям знатных мужчин. Она также указала на не характерные для средневековых кочевников случаи присутствия оружия в женских могилах (Длужневская Г.В., 1976, с. 198, 200).

Этнические аспекты социально-политического развития кочевников в древнетюркское время затронут в своих исследованиях Д.Г. Савинов. Для него характерна трактовка генезиса государственности как смены этнических элит при сохранении преемственности социальных институтов (Савинов Д.Г., 1979, с. 43–44; 1984). Из этих же представлений вытекало мнение автора о двойственной природе социальной организации каганатов, где социальная и этническая дифференциации пересекались (Савинов Д.Г., 1979, с. 42–44). Гипотеза археолога подразумевала, что отношения между различными видами этнических общностей (этнолингвистическими, этнокультурными, этносоциальными), входивших в состав того или иного кочевого государства, строились на основе строгой социально-этнической стратификации с выделением этноса-элиты и ряда вассальных племен. Как считал Д.Г. Савинов (1979, с. 44–45), подготовленные своим внутренним развитием к принятию новшеств в области техники, быта, искусства и общественных отношений зависимые племена «стремились к выходу из сложившейся системы протектората», «смене политической гегемонии в свою пользу» и созданию «собственной государственности».

Большую роль военной организации в сложении государственности у кочевников подчеркивал Ю.С. Худяков. Согласно его точке зрения, в Кыргызском каганате «система управления войсками» и «государственная администрация» совпадали. В кыргызских чиновниках высшего ранга, упоминаемых в танских хрониках, исследователь видел командующих туменов и полутуменов. Персональные звания Хэси-бэй, Аизюйшиби-бэй и Ами-бэй, как полагал Ю.С. Худяков, означали, по аналогии с высшими чинами тюркского каганата, определенную степень родства в правящей семье, при этом Хэси-бэй мог выступать в роли наследника престола. Следующие по рангу – министры, «вероятно, происходили из числа старой родовой аристократии – бегов», а чиновники 3–4 ранга состояли из военно-служилой знати (Худяков Ю.С., 1976, с. 98–99; 1976а, с. 207–210).

Не отвергая подобную трактовку, выскажем сомнение в том, что основой формирования среднего звена командования было условное держание земли. Любой мужчина-кыргыз, уже по факту рождения, входил в то или иное подразделение армии. Не случайно в кочевых государствах опоздание на военные сборы каралось смертью (Таскин С.М., 1984, с. 36). Лидеры родоплеменных структур, проявившие себя в сражениях и завоевавшие доверие кагана воины, могли занимать высокие посты в руководстве страной и войсками. Немаловажно и то, что военная организация кыргызов стала оформляться еще до их успехов в войнах с уйгурами. Поэтому речь скорее может идти не о условном владении, а вознаграждении, получаемом отдельными родами или ветеранами. Подобный вариант предполагал и Ю.С. Худяков, говоря о последствиях поражения кыргызов от тюрков в 710 г., когда тюркские воины-«ветераны» вместе с семьями были расселены в стратегически важных пунктах Хакасско-Минусинской котловины (Нестеров С.П., Худяков Ю.С., 1979, с. 88–89; Худяков Ю.С., 1980, с. 201–202; 1985, с. 92–93).

Ю.С. Худяков указал на одну из причин сравнительной недолговечности кочевых государств Центральной Азии. По его мнению, переход «рядовых членов правящего племени на военизированное положение означал подрыв их традиционного хозяйства, быструю убыль мужского населения фертильного возраста в войнах, размывание этноса вследствие расселения на большой территории в иной этнической среде» (Худяков Ю.С., 1976а, с. 209). Исследователь считал, что нечто подобное произошло и с кыргызами, так как в войнах с уйгурами полег «весь цвет кыргызского воинства». Он

обратил внимание, что большинство кыргызских погребений с оружием в Туве имели в составе инвентаря палаши. С учетом предположения археолога, что рубящее оружие передавалось по наследству, тувинские захоронения свидетельствовали о том, что у погибших еще не было мужского потомства. Чтобы не «распылять» свои силы на огромной территории, кыргызы в конечном итоге вынуждены были отказаться от контроля за южными областями (Худяков Ю.С., 1976, с. 104; 1976а, с. 211).

Реконструируя социальную и военно-политическую историю кыргызского каганата, Ю.С. Худяков обратился к типологии погребений Хакассо-Минусинской котловины VI–X вв. В «эпоху чаа-тас» (VI–VIII вв.), по представлениям ученого, существовало несколько типов захоронений, отражавших социальную (этносоциальную) дифференциацию «минусинского населения». В курганах чаа-тас он видел «семейные» погребения «родовой знати». Характерные для «письменных кыргызов» трупосожжения, размеры и особенности надмогильных конструкций, «кыргызские вазы», обильность жертвенного мяса (до 17 особей) не противоречили такой версии (Худяков Ю.С., 1980, с. 198; 1982, с. 36–48; 1983, с. 144; 1985, с. 89–90). Имущественные и социальные различия погребенных в чаа-тасах говорили о неоднородности привилегированной группы. В качестве примера Ю.С. Худяков указал на чаа-тас Кезимег-хол на Табате. Местная «знать» выглядела «предельно нищей», что фиксировалось и в ограбленных и нетронутых курганах. Такую ситуацию археолог считал наиболее характерной для периферийных чаа-тасов (Тепсей-ХI, Обалых-биль), отличавшихся от принадлежавших каганскому роду Копенского и Уйбатского чаа-тасов (Худяков Ю.С., 1982, с. 57–58; 1985, с. 89–90).

Полагая, что взрослые кыргызы кремировались, исследователь интерпретировал трупосожжения под полами курганов, отдельными насыпями и каменными выкладками как погребения «рядовых членов кыргызского общества» (Худяков Ю.С., 1980, с. 199–200; 1982, с. 58; 1983, с. 144; 1985, с. 90; 1986а, с. 27). Захоронения детей до 15 лет по обряду трупоположения подчеркивали возрастную дифференциацию, причем детей до 3 лет хоронили без инвентаря, а более старших сопровождали 1–2 сосуда и мясо овцы (Худяков Ю.С., 1980, с. 201). Отдельную группу составляли погребения «кыштымов», в состав которых Ю.С. Худяков (1980, с. 201; 1982, с. 57–58; 1983, с. 144; 1985, с. 92; 1986а, с. 27, 40–41) включил трупоположения в чаа-тасах (между стенками и стелами чаа-тасов или под самими насыпями) и погребения взрослых людей с подогнутыми ногами (без инвентаря; реже с мясом и отдельными вещами) под каменными выкладками.

В IX–X вв. получил распространение новый тип памятников – хыргысур – сожжения в яме или на горизонте под каменной насыпью, рядом с которой иногда находилась стела с эпитафиями. В качестве причин эволюции обряда Ю.С. Худяков (1980, с. 202) назвал подражание кыргызов «кок-тюрмак» и подвижность населения, вызванную миграцией на юг и распадом родовых связей. В захоронениях «кыштымов» появилось оружие, и по инвентарю, как отметил ученый, наметилась градация их погребальных комплексов. Расположение погребений «кыштымов» на одних кладбищах с кыргызскими свидетельствовало об изменении в социальной системе каганата (Худяков Ю.С., 1980, с. 202; 1981, с. 70; 1983, с. 145).

Наиболее детально социальную структуру раннесредневековых кочевых обществ Центральной Азии исследовал С.Г. Кляшторный. Источником его работы служили памятники древнетюркской письменности. Основные выводы ученого сводились к следующему:

1. Тюркский племенной союз, состоявший из племен (бодун) и родов (огуш), был политически организован в эль – имперскую структуру. Родоплеменная организация – бодун – и военно-административная организация – эль – взаимно дополняли друг друга, определяя плотность и прочность социальных связей (Кляшторный С.Г., 1986, с. 219; 1986а, с. 320).

2. Каган «держал» эль и возглавлял бодун. Он осуществлял функции «главы «гражданского» управления внутри своего собственного племенного союза (народа) по праву старшего в генеалогической иерархии родов и племен» и выступал в роли вождя, верховного судьи и верховного жреца. Вместе с тем, возглавляя политическую организацию, созданную его племенным союзом, он выполнял функции военного руководителя, подчинявшего другие племена и вынуждавшего их к уплате дани и податей (Кляшторный С.Г., 1986, с. 219; 1986а, с. 320–321).

3. Задача эля состояла в поддержании на должном уровне боевой мощи армии, организации походов и набегов, удержании в подчинении и послушании покоренных, использовании их экономических и военных ресурсов (Кляшторный С.Г., 1983, с. 30; 1986, с. 219; 1986а, с. 321).

4. В основе социальной системы кочевых империй лежало деление на два основных сословия: знать («обладающие саном», «беги», «именитые») и народ, и принцип двойной оппозиции – противоречия между народом и знатью (беги и каган) и противоречия между народом и бегами, с одной стороны, и каганом и имперской администрацией – с другой (Кляшторный С.Г., 1983, с. 30–31; 1986, с. 220; 1986а, с. 321–322);

5. Положение аристократии и знатных родов основывалось как на праве руководства племенем и общиной, так и на обязанности заботиться о благосостоянии соплеменников. Каждую племенную группу – тюркскую, уйгурскую, кыргызскую – связывала идеология генеалогической общности, реальной материальной базой которой было право собственности на коренные и завоеванные земли, право на долю в доходах от военной добычи, эксплуатация побежденных и покоренных племен (Кляшторный С.Г., 1983, с. 31; 1986, с. 221; 1986а, с. 323).

6. Социальное и правовое единство в кочевых государствах находило отражение в применении ко всем членам наименования «эр» – «муж-воин», которым становились все юноши по праву рождения, достигшие определенного возраста, прошедшие обряд инициации и получившие «мужское» имя. Реальное место «эра» определялось его титулом, саном и положением структурной единицы (племя, род, семья), в которую он входил (Кляшторный С.Г., 1986, с. 221–222; 1986а, с. 323–324).

7. Нижней ступенью социальной организации кочевых государств являлись невольники, которые, даже вливаясь в семьи своих хозяев, не становились членами древнетюркской общины. Среди «рабов» номады, по соображениям безопасности и в связи с дефицитом женщин из-за многоженства, отдавали предпочтение девушкам и женщинам, которые становились «женами-невольницами». Включение их в систему семейного подчинения и использование женского труда в кочевом хозяйстве высвобождало мужчин для войны (Кляшторный С.Г., 1983, с. 31; 1985; 1986, с. 225–227; 1986а, с. 326–334).

8. Общественную систему кочевников С.Г. Кляшторный относил к социологически открытым обществам, так как, несмотря на иерархизированность, они обладали высоким потенциалом социальной мобильности. Военная доблесть и богатство давали возможность продвижения по социальной лестнице. Даже смена кочевой элиты (фактически возникновение нового государства) рассматривалась ученым как изменение в положении отдельных сегментов (родов и племен) общества (Кляшторный С.Г., 1986, с. 226–228).

9. С.Г. Кляшторный подверг критике точку зрения Л.Р. Кызласова, полагавшего, что государство «древних хакасов» (кыргызов) на Енисее выделялось из ряда древнетюркских образований развитостью социальных отношений. В частности, он отверг интерпретацию енисейских тамг как лично-семейных эмблем крупных феодалов (Кызласов Л.Р., 1984, с. 125). Исследователь обратил внимание, что Демирсугская надпись содержала тамгу, тождественную тамге пятого чаа-хольского памятника. В енисейских тамгах ученый видел родоплеменные символы, свидетельствовавшие о том, что в кыргызском государстве существовали «архаичные родоплеменные связи», что и у его соседей (Кляшторный С.Г., Самоу И.У., 1971, с. 245, 248–249; Кляшторный С.Г., 1986, с. 217).

Следует подчеркнуть, что обращение С.Г. Кляшторного к теме «тюркского мужа-воина» носило инновационный характер. На фоне ревизионистских дискуссий о методологических основах кочевниковедческих изысканий это была редкая, практически исключительная для советской номустики попытка провести микроисторическое исследование. Оно базировалось на социально-антропологических и этнологических методиках. Для комплексной характеристики образа «мужа-воина» привлекались не только археологические материалы и тексты древнетюркских надписей, но и средневековая тюркская поэзия, эпос и произведения других жанров. По существу ученому удалось показать основные контуры ментальных установок, господствовавших в военизированной номадной среде. Тем самым описание С.Г. Кляшторным «мужа-воина» являлось образцовым примером поиска новых научных «механизмов» изучения кочевых обществ. В целом же концепция С.Г. Кляшторного удачно сочетала макроисторический уровень исследования (общая оценка социально-политического устройства Тюркских каганатов) с макроисторическим срезом ментальности мужа-воина.

Мнение С.Г. Кляшторного о «женах-невольницах» представляется наименее разработанной частью концепции. В разряд невольников попадала вся женская часть населения. Вряд ли такое противопоставление, с включением в женскую половину рабынь, существовало в тюркском обществе. Достаточно вспомнить, что орхонский комплекс в честь Кюль-Тегина содержал скульптуру и военачальника, и его жены. С другой стороны, кажется невозможным, что невольницы, ставшие женами,

а затем матерями «эров», сильно отдалялись в социальном плане от других тюркских женщин и рассматривались тюрками, наряду с другими невольниками, в качестве рабов. Упоминание в Кошоцдамских текстах одновременно и жен (часть которых была захвачена в походах), и невольниц, наталкивает на мысль, что социальное положение этих двух категорий различалось. Даже если исключить участие рабов в пастьбе скота, сфера применения женского рабского труда оставалась достаточно широкой (домашнее хозяйство, ремесленное производство, сельскохозяйственный труд и т.д.).

Резюмируя тезис ученого о роли труда невольниц в социальных системах номадов, можно говорить об особом характере «рабства» у кочевников (лучше использовать какой-то другой термин, чтобы не возникало необоснованных ассоциаций), отличного и от патриархального, и от даннического, и от «классического» (античного). Невольники присутствовали во всех обществах кочевников начиная с эпохи древности и заканчивая периодом нового времени. Вопрос о «рабстве» (еще раз подчеркнем, что необходим другой термин) у номадов нельзя считать окончательно решенным, как полагали некоторые авторы 1970–1980-х гг.

В соответствии со своей концепцией эволюции кочевых обществ от таборной формы к полуседлой С.А. Плетнева дала характеристики наиболее крупным политическим образованиям номадов в Центральной Азии. Возвышение тюрк-тугю во главе с родом Ашина над другими объединениями и группами кочевников она связывала с экономическим фактором – освоением тюрками выплавки железа. В середине VI в. тугю, как указывает исследовательница, «стали самостоятельными и начали громить и подчинять все окружающие их непрочные и рыхлые кочевые объединения», а затем захватили степи от берегов Тихого океана до Черного моря (Плетнева С.А., 1982, с. 67–68).

С.А. Плетнева предполагала, что за 100 лет своего существования тюрки находились на второй полукочевой стадии экономики. Свою позицию она аргументировала как письменными источниками, так и тем фактом, что археологам так и не удалось выявить поселений и городищ, связанных с тюрками. Свидетельством полукочевого развития тюрк С.А. Плетнева считала каменные статуи и оградки, т.е. небольшие святилища в память предка, которые тюрки могли ставить только на собственной земле (появилось понятие родины). Наряду с другими факторами, такими как развитие в отдельные отрасли ремесленных производств, в частности железоплавильного, единая письменность, единый язык, строгий государственный порядок в каганатах (разделение на аймаки, абсолютная власть каганата, сборщики податей и пр.), появление понятия своей земли она считала доказательством того, что каганаты были уже государствами (Плетнева С.А., 1982, с. 68–69, 133).

Отсутствие собственной «земледельческой базы» у тюрк исследовательница объясняла тем, что им удалось захватить «многие страны и народы, в том числе и среднеазиатских земледельцев», от которых кочевники получали продукты земледелия. Также важным фактором, препятствовавшим «оседанию и освоению земледелия кочевниками тугю», С.А. Плетнева (1982, с. 69) называет обогащавшие номадов набеги и длительные походы. В целом вся система Тюркского каганата (исследовательница не выделяет отдельные политические образования тюрк – Великий Тюркский каганат, Восточнотюркский и Западнотюркский каганаты, Второй Тюркский каганат) рисуется ею как достаточно устойчивая. Причиной (условием) «гибели» Тюркского каганата она считала междоусобицы, а также интриги Тан, подстрекавшей курлуков и уйгуров (Плетнева С.А., 1982, с. 87, 133).

По-иному характеризует С.А. Плетнева социально-политические системы Уйгурского, Кыргызского и Кимакского каганатов. Прежде всего, стоит отметить, что данные кочевые политии она отнесла уже к третьей стадии развития кочевников, когда у последних побеждает тенденция к оседанию. Такие общества, которые были неудачно ею названы «каганатами», С.А. Плетнева (1982, с. 73, 79, 88–89, 92, 102–104, 106) трактует как «раннефеодальные», а в некоторых эпизодах книги как «классовые» и «феодальные».

Главную предпосылку перехода уйгуров к седентаризации С.А. Плетнева связывала с мирной политикой уйгурских каганов по завершении гражданской войны при втором уйгурском кагане Мюянчуре. Именно следствием мирного развития она полагала «активное освоение земледелия» «на всех пригодных для того местах» и «оседание части кочевников в бывших зимовках, превращение последних в поселения, замки и города». Причем исследовательница пишет не только о плужном, но и об орошаемом земледелии в монгольских степях, о разных типах городов (небольшие городки с великолепно разработанной системой обороны и крупные города, служившие ремесленными, торговыми и административными центрами, такими как столица Уйгурии Орду-Балык на Орхоне), о широких торговых связях каганата. Всему этому должна была соответствовать и социальная структура,

феодалное сословие в которой составляла уйгурская аристократия, беги племен и их дружинники-вассалы (Плетнева С.А., 1982, с. 89).

По мнению С.А. Плетневой, каганы для поддержания престижа «среди окружавших» Уйгурский каганат стран вели с ними непрерывные войны. Также, стремясь избежать влияния Китая, уйгуры приняли манихейство. Оно, как полагала исследовательница, и послужило причиной ликвидации каганата, так как манихейство «выделило уйгуров из окружения», а другие «присоединившиеся к уйгурам племена и этнические общности не признавали этой религии, придерживаясь языческой веры предков», что вызвало распри внутри каганата (оригинальна оценка С.А. Плетневой системы власти в Уйгурском каганате, которую мы оставляем без комментариев: «Старейшины» неуйгурских «племен наряду с манихейскими священниками правили государством при слабых и бездеятельных уйгурских каганах»). Далее последовало отпадение племен от уйгуров, а затем их разгром кыргызами (Плетнева С.А., 1982, с. 90). Кратко упоминается и «небольшое Уйгурское государство» в Восточном Туркестане (Плетнева С.А., 1982, с. 91).

Наиболее развитым С.А. Плетнева считала Кыргызский каганат. Здесь, как она предполагала, оседание номадов привело к тому, что в Минусинской котловине стали выращивать просо, ячмень, пшеницу, развивалось железоплавильное и кузнечное ремесло, сложились устойчивые торговые связи «внутри государства» и с соседями. Социальный строй она оценивает как «развитый феодальный», а форму организации власти – как государственную. В качестве правящей «феодальной» элиты выступал род «кыргызы» во главе с каганом. С развитием общественных отношений в каганате, согласно точке зрения С.А. Плетневой, аристократия пожелала обособиться от черного люда (карабудун) и приняла в середине IX в. манихейство. Однако эта религиозная традиция не приобрела популярности даже среди богатых и знатных, и в XI в. манихейские обряды уже не упоминались в источниках (Плетнева С.А., 1982, с. 91–92, 94).

Важнейшая основа государства, как пишет исследовательница, – дань подчиненных племен, для управления которыми существовали административная система и шесть разрядов чиновников (от министров до диганей), строго следивших «за порядком в войсках, за налогами, за выполнением суровых законов» (Плетнева С.А., 1982, с. 93).

Несколько по-иному характеризует С.А. Плетнева Кимакский каганат. С одной стороны, она отмечает, что хозяйство кимаков было оседлым, существовали города и оседлые поселения, орошаемое земледелие, письменность и т.д.; с другой – в степях преобладали кочевники и полукочевой образ жизни, который исследовательница связывала с кипчаками. Они, являясь соседями, союзниками и вассалами кимаков, как указывает С.А. Плетнева (1982, с. 70, 96–99), заняли «наименее пригодные для земледелия земли, являвшиеся прекрасными пастбищами для овец и коз, взяли на себя скотоводческое хозяйство этого государственного образования».

Как государственные образования описывал в своей монографии уйгурские княжества А.Г. Малявкин. Подобная оценка звучала больше как констатирующая, так как в тексте книги не содержалось сколько-нибудь убедительных аргументов в пользу государственного статуса Ганьжоуского, Турфанского и других княжеств Восточного Туркестана. Государством А.Г. Малявкин (1983, с. 3–5, 104, 118, 130–131) считал и Уйгурский каганат – конфедерацию семи телесских племен во главе с уйгурами.

По материалам книги видно, что кочевники-уйгуры долго консолидировались и занимались в основном охранной территории и ведением военных действий с противниками, за что получали от городского и земледельческого восточноиранского и согдийского населения ренту. Судя по всему, кочевые лидеры (каганы) принимали решения, касающиеся главных вопросов существования княжеств (об этом говорят посольства в Китай от уйгурских и телесских правителей). Но рядовое население и даже элита номадов продолжали вести кочевой образ жизни, не вмешиваясь во внутреннюю социально-экономическую жизнь городов и других поселений на территории княжеств (Малявкин А.Г., 1983, с. 41, 43–44, 51–52, 54, 56, 63, 66–68, 136, 146, 160, 186–191). Косвенно об этом свидетельствует и отмеченный А.Г. Малявкиным (1983, с. 164, 171) факт отказа телесских племен (автор полагал, что «Турфанское государство» было создано не уйгурами, а другими токуз-огузскими племенами, входившими когда-то в Уйгурский каганат), захвативших район Бешбалыка – Турфана, от титула «каган» и принятие титула «идукут». Сам ученый указывает, что особенностью Турфанского княжества было его возникновение в результате «борьбы кочевников за подчинение оседлых цивилизаций для восполнения недостатков кочевого хозяйства» (Малявкин А.Г., 1983, с. 189).

Возможно, эти княжества были малыми государственными образованиями, но следует ли их считать сугубо уйгурскими (либо токуз-огузскими) – вопрос, на который А.Г. Малявкин (1983, с. 163, 190) отвечает скорее отрицательно. По всей видимости, процесс адаптации кочевников к турфанским условиям был длительным. Ученый говорит о далеко зашедшем процессе «феодализации» в Турфанском княжестве к началу XII в. К этому же периоду завершается оседание части кочевников в городах и оазисах юга Турфана (на севере преобладал кочевой образ жизни), а также тюркизация местного населения (Малявкин А.Г., 1983, с. 193–194). Вероятно, бывшие кочевники заняли лидирующие роли в городах Турфана, контролировали торговлю и экономику, взимая налоги и пошлины. В свою очередь после создания государства кара-китаев Турфанское княжество выплачивало дань киданьским правителям и считалось их вассалом вплоть до перехода Турфана на сторону монголов (Малявкин А.Г., 1983, с. 193).

В историко-археологических исследованиях конца 1960 – середины 1980-х гг. социальная организация кочевых обществ Центральной Азии и прилегающих регионов конца раннего средневековья нередко определялась исследователями как «раннефеодальная» или «феодальная» (Агаджанов С.Г., 1967, с. 48; 1969, с. 102, 145–146; Курылев М.Н., 1970, с. 231–232; Кумекоев Б.Е., 1972, с. 113–120; Акишев К.А., Байпаков К.М., 1979, с. 105; и др.). Но в конкретном изложении фиксировалось своеобразие отдельных кочевых социумов и выявлялись особые пути социального развития кочевников. Так гипотезу «первичной» государственности у кочевников выдвинул Е.И. Кычанов (1974, с. 169–170; 1986, с. 94–98). Предполагалось существование особых военных институтов в кочевых государствах (Ларичев В.Е., Тюрюмина Л.Е., 1975, с. 100–101). О специфической роли городов в общественной жизни кочевников Центральной Азии писали В.С. Таскин (1975, с. 83–84) и Г.Г. Пиков (1980, с. 127–129; 1986, с. 25–27, 31–32). Разнообразие подходов к реконструкции общественных систем кочевников и трактовке археологических данных проявилось и в работах археологов.

По мнению Л.Р. и И.Л. Кызласовых, эволюция кыргызского общества отразилась в сложении новой аскизской культуры (V–XIV вв.). Интерпретировав укрепленные поселения XI–XIII вв. в Туве и Хакасии (Оглахтинский комплекс, городище на Кызыл-Хае у д. Подкамень и Бобровское на р. Черный Июс) как «феодальные замки», они сделали вывод о периоде «феодальной раздробленности» в «древнехакасском государстве». Исследователи считали, что появление «крепостей-убежищ» в центре государства являлось следствием «междоусобных феодальных войн», приведших к возникновению «феодальных княжеств» (Кызласов И.Л., 1981, с. 201–202; Кызласов Л.Р., 1984, с. 134–135). Характерно, что Л.Р. Кызласов, рассматривая социальную организацию «древних хакасов» XI–XII вв., заменил анализ источников цитатами К. Маркса о «феодальной раздробленности» у монголов. Гипотетичность и схематизированность взглядов археолога выразилась в стремлении наметить даже условное деление «древнехакасского общества» на княжества: «Хакасия», «Кишдим» (Тува), «Уйгурия» (северо-западная Монголия), «Алтай» (Кызласов Л.Р., 1984, с. 134–135).

В отличие от Л.Р. Кызласова, Ю.С. Худяков смог показать механизм распада государства кыргызов и единой социальной организации. Он связывал этот процесс с прекращением завоеваний, когда отпала необходимость в централизованной военно-административной системе. На первое место выдвинулись наместники отдельных областей с подчиненными им бегами, в центре государства образовались две области «киргиз» и «кэм-кемджиут» во главе с иналами, а за каганом сохранились только сакральные функции (Худяков Ю.С., 1976а, с. 211–212). Ю. С. Худяков полагал, что вряд ли стоит выделять в связи с развитием одного общества несколько культур («чаа-гас», «тюхтятскую», «аскизскую»). Археолог предложил называть XI–XII вв. в рамках кыргызской культуры периодом «суэктэр», по названию основного вида памятников Минусинской котловины данного времени – кольцевых каменных кладок с западиной по середине, содержавших трупосожжения на горизонте и сопровождающий инвентарь. Особенностью могильников «суэктэр» была малочисленность курганов (5–10). По мнению ученого, такие некрополи «представляли собой кладбища низового подразделения кыргызского войска – десятка воинов» (Худяков Ю.С., 1980, с. 204; 1983, с. 145; 1985, с. 94; 1986а, с. 59–60).

Семейная интерпретация могильников «суэктэр» более вероятна. Во-первых, развивая мысль автора, придется признать, что кыргызы в XI–XII вв. отказались от родового принципа деления общества. Во-вторых, женщины и дети тогда бы хоронились отдельно от дружинных кладбищ. В археологических памятниках социальная стратификация кыргызов в XI–XII вв. менее ярко выражена, чем в период чаа-гас. Ю.С. Худяков указывал, что определяющим оставался этнический

принцип. Погребения кыргызов и кыштымов по-прежнему имели устойчивые обособленные друг от друга обряды (Худяков Ю.С., 1980, с. 204; 1985, с. 94; 1986а, с. 60).

В 1970–1980-е гг. исследования социальной структуры кочевников раннего средневековья охватили степные памятники всей Евразии. Например, Н.А. Мажитовым были выявлены специфические признаки погребений Западного Приуралья с VIII–IX вв. Согласно его наблюдениям, одной из особенностей этих памятников был «ярко выраженный всаднический характер», причем предметы конского снаряжения (уздечные и седельные наборы) имелись не только в мужских, но и в женских захоронениях. Как допускал ученый, «чести» погребения с всадническими атрибутами достаивались женщины, входившие в семьи родоплеменных предводителей и военачальников (Мажитов Н.А., 1977, с. 153). Однако это не объясняло «прижизненную» связь данных женщин с всадническим инвентарем. Н.А. Мажитов видел в социально-привилегированном населении Южного Урала пришлых из Южной Сибири кочевников – выходцев из Кимакского каганата. Он считал, что вместе с ними распространились и социальные институты, существовавшие у кимаков (Мажитов Н.А., 1981, с. 77; 1981а, с. 130–131). Однако вывод археолога о том, что в раннем средневековье на Южном Урале мог происходить процесс классообразования «раннефеодального» типа (Мажитов Н.А., 1981, с. 77), выглядел не достаточно аргументированным.

В целом, как видно из рассмотренных работ, феодальная характеристика кочевых обществ Центральной Азии оставалась преобладающей. Причем собственно феодальные черты социальной иерархии, особенности социальных связей внутри знати детально не исследовались. Чаще всего ученые ограничивались одним-двумя замечаниями по поводу степени развития феодализма, практически не приводя аргументов и доказательств для своих положений. Следует также отметить явно недостаточную роль в решении вопросов социальной структуры раннесредневековых кочевников археологических материалов. «Всплеск» социальных исследований по материалам раннесредневековых кочевников Центральной Азии в отечественной археологии пришелся только на середину 1980-х – начало 1990-х гг.

Большие возможности для моделирования общественных систем предоставляли междисциплинарные связи. Д.Г. Савинов обратился к методике социальной реконструкции в археологии с использованием этнографических источников. По его мнению, разрыв между археологическими и этнографическими данными наиболее велик, так как речь идет о двух неравноправных уровнях сравнения: выборочные наблюдения по материалам одного или нескольких памятников с «полифункциональной исторической системой». Ученый считал более перспективным не прямое сравнение, а опосредованный путь синхронизации, включавший моделирование всей системы идеологических и социальных связей на «археологическом уровне» с последующим выбором соответствующей модели на этнографическом материале. В этих теоретически обоснованных пределах и необходимо, согласно исследователю, осуществлять поиски конкретных аналогий и реконструировать явление в целом. При выборе этнографической модели, как указывал Д.Г. Савинов, надо учитывать несколько таксономических уровней (этнонос, этнокультурная, этнолингвистическая и этносоциальная общности), а в отношении археологического материала – археологическую общность, археологическую культуру, локальный вариант культуры. Главным связующим звеном этнических и археологических структур он считал территорию как социально-организованное пространство (Савинов Д.Г., 1990, с. 7–6).

Л.Р. Кызласов стремился подчеркнуть особую, выдающуюся роль Южной Сибири в мировом историческом процессе. Для него характерна идеализация социально-экономической системы Кыргызского каганата, стремление придать ей вид *западноевропейского феодального общества*. Тенденция к преувеличению урбанистического облика кыргызского («древнехакасского») государства, и раньше имевшая место в трудах этого ученого, выразилась в дальнейшем развитии концепции «городской цивилизации» тюрок Южной Сибири. Находки укрепленных поселений, крепостей и сведения письменных источников послужили исследователю основанием для следующего утверждения о Кыргызском каганате: «...процесс становления городов и насаждения городской культуры свидетельствует о том, что развитие феодализма шло тем же самым путем, что и процесс сложения феодального общества у большинства народов и государств Европы и Азии». Еще парадоксальнее высказывание Л.Р. Кызласова (1984, с. 143–146, 164; 1988, с. 58–61; 1989, с. 400–406; 1991, с. 41–46, 49) по поводу подчинения кыргызов монголам, удар которых, оказывается, пришелся по «*крайнему северо-восточному форпосту западного культурного мира – по древнехакасскому (кыргызскому) государству*».

В уже упоминавшейся в четвертой главе монографии В.Н. Добжанского, посвященной наборным поясам номадов, значительное место отводилось их изучению как социальных маркеров у раннесредневековых кочевников. Ученый использовал данные более 200 погребений с конем. По его подсчетам, примерно одна треть этих захоронений была разграблена, а из оставшихся погребений наборные пояса имелись только в половине. Анализ убедил ученого, что далеко не все воины могли или имели право украшать свои пояса различными накладками и наконечниками, даже пряжки встречались не во всех захоронениях. Среди кудыргинских материалов автор обратил внимание на интересный факт: наборные пояса имелись в погребениях №9 и 11, хотя по инвентарю вторая могила была гораздо «беднее» первой. В то же время в погребении №12, не уступавшем в общем богатстве погребению №9, присутствовала только поясная пряжка (Добжанский В.Н., 1990, с. 73–74).

Исследователь допускал, что и у тюркоязычных кочевников золото наборного пояса подчеркивало социальное происхождение и военное положение владельца. В целом данную мысль подтверждал археологический материал. В частности, золотые и серебряные накладки наборных поясов известны в погребениях знати в могильниках Туэкта и Тадила, Копенского чаа-таса. В отличие от скифского времени социальное значение золота связывалось археологом не только с тем, что оно несло сакральную нагрузку, но и с тем, что выступало «мерилом богатства, аккумулируя в себе понятие сокровищ вообще» (Добжанский В.Н., 1990, с. 77–78).

Таким образом, В.Н. Добжанский наметил один из путей археологической реконструкции социальной структуры раннесредневековых кочевников. Достоинством этого метода является возможность его сочетания с иными принципами моделирования социальной организации номадов и проверяемость другими методами.

Одним из самых актуальных южно-сибирской археологии оставался вопрос о средневековом населении Минусинской котловины. К теме кок-тюркского и уйгурского присутствия в данном регионе вернулся в своих исследованиях Ю.С. Худяков. Синтезируя археологические и письменные данные, он смог показать, как реально могла функционировать система военно-политического подчинения в государствах кочевников. Ученый полагал, что по археологическим материалам можно конкретизировать письменные сведения о результатах похода Тоньюкука, Кюль-Тегина и Могиляня в 710–711 гг. против кыргызов: «в стратегически важных местах долины Енисея, по устьям рек Аскиз, Есь, Таштык, Туба, Тесь, в долинах рек Уйбат, Чулым, Черный Июс были расселены ветераны тюркского войска» (Худяков Ю.С., 1989, с. 26; 1994, с. 86).

По мнению Ю.С. Худякова, тюркским военным поселенцам были пожалованы земли с подвластным населением, где кок-тюрки заняли место прежней кыргызской родовой аристократии, о чем говорило исчезновение курганов чаа-тас. Присутствие тюркского населения было достаточно массовым и длительным, в пользу чего свидетельствовала отраженная в тюркских погребальных памятниках половозрастная дифференциация: 1) подавляющее большинство взрослых мужчин-воинов кок-тюрки хоронили с верховым конем, сбруей и оружием, мясом лошади и овцы; 2) женщин погребали с верховым конем, сбруей, украшениями, мясом овцы; изредка вместо коня в могиле находился баран; 3) подростки также хоронились с верховым конем; 4) дети сопровождались бараном (Худяков Ю.С., 1989, с. 26; 1994, с. 87).

Небезынтересно замечание Ю.С. Худякова о последствиях «грандиозного поражения» кыргызского восстания 795 г. против уйгуров. Именно эти события, согласно точке зрения ученого, привели к распространению в Минусинской котловине погребений со шкурой коня и богатым инвентарем, орнаментальные мотивы которого включали манихейскую символику. Данные захоронения в отличие от тюркских, как удалось проследить Ю.С. Худякову (1994, с. 89–90), были «сосредоточены на локальном участке, в междуречье рек Тесь и Ерба», «...некоторые из них, вероятно, были *впускными в большие курганы копенского чаа-таса*». В связи с этим мнением необходимо указать и на оригинальную точку зрения П.П. Азбелева. Он считал, что в чаа-тасах нашел отражение полиэтничный состав кыргызской знати, так как центральными погребениями являлись не захоронения людей по обряду кремации, как принято считать, а ингумации.

В качестве аргументов своей позиции П.П. Азбелев использовал как результаты раскопок минусинских чаа-тасов, так и доводы А.А. Гавриловой (1965, с. 66): сведения бугровщиков и алтайские аналогии. В целом ряде чаа-тасов (Сырский, курган №2; Абаканский, курганы №2, 12; Обалых-биль, курган №8; Перевозинском, курганы №21, 79, 80, 94; и др.) погребения по обряду трупоположения занимали центральное место некрополя и в четырех случаях сопровождались тушами коней. Таким образом, минусинские чаа-тасы, по заключению ученого, следует рассматривать как биритуальные

памятники с количественным преобладанием погребений, совершенных по обряду кремации (Азбелев П.П., 1989, с. 154–155; 1994, с. 130–131). Причем носители традиции погребения по обряду ингумации с конем преобладали политически («вожди»), а те, кого хоронили по обряду кремации – количественно («дружинники»). Касаясь сведений китайских источников о трупосожжениях, археолог предполагал, что китайцы были знакомы только с кыргызским обрядом в Туве, где в памятниках IX–XI вв. распространены кремации. Последнее, по мнению П.П. Азбелева (1989, с. 156; 1990, с. 75–76; 1994, с. 131), говорило о том, что завоевательные походы кыргызов были совершены в основном той группой, которая представлена «дружинными» погребениями больших чаа-тасов.

Третий уровень социальной иерархии Кыргызского каганата, как считал исследователь, был представлен погребениями по обряду ингумации с конем (кок-тюрки и уйгуры, по Ю.С. Худякову. – *Прим. С.В.*) или кремации на обособленных, по признаку обряда, могильниках, но равно под круглыми курганами и в сопровождении схожих всаднических наборов. Археолог определил их как захоронения «рядовых всадников» (Азбелев П.П., 1990, с. 75).

Такое устройство социальной организации кыргызов, по представлениям ученого, не было неизменным на протяжении VII–XI вв. и предмонгольского времени. С ингумациями П.П. Азбелев связывал политически господствовавшее в VII–VIII вв. пришлое население, которое хоронило своих умерших как под курганами, так и под квадратными платформами в сопровождении «богатого» инвентаря. Погребенные по обряду трупоположения являлись, согласно его точке зрения, отличным от остальной части населения всадническим сословием. Поэтому исследователь полагал, что в погребениях VII–VIII вв. наблюдается совпадение этнических и социальных различий (Азбелев П.П., 1990, с. 76).

В IX–X вв. обряд (надмогильные сооружения), свойственный только всадническим ингумациям, стал общегосударственным. В основе «дихотомии реформированного ритуала», по представлениям автора, лежало «противопоставление квадратных оград над погребениями знати округлым курганам над рядовыми могилами». Исходя из факта сочетания в чаа-тасах двух погребальных обрядов (ингумации и кремации), П.П. Азбелев считал, что в IX в. социальный статус, по крайней мере для знати, стал существеннее этнического происхождения. Таким образом, «развитие отношений местного и пришлого населения Минусинской котловины шло не по линии прямого перерождения господствующего этноса в господствующий класс, но по пути социальной консолидации этносов на сопоставимых уровнях социальной иерархии, начиная с высшего, при сохранении этнического своеобразия» (Азбелев П.П., 1990, с. 76).

Как предполагал П.П. Азбелев (1994, с. 133–134), в итоге разгоревшейся в середине X в. борьбы за власть произошел раскол этнически гетерогенной знати по этническому признаку, что вызвало миграцию ранее господствовавшей группы в Прииртышье, где был исследован соответствующий тип шульбинских памятников.

Истории кыпчаков в казахских степях уделялось немного внимания в работах отечественных археологов. Восполнить этот пробел была призвана монография С.М. Ахинжанова. Характеризуя кыпчакское общество XI – начала XIII вв., он определил его как «раннеклассовое с тенденцией развития в сторону феодального...» (Ахинжанов С.М., 1989, с. 260). Среди фактов, подтверждающих эволюцию кыпчаков к феодализму, ученый назвал фиктивно-родственный характер племенной конфедерации, возглавляемой кыпчаками, и вытекающее отсюда отсутствие этнической консолидации, социальную дифференциацию, оформление земельной собственности племенной аристократии, развитие торговли (Ахинжанов С.М., 1989, с. 244, 260–265, 267–269).

Доводы исследователя нельзя считать убедительными или во всяком случае однозначно свидетельствующими именно о процессах феодализации у кыпчаков. Разноэтничный облик кочевых объединений, иерархические связи родов и племен, фиктивное генеалогическое родство являлись характерными чертами кочевничества на всем протяжении его существования и вряд ли их стоит рассматривать в качестве проявлений «феодальности». Испытывая недостаток источников, С.М. Ахинжанов переводит вопрос о земельной собственности у кыпчаков (а фактически и вопрос о феодализме) на макроуровень, т.е. в вопрос о земельной собственности у кочевников вообще. Поэтому в качестве аргументов у него присутствуют ссылки на описания Рубруком и Ибн Батутой монголов эпохи империи (Ахинжанов С.М., 1989, с. 244–246), организация общества которых не типична для кочевников, особенно для слабоинтегрированных объединений кыпчаков. С помощью таких доводов легко доказать существование прафеодальной и феодальной собственности не только у средневековых, но и у ранних кочевников.

Таким же образом (цитатами из Ибн Батуты, Плано Карпини, Вильгельма Рубрука и русских летописей) ученый обосновывал наличие резкой имущественной и социальной дифференциации у кыпчаков Казахстана XI–XII вв. Обращает на себя внимание, что, ссылаясь на фиксируемые археологическими материалами различия в инвентаре кыпчакских погребений, С.М. Ахинжанов (1989, с. 267–268) не привел подобных примеров. Данное упущение не случайно, так как погребальный обряд кыпчаков, как и многих других поздних кочевников, достаточно стандартен (Могильников В.А., 1981а, с. 192–193), чтобы можно было судить о социальной дифференциации только по вещевому комплексу.

В 1988 г. вышел первый выпуск продолжающегося издания «Восточный Туркестан в древности и средневековье». Монография имела подзаголовок «Очерки истории» и раскрывала целый ряд аспектов пребывания кочевников в Восточном Туркестане. В шестой главе данной работы (написана В.М. Крюковым) сообщается, что население Гаочана начиная с V в. испытывало «значительное культурное влияние» тюрков. В частности, отмечается, что в китаеязычных гаочанских текстах 460–480-х гг. упоминаются «жители с именами, включающими тюркский компонент *тегин*», а в погребениях, где «были найдены эти документы, обнаружены надписи на тюркском языке, сделанные согдийским письмом» (Восточный Туркестан..., 1988, с. 295–296). Таким образом, в Гаочане наблюдалась интеграция тюркского и согдийского населения, что на политическом уровне отразилось уже в период существования Первого Тюркского каганата (555–603 гг.) в династическом браке (правитель Гаочана женился на дочери одного из тюркских каганов) и введении в Гаочане тюркских обычаев (Восточный Туркестан..., 1988, с. 296).

В седьмой главе, посвященной VII–X вв. (подготовлена А.Г. Малявкиным с уточнениями и дополнениями Б.А. Литвинского), события в Восточном Туркестане рассматривались на фоне важнейших изменений в Китае, Центральной и Средней Азии. В частности, авторы раздела считали главной предпосылкой для вторжения танской армии в Западный край разгром Восточнотюркского каганата в 630 г. Причиной падения каганата они указывают восстания телесских племен и поражение от них тюрков. Смысл же параллельных действий шести китайских армий заключался в том, чтобы захватить возможно большее число тюрков, «откатившихся на юг под ударами телесских племен» (Восточный Туркестан..., 1988, с. 306–307).

Положение подчиненных тюрков, как представляется А.Г. Малявкину и Б.А. Литвинскому, напоминало положение федератов Римской империи. Тюрков расселили в приграничных районах, они сохранили родоплеменную организацию и своих вождей и даже кагана. Тюркская конница активно использовалась для захвата княжеств Восточного Туркестана и Средней Азии (Восточный Туркестан..., 1988, с. 307, 309).

В работе также уделялось внимание судьбе объединения сеяньто. Оценивая этнополитическую систему «нового кочевого государства», исследователи указывали на господство в нем двух племен – сеяньто и уйгуры, что и привело к его скорому падению. Однако неустойчивость этого союза определялась и специфичной политикой Танской империи. Китайцы, стремясь не допустить усиления сеяньто, не препятствовали возвращению в степи к югу от Гоби тюрков. По мнению А.Г. Малявкина и Б.А. Литвинского, это спровоцировало кагана сеяньто Инаня на поход против Китая, но сеяньто вместе с другими телесскими племенами потерпели поражение в 642 г. от войск Тан и тюрков. Последовавшие затем переговоры о дружбе и родстве закончились провалом. Как полагают ученые, этот «промежуток» китайцы использовали для «подрыва союза сеяньто с уйгурами и другими телесскими племенами». Сын Инаня каган Бачжо в 645 г. был разбит Тан, а в 646 г. война закончилась полным разгромом сеяньто, причем уйгуры, боку, тонра, по свидетельству китайских источников, сражались против сеяньто. После уничтожения каганата сеяньто часть телесских племен рассеялась и активно мигрировала в разных направлениях, другая вошла в состав новой коалиции телесских племен во главе с уйгурами (Восточный Туркестан..., 1988, с. 310–311). В дальнейшем телесцы наряду с тюрками были активными участниками китайских походов в Восточный Туркестан и Среднюю Азию и разгрома в 657–658 гг. Западнотюркского каганата. Но сколько-нибудь подробная характеристика общественно-политической организации номадов в этот период в книге отсутствует.

Как определенную систему взаимосвязей между кочевой экономикой, социальной стратификацией, постоянно воспроизводящимися родами (сеоками) и специфичной политической культурой рассматривал кочевые общества раннего средневековья С.В. Дмитриев. Он полагал, что условия степей и кочевое скотоводство консервировали отношения внутри отдельных единиц родов. И в том случае, если род по каким-то причинам распадался, происходило образование структуры, основан-

ной «на действительном или псевдородстве». Для средневековья, как полагал исследователь, наблюдался демографический и экономический рост, благодаря чему «хан получил более стабильную и более широкую политическую власть, в отличие от скифского временного вождя» (Дмитриев С.В., 1989, с. 32–33).

С политической точки зрения противоборство между различными группировками, по оценкам С.В. Дмитриева, могло иметь три основных следствия: 1) истребление противной стороны; 2) миграция проигравших в западном направлении; 3) консолидация племен под власть победившей стороны. В последнем случае, как считал ученый, возникала «структура государственного типа», основная объективная цель которой – «спустить пар» в степи путем выплеска лишних (с точки зрения кочевого хозяйства) сил из «котла». С осуществлением этой цели напряжение в степи спадало. Цикличность ситуации проявлялась и в другом: кочевое государство, не имея никаких задач, кроме военных (так как экономическая база непосредственно в степи остается той же и радикальный социально-политический прогресс невозможен), через некоторое время распадается и в степной зоне возвращаются догосударственные порядки и «идет прежняя мелкая «грызня» между малыми лидерами» (Дмитриев С.В., 1989, с. 33).

Определенные оценки социально-политического устройства раннесредневековых кочевых обществ Центральной Азии высказал Н.Н. Крадин. Исследователь настаивает на том, что в основе имущественной дифференциации кочевых обществ лежат различия в количестве скота, которым обладали те или иные семьи номадов. В социальных отношениях у кочевников Центральной Азии второй половины I тыс. Н.Н. Крадин (1992, с. 98–99, 100–101, 103–105, 111, 116) выделял разные формы зависимости (отдача скота на выпас, клиентские отношения, домашнее рабство и пр.), но отмечал, что они не играли значительной роли в скотоводческом производстве и не могли подменить труд рядовых свободных номадов. Гораздо более значимыми ученый считал даннические отношения, периодические набеги и грабежи, война, наложение контрибуции, посредническая (особенно Великий шелковый путь) и навязываемая земледельцами неэквивалентная торговля (Крадин Н.Н., 1992, с. 127–129).

В общественной структуре тюрок, по мнению Н.Н. Крадина, иерархия первоначально имела двоичный характер, а затем – триадный (в центре каганата располагался хан и его личная дружина, на правом – принцы крови, на левом – не относящаяся к роду кагана аристократия и зависимые народы). Систему трех крыльев исследователь фиксирует и в Уйгурском каганате, выделяя отдельно гвардию кагана. Также особенностью Уйгурской державы было наличие подчиненных народов в левом и правом крыльях, преобладавших и в составе армии (Крадин Н.Н., 1992, с. 136).

Важной чертой крупных кочевых образований Центральной Азии ученый называет десятичную систему, которая строилась на кланово-племенной основе. При этом основные управленческие функции в кочевых обществах выполняла традиционная кочевая аристократия и предводители. Как указывает исследователь, «значительный аппарат чиновников кочевникам становится необходимым только с завоеванием ими земледельческих областей». Так, кидани после завоевания северо-восточных районов Китая вынуждены были в 947 г. издать декрет о формировании двух разных бюрократических систем: для кочевников и оседлого населения. В целом Н.Н. Крадин (1992, с. 139, 154–157) полагал, что «номадам, не имевшим в своем подчинении крупных земледельческих обществ, присущи только зачаточные формы власти, отделенной от непосредственных производителей».

Особо выделяет ученый дружину в раннесредневековых обществах. Ее состав, как он полагает, чаще всего был неоднородным. Помимо аристократии, в нее могли входить рядовые кочевники «крепкого сложения», «неполноправные лица и даже рабы» (Крадин Н.Н., 1992, с. 157). Отличие дружины в кочевых обществах от земледельческих, по мнению Н.Н. Крадина (1992, с. 157), заключалось в том, что у номадов дружина «создавалась не столько для изъятия прибавочного продукта и карательно-репрессивных функций в отношении своего населения, сколько для собственной защиты, грабежа и эксплуатации соседей». Рассматривая марксистские критерии государственности, исследователь отмечает, что ни один из них не был присущ собственно кочевым обществам. Даже сбор налогов он предлагал интерпретировать в рамках более древней догосударственной традиции редистрибутивного перераспределения (Крадин Н.Н., 1992, с. 159–160).

Таким образом, весь ход рассуждений Н.Н. Крадина ведет к тому, что у кочевых народов средневековья и других эпох именно внешнеполитическая деятельность, набеги на земледельцев и их подчинение играли роль главного фактора социально-политической интеграции и усложнения

форм власти. В этом контексте тюркские и уйгурские империи он рассматривал как военно-политические системы (типичные кочевые империи), базировавшиеся на дистанционной эксплуатации земледельческих ресурсов, а державу Ляо, включавшую наряду со степными территориями и земли Северного Китая с оседлыми жителями, – как данническую кочевую империю (Крадин Н.Н., 1989, с. 21–22; 1992, с. 171, 174).

В целом следует отметить, что период конца 1960-х – начала 1990-х гг. стал важнейшим этапом в изучении социальных и политических систем номадов Центральной Азии в раннесредневековый период. В соответствии с марксистской традицией номадные сообщества раннего средневековья рассматривались преимущественно как «переходные» к феодализму, раннефеодальные или сложившиеся феодальные. В качестве феодалов чаще всего выступали аристократия, окружение ханов, наместники и дружинники кочевых правителей. Следует подчеркнуть стереотипность таких оценок для средневекового периода, так как лица аналогичного статуса у так называемых ранних кочевников чаще всего трактовались вне феодальной парадигмы.

На иные черты кочевых обществ раннего средневековья обратил внимание С.Г. Кляшторный. Основную роль у номадов, по его мнению, играли свободные мужи-воины, а рабовладельческая эксплуатация была связана только с домашним трудом плененных женщин. Тем самым, не высказывая развернутых оценок общественных отношений у кочевников, этот исследователь показывал, что причин для сословного деления номадных сообществ раннего средневековья не было. Схожие оценки высказали Н.Н. Крадин и С.В. Дмитриев.

В отношении властных институтов раннесредневековых кочевников Центральной Азии наблюдается единство подходов. Практически все авторы рассматривали крупные политические образования номадов VI–XI вв. как государственные. Исключением практически стали только исследования и мнение Н.Н. Крадина, который полагал, что кочевая экономика и особенности общественных отношений у номадов служили препятствием для возникновения государственной политической иерархии. При этом он указывал на возможность появления государственных структур у номадов в случае захвата обширных территорий с земледельцами, так как это требовало организации постоянного аппарата для изъятия излишков, сбора пошлин и других выплат, а также для эффективного управления более сложным оседло-городским обществом.

Среди исследований в социально-археологическом русле следует выделить разработки Г.В. Длужневской, Д.Г. Савинова, Ю.С. Худякова, П.П. Азбелева. Их немногочисленность, на наш взгляд, объясняется все еще ограниченным для рассматриваемого периода кругом источников. Следует сказать, что число изученных раннесредневековых памятников номадов существенно уступало количеству раскопанных и опубликованных объектов скифской и хунно-сяньбийской эпох. Пожалуй, интенсивными были только исследования в Минусинской котловине и Туве, но даже там археологическая «картина» средневековья только начала проясняться. На Алтае и в Казахстане раскопки памятников второй половины I тыс. н.э. велись, но многие материалы не были опубликованы, отсутствовали обобщающие работы, спорной была хронология многих памятников. Решающее значение имела слабая исследованность раннесредневековых объектов в Монголии, Внутренней Монголии и Восточного Туркестана на территории КНР. Плохо были изучены не только погребальные памятники, но и уйгурские и киданьские городища. Имеющаяся информация совершенно не соответствовала образам кочевых держав, рисуемых письменными источниками.

К тому же среди уже исследованных материалов трудно было выявить свидетельства социальной стратификации, так как погребения средневековых номадов отличались гораздо меньшей дифференциацией по социально значимым признакам от скифских, сарматских, сакских, пазырыкских, хуннских и других памятников. Требовались массовые археологические материалы и определенный наработанный опыт палеосоциологических реконструкций, чтобы в области изучения социальной структуры раннесредневековых кочевых обществ Центральной Азии был сделан существенный прорыв. В какой-то мере это удалось сделать на следующем, современном, этапе.

6.4. Новейшие разработки проблем социального устройства и организации власти у раннесредневековых номадов в российской науке (середина 1990-х гг. – 2007 г.)

С середины 1990-х гг. мы можем говорить о новом этапе изучения общественно-политических институтов кочевников раннего средневековья. В третьей главе данной монографии сделана попытка показать, под влиянием каких методологических направлений велись исследования кочевых со-

циумов российскими специалистами. Разнообразие концептуальных подходов и их творческое развитие как в теоретико-обобщающих, так и в конкретно-исторических исследованиях по истории номадов являются одной из знаковых черт постсоветского кочевниковедения.

В 1990-е – начале 2000-х гг. наблюдается рост интереса российских ученых к проблемам социально-политической истории номадов раннего средневековья. Это нашло отражение в обсуждении данных вопросов в рамках международных и всероссийских конференций, круглых столов, в многочисленных публикациях. Важным фактором развития исследований в области социальной организации и властных структур кочевников раннего средневековья стали специализированные издания, из которых следует выделить возобновленное издание «Тюркологического сборника», выпуск ежегодника «Altaica», посвященного различным аспектам истории тюркских и монгольских народов, и другие публикации. Также нельзя не отметить, что в современной историографии представлено значительное количество обобщающих работ по археологии и истории раннесредневековых номадов Центральной Азии (Савинов Д.Г., 1994, Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994; 2005; Войтов В.Е., 1995, 1996; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Файзрахманов Г., 2000; Могильников В.А., 2002; Кляшторный С.Г., 2003; Худяков Ю.С., 2004, Кубарев Г.В., 2005; Ганиев Р.Т., 2006; Кочнев Б.Д., 2006; и мн. др.). Существенно расширился круг специалистов, изучающих социально-политическую организацию номадов Центральной Азии периода раннего средневековья. Изыскания ведутся учеными из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Тобольска, Омска, Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска, Кемерово, Томска, Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока и многих других городов.

Большое значение для реконструкции социальной структуры центральноазиатских кочевников раннего средневековья на основе данных археологии имели исследования погребальных памятников на Алтае, в Туве, Семиречье, Восточном Туркестане, Монголии и в других регионах, целенаправленная публикация материалов тюркских, уйгурских, кыргызских, телесских, «сросткинских» и других захоронений. В качестве примера можно привести издание сборников научных трудов «Памятники культуры древних тюрков в Южной Сибири и Центральной Азии» (1999), «Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии» (2000), а также монографии Г.В. Кубарева «Культура древних тюрков Алтая (по материалам погребальных памятников)», В.А. Могильникова «Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX–XI веках» и другие публикации.

Особое место среди исследователей социально-политической организации номадов Центральной Азии периода раннего средневековья занимает С.Г. Кляшторный. По рассматриваемой проблеме ему принадлежит целая серия публикаций (2000; 2000а; 2000б; 2001, 2001в, 2003, 2004, 2005, 2006 и др.), а также совместные с Д.Г. Савиновым (Кляшторный С.Г., Савинова Д.Г., 1994, 2005) и Т.И. Султановым (2000, 2004) монографии.

В своих трудах середины 1990-х – начала 2000-х гг. С.Г. Кляшторный высказывал разнообразные оценки социальных отношений и организации власти у раннесредневековых кочевников. Причем в них не всегда прослеживалась последовательность и однозначность, однако это можно отчасти объяснить тем, что в его исследованиях представлен наиболее широкий в отечественной историографии охват номадных объединений VI–X вв.

В обстоятельной монографии «История Центральной Азии и памятники рунического письма», в очерках по истории Тюркских и Уйгурского каганатов для второго тома академической «Истории Востока» («Восток в средние века», 1995/2000) и в целом ряде других изданий С.Г. Кляшторный подвел итоги своим многолетним исследованиям рунических текстов, истории, культуры, этнического состава кочевников раннего средневековья. Не последняя роль отводилась им вопросам политического и социального устройства Тюркских каганатов, образу каган в тюркских текстах, их взаимоотношениям с разными социальными группами и т.д.

Ученый рассматривал Тюркский каганат как государство («Тюрк эль») (Кляшторный С.Г., 2000, с. 61; 2001в, с. 79; и др.). Характеризуя Тюркский каганат в период его возвышения (555–576 гг.), С.Г. Кляшторный видит в нем политического гегемона в Центральной и Средней Азии, сумевшего превратить северо-китайские государства Северное Ци и Северное Чжоу в данников и осуществлявшего «борьбу за контроль на торговом пути из Китая в страны Запада» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 93; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 76; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 83–84, 89–90). Торговля шелком и другими товарами приносила тюркской элите доход в виде налогов с коммерческой деятельности согдийцев (Кляшторный С.Г., 2003, с. 147; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 95). Этой роли соответствует и система политической организации

каганата, которая трактовалась как «государственная» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 96, прим. 34). В социальном отношении исследователь по-прежнему трактовал историю каганата в духе формационной теории. В соответствии с этим он считал, что тюркские племена, составлявшие военно-политическое ядро каганата, уже в середине VI в. «приблизились к тому рубежу общественного развития, когда складывается деление на классы». Собственно социальное развитие каганата предстает как «подготовленный веками предшествующего развития процесс становления раннефеодальных отношений, сочетавшихся с примитивными военно-рабовладельческими методами эксплуатации покоренных народов и социальной структурой, сохранившей формы, характерные для высшей ступени варварства» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 94).

Непрерывные наступательные войны, как полагал С.Г. Кляшторный, «снимали» противоречия в тюркском обществе, но его устойчивость фактически ставилась под сомнение первыми же военными неудачами. Среди факторов распада Первого Тюркского каганата он выделял образование единого китайского государства Суй, междоусобные распри внутри правящей верхушки после смерти Таспар-кагана, страшный голод в степи. Все это составило фон социального переустройства тюркского общества, которое ученый описывает в типичных оценках генезиса феодализма: «рост богатства и влияние тюркской аристократии», стремившейся к автономному управлению захваченными территориями, «обеднение массы рядовых общинников», лишение их средств к существованию вследствие джута 581–583 гг. Итогом этих изменений был социально-политический кризис каганата, распад его на Западнотюркский и Восточнотюркский, установление протектората Суйской династии над восточными тюрками (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 84; 2003, с. 94, 163–165; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 83–84; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 90–91). Небольшое возвышение Восточнотюркского каганата в период кризиса Суй, гражданской войны и провозглашения новой династии Тан в Китае не изменили принципиально соотношение сил, и в 630 г. китайцы несколько раз разгромили тюркские войска и взяли в плен Хели-кагана (Эль-кагана).

В характеристике С.Г. Кляшторным социально-политической иерархии в Восточнотюркском каганате еще прослеживается влияние классового подхода. Он указывал, что ко времени правления Шиби-кагана (609–619 гг.) и Эль-кагана (620–630 гг.) в тюркском обществе произошли «качественные изменения общества», обозначившие противоположность интересов знати и рядовых кочевников. По его мнению, «всевластный каган», «оторвавшийся от своих корней в роду и племени», руководствовался интересами «аристократической верхушки», которую исследователь называет «правлящим классом каганата». Согласно точке зрения ученого, война становится выгодной только для аристократии, так как ей «доставалась львиная доля добычи и дани» (Кляшторный С.Г., 2000, с. 63; 2001в, с. 84–85; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 84–85). Рядовые кочевники, как полагал исследователь, довольствовались доходами скотоводческого хозяйства и «были заинтересованы не в походах за рабами и драгоценностями, не в дани шелком, а в мирной меновой торговле» (Кляшторный С.Г., 2000, с. 63; 2001в, с. 85; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 84–85; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 91).

Противоречия между «народными массами и правящей верхушкой», по словам С.Г. Кляшторного, «ярко выразились в изменении управления». В связи с тем, что активная внешняя политика Эль-кагана в 620–629 гг. требовала бесперебойного снабжения огромной армии и больших затрат, каган, «не довольствуясь данью и добычей, усилил обложение податями и сборами собственный народ». Эти подати оказались особенно тяжелыми в годы джута, падежа скота и голода (627–629 гг.). «Классовая» политика Эль-кагана, согласно мнению С.Г. Кляшторного, особенно наглядно проявилась в замене «старых органов управления», представители которых в какой-то степени связаны родоплеменными традициями, китайцами и согдийцами» (Кляшторный С.Г., 2000, с. 63; 2001в, с. 85; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 85; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 92). Именно этот акт привел к социальному взрыву, открытому выступлению токуз-огузов, последовавшим поражениям тюрков, пленению «покинутого всеми» (?) Эль-кагана и ликвидации Восточнотюркского каганата (Кляшторный С.Г., 2000, с. 63–64; 2001в, с. 85; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 85; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 92).

Таким образом, исследователь по-разному обозначал причины ослабления и разгрома Восточнотюркского каганата. При этом внутренние социальные противоречия в тюркском обществе в конце 620-х гг. он считал более значимыми. Негативно оценивая политику Эль-кагана, ученый считал, что именно назначение согдийцев и китайцев на управленческие должности привело к окончатель-

ному разрыву между каганом и племенами (Кляшторный С.Г., 2003, с. 94–95, 163–165, 430–429; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 92).

Подвластные Тан восточные тюрки, как пишет С.Г. Кляшторный, были превращены в федератов. Они сохранили родоплеменное и административное устройство, тюркская знать привлекалась на военную службу, непосредственное управление тюрками сохранено за родом Ашина. В середине VII в. контроль над тюрками был усилен, тюркская власть сохранилась только на уровне округов. Это вызвало недовольство тюрков. В их среде зрело недовольство, которое привело к серии восстаний и восстановлению каганата. Исследователь показывает социальную окраску восстания Кутлуга: к укрывшейся в Иньшане мятежной тюркской аристократии и профессиональным дружинникам сбегалась тюркская беднота из пограничных городов, стремившаяся вернуться к прежней кочевой жизни (Кляшторный С.Г., 2003, с. 100). Учитывая их интересы, Кутлуг организовал набег на токуз-огузов, уведя много лошадей и баранов и с этого момента «стал сильным» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 101). Дальнейшие действия Кутлуга (Ильтериш-кагана) были направлены на разгром китайских пограничных армий и переход на его сторону все еще остававшихся под властью Тан тюрков, в результате чего под командованием кагана оказалась боеспособная конная армия, ополчение тюркских племен (Кляшторный С.Г., 2003, с. 107–108). Завершил эти успехи разгром токуз-огузов и обоснование тюрков в Отюкенской черни. Отсюда они контролировали все кочевые племена Монголии, а также Южной Сибири и были неуязвимы для китайской пехоты (Кляшторный С.Г., 2003, с. 110).

Время правления Мочжо (Капаган-кагана, 691–716 гг.) С.Г. Кляшторный описывает противоречиво. С одной стороны, он относит к началу VIII в. завершающий этап сложения «этноплеменной и политической организации» каганата, с другой – показывает как поражения тюрков от арабов и китайцев привели к полному разрушению всей этноплеменной иерархии и открытому выступлению против Капагана байырку, токуз-огузов, киданей, хи и других племен, а также последовавшему затем внутреннему кризису из-за гибели Капагана. Только новые военные успехи Бильге-кагана, Кюль-тегина и Тоньюкука спасли каганат от исчезновения (Кляшторный С.Г., 2003, с. 117–120).

В монографии «История Центральной Азии и памятники рунического письма» структура власти Второго Тюркского каганата почти не характеризуется. Автор лишь высказывает гипотезу на основе анализа тюркских и уйгурских эпитафий, что в каганате во главе с тюркскими каганами существовал союз тюрков и сиров (С.Г. Кляшторный отождествляет их с кыпчаками одной из уйгурских надписей). Следующую ступень в этноплеменной иерархии занимали токуз-огузы во главе с уйгурами, затем – два племени эдизов. Также отмечается, что Бильге удалось заставить китайцев открыть рынки на границе, а к кочевникам с 727 г. поступала ежегодная дань. Причины последовавшего вскоре после смерти Бильге-кагана в 734 г. упадка каганата С.Г. Кляшторный практически не объясняет, указывая лишь, что удельные владетели из рода Ашина все меньше считались с центральной властью, а мятеж басмылов, уйгуров и карлуков поставил точку в судьбе тюркского каганата (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 100–103; 2003, с. 120–121, 303–305; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 126–129).

В других публикациях С.Г. Кляшторный достаточно подробно освещает социально-политическую организацию Второго Тюркского каганата. В частности, он отмечает, что «империя», созданная Ильтеришем и его наследниками, была «территориальным объединением этнически родственных и иерархически соподчиненных племен и племенных союзов». Идеологическая связь их определялась общими религиозными представлениями и «признанными генеалогиями», а политическое единство – общей военно-административной организацией и общими правовыми нормами (тёрю). «Племенная организация (бодун) и политическая структура (эль) взаимно дополнили друг друга, определяя плотность и прочность социальных связей; по терминологии тюркских надписей хан (каган) «держал власть над государством и был главой племенного союза». Во главе этноплеменной иерархии каганата, как указывает ученый, стоял «12-племенной союз тюрков», далее шли токуз-огузы, возглавлявшиеся уйгурами, а также еще две конфедерации племен – карлуки и басмылы. Важную роль играли вожди племен – иркины и племенных объединений – эльтеберы (Кляшторный С.Г., 2000а, с. 151–152).

Над племенными лидерами возвышались представители имперского управления: каган и его ближайшие сородичи, носившие титул шад и ябгу, советники кагана (буюруки), «исполнявшие военно-административные, дипломатические и судебные функции и носившие титулы таркан, чор, тудун». Для удобства административного управления племена были организованы в две территориально-военные группы – тардуш (западная) и телис (восточная), во главе которых «стояли близкие

родичи кагана и наиболее влиятельные племенные вожди каждого «крыла» (Кляшторный С.Г., 2000а, с. 152).

В социальном отношении С.Г. Кляшторный отмечает противопоставление «высшего сословия» (бегов, аристократии по крови, по праву происхождения из рода, особый статус которого в руководстве делами племени считался неоспоримым, освященной традицией) простому народу. Только каган, по мнению исследователя, олицетворял «единство общины». Именно в этом контексте он рассматривал «каганские надписи-манифесты», содержавшие призыв «к единству бегов и народа и их покорности кагану». Картину глубокой социальной и имущественной дифференциации в тюркском обществе первой половины VIII в. дополняли сведения о «жалких, ничтожных, низких людях», малоимущих мужах-воинах, кулах-невольниках (Кляшторный С.Г., 2000а, с. 152). В целом именно социальные противоречия ученый считал главными причинами недолговечности и упадка крупных имперских образований кочевников.

Специфичной чертой Западнотюркского каганата второй половины VII – первой половины VIII в. С.Г. Кляшторный считал менее устойчивую власть кагана. Главной причиной этого он считал ожесточенную борьбу различных «группировок военно-политической знати, в чьих руках сосредоточивалась реальная военная сила». Эти группировки нередко делали высших носителей власти «подставными фигурами». Тем самым главное значение исследователь отводил не сословным, а межплеменным противоречиям (Кляшторный С.Г., 2000, с. 66–67). В качестве третьей силы, по мнению ученого, выступали богатые согдийские города-колонии, обладавшие «мощными укреплениями, сильными военными отрядами и огромными торгово-дипломатическими связями» (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 93; 2003, с. 179; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 93–94; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 101).

С.Г. Кляшторный уточняет, что «десять стрел» Западнотюркского каганата были формой военно-административной, а не родоплеменной организации. Он предполагает, что в состав каждой «стрелы» входило несколько племен, которые совместно выставляли 10-тысячное войско во главе с шадом. Восточная сторона (к востоку от Суяба) западных тюрок включала пять «стрел», входивших в конфедерацию дулу. Они возглавлялись пятью великими чорами. Западная сторона – пять племен нушиби во главе с пятью великими иркинами (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 86–87; 2003, с. 435; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 86–87; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 93).

Расцвет Западнотюркского каганата С.Г. Кляшторный связывал с правлением каганов Шегуе (610–618) и Тон-ябгу (618–630). Как считал ученый, территориальная экспансия этих каганов и успешные войны привели к «быстрому обогащению и росту влияния военно-племенной знати. При Тон-ябгу каганат достиг максимального влияния. Был установлен строгий политический контроль над среднеазиатскими государствами, во все владения были направлены тудуны (наместники) для сбора податей и посылки дани в ставку кагана. Тон-ябгу перенес зимнюю резиденцию в Суяб, а летнюю ставку – в Мингблук близ Исфиджаба. Однако это привело к противоречию между каганом и племенной знатью, ставшему поводом для междоусобных столкновений и убийства Тон-ябгу. Исследователь отмечает попытку Ышбара Хилаш-кагана установить контроль над ними с помощью устранения чоров и иркинов и назначения специальных наместников, подчиненных кагану. Однако в итоге это вызвало кровопролитную войну между дулу и нушиби и привело к расколу каганата, что облегчило китайцам покорение западных тюрок (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 90–91; 2003, с. 439–441; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 90–91; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 97–98).

Описывая в целом ситуацию в Западнотюркском каганате, С.Г. Кляшторный констатирует, что социальная структура в нем была гораздо сложнее, чем в степях Монголии. Наличие во владениях западных каганов значительной части оседлого населения, занимавшегося земледелием, ремеслом и торговлей, позволило ученому определить Западнотюркский каганат как «государство со сравнительно развитыми феодальными отношениями» (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 92; 2003, с. 441; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 98–100).

Таким образом, несмотря на существенные различия в судьбах Восточнотюркского и Западнотюркского каганатов, согласно точке зрения С.Г. Кляшторного, и то, и другое объединение тюрок распалось в результате роста социально-классовых противоречий. Тем самым в интерпретациях исследователя намечается генеральная линия социальной трансформации крупных политических образований кочевников – экономическое и социально-политическое обособление знати от рядового насе-

ления. Правда, в Западнотюркском каганате более выраженными были противоречия между каганами, стремившимися к централизации, и племенной аристократией.

С.Г. Кляшторный также дает оценки политическим структурам ряда образований номадов в Центральной и Средней Азии. Так, в частности, большое внимание в своих работах ученый уделил тюргешам. С.Г. Кляшторный полагал, что тюргешское объединение возвысилось после изгнания каганов из рода Ашина и провозглашения собственного правителя. Укрепившиеся в Семиречье тюргеши захватили ряд крупных городов этого региона, наладили чеканку монет и поставили под контроль согдийскую торговлю. Первый каган Уч-элиг провел реформу, разделив страну на 20 областей (тутукств), «каждая из которых выставляла 7 тысяч воинов». Государственный статус властных институтов тюргешей у исследователя не вызывал сомнения (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 96; 2003, с. 170–171, 185, 442–443; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 94–95; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 102).

Разгром тюркскими войсками в 711 г. тюргешей временно прервал существование каганата, который был восстановлен около 715 г. каганом Сулуком. С.Г. Кляшторный высоко оценивал действия Сулука по укреплению своей власти, особенно отмечая его дипломатические успехи. В данном случае ученый имел в виду легитимацию власти Сулука с помощью женитьбы на дочери потомка западнотюркского кагана из рода Ашина, а затем на дочери Бильге-кагана. После этого Сулук развернул активную внешнеполитическую деятельность, направленную прежде всего против господства арабов в Средней Азии. Почти двадцатилетний период борьбы с арабами закончился поражением Сулука, его убийством приближенными и борьбой за власть между «желтыми» и «черными» тюргешами, которая привела к распаду Тюргешского каганата (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 96–97; 2003, с. 444–445; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 95–96; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 103–105).

Один из важных сюжетов по политической истории тюргешей – интерпретация С.Г. Кляшторным сведения Ибн ал-Факиха о посольстве к тюргешам от халифа Хишама (724–743) с целью обратить кагана в ислам. Каган устроил перед послом демонстрацию своих сил – каждый из десяти сопровождавших кагана военачальников по очереди разворачивал знамена и вслед за этим появлялся темен конных воинов. Этот эпизод показывал, что основу могущества тюргешского кагана составляли кочевники «десяти племен» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 299–300). Обнаруженные в Кочкорской долине рунические тюркские надписи с упоминанием имени мужа-воина Адыка позволили исследователю высказать ряд предположений о функциях особых заповедников-куруков. Он полагал, что в таких местах (в надписях упоминается «Ярыш») происходили сборы тюргешской армии и велась подготовка к войнам. Помимо этого, подобные куруки, как считает ученый, были местом непосредственного взаимодействия осевшей уже в городах тюргешской элиты со своими кочевыми подданными (Кляшторный С.Г., 2001, с. 213–215; 2003, с. 294–300; Klyashtorny S.G., 2002, p. 197–201; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 96–97; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 105–106).

Наследником Тюркских каганатов в Центральной Азии выступал Уйгурский каганат. С.Г. Кляшторный осуществил попытку проследить основные этапы политогенеза уйгуров в раннее средневековье. Начало возвышения уйгуров он связывал с деятельностью Афучжило в конце V – начале VI в., соперничавшего с жужанями «за власть над оазисами Таримского бассейна» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 448). Следующим шагом к консолидации и возвышению уйгуров было оформление в Северной Монголии в начале VII в. орды токуз-огузов («девяти племен») во главе с уйгурским вождем, носившим титул иркин. В этом союзе, как считает С.Г. Кляшторный, в 40-е гг. VII в. преобладание «окончательно перешло к уйгурам, точнее к группе из десяти уйгурских племен во главе с племенем ягларкар». Также стоит указать на неоднократные упоминания автора о миграциях уйгуров и других телесских племен в Восточный Туркестан, а также в западные районы степной Евразии (Кляшторный С.Г., 2003, с. 438–439, 448; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 99; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 111–112).

Согласно концепции С.Г. Кляшторного в 647 г. на севере Монголии возникло уйгурское государство (некоторые специалисты называют его Первым Уйгурским каганатом) в результате провозглашения эльтебером Тумиду себя каганом. Его ставка располагалась на р. Толе. Исследователь практически не анализирует организацию власти в этом объединении, ограничиваясь цитатой танской хроники о том, что «Тумиду... учредил должности чиновников, одинаковые с тюркскими». Тем самым вопрос о государственном статусе Уйгурского каганата (647–680-е гг.) остался открытым.

Разгром Ильтериш-каганом уйгуров привел их к очередному разделению (часть токуз-огузов бежала под танский протекторат в Ганьсу, где после 843 г. возникло уйгурское Ганьчжоуское княжество) (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 121; 2003, с. 448–449; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 100; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 112–113).

Вполне оправдано особое внимание ученого к политической организации Уйгурского каганата (744/5–840 гг.). В ходе экспедиционных работ в Монголии им был открыт, а позднее переведен и опубликован ряд надписей от имени уйгурских каганов. Среди них особенно выделялись Терхинская и Тэсинская надписи, Сэврэйский камень (Кляшторный С.Г., 2003, с. 29, 33, 449, 451; 2006а, с. 120–176; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 66), существенно дополнившие сведения о политической жизни каганата.

Опираясь на текст Терхинской надписи, С.Г. Кляшторный характеризует «военные и политические меры, принятые Элетмиш Бильге-каганом и его ближайшим окружением для укрепления безопасности рубежей и расширения зоны влияния нового государства. В надписи фиксируется подчинение уйгурам глав байырку, ягма, китайцев, согдийцев, которые, согласно точке зрения исследователя, «принадлежали к числу основного населения горно-степных пастбищ Восточного Тянь-Шаня и расположенных в его предгорьях городов и селений Таримского бассейна». Уйгуры взяли под контроль «все северные ветви Великого шелкового пути и расположенные вдоль него богатейшие оазисные государства» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 451–453, 454).

Одним из важнейших событий политической истории С.Г. Кляшторный считает участие уйгуров в подавлении восстания Ань Лушаня и Ши Чао в Китае в 763 г. Огромная военная добыча и императорские дары укрепили положение Бёгю-кагана, который к тому же принял в Лояне манихейскую веру и увез в Ордубалык согдийских миссионеров-манихеев. Исследователь полагал, что после 763 г. и почти до конца VIII в. «уйгуры являлись решающей политической силой в делах Центральной Азии» (Кляшторный С.Г., 2000б, с. 155–157; 2003, с. 450; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 100; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 112–113).

Особый характер, по мнению С.Г. Кляшторного, имели отношения уйгурских каганов с восточно-туркестанскими городами. Так, уже упоминавшийся Бёгю-каган установил «открытый протекторат» в Восточном При Тяньшанье, что «не исключало ни китайского присутствия, ни автономии оазисных государств и кочевых племен». Документы свидетельствуют о том, что тюркские манихейские и буддийские общины Турфанского оазиса признавали Бёгю-кагана своим покровителем (Кляшторный С.Г., 2003, с. 451). Однако отношения уйгурской элиты и жителей Восточного При Тяньшанья резко ухудшились после антиманихейского переворота в Ордубалыке в 779 г., когда Бёгю-каган и его сыновья были убиты, а к власти пришла прокитайская партия во главе с Тон багартаркан (Ынанчу бага-таркан). Провозгласив себя Алп Кутлуг-бильге-каганом (780–789 гг.), он, как уточняет ученый, предпочел выгоде от контроля за торговлей прямое налогообложение согдийских и тюркских общин Восточного Туркестана: в реальности это означало возвращение к политике сбора дани, грабежей и притеснения. В конечном итоге это вызвало согдийцев, карлуков и тюрок шато перейти под покровительство Тибета, а попытки уйгуров восстановить свое господство в Восточном Туркестане не принесли успеха (Кляшторный С.Г., 2003, с. 454–455; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 116).

С.Г. Кляшторный полагал, что именно провал восточно-туркестанской политики наследников Алп Кутлуг Бильге-кагана привел к новому перевороту в Ордубалыке, в результате которого власть захватила Эдизская династия. Новый каган Алп Кутлуг (795–805 гг.) восстановил манихейство и, приняв имя Яглакар, отождествил себя с прежней династией. Исследователь, интерпретируя Карабалгасунскую надпись, приходит к выводу, что уйгуры нанесли поражение кыргызам, разгромили тибетцев и карлуков, восстановив свою власть в Бешбалыке и Куче. Союз с манихеями Восточного Туркестана, как считает ученый, сделал уйгурскую власть здесь «эффективной», а во главе крупных городов бассейна Тарима стали представители династии Яглакар (Кляшторный С.Г., 2003, с. 456).

Нашел отражение в работах С.Г. Кляшторного и вопрос о политической организации Уйгурского каганата. Каган, по мнению ученого, являлся верховным правителем, судьей и военачальником. Его личность была «сакрализована». Кагана всегда сопровождала стража (тургак), состоявшая из тяжеловооруженных копейщиков. Анализ китайских, уйгурских, арабских источников позволил автору в общих чертах описать центральный аппарат управления. Он был представлен советом девяти «великих буюруков» («министров», «визиров»). Из них шесть считались «внешними», а три – «внутренними», имевшими своих глав. Также исследователь считал, что буюруки командовали вой-

ском каганата. Именно буюруками были произведены перевороты в 780 и 795 гг., занявших места каганов и принявших династийное имя Яглакар (Каляшторный С.Г., 2003, с. 458).

Разгром уйгуров кыргызами в 840 г., по мнению С.Г. Кляшторного, создал в Центральной Азии «совершенно новую геополитическую ситуацию: впервые за триста лет окончательно исчез мощный центр власти...». Как указывает ученый, отныне все тюркские племена признавали лишь «высокий статус рода, унаследовавшего каганский титул, но уже никогда – его единую власть» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 117).

Отдельный сюжет в исследованиях С.Г. Кляшторного – история уйгурских княжеств в Восточном Туркестане после падения в 840 г. Уйгурского каганата. Он делает ряд важных замечаний по поводу социально-политической организации уйгурского княжества Кочо со столицей в Бешбалыке. Во-первых, как и А.Г. Малявкин, С.Г. Кляшторный считает это политическое образование государством. Во-вторых, он полагал, что структура управления в Кочо повторяла властную организацию Уйгурского каганата. При этом существовал пост «главного министра». Известно также о государственном архиве. В-третьих, отмечая значительное развитие в Кочо земледельческой экономики, С.Г. Кляшторный убедительно показывает, что уйгуры и другие кочевники предпочитали вести кочевой образ жизни. Особое внимание исследователь обращал на трансформацию титула верховного правителя, в котором титул хан был заменен на «тенгрикен» – «божественный, богоподобный». Как полагал ученый, это могло быть результатом смены династии либо следствием упадка манихейства и распространения среди уйгуров буддизма (Кляшторный С.Г., 2003, с. 458–459).

Еще одним этнополитическим объединением кочевников Центральной Азии, которое привлекло внимание С.К. Кляшторного, был союз карлукских племен. Кочевья карлуков в VII–VIII вв. располагались в Джунгарии, Восточном Казахстане, Монгольском Алтае и в разные периоды входили в состав Тюркских и Уйгурского каганатов, вели борьбу с тюрками и уйгурами за независимость. Предводитель карлуков, как указывает исследователь, сначала носил титул эльтебер, а затем принял титул ябгу. Ученый отмечает, что начиная с середины VIII в., после переселения карлуков в Семиречье, развернулось их борьба с уйгурами за Восточный Туркестан, за влияние на племена ягма. Согласно точке зрения исследователя, именно существование Уйгурского каганата и его активной внешней политики в Восточном Туркестане и Средней Азии блокировало оформление консолидированного политического объединения карлуков (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 122–123; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 101–104; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 114–117). Только падение Уйгурского каганата в 840 г. позволило карлукскому ябгу провозгласить себя каганом, каганом Караханидов. При этом важное значение имела связь с родом Ашина. С.Г. Кляшторный считает, что титул *каган* не может говорить о реальной власти карлуков над другими тюрками, скорее речь должна идти о морально-идеологическом значении титула. Однако абзацем ниже он указывает на вхождение в состав «государства Караханидов», помимо карлуков, племен ягма, чигилей, тухси (одно из тюркских племен), «орхонских тюрков». (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 127; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 105–106; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 119, 122–123). Тем самым принятие титула *каган* могло отражать тот факт, что власть бывшего ябгу уже не связывалась только с союзом племен карлуков и стала носить надэтнический характер. Такую интерпретацию подтверждает распределение власти в Караханидском каганате между знатью чигилей и ягма. С.Г. Кляшторный в связи с этим обращает внимание на разделение каганата «на две части – восточную и западную со своими каганами во главе». При этом восточный каган из чигилей, ставки которого располагались в Кашгаре и Баласагуне, считался главным. Западный каган из ягма имел ставки в Таразе, а позднее в Самарканде. Помимо этого, исследователь указывает на образование в Средней Азии в X в. множества «караханидских владений, зависимость которых от каганов в Баласагуне была минимальной» (Кляшторный С.Г., 2001а, с. 128; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 106–107; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 123). Анализ социальной структуры карлуков в работах ученого отсутствовал. По всей видимости, он считал, что она мало чем отличалась от тюркской.

Особую роль в социально-политическом развитии Караханидского каганата С.Г. Кляшторный отводил событиям 960 г., связанным с принятием ислама. Это упрочило и внешнеполитическое положение каганата, а на внутреннем уровне тюркские племена «были втянуты в новую систему экономических и социальных отношений», сложившуюся в оазисах Средней Азии. Одновременно с этим, по мнению автора, происходило сложение «раннефеодальной военно-ленной структуры (икта). Такие объединения исследователь относил к особому этапу «политической, социальной и этнической истории Великой степи» – этапу варварских государств, преобразующихся в раннефеодаль-

ные державы» (Кляшторный С.Г., 2001а, с. 128–129; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 107–108; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 89, 123–124).

Еще одним каганатом, оформившимся, как предполагает С.Г. Кляшторный, после падения Уйгурского каганата, был Кимакский. Оценивая это объединение как государственное, исследователь все же указывает, что оно вряд ли было консолидированным «государственным образованием»: упоминание мусульманскими авторами одиннадцати наследственных управителей («царей»), которые утверждались каганом, интерпретировалось ученым как свидетельство сепаратизма наследственных владетелей и племенным партикуляризмом. Эти элементы политической организации Кимакского каганата С.Г. Кляшторный считал аналогичными институтам власти Караханидского каганата. «Они неизбежно предопределяли их крах при столкновении с более сильным противником уже через несколько поколений после их создания и на первых порах успешных набегов и завоеваний (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 109; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 120–121; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 135).

Также государствами С.Г. Кляшторный считал союз племен Сеяньто в 630–646 гг. (исследователь предлагает и другое название – Сирский каганат), Кыргызское объединение в Минусинской котловине и Кыргызский каганат в «эпоху кыргызского великодержавия», племенной союз огузов второй половины VIII – X в., расположенный в Приаралье (столица город Янгикент), татар Центральной Азии, ранних Сельджукидов и др. (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 103–104, 118, 125; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 8–9; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 116, 124, 130–131, 135, 137, 147).

В основе целого ряда исследований С.Г. Кляшторного лежала идея структурной и функциональной схожести кочевых объединений Евразии эпохи раннего средневековья. Несмотря на разные масштабы анализируемых кочевых политий, ученый обозначал их все как «империи». Под «империями» он понимал «полиэтнические образования, созданные военной силой в процессе завоевания, управляемые военно-административными методами и распадающиеся после упадка политического могущества создателя империи» (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 9; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 6; 2005, с. 9–10, 12).

Анализ исторических ситуаций возникновения кочевых империй убедил исследователя, что завоевательный импульс был направлен не столько на расширение пастбищных территорий (аномальный случай), сколько на подчинение территорий с иным хозяйственно-культурным типом. На первом этапе завоевания фактором, определяющим его цели, являлась, по мнению С.Г. Кляшторного, консолидация степных племен под властью одной династии и одного племени. Затем возникают стремления, реализуемые обычно в ходе военных акций – поставить в зависимость от консолидированной военной мощи кочевников области и государства с более сложным устройством и более многообразной деятельностью. Баланс сил, как указывал исследователь, предполагал конечный итог – данническую зависимость или какие-либо формы непосредственного политического подчинения. Именно на этой стадии государства, созданные кочевниками, преобразовывались в империи. Автор отмечает преимущественно триадную административную структуру эля: восточное и западное крылья и орда – центр-ставка (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 6–7; 2005, с. 9–10, 67; Кляшторный С.Г., 2003, с. 490, 492). Сравнивая кочевые империи раннего средневековья с Монгольской империей, которую С.Г. Кляшторный вслед за Т. Барфилдом считал особой и отличной от ее предшественниц, ученый предлагает называть образования древнетюркского времени «ранними степными империями» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 10). В другом случае он использует другое понятие – «этап архаичных империй» (VI–IX вв.) (Кляшторный С.Г., Султанов С.И., 2000, с. 80; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 87, 88).

По существу общая концепция социального развития кочевников раннего средневековья С.Г. Кляшторного декларировала новую универсальную схему социогенеза номадов Евразии с элементами циклических процессов, выражавшихся в смене политических элит при сохранении социально-политических и экономических основ общества. При всех достоинствах такой взгляд имел как минимум один существенный недостаток, а именно: игнорирование типологических различий кочевых объединений. Описание социальных организаций всех «кочевых империй» было недифференцированным и строилось практически только на материалах анализа общественной структуры древнетюркских каганатов. С точки зрения автора это было оправдано тем, что среди кочевых империй Центральной Азии именно Тюркский каганат стал первой евразийской империей от Желтого до Черного моря. По оценке С.Г. Кляшторного (2003, с. 490–491), в Тюркском каганате «впервые обо-

значилось преобладание имперских традиций над партикулярными устремлениями», что проявилось в том числе «в формах социальной и политической организации». В целом в публикациях середины 1990-х – начала 2000-х гг. в основу разделов по социальным отношениям у кочевников Центральной Азии раннего средневековья были преимущественно (с небольшими дополнениями) положены материалы статей С.Г. Кляшторного середины 1980-х гг. (1985, 1986, 1986а) об общественном устройстве Тюркских каганатов (ср.: Кляшторный С.Г., 2001в, с. 130–140; 2003, с. 460–489, 494; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 68–71, 73–75; 2005, с. 149–158; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 139–150).

В систему «кочевых империй» были включены общества с неодинаковыми территориально-этническими границами, с различным соотношением «кочевого» и «оседлого», с отличными принципами организации власти и ролью лидеров (Тюркские, Тюргешский, Караханидский, Кимакский каганаты, «кыпчакская степь», татары Центральной Азии и болгары европейских степей) (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 8–66; 2005, с. 60–148). Очевидно, что не ко всем из них применим термин «империя». Отчасти недостатки данного подхода компенсировались обозначенными различиями между кочевыми государствами Центральной и Средней Азии. В Средней Азии, по словам ученых, существовала более тесная связь кочевников с земледельцами, что обусловило более сложный вид социальной структуры. Сравнивая Восточнотюркский и Западнотюркский каганаты, они отметили, что последний «с большим правом можно считать государством со сравнительно развитыми феодальными отношениями» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 24). В одной из последних публикаций С.Г. Кляшторный выделил два типа: архаичную кочевую империю и варварское государство с перспективой трансформации в раннесредневековое образование (Кляшторный С.Г., 2001а, с. 81, 82, 83; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 80, 82; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 87, 89). Эти типы политических объединений, предложенные С.Г. Кляшторным, в какой-то мере описывали в одном случае крупные кочевые политии, в другом – более консолидированные и иерархичные кочевые общества, как правило, с включением территорий с оседлым земледельческим и городским населением. Но все другие политические формы кочевых сообществ в эту типологию не вписывались.

В монографии «История Центральной Азии и памятники рунического письма» С.Г. Кляшторным (2003, с. 490–491) был представлен несколько иной ракурс: Тюркский каганат (империя) рассматривается им как цивилизация, главным признаком которой он называет «развитую письменность и запечатленную в этой письменности историческую память».

Исходя из представлений о древнетюркском универсуме, который С.Г. Кляшторный распространяет на всех тюркоязычных кочевников раннего средневековья, он рисует в историко-антропологическом духе образ каганов. По его мнению, власть кагана являлась проявлением божественной воли. Более того, в эпоху Тюркского каганата возникает «политизированный общеимперский культ каганской четы», «рожденной на Небе и поставленной Небом, культ кагана и катун, ... ставшими земной ипостасью четы небесной – Тенгри и Умай, покровительствующей династии». С этим автор связывал и возникновение храмов, посвященных выдающимся каганам, и проведение с участием правящих каганов ежегодных ритуальных процедур и жертвоприношений (Кляшторный С.Г., 2001в, с. 147; 2003, с. 496; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 172).

Идейные установки, пронизывающие текст Бильге-кагана и Кюль-тегина, как полагает исследователь, отражают «сущность идеологии аристократической верхушки Тюркского каганата», главный лейтмотив которой – «требование абсолютной покорности народа кагану и бегам» как необходимое условие существования «вечного эля» – социального идеала. Исследователь подчеркивает, что в ментальных традициях кочевников благополучие тюркского народа являлось результатом покорности кагану и заботы кагана об общем благе. С сакральным образом каганов тесно была связана идея вечного эля, божественного эля, которую С.Г. Кляшторный связывал с имперской идеей. Ради «тюркского эля» каган должен «приобретать», т.е. предпринимать победоносные походы, захватывать добычу и собирать дань с покоренных племен, чтобы затем награждать народ. Ради «народа тюрков» он готов «не спать ночей и не сидеть (без дела) днем». Соответственно этому гибель кагана либо измена народа и бегот служили причиной падения тюркского эля (Кляшторный С.Г., 2003, с. 62–63, 81, 243–245, 491; 2004, с. 100–103). Ученый прослеживает прямую взаимосвязь между деятельной персоной кагана и благополучием кочевников. Это наглядно подтверждает одна из фраз древнетюркских надписей: «Если бы у народа, имеющего кагана, тот оказался бездельником, то горе было бы у того народа» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 494).

С.Г. Кляшторный полагает, что военные и дипломатические прерогативы кагана абсолютны. Однако при этом он фиксирует в надписях постоянные действия кагана, которые «определяют его место в системе управления: каган поселяет и переселяет побежденные племена; расселяет тюрков на завоеванные земли; собирает, расселяет и «устраивает» тюрков в «стране Отюкен»; передает на определенных условиях часть племенных земель каким-либо группам мигрантов. В целом главную функцию кагана ученый видит в «собрании» и «устроении» народа «на подвластных кагану земле, т.е. создание политической организации, системы подчинения» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 243–244; 2004, с. 101). Парадигму власти, которую должен был почитать и каган, выражает, по словам исследователя, триада «бодун–эль–тёрю («народ–государство–закон»)» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 492).

Также С.Г. Кляшторный отмечает присутствие в надписях двух контрастных противопоставляемых образов каганов. Идеальный правитель, как правило, характеризуется как мудрый и смелый (таковы, например, оценки Бумыня, Истеми, Ильтериша). Контрхарактеристика включает отрицательные эпитеты «неразумный» и «трусливый». Однако имеется и весьма неоднозначное описание действий Капаган-кагана. С.Г. Кляшторный указывает, что, наряду с перечислением заслуг, в надписи Бильге-кагана прослеживается намек «на политическую неполноценность» Капагана. В этой связи ученый обращает внимание на отсутствие в надписях указания об избрании Капагана Небом («сел на царство» без божественной санкции), на фразу текста в честь Кюль-тегина о «порче» кагана и т.д. (Кляшторный С.Г., 2003, с. 244–245; 2004, с. 102–103). Также и в уйгурских надписях возвеличивались те, кто возглавлял племена и создавал эль – кочевую империю, и осуждались те, кто разрушал эль в междоусобицах и межплеменных войнах (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 66–67).

Сходную с концепцией С.Г. Кляшторного об общности общественно-политических институтов у кочевников Центральной Азии точку зрения выдвинул Д.Г. Савинов. По его мнению, с хуннского времени начала складываться специфическая социально-политическая система, присущая кочевым государствам «древнетюркского времени», особенностью которой было существование этноса-элиты. Другие племена, инкорпорированные в состав этносоциального объединения, по отношению к этносу-элите занимали вассальное положение, и тем самым социальное неравенство выносилось за пределы привилегированной этнической группы (именно в таком смысле трактовал Д.Г. Савинов предложенный Н.Н. Крадиным термин «экзополитарный»). Как считал археолог, такая организация социально-этнического подчинения подвижна и ее участники могут меняться местами с появлением новой, более сильной правящей династии. Проявлением этносоциального неравенства была ранжированная культура, отличная от традиционной. Предметный комплекс ранжированной культуры – поясные наборы, предметы декоративного убранства, украшения – так или иначе связан с положением лиц, обладавших определенным социальным статусом, и отражает господствующую «моду» или традицию этноса-элиты, которая проникала и быстро распространялась у зависимых обществ (Савинов Д.Г., 1994, с. 5; 1995, с. 159–160; 2005, с. 32–33; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 83–87, 2005, с. 216–217).

Детализируя свою теорию, Д.Г. Савинов указывает, что «в основе системы социально-этнического подчинения лежит теория хозяйственно-культурных типов». Чистые кочевники доминируют над народами, обитавшими в иных экологических условиях. Применительно к Тюркским каганатам в таком зависимом качестве выступали кыргызы, байырку, алаты и пр., являвшиеся «обществами-реципиентами» для этноса-элиты («культурно-исторического центра»). Характерными чертами системы социально-этнического подчинения Д.Г. Савинов (2005, с. 32) называет: 1) присоединение различных в хозяйственном отношении районов, благодаря чему на внутренний рынок поступали продукты земледелия и собирательства, рудные запасы, изделия местных промыслов, пушнина, т.е. все то, что отсутствовало в природно-хозяйственном потенциале этноса-элиты; 2) использование природных ресурсов различных культурно-хозяйственных районов в торговых целях – на внешний рынок поступали пушнина, мамонтовая кость, драгоценные металлы, поделочные камни, мускус и другие товары, чем обеспечивалась экономическая целостность самого государства; 3) привлечение иноплеменников для военных действий, различного рода общественных и домашних работ, совершения ритуальных жертвоприношений. Подобные системы социально-этнического подчинения с сочетанием разных хозяйственно-культурных типов ученый фиксирует также у уйгуров, кыргызов, в кимако-кыпчакской конфедерации, в раннемонгольское время (Савинов Д.Г., 2005, с. 36–40).

Рассуждая о роли системы социально-этнического подчинения, ученый пишет, что она представляла собой «своеобразный «стержень» социальной организации скотоводческих обществ» Цен-

тральной Азии. В этой ситуации этнос-элита направлял свои усилия на создание и сохранение политического государственного образования с целью использования экономического потенциала подчиненных областей. В свою очередь зависимые племена, по словам исследователя, «особенно относящиеся к тому же (или близкому) хозяйственно-культурному типу, что и этнос-элита», стремились к выходу из-под протектората доминирующей кочевой группы и создать свое государство (Савинов Д.Г., 2005, с. 40).

Таким образом, в основе концепции Д.Г. Савинова лежала убежденность в государственном характере раннесредневековых кочевых объединений Центральной Азии и Саяно-Алтая. В частности, он неоднократно называл государствами Тюркские (Древнетюркские), Уйгурский, Кыргызский и Кимакский каганаты, а также такие объединения, как Сеяньто, Кидани и др. (Савинов Д.Г., 1994, с. 4–6, 24, 26–31, 35–38, 47–52, 65–76; 2005, с. 36, 40–42; 2006, с. 44; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 183, 216–217, 234, 246–247, 254–257, 264, 276–280, 283).

Вопросы социально-политического устройства Первого и Второго тюркских канатов нашли отражение в монографии В.Е. Войтова «Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культовопоминальных памятниках Монголии VI–VIII вв.» (1996). Исследователь в ряде случаев рассматривает данные каганаты как «военно-политические образования», «конфедерация племен» (Войтов В.Е., 1996, с. 7). Но одновременно с этим в монографии звучат термины «государство», «военно-административные уровни», «государственная власть», «государственные образования военно-феодалного типа с господствующим кочевым укладом» и т.д. (Войтов В.Е., 1996, с. 7, 9, 23, 67, 68, 71, 74, 99, 101, 120). По всей видимости, сам характер изучаемых ученым археологических и эпиграфических объектов (стелы с надписями, храмовые комплексы, изваяния, ограды и пр.) наводил его на мысль о государственном характере политической организации каганатов. В данном случае структурная организация власти и ее функции подробно не анализировались и имели второстепенное значение.

Исследование поминальных памятников тюркской знати и религиозных представлений тюрков позволило В.Е. Войтову сделать ряд наблюдений. Во-первых, он полагал, что участки земли, на которых были расположены поминально-мемориальные комплексы, являлись в прошлом центром пастбищных угодий, закрепленных за определенными группами. Такими земельно-пастбищными участками в древнетюркское время, как считает В.Е. Войтов, владели не только каганы, политико-административное влияние которых распространялось на земли всего государства, но и отдельные семьи и роды в соответствии с их племенной принадлежностью. Тем самым возникала «социальная привязка» поминальных памятников, а их деление на «рядовые» и «княжеские» подтверждало, по словам автора, сведения письменных источников «о глубоком социальном неравенстве» в древнетюркском обществе. В соответствии с этими оценками исследователь видит в основе различий поминальных комплексов сословные признаки (Войтов В.Е., 1996, с. 8–9, 23, 25).

Во-вторых, различные группы поминальных сооружений, согласно точке зрения В.Е. Войтова, являются «отражением сложной социально-ранговой иерархии в среде древнетюркской кочевой аристократии». Исследователь уверен, что «каганско-княжеские памятники» каждого конкретного типа, подтипа и варианта, которые он выделяет в своей книге, связаны с лицами, выполнявшими определенные должностные обязанности «в аппарате государственной власти». В связи с этим поминальные ансамбли могут служить источником для реконструкции «военно-административного устройства в каганатах тюрков и уйгуров». Автор сам делает набросок подобной реконструкции. Так, он отмечает, что только в поминальных ансамблях каганов на стелах имелось «драконовое навершие». Другим сановникам оно не полагалось. В.Е. Войтов также выявил, что только у каганов и самых высоких должностных лиц, таких как ябгу и шады, стелы устанавливались на подставках в виде черепашек, в то время как стелы «военачальников, не принадлежавших к правящему роду», располагались на простых каменных постаментах. В честь остальных военных и «приказных» чинов, как пишет ученый, возводились поминальные памятники определенных размеров, форм, состава структурных элементов, но без стел (Войтов В.Е., 1996, с. 67).

В-третьих, анализ модели мироздания раннесредневековых кочевников Центральной Азии позволил В.Е. Войтову охарактеризовать представления о сакральной власти каганов, выявить роль и место поминальных ансамблей в религиозной доктрине тюркоязычных номадов в целом. Идея сакрализации власти кагана, тесное переплетение представлений номадов о правителе с религиозными установками наглядно реализовывалась в поминальных комплексах. Так, стелы с изображением дракона вверху и подставкой в виде черепахи символизировали одновременно и власть кагана, и

мифологический Мировой столп, а центральная площадка со статуями каганско-княжеского комплекса представляла собой «замкнутое сакральное пространство», символизирующее Срединный мир (т.е. мир людей) в его многообразных проявлениях. Образ дракона, в подражание китайским традициям, напрямую ассоциировался с верховной властью (Войтов В.Е., 1996, с. 101, 103, 111). Ученый также отмечает важную культовую роль каганов. Например, в период существования Первого тюркского каганата его каганы в бассейне р. Тамира каждую весну совершали жертвоприношения Тенгри (Войтов В.Е., 1996, с. 74).

Сакрализация кочевых правителей в Центральной Азии в раннесредневековый период стала темой специальной статьи П.К. Дашковского. Предварительная проработка проблемы сакрализации власти позволила ученому показать, что деятельность правителя воспринималась населением через определенную систему символов (предметы, связанные с выполнением властных функций, погребально-поминальные комплексы, выступавшие символом былого могущества), а сам он был олицетворением единства социума. Поэтому смерть правителя символизировала наступление хаоса и мрака, разрушала былую гармонию кочевого общества (Дашковский П.К., 2005а, с. 63).

Сакральное отношение к верховным правителям у кочевников, нашедшее отражение в археологических памятниках, прослеживается, по словам исследователя, еще с эпохи раннего железа. Большое влияние на раннесредневековые кочевые общества оказывала хуннская традиция, начиная с которой сакрализация стала охватывать не только отдельных правителей, а фактически весь правящий клан (культ Ашина, миф о происхождении этой династии). Внимание П.К. Дашковского также привлекли представления о небесном происхождении каганов и их посреднической роли между «сынами человеческими» и Небом (Тенгри). Такая ментальная установка расширяла религиозно-медитативные полномочия правителя. Таким образом, как считает ученый, каган выступал как символ религиозного и политического единства, а его имя становилось эпонимом и синонимом всей империи. Это, по мнению П.К. Дашковского, в свою очередь налагало на правителя обязательство следить за благополучием всего народа. В целом автор связывает появление политической мифологии и символики с процессами становления, как он считает, государства (Дашковский П.К., 2005а, с. 64–65).

Рассматривая очерки и монографии, посвященные социально-политическому и культурному развитию Тюркских каганатов и других политических образований номадов, остановимся на работах Г. Файзрахманова и Р.Т. Ганиева. Оба автора выступают как сторонники существования государственности у кочевников в раннее средневековье (Файзрахманов Г., 2000, с. 3–5, 91–93, 100–101, 102–105, 129–130, 138–140, 162–166; Ганиев Р.Т., 2006, с. 3–5, 29, 34, 39, 40, 46–47, 48, 52, 66, 69, 73; 2008, с. 427, 429, 431, 433, 436). Более того, государственность у кочевников Центральной Азии, по их мнению, имеет единую линию развития и непосредственной преемственности власти одних кочевых объединений от других. Так, Р.Т. Ганиев (2006, с. 34; 2008, с. 429) видит в Восточно-тюркском каганате «закономерное историческое развитие предыдущих степных государств», особенно империи Хунну.

Г. Файзрахманов, к сожалению, не указывает, что он понимает под государством, и даже не приводит никаких аргументов в пользу наличия государства у тюрков, уйгуров, кыргызов, кимаков и др. Государственная характеристика этих кочевых образований Центральной Азии для него является априорной. Лишь описывая политическую иерархию в каганате, Г. Файзрахманов (2000, с. 102–104) указывает на существование должностных для сбора налогов и на сборы бегами для «государственной казны» натуральной дани со своих родов. Социальные процессы также описываются весьма «широкими мазками». Г. Файзрахманов считает, что с объединением Китая династией Суй развернулась политика подкупа тюркской знати и «родовая знать – символ естественной демократии тюрков – превратилась в ненавистную аристократию». Подкупленные беги ослабляли государство. Именно по этой причине, как утверждает автор, произошло признание каганом Шаболио даннической зависимости от Суй. В целом Г. Файзрахманову (2000, с. 99) присущи довольно поверхностные оценки. Он, в частности, полагает, что за 50 лет подчинения тюрков китайцам их родовой строй был сменен «феодальными порядками». Еще больше удивляет сопоставление этим автором тюркского общества с афинским обществом. Он считает, что тюркский эль объединял всех свободных: от бегов до рядовых кочевников – и тем самым эль можно охарактеризовать как «государство народа с четкими обязанностями и правами каждого, кроме раба». Это позволило Г. Файзрахманову (2000, с. 103) заключить, что «тюркское государство несло в себе черты афинского государства», с той

лишь разницей, что вместо рабовладения у тюрков сложилась «ранняя форма... примитивных феодальных отношений с сохранением патриархального рабства».

Несколько более содержательной в этом отношении является монография Р.Т. Ганиева «Восточно-тюркское государство в VI–VIII вв.», а также его статья «Восточно-тюркское государство в Южной Сибири и Центральной Азии во второй половине VI – первой половине VIII в.». Характеризуя каганат как государство, Р.Т. Ганиев исходит, как он пишет, из «современного понятия государства», но само это определение берет из статьи «Государство» в «Большой советской энциклопедии» 1974 г. (!!!). Более того, обозначенные в БСЭ признаки государственности он так и не сопоставил с реалиями институтов власти у тюрков, ограничившись в параграфе «Политическая структура» рассмотрением сакральной роли кагана, его харизмы, обряда интронизации и кратким анализом иерархии «должностных лиц», упоминаемых в источниках (Ганиев Р.Т., 2006, с. 52, 60–73).

Возвращаясь в конце главы «Социально-политическая организация Восточно-тюркского государства» к вопросу о наличии государственности у тюрков, исследователь уже без всяких аргументов пишет и о государственном аппарате, и о государственном праве, а также казне, налогообложении и пр. При этом Р.Т. Ганиев забывает, что речь в большей степени должна идти о гражданской бюрократии, а не об иерархии военачальников, преобладавшей у тюрков. Наследственный характер «должностей» указывает на тесную их связь с кланово-племенной системой. Поэтому говорить о профессиональной (т.е. отделенной от выполнения других полномочий) бюрократии государственного характера крайне сложно. Чтобы признать право признаком государства, необходимо доказать, что у тюрков было именно письменное, созданное государственными органами право, а не традиционные обычно-правовые нормы, скорее всего существовавшие у тюрков. А такой признак, как наличие территории, не может сегодня рассматриваться как исключительная прерогатива государства. Встает и ряд других вопросов. Велся ли постоянный учет добычи и поступлений от земледельцев, а также рачительное расходование этих ресурсов? Вероятнее всего, нет! В этой ситуации говорить о казне, налогах (их сбор осуществлялся только на захваченных номадами территориях с оседлым населением) вряд ли приходится.

Социальная организация каганата также характеризуется весьма противоречиво. Исследователь то исходит из представлений об отсутствии классов у тюрков и актуальности применения теории социальной стратификации, то пишет о сословном характере тюркского общества (Ганиев Р.Т., 2006, с. 73–81). Необоснованность и даже абсурдность некоторых положений Р.Т. Ганиева (2006, с. 90) наглядно демонстрирует его утверждение о схожести тюркского и современного общества. К подобного рода «научным утверждениям» можно отнести и мнение данного автора о том, что Восточно-тюркский каганат после 630 г. и вплоть до 679 г. сохранил свою независимость, «выступая как единая политическая сила, а также в роли своеобразного конкурента Китая» (Ганиев Р.Т., 2006, с. 119; 2008, с. 434).

В целом исследования Г. Файзрахманова и Р.Т. Ганиева отличаются низким уровнем проработки вопросов социально-политической организации раннесредневековых номадов и соответственно довольно поверхностными оценками политических и социальных институтов у кочевников.

Цикл статей И.Л. Кызласова (1996; 1998а–б; 1999), опубликованных в «Российской археологии» в 1996–1999 гг., охватывал разные аспекты истории тюрков раннего средневековья: организация армии, письменность, образование. В первой статье «Древнейшие свидетельства об армии» (материалы к ранней истории тюрков) исследователь, основываясь на лингвистическом анализе ранних тюркских понятий, наряду с весьма спорной мыслью о том, что первоначально армия тюрков состояла только из пехотинцев-копейщиков (Кызласов И.Л., 1996, с. 76–77), анализирует состав понятия *budun* и высказывает ряд ценных интерпретаций социального порядка. Так, И.Л. Кызласов обращается к понятию *er*. Как и С.Г. Кляшторный, он видит в нем отражение определенного социального статуса. Ученый полагает, что переводы данного понятия рунических надписей как «мое имя эра», «мое мужское имя», «мое взрослое имя» правильны (смену имени при достижении юношами взрослого состояния исследователь рассматривает как характерную черту общественной жизни тюрков), но не совсем точны по своей сути. Здесь он прежде всего указывает на связь нового имени не с биологическим возмужанием, а с социальной зрелостью. Не случайно, что вместе с мужским именем *er* «получал право на личный гербовый знак и собственную пиршественную чашу, т.е. допускался в мужской круг со всеми его особыми сначала общинными, а позднее дружинными обычаями» (Кызласов И.Л., 1996, с. 83).

Енисейские эпитафии дали основание ученому обратить внимание и на главный «признак» в ментальных представлениях тюркоязычного населения мужчины-эра – доблесть. В связи с этим И.Л. Кызласов считает более верным перевод понятия *er*, сделанное В.В. Радловым и С.Е. Маловым, – «мое геройское имя». Другой сюжет статьи – ранжирование в тюркской войске и дружине – также весьма интересен. И.Л. Кызласов обращает внимание на сочетание значений слова *oylan*: «мальчик», «сын», «воин». Такое сочетание позволяет ему видеть в *oylan* древнетюркских надписей не все войско, «а ту его часть, которая состоит из витязей младшего, последующего поколения». Это мнение подтверждается и тем, что в памятниках письменности тюрков встречается словосочетание *er oylan* (так сказать, «молодые мужи»). Таким образом, И.Л. Кызласову (1996, с. 84) удалось установить членение древнетюркской армии и мужского сообщества (эров) на поколения.

Еще один аспект – «товарищество» в военизированной среде тюрков. По существу ученый обращается к изучению горизонтальных связей среди эров и морально-этических установок в кругу тюркских воинов. В надписях подчеркивается отношение к ним («добрые товарищи»), их нахождение рядом с героем эпитафий (буквально плечом к плечу) в момент сражений, их верность товарищам наряду с верностью хану. Среди других формулировок в отношении товарищей (*qadaş, adaş, eş*) – славный, знатный, мудрый. Но в текстах эти понятия обязательно связаны с ратным делом. Исходным значением слова *qadaş* И.Л. Кызласов считает понятия «родич», «родственник», «родной». Это, по его мнению, восходит к древнему значению, когда в окружении эра были кровные родственники. Но в эпоху каганатов семантика слова *qadaş* близка к древнерусскому понятию «дружина» (Кызласов И.Л., 1996, с. 84–86).

Взаимосвязь рассмотренных проблем социальной истории тюрков, позволила И.Л. Кызласову перейти к характеристике слова *budun (bodun)*. На многочисленных примерах из тюркских и уйгурских надписей он показывает, что чаще всего данное понятие обозначает войско (а не только народ в целом, как принято переводить *budun*). Также древним значением этого слова было обозначение коллектива родственников (клан, род, племя). Совмещение нескольких смыслов («войско», «народ», «клан», «племя») позволило исследователю обоснованно высказать мысль о том, что понятие *budun (bodun)* первоначально обозначало «только мужскую часть рода-племени». *Bodun*, таким образом, состоял из полноправных мужчин, эров. И.Л. Кызласов также прослеживает связь между *bodun* и *beg*. Каждый *bodun* возглавлял свой *beg*. Как пишет автор, «в этом кроется природа княжеских высказываний надписей «мой бодун», а также происходит постепенное формирование для *bodun* значения «подданный» (Кызласов И.Л., 1996, с. 86–88).

В другой статье исследователь, опираясь на анализ имен и титулов лиц, оставивших енисейские надписи, отмечает грамотность аристократии и рядового населения тюркского времени (Кызласов И.Л., 1999, с. 100–102). Но при этом он подчеркивает, что рядовые кочевники, как правило, не оставляли больших надписей, ограничиваясь указанием имени либо начертанием на скалах (*er*) – полноправный мужчина и даже «личными гербовыми знаками». Ревностные сторонники манихейства, по наблюдениям И.Л. Кызласова, вообще не указывали своих имен и ограничивались самоуничижительными религиозными формулами («недостойный», «презренный» и т.д.). Знать же, наоборот, всегда подчеркивала в надписях свои титулы и звания и в ряде текстов титулы по пышности «не имели равных даже на каганских рунических стелах тюрков и уйгуров VIII в.». Причем титулование касалось и знатных дам. На этом основании ученый заключает, что «осознание аристократизма являлось характерной чертой раннесредневековых тюркских народов и принадлежность к знати обозначалась обязательно (Кызласов И.Л., 1999, с. 102). Эти различия также подчеркивала этимология имен аристократов, связанных с образами сильных, опасных и хищных животных: барс, лев, волк и т.д. (Кызласов И.Л., 1999, с. 103).

И.Л. Кызласов также убедительно показывает, что авторы больших надписей в честь каганов и наиболее видных деятелей Второго Тюркского и Уйгурского каганатов были профессиональными составителями текстов, от которых требовалась не только образованность, но и знание истории, композиционного и художественного построения надписей. По его мнению, можно говорить о специальной группе людей, которые выступали как воспеватели «вечной славы» правителей и героев тюркского общества (Кызласов И.Л., 1999, с. 104–106). Уцелевшие на скалах надписи черной и красной тушью, как полагает ученый, указывают на применение «специальных писчих приборов, кисти и тростникового пера», а разнообразие жанров орхонских текстов в Восточном Туркестане (манихейские церковные гимны, религиозно-философская и «естественно-научная» литература, учебные, обыденные и регистрационные записи, письма, гадания и т.д.) позволяет говорить не толь-

ко о высокой образованности аристократов из окружения каганов, но и об оформлении «в ранне-средневековых тюркоязычных обществах Южной Сибири и Центральной Азии особого профессионального сословия», которое «в стремлении познать истину в книжной премудрости и образованности» видело свое призвание (Кызласов И.Л., 1999, с. 107–108, 114–115). Эти наблюдения И.Л. Кызласова подчеркивают более сложный характер кочевых обществ раннего средневековья в целом и социальных практик в нем, а также различие ментальных установок аристократической элиты и рядового кочевого населения. Важный вопрос, на котором автор заострил внимание, – существование особого, как он предполагает жреческого, профессионального сословия, обучавшего грамоте. Причем, как неоднократно подчеркивал И.Л. Кызласов (1999, с. 115), «письменность не была отгорожена от общества какими-либо формальными ограничениями, узкой корпоративной организацией образованной феодальной верхушки и духовенства».

И.Л. Кызласову принадлежит еще один ракурс оценки роли письменности в жизни центральноазиатских кочевников периода раннего средневековья. Согласно его точке зрения, обращение элиты Второго Восточнотюркского каганата «к руническому письму для создания официальных эпитафийных памятников, по статусу и назначению приравненных к имперским памятным стелам Китая, показывает намеренное выдвигание древней письменности в символы нового государства». Письменность, по словам ученого, демонстрировала также и государственную преемственность (например, Уйгурский каганат сохранил орхонские письменные традиции от Второго Восточнотюркского каганата). Он также подчеркивает, что существование в раннесредневековых тюркоязычных обществах «глубоких знаний своей истории» и поддержание в кочевых обществах «условий для сохранения древней письменности в длительный период утраты ею официального статуса» было возможно «лишь при существовании жречества – хранителей вековых, освященных духовных истин и письмен, их выражавших» (Кызласов И.Л., 2004а, с. 19).

Еще в одной публикации И.Л. Кызласов высказался в том смысле, что палеографические особенности надписей в Центральной Азии и сопредельных территориях позволяют говорить не об этнической, а о «государственной принадлежности как енисейского, так и орхонского письма. Первым официально пользовались только Древнехакасское государство и зависимые от него земли, вторым – только Второй Восточнотюркский и Уйгурский каганаты» (Кызласов И.Л., 2005, с. 438). В целом И.Л. Кызласов (1990, 1994, 1998а–б, 1999, 2001–2005) наиболее последовательно отстаивает мнение о том, что наличие письменности на территории Монголии, Тувы, Хакасии, Алтая и других регионов является непосредственным свидетельством государственного статуса раннесредневековых образований кочевников в Центральной Азии.

В центре внимания конца 1990-х – начала 2000-х гг., в том числе Ю.С. Худякова, вновь оказался Кыргызский каганат, разные стороны его исторического развития, в том числе его социально-экономическая и политическая организация (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 1997; Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С., 2000; Худяков Ю.С., 2003, 2003а–б, 2007). Довольно обстоятельно Ю.С. Худяков (2003б, с. 142) проанализировал особенности политического устройства и этносоциальной иерархии в Кыргызском каганате в IX–X вв. – «в период наибольших военных успехов и политического могущества кыргызского государства, когда кыргызы смогли подчинить многочисленные кочевые племена Центральной Азии и установить дипломатические и торговые отношения с Китаем, Тибетом и государством карлуков в Средней Азии».

Ученый считал, что «возвышение кыргызского государства в IX в. было основано на укреплении центральной власти и создании централизованной военно-административной системы деления войска и народа по десятичному принципу». Все взрослое мужское население было распределено по военно-административным единицам. Наиболее боеспособная часть войска насчитывала три тумена, сформированных собственно из кыргызов, и 7–8 туменов из числа вассальных племен (Худяков Ю.С., 2003б, с. 142).

Во главе военно-административного аппарата стоял каган, власть которого передавалась по наследству, а высшие должности в армии и государстве занимали ближайшие родственники кагана. Так, исследователь указывает, что три наивысшие должности «великих командующих» Хэсибэй, Ацзюйшэбибэй и Амибэй (управляли государственными делами и трех туменов кыргызов) занимали сыновья или братья кагана. Каждый «великий командующий» возглавлял еще и одно из крыльев возглавляемого им тумена, во главе второго крыла стояли «главноначальствующие». Командиры туменов, составленных из вассальных поколений, в китайских хрониках названы «министрами», в полутуменов – «управителями». Ю.С. Худяков (2003б, с. 142) полагал, что «министрами» могли

быть родовые аристократы, беги, а «главнокомандующими» и «управителями» – представители кыргызской родовой и военно-служилой знати, выдвинувшейся благодаря своим воинским заслугам.

Создание централизованной военно-административной системы деления войска позволило «мобилизовать все людские ресурсы» для военных побед, усилить контроль за кыштымами и превратило кыргызов «в высшее сословие в этносоциальной иерархии в Кыргызском каганате» (Худяков Ю.С., 2003б, с. 142). Тюркоязычные кочевники кыргызы, населявшие степные районы Минусинской котловины, господствовали над вассальными этническими группами таежных охотничьих племен – «кыштымов». Автор отмечает, что «реальное положение кыштымов в кыргызском обществе было различным». Тех, кого кыргызы «ловили и употребляли в работу», Ю.С. Худяков считал патриархальными рабами, находившимися в личной зависимости «от своих кыргызских хозяев» и трудившихся «в хозяйствах кыргызской знати». Их число исследователь оценивал как «небольшое». Большинство же кыштымов, как он полагает, относились «к таежным охотничьим племенам». Они «имели свою собственную родоплеменную структуру, внутреннюю социальную иерархию и систему власти. Во главе этих племен стояли старейшины, имелась своя родовая знать». Кыргызскому кагану и бегам они платили дань (ясак) пушниной, «собоями и белкой», а также изделиями кузнечного ремесла. Из кыштымов формировались вспомогательные отряды легковооруженной конницы. Знать и наиболее выдающиеся воины из кыштымов «могли рассчитывать не только на часть военной добычи и улучшение своего имущественного положения, но и на повышение социального статуса за счет продвижения по службе в рамках военно-административной системы». Этот фактор ученый считал для кыштымов «важным стимулом», чтобы принимать участие в войне в составе кыргызских войск против уйгуров и других противников (Худяков Ю.С., 2003, с. 114; 2003б, с. 143).

Смысл военных действий кыргызов против уйгуров Ю.С. Худяков видел «не только в стремлении к достижению независимости от Уйгурского каганата», но и к вытеснению уйгуров из разряда господствующего сословия в этносоциальной иерархии кочевников в Центральной Азии и попытке самим занять положение ведущего этноса. Именно поэтому, по мнению исследователя, «кыргызы пытались не просто разгромить уйгурские войска, сжечь города и крепости, уничтожить правящий уйгурский род Яглакар, символы и атрибуты уйгурской государственности», но и в то же время «удержать под своей властью телесские кочевые племена». Однако уйгуры после поражения предпочли уйти к танской границе, мигрировали в земли кимаков на Иртыше и шивейцев в Маньчжурии, образовали уйгурские княжества в Приальшанье в Восточном Туркестане. В ответ кыргызские каганы, «не желая упустить своих потенциальных подданных, посылали войска против уйгуров и телецев, что привело к продолжению войны до начала X в. (Худяков Ю.С., 2003б, с. 142).

Завоевание степей Центральной Азии и подчинение местных кочевников, как пишет ученый, «сделало Кыргызский каганат еще более полиэтничным государством» и «значительно» усложнило структуру этнополитической иерархии. Ведущий этнос – кыргызы – для сохранения своего господствующего положения опирался на военные силы своих союзников. Такими союзниками Ю.С. Худяков считал древних тюрков, живших в Минусинской котловине, часть уйгуров во главе с полководцем Гюйлу Мохэ, перешедшим на сторону кыргызов, и племена бома в лесостепной зоне Средней Сибири, покоренные кыргызами в начале IX в. С помощью бома кыргызы пытались захватить степной Алтай, но были остановлены войсками Кимакского каганата (Худяков Ю.С., 2003б, с. 143–144).

В Монголии кыргызы первоначально разрушили и сожгли уйгурскую столицу Орду-Балык, а также разорили «окрестный оседло-земледельческий район». Но потом высшие слои кыргызского общества, нуждавшиеся в продуктах ремесла и земледелия, поощряли развитие торговли, ремесла и земледелия, строительство крепостей и городов, пытались идеологически объединить разноплеменное население за счет распространения одной из мировых религий. Для строительства крепостных сооружений из сырцового кирпича на территории Минусинской котловины правители кыргызов привлекли согдийских мастеров из Средней Азии. Эти крепости служили ставками для кыргызских каганов. Образование стационарных поселений способствовало процессам седентаризации части кыргызского кочевого населения, развитию земледелия, ремесла и торговли с Китаем, Тибетом и государствами Средней Азии. Эти меры со стороны каганов преследовали фискальные и экономические цели (отсюда стремление к увеличению численности оседлого податного населения). Из Китая было завезено большое количество орудий для обработки земли и китайских монет для денежного обращения. Значительного уровня в этот период достигло развитие кузнечного, бронзолитейного и ювелирного ремесла. В Саяно-Алтай увеличился поток импортных предметов, дорогого парадного

оружия, пиршественной посуды из драгоценных металлов, шелковых тканей, разнообразных украшений (Худяков Ю.С., 2003б, с. 144).

Кыргызы также заняли несколько крупных городов в Притяньшанье: Аксу, Бешбалык, Пенчул и доходили до Кашгара. Но их подчинение носило непродолжительный характер. Эти города не стали политическими и экономическими центрами кыргызской государственности на Тянь-Шане (Худяков Ю.С., 2003б, с. 144). Кыргызская знать проявляла интерес к мировым религиям – буддизму, манихейству и несторианству, посылая учиться своих людей в религиозные центры, разрешая заниматься распространением религиозных вероучений среди подвластного кочевого населения Центральной Азии (Худяков Ю.С., 2003б, с. 144). Главную особенность «государственности, иерархичности и роли оседлого населения в Кыргызском каганате» Ю.С. Худяков (2003б, с. 144–145) связывал с расположением его политического центра на северной окраине кочевого мира и необходимостью поддерживать сложившуюся систему этносоциальной иерархии, торговые и культурные связи со странами «оседло-земледельческой цивилизации».

Ю.С. Худяков предполагает, что «централизованная военно-административная система деления войска и народа» у кыргызов просуществовала до завоевания в первой четверти X в. степей Центральной Азии киданями. Это привело к распаду каганата на отдельные княжества, сокращению численности войск и ресурсов (Худяков Ю.С., 2003б, с. 143, 145). Этот более подробно рассмотренный пример оценки политических институтов кочевников Ю.С. Худяковым является весьма показательным для данного исследователя. Он исходит из позиции признания широкого распространения государственности у кочевников Центральной Азии и рассматривает как государственную политическую организацию Первого Тюркского каганата, Восточно-тюркского и Западно-тюркского каганатов, объединений тюркшей, карлуков, басмылов, уйгуров и др. (Худяков Ю.С., 2005а, с. 363; Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002, с. 5). В целом Ю.С. Худяков в последние 15–20 лет внес важный вклад в изучение социальных и политических институтов кочевников Центральной Азии.

Внимание отечественных исследователей привлекала и империя Ляо, интерес к которой значительно вырос в последнее время. К разным аспектам социально-политической истории Ляо обращались Г.Г. Пиков (1994, 2000, 2002 и др.), Н.Н. Крадин (2002, 2002г, 2006а, 2007, с. 174–194 и др.), С.В. Данилов (2004, с. 67–72, 153–154), А.В. Даньшин (2006) и др. Наиболее обстоятельный очерк политической организации и ее эволюции в X–XI вв. принадлежит Г.Г. Пикову. В его трактовке империя Ляо представляла собой сложную социально-политическую систему – результат трансформации племенного союза в комплексное земледельческо-скотоводческое государство (характеристику Ляо Г.Г. Пиковым как имперской системы см. в разделе 3.3). Киданьское государство включало обширные районы Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. Основатель империи Елюй Абаоцзы «объединил все тридцать шесть иноземных народов» (Пиков Г.Г., 2000, с. 51). Дальнейшие военно-политические успехи киданей привели к образованию полиэтничной политики на северо-востоке Китая, включавшей регионы как с кочевым, так и с оседлым населением.

Структура политического аппарата Ляо была существенно сложнее типичных властных иерархий кочевых объединений. Г.Г. Пиков полагает, что движение киданей к «универсальной кочевой форме» началось задолго до событий X в.: борьба между вождями киданей за главенство способствовала в конечном итоге надплеменной интеграции, а поражение уйгуров в 840 г. создавало военно-политические предпосылки для активной завоевательной политики на востоке Центральной Азии. Приход в 907 г. рода Ила (Елюй) и последовавшие преобразования Абаоцзи и Дэгуана исследователь по своим последствиям сравнивает с переворотом Пипина Короткого во франкском государстве, одним из следствий которого стало образование империи Каролингов. Аналогичную историческую перспективу реализовали и кидани. Путь к империи, как отмечает ученый, был сложным. Действия правителей из рода Елюй вызывали мятежи родовой знати и даже близких родственников Абаоцзи. Однако в результате карательных мер право наследования власти закрепилось исключительно за наследниками императора, причем императрица могла быть только из уйгурского по происхождению рода Сяо. Тем самым престол был огражден от притязаний других родственников императора (Пиков Г.Г., 2002, с. 192–193).

Важным моментом в политической эволюции Ляо Г.Г. Пиков считал принятие в 916 г. Абаоцзи императорского титула. Идеологически император соединял общие кочевые, монгольские и китайские сакрально-политические традиции. Ученый отмечает, что у китайцев киданьскими правителями было заимствовано представление об императоре как Сыне Неба, получавшим от Неба «мандат» на правление. Из монгольских представлений Г.Г. Пиков выделяет право на управление всем

миром, которое дает Вечное Небо. Фактически, как пишет ученый, император становился наместником неба на земле, но при этом власть Неба сочеталась с личной харизмой. Воля и сила Неба, растворенная в императоре, позволяла ему «творить свой особый мир (миропорядок) и подчинять ему все пространства на вечные времена (Пиков Г.Г., 2002, с. 193–194).

Несмотря на то, что китайские территории, вошедшие в состав Ляо, требовали, несомненно, более сложных управленческих практик, экономика киданей и соседних хи, по оценкам исследователя, также была многоотраслевой и не сосредоточивалась только в сфере кочевого скотоводства. Г.Г. Пиков указывает на добычу природных ресурсов (пушнина, золото, жемчуг, рыба и пр.), развитие ремесла, пашенного земледелия, садоводства, возвращение огороднических культур и пр. Особое внимание, как подчеркивает ученый, было обращено «на добычу и обработку железной руды, изготовление оружия, шелководство, выращивание тутовых деревьев, конопли, ткачество». Все это говорит о том, что управление провинциями с кочевым населением также требовало многофункционального бюрократического аппарата (Пиков Г.Г., 2002, с. 197–198). Во главе управления находились преимущественно сами кидани. Но с 947 г. согласно императорскому декрету были созданы две системы управления. Исследователь показывает, что Северная администрация в основном воспроизводила традиционные «варварские» институты, а Южная, состоявшая в значительной степени из китайцев, управляла завоеванными оседло-земледельческими территориями. С целью контроля за китайскими чиновниками кидани создали сеть военных лагерей ордо (Пиков Г.Г., 2002, с. 199).

Сами кидани, как отмечает ученый, не обладали ни опытом руководства сложной общественной системы, ни соответствующим бюрократическим менталитетом. Поэтому политические практики императора и его окружения скорее напоминали, по словам Г.Г. Пикова (2002, с. 199, 200), «типичную феодально-кочевую» форму управления: в Ляо существовало пять столиц во главе с Верховной и ляоские императоры, передвигаясь от одной резиденции к другой, на местах решали все назревшие проблемы. Исследователь отмечает формирование в Ляо особой политической культуры, отличной от догосударственной культуры киданей. В ее рамках сочетались синкретизм и полиэтничность: киданьская письменность, официальная дуалистическая система одежды ляоских чиновников (чиновники Северной администрации во главе с императрицей носили киданьскую одежду, а чиновники Южной администрации во главе с императором – ханьскую), своеобразная система государственных праздников, синкретически соединяющая в себе буддийские и конфуцианские воззрения с древней религией и обрядами киданей, специфическое устройство могильных склепов ляоской знати (Пиков Г.Г., 2002, с. 198).

Сложность социальных процессов в киданьской империи Ляо нашла отражение в дифференциации религиозных убеждений по социальному признаку. Как считает исследователь, большая роль в интегративных процессах и формировании идеологической основы киданьского государства играл буддизм, так как он отрицал родоплеменную исключительность, способствовал преодолению прежней родоплеменной разобщенности и провозглашал единство культа и абсолютного божества. Отмечает ученый и значение конфуцианства: его достоинство для киданьской знати прежде всего заключалось в проповеди безропотного подчинения «младших» к «старшим». Именно поэтому «верхушка киданей, искавшая средство идеологически обосновать свое господство и отдававшая предпочтение буддизму, не препятствовала деятельности и других религий» (Пиков Г.Г., 2000, с. 53–54; 2002, с. 200–201). Таким образом, киданьская аристократия восприняла китайские религиозные традиции.

Рядовое население, по словам Г.Г. Пикова, придерживалось традиционных культов. Именно в связи с этим в кочевой среде сохраняли свои позиции традиционные священнослужители, которых ученый обозначает как «шаманов». Они выступали как «посредники между людьми на земле и богами на небе, призваны были не только совершать обряды жертвоприношений, устанавливать связь с потусторонним миром, но и следить за правильностью исполнения обрядов другими людьми, объяснять все происходящее в природе и обществе, освящать деятельность тех, в чьих руках находились богатство и власть». В трактовке Г.Г. Пикова, «шаман» осуществлял многочисленные и многосторонние обязанности жреца, волхва, врача, знахаря и т.п. Шаманы и колдуны занимали высокое положение в киданьской социальной иерархии, что несомненно было обусловлено их ролью в идеологической системе общества (Пиков Г.Г., 2000, с. 69).

В этой ситуации киданьская элита, как отмечает исследователь, сохраняла многие компоненты степных традиций, чтобы не утратить своего влияния на рядовых кочевников: правитель киданей (император) был главой и первосвященником традиционной религии (тенгриизм), он, как предста-

витель рода Елюй, был «породнен с Небом» и «поставлен Небом». Именно он «испрашивал богов» и приносил им жертвы, выполнял функции посредника между миром богов и миром людей и исполнителя «приказов Неба» (Пиков Г.Г., 2000, с. 63; 2002, с. 193–194). Ученый фиксирует и сохранение сакрально-ритуальных раздач. Император, желавший проявить свое расположение к тому или иному сановнику, щедро одаривал его, в том числе «жаловал белую лошадь с седлом и уздой, украшенными золотом» (Пиков Г.Г., 2000, с. 65). Император киданей так же, как и позднее правитель Западного Ляо гурхан, выполнял функции верховного жреца. При дворе существовал специальный аппарат, руководивший определенными церемониями: илиби, тиинь, дилемаду и другие чиновники. Одним из самых важных ритуальных действий была церемония в конце каждого года, когда «группа шаманов во главе с «большим шаманом» обращалась с молитвами к богу Огня. На следующий день 12 шаманов со стрелами в руках обходили шатры и пением, криками и звонками отгоняли злых духов». Наряду с этим Г.Г. Пиков (2000, с. 69) упоминает профессиональных предсказателей и заклинателей, которые лечили, заклинали погоду, предотвращали различные катастрофы. В итоге, судя по его исследованиям, можно сделать вывод, что более сложный характер социально-политической организации Ляо в сравнении с предшествующими кочевыми империями вызвал к жизни более концептуальные и социально-дифференцированные религиозные практики, обусловившие в свою очередь высокое положение служителей культа у киданей.

Дуалистичность культуры, наличие двух центров, по мнению Г.Г. Пикова, в конечном итоге и погубили империю Ляо, поскольку для Востока характерна монокультурная традиция. Показательным исследователем считает отчуждение рядовых кочевников от китаизированной киданьской знати, которая в свою очередь презиралась китайцами за «варварство». Г.Г. Пиков указывает, что реализовывать свою государственную политику кидани могли в основном в степи, где преобладало кочевое население и куда переселяли бохайцев и китайцев для развития земледелия. Но численное и социокультурное доминирование ханьцев, которых было минимум в 3 раза больше, чем киданей, разрушало империю: «социальные противоречия киданьского общества наложились на социальные противоречия китайских районов», что «повело к социальной нестабильности Ляо» и ее падению (Пиков Г.Г., 2002, с. 201).

Несколько по-иному на политическое развитие Ляо смотрит Н.Н. Крадин. Исходя из собственной концепции трех типов кочевых империй и представлений о кочевой империи как суперсложного вожества, он считает, что властная иерархия киданей первоначально сохраняла даннический характер и лишь со второй половины XI в. Ляо постепенно стала трансформироваться в завоевательную империю с перспективой создания комплексного земледельческо-скотоводческого государства (Крадин Н.Н., 2002г, с. 224).

С целью показать переходный характер политической власти в киданьской империи исследователь дает детальную характеристику управленческого аппарата Ляо. Он, в частности, показывает, как верховные институты власти были пронизаны линиджными связями: клан правителя подразделялся на две части («пять подразделений» и «шесть подразделений»), которые управлялись «великими князьями» из потомков Абаоцзи; семья императора относилась к «пяти подразделениям» клана; наряду с линиджем императора существовали потомки двух дядей и братьев Абаоцзи, известные как «три патриархальных хозяйства»; последние вместе с императорской семьей образовывали четыре ведущих линиджа (Крадин Н.Н., 2002, с. 81; 2002г, с. 215).

В характеристике императорской власти Н.Н. Крадин сделал упор на ее ресурсных и функциональных возможностях. Император рассматривается ученым как единоличный правитель, от имени которого «принимались ответственные решения и осуществлялась редистрибуция». Он распоряжался драгоценными вещами, хранившимися в кладовых, «государственными стадами, за которыми надзирали специальные киданьские чиновники. Н.Н. Крадин так же, как и Г.Г. Пиков, обратил внимание на постоянные переезды императоров из столицы в столицу, но трактует эти переезды как «дань традициям кочевого быта». Чуть ниже, правда, исследователь указывает, что постоянное передвижение позволяло императору лично контролировать многочисленный аппарат чиновников на местах. Эту форму управления ученый сопоставляет с полюдьем (Крадин Н.Н., 2002г, с. 215–216). Однако ведущую роль в политической системе Ляо исследователь отводил данничеству и вымогательству у Сунского Китая шелка и денежных субсидий. В середине XI в. Южный Китай выплачивал киданям до 200 тыс. монет серебра и 300 тыс. кусков шелка. С варварских народов на периферии империи собиралась натуральная дань. Эти доходы, как пишет исследователь, «составляли основу бюджета престижной экономики империи» (Крадин Н.Н., 2002г, с. 217).

В дуальной административно-бюрократической системе исследователь ведущее положение отвел Северной администрации, хотя она по численности и квалификации уступала Южной. Канцлер Северной администрации, назначавшийся, как правило, из представителей кланов Елюй и Сяо, контролировал армию, наблюдал за госсектором скотоводческого хозяйства, участвовал в выработке важнейших политических решений. Особенно подробно Н.Н. Крадин описывает положение киданьской аристократии и распределение среди кочевой знати многочисленных чинов и званий. Наличие в киданьской властной иерархии левой и правой титулатуры (левый и правый великий правитель, левый и правый великий наставник и др.), согласно точке зрения ученого, свидетельствует о сохранении киданями кочевой системы крыльев, а низовой основой собственно киданьского аппарата оставались традиционные племенные вожди, в компетенцию которых входили военные и судебно-медиативные функции (Крадин Н.Н., 2002г, с. 218–219).

В социальном отношении, как считает ученый, можно говорить «о существовании у киданей развитого сословного неравенства, довольно разнородной многоуровневой прослойки кочевой аристократии, вождей, предводителей разного рода». Кочевая аристократия обладала значительными богатствами и с правовой точки зрения была отделена от рядовых номадов. Это, подчеркивает Н.Н. Крадин (2002г, с. 219), не исключало возможности для всех киданей повысить свой ранг посредством военной доблести, личных заслуг, породнения или инкорпорацией в аристократический клан. Однако даже положение представителей ведущих кланов Елюй и Сяо (клан императрицы), по наблюдениям ученого, было неоднородным. Наряду с крупными собственниками некоторые члены правящих кланов вынуждены были обращаться к императору за помощью, который раздавал скот либо назначал родственников на чиновничьи посты (Крадин Н.Н., 2002г, с. 216–217).

Положение рядовых кочевников Н.Н. Крадин оценивает двояко. С одной стороны, он пишет о том, что номады составляли основу имперской армии и являлись опорой династии. В этом отношении их общественное положение было выше других групп варваров, а тем более земледельцев. С другой стороны, богатство и китаизация киданьской элиты формировали подобие сословного барьера, который хотя и был преодолим, создавал все же ситуацию нарастающей напряженности, особенности после введения налогов и для номадов, их разорения и переход в статус работников в государственном скотоводческом секторе (Крадин Н.Н., 2002г, с. 219–221, 224). Тем самым Н.Н. Крадин, как и Г.Г. Пиков, обращает внимание на процессы социальной дифференциации в киданьском обществе по мере становления в Ляо традиционной государственности и превращения киданьской аристократии и чиновничьего аппарата в открытую, но все дальше дистанцировавшуюся от рядовых кочевников сословную группу.

Среди многочисленных исследований по социально-политической организации кочевых обществ конца раннего средневековья стоит выделить и изданную посмертно книгу Б.Д. Кочнев «Нумизматическая история Караханидского каганата (991–1209)». Опираясь на нумизматические данные, исследователь смог дать ответы на целый ряд вопросов, долгое время вызывавших дискуссии среди специалистов. Во-первых, Б.Д. Кочнев смог доказать, что вплоть до 1040 г. Караханидский каганат сохранял единство и определенное подчинение других ханов и правителей великим каганам, правивших в Баласагуне. Во-вторых, ученому удалось установить, что в созданном в 1040 г. Западном каганате была ликвидирована множественность ханов и установлена единоличная власть кагана. Также первый каган Табгач-хан Ибрахим уничтожил многоступенчатую феодальную иерархию с многочисленными князьями, ввел прямой порядок престолонаследия, основываясь на оседлых традициях, установил единственную столицу в Самарканде. В-третьих, в Восточном каганате Б.Д. Кочнев выявил неоднозначные тенденции, когда на смену двум ханом во главе государства укреплялся один хан. В конечном итоге в XII – начале XIII в. «верховная власть и в Восточном каганате сосредоточилась в руках единственного хана, резиденцией которого был Кашгар. Это «отставание» в становлении единовластия в Восточном каганате от Западного ученый объяснял более длительным сохранением в восточных владениях Караханидов кочевых традиций (Кочнев Б.Д., 2006, с. 246–251).

В-четвертых, Западный каганат, где доминировали оседлые политические традиции, развивался по пути дезинтеграции и к началу XIII в. разделился на 11 ханств. Каждое из них обладало стабильной территорией и постоянной столицей, но в отличие от раннекараханидского времени власть во всех ханствах передавалась по прямой и все ханы являлись потомками основателя Западного каганата Табгач-хана Ибрахима. В-пятых, изучив систему пожалований, Б.Д. Кочнев смог убедительно показать, что в государствах Караханидов было множество удельных князей, получавших уделы не

за службу сеньору, а в силу принадлежности к царствующему роду. И соответственно это вели они себя не как назначенные центральной властью наместники, а как «владельцы феодальных уделов, часто весьма самостоятельные». Подводя итоги, исследователь указал, что государство Караханидов «никогда не было единым и в нем происходила борьба центробежных и центростремительных сил». На первом этапе (840–1072 гг.) наблюдалось явное преобладание центробежных тенденций. Укрепление единовластия на втором этапе (1072 – ок. 1150 гг.) сменяется на третьем дезинтеграцией (Кочнев Б.Д., 2006, с. 252–270). В целом исследование Б.Д. Кочнева носит уникальный характер и позволяет существенно пересмотреть наши представления о политической эволюции Караханидского каганата.

Разные аспекты изучения социально-политической организации кочевников Центральной Азии в раннее средневековье были представлены в исследованиях С.А. Васютина. Особое внимание в его работах уделялось характеру власти у раннесредневековых кочевников, ее структуре и функциям. Опираясь на разработки Л.С. Васильева (1983), А.Я. Гуревича (1999а), Л.Е. Куббель (1988), А.В. Коротаева (2000), Н.Н. Крадина (2001в, с. 76–87; 2002д, с. 111–112) и других ученых, С.А. Васютин отмечает, что власть у кочевников так же, как и в других традиционных обществах (при всех различиях в их общественно-политической организации), содержала многочисленные элементы, восходившие к архаичным образцам управленческой практики. Он полагает, что даже в наиболее сложных социальных организмах средневековья архаичные элементы порой сочетались с инновационными раннегосударственными институтами управления, сохраняя, однако, прежнюю функциональную роль. Речь, по словам С.А. Васютина (2004а, с. 95–96), должна идти о редиистрибутивных функциях власти, о так называемой престижной экономике, широко распространенной в доиндустриальных обществах.

В кочевых империях, представлявших собой наиболее развитые формы политической интеграции у кочевников, редиистрибутивные связи пронизывали все общество. Престижные раздачи служили основой отношений не только между верховным правителем и его военно-аристократическим окружением, но и более или менее устойчивых взаимоотношений кочевых лидеров и племенных вождей с рядовыми кочевниками (Крадин Н.Н., 2000а, с. 320–322; 2002д, с. 116; Хазанов А.М., 2002, с. 50; и др.). Данные установки легли в основу изучения С.А. Васютиным основных проявлений архаичных инструментов власти в Тюркских каганатах.

По мнению С.А. Васютина, успешные военные акции и редиистрибутивные раздачи материальных благ обеспечивали престиж каганам и способствовали сакрализации власти верховных правителей в Тюркских каганатах. Тем самым распределение даров превращалось в важнейший ресурс управления. Тюркская элита получала от каганов поставлявшиеся в ставку престижные вещи из Китая. При этом исследователь учитывает, что поступающие от китайцев ресурсы были весьма ограничены и распределялись только среди ближнего круга родственников кагана, аристократии, дружинников и лояльных племенных вождей. Другими элементами «сети» престижной экономики были военная добыча, доходы от торговли, престижные должности в окружении кагана и армии. Все это – предмет манипуляции кагана и поддержания своего статуса и имиджа среди своих родственников и сподвижников. Особую связь, как полагает С.А. Васютин (2004а, с. 96), между каганом и представителями его окружения «выстраивали» персонализированные подарки кочевого лидера (оружие, лошади, украшения).

Одновременно с этим исследователь отмечает, что одна из главных задач кагана заключалась в обеспечении более или менее постоянных доходов от экзополитарной эксплуатации и для рядовых кочевников. Наиболее явными каналами влияния каганов и обеспечения их престижа среди простых кочевников были приобретенные в ходе успешных завоеваний новые пастбища, военная добыча. Война превращалась тем самым в один из главных «инструментов» престижной экономики. Важный момент заключался в том, что в роли редиистрибуторов «второго плана» выступали кланово-племенные лидеры, получавшие санкцию на организацию нападений и грабежей со стороны кагана. Таким образом, согласно точке зрения С.А. Васютина, каган, выступая в роли своеобразного «банкира», должен был удовлетворить в рамках империи максимальное число кланово-линейных групп, чтобы сохранить свое влияние на них. Все это вписывалось и/или дополняло другие структуры управления (военная иерархия, наместники и гарнизоны в завоеванных землях, суд и т.д.) (Васютин С.А., 2004а, с. 96–97).

В духе историко-антропологического подхода С.А. Васютин интерпретирует публичную демонстрацию богатства тюркскими правителями как компонента архаичной политической культуры.

Подобные действия, как полагает исследователь, были особенно характерны для официальных мероприятий и ритуалов (провозглашение новых правителей, военные сборы, религиозные праздники, прием послов, похороны каганов и высших сановников). Публичность таких процедур должна была способствовать созданию ореола престижности и успеха вокруг личности правителя (Васютин С.А., 2004а, с. 97).

В Тюркских каганатах, по мнению С.А. Васютина, было широко распространено иррациональное восприятие власти кагана, которое связывало правителя с военной удачей, наделяло его особыми качествами (харизмой). Однако следует учесть, что архетипичные черты тюркской культуры распространяли этот стереотип на всех «мужей-воинов», носителей «геройских мужских имен». Яркое выраженное военное начало в сакрализации власти тюркских каганов имело непосредственную связь с их политической практикой и особенностями политической организации каганатов в целом. С.А. Васютин вслед за другими учеными отмечает, что зачастую только героизм или военные успехи каганов позволяли сохранить власть и целостность империи. Так, в сложной обстановке 717–718 гг., когда Второй Тюркский каганат после смерти Капаган-кагана и междоусобиц в тюркской элите находился на грани гибели, первые же боевые успехи нового кагана Бильге, связанные с захватом добычи и ее разделом среди тюрок, привели к росту авторитета правителя, зафиксированном в надписи в честь Бильге-кагана: «Весь народ сказал: «Мой каган пришел» и хвалил... лошадей я дал» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 116). Древнетюркский текст, по словам С.А. Васютина (2004а, с. 97), регистрирует четкую взаимосвязь между престижем верховной власти, военными победами и своевременным исполнением носителем каганской власти редистрибутивно-распределительных функций. Для тюркского общества можно говорить о гипертрофированной форме героизации военных подвигов, специальных ритуалах и культурах, связанных с военными успехами.

В связи с этим исследователь ставит вопрос о том, насколько наличие военно-иерархических структур способствовало поддержанию прочного авторитета каганов. Отвечая на данный вопрос, он предполагает существование у тюрок довольно жестких дисциплинарных форм в армии, что давало в руки верховного кочевого лидера дополнительные инструменты управления. Примеры тюрко-болгарских военно-правовых традиций (смертная казнь предусматривалась за бегство во время сражения, за халатность во время несения пограничной службы, за небрежную подготовку военной экипировки и др.), дошедшие до нас благодаря «Ответам папы Николая I на вопросы болгар» (1987, с. 35), позволили С.А. Васютину сделать заключение о существовании в тюркской армии жесточайшей системы наказаний за «дисциплинарные преступления». Для кагана это давало возможность применения своей власти в более рационализированной сфере военного права (Васютин С.А., 2004а, с. 98).

В то же время С.А. Васютин обращает внимание на то, что китайские хроники крайне низко оценивают дисциплину и организацию военного дела в тюркской армии (Лю Маоцай, 2002, с. 37, 45). Учитывая определенную степень предвзятости китайских хронистов, проистекавшую из сравнения тюркской военной организации с китайской, исследователь все же довольно осторожно оценивает уровень управляемости разноплеменной армии тюрок и степень ее сплоченности. На этом основании он приходит к выводу об определенных свойствах догосударственных форм потестарно-политической организации, которые, по его мнению, господствовали в Тюркских каганатах – это неустойчивость верховной власти, быстрый переход от централизации к центробежным тенденциям и, главное, прямой зависимостью от личности правителя и от успешности его внешнеполитических акций. Стабильный механизм управления в каганатах так и не был создан. Даже полифункциональный характер власти тюркских каганов (сакральный и военный лидер, представитель интересов каганата во внешнеполитических связях, распределитель материальных благ и престижных ролей в управлении, верховный судья и т.д.) не мог обеспечить ее устойчивость (Васютин С.А., 2004а, с. 98).

Исследователь также обращается к такому аспекту политической культуры каганатов, как божественное происхождение власти каганов и ее сакрализация. Тюркологами неоднократно отмечалась демонстрация сакральности власти в орхонских текстах: «неподобный», «небом рожденный», «небом поставленный» и т.д. (Малов С.Е., 1951, с. 33, 37, 39; Кляшторный С.Г., 2003, с. 62, 245), ее неотделимость от верховного божества Тенгри (Войтов В.Е., 1996, с. 71–72). Сходную форму позиционирования своей власти верховным правителем тюрок фиксирует Суй-шу в письме кагана Шаболное суйскому императору Гао-цзу: «...в год дракона рожденный Небом, мудрый и священный сын Неба Великой империи тучное...» (Лю Маоцай, 2002, с. 50). С.А. Васютин отмечает, что и реальная сакральная практика каганов также получила отражение в источниках – упоминание в них

ежегодных ритуалов принесения жертв Тенгри и предкам тюрков, в которых каган исполнял функции верховного священника (см., например: Лю Маоцай, 2002, с. 22).

Как полагает С.А. Васютин, сакрализация не ограничивалась временем правления того или иного кагана. Она «проявлялась» в монументальных погребальных сооружениях, сотнях балбалов, стелах с надписями. Они не только отражали посмертные формы обожествления умерших каганов и видных деятелей каганатов, но и «переносили» престиж власти на их преемников. Каждый погребально-поминальный комплекс политических лидеров Второго Тюркского каганата превращался в культовый центр. С.А. Васютин (2004а, с. 99) поддержал позицию Л.Н. Гумилева (1993, с. 332, 336–338), В.Е. Войтова (1996, с. 99), С.Г. Кляшторного (2003, с. 81), настаивавших на том, что в управленческой практике тюркских каганов огромное значение имели наставления наследникам, аристократии, простым кочевникам (надписи Кюль-тегина и Бильге-кагана), демонстрация позитивных образцов поведения для молодых воинов, что особенно характерно для семейно-клановых устоев.

Еще одну задачу погребально-поминальных памятников тюркских каганов исследователь связывал с пропагандой успехов политических лидеров каганата. В комплексе древнетюркских надписей важное место занимает прославление каганов Первого и Второго Тюркских каганатов – Бумыня, Истеми, Ильтериша, Капагана, Бильге, а эпически-назидательный тон орхонских надписей апеллировал к глубинным ментальным корням мировоззрения кочевников, поддерживая архаичные культурные традиции общения между «кара бодун» (народом) и властной элитой (Васютин С.А., 2004а, с. 99).

В другой своей работе, посвященной разным моделям адаптации кочевников раннего средневековья в Семиречье, С.А. Васютин анализирует властные структуры не только кочевых империй, но и менее масштабных обществ кочевников с целью выявления общих и специфических тенденций их политического развития. Он отмечает, что вопрос о сложных формах организации власти зачастую рассматривается специалистами крайне не дифференцированно. Исследователь обращает внимание на то, что ученые нередко называют «государствами» самые разные политии кочевников, вне зависимости от того, присутствуют ли в их политической организации институты однозначно государственные (многоступенчатая иерархия чиновников, фискальная система, письменное право и государственный суд) или нет, автоматически причисляют к кочевым империям Аварский, Тюркешский, Хазарский каганаты, Великую Болгарию и т.д., слабо соответствующие имперским критериям. Тем самым С.А. Васютин не только подчеркивает наличие в кочевниковедении нерешенных терминологических проблем, но и указывает на необходимость изучения порой более сложных в общественно-политическом отношении, чем кочевые империи образований неимперского типа, созданных кочевниками. Кроме того, недостаточно учитываются динамические моменты, регрессивные тенденции, различие подходов к проблеме государственности в целом. Разные аспекты поставленных проблем С.А. Васютин постарался раскрыть на примере кочевных политий раннего средневековья, центры которых находились в Семиречье (Жетысу). Стратегическую задачу он определяет следующим образом: выяснить, насколько разнообразными были политические режимы, созданные кочевниками (Васютин С.А., 2008, с. 437).

Семиречье привлекло автора тем, что здесь формировались общества разного масштаба: от обширных империй, в которых Семиречье было лишь политическим центром, до разрозненных племенных групп. Но прежде всего данный регион интересен тесными контактами кочевников с жителями ремесленно-торговых центров, в результате чего возникали синтезные формы политических объединений. Собственно понятие «адаптация» С.А. Васютин рассматривает применительно к потестарно-политическим режимам кочевников Семиречья в условиях широкого взаимодействия кочевников с крупными городскими центрами и островками земледельческой экономики, стремясь раскрыть влияние политических традиций оседлого населения на властные структуры кочевников.

Непосредственно исследователь останавливается на анализе институтов власти Западнотюркского и Тюркешского каганатов, Карлукского ханства, Караханидского каганата. Методологической основой работы является синтез неэволюционистских концептов «вождество» и «раннее государство» с идеями многолинейности социальной эволюции. Также С.А. Васютин, рассматривая различные формы взаимодействия кочевников и земледельцев, обращается к теории пасторальности (периферийности) кочевых обществ, в основе которой лежит представление об асимметричности отношений периферии с «центром» (определенной земледельческой цивилизацией). Данная теория, разработанная в трудах А.М. Хазанова (2000), У. Айноса (2002), Т. Барфилда (2002), Н.Н. Крадина (2000а) и других ученых, предполагает, что различие ресурсов кочевников и земледельцев вызывает

постоянную потребность номадов в разнообразных товарах: от продуктов земледелия до престижных вещей. Как следствие номады с помощью набегов, шантажа и других форм давления вынуждали земледельцев отдавать часть прибавочного продукта посредством даров-откупов, дани, выплат, неэквивалентной торговли. В связи с этим С.А. Васютин ставит еще одну конкретную проблему: какая модель взаимоотношений кочевников и земледельцев, «данническая», «завоевательная» (по типологии Н.Н. Крадина) или какая-либо другая, доминировала в Семиречье в раннее средневековье.

С.А. Васютин полагает, что развитие связей между номадным населением и жителями согдийских городов и колоний шло преимущественно в двух направлениях: установление номадами различных форм контроля за оседлым населением и транзитной торговлей; постепенное распространение в средневековый период городов в различных районах Семиречья. Принципиально важное значение в истории Семиречья, по его мнению, имело образование Первого (Великого) Тюркского каганата. Семиречье, вероятно, было включено в состав каганата в результате походов Истеми в середине 550-х гг. и к моменту наивысшего расцвета тюркской империи (570-е гг.) превратилось в центр западной половины каганата. По предположению исследователя, именно в долине Таласа Истеми принимал византийского посла Земарха Киликийского, а также персидских представителей. С территории Семиречья было удобно контролировать Восточный Туркестан, Согд, Бухару и другие среднеазиатские оазисы, а также Джунгарию, Восточный Казахстан, Алтай (Васютин С.А., 2008, с. 439–440).

В целом Первый тюркский каганат, по словам С.А. Васютина, представлял собой объединение кочевых племен и союзов с многоуровневой этноплеменной иерархией. Устойчивость всей системы этноплеменной иерархии обеспечивали военные успехи и престижная экономика (распределение захваченного в ходе походов имущества и «даров» из земледельческих центров в соответствии с этноплеменной иерархией). Опираясь на письменные источники, исследователь показывает сферу распространения престижной экономики, охватывавшей как кочевую аристократию, так и различные группы рядового населения. Эти примеры служили для С.А. Васютина доказательством того, что выполнение каганами редистрибутивных функций не требовало от правителей создания сложного аппарата управления. В основном каганы опирались на традицию («тюркские установления») и кланово-племенные структуры (Васютин С.А., 2008, с. 440).

Согласно мнению С.А. Васютина, Первый Тюркский каганат обладал потенциалом превращения в данническую империю и, вероятно, был таковым в 570–590-е гг., когда в его составе оказались Восточный Туркестан, Средняя Азия, Причерноморье и Предкавказье. Но и его переход к более сложным формам политического управления земледельцами был заблокирован развернувшейся междоусобной войной и распадом кочевой империи на две части. Тем не менее, как считает исследователь, данническая модель реализовывалась кочевниками Западнотюркского каганата, которые сумели сохранить контроль над частью оседлого населения, заимствовали некоторые фискальные практики, осуществляли военно-политическую поддержку согдийской торговли, административное регулирование и суд по «тюркским уложениям». Одновременно с этим тюркские наместники и гарнизоны появились в наиболее важных городах и княжествах (Гаочан, Ши, Харашар), а некоторые территории (Кашгар), судя по данным китайских источников, платили дань. Еще одним инструментом политического влияния номадов на земледельцев, на который обращает внимание С.А. Васютин, были династические браки (примером служит женитьба правителя Кана (Согда) на дочери западнотюркского кагана Кара-Чурина-Тюрка). Однако, как заключает автор, понадобится длительный процесс адаптации и «вживания» номадов в условия земледельческо-городской инфраструктуры, прежде чем возникнут подлинные государственные симбиозы номадов и оседлого населения (Васютин С.А., 2008, с. 440).

В соответствии с концепцией ученого длительного синтеза кочевого и оседлого начал в ходе становления государственных институтов у номадов, падение Западнотюркского каганата в результате экспансии Китая в 656–659 гг. не нарушило сложившуюся здесь систему связей кочевников и жителей городов. Об этом, как полагает С.А. Васютин, наглядно говорит история Тюркешского каганата, в период существования которого активно развиваются городские центры Семиречья – Суяб, Невакет, Кува, Актаг и др., тесно связывавшие каганат с городами Средней Азии. Исследователь указывает на чеканку от имени тюркешских правителей монет с согдийскими надписями и тюркскими тамгами, рунической «Р», а также на местную подделку китайской монеты, что отражает усложнение политической практики в Тюркешском каганате. Он предполагает существование в Тюр-

гешском каганате соответствующего политического аппарата, с помощью которого каганы осуществляли контроль за деятельностью городских властей, собирали пошлины, налоги, регламентировали правила и условия торговли, вершили суд. Также административной реформой (введение 20 тутукств, создание каганских ставок в стратегически важных районах) первого кагана Уч-элиг (Учжилэ) было упорядочено управление кочевым населением (Васютин С.А., 2008, с. 441).

Источники, проанализированные С.А. Васютиным (2008, с. 441–442), показывают, что тюркешский каган сочетал как функции кочевого лидера-редистрибутора, раздававшего престижные товары, продукты земледелия и перераспределявшего захваченную в походах добычу, а также главы государственного аппарата, осуществлявшего управление оседлым населением. Ученый не сомневается, что первая роль кагана сохраняла свое преобладающее значение и определяла четкую зависимость кочевого лидера от племенных лидеров. Известный пример с каганом Сулуком, который в конце жизни «стал... удерживать без раздела» награбленную добычу, отделился от народа, а после поражения от арабов был убит знатными тюркешскими аристократами, показывает, что для кочевников решающее значение в устойчивости власти кагана играли редистрибутивная и военная функции.

Другой пример, выбранный С.А. Васютиным, – объединение карлуков на юге современного Восточного Казахстана и в Джунгарии, которое оказалось более устойчивым в политическом отношении, чем Тюркешский каганат. Важным аспектом этой устойчивости исследователь считает постепенный рост полномочий правителя карлуков, что отражало изменение титулатуры. Первоначально глава карлуков носил титул эльтебера. После длительного противостояния с тюрками Второго Тюркского каганата карлуки смогли добиться независимости, а их глава принял титул ябгу. Следующий этап возвышения карлукского ябгу был связан с упадком Тюркешского каганата и разгрома китайской армии в битве при Таласе в 751 г. В результате этого ябгу, как считает С.А. Васютин, стал самым сильным кочевым правителем в Семиречье. Карлуки смогли вытеснить огузов, которые вынуждены были откочевать в низовья Сырдарьи, в 766 г. захватить Тараз и Суяб и тем самым установить полный контроль над Семиречьем, Тохаристаном и торговыми маршрутами. В Семиречье карлуки так же, как и тюркеши, стали чеканить свои монеты и одновременно использовать китайские монеты. И, наконец, падение Уйгурского каганата в 840 г. позволило карлукскому ябгу провозгласить себя каганом Караханидского каганата. Силы карлуков приумножились благодаря миграции в каганат карлуков и племени ягма из Восточного Туркестана (Васютин С.А., 2008, с. 442).

Длительный процесс возвышения карлуков, постепенное «нарастание» новых политических практик, по мнению С.А. Васютина, привели к тому, что карлуки и ягма не ограничились достижениями тюркешей и в течение IX–XI вв. наблюдалось дальнейшее усложнение политических институтов Караханидского каганата, результатом чего стало доминирование государственных элементов над вождескими и в конечном итоге оформление традиционного средневекового государства. Несмотря на разделение в конце IX в. каганата на две части – восточную и западную, происходило оформление дуальной многоуровневой системы управления с дублированием титулов и должностей в каждой части Караханидского каганата. Принятие около 960 г. ислама условно знаменует окончательное превращение Караханидского каганата в государство (Васютин С.А., 2008, с. 443).

Экономическую базу Караханидского государства составлял контроль над оазисами и городами Семиречья, Средней Азии, Восточного Туркестана. Разветвленный аппарат чиновников с тюркскими титулами показывает высокую степень привлечения тюркских аристократов к выполнению разнообразных управленческих задач. Отдельной иерархией управителей располагали и удельные князья. Развернувшаяся с конца X в. чеканка монеты Караханидами в Фергане, Бухаре, Шаше, Узгенд, Баласагуне, Кашгаре, Самарканде и других городах Средней Азии преследовала не только пропагандистско-политические цели (засвидетельствовать переход этих городов под контроль Караханидов и связь с исламской традицией), но, по мнению С.А. Васютина (2008, с. 443), и экономические (торговые), о чем говорит широкое распространение караханидских монет.

В 1041–1042 гг. каганат разделился на два самостоятельных каганата – Западный (с центром в Самарканде) и Восточный (с центром в Баласагуне, затем в Кашгаре). Основываясь на мнении Б.Д. Кочнева, считавшего, что Западный каганат не имел дуальной организации и возглавлялся единственным каганом, С.А. Васютин склонен также рассматривать Западный каганат Караханидов как централизованное государство, достигшее к середине XI в. своего расцвета. Это дало исследователю основание обозначить общие тенденции развития государственной власти в Караханидском каганате: если в период расширения каганата в X – начале XI в. структуры власти предполагали уча-

стие в управлении большого количества полунезависимых правителей, то по мере укрепления власти баласагунских и самаркандских правителей, особенно после разделения каганата, наметилась тенденция к централизации власти. Отмеченная особенность ранее проявилось и в Западном каганате. В завершении С.А. Васютин (2008, с. 444) отмечает, что письменные, археологические и нумизматические данные позволяют видеть в Караханидском каганате одну из самых развитых форм государственности, среди политических образований созданных кочевниками.

Подводя итоги, С.А. Васютин констатирует, что исследование взаимоотношений кочевников и оседлого населения в Семиречье в период раннего средневековья позволяет зафиксировать разные способы политической адаптации номадов в этом регионе. Несмотря на внешне схожие черты рассмотренных политических образований номадов Семиречья, тенденции их развития не были одинаковыми. Западно-тюркский каганат был классической даннической империей (суперсложным вожжеством). Управление в нем тяготело к степной традиции, в основе которой были престижная экономика и сильная военная организация. Инновационным компонентом власти в Западно-тюркском каганате стало установление тюркской власти, законов и обычаев в прилегающих к Семиречью городах. Эта традиция получила развитие в Тюркешском каганате. С.А. Васютин считает данное неимперское военно-политическое образование, в котором органично сочетались институты завоевательной модели (чеканка монет, сбор пошлин и налогов, административный аппарат) и традиционная система управления номадами. Элементы ранней государственности у тюркешей требовали постепенного «наращивания» государственной составляющей, но «подобная трансформация «отрывала» власть от рядовых кочевников и кочевой аристократии и вела к внутренним конфликтам, что не позволило реализовать потенциальную возможность создания государства» (Васютин С.А., 2008, с. 444).

В Карлукском ханстве первоначально, согласно точке зрения исследователя, в большей степени, чем в Тюркешском каганате, воспроизводилась традиционная кочевая модель. Имевшиеся у карлуков элементы данничества и ранней государственности существовали при главенстве степных механизмов функционирования власти. Динамика дальнейшего развития карлукского объединения и связанного с ним Караханидского каганата позволила С.А. Васютину рассматривать политические структуры карлуков как наиболее способные к адаптации и поэтапному усложнению. Тем самым модель политической адаптации Караханидского каганата была связана с устойчивой линией на формирование государственных структур и трансформацию системы отношения каганов и кочевого населения. При том, что сохраняли свое значение базовые элементы поддержания авторитета правителя в среде номадов с помощью даров, раздач, дележа добычи, сама административно-политическая система каганата формировалась в контексте выработанных в среднеазиатских городах принципов и традиций. Деление Караханидского каганата на две части показывает, что его правители стремились к более эффективному управлению своими землями, чего невозможно было добиться из степи. Не менее показательны и то, что Караханидский каганат, по сравнению с Тюркскими каганатами, шел по пути усложнения властной системы, в то время как политическая организация Западно-тюркского каганата оставалась стабильной или переживала стагнацию. Динамизм является еще одной отличительной чертой Караханидского каганата. Такая форма политического объединения номадов, по мнению С.А. Васютина (2008, с. 444–445), должна быть выделена в отдельный тип и дополнительно исследована в сравнительно-историческом ракурсе.

В целом отечественные кочевниковеды-историки охватили в своих исследованиях практически все крупные кочевые объединения Центральной Азии раннесредневекового периода. Работы российских авторов отличает разнообразие методологических подходов и, за редким исключением, детальная проработка вопросов социально-политического развития номадов. Столь же разнообразными были и исследования археологов, которые с помощью археологических источников смогли дополнить наши представления о социальной дифференциации и социальных связях в кочевых обществах раннего средневековья, выявить предметы, символизировавшие власть и социальный престиж, показать господствовавшие в раннее средневековье ментальные установки, раскрыть многие другие аспекты.

Определенные итоги изучения памятников древнетюркского времени в 1990-е гг. подвели вышедшие в Новосибирске сборники научных статей «Памятники культуры древних тюрков в Южной Сибири и Центральной Азии» (1999) и «Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии» (2000). В данных сборниках отсутствуют какие-либо обобщения по теме социальной стратификации в тюркском обществе. Скорее наоборот, они содержат авторские наблюдения

преимущественно частного порядка, связанные с отдельными могильниками и даже отдельными погребениями. Так, Ю.В. Тетерин подробно охарактеризовал погребальный обряд знатного тюрка, погребенного в одном из тюркских могильников на Среднем Енисее. Он считает одним из важных аспектов «археологического изучения социальной структуры древнетюркского общества» поиск, исследование и иерархическое ранжирование памятников древнетюркской знати. Именно такой элитный статус имело одно из захоронений могильника Маркелов Мыс-I, изученное автором. Курган №21 содержал три погребения (два сожжения без сопроводительного инвентаря и центральное захоронение мужчины с конем и бараном, которое было разграблено, но сохранилась часть предметов сопроводительного инвентаря). Вплотную к кладке кургана №21 с северо-восточной, северной и западной сторон были пристроены округлые каменные кладки, в одной из которых найдена могила с сожжением. По наконечнику ремня и поясной бляхе-оправе Ю.В. Тетерин (1999, с. 114–118) датировал данный погребальный ансамбль VIII–IX вв.

По мнению ученого, исследованный комплекс «обладает целым рядом признаков, которые позволяют атрибутировать его как погребение привилегированного, знатного лица». Среди них – особенности планировки кургана, размеры и сложность надмогильных сооружений, количество сопроводительных конских и человеческих захоронений, состав и богатство инвентаря. По всем этим признакам (!) курган №21 выделялся среди всех раскопанных древнетюркских курганов могильника Маркелов Мыс-I. Ю.В. Тетерин указывает, что для планиграфии этого могильника характерно «сотовое» размещение погребальных сооружений, когда они располагаются вплотную рядами или группами. В центре таких групп, как пишет исследователь, размещается самое крупное надмогильное сооружение с мужским захоронением в сопровождении коня. Вокруг этого доминирующего объекта пристраивались женские, детские и мужские погребения менее высокого ранга. Археолог выделил на площади могильника четыре таких комплекса с доминирующими курганами (Тетерин Ю.В., 1999, с. 118–119).

Курган №21 в отличие от указанных групп располагался одиночно в стороне от них. Он превосходил размерами (каменная платформа 7,5x7 и 1 м высотой) все остальные доминирующие курганы некрополя. В основе конструкции надмогильного сооружения была кладка вокруг могилы из горизонтально уложенных массивных плит и блоков шириной около 2 м. Самой большой в составе могильника была могильная яма. Исследователь называет еще целый ряд отличительных признаков, выделявших курган №21 среди изученных древнетюркских погребений. Даже сохранившиеся после ограбления вещи «позволяют говорить о богатстве и знатности человека, погребенного в этом кургане». Наконечник ремня и бляха-оправка, по мнению Ю.В. Тетериной, свидетельствовали о том, что покойный имел богатый, украшенный серебряными бляхами пояс, который был «индикатором... социального и имущественного положения. Археолог также обратил внимание на тщательность ограбления могилы, из которой были вынесены даже железные предметы. Это, как считает Ю.В. Тетерин, подразумевало исключительное богатство сопроводительного инвентаря. Еще одним показателем высокого общественного положения погребенного ученый называет безынвентарные сопроводительные человеческие захоронения по обряду трупосожжения. Они, по словам археолога, «несомненно, принадлежали местному населению», носили подчиненный характер и, возможно, являлись погребениями слуг или лиц местного происхождения из ближайшего окружения покойного. Пристроенная могила №24 и кладки №23 и 29 подтверждают высокий статус погребенного в кургане №21 (Тетерин Ю.В., 1999, с. 119–121).

В рассмотренном погребении Ю.В. Тетерин видит захоронение представителя аристократического рода, возглавлявшего один из гарнизонов тюрков в Минусинской котловине. Сопровождающие захоронения, по предположению ученого, могли принадлежать местным кыштымам тюрков. Подводя итоги, Ю.В. Тетерин пишет, что погребения могильника Маркелов Мыс-I «дают представление об очень сложной половозрастной и этносоциальной структуре древнетюркских родоплеменных групп». Занимающие доминирующее положение в отдельных группах погребения археолог трактует как захоронения глав отдельных семей и семейно-родственных объединений, а погребенный в кургане №21 являлся главой всей древнетюркской общности, хоронившей своих членов на некрополе Маркелов Мыс-I и соответствовал рангу бега (Тетерин Ю.В., 1999, с. 121).

Интерпретацию тюркских погребальных комплексов, включающих центральное мужское захоронение и сгруппированные вокруг него погребения женщин и детей, могилы кыргызов и кыштымов, Ю.В. Тетерина поддержал Ю.С. Худяков. Опираясь на анализ целого ряда тюркских памят-

ников на Енисее (среди них Маркелов Мыс-I и II, Белый Яр-II), он также трактует их подобные погребальные ансамбли как семейные или «большесемейные» кладбища (Худяков Ю.С., 2004, с. 43).

Косвенно вопросы отражения гендерной дифференциации в археологических памятниках затронул С.П. Нестеров. Он выделил ряд атрибутов взрослых женских захоронений с конем, который включал костяной (роговой) гребень в сочетании с сосудом и зеркалом (либо его фрагментом). Также исследователь обратил внимание на примечательный факт нахождения в погребении (могильник Над Поляной, курган №15) семилетнего ребенка боевого пояса с серебряными бляхами. По мнению С.П. Нестерова, такой пояс мог принадлежать воину значительного ранга и не являлся собственностью ребенка. Археолог предположил, что подобный факт иллюстрирует представления тюркского населения о возможности встречи родственников в загробном мире и передаче ранее умершему человеку предмета, не положенного с ним в могилу (Нестеров С.П., 1999, с. 95, 97).

Еще один аспект социальных исследований – выявление особенностей погребального обряда определенных возрастных групп, что также позволяет косвенно выявить и особенности их положения в обществе. Этим вопросам посвятили свою совместную публикацию Т.И. Полищук и Ю.С. Худяков. В центре их внимания были детские захоронения могильника Кезеелиг-Хол. Они располагались в межкурганном пространстве и имели перекрытие в виде плит. Всего было исследовано 10 захоронений в каменных ящиках и одно захоронение ребенка в грунтовой яме, из них 9 могил относились к кыргызскому времени. Антропологические определения позволили выявить, что в межкурганном пространстве в каменных ящиках хоронились дети до 4 лет включительно. Такие захоронения были безынвентарными, а их размеры зависели от возраста погребенных в них детей (Полищук Т.И., Худяков Ю.С., 2000, с. 107–110).

Конечно, обозначенные выше публикации не направлены на решение каких-то конкретных вопросов социальной истории раннесредневековых кочевников. Но они тем не менее в своей совокупности позволяют наметить некоторые контуры общественной структуры, выявить определенные возрастные, гендерные, имущественные либо связанные с выполнением каких-то функций различия.

Следует подчеркнуть, что в 1990-е – начале 2000-х гг. исследования памятников раннесредневековой кочевой элиты носили исключительный характер. Фактически среди археологических памятников высшей элиты центрально-азиатских кочевников периода раннего средневековья изучался только каганский комплекс в честь Бильгэ-кагана. Раскопки монгольского археолога Д. Баяра позволили уточнить конструкцию и планиграфию комплекса. Также большое значение имело обнаружение клада, содержавшего золотые и серебряные сосуды, украшения, бляшки, золотую (каганскую?) диадему и много других ценных вещей. Они подчеркивали престиж власти верховного правителя (Баяр Д., 2004). Однако оставалась практически нерешенной проблема каганских захоронений.

Редкими также были и раскопки аристократических захоронений и на территории Саяно-Алтая (см. выше характеристику Ю.В. Тетериным материалов кургана №21 могильника Маркелов Мыс-I). В связи с этим практически каждое изученное элитное захоронение давало уникальные артефакты и вносило важные коррективы в представления о раннесредневековой кочевой аристократии. В этом отношении показательны материалы, полученные Г.В. и В.Д. Кубаревыми при раскопках кургана №11 могильника Балык-Соок-I в Онгудайском районе Республики Алтай.

Исследователи отмечают, что среди 250 древнетюркских захоронений, исследованных на момент публикации материалов, лишь незначительную часть можно признать элитными. При этом даже среди этих немногочисленных захоронений большой редкостью являются непо потревоженные памятники, которые содержат яркий археологический материал (предметы импорта, украшения, дорогое оружие и т.п.). Несмотря на ограбленность, именно таким оказалось захоронение знатного тюрка в кургане №11. Его насыпь эллипсоидной формы имела размеры 12x8 м и высоту 0,5 м. Под насыпью располагалась могильная яма диаметром 3,5 м и глубиной до 2 м (в северной половине костяк человека лежал на глубине 150 см; в южной половине на глубине 160–200 см располагались 4 костяка лошади), постепенно сужавшаяся книзу. В заполнении ямы на разной глубине были обнаружены многочисленные обломки железных панцирных пластин, две пары роговых срединных накладок на лук, роговой наконечник, рукоять плети, железное тесло-топор, стремя, детали узды (серебряные бляшки, наконечники, пряжки и обоймы), железный наконечник копья, наконечники стрел, несколько наконечников ремней, золотая серьга с двумя жемчужинами и т.д. (Кубарев Г.В., 2002, с. 88, 92; 2005, с. 381; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003, с. 65–67).

У погребенного мужчины отсутствовал череп, а кости левой руки были смещены грабительским лазом, но тем не менее сохранился весьма богатый инвентарь: детали седла и узды, железное

стремя, серебряные и железные бляшки, серебряный сосудик с тамгообразным знаком на дне, наборный пояс, включавший серебряные пряжки, наконечники ремней и бляхи трех видов (прямоугольные, сегментовидные и лунницы), пять подвесных ремешков с обоймами и миниатюрными бляшками (такие пояса были широко распространены у тюрков и согдийцев и имеют многочисленные аналоги в материалах надежно датированного слоя VIII в. Пенджикента), железный черешковый нож, огниво, халцедоновый камень, две миниатюрные серебряные пряжки, наконечники ремней с бирюзовыми вставками. Сопроводительное захоронение лошадей также содержало инвентарь. Исследователи обратили внимание на тот факт, что среди изученных тюркских погребений Саяно-Алтая, только в кургане №11 было 4 лошади. «Этот факт, а также наличие соответствующего погребального инвентаря, в том числе почти целого панциря, свидетельствуют об исключительной знатности и богатстве погребенного». Сохранение инвентаря, по мнению ученых, позволяет предполагать, что «речь может идти не об ограблении могилы, ... а ее осквернении» (Кубарев Г.В., 2002, с. 92, 102–104; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003, с. 68–70).

Важное значение имели результаты анализа памятников тюркской эпохи, исследованных на плато Укок. Среди захоронений, как отмечают авторы публикации материалов раскопок, яркие отличительные черты имел целый ряд памятников. Так, в кургане №3 некрополя Ак-Алаха-1 тюркского времени было найдено погребение мальчика или юноши с тремя конями, инвентарем, включающим наверхние плети, бронзовые детали узды, железные удила, застежки для пут, развал керамического сосуда, железный нож и топорик (Молодин В.И. и др., 2004, с. 68, 221). Социальная интерпретация таких памятников требует изучения серии аналогичных погребений. Однако даже предварительные выводы показывают, что исследователи столкнулись с крайне необычной ситуацией, когда представителя подростковой группы сопровождали три коня, что скорее характерно для людей высокого статуса, знатного воина, и инвентарь, в составе которого отсутствовало оружие.

Другой необычный случай представлен в богатом женском захоронении кургана №1 могильника Бертек-34, который был отнесен к курайской культуре – времени расцвета Уйгурского каганата. В этом кургане было найдено захоронение женщины в возрасте 60–65 лет. Покойную сопровождал конь и богатый по своему составу набор инвентаря: серебряный сосуд, аналоги которому хорошо известны в аристократических погребениях Тузкты, Катанды, Кара-кольского кургана, зеркало из белого металла, височные украшения, нож, остатки деревянного блюда, костяные пряжки, проколка, стремяна, остаток луки седла, удила с псалиями, остаток кожаной уздечки с бронзовыми бляшками и пр. (Савинов Д.Г., 1994а, с. 146–150; 1994б, с. 104–123; Молодин В.И. и др., 2004, с. 136–137). Необычно богатый инвентарный набор навел Д.Г. Савинова (1994а, с. 148) на мысль, что в данном кургане погребена знатная женщина, высокий общественный статус которой мог объясняться тем, что она могла быть «матерью военного предводителя», либо «почитаемой главой семьи», либо даже справительницей вождя.

Вне всякого сомнения, эти памятники нельзя отнести к исключительно элитным, но археологи отмечают их прежде всего из-за того, что они имеют яркие отличительные черты, выделяясь среди рядовых мужских и женских захоронений. В этом отношении весьма оригинальные сведения о специфике женских захоронений конца раннего средневековья были получены при раскопках одного из курганов могильника Кальджин-8. Памятник состоял из четырех курганов (скифский, два древнетюркских и позднесредневековый). Учитывая состав некрополя и наличие в раннесредневековых курганах только женских захоронений, можно констатировать, что речь идет не о клановом кладбище. Погребенные здесь женщины принадлежали к престижным возрастным и социальным стратам, а их общественные функции, возможно, не ограничивались только семьей. Так, в кургане №1 в подбое была погребена пожилая женщина, лежавшая, вероятно, на войлочной подстилке. У левой височной кости была найдена бронзовая серьга, в области правого плеча – костяная рукоять плети. У левого крыла таза располагалась концевая накладка ремня, а у правой бедренной кости – роговая пряжка. Между бедренными костями – подвеска из зуба марала. Также на скелете сохранились фрагменты ткани. Женщину сопровождала лошадь, захороненная в могильной яме на глубине 0,38 м от уровня материка. Рядом и среди костей лошади найдены удила, два стремя, остатки жесткого седла, подпружная пряжка, кость ноги овцы (Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, с. 72–73; Молодин В.И. и др., 2004, с. 172–173). В кургане №3 также находилось женское захоронение в сопровождении лошади. У погребенной отсутствовал череп, а на его месте лежал гребень. Авторы публикации материалов данного кургана предполагают ритуальный характер замещения головы гребнем (Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, с. 79; Молодин В.И. и др., 2004, с. 176). Судя по остаткам тлена на костях, ее тело было завернуто в ткань и положено на войлочную подстилку.

В районе таза обнаружен нож. За перегородкой из деревянных кольшков лежал скелет лошади. Участок, где должен был находиться череп, сильно потревожен грызунами. Из инвентаря – остатки жесткого седла (древесный тлен), роговая пряжка, берестяная накладка с кончиком ремня, фрагменты окисленного железа. Также в насыпи кургана были обнаружены череп лошади и мелкие фрагменты костей животных. В целом по сочетанию таких признаков, как размеры надмогильных сооружений (курган №1 – насыпь высотой 0,21 м, длина по линии С–Ю – 3,4 м, по линии З–В – 5,8 м; курган №3 – высота насыпи 0,3 м, диаметр 7 м), размеры могил (в кургане №1 – 1,8x1,12 м, глубина по дну подбоя – 1 м; в кургане №3 – 2,7x1,85 м, глубина – 1,1 м), конструкция могильной ямы (в кургане №1 с подбоем), специфичные элементы погребального обряда (замещение головы деревянным гребнем) и ряду других особенностей (Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, с. 72–76; Молодин В.И. и др., 2004, с. 172–176, 220–221), рассматриваемые курганы не вполне типичны для захоронений IX–XI вв. Возможно, такие случаи должны анализироваться и интерпретироваться индивидуально и лишь после этого могут быть с оговорками включены в общую базу для палеосоциологического анализа.

В связи с разнообразием полученных в последние десятилетия материалов раннесредневековых памятников Центральной Азии и прилегающих территорий остро назрел вопрос о дифференциации таких понятий, как элита, а также об уточнении всей понятийной сетки, связанной с социальными определениями и трактовками. Этот важный процесс развития языка «социальной археологии» находится пока в стадии становления и требует продолжительной и обстоятельной дискуссии, апробации разных палеосоциологических методик, поиска новых нестандартных памятников, одновременно с изучением как рядовых, так и элитных захоронений. В этом контексте важное значение имело обращение Д.Г. Савинова (2005), А.А. Тишкина (2005), П.К. Дашковского (2008) и других ученых к теоретическим и практическим вопросам изучения элиты в раннесредневековых кочевых обществах. П.К. Дашковский, например, затронул вопрос о доминировании в сроткинском обществе этнической элиты в лице пришлого тюркского компонента. С развитием и интеграцией сроткинской общности, по мнению ученого, возник феномен «двойной элиты» (тюрки и сроткинская аристократия) (Дашковский П.К., 2008, с. 218). Этот феномен ранее отмечался Т.Г. Горбуновой (2003, с. 112) и А.А. Тишкиным (2005, с. 53–54).

Практически единственной попыткой обобщенного социального исследования памятников одной культуры являлась кандидатская диссертация А.В. Кондрашова «Изучение погребального обряда и социальной организации населения сроткинской культуры (по материалам археологических памятников юга Западной Сибири середины VIII – XII вв. н.э.)». В целом полученные этим исследователем на основе применения комплексной палеосоциологической методики результаты общественной дифференциации «сроткинцев» имеют несомненный интерес для специалистов. Однако данная работа показывает необходимость дальнейшей разработки программы комплексного исследования социальной структуры по археологическим данным. Во многом именно методические недостатки снизили значимость исследования А.В. Кондрашова. Отметим лишь наиболее показательные факты. В ходе анализа материалов сроткинской культуры (486 погребений) А.В. Кондрашов выделил 7 (!) детских, 5 женских и 27 (!!!) мужских социальных групп, при этом массив данных, включающий погребения со второй половины VIII по XII в., анализируется в рамках одной генеральной совокупности, хронологические группы не выделяются. Сомнение вызывает как само понятие «социальная группа» (автор называет «социальными» и имущественные, и профессиональные, и другие группы), так и критерии их выделения («два предмета вооружения и четыре из снаряжения верхового коня» – одна «социальная группа»; «два предмета вооружения и три из снаряжения верхового коня» – другая «социальная группа» и т.д.). При такой дробности некоторые «социальные группы» включали от двух до пяти человек (Кондрашов А.В., 2004, с. 16–22). Искусственно, на наш взгляд, были разделены властные, профессиональные и имущественные группы, в то время как в реальной практике традиционных кочевых групп эти социальные роли чаще всего выполняли одни и те же лица.

Более перспективными представляются палеосоциологические исследования памятников тюркской эпохи Алтая, осуществляемые Н.Н. Серегиним (2006; 2007; 2008а; Дашковский П.К., Серегин Н.Н., 2008). Его отдельная работа была посвящена историографическому рассмотрению социальной организации тюрков Центральной Азии (Серегин Н.Н., 2008б). Исследователь обратил внимание на то, что с конца XIX и до середины XX в. при изучении общественной организации кочевых тюркологии опирались преимущественно на письменные источники. Со второй половины XX в., начиная с работы С.В. Киселева, ученые стали делать упор на археологические материалы, хотя памятникам письменности по-прежнему уделялось значительное внимание (Серегин Н.Н., 2008,

с. 152–153). В результате реализации обозначенного направления археологами были выделены социально-диагностирующие признаки погребального обряда и сопроводительного инвентаря, а также отмечена взаимосвязь социальной дифференциации с этнической структурой. В то же время многие вопросы, связанные с социогенезом средневековых номадов, остаются не решенными до настоящего времени. Такая ситуация обусловлена, в частности, незначительным количеством антропологических определений, что является важнейшим условием для социальных реконструкций. Недостаточно изучены поселенческие комплексы тюркского времени на территории Саяно-Алтая (Серегин Н.Н., 2008, с. 154–155).

Также весьма корректны палеосоциологические оценки В.А. Могильникова, как их определял исследователь, огузских, тюркских, кимакских и кыпчакских материалов в северо-западных предгорьях Алтая. В своей последней монографии «Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX–XI веках» он не делал никаких генеральных обобщений, анализируя лишь отдельные конкретные ситуации на памятниках. Среди изученных им раннесредневековых памятников в верховьях бассейна р. Алея он выделил курганы №5 и 6 могильника Гилево-V и курган №1 могильника Корболиха-VII, которые «характеризуются богатым инвентарем и представляют собой захоронения элиты общества», в первых двух курганах – знатных воинов. Автор обратил внимание на то, что в кургане №5 некрополя Гилево-V «представлен полный комплект вооружения, включавший палаш, лук со стрелами, панцирь или его часть, а сам курган был самым крупным и занимал наиболее высокую точку в некрополе Гилево-I-V». Как считал исследователь, возможно, именно с этого кургана начал функционировать данный могильник. Курган №1 могильника Корболиха-VII, судя по составу инвентаря, в котором преобладали украшения (в этом одиночном полностью разграбленном кургане, где не сохранились человеческие останки, в заполнении могилы были найдены два серебряных щитковых перстня, серебряная позолоченная квадратная бляха, серебряные копоушка, игольники, 6 бусин, две серебряные бляхи, подвески из листового серебра и пр.; примечательно наличие трех шкур коней с уздами и седлами, указывающее на вероятность захоронения здесь трех человек, в том числе особы знатного происхождения), содержал захоронение знатной женщины и, возможно, связанных с нею лиц (Могильников В.А., 2002, с. 17–18, 52–53, 69).

Еще одно обстоятельство, на которое обратил внимание В.А. Могильников, было связано с размерами и структурой курганных насыпей. Внешне основная масса курганов IX–X вв. на верхнем Алее имеет вид уплощенных каменно-земляных насыпей диаметром 6–12 м, высотой 0,15–0,6 м. Как более мелкие, так и более крупные курганы достаточно редки. Диаметр самого крупной из проанализированных ученым насыпей – курган №1 могильника Гилево-XVI – равнялся 28 м, а его высота составляла 2 м. При этом, как уточнил исследователь, он отличался не только размерами, но и «структурой насыпи, сложенной из чернозема и суглинка без камней, что нетипично для курганов верхнего Алея». Кроме того, вся курганная группа Гилево-XVI, включавшая три насыпи, выделялась своим расположением – вдали от края коренной террасы Алея. Подобные крупные курганы IX–X вв. с земляными насыпями исследовались В.А. Могильниковым в Кулундинской степи, что позволило ему сделать вывод о том, что наличие таких памятников в Кулунде и на верхнем Алее, вероятно, «отражает общие элементы этнического состава и социальной структуры населения» этих территорий. Такие курганы северо-западных предгорий Алтая, как курган №1 могильника Гилево-XVI, он связывал с доминирующей здесь в определенный период группой тюрков (Могильников В.А., 2002, с. 71–72, 75).

Исследователь также попытался совместить социально-планиграфический анализ кимакских прямоугольных надмогильных каменных конструкций и данные о половозрастном составе погребенных в этих памятниках. По его словам, прямоугольные каменные ограды являются ведущей надмогильной конструкцией в кимакских курганах конца IX – первой половины XI в. Они были представлены в 38 курганах и составляют 38% из общего числа, а вместе с оградами длинных курганов – 52%. Как считал В.А. Могильников, в зависимости от социального ранга погребаемых размеры и высота кладки оград варьировали. В плане их размеры колебались от 4,2х4,3 до 6,7х7 м, чаще всего 5х5 м. В длинных курганах, согласно наблюдениям автора, «к основной ограде с северной и южной сторон пристраивали обычно меньшие по величине дополнительные ограды, из-за чего курган обретал овальную форму, вытянутую С–Ю с небольшими отклонениями». Всего в регионе верхнего Алея исследователем было изучено 14 длинных курганов. В таких курганах, как правило, было либо два (9 курганов), либо три захоронения (5 курганов). Сопоставляя длинные курганы верховьев Алея с аналогичными памятниками Верхнего Прииртышья, ученый отмечал, что в Прииртышье под отдельными длинными курганами было до восьми погребений, а на некрополе Зевакино – до 11 захоронений. Согласно гипотезе В.А. Могильникова, планировка комплексов оград в длинных курганах,

являясь более поздней погребальной конструкцией, «как бы имитировала цепочки курганов, также ориентированные С–Ю». При этом «погребенные под длинными курганами оказывались более тесно связанными рамками общей надмогильной конструкции», что отражало семейную принадлежность как длинных курганов, так и небольших цепочек круглых курганов (Могильников В.А., 2002, с. 73–74).

Половозрастные определения останков людей их 11 длинных курганов показывают, что в основных погребениях данных курганов были представлены одно коллективное (курган №4 могильника Гилево-VII, погребение №2 – двое мужчин, юноша, две женщины), девять мужских, одно женское (курган №6 могильника Гилево-XIII; возраст покойной 18–20 лет). На этом основании ученый сделал вполне логичный вывод о том, что среди основных погребений длинных курганов «мужские захоронения явно преобладали». Для автора это служило важным аргументом в пользу предположения о ведущей роли мужчин в кимакском обществе (Могильников В.А., 2002, с. 74).

Из 14 пристроенных боковых погребений, по сведениям В.А. Могильникова, были представлены одно парное (курган №4 могильника Гилево-VII, погребение №1), два мужских (курган №4 могильника Гилево-XII, погребение №2 и курган №15 могильника Гилево-XIII, погребение №2), шесть женских, пять детских. Это, по словам исследователя, «отражает более низкий социальный статус женщин и детей и подтверждает вывод относительно семейного характера длинных курганов. Также ученый отметил, что среди боковых погребений только парное (курган №4 могильника Гилево-VII, погребение №1) и одно мужское (курган №4 могильника Гилево-XII, погребение №2) сопровождалось останками коней. Примечательно, что в единственном из основных женских захоронений (курган №6 могильника Гилево-XIII, погребение №1) более низкий статус женщин маркировался положением в могилу уздечки вместо коня (Могильников В.А., 2002, с. 74).

В.А. Могильников также указывал на то обстоятельство, что более низкий социальный статус лиц, похороненных в боковых могилах, «подчеркивает такая деталь, как скудный инвентарь или даже его отсутствие». В связи с этим он предполагал, что в центральной ограде хоронили главу семьи, а в пристройках или вне ограды ее членов. При этом мужчин хоронили преимущественно в пристройках с южной стороны от основной ограды, женщин – с северной. Аналогично и в курганах Верхнего Прииртышья: мужчин и подростков мужского пола хоронили в южных пристройках, а женщин и девочек – в северных (Могильников В.А., 2002, с. 74).

Социально-дифференцирующие моменты ученый видел и в изменении погребальной обрядности в X – начале XI в., когда возник обычай класть покойникам вместо коня уздечки и седла. Однако данная тенденция, еще не осмысленная до конца социальными археологами, стала проявляться и ранее. Например, в одном из курганов (№1) могильника Корболиха-VI вместо коня был уложен баран. Возможно, как считал исследователь, в ноги погребенной была положена шкура барана, что ассоциируется с укладыванием барана вместо коня в детских и подростковых захоронениях у тюрок Саяно-Алтая VI–VIII вв. (Могильников В.А., 2002, с. 71, 78).

В целом в изученных памятниках верхнего Аля конь присутствовал в 35 погребениях мужчин (70%), 11 погребениях женщин (22%) и одном погребении юноши (2%). В погребениях детей сопроводительные захоронения коней отсутствовали. Среди мужских захоронений, по подсчетам В.А. Могильникова, сопроводительное захоронение коня было обнаружено в 18 индивидуальных (51,4%), 8 парных (22,9%) и 9 коллективных (25,7%) погребениях. Ученый отметил, что социальная интерпретация коллективных и парных погребений может быть разной в каждом конкретном случае, но при этом во всех захоронениях такого типа присутствовал мужчина и далеко не во всех – женщины и дети, что является, по мнению археолога, одним из ведущих показателей патриархальных отношений с господствующей ролью мужчины. Исключение составил только курган №2 могильника Гилево-XVI, где была похоронена женщина с ребенком, с относительно богатым инвентарем (обломок китайского зеркала, бусы и др.), и находились останки мужчины без инвентаря, помещавшиеся за костями коня. В.А. Могильников считал, что это указывало на более низкий социальный статус мужчины (может быть, раба), по сравнению с основным захоронением женщины и ребенка (Могильников В.А., 2002, с. 78–79).

Также ученый, указывая на «социально значимые» элементы погребальной обрядности, отметил, что из 8 парных захоронений только в двух было по два коня (курган №5 могильника Гилево-V и курган №4 могильника Корболиха-VIII). Причем в последнем, судя по остаткам стрел из двух колчанов, были похоронены двое мужчин-воинов. В остальных парных погребениях было выявлено только по одному коню, предназначавшемуся, очевидно, мужчине-воину, что четко определено в кургане №18 могильника Гилево-IX, кургане №1 могильника Гилево-XII и кургане №2 могильника

Корболиха-VIII, содержавших захоронение мужчины с ребенком, которому конь не полагался, «как в коллективных, так и в немногочисленных детских захоронениях» (Могильников В.А., 2002, с. 79).

По мнению исследователя, экипировка коней также отражала социальный статус погребенных. Именно в богатых захоронениях воинов наряду с многочисленными наконечниками стрел, палашами или саблями, находились остатки уздечек и седел с железными стременами, ремни которых украшены бронзовыми и серебряными, зачастую позолоченными бляшками. В то же время, писал В.А. Могильников, в отдельных случаях представлены сопроводительные захоронения коней без сбруи (курган №1 могильника Корболиха-V, погребение №1) или только с одной уздечкой без стремян и других принадлежностей (курган №2 могильника Корболиха-II), но в этом случае необходимо учитывать степень разграбленности могил (Могильников В.А., 2002, с. 79).

Подводя итоги в заключении, В.А. Могильников еще раз отметил, что небольшие размеры отдельных некрополей характеризуют их как семейные кладбища. Существенные различия в инвентаре и размерах погребальных конструкций этих некрополей, по словам автора, можно трактовать как показатель социальной и имущественной дифференциации между семьями, а конструктивное многообразие – как свидетельство многокомпонентности этнического состава (Могильников В.А., 2002, с. 124).

Исследователи нередко высказывали довольно конкретные оценки социального статуса либо общественно-политической роли людей, погребенных в памятниках раннего средневековья. Например, подобная трактовка материалов раннетюркских курганов №5 и 6 могильника Усть-Бийке-III была предпринята А.А. Тишкиным и В.В. Горбуновым. В этих курганах были обнаружены одиночные мужские погребения. В кургане №5 имелось сопроводительное захоронение коня на приступке. Такая же приступка сохранилась и в кургане №6, однако захоронение коня по каким-то причинам не было осуществлено. Инвентарь погребений представлен оружием (сложносоставные луки, наконечники стрел; в кургане №5 – фрагмент однолезвийного меча, берестяной колчан), детали пояса, ножи, оселок, снаряжение верхового коня в кургане №5 (удила, стремя, подпружные пряжки, цурки). Авторы обратили внимание на то, что курганы №5 и 6 составляли самостоятельную цепочку на разновременном могильном поле. Совокупность всех данных позволила ученым предположить, что захоронения принадлежали дружинникам. При этом погребенный зрелый мужчина в кургане №5 интерпретировался как представитель командного состава («сотник», «десятник»), а воин пожилого возраста из кургана №6 – как рядовой дружинник (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 137–145).

Интересна трактовка материалов одиночного кургана Бирюзовая Катунь-1 раннетюркского времени (катандинский этап; вторая половина VII – первая половина VIII в.). В кургане был похоронен мужчина 50–55 лет в сопровождении коня. Инвентарь включал наконечники стрел, тесло, нож, курант, зернотерку, гарнитуру двух поясов, снаряжение верхового коня, зерна, по всей видимости, помещенные при захоронении в мешочек. Авторы раскопок предположили, что погребенный занимал «относительно привилегированное положение в обществе», так как сопровождался «всеми основными атрибутами, маркерами полноправного мужчины-эра (предметы вооружения, два поясных набора и конская амуниция). Однако он в силу своего возраста «утратил свое социальное значение и сохранил лишь общую атрибутику, слабо отражавшую его былую роль». Исследователи в связи с этим указывают на находки зернотерки, курантов, скопления зерен и высказывают предположение, что основу питания погребенного составляла растительная пища из-за прижизненной утраты зубов на верхней челюсти (Кирюшин К.Ю. и др., 2005, с. 339–340, 343).

В другом случае Ю.С. Худяков совместно с монгольскими коллегами Д. Эрдэнэбаатаром и Ц. Тубатом, анализируя материалы тюркского впускного захоронения мужчины с конем VIII–X вв. в кургане №60 хуннского могильника Эгин-гол в Монголии (определение хронологии и культурной принадлежности данного захоронения было произведено Ю.С. Худяковым), высказали ряд наблюдений о социальном положении тюркского населения в составе Уйгурского и Кыргызского каганатов. В частности, отмечается бедный сопроводительный инвентарь тюркских захоронений последней трети I тыс. н.э. на территории Северной и Северо-Западной Монголии. Исследователи предположили, что эти погребения могли принадлежать «рядовому древнетюркскому населению». Присутствие же лука и наборного пояса во впускном захоронении дало основание ученым трактовать его как принадлежащее мужчине-воину. Из числа таких рядовых кочевников, как считают авторы, «правители Уйгурского и Кыргызского каганатов могли набирать отряды вспомогательной легковооруженной конницы». Было также высказано мнение о том, что тюркские погребения VIII–X вв. в Монголии и Саяно-Алтае, сопровождавшиеся панцирными пластинами, фрагментами ламеллярных и комбинированных доспехов, принадлежали «родоплеменной знати» (Эрдэнэбаатар Д., Тубат Ц., Худяков Ю.С., 2004, с. 178).

Вопросы социальной организации кочевников Саяно-Алтая эпохи средневековья были затронуты В.В. Горбуновым в контексте изучения комплекса вооружения (Горбунов В.В., 2003; 2006). Проанализировав на основе археологических, письменных и иконографических источников элементы защитного и наступательного вооружения, исследователь пришел к следующим выводам. Во-первых, кочевые общества Алтая эпохи раннего средневековья были значительно милитаризованы, о чем свидетельствуют разнообразные предметы вооружения. Во-вторых, имеющиеся материалы позволяют проследить и социальный аспект в военной организации кочевников. Так, к числу широко распространенных предметов воинского искусства среди разных социальных групп воинов тюркского, кыргызского и «сросткинского» обществ ученые отнесли доспех, лук и стрелы, мечи, сабли, ножи, кинжалы, щиты. В то же время такие предметы вооружения, как, например, копье или кистень, были характерны для лиц с более высоким социальным (военным) статусом, в том числе для лиц, представлявших высший командный состав (Горбунов В.В., 2003, с. 98; 2006, с. 46, 56, 74, 82, 88, 93). В.В. Горбунов (2006, с. 92) также особо подчеркнул, что наиболее зажиточные и знатные кочевники могли составлять основу средней конницы или служить в качестве усиления и командного состава легковооруженных формирований.

На социальную значимость украшений конской амуниции обратила внимание Т.Г. Горбунова. Она полагает, что данные изделия ярко маркируют принадлежность человека к определенному социальному слою (Горбунова Т.Г., 2003, с. 109). Из общего числа известных автору сросткинских погребений (453) только 68 содержали украшения конской амуниции, что, по мнению исследовательницы, отражало высокое социальное положение погребенных в данных захоронениях людей. В этих 68 могилах было зафиксировано 78 целых или частично сохранившихся наборов украшений. Т.Г. Горбунова, правда, отмечает, что анализировались только те археологические объекты, по которым имелась полноценная информация: обряд погребения, конструкция погребального сооружения, сопроводительный инвентарь, половозрастные показатели. Тем самым в исследовании учитывалось наибольшее число критериев. Также Т.Г. Горбунова (2003, с. 109) разбила 68 анализируемых погребений на группы, в соответствии с выделяемыми этапами развития сросткинской культуры: к раннему Инскому этапу (вторая половина VIII в. – первая половина IX в.) относилось 14 погребений, к Грязновскому (вторая половина IX в. – первая половина X в.) – 30, к Шадринцевскому (вторая половина X в. – первая половина XI в.) – 23; к Змеевскому этапу (вторая половина XI–XII вв.) – 1.

Исследовательница постаралась учесть тот факт, что украшения амуниции коней происходят из 44 могил, в которых фиксировался обряд ингумации с сопровождающим захоронением коня, из трех могил по обряду кремации человека в сопровождении коня, 4 кенотафов, 11 погребений с обрядом ингумации и трех с кремацией. Ингумации в сопровождении с конем Т.Г. Горбунова связывает с тюркскими захоронениями. В дальнейшем тюрки, покорив местное самодийское население Алтайской лесостепи (обряд ингумации и кремации человека без коня), заняли привилегированное положение в сросткинском обществе (Горбунова Т.Г., 2003, с. 110).

Проведенный Т.Г. Горбуновой анализ позволил сделать ряд важных выводов. Среди всех рассматриваемых захоронений с украшениями конской амуниции 34 принадлежали взрослым мужчинам, 12 – взрослым мужчинам, вместе с которыми были похоронены женщины, подростки или дети, 7 – женщинам и 5 – подросткам или детям. С учетом того, что в парных и коллективных захоронениях, как полагает исследовательница, украшения конской амуниции принадлежали мужчинам, доля мужских захоронений с украшениями составила 68%. Кроме того, и в погребениях с кремациями и большинстве кенотафов, содержащих украшения амуниции коня, можно предполагать их мужскую принадлежность. Тем самым автором было показано, что украшения на конском снаряжении были преимущественно мужским знаком социального отличия (Горбунова Т.Г., 2003, с. 110).

Данные по погребальному обряду и видовому составу инвентаря анализируемых комплексов Т.Г. Горбунова рассматривает как принадлежащие «представителям элиты сросткинского общества» и подразделяет их на три группы:

1. Правящий слой – главы родов и племен, которым принадлежала политическая власть в сросткинском обществе. Они осуществляли военное, гражданское, судебное и религиозное руководство. Как считает исследовательница, одна из этих общин (племя) должна была обладать верховной властью и из нее выбирался каган. К данной группе она отнесла два погребения к Инскому этапу (курганы №3 и 14 могильника Иня-I), два – к Грязновскому (курган №1 могильника Белый Камень и Корболиха-VII), три – к Шадринцевскому этапу (курган №4 могильника Щепчиха-I, курган №1 могильника Ивановка-III, Грань). Погребенных в этих курганах людей сопровождали от 2 до 6 лошадей и максимальный по разнообразию и видовому составу инвентарь (конская амуниция, вооружение, орудия труда и предметы быта, декоративные изделия). Украшения от снаряжения верховых коней

изготовлены, как правило, с использованием драгоценных металлов (золото и серебро) и оформлены преимущественно в тюркской художественной традиции. Т.Г. Горбуновой удалось выявить взаимосвязь элитных захоронений первой группы Грязновского этапа, что позволило ей предположить наличие брачных связей между погребенными мужчиной (Белый Камень) и женщиной (Корболиха-VII).

2. Старший служилый слой, формировавшийся из родственников и личного окружения правителей. Из их состава, как полагает Т.Г. Горбунова, назначались военачальники, наместники, послы и т.д. На Грязновском этапе к этой группе относятся 19 погребений, на Шадринцевском – 11. Они представляют собой могилы с ингумацией или кремацией человека в сопровождении одного или двух коней или просто с одиночной ингумацией. Исследовательница отмечает, что данные курганы не столь персонифицированы, поскольку под одной насыпью могли располагаться несколько могил, а в одной могиле – несколько погребенных. Украшения конской амуниции выполнены как в тюркской, так и в сроткинской традициях.

3. Младший служилый слой – это профессиональные воины, которые входили в дружины бегов. В эту группу вошли 11 могил Грязновского этапа, 7 – Шадринцевского и 1 – Змеевского. Они представлены погребениями по обряду одиночной ингумации, ингумациями в сопровождении с одним конем или трупосожжениями. Как отмечает Т.Г. Горбунова (2003, с. 110–112), в этой группе преобладают украшения конской амуниции, выполненные в сроткинской художественной традиции, но без драгоценных металлов.

Говоря о раннем (Инском) этапе сроткинской культуры, исследовательница указывает, что разделение на старший и младший служилый слой не фиксируется, а материалы погребений «свидетельствуют о невысокой социальной ранжированности» сроткинского населения. Согласно точке зрения Т.Г. Горбуновой для Инского этапа характерна биполярность общества, при которой его элита была представлена лишь тюрками. На Грязновском и Шадринцевском этапах ситуация меняется из-за того, что «представители местного населения постепенно выслуживались до высокого социального положения». Об изменении их статуса, по мнению исследовательницы, свидетельствует богатый инвентарь погребений по самодийскому обряду, в том числе наличие в них украшений амуниции коня. Оформление «двойной элиты» на Грязновском и Шадринцевском этапах привело к тому, что в сроткинском обществе возникла более четкая и дробная социальная дифференциация (Горбунова Т.Г., 2003, с. 112).

В целом опыт исследования общественной структуры на основе анализа украшений конской амуниции, а также всех социально значимых параметров погребального обряда носит положительный характер и может стать основой определенной палеосоциологической методики.

Оригинальную интерпретацию материалов могильников Чааты-I и II предложил Д.Г. Савинов. Эти памятники, расположенные недалеко от II и III Шангорских городищ уйгуров в Центральной Туве, вызвали длительную дискуссию по хронологии и этнокультурной принадлежности данных некрополей (Савинов Д.Г., 2006, с. 44–46). Изучение синхронных материалов в Монголии, Туве, Горном Алтае, Кемеровской области убедило археолога в том, что материалы памятников Чааты-I и II можно датировать VIII–IX в. Однако генезис катакомбной формы погребений Чааты и отчасти представленных в рассматриваемых могильниках предметов инвентаря Д.Г. Савинов связывал с захоронениями в подбоях в составе могильного комплекса Кокэль, а не с погребальными памятниками уйгурского времени в Монголии. Это предположение позволяет, как пишет ученый, решить целый ряд вопросов: 1) часть населения кокэльской культуры сохранилась в Туве и была подчиненна «сначала тюркам (?), а затем уйгурам»; 2) длительное сохранение хуннских традиций в Туве; 3) катакомбные кладбища в Туве могли быть оставлены представителями местного населения, которым была поручена охрана оборонительных сооружений на северной границе Уйгурского каганата (Савинов Д.Г., 2006, с. 46–49).

В своей историко-археологической трактовке материалов некрополей Чааты-I и II исследователь исходит не только из установленных им хронологических параллелей и связи погребальных традиций могильников Чааты-I, II с кокэльскими материалами, но также учитывает историческую обстановку, сложившуюся в Туве во второй половине VIII – начале IX в. Уйгурское завоевание Тувы привело к соприкосновению уйгуров с кыргызами, что вызвало необходимость блокировать с помощью создания системы укрепления возможность вторжения в Центральную Туву кыргызской армии. Данная оборонительная линия включала 17 крепостей, образующих выпуклую линию, центральный выступ которой обращен в сторону Саянского хребта. Протяженность границы и количество городищ-крепостей требовали привлечения к гарнизонной службе наряду с уйгурскими военными подразделениями и местного населения (Савинов Д.Г., 2006, с. 44).

Гипотеза Д.Г. Савинова позволяет по-новому взглянуть на отношения уйгуров с подчиненным населением Тувы. По всей видимости, уйгуры в лице некоторых групп номадов Центральной Тувы имели своеобразных союзников-«федератов», которым доверялось охранять от кыргызов ключевые рубежи, естественно, под надзором уйгурских гарнизонов и специальной администрации наместника, расположенной, возможно, в городище Пор-Бажин на оз. Тере-Холь (Савинов Д.Г., 2006, с. 46).

Важное значение в раскрытии социальной семантики изваяний имеют исследования В.Д. Кубарева. В одной из совместных публикаций монгольский ученый Д. Цэвээндорж обратил внимание на обычай древних тюрок устанавливать парные изваяния мужчин-воинов. Подобные мемориалы, как пишет ученый, «были призваны восхвалять ратные подвиги выдающихся представителей древнетюркской знати и дружинной верхушки». Исследователи выдвинули гипотезу о том, что парные изваяния изображали двух соправителей (шада-сада), одновременно выполнявших функции военных предводителей. Авторами отмечается, что погребения подобных лиц, исследованные на Алтае, резко выделяются на фоне массовых древнетюркских курганов рядовых кочевников большими размерами каменных насыпей, большим числом захоронений лошадей (до четырех) с одним человеком, многочисленными дорогими предметами, оружием и доспехами, помещенными в могилы. Как и парные поминальные оградки с изваяниями двух знатных тюрок (выполненные, вероятно, одним мастером), курганы дружинной аристократии сооружались парами и, очевидно, одновременно. Об этом говорят идентичность всех черт погребальной обрядности и сходный набор богатого инвентаря. Ученые считают, что в древнетюркском обществе «существовал и параллельный обычай символических парных захоронений знатных воинов (побратимов?) в одной общей могиле-кенотафе или в отдельно возведенных, но рядом расположенных больших курганах» (Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 2002, с. 84).

Рассматривая скульптуры (8 мужских и одна женская фигуры, 6 фигур баранов и четыре фигуры львов) древнетюркского мемориала Шивет-Улан в центре Монголии, В.Д. Кубарев и Д. Баяр выявили, что среди скульптурных изображений людей есть фигуры, у которых в одной руке зажат посох, трость или жезл (изваяния 2, 5), возможно, символизирующие власть, знатное происхождение и богатство. Исследователи указали на два аналога этим атрибутам, которые известны в Монголии по наскальным рисункам древнетюркской эпохи – «гравированному изображению тюрка, опирающегося на посох, и выбитому изображению всадника с небольшим жезлом или даже булавой, принимающего участие в соколиной охоте». Эти престижные предметы, показанные на изваяниях, ученые сравнивают с жезлами-палицами и посохами, которые держат в руках персонажи «свадебного кортежа», запечатленного в настенных росписях Афрасиаба VII–VIII вв., где представлены в основном знатные тюрки и согдийцы (Кубарев В.Д., Баяр Д., 2002, с. 74–80).

Важной чертой социально-ментальных установок кочевников была героизация воинов и военной деятельности в целом. Особенно ярко этот мотив представлен в мифологических и эпических произведениях, где ментальные установки того или иного общества находят отражение в стереотипных описательных формулах, устно-поэтических «клише», устойчивых образах и т.п. Исследователи не сомневаются, что подобная героизация имела сакральный подтекст (Шер Я.А., 1966, с. 62–64; Раевский Д.С., 1983; Юматов К.В., 1997, с. 3, 5–7, 11–12; и др.).

По мнению К.В. Юматова (1997, с. 3), многочисленные миграционные потоки, создание степных империй, противостояние с земледельческими цивилизациями и другими кочевыми сообществами порождали устойчивую ментальную среду, где военная культура с культом воинов-героев играла центральную роль. Эту точку зрения поддержала Л.Н. Ермоленко (2004, с. 13–15, 57–65).

К.В. Юматов полагал, что «героизация» воинов нашла отражение в древнетюркских изваяниях – скульптурных изображениях умерших (их «заместителях»). Меч или кинжал на изваяниях он трактует как показатель воинской доблести, сосуд – как предмет, который давал возможность покойнику «как бы участвовать в поминальных обрядах, принимать жертвоприношения сородичей в его честь» (Юматов К.В., 1997, с. 14–15). Согласно К.В. Юматову, изваяние должно было «увекочить не просто жизнь героя, а его воинскую славу, сделать ее бессмертной». В иконографии древнетюркских изваяний он видел образ эпического героя-воина, свирепого героя-убийцы врагов. При этом в изваянии древние «скульпторы», по словам исследователя, пытались выразить два основных канона восприятия воина-героя: 1) «военное» – защитника сородичей, неистового борца с врагами; 2) «мирное» – участника воинских пиров и сакрально-ритуальных процедур, широко распространенных в традиционных обществах (Юматов К.В., 1997, с. 16–17).

Среди символов воинской славы, присутствующих на изваяниях, В.Д. Кубарев и Д. Баяр выделяют также пояс, который чаще всего показан на изваяниях вооруженных воинов и, как правило, отсутствует на женских фигурах (Кубарев В.Д., Баяр Д., 2002, с. 80).

Рассматривая культ воинов-героев у тюркоязычных кочевников, Л.Н. Ермоленко обратила внимание на важность анализа тюркских поминальных памятников в комплексе. Такой комплекс состоял из трех элементов: оградка – изваяние – балбалы. Вопреки мнению В.Д. Кубарева (2001, с. 38–41), интерпретировавшего балбалы как «коновязи» – олицетворение поколений сородичей героя, и сведениям китайских источников, указывающих на то, что балбалы являлись символами убитых врагов, Л.Н. Ермоленко полагает, что балбалы в лице убитых врагов символизировали жертву, которую умерший приносил божеству войны. Тем самым в концепции исследовательницы все три компонента (оградка-мандала, изваяние, балбалы) были направлены на героизацию и прославление воина (Ермоленко Л.Н., 2004, с. 15, 48–57, 60–61).

Другой исследователь – Ю.А. Мотов (2001, с. 82) – считал, что «героизация в традиционном обществе закрепляла за воином... «ореол»... божественности, чем определялась его «счастливая» посмертная судьба, а родичи получали... покровителя, к которому обычно обращались за помощью».

Следует отметить и замечание Г.В. Кубарева (2007, с. 143) о том, что изваяния служили изображением «конкретных умерших людей, прежде всего воинов и уважаемых, богатых, знатных тюрок», т.е. также подчеркивали высокий общественный статус своих «прототипов».

Прямой иллюстрацией к образу «мужа-воина» были не только надписи (например: «мое мужское имя Адыг...» – Кляшторный С.Г., 2001, с. 214; 2001а; 2001б, с. 203–205; Klyashtorny S.G., 2002, с. 197–199), но и наскальные рисунки, на которых изображены воины-всадники с разнообразным оружием, защитными доспехами, экипировкой коней – ритуальные и эпические сюжеты, прославляющие героев (изображения вооруженных воинов, батальные, воинские сцены) (Черемисин Д.В., 2004, с. 41).

Среди сюжетов петроглифов, по наблюдениям Д.В. Черемисина, важное место занимает охота. Она нашла отражение в сценах, где всадник, вооруженный луком, преследует архара или пеший лучник с собакой охотится на марала. Сходная сцена представлена на другом памятнике в долине Чаган: всадник с копьем в руках противопоставлен горному козлу, которого гонит на хозяина собака (Черемисин Д.В., 2004, с. 43).

Особым великолепием, как пишет ученый, отличались батальные сцены, в которых тяжело-вооруженные рыцари в доспехах поражают друг друга копьями. Непосредственно связанный с этим сюжет петроглифов можно назвать «герой-триумфатор». На голове такого воина конический шлем, на теле длиннополый панцирный кафтан, лук на правом боку, колчан на левом; противника он поразиł копьем (Черемисин Д.В., 2004, с. 43–44). Ученый отмечает, что достойны своих богатырей-воинов и их лошади – высокопородные, боевые, с выстриженными гривами, экипированные и украшенные начельниками, кистями; одна из лошадей отмечена тамгой (Черемисин Д.В., 2004, с. 46).

По мнению Д.В. Черемисина, раннесредневековое искусство кочевников Евразии прокламативно. Наскальные гравюры Чаганки прославляют подвиги героев – ритуальные и эпические деяния, составляющие славу мужчины – воина и охотника. По изобразительному строю такие композиции исследователь сравнивает с тюркскими эпическими произведениями и средневековыми эпитафиями. Он полагает, что языком наскальной графики «манifestированы воинские идеалы, максимально соответствующие статусу вождя, непревзойденного на охоте и в битвах и обладающего совершенным, достойным героя оружием» (Черемисин Д.В., 2004, с. 46).

Ученый констатирует, что «военноморфная» природа древнетюркского искусства, связанного с военно-дружинной идеологией и воспеванием способов и средств ведения войны, сочеталась с «антропоморфным» началом. Техника граффити, как считает Д.В. Черемисин (2004, с. 47), позволяла художникам воспроизводить черты лица эпических героев, с «которыми могли отождествлять себя местные суверены, предводители тюркских племен, обитавших на юго-востоке Горного Алтая в VI–IX вв., деяния которых отражены в наскальном искусстве и нарративных источниках».

Аналогичные оценки дает В.Д. Кубарев, анализируя разные памятники наскального искусства. Он обращает внимание на популярность изображений вооруженного героя, катафрактария в шлеме и латах на петроглифических памятниках в долине р. Хар-Салаа. Подобные изображения воинов «на великолепном породистом скакуне только на одной плоскости скалы повторяются около 30 раз» (Кубарев В.Д., 2001а, с. 102–103). Исследователь предполагает, что «отдельные охотничьи и военные сцены из Хар-Салаа передают в лаконичной форме изобразительных цитат фрагменты зародившегося на Алтае тюрко-монгольского героического эпоса, в котором главными персонажами были баатыр-воин-охотник и его боевой конь» (Кубарев В.Д., 2001а, с. 105). Описывая одну из сцен охоты, В.Д. Кубарев указывает, что «любопытна фигура всадника, держащего в одной руке сокола или

орла (?), в другой стек или небольшую булавку – престижные атрибуты знатного воина» (Кубарев В.Д., 2001а, с. 98).

Еще одним символом, олицетворявшим власть и принадлежность к определенным рангам военного руководства, социальной элите, выступали знамена и бунчуки. Наряду с этим знамена и бунчуки использовались в дипломатических контактах, дополняя в качестве особого дипломатического знака грамоты и верительные бирки. Также символическое «водружение» знамени, как считает Ю.С. Худяков, соответствовало установлению власти над покоренными племенами. В целом в знаменах данный исследователь был склонен видеть государственную символику. Несколько иную роль, по мнению Ю.С. Худякова, играли бунчуки на копьях панцирных всадников, наскальные изображения которых хорошо известны в Центральной Азии. Ученый не считает их каким-то отличительным знаком, полагая, что, скорее всего, такие бунчуки были символами определенных военных отрядов конницы (Худяков Ю.С., 2005а, с. 350, 359, 361, 362–363).

Сравнительный анализ изобразительных традиций на скульптурных памятниках Монголии и Саяно-Алтая позволил выявить еще одну плоскость символическо-социальных различий между номадами, составлявшими «ядро» Тюркских каганатов и их северную кочевую периферию. Так, в статье о халатах древних тюрков, по изобразительным материалам, Г.В. Кубарев отмечает, что анализ костюма на различных древнетюркских изображениях и изваяниях дает возможность выделить ряд социально значимых моментов. Во-первых, исследователь обратил внимание на отличие запаха халатов изваяний Саяно-Алтая от тюркских скульптурных изображений Центральной Монголии. По наблюдениям ученого, тюрки запахивали халат на левую сторону, но элита кочевников зачастую носила китайские халаты и другую одежду. Среди изваяний Центральной Монголии есть скульптуры, на которых изображены халаты с характерным для китайской традиции правым запахом, причем «верхняя пола имела большой по ширине запах и фиксируется на боку справа». Кроме того, на «изваяниях Центральной Монголии, запечатлевших знатных тюрков, можно видеть... другую, разнообразную по покрою и форме отдельных деталей одежду» (с разрезами по бокам и сзади, с длинными рукавами, в одежде типа накидки, без оружия, но с жезлами; изваяния не в канонических позах и т.д.). Все это, по мнению Г.В. Кубарева, говорит о сильном китайском влиянии на тюркскую знать, восприимчивую к инокультурным заимствованиям престижных предметов. Такой вывод находил подтверждение и в письменных источниках, где упоминаются дары тюркам: готовые халаты, кафтаны, шапки и пр. (Кубарев Г.В., 2000, с. 85, 87, 88; 2005, с. 43–44).

Во-вторых, исследователь, указывая на слабую дифференциацию костюма древних тюрков на мужской, женский и детский, все же выявляет некоторые отличия женского костюма, который отличался от мужского «детальными, а также большей яркостью расцветки и рисунком ткани. В-третьих, Г.В. Кубарев предположил, что не покрой и расцветка характеризовали «одежду людей разных социальных слоев», а качество ткани. «На одном полюсе – орнаментированный шелк, на другой – домотканая шерстяная ткань и меховые одежды» (Кубарев Г.В., 2000, с. 86–87).

В целом археологические памятники дают достаточно многомерную картину социальных отношений, выступают в качестве маркеров социальных различий, характеризуют ментальные установки, получившие отражение не только в символике погребальных обрядов, но и в наскальных рисунках, изваяниях, отдельных предметах и т.д. Все эти аспекты служили предметом изучения социальной стратификации раннесредневековых номадов в отечественной археологии. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что социально-археологические исследования кочевых обществ Центральной Азии VI–XI вв. характеризуются противоречивыми тенденциями. Прежде всего необходимо отметить, что общая картина социальной дифференциации кочевых обществ Центральной Азии периода раннего средневековья, по данным археологии, остается крайне неясной. В постсоветский период за редким и не всегда удачным исключением отсутствуют генеральные обобщения по культурам, периодам. В определенной степени это объясняется спецификой погребений раннесредневековых кочевников и их недостаточной изученностью. Во-первых, погребальные памятники древнетюркского времени в сравнении с памятниками скифской эпохи гораздо слабее дифференцированы по размеру насыпей, внутримогильных сооружений, сопровождающему инвентарю и т.д. Во-вторых, стандартность погребального обряда не всегда позволяет проследить зависимость между богатством/бедностью сопроводительного инвентаря, наличием сопроводительных конских захоронений и размерами надмогильных и сложностью внутримогильных сооружений. В-третьих, малочисленные факты монографического изучения могильников древнетюркской эпохи. В-четвертых, мало изучены захоронения каганов и других представителей элиты кочевых объединений VI–XI вв., а исследование таких памятников позволяет существенно продвинуться в реконструкции социальной организации. В-пятых, практически не проводилось изучение социальной структуры раннесредневековых

номадов по данным погребений в Монголии, которая была эпицентром раннесредневековых кочевых политий. В итоге мы не располагаем, что особенно важно, реконструкцией общественной системы кочевников на образцовых материалах Монголии, необходимых для сравнительного анализа, так как социальные отношения на периферии каганатов могли в определенной степени «копировать» ту модель социальной структуры, которая существовала в Монголии – центре большинства раннесредневековых кочевых объединений имперского типа. Можно лишь говорить о необходимости введения в научный оборот материалов современных исследований и перспективах изучения общественно-политической организации тюрок, уйгуров и других кочевых народов, обитавших в Монголии в раннее средневековье, по данным археологии.

С другой стороны, среди российских археологов, занимающихся средневековьем, социальная тематика приобрела необычайную популярность. Мы наблюдаем заметный рост числа публикаций, либо специально посвященных анализу социальных отношений в том или ином кочевом сообществе, либо затрагивающих отдельные социальные сюжеты. Данная тенденция особенно очевидна в последние несколько лет. В этом достаточно кратком очерке по новейшим исследованиям социальной структуры, в котором из-за наших ограниченных возможностей проанализированы далеко не все работы по обозначенной в главе проблеме, мы стремились продемонстрировать именно широту охвата социально-археологических публикаций, разные методические приемы и концепции. Следует отметить, что сами социально-археологические исследования раннесредневековых памятников кочевников стали намного разнообразнее. Здесь, несомненно, сказывается влияние разных методологических подходов и постмодернистских традиций (постпроцессуальной археологии) в целом. На рубеже 1990–2000-х гг. возобладали внимание к частным сюжетам и проблемам. Археологи в этот период, изучая раннесредневековые памятники номадов, по существу ограничивались отдельными наблюдениями, сравнениями и оценками. Характерное для советской эпохи стремление встроить конкретный материал и выводы по социальным вопросам на основе изучения локальных памятников в какую-либо генеральную схему практически отсутствовало. Только в последние годы вновь наметился интерес к теоретическим и методическим вопросам. В связи с этим можно прогнозировать рост интереса к комплексным исследованиям, опирающимся на большой массив данных, что позволит выйти на уровень обобщений и фиксации тенденций социальной эволюции крупных кочевнических общностей. По существу подобные исследования уже стали появляться, но еще не сложились в мощное актуальное направление отечественной средневековой археологии. Можно также отметить, что на сегодняшний день российская наука вносит решающий вклад в изучение общественно-политических институтов кочевников Евразии периода раннего средневековья.

Подводя итог всему разделу, необходимо сказать, что в последние два десятилетия отечественные ученые существенно продвинулись в понимании социально-политических процессов в кочевых обществах Центральной Азии. Апробация различных методологических подходов и исследовательских методик превратила российское кочевниковедение в весьма многогранное явление, у которого имеются очень неплохие перспективы занять ведущее место в мировой науке и сфере изучения общественных и властных институтов номадов как с исторической, так и с археологической точки зрения.

Раздел III

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЯХ И КОНЦЕПЦИЯХ

Глава 7

Сакрализация правителей и служители культов в кочевых обществах Центральной Азии

7.1. Начальный этап формирования религиозной элиты у кочевников Саяно-Алтая в скифо-сакский период

Существует обширная социологическая, политологическая и историческая научная библиография, посвященная изучению процессов формирования и функционирования элит (см обзор: Ашин Г.К., 1985; Радаев В.В., Шкаратан О.И., 1996, с. 166–183; Ашин Г.К., Понеделков А.В., Игнатов Е.Г., Старостин А.М., 1999; Крушанов А.А., 2001; и др.). В последние годы в отечественной науке активно разрабатывается данная проблематика и в отношении древних и средневековых народов. При этом особое внимание обращается не только на письменные, но и на археологические данные (Зданович Д.Г., 1997; Тишкин А.А., 2005; Дашковский П.К., 2005; 2009а; и др.). Несмотря на дискуссионность отдельных положений «теорий элит», тем не менее исследователи отмечают, что количество элит в социуме может быть столь же многообразным, как и областей общественной жизни (Радаев В.В., Шкаратан О.И., 1996, с. 166–183). В этой связи вполне оправдано выделение политических, экономических, военных, профессиональных элит, которые тесно взаимосвязаны между собой, хотя это и не исключает их соперничество. В отношении кочевых обществ Центральной Азии эта проблематика частично рассмотрена нами в предыдущих разделах. Остановимся подробно на религиозной элите (священнослужители, жрецы и т.п.), которая не освещалась нами ранее, поскольку это направление исследователей стало активно разрабатываться только в последние годы. Между тем важно подчеркнуть, что такая элита играла важную роль во многих архаичных, средневековых и традиционных обществах (Полосин В.С., 1999, с. 145–148). Это связано с тем, что указанное социальное объединение в отличие от других элит состояло на службе общества, следовательно, являлось его служащим и должно действовать исключительно на благо всех его членов, а не отдельных группировок (Вебер М., 1994, с. 99). В то же время надо признать, что история знает примеры, когда представители религиозной элиты выступали в интересах отдельных лиц, группировок и партий. В целом религиозная элита включает в себя наиболее влиятельных и авторитетных религиозных деятелей, которые могут обеспечивать отправление значимых ритуалов, участвовать в разработке догматики вероучения и обрядности, а также оказывать влияние на отдельные нерелигиозные направления развития государства. Некоторые представители религиозной элиты могут обладать чертами харизматического лидера, что дополнительно усиливает их авторитет в обществе.

Формирование религиозной элиты у кочевых народов Центральной Азии, вероятно, началось еще в скифскую эпоху (Дашковский П.К., 2005; 2009а). В этот период на территории степной полосы Евразии идет процесс сложения различных по характеру социокультурных объединений кочевников, во главе которых стоял правитель. Особенности социального статуса таких персон у кочевников Центральной Азии подробно нами освещены в данной монографии, поэтому отметим, что в руках этих лиц сосредоточивалась вся верховная управленческая, военная и религиозная власть. Данная ситуация являлась характерной чертой древних и традиционных обществ (Крадин Н.Н., 2001в, с. 162).

Имеющие немногочисленные для этого периода письменные свидетельства античных авторов позволяют создать представления о мировоззренческом значении роли правителя в социуме. Так, Геродот (IV, 71) достаточно подробно описывает погребение скифского «царя», отмечая, что после его смерти сооружается погребальная камера, а тело умершего бальзамируется, после чего на повозке совершается прощальный объезд народа, т.е. «подданных». Куда бы ни приезжала эта траурная процессия, скифы всюду выражали свою скорбь и горе. Они намеренно ранили себя, протыкали ру-

ки, рвали волосы и плакали. Вероятно, такое аффективное поведение должно было означать не просто горечь утраты, а символизировать одновременно наступление хаоса, мрака, разрушение гармонии социума и всего универсума. Это связано с тем, что уже в скифскую эпоху правитель как раз выступал как олицетворение единства общества. После похорон «царя» символом единства кочевников наряду с новым правителем выступает погребальный комплекс. Эти объекты номады часто начинают использовать для проведения сложных ритуальных действий. Показательны в этом отношении «царские» курганы могильника Пазырык на Алтае, которые могли неоднократно использоваться как своеобразные камеры-часовни (Савинов Д.Г., 1995а, 1996, 1997). Другим примером является погребально-поминальный комплекс Урочище Балчиново-3 на Алтае (Шульга П.И., 2000). Аналогичную функциональную направленность и семантическую нагрузку имели, вероятно, Иссыкский курган у саков Казахстана (Акишев К.А., Акишев А.К., 1981), Аржан-1, 2 у «аржанцев» Тувы (Бокоренко В.Н., 1988; Марсадоллов Л.С., 1989, 1989а; Аржан..., 2004; и др.). К этому нужно добавить, что погребальный памятник в кочевом обществе рассматривался как своеобразная модель мира (Дашковский П.К., 1997; Ольховский В.С., 1999; Мартынов А.И., Герман П.В., 2001; и др.). В данном случае погребальный комплекс правителя выступал как своеобразный мировоззренческий центр для всего социокультурного объединения. Не случайно, что некоторые исследователи склонны видеть в Пазырыкском некрополе своеобразные сакральные центры кочевого мира (Курочкин Г.Н., 1993), а в погребенных – героизированных и обожествленных «вождей» номадов (Мотов Ю.А., 1998).

Важно отметить, что на определенном этапе социо- и политогенеза идея власти, олицетворением которой был правитель, гораздо лучше воспринималась через знак (символ), стимулирующий в психике соответствующие переживания и формы поведения (Бочаров В.В., 1996, с. 29). Идея власти могла воплощаться в различных объектах и явлениях, образуя своеобразную «политическую символику» (Попов В.А., 1996). Подобным символом, вероятно, могли быть не только отдельные предметы (жезлы, культовые вещи и т.д.), но и весь погребально-поминальный комплекс в силу своей, как отмечено выше, мировоззренческой значимости.

В этой связи примечательны сведения о скифе Иданфирсе, адресовавшем послание персидскому царю Дарию. В нем он указывал на то, что если враг хочет сразиться с кочевниками, то тогда ему надо найти и разрушить могилы их предков (Геродот, 15, IV, 127). В такой ситуации разграбление или осквернение «царского» погребения рассматривалось бы как разрушение святыни всего социокультурного объединения.

Другим аспектом формирования религиозной элиты у кочевников скифо-сакского периода является вопрос сложения особой группы служителей культа, священнослужителей. Изучение социального статуса персон, выполняющих функции священнослужителей (жрецов, шаманов и т.п.) в обществе кочевников, – одна из наиболее сложных и слабо разработанных тем (Дашковский П.К., 2001, с. 316–319). В определенной степени эта проблематика изучена в отношении скифов и сарматов (Граков Б.Н., 1947; Смирнов К.Ф., 1964; Хазанов А.М., 1973; Яценко С.А., 2007), хотя некоторые вопросы остаются дискуссионными до настоящего времени (Зуев В.Ю., 1996, 1996а; Банников А.Л., 2000; Федотов В.К., 2000; 2001; и др.).

Гораздо в меньшей степени вопрос о служителях культа изучался в отношении номадов Центральной Азии скифо-сакского периода. Несмотря на отсутствие специальных работ по данной проблеме, тем не менее ряд отечественных и зарубежных ученых в разной степени касались ее рассмотрения, прежде всего в отношении «пазырыкцев» Алтая. Еще в 1952 г. Ф. Ханчар (1952) высказал предположение о том, что отправление религиозных обрядов у «пазырыкцев» совершалось специальной категорией лиц – шаманами. В качестве подтверждения своей идеи он указывал на отдельные предметы погребального инвентаря мужчины из Второго Пазырыкского кургана. Среди таких вещей шаманской практике, по мнению исследователя, наиболее соответствовали бубен, струнный музыкальный инструмент, набор для ритуального курения конопли и ряд других находок (Нансаг Ф., 1952). Однако с критической оценкой точки зрения Ф. Нансаг выступил С.И. Руденко (1953; 1960). Во-первых, археолог высказался против отождествления погребенного мужчины из Второго Пазырыкского кургана с шаманом, а также был в целом не согласен с «шаманистической окраской» всей пазырыкской религии. Во-вторых, С.И. Руденко (1953, с. 339) полагал, что в обществе кочевников Горного Алтая еще не сложилось специального слоя священнослужителей – жрецов.

В то же время анализ логики рассуждений ученого позволяет предположить, что он признавал наличие достаточно развитой религиозно-мифологической системы у номадов, включающей в себя широкий спектр сложных обрядовых действий (Руденко С.И., 1952; 1953; 1960). Вероятнее всего,

непосредственное признание существования жреческого слоя в социальной организации кочевников Горного Алтая осложнялось, с одной стороны, ограниченностью в то время источниковой базы для таких выводов. С другой стороны, подобное утверждение противоречило бы исходным методологическим принципам марксистского материалистического понимания истории и идеологическим установкам, постулирующих ограниченный уровень социального развития кочевников и отсутствие у них каких-либо форм государственности. Именно эти признаки «пазырыкского» социума позволяли вписать его в традиционную для советской науки того времени формационную теорию.

В последующее время идею Ф. Ханчар о существовании в «пазырыкском» обществе шаманов стали активно обсуждать С.С. Сорокин (1969а; 1978), Ф.Б. Балонов (1987), Н.Ю. Кузьмин (1992), Г.Н. Курочкин (1988; 1991–1994), Вл.А. Семенов (1996, с. 28), Д.В. Черемисин, А.В. Запорожченко (1996), Н.А. Боковенко (1996) и ряд других исследователей. Ученые достаточно подробно изучили материалы раскопок из больших Пазырыкских курганов, что позволило отчасти расширить круг предметов, относимых к шаманским атрибутам.

Важно обратить внимание в связи с рассмотрением данной темы на ряд идей Г.Н. Курочкина (1988; 1991–1994). Во-первых, он сделал предположение о том, что в «пазырыкском» обществе существовала теократическая (или сакрализованная) модель управления. Во-вторых, по мнению ученого, Пазырыкский могильник можно рассматривать как «корпоративное кладбище жрецов, поскольку на Алтае был размещен сакральный центр скифского мира». В данном случае следует особо отметить, что Г.Н. Курочкин не делает принципиальной разницы между дефинициями «жрец» и «шаман», используя их как синонимы. Между тем представители религиоведческой науки указывают не только на сходство этих категорий лиц, но и на их принципиальное различие (Басилов В.Н., 1992; 1993, с. 11; Токарев С.А., 1990, с. 42; Элиаде М., 1998, с. 17; и др.).

Не останавливаясь на анализе указанных дефиниций, отметим лишь то, что большинство отечественных религиоведов под понятием «жрец» понимают представителя «особой иерархической группы религиозной общины, профессионально» занятого «отправлением религиозных обрядов, сохранением и развитием религиозного знания» (Токарев С.А., 1990, с. 561–562; Учебный словарь..., 1998, с. 367).

По мнению А.М. Хазанова, одна из основных функций жречества заключалась в обеспечении благосклонности высших сил по отношению ко всему социуму. Кроме этого, в обязанности священнослужителей входило идеологическое и мировоззренческое обоснование единства всех социальных групп населения, что должно было обеспечить его стабильное развитие (Хазанов А.М., 1975а). При этом социальный статус жречества был обусловлен следующими факторами: 1) наличие представлений о данной группе как о посредниках между людьми и божественными силами, обладающими способностями вмешиваться в социокультурную жизнь общества и человека через общение с высшими существами; 2) определенная степень монополизации религиозно-магических знаний; 3) частичное участие в разных формах жрецов в распределении материального богатства общества; 4) отправление представителями этой группы судебно-карательных функций (Хазанов А.М., 1975а, с. 179). Важно также обратить внимание, что жречество, как институт, слабо связано с другими социальными структурами и имеет тенденцию к закрытому характеру функционирования.

Под вторым из рассматриваемых терминов – «шаман», подразумевается человек, который способен вступать в непосредственный контакт с духами и оказывать на них влияние (Басилов В.Н., 1993, с. 11–12; Токарев С.А., 1990, с. 266–291; Учебный словарь, 1998, с. 520–521; Торчинов Е.А., 2000, с. 82–107; и др.). Некоторые представители религиоведческой науки отмечают также, что шаман способен выполнять функции мага, знахаря, мистика, поэта и жреца (Элиаде М., 1998, с. 17).

Следует отметить, что ряд зарубежных ученых высказывают мнение о теократическом характере власти в ранних государствах и, соответственно, о значительной роли в социальной структуре священнослужителей. Между тем современные отечественные исследователи считают, что о теократии можно говорить только в случае полного контроля жречеством за всеми административно-политическими процессами. Поэтому не стоит рассматривать простую сакрализацию власти или верховного правителя как теократию (Крадин Н.Н., 1991, с. 306–307; Куббель Л.Е., 1988; и др.).

При определении социального статуса и функций священнослужителей безусловно особую важность приобретают характер и структуры господствующей религиозно-мифологической системы и общий уровень социально-политического развития. Эти проблемы более обстоятельно рассматриваются в отдельных соответствующих разделах монографии. В данном случае важно указать прежде всего на то, что пазырыкская религия носила синкретический характер (Боковенко Н.А., 1996; Даш-

ковский П.К., 2002; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; и др.), включая в себя, с одной стороны, блок индоиранских верований и обрядов, а с другой – общераспространенные элементы шаманизма, при условии широкого понимания этого термина как ранней формы политеизма (Басилов В.Н., 1993, с. 3–15). Поэтому признание существования у кочевников «шаманов» автоматически ведет к утверждению шаманизма в качестве господствующей формы религии, что не совсем соответствовало исторической действительности. В этой связи использование слова «шаман» как социальной категории представляется неверным и в методологическом плане. Очевидно, понимая создавшуюся терминологическую сложность, некоторые современные исследователи стали использовать понятие «жречество» (Могильников В.А., 1997, с. 90–91; Шульга П.И., 1998, с. 83–84; Зуев В.Ю., 1992, с. 132; Полосьмак Н.В., 1996, с. 142–145; 2001, с. 279–281; Марсадоллов Л.С., 2000; и др.). Данный термин имеет более нейтральное по отношению к конкретным конфессиям содержание, что допускает его применение в определенных пределах.

Между тем нужно отметить, что категория «жречество» обычно используется в науке при характеристике конкретного социального института, о котором уже упоминалось выше. При этом существование такой структуры характерно для обществ, политическое устройство которых находится преимущественно на уровне не ниже ранней государственности. Более подробно эта проблема в отношении «пазырыкского» социума рассмотрена выше. В данном случае важно лишь отметить, что номады Алтая, судя по имеющимся материалам, прошли в своем социально-политическом развитии стадию позднего вожества и встали на путь поиска формы раннегосударственного устройства. В этой связи представляется более оправданным с методологической и культурно-исторической точек зрения использовать понятие не «жречество», а «служители культа» («священнослужители»).

Подтверждением того, что в кочевых обществах скифо-сакского периода жречество еще не сложилось в законченном виде как социальный институт, является и сложность выявления погребений людей данной группы. В археологическом отношении это проявляется в трудности обнаружить специфичные ритуальные предметы, которые подтверждали бы не факт их использования в обрядах (поскольку в определенном смысле все вещи из погребений носят ритуальный характер), а подчеркивали бы их сугубо религиозную значимость и принадлежность к атрибутам исключительно священнослужителей. Надо отметить, что категории таких предметов могут быть как универсальными для других культур Евразии скифского времени, так и носить уникальный характер для какого-то конкретного общества. Существование именно такой ситуации можно обнаружить при знакомстве с религиозной практикой «тагарцев», «саглынцева», «таштыкцев», саков, скифов, «уюкцев» и других этнокультурных объединений евразийских степей раннего железного века (Вадецкая Э.Б., 1996, с. 46–49; 1999, с. 108; Матвеева Н.П., 2000, с. 190–191; Чугунов К.В., 1996, с. 69–80; Банников А.Л., 2000, с. 177–183; Кузнецова Т.М., 1988, с. 17–23; Королькова Е.В., 1999, с. 58–61; Гусева Н., 1983, с. 89–95; и др.).

К числу ритуальных предметов, являющихся маркерами захоронений «жрецов» («шаманов») у кочевников Алтая пазырыкского времени, первоначально С.С. Сорокин (1978, с. 184) отнес такие вещи, обнаруженные в кургане №2 могильника Пазырык: бронзовые жаровни с камнями, зерна конопля, «шестиноги». Позднее к этой группе добавились каменные алтарики, специфичные зеркала (Могильников В.А., 1997, с. 90). Кроме состава сопроводительного инвентаря, а также изображений на татуировках, в последние годы археологи стали обращать внимание при выявлении «жреческих» курганов и на планиграфию могильников. В частности, Н.В. Полосьмак указала на одиночный курган (№ 1) из могильника Ак-Алаха-III, который она интерпретировала как захоронение жрицы (Полосьмак Н.В., 2001а, с. 279–281).

В целом же ученые исходя из обозначенных ими критериев, к числу погребений служителей культа относят следующие объекты: курган №2 могильника Пазырык, Каракольский курган, курган №1 могильника Ак-Алаха-III (Шульга П.И., 1999; Могильников В.А., 1997, с. 96; Полосьмак Н.В., 2001, с. 279–280). Отдельные исследователи высказали предположение о возможности включения в эту группу кургана №1 могильника Кутургунтас и кургана №1 могильника Ак-Алаха-I (Полосьмак Н.В., Молодин В.И., 2000, с. 82). Однако, понимая более чем гипотетичность такого предположения, поскольку реальных подтверждений этому не было зафиксировано, ученые, вероятно, отказались от этой идеи. Во всяком случае, в своей итоговой работе по исследованию на плато Укок Н.В. Полосьмак (2001, с. 279–281) относит к числу «жреческих» захоронений только курган №1 могильника Ак-Алаха-III.

Если учитывать все отмеченные выше признаки погребального обряда священнослужителей «пазырыкского» общества, то в эту группу, вероятно, можно включить еще курганы №2 и 27 могильника Тыткескень-VI (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003). В этих объектах были погребены женщины, у которых среди достаточно многочисленных предметов инвентаря были обнаружены каменные алтарики (курильницы?), бронзовые зеркала, а в кургане №27 в одной могиле с человеком находилось захоронение лошади. Во всех отмеченных выше курганах, кроме кургана №2 могильника Тыткескень-VI, наблюдается сочетание таких признаков, как алтарик, зеркало и сопроводительное захоронение лошади (или нескольких особей животных). При этом только в кургане №2 могильника Пазырык женщина была похоронена вместе с мужчиной, а в остальных случаях – это одиночные женские захоронения.

В то же время надо признать, что сопроводительные конские захоронения и находки зеркал встречаются и в других женских погребениях. Поэтому, хотя лошадь и свидетельствовала о высоком социальном статусе умершего человека, тем не менее этот признак в отдельности не может служить надежным маркером погребений «служителей культа» женского пола. Очевидно, тоже можно сказать и о зеркалах, хотя полисеманτικότητα данной категории предметов, выполняющих, кроме утилитарных, и ряд символических функций, несомненна (Левин Ю.А., 1988, с. 6–11; Столович Л.Н., 1988, с. 45–51; Kubarev V.D., 1996, p. 319–345; Литвинский Б.А., 1978; и др.).

Что касается третьего признака «жреческих» погребений – наличия алтариков («жертвенников», «курильниц»), то здесь следует отметить следующее. В европейском савроматоведении и по настоящее время не утихает дискуссия по поводу утилитарного и символического назначения данных предметов (Зуев В.Ю., 1996а, с. 54–68; Банников А.Л., 2000, с. 177–182; Васильев В.Н., 1998, с. 25–43; Федоров В.К., 2000; 2001; и др.). В то же время, учитывая всю совокупность особенностей погребений «пазырыкцев», в которых обнаружены немногочисленные алтарики (достоверно в курганах найдено 5 экземпляров), а также общий характер религиозно-мифологической системы номадов, вероятно, можно предположить символическое назначение таких предметов. Аналогичная семантическая нагрузка зафиксирована для данной категории вещей и по материалам сакского времени из Казахстана (Литвинский Б.А., 1991, с. 66–84). По мнению Б.А. Литвинского (1991, с. 66; Литвинский Б.А., Пичикян И.Р., 2000, с. 308–311), жертвенники (в семантическом отношении приравниваются к алтарикам, курильницам и т.п.) свидетельствуют о широком распространении среди иранских народов, в том числе у саков, культа Огня и культа Солнца, которые восходят к общим индоевропейским представлениям.

Вероятно, с этими же культами можно связать и алтарики-курильницы из пазырыкских курганов, которые, наряду с металлическими «жаровнями», использовались для окуливания «дурманящими» растениями (конопля, кориандр). Примечательно, что в кургане №1 могильника Ак-Алаха-III были обнаружены семена кориандра на таком предмете непосредственно в погребении (Полосьмак Н.В., 2001а, с. 69), что дополнительно подтверждает высказанное предположение.

Таким образом, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, к специфичным погребениям служителей культа более или менее достоверно можно отнести шесть курганов. Данная цифра представляется более чем незначительной, если учесть, что в Горном Алтае исследовано уже свыше 700 курганов пазырыкского времени. Поскольку необходимость в совершении определенных религиозных действий (прежде всего погребального обряда) была постоянной, то достаточно вероятной представляется ситуация, в которой отправление культовых функций было возложено (в зависимости от сложности и значимости ритуала) на глав патриархальных семей и родов. Данное предположение выглядит еще более убедительным, если принять во внимание устоявшееся в науке мнение, что цепочка курганов – это погребения семейно-родственной группы. Могильник же, состоящий из двух или нескольких таких цепочек, компактно расположенных в одном месте, принадлежал нескольким родственным общинам (своеобразному клану) (Суразаков А.С., 1992а, с. 53; Кубарев В.Д., 1991, с. 38; Шульга П.И., 1989; и др.).

Весьма интересными представляются наблюдения, сделанные В.Д. Кубаревым, при изучении могильников номадов в долине р. Юстыда. Ученый обратил внимание на то, что в большинстве случаев цепочки курганов открывали парные захоронения мужчин и женщин, которые, вероятно, состояли в браке и являлись главами больших семей (Кубарев В.Д., 1991, с. 38). Возможно, именно эта категория людей занималась отправлением религиозных культов, в том числе следила за соблюдением канонов погребального обряда на семейно-родовом уровне.

В то же время при изучении вопроса о месте и роли служителей культа в кочевом обществе важно обратить внимание на сложность религиозно-мифологических представлений номадов и их отражение в обрядовых действиях. Об этом, в частности, можно судить по таким установленным особенностям «пазырыкской» религии, как дифференцированная культовая практика; разнообразные приемы бальзамирования (Руденко С.И., 1960; Полосьмак Н.В., 1996, с. 210–212); определение сторон горизонта при совершении погребального обряда, а также при сооружении сложных погребально-поминальных комплексов (например, комплекс на р. Сентелека в Чарышском районе Алтайского края (Шульга П.И., 2000; Кирюшин Ю.Ф., Шульга П.И., Демин М.А., Тишкин А.А., 2001) по восходу солнца (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1998в, с. 80), использование больших Пазырыкских курганов, а возможно и ряда других объектов, в качестве своеобразных «часовен» (Савинов Д.Г., 1995; 1996; Шульга П.И., 1997б, с. 139) и ряд других черт. Вполне очевидно предположить, что объем знаний и религиозно-мифологической информации, необходимый для совершения таких ритуалов, выходил за пределы уровня общего развития глав семейно-родовых групп. Скорее всего, у «пазырыкцев», как и у других кочевых народов Саяно-Алтая, в скифо-сакский период наметилась тенденция к формированию особой группы служителей культа, однако данный процесс в силу рассмотренных культурно-исторических особенностей не был окончательно завершен.

Подводя итог рассмотрению данной проблемы, можно сделать вывод о том, что совершение основной массы культовых действий (прежде всего обрядов погребально-поминального цикла) у кочевников Саяно-Алтая в скифо-сакский период производилось главами больших семей и родов (кланов). Кроме того, наметилась тенденция к формированию особой религиозной элиты, что хорошо прослеживается по материалам пазырыкской культуры Алтая. В такую своеобразную элиту входили правитель, который совмещал в себе властные и религиозные функции, а также священнослужители, которые отправляли наиболее сложные и важные ритуалы.

7.2. Религиозный аспект политической культуры и служители культов у кочевников в хунно-сяньбийско-жужжанский период

Период существования в Центральной Азии империй хунну, сяньби и жужаней – несомненно яркая страница не только в этнокультурной истории народов этого региона, но и в развитии духовной и политической культуры. В отличие от скифо-сакского периода, эпоха указанных трех империй гораздо больше отражена в памятниках письменности, что дает возможности для более комплексного изучения религиозного фактора в социально-политической истории номадов. В этой связи обратимся сначала к письменным источникам, а потом сопоставим их с результатами археологических исследований по указанной проблематике.

В китайских источниках имеются краткие сведения о шаманах и видах религиозной деятельности у хунну. Так, в частности, сообщается, что «по приказу Вей Люя хуннский шаман сказал: «Покойный шаньюй в гневе говорил: «Давно еще хусцы во время жертвоприношения перед походом обещали, что если они захватят Эршиского военачальника, то принесут его в жертву духу земли. Почему же нынче его не приносят в жертву?» (Материалы по истории..., 1973, с. 22). Среди видов деятельности наиболее часто упоминаются жертвоприношения животных и иногда людей. При этом следует отметить, что существовали жертвоприношения, обязательные для ежегодного совершения, которые имели, вероятно, общеимперское значение. Так, в ханьских хрониках содержатся сведения о том, что, «используя жертвоприношения, [сюнну] собирали все кочевья, обсуждали государственные дела и устраивали развлечения – скачки лошадей и бег верблюдов» (Материалы..., 1973, с. 73).

В другом источнике указывается, что «у хуннов было обыкновение три раза в год собираться в Лунь-ци (храм дракона), где в первой, пятой и девятой луне, в день под названием суй, приносили жертву духу Неба. Южный шаньюй со времени своего подданства Китаю присовокупил четвертое жертвоприношение китайскому императору» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 122). Аналогичные сведения о сезонности общеимперских жертвоприношений содержатся в переводах, сделанных В.С. Таскиным: «В 1-й луне [каждого] года все начальники съезжаются на малое собрание в ставку шаньюя и приносят жертвы. В 5-й луне съезжаются на большое собрание в Лунчане, где приносят жертвы предкам, небу, земле, духам людей и небесным духам. Осенью, когда лошади откормлены, съезжаются на большое собрание в Дайлине, где подсчитывают и проверяют количество людей и домашнего скота» (Материалы..., 1968, с. 40).

В переводе Н.Я. Бичурина вместо ставки шаньюя в качестве места сбора указывается «храм при Шаньюевой орде» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 50). В целом же из приведенных отрывков следует, что главные религиозные праздники были не только приурочены к периодам созыва органа высшей власти – съезда кочевой аристократии, но и к смене времен года. Более того, по мнению Намио Эгами, которое разделяет Н.Н. Крадин (2001в, с. 212–213), начало нового года у хунну приходилось на осенний период, и именно в это время происходили самые крупные съезды, на которых собиралась элита номадов, вырабатывалась стратегия развития конфедерации племен и т.д.

Примечательно, что и у кочевников Саяно-Алтая скифского времени начало нового года приходилось именно на осенний период. Такая ситуация также была продиктована взаимосвязью мировоззренческих представлений и особенностью хозяйственной деятельностью. Не случайно, наибольшее количество захоронений у носителей пазырыкской культуры, особенно элиты, приходится на весенний и осенний периоды (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 253–254). Определенная мировоззренческая значимость весны и осени была характерна и для кочевников в последующие эпохи. В частности, китайские хронисты зафиксировали сезонность захоронений у тюкуэсцев: «умершего весной и летом хоронят, когда лист на деревьях и растениях начнет желтеть или опадать (т.е. осенью. – П.Д.); умершего осенью или зимой хоронят, когда цветы начинают разворачиваться (т.е. весна. – П.Д.)» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 234).

В другом источнике сообщается о погребении кагана весной, хотя его смерть наступила гораздо раньше: «Быстро текут дни и месяцы, и приближается срок похорон (Пицзя-кагана)... Я надеюсь, что ты отдаешь должное моему глубокому чувству (скорби по умершему кагану. – П.Д.). Сейчас середина весны, но еще холодно» (Лю Маоцай, 2001, с. 106–107). Взаимосвязь важных социально-политических, религиозных и природных процессов являлась характерной чертой мировоззрения многих древних и традиционных народов (Семенов Вл.А., 1994; Скрынникова Т.Д., 1997; Кубель Л.Е., 1988, с. 77–113; Дашковский П.К., 2003б; и др.).

Другим обязательным ритуалом у хунну было ежедневное обращение шаньюя к наиболее сакральным космическим светилам – солнцу и луне: «Утром шаньюй выходит из ставки и совершает поклонение восходящему солнцу, вечером совершает поклонение луне» (Материалы..., 1968, с. 40–41). В данный момент трудно однозначно сказать: идет ли речь в этом отрывке о жертвоприношении или же о действии, которое можно интерпретировать именно как молитву-обращение. Во всяком случае это еще раз подтверждает включенность шаньюя в процесс религиозных действий, имеющих определенную временную регламентацию.

Кроме обязательных жертвоприношений существовали и те, которые были приурочены к какому-либо значимому событию, например заключению договора, клятвы, надвигающейся большой опасности (война). Показательны в этом случае следующие свидетельства: «Чан, Мын, шаньюй и его старейшины взойшли на хуннскую гору (вероятно, святилище. – П.Д.) по восточную сторону реки Но-Шуй и закололи белую лошадь. Шаньюй взял дорожный меч и конец его омочил в вино; это клятвенное вино выпили из головного черепа юэжжиского государя, убитого Лаошан-шаньюем» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 94). В ханьских текстах также указывается: «Услышав, что должны прийти ханьские войска, сюнну велели шаманам на всех дорогах, по которым они могли следовать, а также в местах около воды закопать в землю овец и быков и просить духов ниспослать на ханьские войска гибель. Когда шаньюй посылает Сыну неба (китайскому императору. – П.Д.) лошадей и шубы, он всегда велит шаманам молить духов ниспослать на него несчастья» (Материалы..., 1973, с. 120).

Второй формой религиозной деятельности были элементы мантики и прорицания. Письменные источники сообщают, что хунну «предпринимают дела, смотря по положению звезд и луны» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 50). Во время военных действий «наблюдает за положением звезд и луны, при полнолунии нападают, при ущербе луны отступают» (Материалы..., 1968, с. 41). При комментариях последнего сюжета исследователи отмечают, что возможно имеется в виду не только гадание, но и отражение элементов военной тактики нападать внезапно ночью при полной луне, когда возможна координация воинских подразделений (Крадин Н.Н., 2001в, с. 142). Вероятно, оба эти аспекта, религиозный и военный, находились во взаимосвязи и обуславливали друг друга.

Из приведенных выше фрагментов видно, что в процессе совершения религиозных обрядов принимали участие шаньюй, высшая аристократия, собираемая на съезды, и так называемые шаманы. Между тем среди ученых возникло определенное разногласие относительно деятельности шаманов именно у хунну. Это вызвано прежде всего различными переводами иероглифа *wi*, которым китайские авторы обозначили данную категорию лиц. Так, И.Н. Бичурин перевел этот иероглиф как

«волхв» (Бичурин И.Н. 1998, с. 77), а В.С. Таскин – как «шаман» (Материалы..., 1973, с. 22). Однако Т.Д. Скрынникова отмечает, что иероглиф *ми* означает не столько конкретную специфику (шаман, маг, колдун), сколько самого служителя культа (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 135).

В этой связи, как ранее уже отмечалось (Дашковский П.К., 2003в), термин «служитель культа» представляется более предпочтительным применительно к кочевым обществам эпохи поздней древности и средневековья как с точки зрения функционирования этой социальной группы, так и исходя из синкретичности мировоззрения номадов. В то же время в ряде случаев во избежание путаницы при использовании письменных источников представляется возможным употреблять те термины, которые предложены переводчиками текстов.

Служители культа у хунну участвовали в различных ритуальных действиях, особенно связанных с военной, контактной и лечебной магией (Материалы..., 1973, с. 47; Сыма Цянь, 2002, с. 341). Подобная направленность действий, реализуемых с помощью духов, имеет определенную шаманскую окраску (Михайлов Т.М., 1983, с. 37–40; Басилов В.Н., 1984, с. 13; Потапов Л.П., 1991, с. 130; Элиадэ М., 1998, с. 145), что позволяет рассматривать шаманизм как один из компонентов религиозного синкретизма кочевников. Священнослужитель, как и правитель, обеспечивал стабильность общества, однако «сфера влияния» шамана в сакральном мире совершенно иная, нежели у представителя светской власти. Шаньюй, облеченный харизмой, одним своим существованием давал социуму покровительство небесных, «светлых» сил, тогда как шаман (служитель культа) обеспечивает процветание общества в силу своего избранничества в «темном» мире духов. Взаимоотношение двух полюсов духовной власти достаточно показательно характеризует один сюжет из «Ши Цзи» Сымы Цяня, в котором находится упоминание о том, что китайский полководец Эршиский, пользовавшийся особой благосклонностью шаньюя, был принесен в жертву «умершим великим воинам». Это было сделано по настоянию священнослужителя, который аргументировал подобный акт «по вдохновению покойных шаньюев» (Бичурин И.Н., 1998, с. 77). Из приведенного материала можно заключить, что именно служитель культа, а не шаньюй, имел функцию общения с миром мертвых. Однако приоритет духовной власти в кочевом обществе сохранялся за шаньюем.

В связи с участием шаньюя в религиозной жизни номадов необходимо обратить внимание на тесное политическое и культурное взаимодействие между хунну и Китаем (Кычанов Е.И., 1997; Крадин Н.Н., 2001; Филиппова И.В., 2005). В этой связи попытаемся проследить возможное влияние религиозных и идеологических традиций Китая на мировоззрение хунну. Прежде всего шаньюй, как и правители других крупных образований номадов Центральной Азии, был сакрализованной персоной. Согласно китайским хроникам, в официальных документах того периода шаньюй именовался как «Поставленный Небом великий шаньюй», «Небом и землей рожденный, солнцем и луной поставленный, великий шаньюй сюнну...», «Гордый сын Неба» (Бичурин И.Н., 1998, с. 60–61; Сыма Цянь, 2002, с. 333, 336; Материалы..., 1968).

Иррациональная форма власти правителя проявлялась и в том, что он участвовал в определенных наиболее важных обрядах, жертвоприношениях и именно божественные силы (Небо) санкционировали его особый социальный статус и деятельность. Примечательно, что с хуннского времени и в последующий, тюрко-монгольский, период (VI–XIII вв. н.э.) в кочевом мире окончательно формируется мифологическое обоснование легитимности власти правителя и его клана (Дашковский П.К., 2007в). Такое обоснование в виде «небесного мандата» на правление давалось по определенной схеме: 1) Небо и Земля выбирают достойнейшего из людей; 2) Небо избирает, а Земля порождает претендента на престол, и вместе с Луной и Солнцем они всячески помогают избраннику; 3) избранник должен благоприятствовать всему народу (Крадин Н.Н., 2001в, с. 140).

Не исключено, что такая форма сакрального обоснования статуса шаньюя во многом укреплялась в результате взаимодействия с Китаем. В Китае правитель еще с конца II тыс. до н.э. носил титул «ди», т.е. Бог. С периода Западного Чжоу императоры начинают именоваться как тянь цзы – «Сын Неба» (Думан Л.И., 1976; Зубов А.П., Павлова О.И., 1995, с. 72–73; и др.). В то же время необходимо отметить, что идея легитимизации власти через сакральную связь с Небом являлась общей для народов Центральной Азии и Китая, хотя и имела свою специфику в каждом конкретном случае. В этой связи, несмотря на сходство концепций сакральной легитимности власти у хуннского шаньюя и китайского императора, прослеживаются и свои особенности, подробно рассмотренные Е.И. Кычановым (1997, с. 7–10). Учитывая, что контакты между хунну и Китаем носили постоянный характер в военно-политическом и культурном отношениях, то сакрализация правителей рассматривалась как необходимый элемент не только религиозной, но и политической культуры. Стремление

подражать китайскому императорскому двору и выступать с ним на паритетных началах на политической арене могло усиливать необходимость разработки сакральной концепции власти у хунну, тем более, что по многим содержательным позициям она была близка китайской теории «небесного мандата» и поэтому не требовалось вводить кардинальных мировоззренческих инноваций. Примечательно также, что элементы погребального обряда элиты хунну, исследованные на могильнике Ноин-Ула, по мнению некоторых ученых, имеют определенное соответствие в китайской традиции погребения эпохи Хань (Филиппова И.В., 2005, с. 17, 19; Полосьмак Н.В., 2008, с. 85–87).

Более того, именно китайские мастера принимали непосредственное участие в сооружении погребальных камер, изготовлении и украшении специфичных гробов для хуннской элиты, в том числе шаньюев (Руденко С.И., 1962, с. 21–22). Известны факты изготовления гробов по китайского образца и для умерших хунну более низкого статуса (Филиппова И.В., 2005, с. 18). Отмеченные особенности погребального обряда хунну подтверждаются результатами последних исследований элитного кургана на некрополе Ноин-Ула (Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., 2006). Приведенные данные, вероятно, свидетельствуют не только о знакомстве китайцев с погребальной практикой хунну, но и о стремлении кочевников, особенно элиты, подражать китайской аристократии как в реальном, так и в загробном мире. В противном случае иноплеменников, знакомых с погребальной практикой китайской элиты, вряд ли допустили бы до совершения такого важного обряда, как погребения хунну, особенно шаньюей. Показательно в этом отношении и помещение большого количества китайских импортных изделий в погребениях хунну, причем не только элиты.

О большом влиянии китайской культуры на кочевников красноречиво свидетельствуют письменные источники, повествующие об определенном разложении элиты хунну. Так, сохранились сведения китайского евнуха Чжунхан Юэ, прибывшего вместе с принцессой к Лаошан шаньюю. Чжунхан Юэ, стремясь отомстить китайскому императору за личную обиду, решил указать правителю хунну на слабые стороны его политики. В связи с этим он говорил: «Численность сюнну не может сравниться с численностью населения одной ханьской области, но они сильны в одежде и пище, в которых не зависят от Хань. Ныне (вы) шаньюй, изменяя обычаям, проявляете любовь к ханьским изделиям, но если только две десятых ханьских изделий попадут к сюнну, то все сюнну признают над собой власть Хань...» (Материалы..., 1968, с. 45).

Таким образом, имеющиеся разнообразные источники позволяют говорить об определенном влиянии религиозных и идеологических традиций Китая на мировоззрение хунну, прежде всего элиты. Влияние китайской культуры прослеживается и в материалах других кочевых обществ, находящихся в зависимости от хуннской империи, например у носителей булан-кобинской культуры Алтая. Однако в силу особенностей формирования булан-кобинской культуры и в определенной степени ее периферийности на данный момент прослеживается влияние Китая и хунну в материальной культуре кочевников, но не в элементах погребальных конструкций и религиозных верованиях (Матренин С.С., 2005; Тишкин А.А., 2007а, с. 175–178; и др.).

Несмотря на то, что погребений собственно хунну не выявлено на Алтае (Тишкин А.А., 2007а, с. 177), тем не менее последние выступали по отношению к «булан-кобинцам» как этнос-элита. Система этносоциального соподчинения была широко распространена у кочевников Южной Сибири и Центральной Азии (Савинов Д.Г., 2005; Тишкин А.А., 2005; Дашковский П.К., 2007б; и др.), что отражалось и на этноконфессиональной политике в таких полиэтничных образованиях, как империи Хунну, Сяньби, Тюркских каганатах и др.

Важно отметить, что одной из проблем в изучении категории служителей культа у номадов является выявление их погребений и соответствующего комплекса ритуальных предметов. Среди захоронений хунну на Иволгинском и Дырестуйском могильниках исследователи выделяют некоторые специфичные погребения женщин с более высоким социальным статусом (Давыдова А.В., 1996, с. 29; Миняев С.С., 1998; и др.). Примечательно, что именно в ряде женских погребений обнаружены бронзовые пряжки-пластины с изображением борьбы зверей. Такие пряжки выявлены в захоронениях женщин, средний возраст которых на момент смерти составлял 50–60 лет (Миняев С.С., 1998, с. 106). Следует обратить внимание на то, что аналогичные предметы встречаются в погребениях женщин булан-кобинской культуры Алтая, испытавшей сильное влияние хуннской культурной традиции. Более того, как раз в таких захоронениях в Горном Алтае известен случай находки каменного алтарика (жертвенника) и сопроводительных захоронений лошадей (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003; Тишкин А.А., 2007б).

В то же время в полной мере интерпретировать отмеченные выше показатели в качестве индикаторов погребений священнослужителей у хунну и «булан-кобинцев» преждевременно, в связи с чем необходимы дальнейшие изыскания в этой области. Сложность выявления погребений служителей культа при изучении как хунну, так и других кочевых обществ, вероятно, связана не только с полисемантической сопроводительного инвентаря, но и с начальным этапом формирования профессиональной группы религиозных деятелей в период становления ранней государственности. Кроме того, процессы социо- и политогенеза у кочевых народов существенно отличаются от аналогичных тенденций земледельческих обществ, что безусловно, отражалось на мировоззрении и идеологии. О сложности религиозно-мифологической системы у хунну свидетельствует и наличие специфических религиозных объектов. В письменных источниках есть указание на то, что Шаньюй в критической обстановке для хунну «пришел в страх и приказал построить храм для жертвоприношения Эршискому», который был захвачен в плен (Бичурин Н.Я., 1998, с. 78). В переводе В.С. Таскина вместо термина «храм», употребляется понятие «молельня» (Материалы..., 1973, с. 22). Кроме того, выше были отмечены жертвоприношения при участии шаньюя и старейшин, которые, согласно письменным источникам, совершались в особых «храмах» как в ставке правителя, так и в специальном центре Лунчэн (Материалы..., 1968, с. 40; Бичурин Н.Я., 1998, с. 50; и др.).

Археологические данные в определенной степени конкретизируют сведения письменных источников. А.В. Тиваненко, суммировавший отдельные результаты археологических исследований городищ, поселений и петроглифов Забайкалья и Монголии хуннского времени, пришел к следующему выводу. Материалы, полученные при изучении городищ Гуа-Дов, Тэрэлжийн-дэрэвэлжингазар, Баруун-Байдалинг и других памятников Монголии, свидетельствуют о том, что «все хуннские городища с ограниченным числом внутренних построек следует рассматривать как храмовые комплексы, обслуживаемые штатом жрецов, живших за пределами стен в легких жилищах (юртах), либо как храмы внутри поселений, как это практиковалось у всех центрально-азиатских народов в эпоху средневековья» (Тиваненко А.В., 1994, с. 42–43).

Несмотря на то, что вывод ученого достаточно категоричен и дискуссионен, особенно в отношении выделения жречества как социального института, тем не менее под ним есть некоторые реальные основания. Так, на Иволгинском городище были найдены лопатки для гадания (Давыдова А.В., 1995, с. 30), широко использовавшиеся в религиозной деятельности. При изучении вышеупомянутых городищ в Монголии, хотя ширококомасштабных раскопок судя по всему не проводилось, были зафиксированы алтари для жертвоприношений, различные подсобные помещения (например, для хранения онгонов, но при этом отсутствовали бытовые предметы) (Тиваненко А.В., 1994, с. 41–42).

В дальнейшем непосредственно раскопки на этих памятниках позволят существенно прояснить вопрос хронологии и назначения ряда построек, которые во многом гипотетически интерпретируются исследователями как «храмы». В этой связи показательными являются результаты изучения материалов из Ташебинского городка и дворца наместника хунну в Саяно-Алтайском нагорье. Данный комплекс раскопан еще в 40-е гг. XX в. В.П. Левашовой, Л.А. Евтюховой и С.В. Киселевым, но подробно материалы опубликованы несколько десятилетий спустя Л.Р. Кызласовым (2001; 2006, с. 160–218). В процессе интерпретаций артефактов Л.Р. Кызласов отмечал, что один из залов дворца мог использоваться как молельня, где находился переносной алтарь-жертвенник, на месте которого выявлен мощный провал. При исследовании этого памятника обнаружен ряд предметов, имеющих прямое отношение к религиозным традициям древнего населения хуннского периода: бронзовые маскароны в виде гениев-хранителей, глиняная личина. Кроме того, по мнению ученого, конструкция зала-храма во дворце могла отражать определенные космогонические представления той эпохи: верхний ярус крыши символизировал небесный купол, пол – Землю, стены – четыре направления горизонта (Кызласов Л.Р., 2006, с. 202–203).

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы культовых сооружений у хунну является упоминание об особом религиозном центре Лунчэне (Материалы..., 1968, с. 40, 51; Бичурин Н.Я., 1998, с. 50). Среди исследователей нет единого мнения относительно его местонахождения и даже существования. По мнению Намио Эгами, Лунчэн можно перевести как ветви деревьев, воткнутые в землю, или камни (наподобие обо) (Крадин Н.Н., 2001в, с. 214). Ван Вэймаю полагает, что Лунчэн – это не конкретный населенный пункт, а место, в которое собирались хунну для решения важных дел и религиозных церемоний. В зависимости от этнополитической ситуации в Центральной Азии могло меняться его месторасположение (Крадин Н.Н., 2001, с. 214–215). Другая группа исследователей на-

стаивает на том, что это реальный населенный пункт, хотя и расходятся в месте его локализации (Тиваненко А.В., 1994, с. 38–40; Кызласов Л.Р., 2006, с. 145; История..., 1983, с. 98).

Действительно, китайские письменные источники дают самые общие сведения о местонахождении Лунчэна, как и другого важного для хунну пункта – Данлина. Л.Р. Кызласов полагал, что Лунчэн являлся не только имперской ставкой номадов, но и их религиозным центром. Второй населенный пункт выполнял исключительно экономическую функцию (Кызласов Л.Р., 2006, с. 145). Если учесть, что хунну, как отмечалось выше, съезжались в Данлин осенью, т.е. в период, на который приходился новый год, то, вероятно, и в этом пункте могли совершаться определенные религиозные обряды, приуроченные к такому важному для номадов событию.

После выхода на историческую арену Центральной Азии Сяньбийской (93–235 гг. н.э.) и Жужанской (359–552 гг. до н.э.) кочевых империй (Кычанов Е.И., 1997) ситуация с развитием религиозной элиты принципиально не изменилась. При изучении истории сяньбийцев и жужаней исследователи опираются преимущественно на письменные памятники (Крадин Н.Н., 1994а; 2000в; Кычанов Е.И., 1997; Хандсурэн Ц., 1993; Дробышев Ю.А., 2006; и др.).

В последние годы привлекаются и отдельные археологические данные, хотя памятников сяньбийцев выявлено пока немного (Яремчук О.А., 2004; Кириллов И.И., Ковычев Е.В., Литвинцев А.Ю., 2001; Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа, 2000, 2000а 2002; Юй Су-Хуа, 2002; Варенов А.В., Митько А.О., Митько О.А., 2007; и др.). Китайские источники довольно кратко повествуют о верованиях сяньбийцев, но при этом можно проследить много общих моментов с религиозными представлениями хунну и другими кочевыми народами Центральной Азии. Так, источники сообщают: «Язык и обычаи сяньбийцев сходны с ухуаньскими» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 152); «Тоба Гуй... перенес столицу в Пьхин-чен, построил дворец, основал храм предкам своего Дома, поставил жертвенник духам Ше и Ци. В храме предкам ежегодно пять раз приносили жертву: в два равноденствия, в два поворота (зимний и летний) и в двенадцатой луне... По древним обычаям Дома Вэй, т.е. сяньбийским, в первой летней луне приносили жертву Небу и в восточном храме, т.е. предкам; в последней летней луне выходили с войском прогонять иней на хребет Инь-шань; в первый осенний месяц приносили жертву Небу в западном предградии. Все сии обряды ныне возобновил на прежних установлениях. Определил жертвенные приношения в предградиях и храме предкам; установил обряды и музыку» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 181). В китайских источниках есть указания на существование общесяньбийского сакрального центра на р. Шара-Мурень, на котором, подобно хунну, собирались ежегодно в апреле для решения политических и, вероятно, религиозных вопросов (Таскин В.С., 1989, с. 55).

Несмотря на то, что в памятниках письменности нет прямых указаний на существование шаманов, волхвов и других религиозных деятелей у сяньби, тем не менее приведенные фрагменты свидетельствуют об определенной религиозной политике, проводимой правителями номадов. В то же время совершаемые в специальных местах в течение года сложные обряды в четко установленные сроки косвенно свидетельствуют о существовании служителей культа, которые аккумулировали сакральное знание. На данном этапе исследования пока преждевременно атрибутировать этих священнослужителей, как это опять же предлагает А.В. Тиваненко (1994, с. 60), как жрецов, хотя тенденция к формированию именно профессиональной группы с религиозными функциями у сяньби явно прослеживается.

К сожалению, имеющиеся немногочисленные исследованные погребения сяньбийцев (Ковычев Е.В., Яремчук О.А., 2000; Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа, 2000; 2002; Варенов А.В., Митько А.О., Митько О.А., 2007; и др.) не позволяют в настоящий момент даже гипотетически наметить какие-либо признаки для захоронений служителей культа. Возможно, в дальнейшем (в процессе накопления материалов) ситуация в этом вопросе изменится.

Еще одно этнополитическое объединение Центральной Азии, которое в эпоху поздней древности контролировало данный регион, получило наименование жужане (жуаньжуань) (Кычанов Е.И., 1997; Крадин Н.Н., 2000в; и др.). В письменных источниках есть краткие сведения о служителях культа и о проникновении буддийских миссионеров к номадам. Так, источники сообщают о необычном исчезновении сына хана Чоуны Цзухи. Помочь правителю «вызвалась одна Чабганца, Фушенмуева жена, по имени Дэухунь Дивань, двадцати лет отроду. Она лечила и волховала, т.е. шаманила силою духов, и Чоуну всегда имел веру к ней: почему она ходила к нему и сказывала, что сын его теперь живет на небе и она может призвать его... По прошествии года, в 15-й день восьмой луны, поставили середине большого озера юрту; держали перед сим семидневный пост; во всю ночь

молились духу Неба. Вдруг Цзухой очутился посреди юрты, и сказал, что он постоянно жил на небе» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 200–201). В другом источнике сообщается о кочевниках, что «в их владениях умеют, прибегая к колдовству, приносить жертвы Небу и вызывать ветер со снегом. [В результате] впереди ясное солнце, а сзади грязевые потоки воды. В связи с этим, когда они терпят поражение, их нельзя догнать. Если они прибегают к этому способу в Среднем государстве, то делается пасмурно, но снег не идет» (Материалы по истории... дунху, 1984, с. 61, 290).

Приведенные фрагменты текстов позволяют сделать несколько заключений. Во-первых, упомянутый выше термин «чабаганца» прокомментирован редакторами переводов Н.Я. Бичурина как «полумонахиня и шаманка» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 200). А.В. Тиваненко (1994, с. 64–65) указывает, что этот термин буквально означает «буддийская монахиня в миру», но при этом справедливо отмечает, что в данном случае это не совсем соответствовало действительности. Как видно из самого фрагмента текста, речь идет об использовании помощи духов при поиске сына хана, а это явное указание на шаманскую практику. Во-вторых, важно отметить, что религиозные функции выполнялись как лицами мужского, так и женского пола. В-третьих, для совершения молитвы и других действий могла использоваться юрта кочевников, а не только специальное какое-то место (святилище, храм). Использование традиционного мобильного жилища в качестве сакрального объекта известно у кочевников и в эпоху средневековья (Зуев Ю.А., 2002, с. 260). В-четвертых, из приведенных данных следует, что души умерших или мир предков, вероятно, располагались в верхней части модели мира, поскольку именно там находился сын хана, который считался пропавшим или умершим. Наконец, в-пятых, положение служителей культа у жужаней, как и у других кочевников Центральной Азии, было очень высоким. Это подтверждается, например, тем, что священнослужительница Дэухунь Дивань смогла убедить хана Чоуна убить своего любимого сына Цзуху, которого сама же и помогла ранее найти (Бичурин Н.Я., 1998, с. 201).

Возможность общаться с миром духов неформально давала служителям культа у кочевников огромную власть. В этой связи некоторые дальновидные правители кочевых империй, если не могли поставить под полный контроль таких религиозных деятелей, то прибегали даже к их физическому устранению. Наиболее показательным в этом отношении является пример взаимоотношений в более поздний период между Чингисханом и шаманом Кокочу (Скрынникова Т.Д., 1997).

Важно также отметить, что правитель, как и в предшествующий период, должен был обладать особой харизмой, полученной от неба. Не случайно источники, например, сообщают: «все жуаньжуани считали, что Нагаю помогает небо и хотели выдвинуть его на пост правителя» (Материалы..., 1984, с. 278). Именно харизма человека могла привести даже к нарушению принципа престолонаследия у кочевников, как это и произошло в случае с заменой Доулуны на Нагая (Крадин Н.Н., 2000в, с. 86), хотя власть все равно осталась в рамках правящего сакрализованного клана.

В связи с рассмотрением феномена религиозной элиты у кочевников необходимо коснуться вопроса о возможном распространении миссионеров в Центральной Азии в хунно-сяньбийско-жужанское время. В данном случае речь идет о знакомстве кочевников с буддизмом. Исследователям хорошо известен из китайских источников хрестоматийный сюжет о том, что в 121 г. до н.э. императорскими войсками у сюнну была захвачена статуя золотого человека, перед которой они приносили жертвы Небу (Сыма Цянь, 2002, с. 344). На основе этого повествования некоторые исследователи, интерпретируя данную фигуру как изображение Будды, делают предположение о том, еще в конце I тыс. до н.э. сюнну были знакомы с буддизмом (Жуковская Н.Л., 1994, с. 7).

Теоретически возможность знакомства с буддизмом Сючжу-ван и его окружением не исключал и Е.И. Кычанов, хотя отмечал, что статуя могла использоваться и для поклонения Небу (Кычанов Е.И., 1997, с. 33–34). Однако Р.В. Вяткин (2002, с. 448) считает неуместной такую трактовку данного упоминания, аргументируя это тем, что буддизм проникает в Китай только в I в. н.э., а описываемые Сымой Цянем события относятся к более раннему периоду. Более осторожную точку зрения по этому вопросу приводит Б.А. Литвинский, который вслед за Э. Цюрхером указывает на постепенную инфильтрацию буддизма в Китай с первой половины I в. до н.э. до середины I в. н.э. (Восточный Туркестан..., 1992, с. 441).

Один из наиболее древних храмовых комплексов Китая, в котором в конце II в. н.э. достоверно имелась богато украшенная статуя Будды, находился в г. Пэнчэн (Васильев Л.С., 2001, с. 305). Кроме того, самой новой религии потребовалось еще два-три столетия, чтобы достаточно закрепиться в этом регионе Азии, тем более, что первоначально последователями-мирянами буддизма была военная, интеллектуальная и административная элита. Лишь к IV в. н.э. стало существенно расти ко-

личество буддийских храмов и монастырей, а само учение активно распространяться среди разных слоев населения (Васильев Л.С., 2001, с. 309–312). В этой связи антропоморфная статуя Будды вряд ли могла быть привезена хунну из Китая, на территории которого миссионерская деятельность еще только начиналась.

Рассматривая этноконфессиональное взаимодействие народов Центральной Азии, необходимо учитывать и тот факт, что политические и культурные связи кочевников не ограничивались одним Китаем. Сюнну также имели непосредственный контакт со странами Средней Азии (Сухбаттар Г., 1978, с. 61), которые являлись своеобразным «религиозно-историческим коридором» для распространения разных религий, в том числе и буддизма (Литвинский Б.А., 1968, с. 135; 1997; Восточный Туркестан..., 1992; Мкрытычев Т.К., 2002).

По мнению Г. Сухбатара (1978, с. 61–65), знакомство хунну с буддизмом является вполне естественным, вследствие продолжительного взаимодействия кочевников с носителями этой религии. Полностью разделяет позицию монгольского ученого А.В. Тиваненко. Исследователь к данным Г. Сухэбатара добавляет факт находки в одном разрушенном хуннском погребении близ Цаган-Усуна 108 каменных бус, составляющих буддийские четки (Тиваненко А.В., 1994, с. 51–53). В то же время наиболее ранние буддийские комплексы Средней Азии обнаружены в Бактрии-Тохаристане, которые датируются преимущественно не ранее I в. до н.э. – I в. н.э. Правда, отдельные буддийские миссионеры могли проникать сюда несколько ранее – в III–II вв. до н.э., но закрепились религии в данном регионе только в период расцвета Кушанского государства в I–IV вв. н.э. (Восточный Туркестан..., 1992; Мкрытычев Т.К., 2002, с. 16–18; Ставиский Б.Я., 1996, с. 26; и др.).

Для более основательного анализа данной проблематики следует обратить внимание на время формирования канона скульптурного изображения Будды, а также на тенденцию распространения буддизма в Центральной Азии. Относительно проблемы возникновения антропоморфных изображений Будды до сих пор не сформировалось единой точки зрения. В частности, одна группа востоковедов считает, что антропоморфные изображения Будды появились только в I в. н.э. в Индии (Гандхара) (Галеркина О.И., Богданов Ф.Л., 1963; Прокофьев О.С., 1964; Тюляев С.И., 1988). Другие исследователи отрицают подобную точку зрения (Фишер Р.Е., 2001, с. 44; Гожева И.А., 2001, с. 297). Так, Р.Е. Фишер (2001, с. 44) отмечает, что создание первых скульптурных образов Будды относится к I в. до н.э. При этом он ссылается, хотя и не разделяя полностью, на мнение отдельных ученых, объясняющих отсутствие антропоморфных изображений Будды на раннем этапе развития религии стремлением в аллегоричных образах выражать новую религию. Аналогичную ситуацию, по мнению религиоведа, можно увидеть в раннем христианстве, в котором изображение креста заменяло Христа. Исходя из имеющихся данных, вероятно, следует обозначить время возникновения скульптурных образов Будды не позднее I в. до н.э. – I в. н.э.

Таким образом, теоретически хунну вполне могли быть знакомы с буддизмом, который проник к ним через Великий шелковый путь не из Китая, а из Средней Азии. Интерпретировать упоминаемую китайскими источниками золотую антропоморфную статую конца II в. до н.э. как изображение Будды, пока нет весомых оснований в силу более позднего формирования и распространения такого канона как в самой Индии, так и в государствах Средней Азии. Кроме того, знакомство с этой религией у хунну на данном этапе носило в лучшем случае поверхностный характер и касалось только элиты кочевого общества. Вероятно, прояснить степень влияния буддизма на религию хунну будет возможно только в случае находок предметов буддийского культа непосредственно на памятниках хунну.

Сведений о знакомстве с буддизмом сяньбийцев и жужаней, как и хунну, крайне мало, хотя они и отличаются в некоторой степени большей определенностью. По мнению Г. Сухбатара (1978, с. 65–68), имеются данные китайских источников о том, что некоторые правители не только интересовались литературой и учением этой конфессии, но и носили имена, которые символизировали поддержку Будде. Буддийские миссионеры занимались проповедческой деятельностью и переводом священных текстов, в том числе на тобасский (сяньбийский) язык. К сожалению, проверить приводимые исследователем данные проблематично, поэтому можно сделать только некоторые комментарии по этому вопросу.

Так, согласно письменным источникам, в 419 г. н.э. монах Фа Го объявил императора тобасской династии Вэй Тай-цзу Буддой (Кычанов Е.И., 1997, с. 64). До этого момента у представителей тобасской династии, начиная с Тоба-Гуя, господствовал титул императора и сына Неба (Бичурин Н.Я., 1998, с. 179), которые он принял после успешных военно-политических действий. Этот

факт еще раз подтверждает, что инициатором распространения буддизма среди сяньбийцев, как и других кочевых народов, были правители и окружающая элита. Возможность проникновения отдельных религиозных идей и миссионеров в кочевую среду косвенно подтверждается тем, что во II–III вв. н.э. из Средней Азии в Восточный Туркестан и далее в Китай стали регулярно в большом количестве направляться последователи буддизма, хотя отдельные проповедники попадали сюда и несколько ранее (Восточный Туркестан..., 1992, с. 441).

В конечном итоге в IV–V вв. н.э. буддизм достаточно хорошо закрепился в указанных регионах, с которыми номады постоянно взаимодействовали. В то же время, вероятно, не стоит преувеличивать влияние этой религии на мировоззрение сяньбийцев. В этой связи не совсем понятным является мнение Г. Сухэбатора (1978, с. 66) о переводе буддийских текстов на тобаский язык, поскольку в этом случае у номадов должна быть своя письменность. Существование же собственной письменности у сяньбийских племен пока не является доказанным фактом.

В период господства в Центральной Азии Жужанской империи деятельность буддийских миссионеров усилилась. В источниках имеются сведения, прямо указывающие на наличие представителей этой конфессии в окружении правящей элиты номадов. Так, согласно источникам, «в четвертое лето правления Юн-пъин, 510, в девятый месяц, Чэуну послал Двору с Шамыне Хунсюанем идола, жемчугом обложенного» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 78). В этом фрагменте рассказывается о подарке китайскому императору статуи Будды, преподнесенной от имени правителя жужаней Чэуна буддийским священником. В данном случае речь, вероятно, идет о тобасской династии Вэй, которая захватила к этому времени Северный Китай (Кычанов Е.И., 1997, с. 64, 78).

Отдельные сведения о деятельности буддийских миссионеров при ставке жужанского правителя приводит Г. Сухэбатор (1978, с. 67–68), отмечая, что данная религия проникала к номадам из бассейна Тарима, королевства Хотана (Юйтянь), Яньчжи (Карашара) и Сулэй. Кроме того, исследователь упоминает отдельные находки каменных изваяний и стел, на которых зафиксированы надписи, написанные письмом брахми и по-тибетски (Сухэбатор Г., 1978, с. 68). Позицию о широком распространении буддизма среди жужаней разделяет А.В. Тиваненко (1994, с. 65–69), который в своих изысканиях целиком опирался на разработки Г. Сухэбатора. Кроме того, ученый упоминает о находке на Нижневолгинском городище походного бронзового буддийского алтаря с надписью 441 г. н.э., который был изготовлен для ханьского императора, предпринявшего карательный поход против кочевников (Тиваненко А.В., 1994, с. 65–69).

Таким образом, имеющиеся, преимущественно отрывочные, письменные сведения о возможном знакомстве жужаней с буддизмом позволяют сделать вывод только о деятельности миссионеров в Центральной Азии, которые входили в религиозную элиту кочевого общества. Некоторые из представителей этой конфессии, как отмечено выше, могли находиться в окружении правителя. Примечательно, что во многих государствах Средней и Центральной Азии, а также в Китае правящая элита активно поддерживала буддийских миссионеров, организацию общин и строительство храмов. При этом правители часто стремились использовать положения вероучений для обоснования сакрализации своих персон и власти (Мартынов А.С., 1972, с. 6–7; Шомахмадов С.Х., 2007; и др.). Более того, известны случаи привлечения буддийских проповедников в качестве государственных советников и даже потенциальных регентов (Восточный Туркестан..., 1992, с. 475).

Использование различных догматов для обоснования верховной власти было характерным явлением и для кочевых империй Центральной Азии. В отношении буддизма в наиболее полной мере это проявилось в более поздний период у монголов в эпоху средневековья (Скрынникова Т.Д., 1988), хотя указанное обстоятельство и являлось одним из наиболее привлекательных факторов для симпатий кочевых правителей к этой конфессии начиная уже с хунно-сяньбийского периода. К тому же правители соседних земледельческих государств, с которыми взаимодействовали номады, оказывали значительную поддержку новой религии. Соответственно, чтобы находиться на одном политическом уровне с главами соседних государств, прежде всего Китая, нужно было иметь соответствующее мифологическое обоснование легитимности власти над кочевым народом, которое обладало бы таким же высоким статусом, как у земледельцев.

В то же время имеющиеся на сегодняшний момент источники не позволяют говорить о широком распространении идей буддизма среди кочевников эпохи поздней древности. В этой связи основу религиозной элиты по-прежнему составляли служители культа традиционного комплекса верований и обрядов, клан правителя и его окружение (вожди племен или старейшины). В отличие от

скифской эпохи в первой половине I тыс. н.э. в религиозную элиту стали входить и миссионеры, особенно приближенные к окружению кочевого правителя.

Отражение в письменных и археологических источниках сведений о разнообразных формах жертвоприношений, магии, мантике, погребально-поминальных комплексах и культовых сооружениях (святилища, храмы) свидетельствует о наличии сложной религиозно-мифологической системы и дальнейшей тенденции формирования и развития особой категории священнослужителей. Такие лица, безусловно, являлись носителями важной сакральной информации и могли оказывать определенное влияние на политические события в кочевой империи. Однако в силу специфики социально-политической организации кочевников и исторических процессов в эпоху поздней древности сформировавшаяся религиозная элита не трансформировалась в корпоративную социальную группу профессионального жречества.

7.3. Этноконфессиональная политика в Тюркских каганатах в эпоху раннего средневековья

В эпоху раннего средневековья на территории Евразии формируются различные каганаты, правители которых имели не только значительную светскую власть, но и обладали высоким сакральным статусом. Показательным в этом отношении является положение тюркских каганов, деятельность которых во всем многообразии засвидетельствована в письменных источниках, в том числе и в памятниках рунической письменности кочевников. Священный статус таких средневековых правителей хорошо прослеживается в текстах, например, на стелах в честь Бильге-кагана и Кюльтегина. В частности, в них указывается: «Когда вверху возникло голубое небо, а внизу – бурая земля, между [ними] обоими возникли сыны человеческие. Над сынами человеческими воссели мои предки Бумын-каган, Истеми-каган. Сев [на царство], они создавали и поддерживали государство и установление тюркского народа...» (Малов С.Е., 1956, КТБ, 1). В другом фрагменте текста избранность кагана видна еще сильнее: «...по соизволению Неба, так как я обладал [божественной] благодатью и [предначертанной] судьбой, я возродил к жизни готовый погибнуть народ!» (Малов С.Е., 1959, КТБ, 29).

Важно отметить, что в рунических надписях каган также выступает как олицетворение тюркского единства. Подтверждением этого являются следующие слова Бильге-кагана: «Если ты, тюркский народ, не отдаляешься от своего кагана, ... от своей родины... ты сам будешь жить счастливо, будешь жить беспечно» (Малов С.Е., 1959, с. 52, БКМ, Хв 13–14). Имя кагана также выступает как эпоним (в эле Бильге-кагана) и синоним названия государства («земля Капаган-кагана») (Кляшторный С.Г., 2004, с. 101; Шарипов Р.Г., 2001, с 39–49). В этой связи правитель тюрков должен направлять все усилия на обеспечение благополучия именно всего тюркского народа. Об этом свидетельствуют слова, высеченные на стеле Кюльтегина: «Я ради тюркского народа не спал ночей и не сидел [без дела] днем... Я поднял [т.е. призвал к жизни] готовый погибнуть народ, сделал многочисленным малочисленный народ» (Малов С.Е., 1956, с. 24).

Таким образом, важной составляющей мировоззрения тюрков являлся комплекс представлений о небесном рождении кагана, который выступал олицетворением божественно сотворенного государства, а также о небесном звере-первопредке династии. При этом формирование такой политической мифологии относится к периоду уже сложившегося государства кочевников – не ранее VI в. Именно тогда возникает миф о происхождении тюркского эля (Кляшторный С.Г., 1981) и культ верховной политической власти кагана – культ Ашина, составная часть священного комплекса действий и представлений о боге Тенгри (Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 64–67).

Култ кагана (култ клана Ашина) стал проявляться в почитании личности правителя, пещеры предков (Кляшторный С.Г., 2003, с. 249), а также волка, который являлся священным животным для многих кочевых народов Евразии (Харитов М.А., 2000). Нашел он отражение и в монументальной архитектуре погребально-поминальных комплексов. Однако, если в скифо-хуннский период курганы «царей» часто выступали как объекты для совершения разнообразных действий, то с раннего средневековья ситуация меняется. Теперь кочевники начинают сооружать отдельно погребальные памятники и сложные поминальные комплексы (своеобразные «храмы») в честь каганов. Достаточно показательными в этом отношении являются поминальные комплексы, посвященные Кюльтегину, Бильге-кагану и другим представителям правящего эля (Тиваненко А.В., 1994, с. 92–97; Войтов В.Е., 1996; Баяр Д., 2004; и др.).

Погребально-поминальная обрядность тюрок изучена достаточно хорошо, в том числе и в аспекте сопоставления письменных источников и археологических данных (Овчинникова Б.Б., 1990; 2005; Кубарев В.Д., 1984; Кубарев Г.В., 2005; Войтов В.Е., 1996; Тиваненко А.В., 1994; и др.), поэтому отметим, что хранителями информации об особенностях таких мероприятий у кочевников, вероятно, являлись, как и в предшествующие периоды, главы семей и кланов. В то же время наблюдается определенная ранжированность погребально-поминальной практики в зависимости от социального статуса и имущественного положения умерших, хотя сохраняется общая мировоззренческая основа таких действий.

Несмотря на широкое участие кочевников в погребально-поминальном цикле, тем не менее имеются основания говорить о тенденциях формирования особой религиозной элиты, которая могла либо совмещать сакральную деятельность с иными формами, либо заниматься культовой практикой более профессионально (Дашковский П.К., 2009). Для рассмотрения такой ситуации обратимся к письменным источникам. Так, в «Вэйшу» отмечается, что «хан всегда живет у гор Дугинь. Вход в его ставку с востока, из благоговения к стране солнечного восхождения. Ежегодно он со своими вельможами приносит жертву в пещере предков; а в средней декаде пятой луны собирает прочих, и при реке приносит жертву духу неба» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 234–235). Аналогичная информация с некоторыми корректировками переводчиков содержится в подборке китайских источников Лю Маоцяя (2002, с. 22). Из приведенного фрагмента видно, что существовали жертвоприношения общегосударственного характера, в которых принимали участие каган и его окружение. Это свидетельствует о существовании особого государственного религиозного культа, отмеченного нами выше, при отправлении которого, по мнению исследователей, каган выступал в роли первосвященника (Кляшторный С.Г., 2003, с. 337–338; Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 6–67; и др.). Подобного характера и масштаба религиозные действия, как отмечено выше, существовали и у хунну, что является проявлением государственной религиозной политики.

Аристократия тюрок участвовала и в обряде инаугурации кагана, который отличался определенным своеобразием: ближайшее окружение кагана сажало его на войлок и десять раз проносило по кругу по ходу движения солнца. При каждом новом обходе приближенные совершают поклонение правителю. После этой части инаугурации кагана сажают верхом на лошадь, туго стягивают ему горло шелковой тканью, а потом, ослабив удавку, спрашивают: сколько лет он сможет? (Бичурин Н.Я., 1998, с. 233). Сходные обряды инаугурации кочевых правителей, вероятно, существовали еще у хунну (Крадин Н.Н., 2001, с. 141), хотя наибольшего распространения они получили в эпоху средневековья (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 109–112; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006; Голден П.Б., 1993, с. 222; Кычанов Е.И., 1978, с. 99; и др.). Данные китайских источников относительно смены правителя отчасти дополняются руническими текстами. Так, в Бугутской надписи упоминается обращение к богам после смерти Мухан-кагана относительно его преемника, затем собирается совет высшей знати и, наконец, следует апелляция к самому претенденту на престол (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1978, с. 56).

В этой связи интересным представляется реконструкция на основе отдельных свидетельств процесса интронизации тюрко-монгольских правителей, предложенная В.В. Трепаловым. Исследователь выделил следующие этапы такого мероприятия: 1) шаманы назначают благоприятный день для инаугурации кагана; 2) все присутствующие на церемонии развязывают пояса и снимают шапки; 3) будущего правителя просят занять престол, но он символически отказывается в пользу более старших родственников; 4) несмотря на «сопротивление» кагана, в конечном итоге его «силой» принуждают согласиться занять престол; 5) все допущенные на это мероприятие приносят ему присягу; 6) правителя поднимают на войлоке; 7) кагана заставляют поклоняться Небу, царствовать справедливо на благо народа; 8) глава государства совершает девятикратное поклонение; 9) после выхода из шатра, где проходила интронизация, все участники совершают трехкратное поклонение Солнцу (Трепалов В.В., 1993, с. 69–70).

Следует также обратить внимание на мнение М. Мори о том, что интронизация тюркского кагана была такой же, как интронизация шамана в шаманизме (цит. по: Кычанов Е.И., 1997, с. 99). Несмотря на то, что такая процедура носила во многом формальный характер, нужно подчеркнуть важное участие в нем служителей культа (шаманов), которые определяли время и весь сценарий

данного действия. В этом случае показательным является роль Кокочу¹ в процессе избрания Темучжина ханом монголов. Не случайно Чингисхан после закрепления у власти устранил главного посредника между миром людей и духов и фактически наряду с высшей военно-политической властью получил и религиозную (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 332–336). В этой связи интересно отметить, что религиозный фактор в эпоху средневековья играл все более значительную роль в этнополитических процессах развития кочевников не только в Центральной Азии, но и далеко за ее пределами (Хазанов А.М., 2004; Пиотровский М.Б., 1984; Прозоров С.М., 1970).

Необходимо отметить, что тюркский каган был вовлечен в религиозную деятельность не только, когда выступал в роли первосвященника или при инаугурации, но и при принятии важных государственных решений. Так, упомянутая выше Бугутская надпись позволяет реконструировать процесс принятия таких решений. Сначала каган делает запрос богам, затем советуется с высшей знатью, после чего обращается к духу Бумыня и уже тогда окончательно принимает решение (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1978, с. 56).

Кроме инаугурации правителей служители культа упоминаются в письменных источниках и в ряде других случаев. Правда, исключением являются собственно тюркские рунические надписи, в которых отсутствует прямая информация о священнослужителях (Малов С.Е., 1951; Бартольд В.В., 2002, с. 472; и др.). Сведения о такой социальной группе содержатся в некоторых китайских хрониках, которые касаются характеристики образа жизни и верований номадов. В то же время перевод одних и тех же источников иногда существенно различается, в особенности, если это касается терминологии. Так, в собрании источников, переведенных Н.Я. Бичуриным, отмечается, что тюрки «поклоняются духам, веруют в волхвов... Обыкновения их обычно сходны с хуннускими» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 235). Указанный фрагмент в собрании Лю Маоцай переведен современными российскими исследователями следующим образом: «Они (*тюрки*. – П.Д.) почитают богов и духов и верят в заклинательниц и заклинателей злых духов... Их обычаи приблизительно такие же, как у сюнну» (Лю Маоцай, 2002, с. 23).

Существование шаманов у тюрков подтверждается их генеалогическими легендами. В Чжоу-шу упоминаются предки тюрков, в том числе Ичжинишид, которого коснулось дыхание духа, поэтому он обладал способностью вызывать ветер и дождь (Лю Маоцай, 2002, с. 11; Бичурин Н.Я., 1998, с. 225). По мнению Л.П. Потапова (1991, с. 120), данный фрагмент указывает на практику избрания духами шамана и на одну из главных функций такого священнослужителя, как умение управлять погодой. В «Биографии Аньлушаня» указывается, что мать метиса Аньлушаня, урожденная Ашидэ, была волшебницей и жила предсказаниями (Лю Маоцай, 2002, с. 97). В «Синь Тан-шу» уточняются обстоятельства рождения Аньлушаня и даются сведения о его матери, происходящей из тюркского рода. Так, сообщается, что женщина молила бога войны Ялаошаня о рождении сына и ее просьба была услышана. Во время рождения ребенка луч света осветил палатку, а «наблюдавшие атмосферу (прорицатели), т.е. астрологи, посчитали это счастливым предзнаменованием... Мать верила, что причиной (спасения) был бог, и назвала ребенка Ялаошанем» (Лю Маоцай, 2002, с. 99). Л.П. Потапов (1991, с. 122) отмечает, что обращение шамана к божеству, в том числе и для рождения ребенка, – явление, распространенное у многих алтае-саянских народов и якутов.

Кроме китайских хроник, в нашем распоряжении имеются описания византийских авторов. Так, Менандр, повествуя о посольстве Земарха к тюркскому хану в 568 г., сообщает: «...некоторые люди из этого племени, о которых уверяли, будто они имели способность отгонять несчастья, пришли к Земарху, взяли вещи, которые римляне везли с собой, сложили их вместе, потом развели огонь сучьями и в то же время звонили в колокол и ударяли в тимпан над поклажею. Они несли вокруг ливановую ветвь, которая трещала от огня, между тем, приходя в исступление и произнося угрозы, казалось, они изгоняли лукавых духов. Им приписывали силу отгонять их и освободить людей от зла. Отвратив, как они полагали, все несчастья, они провели самого Земарха через пламя и этим они и самих себя очистили. Лишь после огненного очищения Земарх был допущен к хану» (цит. по: Гумилев Л.Н., 1993, с. 85). Другой византийский автор Феофилакт Симокатта немного конкретизирует деятельность священнослужителей, обозначая их, если следовать русскому переводу, термином

¹ Среди ученых существует мнение о том, что Кокочу (Теб-Тенгри) был светским правителем, а не шаманом, но обладал сульдэ и пользовался большим уважением у монголов. Он не совершал никаких неординарных действий с помощью духов, но общался непосредственно с Небом (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2005, с. 332–333). Несмотря на определенную дискуссионность вокруг фигуры Кокочу, тем не менее практически все исследователи единогласно отмечают его решающую роль в легитимизации скаральной власти Чингисхана.

«жрец». «Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают воздух и воду, поют гимны земле, поклоняются же единственно тому, кто создал небо и землю, и называют его богом. Ему в жертву приносят они лошадей, быков и мелкий рогатый скот и своими жрецами ставят тех, которые, по их мнению, могут дать им предсказание о будущем» (Феофилакт Симоката, 1957, с. 161).

О жрецах богини Умай у западных тюрков VII в. сообщает албанский епископ Израэль (Кляшторный С.Г., 2003, с. 334). В более поздних арабских источниках начала XIII в. также имеются отрывочные указания о верованиях тюркских племен Центральной Азии, по которым можно составить определенное представление о религиозной деятельности людей. Так, Мухаммад Иби Мансур Мерверруди сообщает: «У тюрков была письменность: (они) знали тайны волшебства и небесных светил; обучали детей грамоте. У них было два вида письма: сугдское (согдийское. – П.Д.) и тогузское» (Материалы по истории..., 1988, с. 92).

Интересные сведения о священнослужителях приводятся в одном из сюжетов поэмы «Шахнаме» Фирдуси, подробно проанализированного Л.Н. Гумилевым. По его мнению, Фирдуси намеренно в своем произведении описывает деятельность не шамана, а ядачи, т.е. колдуна который мог управлять погодой (вызывать ветер, тучи и т.п.), насылать страшные ведения или сны на врага (Гумилев Л.Н., 1993, с. 83–84). Сведения об использовании магических действий, направленных на изменение погоды, известны у кочевников как в предшествующий, хунно-сяньбийско-жужанский период, так и в эпоху развитого средневековья. В частности, в период военных походов жужане столкнулись с тем, что юебанские «волхвы» занимались метеорологической магией и могли вызывать продолжительный дождь, сильный бурян и даже наводнение. Во время таких природных катаклизмов погибло большое количество жужаней (Бичурин Н.Я., 1998б, с. 268). Рашид-ад-дин (1952, с. 121–122) приводит сведения об аналогичной практике волхования у найманов, в ходе которых читались заклинания и использовались специфичные камни для вызывания дождя.

Упомянутый выше термин «ядачи» («яда») в языковом отношении имеет авестийские (*yatu* – волшебство) и новоперсидские (*yadu* – ворожей) истоки, что свидетельствует о раннем влиянии Ирана на тюрков эпохи раннего средневековья (Малов С.Е., 1947, с. 154). Л.Н. Гумилев (1993, с. 84), опираясь на вышеприведенные данные и материалы С.Е. Малова, тем не менее считает возможным говорить именно о ядачи, т.е. о колдунах, а не о шаманах. Между тем С.Е. Малов, на которого ссылался ученый, связывал использование «волшебного камня яда» именно с шаманской практикой. К сходным выводам приходят и некоторые современные исследователи, отмечая, что центральноазиатский ареал распространения термина «яда» и соответствующих верований «свидетельствует о слиянии зороастрийских реликтов с тем, что сейчас ученые собирательно называют шаманством» (Чвырь Л.А., 2006, с. 161).

На существование у тюрков именно шаманов настаивают и другие исследователи, которые трактуют саму религию кочевников как шаманизм или во всяком случае рассматривают его в качестве основополагающего элемента (Кызласов Л.Р., 1990; Стеблева И.В., 2007, с. 20; Кляшторный С.Г., 2003, с. 317–338; Михайлов Т.М., 1980, с. 131; и др.). Обстоятельно этому вопросу на основе широких исторических и этнографических параллелей уделил внимание Л.П. Потапов (1991, с. 123–126; и др.). Этнограф подчеркнул, что в такой практике участвовали как рядовые профессиональные шаманы мужского и женского пола, зарабатывающие культовой практикой, так и каган со своими приближенными.

В то же время необходимо отметить, что во многом трудность атрибуции религиозной деятельности священнослужителей у тюрков связана с несколькими обстоятельствами. Во-первых, переводчики различных памятников письменности часто предлагают разные варианты трактовки одних и тех же действий и лиц, которые их совершают исходя из собственного видения данной проблемы. Во-вторых, анализ тюркской лексики, относящейся к различным религиозным действиям, свидетельствует о существовании довольно широкого спектра во многом синонимичных понятиях, которые могут характеризовать таких лиц, как заклинатель, волшебник, маг, шаман, чародей предсказатель, пророк и т.п. К числу таких понятий можно отнести *jat*, *yrq*, *arva*, *jelvi*, *qam* и некоторые другие (Сравнительно-историческая грамматика..., 2006, с. 610–626). В-третьих, религия кочевников в тюркский период, как и в предшествующие эпохи, носила синкретичный характер. Это было обусловлено знакомством кочевников с различными религиозными системами соседних народов.

В этой связи необходимо остановиться на деятельности миссионеров в Тюркских каганатах и религиозной политике самих правителей кочевых империй. Уже в период Первого каганата существовали буддийские миссионеры и их последователи среди тюркской элиты. Так, Мухан-каган в на-

чале своего правления в середине VI в. обратился в буддизм (Восточный Туркестан..., 1992, с. 489). На следующего правителя Тоба-кагана (572–581 гг.) повлиял монах Хуэй Линь из царства Ци, который оказался в плену у тюрков. Этот монах сообщил кагану, что царство Ци могущественно и богато из-за соблюдения законов Будды. Тоба под впечатлением рассказов монаха приказал соорудить храм и попросил правителей Ци прислать священные книги буддизма. Более того, по сведениям источников, каган сам участвовал в отдельных буддийских обрядах (Бичурин Н.Я., 1998, с. 237–238).

По некоторым данным упомянутый монах Хуэй Линь мог быть буддийским миссионером индийского происхождения, настоящее имя которого Джинагупта (Кычанов Е.И., 1997, с. 112). Участие Таспар-каган в буддийских обрядах подтверждается сведениями Бугутской надписи (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971, с. 133). Известны факты довольно регулярного пребывания буддийских монахов из Китая в тюркском каганате и даже перевода некоторых священных текстов этой религии на тюркский язык (Сухэбатор Г., 1978, с. 69). В переводе отдельных сутр могли участвовать и согдийцы, активно торговавшие в Центральной Азии (Кычанов Е.И., 1997, с. 112).

Интерес к буддизму у кочевой элиты постепенно возрастал, особенно в результате стремления подражать китайскому двору и выступать с ним по всем позициям, в том числе и по мировоззренческим, на равных. Это привело к тому, что в 716 г. Бильге-каган (Бигя-хан Могилян) попытался не просто проводить лояльную религиозную политику в своем каганате, но и фактически выступать в роли покровителя отдельных религиозных учений, проникавших в среду кочевого общества из Китая. Возможно, было сделано и из внешнеполитических соображений. Китайские источники сообщают, что «Могилян еще хотел обвести свою орду (*дворец. – Авт.*) стеною и построить храмы Будде и Лао-цзы. И Туньюгу сказал ему: «Тукюеский народ по численности не может сравниться и с сотою долей народонаселения в Китае, и что он может противостоять сему государству, этому причиною то, что тукюесцы, следуя за травой и водою, занимаются звероловством, не имеют постоянного местопребывания и управляются только в военных делах. Когда сильны, идут вперед для приобретения; когда слабы, то уклоняются и скрываются. Войска Дома Тхан многочисленны, но негде употреблять их. Они живут в городах. ...Сверх сего учение Будды и Лао-цзы делает людей человеколюбивыми и слабыми, а не воинственными и сильными». Могилян последовал его совету и отправил посланника просить о мире (Бичурин Н.Я., 1998а, с. 279).

А.В. Тиваненко (1994, с. 105) полагает, что Бильге-каган пытался придать буддизму общетюркское значение. Однако в приведенном фрагменте упоминается на равных позициях не только буддизм, но и даосизм. В то же время вполне очевидны поиски правящей элиты определенных религиозных основ для обеспечения консолидации и могущества тюркского общества. Не случайно Туньюгу (Тоньюкук) в качестве своих аргументов отмечал, что буддизм и даосизм не соответствуют воинственному духу, мировоззрению и образу жизни кочевников и поэтому не смогут являться основой государства. В этой связи интересно мнение А. Габен, который обратил внимание, что в эпоху раннего средневековья буддизм наиболее успешно закреплялся у западных тюрков, которые переходили к оседлой, городской жизни в окружении местного буддийского населения. К началу VIII в. западнотюркские каганы становятся не просто интересующимися этой конфессией, но и ревностными ее сторонниками, оказывая существенную финансовую и административную поддержку (Восточный Туркестан..., 1992, с. 490).

Своеобразную точку зрения относительно интерпретации служителей культа у тюркских племен высказал Т.С. Жумаганбетов. Исследователь обозначил данную социальную группу термином «бахсы», которые только часть своей деятельности отводили ритуалам, а в основном занимались прикладной магией, медицинской и ветеринарной практикой, кузнечеством (Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 76–77). При этом тюрколог, используя этнографический материал, отметил, что элементы избрания бахсов духами имеют прямые шаманские параллели. В то же время священнослужители составляли влиятельный клан вне родовой организации, в которую входил каган со своей семьей, и каждый, кто обладал необходимыми способностями, с детства воспитывался бахсами. Вероятно, в контексте рассуждений автора более уместно говорить о корпоративном объединении бахсов, а не клановом, которое предполагает родственные, но не профессиональные связи.

Одна из главных функций бахсов – лечебная, реализовывалась как применительно к людям, так и к животным. В религиозном отношении бахсы обслуживали культ Тенгри (Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 78). Важно также обратить внимание на то, что Т.С. Жумаганбетов ссылается на мнение Л.Н. Гумилева о том, что бахсы соединяли в себе сущность шамана и ядачи (колдуна). Между тем в работе последнего, посвященной древним тюркам, такая точка зрения отсутствует. Л.Н. Гумилев

(1993, с. 75–85) довольно скептически оценивал трактовку священнослужителей у тюрков через категорию шамана и указывал, как отмечено выше, именно на существование ядачей.

Не совсем понятно также, почему при рассмотрении данного вопроса Т.С. Жумаганбетов не привлек хорошо известные ему китайские и византийские памятники письменности и ограничился только ссылкой на арабский источник X в. «Хадуд ал алама», в котором приводятся такие данные: «Они (т.е. тюрки) почитают лекарей (бахсы) всякий раз, как видят их, им поклоняются. Эти лекари распоряжаются и жизнью, и имуществом их» (цит. по: Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 76). В приведенном фрагменте, очевидно, речь идет о тюрках Западного кагана, значительная часть которого под влиянием комплекса причин начала переходить к оседлому образу жизни. В то же время формирование тенгрианства в качестве государственной религии тюрков и статуса первосвященника-кагана, который согласно позиции автора входил в профессиональный клан бахсов, относится к более раннему периоду, но не ранее начала VI в. (Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 75–76).

Косвенным подтверждением формирования определенной группы священнослужителей у центральноазиатских тюрков являются сложные мемориальные комплексы, посвященные элите номадов (Новгородова В.А., 1981; Войтов В.Е., 1996; Тиваненко А.В., 1994; Баяр Д., 2004; и др.). Такие объекты использовались не только как символ памяти о великом правителе, но и для определенных наиболее значимых религиозных действий, совершаемых уже после смерти кагана (Новгородова В.А., 1981, с. 211). Сооружение указанных комплексов происходило при непосредственном участии китайских мастеров, что подтверждается как письменными источниками, так и последующими археологическими и искусствоведческими исследованиями (Худяков Ю.С., 1998; и др.).

Возведение элитных поминальных сооружений во многом, по китайским архитектурным традициям, не могло не отразиться и на мировоззрении тюрков, что является еще одним проявлением религиозного синкретизма. Важно также отметить, что менее масштабные поминальные комплексы сооружали и в честь кочевников с более низким социальным статусом, а не только военно-политической элиты (Кубарев В.Д., 1984; Досымбаева А., 2002; и др.).

В контексте рассмотрения проблемы служителей культа у тюркских племен заслуживают внимания определенного типа изваяния эпохи раннего средневековья. В данном случае речь идет об антропоморфных изваяниях с изображением в районе груди сосуда в руках. По мнению исследователей, такие сосуды носили сакральный характер и использовались во время заключения договора и присяги (Golden P.B., 1998, p. 204). А. Досымбаева интерпретирует изображенные сосуды на изваяниях как символ одного из тюркских божеств Жер-Су (Йер-Су), которое олицетворяет женское начало, плодородие, священную Землю-Воду (Досымбаева А., 2007, с. 239). Сходную мировоззренческую нагрузку несут тамги в виде сосуда на тюркешских монетах, а сама мифологема «священного сосуда» имеет достаточно широкое распространение у разных народов мира (Зуев Ю.А., 2002, с. 119).

Л.Н. Ермоленко (2004, с. 64), исходя из особенностей военной идеологии номадов, рассматривает сосуды, изображенные на тюркских изваяниях, как символ ритуала возлияния божеству (божествам), которое покровительствует войне. Заключение клятвы через сакральный напиток зафиксировано и в ранних арабских источниках, «...когда хотят тюрки взять клятву с какого-либо мужчины, приносят медного идола, держат его, затем готовят деревянную миску, в которую наливают воду и ставят ее между рук идола. Потом, после клятвы, он выпивает воду» (цит. по: Досымбаева А., 2006, с. 50). Примечательно, что особые ритуальные сосуды существовали уже у кочевников Евразии со скифо-сакского времени (Кузнецова Т.М., 1988; Королькова Е.Ф., 1999; и др.).

Интересно также отметить, что у хунну практиковались жертвоприношения, которые были приурочены к какому-либо значимому событию, например заключению договора, клятвы, надвигающейся большой опасности (война). Показательными в этом случае являются следующие свидетельства: «Чан, Мын, Шаньюй и его старейшины взошли на хуннскую гору (вероятно, святилище. – *Авт.*), по восточную сторону реки Но-Шуй, и закололи белую лошадь. Шаньюй взял дорожный меч и конец его омочил в вино; это клятвенное вино выпили из головного черепа (т.е. специального сосуда. – *Авт.*) Юэчжиского государя, убитого Лаошан Шаньюем» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 94).

Существовала у номадов и традиция приготовления особого сакрального напитка, связанного с культом Сомы (Хаомы) или близким ему ритуалом (Гусева Н., 1983; Федоров В.К., 2002; и др.). Более того, согласно скифской генеалогической легенде, чаша рассматривалась как жреческий символ (Раевский Д.С., 1977, с. 71). Безусловно, в настоящее время недостаточно оснований рассматри-

вать антропоморфные изваяния с сосудами в руках в качестве маркеров памятников служителей культа у тюркских племен, однако особая ритуальная роль таких предметов несомненна.

Кроме ритуальных сосудов, необходимо отметить и изображения так называемых трехрогих головных уборов или трехрогих тиар, которые выявлены на антропоморфных изваяниях, личинах, бляшках и некоторых других предметах (Досымбаева А., 2006, с. 44–50; Ахинжанов С.М., 1978; Шер Я.А., 1966; и др.). В отношении тюрков Центральной Азии данный элемент стал активно рассматриваться после находок С.И. Руденко и А.Н. Глухова знаменитого Кудыргинского валуна. Исследователи предлагают разные интерпретации указанных изображений (Потапов Л.П., 1953, с. 92; Киселев С.В., 1951, с. 479; Кызласов Л.Р., 1949; Гаврилова А.А., 1965, с. 19; Длужневская Г.В., 1978; Суразаков А.С., 1994; Янборисов В.Р., 1984; Мотов Ю.А., 2001; и др.).

Не останавливаясь на анализе всех точек зрения на интерпретацию уникальной находки, следует отметить ряд моментов, связанных с трактовкой специфичных головных уборов. Уже Л.Р. Кызласов (1949) обратил внимание на то, что «трехрогая» тиара являлась характерным атрибутом богов и жрецов, хотя центральную фигуру в таком уборе он интерпретировал в качестве богини Умай. А.А. Гаврилова (1965, с. 20) поддержала вторую часть версии Л.Р. Кызласова и рассматривала такие уборы как атрибуты жриц, связанных с шаманской практикой. Позднее эту точку зрения развили и другие исследователи. Так, С.М. Ахинжанов (1978, с. 79) отмечал, что некоторые немногочисленные типы изваяний в «трехрогих» тиарах можно считать изображениями шаманок, а также связывать их с почитанием культа предков по женской линии. К.М. Байпаков и Т.А. Терновая (2005, с. 133–135) приводят широкий спектр аналогий отмеченной традиции.

А. Досымбаева, опираясь на разработки других исследователей и свои полевые материалы, достаточно обстоятельно рассмотрела данный вопрос и пришла к следующим выводам. Во-первых, «трехрогие» головные уборы встречаются как на женских, так и на мужских антропоморфных изваяниях. Отмеченная особенность достаточно хорошо трактуется на основе этнографических материалов по народам Сибири, согласно которым для священнослужителей-мужчин шаманскую одежду шили по образцу женской (Досымбаева А., 2006, с. 46). Во-вторых, такой головной убор являлся маркером жрецов высшей категории, которые выступали посредниками между миром богов и людей. В-третьих, по мнению исследовательницы, у тюрков жреческие функции осуществляли представители материнской фратрии, племени судей аштаков/ашидэ (Досымбаева А., 2006, с. 47). Несмотря на дискуссионность отдельных выводов А. Досымбаевой и рассмотрение категорий «жрец», «шаман», «служитель культа» в качестве синонимов, что не совсем методологически верно, тем не менее исследовательница справедливо акцентировала внимание на возможности привлечения иконографических данных при изучении проблемы служителей культа у кочевников.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о существовании у тюрков в эпоху средневековья группы лиц, которая обслуживала многообразную систему религиозных действий. В то же время есть основания говорить о формировании определенной религиозной элиты, вовлеченной в наиболее значимую сакральную часть культуры кочевников. Такая специфичная религиозная элита включала в себя священнослужителей наиболее важных традиционных (шаманских) культов, клан кагана и его окружение, а также миссионеров. Правящий клан, как и в предшествующий период, обладал статусом сакрального, и его представители, облаченные харизмой, одним своим существованием давали социуму покровительство небесных, «светлых» сил. О высокой степени сакрализации правителей тюрков свидетельствуют и сложные мемориальные комплексы, которые обслуживали священнослужителя и после смерти каганов. Активизация миссионерской деятельности в Центральной и Средней Азии в эпоху средневековья, полиэтничность и поликонфессиональность тюркских каганатов, особенности внешнеполитической деятельности и ряд других факторов оказывали прямое влияние на функционирование системы мировоззрений кочевников. В такой ситуации роль религиозного фактора в этнополитической истории неизменно увеличивалась и, соответственно, возрастал статус лиц, облаченных сакральным знанием и силой. Однако в силу особых культурно-исторических условий развития кочевничества формирование корпоративного жречества у кочевников не произошло, во всяком случае, с такими признаками, которые характерны для земледельческих обществ.

В середине IX в. на историческую арену Южной Сибири и Центральной Азии выходит Кыргызский каганат (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994; 2005; Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С., 2000; и др.). Новое государственное образование кочевников сохранило систему этносоциального соподчинения, а также определенные принципы религиозной политики, выработанные в предшествующих ко-

чевых империях. Несмотря на то, что к изучению религии кыргызов исследователи обращаются начиная с XIX в. (Бичурин Н.Я., 1998, с. 360; Худяков Ю.С., 1987; Длужневская Г.В., 1995; Митько О.А., 1994; Matnchtn-Hilfen O., 1951; Кызласов Л.Р., 1969, с. 127; 1999; 2001а; Кызласов И.Л., 2004; Дашковский П.К., 2007б; и др.), тем не менее вопросы религиозного синкретизма и функционирования категории священнослужителей остаются актуальными до настоящего времени. Учитывая особую этноконфессиональную ситуацию в Центральной Азии в период существования Кыргызского каганата, обратимся при изучении обозначенной проблематики к анализу письменных и археологических источников.

Так, в китайских хрониках есть широко известные упоминания о религиозных обрядах енисейских кыргызов. «Жертву духам приносят в поле. Для жертвоприношений нет определенного времени. Шаманов называют гань [кам]. ... При похоронах не царапают лиц, только обвертывают тело покойника в три ряда и плачут; а потом сжигают его, собранные же кости через год погребают. После сего в известные времена производят плач» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 361). Аналогичные сведения по погребальному обряду у кочевников приводятся в переводах Н.В. Кюнера: «Если кто умрет, то только трижды всплакнут в голос, не режут лица, сжигают покойника и берут его кости; когда пройдет год, тогда делают могильный холм» (Кюнер Н.В., 1961, с. 60). Правда, в последнем случае нет никаких указаний на существование шаманов или других представителей служителей культа, однако сохраняется информация о длительности погребально-поминального цикла. В контексте рассматриваемой проблемы интересные сведения приводятся в арабских и персидских источниках. Например, персидский автор Гардизи в XI в. писал о кыргызах: «Некоторые из киргизов поклоняются корове, другие – ветру, третьи – ежу, четвертые – сороке, пятые – соколу, шестые – красным деревьям... У них особая мерная речь, которой они пользуются в молитвах. Молясь, обращаются в сторону юга... Они почитают Сатурна и Венеру, а Марса считают дурным предзнаменованием... Есть у них дом для молений... Светильник (зажженный) они не гасят, пока не погаснет сам собою» (цит. по: Караев О., 1968, с. 95–96).

Аналогичные сведения приводятся в «Словаре стран» Йакута, написанного в начале XIII в.: «У них (кыргызов. – П.Д.) имеется храм для поклонения, есть тростниковые перья, которыми пишут... Светильники они свои не гасят до тех пор, пока [горючее] вещество в них не потухнет само. Они знают стихотворную речь, что произносят во время своей молитвы... В году у них несколько праздников. Молятся они, обращаясь на юг, почитают Сатурн и Венеру и считают дурным предзнаменованием Марса... Они имеют камни, которые светятся ночью, благодаря которым им не нужны светильники и которые употребляются только в их стране...» (Материалы по истории..., 1988, с. 82).

Значительное сходство фрагментов, возможно, свидетельствует об использовании Йакутом более раннего текста Гардизи. Во всяком случае, приведенные сведения позволили О. Караеву отметить, что в этом фрагменте содержится информация о различных религиозных системах – шаманизме и манихействе (Караев О., 1968, с. 96). Кроме того, исследователь также ссылался на сведения Гардизи и ал-Марвази относительно существования у кыргызов так называемых фагинун, т.е. служителей культа. Фагинуны во время обрядовых действий, которые сопровождалась музыкой, довели себя до потери сознания, а затем, придя в чувство, предсказывали различные события, природные катаклизмы, нашествие врагов и др. (Караев О., 1968, с. 96).

Данные сведения довольно значительно совпадают с элементами шаманского экстаза, во время которого шаман общался с духами, а затем исполнял их волю. Необходимо учитывать, что такое своеобразное описание священнослужителей представлено авторским взглядом персидских и арабских путешественников, которым далеко не всегда были понятны «варварские» обычаи и обряды. В этой связи показательна оценка погребального обряда кыргызов, данная Гардизи, который выполнил ее в своеобразном историко-сравнительном подходе. Так, персидский ученый отметил: «Киргизы... подобно индусам, сжигают умерших и говорят: «Огонь – самая чистая вещь; все, что попадает в огонь, очищает от грязи и грехов» (цит. по: Караев О., 1968, с. 98). Подобные сведения сообщает арабский автор XII в. ал-Марвази: «У киргизов в обычае сжигать своих умерших. Они утверждают, что огонь делает их чистыми и очищает их...» (Митько О.А., 1994, с. 221).

Погребально-поминальный цикл кыргызов хорошо изучен археологически в разных районах Южной Сибири и Центральной Азии (Кызласов Л.Р., 1983; Митько О.А., 1994; Грач А.Д., Длужневская Г.В., Савинов Д.Г., 1998; Савинов Д.Г., 1994; Худяков Ю.С., 1982; 1990; Дашковский П.К., 2007б; и др.). Кроме того, он имеет многочисленные этнографические параллели, неоднократно отмеченные исследователями (Длужневская Г.В., 1995; Абрамзон С.М., 1971; и др.). В то же время

приведенные выше отрывки из различных по происхождению, времени и авторству источников позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, погребально-поминальная обрядность занимала длительный в течение одного года период. Во-вторых, она включала в себя несколько этапов: выбор места для захоронения, транспортировка тела умершего, подготовка погребального костра и т.д. (Митко О.А., 1994). В-третьих, существуют отрывочные сведения о священнослужителях – шаманах или близким им по функциям людям, хотя основные элементы обряда погребения, вероятно, совершались под руководством глав семей и кланов. В-четвертых, достаточно дискуссионным остается вопрос о самой сущности религии кыргызов и, в частности, вопрос о степени проникновения манихейства в традиционное мировоззрение кочевников. Еще в первой половине XI в. Абурайхан Бируни отмечал, что «...веру Мани и его учение исповедуют большинство восточных тюрков, обитатели Китая, Тибета и части Индии» (Бируни А., 1957, с. 11). Однако данные сведения безусловно нужно рассматривать весьма критически, а не как аксиому, не требующую доказательств. Дело в том, что манихейство в это время, наряду с христианством, рассматривалось мусульманскими авторами, через противопоставление с исламом. В этой связи степень распространения манихейства среди неисламских регионов и стран могла быть существенно преувеличена.

Ученые практически единогласны в том, что манихейство имело прочное положение в Уйгурском каганате, где оно носило статус государственной религии (Камалов А.К., 2001; Бартольд В.В., 2002, с. 52; Ермоленко Л.Н., 1990, с. 122–123; Виденгрэн Г., 2001, с. 197; и др.), хотя имеющиеся данные свидетельствуют и о сохранении многих традиционных верований. В отношении степени распространения манихейства в Кыргызском каганате у исследователей сложились разные мнения. Практически никто из них не отрицает того, что кыргызы, как и другие кочевые народы, были знакомы с учением пророка Мани (Худяков Ю.С., 1987; 1999; Matchn-Htlfen O., 1951; Караев О., 1968, с. 97; и др.). В то же время отдельные востоковеды, в частности Л.Р. и И.Л. Кызласовы (Кызласов Л.Р., 1969, с. 127; 1999; Кызласов И.Л., 2004), настаивают на государственном статусе этой религии и в Кыргызском каганате. К аналогичному выводу пришел и Ю.А. Зуев (2002, с. 255). О значительной степени распространения манихейства у тюркоязычных кочевников, по мнению названных ученых, свидетельствуют многочисленные письменные (в том числе рунические) источники, храмы и монастыри, обнаруженные в Минусинской котловине и на Алтае (Кызласов Л.Р., 2003; Кызласов И.Л., 2004). При этом традиционные шаманские верования и обряды сохранили свое значение в мировоззрении. Именно религиозный синкретизм манихейства и шаманизма дал основание Л.Р. Кызласову высказать мысль об особом «сибирском манихействе», получившем распространение у кыргызов. Более осторожную и аргументированную позицию изложил Ю.С. Худяков (1987; 1999 и др.). Ученый указывает на то, что к периоду IX–X вв. относится большая часть сведений о знакомстве кыргызов с разными религиозными традициями. Это обусловлено полиэтничным характером государственного образования кочевников.

Безусловно, рассмотрение степени распространения манихейства среди народов Сибири и Центральной Азии является отдельным направлением исследования, не входящим в задачи данной публикации. Однако необходимо обратить внимание, что сведения письменных источников как китайских, так и рунических, которые интерпретируются Ю.А. Зуевым как манихейские (или отражающие основы манихейского вероучения), касаются главным образом элиты кыргызов. Так, востоковед отмечает, что, согласно китайским источникам, некоторые кыргызские каганы носили титул «каган Света». В рунических кыргызских надписях также встречаются отрывочные сведения, которые свидетельствуют, по мнению ученого, о проникновении в мировоззрение кочевников манихейства. В данном случае речь идет о различных эпитафиях, в которых отмечены такие понятия, как «мар» (наставник) и «дом», т.е. молельня (Зуев Ю.А., 2002, с. 252–255). В то же время другой ориенталист С.Г. Кляшторный, опираясь на ту же источниковую базу, отмечал, что религиозный синкретизм манихейства и центральноазиатского христианства затрудняет атрибуцию языкового, а также и иконографического материала. Однако имеющиеся в распоряжении ученого данные позволили ему склониться к выводу о распространении к середине IX в. среди кыргызской аристократии несторианства, а не манихейства (Кляшторный С.Г., 1959, с. 166–167).

Несмотря на дискуссионность точки зрения о религиозном синкретизме у кыргызов, важно обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, судя по письменным, археологическим источникам, иконографическим материалам (изображение крестов, служителей культа на скалах), в Центральной и Средней Азии в период Кыргызского каганата активно действовали как манихейские, так и несторианские миссионеры (Кычанов Е.И., 1978; Восточный Туркестан..., 1992, с. 506–549; Из истории

древних культов..., 1994; Golden P., 1998; и др.). В то же время по-прежнему сохранял сильные позиции в мировоззрении шаманский комплекс верований и обрядов.

Во-вторых, в распространении новых религий могли участвовать не только миссионеры, но и представители покоренных народов, которые либо изначально были лояльны к кыргызам или перешли к ним на службу. В данном случае интересным является факт перехода на сторону кыргызов уйгурского полководца Гюйлу Мохэ вместе со своими воинами (Бичурин Н.Я., 1998, с. 364), которые, несомненно, уже были знакомы с манихейством.

В-третьих, кыргызские эпитафии, в которых упоминаются термины мар-наставник и дом-молельня (монастырь и т.п.), как правило, созданы в честь политической и военной элиты, а не «рядовых» номадов. В этой связи новая религиозная доктрина получила широкое распространение только у части кочевого общества, и успех ее во многом зависел от религиозных симпатий и политики правящего клана и его окружения. Поскольку профессиональные воины-дружинники всегда являлись основной опорой политической элиты, то и их религиозные взгляды, как правило, совпадали. В этой связи даже формальное наделение религии статусом государственной еще не означает быстрое принятие ее обществом.

Необходимо также отметить, что в эпоху средневековья на территории Евразии распространенным явлением было формирование полиэтничных военно-политических образований номадов (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2004; Савинов Д.Г., 2005; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005; и др.). В таких полициях, как правило, выделялась доминирующая этническая группа из числа завоевателей, которая представляет собой высшую элиту. С другой стороны, внутри кочевого политического объединения формируется или поддерживается местная элита, представители которой могут занимать прочные позиции в социальной иерархии (Тишкин А.А., 2005, с. 53). Взаимоотношения между этносом-элитой и другими племенами, входящими в Кыргызский каганат, были различны: подарки, «подати», военная поддержка и др. (Савинов Д.Г., 2005, с. 36–37). Это обстоятельство позволяет говорить об определенной межэтнической иерархии в государстве кыргызов и учете религиозных традиций разных племенных групп.

В кыргызское время в горных районах Алтая проживали тюркские племена, утратившие свое военно-политическое могущество в Центральной Азии. На территории предгорий же обитали носители сроскинской культурной традиции, сформировавшейся в результате подчинения местных самодийских племен тюрками Второго Тюркского каганата (Неверов С.В., Горбунов В.В., 2001). Имеющиеся материалы демонстрируют различный характер отношений между отмеченными этническими группами в разные периоды. Поскольку тюрки в IX–X вв. выступали союзниками кыргызов в войне против уйгуров, то на этом этапе наблюдалось их мирное сосуществование. Об этом, в частности, свидетельствуют погребальные памятники, сооруженные в пределах одного социального и сакрального пространства как в горных, так и в предгорных районах Алтая (Могильников В.А., 1990; 2002, рис. 1; Дашковский П.К., 2007а; и др.).

Дополнительные сведения о взаимоотношениях кыргызского и тюркского населения в IX–X вв. можно обнаружить в тексте рунических надписей из Мендур-Соккона. В одной из них от имени местного тюркского населения приводятся такие слова: «Мой старший брат герой и знаменитый киргиз» (Баскаков Н.А., 1966, с. 80–81). Приведенные данные подтверждают достаточно стабильные в первый период отношения с местным населением и отсутствие государственной религиозной политики, направленной на закрепление манихейского мировоззрения среди подчиненных этнических групп. В противном случае по религиозным и идеологическим причинам кыргызы вряд ли стали бы хоронить своих умерших людей на общих могильниках и позволили сохранять традиционные формы погребально-поминальной обрядности.

Лояльное отношение каганов к различным религиозным традициям зависимых племен обусловлено характером самой власти правителей полиэтничных кочевых образований. В таких политических объединениях каганы должны были учитывать не только интересы доминирующего этноса, но и остальных этнических групп. Правители номадов, несмотря на сакрализацию (Угдыжеков С.А., 1997; Скрынникова Т.Д., 1997; Дашковский П.К., 2007в; и др.), не обладали абсолютной властью и постоянным стабильным положением даже в рамках своего этноса. Это обстоятельство останавливало каганов от резкого навязывания единообразного мировоззрения, хотя его значимость, безусловно, признавалась. В степном мире более важным было выражение политической лояльности и военной поддержки правителю. Для постепенного же сложения единой религиозной системы в рамках полиэтничного государства требовался более длительный период, который в эпоху средне-

вековья прерывался военно-политическими событиями и сменой расстановки сил в Южной Сибири и Центральной Азии.

Необходимо также отметить, что в последние годы опубликованы новые данные о деятельности в Саяно-Алтае манихейских миссионеров. В данном случае речь идет об интерпретации И.Р. Кызласовым (2004) находок рунических надписей религиозного содержания на Алтае в качестве маркеров манихейских монастырей. В отличие от Минусинской котловины, где исследованы манихейские стационарные храмы в дельте р. Уйбат и в котловине Сорга (Кызласов Л.Р., 1999), на Алтае монументальных сооружений не выявлено. Сложившаяся ситуация объясняется И.Л. Кызласовым использованием либо деревянных культовых сооружений, либо юрты, поскольку каменные храмы строились только в городах (Кызласов Л.Р., 2004, с. 127–128). Кроме этого, выявленные на Алтае местонахождения рунических надписей относятся к VIII в., т.е. к докыргызскому периоду, хотя, как отмечает исследователь, эти объекты функционировали не одно столетие. Наконец, нужно отметить, что, по мнению востоковеда, имеются все основания говорить о формировании двух епархий в Центральной Азии. Первая включала Минусинскую котловину и Туву, а вторая – Северо-Западную Монголию и Алтай (Кызласов Л.Р., 2004, с. 127–128).

Представляется несколько преждевременным выделение определенной церковной структуры среди манихейских миссионеров в виде епархий, поскольку для этого нужно подтверждение письменных источников самих манихеев и поддержка определенного государства. Во-вторых, не совсем ясно, почему храмовые комплексы выявлены пока только в «первой епархии», а именно в Минусинской котловине, хотя, согласно исследованиям Л.Р. Кызласова (1999, с. 34), указанный регион наравне с Алтаем с середины VIII в. связан с манихейскими миссионерами. Безусловно, можно согласиться с мнением Ю.А. Зуева (2002, с. 260) о том, что манихейство легко приспособлялось и даже включало в себя традиционные верования, а для совершения религиозного таинства могла использоваться юрта. Однако в тех районах, где община функционировала успешно и длительный период, сооружались монументальные культовые объекты (Кызласов Л.Р., 1999, с. 22–32; Байбаков К.М., Терновская Г.А., 2002; Кляшторный С.Г., 2006, с. 122; и др.).

Об успехах манихейской миссии среди населения может свидетельствовать и погребальный обряд, тем более, что у манихеев он обладал определенной спецификой: помещение костей, освобожденных от мягких тканей, в погребальные сосуды (хумы) (Кызласов Л.Р., 2006, с. 321). В этой связи не случайно С.Г. Кляшторный (1959, с. 167) считал, что частичная замена обряда кремации на ингумацию у кыргызов в IX в. связана с успехом несторианства, а не манихейства. Правда, Л.Р. Кызласов полагает, что кыргызский обряд кремации идейно близок манихейской погребальной традиции, поскольку в обоих случаях не допускается осквернения телом земли (Кызласов Л.Р., 1999, с. 70). Однако, несмотря на внешнюю схожесть этих позиций, необходимо отметить, что погребальный обряд кыргызов, как и других центральноазиатских народов раннего средневековья (уйгуров, тюрок), сформировался именно в рамках шаманского мировоззренческого комплекса.

В этой связи устойчивость погребальной практики является демонстрацией реальной степени распространения манихейской веры среди населения. В данном случае показательна ситуация с уйгурами, правящая элита которых во главе с Бегю-каганом хотя и сделала эту религию государственной (Бартольд В.В., 2002, с. 52–53; Камалов А.К., 2001, с. 143–144), но это не повлияло значительно на погребальную практику. Не изменился погребальный обряд и в Кыргызском каганате под влиянием манихейских миссионеров. Такая ситуация выглядит несколько странной, если, как полагают Л.Р. и И.Л. Кызласовы, манихейство было государственной религией и у кыргызов. Этот момент не отрицает фактов деятельности манихейских миссионеров, но он показывает интерес к новой вере преимущественно со стороны военной и политической элиты. В этой связи интересно обратить внимание на то, что религиозный фактор часто использовался для решения определенных политических задач. Так, исследователи отмечают, что уйгурский правитель Бегю и его окружение оказали значительную поддержку манихеям из-за стремления привлечь согдийцев на свою сторону в борьбе с Китаем (Восточный Туркестан..., 1992, с. 524). Не случайно, после гибели в результате заговора Бегю-кагана в 779 г. его преемники проводили антиманихейскую политику и только приход к власти нового клана в 795 г. сделал более благоприятной ситуацию для манихеев (Восточный Туркестан..., 1992, с. 524).

Кроме того, уйгуры иногда под предлогом покровительства вмешивались в дела Китая. Воспользовавшись падением Уйгурского каганата, под натиском кыргызов Китай, чтобы исключить возможность вторжения последних, под религиозным предлогом в 843 г. запретил манихейское и несторианское вероисповедание в империи (Кляшторный С.Г., 1959, с. 168–169). Важно также обра-

туть внимание на то, что при всей готовности манихейства к адаптации к различным традиционным мировоззренческим системам тем не менее известны случаи достаточно жесткой борьбы с религиозными конкурентами. Так, после провозглашения манихейства государственной религией Уйгурского каганата, вероятно, не без прямого одобрения священнослужителей новой веры, начались гонения на буддистов и уничтожение их святынь (Восточный Туркестан..., 1992, с. 524). Такая религиозная политика была не характерной для кочевых империй Центральной Азии, которые отличались лояльностью и веротерпимостью в силу своей полиэтничности и поликонфессиональности. Политика религиозной толерантности была характерна и для Кыргызского каганата, во всяком случае в период своего могущества, что демонстрировалось выше при анализе планиграфии могильников на Алтае.

В свете последних публикаций по рассматриваемой проблематике несомненный интерес представляют работы Н.И. Рыбакова (2006, 2007а–в), посвященные интерпретации известных и новых иконографических изображений манихейских миссионеров (или манихеев-буддистов). Открытие таких новых местонахождений в Междуречье Июсов (Хакасия), несомненно, свидетельствует о миссионерской деятельности в Южной Сибири, активизация которой связывается автором либо с расколом манихейской церкви в Согде в VII в., либо с гонениями на манихеев в Китае с середины IX в. (Рыбаков Н.И., 2007а, с. 105). Не вызывает сомнения, что в данном случае выявлены изображения священнослужителей с предметами культа и в специальном облачении, которые существовали во времена Кыргызского каганата. В этой связи манихейских, как и буддийских, несторианских миссионеров, приближенных каганами в кочевых империях, можно рассматривать в качестве представителей религиозной элиты. Кроме миссионеров, в религиозную элиту входил каган как сакрализованная персона, его клан и окружение, а также традиционные служители культа – шаманы, которые участвовали в наиболее значимых религиозных мероприятиях. Правда, сведений о видах деятельности священнослужителей у кыргызов известно не много, но вероятно, такие лица, как и у других кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии, играли важную роль в ритуале интронизации правителя, общегосударственных праздниках (жертвоприношениях) и др.

Сложным остается вопрос об археологическом аспекте изучения данной проблемы. Кроме иконографических изображений священнослужителей (Рыбаков Н.И., 2006, 2007а–в), в Минусинской котловине известны немногочисленные чашечки-светильники, которые являлись частью портативных алтарей (Леонтьев Н.В., 1988, с. 179). Отмеченные находки одними исследователями связываются с манихейской миссионерской деятельностью (Кызласов Л.Р., 1984, с. 146), а другими – с буддийской (Леонтьев Н.В., 1988, с. 179 и др.). Аналогичным образом различные трактовки даются исследователями при анализе кыргызской тюревтики, отмечая влияние различных религий (Худяков Ю.С., 1987; 1998; Нечаева Л.Г., 1966, с. 129; Кызласов Л.Р., 1984; и др.).

Вне всякого сомнения, серьезного внимания заслуживают находки фрагментов тибетских рукописей, обнаруженных при исследовании кыргызских захоронений на могильнике Саглы-Бажи-I в Туве (Грач А.Д., 1980). Эти тексты представляют собой амулеты с заклинательными надписями, широко распространенными в тибетской религии бон. Есть определенные основания полагать, что владельцами таких надписей могли быть не тибетцы, а кыргызы (Воробьева-Десятовская М.И., 1980, с. 130). Появление указанных текстов и соответствующих верований у кыргызов отмечено после установления прочных военно-политических связей с Тибетом, особенно после разгрома в 840 г. Уйгурского каганата (Грач А.Д., 1980, с. 120). В то же время указанные выше находки относятся к погребениям лиц, не связанным непосредственно с религиозной деятельностью, и являются отражением их духовных симпатий, а не профессиональной деятельности.

Таким образом, несмотря на активное взаимодействие с соседними народами, миссионерскую деятельность, сакрализацию правителей, общегосударственные культы, формирование духовной элиты у кочевых народов Центральной Азии существенно отличалось от аналогичного процесса у земледельческих обществ. Это обусловлено особенностями социально-экономического, политического, культурного развития, образом жизни и мировоззрением номадов. В состав религиозной элиты в Тюркских и Кыргызском каганатах входил каган как сакрализованная персона, его клан и окружение, миссионеры, а также традиционные служители культа – шаманы, которые участвовали в наиболее значимых религиозных мероприятиях. Такой состав религиозной элиты стал формироваться в кочевых империях еще в хунно-сяньбийское время (Дашковский П.К., 2008). При этом следует отметить, что в повседневной жизни основной массы номадов существенную роль по-прежнему играли главы семей и кланов, которые являлись носителями сакральных знаний, связанных с обрядами жизненного цикла, особенно погребально-поминального. Однако их деятельность по своей форме и содержанию не выходила за рамки небольшого коллектива, связанного родственными узами.

Глава 8

Власть в кочевых обществах Евразии VI–XI вв. в свете теории многолинейности

8.1. Один путь или много?

В период раннего средневековья, хронология которого за пределами Западной Европы может быть условно обозначена VI–XI вв., в евразийских степях существовали многочисленные потестарно-политические образования кочевников. Это были преимущественно тюркоязычные политии с включением в их состав иноэтничных кланов и линиджей кочевников, а также подчиненного оседлого населения. Исключения составляют жуаньжуани, кидани и ряд других не тюркских этнополитических групп, создавших крупные кочевые объединения. В целом в раннее средневековье у кочевников доминировали тюркские политические традиции. В связи с этим данное исследование будет в основном сосредоточено на анализе институтов власти в тюркоязычных политиях и ряде других кочевых обществ VI–XI вв., выявлении специфических черт управленческой организации и основных направлений ее эволюции в каждом рассматриваемом кочевом объединении. Главная задача – систематизировать полученные данные и разработать типологию потестарно-политических режимов у кочевников.

Проблемы политогенеза кочевников неоднократно привлекали зарубежных и отечественных исследователей. В последние десятилетия резко возросло число обобщающих работ, написанных на основе различных методологических концепций (см., например: Марков Г.Е., 1967, 1976, 1989; Bonte P., 1981, 1990; Масанов Н.Э., 1984, 1987, 1991, 1995; Khazanov A.M., 1984; Хазанов А.М., 2000, 2002; Марков Г.Е., Масанов Н.Э., 1985; Barfield T., 1989, 1993, 2000; Плетнева С.А., 1981, 1981а; Караев О.К., 1983а; Калиновская К.П., Марков Г.Е., 1985; Трепавлов В.В., 1986, 2004; Крадин Н.Н., 1992, 2000а, 2001, 2002д, 2004; Kradin N., 2002; Массон В.М., 1994, 1998; Айнос У., 2002; Барфилд Т., 2002; Бондаренко Д.М., Коротаев А.В., Крадин Н.Н., 2002; Васютин С. А., 2002, 2005; Бобров В.В., Васютин С. А., 2002; и т.д.). В то же время продолжают проводиться исследования конкретных обществ (например: Хазанов А.М., 1975; Грач А.Д., 1980; Плетнева С.А., 1975, 1976, 1990, 1992б; Смирнов К.Ф., 1975, 1984; Скрынникова Т.Д., 1986, 1992, 1997, 2002, 2006; Кадырбаев А.Ш., 1989; Пиков Г.Г., 1989, 2002; Hall T.D., 1991; Кычанов Е.И., 1992, 1997, 2004; Golden P.V., 1992, 2001; Трепавлов В.В., 1993, 2001; Крадин Н.Н., 1996, 2000в, 2002, 2002б, 2002г; Голден П., 1993, 2004; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Дашковский, 2002; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, 2005; Барфилд Т., 2004; Васютин С.А., 2004б, 2007; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2004; Кульпин Э.С., 2004, 2006; Флетчер Дж., 2004; Холл Т., 2004; Кочнев Б.Д., 2006; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006; и др.). Среди них значительное внимание уделяется раннесредневековым обществам (Плетнева С.А., 1981а, 1986, 1992а; Малявкин А.Г., 1983; Ахинжанов С.М., 1989; Новосельцев А.П., 1990, 2001; Худяков Ю.С., 1990, 1994а, 2004; Агаджанов С.Г., 1991; Савинов Д.Г., 1994; Войтов В.Е., 1996; Марей А.В., 2000; Кляшторный С.Г., 2001в, 2003; Васютин С.А., 2004а; Васютин С.А., Пугачев А.Ю., 2007; и др.).

При всем разнообразии взглядов в последние 15–20 лет в российском кочевниковедении наметилось преобладание новых подходов, базирующихся на неозволюционистской теории и различных социально-антропологических разработках. Доминирование неозволюционистской концепции политогенеза в отечественной историографии в 1990-е – начале 2000-х гг. определялось целым рядом факторов. С крушением марксистской идеологии как «единственно верной» стали очевидны недостатки советской теории становления государственности. Среди них – слабая дифференцированность понятийного аппарата, его оторванность от конкретно-исторического материала. Концептуальный синтез отечественных и зарубежных подходов осуществлялся еще в работах 1970–1980-х гг. и подготавливал восприятие зарубежного опыта более широким слоем исследователей. Необходимо также учесть стремление исследователей использовать менее догматизированные схемы социально-политической эволюции, опереться на апробированные российскими и зарубежными исследователями разработки, учесть вклад антропологии в изучение доиндустриальных обществ и особенностей политогенеза в них. Такие неозволюционистские модели, как «вождество» и «раннее государство», дают возможность выявить определенную этапность в эволюции политических институтов различных обществ, учитывать специфику и асинхронность исторического развития, раскрыть факторы

политогенеза и показать обратимость процессов политической интеграции. Каждое из этих понятий обладает набором определенных признаков, но в то же время достаточно дифференцированно. Так, исследователи выделяют первичные и вторичные вождества или обращают внимание на определенную их «специализацию» (военные, теократические вождества). Одновременно существует деление на простые, сложные, суперсложные вождества (Крадин Н.Н., 1995а). Столь же вариативна дефиниция «раннее государство». Их осмыслению посвящены труды ведущих зарубежных и отечественных исследователей (Southall A., 1953; Fried M., 1967; Service E., 1971, 1975; Carneiro R., 1973a, 1973b; Claessen H.J.M., Skalnik P., 1978, 1981; Claessen H.J.M., 1991; Годинер Э.С., 1990; Крадин Н.Н., 1995; Классен Х.Дж.М., 2000; и др.).

Новым этапом в развитии наших представлений о политогенезе в доиндустриальных социумах стали многолинейные теории, которые ориентированы прежде всего на изучение уникальных черт в эволюции обществ, выявление альтернативных форм социально-политической организации, разнонаправленности процессов трансформации власти и социальных систем (Sanderson S.K., 1990, 1995, 1999; Claessen H.J.M., 2000; Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Лынша В.А., 2000; Коротаев А.В., 2003; Крадин Н.Н., 2003, 2005, 2007а; Бондаренко Д.М., 2006; Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В., 2006; Гринин Л.Е. 2006; Карнейро Р., 2006а, 2006б; Классен Х.Дж.М., 2006а–б; Чэбел П., Фейнман Г.М., Скальник П., 2006; Корякова Л.Н., 2006, 2007; Бурганова В.Н., Васютин С.А., Мить А.А., 2007; и др.). Однако на анализ и оценку кочевых обществ многолинейные концепции оказывают пока незначительное влияние.

Теоретические исследования последних десятилетий были в основном ориентированы на выявление общих тенденций (Плетнева С.А., 1981а, 1982; Barfield T., 1989, 1993, 2000; Крадин Н.Н., 1992, 2000а, 2001а; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006; Хазанов А.М., 2000, 2002; Барфилд Т., 2002; и др.). Их результатом стали разработка моделей взаимодействия кочевых и земледельческих цивилизаций, мнение о преимущественно догосударственном характере власти в аридных условиях (государство у кочевников оформляется чаще всего при завоевании степняками оседлого населения) и ограниченности процессов усложнения властных систем даже в наиболее крупных военно-политических объединениях кочевников уровнем суперсложного вождества. В целом по вопросу о существовании (или отсутствии) государственности у кочевников более или менее единого подхода выработать не удалось. Значительное число исследователей продолжают называть «государствами» самые разные политии кочевников, вне зависимости от того, присутствуют ли в их политической организации государственные институты (многоступенчатая иерархия чиновников из центрального и провинциального аппарата, фискальная система, письменное право и государственный суд и т.д.) или нет. Очевидно, что управленческие системы кочевых империй, как явление сложносоставное и многогранное, не могут быть описаны с помощью однозначных дефиниций.

В связи с этим было высказано предположение о многокомпонентности властных структур в кочевых империях. В таких потестарно-политических образованиях разные управленческие институты представляли собой адаптированные друг к другу элементы архаичной (клановой), вождеской, раннегосударственной и имперской власти, с разным соотношением на определенных этапах исторического развития. Следует напомнить и о довольно продуктивной концепции «двойной политической культуры». Правда, данная концепция используется при описании посттрадиционных обществ (Крадин Н.Н., 2001в, с. 157). Мы же можем проецировать ее и на общества традиционные, в которых раннегосударственные политические практики элиты сочетались с более архаичными по своему характеру мероприятиями. Определенная внутренняя дифференциация управленческих институтов и политических мероприятий в кочевых империях позволяет говорить о разных пластах в догосударственной и раннегосударственной политических культурах кочевников (Васютин С.А., 2005, с. 59). Это дает возможность увидеть мир кочевых империй и менее масштабных кочевых политий как более разнообразный, что в свою очередь ставит вопрос о необходимости типологии властных систем кочевников.

Попытка детальной типологии потестарно-политических систем кочевников предпринималась (Васютин С.А., 2002; Бобров В.В., Васютин С.А., 2002), но вызвала определенные возражения со стороны специалистов (Бондаренко Д.М., Коротаев А.В., Крадин Н.Н., 2002, с. 22–24; Крадин Н.Н., 2004, с. 22–24). С.А. Васютиным (2002, с. 94–96) были предложены семь моделей власти у кочевников:

1) кочевые суперимперии как один из видов раннегосударственных образований с жесткой военно-политической структурой, определявшей также нормы и общественной жизни (Монгольская империя с середины XIII в.);

2) кочевые ксенократические империи, представлявшие собой суперсложные вождества (империя Хунну, Жуаньжуаньское ханство, Тюркские, Уйгурский и Кыргызский каганаты);

3) этнически более или менее монолитные, но достаточно локальные образования кочевников, близкие по своим характеристикам к различным видам сложных вождеств (каганат Сеяньто, Крымское ханство, Ногайская орда);

4) созданные кочевниками политии с высокой долей подчиненного оседлого населения (Западно-тюркский и Хазарский каганаты, Дунайская Болгария в VII в., Западное Ляо, Золотая Орда);

5) децентрализованные, аморфные, не имевшие единого управленческого центра, но территориально крупные образования с многочисленными традиционными вождями – главами родоплеменных структур, некоторые из них могли временно прогрессировать в простые вождества (печенежское, половецкое и огузское объединения);

6) локальные децентрализованные группы с родоплеменной структурой (теле, дунху, черные клобуки);

7) развитые государства, созданные кочевниками на территории земледельческих центров (завоевательные империи, по Н.Н. Крадину, – Ляо, Цзинь, Юань, государство Хулагуидов). Следует добавить, что не всегда речь должна идти только об империях (хуннских государств на территории Китая, уйгурские ханства в Восточном Туркестане).

Критиками были отмечены логические нарушения и отсутствие принципиальных различий между некоторыми моделями, с чем отчасти можно согласиться. Менее детализированная схема была предложена Н.Н. Крадиным. Она включала три типа властных систем:

– акефальные, сегментарные, клановые и племенные образования;

– «вторичные» племена и вождества;

– кочевые империи и «квазиимперские» политии меньших размеров (Крадин Н.Н., 2004, с. 23).

Стоит, правда, уточнить, что Н.Н. Крадиным (1992, с. 166–178, 2000а, с. 316) была предложена и отдельная типология кочевых империй, также включавшая три типа политий – «типичные», «даннические» и «завоевательные». Таким образом, в сумме исследователь выделял пять видов властных режимов.

Необходимо подчеркнуть, что и та, и другая типологии в большей или меньшей степени оставили «за бортом» целый ряд вопросов, связанных с характеристикой институтов власти у кочевников. Ограничусь здесь лишь несколькими из таких вопросов. К какой категории мы должны отнести те политические образования кочевников, которые не являлись кочевыми империями, но были государствами? Были ли все «вторичные» вождества одинаковы с точки зрения структуры управления и взаимодействия с земледельцами? Различались ли формы адаптации разных кочевых обществ в близких исходных условиях и почему? Ответить на эти вопросы возможно лишь путем сравнительного анализа политических иерархий и форм их функционирования в разных кочевых обществах. Для этого необходимо выявить основные параметры властных структур каждого кочевнического объединения, включенного в схему сравнительного анализа, верифицировать полученные данные, произвести классификацию кочевых обществ по степени сложности постарно-политической системы, сопоставив ее с рассмотренными выше типологиями. Главная задача главы – разработка на основе инновационных подходов и научных стратегий синтезной типологии властных институтов кочевников (преимущественно на основе материалов раннего средневековья). При этом будут учитываться высказанные ранее замечания, материалы дискуссий и обсуждений. Также будут охарактеризованы особенности процессов политогенеза у кочевников в период раннего средневековья.

Методология исследования строится на синтезе неэволюционистской концепции политогенеза, теории многолинейной эволюции, мир-системного и кросс-культурного анализа. Исходя из задач главы, главное внимание уделено многолинейным теориям, на основе которых и выявляются специфические черты властных институтов в кочевых обществах раннего средневековья. Неэволюционизм важен как источник научных понятий и дефиниций, необходимых для описания и характеристики управленческих систем кочевников. Мир-системные принципы позволяют дать более развернутую характеристику форм взаимодействия кочевников и земледельцев. Формализованное кросс-

культурное сравнение дополнит картину достаточно дифференцированного в политическом отношении кочевого мира Евразии.

Стоит отметить, что подобный методологический синтез в какой-то мере отражает основные тенденции мировой историографии последних лет (или во всяком случае им не противоречит). В целом эти изменения в рамках разных методологических направлений во второй половине XX – начале XXI в. можно обозначить как переход от единой схемы общественной эволюции к различным ее альтернативам. Так, мир-системная концепция И. Валлерстайна (2000) первоначально развивалась как одна из теорий анализа процесса становления мировой капиталистической системы, акцентируя внимание в основном на событиях после 1500 г. А. Г. Франк, наряду с другими историками (см., например: Абу-Луход Дж., 2001), полагает, что правильнее говорить о мир-системе, которая сложилась в древности, но переживала циклы подъема и упадка. По мнению А. Г. Франка (1992), экономические связи и до формирования капитализма составляли основу мир-системного взаимодействия. Не случайно, что многие современные специалисты поддерживают мнение о том, что монгольская экспансия привела к образованию самой мощной и обширной мир-системы в доколониальную эпоху, в рамках которой существовали благоприятные условия для развития культурных и торговых обменов (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006). Однако в последнее время приобретает популярность и другое направление мир-системного анализа, сторонники которого говорят о многочисленных мир-системах, существовавших в истории, начиная с древности. В русле этого направления разрабатывается и типология мир-систем (Чейз-Данн К., Холл Т.Д., 2001), а это означает, что в рамках мир-системной методологии проявилось стремление к более широкому охвату исторического пространства и выявлению разнотипных моделей мир-систем.

Не менее показательна трансформация неэволюционистской концепции. Ее создатели (Т. Ерл, Е. Сервис, М. Салинз, Р. Карнейро, П. Скальник, Х.Дж. Классен; и др.) на начальных этапах разработки концепции чаще всего исходили из наличия генеральной линии эволюции, в которой выделяли несколько универсальных звеньев: локальная группа – племя – вождество – государство (Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Лынша В.А., 2000). Эта схема детализировалась, вводились новые уровни сложности (простые и сложные вождества, зачаточное, раннее, традиционное и национальное государство), но она по-прежнему отдавала предпочтение однолинейной схеме развития (Карнейро Р., 2000). Дальнейшее развитие неэволюционизма привело к фактическому признанию учеными многовариантного характера изменений в различных обществах. Исследования показали, что иерархические общества могут не уступать в сложности жестко стратифицированным объединениям, а многочисленные объединения, занимавшие огромные территории могли эффективно управляться и без государственных институтов. Конкретные примеры наглядно демонстрируют многообразие путей общественной эволюции, подразумевающей не только возвышение, экспансию и усложнение, но и кризис или стагнацию. Многолинейные теории и в рамках этого направления к концу XX в. заняли доминирующее место (Бондаренко Д.М., 1998; Классен Х.Дж.М., 2000, 2006б; Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В., 2006; Карнейро Р., 2006а; и др.).

Принципиально не противоречат многолинейным теориям и цивилизационные концепции. Они в первую очередь обращают внимание на специфику историко-культурного развития обществ-цивилизаций и их периферии. «Цивилизационный подход... значительно обогащает механизм познания исторической реальности», так как «цивилизация... – это более широкое и емкое понятие, чем социально-экономическая формация», оно включает в себя такие черты и признаки, которые действуют на протяжении более длительного времени и – что очень важно – имеют бóльшую не только временную, но и сущностную устойчивость, поскольку не связаны напрямую с социально-экономическими факторами» (Искендеров А.А., 1996, с. 17). Не случайны попытки адаптировать формационную теорию к цивилизационной с помощью конструирования формаций в рамках каждой цивилизации. Естественно, что характерные черты, факторы и хронология перехода от одной формации к другой индивидуальны для каждой цивилизации. Стоит также напомнить, что один из основателей цивилизационного подхода Арнольд Тойнби цивилизаций (1990, с. 40–90) стремился выявить общие тенденции и фазы в эволюции, в то время как современные исследователи говорят об уникальности каждой цивилизации (Мелко М., 2001; Уэскотт Р., 2001; Ито Ш., 2001; и др.).

Большая дифференцированность понятийной сетки дает возможность по-новому взглянуть уже и на, казалось бы, решенные вопросы. В этом отношении особенно показательны разработки проблематики альтернатив и аналогов государственных систем. Учеными наглядно продемонстри-

ровано, что наряду с государственной властью существовали политические системы, в которых отсутствовали или не играли решающей роли государственные механизмы управления, но они при этом были организованы так же сложно, как и государства (Бондаренко Д.М., 2006; Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В., 2006, Гринин Л.Е., 2006; Карнейро Р., 2006а; Классен Х.Дж.М., 2006а–б). Важно отметить, что отличие проявлялось не только в структурном отношении, но и в формах и направлениях трансформации властных институтов, что нельзя не учитывать при их классификации. Одни общества были способны динамично меняться, другие воспроизводили устойчивые формы, третьи шли по пути стагнации и т.д.

Таким образом, многолинейность общественного развития отражается в чрезвычайно пестрых формах социальной и политической организации, хозяйственной жизни, ментальных структур и т.д. Даже если речь идет об общих корнях зарождения той или иной традиции, то в разных природно-климатических и социально-политических условиях носителями данных традиций использовались различные способы адаптации. К примеру, политический опыт Тюркских каганатов сохранял свое значение на протяжении всего средневековья и получал дальнейшее развитие в судьбах Уйгурского, Хазарского, Кимакского, Караханидского каганатов, Болгарского ханства, огузских, печенежских, половецких и других номадных объединений. Однако, оказавшись в разных историко-ландшафтных нишах, в данных кочевых обществах опыт Тюркских каганатов трансформировался в новые формы политической организации. Поэтому настоящее исследование направлено на выявление различных путей политогенеза и специфики политических систем у кочевников раннего средневековья. Попытка зафиксировать отличия в организации власти в тех или иных кочевых обществах будет проверена с помощью кросс-культурного анализа на примере 15 обществ номадов. Такая экспертиза позволит верифицировать полученные в ходе исследования результаты.

8.2. Специфика властных институтов в раннесредневековых обществах номадов: сравнительно-типологические аспекты

Сравнительный анализ охватывает более 20 кочевых политий (Жуаньжуаньский (Жужанский) каганат, Аварский каганат, племена теле в VI – начале VII в., Первый Тюркский каганат, Восточно-тюркский каганат, Западно-тюркский каганат, каганат Сеяньто, Второй Тюркский каганат, Тюргешский каганат, Хазарский каганат, Великую Болгарию, Дунайскую Болгарию в конце VII – начале IX в., объединение карлуков в VIII в., Уйгурский каганат, Кыргызский каганат, Уйгурские ханства в Восточном Туркестане во второй половине IX – X в., Кимакский каганат, печенежские и половецкие объединения в Северном Причерноморье, Караханидский каганат, племена огузов, ранние Сельджукиды, империя Ляо). Поскольку рамки главы не позволяют детализировать описание политических режимов у кочевников и их трансформацию, наше внимание будет сосредоточено на наиболее специфичных чертах властной организации каждого из вышеуказанных объединений. Кроме того, наиболее показательные случаи будут рассматриваться подробнее.

Среди политических образований кочевников V в. особо стоит выделить Жуаньжуаньский каганат (после 395–552 гг.; Шэлунь провозгласил себя «кэханем», каганом в 402 г.), имперский опыт которого послужил в некоторой степени образцом для Первого Тюркского каганата и его наследников, а также для мигрировавших в середине VI в. в Центральную Европу некоторых жуаньжуаньских племен, известных европейским хронистам под именем «авары». Основателем каганата был Шэлунь, воспроизводивший опыт сюнну и сяньбийцев. Основные шаги по созданию обширной степной политики были традиционны – это покорение соседних кочевников (гаоцзюйские/телесские и некоторые монголоязычные племена) и реорганизация военно-административной структуры на основе десятичных принципов (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 186–187; Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху, 1984, с. 267–269). По ряду внешних признаков (огромная территория, деление на крылья, дистанционная эксплуатация и др.) каганат жуаньжуаней напоминал типичную кочевую империю.

В истории Жуаньжуаньского каганата в первую очередь обращает на себя внимание динамика «взлетов» (402–429, 470-е и 521–552 гг.) и «падений» (438–470 и 519–521 гг.) (Крадин Н.Н., 2000в, с. 84), которая явно носит циклический характер. В какой-то мере это объясняется не только типичными для кочевых империй процессами перепроизводства элиты и ее китаизации, но крайне необычным для раннего средневековья вариантом взаимодействия с китайской цивилизацией: отно-

шения жуаньжуаней со своим южным соседом имели более сложную структуру вследствие существования буферного государства Тоба Вэй (Северная Вэй), между владениями жуаньжуаней и китайской империей Сун. С одной стороны, это отразилось на ресурсных возможностях дома Вэй, ограниченность которых ставила определенные пределы для дистанционной эксплуатации и престижной экономики, с другой – кочевые корни Тоба позволили использовать крайне эффективные меры борьбы с жуаньжуанями. Армия Вэй, включавшая значительные кавалерийские подразделения, совершала дальние рейды против жуаньжуаней, многие из которых достигали успеха. Благодаря этому китаизация кочевой элиты в Жуаньжуаньском каганате до определенного момента носила опосредованный характер (вэйцы сами выступали как потомки китаизированных номадов). Но с 520-х гг., особенно после разделения в 534 г. Северной Вэй на два государства (Восточная Вэй и Западная Вэй) (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 204–205), начался период доминирования жуаньжуаней на севере Китая.

Последствия этого доминирования были неоднозначными. Силы каганата сконцентрировались в основном на китайском направлении. Сам каган стремился закрепить свой статус браками с вэйскими принцессами и, возможно, надеялся создать объединенное номадно-земледельческое государство (Крадин Н.Н., 2000в, с. 90). Окружение кагана Анахуаня (Анагуя) активно китаизировалось. Не случайно, что Анахуань со своим двором незадолго до падения каганата перебрался в Лоян. В то же время контроль над зависимыми кочевыми племенами резко ослаб. Это вполне логично, так как интеграция номадов в кочевые империи базировалась на противостоянии с Китаем. В результате политики Анахуаня этот имперский импульс стал утрачивать свое значение. Об этом наглядно свидетельствуют события на западе каганата, где в 522, 534–537, 540 гг. последовала череда выступлений гаогюйцев, а в 536 г. данники жуаньжуаней (тюрки) смогли покорить 50 000 кибиток теле, которые, кстати, шли войной на жуаньжуаней (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 228), образовав практически полунезависимую вождескую структуру в рамках каганата. Через 16 лет тюрки и теле нанесли поражение Анахуаню и создадут новую кочевую империю – Первый Тюркский каганат.

История Жуаньжуаньского каганата наглядно показывает неустойчивость типичных кочевых империй. Это прежде всего находит отражение в кризисных моделях взаимодействия с Китаем. Необходимо учитывать, что грань между теми формами отношений с Китаем, которые способствуют централизации и усилению кочевых империй, и теми отношениями, которые ведут к их дезинтеграции, очень и очень тонка, и она не всегда улавливалась кочевыми лидерами. Сильный объединенный Китай выступал и как объект дистанционной эксплуатации, и как наиболее сильная военная угроза для номадов. Поражения от китайцев и невозможность получить от Китая престижные товары и продукты земледелия подрывали авторитет степных правителей и вели к междоусобицам. Причем большинство вариантов выхода из кризиса кочевых образований ограничивалось разными способами восстановления престижной экономики. Ослабленный (нередко разделенный на несколько царств) и попавший в зависимость от кочевников Китай, как ни странно, создавал не меньшую угрозу распаду кочевых империй, что хорошо видно на примере Жуаньжуаньского каганата.

Видимо, не совсем верно сводить дихотомию кочевники – Китай к одной схеме и игнорировать нюансы взаимоотношений кочевников и земледельцев. Показательно, что восточные тюрки, пережившие кризис, связанный с фактическим подчинением суйскому правительству и активной китаизацией окружения Тули-хана (Кижиня)¹, нашли выход в возрождении имперской политики при Шиби-хане. Воспользовавшись ослаблением Суйской династии, он в 615 г. совершил набег, в ходе которого даже удалось окружить императора, и прекратил выплату дани. Затем Шиби-хан принял множество сторонников Суй, включая императрицу Сяо-хэу, «состоявших под его повелением». В результате активных действий Шиби-хана был восстановлен и контроль над кочевниками в степи. Хронисты сообщают, что тюрки в тот момент имели до миллиона войска и «никогда и в древние времена северные кочевые не были столь сильны» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 245). Все события первой

¹ Тюрки Кижиня (Тулии-хана) были расселены у границ Суй, платили дань, Кижинь был женат на суйской принцессе. В знак подчинения и уважения император Ян-ди получал от них дары (до 3 000 лошадей), но, правда, взаимно одаривал Кижиня (максимальный размер 13 000 кусков шелка). Наиболее примечательный случай произошел в 607 г., когда суйский император прибыл в его владения и организовал пир для Кижиня и «3 500 старейшин из его аймака». В ходе этого визита суйский правитель «пожаловал Кижиню дорожную колесницу, верховых лошадей, литавры, музыку, знамена, предписал при поклонении не называть его по имени, и таким образом, поставил его выше всех князей» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 242–245).

четверти VII в. являли собой своеобразный прообраз будущего антикитайского восстания тюрков во главе с Кутлугом, которое приведет к образованию Второго Тюркского каганата.

В целом тюрки были, пожалуй, единственными центрально-азиатскими кочевниками, которые, подчинившись Китаю, смогли через 50 с небольшим лет воссоздать империю. Вероятно, этот факт длительное время довлел над сознанием элиты Второго Тюркского каганата. Даже полвека спустя после успешного восстания, в период мирных отношений с Китаем, надпись в честь Кюль-Тегина предупреждала об опасности сближения с китайцами: «У народа табгач, дающего (нам теперь) без ограничения столько золота, серебра, спирта (или: зерна) и шелка, (всегда) была речь сладкая, а драгоценности «мягкие», т.е. роскошные, изнеживающие)... Дав себя прельстить их сладкой речью и роскошными драгоценностями, ты, о тюркский народ, погиб в большом количестве. ...злые люди так научили часть тюркского народа, говоря: «Кто живет далеко, (тому табгач) дают плохие дары»... И вы, люди, не обладавшие мудростью, послушавшись речи и подойдя вплотную, погибли в большом количестве» (Малов С.Е., 1951, с. 33–35).

По существу Йоллыг-Тегин, автор надписи на стеле Кюль-Тегина, и Бильге-каган, от лица которого ведется повествование, рисуют архетипичную бинарную оппозицию, которая отражала ментальные установки представителей правящей в каганате династии: «(Итак), о тюркский народ, когда ты идешь в ту страну (Китай. – *Прим. С.В.*), ты становишься на краю гибели; когда же ты, находясь в Отюкенской черни, (лишь) посылаешь караваны (за подарками, т.е. за данью), ...ты можешь жить созидавая свой эль...» (Малов С.Е., 1951, с. 35). Эти наставления имели вполне конкретное назначение, ибо вина за гибель Первого каганата налагалась не столько на народ табгач (Китай), сколько на неразумных и трусливых каганов (Малов С.Е., 1951, с. 36–37). В этом контексте и стоит рассматривать первейшую политическую задачу лидеров каганата – быть мудрыми, ограничить контакты кочевников с китайцами и обеспечить поставки китайских товаров в степь с помощью набегов и получения даров (своеобразный манифест полупериферийной модели взаимодействия номадов с земледельческой цивилизацией).

Сама по себе китайская угроза срабатывала только тогда, когда наряду с вторжением войск Танской империи каганат охватывали междоусобицы и/или восстания подчиненных племен. В связи с этим вторую функциональную задачу кагана и его советников можно определить как подчинение и сохранение покорности зависимых племен. В тюркских надписях VIII в. прежде всего в честь Бильге-кагана, Кюль-Тегина и Тоньюкука этому придается очень большое значение. Наряду с прославлением военных подвигов каганов и их приближенных, надписи демонстрируют механизм формирования имперской системы в ходе покорения соседних кочевых народов: «...народ токуз-огузов Баз-кагана был (ему, т.е. Ильтериш-кагану. – *Прим. С.В.*) врагом, кыргызы, курыканы, «тридцать татар», кытай (кидани. – *Прим. С.В.*) и татабы все были (ему) врагами... сорок семь раз он ходил с войском в поход и дал двадцать сражений. По милости неба он отнял племенные союзы у имевших племенные союзы (т.е. у враждебных ему ханов) и отнял каганов у имевших (своих) каганов (т.е. у враждебных ему народов, элей), врагов он принудил к миру, имевших колени он заставил преклонить колени, а имевших головы заставил склонить (головы)» (Малов С.Е., 1951, с. 38). Далее в тексте упоминаются победы над кыргызами, тюргешами, азами, согдийцами и др. Все побежденные включались в имперскую конфедерацию. Собственно кочевая империя и представляла собой объединение кочевых племен и союзов с многоуровневой этноплеменной иерархией (Савинов Д.Г., 2005). Материалы надписей лишь отчасти позволяют нам ее реконструировать. Во главе иерархии стояли тюрки и сиры¹. Близкое к сирам положение занимали огузы (Малов С.Е., 1951, с. 70). В тексте Кюль-Тегина сохранилось даже обращение «(О вы) тюркские (и ?) огузские беги и народ...» (Малов С.Е., 1951, с. 38). Видимо, некоторые из подчиненных народов сохраняли свои структуры управления. В надписях, например, указывается на то, что даже после поражений от тюрков у кыргызов оставались собственные каганы (при этом в землях кыргызов размещались тюркские гарнизоны – Худяков Ю.С., 1994а, 2004), а в череде прибывших на похороны Кюль-Тегина, кыргызские посланники перечислены среди представителей других не подчиненных тюркам народов (китайцев, тибетцев, согдийцев, бухарцев и т.д.) (Малов С.Е., 1951, с. 39, 43). Далее по иерархии шли зависи-

¹ В переводе С.Е. Малова два этих этнонима объединялись. Однако С.Г. Кляшторный полагает, что сиры являлись отдельной племенной группой, занимавшей в племенной иерархии следующее место после тюрков. По его мнению, под этнонимом *сиры* следует видеть кыпчаков.

мые племенные группы кочевников и целые объединения (токуз-огузы, карлуки); самое низкое положение занимали группы неочевого населения.

Устойчивость всей системы этноплеменной иерархии обеспечивали военные успехи и престижная экономика. Крупные поражения сразу ставили ее на грань развала. Две крупные неудачи экспедиционных войск Капаган-кагана в столкновении с арабами (712–713 гг.) в Тохаристане и с китайцами под Бешбалыком-Бейтином (714 г.) вызвали череду восстаний против тюрок карлуков, азов, изгилей, токуз-огузов, байырку (714–716 гг.)¹. Кидани и хи перешли на сторону Тан. В дополнение ко всему после битвы с байырку гибнет сам Капаган-каган. Каганат должен был прекратить свое существование, если бы не решительные действия Кюль-Тегина. Он уничтожил сыновей Капагана, занявших престол вопреки традиции, и многих других его родственников, восстановил единства тюрок, провозгласив каганом своего брата Бильге (Могильяня), и, наконец, последовательно разбил повстанческие отряды (Гумилев Л.Н., 1993; Кляшторный С.Г., 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005). Таким образом, военный успех играл ключевую роль в существовании кочевых империй. В политической практике каганатов получался замкнутый круг (военный успех – добыча – ее раздача – престиж). Тем самым обеспечить подъем и функционирование имперской системы у кочевников можно было только одним путем – вести войны и побеждать. Был еще вариант поддержания политики «мирного сосуществования», однако и он вел к постепенной деградации имперской структуры и ее кризису, что произошло со Вторым Тюркским каганатом в конце 730-х – начале 740-х гг.

Распределение захваченного в ходе походов имущества и «даров» из Китая происходило в соответствии с этноплеменной иерархией. Престижные товары доставались почти исключительно кочевой аристократии и окружению кагана (исключение могли составлять дорогие предметы и ткани, которые попадали в руки простых кочевников в ходе грабежей и набегов). Тем не менее престижная экономика охватывала и многочисленные слои рядовых кочевников. В тюркских надписях фиксируется, что каганы «устраивали и поднимали тюркский народ», неимущих делали богатыми, немногочисленных делали многочисленными (Малов С.Е., 1951, с. 38). Роль верховного редистрибутора наглядно характеризует отрывок из надписи памятника в честь Бильге-кагана: «...их золото и блестящее серебро, их хорошо тканые шелка, их напитки, добытые из зерна, их верховых лошадей и жеребцов, их черных соболей и верховых белок я добыл для моего тюркского народа» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 62).

Таким образом, надписи дают нам представление о трех главных функциях тюркских каганов. К ним можно прибавить сакрально-ритуальную и, возможно, судебную деятельность кочевого лидера. Выполнение этих функций не требовало от правителей создания сложного аппарата управления. В основном каганы опирались на традицию («тюркские установления») и традиционную структуру власти (кланово-племенных лидеров). Отсутствие городов и подчиненных обширных территорий с земледельцами исключало возможность трансформации Второго Тюркского каганата в более сложную политическую организацию, чем квазиимперское вожжество. Однако нельзя забывать, что Первый Тюркский каганат обладал потенциалом превращения в данническую империю и, вероятно, был таковым в 570–590-е гг., когда в составе владений оказались Восточный Туркестан, Средняя Азия, Причерноморье и Предкавказье. Но и его переход к государственным формам политического управления земледельцами был блокирован развернувшейся междоусобной войной и распадом кочевой империи на две части. Скорее всего, только в Западно-тюркском каганате контроль над оседлым населением, особенно городским, позволил кочевникам применять продвинутые фискальные практики, осуществлять административное регулирование и суд, т.е. идти по пути оформления государственной системы. Однако и здесь у кочевников имелись свои пределы. Понадобится длительный процесс адаптации и «вживания» кочевников в условия земледельческо-городской инфраструктуры, прежде чем возникнут подлинно государственные симбиозы кочевников и оседлого населения (Караханидский каганат).

С тюркскими каганатами тесно связана судьба целого ряда не имперских разнотипных политических образований кочевников. Остановимся на двух примерах – конфедерации теле (хойху, гаюгюй) и каганате Сеяньто. Теле представляли собой целый массив племен, занимавших территорию

¹ В данном случае необходимо отметить, что политика Капаган-кагана в отношении подчиненных племен характеризовалась как «бесчеловечная» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 272–273). По-видимому, еще до поражений тюркских войск в каганате существовало напряжение между элитой и наиболее влиятельными зависимыми племенами.

Северной и Северо-Западной Монголии, Монгольского и Российского Алтая, возможно Восточного Казахстана и Джунгарии. Китайские хроники указывают на то, что «у них не было единоначальствующего верховного главы; каждый род имел своего государя или старейшину». Далее уточняется, что «предки гаогюйцев составляли двенадцать родов (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 215–216). Судя по всему, телесские поколения были довольно многочисленны (в источниках есть указания на отдельные племена числом до 100 000 юрт), но проживание в предгорьях и узких горных долинах усиливало этноплеменную децентрализацию. На этом весьма сегментированном пространстве периодически возникали центры интеграции и появлялись правители, власть которых можно определить как вождескую (старейшины Афучжило, Мивоту, Ифу и др.). Однако военно-иерархические структуры у теле были крайне слабы и их простые вождества распадались после первых же поражений. Яркий пример неустойчивости у теле власти, которая, впрочем, имеет тенденцию к переходу по наследству, представлен Вэй шу: «Ифу дал сражение с жужанцами и возвратился разбитым; почему его брат Юегюй убил его и сам вступил на престол. В... 534–537 сам Юегюй был разбит жужанцами, а Биди, сын Ифуев, убил Юегюя, и сам вступил на престол. В... 540 Биди был разбит жужанцами. Кюйбинь, сын Юйгюев, бежал от жужанцев к восточному Дому Вэй...» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 219).

Иная форма политической структуры возникла у теле в ходе противостояния с тюрками. Несколько объединенных племенных групп под названием Сеяньто во главе с Инанем участвовали в разгроме Тюркского каганата в 628–630 гг. Процесс возвышения Инаня отчасти управлялся и контролировался Тан (в 629 г. Инань получил из Китая грамоту, литавру и знамя, а также титул Чженьчжу Пицьсйе хана – Бичурин Н.Я., 1950а, с. 338). После подчинения тюрков Китаю Сеяньто заняли обширные степные территории к северу от Гоби. При этом их владения простирались от Мохэ на востоке и до границы с западными тюрками. В новых экологических условиях импульсы интеграции были сильнее. Вероятно, сеяньтосцы рассчитывали занять место тюрков и все их дальнейшие действия были направлены на реализацию данной задачи. Инаню подчинились многие телесские поколения. Возникло среднemasштабное вторичное (сложное) вождество. Но дальнейший рост владений и переход в имперский статус оказался невозможным. Инань не смог покорить другие кочевые группы, кроме теле. Попытка совершить в 641 г. набег против тюрков, расселенных в пограничной зоне Тан, закончилась поражением войск Сеяньто от китайцев. А при отступлении сеяньтосцы попали в снежную бурю, в которой погибли «восемь человек из десяти». План возвышения Сеяньто до имперского уровня провалился. Показательно сочетание военно-политических и природно-климатических факторов, которые «остановили» рост сложного вождества Сеяньто в кочевую квазиимперию.

Превращение Сеяньто в имперскую политику было невозможно еще и потому, что Инань выбрал совершенно другую модель отношений с Китаем. Признание Сеяньто подданными Китая имело не формальное значение, а налагало на кочевников вполне конкретные обязательства по выплате дани. После поражения 641 г. Инань в знак примирения прислал 3 000 лошадей, в следующем году сеяньтоский правитель, прося о браке, предоставил лошадей, быков, баранов и верблюдов. Однако даже и к такой форме взаимодействия с Танской империей Сеяньто было не вполне готово. Хроники не случайно указывают, что Сеяньто «не имел государственного казначейства. Требуемое с подчиненных не вполне собрано...» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 341). Все это говорит о том, что во внутренней структуре Сеяньто существовали какие-то препятствия для централизации. Не зря китайские источники, указывая численность армии Сеяньто в 200 000, ничего не сообщают о военных реформах и иерархии военных управленцев. Все это косвенно объясняет причины распада объединения Сеяньто при сыне Инаня Бачжо. Он, видимо, пытался произвести централизацию (танские хронисты указывают на казни многих вельмож, служивших при Инане), но не обладал достаточным влиянием и необходимыми политическими инструментами управления. Часть телесских племен откочевала на запад, другие отложились. В конечном итоге китайские и тюркские войска произвели несколько нападений на «Дом Сеяньто», окончательно уничтожив его. Телесские старейшины «один за другим» давали зарок императору, что «они из рода в род будут служить небесному высочайшему хану» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 343).

С падением тюркских каганатов в пределах степной Евразии возникло несколько крупных кочевых объединений: на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье – Хазарский каганат, в Приазовье – сначала Великая Болгария, а затем на Дунае – Болгарское ханство; на Сырдарье и Приаралье – огузская конфедерация, на Енисее – Кыргызское государство, в Монголии – Уйгурский каганат, в Жеты-

су (Семиречье) – Тюркешский каганат и Карлукское ханство, а в Восточном и Центральном Казахстане – Кимакский каганат. Казалась бы, исторически заложенные древними тюрками традиции административного устройства, титулатуры, военно-политической практики должны были определить сходные формы организации власти и ее дальнейшей эволюции. Однако каждая из обозначенных политий развивалась достаточно индивидуально, отрицая в какой-то мере тюркский опыт. Показательно, что уйгуры, создавшие свой каганат на той же территории, где существовал Второй Тюркешский каганат, смогли внести много инновационных компонентов. В степи стали возникать города и крепости, гораздо активнее развиваться торговля и апробируются новые формы контактов с оседлыми миром (Данилов С.В., 2002, 2004, 2005а). Это в свою очередь способствовало знакомству кочевой элиты не только с культурой Китая, но и с культурными традициями Среднего Востока. Итогом стало принятие манихейства окружением кагана. В какой мере предшествующая эволюция помогает понять факторы этих изменений? Этот вопрос требует специального изучения. Уйгурское объединение в целом дает пример довольно индивидуального пути политической трансформации. Уйгуры становятся известными нам в составе племенной конфедерации теле, где уйгуры – одна из племенных (возможно, шире) групп. После падения Восточно-тюркешского каганата уйгуры входят и играют важную роль в каганате Сеяньто. Затем занимают высокое положение в этнополитической иерархии Второго Тюркешского каганата. Свергнув около 745 г. тюрков, уйгуры создают собственную кочевую империю, просуществовавшую чуть меньше 100 лет до 840 г. Поражение от кыргызов привело к миграции части уйгуров в Восточный Туркестан, где они осели в оазисах и выбрали совершенно иную форму политической адаптации – создали несколько мелких ханств, в которых кочевники-уйгуры взаимодействовали с торговцами-согдийцами (Ганьчжоуское, Турфанское и другие княжества) (Малявкин А.Г., 1983; Восточный Туркестан в древности и средневековье..., 1988).

Близкая к уйгурской модель отношений кочевников и горожан в рамках одного политического объединения была в Тюркешском каганате. Традиции подобного взаимодействия сложились еще в Западном Тюркешском каганате. На территории Тюркешского каганата существовало несколько крупных городов: Суяб, Невакет, Кува, Актаг и др. Через эти города проходили транзитные торговые магистрали, тесно связывавшие каганат с городскими центрами Средней Азии. Не случайно тюркеши во время арабской экспансии в среднеазиатский регион неоднократно совершали походы в поддержку восставших жителей Бухары и Самарканда (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2004, с. 105). В городах каганата чеканилась монета с согдийскими надписями и тюркскими тамгами (Кызласов И.Л., 1998а, с. 81), но при этом номады пользовались и тюркской рунической письменностью (Кляшторный С.Г., 2001, 2001а–б). Такие монеты были обнаружены при изучении тюркешских городищ. Всего монеты с тамгой «ат» зафиксированы в 15 городах. В Чуйской (Шуйской) долине это городища Ак-Бешим, Красная Речка, Бурана, Актобе, Токмак. В Таласской долине – Тараз, Костобе, Луговое, Торткуль (Нижний Барсхан) Садыр-Курган, Акырташ. В Отрарском оазисе – городища Отрар-тобе, Алтын-тобе, Куйрук-тобе, Бозук.

Монет с тюркешской тамгой «ат» и согдийской надписью «Господин тюркешский каган. Деньга», например, в Красной Речке найдено 916 экз., но в Таразе – 6 экз. Есть монеты, где наряду с согдийскими надписями использовались знаки в виде рунической «Р». Ак-Бешим (Суяб). Самые разнообразные и уникальные комплексы монет с тамгой «ат» зафиксированы на городищах Тараз (столице тюркешских каганов) и Красной Речке (крупном торговом центре Навакете на Великом Шелковом пути). По всей видимости, именно в Навакете существовал монетный двор (Аитова С.М., 2000, с. 129–130). Наряду с этим в Тюркешском каганате пользовались и китайскими монетами, причем более половины найденных на городищах Ак-Бешим и Красная Речка китайских монет изготовлены с отклонениями от китайских стандартов, и их можно выделить в отдельную группу – «варварские подражания» (Камышев А.М., 2000). Все эти данные говорят о процветании торговли и ремесла в Тюркешском каганате. Вероятно, существовал и соответствующий политический аппарат, собиравший пошлины, налоги, регламентировавший правила и условия торговли, вершивший суд.

Тюркешские каганы осуществляли контроль за деятельностью городских властей. Еще первый каган Уч-элиг (Учжилэ) провел административную реформу, разделив страну на 20 областей (тутукства во главе с тутуками). Каждая область выставляла по 7 тысяч воинов. Наряду с этим в Чуйской и Илийской долинах учреждались каганские ставки (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 296; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 102). Скорее всего каган со своим окружением в течение года перемещался от ставки к ставке. Это был не только маршрут кочевания, но и метод управления. Перемещаясь по

стране, каган осуществлял надзор, принимал решения, наказывал. Сохранилось описание визита к одному из тюркешских каганов посланника халифата. Цель поездки состояла в том, чтобы уговорить кагана принять ислам. Весьма важно, что прием посла происходил в палатке (юрте?), а в другой палатке, где угощали посла, было много мяса и мало хлеба. Благодаря этому эпизоду мы можем видеть, что элита каганата сохранила приверженность кочевым традициям. Еще более показателен эпизод с послом халифата. На вопрос кагана о мусульманах посол ответил, что ими являются жители города – банщики, портные, сапожники. Проведя демонстрацию для арабского посла кочевой стотысячной армии, каган ответил: «...пусть он передаст своему господину – среди (моих воинов) нет ни банщика, ни сапожника, ни портного. Если же они примут ислам и будут выполнять все предписания, то что же они будут есть?» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 106).

В основе управления кочевниками в Тюркешском каганате так же, как и в большинстве других кочевых политий, была престижная экономика. Каган-редистрибутор раздавал престижные товары, продукты земледелия, делил захваченную в походах добычу. Про кагана Сулука «Тан шу» сообщает, что он «хорошо обращался со своими подданными», «роды мало-помалу соединялись и народ его умножился до 200 000 душ; посему опять сделался сильным в Западном крае» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 297). В другом эпизоде указано, что «вначале Сулук хорошо управлял людьми; был внимателен и бережлив. После каждого сражения добычу всю отдавал подчиненным: почему роды были довольны и служили ему всеми силами» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 298). Однако всегда обеспечить лояльность народа аристократии не удавалось. При наследнике Уч-Элига, Сакале (кит. Согэ), вспыхнул мятеж племенной аристократии, поддержанный китайскими войсками. По всей видимости, мятежникам сочувствовал младший брат Сакала, который после разгрома восставших вместе с частью родов ушел к Капаган-кагану во Второй Тюркский каганат. В 711 г. тюркская армия во главе с сыном Капагана Инэль и Тоньюкуком разбила армию Сакала на р. Болчу в Джунгарии. Оба враждовавших брата были казнены. Остатки тюркешских войск, возглавляемые представителем каганского рода Сулуком, ушли на юг и вернулись в Семиречье только после поражения тюрков от арабов (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 103).

С Сулуком, проводившим активную внешнюю политику¹, связан расцвет Тюркешского каганата. Однако многочисленные войны и содержание армии требовали расходов. Как повествуют источники, «расходы ежедневно увеличивались, а положительных запасов не было. В поздние годы он почувствовал скудность, почему награбленные добычи начал мало-помалу удерживать без раздела. Тогда и «подчиненные стали отдаляться от него» (Бичурин Н.Я., 1950а, с. 299). Сказались и противоречия между аристократией «желтых» (во главе их стояли потомки Сакала) и «черных» (поколение Сулука) тюркешей. Напряжение в каганате нарастало, против Сулука готовился заговор. Еще одним поводом для убийства Сулука послужило его сокрушительное поражение от арабов в 737 г. В следующем году Мохэ Дагань и Думочжы неожиданно ночью напали на Сулука и убили его. Гибель Сулука положила начало двадцатилетней борьбе за власть между «желтыми» и «черными» тюркешами, после чего последовал распад Тюркешского каганата.

Более устойчивым оказалось объединение карлуков, первоначально расположившееся в Джунгарии, отрогах Западного Алтая и на юге современного Восточного Казахстана. Карлуки играли важную политическую роль в Западно-тюркском каганате и по мере его ослабления получили автономию. Предводитель карлуков, судя по орхонским текстам, первоначально носил титул эльтебера. Войска Второго Тюркского каганата неоднократно совершали походы против карлуков. В надписи в честь Кюль-Тегина указаны причина этих военных экспедиций: «Народ карлуков вследствие свободы и независимости стал (нам) врагом» (Малов С.Е., 1951, с. 41). В конечном итоге карлуки смогли добиться независимости, а их глава принял титул ябгу. Однако столкновения с тюрками, а затем со сменившими их в Монголии уйгурами продолжались.

В 40-е гг. VIII в. в связи с ослаблением Тюркешского каганата в Семиречье продвинулась танская армия. Китайцы в 748 г. смогли захватить Чач (Ташкент), но это привело к столкновению с арабами. В ходе сражения при Таласе в 751 г. карлуки ударили в спину китайской армии и помогли арабам одержать победу. Победа и огромная добыча возвысили карлукского ябгу. По существу он

¹ Сулук действовал как дипломатическими, так и военными методами. В 717 г. он совершил поездку в Китай. Затем заключил три брака (с дочерью одного из западно-тюркских Ашина, дочерью Бильге-кагана и дочерью правителя Тибета). В то же время войска Сулука неоднократно нападали на китайские владения в Восточном Туркестане. Но особое внимание уделялось противодействию арабам в Средней Азии.

стал самым сильным кочевым правителем в Семиречье и прилегающих территориях. Карлуки вели активную борьбу с уйгурами при поддержке Китая, басмылов, кыргызов, тюргешей. Однако ее итогом стало подчинение части карлукских племен уйгурским каганам. Карлукам также пришлось столкнуться с огузами, которые вынуждены были откочевать в низовья Сырдарьи. Это позволило карлукам окончательно занять Семиречье. В 766 г. были захвачены Тараз и Суяб. Тем самым карлуки смогли установить контроль над Тохаристаном и торговыми маршрутами (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 113–117). Карлуками стала воспроизводиться тюргешская модель. Так же, как и тюргеша, карлуки чеканили свои монеты и использовали монеты китайской чеканки (Камышев А.М., 2000).

С падением Уйгурского каганата в 840 г. карлукский ябгу провозгласил себя каганом. Силы карлуков приумножились благодаря миграции в каганат карлуков и племени ягма из Восточного Туркестана (ранее они подчинялись уйгурам). Однако под давлением Саманидов карлуки в начале IX в. вынуждены были оставить Южное Семиречье и переместить свои центры в Кашгарию и Прииссыкулье. По сообщениям ал-Масуди, карлукский каган стал именовать себя Табгач-ханом, буквально «ханом Китая», т.е. Кашгарии (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 122). Таким образом, в течение VII–IX вв. наблюдался поэтапный рост статуса власти правителей карлуков. Это несомненно отражало усложнение политической системы. Логическим завершением этих прогрессивных тенденций стало образование на базе карлукского вожества Караханидского каганата.

Еще один тип потестарно-политической организации раннего средневековья связан с Кыргызским каганатом. Кыргызы, ведшие ожесточенную борьбу с уйгурами, к 840 г. смогли разгромить своих противников, захватить уйгурские города и кочевья. Масштабная экспансия кыргызов требовала существенных ресурсов, которыми они, по всей видимости, не обладали. Поэтому «эпоха кыргызского великодержавия» оказалась такой короткой и практически не замеченной хронистами. Кыргызы смогли создать империю, но не смогли обеспечить сколько-нибудь длительное ее функционирование. Причины этого мы видим как во внутренних, так и во внешних факторах. Сокрушив уйгуров, кыргызы стали обладателями Тувы, Северной Монголии, возможно, части Алтая. Эти территории отличались от условий Минусинской котловины, где существовала сеть городских поселений, земледельческая экономика, в том числе ирригационная, зависимые племена кыштымов в лесостепной и подтаежной зонах. Кыргызы не смогли адаптироваться в Монголии, при этом они, скорее всего, испытывали недостаток в воинах, чтобы одновременно контролировать все завоеванные земли. Кроме того, из степей Монголии откочевала значительная масса тюркоязычных кочевников, потенциальных подданных кыргызского кагана.

С внешнеполитической точки зрения крах Кыргызского каганата как кочевой империи во многом мог быть спровоцирован не столько усилением киданей, сколько кризисом Танской империи. В результате кыргызы не смогли использовать традиционную модель дистанционной эксплуатации и вынуждены были вернуться в пределы своей родины. Все изложенное позволяет поставить кыргызское объединение в особый ряд политических образований полуномадного характера, которые преимущественно играли роль периферии не Китая, а кочевых империй Центральной Азии. Так было при тюрках и уйгурах. Также будет при киданях и монголах. Интеграция кыргызов, вероятно, достигла раннегосударственного уровня в последние века раннего средневековья, но поддерживать эту систему на обширных пространствах Центральной Азии они не смогли.

На другом краю аридной зоны мы наблюдаем внешне похожую, но по сути совершенно другую форму трансформации каганата. Хазары с тюркской династией во главе эволюционировали в военно-торговое государство с преимущественно оседлым населением и весьма маргинальной по меркам раннего средневековья религией – иудаизмом. Хазарский каганат демонстрирует уникальный вариант трансформации кочевого общества. Первоначально в нем воспроизводилась кочевая модель со всеми ее атрибутами. Хазары долгое время были военной опорой Западно-тюркского каганата в противостоянии с персами. Кочевой характер подчеркивался и политикой в середине VII в. – подчинение тюрко-болгар и алан Северного Кавказа (хотя о характере отношений хазар и алан ведутся дискуссии). Но с определенного момента восторжествовала другая модель – государственная (государственно-торговая). Сначала в Дагестане, а затем в Поволжье и Приазовье стали возникать города (Беленджер, Семендер, Итиль, Саркел и др.). Городская экономика и торговля стимулировали развитие сельского хозяйства (в письме кагана Иосифа указывается на орошаемые поля, виноградники, сады). Усложнилась социальная структура хазарского общества, в котором значительную

долно составляли земледельцы и горожане (в Итиле насчитывалось около 100 000 жителей). Доходы политической элиты каганата стали включать налоги, дани (например, дань мечами платили поляне), торговые пошлины и откупы (во время похода руссов в Южное Прикаспие). Каганат постепенно трансформировался в государство. Точно определить время перехода к государственности не позволяет скудность источников. Вероятнее всего, государственный статус Хазарский каганат приобрел к моменту принятия иудаизма в начале IX в. в пику своим главным противникам мусульманам и с целью избежать зависимости от Византии, которая направляла в Хазарию христианские миссии (Артамонов М.И., 1937, 1962; Плетнева С.А., 1976, 1992а; Гумилев Л.Н., 1989; Новосельцев А.П., 1990, 2001; Голден П., 1992; Ромашов С.А., 1992; Иванов С.А., 2001; Кестлер А., 2001; Поляк А.Н., 2001; и др.).

Причины трансформации, скорее всего, стоит искать в местоположении каганата, поставившего под контроль волжскую, донскую, прикаспийскую, кавказскую и отчасти причерноморскую торговлю. Через Хазарский каганат проходили торговые пути из Халифата, Средней Азии, Индии, Дальнего Востока в Волжскую Болгарию, Русь, скандинавские страны. Эта торговля особенно оживилась в период активной экспансии викингов и их торговых предприятий в Восточной Европе (вторая половина VIII – середина X в.). Поток восточных товаров и арабского серебра был довольно значительным, если учесть, что на территории Скандинавии вкладах археологами было обнаружено более 80 000 серебряных арабских дирхемов. Конечно, это только один из факторов становления государственности, но недоучитывать его значение нельзя. Стоит указать, что торговля и контроль за ней станут важнейшими факторами политической эволюции Золотой Орды, образовавшейся на землях Хазарии. Среди других причин перехода к государственности следует назвать противостояние Хазарского каганата с арабами, что способствовало консолидации населения Хазарии, развитию аграрной экономики, т.е. наличию материальных излишков, позволяющих содержать государственный аппарат, сложную общественную структуру, даннические отношения, функционирование которых требовало специальной политической организации (сборщики дани, охрана, крепости с постоянными гарнизонами и т.д.). Однако существование хазарского государства оказалось недолговечным: оторванность еврейской общины, стоявшей во главе каганата, от рядового населения, сокращение торговых потоков во второй половине X в., вторжения печенегов, торков и походы Святослава привели в 960-е гг. к практической ликвидации Хазарского каганата.

Примеры разных типов адаптации в полупериферийной зоне земледельческой цивилизации дают Аварский каганат и Болгарское ханство¹. Их генезис имел много общих черт. Авары, как считают специалисты, представляли собой остатки населения Жужанского каганата, вынужденного бежать из Центральной Азии после восстания тюрков-тугю в 552 г. Оказавшись в Северном Причерноморье, авары подчинили различные группы кочевого (болгары, утигуры и кутригуры, сарматы) и оседлого (славяне) населения. Затянувшиеся переговоры с Византией о возможности поселения аваров на территории империи не имели успеха, и в результате авары, продолжая отступление от восточно-европейские степи тюркских войск, вторглись в Центральную Европу. В 568 г. они разгромили гепидов, а через год, вытеснив лангобардов в Италию, заняли Паннонию и прилегающие территории. Тюрко-болгары² Аспаруха также представляли один из болгарских миграционных потоков после распада Великой Болгарии в Приазовье в середине VII в. Значительная часть болгар оказалась в подчинении Хазарского каганата. Но некоторые группы болгар во главе с сыновьями Кубрата откочевали в междуречье Волги и Камы, в Паннонию и Нижнее Подунавье. Аспарух первоначально увел своих тюрко-болгар в Онгл (это место локализуется учеными в междуре-

¹ В научной и учебной литературе данное политическое образование часто называют «Первым Болгарским царством». Это совершенно неправильно, так как царством раннесредневековая Болгария стала только в X в. (это все равно, что Московское княжество XIV в. именовать «царством», на основании того факта, что в XVI в. будет провозглашено Московское царство). Поэтому для VII–IX вв. мы будем пользоваться понятиями «Болгарское ханство», «Болгарское сложное вожество», «Болгарское княжество», «Болгарское раннее государство», которые точнее отражают организацию власти, титулатуру, этапы эволюции политической системы, т.е. конкретно-исторические реалии болгарской истории до X в.

² В отечественной историографии в отношении болгар, пришедших на Дунай во главе с Аспарухом, нередко используется искусственный научный этноним «протоболгары». Нам представляется более правильно определять их «древними болгарями» (так нередко называют болгар «Великой Булгарии» хана Кубрата и основателей Волжско-Камской Булгарии) или тюрко-болгарами (тюрками-болгарами), чтобы отличать их от более поздних болгар, преимущественно славянского происхождения.

чье низовий Дуная и Прута). Победа над византийцами и заключение с ними договора в 681 г. позволили болгарам-кочевникам осесть в Добрудже. Тем самым и аварская, и тюрко-болгарская миграции носили вынужденный характер, что заставляло номадов на вновь занятых территориях «включать» адаптивные социально-политические и культурные механизмы.

В Аварском каганате сложилась определенная иерархия племен, в которой часть мигрировавших вместе с аварами тюрко-болгарских линиджей (кутригуры) занимали промежуточное положение между аварами и многочисленными славянскими объединениями, позиции которых также различались (ряд славянских и германских племен составляли воинские контингенты и выступали в роли неравноправных союзников, другие охраняли и обеспечивали переправы через Дунай, третьи платили дань и несли разные повинности). Благодаря этому авары, располагавшие значительными военными ресурсами, проводили политику набегов и военно-политического давления на Византию и других соседей с целью получения престижных товаров, оружия, продовольствия. В 573 г. аварам удалось добиться заключения договора с Византией, в соответствии с которым империя выплачивала кочевникам ежегодную дань. «Дистанционная эксплуатация», или «экзополитарная» (т.е. имеющая внешнюю направленность), экономика во многом способствовала поддержанию политической системы, в которой аварский каган выступал в качестве распределителя (редистрибутора) полученных товаров и дани, а это в свою очередь обеспечивало высокий статус кагана как в среде простых кочевников, так и среди аристократии.

Вторым мощным фактором престижа правителя в Аварском каганате были организация походов и набегов, военные успехи. При этом интеграция самих аваров и других кочевников в каганате ограничивалась военной и ритуальной сферами. Отсутствовал специальный аппарат управления кочевниками, отделенный от кланово-линиджной иерархии (т.е. существовавший параллельно с клановыми лидерами), с кочевников не брались налоги и дани (исключения составляли традиционные подношения правителю), оставалась аморфной территориально-административная система. В итоге в Аварском каганате отсутствовали наиболее важные элементы государственности, что позволяет рассматривать данное историческое образование лишь как сложное вожество. В то же время каганат не был и типичной кочевой империей, ибо основную массу «подданных» аварского правителя составляли оседлые земледельцы (преимущественно славяне).

Структурообразующую роль в Аварском каганате играли иерархия кочевых и оседлых племен, сильная военная организация, престижная экономика (распределение каганом полученных и захваченных ресурсов), сакрализация власти верховного правителя. Модель полупериферийной эксплуатации Византии во многом реализовывалась за счет подчиненных и союзных кочевых и оседлых племен. Однако такая политика не могла быть долговечной, ибо она напрямую зависела от военных успехов каганата, а также способности аваров поддерживать имидж неотвратимой угрозы для Византийской империи. Стоило только аварам потерпеть несколько поражений от византийцев, как вся система этнополитической иерархии каганата вступила в полосу кризиса. Неудача аваро-славянской армии под Константинополем в 619–620 гг. послужила важным политическим фоном для восстания против власти аваров славян во главе с Само и образования так называемого княжества Само (623/624–658 гг.). Новое поражение аваров под Константинополем в 626/627 г. вызвало внутренние выступления оппозиционных племен во главе с тюрко-болгарами. Итогом стала миграция из каганата части тюрко-болгар в Италию. Одновременно с этим последовало провозглашение Кубратом независимой Великой Болгарии в Приазовье. Аварский каганат оказался на пороге распада, однако здесь вступили в действие новые формы адаптации, связанные прежде всего со сближением аваров со славянским населением, культурной ассимиляцией. Миграции тюрко-болгар и других кочевников из причерноморских степей в Паннонию опять усилили кочевое ядро Аварского каганата, но одновременно новое переселение болгарских кочевников из Аварии в Италию в 660-х гг. и выступление Кувера против аваров, вероятно, в начале 680-х гг. создавали напряженность (Патриарх Никифор, 1995, с. 229, 139, прим. 37–38; Феофан Исповедник, 1995, с. 275–276).

В итоге авары смогли выйти из кризиса, воспроизведя старую модель взаимоотношений с зависимыми племенами и соседями, подвергавшимися «дистанционной эксплуатации», однако территориальная сфера влияния Аварского каганата сократилась. Интенсивность нападений на Византию существенно снижается. Особую роль сыграли здесь и болгары Аспаруха, владения которых в Нижнем Подунавье как бы «отсекли» аваров от центральных областей Византии. Авары оказались в окружении весьма сегментарных славянских и германских сообществ, ресурсные возможности кото-

рых были существенно ниже византийских. Необходимо также учесть развитие ассимиляционных процессов внутри каганата в течение VIII в. (Седов В.В., 1995, с. 125–126, 129, 132, 133–134 и др.). Вместе с тем военно-политическая элита Аварского сложного вожества была по-прежнему представлена кочевой средой, что подтверждается данными археологии (наличие захоронений в сопровождении коней с богатым военным инвентарем, а также с предметами византийского и восточного производства (Седов В.В., 1995 с. 115, 117)). О том, что возможности престижной экономики не были исчерпаны и в конце VIII в., свидетельствует описание аварской резиденции Эйнхардом: «Все деньги и накопленные за долгое время (аварами. – Прим. С.В.) сокровища были захвачены [франками]. В памяти человеческой не осталось ни одной, возникшей против франков, войны, в которой франки столь обогатились бы и преумножили свои богатства. Ибо до того времени франки считались почти бедными, теперь же они отыскивали во дворце гуннов столько золота и серебра, взяли в битвах так много ценной военной добычи, что по праву можно считать, что франки справедливо исторгли у гуннов то, что гунны прежде несправедливо исторгли у других народов...» (Эйнхард, 2000, с. 18–19). Падение Аварского каганата в конце VIII – начале IX в. отражало не только его ослабление, но и возросшую мощь Каролингской империи, стремившейся уничтожить всех сколько-нибудь значимых противников у своих границ.

Схожую с Аварским каганатом модель полупериферийного взаимодействия с Византийской империей демонстрировало первоначально и Болгарское ханство на Нижнем Дунае. В 681–755 гг. серия договоров (681 и 716 гг.) с Византией обеспечивала доступ тюрко-болгарской знати к престижным византийским товарам, а хан выступал в качестве редистрибутора-распределителя престижных вещей и военной добычи. Определенное значение для существования Болгарского ханства имело и подчинение некоторых славянских племен, которые, вероятно, платили дань, использовались в качестве союзных вспомогательных войск, охраняли границы с Византией и Аварским каганатом.

Таким образом, установление тюрко-болгарами Аспаруха контроля на Добруджей и Мисией привело к созданию в последние десятилетия VII в. сложного вожества – Болгарского ханства. Эта модель дала серьезный сбой в середине VIII в. в связи с перепроизводством элиты, усилением Византии и внутренними междоусобицами. Прекращение выплаты даней и даров Византией в 755 г. резко сократило возможности хана одаривать свое окружение престижными товарами и тем самым влиять на тюрко-болгарскую аристократию. Это подорвало его авторитет, привело к свержению династии Дулу и чехарде на болгарском престоле. Военно-политический престиж тюрко-болгарских ханов снижался и в связи с целой серией поражений от византийцев в 756, 759–760, 763, 768 гг. (Литаврин Г.Г., 1987, с. 49). В Болгарии развернулась почти 30-летняя борьба за власть. Это отразилось и на положении славян в Болгарском ханстве. По-видимому, одни группировки тюрко-болгар из-за недоступности византийских товаров рассматривали славян как объект для нападений и грабежей, другие, наоборот, шли на более тесное сотрудничество со славянами в условиях противостояния с Византией. Косвенно об этом свидетельствует привлечение ханом Тельцом в армию значительного контингента славян (Феофан пишет о 20 тыс.) для отражения византийского нападения (Феофан Исповедник, 1995, с. 283). Политический кризис, несомненно, подорвал влияние болгарских ханов на славянских вождей. Некоторые славянские объединения вышли из-под контроля тюрко-болгар, о чем говорит пример с князем северов Славунном, самостоятельно совершившим набег на Византию. Аналогичные процессы автономизации славян могли происходить и в Западной Мисии. Тем самым целостность ханства была поставлена под сомнение. Практически были подорваны все внешние источники получения материальных ресурсов (дань славян и византийцев, торговля с Византией, военная добыча). Престижная экономика перестала функционировать.

Длительный кризис заставил тюрко-болгар консолидироваться. С приходом хана Кардама (777–803) закончились клановые междоусобицы. Власть предположительно закрепилась за родом Вокил. Судя по тому, что в конце VIII – IX в. нам не известны попытки других кланов захватить ханский престол, остальные роды-претенденты были обескровлены. Сократилась и доля аристократии, так как многие ее представители погибли в междоусобицах. Однако, чтобы вынудить Византию подписать договор о мире и выплате дани, сил еще не было. Хан Кардам объединил тюрко-болгар для решения другой задачи. Ставка была сделана на подчинение славян во Фракии и Македонии. Но перед этим было восстановлено управление над славянами в Мисии и на южной границе с Византией. Завоевания способствовали возрождению престижа ханской власти, дали в его руки материаль-

ные ресурсы (дань славян) и позволили пополнить армию. В конце концов хан Кардам открыто вступил в борьбу с Византией, нанеся ей в 792 г. поражение и добился от византийцев возобновления выплаты дани (Литаврин Г.Г., 1987, с. 50).

Политика Кардама и его последователей – Крума, Омуртага, Маламира, Персиана и Борила/Бориса – привела к резкому расширению политического влияния болгар, подчинению значительного числа славянских племен и созданию системы управления ими, изъятию части прибавочного продукта у славян и военно-политической интеграции со славянами в связи с ростом военной мощи Византии, расширением границ Каролингской империи и проникновением франков на Балканы, образованием Великоморавской державы. В результате в первой половине IX в. исследователями фиксируется формирование сложного иерархического аппарата управления, появление административного устройства, развитие фискальных функций и пр. (Литаврин Г.Г., 1987, с. 54), что свидетельствует о зарождении раннегосударственных институтов. Постепенный переход Болгарии к новой раннегосударственной модели завершится только к концу IX – началу X в., после принятия христианства и начала активной ассимиляции славянами тюрко-болгар.

Рассмотрев процесс политического развития Аварского каганата и Дунайской Болгарии с последней трети VII и до середины IX в., мы можем говорить о широких возможностях применения концепции многолинейного развития к истории раннесредневековых этнополитических образований. Несмотря на то, что мигрировавшие в Подунавье авары и тюрко-болгары оказались в схожей ситуации и использовали близкие модели взаимодействия с Византией и подчиненным оседлым населением, динамика и содержание дальнейшей трансформации Аварского каганата и Болгарского ханства существенно различались. Если в Аварском каганате, несмотря на сменявшие друг друга кризисы и взлеты, властная система в целом сохраняла черты сложного вожества, то Болгария пережила сложный и длительный переход от вожедской к раннегосударственной власти, синтезировавшей кочевые тюрко-болгарские, византийские и славянские политические традиции.

Различия властных институтов у кочевников формируются не только в результате противостояния и «отрицания» того или иного опыта бывших противников. В сходных условиях и в сравнительно неконфликтной среде возникают существенно отличающиеся друг от друга кочевые политии. Показателен пример Кимакского каганата и кипчакских объединений. Кимакский каганат, насколько позволяют судить письменные и археологические источники, по существу представлял собой один из типов переходного общества от сложного вожества к ранней государственности или ее аналогам. Важнейшим политическим событием в истории каганата стало падение Уйгурского каганата. Это вызвало миграцию части племен (эймюров, байандуров, татар) в Прииртышье. Тюрко-кочевники смогли подчинить местное самодийское население, что послужило основой для более сложной социальной и политической организации. Более того, само кочевое население делилось на семь племенных групп (ими, имаки/кимаки, татры, байандуры, кыпчаки, ланиказы, аджлады), из которых две (ими и кимаки) возвышались над остальными (Кумекоев Б.Е., 1972, с. 35–47). В итоге в Кимакском каганате во второй половине IX в. существовала трех-четырёхуровневая иерархия, что способствовало начальным этапам формирования раннегосударственных структур. Трансформацию властных институтов отражает и изменение титулатуры правителей кимаков: шад-гутук – байгу (ябгу) – хахан (Кумекоев Б.Е., 1972, с. 116). Большинство арабо-персидских сочинений IX–XI вв. рассматривают кимаков как исключительно кочевой народ, с одним лишь городом – резиденцией кагана. Однако в мусульманской историографии нашли отражения и такие факты, как существование центральной администрации и наместников, административного деления, письменности, фискальной политики в каганате, развитие в центре каганата 16 городов, добыча серебра и т.д. (Кумекоев Б.Е., 1972, с. 65–66, 74–75, 76, 82–83, 88–89, 98–108, 116–118 и др.; 2003, с. 77; Арабо-персидские источники о тюркских народах 1973, с. 39–42). Отчасти сведения о земледелии и укрепленных поселениях подтверждаются данными археологии.

Не совсем понятны причины, в силу которых в конце X в. или в начале XI в. каганат начинает распадаться, а кипчакские племенные вожди захватывают власть в различных регионах казахстанской степи. Вероятно, власть кагана была подорвана тем, что кочевые племена карлуков, чигилей и ягма провозгласили в Семиречье Караханидский каганат и тем самым перекрыли для кимаков связь с городами и оазисами Средней Азии. С юго-востока аналогичное напряжение существовало в связи с образованием киданьской империи Ляо, что вызвало очередную волну миграции центральноазиатских кочевников в западном направлении (Кумков Б.Е., 1972, с. 122–129; Ахинжанов А.М., 1989;

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 136–142). Предположительно в этих условиях кризиса редистрибутивной деятельности кимакских верховных правителей началась откочевка части племен и возникновения новых объединений. Со временем это привело к установлению военно-политической гегемонии кипчаков на территории расселения кимакских, куманских и кыпчакских племен (Кумек-ков Б.Е., 2003, с. 74). В течение XI в. кыпчаки расселились также в районах Южного Приуралья, Северном Причерноморье, проникли в бассейн Дуная. Образовалось несколько этнотерриториальных объединений.

Между кимаками и кипчаками немало общего. Многие элементы политической системы унаследованы от тюрков. В соответствии с представлениями древних тюрков сосредоточием власти у кимаков и кипчаков, лицом, воплощавшем в себе эль, являлся каган (хан). Власть верховного правителя была наследственной, освященной божественным авторитетом – «небесной харизмой» (тенгри кут). В ханской ставке (орде) находились органы управления, ведавшие ханским имуществом и армией, знамя командующего войсками. Источники отмечают преемственную связь кимаков с древнетюркской средой по линии титулатуры: каган, ябгу, шад, тутук. Традиционная форма управления включала разделение на центр, восточную и западную части государства, обеспечивая стабильность управления и обороны. Западная часть государства кимаков, по сведениям арабского географа и историка аль-Масуди (X в.), находилась под властью кимакского ябгу (мамлака кимак-ябгу), центр которого располагался в междуречье Урала и Эмбы. Доминирующая восточная часть, как и прежде, была связана с Восточным Казахстаном, с резиденцией кагана на Иртыше (Кумек-ков Б.Е., 2003, с. 75).

В то же время Дешт-и-Кыпчак после распада Кимакского каганата и расселения кыпчаков представлял собой крайне сегментированное пространство. Кыпчакские объединения П. Голден (2004) рассматривал как пример негосударственной адаптации в степи. Весь комплекс источниковых сведений не позволяет признать аргументированной точку зрения Б.Е. Кумекова (2003, с. 76), который считал, что в Казахстане возникло единое кочевое государство – Кыпчакское ханство. В целом два близких по культуре и территории кочевых образования имели определенные различия в организации властных органов. В Кимакском каганате существовал общий глава – каган, у кыпчаков – наоборот, племена возглавлялись многочисленными военно-племенными вождями. Хотя не стоит преувеличивать степень централизации Кимакского каганата, все же в сравнении с ним кыпчаки представляли собой тип общественно-политической системы без единого центра.

Кыпчаки (половцы) как в казахстанских степях, так и в Северном Причерноморье на протяжении нескольких столетий составляли многочисленные племенные группы, лишь изредка и непостоянно консолидировавшиеся в первичные (простые) вождества, как, например, союзы Боняка, Тугоркана, Шарукана или объединения кыпчаков с центрами в городе Сыгнак (на Сырдарье) и в Торгайских степях Центрального Казахстана (Плетнева С.А., 1958, 1981а, 1992а–б; Кумек-ков Б.Е., 2003, с. 76). В описании «Повестью временных лет» похода русских против приазовских половецких орд 1103 г. указывается, что в бою погибло более 20 половецких ханов во главе со старшим ханом (князем) Урусобой. Походы Владимира Мономаха против половцев в первой четверти XII в. привели к уничтожению основных центров интеграции кочевников. Могущественный Шарукан умер, а его сын Отрок ушел с 40 000 номадами на службу грузинскому царю Давиду. Многие половецкие племена были рассеяны и откочевали в Поволжье. Новые племенные союзы половцев стали оформляться в Северном Причерноморье только в середине XII в., однако и они представляли собой простые вождества. Подводя итоги, стоит отметить тот факт, что кыпчакское сообщество практически не подвергалось эволюции. К началу монгольских завоеваний на базе многочисленных кыпчакских линиджей так и не возникло политического образования номадов, способного противостоять внешней экспансии.

Причины децентрализации кыпчаков, вероятно, необходимо искать не только во внутренней структуре родоплеменных объединений. Скорее всего, на половцев оказывало воздействие расположение отдельных племен кыпчаков в зоне влияния крупных земледельческих центров (Русь, Византия, позднее государство Хорезмшахов). Тем самым разные племенные группы кыпчаков, представляя собой периферию этих центров, тяготели к определенному из них, что затрудняло интеграцию.

Если говорить о половецких объединениях в Северном Причерноморье, то здесь Черное море служило препятствием, которое исключало существование протяженной границы, уязвимой для нападений номадов (так, как в Китае). Серьезную угрозу половцы представляли только для крымских владений Византии. Кроме того, балканское направление было блокировано включением в состав

империи Дунайской Болгарией, которая сама играла роль византийской полупериферии. Половецкие армии подвергали Византию неоднократным нападениям, но чаще всего эти набеги заканчивались получением от Византии даров-откупов.

Киевская Русь не смогла сформировать полноценную полупериферийную модель кочевого общества. Во-первых, на Руси не было сопоставимых с Китаем и Византией ресурсов. Сведения об откупах русских князей для кочевников – скорее редкость. Сама Русь в какой-то мере выступала полупериферией Византийской империи. Во-вторых, древнерусское общество с XI в. становилось все более децентрализованным, что блокировало возникновение единой для всех половцев модели дистанционной эксплуатации. В результате различные группы половцев с конца XI в. участвовали в русских княжеских усобицах (Плетнева С.А., 1975, 1981а, 1990). Половецкие ханы, ориентировавшиеся на союз с той или иной ветвью Рюриковичей, нередко конфликтовали между собой и не стремились к объединению. Таким образом, в Восточной Европе половцы реализовывали «многоканальную» схему дистанционной эксплуатации Руси.

Сходная сегментарная ситуация фиксируется у печенегов. Печенеги в VIII – начале IX в. жили в бассейне Сырдарьи и Приаральских степях (Кумекон Б.Е., 1972, с. 57), но во второй половине – конце IX в. они потерпели поражение от огузов, кимаков и карлуков и вынуждены были мигрировать в Северное Причерноморье. Описание печенегов (пачинакиты) византийского императора Константина VII Багрянородного (913–959 гг.) в труде «Об управлении империей» позволяет в общих чертах реконструировать этноплеменную систему печенегов. Он называет восемь округов (орд?) печенегов, четыре из которых располагались в междуречье Днестра и Днепра, а другие четыре – между Днепром и Волгой. Каждый округ имел своего хана, делился еще на пять родов, которые возглавлялись «меньшими» ханами (Константин Багрянородный, 1991; Плетнева С.А., 1992а). Картина политической децентрализации налицо.

Печенеги в основном использовали две формы отношений с Русью и Византией. Первая форма – договоры, по которым кочевники получали дани и дары. Такими, по всей видимости, были договоры печенегов с Игорем 915 г. и Владимиром, заключенные в начале XI в. при участии епископа Бруно. Аналогичны им соглашения между печенегами и Византией. Византийская империя, как и в отношении других кочевников, стремилась использовать политику откупов. Логика ее обоснования мало изменилась по сравнению с римским временем: «Я полагаю всегда весьма полезным для василевса ромеев желать мира с народом пачинакитов, заключать с ними дружественные соглашения и договоры, посылать отсюда к ним каждый год апокрисиария с подобающими и подходящими дарами для народа... Поскольку этот народ пачинакитов соседствует с областью Херсона, то они, не будучи дружески расположены к нам, могут выступать против Херсона, совершать на него набеги и разорять и самый Херсон...» (Константин Багрянородный, 1991).

Вторая форма – это набеги, разорения и грабежи. Причем печенеги крайне редко совершали крупные набеги (это требовало объединения племен), ограничиваясь быстрыми нападениями и уходом в степь. Также печенеги участвовали в походах болгар и русских (поход Игоря на Византию 944 г., походы Святослава в Хазарию и Болгарию) и даже в междоусобицах (в борьбе с Ярославом Святополк опирался на печенегов). Переломным в судьбе печенегов стал XI в. Дважды, в 1019 и 1036 гг., печенеги потерпели сокрушительное поражение от войск Ярослава Мудрого. Это вызвало дезинтеграционные процессы у печенегов, кочевавших между Днепром и Дунаем. Система округов распалась. В византийских источниках XI в. называются 13 разрозненных печенежских родов. Верховный военачальник Тирах характеризуется как слабый и безынициативный, что было крайне опасно в условиях вторжения в Северное Причерноморье сначала торков (огузов, гузов), а затем половцев. Под давлением этих новых «волн» кочевых мигрантов печенеги переселялись на территорию Византии в болгарских землях (большая часть печенегов после восстания в конце XI в. при поддержке половцев была уничтожена) и Руси (печенеги вошли в состав подвластного киевскому князю союза Черных клобуков, включавшего также торков и берендеев) (Плетнева С.А., 1958, 1981а, 1992б).

Сегментарностью был отмечен союз племен огузов в Приаралье. Хотя огузы в X в. формально имели своего главу – ябгу (его резиденция располагалась в Янгикенте – Садр ад-Дин Али ал-Хусайни, 1980, с. 23, прим. 2), в их составе выделялись отдельные группы со своими лидерами (одним из таких лидеров был «эмир» Токак, отец Сельджука) (Агаджанов С.Г., 1969, 1991). Автономия значительной части племен от ябгу показывает и факт миграции части огузов в Северное Причерно-

морье (в ходе переселения огузов был окончательно уничтожен Хазарский каганат). Не смог ябгу помешать переселению в Дженд Сельджука и его сторонников (Садр ад-Дин Али ал-Хусайни, 1980, с. 24).

Таким образом, на степных пространствах Евразии у печенегов, огузов (торков) и кыпчаков господствовала акефальная сегментарная модель политической адаптации. С определенной периодичностью возникали «центры притяжения» в виде простых и сложных вожеств, судьба которых в большинстве случаев была недолговечной. Однако наряду с этим огузы дали исторический пример формирования мусульманской империи тюркоязычных народов на Переднем Востоке – султаната Сельджукидов. Очень важным этапом адаптации в исламском мире тюрков, последовавших за Сельджуком и его потомками, были годы, проведенные в изгнании в Дженде и Хоросане (конец X – первая треть XI в.). Все это время сельджуки, нередко притесняемые Газневидами, оставались под руководством эмиров, действовавших достаточно самостоятельно, но признававших верховенство старшего Сельджукида. Еще в Дженде около 992 г. сельджуки приняли ислам, а источники доносят до нас мотивы этого мероприятия. По словам Эбрея, Сельджук произнес следующую фразу: «Если мы не примем веру и обычаи народа страны, в которой мы хотим жить, то никто не станет нас уважать и мы окажемся в меньшинстве, осужденном на одиночество» (Садр ад-Дин Али ал-Хусайни, 1980, с. 172, прим. 7). Постепенно сельджукам удалось закрепиться в Хоросане и нанести несколько поражений Газневидам. Видимо, в 1030-х гг. началась консолидация тюрков-мусульман вокруг Тогрул-бека Мухаммада, владетеля Нишапура, и Чагры-бека Да'уда, захватившего Мерв. Тогрул в 1037 г. принял титул султана а в 1040 г. после нескольких сражений, проходивших с переменным успехом, сельджуки разгромили 100-тысячную армию газневидского султана Масуда.

С этого момента сельджуки стали одерживать одну победу за другой. Под их контролем оказались значительные территории (Персия, Ирак, Мавераннахр, Хорезм, Афганистан и др.), где сельджукские правители, заимствовав опыт мусульманских государств, устанавливали налоги и пошлины, назначали чиновников. Впрочем, для рядовых кочевников именно война оставалась основным средством доходов. После каждой победы Чагры-бек и Тогрул производили раздел и раздачу добычи. В стремлении повысить свой авторитет и влияние султан Тогрул и малик Чагры-бек осуществляли политику раздач и поощрений не только в отношении кочевого населения, но и в пользу земледельцев, которые освобождались от хараджа на один год или больший срок (Садр ад-Дин Али ал-Хусайни, 1980, с. 30–33).

Осознание сельджукидской элитой своего нового статуса отражает проведение в Нишапуре в 1040 г. своеобразного съезда потомков Сельджука и эмиров. «Главную роль на съезде играл Тогрул, после выступления которого было решено, что за создаваемое государство несет ответственность весь род Сельджука, который во имя общих интересов будет единым. Еще одним документом собрания стало обращение к халифу ал-Каиму. В нем сельджуки признавались покорными Аббасидам, указывали на то, что были усердны на пути газавата и джихада, победу над султаном Масудом рассматривали как божественную милость. «Восхваляя эту победу, мы распространили среди народа справедливость и правосудие и отошли от несправедливости и притеснений. Для того чтобы возвести это [наше] дело в закон во славу религии ислама, мы хотели бы утвердить его халифским указом». Через год в Нишапуре началась чеканка монеты с именем Тогрула, затем аналогичную монету стали чеканить в Рее и других городах. Тем самым Тогрул был признан главой государства (Садр ад-Дин Али ал-Хусайни, 1980, с. 183–184, прим. 17).

В реальности империя Сельджукидов не имела единой администрации. С самого начала возрождался удельный принцип. Так, Чагры-беку достались земли в Восточном Хоросане, Хорезме, Бухаре, Балхе. Двоюродный брат Тогрула Ибрахим ибн Йиналу управлял в Кухистане и Джурджане (юго-восточное Прикаспие), а Абу Али ал-Хасану – в Герате, Сиджистане и стране Гур (центральный Афганистан). Сам Тогрул владел западными территориями империи. В ходе военных действий 1040–1050-х гг. он сумел захватить западную Персию и Ирак. В своих землях султан Тогрул назначал наместников (так шихаб ад-Даула Куталмыш был направлен на завоевание Армении и Азербайджана и управление ими). Таким образом, через 67 лет после принятия Сельджуком ислама его потомки оказались правителями одной из самых обширных мусульманских империй.

Северо-восточным соседом Сельджукского государства был Караханидский каганат. Каганат был провозглашен около 840 г. ябгу карлуков Бильге, который стал носить титул Бильге Кюль Кадыркаган. Господствующее положение в карлукской конфедерации занимали племена чигилей и ягма. Из

их представителей формировалась элита каганата, который при сыновьях Бильге Кюль Кадыр-хана был разделен на две части – восточную и западную. Во главе каждой стоял свой каган, но восточный каган считался верховным («старшим») правителем со столицей в Баласагуне (городище Бурана в Кыргызстане). Восточный каган был из чигилей и носил титул Арслан Кара-хакан. Западный каган, представлявший племя ягма, носил титул Бугра Кара-каган. Его ставки располагались в Кашгаре и Таразе. К X в. сложилась дуальная многоуровневая система управления каганатом (в реалиях политической жизни каганата конца X – начала XI в. во главе государства могли находиться три и более правителей, а верховенство старшего кагана было номинальным). Каждый титул и должность в восточной части каганата имели аналог в западной: Арслан-илек – Богра-илек, Арслан-тегин – Богра-тегин. Решающее значение имели успешная борьба с Саманидами за обладание Средней Азией, а также принятие около 960 г. ислама. Это событие условно знаменует окончательное превращение Караханидского каганата в государство (Бартольд В.В., 1963а, с. 285, 330; Караев О.К., 1975, 1983а, 1983б; Петров К.И., 1981, 1986; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 106–107; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 123; Кочнев Б.Д., 2006, с. 245–249).

Экономическую базу Караханидского государства составлял контроль над оазисами и городами Средней Азии, Восточного Туркестана и Семиречья. Для управления этими территориями Караханидам потребовался разветвленный аппарат управления. Наряду с каганами в караханидском государстве существовала титульная иерархия. Так, Мухаммад иб Али был сначала Яган-тегином, затем Арслан-тегином, Йинал-тегином и, наконец, – Арслан-илигом. Помимо перечисленных, у Караханидов было много других княжеских титулов: Алп-тегин, Атим-тегин, Тоган-тегин, Тогрыл-тегин, Улуг-тегин, Ака-өгä, Субаши-өгä, Тонга-өгä, Эл-өгä, Тархан, бек и т.д. Существовал государственный регламент, когда должности занимались после их освобождения в соответствии с принципом перехода от старшего брата к следующему по возрасту родственнику (Кочнев Б.Д., 2006, с. 249). Исследователи полагают, что в Караханидском каганате существовало большое количество удельных князей с большей или меньшей степенью самостоятельности от верховного правителя. Такие князья располагались в городских резиденциях и обладали собственной администрацией (Бартольд В.В., 1963а, с. 285).

С 991 г. Караханиды начали чеканить свою монету. Монетное производство было налажено в Фергане, Бухаре, Илаке, Шаше, Узгенде, Баласагуне, Кашгаре, Самарканде и др. Правда, чеканка караханидских динаров и дирхемов первоначально преследовала не экономические, а скорее пропагандистско-политические цели (засвидетельствовать переход этих городов под контроль Караханидов и связь с исламской традицией). В дальнейшем эти цели чеканки монеты сохраняли свое значение, но широкое распространение караханидских монет свидетельствует и об их активном применении в торговом деле (Кочнев Б.Д., 2006, с. 149–190).

В 1041–1042 гг. каганат разделился на два совершенно самостоятельных каганата – Западный (с центром в Самарканде) и Восточный (с центром в Баласагуне, затем в Кашгаре). Первоначально считалось, что в каждом каганате было по два кагана – старший (Арслан-хан) и младший (Бугра-хан). Имелись еще «низшие» каганы – Арслан-илиг, Бугра-илиг, Арслан-тегин, Бугра-тегин. Однако Б.Д. Кочневу удалось убедительно показать, что в Западном каганате не было дуальной организации. Он возглавлялся единственным каганом, который покончил с множеством ханов и князей, создав централизованное управление. Первый западный каган Табгач-хан Ибрахим установил прямой порядок престолонаследия от отца к сыну (Кочнев Б.Д., 2006, с. 250–251). В восточном каганате дуальная система сохранилась дольше, что объясняется более устойчивым влиянием кочевых традиций, но в конечном итоге и здесь в XII в. она была ликвидирована. Таким образом, можно обозначить общие тенденции развития государственной власти в Караханидском каганате. В период расширения каганата в X – начале XI в. структуры власти были весьма подвижны и предполагали участие в управлении большого количества полунезависимых правителей. Но по мере укрепления власти баласагунских и самаркандских правителей, особенно после разделения каганата, наметилась тенденция к централизации власти, что раньше проявилось в Западном каганате. Вне всякого сомнения, письменные, археологические и нумизматические данные позволяют нам видеть в Караханидском каганате одну из самых развитых форм государственности среди политических образований, созданных кочевниками.

Киданьская империя Ляо представляет еще один пример трансформации кочевого сложного вождества в государственное образование. Основатели империи Абаоци и Дэгуан из рода Елюй

действовали вполне в духе других знаменитых кочевых лидеров и провели политическую реформу, в результате которой от власти оказались отстранены большинство представителей родовой аристократии. Также Елюй Абаоци провозгласил принцип наследования от отца к сыну и возвысил уйгурский по происхождению род Сяо, из которого киданьские правители брали себе жен. В 916 г. Абаоци принял императорский титул Тянь-хуан-вана, что послужило отправной точкой движения к универсальной (объединившей кочевников и земледельцев) форме государственности (Пиков Г.Г., 2002, с. 192–193).

В период своего расцвета империя включала территории с разными экономиками (Северо-Восточный Китай, Монголия, Маньчжурия и т.д.) и смогла интегрировать их в единую хозяйственную систему. Во многом копируя китайские институты управления, кидани создали собственную бюрократию, фискальные и судебные органы, центральный и провинциальный аппарат. Вся администрация делилась на чиновников, управлявших территориями с земледельческим населением, и отдельный более простой аппарат власти для кочевников. Широко применяли кидани и китайское право (Пиков Г.Г., 1992; Данышин А.В., 2006, с. 117–125). В то же время кидани использовали традиционную политику дистанционной эксплуатации в отношении незавоеванной ими части Китая. Чередую войну и мир, они добивались увеличения дани, подарков, привилегий. Установили они контроль и за монгольскими степями. Здесь кидани развернули строительство городов-крепостей, в которые для обслуживания киданьских гарнизонов переселялись подневольные китайцы, бохайцы и другие зависимые народы (Ивлиев А.В., 1983; 1986; Пиков Г.Г., 1994, 2002; Кычанов Е.И., 1997; Крадин Н.Н., 2002, 2006а; Данилов С.В., 2004, 2005а). Практически уже к началу XI в. киданьская империя Ляо представляла собой централизованное традиционное государство, однако судьба его во многом повторила судьбу типичных кочевых империй. Два основных фактора в 1125 г. привели к падению Ляо. Во-первых, это китаизация значительной части элиты, постепенно утратившей связь с кочевыми традициями. Во-вторых, «напряжение» в этноплеменной иерархии, в которой представители полупериферии чжурчжени в конечном итоге смогли свергнуть киданей.

Последних три рассмотренных политических образования кочевников (империя Сельджукидов, Караханидский каганат и Ляо) представляли собой разные по конкретным формам политического устройства государства. Общим для всех трех данных государств было обладание территориями с земледельческим и городским населением.

8.3. Анализ уровней сложности кочевых обществ на основе формальных кросс-культурных методик

Еще одним научным инструментом сравнения кочевых образований и выявления их особенностей являются формальные кросс-культурные технологии (см. главу 3), среди которых мы остановились на десяти критериях сложности обществ (письменность и записи; степень оседлости; земледелие; урбанизация; технологическая специализация; наземный транспорт; деньги; плотность населения; уровень политической интеграции; социальная стратификация), которые были разработаны Дж. Мердоком и апробированы совместно с К. Провостом на примере 186 обществ.

Среди российских ученых к анализу сложности кочевых обществ на основе базы Дж. Мердока впервые обратился Н.Н. Крадин. Используя критерии данной базы, Н.Н. Крадин (2004, с. 24–30) определил уровень сложности восьми кочевых империй. При этом он взял усредненный показатель сложности кочевых империй, характеризующий всю эпоху существования каждого из восьми объединений. Нам представляется более верным подход Л.Б. Алаева и А.В. Коротаева, направленный на фиксацию ключевых точек в эволюции сравниваемых между собой обществ. Поэтому, чтобы проследить динамику в развитии выбранных нами 15 кочевых объединений V–XI вв., мы сделаем несколько хронологических срезов (в зависимости от длительности существования кочевого объединения), связанных с важными этапами политической истории рассматриваемых кочевых обществ. Так, например, в истории Первого Тюркского каганата выбраны 552 г. (основание империи), 570-е гг. (время наивысшего расцвета и могущества каганата) и 603 г. (окончательный распад на Восточно-тюркский и Западно-тюркский каганаты).

При этом мы должны учесть, что некоторые показатели базы Дж. Мердока слабо дифференцированы и плохо соответствуют реалиям кочевого мира. Например, самый высокий уровень политической интеграции в базе Дж. Мердока характеризовался следующим образом – «три и более уровня иерархии, например государство, разделенное на области и районы». Понятно, что такими призна-

ками обладали практически все кочевые империи и крупные политические образования, созданные номадами. Но некоторые из них были государствами, а другие – нет. Причем и те, и другие могли существенно различаться между собой по уровню сложности. Поэтому, оценивая уровень сложности политических систем разных кочевых империй 4 баллами, мы прекрасно понимаем всю условность данной оценки. Одним из выходов может быть введение индексов на этот и ряд других показателей (например, на уровень социальной стратификации). Но тогда будет утрачена твердая основа для сравнения с другими обществами, уже проанализированными на основе критериев базы Дж. Мердока. Кроме того, с методической точки зрения крайне сложно определить величину такого индекса или нескольких индексов (1,2, 1,3 или 1,5), чтобы они могли адекватно отразить особенности и сложность политических институтов кочевых политий. По всей видимости, требуется специальное исследование в этом направлении, чтобы обосновать закономерность величины индекса в каждом конкретном случае и при этом не утратить привязки к базе Дж. Мердока.

Вместе с тем мы были вынуждены внести в базу одну важную поправку. В тех случаях, когда в состав той или иной кочевой империи были включены территории с оседлым населением, в таблицах даются двойные показатели, учитывающие развитие процессов урбанизации, сложности городской инфраструктуры, уровень земледелия и т.п. Такой подход позволит отразить в цифровом эквиваленте тот факт, что и политические, и социальные практики кочевников усложнялись в связи с необходимостью управлять оседлым населением и контролировать его. Конечно, на жизнь большинства рядовых кочевников этот факт не оказывал существенного влияния. Образ жизни в степи не менялся. Но административный корпус и военные подразделения кочевых политий, а порой и целые племенные группы, вынуждены были концентрировать свои усилия в направлении политико-административного контроля за экономикой жителей городов, земледельцев, торговыми артериями, осуществлять сбор даней, пошлин, налогов, предупреждать выступления против своей власти или вторжения со стороны соседей.

Еще одной стороной, требующей обязательного учета, являлась сложная этносоциальная иерархия родов и племен в рамках кочевых империй. С одной стороны, совершенно понятно, что данная иерархия не была аналогична сословной структуре сложных аграрных обществ, но с другой – данная иерархия выступает как особый тип сложной социальной стратификации. В целом просматриваются три-четыре уровня подобной дифференциации: кочевая элита, преимущественно клановая, из состава которой происходила и правящая династия; племенная группа (племенные группы), составлявшая основу объединения и давшая ему название, с кочевьями, располагавшимися в центральных районах политии, а также специальными подразделениями, осуществлявшими контроль над покоренными территориями; подчиненные племена и кочевые объединения, военные ресурсы которых привлекались для походов и набегов; периферийные племена-данники. Однако в каждом конкретном случае число уровней и племенных групп могло существенно отличаться. Особенно стоит обратить внимание на такие политические образования, которые возникли после завоевания номадами территорий с оседлыми жителями (Северный Китай, Восточный Туркестан, оазисы Средней Азии, оседлое население Забайкалья и т.д.). В последнем случае к сложной дифференциации земледельцев и горожан добавляются кочевые страты, коллективно эксплуатирующие ресурсы оседлого населения. Многочисленность иерархических уровней и формы взаимодействия кочевых элит с подчиненными этническими группами, среди которых довольно часто были не только кочевники, позволяют в отдельных случаях ставить высокие и даже максимальные баллы кочевым объединениям в рамках критерия «социальная стратификация».

Ниже предлагаются результаты изучения 16 кочевнических объединений поздней древности и раннего средневековья на основе критериев базы Дж. Мердока. Специалисту будет заметна определенная избирательность авторов (список кочевнических сообществ рассматриваемого периода может быть легко дополнен). В этой связи стоит оговориться, что мы брали только те общества, в отношении которых располагали достаточным количеством сведений, чтобы высказать определенные (в цифрах) оценки их уровня сложности (в подстрочных сносках указаны источники и научные публикации, на основании сведений которых составлена каждая таблица).

Таблица 1

Динамика уровня сложности Жуаньжуаньского каганата¹

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Жуаньжуаньского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Конец IV в.	2	0	0	0	3	3	1	1	2	2	14
2.	470-е гг.	2	0	0	0	3	3	1	1	3	2	15
3.	520-е гг.	2	0	0	0	3	3	1	1	3	2	15
4.	Ок. 550 г.	2	0	0	0	3	3	1	1	2	2	14

Таблица 2

Динамика уровня сложности теле (гаогюй, гаоцзюй) в IV–VI вв.²

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии теле	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Рубеж IV–V вв.	2	0	0	0	3	3	1	1	1	1	12
2.	490-е гг. ³	2	0	0	0	3	3	1	1	2	1	13
3.	530-е гг.	2	0	0	0	3	3	1	1	1	1	12

Таблица 3

Динамика уровня сложности Великого (Первого) Тюркского каганата⁴

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Первого Тюркского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	552 гг.	2	0	0	0	3	3	1	1	3	2	15
2.	570-е гг.	3	0/4	0/4	0/4	3	3	1	1	4	2	17/29
3.	603 г.	3	0/4	0/4	0/4	3	3	1	1	4	2	17/29

Таблица 4

Динамика уровня сложности Восточно-тюркского каганата⁵

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Восточно-тюркского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	После 603 г.	3	0/4 ⁶	0/3	0/4	3	3	1	1	4	2	17/28
2.	629 г.	3	0	0	0	3	3	1	1	3	2	16

¹ Цифровые показатели таблицы основаны на изучении письменных источников (Бичурин Н.Я., 1950а; Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху, 1984) и научных изданий (Гумилев Л.Н., 1993; Данилов С.В., 2004; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Кычанов Е.И., 1997; Крадин Н.Н., 2000а).

² Источники: Бичурин Н.Я., 1950а–б; Кюннер Н.В., 1961; Liu Mau-tsai, 1958а, Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху, 1984; Лю Маоцай, 2002. Научные издания: Гумилев Л.Н., 1993; Кляшторный С.Г., 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Савинов Д.Г., 1979, 1984, 2005; Васютин С.А., 2002, 2004а.

³ Объединение Афучжило.

⁴ Источники: Бичурин Н.Я., 1950а–б; Кюннер Н.В., 1961; Liu Mau-tsai, 1958а; Лю Маоцай, 2002. Научные публикации: Бартольд В.В., 1963а–б, 1968–б; Восточный Туркестан... 1988; Гумилев Л.Н., 1961, 1993; Данилов С.В., 2004; Досымбаева А.М., 2000; Кляшторный С.Г., 1986, 1986а, 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Крадин Н.Н., 1992, 2004; Кызласов И.Л., 1996, 1998а–б, 1999; Кычанов Е.И., 1997; Могильников В.А., 1981б; Савинов Д.Г., 1979, 1984, 2005; Тугушева Л.Ю., 2000; Хазанов А.М., 2000; Васютин С.А., 2002, 2004а; Худяков Ю.С., 1994а, 2000, 2003, 2004.

⁵ Источники: Бичурин Н.Я., 1950а–б; Кюннер Н.В., 1961; Liu Mau-tsai, 1958а; Лю Маоцай, 2002. Научные публикации: Бартольд В.В., 1963а–б, 1968а–б; Васютин С.А., 2002, 2004а; Восточный Туркестан..., 1988; Гумилев Л.Н., 1993; Кляшторный С.Г., 1986, 1986а, 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Крадин Н.Н., 1992, 2004; Кызласов И.Л., 1996, 1998а–б, 1999; Кычанов Е.И., 1997; Могильников В.А., 1981б; Попов И.Ф., 1994; Савинов Д.Г., 1979, 1984, 2005; Тугушева Л.Ю., 2000; Хазанов А.М., 2000; Худяков Ю.С., 1994а, 2000, 2003, 2004.

⁶ С учетом владений тюрок в Восточном Туркестане.

Таблица 5

Динамика уровня сложности объединения Сеяньто¹

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии печенежского объединения	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ок. 629 г.	2	0	0	0	3	3	1	1	2	1	13
2.	641 г.	2	0	0	0	3	3	1	1	3	1	14

Таблица 6

Динамика уровня сложности Западно-тюркского каганата²

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Западно-тюркского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	603 г.	3	1/4	1/4	1/4	3/4	3	2	1/4	4	3	22/35
2.	626 г.	3	1/4	1/4	1/4	3/4	3	2	1/4	4	3	22/35
3.	655 г.	3	1/4	1	1	3/4	3	2	2	3	2	21/24

Таблица 7

Динамика уровня сложности Второго Тюркского каганата³

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Второго Тюркского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Конец 680-х гг.	3	0	0	0	3	3	1	1	2	2	15
2.	После 716 г.	4	0	0	0	3	3	1	1	4	3	19
3.	743–744 гг.	4	0	0	0	3	3	1	1	3	2	17

Таблица 8

Динамика уровня сложности Тюркешского каганата⁴

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Тюркешского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Конец VII в.	4	1/4	1/3	1/4	3	3	2	2	3	3	23/32
2.	Ок. 729 г.	4	1/4	1/4	1/4	4	3	4	2	3	3	26/35
3.	Ок. 756 г.	4	1/4	1/3	1/3	4	3	4	2	2 ⁵	2	24/31

¹ Источники: Бичурин Н.Я., 1950а–б; Лю Маоцай, 2002. Научные публикации: Гумилев Л.Н., 1993; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005.

² Источники: Бичурин Н.Я., 1950а–б; Кюннер Н.В., 1961; Liu Mau-tsai, 1958а–б; Лю Маоцай, 2002. Научные публикации: Аитова С.М., 2000; Бартольд В.В., 1963а–б, 1968а–б; Барфилд Т., 2002; Васютин С.А., 2002, 2004а; Гумилев Л.Н., 1993; Досымбаева А.М., 2000; Камышев А.М., 2000; Кляшторный С.Г., 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000.

³ Источники: Бичурин Н.Я., 1950а–б; Малов С.Е., 1951, 1959; Кюннер Н.В., 1961; Liu Mau-tsai, 1958а; Лю Маоцай, 2002. Научные издания: Бартольд В.В., 1963а–б, 1968а–б; Гумилев Л.Н., 1961, 1993; Данилов С.В., 2004; Досымбаева А.М., 2000; Ермоленко Л.Н., 1998; Кляшторный С.Г., 1986, 1986а, 2003, 2004; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Крадин Н.Н., 1992, 2004; Кызласов И.Л., 1996, 1998а–б, 1999; Войтов В.Е., 1996; Кычанов Е.И., 1997; Могильников В.А., 1981б; Савинов Д.Г., 1979, 1984, 2005; Тишкин А.А., 2005; Трепавлов В.В., 2004; Тугушева Л.Ю., 2000; Хазанов А.М., 2000; Худяков Ю.С., 1994а, 2000, 2003, 2004; Васютин С.А., 2002, 2004а; Баяр Д., 2004.

⁴ Источники: Бичурин Н.Я., 1950а–б; Малов С.Е., 1959. Научные публикации: Аитова С.М., 2000; Бартольд В.В., 1963а–в, 1968а–б; Гумилев Л.Н., 1993; Камышев А.М., 2000; Кляшторный С.Г., 2001, 2001а–б, 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000.

⁵ Раскол Тюркешского каганата на племенные группы – «желтых» и «черных» тюркешей.

Таблица 9

Динамика уровня сложности Уйгурского каганата¹

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Уйгурского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	745 г.	4	0	1	0	3	3	1	1	2	2	17
2.	783 г.	4	1/3	1	1/4	4	3	2	1	4	3	24/28
3.	Конец 830-х гг.	4	1/2	1	1/3	4	3	2	1	3	2	22/25

Таблица 10

Динамика уровня сложности Кыргызского каганата²

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Кыргызского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ок. 820 г.	4	3	2	3	3	3	1	2	3	2	26
2.	После 840 г.	4	4	2	4	4	3	2	1	4	3	31

Таблица 11

Динамика уровня сложности Хазарского каганата³

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Хазарского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Середина VII в.	3	0	0	1	3	3	2	2	2	2	18
2.	760-е гг.	4	3	2	3	3	3	2	2	3	3	28
3.	Начало IX в.	4	4	4	4	4	3	3	3	4 ^{1,5}	4	39
4.	Середина X в.	4	4	4	4	4	3	3	2	3 ^{1,5}	3	36

Таблица 12

Динамика уровня сложности Болгарского ханства⁴
в конце VII – последней трети IX в.

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Дунайской Болгарии	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	После 681 г.	3	1/3	1/4	1	3	3	1	2	3	2	20/25
2.	760-е гг.	4	1/4	1/4	1	3	3	2	2	4	2	22/28
3.	Конец IX в.	4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	33

Таблица 13

Динамика уровня сложности Кимакского каганата⁵

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Кимакского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	840 г.	3	1/3	1	1	3	3	2	1	3	2	20/22
2.	920-е гг.	4	1/4	2	1	4	3	3	1	4	3	26/29
3.	Конец X в.	4	1/4	3	1	4	3	3	1	4	3	27/30

¹ Источники: Бичурин Н.Я., 1950а–б; Малов С.Е., 1951, 1959. Научные издания: Бартольд В.В., 1968а–б; Гумилев Л.Н., 1961, 1993; Данилов С.В., 2004, 2005а; Кляшторный С.Г., 1986а–б, 2003, 2004; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Крадин Н.Н., 1992, 2004; Кычанов Е.И., 1997; Худяков Ю.С., 1990, 1994а.

² Источники: Бичурин Н.Я., 1950а; Малов С.Е., 1952; Кормушин И.В., 1997. Научные издания: Бартольд В.В., 1963в, 1968а; Гумилев Л.Н., 1993; Кляшторный С.Г., 2003; Кызласов Л.Р., 1960, 1984, 1989, 1992, 1999; Савинов Д.Г., 2005; Худяков Ю.С., 2003.

³ Источники: Константин Багрянородный, 1991; Повесть временных лет, 2007. Научные исследования: Артамонов М.И., 1937, 1962; Плетнева 1976, 1992а; Гумилев Л.Н., 1989; Новосельцев А.П., 1990, 2001; Голден П., 1992; Ромашов С.А., 1992; Иванов С.А., 2001; Кестлер А., 2001; Поляк А.Н., 2001.

⁴ Источники: Бешевлиев В., 1992; Патриарх Никифор, 1995; Феофан Исповедник, 1995. Научные исследования: Литаврин Г.Г., 1981, 1987, 1992, 2001; Залеская В.Н. и др., 1997; Койчева Е., 1997; Седов В.В., 1995; Свердлов Б.М., 1997; Теляшев Р.Х., 1997; Петрухин В.Я., 2001; Кляшторный С.Г., 2003; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005; Пугачев А.Ю., 2007; Васютин С.А., Пугачев А.Ю., 2007.

⁵ Источник: Кумеков Б.Е., 1972. Научные публикации: Бартольд В.В., 1968а; Кляшторный С.Г., 2001в, 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Кумеков Б.Е., 2003; Савинов Д.Г., 1994; Тишкин А.А., 2005.

Таблица 14

Динамика уровня сложности
кипчакских (половецких) объединений в X–XI вв.¹

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии половецких объединений в XI в.	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Конец X	2	0	0	0	3	3	1	1	2	2	14
2.	Конец XI в.	2	0	0	0	3	3	1	1	3	3	16
3.	1130-е гг.	2	0	0	0	3	3	1	1	2	2	14

Таблица 15

Динамика уровня сложности Караханидского каганата в X–XI вв.²

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Караханидского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	840 г.	3	1/4	1/4	1/3	4	3	2	2	3	2	22/30
2.	Около 1000 г.	4	1/4	1/4	1/4	4	3	4	3	3	3	27/36
3.	1050 г. ³	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	38

Таблица 16

Динамика уровня сложности Ляо в X–XI в.⁴

№ п/п	Важные этапы в политическом развитии Ляо	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мердока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	907 г.	3	1	2	1	3	3	2	2	2	2	21
2.	947 г.	4	1/4	2/4	1/4	4	3	4	4	3	3	29/37
3.	Начало XI в.	4	4	3/4	4	4	3	4	4	4 ^{1,5}	4	40/41

Полученные результаты, вне всякого сомнения, достаточно условны, но показывают довольно существенные различия как в сложности форм политической организации, так и в других компонентах общественных систем кочевников. Конечно, остается открытым вопрос, в какой мере эти различия касались политической организации и/или влияли на нее. Мы можем увидеть, что общества с близкой организацией власти различались по другим показателям. И все же общие высокие показатели, как правило, отражают и высокую степень политической организации.

8.4. Выводы

В результате исследования специфических черт организации власти в 23 кочевых обществах раннего средневековья удалось выявить довольно разнообразные по сложности, функциональному назначению и тенденциям эволюции потестарно-политические системы кочевников. Ключевое значение для истории кочевников имели кочевые империи. Их различные модели охватывают более широкий спектр вариантов, чем обозначенные Н.Н. Крадиным типичные, даннические и завоевательные империи. Эта картина еще более усложняется в том случае, если рассматривать властные системы кочевников в динамике. В одних случаях проявляются циклические моменты, в других прослеживаются прогрессивные тенденции роста сложности и устойчивости власти. Даже в пределах одного региона (Центральная Азия) нами сделана попытка на примере Жуаньжуаньского, Тюрк-

¹ Источник: Повесть временных лет, 2007. Научные исследования: Ахинжанов С.М., 1989; Голден П., 2004; Гумилев Л.Н., 1989; Добролюбовский А.О., 1986; Кляшторный С.Г., 1986а, 1998, 2001в, 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Кумекон Б.Е., 2003; Плетнева С.А., 1958, 1975, 1981а, 1990, 1992б; Савинов Д.Г., 1994; Худяков Ю.С., 2004а.

² Источники: Караев О.К., 1968, 1975. Научные публикации: Бартольд В. В. 1963а–г; Беленицкий А.М. и др., 1973; Горячева О.Д., 1983; Караев О.К., 1983а–б; Кочнев Б.Д., 1987, 2006; Мокрынин В.П., 1983; Федоров М.Н., 1983; Петров К.И., 1981, 1986.

³ В данной строке даны характеристики Западного каганата Караханидов.

⁴ Источники: Е Лун-ли, 1979; Материалы..., 1984. Научные публикации: Викторова Л.Л., 1961; Данилов С.В., 2004, 2005а; Ивлиев А.Л., 1983, 1986; Крадин Н.Н., 2002в; Кычанов Е.И., 1997, 2004; Пиков Г.Г., 1986, 1989, 1992, 1994, 2000, 2004–2006.

ских, Уйгурского, Кыргызского каганатов и империи Ляо показать сколь неодинаковыми при внешней схожести могут быть пути трансформации политических институтов. Хотя все они, как считается исследователями, пытались использовать близкую полупериферийную модель взаимодействия с Китаем, в реальной истории происходило это весьма и весьма дифференцированно. Чтобы лучше пояснить данное утверждение, в этот список необходимо добавить и каганат Сеяньто. Правители Сеяньто в выстраивании своей политики в отношении Танского Китая изначально исходили из доктрины подчинения китайскому правителю и одновременно, даже вопреки собственным интересам, из необходимости уничтожения расселенных китайцами в пограничной зоне тюрков. Все это говорит о том, что каганат Сеяньто и потенциально не мог перерасти в кочевую квазиимперию. Совершенно иной пример – Кыргызский каганат. Кыргызы смогли создать в Минусе устойчивую политическую систему, с которой вынуждены были считаться и тюрки, и уйгуры. Но «рывок» к империи закончился для них полным провалом. Рассредоточив свои воинские ресурсы по просторам Тувы, Монголии, Алтая, кыргызы поставили под угрозу само существование каганата. Поэтому, «пожертвовав» имперским статусом, они предпочли ограничить зону политического контроля до прилегающих к Минусинской котловине территорий. Разными были и модели политической трансформации Тюркских и Уйгурского каганатов, которые сочетали (в зависимости от периода своей истории) признаки типичных и даннических империй. Начав свое существование как типичное кочевое имперское образование, Уйгурский каганат в конечном итоге, наряду с внешними данническими формами взаимодействия с подчиненными земледельцами, стал образцом инновационного развития степного урбанизма и соответствующих политических практик. Ничего близкого не наблюдалось у тюрков, которые особенно после 50-летнего пребывания под властью Тан были противниками всего, что олицетворяло оседлую жизнь (это, правда, не мешало тюркской элите получать китайские товары).

Особый случай представляла собой киданьская империя Ляо. В истории Китая было немало варварских государств (после падения Хань и Тан), но ни одно из них не могло столь долго, как Ляо, сохранять одновременно черты и кочевой империи и традиционного китайского государства. Этот образец окажется востребованным позже чжурчженями, монголами, маньчжурами. В то же время Ляо можно поставить в один ряд с другими государствами-империями, такими как Караханидский каганат и Сельджукский султанат. Эта форма политических образований кочевников должна быть выделена в отдельный тип и дополнительно исследована в сравнительно-историческом ракурсе. Потенциально близки к империям-государствам Тюркешский и Кимакский каганаты. Однако центробежные силы в этих объединениях оказались сильнее устойчивой линии на формирование традиционных государственных структур. Зафиксированные источниками элементы ранней государственности у тюркешей и кимаков требовали постепенного воспроизводства и «наращивания» государственной составляющей. Однако конкретно-исторические обстоятельства (военные поражения, междоусобицы, миграции) не позволили и тем и другим реализовать потенциальную возможность создания государства. Из этого ряда выпадает Хазарский каганат, развивавшийся и в политическом, и в социальном отношении по «индивидуальной программе». Также нуждается в интерпретации и тот факт, что Аварский и Хазарский каганаты, Великая Болгария и Дунайская Болгария не являлись «кочевыми империями» (а их обычно причисляют к таковым), особенно если пользоваться систематизированным списком признаков Н.Н. Крадина. В то же время одни из них выросли в государства, а другие остались на уровне сложных вожеств. Таким образом, каждое кочевое общество выбирало особую модель адаптации, что находило отражение и в разных формах политического управления.

Наконец, самую простую систему власти, опирающуюся на традиционные права кланово-племенных лидеров, демонстрируют печенежские, огузские, кыпчакско-половецкие объединения. В соответствии с предложенной в главе версией их сегментарность в какой-то мере объясняется «притяжением» отдельных племенных групп и союзов к разным земледельческим центрам-цивилизациям (Византия, Древняя Русь, Хорезм). Именно в приграничной зоне этих центров возникали объединительные импульсы, следствием которых было появление временных простых вожеств, неспособных поглотить другие племенные единицы. Конечно, необходимо учесть, что в причерноморских, приволжских и прикаспийских степях возникали и более централизованные политические образования, как, например, Золотая Орда. Но даже в этом государственном объединении возникали автономные центры интеграции, ориентированные на взаимодействие с земледельческими обществами (Ногайская орда, Крымский анклав и т.д.).

В целом если развивать мир-системный взгляд на историю взаимодействия кочевников и земледельцев, то для раннего средневековья можно выделить три модели. Одна из них была представлена

Т. Барфилдом (2002) как модель пропорционального усложнения кочевых политий до уровня кочевых империй параллельно с возрастающими размерами и силой оседло-земледельческого «центра». Развитие интеграционных процессов в Китае и рост численности его населения в V–VII вв. вызвали последовательное появление в степи Жуаньжуаньского, Великого тюркского и более локального Восточно-тюркского каганатов. Относительно раннесредневековой истории эта «закономерность» дважды дала сбой, в случае с Сеяньто, когда Тан была на пике своего развития. И второй раз с киданями, создавшими империю (а главное, начавшими ее создавать), в годы уже непреодолимого кризиса танской государственности. Вторую модель олицетворяет взаимодействие Византийской империи со среднемасштабными кочевыми обществами, такими как держава Аттилы, Аварский каганат, Дунайская Болгария. По существу это была уменьшенная проекция взаимоотношений номадов и земледельцев в Центральной Азии (ресурсы Византии после середины VII в. существенно уступали китайским; у Византии и кочевых объединений не было столь протяженной границы; византийское правительство умело использовало подарки и дани-откупы для снижения интенсивности нападений номадов, а также тактику борьбы с варварами «руками варваров»). Третья модель преобладала в Средней Азии, где наряду с дистанционной эксплуатацией кочевниками земледельческих центров, издавна сложилась и получила всестороннее развитие в раннесредневековый период традиция синтеза кочевого и оседлого начала.

Сопоставив результаты изучения властных институтов конкретных номадных политий с данными, выявленными на основе формального кросс-культурного анализа, мы получили следующие результаты. Во-первых, прослеживается совпадение определенных типов потестарно-политических систем (сегментарное акефальное объединение, сложное вождество, суперсложное вождество и государство) с уровнями сложности кочевых обществ, выраженными в формальных цифровых показателях. Так, политически сегментированные печенежские и половецкие объединения получили по таблице Дж. Мердока и К. Провоста не более 16 баллов. Уровень их политической интеграции чаще всего не превышал 2 баллов и только в случае возникновения непостоянных вождеств достигал 3-х баллов. Интересно, что близкие цифровые показатели имели и некоторые кочевые империи в период своего зарождения или в завершении кризисов, за которыми следовал распад политии. Сумма баллов от 17 до 25 с высокой долей вероятности говорит о том, что данное объединение достигло уровня сложного или суперсложного вождества. При этом необходимо учитывать, что кочевники внешне в отношении покоренных земледельцев и горожан (в таблицах вторые цифры) использовали более развитые социально-политические практики, а включение таких территорий с оседлыми жителями дает повышение показателей и по технологиям, плотности населения, урбанизации и т.д. и в сумме может составить от 25 до 35 баллов. Это сочетание «внутренних» и «внешних» оценок кочевых обществ также дифференцирует картину их социально-политического и экономического развития. Кочевые общества с уровнем сложности более 25 баллов являются объединениями или переходными к ранней государственности (26–30 баллов), или с уже сложившимися государственными структурами (31 и более баллов). Здесь, как и в предшествующем случае, важно учесть «внутренние» (только кочевые) и «внешние» (с учетом зависимого оседлого населения) параметры. Наиболее сложные формы социально-политической организации присутствуют в тех обществах, где происходит органичный синтез кочевого и оседлого начал (единая цифра 35 и выше баллов). Также стоит отметить, что введение нами индекса для показателя «уровень политической интеграции» (шкала расширилась от «0» до «б») дало возможность получить более вариативную картину. Прежде всего это касается тех случаев, когда наблюдается оформление у кочевников неимперских форм государственности.

В целом данное исследование потестарно-политических режимов кочевников раннего средневековья показало, что модели организации власти у номадов существенно различались. История евразийских кочевников VI–XI вв. наглядно демонстрирует факт многообразия путей исторического развития. Наши выводы о соответствии определенных форм управления у кочевников конкретным цифровым показателям уровня сложности номадных обществ, естественно, условны. Но использованный в главе формальный кросс-культурный подход позволяет увидеть общие тенденции и провести буквальное сопоставление кочевых объединений по ключевым показателям социальной динамики. Также она помогает скорректировать типологии Н.Н. Крадина и С.А. Васютина.

В результате проведенного анализа можно попытаться ответить и на ряд вопросов, указанных в начале главы. Как соотносятся друг с другом вождества, кочевые империи и государства? Почему одни кочевые империи являются вождествами, другие государствами? Как охарактеризовать кочевые вождества и кочевые государства, не являвшиеся империями?

Отвечая на эти вопросы, предлагаем прежде всего уточнить классификацию управленческих режимов у кочевников Н.Н. Крадина. В общих чертах можно обозначить следующие ступени сложности организации власти у кочевников:

- На первой ступени следует расположить *акефальные и сегментарные кочевые общества* двух типов. Первый предполагает существование в акефальных кочевых сообществах, разделенных на кланы и линиджы, традиционных клановых лидеров, власть которых опирается на обычай старшинства, традиционного авторитета. Такие акефальные общности не имели единого центра интеграции, а сеть обладателей власти была многочисленна и территориально рассредоточена (теле в середине VI в., кыпчакские объединения, огузы на рубеже X–XI вв.). Второй тип несколько сложнее. В его рамках на сегментарном пространстве с периодичностью возникают центры интеграции, которые чаще всего следует характеризовать как первичные (простые) вождества для решения прежде всего военных задач. Правителями таких центров задействовались более сложные механизмы управления, предполагавшие опору не только на традиционное клановое право, но и на харизматические качества лидера. Однако власть в подобных образованиях была неустойчивой, не передавалась по наследству автоматически и подвергалась сомнению со стороны других вождей. Чаще всего такие вождества распадались после смерти лидера-основателя (например, половецкие объединения ханов Блуша, Шарукана и Боняка). Для характеристики акефальных и сегментарных кочевых обществ лучше всего подходит концепция Н.Э. Масанова о дисперсности и относительной концентрации в номадных образованиях (Масанов Н.Э., 1984, 1987, 1991; Марков Г.Е., Масанов Н.Э., 1985). В любом случае оба варианта первой ступени неустойчивы, подвижны и «перетекают» друг в друга. Не исключены случаи, когда в одной сегментированной этнической общности возникало сразу несколько центров интеграции (например, восемь округов печенегов во главе со старшими ханами (Константин Багрянородный, 1991; Плетнева С.А., 1958, 1981а, 1992а)).

- Вторую ступень представляли собой *сложные «вторичные» вождества* – более централизованные и многочисленные объединения кочевников. Территориально их можно определить как среднемасштабные кочевые общества. Здесь, как и в первом случае, можно выделить два типа политий номадов. Первый связан с еще неустойчивыми формами интеграции разноэтничных групп кочевников, в результате чего возникает двух- или трехступенчатая этноплеменная иерархия (например, объединение во главе с тюрками-тугю, после подчинения последними племен теле (до 552 г.), каганат Сеяньто, объединение карлуков в VIII в., Великая Болгария и др.). Такие сложные вождества, как правило, трансформировались в двух направлениях: а) в ходе военной экспансии возникали более сложные и обширные кочевые империи; б) в результате разных факторов следовало завоевание сложного вождества другими кочевниками и/или миграция части населения. Второй тип включает более устойчивые сложные вождества, в которых важное значение имели механизмы политической интеграции, связанные с необходимостью контроля за подчиненным оседлым населением (например: Аварский каганат, Болгарское ханство на Дунае в конце VII – середине VIII вв., Тюркешский каганат).

- Третья ступень связана с крупными политическими образованиями номадов – *кочевыми империями*. Такие кочевые государственно-подобные квазиимперские политии мы склонны вслед за Н.Н. Крадиным определять как суперсложные вождества. Для подобных империй были характерны административное деление на центр и крылья, сложная многоступенчатая этноплеменная иерархия и связанная с ней пирамида власти (от кагана и его правящего рода, представители которого были высшими военачальниками и администраторами до традиционных клановых лидеров подчиненных племен), организация войска на основе десятичной системы, строгая дисциплина в армии, необходимая для организации масштабных походов против земледельцев, дистанционная эксплуатация и пр. По внешним признакам – наличие политического центра (ставка) и «штаба» (должностная иерархия), организация военных предприятий, заключение договоров с земледельцами и торговля с ними, использование письменности в мемориально-пропагандистских целях, применение элементов фискальных практик земледельческих государств в отношении подчиненного оседлого населения – кочевые суперсложные вождества напоминали государства, но внутренняя структура управления и сама политическая деятельность в кочевых империях явно не дотягивали до государственного уровня. Взаимодействие власти и населения ограничивалось религиозной, военной и редиистрибутивной сферами. Главным инструментом интеграции кочевников и обеспечения их товарами земледельцев оставались армия и ее военные успехи. Власть опиралась не на разветвленный аппарат гражданских чиновников, фискальную систему, государственный суд и письменный закон, а на кочевые традиции

и институт престижной экономики (распределение военной добычи, даней, даров и откупов земледельцев среди рядового населения и аристократии). Этот механизм, наряду с военными удачами и сакральными функциями правителя, обеспечивал ему авторитет и подчинение кочевников, но вряд ли делал власть устойчивой. Третья ступень представлена двумя формами: *типичные* и *даннические кочевые империи*. Сразу стоит оговориться, что различия между типичными и данническими кочевыми империями достаточно условны, так как даннические отношения присутствуют и в той, и в другой модели. В типичной империи номадов данничество охватывает наименее престижные группы кочевников, которые поставляли скот (тюрки поставляли дань жуаньжуаням железными изделиями), и оседлое население окраинных притаежных территорий (кыштымов). Даннические империи были ориентированы на подчинение земледельческого населения и получение с них продуктов земледелия. В истории крупных политических образований кочевников мы можем выделить отдельные периоды, когда они были ближе или к типичным или к данническим империям. Так, в период активной экспансии (середина 550-х – 570-е гг.) тюркам удалось захватить некоторые оазисы Восточного Туркестана и Средней Азии. В отношении этих территорий Первый Тюркский каганат выступал как данническая империя. Однако после разделения каганата в 603 г. на Западный и Восточный Восточнотюркский каганат стал типичной номадной квазиимперией.

- Четвертую ступень уровня сложности политических систем номадов представляют *государства*, созданные кочевниками в ходе завоевания территорий с городским и земледельческим населением. Первый тип – более или менее локальные государственные образования, где кочевники доминируют в элите, а в политической организации преобладают кочевая титулатура и традиции (Болгарское ханство первой половины – середины IX в., уйгурские ханства в Восточном Туркестане и др.). Второй – масштабные государства номадов, сочетавшие контроль земледельческих и степных районов (соответственно сочетавшие налоговую и данническую практику): Ляо, Сельджукидский султанат, Карханидский каганат, Монгольская империя.

Естественно, что все восемь обозначенных форм – только модели, каждая из которых может быть дифференцирована дополнительно. Некоторые виды отличий кочевых объединений невозможно вписать в представленную типологию, но обязательно необходимо учитывать (например, различия, связанные с отсутствием городов во Втором Тюркском каганате и созданием городской инфраструктуры в Уйгурском каганате, довольно принципиальны и позволяют увидеть в данном случае разные формы бытования типичных кочевых империй).

Также стоит учесть и разные тенденции развития кочевых политий. В раннее средневековье, с одной стороны, в Центральной Азии воспроизводилась своеобразная «наследственная» линия – Жуаньжуаньский, Тюркские, Уйгурский, Кыргызский каганаты; с другой – наблюдалась определенная эволюция от большой суперимперии – Первый Тюркский каганат – к менее обширным образованиям конца раннего средневековья.

Предложенная типология, сохраняя некую долю условности, дает представление о том, что формы властной организации и способы политической адаптации кочевников как в разных, так и в весьма близких природно-климатических, социальных и культурных условиях существенно отличались. При этом мы наблюдаем и должны учитывать тот факт, что при всем разнообразии потестарно-политических форм у кочевников раннего средневековья и в целом средневекового периода наличествуют и общие механизмы функционирования власти. Нам представляется, что это результат сочетания в каждом кочевом обществе ряда базовых элементов, которые создают единое поле, если так можно сказать, «кочевой цивилизации», ее макрополитического среза. Такими базовыми элементами представляются кочевая экономика (ее организация, предполагающая дисперсность), экзополитарные формы взаимодействия номадов с оседлым населением (преобладание в отношениях кочевого и земледельческого миров модели дистанционной эксплуатации, которая обеспечивает механизм поддержания центральной власти) и наличие в многокомпонентной системе власти универсальных архаичных пластов, «запускающих» сходные механизмы управления и представляющих собой устойчивые ментальные установки, направленные на решение политических задач с помощью определенных традицией способов. Одновременно нельзя не отметить, что полученные данные о многообразии форм политических систем у номадов указывают на необходимость в каждом индивидуальном случае исследовать соотношение архаичных, тяготеющих к ним имперских и более рациональных государственных политических практик и стоящих за ними пластов ментальности.

Необходимо отметить, что обозначенные в данной главе проблемы и вопросы требуют более детального и масштабного исследования. Представляется, что подобные изыскания будут весьма

перспективными и привлекают ведущих специалистов. В целом к позитивным итогам исследования можно отнести разработку типологии властных режимов у кочевников, которая учитывает опыт предшествующих исследований и «вписывает» кочевые политии раннего средневековья в концепцию многолинейного развития потестарно-политических и социальных форм. Предложенные в главе восемь типов кочевых объединений – это своеобразные базовые модели, параметры которых могут уточняться применительно к каждому кочевому обществу. Общий разброс форм организации власти довольно обширен: от сегментарных родовых сообществ и политий с устойчивой тенденцией усложнения властных институтов до государственных образований. К особому типу прогрессирующей системы от вожества к зачаточному, а затем к традиционному государству следует отнести Монгольскую империю, которая к тому же представляла собой первую средневековую мир-систему, интегрировавшую самые разнообразные традиции и формы взаимодействия кочевников и оседлого населения.

Материалы данной главы могут быть систематизированы и в другом направлении. В рамках истории кочевников раннего средневековья просматриваются два этапа. На первом преобладали обширные политии, которые стремились к подчинению всех кочевых групп и их включению в сложную этноплеменную иерархию. Этот этап (VI – первая половина IX в.) связан в основном с традиционными кочевыми империями (Жуаньжуаньский, Тюркские, Уйгурский каганаты), вторичными вожествами (каганат Сеяньто, Великая Болгария) и политическими объединениями кочевников со значительной долей оседлого населения и/или включающие в свою политическую практику даннические отношения с соседними народами (Аварский каганат, Дунайская Болгария в VIII в., Хазарский каганат в VIII – середине IX в., Тюркешский и Кимакский каганаты в момент своего образования).

На втором этапе (вторая половина IX – XI в.) преобладают две модели кочевых политий. Первая модель включала созданные кочевниками государственные образования с различными формами интеграции кочевников и земледельцев (Хазарский каганат во второй половине IX – середине X в., Волжская Булгария, Уйгурские ханства, Кимакский каганат в период своего расцвета, Караханидский каганат, государство Ляо, Сельджукский султанат). Второй тип – занимавшие довольно обширные территории и многочисленные по своему кланово-племенному составу, но акефальные образования кочевников (печенеги, кыпчаки, половцы, огузы до начала XI в.)¹. Важно отметить, что направления эволюции данных сегментарно-акефальных обществ различались. Кыпчакско-половецкие орды в политическом отношении развивались «волнообразно» с преобладанием в определенные периоды центробежных и центростремительных тенденций. В конечном итоге ни в XI в., ни в предмонгольское и даже в период монгольской экспансии кыпчаки так и не смогли интегрироваться в крупную кочевую политию. В то же время в огузском объединении мы наблюдаем в XI в. наряду с сохранением доимперских традиций среди кланово-племенных групп в юго-восточном Прикаспии генезис и расцвет сельджукской империи, охвативших значительную часть Переднего и Среднего Востока. Наша условная периодизация свидетельствует о том, что единого вектора развития кочевого мира в период раннего средневековья не было, но наблюдалось доминирование определенных тенденций.

В пространственном отношении в евразийских степях существовали регионы, где политогенез у кочевников имел определенные, более или менее устойчивые формы. В Центральной Азии на протяжении раннего средневековья преобладали типичные и даннические кочевые империи. Кочевые суперсложные вожества с центром в монгольских степях воспроизводили полупериферийную по отношению к Китаю модель взаимодействия кочевников и земледельцев. Смена кочевых империй во многом представляла собой смену племенной политической элиты, в то время как подчиненные группы кочевого населения нередко оставались прежними. В Средней Азии и Семиречье на протяжении раннего средневековья наблюдалась более тесная интеграция кочевников и оседлого, особенно городского, населения. Номады нередко захватывали политическую власть в городах и формировали военные контингенты. Они получали продукты ремесла и земледелия не столько путем дистанционной эксплуатации, сколько благодаря даям, рентам, налогам, контролю за торговлей, пошлинам и т.д. Естественно, что подобные политические практики вели к появлению более сложных политических систем и оформлению государственности с высокой долей участия кочевников. Еще один регион, где процессы политической эволюции кочевников имели свои специфические черты, вклю-

¹ Необходимо также подчеркнуть, что сегментарные и акефальные кочевые общества существовали и на первом этапе, но они были включены в состав кочевых империй.

чал Нижнее Поволжье и Северное Причерноморье. Для кочевников этого региона южные земледельческие центры (Византия, Персия, Хорезм) были несколько удалены, а более северные страны земледельцев (Древняя Русь, Волжская Булгария) не располагали достаточным количеством ресурсов и необходимым уровнем централизации, чтобы создать условия для консолидации номадов в полупериферийную кочевую империю. Исключение составил только Хазарский каганат, где, по-видимому, благодаря развитию волжской торговли и противостояния на юге с арабами, кочевники избрали другую адаптивную модель. Она в какой-то мере будет воспроизведена золотоордынскими монголами.

Другая модель была востребована в Подунавье, где номады (авары, болгары, венгры) располагались у непосредственных границ Византийской империи и могли использовать набеги и угрозу вторжений для получения от Константинополя даней, «подарков», контрибуций. Для Византии подобная политика «откупов» в отношении варваров являлась достаточно традиционной, а доходы империи позволяли тратить часть ресурсов на выплаты кочевникам (в ином случае они шли на содержание армии). Сравнительно небольшие степные участки в Добрудже и Паннонии ограничивали приток кочевников в Подунавье, препятствуя тем самым созданию здесь крупных политических образований номадов. Поэтому в Подунавье у кочевников возникали более локальные, но при этом более консолидированные, чем в Северном Причерноморье, вожества. Возможности расширения территории в бассейне Дуная и на Балканах, вероятно, были только за счет территорий с оседлым славянским населением. Авары за пределами своих владений в Паннонии в основном совершали набеги и грабежи. Болгары, оказавшись в непосредственном противостоянии с византийцами, вели более или менее последовательное подчинение славян в Мезии (Мисии), Фракии, Македонии, что, с одной стороны, способствовало трансформации болгарского сложного вожества в раннее государство, а с другой – ассимиляции болгар-кочевников славянами и постепенным снижением доли кочевого населения.

В целом применение многолинейных теорий социальной эволюции, кросс-культурной и мир-системной концепций позволяет увидеть кочевой мир не только в культурном, но и в социально-политическом отношении как более дифференцированный, сложный и многообразный. Способы политической адаптации номадов существенно различались даже в пределах одного региона, не говоря уже о разных зонах степной Евразии. Эти особенности властных институтов у кочевников легли в основу представленной в данной главе типологии и выводов об основных тенденциях политического развития кочевников в период раннего средневековья.

Заключение

В XX – начале XXI в. отечественные ученые внесли значительный вклад в изучение социально-политической организации номадов Центральной Азии. Представленная в данной монографии периодизация отечественных исследований общественно-политических структур номадов включает четыре периода. Каждый из них имеет яркие отличительные черты, связанные со сменой методологических подходов, появлением инновационных концепций и понятий, постановкой новых проблем в изучении социальной истории кочевников. Однако стоит оговорить ряд моментов, с учетом которых выделялись хронологические рамки периодов и давалась их содержательная характеристика. Во-первых, не всегда авторы периодизации исходили только из доминирующих на том или ином этапе развития историографии теоретических подходов. Скорее ключевая роль отводилась инновационным разработкам, которые определяли вектор развития отечественного кочевниковедения на целые десятилетия. При этом, конечно, определяющим было стремление нарисовать совокупную картину исследований номадных социумов и властных систем в каждый из выделенных периодов, а также показать противоречивость тенденций в данных изысканиях, проанализировать основной спектр применяемых методик, оценить конкретные разработки. Показательна в этом отношении ситуация в 1970-х гг. В то время как подавляющее большинство советских ученых продолжали интерпретировать общественно-политические институты в духе феодальной теории. Такие отечественные кочевниковеды, как Г.Е. Марков и А.М. Хазанов, практически осуществили ревизию формационного подхода к истории номадов.

Во-вторых, необходимо указать на некоторую условность хронологических границ между периодами, и объясняется это не только понятной специалистам долей условности каждой историографической периодизации. Выше уже упоминалось о противоречивом характере развития отечественного кочевниковедения. Но дело не только в этом. Каждый исследователь-новатор проходил сложный путь осмысления собственных идей, меняя и уточняя оценки и связанные с ними понятия и дефиниции. Поэтому исторические теории редко зарождались и развивались в тех рамках, которые «определил» им историограф. В этой связи не всегда верно датировать рождение исторических идей временем их публикации. Необходимо учитывать внутренний, подготовительный (в определенном смысле даже переходный) этап проработки концепции. Причем подобные латентные формы концептуальной трансформации в историографии иногда находят отражение в отдельных публикациях, не вписывающихся в общую теоретическую канву синхронных исследований. Такой пример дает статья Л.Н. Гумилева «Орды и племена у древних тюрков и уйгуров» (1961), в которой автор проигнорировал устоявшееся мнение о феодальном характере управленческих структур у средневековых кочевников и предложил идею двух форм военно-политической организации. И терминологически, и идейно эта концепция опиралась на формационную теорию, но отрицала жесткие стадияльно-хронологические рамки сталинского марксизма. На этом основании в изучении социально-политической организации отечественными кочевниковедами можно не только фиксировать переход от одного периода к другому, скажем, в конце 1960-х гг., но и рассматривать предшествующее десятилетие (конец 1950-х – середину 1960-х) как отдельный этап, когда исследования и дискуссии внешне в основном велись на базе утвердившейся в СССР трактовки формационной теории, а внутреннее осмысление учеными результатов научных изысканий, критики сталинской политики, знакомство с достижениями зарубежных исследователей подготавливало трансформацию советского кочевниковедения в последующий период.

В-третьих, пожалуй, правильнее говорить не только о разных методологических подходах, определявших особенности трактовки социально-политических структур номадов, а о том, что в каждый период шло постепенное формирование новых образов социальных и властных систем номадов древности и средневековья, на основе которых осуществлялись конкретные исторические реконструкции. Стоит также учесть установки постмодернистской историософии, согласно которым мы имеем дело с целой многоэтапной системой конструирования прошлого, начиная с первоисточников и заканчивая современными исследованиями. В свете данного подхода историография не столько «наращивает» объективную информацию о том или ином историческом предмете, сколько конъюнктурно реагирует на актуальные для определенного этапа развития общества вопросы. Не разделяя в полной мере данную точку зрения, отметим, что в отечественном кочевниковедении, как и в других научных направлениях, на всем протяжении его развития отчетливо проявлялись проблемы синтеза теоретических разработок с конкретно-историческими изысканиями, детальной проработки

и верификации выдвигаемых концепций. На этом основании мы можем наблюдать наряду с серьезными фундированными теоретическими исследованиями своеобразную «игру» в концептуальное осмысление общественно-политической истории кочевников. Но, пожалуй, главной проблемой исследований отечественных кочевниковедов было и остается механистическое перенесение подходов и соответствующей научной лексики, разработанных на основе изучения оседло-земледельческих обществ, на историю кочевых социумов.

В целом периодизация отечественных исследований социально-политических структур центральноазиатских кочевников древности и раннего средневековья строилась с учетом опыта предшественников (см. введение) и может служить основой для периодизации отечественных социальных разработок в отношении кочевников других регионов и исторических периодов.

Внимание к общественному устройству и потестарно-политическим институтам центральноазиатских кочевников древности и раннего средневековья зародилось еще в XIX в., когда российскими исследователями были введены в оборот отдельные письменные источники и появились первые историко-культурные очерки, посвященные центральноазиатским кочевникам. В этот же период были исследованы отдельные захоронения скифского и тюркского времени. В конце XIX – начале XX в. источниковый фонд существенно пополнился за счет обнаружения и прочтения рунических надписей, изучения археологических объектов, арабских и персидских письменных памятников и т. д. Специальных научных исследований социально-политической организации кочевников Центральной Азии еще не проводилось, но в отдельных работах В.В. Радлова, В.В. Бартольда, А.В. Адрианова и других звучали ценные замечания по поводу факторов политической интеграции у кочевников и положении знати. Это время в целом можно рассматривать как переходное к периоду 1920-х гг., когда появились первые специальные исследования социально-политической организации кочевников Центральной Азии.

Первый период охватывает 1920-е – начало 1930-х гг.

На первом этапе данного периода (до конца 1920-х гг.) ведущее место в исследовании проблемы общественно-политического устройства центральноазиатских кочевников древности и раннего средневековья принадлежало ученым дореволюционной школы, прежде всего В.В. Бартольду. Он наряду с конкретно-историческими разработками предложил типологию кочевых обществ. Советские археологи (С.И. Руденко, М.П. Грязнов, С.А. Теплоухов и др.), развернувшие исследования в разных районах Саяно-Алтая, придерживались в основном эволюционистских взглядов, в силу которых социальная организация кочевников характеризовалась ими как родовая, доклассовая.

Рубеж 1920–1930-х и начало 1930-х гг. могут рассматриваться как переходный этап к следующему периоду. В эти годы в исследованиях в кочевниковедении произошли серьезные изменения. Сказались такие факторы, как общая политическая ситуация в стране с развернувшимися репрессиями и преследованиями, в том числе и против ученых, постепенное проникновение марксизма в научную среду, смена поколений, в результате которой в науку пришли люди, запрограммированные на отрицательное отношение к достижениям дореволюционной школы. Происходивший в советской науке на рубеже 1920–1930-х гг. идейно-методологический и кадровый слом обеспечил последующее господство марксизма.

Второй период – вторая треть 1930-х – середина 1960-х гг.

Этот период можно разделить на три этапа. На первом из них (1933/1934 – начало 1950-х гг.) произошло окончательное утверждение сталинской версии марксистской теории исторического процесса («пятичленки»), которая стала активно внедряться в исследования общественных отношений и политической организации кочевников Центральной Азии (С.П. Толстов, С.В. Киселев, Б.Я. Владимирцов, А.Н. Бернштам, Н.Н. Козьмин, Л.П. Потапова и др.). Этими работами по существу обосновывалось существование у кочевников периодов военной демократии, рабовладения и феодализма, т.е. соответствие истории кочевников предполагаемым этапам формационного развития мировой истории (редкое исключение – публикации Г.П. Сосновского и М.П. Грязнова, в которых наряду со стадийным подходом прослеживалось и влияние эволюционистских идей). В последующие полтора десятилетия шло изучение истории конкретных кочевых обществ и археологических культур кочевников на основе формационной методологии. В археологических изысканиях с расширением источниковой базы и более глубоким рассмотрением вопросов социального развития древних и средневековых обществ был выдвинут ряд интересных гипотез (например, об археологических свидетельствах пережитков матриархата Б.Н. Грязнова), а М.П. Грязновым на материалах пазырыкских курганов впервые были апробированы несколько палеосоциологических методик (ме-

тод трудовых затрат, характеристика статуса погребенных на основе анализа внутримогильных конструкций и сопроводительного инвентаря, реконструкция родоплеменной структуры «пазырыкцев» по уздечным наборам из Первого Пазырыкского кургана). Работы М.П. Грязнова о пазырыкском населении и последующая его дискуссия с С.И. Руденко способствовали зарождению социально-археологических исследований в отечественной археологии. Второй этап был связан с эпохой «оттепели». Для советской науки в целом и для кочевниковедения он ознаменовался бурными дискуссиями. Особенно важное значение для исследований общественных систем номадов имели дискуссии о рабовладении и патриархально-феодалных отношениях у кочевников. Несмотря на то, что нередко учеными высказывались противоположные мнения, дискуссии между советскими кочевниковедами велись почти исключительно на основе марксистской методологии. Тем не менее как историками (Г.Е. Семенюк), так и археологами (М.П. Грязнов, С.И. Руденко) довольно аргументированно была оспорена точка зрения о существовании у древних кочевников развитых форм рабовладения и использовании рабов в процессе выпаса скота. Для оценки социально-политической организации номадов скифского и хунно-сяньбийского времени в истории Центральной Азии решающее значение имела выдвинутая еще в 1939 г. концепция «ранних кочевников» М.П. Грязнова. Ее детализация была осуществлена С.С. Черниковым. В кочевниковедческой археологии второй этап также связан с началом активного применения палеосоциологических методик к археологическим материалам Центральной Азии (типология сакских захоронений К.А. Акишевым, социальные оценки при публикации материалов пазырыкских, башадарских, ноин-улинских курганов С.И. Руденко, наблюдения С.В. Киселева, Л.А. Евтюховой, С.И. Ванштейна, В.П. Дьяконовой, А.Д. Грача и др. по социальной дифференциации кочевых обществ при исследовании археологических памятников на Алтае, в Туве, Хакасии, Монголии). Для исследований социального устройства средневековых кочевых объединений определяющей стала концепция патриархально-феодалных отношений. Она носила компромиссный характер, примеряя феодальную модель со специфическими чертами общественных систем номадов (сохранение родоплеменной организации, поставленное под сомнение существование у номадов право собственности на землю, отсутствие сложившихся классов и форм эксплуатации, особая роль военных структур в политогенезе и пр.). Как и в случае с ранними кочевниками, обозначилось еще одно исключение из формационного ряда. Все это свидетельствовало, что уже в 1960-е гг., несмотря на доминирование ортодоксальной теории, изучение письменных и археологических памятников центральноазиатских номадов древности и раннего средневековья ставило перед учеными целый ряд вопросов и проблем, которые не могли быть удовлетворительно решены на основе догматической формационной концепции. На советских исследователей стали оказывать влияние и зарубежные разработки социальной проблематики в рамках разных методологических направлений, результаты обсуждения ключевых вопросов истории на международных конференциях и форумах. В этой связи начало – середину 1960-х гг. можно рассматривать как третий этап, когда при господстве формационной традиции отдельными учеными велась внутренняя проработка ревизионистских идей. Данный этап с идейной и кадровой точки зрения по существу предшествовал третьему ревизионистскому периоду.

Третий период – последняя треть 1960-х – начало 1990-х гг.

В рамках третьего периода, который мы условно можем обозначить как «ревизионистский», также можно выделить несколько этапов. На первом этапе (последняя треть 1960-х – середина 1970-х гг.) произошло существенное переосмысление целым рядом отечественных специалистов основных проблем социо- и политогенеза номадов. Большое значение для них имели концепция дофеодалного общества, теории раннеклассовых социумов и раннего государства. Г.Е. Марков и А.М. Хазанов открыто выступили против существования у номадов феодалных отношений, высказали идею схожести общественно-политических систем кочевников древности, средневековья и Нового времени (Г.Е. Марков даже писал об особом способе производства), предложили инновационные подходы к типологии номадных объединений. Близкие идеи ранее высказывал Л.Н. Гумилев и С.Е. Тольбеков. Среди исследователей получило распространение мнение о господстве у номадов раннеклассовых отношений (А.М. Хазанов, А.И. Тереножкин, А.Д. Грач, В.М. Масон и др.). Данный подход был призван разрешить противоречия, возникшие в предыдущие десятилетия. Привлекательность раннеклассовой теории состояла в том, что для того времени она наилучшим способом выражала представления исследователей об особенностях кочевнического социогенеза, одновременно «вписываясь» в рамки общих теоретических представлений о переходных (от доклассовых к

классовым) обществ. Одновременно с этим сторонниками формационных взглядов не исключалась возможность эволюции кочевых объединений от раннеклассовых форм к феодальным.

Второй этап (последняя треть 1970-х – первая половина 1980-х гг.) характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, явно возобладали консервативно-охранительные тенденции, являвшиеся следствием общественно-политического развития СССР в период застоя. В отечественном кочевниковедении настала пора репродуцирования теории феодальных отношений у номадов и критики работ А.М. Хазанова и Г.Е. Маркова. С другой стороны, именно в эти годы на материалах кочевых обществ А.М. Хазановым была апробирована неозволюционистская концепция вождества; в духе структуралистских идей Н.Э. Масанов разработал теорию о сочетании биосоциальных, социальных и политических структур у номадов. Не лишена была перспектив предложенная С.А. Плетневой стадияльная типология кочевых обществ. И все же возможность инновационных разработок была ограничена. Не случайно, что А.М. Хазанов вынужден был опубликовать свою ключевую работу «Кочевники и внешний мир» за рубежом.

В области реконструкции археологами социально-политических структур центральноазиатских номадов первый и второй этапы характеризуются существенными достижениями отечественных ученых, разработкой и совершенствованием палеосоциальных методик, значительным числом ярких реконструкций. В первую очередь это касалось создания социально-типологических классификаций погребений, отражавших общественную иерархию в номадных объединениях (А.Д. Грач, А.Д. Давыдова, А.С. Суразаков, Ю.С. Худяков и др.). Теоретические вопросы социальных реконструкций в кочевниковедении затрагивали В.М. Массон, А.Д. Грач, В.Ф. Генинг. Как альтернативу раннеклассовой модели Э.А. Грантовский, Д.С. Раевский, И.В. Пьянков развивали идею сохранения у обществ скифского времени Евразии индо-иранских кастовых социальных традиций. Большой вклад в развитие интерпретивных возможностей археологии внесли раскопки и публикация материалов исыкского погребения (К.А. Акишев), кургана Аржан (М.П. Грязнов и М.Х. Маннай-Оол), богатых савроматских и сарматских погребений (К.Ф. Смирнов, М.К. Кадырбаев, М.Г. Мошкова), тагискенских и уйгаракских захоронений (М.А. Итина, О.А. Вишневская, Е.Е. Кузьмина) и т. д. Они послужили объектами, на которых проходили апробацию разные палеосоциологические методики (исчисление «трудовых затрат» на сооружение элитных курганов, планиграфический анализ, выявление социально значимых признаков и пр.).

Третий этап тесно связан с перестройкой (1985–1991 гг.), когда критика марксистского подхода и ревизионистские разработки отечественных исследователей постепенно заняли ведущее положение в исторической и археологической науках. В годы перестройки среди кочевниковедов получила свое дальнейшее развитие теория раннеклассовых обществ. На ее основе А.И. Мартынов выдвинул концепцию о раннеклассовом характере кочевых обществ скифской эпохи. Эти идеи были в целом поддержаны А.С. Суразаковым, Г.Н. Курочкиным, А.К. Акишевым и другими. Одновременно с этим довольно часто подчеркивались взаимосвязь и близость социально-политических систем хунну и средневековых кочевых обществ Центральной Азии. Империя Хунну и последующие номадные политии однозначно оценивались как государственные (Д.Г. Савинов, Л.Р. Кызласов, Ю.С. Худяков, А.И. Мартынов, С.Г. Кляшторный и др.). Противоположную точку зрения высказал С.С. Миняев, полагавший, что уровень политической интеграции хунну ограничивался союзом племен. Комплексный характер носил анализ С.Г. Кляшторным социально-политических структур раннесредневековых номадов Центральной Азии. Он удачно сочетал макро- и микроисторический уровень исследования. С.Г. Кляшторный первым среди кочевниковедов применил историко-антропологический подход при разработке понятия «муж-воин». Вывод ученого об открытом характере социальных систем номадов ставил под сомнение возможность бытования у кочевников классовых принципов общественной иерархии. Ревизионистские идеи нашли также отражение во взглядах на кочевые общества Н.Э. Масанова, К.П. Калиновской, Б.В. Андрианова и др. Венцом ревизии формационного подхода стала возрожденная Г.Е. Марковым идея особого номадного способа производства.

Все большую роль в исследовании общественной организации и политического ранжирования у кочевников играла социальная археология. Так, изучение значительного числа захоронений рядового кочевого населения Евразии привело отечественных ученых к однозначному выводу о том, что в основе социальной дифференциации номадов лежали не кастовые, ранговые и классовые принципы, а половозрастное деление. Весьма наглядно на материалах рядовых пазырыкских погребений это показал В.Д. Кубарев. В то же время применение методов социальной планиграфии

(С.С. Миняев, П.И. Шульга), трудовых затрат (А.И. Мартынов), этнографических параллелей (Д.Г. Савинов), изучение наборных поясов как социального индикатора (В.Н. Добжанский) показывали, что наряду с половозрастной дифференциацией имели значение положение в клане, выполнение определенных профессиональных функций, политический статус погребенного. Не случайно внимание исследователей также стали привлекать темы служителей культа, дружинно-военной среды, семейных структур в кочевых обществах Центральной Азии (Г.Н. Курочкин, Н.Ю. Кузьмин, В.А. Кочев, Э.А. Новгородова, Л.Т. Яблонский и др.).

Завершение третьего этапа знаменовалось обращением кочевниковедов к немарксистским теориям исторического процесса. Особенно стоит отметить идею возникновения в скифское время степной цивилизации Евразии с несколькими раннегосударственными очагами (А.И. Мартынова), оценку Н.Н. Крадиным кочевых империй как суперсложных вождеств, мнение о решающей роли в усложнении социально-политических систем кочевников не столько внутренних процессов, сколько взаимоотношений кочевников с земледельцами (В.М. Массон, А.К. Акишев, Н.Н. Крадин) и т.д. Работы А.И. Мартынова, Г.Е. Маркова, Н.Н. Крадина и других ученых обозначали круг перспективных проблем в области изучения социальных и управленческих институтов кочевников и возможность их решения на основе разных методологических подходов. Это во многом подготавливало теоретико-методологическую революцию в отечественном кочевниковедении. Распад СССР фактически знаменовал окончательный крах формационного подхода как единственно верной основы изучения исторического прошлого и тем самым дал начало современным постсоветским исследованиям общественно-политической истории кочевников.

Четвертый период охватывает постсоветское время (1990-е – 2009 гг.) и пока не может быть уверенно разделен на отдельные этапы. Скорее можно говорить об определенных тенденциях. Одна из них – постепенный отход от критики и ревизии ортодоксальной марксистской концепции и переход к изучению социально-политической организации кочевников на основе других методологических стратегий. Особую популярность среди исследователей истории кочевников получили неэволюционистская теория политогенеза, цивилизационная концепция, историко-антропологический подход, мир-системный и кросс-культурный анализ. Среди разработок зарубежных кочевниковедов отечественных специалистов выделялись характеристика Т. Барфилда циклов взаимодействия кочевников с Китаем, без ресурсов которого, по мнению американского антрополога, у кочевников было невозможно усложнение политических структур; идея Дж. Абу-Луход о возникновении первой евразийской мир-системы в результате монгольских завоеваний; концепция Н. Ди Космо о трех периодах, в рамках которых существовали даннические, торгово-даннические и дуально-административные кочевые империи и др. Неэволюционистский термин «вождество» стал рассматриваться как основа для характеристики крупных кочевых политий (Н.Н. Крадин, В.В. Трепавлов, Т.Д. Скрынникова, С.А. Васютин, П.К. Дашковский, А.А. Тишкин и др.). На этой методологической основе Н.Н. Крадиным была разработана типология кочевых империй. Свой подход к пониманию империи у кочевников высказали Г.Г. Пиков, С.Г. Кляшторный и Д.Г. Савинов. Цивилизационный взгляд на кочевников представлен в работах А.И. Мартынова, А.М. Буровского, Г.Г. Пикова, Ю.С. Худякова, С.А. Комиссарова и других ученых. Были также апробированы мир-системный, кросс-культурный и историко-антропологический подход к анализу социально-политических институтов кочевников Центральной Азии (Н.Н. Крадин, С.А. Васютин). Сохранили свое значение и стадийные теории, в частности, российские авторы продолжают пользоваться понятием «ранние кочевники», которое связывается с догосударственными кочевыми сообществами скифской эпохи. Переход к государственности, согласно точке зрения целого ряда исследователей, произошел в период формирования империи Хунну (Д.Г. Савинов, Е.И. Кычанов, Ю.С. Худяков и др.). В обобщающих работах по истории древних и раннесредневековых кочевников Центральной Азии отечественные ученые (С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов, Н.Н. Крадин, Ю.С. Худяков, Е.И. Кычанов, Б.Д. Кочнев, В.Е. Войтов, И.Л. Кызласов, Г.Г. Пиков и др.) по-разному характеризовали социально-политические институты кочевников Центральной Азии. Ключевым вопросом – преодолели ли кочевники порог государственности или их уровень сложности ограничивался сложными и суперсложными вождествами? Несмотря на обилие высказанных точек зрения, дискуссия о государственности у кочевников показывает необходимость дальнейшего изучения властных структур в кочевых обществах.

В постсоветский период произошла окончательная институализация «социальной археологии». Советский опыт палеосоциологических исследований и дальнейшее совершенствование соци-

ально-археологических методик позволили перейти к комплексным методикам изучения общественных структур номадов по данным археологии. По существу можно сказать, что в 1990-е – начале 2000-х гг. именно археология играет решающую роль в решении вопросов социальной характеристики центральноазиатских кочевников древности и раннего средневековья. Основание для такого вывода дают результаты многочисленных палеосоциальных исследований, осуществленных в последние годы. В частности, заслуживают особого внимания выводы ученых Алтайского госуниверситета, которые разработали комплексную методику реконструкции общественных структур по данным археологии и апробировали ее на материалах пазырыкской, булан-кобинской, сrostкинской культур, а также на памятниках тюркского времени Горного Алтая (П.К. Дашковский, А.А. Тишкин, А.В. Кондрашов, С.С. Матренин, Н.Н. Серегин). Оригинальная концепция ранжирования пазырыкских курганов и существующих социально-родственных связей в пазырыкском обществе была обоснована Л.С. Марсадаловым. С использованием статистического и факторного анализа было проведено палеосоциологическое исследование хуннских памятников Забайкалья (Н.Н. Крадин, С.В. Данилов, П.Б. Коновалов). Следует также отметить результаты социального анализа материалов древних и средневековых погребений номадов на плато Укок (В.И. Молодин, Н.В. Полосьмак, А.В. Новиков, Д.Г. Савинов и др.), памятников раннескифского времени и пазырыкской культуры на Горном Алтае и в Туве (Ю.Ф. Кирюшин, Д.Г. Савинов, П.И. Шульга, Д.Е. Ануфриев, В.А. Кочеев, В.С. Миронов, В.И. Соенова и др.), погребальных комплексов хунно-сяньбийского и предтюркского периодов (Ю.Т. Мамадаков, Ю.С. Худяков, В.В. Бобров, А.С. Васютин, С.А. Васютин, С.С. Матренин, В.В. Горбунов и др.), тюркских захоронений, изваяний и наскальных рисунков на Алтае и в Монголии (В.Д. Кубарев, Г.В. Кубарев, Д.В. Черемисин и др.) и т. д. Расширили наши представления о носителях власти в кочевых обществах раскопки элитных курганов скифского и хуннского времени в Центральной Азии (Н.В. Полосьмак, Е.С. Богданов, К.В. Чугунов, С.С. Миняев, Л.М. Сахаровская и др.). Социальные реконструкции на основе изучения отдельных групп инвентаря, погребальных комплексов и некрополей представлены в работах Н.Н. Николаева, Д.Г. Савинова, Н.В. Полосьмак, В.И. Молодина, И.В. Филипповой, П.И. Шульги, А.П. Уманского, А.Б. Шамшина, С.А. Яценко, П.К. Дашковского, Т.Г. Горбуновой, С.В. Трифионовой, Ю.В. Тетерина, Л.Т. Яблонского и других авторов. Важное значение для исследования общественной структуры и политической иерархии у центральноазиатских кочевников имеет обсуждение в археологической и кочевниковедческой литературе проблем характеристики кочевых элит (А.А. Тишкин, Д.Г. Савинов, П.К. Дашковский, Н.Н. Крадин, С.А. Васютин и др.), функций и статуса служителей культа в скотоводческих обществах (Г.Н. Курочкин, Н.А. Боковенко, А.Д. Мачинский, Тиваненко А.В., Н.П. Полосьмак, П.К. Дашковский, А.А. Кильдюшева, Д.В. Черемисин, П.И. Шульга и др.), этнополитических процессов в кочевых империях (Д.Г. Савинов, В.А. Могильников, С.Г. Кляшторный), генезиса кочевых империй и их дальнейшей эволюции (Н.Н. Крадин, Т.Д. Скрынникова, В.В. Трепавлов, С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов, С.А. Васютин, К.В. Юматов), роль городов в становлении имперских структур у номадов (С.В. Данилов, В.Н. Ткачев), архаичных кланово-племенных установок в управленческой практике лидеров кочевых империй (Н.Н. Крадин, С.А. Васютин) и т. д. В целом последний этап в развитии исторических и археологических исследований социально-политической организации номадов Центральной Азии эпохи поздней древности и средневековья демонстрирует перспективность дальнейшего изучения в нашей стране общественных и управленческих систем кочевников.

Говоря о ведущих тенденциях, определивших развитие исследований проблем социально-политического устройства кочевников Центральной Азии в 1920-е – начале 2000-х гг., отметим несколько из них:

1. Общественно-политические организации центральноазиатских номадов были проанализированы сквозь призму установок эволюционизма, марксизма (формационная теория), ревизионизма (неомарксизм), неоэволюционизма, цивилизационного подхода, исторической антропологии, концепции традиционных обществ, мир-системного и кросс-культурного анализа, теории многолинейной (либо нелинейной) эволюции и т.д. Каждый методологический подход позволил отечественным ученым раскрыть и охарактеризовать разные стороны социального устройства и властных органов древних и средневековых номадов. Можно с уверенностью утверждать, что каждая концепция, без исключения, дала позитивные результаты и важные наблюдения для изучения рассматриваемых в данной монографии вопросов. В итоге наука получила крайне многообразную картину общественно-политической жизни кочевников. В настоящее время о методологическом синтезе мы можем го-

ворить не только как о перспективной стратегии в кочевниковедении, но и видеть конкретные плоды подобных исследований. Более того, каждое кочевое общество может быть последовательно «просканировано» с разных концептуальных позиций, что позволит приблизиться к более объективной оценке общественной системы и управленческих институтов данного объединения. По существу перед современными номутологами открывается довольно широкий спектр направлений реконструкции общественно-политических процессов у номутов Центральной Азии и моделирования разных типов социальных организаций и политий, существовавших в степной Евразии в древности, средневековье и последующие периоды.

2. За более чем столетний период изучения номутов Центральной Азии отечественные исследователи, работавшие в разные периоды и представлявшие разные методологические школы, так или иначе высказывали концептуально важную мысль о том, что у кочевников фиксируется тесная связь между природно-климатическими условиями степей, спецификой кочевой экономики, с одной стороны, и процессами социально-политического развития – с другой. Согласно господствующей точке зрения ограниченные возможности кочевой хозяйства подталкивали номутов к внешней экспансии для получения ресурсов соседних скотоводов и земледельцев, что и создавало основной импульс для политической интеграции и возникновения сложной кланово-племенной и социальной иерархии.

3. В исследовании социально-политических структур у номутов на протяжении XX – начала XXI в. наблюдалось тесное взаимодействие истории и археологии. Историками и археологами решались схожие задачи, нередко они исходили из одних и тех же концепций, использовали единый понятийный аппарат. Определенно можно сказать, что в отношении центральноазиатских кочевников древности и средневековья в решении преимущественно исторических задач (характеристика социальной организации и властных институтов) данные археологии играют важнейшую, порой решающую роль.

4. Формирование в рамках отечественной археологии специальных палеосоциологических (палеосоциальных) методов исследования и существенное расширение методических приемов исследования общественно-политического устройства кочевых обществ по археологическим данным. Главным итогом в развитии этого направления следует считать обоснованность археологического моделирования общественных организаций номутов. Нельзя также не отметить комбинирование кочевниковедами разных палеосоциологических методик. Все это дает основание сказать, что изучение отечественными учеными археологическими средствами социальной дифференциации кочевых обществ сыграло одну из ключевых ролей в генезисе и оформлении «социальной археологии».

5. Важное значение должно быть отведено трудам выдающихся отечественных ученых, чьи изыскания определяли развитие исследований общественно-политических систем номутов на десятилетия вперед. В каждом поколении кочевниковедов выделялась плеяда талантливых исследователей (В.В. Радлов, В.В. Бартольд, С.И. Руденко, М.П. Грязнов, Л.Н. Гумилев, Г.Е. Марков, А.М. Хазанов, А.Д. Грач, С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов, Н.Э. Масанов, С.С. Миняев, Н.Н. Крадин и др.), в работах которых высказывались и обосновывались оригинальные концепции социо- и политогенеза кочевников, предлагались авторские интерпретации исторических и археологических материалов, апробировались различные методики социальных реконструкций. Во многом благодаря их разработкам в отечественном кочевниковедении на протяжении как советского, так и постсоветского периодов прослеживается значительная динамика изменений методов и подходов к решению проблем общественно-политической истории кочевников.

Подводя итоги изучению отечественными исследователями социально-политических систем кочевников Центральной Азии древности и раннего средневековья, следует отметить и ряд дискуссионных вопросов, стоявших в центре внимания многих кочевниковедов, из которых сформировались более или менее близкие позиции. Например, можно считать доминирующей точку зрения о доклассовом характере большинства социальных систем номутов скифского, хунно-сянбийского и раннесредневекового периодов. Одним из вариантов данного подхода можно считать мнение о том, что, несмотря на сложный характер общественных структур кочевников древности и раннего средневековья, сословно-классовые принципы социальной дифференциации у них не оформились или во всяком случае не были определяющими. Наряду с этим кочевниковедами активно обсуждаются проблемы изучения кочевых элит и служителей культов у номутов. В данной монографии П.К. Дашковскому удалось показать, что служители культа как особая общественная группа стали оформляться еще в пазырыкском сообществе. Священнослужители входили в состав элиты, а в не-

которых смыслах олицетворяли ее. Сходную роль служители культа выполняли и в хуннском, сяньбийском, жужанском, тюркском, уйгурском обществах. Отдельно исследователь выделил Кыргызский каганат, на примере которого он показал сосуществование разных религиозных традиций (шаманизм, манихейство, несторианство) и наличие лиц, исполнявших религиозные обряды в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной общине.

Другой весьма дискуссионный вопрос – существование государства у кочевников – не имеет однозначного решения. С одной стороны, популярна оценка даже наиболее масштабных объединений кочевников в виде кочевых империй как суперсложных вожеств и ксенократических квазигосударств; с другой – широко распространена среди отечественных ученых позиция, согласно которой у центральноазиатских номадов, начиная с Хунну, существовала единая линия развития государственности. Ее венцом считается Монгольская имперская система. С целью решения обозначенной дискуссионной проблемы в последней главе данной книги С.А. Васютиным предложена типология властных систем у номадов Центральной Азии, ряд моделей которой был близок к государственному статусу или может быть интерпретирован как государственные. Наряду с этим выделяется много и догосударственных форм организации власти. В данном случае авторы монографии считают необходимым подчеркнуть, что исследователям не стоит «загонять» себя в узкие рамки категоричных ответов «да» или «нет», а исходить из многообразия форм социально-политического развития кочевников.

Палеосоциальные реконструкции значительно расширили наши представления о конкретных номадных объединениях и локальных сообществах номадов. Наиболее изученными по письменным и археологическим источникам являются вопросы половозрастной структуры, имущественной и социальной дифференциации, состава семьи (семейно-клановая принадлежность отдельных могильников), роли военной организации в социогенезе кочевых обществ. Дискуссионными остаются такие аспекты, как определение социально-типологических групп, выявляемых в ходе классификации погребений на основе «социально значимых» признаков, оценка конкретных погребений как «рабских», «жреческих», «дружинных» и т. д., значение данничества и этносоциальной иерархии у кочевников, характер власти людей, погребенных в «царских» и «аристократических» курганах, степень распространения в тех или иных номадных сообществах обряда «соумирания» как свидетельства существования различных категорий зависимого населения. В недостаточной мере уделялось внимание исследованию поселенческих памятников как источников информации социального плана и как индикаторов уровня политического развития, выявлению территориального расположения родоплеменных групп и сравнению их социального статуса по размерам могильников, локальным особенностям памятников. В последние десятилетия обозначилась также необходимость разработки и унификации социальной терминологии, адекватно отражавшей особенности общественно-политических систем номадов.

Исследователями неоднократно подчеркивалось, что раскопки «царских» и элитных курганов играют особую роль в изучении социальной структуры кочевников и властных полномочий их вождей. Почти каждый элитный курган (Аржан, Ак-Алаха-I, Ак-Алаха-III, Аржан-2, курган №7 могильника Царам, курган №20 могильника Суцзуктэ и др.) дает археологам возможность зафиксировать новые социально значимые признаки, отработать новые технологии социальных реконструкций, уточнить интерпретацию раскопанных ранее «царских» погребений. На сегодняшний день далеко не исчерпаны возможности планиграфического и сравнительного анализа могильников. В планиграфии некрополей ранних кочевников, как правило, наблюдается несколько типовых структур. Наиболее распространены небольшие по количеству курганов (до 25–30) могильники, носящие семейно-клановый характер. Вряд ли в их составе могли погребаться люди, принадлежавшие к привилегированным слоям. Элиту (племенные и надплеменные вожди) хоронили в некрополях двух типов. Первый – отдельно расположенная цепочка курганов (чаще всего от 2 до 5 курганов). Второй – большие курганные поля, где «царские» курганы окружены курганами родственников, аристократии, дружинников, слуг, многочисленными и разнообразными поминальными сооружениями (сакский могильник в долине р. Или, могильники Берель, Башадар и др.). Сосредоточение отдельных групп больших курганов в одном районе (например, в Уюкской долине) говорит о стабильности социальной системы и преемственности власти. Однако до сих пор не произведено монографическое исследование таких курганных полей, что позволило бы существенно уточнить наши представления о социальной роли представителей окружения кочевых вождей, возможно, выявить подлинно «дру-

жинные» погребения (дружинники чаще всего были мало связаны со своими семейно-клановыми коллективами и могли хорониться рядом с курганами вождей).

В инвентаре элитных погребений находит отражение сакральный облик власти, а обилие импортных вещей (военная добыча, дань, плата за службу и т.п.) указывает на международный авторитет кочевых вождей, политические и династические связи с крупными земледельческими политиями, на значимость войны и военной субкультуры как важнейшего инструмента структурирования социально-политических отношений внутри номадного социума. В отношении погребений привилегированных групп населения в ритуале и в составе инвентаря можно условно выделить «комплексы власти», соответствующие определенным общественным рангам. Свидетельством «царского» (надплеменной лидер) «комплекса власти» являлись нехарактерные для данной культуры специфические особенности внутримогильных сооружений (длинные дромосы, двойные срубы, шатровые конструкции и т.д.), наличие нескольких сопроводительных погребений «ферапонтов» и «слуг», многочисленные конские захоронения, присутствие в могиле инвентарных атрибутов «власти» – жезлов, золотых и серебряных гривен, «золотых» одежд и головных уборов, многочисленные «тризны», характер и число расположенных рядом с насыпью объектов – погребений, оградок, выкладок и т.д. «Царские» погребения, как правило, не вписываются в выявляемую по целому ряду археологических признаков систему половозрастных и общественных страт.

Разработанные в рамках «социальной археологии» комплексные палеосоциологические методики позволяют зафиксировать социальные «маркеры» сразу по нескольким параметрам (погребальные конструкции, состав инвентаря, выявленные взаимосвязи между совокупностями инвентарных комплексов и определенными половозрастными группами и т.д.) и тем самым дают более объективную информацию для реконструкции социальной структуры изучаемых обществ. Выделим несколько наиболее перспективных стратегий палеосоциологических исследований:

Первая из них представлена в современных изысканиях разработками барнаульских ученых – это выявление социально-типологических моделей захоронений в рамках той или иной археологической культуры. В основе данной методики – анализ всего массива изученных погребений с обязательными антропологическими определениями погребенных. Такой массив дифференцируется по гендерным и возрастным группам (половозрастное ранжирование создает «кристаллическую» основу всей социальной системы) с параллельной фиксацией с помощью статистической обработки характерных для каждой группы социально значимых признаков (инвентарь, сложность погребальных конструкций и пр.). Это дает возможность выявить в составе разных половозрастных групп захоронения лиц, особенности погребального обряда которых могут свидетельствовать о принадлежности погребенных к особым общественным и профессиональным стратам, связанным с производственными, судебными-правовыми, сакрально-культурными, военными, управленческими и иными практиками. Таким образом, возникает возможность реконструировать социальную пирамиду с учетом как физико-генетических, так и социально-политических позиций погребенных. С учетом внутренней периодизации развития культуры выявление социально-типологических моделей погребений по каждому этапу позволит проследить динамику социальных изменений в рассматриваемой этнокультурной общности. Ключевое значение в рамках данной стратегии имеют критерии выделения социальных моделей. Если ученые 1970–1980-х гг. выделяли в составе кочевых культур 4–7 социальных моделей погребений (А.Д. Грач, А.С. Суразаков, А.И. Мартынов, В.Ф. Геннинг и др.), то современные исследователи фиксируют порой девять (Л.С. Марсадоллов), 21 (П.К. Дашковский) и даже большее количество моделей (до 27, по А.В. Кондрашову). В связи с этим остается открытым вопрос, какие реалии социальной дифференциации данные модели отражают и какой социальный слой скрывается за каждой моделью? Исследование этих проблем и более точные определения социальных позиций тех или иных групп населения позволят проводить сопоставительную характеристику кочевых обществ, выявлять специфику каждого общества, уточнить наши представления о социальной организации номадов в целом.

Вторая стратегия предполагает поэтапное исследование как отдельных некрополей, так и всей совокупности памятников определенной культурной целостности. На первом этапе осуществляется исследование половозрастной и социальной структуры на материалах конкретных, наиболее показательных для рассматриваемой культуры могильников. Это дает более точный срез общественной стратификации, а с учетом, как правило, узкой хронологии отдельных памятников позволяет выявить вероятностную структуру семейно-клановых коллективов, более точно зафиксировать половозрастные группы в локальных сообществах. Включенность в семейно-клановую структуру была

важным социальным фактором для кочевого населения. Фиксация захоронения в составе цепочек и микрогрупп древних и средневековых могильников есть прямое свидетельство обладания определенными правами погребенного на уровне семейно-кланового коллектива. Но сами эти семейно-клановые группы могут иметь зависимый статус в сложной этносоциальной иерархии кочевых обществ. Кроме того, работа с материалами отдельных могильников дает возможность использовать метод планиграфического анализа, с помощью которого можно выявить социальную специфику центральных, периферийных, групповых и других захоронений, определить характер социальных связей в каждом локальном объединении номадов (родственные, профессиональные) и особенности положения погребений лиц, относящихся к разным гендерным и возрастным группам на площади могильника. На основе полученных в ходе анализа отдельных могильников сведений и их сопоставления между собой на втором этапе вырабатываются критерии для определенных «социальных групп» (моделей). Эти критерии должны учитывать состав инвентаря (в том числе наличие социально значимых вещей – оружие, наборные пояса, украшения, атрибуты «власти», «жреческие принадлежности» и др.), наличие сопроводительных погребений людей («ферапонтов» и «рабов»), «тризн», поминальных комплексов, число сопровождающих конских захоронений, сложность надмогильных и внутримогильных сооружений, место погребения на площади кургана и могильника, т.е. максимально возможные данные. Параллельно возможно осуществить процедуру, благодаря которой в базу данных будут включены и ограбленные погребения (или их часть). На третьем этапе выявляются основные «социальные модели» для взрослого населения с учетом возрастных групп (массив данных должен быть распределен по хронологическим периодам) и разрабатывается «генеральная типология». На четвертом этапе проводится сравнение «генеральной типологии» с материалами отдельных могильников с целью выявления особенностей этих локальных социумов в общей социальной структуре («рядовой», «дружинный», «аристократический», «жреческий», «царский»). Последующие этапы предполагают выборочную проверку отдельных социальных моделей, дополнение в генеральную типологию детских погребений и ряд других процедур. Данная «исследовательская стратегия» была во многом реализована при анализе погребальных памятников Забайкалья хуннского времени (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004).

Третье направление связано с изучением особенностей общественного положения и внутренней дифференциации отдельных социальных групп. Подобный палеосоциологический анализ может охватывать рядовые погребения, захоронения дружинников, служителей культа, представителей отдельных половозрастных групп, памятники кочевой элиты и т.д. В рамках каждой группы захоронений выделяются социодиагностирующие признаки в сопроводительном инвентаре (престижные вещи, знаки отличия, предметы, связанные с деятельностью погребенного и т.п.), погребальных конструкциях, планиграфии погребений и т.д. На следующем этапе развития такой стратегии возможна корреляция археологических данных и письменных источников. При этом следует учитывать специфику памятников письменности, поскольку во многих случаях они отражают представления иноплеменников о кочевых народах. Такие воззрения о социально-политической организации номадов часто формировались по аналогии с устройством земледельческих обществ. В этой связи особую ценность приобретают письменные источники, созданные непосредственно номадами в своей среде (руническая письменность), хотя и в них социокультурная информация представлена в ограниченном объеме.

Указанные стратегии изучения и реконструкции социальной структуры по данным археологии не исключают и другие методы анализа общественной стратификации (тем более, что подбор методики должен исходить из характера археологических материалов), но представляются нам наиболее апробированными и уже давшими положительные результаты.

В завершение еще раз подчеркнем, что отечественными учеными качественно проработаны письменные источники о скотоводах Центральной Азии, изучены многочисленные археологические памятники кочевников данного региона, апробированы разные методологические подходы, методики социальных реконструкций и палеосоциологического анализа, накоплен большой опыт в решении вопросов общественно-политического устройства центральноазиатских номадов древности и раннего средневековья. Современные изыскания в этой области показывают перспективность дальнейшей разработки проблем социально-политического развития кочевников.

Summary

S.A.Vasyutin, P.K.Dashkovskii

Social and political organization of nomads of Central Asia in Late Antiquity and Early Middle Ages (historiography of our country and modern researches)

Historiography of our country and modern researches of social and political organization of nomads of Central Asia in Late Antiquity and Early Middle Ages are considered in the monograph. The first part of the book is devoted to common conditions of nomads' historiography development in the XX century and influence of different conceptions of social and political evolution upon the study of nomads' social systems and political institutions by soviet and Russian scientists. Special attention is paid to forming of Stalin model of formation theory and its employment in the researches of soviet specialists in the sphere of nomads' study in second half of 1930 – middle of 1960 years. Changes happened in the end of 1960 – beginning of 1990 in soviet study of nomads and it was connected with common liberalization of political and scientific sphere, with the possibility of discussions and acquaintances of foreign scientists' elaborations, with the appearance of the whole generation of talented researches (G.E. Markov, A.M. Khazanov, N.E. Masanov, etc.), with revisionist tendencies in soviet science. Modern theoretical and methodological approaches and basic tendencies of study of nomads' social and power structures in post soviet period were analyzed in the frames of the given part.

The second part embraces the history of study of social and political systems of Central Asia nomads in Scythian and Saks, Khunnu and Syanbi, early medieval periods. The last part contains researches of the role of ministers of religion and power sacralization in Central Asia nomads' societies, comparison of nomads' political regimes and political difficulty level of different nomads' associations in the Early Middle Ages on the basis of multiple-line evolution, historical and anthropological elaborations, world-systematic and cross-cultural analysis.

Authors of the book offer new periodization of our country researches of Central Asia nomads' social and political structures in Antiquity and the Early Middle Ages. It includes 4 periods:

- 1) **Evolutionist** (1920 – beginning of 1930) in the frames of which social organization of Central Asia nomads was characterized as a pre-class, the leading role in the research of social and political system of Central Asia nomads problem belonged to scientists of pre-revolutionary school. Repressions against scientists developed at the term of 1920 – 1930 years, generation change happened among nomad ethnographers, confirmation of Marxist approach started in humanitarian sciences;
- 2) **Marxist** (second third of 1930 – middle of 1960) when Stalin version of Marxist theory of historical process (“pyatichlenki”) prevailed. Since 1933 – 1934 formation theory, as a unique right explanation of world history, was widely introduced into researches of social relations and political organization of Central Asia nomads (S.P.Tolstov, S.V.Kiselev, B.Y. Vladimirtsov, A.N. Bernshtam, N.N. Kozmin, etc.). “Thaw” (“Ottepel”) was characterized by enthusiastic discussions among nomad ethnographers (for instance, discussions about slaveholding and nomads' patriarchal-feudal relations) that were held on the basis of Marxist methodology. Research and approbation of different paleo-sociological methods was held in archaeological investigations (M.P.Gryaznov, K.A. Akishev, S.I. Rudenko, S.V. Kiselev, L.A. Evtyukhova, A.D. Grach, etc.);
- 3) **Revisionist** (last third of 1960 – beginning of 1990). Re-comprehension of basic problems of nomads' socio- and politogenesis took place among many specialists of our country in this period of time. Idea of early class relations' supremacy among cattle-breeders developed among researches (A.M. Khazanov, A.D. Grach, V.M. Mason, etc). G.E. Markov and A.M. Khazanov stood up against the existence of nomads' feudal relations; they expressed the idea of similarity of social and political systems of nomads of Antiquity, the Middle Ages and New times. A.M. Khazanov approved neoevolutionist conception of “chiefdom” on the materials about nomads' societies. N.E. Masanov investigated theory of combination of biosocial, social and political structures at nomads. In the years of “Restructuring” (“Perestroika”) (1985 – 1991) criticism of Marxist approach and revisionist investigations of our country researches step by step took a leading role (A.I. Martynov, N.N. Kradin, S.G. Klyashtorny, etc.). A valuable contribution to the study of social and political system of Central Asia nomads in Antiquity and the Middle Ages on the basis of written and archaeological sources made M.P. Gryaznov, A.D. Grach, M.A. Itina, O.A. Vishnevskaya,

A.K. Akishev, A.D. Davydova, A.I. Martynov, A.S. Surazakov, S.S. Minyaev, V.F. Gening, M.K. Kadyrbaev, D.G. Savinov, V.D. Kubarev, Y.S. Khudyakov, etc.;

- 4) **Post Soviet** (after 1991) period is connected with transfer to the study of social and political organization of nomads on the basis of different methodological approaches (neoevolutionist theory of politogenesis, civilization conception, historical – anthropological approach, world-system and cross-cultural analysis). Neoevolutionist term “chiefdom” was regarded as basis for big nomadic polities characteristic (N.N. Kradin, V.V. Trpavlov, T.D. Skrynnikov, S.A. Vasyutin, P.K. Dashkovskii, A.A. Tishkin, etc.). N.N. Kradin developed typology of nomads’ empires on this methodological basis. Their own approach to the understanding of nomad’s empire showed G.G. Pikov, S.G. Klyashtorny and D.G. Savinov. Civilization look at nomads is represented in works of A.I. Martynov, A.M. Burovskii, G.G. Pikov, Y.S. Khudyakov, S.A. Komissarov, etc. There was also approved world-system, cross-cultural and historical-anthropological approach to the analysis of social and political institutions of Central Asia nomads (N.N. Kradin, S.A. Vasyutin). Stage theories remained their significance, Russian authors continue using the term “early nomads” that is connected with pre-state nomadic associations of Scythian epoch. According to the view of a wide range of researchers, transfer to political system took place in the period of Khunnu empire formation (D.G. Savinov, E.I. Kychanov, Y.S. Khudyakov, etc.). The period is also characterized by valuable number of generalizing works on the history of ancient and early medieval nomads of Central Asia (S.G. Klyashtorny, D.G. Savinov, N.N. Kradin, Y.S. Khudyakov, E.I. Kychanov, B.D. Kochnev, V.E. Voitov, I.L. Kyzlasov, G.G. Pikov, etc.), by final institutionalization of social archaeology (V.M. Mason, V.V. Bobrov, D.G. Savinov) and by different paleo-social researches (D.G. Savinov, N.V. Polosmak, V.I. Molodin, L.S. Marsadolov, N.N. Kradin, S.V. Danilov, P.B. Konovalov, S.A. Vasyutin, P.K. Dashkovskii, A.A. Tishkin, P.I. Shulga, S.S. Matrenin, etc.).

Among the leading tendencies that determined development of the researches of problems of social and political system of Central Asia nomads in 1920 – beginning of 2000 there can be marked: 1) analysis of social and political organization of Central Asia nomads through the prism of orientations of evolutionism, Marxism (formation theory), revisionism (neomarxism), neoevolutionism, civilization approach, historical anthropology, conception of traditional societies, world-system and cross-cultural analysis, theory of multiple-line (or nonlinear) evolution, etc. Each of methodological approaches gave an opportunity to our country scientists to open and characterize different sides of social system and power system of ancient and medieval nomads; 2) domination of the view about limited possibilities of nomads’ economy that led nomads to foreign expansion to get sources of neighbor cattle-breeders and farmers, it made the basic impulse for political integration and appearance of difficult clan-tribal and social hierarchy; 3) close interaction of history and archaeology; 4) forming of special paleosociological (paleosocial) research methods and widening of methodical research ways of social and political system of nomads societies according to archaeological data. The main result in the development of the given direction is modeling of nomads social organization; 5) progress of our country nomad ethnography in the sphere of study of social and political nomads’ system was mostly provided by works of outstanding scientists (V.V. Radlov, V.V. Bartold, S.I. Rudenko, M.P. Gryazniv, L.N. Gumilev, G.E. Markov, A.M. Khazanov, A.D. Grach, S.G. Klyashtorny, D.G. Savinov, N.E. Masanov, S.S. Minyaev, N.N. Kradin, etc.).

According to the authors of the book, more or less close positions formed in Russian science on some debatable questions of social and political development of Central Asia nomads. For instance, the dominating could be the view that estate-class principles of social differentiation were not formed among them or, at least, were not dominating despite the difficult character of nomads’ social structures in Antiquity and the Late Middle Ages. Nomad ethnographers actively discuss the problems of study of nomadic elites and ministers of religion at nomads. The principle is substantiated in the given book, that minister of religion as a special social group started its formation in Pazyryk time. Representatives of the category were members of the elite and in some meaning personified it. Similar roles ministers of religion played in Khunnu, Syanbi, Zhuzhan, Turk and Uigur societies. Special attention is given to Kyrgyz kaganat and on its example we can see peculiarities of religious politics in the state, missionary activities (Manichaeism, Buddhism, Nestorianism) and persons who fulfilled religious rites in accordance with membership of one or another religious community.

Existence of nomads’ state is question under discussion. On the one hand, popular is valuing of the biggest nomads’ communities in form of nomadic empires as super difficult chiefdoms and xenocratic quazi-publics (N.N. Kradin, T.D. Skrynnikov, etc.). On the other hand, there is a widely spread position that

nomadic political system exists since Khunnu empire. Typology of power systems at Central Asia nomads (acephalist, segment, difficult “secondary” chiefdoms, nomadic empires, states) is marked in the last chapter of the book to solve the problem under discussion. Model range of the typology was close to state status and many pre-state forms of power organization. The authors of the monograph consider it necessary to mark that researchers should not “drive” themselves into close frames of categorical answers of “yes” or “no”, but they should use many forms of social and political development of nomads.

Modern development of “social archaeology” gives an opportunity to speak of an important role of complex paleosociological methods in the study of social and political nomads’ structures. The most worthwhile strategies of such researches are given in the monograph: 1) revealing of social-typological models of burials in the frames of one or another archaeological cultures on the basis of the analysis of all the studied burials with necessary anthropological definitions of the buried; 2) staged research of separate necropolises and total combination of sites of definite cultural integration; 3) study of peculiarities of social situation and inner differentiation of separate social groups (ordinary nomads, volunteers, ministers of religion, nomadic elite, etc.).

Development of historical and archaeological researches of social and political organization of Central Asia nomads in Antiquity and the Middle Ages in modern Russia demonstrates perspectiveness of further study of social and administrative systems of nomads.

Библиографический список

- Абетеков А.К. Новые памятники саков-тиграхауда во внутреннем Тянь-Шане // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всес. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. II. С. 9–11.
- Абрамзон С.М. Некоторые вопросы социального строя кочевых обществ // СЭ. 1970. № 6. С. 61–73.
- Абрамзон С.М. Киргизы и их этнические и историко-культурные связи. М., 1971. 404 с.
- Абрамова М.П. Сарматские погребения Дона и Украины II в. до н.э. – I в. н.э. // СА. 1961. № 1. С. 91–110.
- Абрамова М.П., Красильников К.И., Пятых Г.Г. Курганы Нижнего Сулака: могильник Львовский Первый-4. М., 2001. 152 с. (Материалы и исследования по археологии, № 4).
- Абрамова М.П., Красильников К.И., Пятых Г.Г. Курганы Нижнего Сулака: могильник Львовский Шестой. М., 2004. 144 с. (Материалы и исследования по археологии, № 5).
- Абу-Луход Дж. Переструктурируя миросистему, предшествующую Новому времени // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 449–461.
- Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М., 1980. 335 с.
- Агаджанов С.Г. Основные проблемы истории огузских племен Средней Азии // Филология и история тюркских народов: Тез. докл. тюркол. конф. Л., 1967. С. 47–49.
- Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX–XIII вв. Ашхабад, 1969. 269 с.
- Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI–XII вв. М., 1991. 303 с.
- Агеева Е.И., Максимова А.Г. Отчет Павлодарской экспедиции 1955 года // ТИИАЭ АН КазССР. Археология. Алма-Ата, 1959. Т. VII. С. 32–57.
- Азбелев П.П. Ингумации в минусинских чаатасах (к реконструкции социальных отношений по археологическим данным) // Актуальные проблемы методики западносибирской археологии: Тез. докл. регион. науч. конф. Новосибирск, 1989. С. 154–157.
- Азбелев П.П. Опыт археологической реконструкции социальной структуры населения Кыргызского каганата (VII–X вв.) // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Томск, 1990. С. 74–76.
- Азбелев П.П. Погребальные памятники типа минусинских чаатасов на Иртыше // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I–II тысячелетии н. э. Кемерово, 1994. С. 129–138.
- Азбелев П.П. Вещь, отражающая эпоху (об историко-культурном контексте увгунтского комплекса) // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования: Иркутск; Эдмонтон, 2007. С. 126–129.
- Аитова С.М. Статистический анализ находок древнетюркских монет в Семиречье и Отрарском оазисе // Известия Министерства образования и науки республики Казахстан, Национальной Академии наук республики Казахстана. Сер.: Общественные науки. 2000. № 1. С. 125–130.
- Айнос У. Культурный капитал, набеги за скотом и военное превосходство традиционных скотоводов // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 99–108.
- Акишев А.К. Искусство и мифология саков. Алма-Ата, 1984. 176 с.
- Акишев А.К. Система «степь–город» и закономерности сложения кочевых культур скифо-сакского времени // Маргулановские чтения. Алма-Ата, 1989. С. 119–123.
- Акишев К.А. Саки Семиречья (По материалам Илийской экспедиции 1956 и 1957 гг.) // ТИИАЭ АН КазССР. Археология. Алма-Ата, 1959. Т. VII. С. 204–209.
- Акишев К.А. Шестой Бешатырский курган // Древние культуры юга СССР (КСИИМК. Вып. 91). М., 1962. С. 61–65.
- Акишев К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана // Поиски и раскопки в Казахстане. Алма-Ата, 1973. С. 31–46.
- Акишев К.А. Курган Иссык: Искусство саков Казахстана. М., 1978. 132 с.
- Акишев К.А. Экономика и общественный строй Южного Казахстана и Северной Киргизии в эпоху саков и усуней (V в. до н.э. – V в. н.э.): Науч. докл., представленный в качестве дис. ... докт. ист. наук. М., 1986. 49 с.
- Акишев К.А. Феномен элитарных курганов Северного Тянь-Шаня // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 1994. С. 8–11.
- Акишев К.А., Агеева Е.И. Археологические работы 1956 года // Известия АН КазССР. Сер.: История, археология и этнография. Алма-Ата, 1958. Вып. 1(6). С. 83–94.
- Акишев К.А., Акишев А.К. Происхождение и семантика иссыкского головного убора // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. Алма-Ата, 1980. С. 14–31.
- Акишев К.А., Акишев А.К. К интерпретации иссыкского погребального обряда // Культура и искусство древнего Хорезма. М., 1981. С. 144–153.
- Акишев К.А., Байпаков К.М. Вопросы археологии Казахстана. Алма-Ата, 1979. 160 с.
- Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. Алма-Ата, 1963. 322 с.
- Алаев Л.Б. Опыт типологии средневековых обществ Азии // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982. С. 6–59.
- Алаев Л.Б. Феодализм на Востоке или восточный феодализм? // НАА. 1987. №3. С. 65–69.
- Алаев Л.Б., Коротаев А.В. Историко-социологическая анкета М., 1996. 32 с.
- Алексин В.А. К изучению социальной структуры ранних кочевников Средней Азии: (по материалам могильников) // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975. С. 74–80.
- Алексин В.А. Некоторые аспекты социальной интерпретации погребений земледельцев энеолита Южной Туркмении // СА. 1976. №2. С. 5–14.
- Алимбаев Н. О механизме реализации отношений собственности в кочевом обществе // Маргулановские чтения 1990. М., 1990. Ч. I. С. 9–17.
- Алпатов В.М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991. 240 с.
- Альтернативные пути к ранней государственности / Под ред. Н.Н. Крадина, В.А. Лынша. Владивосток, 1995. 212 с.
- Альтернативные пути к цивилизации / Под ред. Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева и др. Москва, 2000. 368 с.
- Амброз А.К. Бирский могильник и проблемы хронологии Приуралья в IV–VII вв. // Средневековые древности евразийских степей. М., 1980. С. 3–56.
- Амоголонов А.А. Курганы хуннской знати в Ильмовой пади // Археология, палеоэкология и этнология Сибири и дальнего Востока: Тез. докл. XXXVI РАЭСК. Иркутск, 1996. Ч. 2. С. 92–93.

- Андрианов Б.В. К методологии исторического исследования проблем взаимодействия общества и природы // Общество и природа. Исторические этапы и формы взаимодействия. М., 1981. С. 250–261.
- Андрианов Б.В. Некоторые замечания о дефинициях и терминологии скотоводческого хозяйства // СЭ. 1982. № 4. С. 76–80.
- Андрианов Б.В. Неоседлое население мира: (историко-этнографическое исследование). М., 1985. 280 с.
- Андрианов Б.В. Историческое взаимодействие кочевых культур и древних земледельческих цивилизаций в свете концепции о хозяйственно-культурных типах // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 8–21.
- Андрианов Б.В., Марков Г.Е. Хозяйственно-культурные типы и способы производства // Вопросы истории. 1990. № 8. С. 3–15.
- Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблема их картографирования // СЭ. 1972. № 2. С. 3–16.
- Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Историко-этнографические области // СЭ. 1975. № 3. С. 15–25.
- Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Опыт историко-этнографического районирования Африки и зарубежной Азии // СЭ. 1975а. № 4. С. 33–50.
- Андрух С.И. Погребение раннескифского воина в Присивашье // СА. 1988. № 1. С. 159–170.
- Андрух С.И., Суничук Е.Ф. Захоронения зажиточных скифов в низовьях Дуная // Новые исследования по археологии Северного Причерноморья. Киев, 1987. С. 38–46.
- Антонова Е.В. Место умерших в жизни живых и погребальный инвентарь: археологические факты и исторические свидетельства (Месопотамия) // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 19–30.
- Антонова О.В., Худяков Ю.С. Погребения воинов в памятниках пазырыкской культуры на Средней Катуни (по материалам раскопок Южно-Сибирского отряда САКЭ ИАЭ СО РАН) // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 17–20.
- Ануфриев Д.Е. Социальное устройство пазырыкского общества Горного Алтая // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Мат. Всерос. науч. конф. Барнаул, 1997. С. 108–111.
- Анфимов Н.В. Меото-сарматский могильник у станции Усть-Лабинской // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа (МИА. №23). М.; Л., 1951. С. 155–207.
- Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII – начале XIX в. М., 1960. 456 с.
- Аполлова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI – пер. пол. XIX в. М., 1976. 371 с.
- Арабо-персидские источники о тюркских народах. Фрунзе, 1973. 125 с.
- Арешан Г.Е. Роль неоседлых скотоводов в развитии цивилизаций Евразии // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 21–24.
- Аржан. Источник в долине царей. Археологические открытия в Туве. Из материалов раскопок, проводившихся в 2000–2003 гг. Центрально-Азиатской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа совместно с Германским археологическим институтом [Каталог выставки]. СПб., 2004. 64 с.
- Арсланова Ф.Х. Бобровский могильник // Известия АН Казахской ССР. Сер.: Общественные науки. Алма-Ата, 1963. Вып. 4. С. 68–84.
- Арсланова Ф.Х. Погребения тюркского времени в Восточном Казахстане // Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. Алма-Ата, 1969. С. 43–57.
- Артамонов М.И. Очерки древнейшей истории хазар. Л., 1937 (1936). 137 с.
- Артамонов М.И. Достижения советской археологии // ВДИ. 1939. № 2. С. 122–129.
- Артамонов М.И. Вопросы истории скифов в советской науке // ВДИ. 1947. № 3. С. 68–82.
- Артамонов М.И. Общественный строй у скифов // Вестник ЛГУ. Л., 1947а. № 9. С. 70–87.
- Артамонов М.И. Этногеография Скифии // Ученые записки ЛГУ. Сер.: Археология. Л., 1949. Вып. 13. С. 129–171.
- Артамонов М.И. Саркел – Белая Вежа // Труды Волго-Донской археологической экспедиции (МИА. №62). М.; Л., 1958. Т. II. С. 7–84.
- Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. 524 с.
- Артамонов М.И. Скифское царство // СА. 1972. №3. С. 56–67.
- Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы. Л., 1974. 156 с.
- Артамонов М.И. Возникновение кочевого скотоводства // Проблемы археологии и этнографии. Л., 1977. Вып. 1. С. 4–13.
- Арханческое общество: узловые проблемы социологии развития / Под ред. А.В. Коротаева и В.В. Чубарова. М., 1991. Ч. I–II.
- Археология Украинской ССР: Скифо-сарматская и античная археология. Киев, 1986. Т. II. 592 с.
- Асфендиаров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен). Алма-Ата. М., 1935. Т. I. 262 с.
- Афанасьев Г.Е. Донские аланы: Социальные структуры алано-ассо-буртасского населения бассейна Среднего Дона. М., 1993. 152 с.
- Афанасьев Г.Е. Система социально-маркирующих предметов мужских погребальных комплексах донских алан // РА. 1993а. № 4. С. 131–144.
- Афанасьев Г.Е. Перекрестное сравнение методик реконструкции социальной стратификации общества (к работе теоретического семинара отдела охранных раскопок) // Социальная дифференциация общества (поиски археологических критериев). М., 1993б. С. 3–12.
- Ахинжанов С.М. Об этнической принадлежности каменных изваяний в «трехрогих» головных уборах из Семиречья // Археологические памятники Казахстана. Алматы, 1978. С. 71–87.
- Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алма-Ата, 1989. 293 с.
- Ашин Г.К. Современные теории элиты: Критический очерк. М., 1985. 256 с.
- Ашин Г.К., Понеделков А.В., Игнатов Е.Г., Старостин А.М. Основы политической элитологии: Учеб. пособие. М., 1999. 304 с.
- Базаров Б.В., Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Введение: Монгольская империя – результаты и перспективы исследования // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2005а. Кн. 2. С. 3–12.
- Байпаков К.М. Город и степь в эпоху средневековья (по материалам Южного Казахстана и Семиречья) // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 336–345.
- Байпаков К.М., Терновая Г.А. Религии и культы средневекового Казахстана (по материалам городища Куйрыктобе). Алматы, 2005. 236 с.

- Балонов Ф.Р. Пазырыкские этюды // Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1987. Ч. 1. С. 91–94.
- Банников А.Л. «Жертвенники» как социальный маркер (к вопросу о наличии жреческого слоя у кочевников Южного Урала) // От древности к новому времени (проблемы истории и археологии). Уфа, 2000. С. 177–183.
- Банников А.Л. Ландшафтно-экологический фактор в процессе формирования социальной структуры ранних кочевников Южного Урала // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 129–133.
- Банников А.Л. Ландшафт и климат как факторы процесса формирования социальной структуры ранних кочевников Южного Урала // VII исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск, 2008. С. 326–328.
- Банников А.Л., Шутелева И.А. О методах социальных реконструкций «новой археологии» и возможности их применения в изучении обществ ранних кочевников Южного Урала // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. С. 195–198.
- Бардин Б.Б. Бурят-монголы: Краткий исторический очерк оформления бурят-монгольской народности // Бурятияведение: Бюллетень Бурят-Монгольского научного общества им. Доржи Банзарова. Верхнеудинск, 1927. № 3–4. С. 39–52.
- Бартольд В.В. История Туркестана // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963а. Т. II. Ч. I. С. 107–166.
- Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963б. Т. II. Ч. I. С. 167–433.
- Бартольд В.В. Киргизы: Исторический очерк // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963в. Т. II. Ч. I. С. 471–543.
- Бартольд В.В. Очерк истории туркменского народа // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963г. Т. II. Ч. I. С. 545–623.
- Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1968. Т. V. С. 19–192.
- Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1968а. Т. V. С. 195–229.
- Бартольд В.В. Образование империи Чингиз-хана // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1968б. Т. V. С. 253–265.
- Бартольд В.В. Обзор истории тюркских народов // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1968в. Т. V. С. 396–465.
- Бартольд В.В. Связь общественного быта с хозяйственным укладом у турок и монголов // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1968г. Т. V. С. 468–472.
- Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002. 757 с.
- Барфилд Т. Мир кочевников-скотоводов // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 59–85 (переиздано: Барфилд Т. Дж. Мир кочевников-скотоводов // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 415–441).
- Барфилд Т. Монгольская модель кочевой империи // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 254–269.
- Басилов В.Н. Избранники духов. М., 1984. 208 с.
- Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М., 1992. 327 с.
- Басилов В.Н. Символика религиозная // Религиозные верования: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 5. М., 1993. С. 187–192.
- Баскаков Н.А. Три рунических надписи из с. Мендур-Соккона Горно-Алтайской АО // СЭ. 1966. № 6. С. 79–83.
- Батраков В.С. Особенности феодализма у кочевых народов // Научная сессия АН УзССР 9–14 июня 1947 г. Ташкент, 1947. С. 433–446.
- Батурин А.П. Человек Средневековья: проблемы менталитета: Учеб. пособие. Кемерово, 2001. 160 с.
- Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. 543 с.
- Башилов В.А. Можно ли считать скифо-сибирский мир «цивилизацией кочевников // Античная археология и памятники железного века на территории СССР (КСИА РАН. Вып. 207). М., 1993. С. 36–37.
- Баяр Д. Новые археологические раскопки на памятнике Бильгэ кагана // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. №4. С. 73–84.
- Безуглов С.И. Познесарматское погребение знатного воина в степном Подонье // СА. 1988. № 4. С. 103–115.
- Безуглов С.И. Воинское познесарматское погребение из Азова // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1994 г. Азов, 1997. Вып. 14.
- Белинский А.Б., Дударев С.Л., Харке Х. Об опыте социального ранжирования мужских погребений предскифской эпохи могильника Клин-яр-III // Донская археология. 2001. № 3–4. С. 45–59.
- Белков П.Л. Племя и вождество: к определению понятий // Племя и государство в Африке. М., 1991. С. 36–50.
- Белков П.Л. Социальная стратификация и средства управления в доклассовом и предклассовом обществе // Ранние формы социальной стратификации. М., 1993. С. 65–98.
- Белков П.Л. Раннее государство, предгосударство, протогосударство: игра в термины? // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 265–187.
- Березкин Ю.Е. Апатани и древнейший Восток: альтернативная модель сложного общества // Кунсткамера. Этнографические тетради. 1994. № 4. С. 5–19.
- Березкин Ю.Е. Вождества и акефальные сложные общества: данные археологии и этнографические параллели // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 165–187.
- Березкин Ю.Е. Модели среднемасштабного общества: Америка и древнейший Ближний Восток // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995а. С. 94–104.
- Березкин Ю.Е. Америка и Ближний Восток: формы социополитической организации в догосударственную эпоху // ВДИ. 1997. №2. С. 3–24.
- Березкин Ю.Е. Еще раз о горизонтальных и вертикальных связях в структуре среднемасштабных обществ // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 259–264.
- Берент М. Безгосударственный полис. Раннее государство и древнегреческое общество // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 235–258.
- Берсенева Н.А. Погребальная обрядность населения Среднего Прииртышья в эпоху раннего железа: социальные аспекты (по материалам саргатской культуры): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2005. 25 с.
- Берсенева Н.А. Археология возрастных групп: проблемы и перспективы изучения // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 264–268.
- Бернабей М., Бондиоли Л., Гуиди А. Социальная структура кочевников савроматского времени // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. I: Савроматская эпоха. М., 1994. С. 159–184.
- Бернштам А.Н. Проблема распада родовых отношений у кочевников Азии // СЭ. 1934. № 6. С. 86–115.
- Бернштам А.Н. Социально-экономический строй древнетурецкого общества VI–VIII вв. н. э. Турки в Монголии: Тез. канд. дис. Л., 1935. 23 с.
- Бернштам А.Н. Происхождение турок. К постановке проблемы // ПИДО. 1935а. № 5–6. С. 43–54.

- Бернштам А.Н. Наследственность и выборность у древних народов Центральной Азии // ПИДО. 1935б. № 7–8. С. 160–174.
- Бернштам А.Н. К вопросу о возникновении классов и государства у туруп VI–VIII вв. н. э. // Вопросы истории доклассового общества: Сб. ст. к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». М.; Л., 1936. С. 871–891.
- Бернштам А.Н. Из истории гуннов I в. до н.э.: Ху-хань-е и Чжи-чжи шаньюю // Советское востоковедение. М.; Л., 1940. Вып. I. С. 51–77.
- Бернштам А.Н. Кенкольский могильник. Л., 1940а. 34 с.
- Бернштам А.Н. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941. 66 с.
- Бернштам А.Н. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941а. 54 с.
- Бернштам А.Н. Социально-экономический строй орхон-енисейских тюрок VI–VIII веков: Восточно-тюркский каганат и кыргызы. М.; Л., 1946. 208 с.
- Бернштам А.Н. Рец. на кн.: Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948 // СЭ. 1949. №1. С. 226–230.
- Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951. 256 с.
- Берхин-Засецкая И.П., Маловицкая Л.Я. Богатое савроматское погребение в Астраханской области // СА. 1965. №3 С. 143–153.
- Бессмертный Ю.Л. Историческая антропология сегодня; французский опыт и российская историографическая ситуация // Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. М., 1998. С. 32–34.
- Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. Киев, 1983. 140 с.
- Бешевлиев В. Първобългарски надписи. София, 1992. 367 с.
- Бируни А. Избранные произведения. Ташкент, 1957. Т. I. 657 с.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950. Т. I. 381 с.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950. Т. II. 332 с.
- Бичурин Н.Я. Собрание сведения о народах, обитавших в Средней Азии, в древние времена. Алматы, 1998. Т. 1. LLXIV+390 с.
- Бичурин Н.Я. Собрание сведения о народах, обитавших в Средней Азии, в древние времена. Алматы, 1998а. Т. 2. 352 с.
- Бишони Р. Погребальный обряд как источник для исторической реконструкции // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. I: Савроматская эпоха. М., 1994. С. 153–157.
- Блаватский В.Д. Рец. на кн.: Д.П. Каллистов. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949 // ВДИ. 1950. №3. С. 110–118.
- Блаватский В.Д. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья (Причерноморье в античную эпоху, вып.7). М., 1954. 164 с.
- Блаватский В.Д. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья (в VII–V вв. до н.э.) // СА. 1964. №2. С. 13–26.
- Блаватский В.Д. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья (IV в. до н.э. – III в. н.э.) // СА. 1964а. №4. С. 25–35.
- Бобров В.В. Социологические реконструкции в археологии и метод планиграфии // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. Новосибирск, 1996. С. 19–22.
- Бобров В.В. Историография и современное состояние изучения социальной организации древних обществ в археологии // Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация: Мат. Всерос. конф. Кемерово, 1997. С. 3–7.
- Бобров В.В. Проблемы социальных реконструкций в научном наследии М.П. Грязнова // Четвертые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1997а. С. 7–8.
- Бобров В.В. Современное состояние развития социального направления в археологии Сибири // Социально-демографические процессы на территории Западной Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 3–6.
- Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Восточный Алтай в эпоху великого переселения народов (III–V вв.). Новосибирск, 2003. 223 с.
- Бобров В.В., Михайлов Ю.И. Проблемы использования методов реконструкции в системе палеосоциологических исследований древнего общества // Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация: Мат. Всерос. конф. Кемерово, 1997. С. 7–11.
- Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И. Могильник эпохи поздней бронзы Журавлево-4. Новосибирск, 1993. 157 с.
- Богданов М.Н. Очерки истории бурят-монгольского народа (с доп. статьями Б.Б. Бородина и Н.Н. Козьмина). Верхнеудинск, 1926. 229 с.
- Боковенко Н.А. Ранние кочевники по археологическим и этнографическим данным // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, 1981. С. 50–53.
- Боковенко Н.А. Царский курган Аржан. Вопросы интерпретации // Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири. Досоветский период. Новосибирск, 1988. Вып. I. С. 71–72.
- Боковенко Н.А. Проблемы генезиса погребального обряда раннекочевнической знати Центральной Азии // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 1994. С. 41–48.
- Боковенко Н.А. Проблема реконструкции религиозных систем кочевников Центральной Азии в скифскую эпоху // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: Мат. междунар. конф. СПб., 1996. С. 39–41.
- Боковенко Н.А. Символика элитных воинских захоронений кочевников Центральной Азии в I тыс. до н. э. // Евразия сквозь века (К 60-летию Д.Г. Савинова). СПб., 2001. С. 137–143.
- Болтрик Ю.В., Фялалко Е.Е. Курганы царей Скифии второй половины IV в. до н.э. Поиск исторических реалий // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 1994. С. 49–52.
- Бондаренко Д.М. Становление государственного общества: Первый вызов вечной проблеме в постсоветской этнологии // Восток. 1993. № 5. С. 185–197.
- Бондаренко Д.М. Возжества в доколониальном Бенине // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 140–152.
- Бондаренко Д.М. Многолинейность социальной эволюции и альтернативы государству // Восток. 1998. №1. С. 195–202.

- Бондаренко Д.М. Гомоархия как принцип социально-политической организации (постановка понятия и введение понятия) // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 164–183.
- Бондаренко Д.М., Гришин Л.Е., Коротаев А.В. Альтернативы социальной эволюции // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 15–36.
- Бондаренко Д.М., Коротаев А.В., Крадин Н.Н. Введение: Социальная эволюция, альтернативы и нomaдизм // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 9–36.
- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Особенности социально-экономической структуры енисейских кыргызов // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Мат. Всерос. науч. конф. Барнаул, 1997. С. 161–164.
- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Реконструкция женских головных уборов из могильника Усть-Эдиган в Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2004. Вып. 17. № 1. С. 65–72.
- Борисенко А.Ю., Скобелев С.Г., Худяков Ю.С. Основные проблемы изучения культуры древних тюрок в Центральной Азии // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск, 2000. С. 7–26.
- Боровка Г.И. Культурно-историческое значение археологических находок экспедиции // Краткие отчеты экспедиций по исследованию Северной Монголии в связи с Монголо-Тибетской экспедицией П.К. Козлова. Л., 1925. С. 23–40.
- Боровка Г.И. Археологическое обследование среднего течения реки Толы // Северная Монголия и предварительные отчеты лингвистических и археологических экспедиций о работах, произведенных в 1925 г. Л., 1927. С. 43–87.
- Боталов С.Г. Зауральская Гунния II–IV вв. н.э. // 100 лет гуннской археологии. Нomaдизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Челябинск, 1996. Ч. I. С. 9–12.
- Боталов С.Г. Хунны и гунны // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 3 (13). С. 106–127.
- Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунны-сарматы Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 2000. 277 с.
- Боталов С.Г., Полушкин Н.А. Гунно-сарматские памятники Южного Зауралья III–IV вв. // Новое в археологии Южного Урала. Челябинск, 1996. С. 181–190.
- Бочаров В.В. Власть и символ // Символы и атрибуты власти: генезис, семантика, функции. СПб., 1996. С. 15–37.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. М., 1986–1992. Т. I–III.
- Бунятян Е.П. Методика социальной реконструкции по данным рядовых скифских могильников // Теория и методы археологических исследований. Киев, 1982. С. 136–184.
- Бунятян Е.П. К вопросу о материально-технической базе кочевых обществ // Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ (К столетию выхода работы Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Киев, 1984. С. 109–124.
- Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии (на материале скифских могильников IV–III вв. до н.э.). Киев, 1985. 228 с.
- Бунятян Е.П. О классификации и типологии скотоводства // Маргулановские чтения 1990. М., 1990. Ч. I. С. 23–27.
- Бурганова В.Н., Васютин С.А., Мить А.А. Введение: дихотомия Запад–Восток и многообразие путей исторического развития // Медиевистика XXI века: проблемы методологии и преподавания. Вып. III: Запад и Восток: власть, социум, ментальность, особенности исторического развития. Кемерово, 2007. С. 3–15.
- Буровский А.М. Степная скотоводческая цивилизация: критерии описания, анализа и сопоставления // Цивилизация. М., 1995. Вып. 3. С. 151–164.
- Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрок Саяно-Алтая. Абакан, 2003. 260 с.
- Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С. История енисейских кыргызов. Абакан, 2000. 272 с.
- Вадецкая Э.Б. Атрибуты служителей культа по древним погребениям Енисея // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб., 1996. С. 46–50.
- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. 438 с.
- Вайнберг Б.И. Курганские могильники северной Туркмении (Присарыкамьшская дельта Амударьи) // Кочевники на границах Хорезма. (Труды ХАЭЭ. Т. 11). М., 1979. С. 167–177.
- Вайнберг Б.И. Скотоводческие племена в древнем Хорезме // Культура и искусство древнего Хорезма. М., 1981. С. 121–130.
- Вайнберг Б.И. Объединения древних кочевников Приаралья и Восточного Прикаспия // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 66–70.
- Вайнберг Б.И. Памятники скотоводческих племен в левобережном Хорезме // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 116–122.
- Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности. М., 1999. 359 с.
- Вайнберг Б.И., Ставинский Б.Я. История и культура Средней Азии в древности. М., 1994. 207 с.
- Вайнштейн С.И. Археологические раскопки в Туве в 1953 г. // УЗТНИИЯЛИ. Кызыл, 1954. Вып. II. С. 140–154.
- Вайнштейн С.И. Памятники скифского времени в Западной Туве (по материалам археологических исследований в 1954 г.) // УЗТНИИЯЛИ. Кызыл, 1956. Вып. III. С. 78–102.
- Вайнштейн С.И. Очерк этногенеза тувинцев // УЗТНИИЯЛИ. Кызыл, 1957. Вып. V. С. 178–214.
- Вайнштейн С.И. Некоторые итоги работ археологической экспедиции Тувинского НИИЯЛИ в 1956–1957 гг. // УЗТНИИЯЛИ. Кызыл, 1958. Вып. VI. С. 217–237.
- Вайнштейн С.И. Тува в период разложения первобытнообщинного строя и возникновения классового общества // История Тувы. М., 1964. Т. I. С. 35–54.
- Вайнштейн С.И. Памятники кызылганской культуры // Труды ТКАЭЭ. М.; Л., 1966. Т. II. С. 143–173.
- Вайнштейн С.И. Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. (памятники кызылганской и сыын-чурекской культуры) // ТТКАЭЭ. Л., 1970. Т. III. С. 7–79.
- Вайнштейн С.И. Проблема формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии // Всесоюзная научная сессия, посвященная итогам полевых археологических и этнографических исследований 1970 г. Секция этнографии, фольклора и антропологии. Тбилиси, 1971. Ч. 2. С. 47–50.
- Вайнштейн С.И. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. М., 1972. 314 с.
- Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. М., 1974. 224 с.
- Вайнштейн С.И. Мир кочевников центра Азии. М., 1991. 296 с.
- Вайнштейн С.И. Гунно-сарматская эпоха // История Тувы. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 2001. Т. I. С. 50–66.
- Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П. Уникальные находки из раскопок древних курганов Тувы // Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Кызыл, 1960. Вып. VIII. С. 192–201.

- Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П. Памятники в могильнике Кокэль конца I тыс. до н.э. – первых веков н. э. // ТТКАЭЭ. М.; Л., 1966. Т. II. С. 185–291.
- Вайнштейн С.И., Семенов Ю.И. Рец. на кн.: Г.Е. Марков. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976 // СЭ. 1977. № 5. С. 163–166.
- Валлерстайн И. Миросистемный анализ // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX в. Новосибирск, 1998. С. 105–123.
- Варенов А.В. Датировка оружия, изображенного на оленных камнях монголо-забайкальского типа и проблема археологических памятников ранних сюнну // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 3–6.
- Варенов А.В., Митько А.О., Митько О.А. Сяньбийское погребение с поясными украшениями из района Яньчи близ города Эрэн-Хото // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск, 2007. Т. XIII. С. 193–199.
- Васильев В.Н. К вопросу о сарматских каменных жертвенниках кочевников Южного Урала // Уфимский археологический вестник. Уфа, 1998. №1. С. 25–43.
- Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л., 1983. 126 с.
- Васильев Л.С. Становление политической администрации (от локальной группы охотников-собираателей к протогосударству-чифдом) // НАА. 1980. № 1. С. 177–188.
- Васильев Л.С. Протогосударство-чифдом как политическая структура // НАА. 1981. № 6. С. 157–175.
- Васильев Л.С. О феномене власти-собственности. К проблеме типологии докапиталистических структур // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982. С. 60–99.
- Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. 326 с.
- Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001. 488 с.
- Васильченко И. Еще раз об особенностях феодализма у кочевых народов // ВИ. 1974. № 4. С. 192–198.
- Васютин А.С., Елин В.Н. О хронологических границах кок-пашского предметного комплекса из Восточного Алтая // Проблемы археологических культур степной Евразии. Кемерово, 1987. С. 85–90.
- Васютин А.С., Мокрынин С.В. Сакские курганы царского типа Приискуля // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 61–63.
- Васютин А.С., Садовой А.Н. К проблеме реконструкции традиционных систем жизнеобеспечения в раннескифское время (Восточный Алтай – могильник Коо-1) // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 35–38.
- Васютин С.А. К вопросу о социальной терминологии в историографии отечественного кочевниковедения 20–90-х гг. XX в. // Студент и научно-технический прогресс: Мат. XXXV Междунар. науч. студ. конф. Новосибирск, 1996. С. 49–50.
- Васютин С.А. Исследования социально-политической организации номадов и проблема типологии кочевых обществ степей Евразии // Студент и научно-технический прогресс: Мат. XXXV Междунар. науч. студ. конф. Новосибирск, 1997. С. 30–32.
- Васютин С.А. К проблеме социальной характеристики кочевых обществ степей Евразии // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Мат. Всерос. науч. конф. Барнаул, 1997а. С. 193–196.
- Васютин С.А. Проблема социальной характеристики кочевничества в региональных публикациях конца 1980 – первой половины 1990-х гг. (на примере Западной Сибири) // 275 лет сибирской археологии: Мат. XXXVII РАЭСК. Красноярск, 1997б. С. 80–81.
- Васютин С.А. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 1998. 23 с.
- Васютин С.А. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии: Дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 1998а. 288 с.
- Васютин С.А. Проблемы изучения социальной организации кочевников скифского времени Горного Алтая по материалам погребений // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 31–35.
- Васютин С.А. Типология потестарных и политарных систем кочевников // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 86–98.
- Васютин С.А. Проблемы социальной и потестарной организации ранних кочевников в трудах Михаила Петровича Грязнова // Степи Евразии в древности и средневековье: Мат. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Михаила Петровича Грязнова. СПб., 2002а. Кн. I. С. 30–33.
- Васютин С.А. Моделирование потестарно-политической системы пазырыкского общества // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Барнаул, 2003а. Кн. I. С. 19–24.
- Васютин С.А. Признаки властной иерархии ранних кочевников в археологических культурах аридной зоны Евразии эпохи РЖВ // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003б. С. 70–74.
- Васютин С.А. Архаические элементы политической культуры в тюркских каганатах // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. Барнаул, 2004а. С. 95–100.
- Васютин С.А. Монгольская империя как особая форма ранней государственности? (к дискуссии о политических системах кочевых империй) // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004б. С. 269–287.
- Васютин С.А. The Pre-State System of Nomadic Societies by Archeological Sources (The Pazyryc Culture) // Иерархия и власть в истории цивилизаций: Тез. 3-й Междунар. конф. (2004в) / Сайт Центра цивилизационных и региональных исследований РАН / <http://www.civreg.ru/conf/hierarchy2004.html>. [электронный ресурс] 17.03.2008.
- Васютин С.А. Лики власти (к вопросу о природе власти в кочевых империях) // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2005. Кн. 2. С. 56–71.
- Васютин С.А. Общественная система кочевников в эпоху тюркских каганатов (VI–VIII вв.) // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005а. С. 215–223.
- Васютин С.А. Традиционные социальные системы номадов // Западная и Южная Сибирь в древности. Барнаул, 2005б. С. 166–169.
- Васютин С.А. Культ воина-героя («мужа-воина») и его религиозные мотивы в кочевых обществах древнетюркской эпохи // Сибирь на перекрестке мировых религий: Мат. Третьей межрегион. конф. Новосибирск, 2006. С. 79–82.
- Васютин С.А. Кочевая империя, государство и мир-система: Монгольская империя и Первый Тюркский каганат в сравнительно-историческом ракурсе // Чингисхан и судьбы народов Евразии-2. Улан-Удэ, 2007. С. 97–111.

- Васютин С.А. Социальные теории в отечественных палеосоциологических исследованиях общественной структуры кочевников // Северная Евразия в антропогенезе: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: Мат. Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня рождения М.М. Герасимова. Иркутск, 2007а. С. 100–113.
- Васютин С.А. Проблемы и перспективы изучения демографии и социальной стратификации кочевых обществ древнетюркской эпохи по данным археологии // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007б. С. 268–274.
- Васютин С.А. Модели политической адаптации кочевников раннего средневековья в Семиречье // Россия и мир: панорама исторического развития: Сб. науч. ст., посвящ. 70-летию исторического фак-та Уральского гос. ун-та им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2008. С. 437–445.
- Васютин С.А. Первый тюркский каганат и Монгольская империя в свете кросс-культурного анализа // Вторые исторические чтения Томского государственного педагогического университета. Томск, 2008а. Ч. 2. С. 10–18.
- Васютин С.А., Бобров В.В. Потестарные и политарные системы тюркоязычных кочевников эпохи раннего средневековья // Тюркские народы: Мат. V Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск; Омск, 2002. С. 136–143.
- Васютин С.А., Васютин А.С. Социальная планиграфия предтюркских погребений могильника Кок-Паш из Восточного Алтая // Социальная организация и социогенез первобытных обществ. Теория. Методика. Интерпретация. Кемерово, 1997. С. 73–77.
- Васютин С.А., Васютин А.С. Население Восточного Алтая в предтюркское время // Социальная структура ранних кочевников: монография. Иркутск, 2005. С. 224–236.
- Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А. Реконструкция социальной структуры ранних кочевников в археологии // Социальная структура кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005. С. 10–38.
- Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А. Общее и особенное в реконструкции структуры ранних кочевников // Социальная структура ранних кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005а. С. 237–250.
- Васютин С.А., Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Тишкин А.А. Методологические проблемы реконструкции социальных структур в археологии // Социальная структура ранних кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005б. С. 39–63.
- Васютин С.А., Пугачев А.Ю. О роли тюрко-болгар в формировании раннесредневековой болгарской государственности (проблемы отечественной историографии и реконструкция политарных процессов) // Медиевистика XXI века: проблемы методологии и преподавания. Вып. III: Запад и Восток: власть, социум, ментальность, особенности исторического развития. Кемерово, 2007. С. 94–182.
- Васютин С.А., Юматов К.В. К вопросу о генезисе государства сюнну // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 51–53.
- Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 808 с.
- Вебер М. Социология религий (типы религиозных обществ) // Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 78–308.
- Виденгрэн Г. Мани и манихейство. СПб., 2001. 256 с.
- Викторова Л.Л. Кочевой уклад в Киданьской империи // Материалы по отделению этнографии Географического общества СССР: Доклады за 1958–1961 гг. Л., 1961. Ч. I. С. 31–37.
- Викторова Л.Л. Становление классового общества у древнемонгольских кочевников // Проблемы истории древних обществ (Законы истории и конкретные формы всемирно-исторического процесса). М., 1968. Кн. I. С. 546–575.
- Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н.э.: по материалам Уйгарака (ТХАЭЭ. Т. 8). М., 1973. 160 с.
- Вишневская О.А. Центральный Казахстан // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 130–140.
- Вишневская О.А., Итина М.А. Ранние саки Приаралья // Проблемы скифской археологии. М., 1971. С. 197–208.
- Владимирцов Б.Я. Этнолого-лингвистические исследования в Урге, Ургинском и Кентейском районах // Северная Монголия и предварительные отчеты лингвистических и археологических экспедиций о работах, произведенных в 1925 г. Л., 1927. С. 1–42.
- Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. Л., 1934. 223 с.
- Владимирцов Б.Я. Чингис-хан. Горно-Алтайск, 1992. 132 с.
- Воеводова М.И., Ситникова В.В., Ромащенко А.Г. Расово- и этноспецифические особенности мтДНК представителей пазырыкской культуры Горного Алтая // Феномен алтайских мумий. Новосибирск, 2000. С. 224–230.
- Воеводова М.И., Ромащенко А.Г., Ситникова В.В., Шульгина Е.О., Кобзев В.Ф. Сравнение полиморфизма митохондриальной ДНК пазырыкцев и современного населения Евразии // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2001. № 1. С. 88–94.
- Воеводский М., Грязнов М. Усуньские могильники на территории Киргизской СССР // ВДИ. 1938. №3–4. С. 178–187.
- Войтов В.Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI–VIII вв. М., 1996. 152 с.
- Волков В.В. Предисловие // Войтов В.Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI–VIII вв. М., 1996. С. 3–5.
- Воробьева-Десятковская М.И. Фрагменты тибетских рукописей на бересте из Тувы // Страны и народы Востока. М., 1980. Вып. 22. С. 124–131.
- Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Очерки истории. М., 1988. 453 с.
- Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос, языки, религия. М., 1992. 687 с.
- Вяткин Р.В. Комментарий // Сыма Цянь. Исторические записки: Пер. и комм. Р.В. Вяткина. М., 2002. Т. 8. С. 440–450.
- Габуев Т.А. Исследование аланских «княжеских курганов» у села Брут в Северной Осетии // Археологические открытия 2004 года. М., 2005. С. 270–272.
- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. Л., 1965. 114 с.
- Гаврилова А.А. Пятый пазырыкский курган. Дополнение к раскопному отчету и исторические выводы // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: Мат. междунар. конф. СПб., 1996. С. 89–102.
- Галанина Л.К. К проблеме взаимоотношений скифов с меотами (по данным новых раскопок Келермеского курганного могильника) // СА. 1985. №3. С. 156–165.
- Галанина Л.К. О критериях выделения «царских» курганов раннескифской эпохи // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 1994. С. 76–81.

- Галеркина О.И., Богданов Ф.Л. Искусство Индии в древности и Средние века. М., 1963. 68 с.
- Ганиев Р.Т. Восточно-тюркское государство в VI–VIII веках. Екатеринбург, 2006. 152 с.
- Ганиев Р.Т. Восточно-тюркское государство в Южной Сибири и Центральной Азии во второй половине VI – первой половине VIII в. // Россия и мир: панорама исторического развития. Сб. науч. ст., посвящ. 70-летию исторического фак-та Уральского гос. ун-та им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2008. С. 427–436.
- Гей А.Н. Проблема социальной дифференциации и эволюции общества степных скотоводов бронзового века (на примере новотиторской и катакомбной культур степного Прикубанья) // Социальная дифференциация общества (поиск археологических критериев). М., 1993. С. 42–77.
- Гей А.Н. О некоторых символических моментах погребальной обрядности степных скотоводов Предкавказья в эпоху бронзы // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 78–113.
- Геллнер Э. Структура человеческой истории // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 80–90.
- Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии (У истоков формирования марксистских теоретических основ советской археологии. 20-е – первая половина 30-х гг.). Киев, 1982. 226 с.
- Генинг В.Ф. Объект и предмет науки в археологии. Киев, 1983. 224 с.
- Генинг В.Ф. Проблема социальной структуры общества кочевых скифов IV–III вв. до н.э. по археологическим данным // Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ (К столетию выхода работы Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Киев, 1984. С. 124–153.
- Генинг В.Ф. Структура археологического познания (проблемы социально-исторического исследования). Киев, 1989. 296 с.
- Генинг В.Ф., Бунятян Е.П., Пустовалов С.Ж., Рычков Н.А. Формализованно-статистические методы в археологии (анализ погребальных памятников). Киев, 1990. 304 с.
- Генинг В.Ф., Халиков А.Х. Ранние болгары на Волге (Больше-Тарханский могильник). М., 1964. 223 с.
- Геродот. История в девяти книгах: Пер. и прим. Г.И. Стратановского. Л., 1972. 480 с.
- Герро А. Фейф, феодальность, феодализм. Социальный заказ и историческое мышление // Одиссей. Человек в истории. 2006. Феодализм перед судом историков. М., 2006. С. 77–113.
- Гирченко В.П. К истории бурят-монголов-хоринцев первой половины XIX в. // Бурятияведение: Бюллетень Бурят-Монгольского научного общества им. Доржи Банзарова. Верхнеудинск, 1928. №1–3. С. 43–61.
- Глазов И.А. Погребения «военных вождей» (к проблеме реконструкции социальной организации саргатской общности) // Социально-демографические процессы (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 95–99.
- Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государства // Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1990. С. 51–78.
- Гожева И.А. Будда: иконография // Большая российская энциклопедия. М., 2001. С. 296–297.
- Голден П.Б. Государство и государственность у хазар: власть хазарских каганов // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. С. 211–233.
- Голден П.Б. Кипчаки средневековой Евразии: пример негосударственной адаптации в степи // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 103–134.
- Гольмстен В.В. Археологические памятники Самарской губернии // Труды секции археологии Института археологии и искусствознания РАНИОН. М., 1929. Вып. IV. С. 125–137.
- Гольмстен В.В. Река Маныч // Археологические исследования в РСФСР 1934–1936 гг.: Краткие отчеты и сведения. М.; Л., 1941. С. 201–204.
- Горбунов В.В. Процессы тюркизации на юге Западной Сибири в раннем средневековье // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Сибири. Барнаул, 2003. Кн. 1. С. 37–42.
- Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. I. Оборонительное вооружение (доспех). Барнаул, 2003а. 174 с.
- Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. II. Наступательное вооружение (оружие). Барнаул, 2006. 232 с.
- Горбунова Т.Г. Социальная значимость украшений конской амуниции (по материалам сrostкинской культуры) // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 109–113.
- Горбунова Т.Г. Распространение «тюркской» культурной традиции на юге Западной Сибири (по материалам украшений конского снаряжения) // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Сибири. Барнаул, 2003а. Кн. 1. С. 43–48.
- Горбунова Т.Г. Украшения конского снаряжения как источник для историко-культурного изучения Алтая (эпоха раннего средневековья): Автореф. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2004. 24 с.
- Горбунова Т.Г., Тишкин А.А., Хаврин С.В. Использование благородных металлов в изготовлении украшений конского снаряжения (по материалам раннесредневековых памятников Алтая) // Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Барнаул, 2007. С. 199–202.
- Горяев В.С. Количественный анализ предметов погребальной инвентаря и половозрастная структура (по материалам ирменской культуры Кузнецкой котловины) // Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация: Мат. Всерос. конф. Кемерово, 1997. С. 34–39.
- Горячева О.Д. Средневековые городские центры и архитектурные ансамбли Киргизии (Бурана, Узген, Сафид-Булан). Фрунзе, 1983. 195 с.
- Готье Ю.В. Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы до основания первого русского государства. Каменный век – бронзовый век. Железный век на юге России. Л., 1925. Ч. I. 217 с.
- Грайворонский В.В. От кочевого образа жизни к оседлости (на опыте МНР). М., 1979. 178 с.
- Граков Б.Н. Курганы в окрестностях поселка Нежинского Оренбургского уезда по раскопкам 1927 г. // Труды секции археологии Института археологии и искусствознания РАНИОН. М., 1929. Вып. IV. С. 145–155.
- Граков Б.Н. Материалы по истории Скифии в греческих надписях Балканского полуострова и Малой Азии // ВДИ. 1939. №3. С. 231–312.
- Граков Б.Н. Γυναικοκρατορμενοι (Пережитки матриархата у сарматов) // ВДИ. 1947. № 3. С. 100–121.
- Граков Б.Н. Скифи. Киев, 1947а. 95 с.
- Граков Б.Н. Скифский Геракл // КСИИМК. М., 1950. Вып. XXXIV. С. 7–18.
- Граков Б.Н. Каменское городище на Днепре (МИА. №36). М., 1954. 204 с.

- Граков Б.Н. Скифские погребения на Никопольском курганном поле // Памятники скифо-сарматской культуры (МИА. №115). М., 1962. С. 56–113.
- Граков Б.Н. Погребальные сооружения и ритуал рядовых общинников // АСГЭ. Л., 1964. Вып. 6. С. 118–127.
- Граков Б.Н. Скифы: Научно-популярный очерк. М., 1971. 200 с.
- Граков Б.Н. Ранний железный век (культура Западной и Юго-Восточной Европы). М., 1977. 232 с.
- Граков Б.Н., Мелюкова А.И. Об этнических и культурных различиях в степных и лесостепных областях европейской части СССР в скифское время // Вопросы скифо-сарматской археологии (по мат. конф. ИИМК АН СССР 1952 г.). М., 1954. С. 39–93.
- Грантовский Э.А. Индо-иранские касты у скифов: (Докл. делегации СССР XXV Междунар. конгресса востоковедов.). М., 1960. 22 с.
- Грантовский Э.А. Проблемы изучения общественного строя скифов // ВДИ. 1980. № 4. С. 128–155.
- Грантовский Э.А. Выступление на круглом столе «Дискуссионные проблемы отечественной скифологии» // НАА. 1980а. №6. С. 67–102.
- Грантовский Э.А. О некоторых материалах по общественному строю скифов: «родственники» и «друзья» // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). М., 1981. С. 59–80.
- Грач А.Д. Археологические раскопки в Сут-Холе и Бай-Тайге // ТТКАЭЭ. М.; Л., 1966а. Т. II. С. 81–107.
- Грач А.Д. Хронологические и этнокультурные границы древнетюркского времени // ТС: к 60-летию А.Н. Кононова. М., 1966б. С. 188–193.
- Грач А.Д. Древнетюркская археология в СССР // Филология и история тюркских народов: Тез. докл. тюркол. конф. Л., 1967. С. 52–54.
- Грач А.Д. Новые данные о древней истории Тувы // УЗ ТНИИЯЛИ. Кызыл, 1971. Вып. XV. С. 93–107.
- Грач А.Д. Принципы и методика историко-археологической реконструкции форм социального строя (по курганным материалам скифского времени Казахстана, Сибири и Центральной Азии) // Социальная история народов Азии. М., 1975. С. 158–182.
- Грач А.Д. Центральноазиатский регион скифо-сакского пояса степей // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства: Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1979. С. 77–80.
- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980. 256 с.
- Грач А.Д. Древнекыргызские курганы у северной границы котловины Больших озер и находки тибетских надписей на бересте // Страны и народы Востока. М., 1980а. Вып. XXII. С. 103–123.
- Грач А.Д. Центральная Азия как историко-археологический регион // История и культура Центральной Азии. М., 1983. С. 244–265.
- Грач А.Д. Центральная Азия – общее и особенное в сочетании социальных и географических факторов // Роль географического фактора в истории докапиталистических обществ (по этнографическим данным). Л., 1984. С. 113–125.
- Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В. Енисейские кыргызы в Центре Тувы. Эйлиг-Хем-III как источник по средневековой истории Тувы. М., 1998. 84 с.
- Гребенников Ю.С. Курганы скифской знати в Поингулье // Древнейшие скотоводы степей юга Украины. Киев, 1987. С. 148–158.
- Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда: (Очерк истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII–XIV вв.). Л., 1937. 202 с.
- Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950. 475 с.
- Гринин Л.Е. В. Раннее государство и его аналоги // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 85–163.
- Гринин Л.Е., Марков А.В., Коротаев А.В. Макроэволюция в живой природе и обществе. М., 2008. 248 с.
- Гришин Ю.С. Раскопки гуннских погребений у горы Дархан // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 95–100.
- Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край: Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Л., 1926. Т. II. 897 с.
- Грушин С.П. Палеодемографический анализ антропологических материалов из могильников елунинской культуры Верхнего Приобья // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 47–52.
- Грязнов М.П. Раскопки княжеской могилы на Алтае // Человек. 1928. №2–4. С. 217–219.
- Грязнов М.П. Древние культуры Алтая // Материалы по изучению Сибири. Новосибирск, 1930. Вып. 2. 11 с.
- Грязнов М.П. Пазырыкский курган. М.; Л., 1937. 44 с.
- Грязнов М.П. Ранние кочевники Западной Сибири и Казахстана // История СССР с древнейших времен до образования первого русского государства (макет издания АН СССР). М.; Л., 1939. С. 399–413.
- Грязнов М.П. Раскопки на Алтае // Сообщения Гос. Эрмитажа. Л., 1940. Вып. I. С. 17–21.
- Грязнов М.П. Рец. на кн.: А.Н. Бернштам. Кенкольский могильник. (Л., 1940) // КСИИМК. М.; Л., 1945. Т. IX. С. 145–149.
- Грязнов М.П. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае // КСИИМК. М.; Л., 1947. Т. XVIII. С. 9–17.
- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950. 91 с.
- Грязнов М.П. Некоторые вопросы истории сложения и развития ранних кочевых обществ Казахстана и Южной Сибири // КСИЭ. М., 1955. Вып. 24. С. 19–29.
- Грязнов М.П. Северный Казахстан в эпоху ранних кочевников // КСИИМК. М., 1956. Вып. 61. С. 8–16.
- Грязнов М.П. Связи кочевников Южной Сибири со Средней Азией и Ближним Востоком в I тысячелетии до н.э. // Материалы Второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. М.; Л., 1959. С. 136–142.
- Грязнов М.П. Курган как архитектурный памятник // Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г. М., 1961. С. 22–25.
- Грязнов М.П. Некоторые вопросы хронологии ранних кочевников в связи с материалами кургана Аржан // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975. С. 6–10.
- Грязнов М.П. К вопросу о сложении культур скифо-сибирского типа в связи с открытием кургана Аржан // Ранние кочевники (Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Вып. 154). М., 1978. С. 9–18.
- Грязнов М.П. О едином процессе развития скифо-сибирских культур // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства: Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1979. С. 4–7.

- Грязнов М.П. Аржан. Л., 1980. 63 с.
- Грязнов М.П. Начальная фаза развития скифо-сибирских культур // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1983. С. 3–18.
- Грязнов М.П. Алтай и приалтайская степь // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 161–178.
- Грязнов М.П., Маннай-Оол М.Х. Курган Аржан – могила «царя» раннескифского времени // УЗ ТНИИЯЛИ. Кызыл, 1973. Вып. XVI. С. 191–206.
- Грязнов М.П., Маннай-Оол М.Х. Курган Аржан по раскопкам 1973–1974 гг. // УЗ ТНИИЯЛИ. Кызыл, 1975. Вып. XVII. С. 185–197.
- Гуляев В.И. Проблемы интерпретации погребального обряда в археологии // КСИА. М., 1990. Вып. 201. С. 103–109.
- Гуляев В.И. Погребальная обрядность: структура, семантика и социальная интерпретация (введение в дискуссию) // РА. 1993. № 1. С. 76–77.
- Гуляев В.И. Погребальная обрядность: структура, семантика и социальная интерпретация (введение в дискуссию, ч. II) // РА. 1995. № 2. С. 84–85.
- Гуляев В.И., Ольховский В.С. Круглый стол «Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений» // РА. 1999. № 1. С. 246–250.
- Гуляев В.И., Каменецкий И.С., Ольховский В.С. Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. 248 с.
- Гуляев В.И., Ольховский В.С. Погребальные памятники и погребальная обрядность: проблемы анализа и интерпретации // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 10–18.
- Гуляева Н.П. К проблеме палеосоциологических реконструкций // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 55–59.
- Гуляева Н.П. О методике палеодемографических реконструкций // Социогенез в Северной Азии: Мат. 3-й Всерос. конф. Иркутск, 2009. С. 6–7.
- Гумилев Л.Н. Удельно-лестничная система у тюрок в VI–VIII вв. (К вопросу о ранних формах государственности) // СЭ. 1959. №3. С. 11–25.
- Гумилев Л.Н. Хунну. Срединная Азия в древние времена. М., 1960. 292 с.
- Гумилев Л.Н. Орды и племена у древних тюрок и уйгуров // Материалы по отделению этнографии Географического общества СССР: Доклады за 1958–1961 гг. Л., 1961. Ч. I. С. 15–26.
- Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1967. 525 с.
- Гумилев Л.Н. Выступление на симпозиуме «Проблемы этнографии и антропологии аридных зон» // Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук. М., 1970. Т. 10. С. 502–504.
- Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 764 с.
- Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993. 527 с.
- Гумилев Л.Н. Древнемонгольская религия // Гумилев Л.Н. Древний Тибет. М., 1994. С. 289–297.
- Гуревич А.Я. Некоторые нерешенные проблемы социальной структуры дофеодального общества. Индивид и общество // Средние века. М., 1968. Вып. 31. С. 64–67 (обсуждение докл. – С. 68–76).
- Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. 223 с.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972 (2-е изд. 1984). 350 с.
- Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // ВФ. 1988. №1. С. 56–79.
- Гуревич А.Я. Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории // Вестник АН СССР. 1989а. №7. С. 71–78.
- Гуревич А.Я. Проблемы ментальностей в современной историографии // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. М.: Наука, 1989б. Вып. 1. С. 75–89.
- Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // ВФ. 1990а. №4. С. 23–35.
- Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // ВФ. 1990б. №11. С. 31–34.
- Гуревич А.Я. От истории ментальности к историческому синтезу // Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993а. С. 16–29.
- Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993б. 328 с.
- Гуревич А.Я. Культура средневековья и историк конца XX века // История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций. М., 1998. С. 210–318.
- Гуревич А.Я. «Генезис феодализма» и генезис медиевиста. Злые мемуары в роли предисловия // Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 1: Древние германцы. Викинги. М.; СПб., 1999. С. 5–22.
- Гуревич А.Я. От пира к лену // Одиссей. Человек в истории 1999. Трапеза. М., 1999а. С. 7–13.
- Гуревич А.Я. Феодальное средневековье: что это такое? Размышление медиевиста на грани веков // Одиссей. Человек в истории. 2002. Слово и образ в средневековой культуре. М., 2002. С. 261–293.
- Гуревич А.Я. Феодализм перед судом историков, или о средневековой крестьянской цивилизации // Одиссей. Человек в истории. 2006. Феодализм перед судом историков. М., 2006. С. 11–49.
- Гусакова М.Г. К вопросу о социальной стратификации зарубинецкого общества (по материалам погребений) // Социальная дифференциация общества (поиск археологических критериев). М., 1993. С. 93–105.
- Гусева Н. К вопросу о ритуальных напитках древних скотоводов евразийских степей и Центральной Азии // Информационный бюллетень. Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии. М., 1983. Вып. 3–4. С. 89–95.
- Гуцалов С.Ю. Курган раннескифского времени на Илеке // Археологические памятники Оренбуржья. 1998. Вып. 2. С. 127–136.
- Гуцалов С.Ю. Древние кочевники Южного Приуралья VII–I вв. до н.э. Уральск, 2004. 136 с.
- Гуцалов С.Ю. Погребальные памятники кочевой элиты Южного Приуралья в середине I тыс. до н.э. // Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. №2. С. 75–92.
- Гущина И.И., Засецкая И.П. «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб., 1994.
- Давыдова А.В. О классификации памятников хунну // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975. С. 34–35.
- Давыдова А.В. Об общественном строе хунну // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 141–145.
- Давыдова А.В. К вопросу о роли оседлых поселений в кочевом обществе сыонну // КСИА. М., 1978. Вып. 154. С. 55–59.
- Давыдова А.В. О социальной характеристике населения Забайкалья по данным Иволгинского могильника // СА. 1982. № 1. С. 132–142.

- Давыдова А.В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье. Л., 1985. 112 с.
- Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. Иволгинское городище. СПб., 1995. Т. 1. 287 с.
- Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. Иволгинский могильник. СПб., 1996. Т. 2. 176 с.
- Данилов С.В. К проблеме городов Хунну // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 20–22.
- Данилов С.В. Города в кочевых обществах Центральной Азии // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ; Чита, 2002. С. 143–149.
- Данилов С.В. Города в кочевых обществах Центральной Азии. Улан-Удэ, 2004. 202 с.
- Данилов С.В. К вопросу о социальной организации кочевых обществ Центральной Азии // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. Ч. I. С. 233–235.
- Данилов С.В. К вопросу о традициях градостроительства кочевников Центральной Азии // Монгольская империя и кочевый мир. Улан-Удэ, 2005а. Кн. 2. С. 182–192.
- Даньшин А.В. Государство и право киданьской империи Великое Ляо. Кемерово, 2006. 180 с.
- Дашковский П.К. Космологическая модель пазырыцкого кургана // Четвертые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1997. С. 44–47.
- Дашковский П.К. Проблемы изучения социальной организации пазырыкцев Горного Алтая // Пятые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 2000. С. 40–42.
- Дашковский П.К. К вопросу о служителях культа в пазырыцком обществе // Историко-культурное наследие Северной Азии: итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий. Барнаул, 2001. С. 316–319.
- Дашковский П.К. Проблема реконструкции социальной организации кочевников Горного Алтая скифской эпохи в творчестве С.И. Руденко // Гуманитарные исследования на пороге нового тысячелетия. Барнаул, 2001а. С. 109–112.
- Дашковский П.К. Некоторые аспекты структуралистского подхода К. Леви-Стросса к изучению феномена «mentalite» // Гуманитарные исследования на пороге нового тысячелетия. Барнаул, 2001б. С. 52–54.
- Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрения населения Горного Алтая скифского времени: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2002. 27 с.
- Дашковский П.К. К вопросу о соотношении категорий «менталитет» и «ментальность»: историко-философский аспект // Философские дескрипты. Вып. 2. Барнаул, 2002а. С. 36–43.
- Дашковский П.К. О военной структуре «пазырыцкого общества» // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Барнаул, 2003. С. 56–60.
- Дашковский П.К. Особенности социальной структуры «пазырыцкого» общества Горного Алтая // Социогенез Северной Азии: прошлое, настоящее, будущее: Мат. регион. науч.-практ. конф. Иркутск, 2003а. С. 61–66.
- Дашковский П.К. Представления о пространстве и времени у кочевников Горного Алтая пазырыцкого периода // Интеграция археологических и этнографических исследований: Тр. XI Междунар. семинара. Омск, 2003б. С. 94–98.
- Дашковский П.К. Синкретизм религиозно-мифологической системы и служители культа у кочевников Горного Алтая скифской эпохи // Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2003в. №11. С. 59–72.
- Дашковский П.К. Формирование элиты кочевников Горного Алтая в скифскую эпоху // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. Ч. I. С. 239–246.
- Дашковский П.К. О сакрализации правителей государственных образований кочевников Центральной Азии // Древние кочевники Центральной Азии (история, культура, наследие): Мат. междунар. науч. конф. Улан-Удэ, 2005а. С. 63–67.
- Дашковский П.К. Итоги и перспективы изучения культуры енисейских кыргызов на Алтае и сопредельных территориях // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2007а. Вып. 5. С. 135–144.
- Дашковский П.К. К вопросу об изучении религиозной системы кыргызов Южной Сибири и Центральной Азии // Алтае-Саянская горная страна и истории освоения ее кочевниками. Барнаул, 2007б. С. 65–69.
- Дашковский П.К. Сакрализация правителей кочевых обществ Южной Сибири и Центральной Азии в древности и средневековье // Известия АлтГУ. Барнаул, 2007в. №4(2). С. 46–52.
- Дашковский П.К. Памятники эпохи средневековья Чинетинского археологического микрорайона в Северо-Западном Алтае: предварительные итоги исследования и интерпретация // Труды II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. М., 2008. Т. II. С. 216–219.
- Дашковский П.К. Религиозный аспект политической культуры и служители культа у кочевников Центральной Азии в хуннско-сяньбийско-жужанский период // Известия АлтГУ. Сер.: История. Барнаул, 2008а. №4(2). С. 36–45.
- Дашковский П.К. Служители культов у тюрок Центральной Азии в эпоху Средневековья // Известия АГУ. Серия: История, политология. 2009. №4–1 (64). С. 65–71.
- Дашковский П.К. Начальный этап формирования религиозной элиты у кочевников Центральной Азии: к постановке проблемы // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2009а. С. 119–125.
- Дашковский П.К., Мейкшан И.А. Актуальные проблемы изучения мировоззрения хунну Центральной Азии // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. Томск, 2008. С. 278–282.
- Дашковский П.К., Серегин Н.Н. Кенотафы кочевников Алтая в эпоху поздней древности и раннего средневековья // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул, 2008. Вып. II. С.83–100.
- Дашковский П.К., Тишкин А.А. Социальное развитие кочевников Алтая в скифскую эпоху // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 74–81.
- Дашковский П.К., Тишкин А.А. Социальная структура населения Горного Алтая в скифскую эпоху // Монгольская империя и кочевый мир. Улан-Удэ, 2004. С. 49–76.
- Дашковский П.К., Тишкин А.А. Горный Алтай в скифскую эпоху // Социальная структура ранних кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005. С. 82–109.
- Дашковский П.К., Усова И.А. Реконструкция женского головного убора из могильника азырыцкой культуры Ханкариский дол // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2009а. С. 125–128.
- Дёмин М.А. История археологического изучения Алтая (дооктябрьский период): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1981. 22 с.
- Десятчиков Ю.М. Сарматы на Таманском полуострове // СА. 1973. №4. С. 69–80.
- Дженито Б. Археология и современные концепции социальной организации кочевников // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1: Савроматская эпоха. М., 1994. С. 11–19.

- Длужневская Г.В. Сопроводительный инвентарь и вопросы половозрастной дифференциации древнетюркского общества (по материалам погребального обряда) // Из истории Сибири. Томск, 1976. Вып. 21. С. 193–200.
- Длужневская Г.В. Еще раз о Кудыргинском валуне (К вопросу об иконографии Умай у древних тюрков) // Тюркологический сборник 1974. М., 1978. С. 230–237.
- Длужневская Г.В. Погребально-поминальная обрядность енисейских кыргызов в свете этнографических данных // УЗ ТНИИЯЛИ. Сер. историческая. Кызыл, 1995. Вып. XVIII. С. 137–156.
- Длужневская Г.В. Комплекс древнетюркского времени на могильнике Улуг-Бюк-II // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск, 2000. С. 178–188.
- Длужневская Г.В. Древности восточной части Евразии в материалах научного архива Института истории материальной культуры РАН. СПб., 2005. 140 с.
- Длужневская Г.В., Савинов Д.Г. Этапы жизни ученого // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. Мат. Всерос. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения А.Д. Грача. СПб., 1998. С. 7–9.
- Дмитриев С.В. Некоторые тенденции кочевого общества // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 31–33.
- Дмитриев С.В. Политическая культура тюрко-монгольских кочевников в историко-этнографической перспективе // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 220–242.
- Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. Новосибирск, 1990. 164 с.
- Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья. Киев, 1986. 140 с.
- Добролюбский А.О. О реконструкции социальной структуры общества кочевников средневековья по данным погребального обряда // Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1978. С. 107–119.
- Добролюбский А.О. О принципах социологической реконструкции по данным погребального обряда // Теория и методы археологических исследований. Киев, 1982. С. 54–68.
- Добролюбский А.О. Обзор археологических интерпретаций погребальной обрядности (к истории вопроса в англоязычной археологической литературе) // Исследование социально-исторических проблем в археологии. Киев, 1987. С. 107–118.
- Досымбаева А.М. Мемориальные памятники тюрков Жетьюсу по материалам святилища Мерке // Известия Министерства образования и науки республики Казахстан, Национальной академии наук РК. Сер. общественные науки. 2000. № 1. С. 64–78.
- Досымбаева А.М. Мерке – сакральная земля тюрков Жетьюсу. Алматы, 2002. 108 с.
- Досымбаева А.М. Западный Тюркский каганта: культурное наследие казахской степи. Алматы, 2006. 168 с.
- Досымбаева А.М. О символике сосуда в тюркском прикладном искусстве и его связи с идеей сакрализации пространства // Кадырбаевские чтения 2007: Мат. междунар. конф. Актобе, 2007. С. 238–242.
- Древние культуры Бертековской долины (Горный Алтай, плоскогорье Укок) / Деревянко А.П., Молодин В.И., Савинов Д.Г. и др. Новосибирск, 1994. 224 с.
- Дробышев Ю.А. Эволюция материальной и духовной культуры // ВИ. 2006. № 1. С. 106–120.
- Дубровский И.В. Как я понимаю феодализм // Одиссей. Человек в истории. 2006. Феодализм перед судом историков. М., 2006. С. 50–62.
- Дулов В.И. Пережитки общинно-родового строя и родового быта у тувинцев в XIX – начале XX в. // СЭ. 1951. № 4. С. 57–76.
- Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы (XIX – начало XX в.). М., 1956. 606 с.
- Думан Л.И. Общественный строй сяньби и тоба в III–IV вв. // Вопросы истории и историографии Китая. М., 1968. С. 45–87.
- Думан П.И. Учение о сыне Неба и его роль во внешней политике Китая (с древности до Нового времени) // Китай: традиции и современность. М., 1976. С. 28–51.
- Дьяконов И.М. Пути истории: от древнейшего человека до наших дней. М., 1994. 384 с.
- Дьяконова В.И. Большие курганы-кладбища на могильнике Кокэль // ТТКАЭЭ. Л., 1970. Т. III. С. 80–209.
- Дьяконова В.П. Археологические раскопки на могильнике Кокэль в 1962 г. // ТТКАЭЭ. Л. 1970а. Т. III. С. 210–238.
- Дьяконова В.П. Об одной категории социальной иерархии шаманов // УЗТНИИЯЛИ. Кызыл, 1973. Вып. XVI. С. 222–227.
- Дьяконова В.П. Культурная скульптура могильника Кокэль // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург (К 70-летию со дня рождения А.Д. Грача). СПб., 1998. С. 189–192.
- Дьяконова В.П. Заметки к погребальному обряду «кокэльцев» // Евразия сквозь века (К 60-летию Д.Г. Савинова). СПб., 2001. С. 183–186.
- Дюби Ж. Трехчастная модель или представления средневекового общества о самом себе. М., 2000.
- Е Лун-ли. История государства киданей: Пер. с кит., комм. В.С. Таскина. М., 1979.
- Евтюхова Л.А., Киселев С.В. Чаа-гас у села Копены // Труды ГИМ. М., 1940. Вып. XI. С. 21–54.
- Евтюхова Л.А., Киселев С.В. Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. // Работы археологических экспедиций: (Труды ГИМ. Вып. XVI). М., 1941. С. 75–118.
- Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948. 111 с.
- Евтюхова Л.А. О племенах Центральной Азии в IX в. // СА. 1957. №2. С. 205–227.
- Егоров В.Л. Причины возникновения городов у монголов в XIII–XIV вв. // История СССР. 1969. №4. С. 39–49.
- Егоров В.Л. Государственное и административное устройство Золотой Орды // ВИ. 1972. №2. С. 32–42.
- Елагина Н.Г. Письменные источники о социальных категориях в Скифии VI–V вв. до н.э. // Историко-археологический сборник. М., 1962. С. 94–96.
- Елагина Н.Г. О родоплеменной структуре скифского общества по материалам четвертой книги Геродота // СЭ. 1963. №3. С. 76–82.
- Елин В.Н. Погребальные комплексы предтюркского времени – новый тип памятников Горного Алтая // Проблемы археологии степной Евразии. Кемерово, 1987. Ч. II. С. 137–139.
- Елин В.Н. О социальной структуре населения гунно-сарматского времени Восточного Алтая (предварительные наблюдения) // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 119–121.
- Елин В.Н. Кок-пашский тип памятников предтюркского времени в Горном Алтае // Проблемы древней и средневековой истории Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1990. С. 119–136.
- Ельницкий Л.А. Некоторые проблемы истории скифской культуры (О кн. Б.Н. Гракова, Скифы, Київ, 1947) // ВДИ. 1948. №2. С. 95–101.
- Ельницкий Л.А. Скифия евразийских степей: историко-археологический очерк. Новосибирск, 1977. 256 с.

- Еренов А.Е. Очерки по истории феодальных отношений у казахов. Алма-Ата, 1960 (1961). 158 с.
- Ермоленко Л.Н. Манихейство и скульптура уйгурского периода Тувы // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Томск, 1990. С. 122–124.
- Ермоленко Л.Н. Представление древних тюрков о войне // ALTAICA II. М., 1998. С. 48–66.
- Ермоленко Л.Н. Средневековые каменные изваяния казахстанских степей (типология, семантика в аспекте военной идеологии и традиционного мировоззрения). Новосибирск, 2004. 132 с.
- Жамцарано Ц., Турунов А. Обзорные памятники писаного права монгольских племен // Сборник трудов профессоров и преподавателей Государственного Иркутского университета. Иркутск, 1921. Вып. 1. С. 1–13.
- Железчиков Б.Ф. Вероятная численность савромато-сарматов Южного Приуралья и Заволжья в VI в. до н.э. – I в. н.э. по демографическим и экологическим данным // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984. С. 65–68.
- Железчиков Б.Ф. История изучения археологических памятников савроматской эпохи // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. М., 1994а. Вып. I. Савроматская эпоха. С. 27–38.
- Железчиков Б.Ф. Общая характеристика исходных признаков погребального обряда савроматского времени // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. I: Савроматская эпоха. М., 1994б. С. 127–152.
- Жук А.В. Дебют ИКСа // IV исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1997. С. 53–56.
- Жуковская Н. Буддизм в истории монголов и бурят: политический и культурный аспекты // Буддийский мир. М., 1994. С. 6–16.
- Жумаганбетов Т.С. Проблемы формирования и развития древнетюркской системы государственности и права VI–XII вв. Алматы, 2003. 432 с.
- Жушиховская И.С. Керамика как индикатор культовой жизни древних обществ (по материалам янковской культуры Приморья) // Социогенез Северной Азии: прошлое, настоящее, будущее: Мат. регион. науч.-практ. конф. Иркутск, 2003. С. 70–74.
- Заднепровский Ю.А. Некоторые проблемы методики археологического изучения ранних кочевников Средней Азии // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975. С. 11–14.
- Заднепровский Ю.А. Взаимодействие кочевников и древних цивилизаций и этническая история Средней Азии // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 257–264.
- Заднепровский Ю.А. Новая археологическая культура ранних кочевников Восточного Тянь-Шаня // Северная Евразия от древности до средневековья. СПб., 1992. С. 95–97.
- Заднепровский Ю.А. Ранние кочевники Памира // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992а. С. 95–100.
- Заднепровский Ю.А. Ранние кочевники Семиречья и Тянь-Шаня // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992б. С. 73–87.
- Зайберт В.Ф. К проблеме степной цивилизации // Маргулановские чтения. Петропавловск, 1992. С. 21–22.
- Залеская В.Н., Львова З.А., Маршак Б.И. Перещепинское сокровище // Сокровища хана Кубрата. СПб., 1997. С. 18–26.
- Залкинд Е.М. Изучение генезиса феодализма у бурят // Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. М., 1969. С. 253–265.
- Залкинд Е.М. Общественный строй бурят в XVIII – первой половине XIX в. М., 1970. 400 с.
- Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV–V вв.). СПб., 1994. 224 с.
- Зданович Д.Г. Синташтинское общество: социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы. Челябинск, 1997. 93 с.
- Зиманов С.З. К вопросу о праве феодальной собственности в Казахстане // Вестник АН Казахской ССР. Алма-Ата, 1952. № 4. С. 94–103.
- Златкин И.Я. К вопросу о сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов // ВИ. 1955. № 4. С. 72–80.
- Златкин И.Я. Очерки новой и новейшей истории Монголии. М., 1957. 300 с.
- Златкин И.Я. А. Тойнби об историческом прошлом и современном положении кочевых народов // ВИ. 1971. № 2. С. 88–102.
- Златкин И.Я. Концепция истории кочевых народов А. Тойнби и историческая действительность // Современная историография стран зарубежного Востока. Проблемы социально-политического развития. М., 1971а. С. 131–193.
- Златкин И.Я. Некоторые проблемы социально-экономической истории кочевых народов // НАА. 1973. № 1. С. 61–71.
- Златкин И.Я. Основные закономерности развития феодализма у кочевых скотоводческих народов // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982. С. 255–268.
- Зубов А.П., Павлова О.И. Религиозные аспекты политической культуры древнего Востока: образ царя // Религии древнего Востока. М., 1995. С. 35–84.
- Зубова А.В. Палеодемография ирменской культуры Кузнецкой котловины // Современные проблемы археологии России: Мат. Всерос. археол. съезда. Новосибирск, 2006. Т. I. С. 375–377.
- Зуев В.Ю. М.И. Ростовцев и неизвестные главы книги «Сифия и Боспор» // ВДИ. 1989. №1. С. 208–210.
- Зуев В.Ю. Исповедальные пути божественного всадника (по материалам ковровых полотен и погребального обряда в Пазырыке) // Северная Азия от древности до средневековья. СПб., 1992. С. 131–134.
- Зуев В.Ю. К вопросу о «савроматской культуре» (по поводу кн.: Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. I: Савроматская эпоха. М., 1994. 223 с.
- Зуев В.Ю. Научный миф о «савроматских жрицах» // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: Мат. междунар. конф. СПб., 1996а. С. 54–68.
- Зуев В.Ю. Материалы к истории изучения прохоровских курганов в Оренбуржье. СПб., 2003. 72 с.
- Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы, 2002. 338 с.
- Иванов С.А. Миссия восточнохристианской церкви к славянам и кочевникам: эволюция методов // Славяне и их соседи. Вып. 10: Славяне и кочевой мир. М., 2001. С. 16–40.
- Ивлиев А.Л. Городища киданей // Материалы по древней и средневековой археологии юга Дальнего Востока СССР и смежных территорий. Владивосток, 1983. С. 120–133.
- Ивлиев А.Л. Кидани на Дальнем Востоке // Восточная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1986. С. 21–24.
- Иессен А.А. Археологические исследования Кабардино-Балкарии (Значение древних памятников Республики) // Материалы по археологии Кабардино-Балкарии (МИА. №3). М.; Л., 1941. С. 7–40.

- Из истории древних культов Средней Азии. Христианство. Ташкент, 1994. 120 с.
- Из ответов папы Николая I на вопросы болгар... // Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3-х т. Т. I: Эпоха феодализма. Минск, 1987. С. 34–36.
- Ильинская В.А. К вопросу о развитии общественных отношений в Скифии // Тезисы докладов VI научной конференции института, прочитанных на секционных заседаниях (КСИА. Вып. 2). Киев, 1953. С. 38–40.
- Ильинская В.А. Скифские курганы у г. Борисполя // Советская археология. 1966. №3. С. 152–171.
- Ильинская В.А. Скифы днепровского лесостепного Левобережья. Киев, 1968. 268 с.
- Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII–VI вв. до н.э.). Киев, 1975. 224 с.
- Ильинская В.А. Выступление на круглом столе «Дискуссионные проблемы отечественной скифологии» // НАА. 1980. №5. С. 121–123.
- Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., Тереножкин А.И. Курганы VI в. до н.э. у с. Матусов // Скифия и Кавказ. Киев, 1980. С. 31–69.
- Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII–IV вв. до н.э. Киев, 1983. 380 с.
- Ильясов С.И. О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Киргизии // Материалы объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент, 1955. С. 43–49.
- Иностранцев К. Хунну и гунны (разбор теорий о происхождении народа хунну из китайских летописей, о происхождении гуннов и о взаимоотношениях этих двух народов. 2-е изд. доп. Л., 1926. 152 с.
- Искендеров А.А. Историческая наука на пороге XXI века // ВИ. 1996. №4. С. 12–27.
- История Алтая. Барнаул, 1883. Ч. I. 185 с.
- История Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удэ, 1951. Т. I. 574 с.
- История Востока. Т. II: Восток в средние века. М., 1995/2000. 717 с.
- История Востока. Т. I: Восток в древности. М., 1997/2000. 688 с.
- История Казахской ССР. Алма-Ата, 1957. Т. I. 609 с.
- История Киргизии. Фрунзе, 1956. Т. I. 426 с.
- История ментальностей, историческая антропология 6 Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. 255 с.
- История Монгольской Народной Республики. 3-е изд. М., 1983. 661 с.
- История Сибири. Л., 1968. Т. I. 454 с.
- История Туркменской ССР: С древнейших времен до конца XVIII в. Ашхабад, 1957. Т. I, кн. I. 459 с.
- История Узбекской ССР. Ташкент, 1955. Т. I, кн. I. 746 с.
- История Украинской ССР. Киев, 1953. 838 с.
- История в XXI веке: Историко-антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества (Материалы международной интернет-конференции, проходившей 20.03 – 14.05.2001 на информационно-образовательном портале www.auditorium.ru) / Под ред. В.В.Керова. М., 2001.
- Итина М.А. Реконструкция некоторых первобытных обрядов методом аналогий // Этнография и археология Средней Азии. М., 1979. С. 15–19.
- Итина М.А. Ранние саки Приаралья // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 31–47.
- Итина М.А., Яблонский Л.Т. Саки Нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный тагискен). М., 1997. 187 с.
- Ито Ш. Схема для сравнительного исследования цивилизации // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Новосибирск, 2001. Вып. 2: Структуры истории. С. 345–354.
- К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной западной исторической мысли. Томск, 1994. 316 с.
- Кадырбаев А.Ш. К вопросу о государственности найманов и киданей накануне монгольского нашествия // Маргулановские чтения. Алма-Ата, 1989. С. 40–45.
- Кадырбаев М.К. О некоторых памятниках ранних кочевников Центрального Казахстана // Известия АН Казахской ССР. Сер. История, археология и этнография. Алма-Ата, 1958. Вып. 1(6). С. 95–104.
- Кадырбаев М.К. Памятники ранних кочевников Центрального Казахстана // ТИИАЭ: Археология. Алма-Ата, 1959. Т. VII. С. 162–202.
- Кадырбаев М.К. Курганные некрополи верховьев р. Илек // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984. С. 84–93.
- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К. Захоронения воинов сарматского времени на левобережье р. Илек // Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата, 1976. С. 137–156.
- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К. Погребение жрицы, обнаруженное в актюбинской области // Ранние кочевники (КСИА. Вып. 154). М., 1978. С. 65–70.
- Казанский М.М. Могилы алано-сарматских вождей в IV в. в понтийских степях // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1994. Вып. IV. С. ??–??.
- Калиновская К.П. Скотоводы Восточной Африки в XIX–XX вв.: Хозяйство и социальная организация. М., 1989. 255 с.
- Калиновская К.П. Рец. на кн.: Крадин Н.Н. Кочевые общества. Владивосток, 1992 // ЭО. 1994. № 4. С. 151–155.
- Калиновская К.П., Марков Г.Е. Скотоводы Азии и Африки. Проблемы исторической типологии и периодизации // Вестник МГУ. Сер. VIII: История. М., 1983. № 5. С. 59–72.
- Калиновская К.П., Марков Г.Е. Скотоводы Азии и Африки. Проблемы исторической типологии // Вестник МГУ. Сер. История. 1985. № 5. С. 59–72.
- Каллистов Д.П. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949. 288 с.
- Каллистов Д.П. Северное Причерноморье в античную эпоху. М., 1952. 118 с.
- Каллистов Д.П. Рабство в Северном Причерноморье в V–III вв. до н.э. // Рабство на периферии античного мира. Л., 1968. С. 193–221.
- Каллистов Д.П. Свидетельство Страбона о скифском царе Атее // ВДИ. 1969. №1. С. 124–130.
- Камалов А.К. Древние уйгуры VIII–IX вв. Алматы, 2001. 215 с.
- Каменецкий И.С. Код для описания погребального обряда // Археологические открытия на новостройках. М., 1986. Вып. 1. С. 136–194.
- Каменецкий И.С. Один из факторов искажения погребального обряда // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 137–146.

- Камышев А.М. Местные подражания китайским монетам // Известия Министерства образования и науки республики Казахстан, Национальной Академии наук республики Казахстана. Сер.: Общественные науки. 2000. №1. С. 131–137.
- Капошина С.И. Сарматы на Нижнем Дону // Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л., 1968. С. 163–171.
- Караев О.К. Арабские и персидские источники IX–XII вв. о киргизах и Киргизии. Фрунзе, 1968. 103 с.
- Караев О.К. Письменные источники о государстве Караханидов // Страницы истории и материальной культуры Киргизстана (досоветский период). Фрунзе, 1975.
- Караев О.К. История Караханидского каганата (X – начало XIII вв.). Фрунзе, 1983а. 301 с.
- Караев О.К. Караханиды до оформления Западного и Восточного каганатов // Киргизия при Караханидах. Фрунзе, 1983б. С. 10–49.
- Карнейро Р. Процесс или стадия: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 84–94.
- Карнейро Р.Л. Теория происхождения государства // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006а. С. 55–70.
- Карнейро Р.Л. Было ли вожество сгустком идей? // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006б. С. 211–228.
- Качановский Ю.В. Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства? М., 1971. 288 с.
- Кёстлер А. Тринадцатое колено. Крушение империи хазар и ее наследие. СПб., 2001. 320 с.
- Кильдюшева А.А. Социовозрастные группы женщин по материалам Еловского археологического комплекса // Западная и Южная Сибирь в древности: Сб. науч. тр., посвящ. 60-летию со дня рождения Юрия Федоровича Кирюшина. Барнаул, 2005. С. 80–84.
- Кильдюшева А.А. К вопросу об интерпретации некоторых женских захоронений // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005а. С. 254–258.
- Кильдюшева А.А. Возрастные группы женщин бронзового века Западной Сибири // Современные проблемы археологии России: Мат. Всерос. археол. съезда. Новосибирск, 2006. Т. I. С. 386–388.
- Кильдюшева А.А. О методике изучения положения индивида в социальных структурах древних обществ по материалам погребальных памятников // VII исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск, 2008. С. 226–232.
- Ким О.В. Проблема азиатского способа производства в советской историографии (20-е годы – начало 90-х гг.): Дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 2001. 235 с.
- Киреев С.М. Попытка реконструкции социальных отношений в родовом обществе скифского времени (По материалам могильника Майма-IV на Северном Алтае) // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Томск, 1990. С. 44–45.
- Кириков Е.И. Человек и природа степной зоны: конец X – середина XIX в. (европейская часть СССР). М., 1983. 126 с.
- Кириллов И.И., Ковычев Е.В., Литвинцев А.Ю. Сяньбийские граффити на бересте из могильника Зоргол-I // Древняя и средневековая история Восточной Азии. К 1300-летию образования государства Бохай. Владивосток, 2001. С. 266–272.
- Кирюшин К.Ю., Кондрашов А.В., Семibrатов В.П., Силантьева М.М., Терехина Т.А. Исследование памятников древнетюркского времени на территории Бирюзово-Катуни в 2005 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (Мат. Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2005 г.). Новосибирск, 2005. Т. XI, ч. I. С. 339–343.
- Кирюшин Ю.Ф., Мамадаков Ю.Т. Хуннское влияние на этногенез населения Горного Алтая в конце I тыс. до н.э. // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 43–44.
- Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. I: Культура населения в раннескифское время. Барнаул, 1997. 232 с.
- Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Основные этапы изучения скифской эпохи Горного Алтая // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 70–75.
- Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Шмидт О.Г. Жизненный путь Сергея Ивановича Руденко (1885–1969) // Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул, 2004. С. 9–21.
- Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. II: Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры. Барнаул, 2003. 234 с.
- Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. III: Погребальные комплексы скифского времени Средней Катуни. Барнаул, 2004. 292 с.
- Кирюшин Ю.Ф., Шульга П.И., Дёмин М.А., Тишкин А.А. Исследование и музеефикация «царского» кургана в долине Сентелека // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 2001. Вып. XII. С. 29–36.
- Киселев С.В. Разложение рода и феодализм на Енисее // Известия ГАИМК. М.; Л., 1933. Вып. 65. 34 с.
- Киселев С.В. Курайская степь и Старо-Бардинский район // Археологические исследования в РСФСР 1934–1936 гг.: Краткие отчеты и сведения. М.; Л., 1941. С. 298–304.
- Киселев С.В. Рец на кн.: Бернштам А.Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII вв.: Восточнотюркский каганат и кыргызы. М.; Л., 1946 // ВДИ. 1947. №1. С. 83–90.
- Киселев С.В. Рец. на кн.: Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948 // ВДИ. 1950. №3. С. 107–109.
- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. 642 с.
- Киселев С.В. Древнемонгольские города. М.; Л., 1965. 315 с.
- Кислый А.Е. Палеодемография и возможности моделирования структуры древнего населения // РА. 1995. №2. С. 112–122.
- Китова Л.Ю. Изучение археологии Сибири эпохи палеометалла в 1920–1930-е гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 1993. 22 с.
- Китова Л.Ю. Значение Саяно-Алтайской экспедиции и исследований С.В. Киселева в изучении археологических памятников Сибири // Археолого-этнографический сборник. Кемерово, 2003а. С. 10–38.
- Китова Л.Ю. Иркутская школа археологов и изучение памятников эпохи бронзы и железа (1920–1930-е гг.) // Археология Южной Сибири. Новосибирск, 2003б. С. 32–37.
- Китова Л.Ю. К вопросу о семье и положении женщин у древних кочевников (диахронный срез) // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. С. 258–263.

- Китова Л.Ю. История сибирской археологии (1920–1930-е гг.): изучение памятников эпохи металла. Новосибирск, 2007. 272 с.
- Китова Л.Ю. Забытые архивные материалы о жизни и деятельности М.П. Грязнова // VII исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск, 2008. С. 15–19.
- Классен Х.Дж.М. Проблемы, парадоксы и перспективы неозволюционизма // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 6–23.
- Классен Х.Дж.М. Эволюционизм в развитии // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006а. С. 37–52.
- Классен Х.Дж.М. Было ли неизбежным государством? // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006б. С. 71–84.
- Клейн Л.С. Феномен советской археологии. СПб., 1993. 128 с.
- Кляшторный С.Г. Историко-культурное значение Суджинской надписи // Проблемы востоковедения. М., 1959. №5. С. 162–169.
- Кляшторный С.Г. Предисловие // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1968. Т. V. С. 5–16.
- Кляшторный С.Г. Храм, изваяние, стела в древнетюркских текстах // ТС. 1974. М., 1978. С. 238–255.
- Кляшторный С.Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // ТС. 1977. М., 1981. С. 117–138.
- Кляшторный С.Г. Социальные категории древнетюркского общества в памятниках рунической письменности Киргизии // Культура и искусство Киргизии: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Л., 1983. Вып. 2. С. 30–31.
- Кляшторный С.Г. Рабы и рабыни в древнетюркской общине (по памятникам рунической письменности Монголии) // Древние культуры Монголии. Новосибирск, 1985. С. 159–168.
- Кляшторный С.Г. Основные черты социальной структуры древнетюркских государств Центральной Азии (VI–X вв.) // Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии: проблема социальной мобильности. М., 1986. С. 217–228.
- Кляшторный С.Г. Формы социальной зависимости в государствах кочевников Центральной Азии (конец I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) // Рабство в странах Востока в средние века. М., 1986а. С. 312–339.
- Кляшторный С.Г. Кипчаки в рунических памятниках // TURCOLJGICA 1986. М., 1986б. С. 153–164.
- Кляшторный С.Г. Кто были половцы // ALTAICA II. М., 1998. С. 88–928.
- Кляшторный С.Г. Первый Тюркский каганат // История Востока. Т. 2: Восток в средние века. М., 2000. С. 60–67.
- Кляшторный С.Г. Второй Тюркский каганат // История Востока. Т. 2: Восток в средние века. М., 2000а. С. 151–155.
- Кляшторный С.Г. Уйгурский каганат // История Востока. Т. 2: Восток в средние века. М., 2000б. С. 155–157.
- Кляшторный С.Г. Всадники Кочкорчой долины // Евразия сквозь века: Сб. науч. тр., посвящ. 60-летию со дня рождения Дмитрия Глебовича Савинова. СПб., 2001. С. 213–215.
- Кляшторный С.Г. Древние рунические надписи на Центральном Тянь-Шане // Известия Министерства образования и науки республики Казахстан, Национальной Академии наук РК. Сер.: Общественные науки. 2001а. №1. С. 83–87.
- Кляшторный С.Г. Рунические памятники Таласа: проблема датировки и топографии // Известия Министерства образования и науки республики Казахстан, Национальной Академии наук РК. Сер.: Общественные науки. 2001б. №1. С. 88–91.
- Кляшторный С.Г. Центральная Азия в раннее средневековье // История Казахстана и Центральной Азии. Алматы, 2001в. С. 74–158.
- Кляшторный С.Г. Центральная Азия в эпоху античности // История Казахстана и Центральной Азии. Алматы, 2001г. С. 46–73.
- Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб., 2003. 560 с.
- Кляшторный С.Г. Образ кагана в орхонских памятниках // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 100–103.
- Кляшторный С.Г. Основные этапы политогенеза у древних кочевников Центральной Азии // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2005. Кн. 2. С. 23–43.
- Кляшторный С.Г. Манихейские обитатели в стране Аргу // Известия Министерства образования и науки республики Казахстан, Национальной Академии наук РК. Сер.: Общественные науки. 2006. № 1. С. 122–126.
- Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб., 2006а. 591 с.
- Кляшторный С.Г., Лившиц В.А. Согдийская надпись из Бугута // Страны и народы Востока. М., 1971. Вып. X. С. 121–146.
- Кляшторный С.Г., Лившиц В.А. Открытие и изучение древнетюркских и согдийских этнографических памятников Центральной Азии // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 37–60.
- Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. СПб., 1994. 165 с.
- Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005. 346 с.
- Кляшторный С.Г., Самоу И.У. Новая руническая надпись в Улуг-Хемском районе // УЗТНИИЯЛИ. Кызыл, 1971. Вып. XV. С. 245–249.
- Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2000. 320 с.
- Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2004. 368 с.
- Ковалев А.А. О связях населения Саяно-Алтая и Ордоса в V–III вв. до н.э. // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 73–82.
- Ковалев А.А. О происхождении хунну // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ; Чита, 2002. С. 103–131.
- Ковалевская В.Б. Конь и всадник. М., 1977. 152 с.
- Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы: века и народы. М., 1984. 193 с.
- Ковпаненко Г.Т., Бунятян Е.П. Скифские курганы у с. Ковалевка Николаевской области // Курганы на Южном Буге. Киев, 1978. С. 133–150.
- Ковпаненко Г.Т. Сарматское погребение в Соколовой могиле (предварительная публикация) // Скифия и Кавказ. Киев, 1980. С. 168–183.
- Ковычев Е.В. История Забайкалья I – сер. II тыс. н.э. Иркутск, 1984. 82 с.
- Коган Л.С. Проблемы социально-экономического строя кочевых обществ в историко-экономической литературе (на примере дореволюционного Казахстана): Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 1981. 24 с.

- Кожомбердиев И.К. Катакомбные памятники Таласской долины // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе, 1963. С. 33–77.
- Козин С.А. Сокровенное сказание. М.; Л., 1941. 194 с.
- Козин С.А. Сокровенное сказание монголов. Улан-Удэ, 1990. 169 с. + 147 с.
- Козлов П.К. Северная Монголия – ноин-улинские памятники // Краткие отчеты экспедиции по исследованию Северной Монголии в связи с Монголо-Тибетской экспедицией П.К. Козлова. Л., 1925. С. 1–12.
- Козловская М.В. Антропологическая характеристика скелетных материалов из Скифских курганов Среднего Дона // РА. 1996. №4. С. 141–147.
- Козловская М.В. Опыт индивидуального описания скелетных материалов на примере погребений из курганных могильников скифского времени Терновое-Колбино на Среднем Дону // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 217–228.
- Козьмин Н.Н. К вопросу о турецко-монгольском феодализме. М.; Иркутск, 1934. 150 с.
- Козьмин Н.Н. Классовое лицо «атасы» Йоллыг-тегина, автора орхонских памятников // Сергею Федоровичу Ольденбургу: К 50-летию научно-общественной деятельности. 1882–1932. Л., 1934а. С. 185–196.
- Койчева Е. О характере аристократии в раннефеодальных государствах на Балканах // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987. С. 148–159.
- Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы, основанные на родстве и аграрно-принудительных обществах // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 462–463.
- Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии: Мат. конф. Барнаул, 2004.
- Кондрашов А.В. Изучение погребального обряда и социальной организации населения сросткинской культуры (по материалам археологических памятников юга Западной Сибири середины VIII–XII вв. н.э.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2004. 25 с.
- Кондрашов А.В. Опыт выделения социодиагностирующих признаков инвентаря по материалам погребений сросткинской культуры // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. Барнаул, 2004а. С. 103–107.
- Коновалов П.Б. Погребальные памятники хунну: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1975. 23 с.
- Коновалов П.Б. Погребальные сооружения хунну (по материалам раскопок «рядовых» могил) // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. Новосибирск, 1975а. С. 17–46.
- Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ, 1976. 221 с.
- Коновалов П.Б. Некоторые итоги и задачи изучения хунну // Древние культуры Монголии. Новосибирск, 1985. С. 41–50.
- Коновалов П.Б. О происхождении и ранней истории хунну // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 58–63.
- Коновалов П.Б., Свинин В.В., Зайцев М.А. Могильник Ацай-II и некоторые вопросы изучения плиточных могил Прибайкалья // По следам древних культур Забайкалья. Новосибирск, 1983. С. 85–100.
- Константин Багрянородный. Об управлении империй. М., 1991. 156 с.
- Корневский С.Н. Погребения с каменными топорами эпохи средней бронзы в Центральном Предкавказье // Социальная дифференциация общества (поиск археологических критериев). М., 1993. С. 78–92.
- Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии: Тексты и исследования. М., 1997. 303 с.
- Коробов Д.С. Опыт многомерного статистического анализа материалов могильника Мокрая Балка-I // Компьютеры в археологии. М., 1996. С. 57–75.
- Коробов Д.С. Социальная организация алан Северного Кавказа. IV–XI вв. н.э. М., 2003. 384 с.
- Корогод Е.Н. Археологические данные о социальной структуре средневекового Приольхонья // Социогенез Северной Азии: прошлое, настоящее, будущее: Мат. регион. науч.-практ. конф. Иркутск, 2003. С. 92–98.
- Король Г.Г. Декоративно-прикладное искусство Саяно-Алтая рубежа I–II тыс. н.э. и верования тюрков // Известия АлтГУ. Сер.: История. Барнаул, 2008. Вып. 4(2). С. 98–107.
- Королькова Е.Ф. Ритуальные чаши с зооморфным декором в культуре ранних кочевников // Скифы Северного Причерноморья в VII–IV вв. до н.э.: проблемы палеоэкологии, антропологии и археологии. М., 1999. С. 58–61.
- Коротаев А.В. Апология трайбализма. Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ // Социологический журнал. 1995. №4. С. 68–86.
- Коротаев А.В. Горы и демократия: к постановке проблемы // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995а. С. 77–93.
- Коротаев А.В. Некоторые проблемы социальной эволюции архаических (и не только архаических) обществ // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 1995б. №5. С. 211–220.
- Коротаев А.В. Вождества и племена страны Хашид и Бакил: общие тенденции и факторы эволюции социально-политических систем Северо-Восточного Йемена (X в. до н.э. – XX в. н.э.). М., 1998. 192 с.
- Коротаев А.В. Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ (в основном по материалам Северо-Восточного Йемена) // Альтернативные пути в цивилизации: Монография. М., 2000. С. 256–291.
- Коротаев А.В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М., 2003. 287 с.
- Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Лышша В.А. Альтернативы социальной эволюции // Альтернативные пути в цивилизации: Монография. М., 2000. С. 24–83.
- Корякова Л.Н. Ансамбль некрополя саргатской культуры // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1977. Вып. 14. С. 134–152.
- Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. Свердловск, 1988. 239 с.
- Корякова Л.Н. Социальный тренд в южной части северной Евразии в эпоху бронзы и железа // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2006. №14. С. 5–24.
- Корякова Л.Н. Стратификация, иерархия и власть и становление государств в архаичных обществах // Медиевистика XXI века: проблемы методологии и преподавания. Вып. III: Запад и Восток: власть, собственность, ментальность, особенности исторического развития. Кемерово, 2007. С. 74–93.
- Кочев В.А. Воины в социальной структуре пазырыкского общества // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Весесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 70–71.
- Кочев В.А. Воины пазырыкского общества // Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1990. С. 105–118.

- Кочев В.А. Средний слой пазырыкского общества // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири. Барнаул, 1997. С. 112–114.
- Кочнев Б.Д. Новые нумизматические данные по истории Караханидов второй половины XII – начала XIII в. // Киргизия при Караханидах. Фрунзе, 1983. С. 75–103.
- Кочнев Б.Д. Заметки по средневековой нумизматике Средней Азии (Караханиды) // История материальной культуры Узбекистана. Ташкент, 1987. Вып. 21. С. 156–171.
- Кочнев Б.Д. Нумизматическая история Караханидского каганата (991–1209 гг.). Ч. I: Источниковедческое исследование. М., 2006. 344 с.
- Крадин Н.Н. О критериях периодизации истории кочевников Евразийских степей // Проблемы археологии степей Евразии. Кемерово, 1987. Ч. I. С. 47–49.
- Крадин Н.Н. Кочевая империя как социополитическая система // Проблема археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 19–23.
- Крадин Н.Н. Социально-экономические отношения у кочевников (современное состояние проблемы и ее роль в изучении средневекового Дальнего Востока): Автореф. дис... канд. ист. наук. Владивосток, 1990. 18 с.
- Крадин Н.Н. Экзополитарный способ эксплуатации в обществах кочевников // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири: Тез. докл. конф. Томск, 1990а. С. 22–24.
- Крадин Н.Н. Особенности классообразования и политогенеза у кочевников // Архаическое общество: Узловые проблемы социологии развития. М., 1991. С. 301–324.
- Крадин Н.Н. Кочевые общества (проблемы формационной характеристики). Владивосток, 1992. 240 с.
- Крадин Н.Н. Кочевые общества в контексте стадийной эволюции // ЭО. 1994. №1. С. 62–72.
- Крадин Н.Н. Социальный строй сяньбийской державы // Медиэвистские исследования на Дальнем Востоке России. Владивосток, 1994а. С. 22–36.
- Крадин Н.Н. Введение: От однолинейного взгляда на происхождение государства к многолинейному // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995. С. 7–18.
- Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995а. С. 11–61.
- Крадин Н.Н. Кочевничество в цивилизационном и формационном развитии // Цивилизации. М., 1995б. Вып. 3. С. 164–179.
- Крадин Н.Н. Трансформация политической системы от вождества к государству: монгольский пример. 1180(?)–1206 // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995в. С. 188–198.
- Крадин Н.Н. Эволюция социально-политической организации монголов в конце XII – начале XIII в. // Тайная история монголов: источниковедение, история, филология. Новосибирск, 1995г. С. 48–66.
- Крадин Н.Н. Империя хунну. Владивосток, 1996. 278 с.
- Крадин Н.Н. Легенда о Модэ и образование Хуннской империи // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996а. Ч. I. С. 44–46.
- Крадин Н.Н. Характерные черты кочевых империй // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996б. Ч. I. С. 120–123.
- Крадин Н.Н. «Раннее государство»: ключевые аспекты концепции и некоторые моменты ее истории // Африка: общества, культуры, языки. М., 1998. С. 4–15.
- Крадин Н.Н. Имперская конфедерация хунну: социальная организация суперсложного вождества // Ранние формы социальной организации. СПб., 2000. С. 195–223.
- Крадин Н.Н. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // Альтернативные пути в цивилизации: Монография. М., 2000а. С. 314–336.
- Крадин Н.Н. Кочевники и земледельческий мир: хуннская модель в исторической перспективе // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2000б. №3. С. 5–16.
- Крадин Н.Н. Общественный строй Жужаньского каганата // История и археология Дальнего Востока: к 70-летию Э.В. Шавкунова. Владивосток, 2000в. С. 80–94.
- Крадин Н.Н. Стадийные и цивилизационные особенности кочевых обществ // Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Т. I: Археология. Этнология. Улан-Удэ, 2000г. С. 76–84.
- Крадин Н.Н. Кочевники в мировом историческом процессе // Философия и общество. 2001. №2. С. 108–138.
- Крадин Н.Н. Кочевничество в современных теориях исторического процесса // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001а. С. 369–396.
- Крадин Н.Н. Кочевые империи: генезис, расцвет, упадок // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2001б. №5. С. 21–32.
- Крадин Н.Н. Политическая антропология: Учеб. пособие. М., 2001в. 213 с.
- Крадин Н.Н. Империя хунну. 2-е изд. М., 2001/2002. 312 с.
- Крадин Н.Н. Династия Ляо как кочевая империя // История и культура Востока Азии: Мат. междунар. науч. конф. (г. Новосибирск, 9–11 декабря 2002 г.). Новосибирск, 2002. Т. I. С. 80–83.
- Крадин Н.Н. Престижная экономика и структура власти в кочевых империях // VIII Международный конгресс монголоведов. М., 2002а. С. 72–79.
- Крадин Н.Н. Проблемы исследования социальной структуры Хуннской державы // Археология и культурная антропология Дальнего Востока и Центральной Азии. Владивосток, 2002б. С. 96–111.
- Крадин Н.Н. Социальная структура населения Иволгинского городища // Актуальные проблемы дальневосточной археологии: (Тр. Ин-та истории, археологии и этнографии ДВО РАН). Владивосток, 2002в. Т. XI. С. 235–263
- Крадин Н.Н. Структура «варварской империи»: киданьская династия Ляо (907–1125) // Традиционная культура Востока Азии. Благовещенск, 2002г. Вып. 4. С. 212–227.
- Крадин Н.Н. Структура власти в кочевых империях // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002д. С. 109–128.
- Крадин Н.Н. Новые интерпретации исторического процесса // Вестник ДВО РАН. 2003. №4. С. 72–81.
- Крадин Н.Н. Структура и общественная природа Хуннской империи // ВДИ. 2003а. №4. С. 137–159.

- Крадин Н.Н. Комплексные общества номадов в кросс-культурной перспективе // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 20–49.
- Крадин Н.Н. Кочевничество и теория цивилизаций // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2005. Кн. 2. С. 14–23.
- Крадин Н.Н. Современные данные о происхождении государства // Вестник НГУ. Сер.: История, филология. Новосибирск, 2005а. Т. 4, вып. 1. С. 23–32.
- Крадин Н.Н. Археологические признаки цивилизации // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 184–208.
- Крадин Н.Н. Киданьское градостроительство на территории Монголии // Современные проблемы археологии России. Новосибирск, 2006а. С. 133–135.
- Крадин Н.Н. Кочевники Евразии. Алматы, 2007. 416 с.
- Крадин Н.Н. Современные теории исторического процесса и номадизм // Медиевистика XXI века: проблемы методологии и преподавания. Вып. III: Запад и Восток: власть, социум, ментальность, особенности исторического развития. Кемерово, 2007а. С. 16–45.
- Крадин Н.Н. Чингис-хан и создание монгольской империи // Чингис-хан и судьбы народов Евразии-2: Мат. междунар. науч. конф. Улан-Удэ, 2007б. С. 19–31.
- Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б. Социальная структура хунну Забайкалья. Владивосток, 2004. 106 с.
- Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б. Хуннская культура Забайкалья // Социальная структура ранних кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005. С. 183–199.
- Крадин Н.Н., Коротаев А.В., Бондаренко Д.М. Введение: социальная эволюция, альтернативы и номадизм // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 9–36.
- Крадин Н.Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. М., 2006. 557 с.
- Крадин Н.Н., Тишкин А.А., Харинский А.В. Введение // Социальная структура ранних кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005. С. 6–9.
- Кривцова-Гракова О.А. Погребения поздних кочевников из раскопок в Оренбургском уезде летом 1927 г. // Труды секции археологии Института археологии и искусствознания РАН ИОН. М., 1929. Вып. IV. С. 288–299.
- Кром М.М. Историческая антропология. 2-е изд. СПб., 2004. 168 с.
- Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. 520 с.
- Крушанов А.А. Элиты теории // Философский словарь. М., 2001. С. 684–685.
- Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск, 1984. 230 с.
- Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. Новосибирск, 1987. 301 с.
- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. Новосибирск, 1991. 189 с.
- Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. Новосибирск, 1992. 220 с.
- Кубарев В.Д. Каменные изваяния Алтая: Краткий каталог. Горно-Алтайск, 1997. 184 с.
- Кубарев В.Д. Изваяние, оградка, балбалы (о проблемах типологии, хронологии и семантике древнетюркских поминальных сооружений Алтая и сопредельных территорий) // Алтай и сопредельные территории в эпоху средневековья. Барнаул, 2001. С. 38–41.
- Кубарев В.Д. Сюжеты охоты и войны в древнетюркских петроглифах Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001а. №4. С. 95–107.
- Кубарев В.Д., Баяр Д. Каменные изваяния Шивет-Улана (Центральная Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. №4. С. 74–85.
- Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д. Древнетюркские мемориалы Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. №1. С. 76–95.
- Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1997. 23 с.
- Кубарев Г.В. Халат древних тюрок в Центральной Азии по изобразительным материалам // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. №3. С. 81–88.
- Кубарев Г.В. Доспех древнетюркского знатного воина из Балык-Сёбк // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельной территории. Барнаул, 2002. С. 88–111.
- Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск, 2005. 400 с.
- Кубарев Г.В. Древнетюркские изваяния: воплощение эпических героев или воинов-предков? // Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. №1. С. 136–144.
- Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. Погребение знатного тюрока из Балык-Соока (Центральный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. №4. С. 64–82.
- Куббель Л.Е. Рец. на кн.: А.М. Хазанов. Социальная история скифов. М., 1975 // СЭ. 1978. №6. С. 166–169.
- Куббель Л.Е. Доколониальные политические структуры Африки в западноевропейской историографии // СЭ. 1979. №4. С. 155–186.
- Куббель Л.Е. Потестарная и политическая этнография // Исследования по общей этнографии. М., 1979а. С. 241–277.
- Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. 312 с.
- Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М., 1974. 572 с.
- Кузнецова Т.М. Скифские ритуальные сосуды // КСИА. М., 1988. Вып. 194. С. 17–23.
- Кузнецова Т.М. Пазырык и Мечетсай // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 72–73.
- Кузьмин Н.Ю. Военно-политические события и высшая власть ранних кочевников Саяно-Алтая (опыт реконструкции) // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 23–27.
- Кузьмин Н.Ю. Генезис Саяно-Алтайского шаманизма по археологическим источникам // Северная Азия от древности до средневековья: Тезисы конференции к 90-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб., 1992. С. 125–130.
- Кузьмин Н.Ю. Курганы элиты тагарского общества // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 1994. С. 127–138.
- Кузьмина Е.Е. Рец. на кн.: О.А. Вишневская. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н.э. М., 1973. 160 с. // СА. 1975. №2. С. 287–292.

- Кукушин И.А. Основы социальной организации андроновских племен // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 52–56.
- Кулаков В.И. Социальная стратификация могильника Ирзекапинис // Социальная дифференциация общества (поиск археологических критериев). М., 1993. С. 106–118.
- Кульпин Э.С. Цивилизация Золотой Орды // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 167–186.
- Кульпин-Губайдуллин Э.С. Золотая Орда: Проблемы генезиса Российского государства. 2-е изд. М., 2006. 176 с.
- Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX–XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972. 157 с.
- Кумеков Б.Е. О древнетюркских государственных традициях в Кимакском каганате и Кипчакском ханстве // Известия Национальной Академии наук республики Казахстана. Сер.: Общественные науки. 2003. №1. С. 74–77.
- Курганы левобережного Илека. М., 1993–1995. Вып. 1–3.
- Курочкин Г.Н. Гипотетическая реконструкция погребального обряда скифских царей VIII–VII вв. до н.э. и курган Аржан (к проблеме происхождения скифов) // Скифо-сибирское культурно-историческое единство: Мат. I-й Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1980. С. 105–118.
- Курочкин Г.Н. Евроскифская и тагарская социальные модели // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 36–39.
- Курочкин Г.Н. «Царские» курганы европейской и азиатской Скифии (сравнительный анализ и возможности исторических реконструкций) // Социогенез и культурогенез в историческом аспекте: Мат. метод. семинара ИИМК РАН). СПб., 1991. С. 18–22.
- Курочкин Г.Н. Скифо-сибирский шаманизм (к реконструкции религиозной системы ранних кочевников Саяно-Алтая) // Вторые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1992. Ч. 2. С. 18–22.
- Курочкин Г.Н. Сакральный центр ранних кочевников Алтая (археолого-этнографическая реконструктивная модель) // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. Ч. II: Археология и изучение культурных процессов и явлений. СПб., 1993. С. 93–98.
- Курочкин Г.Н. Путешествие в преисподнюю: шаманские мистерии в глубинах скифского кургана. Скифы. Сарматы. Русь. СПб., 1993а. С. 27–31.
- Курочкин Г.Н. Скифские корни южносибирского шаманизма: попытка нового «прочтения» Пазырыкских курганов // Петербургский археологический вестник. СПб., 1994. Вып. 8. С. 60–68.
- Курьев М.Н. Общественный строй огузов по данным эпоса «Деде-Коркут» // Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук. М., 1970. Т. 10. С. 230–235.
- Куфтин Б.А. Киргиз-казаки: культура и быт (применительно к обстановочному залу «уголок кочевого аула в Казахстане» в Центральном музее народоведения): Этнологические очерки. М., 1926. №2. 48 с.
- Кушаев Г.А. Раннекочевнические курганы в районе Баба-Ата // ТИИАЭ: Археология. Алма-Ата, 1959. Т. VII. С. 242–247.
- Кушнер П. (Кнышев). Очерк развития общественных форм. М., 1926. 580 с.
- Кушнер П. (Кнышев). Горная Киргизия (социологическая разведка). М., 1929. 134 с.
- Кшибеков Д. Кочевое общество: генезис, развитие, упадок. Алма-Ата, 1984. 238 с.
- Кызласов И.Л. Аскизская культура (средневековые хакасы X–XIV вв.) // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 200–207.
- Кызласов И.Л. Древнетюркская руническая письменность Евразии: Опыт палеографического анализа. М., 1990. 179 с.
- Кызласов И.Л. Аскизская культура Южной Сибири X–XIV вв. // Свод археологических источников. М., 1983. Вып. 3. С. 3–18.
- Кызласов И.Л. Руническая письменность евразийских степей. М., 1994. 327 с.
- Кызласов И.Л. Погребальный обряд и уровень развития общества. От отдельного к общему // РА. 1995. №2. С. 99–103.
- Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. I. Древнейшие свидетельства об армии // РА. 1996. №3. С. 73–89.
- Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. II. Древнейшие свидетельства о письменности // РА. 1998а. №1. С. 71–83.
- Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. III. Древнейшие свидетельства о письменности // РА. 1998б. №2. С. 68–86.
- Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. IV. Образованность в эпоху рунического письма // РА. 1999. №4. С. 99–118.
- Кызласов И.Л. Смена мировоззрения в Южной Сибири в раннем средневековье // Древние цивилизации Евразии. История и культура. М., 2001. С. 243–270.
- Кызласов И.Л. Манихейские монастыри на Горном Алтае // Древности Востока. М., 2004. С. 111–129.
- Кызласов И.Л. Новые основы тюркской рунологии // КСИА РАН. М., 2004а. Вып. 217. С. 15–20.
- Кызласов И.Л. Особенности тюркской рунологии // Центральная Азия: источники, история, культура: Мат. Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию докт. ист. наук Е.А. Давидович и действительного члена Академии наук Таджикистана, академика РАЕН, докт. ист. наук Б.А. Литвинского. М., 2005. С. 427–449.
- Кызласов Л.Р. К истории шаманских верований на Алтае // КСИИМК. М., 1949. Вып. XXIX. С. 48–54.
- Кызласов Л.Р. Памятники поздних кочевников Центрального Казахстана (из работ Центрально-Казахстанской археологической экспедиции в 1948 году) // Известия АН Казахской ССР. Сер.: Археологическая. Алма-Ата, 1951. Вып. 3, №108. С. 53–63.
- Кызласов Л.Р. Этапы древней истории Тувы (в кратком изложении) // Вестник МГУ. Сер.: Ист.-филол. М., 1958. №4. С. 71–99.
- Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960. 197 с.
- Кызласов Л.Р. Тува в период тюркского каганата (VI–VIII вв.) // Вестник МГУ. Сер. IX: Исторические науки. М., 1960. №1. С. 51–76.
- Кызласов Л.Р. Начало сибирской археологии // Историко-археологический сборник. М., 1962. С. 42–47.
- Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М., 1969. 212 с.
- Кызласов Л.Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М., 1979. 207 с.
- Кызласов Л.Р. Древнехакасская культура чаатас VI–IX вв. // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 46–52.
- Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура древних хакасов (IX–X вв.) // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981а. С. 54–59.
- Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века. М., 1984. 168 с.

- Кызласов Л.Р. Городская цивилизация тюркоязычных народов Южной Сибири // Историко-культурные связи народов Южной Сибири. Абакан, 1988. С. 57–63.
- Кызласов Л.Р. Городская цивилизация тюркоязычных народов Южной Сибири в эпоху средневековья // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 400–406.
- Кызласов Л.Р. О шаманстве древних тюрков // СА. 1990. №3. С. 261–264.
- Кызласов Л.Р. Древняя и средневековая история Южной Сибири (в кратком изложении). Абакан, 1991. 57 с.
- Кызласов Л.Р. Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. Красноярск, 1992. 223 с.
- Кызласов Л.Р. Открытие государственной религии древних хакасов. Мани и манихейство // Труды Хакасской археологической экспедиции. М.; Абакан, 1999. Вып. 6. С. 10–41.
- Кызласов Л.Р. Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности Южной Сибири. М., 2001. 176 с.
- Кызласов Л.Р. Сибирское манихейство // ЭО. 2001а. № 5. С. 83–90.
- Кызласов Л.Р. Манихейское мировоззрение и раннесредневековые археологические памятники // Степи Евразии в древности и средневековье. К 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб., 2003. Кн. II. С. 249–250.
- Кызласов Л.Р. Киселёв Сергей Владимирович (1905–1962 гг.) // Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2003а. №11. С. 20–22.
- Кызласов Л.Р. Тюрко-иранские культурные взаимосвязи в эпоху средневековья (язык, письменность, культура) // Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2004. № 12. С. 123–133.
- Кызласов Л.Р. Городская цивилизация Срединной и Северной Азии. Исторические и археологические исследования. М., 2006. 360 с.
- Кычанов Е.И. К вопросу об уровне социально-экономического развития татаро-монгольских племен в XII в. // Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии. Улан-Батор, 1974. С. 165–170.
- Кычанов Е.И. Сирийское несторианство в Китае и Центральной Азии // Палестинский сборник. Л., 1978. Вып. 2. С. 76–85.
- Кычанов Е.И. О татаро-монгольском улусе в XII в. // Восточная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1986. С. 94–98.
- Кычанов Е.И. Предисловие // MONGOLICA. Памяти академика Бориса Яковлевича Владимирцова. 1884–1931. М., 1986. С. 3–9.
- Кычанов Е.И. Формы ранней государственности у народов Центральной Азии // Северная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1992. С. 44–67.
- Кычанов Е.М. Кочевые государства: от гуннов до маньчжуров. М., 1997. 319 с.
- Кычанов Е.И. Властители Азии. М., 2004. 631 с.
- Кычанов Е.И. Чингисхан (1155/1162–1227 гг.) // Чингисхан и судьбы народов Евразии-2: Мат. междунар. науч. конф. Улан-Удэ, 2007. С. 3–18.
- Кюннер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961. 392 с.
- Ларичева В.Е., Тюрюмина Л.В. Военное дело у киданей (по сведениям из «Ляо ши») // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. Новосибирск, 1975. С. 99–112.
- Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947–1949. №1–4.
- Лашук Л.П. Историческая структура социальных организмов средневековых кочевников // СЭ. 1967. № 4. С. 25–39.
- Лашук Л.П. О характере классовообразования в обществах ранних кочевников // ВИ. 1967а. № 7. С. 105–121.
- Лашук Л.П. Кочевничество и общие закономерности истории // СЭ. 1973. № 2. С. 83–95.
- Лашук Л.П. Опыт типологии этнических обществ средневековых тюрков и монголов // СЭ. 1968. № 1. С. 95–106.
- Лебедев Г.С. Погребальный обряд как источник социологической реконструкции (по материалам Скандинавии эпохи викингов) // КСИА. М., 1977. Вып. 148. С. 24–30.
- Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1971 гг. СПб., 1992. 464 с.
- Левашова В.П. Два могильника кыргыз-хакасов // Материалы и исследования по археологии Сибири (МИА. №24). М.; Л., 1952. Т. I. С. 121–136.
- Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области (К постановке вопроса) // СЭ. 1955. № 4. С. 3–17.
- Левин Ю.И. Зеркало как потенциальный семиотический объект // УЗ ТГУ. Вып. 831. Т. XXII. Зеркало, семиотика зеркальности. Тарту, 1988. С. 6–24.
- Леонтьев Н.В. О буддийских мотивах в средневековой тюркитике Хакасии (по материалам коллекции Минусинского краеведческого музея) // Историко-культурные связи народов Южной Сибири. Абакан, 1988. С. 184–196.
- Лесков А.М. Богатое скифское погребение из Восточного Крыма // СА. 1968. № 1. С. 158–165.
- Либеров П.Д. Хронология памятников Поднепровья скифского времени // Вопросы скифо-сарматской археологии (по материалам конференции ИИМК АН СССР 1952 г.). М., 1954. С. 132–167.
- Литаврин Г.Г. К проблеме становления Болгарского государства // Советское славяноведение. 1981. № 4. С. 34–43.
- Литаврин Г.Г. Рождение государства Болгария и его борьба с Византийской империей // Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. М., 1987. С. 42–58.
- Литаврин Г.Г. Болгарская зона в VII–XII вв. // История Европы: В 8-ми т. Т. 2: Средневековая Европа. М., 1992. С. 156–162.
- Литаврин Г.Г. Славяне и протоболгары: от хана Аспаруха до князя Бориса-Михаила // Славяне и их соседи. Вып. 10: Славяне и кочевой мир. М., 2001. С. 6–15.
- Литвинский Б.А. Среднеазиатские народы и распространение буддизма (II в. до н.э. – III в. н.э., письменные источники и лингвистические данные) // История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968. С. 128–135.
- Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы (Археологические и этнографические материалы по истории культуры и религии Средней Азии). М., 1978. 266 с.
- Литвинский Б.А. Семиреченские жертвенники (индоиранские истоки сакского культа огня) // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М., 1991. С. 66–87.
- Литвинский Б.А. Буддизм и буддийская культура Центральной Азии // Московское востоковедение: Очерки, исследования, разработки. М., 1997. С. 53–78.
- Литвинский Б.А., Пичилян И.Р. Эллинистический храм Окса. М., 2000. Т. 1. 503 с.
- Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распространение казакских родов на территории бывшей Семипалатинской губернии (с картой) // Записки Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана (бывший Семипалатинский отдел Государственного Русского Географического общества). Семипалатинск, 1929. Т. I, вып. XVIII. С. 34–48.

- Лю Маоцай. Сведения о древних тюрках в средневековых китайских источниках: Пер. с нем. В.Н. Добжанского и Л.Н. Ермоленко. М., 2002. 126 с.
- Мажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. М., 1977. 188 с.
- Мажитов Н.А. К изучению общественного строя племен Южного Урала эпохи средневековья // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, 1981. С. 76–77.
- Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала. VIII–XII вв. М., 1981а. 165 с.
- Майский И.М. Современная Монголия. Иркутск, 1921. 315 с.
- Макаров Н.П. Общественные отношения и социальная структура кочевых народов Приенисейского края // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. С. 276–283.
- Максименко В.Е. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов-на-Дону, 1983. 224 с.
- Максимова А.Г. Погребение поздних кочевников (по материалам Семиреченской археологической экспедиции 1956 г.) // Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. Алма-Ата, 1960. С. 179–182.
- Максимова А.Г. Подбойные захоронения сакского времени // Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. Алма-Ата, 1969. С. 136–145.
- Максимова А.Г. Цепочка курганов из могильника Караша-I // По следам древних культур Казахстана (ТИИАЭ. Т. VIII). Алма-Ата, 1970. С. 121–128.
- Малов С.Е. Шаманский камень «яда» у тюрков Западного Китая // СЭ. 1947. № 1. С. 151–160.
- Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 1951. 112 с.
- Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М.; Л., 1952. 114 с.
- Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л., 1959. 108 с.
- Малышев В.Ю., Яблонский Л.Т. Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время. М., 2007. 368 с.
- Малышкин А.Г. Уйгурские государства в IX–XII вв. Новосибирск, 1983. 297 с.
- Мамадаков Ю.Т. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1990. 16 с.
- Мамадаков Ю.Т. Отражение общественных отношений булан-кобинского населения в детских погребениях // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири. Барнаул, 1997. С. 159–161.
- Мандельштам А.М. Могильник Аймырлыг // Ученые записки Научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Кызыл, 1971. Вып. XV. С. 264–268.
- Мандельштам А.М. Об одном археологическом аспекте кушанской проблемы // Проблемы советской археологии. М., 1978. С. 133–141.
- Мандельштам А.М. Исследования на могильном поле Аймырлыг (Некоторые итоги и перспективы) // Древние культуры евразийских степей (по материалам археологических работ на новостройках). Л., 1983. С. 25–33.
- Мандельштам А.М. Ранние кочевники скифского периода на территории Тувы // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 178–196.
- Мандельштам А.М., Стамбульник Э.У. Гунно-сарматский период на территории Тувы // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 196–205.
- Маннай-Оол М.Х. Тува в скифское время (уюкская культура). М., 1970. 118 с.
- Маннай-Оол М.Х. Вклад кочевых народов Саяно-Алтайского нагорья в центральноазиатскую цивилизацию // Культура тувинцев: традиция и современность. Кызыл, 1989. С. 5–9.
- Маргулан А.Х. Третий сезон археологической работы в Центральном Казахстане // Известия АН Казахской ССР. Сер.: Археологическая. Алма-Ата, 1951. Вып. 3, № 108. С. 22–38.
- Марей А.В. Особенности социально-политической организации печенегов // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 337–343.
- Марков Г.Е. Кочевники Азии (хозяйственная и общественная структура скотоводческих народов Азии в эпохи возникновения, расцвета и заката кочевничества): Автореф. дис. ... док. ист. наук. М., 1967. 31 с.
- Марков Г.Е. Некоторые проблемы общественной организации кочевников Азии // СЭ. 1970. № 6. С. 74–89.
- Марков Г.Е. Некоторые проблемы возникновения и ранних этапов кочевничества в Азии // СЭ. 1973. № 1. С. 101–113.
- Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976. 318 с.
- Марков Г.Е. Социальная структура и общественная организация древних и средневековых кочевников // Скифо-сибирское культурно-историческое единство: Мат. I Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1980. С. 21–29.
- Марков Г.Е. Скотоводческое хозяйство и кочевничество. Дефиниции и терминология // СЭ. 1981. № 4. С. 83–94.
- Марков Г.Е. Проблемы дефиниций и терминологии скотоводческого хозяйства и кочевничества (ответ оппонентам) // СЭ. 1982. №4. С. 80–87.
- Марков Г.Е. Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. М., 1989. С. 54–75.
- Марков Г.Е. Из истории изучения номадизма в отечественной литературе: вопросы теории // Восток. 1998. № 6. С. 110–123.
- Марков Г.Е., Масанов Н.Э. Значение относительной концентрации и дисперсности в хозяйственной и общественной организации кочевых народов // Вестник МГУ. Сер. 8: История. М., 1985. № 4. С. 86–96.
- Марков Г.Е., Язлыев Ч.Я. «Нравы и обычаи туркмен-салыр». Забытый источник по социально-экономической истории и этнографии Туркмении // Вестник МГУ. Сер. VIII: История. М., 1977. № 1. С. 65–74.
- Марр Н.Я. Сухум и Туапсе (Кемерский и скифский вклады в топонимику Черноморского побережья) // Известия РАИМ. Л., 1928. Т. IV. С. 299–310.
- Марсадалов Л.С. К вопросу о семантике кургана Аржан // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. 2. С. 33–35.
- Марсадалов Л.С. Курган Аржан. Хронология, алтайские и европейские аналогии // Проблемы скифо-сарматской археологии северного Причерноморья. Запорожье, 1989а. С. 81–82.
- Марсадалов Л.С. История и итоги изучения археологических памятников Алтая VIII–IV вв. до н.э. (от истоков до начала 80-х гг. XX в.). СПб., 1996. 100 с.
- Марсадалов Л.С. Социальные ранги курганов кочевников Алтая VI–IV вв. до н.э. // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири. Барнаул, 1997. С. 96–99.
- Марсадалов Л.С. Пазырыкский феномен и попытки его объяснения // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 104–107.

- Марсадолов Л.С. Археологические памятники IX–III вв. до н.э. горных районов Алтая как культурно-исторический источник (феномен пазырыкской культуры): Автореф. дис. ... докт. культурологии. СПб., 2000. 51 с.
- Марсадолов Л.С. Социогенез народов Сибири в контексте общей евразийской истории I тыс. до н.э. // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. С. 283–288.
- Мартынов А.И. Скифо-сибирское единство как историческое явление // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Кемерово, 1980. С. 11–20.
- Мартынов А.И. Историография археологии Сибири: Учеб. пособие. Кемерово, 1983. 76 с.
- Мартынов А.И. О древней государственности у народов Южной Сибири (к постановке проблемы) // Проблемы этногенеза и этнической истории аборигенов Сибири. Кемерово, 1986. С. 28–33.
- Мартынов А.И. О хозяйственном освоении территорий скифо-сибирского мира // Исторический опыт освоения Сибири. Новосибирск, 1986б. С. 11–14.
- Мартынов А.И. О развитии государственности у древних народов Сибири // Известия СО АН СССР. Сер.: История, филология, философия. Новосибирск, 1988. Вып. 1, №3. С. 23–28.
- Мартынов А.И. О степной скотоводческой цивилизации I тыс. до н.э. // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 284–291.
- Мартынов А.И. Скифо-сибирский мир – степная скотоводческая цивилизация – V–II вв. до н.э. // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Кемерово, 1989а. Ч. I. С. 5–12.
- Мартынов А.И. О начале сибирского средневековья // Культурогенетические процессы в Западной Сибири: Тез. докл. Томск, 1993. С. 28–29.
- Мартынов А.И. Вопросы истории и археологии сибирского средневековья // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I–II тысячелетии н.э. Кемерово, 1994. С. 4–9.
- Мартынов А.И. О начале гуннской эпохи в степной Евразии (к проблеме номадизма) // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 33–36.
- Мартынов А.И. Два этапа развития степной скотоводческой цивилизации // Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии: Мат. междунар. конф. Т. I. Археология. Этнология. Улан-Удэ, 2000. С. 80–84.
- Мартынов А.И. Модель цивилизационного развития в степной Евразии // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 7–15.
- Мартынов А.И., Алексеев В.П. История и палеоантропология скифо-сибирского мира. Кемерово, 1986. 142 с.
- Мартынов А.И., Герман П.В. Сакральная архитектура кургана (проектное моделирование в древности) // Историко-культурное наследие Северной Азии. Барнаул, 2001. С. 92–97.
- Мартынов А.С. Представления о природе и мироустроительных функциях власти китайских императоров в официальной традиции // НАА. 1972. № 5. С. 72–82.
- Маршак Б.И., Распопова В.И. Кочевники и Согд // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 416–426.
- Масанов Н.Э. Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVII–XIX веков. Алма-Ата, 1984. 176 с.
- Масанов Н.Э. Элементы структуры социальной организации кочевников Евразии // Этнические культуры Сибири. Проблемы эволюции и контактов. Новосибирск, 1986. С. 20–26.
- Масанов Н.Э. Дисперсное состояние – всеобщий закон жизнедеятельности кочевого общества // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1987. С. 21–24.
- Масанов Н.Э. Типология скотоводческого хозяйства кочевников Евразии // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 55–81.
- Масанов Н.Э. Специфика общественного развития кочевников-казахов в дореволюционный период: историко-экологические аспекты номадизма: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 1991. 47 с.
- Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности кочевничества). Алматы; М., 1995. 320 с.
- Массон В.М. Экономика и общественный строй древних обществ. М., 1976. 191 с.
- Массон В.М. Древние кочевники Азии и мировой исторический процесс // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства: Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1979. С. 2–4.
- Массон В.М. Номады и древние цивилизации: динамика и типология взаимодействий // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 81–89.
- Массон В.М. Развитие элитарных структур как прогрессивный феномен скифской эпохи // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 1994. С. 1–8.
- Массон В.М. Древние кочевники Азии: общие черты развития // Вопросы археологии Казахстана. Алматы; М., 1998. Вып. 2. С. 89–95.
- Матвеева Н.П. Следы отправления культов в погребальных памятниках саргатской культуры // Жречество и шаманство в скифскую эпоху. СПб., 1996. С. 81–83.
- Матвеева Н.П. Гипотетическая структура саргатского населения Западной Сибири // Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация: Мат. Всерос. конф. Кемерово, 1997. С. 55–59.
- Матвеева Н.П. Социальный анализ саргатских могильников // Социально-экономические структуры древнего населения Западной Сибири. Тез. докл. Барнаул, 1997а. С. 129–132.
- Матвеева Н.П. Социальное развитие народов западносибирской лесостепи в раннем железном веке // Сибирь в панораме тысячелетий: Мат. междунар. симпозиума. Новосибирск, 1998. Т. 1. С. 359–366.
- Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры древнего населения Западной Сибири (ранний железный век лесостепной и подтаежной зон): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Новосибирск, 1998а. 46 с.
- Матвеева Н.П. Материалы к палеодемографии саргатской культуры // Вестник археологии, антропологии, этнографии. Тюмень, 1999. Вып. 2. С. 87–97.
- Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке (лесостепная и подтаежная зоны). Новосибирск, 2000. 399 с.
- Матвеева Н.П. Фортификационное строительство у населения саргатской культуры: социальный аспект // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 91–95.

- Матвеева Н.П. Саргатская культура Западной Сибири // Социальная структура ранних кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005. С. 129–151.
- Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Берлина С.В., Чикунов И.Ю. Комплексное изучение условий жизни древнего населения Западной Сибири (проблемы социокультурной адаптации в раннем железном веке). Новосибирск, 2005. 228 с.
- Матренин С.С. Особенности ориентации погребенных в курганах Горного Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. // Культура Сибири и сопредельных территорий в прошлом и настоящем. Мат. РАЭСК XLIII. Томск, 2003. С. 234–236.
- Матренин С.С. Некоторые аспекты палеосоциологического анализа детских погребений булан-кобинской культуры // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. Барнаул, 2004. С. 81–86.
- Матренин С.С. Социально обусловленные признаки погребального обряда населения Горного Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. // Студент и научно-технический прогресс: Мат. XLII Междунар. студ. конф. Новосибирск, 2004а. С. 40–42.
- Матренин С.С. Социальная структура населения Горного Алтая хунно-сяньбийского времени (по материалам погребальных памятников булан-кобинской культуры II в. до н.э. – V в. н.э.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2005. 24 с.
- Матренин С.С. Опыт социальной интерпретации археологических материалов Горного Алтая хунно-сяньбийского времени (историографический аспект) // Историко-культурное наследие народов Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2005а. Вып. 3–4. С. 165–173.
- Матренин С.С., Тишкин А.А. Булан-кобинская культура Горного Алтая // Социальная структура ранних кочевников Евразии: монография. Иркутск, 2005. С. 152–182.
- Матющенко В.И. История археологических исследований Сибири (до конца 1930-х гг.). Омск, 1992. 138 с.
- Матющенко В.И. О формировании методологической базы отечественной археологии 1920-1930 гг. // Маргулановские чтения: Тезисы. Петропавловск, 1992а. С. 18–20.
- Матющенко В.И. Сибирская археология в 1940–1950-е годы. Омск, 1994. 101 с.
- Матющенко В.И. Археология Сибири 1960 – начала 1990-х годов: проблематика. Омск, 1995. 128 с.
- Матющенко В.И. Сергей Иванович Руденко и его роль в сибирской археологии // Интеграция археологических и этнографических исследований: Мат. III всероссийского научного семинара, посвященного 110-летию со дня рождения С.И. Руденко. Омск, 1995а. Ч. I. С. 5–6.
- Матющенко В.И. 300 лет истории сибирской археологии. Омск, 2001а. Т. I. 178 с.
- Матющенко В.И. 300 лет истории сибирской археологии. Омск, 2001б. Т. II. 173 с.
- Мачинский Д.А. Земля аримаспов в античной традиции и «простор ариев» в Авесте // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: Мат. междунар. конф. СПб., 1996. С. 3–13.
- Мачинский Д.А. Сакральные центры Скифии близ Кавказа и Алтая и их взаимосвязи в конце IV – сер. I тыс. до н.э. // Стратум: структуры и катастрофы. Сборник символической и индоевропейской истории. Археология, источниковедение, лингвистика. СПб., 1997. С. 73–94.
- Медведев А.П. Об атрибуции «жреческих» погребений у ираноязычных номадов II–I тысячелетия до н.э. // Исторические записки. Воронеж, 1996. Вып. 1.
- Медведев А.П. Развитие иерархических структур в обществах эпохи бронзы и раннего железного века юга Восточной Европы (опыт диахронного историко-археологического анализа) // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 136–154.
- Медведев А.П. «Степная цивилизация» или «степная альтернатива цивилизации»? // Исторические записки: Научные труды ист. фак-та Воронеж. гос. ун-та. 2003. Вып. 9. С. 101–114.
- Медникова М.Б., Лебединская Г.В. Пепкинский курган: данные антропологии к интерпретации погребений // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 200–216.
- Мелко М. Природа цивилизаций // Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, макро-социологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 306–327.
- Мелюкова А.И. Войско и военное искусство скифов (главы из диссертационной работы) // М.; Л., 1950. С. 30–41.
- Мелюкова А.И. Скифские курганы Тираспольщины (по материалам И.Я. и Л.П. Стемпковских) // Памятники скифо-сарматской культуры (МИА. №115). М., 1962. С. 114–166.
- Мелюкова А.И. Вооружение скифов. Археология СССР. Свод археологических источников. М., 1964. Вып. Д 1-4. 91 с.
- Мелюкова А.И. Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка. М., 1975. 260 с.
- Мелюкова А.И. Краснокутский курган. М., 1981. 112 с.
- Мелюкова А.И. Общественный быт // Археология СССР с древнейших времен до средневековья: Т. 20: Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 122–124.
- Мелюкова А.И. Скифские памятники степи Северного Причерноморья // Археология СССР с древнейших времен до средневековья: Т. 20: Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989а. С. 51–67.
- Мерперт Н.Я., Шелов Д.Б. Археология и историческая наука (некоторые итоги развития советской археологии) // ВИ. 1961. №12. С. 63–85.
- Мелюкова А.И., Яценко И.В. Скифская проблема в трудах Б.Н. Гракова // Граков Б.Н. Ранний железный век (культура Западной и Юго-Восточной Европы). М., 1977. С. 214–222.
- Мерперт Н.Я. К столетию со дня рождения Сергея Владимировича Киселева // Археология Южной Сибири: Идеи, методы, открытия. Красноярск, 2005. С. 10–15.
- Миллер А.А. Моздок // Археологические исследования в РСФСР 1934–1936 гг.: Краткие отчеты и сведения. М.; Л., 1941. С. 238–242.
- Миняев С.С. Культуры скифского времени Центральной Азии и сложение племенного союза сюнну // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства. Кемерово, 1979. С. 74–76.
- Миняев С.С. К проблеме происхождения сюнну // Информационный бюллетень международной ассоциации по изучению культур Центральной Азии. М., 1985. Вып. 9. С. 70–78.
- Миняев С.С. К топографии курганных памятников сюнну // КСИА. М., 1985а. Вып. 184. С. 21–27.

- Миняев С.С. Дырестуйский могильник и проблема периодизации сюннских памятников // Скифо-сибирская культурно-историческая общность. Раннее и позднее средневековье. Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1987. С. 117–119.
- Миняев С.С. Комплекс погребений 44 в Дырестуйском комплексе // КСИА. М., 1988. Вып. 194. С. 99–103.
- Миняев С.С. Сюнну // Исчезнувшие народы. М., 1988. С. 113–125.
- Миняев С.С. «Социальная планиграфия» погребальных памятников сюнну // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения). Кемерово, 1989. Ч. I. С. 114–117.
- Миняев С.С. Дырестуйский могильник. СПб., 1998. 233 с.
- Миняев С.С. Крупнейший хуннский курган на территории России // Природа. 2006. №8 / http://vivovoco.astronet.ru/VV/NEWS/PRIRODA/2006/PR_08_06.HTM#06 – [электронный ресурс] 10.07.2008 г.
- Миняев С.С., Сахаровская Л.М. Сопроводительные захоронения «царского» комплекса могильника Царам // Археологические вести. СПб., 2002. №9. С. 86–118.
- Миняев С.С., Сахаровская Л.М. Ханьская колесница из могильника Царам // Археологические вести. СПб., 2007а. №14. С. 130–140.
- Миняев С.С., Сахаровская Л.М. Элитный комплекс захоронения сюнну в пади Царам // Российская археология. 2007б. №1. С. 159–166.
- Мионов В.С. К вопросу о реконструкции этносоциальной структуры населения долины Средней Катунь в скифское время // Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 1997. №2. С. 13–19.
- Мионов В.С. К вопросу о социальной структуре населения долины Средней Катунь в скифское время // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Мат. Всерос. конф. Барнаул, 1997а. С. 106–108.
- Митько О.А. Обряд трупосожжения у енисейских кыргызов // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и центральной Азии в I–II тысячелетиях н.э. Кемерово, 1994. С. 207–227.
- Михайлин В.Ю. Золотое лекало судьбы: пектораль из Толстой Могила и проблема интерпретации скифского звериного стиля // Власть. Судьба. Интерпретация культурных кодов. Саратов, 2003. С. 6–179.
- Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм с древности до XVIII в. Новосибирск, 1980. 320 с.
- Михайлов Т.М. О шаманизме в Центральной Азии и Южной Сибири // Историко-культурные связи народов Центральной Азии. Улан-Удэ, 1983. С. 36–47.
- Михайлов Ю.И. Мирозрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха бронзы). Кемерово, 2001. 363 с.
- Михайлов Ю.И. О критериях определения погребений с особым социальным статусом в андроновских могильниках Западной Сибири // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 28–31.
- Мкрытычев Т.К. Буддийское искусство Средней Азии I–X вв. М., 2002. 286 с.
- Могильников В.А. Кимаки // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 43–45.
- Могильников В.А. Памятники кочевников Сибири и Средней Азии X–XII вв. // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981а. С. 190–193.
- Могильников В.А. Тюрки // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981б. С. 29–43.
- Могильников В.А. Древнетюркские курганы Кара-Кобы-I // Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1990. С. 137–185.
- Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э. М., 1997. 195 с.
- Могильников В.А. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX–XI веках. М., 2002. 362 с.
- Мозолевский Б.Н. Курган Толстая Могила близ г. Орджоникидзе на Украине (предварительная публикация) // СА. 1972. №3. С. 268–308.
- Мозолевский Б.Н. Скифские погребения у с. Нагорное близ г. Орджоникидзе на Днепропетровщине // Скифские древности. Киев, 1973. С. 187–234.
- Мозолевский Б.Н. Скифский курган у с. Ерковцы на Киевщине // Скифский мир. Киев, 1975. С. 211–217.
- Мозолевский Б.Н. Товста могила. Киев, 1979. 248 с.
- Мозолевский Б.Н. Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникидзе на Днепропетровщине (раскопки 1972–1975 гг.) // Скифия и Кавказ. Киев, 1980. С. 70–154.
- Моисеев В.А. К вопросу о государственности у казахов накануне и в начальный период присоединения Казахстана к России // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 1995. № 4. С. 22–26.
- Мокрынин В.П. Сведения о тюркских народах в минералогическом трактате Ал-Бируни // Киргизия при Караханидах. Фрунзе, 1983. С. 203–220.
- Молодин В.И. Пазырыкская культура: проблемы этногенеза, этнической истории и исторических судеб // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 4. С. 131–142.
- Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И. Погребальные комплексы древнетюркского времени могильника Кальджин-8 (некоторые технологические и этнокультурные реконструкции) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 2. С. 71–86.
- Молодин В.И., Полосьмак Н.В., Новиков А.В., Богданов Е.С., И.Ю. Слюсаренко, Черемисин Д.В. Археологические памятники плоскогорья Укок (Горный Алтай). Новосибирск, 2004. 256 с.
- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Культуры гуннского времени на плоскогорье Укок (Южный Алтай) // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 47–49.
- Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М., 1996. 360 с.
- Мотов Ю.А. Героизация и обожествление вождей ранних кочевников Алтая (по материалам могильника Пазырык) // Военное искусство кочевников Центральной Азии и Казахстана (эпоха древности и средневековья). Алматы, 1998. С. 28–48.
- Мотов Ю.А. К изучению идеологии раннесредневекового населения Алтая (по материалам могильника Кудыргэ) // История и археология Семиречья. Алматы, 2001. Вып. 2. С. 63–86.
- Мошкова М.Г. Савроматские погребения северо-восточного Оренбуржья // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени. М., 1972. С. 49–78.
- Мошкова М.Г. Познесарматские погребения Лебедевского могильника в Западном Казахстане // Железный век (КСИА, вып. 170). М., 1982. С. 80–87.

- Мошкова М.Г. Хозяйство, общественные отношения, связи сарматов с окружающим миром // Археология СССР с древнейших времен до средневековья, Т. 20: Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 202–214.
- Мошкова М.Г. Предисловие // Археология СССР с древнейших времен. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 5–8.
- Мошкова М.Г. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Савроматская эпоха. М., 1994. Вып. I.
- Мошкова М.Г. Кочевники Южного Приуралья в системе культур скифо-сакского мира. Россия и Восток: проблемы взаимодействия // Культура древних народов степной Евразии и феномен протогородской цивилизации Южного Урала: Мат. III Междунар. науч. конф. Челябинск, 1995. Ч. V, кн. 2. С. 66–71.
- Мошкова М.Г. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. II: Раннесарматская культура (IV-I вв. до н.э.). М., 1997.
- Мошкова М.Г. Археологические памятники южноуральских степей второй половины II – IV вв. н.э.: позднесарматская или гунно-сарматская культура (погребальный обряд) // РА. 2007. №3. С. 103–110.
- Мошкова М.Г., Малашев В.Ю., Болелов С.Б. Проблема культурной атрибуции памятников евразийских кочевников последних веков до н.э. – IV в. н.э. // Российская археология. 2007. №3. С. 111–120.
- Мункуев Н.Ц. Новые материалы о положении монгольских аратов в XIII–XIV вв. // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1970. С. 382–418.
- Мурзин В.С. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса. Киев, 1990. 88 с.
- Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев, 1984. 134 с.
- Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. Новосибирск, 1999. 232 с.
- Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху палеометалла (Северная и Центральная Азия). Новосибирск, 2008. 364 с.
- Мышкин В.Н. Конструкция курганной насыпи и «тризны» как показатели социальной стратификации ранних кочевников Южного Приуралья // Маргулановские чтения. Петропавловск, 1992. С. 100–102.
- Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики) / В.И. Молодин, М.И. Воевода, Т.А. Чикишева и др. (Интеграционные проекты СО РАН. Вып. 1). Новосибирск, 2003. 286 с.
- Неверов С.В., Горбунов В.В. Сросткинская культура (периодизация, ареал, компоненты) // Пространство культуры в археологическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории. Томск, 2001. С. 176–178.
- Нестеров С.П. Древнетюркские погребения у с. Бетени // Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1999. С. 91–102.
- Нестеров С.П., Худяков Ю.С. Погребение с конем могильника Тепсей-III // Сибирь в древности. Новосибирск, 1979. С. 88–92.
- Неусыхин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному // ВИ. 1967. №1. С. 75–87.
- Неусыхин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному // Средние века. М., 1968. Вып. 31. С. 45–48 (обсуждение докл. С. 48–63).
- Неусыхин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития родоплеменного строя к раннефеодальному (на материалах истории Западной Европы раннего средневековья) // Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968а. С. 596–617.
- Нефедова Е.С., Переводчикова Е.В., Свиридов А.В. Материалы к биографии Б.Н. Гракова // Граковские чтения на кафедре археологии МГУ, 1989–1990 гг.: Материалы семинара по скифо-сарматской археологии. М., 1992. С. 4–8.
- Нечаева Л.Г. Погребения с трупосожжением могильника Тора-Тал-Арты // ТТКАЭЭ. М.; Л., 1966. Т. II. С. 108–142.
- Никитин А.Б. Христианство в Центральной Азии (древность и средневековье) // Восточный Туркестан и Средняя Азия. М., 1984. С. 121–137.
- Никифоров Н.Н. Восток и всемирная история. М., 1975. 351 с.
- Николаев Н.Н. Планиграфия курганов-кладбищ могильника Кокэль как хронологический признак // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 49–51.
- Николаев Н.Н. Культура населения Тувы первой половины I тыс. н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2001. 22 с.
- Николаева И.Ю., Карначук Н.В. История западноевропейской средневековой культуры: Учеб. пособие по курсу. Ч. I: Культура варварского мира. Томск, 2001. 85 с.
- Николаева И.Ю. Проблемы методологического синтеза и верификации в истории в свете современных концепций бесознательного. Томск, 2005. 298 с.
- Новгородова Э.А. Памятники изобразительного искусства древнетюркского времени на территории МНР // Тюркологический сборник 1977 г. М., 1981. С. 203–218.
- Новгородова Э.А. Древняя Монголия (Некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории). М., 1989. 383 с.
- Новикова О.И. Погребения младенцев: археологические факты и их историко-этнографические интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (Мат. Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2005 г.). Новосибирск, 2005. Т. XI, ч. I. С. 441–445.
- Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. 264 с.
- Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории западной Евразии // Славяне и их соседи. Вып. 10: Славяне и кочевой мир. М., 2001. С. 59–72.
- О патриархально-феодальных отношениях у кочевых народов (к итогам обсуждения) // ВИ. 1956. №1. С. 75–80.
- Обельченко О.В. Курганные могильники эпохи кушан в Бухарском оазисе // Центральная Азия в кушанскую эпоху: (Тр. междунар. конф. по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху). Л., 1974. Т. 1. С. 202–209.
- Обельченко О.В. Некоторые черты общественного строя ранних кочевников долины Зарафшана по археологическим данным // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975. С. 81–83.
- Овчинников И.В., Друзина Е.Б., Овчинникова О.И., Козельцев В.Л., Ребров Л.Б., Быков В.А. Молекулярно-генетический анализ делеционно-инсерционного полиморфизма региона V мтДНК у мумии из погребального комплекса Ак-Алаха-3 // Феномен алтайских мумий. Новосибирск, 2000. С. 222–223.
- Овчинникова Б.Б. К вопросу о захоронениях в подбоях в средневековой Туве // Этногенез и этническая история народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1983. С. 60–68.
- Овчинникова Б.Б. Тюркские древности Саяно-Алтая VI–X вв. Свердловск, 1990. 150 с.

- Овчинникова Б.Б. Поминальный обряд древних тюрков Саяно-Алтая // Тюркологический сборник 2002–2004. М., 2005. С. 152–165.
- Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. М., 1989. 162 с.
- Окладников А.П. Очерки из истории западных бурят-монголов (XVII–XVIII вв.). Л., 1937. 427 с.
- Ольховский В.С. Погребально-поминальная обрядность населения Степной Скифии VII–III вв. до н.э. М., 1991. 258 с.
- Ольховский В.С. Погребальная обрядность и социологические реконструкции // РА. 1995. № 2. С. 85–98.
- Ольховский В.С. К изучению скифской ритуалистики: посмертное путешествие // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 114–136.
- Оразбаев А.М. Могильник Жеты-Жар-I // История материальной культуры Казахстана. Алма-Ата, 1980. С. 62–70.
- Очир-Горяева М.А. Савроматы Геродота // Скифия и Боспор: Мат. конф. памяти академика М.И. Ростовцева. Новочеркасск, 1993. С. 132–140.
- Очилов Н. Астраханские калмыки и их экономическое состояние в 1915 г. Астрахань, 1925. 73 с.
- Павленко Ю.В. Пути становления раннеклассовых социальных организмов // Исследование социально-исторических проблем в археологии. Киев, 1987. С. 72–85.
- Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества (генезис и пути развития). Киев, 1989. 285 с.
- Павленко Ю.В. Происхождение цивилизации: альтернативные пути // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 115–128.
- Папин Д.В. Хозяйственно-культурный центр как отражение определенного уровня развития древнего общества // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 34–38.
- Папин Д.В. Проблема социогенеза древних обществ поздней бронзы степной полосы Западной Сибири // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. С. 292–294.
- Патриарх Никифор. Бревиарий // Свод древнейших письменных известий о славянах. VII–IX вв. М., 1995. Т. II. С. 221–247.
- Певцов М.В. Путешествия по Китаю и Монголии. М., 1951. 286 с.
- Першиц А.И. О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевников-скотоводов // ВИ. 1955. № 11. С. 71–75.
- Першиц А.И. Пережитки дуальной организации в родоплеменной структуре арабов // СЭ. 1958. № 3. С. 85–93.
- Першиц А.И. Некоторые особенности классообразования в обществах кочевых скотоводов // Возникновение раннеклассового общества. М., 1973.
- Першиц А.И. Некоторые особенности классообразования и раннеклассовых отношений у кочевников-скотоводов // Становление классов и государств. М., 1976. С. 280–313.
- Першиц А.И., Хазанов А.М. Община у кочевников скотоводов // НАА. 1979. № 2. С. 51–60.
- Першиц А.И. Вождество // Свод этнографических понятий и терминов. Социально-экономические отношения и соционормативная культура. М., 1986. С. 3–7.
- Першиц А.И. Вождество // Народы мира: Историко-этнографический справочник. М., 1988. С. 579.
- Першиц А.И. Война и мир на пороге цивилизации. Кочевые скотоводы // Першиц А.И., Семенов Ю.И., Шнирельман В.А. Война и мир в ранней истории человечества. М., 1994. Т. II, ч. 3. С. 129–231.
- Петри Б.Э. Территориальное родство у северных бурят // Известия Биолого-географического научно-исследовательского института при Государственном Иркутском университете. Иркутск, 1924. Вып. VIII. С. 3–32.
- Петри Б.Э. Элементы родовой связи у северных бурят // Сибирская живая старина. Иркутск, 1924. Вып. II. С. 98–126.
- Петри Б.Э. Внутриродовые отношения у северных бурят // Известия Биолого-географического научно-исследовательского института при Государственном Иркутском университете. Иркутск, 1926 (1925). Т. II, вып. 3. С. 1–72.
- Петров К.И. Очерки социально-экономической истории Киргизии VI – начала XIII в. Фрунзе, 1981. 233 с.
- Петров К.И. Социально-политическая история Киргизии средних веков (исследование комплекса проблем): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Новосибирск, 1986. 31 с.
- Петрухин В.Я. К вопросу о сакральном статусе хазарского кагана: традиции и реальность // Славяне и их соседи. Вып. 10: Славяне и кочевой мир. М., 2001. С. 73–78.
- Пиков Г.Г. Некоторые вопросы экономики западных киданей // Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980. С. 127–135.
- Пиков Г.Г. О столице государства западных киданей // Восточная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1986. С. 24–33.
- Пиков Г.Г. Западные кидани. Новосибирск, 1989. 196 с.
- Пиков Г.Г. К проблеме влияния китайского права на уголовное законодательство киданей // Северная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1992. С. 84–93.
- Пиков Г.Г. Место и роль города в кочевой империи (на примере государства Ляо) // VII Арсеньевские чтения: (Тез. докл. регион. науч. конф. по проблемам истории, археологии и краеведения). Уссурийск, 1994. С. 158–162.
- Пиков Г.Г. Специфика конфессиональной ситуации в кочевой империи (на примере Ляо) // Чуждое – чужое – наше. Наблюдения к проблеме взаимодействия культур. Новосибирск, 2000. С. 51–69.
- Пиков Г.Г. Киданское государство Ляо кочевая империя // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 190–203.
- Пиков Г.Г. Киданские этнонимы как отражение конструирования и эволюции этнического самосознания // Народы Евразии. Этнос, этническое самосознание, этничность: проблемы формирования и трансформации. Новосибирск, 2005. С. 10–26.
- Пиков Г.Г. Историописание в кочевых империях (X–XIII вв.) // Вестник НГУ. Сер.: История, филология. Новосибирск, 2006. Т. 5, вып. 1. С. 5–13.
- Пиков Г.Г. О «кочевой цивилизации» и «кочевой империи». Статья первая: «Кочевая цивилизация» // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, филология. Новосибирск, 2009. Т. 8, вып. 1. С. 4–10.
- Пиотровский М.Б. Светское и духовное в теории и практике средневекового ислама // Ислам: Религия, общество, государство. М., 1984. С. 204–211.
- Писаревский Н.П. Изучение истории ранних скотоводческих обществ степи и лесостепи Евразии в советской археологии середины 20-х – первой половины 30-х гг.: Дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 1989. 201 с.
- Писаревский Н.П. Изучение истории ранних скотоводческих обществ степи и лесостепи Евразии в советской археологии середины 20-х – первой половины 30-х гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 1989а. 24 с.

- Писаревский Н.П. Социальная организация кочевников в степи и лесостепи Евразии эпохи раннего железного века в советской археологии середины 20-х – первой половины 30-х гг. // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989б. Ч. I. С. 144–147.
- Плетнева С.А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях // Труды Волго-Донской археологической экспедиции (МИА. №62). М.; Л., 1958. Т. I. С. 151–226.
- Плетнева С.А. Кочевнический могильник близ Саркела – Белой Вежи // Труды Волго-Донской археологической экспедиции (МИА. №109). М.; Л., 1963. Т. III. С. 216–259.
- Плетнева С.А. От кочевий к городам (салтово-маяцкая культура). (МИА. №142). М., 1967. 198 с.
- Плетнева С.А. Половецкая земля // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975. С. 260–300.
- Плетнева С.А. Хазары. М., 1976. 92 с.
- Плетнева С.А. Закономерности развития кочевнических обществ в эпоху средневековья // ВИ. 1981. №6. С. 50–63.
- Плетнева С.А. Печенеги, торки, половцы // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981а. С. 213–222.
- Плетнева С.А. Кочевники Средневековья: поиски исторических закономерностей. М., 1982. 188 с.
- Плетнева С.А. Хазары. М., 1986. 92 с.
- Плетнева С.А. Половцы. М., 1990. 208 с.
- Плетнева С.А. Кочевники и раннефеодальные государства степей Восточной Европы // История Европы с древнейших времен до наших дней. Т. II: Средневековая Европа. М., 1992. С. 213–228.
- Плетнева С.А. Кочевое население и феодальные государства Юго-Восточной Европы в X–XIV вв. // История Европы с древнейших времен до наших дней. Т. II: Средневековая Европа. М., 1992а. С. 463–478.
- Плетнева С.А. Возможности выявления социально-экономических категорий по материалам погребальной обрядности // РА. 1993. №4. С. 160–172.
- Повесть временных лет // Сайт «Древнерусская литература» / <http://old-russian.chat.ru>. – [электронный ресурс] 25.05.2008 г.
- Погорельский П., Батраков В. Экономика кочевого аула Киргизстана. (По материалам экспедиционного обследования Средне-Азиатского гос. ун-та, собранным и разработанным под руководством П.В. Погорельского). М., 1930. 291 с.
- Полин С.В. Захоронение скифского воина-дружинника у с. Красный Подол на Херсонщине // Вооружение скифов и сарматов. Киев, 1984. С. 103–119.
- Полищук Т.И., Худяков Ю.С. Детские погребения на чаа-тасе Кезеелиг-Хол (по материалам раскопок Южносибирского отряда в 1986 г.) // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск, 2000. С. 106–116.
- Полосин В.С. Миф. Религия. Государство. Исследование политической мифологии. М., 1999. 440 с.
- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск, 1987. 144 с.
- Полосьмак Н.В. Исследование памятников скифского времени на Укоке // ALTAICA. Новосибирск, 1993. № 3. С. 21–31.
- Полосьмак Н.В. Погребение знатной пазырыкской женщины на плато Укок // Altaica. 1994а. № 4. С. 3–11.
- Полосьмак Н.В. «Стережущие золото грифы» (ак-алахинские курганы). Новосибирск, 1994б. 124 с.
- Полосьмак Н.В. Пазырыкская культура: реконструкция мировоззренческих и мифологических представлений: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Новосибирск, 1997. 54 с.
- Полосьмак Н.В. Пазырыкские аналоги в могилах Синьцзяна // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат. VI годовой итоговой сессии ИАЭ СО РАН. Новосибирск, 1998. Т. VI. С. 337–341.
- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001. 336 с.
- Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д. Раскопки кургана хунну в горах Ноин-Ула, Северная Монголия // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2006. Т. XII, ч. 1. С. 460–462.
- Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н. Изучение погребального сооружения кургана №20 в Ноин-Уле (Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. №2. С. 77–87.
- Полосьмак Н.В., Молодин В.И. Могильники пазырыкской культуры на плоскогорье Укок // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. №4. С. 66–87.
- Поляк А.Н. Восточная Европа IX–X веков в представлении Востока // Славяне и их соседи. Вып. 10: Славяне и кочевой мир. М., 2001. С. 79–107.
- Поляков С.П. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. М., 1980. 168 с.
- Попов А.В. Теория «кочевого феодализма» академика Б.Я. Владимирцова и современная дискуссия об общественном строе кочевников // Mongolica. Памяти академика Б.Я. Владимирцова 1884–1931. М., 1986. С. 183–193.
- Попов В.А. Символы власти и власть символов. Символы и атрибуты власти: генезис, семантика, функции. СПб., 1996. С. 9–14.
- Постнова Т.А. К проблеме хронологии культуры хунну // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 55–59.
- Потапов Л.П. Очерк истории Ойротии: алтайцы в период русской колонизации. Новосибирск, 1933. 203 с.
- Потапов Л.П. К вопросу о патриархально-феодальных отношениях у кочевников // КСИЭ. М., 1947. Вып. 3. С. 66–69.
- Потапов Л.П. Ранние формы феодальных отношений у кочевников // УЗХНИИЯЛИ. История, этнография, археология. Абакан, 1948а (1947). Вып. 1. С. 3–29.
- Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948. 506 с.
- Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л., 1953. 444 с.
- Потапов Л.П. О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана // ВИ. 1954. №6. С. 73–89.
- Потапов Л.П. О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана // Материалы объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент, 1955. С. 17–42.
- Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев: историко-этнографический очерк. Л., 1969. 196 с.
- Потапов Л.П. От редактора // ТТКАЭЭ. Л., 1970. Т. III. С. 3–6.
- Потапов Л.П. Проблемы историко-этнографического изучения народов Сибири // УЗНИИЯЛИ. Кызыл, 1971. Вып. XV. С. 31–47.
- Потапов Л.П. О феодальной собственности на пастбища и кочевья у тувинцев // Социальная история народов Азии. М., 1975. С. 115–125.

- Потапов Л.П. Географический фактор в традиционной культуре и быте тюркоязычных народов Алтае-Саянского региона // Роль географического фактора в истории докапиталистических обществ (по этнографическим данным). Л., 1984. С. 126–143.
- Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991. 321 с.
- Прозоров С.М. Из истории религиозно-политической идеологии в раннем халивате // История, культура, языки народов Востока. М., 1970.
- Прокофьев О.С. Искусство Индии. М., 1964. 230 с.
- Пряхин А.Д. История советской археологии (1917 – середина 30-х гг.). Воронеж, 1986. 286 с.
- Пряхин А.Д., Писаревский Н.П. Проблема изучения древних кочевнических обществ степи и лесостепи Евразии в работах советских археологов первой половины 30-х годов // Скифо-сибирский мир (искусство и идеология). Кемерово, 1984. С. 128–130.
- Пугачев А.Ю. Потестарно-политическая система Первого Болгарского царства и ее эволюция в контексте социальной антропологии // Россия. Культура. Будущность. Челябинск, 2005. Ч. 1. С. 98–105.
- Пьянков И.В. Общественный строй ранних кочевников Средней Азии и Казахстана по данным античных авторов // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975. С. 84–91.
- Пшеницына М.Н., Боковенко Н.А. Основные этапы жизни и творчества Михаила Петровича Грязнова (1902–1984) // Степи Евразии в древности и средневековье: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Михаила Петровича Грязнова. СПб., 2002. Кн. 1. С. 19–23.
- Равдоникас В.И. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадийным развитием Северного Причерноморья // Готский сборник (Известия ГАИМК. Т. XII, вып. 1–8). М.; Л., 1932. С. 5–106.
- Равдоникас В.И. Энгельс и проблема происхождения скотоводства в Европе // Вопросы истории доклассового общества: Сб. ст. к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». М.; Л., 1936. С. 535–576.
- Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996. 318 с.
- Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М., 1989. 749 с.
- Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. Опыт реконструкции скифской мифологии. М., 1977. 216 с.
- Раевский Д.С. Скифские каменные изваяния в системе религиозно-мифологических представлений ираноязычных народов евразийских степей // Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. М., 1983. С. 40–60.
- Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры: проблемы мировоззрения ирано-язычных народов евразийских степей I тыс. до н.э. М., 1985. 256 с.
- Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции / Под ред. В.А. Попова. М., 1993.
- Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности / Под ред. В.А. Попова. М., 1995. 223 с.
- Раннее государство, его альтернативы и аналоги / Под ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева. Волгоград, 2006. 559 с.
- Рапопорт Ю.А., Трудновская С.А. Курганы на возвышенности Чаш-теп // Кочевники на границах Хорезма (ТХАЭЭ. Т. 11). М., 1979. С. 151–166.
- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.; Л., 1952аб. Т. I, кн. 1–2. 316 с.
- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.; Л., 1960. Т. II. 340 с.
- Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. 282 с.
- Решетов А.М. С.И. Руденко – антрополог, этнограф, археолог // С.И. Руденко и башкиры. Уфа, 1998. С. 5–25.
- Ромашов С.А. Историческая география Хазарского каганата. Период формирования и расцвета (V–IX вв.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1992. 25 с.
- Ромодин В.В. Предисловие // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963. Т. V. С. 5–18.
- Ростовцев М.И. Эллинизм и иранство на юге России. Петроград, 1918. 190 с.
- Ростовцев М.И. Скифия и Боспор: критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л., 1925. 619 с.
- Ростовцев М.И. Глава V. Государство, религия и культура скифов и сарматов // Вестник древней истории. 1989. №1. С. 192–206.
- Ростовцев М.И. Сарматы // Избранные работы академика М.И. Ростовцева: Петербургский археологический вестник. СПб., 1993. №5. С. 91–97.
- Руденко К.А. Экологическая адаптация кочевого населения и формирование средневековой поселенческой структуры в Среднем Поволжье в VIII–XIV вв. н.э. // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 170–172.
- Руденко С.И. Очерк быта казаков бассейна рек Уила и Сагыза // Казаки. Антропологические очерки. Л., 1927. С. 7–32.
- Руденко С.И. Очерк быта северо-восточных казаков // Казаки: Сб. ст. антропологического отряда Казакстанской экспедиции АН СССР. Исследование 1927 г. Л., 1930. Вып. 15. С. 1–72.
- Руденко С.И. «Скифское» погребение Восточного Алтая // Сообщение ГАИМК. Л., 1931. №2. С. 19–31.
- Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. Л., 1948. 64 с.
- Руденко С.И. Пятый Пазырыкский курган // КСИИМК. М.; Л., 1951. Вып. XXXVII. С. 106–116.
- Руденко С.И. Горноалтайские находки и скифы. М.; Л., 1952. 268 с.
- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л., 1953. 524 с.
- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л., 1960. 486 с.
- Руденко С.И. К вопросу о формах скотоводческого хозяйства и о кочевниках // Материалы по отделению этнографии Географического общества СССР: Доклады за 1958–1961 гг. Л., 1961. Ч. I. С. 2–15.
- Руденко С.И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы. М.; Л., 1962. 231 с.
- Руденко С.И., Глухов А.Н. Могильник Кудыргэ на Алтае // Материалы по этнографии. Л., 1927. Т. III, вып. 2. С. 37–52.
- Рыбаков Н.И. Небесная пара – символ корабля света. Буддисты-манихеи в Междуречье Июсов // Енисейская провинция. Красноярск, 2006. №2. С. 121–127.
- Рыбаков Н.И. Иконографические свидетельства манихейства в памятниках июских степей // Историко-культурное наследие народов Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2007а. Вып. 6. С. 101–105.
- Рыбаков Н.И. Енисейские муже-девы в мантиях: кто они? // Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Барнаул, 2007б. С. 137–141.
- Рыбаков Н.И. Феномен иконографического свойства: причины и следствие заблуждений... (вопросы северного манихейства) // Теория и практика археологических исследований. Барнаул, 2007в. Вып. 3. С. 78–83.

- Савенко С.Н. Характеристика социального развития аланского общества по материалам катакомбных могильников X–XII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1989. 23 с.
- Савинов Д.Г. Об этническом аспекте образования раннеклассовых государств Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху раннего средневековья // Этногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1979. С. 41–45.
- Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. 176 с.
- Савинов Д.Г. Скифские курганы Узунтула // Скифская эпоха Алтая. Барнаул, 1986. С. 10–13.
- Савинов Д.Г. Система социально-этнического подчинения как фактор развития раннесредневековых обществ Центральной Азии и Южной Сибири // Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири: Тез. докл. Всесоюз. конф. Новосибирск, 1988. Вып. 1. С. 83–84.
- Савинов Д.Г. Взаимодействие кочевых обществ и оседлых цивилизаций в эпоху раннего средневековья // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 305–313.
- Савинов Д.Г. Соотношение социального уровня развития южносибирских археологических культур во второй половине I тыс. до н.э. // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989а. Ч. I. С. 12–16.
- Савинов Д.Г. Об основных принципах археолого-этнографических реконструкций // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Томск, 1990. С. 11–13.
- Савинов Д.Г. Возможности синхронизации письменных и археологических дат в изучении культуры Южной Сибири скифо-сарматского времени // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Барнаул, 1991. С. 93–96.
- Савинов Д.Г. К изучению социогенеза населения Южной Сибири в эпоху бронзы // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. Красноярск, 1992. Т. II. С. 38–42.
- Савинов Д.Г. Некоторые аспекты реконструкции материалов могильника Кокэль // Вторые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1992а. Ч. I. С. 107–109.
- Савинов Д.Г. К изучению этнополитической истории народов Южной Сибири в скифскую эпоху // Историческая этнография (проблемы археологии и этнографии). СПб., 1993а. Вып. 4. С. 128–135.
- Савинов Д.Г. Погребения скифского времени в долине р. Узунтал // Материалы по истории и этнографии Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1993б. С. 4–18.
- Савинов Д.Г. Государства и культуругенез на территории Южной Сибири в эпоху раннего средневековья. Кемерово, 1994. 216 с.
- Савинов Д.Г. Древнетюркское время // Древние культуры Бертекской долины (Горный Алтай, плоскогорье Укок). Новосибирск, 1994а. С. 145–151.
- Савинов Д.Г. Могильник Бертек-34 // Древние культуры Бертекской долины (Горный Алтай, плоскогорье Укок). Новосибирск, 1994б. С. 104–123.
- Савинов Д.Г. К вопросу об особенностях культуругенеза кочевников // Методика комплексных исследований культур и народов Западной Сибири: Тез. докл. X Западносибирского арх.-этнограф. совещания памяти В.Н. Чернецова. Томск, 1995. С. 158–160.
- Савинов Д.Г. О ритуальном назначении погребальных камер Больших Пазырыкских курганов // Сакральное в культуре. СПб., 1995а. С. 6–8.
- Савинов Д.Г. «Ранние кочевники» в исследованиях М.П. Грязнова и современное состояние проблемы // Третьи исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1995б. Ч. I. С. 76–80.
- Савинов Д.Г. Об обряде погребения Больших Пазырыкских курганов // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб., 1996. С. 107–111.
- Савинов Д.Г. Погребальные камеры-«часовни» Больших Пазырыкских курганов // Сакральное в истории культуры. СПб., 1997. С. 30–39.
- Савинов Д.Г. Ранние кочевники верхнего Енисея (археологические культуры и культуругенез). СПб., 2002. 204 с.
- Савинов Д.Г. Кокэльский могильник в Туве // Социальная структура кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005. С. 200–223.
- Савинов Д.Г. Система социально-этнического подчинения в истории кочевников Центральной Азии и Южной Сибири // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2005а. Кн. 2. С. 31–43.
- Савинов Д.Г. Потомки кокэльцев на страже уйгурских городищ // Археология Южной Сибири: Сб. науч. тр., посвящ. 30-летию кафедры археологии КемГУ. Кемерово, 2006. Вып. 24. С. 44–50.
- Савинов Д.Г. Археологическая периодизация и культурно-экологические области Саяно-Алтая во II–I тыс. до н.э. // Культурно-экологические области: взаимодействие традиций и культуругенез. СПб., 2007. С. 211–228.
- Савинов Д.Г., Бобров В.В. Курганы как сакрализованное пространство в системе погребального обряда // Актуальные проблемы методики Западносибирской археологии: Тез. докл. регион. науч. конф. Новосибирск, 1989. С. 160–164.
- Савченко Е.И. Погребальный обряд Мошовой Балки (Северный Кавказ) // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 147–168.
- Садовой А.Н., Онищенко С.С. К проблеме реконструкции традиционных систем жизнеобеспечения населения Восточного Алтая предтюркского времени // Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Восточный Алтай в эпоху великого переселения народов (III–VII вв.). Новосибирск, 2003. С. 209–220.
- Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Ахбар ад-Даулат ас-Селджукийи («Сообщения о сельджукском государстве»). М., 1980. 257 с.
- Салинз М. Экономика каменного века. М., 1999. 294 с.
- Самашев З., Жумабекова Г., Сунгатай С. Новые исследования на могильнике Берель в Восточном Казахстане // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 159–164.
- Самашев З., Базарбаева Г., Жумабекова Г., Сунгатай С. Берель. Алматы, 2000. 57 с.
- Самашев З.С., Фаизов К.Ш., Базарбаева Г.А. Археологические памятники и палеопочвы Казахского Алтая. Алматы, 2001. 108 с.
- Саутхолл Э. О возникновении государства // Альтернативные пути в цивилизации: Монография. М., 2000. С. 130–136.
- Свердлов Б.М. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997. 319 с.
- Свешникова О.С. Забытая работа группы ИКС // VI исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 2004. С. 20–23.

- Свешникова О.С. Историческая интерпретация археологического источника в отечественной археологии (конец 1920-х – середина 1950-х гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Омск, 2006. 26 с.
- Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995. 416 с.
- Семенов Вл.А. «Ритуальный двойник» в похоронном обряде кочевников Южной Сибири // Смерть как феномен культуры. Сыктывкар, 1994. С. 135–142.
- Семенов Вл.А. Некоторые шаманистические элементы в культуре ранних кочевников Тувы // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: Мат. междунар. конф. СПб., 1996. С. 27–29.
- Семенов Ю.И. Кочевничество и некоторые общие проблемы теории хозяйства и общества // СЭ. 1982. №2. С. 48–59.
- Семенов-Зусер С.А. Родовая организация у скифов Геродота // Известия ГАИМК. М.; Л., 1931. Т. IX, вып. 1. 34 с.
- Семенов-Зусер С.А. Опыт историографии скифов: Скифская проблема в отечественной науке, 1962–1947. Харьков, 1947. Ч. I. 192 с.
- Семенюк Г.И. К проблеме рабства у кочевых народов (На материалах Казахстана) // Известия АН Казахской ССР. Сер.: История, археология и этнография. Алма-Ата, 1958. Вып. 1(6). С. 55–82.
- Семенюк Г.И. О характере и причинах застойности кочевых скотоводческих народов // Филология и история тюркских народов: Тез. тюрколог. конф. Л., 1967. С. 70–72.
- Семенюк Г.И. О некоторых особенностях перехода к феодализму кочевых племен и народов (на материалах Казахстана) // Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. М., 1969. С. 266–276.
- Семенюк Г.И. Проблемы истории кочевых племен и народов периода феодализма (на материалах Казахстана). Калинин, 1974 (1973). 48 с.
- Серебрянников Н.И. Буряты, их хозяйственный быт и землепользование. Верхнеудинск, 1925. 178 с.
- Серегин Н.Н. Опыт классификации погребальных сооружений тюркской культуры Горного Алтая // Археология, этнология, палеоэкология Северной Евразии и сопредельных территорий. Красноярск, 2006. Т. II. С. 59–62.
- Серегин Н.Н. Металлические зеркала в погребениях раннесредневековых кочевников Северо-Западных районов Центральной Азии // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2007. С. 135–144.
- Серегин Н.Н. Традиция сооружения кенотафов кочевниками тюркской культуры // Археология степной Евразии. Кемерово, 2008а. С. 144–153.
- Серегин Н.Н. Опыт и перспективы реконструкции социальной организации кочевников тюркской культуры Саяно-Алтая // Теория и практика археологических исследований. Барнаул, 2008б. Вып. 4. С. 145–157.
- Сидорова Л.А. Проблемы исторической антропологии // Отечественная история. 2000. №6. С. 206–207.
- Симокатта Ф. Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы. М., 1957. 224 с.
- Синицын И.В. Археологические исследования заволжского отряда (1951–1953 гг.). Древности Нижнего Поволжья. Итоги работы Сталинградской археологической экспедиции (МИА. №60). М., 1959. Т. I. С. 39–205.
- Синицын И.В. Древние памятники в низовьях Еруслана (по раскопкам 1954–1955 гг.) // Древности Нижнего Поволжья: Тр. Сталинградской археол. экспедиции (МИА. №78). М., 1960. Т. II. С. 10–168.
- Скобелев С.Г. Христианство и манихейство у енисейских кыргызов в развитом и позднем средневековье // Сибирь на перекрестке мировых религий: Мат. Третьей межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. памяти М.И. Рижского. Новосибирск, 2006. С. 82–89.
- Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия во II–IV вв. (некоторые проблемы исследования) // СА. 1982. № 2. С. 43–56.
- Скрынникова Т.Д. О политической организации Халхи (вторая половина XVI – XVII в.) // MONGOLIGA: Памяти академика Бориса Яковлевича Владимирцова. 1884–1931. М., 1986. С. 201–212.
- Скрынникова Т.Д. Роль буддизма в формировании политических идей в Монголии (XIII–XVII вв.) // Методологические аспекты изучения истории духовной культуры Востока. Улан-Удэ, 1988. С. 124–132.
- Скрынникова Т.Д. К вопросу о формировании монгольской государственности // Исследования по истории и культуре Монголии. Новосибирск, 1989. С. 29–45.
- Скрынникова Т.Д. Потестарно-политическая культура монголов XI–XIII вв. // Средневековая культура монгольских народов. Новосибирск, 1992. С. 55–67.
- Скрынникова Т.Д. Представление монголов XIII в. о харизме и культе Чингиз-хана // «Тайная история монголов»: источниковедение, история, филология. Новосибирск, 1995. С. 66–88.
- Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингисхана. М., 1997. 216 с.
- Скрынникова Т.Д. Монгольское кочевое общество периода империи // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 344–355 (перезд.: Скрынникова Т.Д. Монгольское кочевое общество периода империи // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 512–522).
- Скрынникова Т.Д. Структура власти монгольских кочевников эпохи Чингисхана // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 204–219.
- Скрынникова Т.Д. Нукерство – элита Монгольского улуса Чингисхана // Чингис-хан и судьбы народов Евразии-2: Мат. междунар. науч. конф. Улан-Удэ, 2007. С. 31–41.
- Смирнов А.П. Рабовладельческий строй у скифов-кочевников. М., 1935. 35 с.
- Смирнов А.П., Федоров-Давыдов Г.А. Задачи археологического изучения Золотой Орды // СА. 1959. №4. С. 128–134.
- Смирнов А.П. Скифы. М., 1966. 200 с.
- Смирнов А.П. К вопросу о матриархате у савроматов // Проблемы скифской археологии. М., 1971. С. 188–190.
- Смирнов Е.Ю. Одежда как критерий социального (на примере традиционной одежды сибирских татар) // Методика комплексных исследований культур и народов Западной Сибири: Тез. докл. X Западносибирского арх.-этнограф. совещания памяти В.Н. Чернецова. Томск, 1995. С. 167–169.
- Смирнов К.Ф. Сарматские племена Северного Прикаспия: (Доклад, прочитанный на заседании сектора скифо-сарматской археологии Института истории материальной культуры 26 февраля 1949 г.) // КСИИМК. М.; Л., 1950. Вып. XXXIV. С. 97–114.
- Смирнов К.Ф. Северский курган. М., 1953. 52 с.
- Смирнов К.Ф. Вопросы изучения сарматских племен и их культуры в советской археологии // Вопросы скифо-сарматской археологии (по материалам конф. ИИМК АН СССР 1952 г.). М., 1954. С. 195–219.
- Смирнов К.Ф. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области // Древности Нижнего Поволжья: Тр. Сталинградской археол. экспедиции (Материалы и исследования по археологии СССР. №60). М.; Л., 1959. Т. I. С. 206–322.
- Смирнов К.Ф. «Быковские курганы» // Древности Нижнего Поволжья: Тр. Сталинградской археол. экспедиции (МИА. №78). М., 1960. Т. II. С. 169–268.

- Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов (МИА. №101). М., 1961. 163 с.
- Смирнов К.Ф. Особенности общественного строя савроматов // Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г. М., 1961а. С. 6–10.
- Смирнов К.Ф. Сарматы (ранняя история и культура сарматов). М., 1964. 380 с.
- Смирнов К.Ф. Сарматы Нижнего Поволжья и междуречья Дона и Волги в IV в. до н.э. – II в. н.э.: (Ист.-археол. очерк) // СА. 1974. №3. С. 33–44.
- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. 176 с.
- Смирнов К.Ф. Орские курганы ранних кочевников // Исследования по археологии Южного Урала. Уфа, 1977. С. 3–51.
- Смирнов К.Ф. Кочевники Северного Прикаспия и Южного Приуралья скифского времени // Этнография и археология Средней Азии. М., 1979. С. 74–78.
- Смирнов К.Ф. «Амазонка» IV в. до н.э. на Дону // СА. 1982. №1. С. 120–131.
- Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М., 1984. 184 с.
- Смирнов Ю.А. Морфология преднамеренного погребения. Лабиринт. М., 1997. 287 с.
- Соенов В.И. К истории изучения памятников гунно-сарматской эпохи Горного Алтая // Вторые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1995. Ч. I. С. 85–89.
- Соенов В.И. О степени достоверности реконструкций социальной структуры населения Горного Алтая по материалам погребальных памятников // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Мат. Всерос. конф. Барнаул, 1997. С. 100–101.
- Соенов В.И. Археологические памятники Горного Алтая гунно-сарматского времени (описание, систематика, анализ). Горно-Алтайск, 2003. 160 с.
- Соколовский В.Г. Казакский аул (К вопросу о методах его изучения государственной статистикой на основе решений V Всеказакской партконференции и 2-го Пленума Казкрайкома ВКП(б). Ташкент, 1926. 49 с.
- Солдатов В.В. Хозяйственный быт инородцев Агинской степи // Труды Агинской экспедиции. Чита, 1911. Вып. 7. С. 95–306.
- Соломоник Э.И. О скифском государстве и его взаимоотношениях с греческими городами Северного Причерноморья // Археология и история Боспора. Симферополь, 1952. Ч. I. С. 103–128.
- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1990. 543 с.
- Сорокин С.С. Среднеазиатские подбойные и катакомбные захоронения как памятники местной культуры // СА. М., 1956. Вып. XXVI. С. 97–117.
- Сорокин С.С. Большой Берельский курган (полное издание материалов раскопок 1865 и 1959 гг.) // Труды Государственного Эрмитажа. Л., 1969. Т. X. С. 208–236.
- Сорокин С.С. О хронологических формулах и значении термина «могильник» // Успехи среднеазиатской археологии. Л., 1975. Вып. 3. С. 17–22.
- Сорокин С.С. Погребения эпохи Великого переселения народов в районе Пазырыка // АСГЭ. Л., 1977. Вып. 18. С. 57–67.
- Сорокин С.С. Отражение мировоззрения ранних кочевников Азии в памятниках материальной культуры // Культура Востока. Древность и раннее средневековье. Л., 1978. С. 172–191.
- Сорокин С.С. К вопросу о толковании внекурганных памятников // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1981. Вып. 22. С. 23–39.
- Сосновский Г.П. Дырестуйский могильник // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. №1–2. С. 168–176.
- Сосновский Г.П. Ранние кочевники Забайкалья // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.; Л., 1940. Т. VIII. С. 36–42.
- Сосновский Г.П. Ойротская автономная область // Археологические исследования в РСФСР 1934–1936 гг.: Краткие отчеты и сведения. М.; Л., 1941. С. 304–306.
- Сосновский Г.П. Раскопки Ильмовой пади (предварительное сообщение) // Советская археология. М.; Л., 1946. Т. VIII. С. 51–67.
- Социальная дифференциация общества (поиск археологических критериев). М., 1993. 144 с.
- Социальная структура кочевников Евразии: Монография / Под ред. Н.Н. Крадина, А.А. Тишкина, А.В. Харинского. Иркутск, 2005. 312 с.
- Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993. 208 с.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. М., 2006. 908 с.
- Ставиский Б.Я. Новые данные о Кара-тепе (некоторые итоги работ 1978–1989 гг.) // Буддийские комплексы Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1996. С. 9–36.
- Стамбульник Э.У. Новые памятники гунно-сарматского времени в Туве (Некоторые итоги работ) // Древние культуры Евразийских степей. Л., 1983. С. 34–41.
- Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1: Савроматская эпоха. М., 1994. 223 с.
- Стеблева И.В. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы // ТС. 1971. М., 1972. С. 213–226.
- Стеблева И.В. Жизнь и литература домсламских тюрков. М., 2007. 208 с.
- Степанова Н.Ф. Погребальные комплексы скифского времени Средней Катуни: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2000. 25 с.
- Степанова Н.Ф. К вопросу о демографической ситуации у населения афанасьевской культуры Горного Алтая // Современные проблемы археологии России: Мат. Всерос. археол. съезда. Новосибирск, 2006. Т. I. С. 471–474.
- Столочич Л.Н. Зеркало как семиотическая, гносеологическая и аксиологическая модель // УЗ ТГУ. Вып. 831. Т. XXII. Зеркало, семиотика зеркальности. Тарту, 1988. С. 45–51.
- Сулейменов Р.Б. Формационная природа кочевого общества: проблема и метод // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 89–102.
- Суразаков А.С. О социальной стратификации пазырыкцев // Вопросы археологии и этнографии Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1983. С. 72–87.
- Суразаков А.С. Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху раннего железа. Проблемы хронологии и культурного разграничения. Горно-Алтайск, 1988. 214 с.
- Суразаков А.С. О реконструкции особенностей развития древних обществ через погребальный обряд // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Томск, 1990. С. 50–51.

- Суразаков А.С. О некоторых проблемах изучения социальных отношений Горного Алтая эпохи раннего железа // Материалы к изучению прошлого Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1992а. С. 48-56.
- Суразаков А.С. Памятники Горного Алтая первой половины и середины первого тысячелетия (кудыргинская культура) // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий (по данным археологии). Омск, 1992б. С. 92-97.
- Суразаков А.С. К семантике изображений на Кудыргинском валуне // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I-II тыс. н.э. Кемерово, 1994. С.45-55.
- Сухбаатар Г. К вопросу о распространении буддизма среди ранних кочевников Монголии // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 61-71.
- Сыма Цянь. Исторические записки: Пер. и комм. Р.В. Вяткина. М., 2002. Т. 8. 510 с.
- Тадина Н.А. Алтайский сеок как ориентир в этносоциальной системе общения // Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур: Тез. междунар. науч. конф. Новосибирск, 1995. Т. II. С. 234-237.
- Таиров А.Д. Пастбищно-кочевая система и исторические судьбы кочевников урало-казахстанских степей в начале I тысячелетия до новой эры // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. II. С. 27-30.
- Таиров А.Д. Пастбищно-кочевая система и исторические судьбы кочевников Урало-казахстанских степей в I тыс. до н.э. // Кочевники Урало-казахстанских степей. Екатеринбург, 1993. С. 3-23.
- Таиров А.Д. Изменения климата степей и лесостепей Центральной Евразии во II-I тыс. до н.э.: Материалы к историческим реконструкциям. Челябинск, 2003. 68 с.
- Таиров А.Д. Ранние кочевники урало-казахстанских степей в VII-II вв. до н.э.: Автореф. ... дис. докт. ист. наук. М., 2005. 24 с.
- Таскин В.С. Введение // Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). М., 1968. С. 3-33.
- Таскин В.С. Скотоводство у сюнну по китайским источникам // Вопросы истории и историографии Китая. М., 1968а. С. 21-44.
- Таскин В.С. Предисловие // Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). М., 1973. Вып. II. С. 3-17.
- Таскин В.С. Введение. Значение китайских источников в изучении древней истории монголов // Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. М., 1984. С. 3-62.
- Таскин В.С. Введение // Материалы по истории кочевых народов в Китае. Вып. 1: Сюнну. М., 1989. С. 5-28.
- Тахтарев К.М. Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм: Введение. Тотемическое общество. Родовое общество. Л., 1926. Ч. I. 364 с.
- Теляшов Р.Х. Великая Болгария – Татарстан: эстафета времен // Сокровища хана Кубрата. СПб., 1997. С. 27-48.
- Теплоухов С.А. Раскопка курганов в горах Ноин-Ула // Краткие отчеты экспедиций по исследованию Северной Монголии в связи с Монголо-Тибетской экспедицией П.К. Козлова. Л., 1925. С. 13-22.
- Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края (в кратком изложении) // Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. IV, вып. 2. С. 41-62.
- Тереножкин А.И. Об общественном строе скифов // СА. 1966. №2. С. 33-49.
- Тереножкин А.И. Общественный строй скифов // Скифы и сарматы. Киев, 1977. С. 3-28.
- Тереножкин А.И., Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н. Скифский курганный могильник Гайманово поле (раскопки 1968 г.) // Скифы и сарматы. Киев, 1977. С. 152-199.
- Тереножкин А.И., Ильинская В.А., Черненко Е.В., Мозолевский Б.Н. Скифские курганы Никопольщины // Скифские древности. Киев, 1973. С. 113-186.
- Тетерин Ю.В. Погребение знатного тюрка на Среднем Енисее // Памятники культуры древних тюрков Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1999. С. 113-128.
- Тетерин Ю.В. Древнетюркские погребения могильника Маркелов Мыс-I // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск, 2000. С. 27-54.
- Тетерин Ю.В. Гривны гунно-сарматской эпохи Южной Сибири // Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2001. №6. С. 107-115.
- Тиваненко А.В. Древние святилища Восточной Сибири в эпоху раннего средневековья. Новосибирск. 1994. 150 с.
- Тихонов С.С. Социальные реконструкции в археологии: тенденция, мода, необходимость? // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. Барнаул, 2004. С. 15-19.
- Тихонов С.С. Верхнее Приобье в XII-IX вв. до н.э.: методики и реконструкции // Социальная структура ранних кочевников Евразии: Монография. Иркутск, 2005. С. 64-81.
- Тихонов С.С. Об изучении социальной структуры населения раннего железного века в степях Евразии // Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Барнаул, 2007. С. 153-155.
- Тишкин А.А. Изучение социально-экономической структуры населения Горного Алтая раннескифского времени // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Мат. Всерос. науч. конф. Барнаул, 1997. С. 93-95.
- Тишкин А.А. Необходимые условия и возможные пути реконструкции социальной организации на основе археологических источников // Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация. Кемерово, 1997а. С. 53-55.
- Тишкин А.А. Социально-политическая организация населения Горного Алтая скифской эпохи (по материалам исследований 1960-1990-х гг.) // Историко-культурное наследие Северной Азии. Барнаул, 2001. С. 134-149.
- Тишкин А.А. Социальные реконструкции в археологии Северной Азии: методологический и научно-практический аспекты // Социогенез Северной Азии: прошлое, настоящее, будущее: Мат. регион. науч.-практ. конф. Иркутск, 2003. С. 129-131.
- Тишкин А.А. Элита в древних и средневековых обществах скотоводов Евразии: перспективы изучения данного явления на основе археологических материалов // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2005. Кн. 2. С. 43-56.
- Тишкин А.А. Алтай в эпоху поздней древности, раннего и развитого средневековья (культурно-хронологические концепции и этнокультурная история): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Барнаул, 2006. 54 с.
- Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. Барнаул, 2007. 356 с.
- Тишкин А.А. Китайские изделия в материальной культуре кочевников Алтая (2-я половина I тыс. до н.э.) // Этноистория и археология Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007а. С. 176-184.

- Тишкин А.А. Обзор исследований в Западной Монголии и на Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат. Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск, 2007б. Т. XIII. С. 382–387.
- Тишкин А.А., Горбунов В.В. Исследование погребально-поминальных памятников кочевников в Центральном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2003. Т. IX, ч. I. С. 488–493.
- Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс археологических памятников в долине р. Бийке (Горный Алтай): Монография. Барнаул, 2005. 200 с.
- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Захоронение человека с конем как отражение некоторых сторон социально-экономической структуры населения Горного Алтая скифской эпохи // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири. Барнаул, 1997. С. 114–117.
- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социально-политическая организация населения горного Алтая скифской эпохи (по материалам исследований 1960-1990-х гг.) // Историко-культурное наследие Северной Азии. Барнаул, 2001. С. 134-149.
- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. Барнаул, 2003. 430 с.
- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Теоретические принципы проведения палеосоциальных исследований на основе археологических данных // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье): Мат. Всерос. науч. конф. Кемерово, 2003а. С. 19–23.
- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Основные аспекты изучения скифской эпохи Алтая. Барнаул, 2004. 238 с.
- Тишкин А.А., Дашковский П.К. О государственности «пазырыкцев» // Теория и практика археологических исследований. Барнаул, 2005. С. 50–59.
- Тишкин А.А., Хаврин С.В. Предварительные результаты спектрального анализа изделий из памятника гунно-сарматского времени Яломан-II (Горный Алтай) // Комплексное исследование древних и традиционных обществ Евразии. Барнаул, 2004. С. 300–306.
- Тишкин А.А., Хаврин С.В. Использование рентгенофлуоресцентного анализа в археологических исследованиях // Теория и практика археологических исследований. Барнаул, 2006. Вып. 2. С. 74–86.
- Тишкин А.А., Шмидт О.Г. Годы репрессий в жизни С.И. Руденко // Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул, 2004. С. 21–29.
- Ткачев В.Н. Город как индикатор эволюции кочевого общества // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 148–150.
- Тойнби А.Дж. Исследование истории: В 3-х т. СПб., 2006а. Т. I. 408 с.
- Тойнби А.Дж. Исследование истории: В 3-х т. СПб., 2006б. Т. II. 446 с.
- Тойнби А.Дж. Исследование истории: В 3-х т. СПб., 2006в. Т. III. 479 с.
- Тойнби А.Дж. Исследование истории. Возникновение, рост и распад цивилизации. М., 2009а. 672 с.
- Тойнби А.Дж. Исследование истории. Цивилизация во времени и пространстве. М., 2009б. 864 с.
- Токарев С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. Л., 1936. 155 с.
- Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 622 с.
- Толстов С.П. Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах // Основные проблемы генезиса и развития феодального общества. Пленум ГАИМК 20–22 июня 1933 (Известия ГАИМК. Вып. 103). М.; Л., 1934. С. 165–199.
- Толстов С.П. Военная демократия и проблемы «генетической революции» // ПИДО. 1935. № 7–8. С. 175–216.
- Толстов С.П. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен // ПИДО. 1935а. № 9–10. С. 3–41.
- Толстов С.П. Тирания Абура (Из истории классовой борьбы в Согдиане и тюркском каганате во второй половине VI в. н.э.) // Исторические записки. 1938. № 3. С. 3–53.
- Толстов С.П. Города гузов: (историко-этнографические этюды) // СЭ. 1947. № 3. С. 55–102.
- Толстов С.П. Древний Хорезм: опыт историко-археологического исследования. М., 1948. 352 с.
- Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.; Л., 1948а. 327 с.
- Толстов С.П. Варварские племена периферии античного Хорезма по новейшим археологическим данным // Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. М.; Л., 1959. С. 143–149.
- Толстов С.П. Приаральские скифы и Хорезм (К истории заселения и освоения древней дельты Сыр-Дарьи) // СЭ. 1961. № 4. С. 114–146.
- Толстов С.П. Среднеазиатские скифы в свете новейших археологических открытий // ВДИ. 1963. № 2. С. 23–45.
- Толыбеков С.Е. О некоторых вопросах экономики дореволюционного кочевого аула казахов // Вестник АН Казахской ССР. Алма-Ата, 1951. № 8. С. 66–90.
- Толыбеков С.Е. О патриархально-феодальных отношениях у кочевых народов // ВИ. 1955. №1. С. 75–83.
- Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII – начале XX вв.: (политико-экономический анализ). Алма-Ата, 1971. 633 с.
- Тортика А.А., Михеев В.К., Кортиев Р.И. Некоторые эколого-демографические и социальные аспекты истории кочевых обществ // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 49-62.
- Тортика А.А., Михеев В.К. Методика эколого-демографического исследования традиционных кочевых обществ Евразии // Археология восточноевропейской лесостепи. Средневековые древности евразийских степей. Воронеж, 2001. Вып. 15. С. 141–161.
- Торчинов Е.А. Религии мира. Опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехника. СПб, 2000. 384 с.
- Трепавлов В.В. Проблема социально-политической преемственности государственных образований кочевников в восточковедении // Урал и проблемы региональной историографии. Феодализм. Первобытнообщинный строй. Свердловск, 1986. С. 122–125.
- Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. М., 1993. 472 с.
- Трепавлов В.В. Ногайская альтернатива: от государства к вождеству и обратно // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995. С. 199–208.
- Трепавлов В.В. Бий мангытов, корованный chief: вождества в истории позднесредневековых номадов Западной Европы // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 356–367.
- Трепавлов В.В. История Ногайской орды: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 2001. 35 с.

- Трепавлов В.В. Вождь и жрец в эпическом фольклоре тюрко-монгольских народов: некоторые особенности традиционной организации власти у кочевников // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 76–100.
- Трифонов Ю.И. К вопросу об археологических критериях социальной стратификации восточно-семиреченских саков // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения). Кемерово, 1989. Ч. 1. С. 45–49.
- Трифорова С.В. Реконструкция украшений оловы из курганов Айрыдаша // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2005. С. 95–105.
- Трифорова С.В. Украшения населения Саяно-Алтая гунно-сарматской эпохи. Дис. ... канд. ист. наук. Горно-Алтайск, 2006. 279 с.
- Троицкая Т.Н., Бородавский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосибирск, 1994. 184 с.
- Труды Семиреченской археологической экспедиции «Чуйская долина». (МИА. №14). М.; Л., 1950. 138 с.
- Тугушева Л.Ю. Каким богам поклонялись древние тюрки? // ALTAICA IV. М., 2000. С. 144–156.
- Тур С.С. Гунны в Средней Азии // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 6–8.
- Тур С.С., Рыкун М.П. Скотоводы Алтая эпохи бронзы: гендерные различия и гендерное неравенство (по данным антропологии) // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 233–237.
- Тырышкина Ю.Ю. К вопросу о развитии социального направления в археологической науке // VII исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск, 2008. С. 233–236.
- Тюляев С.И. Искусство Индии. III тысячелетие до н.э. – VII в. н.э. М., 1988. 342 с.
- Уваров П.Ю. В поисках феодализма // Одиссей. Человек в истории. 2006. Феодализм перед судом историков. М., 2006а. С. 5–10.
- Уваров П.Ю. Феодализм в XXI веке // Одиссей. Человек в истории. 2006. Феодализм перед судом историков. М., 2006б. С. 171–183.
- Угдыжеков С.А. О власти правителя в Хакасии VI–XIII вв. // Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 1997. Вып. 2. С. 156–162.
- Уилкинсон Д. Центральная цивилизация // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 397–423.
- Ульянов И.В. Культ меча ранних кочевников Южного Урала // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 188–191.
- Уманский А.П., Шамшин А.Б., Шульга П.И. Могильник скифского времени Рогозиха-I на левобережье Оби. Барнаул, 2005. 204 с.
- Усманова Э.Р. О менталитете «федоровцев» и «алакульцев» в погребальном обряде (по материалам могильника Лисаковский) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Культуры древних народов степной Евразии и феномен протогородской цивилизации Южного Урала. Челябинск, 1995. Ч. I. С. 171–177.
- Усова И.А. Нижние головные уборы у населения усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры Алтая (по материалам памятника Яломан-II) // Археология, этнология, палеоэкология Северной Евразии и сопредельных территорий. Новосибирск, 2007. С. 127–128.
- Усова И.А. Источники для реконструкции одежды населения «гунно-сарматского» и тюркского времени // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. Барнаул, 2008. – Вып. 5. – С. 67–71
- Учебный словарь-минимум по религиоведению / под ред. И.Н. Яблокова. М., 1998. 222 с.
- Уэскотт Р. Исчисление цивилизаций // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 328–344.
- Файзрахманов Г. Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии. Казань, 2000. 188 с.
- Федоров В.К. О функциональном назначении так называемых савроматских жертвенников Южного Приуралья // Уфимский археологический вестник. Уфа, 2000. № 2. С. 49–69.
- Федоров В.К. О функциональном назначении так называемых савроматских жертвенников Южного Приуралья (II) // Уфимский археологический вестник. Уфа, 2001. № 3. С. 21–45.
- Федоров В.К. Культ Сомы/Хаомы у ранних кочевников степей Евразии: (на материалах костяных ложечек из Южно-Уральских погребений VI в. до н.э. – IV в. н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ижевск, 2002. 28 с.
- Федоров М.Н. Очерк истории восточных Караханидов конца X – начала XIII в. по нумизматическим данным // Киргизия при Караханидах. Фрунзе, 1983. С. 103–140.
- Федосова В.Н. О возможности использования антропологических данных для палеосоциальных реконструкций // РА. 1995. №2. С. 104–111.
- Федоров-Давыдов Г.А. Города и кочевые степи в Золотой Орде в XIII в. // Вестник МГУ. Сер. IX. История. М., 1965. №6. С. 49–57.
- Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966. 275 с.
- Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. 180 с.
- Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй кочевников в средневековую эпоху // ВИ. 1976. №8. С. 39–48.
- Федоров-Давыдов Г.А. Номады и социально-политический прогресс (на примере возникновения государства и городов Золотой Орды) // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1987. С. 202–203.
- Феномен алтайских мумий / В.И. Молодин, Н.В. Полосьмак, Т.А. Чикишева и др. Новосибирск, 2000. 320 с.
- Феофан Исповедник. Хронография // Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II: VII–IX вв. М., 1995. С. 248–324.
- Фетисов А.А. Функции стрел в погребальном инвентаре «дружинных курганов» // РА. 2004. №3. С. 89–98.
- Филиппова И.В. Культурные контакты населения Западного Забайкалья, Южной, Западной Сибири и Северной Монголии с ханьским Китаем в скифское и гунно-сарматское время (по археологическим источникам): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2005. 25 с.
- Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблемы становления феодализма. М., 2000. 800 с.
- Фишер Р.Е. Искусство буддизма. М., 2001. 224 с.

- Флеров В.С. О социальном строе в Хазарском каганате (на материалах Маяцкого могильника) // Социальная дифференциация общества (поиски археологических критериев). М., 1993. С. 119–133.
- Флетчер Дж. Средневековые монголы: экологические и социальные перспективы // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 212–253.
- Формозов А.А. Археология и идеология (20–30-е гг.) // ВФ. 1992. №2. С. 70–82.
- Формозов А.А. Русские археологи до и после революции. М., 1995. 114 с.
- Формозов А.А. Русские археологи и политические репрессии 1920–1940-х гг. // РА. 1998. №3. С. 191–205.
- Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма: Историографические очерки. М., 2004. 320 с.
- Франк А.Г. Формационные переходы и мифологемы способов производства // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 1992. №2. С. 20–30.
- Фрибус А.В. Степной энеолит Восточной Европы и юга Западной Сибири в контексте палеосоциологических реконструкций // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 42–47.
- Фролов Я.В. Особенности погребальной обрядности большереченской культуры (топография и планиграфия могильников, погребальные сооружения) // Гуманитарные исследования на пороге нового тысячелетия. Барнаул, 2001. С. 96–99.
- Фролов Я.В., Тур С.С. Особенности распределения предметов погребального инвентаря в захоронениях умерших различных возрастных групп в Могильнике староалейской культуры Фирсово-XIV // Социально-демографические процессы (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 100–108.
- Фурсов А.И. Нашествия кочевников и проблема отставания Востока // Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций на Востоке. М., 1988. Т. 1. С. 182–185.
- Фурсов А.И. Восток, Запад, капитализм // Капитализм на Востоке во второй половине XX века. М., 1995. С. 16–133.
- Хазанов А.М. «Военная демократия» и эпоха классового образования // ВИ. 1968. №12. С. 87–98.
- Хазанов А.М. Материнский род у сарматов // ВДИ. 1970. №2. С. 138–148.
- Хазанов А.М. Обычай побратимства у скифов и его социальное значение // Всесоюзная научная сессия, посвященная итогам полевых археологических исследований 1970 г. Тбилиси, 1971. Ч. 3. С. 139–140.
- Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М., 1971а. 171 с.
- Хазанов А.М. О характере рабовладения у скифов // ВДИ. 1972. №1. С. 159–170.
- Хазанов А.М. Обычай побратимства у скифов // Советская археология. 1972а. №3. С. 68–75.
- Хазанов А.М. Скифское жречество // СЭ. 1973. №5. С. 41–50.
- Хазанов А.М. Скифское общество в трудах Ж. Дюмезиля // ВДИ. 1974. №3. С. 183–192.
- Хазанов А.М. Легенда о происхождении скифов [Геродот, IV, 5–7] // Скифский мир. Киев, 1975. С. 74–94.
- Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М., 1975а. 334 с.
- Хазанов А.М. Эпоха древних кочевников в евразийских степях // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975б. С. 23–25.
- Хазанов А.М. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение классового общества // Первобытное общество. М., 1975в. С. 88–139.
- Хазанов А.М. Роль рабства в процессах классового образования у кочевников евразийских степей // Становление классов и государства. М., 1976. С. 249–279.
- Хазанов А.М. Классообразование: факторы и механизмы // Исследования по общей этнографии. М., 1979. С. 125–177.
- Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. 3-е изд. Алматы, 2000. 604 с.
- Хазанов А.М. Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 37–58 (переизд.: Хазанов А.М. Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 468–489).
- Хазанов А.М. Мухаммед и Чингис-хан в сравнении: роль религиозного фактора в создании мировых империй // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 382–406.
- Халиль Исмаил. Исследование хозяйства и общественных отношений кочевников Азии (включая Южную Сибирь) в советской литературе 50–80 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1983. 25 с.
- Хандсурэн Ц. Жужанское ханство // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1993. С. 66–106.
- Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие: Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII–XIV веков. Алма-Ата, 1992. 272 с.
- Харинский А.В. Престижные вещи в погребениях Байкальского побережья конца I тыс. до н.э. – начала II тыс. н.э. как показатель региональных культурно-политических процессов // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. Барнаул, 2004. С. 108–114.
- Холл Т. Монголы в мир-системной истории // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 136–166 (переизд.: Холл Т.Д. Монголы в мир-системной истории // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 442–467).
- Худяков Ю.С. Военное искусство енисейских кыргызов в IX–X вв. // Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху. Кемерово, 1976. С. 98–105.
- Худяков Ю.С. Структура военной организации у кыргызов в IX–X вв. // Из истории Сибири. Томск, 1976а. Вып. 21. С. 207–213.
- Худяков Ю.С. Типология погребений VI–XII вв. в Минусинской котловине // Археологический поиск (Северная Азия). Новосибирск, 1980. С. 193–205.
- Худяков Ю.С. Кочевники и тайга // Сибирь в прошлом, настоящем и будущем: Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф. Новосибирск, 1981. Вып. III. С. 69–70.
- Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате. Новосибирск, 1982. 239 с.
- Худяков Ю.С. Погребения по обряду трупоположения VI–XIV вв. в Минусинской котловине // Проблемы археологии и этнографии. Л., 1983. Вып. II. С. 141–148.
- Худяков Ю.С. Типология и хронология средневековых памятников Табата // Урало-алтаистика (Археология. Этнография. Язык). Новосибирск, 1985. С. 88–102.
- Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1986. 268 с.
- Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее. Новосибирск, 1986а. 80 с.

- Худяков Ю.С. Шаманизм и мировые религии у кыргызов в эпоху средневековья // Традиционные верования и быт народов Сибири. XIX – нач. XX вв. Новосибирск, 1987. С. 65–84.
- Худяков Ю.С. Половозрастная дифференциация погребальной обрядности кок-тюрок Среднего Енисея // Исторический опыт социально-демографического развития Сибири. Вып. I: Палеодемография и демографические процессы в Сибири в эпоху феодализма и капитализма. Новосибирск, 1989. С. 25–26.
- Худяков Ю.С. Структура военной организации у хуннов. Сложение десятичной системы деления войска и народа у азиатских кочевников // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989а. Ч. I. С. 117–119.
- Худяков Ю.С. Памятники уйгурской культуры в Монголии // Центральная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1990. С. 84–89.
- Худяков Ю.С. Археология Южной Сибири II в. до н.э. – V в. н.э. Новосибирск, 1993. 88 с.
- Худяков Ю.С. Палеодемографические аспекты изучения могильника Усть-Эдиган // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул, 1994. С. 134–136.
- Худяков Ю.С. Тюрки и уйгуры в Минусинской котловине // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I – II тысячелетие н.э. Кемерово, 1994а. С. 85–95.
- Худяков Ю.С. Хунны в Саяно-Алтае // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 40–41.
- Худяков Ю.С. Роль военного дела в социальной стратификации кочевого общества // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири. Барнаул, 1997. С. 9–11.
- Худяков Ю.С. Оружие как показатель социального статуса в кочевых обществах Южной Сибири и Центральной Азии // Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация: Мат. Всероссийской конф. Кемерово, 1997а. С. 62–64.
- Худяков Ю.С. Искусство средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1998. 119 с.
- Худяков Ю.С. К вопросу о проникновении мировых религий в Южную Сибирь в эпоху средневековья // Изучение культурного наследия Востока. Культурные традиции и преемственность в развитии древних культур и цивилизаций. СПб., 1999. С. 156–157.
- Худяков Ю.С. Динамика соотношения кыргызов и кыштымов на Енисее в эпоху средневековья // Социально-демографические процессы на территории Западной Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 113–116.
- Худяков Ю.С. История дипломатии кочевников Центральной Азии: Учеб. пособие. Новосибирск, 2003а. 240 с.
- Худяков Ю.С. Особенности государственного устройства, этносоциальной иерархии и взаимодействия кочевого и оседлого населения в Кыргызском каганате в IX–X вв. // Социогенез Северной Азии: прошлое, настоящее, будущее: Мат. регион. науч.-практ. конф. Иркутск, 2003б. С. 142–145.
- Худяков Ю.С. Древние тюрки на Енисее. Новосибирск, 2004. 152 с.
- Худяков Ю.С. О происхождении культуры средневековых кыпчаков // Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2004а. №12. С. 138–153.
- Худяков Ю.С. Особенности государственного устройства, военной и этносоциальной организации у кочевников Центральной Азии в период гегемонии сяньби и жуэней // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. С. 349–355.
- Худяков Ю.С. Знамена древних тюрков и кыргызов в Центральной Азии в эпоху раннего Средневековья // Тюркологический сборник. 2003–2004. Тюркские народы в древности и средневековье. М., 2005а. С. 350–365.
- Худяков Ю.С. Этноархеологическое изучение памятников кыргызских кыштымов в Минусинской котловине // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 191–194.
- Худяков Ю.С., Комиссаров С.А. Кочевая цивилизация Восточного Туркестана: Учеб. пособие. Новосибирск, 2002. 156 с.
- Худяков Ю.С., Миронов В.С. Археологические исследования на могильнике Кок-Эдиган. // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат. V Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск, 1997. С. 270–274.
- Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа. Комплекс вооружения сяньби // Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2000. №5. С. 37–48.
- Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа. Опыт реконструкции защитного доспеха сяньбийского воина // Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Улан-Удэ, 2000а. С. 136–138.
- Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа. Керамическая посуда культуры сяньби // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ; Чита, 2002. С. 138–142.
- Цендина А.Д. Чингис-хан в устном и письменном наследии монголов // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 406–424.
- Цивилизации. М., 1992–2006. Вып. I–VII.
- Цыбиктаров А.Д. К вопросу об участии населения культуры плиточных могил Монголии и Забайкалья в формировании культуры Хунну // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 16–20.
- Чவர்ь А.Л. Опыт анализа одного современного обряда в свете древневосточных представлений // Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. М., 1983. С. 124–138.
- Чவர்ь Л.А. Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв. М., 2006. 288 с.
- Чейз-Данн К., Холл Т.Д. Две, три, много миросистем // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 424–448.
- Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. М., 1996. 586 с.
- Человек в мире чувств: Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени. М., 2000. 588 с.
- Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. №1. С. 39–50.
- Черемисин Д.В., Запорожченко А.В. «Пазырыкский шаманизм»: артефакты и интерпретация // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: Мат. междунар. конф. СПб., 1996. С. 30–32.
- Черников С.С. О термине «ранние кочевники» // КСИИМК. М., 1960. Вып. 80. С. 17–21.
- Черников С.С. Золотой курган Чиликгинской долины (к вопросу о происхождении «скифского искусства») // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1960б. Вып. 98. С. 29–32.

- Черников С.С. Золотой курган Чиликтинской долины (к вопросу о происхождении «скифского искусства») // КСИА. М., 1961. Вып. 98. С. 29–32.
- Черников С.С. Загадка Золотого кургана. М., 1965. 189 с.
- Черников С.С. Некоторые закономерности исторического развития ранних кочевников (по археологическим материалам Западного Алтая) // Центральная Азия в кушанскую эпоху. М., 1975. Т. 2. С. 282–287.
- Черников С.С. К вопросу о классообразовании у кочевников // Проблемы советской археологии. М., 1978. С. 73–80.
- Чикишева Т.А. Характеристика палеоантропологического материала памятников Бертекской долины // Древние культуры Бертекской долины. Новосибирск, 1994. С. 157–175.
- Чикишева Т.А. К вопросу об антропологическом сходстве населения пазырыкской культуры и сакской этнокультурной общности // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат. V Годовой итоговой сессии Ин-та археологии этнографии СО РАН, посвящ. 40-летию СО РАН и 30-летию ИИФиФ СО РАН. Новосибирск, 1997. Т. III. С. 314–320.
- Чикишева Т.А. Вопросы происхождения кочевников Горного Алтая эпохи раннего железа по данным археологии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. №4. С. 107–121.
- Членова Н.Л. Культура плиточных могил // Археология СССР с древнейших времен до средневековья. Т. 20: Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 247–254.
- Чугунов К.В. Погребальный комплекс с кенотафом из Тувы (к вопросу о некоторых параллелях археологических и письменных источников) // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб., 1996. С. 69–80.
- Чулошников А.П. Очерки по истории казак-киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других тюркских племен: Древнее время и средние века. Оренбург, 1924. Ч. I. 292 с.
- Чэбел П., Фейнман Г.М., Скальник П. По ту сторону государств и империй: вождества и неформальная политика // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 229–243.
- Шалхаков Д.Д. К вопросу о форме и структуре семьи у тюрко-монгольских кочевых скотоводческих народов // Этногенез и этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1983. С. 136–144.
- Шарипов Р.Г. Менталитет древних тюрков. Уфа, 2001. 117 с.
- Шахматов В.Ф. К вопросу о сложении и специфике патриархально-феодальных отношений в Казахстане // Вестник АН Казахской ССР. Алма-Ата, 1951. №7. С. 18–36.
- Шахматов В.Ф. О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Казахстана // Материалы объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент, 1955. С. 50–59.
- Шахматов В.Ф. Основные черты казахской патриархально-феодальной государственности // Известия АН Казахской ССР. Сер. История, археология и этнография. Алма-Ата, 1959. Вып. 3 (11). С. 67–79.
- Шелов Д.Б. Античные государства Северного Причерноморья и их место в истории народов СССР // ВИ. 1965. №11. С. 31–42.
- Шелов Д.Б. Социальное развитие скифского общества // ВИ. 1972. №3. С. 63–78.
- Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья. М.; Л., 1966. 139 с.
- Шер Я.А. М.П. Грязнов и некоторые вопросы археологии ранних кочевников // Степи Евразии в древности и средневековье: Мат. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Михаила Петровича Грязнова. СПб., 2002а. Кн. I. С. 78–82.
- Шилов В.П. Калиновский курганный могильник. Древности Нижнего Поволжья. Труды Сталинградской археологической экспедиции (МИА. №60). М.; Л., 1959. Т. I. С. 323–523.
- Шилов В.П. Погребения сарматской знати I в. до н.э. – I в. н.э. // СГЭ. Л., 1956. Вып. IX. С. 42–45.
- Шилов В.П. Запорожский курган (К вопросу о погребениях аорской знати) // СА. 1983. №1. С. 178–192.
- Шилов В.П. Очерки по истории племен Нижнего Поволжья. Л., 1975. 208 с.
- Шкуратов В.А. Историческая психология. 2-е изд., перераб. М., 1997. 505 с.
- Шмидт О.Г. Археологические исследования С.И. Руденко в Северной Азии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2006. 23 с.
- Шомахмадов С.Х. Учение о царской власти: теории имперского правления в буддизме. СПб., 2007. 272 с.
- Штейнберг А.Л. Очерки истории Туркмении. М.; Л., 1934. 168 с.
- Шульга П.И. К вопросу о планировке могильников скифского времени на Алтае // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. II. С. 41–44.
- Шульга П.И. «Индийские» зеркала и женщины-жрицы на Алтае // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Мат. Всерос. конф. Барнаул, 1997. С. 144–148.
- Шульга П.И. Жреческие парные захоронения с зеркалами-погремушками (к постановке проблемы) // Древности Алтая: Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 1998. №4. С. 82–91.
- Шульга П.И. Раннескифское погребение на р. Чарыш из могильника Чесноково-I // Древности Алтая: Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 1998а. №3. С. 58–69.
- Шульга П.И. О происхождении и раннем этапе развития пазырыкской культуры // Сибирь в панораме тысячелетий: (Мат. междунар. симпозиума). Новосибирск, 1998б. Т. I. С. 702–712.
- Шульга П.И. Жреческие парные захоронения с зеркалами-погремушками (к постановке проблемы) // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 1999. №4. С. 82–91.
- Шульга П.И. Погребально-поминальный комплекс скифского времени на р. Сентелек // Святителища: археология ритуала и вопросы семантики. СПб., 2000. С. 215–218.
- Шульга П.И. Предварительные итоги раскопок могильника Локоть-4 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат. Годовой юбилейной сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск, 2000а. Т. VI. С. 443–447.
- Шульга П.И. Могильник скифского времени Локоть-4а. Барнаул, 2003. 204 с.
- Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. С. 7–34.
- Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев, 1998. 384 с.
- Эрдэнэбаатар Д., Тубат Ц., Худяков Ю.С. Древнетюркское впускное погребение на памятнике Эгин-гол в Северной Монголии // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ, 2004. Вып. 2. С. 175–178.
- Юй Су-Хуа. Актуальные вопросы истории изучения ранних сяньбэй // История и культура Востока Азии. Новосибирск, 2002. Т. II. С. 197–200.

- Юматов К.В. Отражение мотивов героического эпоса в археологических памятниках степей Евразии (на примере каменных изваяний): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 1997. 23 с.
- Юшков С.В. К вопросу о феодальной собственности в досоветском Казахстане // Вестник АН Казахской ССР. Алма-Ата, 1951. №9. С. 59–69.
- Яблонский Л.Т. Особенности социальных отношений и антропологическая структура населения Приаралья в эпоху становления культур сакского типа // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1989. Ч. I. С. 63–66.
- Яблонский Л.Т. Социальная структура саков Присарыкамья по данным погребального обряда // Вторые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова: Докл. республ. науч. конф. ОИИФФ. Омск, 1992. Ч. I. С. 79–81.
- Яблонский Л.Т. Саки Южного Приаралья (археология и антропология могильников). М., 1996. 185 с.
- Яблонский Л.Т. Социальная стратификация степных популяций в физико-антропологическом аспекте // Донские древности. Азов, 1997. Вып. 5.
- Яблонский Л.Т. Некрополи древнего Хорезма (археология и антропология могильников). М., 1999. 326 с.
- Яблонский Л.Т., Дэвис-Кимболл Дж., Демиденко Ю.В. Раскопки курганного могильника Покровка-1 и Покровка-2 в 1994 г. // Курганы левобережного Илека. М., 1994. Вып. 3. С. 21–70.
- Яблонский Л.Т., Мещеряков Д.В. Раскопки курганов раннесарматского времени у д. Прохоровка (предварительное сообщение) // КСИА. М., 2005. Вып. 219. С. 64–77.
- Яблонский Л.Т., Мещеряков Д.В. Раскопки «царского» кургана в Филипповке (предварительное сообщение) // РА. 2007. №2. С. 55–62.
- Яблонский Л.Т., Мещеряков Д.В., Пшеничнюк А.Х. Продолжение раскопок курганного могильника у села Филипповка // Археологические открытия 2004 года. М., 2005. С. 387–388.
- Яковенко Э.В. Погребение богатой скифянки на Темир-горе // Скифы и сарматы. Киев, 1977. С. 140–145.
- Якубовский А.Ю. Книга Б.Я. Владимирцова «Общественный строй монголов» и перспективы дальнейшего изучения Золотой Орды // Исторический сборник. М.; Л., 1936. Вып. 5. С. 293–313.
- Янборисов В.Р. К семантике антропоморфных изображений на валуне из могильника Кудыргэ // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1984. С.106–109
- Яремчук О.А. Некоторые проблемы изучения истории сяньбийских племен // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ, 2004. С. 169–175.
- Яценко С.А. Процесс оседания кочевых аланов в Приазовье в середине I-середины III вв. н.э.: города и кочевые стоянки // Взаимодействие древних культур и цивилизаций и ритмы культурогенеза. СПб., 1994. С. 69–70.
- Яценко С.А. К истории формирования одного из ключевых стереотипов сарматологии // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 1994а. С. 200–204.
- Яценко С.А. Наборы амулетов среди атрибутов одной из групп знатных сармато-аланок европейских степей середины I – середина II вв. н.э. // Вещь в контексте культуры. Мат. науч. конф. СПб., 1994б. С. 85–86.
- Яценко С.А. Письменные и археологические источники о государственности и общественном строе кочевых сармато-аланов I–IV вв. н.э. // 100 лет гуннской археологии. Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. Улан-Удэ, 1996. Ч. I. С. 152–156.
- Яценко С.А. «Бывшие массагеты» на новой родине – в Западной Прикаспии (II–IV вв. н.э.) // Историко-археологический персонаж. Армавир; М., 1998. С. 86–95.
- Яценко С.А. Статус женщины в сарматском обществе: проблемы интерпретации источников // Методы изучения культуры в России. М., 2001. С. 244–252.
- Яценко С.А. Костюм ираноязычных народов древности и методы его историко-культурной реконструкции: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 2002. 48 с.
- Яценко С.А. Особенности общественного развития сармато-аланов и их восприятие в других культурах // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002. С. 126–135.
- Яценко С.А. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы. М., 2006. 664 с.: ил. (Культура народов Востока).
- Яценко С.А. О женщинах-«жрицах» у ранних кочевниках (на примере знатных сарматок I в. до н.э. – II в. н.э.) // Мирозрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул, 2007. Вып. I. С. 58–65.
- Яценко И.В., Раевский Д.С. Некоторые аспекты состояния скифской проблемы // НАА. 1980. №5. С. 103–117.
- Abu-Lughod J. Before European hegemony: The World-System A. D. 1250–1350. New York, 1989. 464 p.
- Adams R. Energy and Structure. A Theory of Social Power. Austin and L., 1975. 353 p.
- Arnold B. and Gibson D. (eds). Celtic chiefdom, Celtic state: The evolution of complex social systems in prehistoric Europe. Cambridge, 1995. 159 p.
- Barfield T. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757. Cambridge, 1992. 325 p.
- Barfield T. The Nomadic Alternative. Englewood Cliffs, NJ, 1993.
- Barfield T. The Shadow Empires: Imperial State Formation along the Chinese-Nomad Frontier // Empires. Cambridge, 2000.
- Carneiro R.L. The four faces of evolution // Handbook of social and cultural anthropology. Chicago, 1973a. P. 89–110.
- Carneiro R. Scale Analysis, Evolutionary Sequences, and the Rating of Cultures // A Handbook of Method in Cultural Anthropology. New York and London, 1973b. P. 834–871.
- Carneiro R. The chiefdom as precursor of the state // The Transition to Statehood in the New World. Cambridge, 1981. P. 37–79.
- Chase-Dunn Chr., Hall T. Rise and Demise: Comparing World-Systems Boulder, Colorado, 1997.
- Chase-Dunn Chr., Hall T. Comparing World-systems to Explain Social Evolution // World System History: The Social Science of Long Term Change. London, 2000. P. 86–111.
- Childe V.G. The Urban revolution // Town Planning Review 21. 1950. P. 3–17.
- Claessen H.J.M. Evolutionism in Development: Beyond Growing Complexity and Classification // Kinship, Social Change, and Evolution. Horn-Wien, 1989. P. 231–247 (Wiener Beitrage zur Ethnologie und Anthropologie, Bd. 5).
- Claessen H.J.M. State and economy in Polynesia // Early State Economics. New Brunswick & London, 1991. P. 291–325.
- Claessen H.J.M. Structural Change: Evolution and Evolutionism in Cultural Anthropology. Leiden, 2000.
- Claessen H.J.M. & P.V. de Velde. Early state dynamics. Leiden; New York, 1987.
- Claessen H.J.M. & P. V. de Velde. Early state economics (Political and legal anthropology series; v. 8). New Brunswick, N.J., U.S.A.: Transaction Publishers, 1991.
- Claessen H.J.M. and P.Skalknik (eds.). The Early State. The Hague: Mouton, 1978.
- Claessen H.J.M. and P.Skalknik (eds.). The Study of the State. The Hague etc., 1981.

- Di Cosmo N. State formation and periodization in Inner Asian history // *Journal of World History*. 1999. Vol. 10. №1. P. 1–40.
- Earle T. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical perspective // *Annual review of Anthropology* 16. 1987. P. 279–308.
- Earle T. (ed. by). *Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology*. Cambridge, 1991.
- Earle T. The evolution of chiefdom // *Chiefdoms: Power, Economy and Ideology*. Cambridge, 1991. P. 1–15.
- Earle T. How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory. Stanford (Cal.), 1997.
- Fletcher J. The Mongols: ecological and social perspectives // *Harvard Journal of Asiatic Studies*. 1986. 46 (1). P. 11–50.
- Frank A.G. and Gills B. *The World System: 500 or 5000 Years?* London, 1994.
- Fried M. *The Evolution of Political Society: an essay in political anthropology*. N. Y., 1967.
- Golden P.B. *An Introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East*. Wiesbaden, 1992.
- Golden P. Religion among the Qipcaqs of Medieval Eurasia // *Central Asiatic Journal. International Periodical for Languages, Literature, History and Archeology of Central Asia*. 1998. 42 (2). P. 180–237.
- Golden P.B. *Ethnicity and State Formation in Pre-Çinggisid Turkic Eurasia*. Bloomington // Indiana University, Department of Central Eurasian Studies. 2001.
- Ġugunov K., Parzinger H., Nagler A. *Der Skythishe Fürstengrabhugel von ArĠan 2 in Tuva. Vorbericht der russisch-deutschen Ausgrabungen 2000-2002* // *Eurasia Antiqua*. Berlin, 2003. Band 9. P. 113–162.
- Hall T.D. Civilizational change and role of nomads // *Comparative civilizations review*. 1991. 24 P. 34–57.
- Hancăr F. Altai – Skufhen and Schamanismus // *Actes du ive Congres international des sciences anthropologiques et ethnologiques*. Vienne, 1952. Vol. 2. P. 183–189.
- Kenk R. *Das Gräberfeld der hunno-sarmatischen Zeit von Kokël; Tuva, Süd-Sibirien* // *Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie*. München, 1984. Bd. 25.
- Khazanov A.M. *Characteristic Features of Nomadic Communities in the Eurasian Steppes* // *The Nomadic Alternative*. The Hague, 1978.
- Khazanov A.M. *Some Theoretical Problems of the Study of the Early State* // *The Early State*. The Hague, 1978a. P. 77–92.
- Khazanov A.M. *The early state among the Eurasian nomads* // *The Study of the State*. The Hague etc., 1981. P. 156–173.
- Khazanov A.M. *Nomads and Outside World*. Cambridge, 1984. 369 p.
- Klyashtorny S.G. *Ancient Turk Inscriptions on the Silk Road: Runic Inscriptions of Tian-Shang* // *Silk Road Art and Archaeology*. 2002. №8. P. 197–206.
- Kradin N.N. *Nomadism, Evolution, and World-Systems: Pastoral Societies in Theories of Historical Development* // *Journal of World-System Research*. Vol. 8. 2002. №3. P. 368–388.
- Kristiansen K. *Chiefdoms, states, and systems of social evolution* // *Chiefdoms: power, economy and ideology*. Cambridge, 1991. P. 16–43.
- Kristiansen K., Rowlands M. *Social Transformations in Archaeology: Global and Local Perspectives*. London and New York, 1998.
- Kubarev V.D. *Spiegel asiatischer Nomaden als religionsarchäologische Quelle* // *Eurasia Antiqua Zeitschrift für archäologische Eurasien*. Berlin, 1996. Band 2. P. 319–345.
- Liu Mau-tsai. *Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-kü)*. Wiesbaden, 1958. B. I. Texte.
- Maenchen-Helfen O. *Manichaeans in Siberia* // *Semitic and oriental studies*. University of California publications in semitic philology. 1951. Vol. 91. P. 311–326.
- Maenchen-Helfen O. *The World of the Hunns* // Los Angeles and London, 1973.
- Murdock G. *Ethnographic Atlas*. Pittsburgh: The University of Pittsburgh press, 1967.
- Murdock G. and C. Provost. *Measurement of Cultural Complexity* // *Ethnology* 1972. 12 (4). P. 379–392.
- Renfrew C. *The Emergence of Civilization: the Cyclades and Aegean in the third millennium BC*. London, 1972.
- Renfrew C. *Beyond a subsistence economy: The evolution of social organization in Prehistoric Europe* // *Reconstructing Complex Societies*. *Bulletin of American School of Oriental Research* 20. Cambridge, 1974. P. 69–96.
- Renfrew C. *Socio-Economic Change in Ranked Societies* // *Ranking, Resources, and Exchange: Aspects of Archaeology of Early European Society*. Cambridge, 1982. P. 1–8.
- Renfrew C. *Approaches to Social Archaeology*. Cambridge, Mass., 1984.
- Sahlins M. *Poor man, rich man, big man, chief: Political types in Melanesia and Polynesia* // *Comparative studies in society and history*. 1963. 5 (3). P. 285–303.
- Sahlins M. *Tribesmen*. Englewood Cliffs. 1968.
- Sanderson S.K. *Social Evolutionism. A Critical History*. Cambridge (Mass.) and Oxford, 1990.
- Sanderson S.K. (ed.). *Civilizations and World Systems: Studying World-Historical Change*. London etc., 1995.
- Sanderson S.K. *Social Transformations: A General Theory of Historical Development, expanded edition*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield [orig. 1995, Blackwell], 1999.
- Service E. *Origins of the State and Civilization*. N. Y., 1975.
- Service E. *Primitive Social Organization*. 2nd. ed. N. Y., 1971.
- Southall A. *Alur Society*. Cambridge, 1953.
- Southall A. *The Segmentary State: From the Imaginary to the Material Means of Production* // *Early State Economics*. New Brunswick & London, 1991. P. 75–96.
- Toynbee A. *A Study of History*. London, 1934–1961. Vol. I–XII.
- Vasjutin S.A. *The Role of Archeological Researches in Reconstruction of Nomadic Political Systems* // *Second International Conference «Hierarchy and Power in the History of Civilizations: Abstract*. Moscow, 2002. P. 20–21.
- Wallerstein I. *The Modern World-System*. Vol. 1. *Capitalist Agriculture and the Origin of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York, 1974.
- Wallerstein I. *The Modern World-System*. Vol. 2. *Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy 1600-1750*. New York, 1980.
- Wallerstein I. *The Modern World-System*. Vol. 3. *Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy. 1730-1840's*. San Diego, 1989.

Список сокращений

АН – Академия наук.
АО – Археологические открытия.
АО РГО – Алтайский отдел Русского Географического общества.
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа.
БСЭ – Большая советская энциклопедия.
ВА – Вопросы антропологии.
ВАН СССР – Вестник Академии наук СССР.
ВДИ – Вестник древней истории.
ВИ – Вопросы истории.
ВМГУ – Вестник Московского государственного университета.
ВФ – Вопросы философии.
ГАГУ – Горно-Алтайский государственный университет.
ГАИГИ – Горно-Алтайский институт гуманитарных исследований.
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры.
ГАНИИИЯЛ – Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы (потом ГАИГИ, ныне – Институт алтаистики им. С.С. Суразакова).
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва).
ГРМ – Государственный Русский музей (Санкт-Петербург).
ГЭ – Государственный Эрмитаж.
ЗРАО – Записки Русского археологического общества.
ЗРГО – Записки Русского географического общества.
ЗСО РГО – Западносибирское отделение Русского географического общества.
ИАК – Известия Археологической комиссии.
ИА АН СССР – Институт археологии Академии наук СССР.
ИАИ КазССР – Известия Академии наук Казахской ССР.
ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук.
ИАЭ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.
ИГАИМК – Известия Государственной Академии истории материальной культуры.
ИПОС СО РАН – Институт проблем освоения Севера СО РАН (Тюмень).
ИРАО – Известия Русского археологического общества.
ИРГО – Императорское Русское географическое общество.
ИЭ АН СССР – Институт этнографии Академии наук СССР.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР.
КСИА РАН – Краткие сообщения Института археологии РАН.
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
КСИЭ – Краткие сообщения Института этнографии Академии наук СССР.
ЛГУ – Ленинградский государственный университет (ныне – Санкт-Петербургский университет).
ЛО ИА – Ленинградское отделение Института археологии РАН.
МАР – Материалы и исследования по археологии России.
МАЭ – Музей антропологии и этнографии.
МАЭС – Музей археологии и этнографии Сибири.
Мб – Махабхарата.
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
МинОКН – Министерство образования, культуры и науки Монголии.
МНМ – Мифы народов мира.
МЭ – Материалы по этнографии.
НАА – Народы Азии и Африки.
ОИАК – Отчет Императорской Археологической комиссии.
ПИДО – Проблемы истории древних обществ.
РА – Российская археология.
РАИМК – Российская академия истории материальной культуры.
РАН – Российская академия наук.
РАЭСК – Региональная археолого-этнографическая студенческая конференция.

- РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд.
РГО – Русское географическое общество.
РЭМ – Российский этнографический музей (бывший Государственный музей этнографии народов СССР).
СА – Советская археология.
САИ – Свод археологических источников.
СГЭ – Сообщения Государственного Эрмитажа.
СГАИМК – Сообщения Государственной академии истории материальной культуры.
СМАЭ – Сборник материалов по антропологии и археологии.
СНВ – Страны и народы Востока.
ССО СРВ – Союз славянских общин Славянской Родной Веры.
СЭ – Советская этнография.
ТАН ТССР – Труды Академии наук Таджикской ССР.
ТГИМа – Труды Государственного исторического музея.
ТГУ – Томский государственный университет.
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа.
ТЗС – Труды по знаковым системам.
ТИИ АН ТССР – Труды Института истории Академии наук Таджикской ССР.
ТИИАЭ АН КазССР – Труды Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР.
ТИЭ АН СССР – Труды Института этнографии Академии наук СССР.
ТНИИИЯЛИ – Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории.
ТС – Тюркологический сборник.
ТТКАЭЭ – Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции.
ТХАЭЭ – Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.
ТЮТАКЭ – Труды Южно-Туркменской археологической комплексной экспедиции.
УЗ ГАНИИИЯЛ – Ученые записки Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы.
УЗ ЛГУ – Ученые записки Ленинградского государственного университета.
УЗ МГУ – Ученые записки Московского государственного университета.
УЗ ТГУ – Ученые записки Томского государственного университета.
УЗТУ – Ученые записки Тартуского университета.
УЗТНИИИЯЛИ – Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории.
ЭО – Этнографическое обозрение.

Научное издание

Сергей Александрович Васютин, Петр Константинович Дашковский

**СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЧЕВНИКОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОЗДНЕЙ ДРЕВНОСТИ И РАННЕГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)**

Монография

Редактор: Н.Я Тырышкина
Технический редактор: П.К. Дашковский

Для оформления обложки использованы фотографии С.А. Васютина
и П.К. Дашковского, а также материалы из могильника
Ханкаринский дол (раскопки П.К. Дашковского)

Подписано в печать 7.09.2009. Формат 60x84/8.
Усл. печ. л. 46,2. Тираж 500 экз. Заказ 646.

Отпечатано в типографии ООО «Азбука»
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а
тел. 62-91-03, 62-77-25
E-mail: azbuka@dsmail.ru